

АЛЕКСАНДР
СОЛЖЕНИЦЫН

КРАСНОЕ
КОЛЕСО

АПРЕЛЬ
СЕМНАДЦАТОГО
КНИГА 2

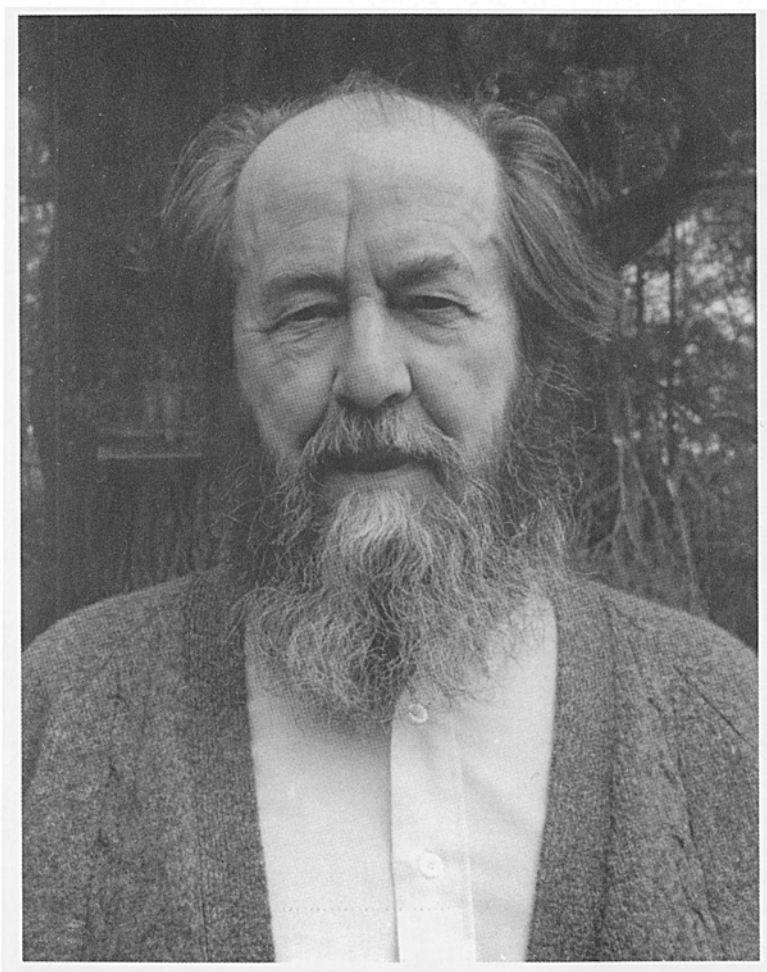
АЛЕКСАНДР

СОЛЖЕНИЦЫН

КРАСНОЕ КОЛЕСО

АПРЕЛЬ
СЕМНАДЦАТОГО
КНИГА 2

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



Вермонт, 1989

АЛЕКСАНДР
СОЛЖЕНИЦЫН

АЛЕКСАНДР

СОЛЖЕНИЦЫН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

АЛЕКСАНДР

СОЛЖЕНИЦЫН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ШЕСТНАДЦАТЫЙ

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНИЕ
В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

УЗЕЛ IV
АПРЕЛЬ СЕМНАДЦАТОГО

КНИГА 2



МОСКВА 2010

УДК 821.161.1-3

ББК 84Р7-4

С60

редактор-составитель

Наталья Солженицына

дизайн, макет

Валерий Калныньш

ISBN 978-5-9691-0570-6

ISBN 978-5-9691-0571-3 (общий для
комплекта из 2-х томов, 15–16)

ISBN 978-5-9691-0032-9 (общий для
собрания)

© А. И. Солженицын, наследники, 2010

© Н Д Солженицына, составление,
краткие пояснения, 2010

© А. С. Немзер, сопроводительная статья, 2010
© «Время», 2010

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНИЕ
В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

УЗЕЛ IV

АПРЕЛЬ СЕМНАДЦАТОГО

29 МАРТА — 5 МАЯ СТ. СТ.

КНИГА 2

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ — ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ АПРЕЛЯ

92"

(по буржуазным газетам, 15—23 апреля)

ЗАЁМ СВОБОДЫ. Воззвание Временного правительства.

К ВАМ, ГРАЖДАНЕ ВЕЛИКОЙ СВОБОДНОЙ РОССИИ, К ТЕМ, КОМУ ДОРОГО БУДУЩЕЕ НАШЕЙ РОДИНЫ. СИЛЬНЫЙ ВРАГ ГРОЗИТ ВЕРНУТЬ СТРАНУ К МЁРТВОМУ СТРОЮ... НУЖНА ЗАТРАТА МНОГИХ МИЛЛИАРДОВ, ЧТОБЫ СПАСТИ СТРАНУ...

ВОССТАНИЕ В СЕРБИИ против болгар.

Падение духа в турецких войсках... Положение турецких войск в Месопотамии становится всё более тяжёлым. Иерусалим полон беженцев...

Вашингтон. Подписка на «Заём Свободы 1917 г.» выразилась положительно в золотом потоке, идёт в таких огромных количествах, что грозит загромоздить все телефонные линии. Фактически каждый мальчик-рассыльный даёт телеграфное распоряжение о подписке на заём...

(Агентство Рейтера)

...Но мы все, русский народ, будем ответственны перед историей, чтобы дальнейший ход революции был достоин её великого начала. За слабость нашей воли и разума поплатятся будущие поколения — но осуждено и проклято будет теперешнее. Перед судом грядущих поколений мы будем нераздельны в вине, как и в заслугах.

(«Речь»)

При старом режиме для пополнения казны был совершенно недостаточно использован налоговый аппарат. Нынешняя перестройка государственных финансов не может не быть связана с увеличением налогового бремени.

(«Речь»)

...Дайте армии людей! Неужели Россия оскудела народом? Где пополнения? Кто забронировался протекциями в тылу — изгнать силой всего народа!

(«Русская воля»)

ЗАЯВЛЕНИЕ КРОНШТАДТСКОГО СОВЕТА. Кронштадт вселяет безпокойство в чёрную сотню буржуазии... Кронштадтский Исполнительный Комитет Совета примет все меры решительной борьбы с тёмными элементами, прикрывающимися званием «корреспондентов Биржевых ведомостей».

Председатель И. К. Любович

КЛЯТВА ЖАНДАРМОВ. ...отправляясь на позиции, бывшие городовые и жандармы приветствуют Временное правительство и Совет рабочих депутатов. Одушевлённые любовью к Родине и народу, мы даём клятву... Мы защищали жизнь и имущество всякого мирного населения... Многие из нас имеют боевые отличия за японскую и нынешнюю войны...

...На юге ожидают сокращения посевной площади наполовину. Создавая совершенно необоснованную тревогу, владельцы и управляющие крупных имений бегут в город, бросая имения на произвол судьбы... Неужели же торжество революции и выполнение социальных идеалов должны сопровождаться народным голодом?.. Земли остаются без посева, и нет посевного материала...

Харьков. Общественный комитет направил телеграмму в Петроград: немедленно удалить архиепископа Антония ввиду вредного направления его деятельности. В воскресенье 16 апр. была драка в соборе сторонников и противников. Зачинщик её — студент коммерческого института, во время богослужения оскорбивший архиепископа и угрожавший убрать его, арестован милицией.

...Как Синод должен выслушивать указ Временного правительства? — стоя, как высочайший указ, или сидя, как сообщение Совета министров? Решено: стоя, в знак всеподданности Временному правительству.

ТЁМНЫЕ СИЛЫ. Харьков, 17 апр. В Харькове распространяются тёмные слухи о том, что вчера, во время служения архиепископа Антония в Мироносицкой церкви, какой-то еврей Коуфман «что-то сказал». Коуфман подвергся избиению.

(«Русское слово», 18 апр.)

Житомирский городской Исполнительный Комитет обратился с ходатайством к Временному правительству: удалить епископа Евлогия из пределов Волынской губ. Ходатайство поддержано житомирским Советом рабочих депутатов. Но духовенство расходится со всеми обществен-

ными организациями и выступает не в том направлении, как это было бы желательно в смысле укрепления основ нового строя. И Евлогия до сих пор не высылают.

Житомир. Украинская рада высказалась за немедленное удаление архиепископа Евлогия из пределов Украины как врага украинского народа.

...Сведения депутата ГД Фридмана, что в Подольской губ. ведётся погромная агитация, не соответствуют действительности. Нигде в Подольской губ. не наблюдается проявления вражды к евреям.

БОЙТЕСЬ ЭКСЦЕССОВ! ...Над ленинцами нависла опасность народного самосуда. Скажем сразу: было бы несчастьем для революции и позором для свободного народа, если бы имел место какой-нибудь насильственный акт, какой-нибудь эксцесс против Ленина или «Правды»... безтактная полемика с Лениным некоторых органов печати, подозрения в «германофильстве», подозрения ни на чём не основанные... кто призывает к расправе с Лениным — вот подлинная агитация к гражданской войне.

(«Биржевые ведомости», 17 апр.)

...Революция принесла народу ценный подарок: вежливость. Основное последствие революции — радостное просветление народа. А первомайский праздник показал, что за вежливостью пришли и смех, и радость.

Ж-д билеты. ...создан особый комитет по урегулированию продажи ж-д билетов. Комитет обратился к населению с воззванием: записываться на очередь на первую половину мая и не образовывать очереди на Б. Конюшенной в день светлого первомайского праздника...

В **Москве** острый недостаток фуража, гибнут лошади. Готовится введение карточек на фураж. С 18 апреля уменьшен жителям хлебный паёк с 1 ф. до 3/4 ф.

В марте и апреле много германских и австрийских подданных самовольно приехали в Москву.

Опера «Жизнь за царя» будет теперь, очевидно, исключена из театрального репертуара.

В Мариинском театре совещание о дальнейших отсрочках военными артистам... В Александринском театре таких 28 ч., в том числе Мейерхольд. На собрании труппы Александринского театра принята резолюция: «Признать деятельность театров в военное время необходимой, так как она поддерживает бодрость в народе».

Не секрет, что вместе с борцами за свободу кое-где с сибирской каторги выпустили и уголовников. И все выдают себя за освобождённых политических.

Одесса. В честь 1 мая ярко манифестировал весь гарнизон во главе с генералитетом, офицерством и до последнего солдата. Еврей-юнкера шли с пением древнееврейских песен.

Витебск. Сознательным классом населения переворот встречен в нашей губернии с восторгом, но среди тёмной массы произошло замешательство. Наблюдались явления, не отвечающие задачам момента, — но сознательный класс взял верх.

(«Биржевые ведомости»)

В **Киеве** организуется общество югороссов. Югоросс — тот, кто признаёт своим языком русский литературный язык, а местом деятельности — территорию свободной Украины. Борются с узко-национальным течением...

Ростов-на-Дону. Собрание трёх тысяч русских галичан постановило протестовать против захватной деятельности украинцев и их призыва к русским галичанам, буковинцам и угророссам, и их попыток превратить русские гимназии в украинские.

Ростов-на-Дону. Общее собрание студентов и курсисток всех высших учебных заведений постановило... На священной обязанности всей демократии лежит работа по углублению завоеваний революции... С 17 апреля прекратить занятия и экзамены, все студенты и курсистки считаются переведенными на следующий курс. Студенты и профессора обязуются во имя народных интересов наверстать потерянное время в будущем учебном году. Ввести нравственно обязательную трудовую повинность — агитацию среди крестьянства.

Симбирск, 19 апр. Из арестантских отделений, обезоружив стражу, бежали 12 громил. 8 задержано, четверо самых опасных скрылись.

Иркутск, 20 апр. Сгорел кафедральный Богоявленский собор, в том числе гробница блаженного Софрония, епископа Иркутского.

ВАНДАЛИЗМ. В Таганроге отбиты руки и голова у статуи Александра I, работы Мартоса. В Екатеринославе статуя Екатерины II отправлена на переплавку.

Жертвуйте сухари для наших пленных воинов.

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ БЛАГОДАТЬ — фарс-эпизод из жизни старца Григория Распутина.

ТЕАТР-ФАРС — В ЧУЖОЙ ПОСТЕЛИ. — Конкурс натурщиц.

Случайно продаётся Вилла-Усадьба.

?!? КВАРТИРА ??? — 700 руб. за содействие.

КУРЫ И ЯЙЦА лучших пород.

ЗДОРОВЫЕ домашние еврейские обеды можно получить ежедневно.

Обязательная воинская повинность в Соединённых Штатах — революционный переворот в психологии американского народа.

Нью-Йорк. Известный вождь американских евреев Луи Маршалл в речи на собрании еврейской общины Нью-Йорка сказал: «Все мы являемся друзьями русского народа и любим эту величайшую демократию мира... Мы должны поставить Россию в известность, что американские евреи высказываются против сепаратного мира».

Чтобы вести войну — нужны деньги.

Подписывайтесь на Заём Свободы!

**Новое Правительство, облечённое доверием народа,
будет расходовать их на дело народа.**

Все, кто любит родину, подписывайтесь на Заём Свободы!

«Не подписываться на Заём Свободы могут только сторонники старого режима», — заявил в Благородном Собрании английский атташе.

Изданный проект городского самоуправления воплощает предел мечтаний в самых свободных государствах! Никакого имущественного ценза! никакого ценза оседлости! Голосование — не за индивидуальных кандидатов, а за партийные списки. Воплощено всё лучшее, до чего дошла демократическая мысль!

(«Речь»)

«Бывшего императора Николая II держат изолированным, чтобы он не выдал наших государственных тайн Германии».

(Из выступления в петроградской городской думе)

...По всему Югу пленные бросают работы в имениях и уходят. На вопрос куда — «домой». Положение хозяйств становится критическим. Масса пленных свободно разгуливает по краю.

(«Утро России»)

Съезд лесопромышленников. Петроград, 21 апр. Председателем избран Давыдов, товарищами председателя — Гинзбург, Левин и Шапиро... производить лесозаготовку и слав... не только отказываются крестьяне, но местные волостные комитеты не допускают и пришлых рабочих, говоря: «Скоро все леса будут наши»... Черносотенные элементы поднимают агитацию против лесопромышленников-евреев. Рубка леса запрещается крестьянами... В докладе Берлина было обрисовано,

на каких условиях лесопромышленники берутся вести заготовки для ж-д и фронта: должны быть даны правительственные гарантии возмещения убытков от самоуправства крестьян.

Священник Д. Попов (член 1-й ГД) создал «Союз демократического православного духовенства и мирян». Секретарь — священник А. Введенский. Задачи: церковная демократизация. Привлечение духовенства к участию в политической жизни страны не есть принижение небесного до земного... Надо демократическим силам стремиться к слиянию церкви с народовластием. И это даст церкви новый блеск.

Харьков. Воззвание архиепископа Антония: «В последние дни по Харькову идёт волнение, собираются митинги на площадях, в церквях и домах, ко мне приходят депутации, люди скорбят о моём предстоящем удалении с кафедры, негодуют на тех, кого считают виновниками, и угрожают им. Я был бы очень опечален, если бы мир омрачился дракой или кровопролитием...»

Московский губ. съезд учителей церковно-приходских школ... «насегда упразднить заведывание школами со стороны священников»... Вышли из епархиального дома с пением марсельезы.

У Казанского собора Яков Рывкин выступал перед толпой с требованием заключить мир и не давать денег правительству в виде займа. Возмущённая толпа с помощью милиционеров доставила Рывкина в комиссариат. Помощник комиссара Носарёв отказался арестовать, ссылаясь на свободу слова. Толпа грозила разнести комиссариат — и милиционеры едва убедили её. Рывкина освободили. При таких же обстоятельствах были отпущены ленинцы Готлиб и Перухин.

Петроград, 20 апр. Совещание городской комиссии по контролю за продажей ж-д билетов... Вокзалы настолько переполнены пассажирами, что даже имеющие билет не могут попасть в вагон. Рекомендовать установить уголовную ответственность для лиц, самовольно занимающих места в вагонах. Обратит внимание на развившееся протекционное приобретение билетов через учреждения и общественные организации. При министерстве финансов создаётся особое совещание для установления особой платы за пользование местами для сидения в вагонах ж-д.

Арест Сосновского-Рогальского. Сбежавший из тюрьмы аферист арестован 20 апр. на Николаевском вокзале, когда ещё раз позвонил в м. п. с., где самозвано был комендантом в первые дни революции. Выяснилось, что за то время он между прочим присвоил себе 148 золотых медалей (несколькими «наградил» своих солдат охраны), торговал пропусками в министерство, брал до 100 руб. за вход. Рассылал по линиям собственные шифрованные телеграммы сообщникам. Питался в буфете министерства.

Союз фармацевтов обратился к населению Петрограда с заявлением. Будучи вынуждены выступить на активную защиту своих прав, фармацевты решили прибегнуть к единственному средству борьбы — стачке, фармацевты прекратят работу. Аптековладельцы назвали это воззвание «погромным листком». Стоя на страже интересов населения, аптекари должны сами стать к прилавку и привлечь членов своих семейств.

В Киево-Печерской лавре — новое покушение на кощунство...

Кременчуг. При катастрофическом наводнении много грабителей расхищало имущество в затопленных местностях.

Одесса, 19 апр. «Коалиционный совет студенчества» постановил немедленно прекратить учебные занятия и использовать остаток учебного года на посещение лекций политического характера...

Кишинёв. 1200 дезертиров и уклоняющихся с пением революционных песен пришли в управление воинского начальника и заявили о желании отправиться в Действующую армию.

ПРОТИВ ВАНДАЛИЗМА. А. Бенуа, М. Горький и др. ...телеграмму в Екатеринославский Совет... с настоятельной просьбой не переливать в снаряды памятник Екатерины II, т. к. он представляет величайшую художественную ценность...

Памятник спасён и перевезен в Потёмкинский дворец.

Хутор Романовский **Кубанской обл.** ходатайствует преобразовать его в «город Родзянск».

ФИНЛЯНДСКИЕ КУОРТЫ.

Электротеатр ФОРУМ — Монопольно в нашем театре «ВЕРА ЧЕБЕРЯК». Киевский кошмарный процесс по сценарию Н. Н. Брешко-Брешковского и **Весенние Моды Парижа.**

ТОЛЬКО У НАС! — «И угрожала, и ласкала, и опьяняла, и звала...»

ПРОДАЁТСЯ редкой красоты ДОГ.

Бедная вдова, которую обокрали, просит добрых людей пожертвовать чёрную верхнюю юбку.

ОДОЛЖИМ ДЕНЬГИ ГОСУДАРСТВУ В НОВЫЙ ЗАЕМ
И СПАСЁМ ЭТИМ ОТ ГИБЕЛИ НАШУ СВОБОДУ!

Париж, 21 апр. С чувством живейшего удовлетворения газеты обсуждают ноту Милюкова. — «*Тан*»: Великий русский народ не созрел бы для режима свободы, если бы не сознавал своих обязанностей... Нота Милюкова служит доказательством того, что Россия действительно созрела для образования из себя великой демократии». — О тревогах в

Петрограде, о роли Совета рабочих депутатов французское общественное мнение почти не осведомлено.

Лондон. «*Дейли Ньюс*» предостерегает публику от преувеличенной оценки положения в России, будто бы грозящего расколом. — *Агентство Рейтера*: «Нельзя нанести большего оскорбления нашей великой союзнице, как намекать, что её политика вызвана усталостью от войны».

...Страшно сказать — в свободной России и произошло пролитие крови?.. «Правда» продолжает поджигать русскую свободу, не боясь анархии. Окрасили человеческой кровью нашу прекрасную свободу. Святотатственно посягнули на великую безкровную революцию... Откуда эта ярость и свирепость ораторов? Ведь только что одержана победа над царём! А ожесточение растёт. Казалось бы: страшная ответственность перед будущими поколениями должна объединить нас всех. Спорить не о чем, надо ставить Россию выше партий!

Поздно вечером 21 апреля — радость успокоения от решения Совета рабочих депутатов. День 21 апреля — это лавровый лист в венок прекрасной русской революции. День 21 апреля — это счастливая улыбка.

Лондон. «*Санди Таймс*»: «Волнения, произошедшие в Петрограде, были преувеличены. Возникшие партийные раздоры не могут дать повода сомневаться в преданности новой России общему делу союзников». — «*Вестминстер Газетт*»: «Речь Милюкова с балкона Мариинского дворца явилась прекрасным выражением русского настроения. А вступление Соединённых Штатов выдвигает идеальные цели, торжество великодушной гуманности над реакционным насилием...»

Москва. 23-го, в воскресенье вечером на Скобелевской площади состоялся многолюдный митинг и сбор пожертвований на Заём Свободы. Женщины снимали с себя драгоценности, простой народ приносил старинное серебро и монеты. С энтузиазмом собрали 4 полных мешка денег, бриллиантов, колец, биноклей, золотых вещей и пр. Толпа пела «Марсельезу» и инициатора сбора Дубинского внесла на руках в генерал-губернаторский дом.

Нельзя было придумать худшей погоды, чем выпало в Москве на «первомайскую» демонстрацию — то под холодным дождём, то под снегом, лишь к концу дня появилось солнце, но и сразу же мо-

розный вечер. И несмотря на это, кому было положено по плану строителей, все прошагали.

Давид опять смеялся, что глупое зрелище, нечего и время терять, а Сусанна всё-таки пошла смотреть, с Руфью. Она ожидала, что это может стать предобещающим (или предупреждающим?) явлением нового мира. И не ошиблась. Лозунги все можно было предвидеть, — но как и кем это неслось! По белому знамени красными буквами «да здравствует Интернационал» несла большая группа... монашенок. А инвалиды несли плакат «что кому дала война», держимый костылями. А прислуга — «долой рабство домашней прислуги». А у подростков — «подростки Москвы, объединяйтесь». (Ох, не будет ли от этого битых стёкол...) Шествие дворников несло впереди метлу, повязанную красными лентами. (Видно, что она останется без прямого употребления.) И с такими же красными лентами в петличках и на фуражках открывали процессию завода Гужона — почему-то военнопленные австрийцы и немцы, вот и зримый интернационал, быстро они получили права. Ещё и чехи, словаки — отдельно, судя по надписям. И отдельно украинцы, и отдельно латыши. Пожарные в касках. На плакате, в россыпи недостающих тут солнечных лучей, рабочий от наковальни братается со старинным русским витязем: «Лучи свободной России да осияют весь мир!» У кожевенного союза Георгий Победоносец поражал дракона-царя. А один душевнобольной вышел с портретом Николая II и с надписью: «Пусть я безумец, но люблю Государя». Толпа изорвала портрет, а носчика задержали.

Сусанне приходилось выдвигать западные масленичные карнавалы. И сегодняшнее чем-то походило на те — что все были как будто ряженые, что ли, не сами собой?

Ну, разумеется, все главные площади успел объехать Грузинов верхом. Но войска, хотя и с оркестрами, проходили нестройно, подчеркнуто демократично, офицеры тушевались, смешивались с солдатами, не давали военного тона, а солдаты и курили на ходу, — толпа, а не строй. Только юнкера-александровцы прошли отлично (но несли: «Земля — трудящимся»). Пели все — революционные напевы, но с какой-то уже сектантской заумностью. Тронули бундовцы: они пели по-еврейски. И всюду, всюду — речи, на Красной площади — с Лобного места и со ступенек Исторического музея, и дальше на каждой площади, до Ходынки. Все улицы были, как говорится, «лес красных знамён», но вот что: при

уверенных словах песен демонстранты шли совсем не с весёлыми лицами, скорей с истомлёнными, может от дурных предчувствий (или так казалось Сусанне, Руфь не находила так), или это от погоды? А ещё: тысячи зрителей, ёжащихся на тротуарах или на балконах, не встречали шествий ни восклицаниями, ни приветствиями, ни взволнованными жестами. Как будто — уже распалось на две Москвы, и перед онемевшей второй проплывало по мостовым её красно-чёрное будущее. Красно-чёрное, потому что среди множества красных знамён иногда встречались и чёрные, анархистские — совсем и немного их, а угрожающе выделялись.

Вот при чёрном знамени идёт кучка рабочих, нервно сосущих папиросы, с мрачностью на бледно-зелёных лицах. Мещанка в платочке выбежала — и за рукав:

— Это у вас чёрный — насчёт чего? Хороните что ль кого?

— Ладно, не понимаешь — отойди.

Руфь — нашла во всём много ободряющего. А Сусанна Иосифовна ответила, не отрывая глаз от шествия:

— *Где вы, грядущие гунны,*

Что тучей нависли над миром?..

А может быть, все эти демонстрации кажутся страшными только с непривычки?

Да нет, вот и Леонид Андреев, а ведь он чуткий. О петроградской демонстрации, которой все так восхищались, напечатал: «Невесел был наш первый свободный праздник. Тёмными тенями реяли угрозы, косы были взгляды, чьё-то ружьё слишком блистало на солнце».

И всего два дня понадобилось после этого отторжествованного праздника, чтобы дурным предчувствиям Сусанны пришла новая пища: телеграф и телефон принесли известия о внезапных волнениях в Петрограде в четверг.

А в пятницу они произошли и в самой Москве, хотя гораздо слабей. Говорят, приходили на заводы какие-то неизвестные лица, заставляли прекращать работы, требовали громить правительственные учреждения, в Замоскворечьи и разгромили два милицеских комиссариата. С нескольких заводов пришли на Скобелевскую площадь манифестации «долой Милюкова», «долой буржуазное правительство» и чудовищно пели «Марсельезу». А один запасной полк примаршировал с винтовками, говорят заряженными, выстроились у скобелевского памятника и потребовали от Совета

выразить недоверие правительству. С балкона генерал-губернаторского дома их еле успокоили Хинчук и Гендельман: что Совет всё знает и помнит, а товарищам рабочим и солдатам не надо расплять энергию на изолированные выступления. Кое-как ушли, но митинги в разных местах до вечера. Один офицер у скобелевского памятника требовал захватить проливы — его чуть не убили. Один студент кинулся рвать плакат «долой войну» — его сбили с ног и только тем выручили, что под видом арестованного отправили в Совет. Наоборот, когда вечером на Лубянской площади появилась группа рабочих с «долой войну», а на Тверской с «да здравствует Германия» — на них кинулась толпа центральных кварталов и разорвала все их флаги в лоскутья, а один военный кричал: «Если не арестуют Ленина — мы его застрелим!»

И всё это вспыхнуло — сразу же после парада единения. И как страстно спорили на площадях!

Эти уличные споры очень можно понять: заражает желание участвовать, вот только эту ближайшую ничтожную кучку убедить, вот только этого случайного оппонента переспорить — и как будто что-то достигается. И — достигнется, вот такими атомами и делается история, да. И даже надо спешить убеждать, потому что толпа динамична и то, что осуществимо в четыре часа пополудни, — может ослабнуть и развалиться к десяти.

Вчера, в субботу, в Москве было тихо, кое-где митинги на площадях, но уже без страсти. Однако достаточно двоим остановиться и громко заговорить — уже вокруг них сгущаются. Вчера же был упорный слух, что в Москву едет Ленин. Потом — что свернул на Иваново-Вознесенск. Потом: что едет мимо, в Евпаторию.

А сегодняшнее воскресенье было и вовсе тихим, всё как будто прошло. На сегодня же Давид просил устроить деловой обед.

Приглашённых — всего лишь трое, но скоро и такой обед может оказаться не под силу: горничная Саша была на грани ухода. Отношения с ней испортились не по личным причинам, а не могла она простить, что все тутошние гости нескрывтно ликовали в революционные недели; да вообще город «стал безбожным», и она покинула надежду хорошо выйти в Москве замуж, решила уезжать к себе в рязанскую деревню. Сусанна очень привязалась к Саше, жалела: она была безупречного поведения и служила отлично, выглядела достойно-красиво у стола. Теперь отколет из своего угла все монархические портреты и повезёт в деревню. А кухарка — та нисколько не собиралась уходить, но стала нагло отвечать, ещё

более нагло воровать продукты, даже просто досадно иногда, не всякий продукт теперь легко достанешь, плохо с мукой, со сладким, даже трудно достать французские булки. Давид бесился: «Если мы безправны у себя дома, то какие мы вообще свободные граждане?» Но нет уверенности, что, рассчитав эту, найдёшь другую лучше.

Приглашены к обеду были: старый Шрейдер, вдовец, Игельзон, холостяк, и, главное лицо, кадет Мандельштам, но его жена так была занята общественными обязанностями, что он приехал без неё. Итак, хозяйка была за обедом единственная же и дама. А обед понимался как деловой потому, что собирались не для развлечения, а обсудить последние события и предположения, как направить усилия дальше. Вместе с Мандельштамом Корзнер состоял в Комитете общественных организаций, это одно направление. Вместе с Игельзоном — в комитете присяжной адвокатуры по устройству народных собраний: уже большинство московских присяжных поверенных предоставили себя кадетской партии в качестве агитаторов и митинговых ораторов. А мудрый скептик Шрейдер, друг семьи, служил общим охладителем, в чём особенно нуждались и Корзнер, и Мандельштам.

Мандельштам опаздывал. Пока сели в гостиной. Крупноголовый грузный Шрейдер покурил трубку. Первое, что жгло, было последнее, что произошло:

— Ипполит Тэн писал: несчастье, когда великая идея попадает в маленькую или в пустую голову: в маленькой она вмещается лишь частью, а пустая не находит ей критической оценки.

Худой острый Игельзон с летуче-сметливым выражением лица не замедлил сострить:

— Господа, я предложу вам специальный аспект: а что такое вообще есть манифестация? Это — упрощённый митинг на ходу: манифестант — это оратор, выражающий свои убеждения ногами, а плакат — это готовая краткая резолюция, к которой вам настойчиво рекомендуют присоединиться, если не хотите, чтобы вам свернули нос. Но как квалифицировать, если манифестации предшествуют вооружённые люди? Не становится ли она тогда частным случаем патруля или развода?

— Квалифицировать так, — сказал Давид, — что это был кризис гражданской слабонервности, но, кажется, миновал благополучно. Эти дни показали, что анархия уже начинает раздражать «человека и гражданина». Наступает, кажется, сдвиг массового со-

знания в сторону государственного понимания революции. Стремление к мирному порядку жизни всё-таки оказывается сильнее самой пленительной идеологии.

— Если считать людей всё же разумными существами, — буркнул Шрейдер, — то и в революции они должны бы желать жизни, а не самоубийства.

Но вошёл экспансивный и категорический Мандельштам, — он видел кризис этих дней с другой стороны. Во-первых — во всём виноват-таки Милюков: основательно или нет, но он вызвал к себе острое подозрение.

— Зачем эти неуловимые фразы для демократии, пламенеющей революционным жаром? Он ничего не предвидел, можно прийти в отчаяние, упрямый кадетский большевик, вот он кто. В жирондистской позиции возомнил себя Талейраном. И почему надо бояться формулы «без аннексий и контрибуций»? Самоопределение народностей возьмёт своё, нечего беспокоиться. Ну время ли твердить о войне до победы при таком разброде, без твёрдой власти?

Но в этом кризисе есть и плюс: тот, что ведущие социалистические круги впервые начали ясно высказываться против сепаратного мира, почувствовали на себе государственную ответственность.

— Да, плюс тот, — сказал Корзнер, — что сквозь испарения безумия государственный инстинкт одержал победу. Вчера Россия была накануне гибели — сегодня она на пути к выздоровлению. Теперь союзники убедятся, что наша революция идёт по твёрдому руслу. Эти два тяжёлых дня надо просто вычеркнуть из нашей истории, из нашей памяти, и всё.

— Но забудут ли их так легко большевики? — спросила Сусанна. — У их винтовок остынут ли дула?

— Это никем не доказано! — запротестовал Мандельштам, наиболее всегда осведомленный и единственный из них профессиональный политик. — На ленинцев сейчас валят все вины, и зря. Не надо им приписывать, чего нет. Они, конечно, разбивают общее единое настроение, но они заслуживают и прощения. По произволу царского правительства они столько лет были вне России, вот и потеряли с ней связь. Это всё те же милые «русские мальчики». Но так долго в подпольи — им трудно вздохнуть свежим воздухом. Они ведут себя так, будто свалились с луны. Но они скоро опомнятся. По отношению к ним просто не хватает разъяснитель-

ной работы. Надо вашему лекторскому объединению быть поэнергичней.

— А листовка в «Русских ведомостях»? — мрачно напомнил Шрейдер.

Он имел в виду на днях напечатанную там германскую фронтовую листовку прежних лет, для сравнения: поразительное совпадение и мыслей, и даже выражений с сегодняшними речами большевиков.

— *Similitudo non est probatio!* *

— А Кронштадт?

— А уж там тем более стихия. Я повторяю, господа: выход в том, чтобы скорей-скорей просвещать народ — и притом на самых демократических началах.

— Но вы сказали на съезде, — всё так же мрачно возражал Шрейдер, — что для совершения революции вовсе не нужна долгая культурная жизнь народа перед тем.

— Для *совершения* — да! Но для продолжения — очень нужна! Население — само жаждет организации, а мы всё не вносим её.

Перешли к столу. Все четверо мужчин охотно выпили водки, закусили.

— Нет! — пристукивал Корзнер салфеточным кольцом по скатерти. — Нет! Мы два месяца парили в облаках, а надо спускаться на землю. Признать, что полная свобода дана русскому чело- веку несколько преждевременно. Нужна немедленная твёрдая, неуклонная власть. Прискорбный факт, но Временное правительство такой власти не имеет.

— Тоска по городовому! — пыхнул Мандельштам. — Власть правительства — моральная, и это превыше всего. Что ж, оно должно посылать карательные отряды на аграрные беспорядки? расстреливать дезертиров? военной силой усмирять на железных дорогах? арестовать Ленина и его агитаторов? Так чем мы тогда будем отличаться от царизма? Нет! Народ должен с а м проявить инициативу в борьбе с распадом! Временное правительство не имеет полной власти? Так дайте ему наше свободное республиканское повиновение!

— Нет! Нет! — ещё крепче настаивал Корзнер. — Власть должна быть несокрушимой. Единство воли! Надо влить в правительст-

* Похожесть не есть доказательство (лат.).

во твёрдость! Удержать его от сползания. Правительство должно стать неумолимо к неповинующимся! И для него и для всех нас — это экзамен на политическую зрелость, экзамен на умение осуществлять власть.

Тут и Игельзон согласен:

— А то наших вождей так много носят на руках, что они уже разучились ходить ногами.

— Нет! — вдохновенно отклонял Мандельштам. — Свобода сама исцеляет те раны, которые наносит. Для того чтоб остаться великой, свобода должна найти в себе самодвижущие силы победить и анархию внутри, и немца вовне. И она это сделает!

— Да, если энергично помочь свободе бороться с подстрекателями и безответственными агитаторами. Слишком мы в России не привыкли к общественно-созидательной работе.

— Для этого вы и «Дрезден» захватили? — съязвил Игельзон.

Гостиницу «Дрезден» Комитет общественных организаций вопреки мнению правительства вынужден был занять, потому что уже не помещался иначе со своими канцеляриями и штатами.

— Новые общественные формы — новое использование зданий, — отпарировал Корзнер. — Вон и собор на Миусах пойдёт под Учредительное.

Грандиозный недостроенный собор на Миусской площади, внутри без единой колонны, а крышу покроют за будущее лето, может поместиться 6000 человек, Москва предлагала теперь для Учредительного Собрания, в большой надежде добиться принять его у себя. А в соседнем университете Шанявского разместятся канцелярии.

— Все эти революционные судороги, — диктовал Мандельштам, — имеют объективное основание. Чугунный царизм давил всех так долго, что теперь все хотят вздохнуть и выпрямиться. И солдаты, бегущие с фронта за землёй, по-своему тоже правы. Да, центробежность народностей, классов, профессий, групп, все выдвигают свои частные цели, — но и выдвигают же их с полным правом.

Шрейдер качал крупной, клоковатой головой:

— Но все эти обиды, предъявленные одновременно, и в такую грозную минуту, — грозят обрушить и раздавить нашу свободу. А посмотрите, какое чувство целого в Германии, — там просто культ государства.

— Да какую государственную жизнь, — остро воскликнул Игельзон, — вы можете наладить в стране, где объявляют заём спасенья — а подписываются только евреи да московские купцы.

Но Мандельштам это всё знал, обдумал, предвидел:

— Говорю вам, психология революционных партий создавалась при старом режиме, когда они не могли вести реальной политики. А теперь, когда надо реально строить, — у них в умах одни лозунги и резолюции. И когда резолюция принята — им уже кажется, что слово стало делом.

Социалисты всегда были и слабость, и привязанность Мандельштама (из-за них он едва не взорвал и кадетскую партию), он всегда интересно говорил о них.

— Эта прежняя психология в них не исчезла. Они никому, кроме своей каждой партии, не приписывают непогрешимости и никому, сравнительно с собой, не дают равного права любить свободу и служить ей. Даже умеренные меньшевики хотят держать революционную стихию постоянно на точке кипения. Даже плехановское «Единство» считает своим долгом «подталкивать» правительство и разоблачать его. Мол, в каждую минуту буржуазия может вырвать свободу у народа обратно. И от этого партийного соревнования могут быть ужасные последствия. Так и возник безтактный доклад Стеклова, где он глумился над правительством.

— А в каком тоне они разговаривают? Если нужно — мы позвоним по телефону и через десять минут правительство уйдёт в отставку! Да за десять минут даже кухарку нельзя рассчитать, надо дать ей две недели вперёд. Правительству надо или доверять — и тогда не мешать ему действовать. Или не доверять — и тогда заменить другим. Хорошо, — торопился Игельзон, — я не давал мандата Совету, но я им дам его, утопающие не разбирают. Пусть составляют правительство из одного Совета — но чтоб не было, как сейчас, что н и к т о вообще не отвечает за шаги России. Хорошо, идёте через Циммервальд — только все разом, а не порознь!

— Ну не-ет! Ну не-ет! — отрешил шутника Корзнер. — Это у них не выйдет, через Циммервальд мы не пойдём. А то что они придумали — ещё и социальную, классовую революцию? Нет! Наша революция отначала была только политической, и такой должна остаться. Общероссийской, а не классовой. — Ребром быстрой

ладони поставил границы с одной, другой, третьей стороны. — Мы хотели только смены лиц и системы неумелого управления.

С этим Мандельштам согласен, дал справку:

— Если политическая революция сопровождалась социальной, она всегда обрекалась на полный неуспех. Так во Франции в 1848: парижские рабочие, свергшие абсолютизм, этим не удовлетворились, а стали требовать себе прав, прав, эти идиотские придуманные Национальные мастерские, и всё погубили. Да в этом роде и у нас уже везде.

— Едешь в трамвае, — раздумчиво сказал Шрейдер, — слышишь рассуждение рабочего: кто б что ни делал и как бы ни делал — а плату всем одинаковую.

— Да, горячий материал для ненависти — почему не у всех одинаковые доходы.

— Да уже и в прошлом году хоть на дачу не езжай. В Мамонтовке стали мазать клеем скамейки. Или перекапывать велосипедные дорожки, а потом подглядывают из-за кустов, как перевернётся.

— А что сейчас начнут вытворять крестьяне?

— Если народ не подчинится новой дисциплине — вот он и есть взбунтовавшийся раб.

— Так в эти месяцы народ уже и проявил себя как горлан, пропойца, дрянь, — чеканил Корзнер. — И свою винтовку пропьёт, и свою деревню, и всю Россию. Теперь вот — пролетариат требует себе лести и угождения.

По установившейся в доме обременительной необходимости при плавных входах Саши с блюдами — переходили на более отвлечённый или иносказательный язык.

Когда она вышла — Сусанна Иосифовна сказала печально-печально:

— Да просто слово «жид», теперь невозможное, заменили словом «буржуй».

— И то ещё — надолго ли? — подвижно метнул бровями Игельзон.

Мандельштам и Корзнер, только что спорщики, тут вместе были оптимистами: нет, к *этому* уже не вернуться, *этому* уже возврата не будет.

Все черты Шрейдера — крупные, мягкие, спокойные, а какие грустные:

— А я вам скажу: будет ещё и жид, и ещё как. И ещё всё произошедшее, и всё будущее плохое, — всё обернут против евреев. Если российская смута разыграется — мы же, евреи, больше всех и пострадаем.

Мандельштам и Корзнер дружно: совершенно исключено! Ход истории — не в ту сторону!

— А в какую? — спросил Шрейдер, изогнув большие губы, голову набок.

— Как? — изумился Мандельштам. — Да к демократии! Где свобода и самоопределение — там и воздух еврея!

— Не-ет, — растянул Шрейдер. — Где закон и порядок — вот там воздух еврея. Если нет власти и порядка — то евреи теряют из первых.

— Да стыдно вам так говорить! Не хотите ж вы возврата прежнего.

Шрейдер вздохнул:

— О прошедшем надо уметь говорить и объективно. За столетие с лишним в России мы поднялись и отряхнулись от прежнего польского упадка. От средневекового обличия. Мы так увеличились в числе, что смогли выделить многолюдную колонию за океан. Вырос средний уровень жизни, накопились многие капиталы. Среди нас распространилась европейская образованность. Мы позволили себе роскошь иметь литературу на трёх языках. Наше значение в Империи непрерывно увеличивалось. Надо понять, что наше благоденствие — уже связано с этой страной впродолжение навеки.

— Но могли ли мы не искать полноправия?

— Мы искали полноправия — в жизни, а не в разрушении.

— Но только когда есть правопорядок и свобода культуры — мы всегда стоим за себя.

— А то, что начинается теперь, — не обещает правопорядка.

Взгляд Мандельштама пламенел:

— Да что вы говорите! Что вы говорите! Именно теперь, когда мы больше не отделены искусственно от русской культуры, когда еврейское и русское самосознания могут наконец подлинно слиться, еврейский и русский аспекты примиряются в синтезе...

— Этот синтез, — не мог не ввернуть Игельзон, — у большинства русских вызывает скептическую улыбку, а правоверными евреями оценивается как ренегатство.

— Неизвестно, — мрачно тянул Шрейдер, — ещё выиграем ли мы ото всех этих самоопределений. — А вы, Сусанна Иосифовна, что-то вы помалкиваете?

Она молчала, да, но своим умно-нежным лицом — была вонзена в разговор, или вся пронзена им.

— Я? Господа, — сказала она, теребя брелок на груди. — Скажу откровенно: судьба русского еврейства беспокоит меня больше, чем все эти «завоевания революции». В наступивших событиях — мы ведь все на виду — и должны вести себя особенно сдержанно и достойно. А наша молодёжь, правда, рвётся всюду, всюду вперёд. И в Исполнительном Комитете — наших что-то чересчур много...

У неё это сливалось — лёгкий придых и внимательный подъём ресниц. Тепло-грустными глазами она обвела гостей и мужа:

— По-моему... боюсь сказать... будет жестокая гражданская война...

— Ну, не-ет, — рассмеялся Мандельштам. — Была такая опасность в февральские дни, но миновала. А теперь, как бы нас ни поворачивали, но государственное благоразумие и национальное единство всё равно возьмут верх. Потому-то нам и нужен прочный союз с левыми.

А Сусанна — ничуть не убеждённая, в том же горестном тоне:

— И — нет пророка! Какая скорбь, что Толстой не дожил до наших злосчастных дней, — может быть, его бы послушали.

А Шрейдер:

— Сусанна Иосифовна. Разве вы не знаете, что пророков слушают только тогда, когда их призывы приходятся по вкусу?

94

(Фрагменты народоправства — Москва)

* * *

21 апреля у 3-го пресненского участка собралась толпа в две тысячи человек, кричала:

— Где хлеб? Долой милицию! Долой Временное правительство!.. Дайте нам царя!

В помещение 1-го пятницкого комиссариата явилась толпа в двести человек, забрала у милиционеров 15 револьверов, несколько берданок и все наличные патроны.

* * *

На заводе Меньшикова рабочие избили заведующего и выгнали. На фабрике приводных ремней хотели утопить заведующего в реке, но помешала вызванная милиция.

* * *

Ещё перед самой революцией по Москве можно было безопасно пройти из конца в конец, — теперь на улицах стали раздевать. Стали нападать и грабить сберегательные кассы, магазины, особняки, многоквартирные дома.

* * *

Ночью шайка вооружённых (часть — в офицерской форме) заняла все входы «Латинских меблированных комнат» в Большом Козихинском переулке, объявила «обыск по важному делу». Перерезали телефон, связали прислугу, жильцов согнали в одну комнату. Душили заведующую, требуя ключей от несгораемого сундука. Не получив — оторвали от пола шестипудовый сундук с деньгами и ценностями, унесли весь.

* * *

На Садово-Кудринской вооружённые пытались ограбить особняк С. Т. Морозова.

Ограбили храм Богоявления Господня на Елоховской. При преследовании воров один подстрелен, но убежал.

А поймают вора — первым делом самосуд: «Из милиции их отпускают».

* * *

Повздорили в лазарете — и заразные больные идут по городу жаловаться в Совет солдатских депутатов.

* * *

А на Тверском бульваре у памятника Пушкину, по тёплому времени и светлеющим вечерам, митинг стал уже, кажется, круглосуточный и вседневный, как будто никогда не прерывается, только на кирпичной колокольне Страстного монастыря прокручиваются уходящие часы, часы. Люди меняются, а толпа не редет. С гранитных уступов памятника постоянно кто-нибудь возглашает, ему откликаются из толпы, иногда голоса перешибаются звонами проходящих близко трамваев. К краю толпы подъезжают порожние извозчики, встают на козлы и тоже слуша-

ют. Мальчишками облеплены окружающие фонарные столбы и деревья бульвара. И с проходящих трамваев соскакивают к митингу любопытные.

— Почему именно мы, поверженные, взываем «без аннексий и контрибуций»? Нам наступили на грудь, на горло, а мы хрипим: «Ладно, я тебя прощаю, иди!»

Взлезает к памятнику, до чёрного мрамора, лбастый солдат, срывает папаху с головы:

— Буржуазия всё равно никогда мира не заключит! Она нашей кровью кормится! А мир — так мир, втыкай штык в землю — и домой. Какая нам выйдет земля, ежели её без нас делить почнут? Один шиш.

А уже на памятнике вместо солдата господин в мягкой шляпе:

— Где те маклера интернационализма, которые уверяли нас, что в Германии уже началась революция? что в Берлине образовался Совет рабочих депутатов?

— А вы, извиняюсь, почему на фронт не идёте, морда раздатая?

— Он пойдёт, когда ты пойдёшь.

Пронзительно кричит женщина:

— Кошелёк мой вытащили!!

* * *

В призывной комиссии по пересмотру белобилетников над каждым врачом поставлен «общественный контроль» — от Совета солдатских депутатов. Вот — проверка глаз у интеллигента, врач велит фельдшеру впустить по капле атропина. Мурло бунтует: «А почему другому гражданину пустили по три?» Доктор робко: «Глаза бывают разные, некоторым вредно больше». — «Нет! — кричит солдат, — теперь равенство! У кого твёрдый глаз, у кого мягкий, — всем пускать поровну!» И настоял.

* * *

Домовладелец Васильев с Чистых прудов не скрывал своих убеждений в пользу свергнутого строя и открыто высказывался на митингах. К нему домой пришли несколько молодых людей с ножами и зарезали.

А — ничего не взяли.

* * *

В Варваринском обществе народной трезвости на воскресенье 23 апреля была назначена и началась публичная лекция профессора Н. Д. Кузнецова: «Задачи момента относительно Церкви». Мысль докладчика была, что служение Церкви не зависит от политики и от партийных интересов. Публики собралось больше тысячи человек. Во время прений в зал вошла группа вооружённых солдат и рабочих. Подбежали к Кузнецову и к духовным лицам в президиуме и навели револьверы: «Ни с места, вы арестованы!» Один вскочил на стол и стал читать бумагу от Совета рабочих депутатов: что не время заниматься религиозны-

ми вопросами, это отвлекает от революции, помещение реквизируется за антиреволюционное направление. После этого публике: «Очистить зал! Уходите! Будут стрелять!» Аудитория пришла в смятение. Одни бросились на лестницу, давя друг друга. Большинство перешло в соседний домовый храм, стали на колени и молились. Вторженцы с револьверами выгнали всех и оттуда.

* * *

Сбор Дубинского на Скобелевской площади на Заём Свободы в воскресенье вечером оказался — жульничество: драгоценности до Займа не дошли, и деньги не все.

* * *

Народовластие, как у нас, основано на доблести граждан.

Аджемов

* * *

Не думал Воротынцев, что в нынешние дни ждёт его в Ставке радость. А случилась. В оперативном отделении появился 2-й генерал-квартирмейстер, новая такая должность, надуманная Деникиным себе в помощь и в обход Юзефовича. Каждый новый начальник всегда притягивает своих — и Деникин для прочности притянул генерал-майора Маркова, бывшего своего начальника штаба бригады. На три года моложе Воротынцева, а уже генерал, и Ставка даже ещё долго задерживала его производство из-за молодости — а воевал он исключительно успешно, отлично, имел Георгия и 4-й и 3-й степени, и второе георгиевское оружие.

К кому бы другому, а к нему Воротынцев не испытывал зависти, но радовался как за себя, как за свой бы более удачный путь. Он знал Сергея Маркова ещё по Петербургу, когда сам уже кончил Академию, а тот только поступал. Бывает, что люди не просто нравятся нам, а вьются в душу, так мы с ними сразу открыты и пронимчивы для общения. И очень уж хорошая у него улыбка.

Подходит ли человек к военной службе и на каком уровне — на это намётан был глаз Воротынцева. Марков был — из тех, каких совсем немного среди офицеров, как заметил маршал Саксонский: кто занят высшими сторонами войны. Он — на месте был в Академии, когда учился там, а потом преподавал: так и впивался в военную науку. Но на месте же был и боевым начальником: природный драчун, как и должен быть всякий военный, и искал победы через отчаянные ситуации, не бережа себя. Прорвав австрийские позиции со своим 13-м полком и отрезанный, он велел трубачам играть полковой марш, собрал свои рассеянные силы, погнал австрийцев и ещё привёл две тысячи пленных. Другой раз, в Великом отступлении, не взорвал речного моста, как надо было: пожалел поток беженцев, и шесть часов вёл бой прикрытия, пока все прошли, — только тогда взорвал. Не из тех командиров он, как у нас бывает: если атакуют соседа, то радоваться, что тебя не трогают, и не помогать.

И по всему характеру Сергей Марков был понятен и близок Воротынцеву: прямой, откровенный до резкости, общительный, не таящий возражений, упрёков. Нервный, худой, легко вскакивал, быстро ходил, роста чуть ниже Воротынцева и в плечах уже. У него было строгое, тонкое, выразительно-подвижное интеллигентное лицо, и только накладывались франтовские усы, закрученные остриями, а борода — скромным аккуратным клинышком. И ещё было у него сходное с Воротынцевым — лёгкий язык, умение говорить с солдатами. Да он вот в марте побывал в переделке в Брянске, куда послан был успокаивать мятежных солдат, а они едва не растерзали его, но он нашёлся — и ещё они его качали.

И не одно это было место, куда его посылали за минувший месяц, — то сидеть на штабном армейском комитете, то на гарнизонном, то уговаривать эшелоны, забастовавшие ехать на фронт. А то — во 2-й Кавказский корпус, и там он вмешался трагически: слишком пылко упрекал генерала Бенескула, принявшего командование корпусом из рук прапорщика-бунтовщика, — и Бенескул через день кончил с собой. Офицеры корпусного штаба за то назвали Маркова убийцей — и Марков изнервничался до дурноты, никогда ничего подобного не переживал и в боевой обстановке, и угрызался, — но и не мог же он равнодушно отнестись к податливости Бенескула, это конец армии! И просил, чтобы корпусной комитет теперь отдал его суду как убийцу — но, напротив, на сол-

датском сборе комитетов ему устроили овацию: что верно он рассудил, не мог генерал принимать поста от прапорщика!

Так истрепался он ото всех изводящих безобразий — и ушёл изо всех комитетов:

— К чёрту! За один месяц революции я состарился больше, чем за всю войну.

Так наболело ему в 10-й армии, что очень кстати пришёлся вызов в Ставку. Но и Деникин тут, надеясь теперь на внезапный революционный опыт Маркова, поручил ему наладить связь Ставки с большой прессой (как будто та пресса сама понимала, куда несла!), «дать Ставке рупор» и наладить «Вестники» в каждой армии.

Идея была правильная: заливала армию социалистическая необузданная печать, а голосов Главнокомандующих и командующих не слышала ни страна, ни даже солдаты. Идея правильная, а:

— Противно. Не солдатское дело. И до чего мы дожили? Во что война превратилась?

Во что?! Этот вопрос накатывался. И было крайнее время, не мямлить.

Очень они двое друг другу обрадовались, скинулись, встречно и по несколько раз в день разговаривали. Понимали один другого с едва начатой фразы. Так Марков вот и заменил Воротынцеву Свечина, уехавшего со своим фаталистическим «поживём-увидим».

Марков — не жалел прошлого, он уже черпанул настроения от революции:

— Многое подлое ушло. Но и — много же накипи всплыло.

И, вполне неожиданно, одобрял проект комиссаров в армии, даже сам такой проект составил и послал в военное министерство:

— По крайней мере, перестанут офицеров травить. Разделим ответственность с комиссарами.

— Да Сергей Леонидыч, от чего ж это спасёт? Какая же армия будет при двоевластии?

— А какая сейчас?

А сейчас уже пишут: почему это за солдатские проступки будут судить полковые суды, а офицеров — высшие инстанции? Даже, мол, мелкие проступки самого командира полка могут разбираться на полковом суде!

Куда же дальше?..

А самовольный сгон национальных частей? Как украинцы едут в Киев. Солдаты дезертируют и сами выбирают, под какое знамя стать.

Куда ж дальше воевать? (Это — пока осторожным подвóдом, здесь можно и с ладным Марковым не найти общего языка.)

Марков был — как близкий, понятный свой двойник, сливались они в жгучей заботе спасти армию. Но прежде чем изложить ему своё трудно выговариваемое, слышал от него:

— Слишком много стали болтать «война до победы». А вот — как эту победу теперь взять?

Вот и опять: значит, не Россию спасти, а — Победу? Не новый урок, обычный раскол: твои союзники оказываются тебе и не союзники?

Но с Марковым и разногласия напиткивали каким-то удовлетворением. Надеждой. Свой.

Развернулся к нему так:

— А — какие цели могут быть у нас в «войне до конца»? Этот чёртов Константинополь? Но взять его — это именно увеличить опасность следующей войны. С суши его легко против нас и штурмовать. Значит, надо присоединять ещё и широкую сухопутную полосу? И несколько миллионов турок? И — зачем это всё? Мы только ослабнем. Нам достаточно нейтрализации проливов. А свободный проход признан ещё в 1829 году. И в мирное время никогда не нарушался. А в военное нам Дарданеллы снаружи всё равно закупорят, кто захочет.

— Да не именно обязательно Константинополь.

— А без того — и тем более: что эта война нам сулит? Проиграть можем — Белоруссию, Прибалтику. А выиграть — что? Снова занять всю Польшу? — и тут же надо сделать её независимой. Вступая хоть и в Берлин — что взять? Восточную Пруссию? — да упаси нас Боже. Ну разве возвращать себе Галицию, исправлять, что напутал Александр I, и ещё до него?

Вон маршал Жоффр, обрадованный новому заокеанскому союзнику, отправился туда и очень советовал послать наконец побольше оружия плохо вооружённой русской армии, и та нанесёт свой мощный удар с Востока — да так понять, что хорошо бы вместе с японцами и китайцами.

— Вот что! — японцев и китайцев привезти на наш фронт. Наводнить ими Россию от Владивостока до Минска и кормить русским хлебом. Додумались.

Да разве чего-нибудь в мире жалко для победы Согласия? Во всяком случае — не России.

— Георгий Михалыч, когда говорят «до конца» — имеют в виду почётный мир. До конца — мы должны пройти весь путь с союзниками.

— А ясно глянуть — какие они нам союзники? Они всю жизнь были заняты только собой, мы для них — дикарская окраина, и в чём они изменились к нам от Крымской войны? Свечин говорил, один французский генерал признался ему: никогда бы Франция не выполняла таких самоубийственных обязательств, какие мы выполняли в августе Четырнадцатого. А всё лето Пятнадцатого, когда мы погибали, — они же не шевельнулись. «Мы захватили домик паромщика и один блиндаж». Мы были жертвенны к ним за пределами наших национальных возможностей. В Девятьсот Седьмом в Германии пробивался «русский курс» — а мы упустили, приковали себя к Англии. А они всю войну ещё брезговали, стыдились союза с нами. А мы — всё должны доказывать Согласию наше благородство.

— Честь. Ничего не поделаешь, честь России.

— Да при сегодняшнем балагане — какая уж осталась честь? Нам надо уже не союзников спасать, не войну, а — саму Россию, внутреннюю!

— Георгий Михалыч, ну что толковать о несбыточном? Конечно, мы легче бы перенесли революцию, если бы не было войны. Но она — есть, она-то и давит нас.

И все разговоры поворачивались в упор на Временное правительство: что ж оно думает? Марков ещё надеялся на него.

А Ольда пишет: жуть, правительство в ничтожестве, его просто нету. (Пишет обо всём петроградском, отречённо, без личного замысла, без попыток выяснять. Понимает, что ему сейчас — силы нужны. Спасибо.)

А тут — донёсся апрельский шквал из Петрограда, и правительство едва не перекувырнулось.

Так теперь-то — научились они чему-то? Хоть от этой встряски — очнутся?

— Новопоставленному, свежемун правительству, свободному ото всех прежних обязательств, — вот ему бы, Сергей Леонидыч, и окончить войну! А то негодуют: как это нашлась рука, которая несла по Невскому «да здравствует Германия»? А как же они сами в Пятом году носили «да здравствует Япония»?

Да говорил — и сам не верил. Через э т о правительство — нет, не спасти.

Но сколько в штабе ни засиживайся, а надо же идти и домой.
Что ждёт сегодня?

Георгий эти дни сперва надеялся, что Алина взорвалась случайно, что всё будет заглаживаться, забываться... Нет! В комнатах флигелька сгущалось гневно-обиженное давление. Войдёшь, обед, случайные фразы, мелкая повседневность, может сегодня-то обойдётся? Алина как будто спокойна? — нет! Вдруг настораживались её глаза или она тревожно крутила головой, как лукаво введенная в опасность, находила болезненное место, где и близко его не было, и, убыстряясь на задыхание, выбрасывала что-нибудь острое. И как уклончиво ни ответь — начинался спор, да по ничтожному пустяку, так что через пять минут не вспомнить, из-за чего началось. И Алина, в другие часы приторможенная, воспринимающая как бы туманно, — в этих спорах мгновенно загоралась недоброй радостью и как заглывала мужа, не он оказывался в доводах сильнее: не было случая, чтоб она не нашла ответа, и ответ её был меткий, быстрый.

Да мог бы он возразить на одну, другую, третью её фразу, но против чего не мог возразить — против её страдания, — перенапряжённого душевного страдания — в голосе, в дыхании, в сжатом лбу. Он видывал страдания раненых, умирающих, но то были — мужские, и не им вызваны, а это — он создал и вызвал сам.

Чудом было бы, если б это так просто зажило. Нет, так просто — между ними не может уладиться.

Сам же, первый, двинул лавину, — по легкомыслию? по простоте? по широте? по глупости? как мог? — непостижимо.

Но теперь — ему и платить.

А как ей не метаться? как не подозревать в нём двусмысленность? — если он и сам в себе её не решил.

Или — уже решил?

Оставить Алину? Невозможно. Как ни досадлива, как ни утомительна она бывает — а посмотришь в природнённые серые её глаза...

Бросить её — невозможно.

А возможно ли вот так: затоптать в себе? весь открывшийся жар?

В сорок лет?

Невыносимо.

Но и остаться с ней — в раздвоенности, в неполной искренности, в сокрытии — тоже не выходит, нет.

Эта тяга, тяга прочь. Будет влечь, калиться. И разве это укроешь?

А она, конечно, будет чувствовать. И биться, биться.

И вот так, всё время, в колоченьи жить?

Тожe невыносимо.

Решаться.

Сдвинул-то — он. Виноват — он.

Надо платить.

Кажется, решился.

И вчера, в субботу, сидели с Алиной к вечеру дома, и Георгий — да вполне честно с собой — убеждал жену: что он совсем вернулся к ней, вернулся навсегда, надёжно, — и пусть она успокоится, осветлится.

И она — осветлилась. Совсем мирно прошёл вечер.

Говорил честно, — а всё внутри тосковало: неужели вот так, и навсегда?

Чего он только не мог ей сказать — но должна ж она сама понять? — что прежнему его бездумному восхищению уже не вернуться. И прежней лёгкой радости не будет.

Уныло.

Теперь — тяжело будет.

Но другого выхода нет.

Зато он уверенно поднимет её из мрака.

По всему лотарёвскому имению подходил сев к концу благополучно, скоро останется только просо. Хотя весна поздняя, но прошли тёплые туманные дожди. Вскоды замедленные, но дружные. Заботы на конном заводе: скинула Прихоть, а Баден пал, не выдержав операции, по-видимому воспаление брюшины; уже он был негоден как производитель, но жаль его. На питомник луговых трав

профессор Алёхин прислал из Москвы студента-ботаника на месяц, а сам приедет позже. При возможных волнениях наёмных рабочих — жалел князь Вяземский, что так и не купил двух тракторов, а уже близко было, и тогда бы обойтись малым числом работников. От нынешней нехватки рук придётся сокращать высшие культуры и заменять более простыми. А если «снимут» пастухов — что делать с тонкорунными овцами?

Да все заботы по имению были обычные, бодрые, кроме вот этих нависающих волнений. Настроение крестьян — проходящими полосами, и каждое утро не знаешь, какого ждать сегодня. Где князь успевал побыть сам, как в Коробовке, — там лучше. В Дебри его так и не позвали. (Когда выгорели Дебри — отец подарил им кровельное железо и кирпич.) А в Падворках, передают, уже смакуют — «вся земля всему народу», с самыми абсурдными выводами, и даже были выкрики к погрому имения. И в Ольшанке настроение, в общем, отвратительное.

С крестьянами мы никогда не говорим с тою свободой, как в своём кругу. А вот — теперь надо с усилием искать правильный тон.

Князь Борис усвоил такую манеру: на недоброжелательные или глухо-угрозные замечания отвечать спокойным тоном, шуткой, улыбкой, хотя на сердце — мрак и разрывание. И этот спокойный тон ставит крестьян в тупик, невольно думают: на чём-то же его спокойствие основано? а может, это мы в своей свободе что-то промахиваемся?

Их настроение перемежается полосами — и вот пошла полоса потрав. И Падворки, но и Коробовка стали пасти по нашим парам, по нашим лугам, и вообще повсюду, где мы пасём. На потравы посылают мальчишек и баб. Их сгонят — мужики опять их посылают. Делай что хочешь. Теперь не оштрафуешь. А бабы стали красть хворост из парка, даже из сада.

Ощущение зыбкости и ненадёжности земли под ногами. Кругом — стихия, а своих никого. И в этой стихии спокойствие и бури одинаково загадочны и не поддаются предугаданиям. Где правда: в этих потравах — или как качали князя недавно при красных флагах? Что за непробиваемое, неуловимое народное дремучее лицемерие?

Отпокон они дворянам не верят, и вряд ли тут что поделывать. Рассказывал покойный отец: отчего возникли поволжские холерные беспорядки в конце 80-х годов? Вдруг разошёлся слух, и все

сразу поверили: крестьян расплодилось так много — помещики, чтоб не делиться барской землёй, решили народу поубавить. А как? — войну бы завести, так Расеи побаиваются, никто нас не задевает. И вот помещики стали нанимать докторов и студентов, чтоб они травили народ: клали бы отраву в колодцы и называли бы это холерой. (И кинулись — рвать докторов.)

Банальная фраза: «Народ — это сфинкс». Надо добавить: дикий сфинкс, невежественный, с детской жестокостью — и не верящий ни своим же избранным, ни тем, кто знает больше, ни даже самому себе — но легко верящий любому встречному ветрогону.

В Падворках один сказал: «Как хотите, ваше сиятельство, но мы теперь за Ленина, и не отступим от него ни на шаг».

И это — от одиночных пока дезертиров. Да от газетных клочков. А что будет, когда вернутся домой *все* войска?

Их советская газетка так и пишет, почитал в Усмани: «Триста лет Романовы дарили земли своим приспешникам. И все годы крестьянский пот орошал эти земли. Пришло время народу получить обратно своё достояние. В тот час, когда пал венец с головы последнего Романова — раздался похоронный звон над всем российским поместным дворянством. Ему не место в свободной России! Вся земля — народу».

И это ведь доступно прочесть любому грамотному крестьянину или солдату.

Похоронный звон!..

Да, кажется, он уже слышался. Хотя вокруг Лотарёва всё ещё сохранился оазис тишины. Как и во всякой буре бывает.

И с каким же сердцем вести хозяйство?

Ещё до осени — может быть, как-нибудь дотянуть. А осень? — самый яркий период в хозяйстве, это плотнённый весь будущий год, время проектов и планов... Склонялись с Лили: на эту осень — уедем совсем! Какие теперь можно строить планы на будущий год?

Ещё недавно было трудно расстаться с Лотарёвым на неделю — а сейчас омертвело как-то.

Заколебалась земля под хозяйством — но не твёрже и в земстве. В земское собрание намешали никем не выбранных «демократических элементов», просто хамов и черни, и совершенно не сведущих ни в каком деле. Хотя, по распоряжению князя Львова, новый расширенный состав не имеет права смещать старые земские управы — но во многих уездах уже смахнули, так, видно, будет и в Усмани. А кончится земство — кончится и роль уездного

предводителя. Уже и сейчас — что приносит она? Вот — уездное попечительство о семьях призванных. Новые волостные комитеты не справляются присылать сведения, и целые волости остаются без пайков солдаткам, — а всё валят на уезд и на князя Вяземского, само имя его становится ненавистным. (Уже и без того ненавистное за решительное проведение набора в уезде в прошлом году.)

Да общественная деятельность никогда и не восторгала князя Бориса, хотя он умел и вкусно сказать речь, и сорвать аплодисменты, примирить непримиримых, и проходили его резолюции. Но раньше через такую деятельность протягивалась цепь общепользных понятных дел, каждое со следующим связано. А теперь — только болтовня да резолюции.

Тревожились, как доедут с гробом наши. Они добыли вагон, но не обратный, — потом из Грязей уезжать как придётся. Разумно отказались привозить детей. Но в Грязях всё возможно, во что превратилась такая привычная, почти домашняя станция? проезжие солдаты недавно убили священника, то избили начальника станции. Что за зверство, что за лихолетье?

А в склепе место для гроба Дмитрия пришлось приготовить в стене: уже тесно, и не трогать же наших дедов и тёток. Надо будет склеп расширить.

С гробом приехала Мамá, вдова Ася, сестра её Мая, Дилька без младенца (оставила с кормилицей) и без мужа, он всё по Красному Кресту гоняет (и может быть, наиболее разумное место сегодня, вот лишишься уездного предводительства, разорят Лотарёво — и что ж, в окопы?). Адишка — на фронте, а Софи в Царском Селе, собрала детей ото всех трёх ветвей. (Борис с Лили ещё не теряли надежды, что родятся и у них.)

Встречали их на станции несколькими парами. Запаанный цинковый гроб повезли прямо в Коробовку и поставили в церкви незадолго до вечерни, как раз воскресенье. И — все поехали к вечерне. Ночью над Дмитрием будут псалтырь читать, завтра утром ещё панихида.

У сельской вечерни обычно не бывает много народу, больше бабы, по левой стороне. Но в этот раз — привлечённые привозом гроба? из любопытства? — пришли гуще, и в правую мужичью сторону тоже.

Вяземские, как всегда, стояли впереди, но стали замечать, что что-то шумно в церкви, за их спинами. Любую службу, сколько б

она ни длилась, коробовские крестьяне всегда выстаивали каменно, а что же тут? Входили, выходили, разговаривали. Обращиваясь, заметили как будто посторонних?

Вечерня кончилась уже в сумерках. Сразу за папертью к князю Борису подошёл незнакомый высокий матрос в безкозырке и, не представляясь и никак не обращаясь, где уж там сиятельство, спросил нахальным тоном:

— А где вы думаете хоронить вашего брата?

Как всегда с усилием принуждая себя к верному тону, не давая себе возмутиться, Борис ответил:

— В нашем склепе, под церковью.

— *Вашего*, — выпалил матрос, — теперь ничего нет, запомните! Если вы только попробуете — мы всех ваших покойников оттуда повыкидываем!

Матрос этот был — явно не коробовский. А рядом — подошли, слушали, но уже было темно — не разобрать, ни чьи они, ни выражений лиц, как они к этому матросу? Но — и никто ж ему не возразил.

В своём многолетнем гнезде, у паперти отцовской церкви — и какая опора?

Ответил, стараясь твёрдо:

— Поступлю, как сочту нужным.

Родные уже садились в экипажи, не слышали. И к ним присоединяясь — Борис ничего не сказал при матери, думал.

По складу своего практического ума он думал не над этой символической насмешкой, что умер Дмитрий как бы за революцию — и революция же вышвыривала его из могилы. Но: как же правильно поступить? Сдаться? — позорно — но и благоразумно. Настаивать? — тактически верно, но и опасно.

А для Мамá эта угроза была бы ещё большей. При ней — не сказал. Она поднялась к себе — и Борис собрал молодых на первом этаже, в малой гостиной.

Вот какой получился семейный совет: четыре женщины, он один мужчина. Как бы они ни голосовали — а тяжесть решения на нём. После ранней смерти отца, с 25 лет он и стал главой рода. Всех умел сдерживать и образумлять.

Итак: либо настаивать — и завтра хоронить. Либо — уступить, и тогда везти гроб назад в Петербург, и хоронить, очевидно, — это он тоже уже додумал: в левашовском склепе в Александро-Невской лавре.

Хотя — обратного вагона нет, ещё сколько намучиться с гребом.

Вдова была в угнетённом рассеянии. Так ли, этак, — никто не вернёт Асе мужа.

Мая — тем более в стороне.

Но — всех опережая и отменяя всякие возможные возражения — буйноголовая, рыжеволосая, зеленоглазая Дилька просто взорвалась от негодования: как?? да что за наглость? не уступать ни в коем случае!

Бешеный пыл её не умерился и от рождения четырёх детей. И мужество отчаянной конской скачки, любого физического подвига, и абсолютная независимость взглядов всё так же жили в ней, в её львином голосе:

— Да кто мы? — и кто они? Кто построил им всю эту церковь? Да что бы сказал отец? Да как мы будем на себя смотреть, если уступим? И ведь Митя даже просил именно тут похорониться!

Выглядела неукротимо.

— Нельзя им показать, что боишься! Да и не посмеют они скандалить в церкви.

А Лиля, с тонко писанным лицом, нервно покачивала переплетенными тонкими пальцами и возражала ласково:

— Диль! Тебе легко говорить: ты через три дня и уедешь. А нам тут — оставаться и жить. И справляться со всеми последствиями.

Она не любила Дильку за взбалмошность, за оголтелую резкость.

Борис колебался как никогда. Да, он будет презирать себя за уступчивость, оказавшуюся ненужной. И ляжет пятно на всю историю рода: тело мёртвого героя трусливо увезли от похорон. Но и — рисковать крестьянским взрывом, когда всё еле-еле держится? Еле-еле найден тон в этой небывалой обстановке — и сорваться?

Возникло это случайно? — просто нет ничего *вашего*? Или особая ненависть к Дмитрию?

В Пятом году здесь, вокруг Лотарёва, было тихо, — а в другом имени, в Аркадаке, волновались. А Дмитрий как раз был там, и с коня помогал усмирительному отряду давить беспорядки. А из Аркадака сюда всё быстро переносится, да коней же возят.

Наверно, помнят.

Конечно помнят.

— Но отец построил им церковь, больницу, школу! но из уваженья к отцу? Они не посмеют!

Борис скептически усмехнулся:

— Дед Пахом сказал мне так: довольны мы покойным князем премного, а благодарны — за что бы? Ведь он же не для нас делал, а для спасенья своей души.

А сегодня — в окрестностях бродят агитаторы, подбивают крестьян захватывать землю. Только дай толчок — и начнётся погром.

Все говорили как будто тихо, одна Дилька громко, — но Мамá услышала, и пришла со второго этажа — высокая, спокойная. От смерти Дмитрия она не согнулась, да это было и в характере её: всегда прежде всего организованность и пунктуальность.

Стыдно стало, что обсуждали без неё. Открыли.

Бешеный темперамент Лидии, да и Мити, — был не её, хотя возмущаться она умела страстно. Методичностью, прагматичностью (сказывалась бабушка Тизенгаузен?) она ближе была к Борису.

Но и — твёрдостью.

Молодые теперь молчали, она обвела их глазами гордо:

— Князя Вяземские — не мелкие воришки. Это — наш родовой склеп.

И положила спору конец.

Ася высказала плачевным голосом:

— А что если попросить отца Леонида прочесть на похоронах приказ Радко-Дмитриева про Митю?

Хорошая мысль! Хорошая.

ДОКУМЕНТЫ — 16

Опубликовано 23 апреля

КО ВСЕМ КРЕСТЬЯНАМ

...Сторонники свергнутого царя говорят, будто революция оставила страну без хлеба. Они клеветают, будто крестьяне не везут хлеб в города потому, что они против свободы. Крестьяне! Если хотите сохранить свободу, навеки свергнуть иго земских начальников, стражников, помещиков — спасайте революцию! Без свободы не будет и земли! Везите же немедленно как можно больше хлеба к мельницам и пристаням. Каждый куль хлеба — это сейчас прочный камень в основание здания новой России.

Петроградский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов

Нонешнюю Пасху, первую за много лет, — не провёл Ковынёв у себя в станице: затурсучился в Питере с общеказачьим съездом, а тут уже подоспевало ехать на донской, а заехать прежде к себе в Глазуны — так при сегодняшнем перелихом разливе и до Новочеркаска потом не доберёшься.

Петроградский казачий съезд принёс ту горечь, что казаки — не оказались едины, кто бы мог ждать такое? После жарких схваток в столичном зале, когда, как на майдане, все когакали и широпёрнулись («допустить иногородних!» — «мужика пожалковал? целуйся с ним сам!»), часть казаков-фронтовиков, которых так зазывали, тоже окликнулись, откололись от съезда, назвали себя «партией трудового казачества». Без них наконец решили: все земли, леса, воды и недра есть неотъемлемая собственность каждого казачьего войска, и оно — полный хозяин своих земель. А вторая болячка: разорительный порядок казачьей службы — поголовная справа со своим конём, своим снаряжением и обмундированием, но и не во время ж войны менять? — а просить теперь же у Временного правительства казённой помощи на непосильные казачьи тяготы. Но порадовал съезд резолюцией о братстве между казачьими офицерами и рядовыми казаками: отныне нет между нами начальников, а только старшие и младшие братья! А потом был Ковынёв в делегации от съезда в Мариинский дворец, — принял Гучков, и упросили его не разгонять штаб походного атамана при Ставке, он же обещающе призывал казаков — помочь построить и всю Россию на старых казацких выборных началах.

Это — справно! Это — по-нашему! Да давно бы так!

По пути на юг заезжал к брату Александру в брянское лесничество. Что он жаловался в письмах раньше на всю военную разруху и недостачи в заготовке дров, в лесопильном заводе, в провианте, — теперь уже мелким казалось перед развалом этих месяцев, когда рабочие и даже пленные стали дыбиться. Исхудал, забегался, какой-то рок над ним, несчастным.

Но и на станциях, на разных пересадках, вот в Грязях, навидался Ковынёв странных этих картин: на станционных платформах под солнышком — сидят и даже лежат, десятками, кучками, и видно, что часами многими, — солдаты, мужики, бабы. И все — гры-

зут семячки, уже обсыпано шелухой вокруг каждого, а несколько о чём-нибудь спорят. Груды людей здоровых, рабочих, изнывают от безделья, жаркой истомы, скуки, безнадежного ожидания чего-то неведомого. И споры — самые изнурительные, пустые, досадливые, никуда не ведущие, а мысли низкие, как-нибудь поддеть и уязвить соседа. То рассуждают: взять бы землю не штука, да как потом промеж себя не перерезаться? То — паровозный кочегар и шахтёр доказывают, что бросили бы дело своё и кинулись бы на землю, а им: а у вас *приложение* к земле есть? А лошадей? Так пусть каждому казна подарит. А лошадь тоже требует, чтобы вокруг неё походятайствовали. А кто на твоём паровозе останется, если все покидают? — И так часами. И никто не понимает: зачем он вот сидит в незнакомом месте, без дела, без смысла, без радости, неумытый и одуревший? Как будто свобода открылась и посулы большие, а утехи мало во всём том.

Столько десятилетий в великом безмолвии страны было нечто значительное, сосредоточенность страдания и мысли. А как заговорила... — ах, лучше б ты не говорила! — словами потёртыми, пошлыми, занятыми из листовок.

Вот такой очерк — да послать в «Русские ведомости»? — ведь не напечатают? И про великую молчальницу, и лучше б ты не говорила?.. Ох, это надо смягчать, о Свободе — надо весьма осторожно выражаться, она очень обидчивая, чувствительней царя.

И в газетах же жалуются: отчего теперь не слышно набатного голоса наших писателей? Сейчас так хочется верить, носить в сердце не жгучую боль, а надежду, — кто бы нас подбодрил, кто бы указал?

А — сунься, напиши.

Да сейчас не миновать посылать и очерк о новочеркасском донском съезде. А что там увидим?

По Крещенскому спуску поднялся к Собору на извозчике — да тут же наискось и остановился в «Золотом якорю», окно досталось — на Соборную площадь с Ермаком.

Ещё два дня оставалось до съезда — но уже многие приехали, все ходили к знакомым, встречались в гостиницах, перебраживали и группками стягивались на бульварах Платовского, Ермаковского проспектов и в Александровском саду. Не узнать патриархального Новочеркасска — весь март пробурлил, и в апреле не стало разреженной, — митинги, красные флаги. Засели иногородние в атаманском дворце и в областном правлении, захватили и

«Донские ведомости». Очнулись казаки неповоротливыми и беззащитными на собственном своём Дону.

Зык пошёл по народу.

Но всё изменилось со середины марта, как учредился Донской союз и устоял перед всеми угрозами. Прокудник Голубов пришёл на заседание Союза в правление станицы у Троицкой церкви, как раз в день Благовещения, и стал громить: «Помните, граждане, если не разойдётесь и не прекратите ваше контрреволюционное собрание — разгоним! Не забывайте, что у нас — 16 тысяч штыков!» А Бояринов ответил: «Хорошо, кликнем и мы по станицам, сколько у нас шашек!» И выгнали есаула Голубова, он убежал, грозя кулаками. Тут же они устроили в устрашение парад расклябанного гарнизона — так здешние казачьи сотни вышли на парад тайком с боевыми патронами. Союз — устоял, и все теперь знали, что есть у казачества защита, присылали ходоков из станиц, слали приветствия и с фронта. Устоял и потому, что комитетом насаженный атаман Волошинов с оглядкой и тихо, а стал тоже опираться на Союз. И Союз открыто готовил выборы в Войсковой Круг к маю и готовил проекты решений для апрельского съезда. Скинуть солдатский сапог! взять управление Доном в свои руки! Д о н д л я к а з а к о в ! К Донскому союзу примкнуло и общество донских учителей, и союз учащихся средних школ, и общество чиновников. Стали издавать свой «Вестник» и «Казачью почту». Нет, нас голыми руками не сварначишь!

Областной исполнительный комитет попытался созвать на встречу казачьему съезду свой съезд от городов, округов и крестьян — но не вышло у них, потому что не были они никак сроднены с населением области. И тогда они метнулись на агитацию: стали искать и раскапывать на окраинах Новочеркаска могилы повешенных в 1905–06 годах по приговорам военно-окружного суда, и возбуждённая толпа кинулась бить помощника полицмейстера. Про Донской союз кричали и печатали, что он коварно прикрывается прогрессивными лозунгами, а нельзя верить ему судьбу казачества. А из Ростова подпевал им «Азовский край», что Союз запугивает станичников, а в гостинице «Золотой Якорь» — «гнездо черносотенной агитации». (Влип Фёдор Дмитриевич...)

А приехавший из Петрограда эмиссар Временного правительства ругал петроградский казачий съезд за его решения о военных землях: это — сумбур, и какие такие особенные военные тяготы несут донцы: вот их 2 миллиона, а ставят 50 тысяч войска, мог-

ли бы и в пять раз больше! И успокаивал иногородних, что они — прямые наследники помещичьих земель в области, а Войску придётся поступиться частью и войсковых. И кое-где стали возникать комитеты иногородних и накладывать руку на инвентарь и землю не одних помещиков-казаков, но уже требовали и казачьих юртовых земель! А где посягнули рубить и войсковой лес! Начались самовольные запашки. Солдатские делегаты, обнаглев, ехали распоряжаться в Манычско-Сальских степях, а в гирлах Дона их азовский гарнизон (где вы были, когда мы держали Азов против турок?!) снял рыболовную охрану («комиссаром рыбных ловель» теперь стал адвокат) — и начали истреблять рыбу.

Ползут по станицам, тревожат эти слухи: что будут землю поровну делить с иногородними.

А — не хочет смириться неслухменное казачье сердце! А — не дадим своего казачьего уклада! И как управлялись мы ещё до Петра, — не расстрянемся с нашей старинной казачьей свободой! У нас, казаков, — всё своё, особенное! И нашу жизнь могут решать даже не городские казаки, а — станичники, вышедшие от земли, выросшие на коне. А другие — никто наших нужд не разумеют. И Временному правительству мы повинемся — лишь пока оно не против казаков! Не, наше казачье чутьё верх возьмёт!

А — и должно ж от революции казакам полегчать, а то же — как?..

Так толковали между собой перед съездом, и Ковынёв вместе с истыми казаками — чувствовал так же.

Но мало показалось врагам травить иногородних на казаков — ещё и казаков посунулись расколоть. И Голубов выкинул такое: «Нет единого казачества! есть казаки трудовые, а есть нетрудовые». А за ним повторял и казак-социалист Агеев.

Во-он куда! Ай, бритва остра, да никому не сестра.

И — кто же тогда Ковынёв? Он был тут — из самых заслуженных и давних революционеров. За Выборгское воззвание сидел в тюрьме. За революционную деятельность высылался прочь из войска Донского. С Пешехоновым начинал народно-социалистическую партию. Сколько очерков писал, хоть сдержанных, но против правительства, против правых, против всех порядков старого режима. В своих дневниках, чередуя с видами знойной степи, свинцовой Невы, вагонными встречами, пожаром на гумнах, и как ласкал у красоток мякитишки, и страшными картинами Турецкого фронта, искалеченная дорога на озеро Ван, и солдаты по 8 суток в

горах без еды, — сколько места раздвигал и описывал обильно: казака ли, пострадавшего за бунт, или питерского извозчика, в ком обнаружил бывшего городского со всеми его тёмными полицейскими рассказами. А по-нынешнему: если сам он почти не на земле, а сестра Маша бьётся с хозяйством, нанимая когда троих, а когда до семерых работников, — так значит, Фёдор Ковынёв — «нетрудовой казак»? Это — что? Переехав на юг, он не только становился, значит, больше донцом, чем русским, но ещё: из либерала — реакционером? С первого дня съезда, где он был не то чтобы видной фигурой, но заметной, в либеральных газетах и пригласили: небольшая группа умеренных станичников, руководимая народным социалистом, известным русским писателем (фамилию его не назвали), не только оказалась отсталой по своим лозунгам, но награждается кличками: «охранники», «опричники», «приверженцы старого режима».

Так это теперь Ергаков, рассчитанный Машею за недобросовесть и уже качавший кулаком у носа станичного заседателя, — разве остановится разгромить ковынёвское хозяйство?

О-го.

А ведь бродило в казачьей молодежи последние годы, уже порченные появились... Выпивка да карты, те выписывают по улице кренделя ногами, а тот и за матерью с ножом гулял. Хулиганы изменили в священной казачьей клятве слова на пакость — и распевают вслух. А в глазуновское правление трижды подкидывали письма, что запалят станицу с трёх сторон.

А что, и запалят.

Этой весной напомнила Дону гнев свой и природа — размахнулась на революционный манер. После многоснежной зимы снег ссунулся разом и начался такой разлив, какого сам Ковынёв не помнил в жизни, а старики называли дальний год. Незнаваемо вздыбился какой-нибудь Бобёр, не говоря о Донце и Хопре, а Медведица — всегда тихая, с песчаными отмелями, осыхающая летом до того, что ребятишки с удочками, засучив штаны, перебраживают с косы на косу, — взбушевалась, кинулась взломной водой, свалила железнодорожный мост, затопила луга, сады, левады, прибрежные хутора и станицы с амбарами и гумнами, валяла избы, плетни, прясла, снесла сотни десятин лесу, прорывала мельничные плотины, выворачивала ямы, портила дороги, топила гурты скота. А что же — сам Дон? По левому берегу разливался до 15 вёрст. Сколько казачьих хозяйств разорено! Нижнечирская вся затопле-

на, кое-где вода выше крыш, Старочеркасская спасалась лодками вместе с ревущим скотом на последнюю возвышенность, застигнутые плыли свиньи и куры по воде. Из Константиновской уплывали целые дома, слали туда баржи на выручку. У Цымлянской сорвало шлюзы, льдинами снесло телеграф на две версты, Елизаветинская полуразрушена. У Временного правительства запросил Областной комитет — только первой помощи миллиард.

(Сливаются образы наводнения и революции. И, как наводнение, сколько же обломков и мусора нанесёт, сколько оставит ям развороченных. Использовать в очерке.)

В канун казачьего съезда, в ту субботу, неделю назад, и на сам Новочеркасск налетел шторм небывалый, ломало деревья, а с аксайской стороны и по вздутой Тузловке прибывало к новочеркасской горе обломки построек, сарай, будки.

А Зинуша, по уговору, должна была приехать — вот в эту будущую неделю, после съезда, чтобы вместе ехать в Глазуновскую. Дал телеграмму ей в Тамбов: проехать нигде нельзя, телеграфирую после спада воды.

Да одна ли вода? Сколько тут взбухло и распирало — уже и Зинуша не помещалась. Переждать.

Необыкновенные донские дни весны Семнадцатого года! — и на них бы тоже растянулся донской роман, включить бы тоже и их? Да — кому теперь беллетристика? Теперь нужен поворотливый репортаж о событиях, вот и о съезде. И даже на него времени и головы нет.

Как ни старался Донской союз собрать чисто казачий съезд — не вышло. Съехалось большинство — не станичники, а только казаки по рождению. (Да как и Ковынёв...) Лезли всё «общественники» — тот, мол, каторгу отбывал, тот — социал-демократ, тот — эсер. Что ж станичники? — они ошеломлены революцией и вперёд не лезут, вместо них вот эти ораки. Но Ковынёву, который и вправду на плацдарме общественной службы уже 10 лет, видно, что *эти* — всё новые, или вчерашние мазурики, или несомненные босяки, даже хамы озорные, хотя все — «на пользу трудящихся». А фронтовые казаки — совсем мало приехали, или не спроворились их вызвать. Да приедь они во множестве, так, по петроградскому съезду, ещё и не знаешь, куда повернут: они уже много переняли от солдатского разгула.

И ещё съезд не начался, ещё только на вокзале встречали делегатов, челомкались, — развязалась суперёча: «общественники» по-

требовали отказать в местах на съезде: донскому дворянству, Войсковому штабу и всем другим штабным (самым создателям Донского союза!), окружным атаманам и представителям окружных управлений, — мол, они служили старому режиму! И от офицерского союза, от сословных групп не принимать: черносотенцы, долой! С этого и заколыхалась съездовская борьба в прошлое воскресенье, и что ж? — взяли на горло и на голосование, и чисто казачью группу, заслуженных старых казаков, — не допустили!

Об этом — уж непременно Фёдор Дмитрич напишет в «Русские ведомости», не стерпит. *Кого бы скovyрнуть?* (скутляшить, подонскому) — это модный мотив момента, в Петрограде вон каких скovyрнули — а мы хуже? да если артельно, кучей навалимся! (А тем временем солдатская саранча, затуманенная раздаваемыми *протолмацями*, двинулась и в глухие углы Дона — «скovyривать» и там.)

Открылся съезд в зимнем театре, 800 человек, сидели в партере вперемежку военные, судейские, учительские, инженерные ту JURKI, пиджаки, сюртуки, а то и бобриковые дипломаты, казачьи суконные чекмени, бородачи в повитухах, а уж обычная новочеркасская публика — на галёрке. И сосед Фёдора Дмитриевича, по виду приличный среброусый старичок, кивнул ему на архиерея в губернаторской ложе: «Не уедем отсюда, пока и архиерея не скovyрнём!»

Вослед баламутица тут же, в первый день: Волошинов, понадеясь на казачий съезд, своей атаманской властью отменил оголтелый приказ Военного отдела, что казакам вне строя отменяется отдавать честь офицерам. Смутьянский Военный отдел загорелся и постановил оказать Волошинову недоверие. Без съезда, может быть, скovyрнули бы и его. Но тут съезд встал за атамана: казачья честь — неотменима! не свелим такого!

Так и закачался съезд: то в ту сторону, то в эту. И сегодня качался — уже восьмой день, к концу. Из Петрограда направлять съезд приехал член 4-й Думы Воронков — и уж держался вдесятеро авантажней перводумца Ковынёва, всё время на сцене: «Меня пугало предположение, что ваш съезд не выполнит надежд. Но теперь я спокоен. Казак-республиканец скажет своё решающее слово». В тон выступал и Волошинов: «Нас продавали, нас предавали, над нами издевались. И мы дожили, что терпенье народное лопнуло. Я стою за демократическую республику — и иного правления быть не может».

Да уж Ковынёв ли не за демократическую республику! Да только что-то она у нас выворотная вытряхивается.

Была борьба между северными и южными округами при выборах президиума. Председателем победил директор каменского реального училища Митрофан Богаевский (он и петроградского съезда уже был председатель), — ничего не скажешь, златоуст, *донской Баян*. (А Ковынёв — даже и кандидатурой в президиум не прозвучал, не вспомнили. Другое поколение — другие песни, что ж.)

Из первых дел: разыменовали станицы Таубеевскую и Грабовскую (атаманы Таубе и Граббе), стряхнуть безтактные царские нашлапки, вернули казачьи названия.

Но по нынешнему времени в одни казачьи вопросы тоже не упрёшься. А что — ко Временному правительству? (От военного министра приехал с приветствием генерал Хагандоков, и внагон ему телеграмма от Гучкова.) Вот такой постанов: полное доверие. Тут выскочили Голубов с вагагой: доверие «постольку-поскольку». Ему: нет!! — не допускать давления на правительство и защищать от всякого ограничения власти. А после апрельской сумятицы в Петрограде — ещё раз доверие правительству, мы подчиняемся ему одному, и казаки всегда будут верны присяге! А петроградский Совет рабочих депутатов пусть опубликует фамилии своих неведомых членов да прекратит агитацию ленинцев, вредную для революции.

А — война? Вся округа в один голос: недопустимо ломать армию во время войны! Армия должна иметь железную дисциплину, и пусть не вмешиваются никакие общественные организации! Победа — во что бы то ни стало! (И ещё добавляли голоса: надо — и с нексиями, и контрибуциями!)

В этих же днях из Екатеринодара отозвалась и войсковая рада кубанцев: не допустить противодействия Временному правительству! Пусть петроградский Совет ясней определит своё отношение к нему и к войне! Не допустить разгрома России! Не останавливаться ни перед какими жертвами до победного конца!

Толклись на съезде донском, что надо искать новые формы управления. Нужны — новые, а какие — на просвет никому не ясно. Земское — да (но и казачье самоуправление — ещё отдельно). Демократическая республика... — а с национальностями как? — единая и неделимая, вот порешил съезд. А национальностям — самоопределение.

Что такое «самоопределение» почти никто и не понимал. Вот установим Дон по-своему, по-донскому — и будет самоопределение.

В чьей-то голове толклось, конечно: что нужна бы Донская Финляндия. Что нам, донцам, до судеб Российской Империи: хоть там царь али Временное правительство, кадеты или социал-демократы?

А Фёдор Дмитриевич и по сегодня хранил карточку дружка Филиппа Миронова: «За автономию донских казаков лягут наши головы!» Но сам — давно уже не был уверен, класть ли голову за то? Вот с таким Голубовым и его шантрапой — будет ли наш Дон краше?

А земля? Земля!! Вся донская земля — достояние казачества, добыта кровью предков, и много раз оплачена тяготами казачьей службы. И все недра земли, вся соль в озёрах, и леса, и промысловые рыбные ловли — Войску! И земли государственные, удельные, монастырские, церковные — Войску! Однако вот беспокоит: жили у нас пришлые на Дону, кацапы и хохлы, как у Христа за пазухой, плодились, хлебопашествовали, наполняли степи, гоняли быков, скупали овец, рыбу, — а вот уже их выросло больше, чем нас, казаков, — и им тоже землю? Другое б какое время и место — отпожаловали б им иначе, но после революции слишком круто не погуторишь. А вот что: помещичьи земли, они бывшие казачьи, да раздавлены царями, — выкупить на средства государства и раздавать по соглашению: и казакам (какие удобны казачеству — в первую очередь ему), ну и крестьянам. И надельные крестьянские за ними — чего им ещё?

И не будь в Ковыньёе казачье сердце — возмутился бы: эй, слишком много тянете, станичники! А на казачий погляд — так вроде и справедливо.

А — казачья служба? А — нет больше сил вытаскивать нам такую! Теперь — свобода пришла! Теперь — отменить поголовную казачью повинность, а — наравне со всеми в России. (Но — только в кавалерии! и только под командой казачьих офицеров!) И снаряжение казаков — за счёт казны. И при выходе казака на службу — платить пособию. (А налоги — не нам бы платить, а с тех, кто побогаче.)

Теперь — по всему Войску выбирать Круг! И казачкам нашим — выбирать с двадцати лет, как и казакам, наши бабы того стоят! А Кругу собраться — в маё, на неделе по Троице, — и за

200 лет снова выберет Атамана донское народоправство! Волошинов — так и будет временным атаманом до Круга, и Областному комитету и Военному отделу — ему подчиняться. А от казачьего населения оставим и свой Исполнительный комитет — и он за всеми делами до Войскового Круга последит.

Пошёл гутёр весёлый! Распрявился от первого ошелома Старый Дон!

— Нет, брешут вашего отца дети! Море вброд перебредём, а не поддадимся!

— Прикорót вам даём! Стерягись!

98

(Фрагменты народоправства — тыловые гарнизоны)

* * *

После той стычки с солдатской толпой в Кишинёве оттуда полетели телеграммы в Петроград с жалобами на контрреволюционный отряд есаула Шкуро, вот-вот началась бы у него война с комитетчиками, да и опасно было держать казаков в этом разложении. И Шкуро занял силой кишинёвский вокзал, добыл поездной состав и двинул свой отряд на Кубань. Ехали властно, как экстренный поезд.

Только в Харцизске 18 апреля попали в митинговавшую толпу — у них почему-то 1 мая, тысяч пятнадцать их, красные, чёрные и жёлто-голубые флаги. Едва состав остановился — рабочие потребовали: что за люди? почему без красных флагов? — выдать командный состав на суд пролетариата. Вахмистр Назаренко вскочил на пулемётную площадку и закричал толпе:

— Вы боретесь за свободу? Какая ж к чёрту это свобода, если мы не хотим носить ваших красных тряпок, а вы принуждаете? Мы казаки — давно и без вас свободны!

— Бей их! — заревела толпа.

— К пулемётам! — скомандовал своим Назаренко. Они и тут.

Однако стрелять не пришлось. С ужасом толпа бросилась врассыпную, теряя и флаги.

* * *

Спешность тучковского приказа о мгновенной отмене морских погон вызвала в Севастополе 17 апреля переполох: надо было успеть за сутки, к Первомайской демонстрации. На Екатерининской улице и на Нахимовском проспекте матросские группы останавливали проходя-

щих офицеров и красной краской перечёркивали им погоны и замазывали кокарды. Волнение передалось и в сухопутные части, которых приказ министра не касался. В крепость вбежал прапорщик Юргенс и перед ополченцами 455-й дружины сорвал с себя погоны и стал топтать их ногами, кричал о последнем символе власти Романовых. Его примеру стали следовать и солдаты — срывали с себя и швыряли погоны: «Долой двинастию!» Тут подскочила одна солдатская баба, за ней другие свободные гражданки, присели на глазах у всех и стали на эти погоны мочиться.

А в нестроевых ротах крепостной артиллерии солдаты стали срывать погоны со своих унтер-офицеров, это перекинулось и в другие части. На улицах стали ножницами срезать все погоны подряд, и тысячи их теперь валялись повсюду. В 5-м Черноморском полку солдаты гонялись за дежурным офицером, едва не разорвали его. По крепости в спешке был отдан приказ: всем сухопутным офицерам — снять погоны.

А через сутки в Севастополь пришла грозная телеграмма Гучкова, что местное начальство превысило свои права и осмелилось «снимать погоны с доблестных офицеров». И офицеры снова стали надевать. Вот на улице матрос спрашивает военного в кителе без погон, но с кокардой и шашкой: «Вы офицер? А тогда почему позволяете себе ходить без погон?»

* * *

Тем временем в Севастополе праздновали «1 мая». На Куликово поле приходили шествия, строились густыми квадратами. К ним подъезжали говорить речи то с лошадей (Верховский с белого коня), то с грузовиков. Вот подъехал, стоя в легковом автомобиле, какой-то высокий еврей с небольшой головой на длинной шее, энергично вертя ею. Он, видно, уже много и ожесточённо говорил сегодня. Сильно картавя, кричал:

— Товарищи! Раньше ненавистное царское правительство заставляло вас праздновать разные там церковные праздники, гнало в церковь, держало вас в темноте. А теперь вы себе имеете настоящий пролетарский праздник трудящихся, а не каких-то там святых!

Но не угадал настроения толпы. Крикнули, что он хулит веру, поднялся страшный шум, толпа кинулась на автомобиль. Ещё момент — его бы разорвали. Но шофёр успел дать быстрый задний ход и спас оратора.

(Из «Архива Русской Революции», т. 13, 92)

* * *

В запасных гарнизонах солдаты радуются митингам: не то что послушать или покричать, а — занятый не будет.

В 4-й тяжёлый артиллерийский дивизион в Твери приехал агитатор из Петрограда, поднялся на ящик между бараками. Одет был по-солдат-

ски, а на рукаве шинели — повязка красной бязи, на ней белыми буквами в два ряда: Сов.Раб.-Солд.Деп. Произнёс речь, как требовалось, что надо победить врага. Потом сдёрнул повязку и заявил, что а теперь выступит как член партии социал-демократов большевиков. И в этом втором выступлении распушил всё то, что утверждал в своём первом: потребовал немедленного мира без аннексий и контрибуций, уничтожения капитализма, всякой частной собственности и немедленного перехода к социализму.

Слушатели были настолько ошарашены, что и совсем не потрепали ему ладошками.

* * *

В петроградском гарнизоне солдаты из местных знают добычные места. За первые недели революции кой-кто нагребил себе, вдруг достанет золотой портсигар с бриллиантовым вензелем. В казармах — игра в карты на деньги, приходят и девицы.

* * *

В гатчинских дворцовых прудах обитали карпы, носившие кольца с датами XVIII столетия, приученные по звону колокольчика всплывать на поверхность воды для кормёжки. Теперь гарнизонные солдаты колокольчиком вызывали их, вылавливали и варили. В зверинце и в царской охоте перебили всю дичь.

* * *

В Алатыре солдат Петров объявил себя начальником гарнизона, сместил 25 офицеров. В соборе произнёс речь и потребовал общего пения марсельезы. Хор и прихожане отказались — Петров пропел марсельезу один.

Командующий Омским военным округом генерал Григорьев изъявил желание поступить в партию эсеров.

* * *

Солдаты отстёгивают хлястик шинели нарочно — чтобы показать свободу. И шинель не только не застёгивают, но и в рукава часто не надевают, а внакидку носят. Шатаются по улицам, по чайным, и с бабами. Семячную шелуху даже не отплёвывают — она нарастает на губах, свисает из углов губ, потом цепочками отваливается. «Мы в лизерве».

Улицы и бульвары многих городов покрылись подсолнечным нагрызом, гуляет множество солдат — без поясов, а то и без погон, с обязательно расстёгнутыми воротниками, с заломленными на затылок фуражками — зато с красными бантами, лоскутами. Как будто сплошной праздник.

Проходя строем по улицам (и в Москве) теперь поют не солдатские песни, как раньше, а похабные частушки, пересыпанные непристойностями. Уж самое приличное:

*Молодая гимназистка сына родила.
Не вспоила, не вскормила — в реку бросила.*

И «часовой» теперь только по старому названию. А придя на пост — винтовку к стене, расстилает шинель и спит.

* * *

Солдатские толпы штыками заставляют врачей эвакуационных пунктов выдавать им свидетельства об увольнении вчистую.

* * *

В госпитале у доктора Лодыженского появился новый санитар. Доктор застал его, когда он убеждал сестёр, что все равны в правах и между ним и старшим врачом нет разницы. Доктор сказал: «Кравченко прав, и сегодня перевязывать раненых буду не я, а он. Потрудитесь подготовиться. Сестра, наблюдайте, чтобы правила асептики были тщательно выполнены. Ну что же, Кравченко, мойте руки». Сёстры потешались, а бунтарь скис. И скоро вообще сбежал из госпиталя.

* * *

Моряки, взятые с кораблей для обучения Черноморской десантной дивизии морским навыкам, нужным в десантной операции, потребовали от севастопольского Совета немедленно вернуть их на корабли: потому что паёк во флоте намного лучше, чем в сухопутных частях.

Дивизионный комитет явился к начальнику дивизии генералу Свечину. Поздоровались все за руку, развязно сели и заявили: «Решение наших товарищей солдат: дивизия категорически ни в какие десанты не пойдёт, и на корабли не сядет, а согласна только нести службу на побережье Крыма».

* * *

Копируя Петроград, гарнизоны других городов тоже стали заявлять, что, в интересах защиты революции, никого не пошлют на фронт.

* * *

В лейб-гвардии Финляндском батальоне комитет вынес осуждение вольноопределяющемуся Фёдору Линде за то, что он сбил с толку батальон 20 апреля, — и постановил отправить его на фронт с первой же маршевой ротой.

* * *

В запасной лейб-гвардии Московский батальон в Петрограде приехали делегаты из действующего полка и требуют пополнений. Сперва собрали всех на плацу, говорщики — с балкона наружной лестницы. Свой батальонный, без погонов и без ремня:

— Товарищи! Они — это мы, а мы — это они, так что надо нам туды...

Но на комитете — совещатели упёрлись и стали грозить убить делегата. А он — кадровый, боевой:

— Ме-ня убить? Ах вы, сукины дети, шкурники! А ну, выходите с винтовками на плац, а мне дайте лопату — я вас всех как зайцев перестреляю! — (Молчат.) — Ну, выходи, что ли?

Заседание продолжилось, обещали 5 маршевых рот по четверть тысячи.

* * *

В Рогачёве пехотный полк отказался грузиться на фронт. Разгромил винные склады, навёл террор по городку.

Послали на них казаков. Прикладами и плетью погрузили полк в эшелон.

* * *

В городах собирали по подписным листам деньги на подарки солдатам, едущим на фронт. Затем они и сами стали ходить с кружками, предлагая гражданам жертвовать героям.

А отъехав на две-три станции, начинали массами дезертировать.

В 125-м Курском полку сидели в окопах, ждали мира. Мира нет, а солдат всё меньше. Стали бояться, что слишком мало их останется на позиции, узнает немец и прорвёт. И послали делегатов в тыл, в свой базовый запасной полк — просить скорей маршевых рот.

Но — никому не охота на позицию. И там — арестовали делегатов, не пустили их назад.

* * *

В Ростове-на-Дону стояло два запасных полка — 187-й и 255-й. Их полковые комитеты разделили между солдатами полковые денежные суммы и ценное полковое имущество. Учебных занятий никаких, офицеры перестали и приходить на службу. Часовые не только спали на постах, но и обкрадывали охраняемое. Солдаты являлись в часть только к обеду и к ужину, остальное время занимались в городе или торговлей, или подённой работой, некоторые носильщиками на вокзале (часто и воровали вещи), или на Пушкинском бульваре гуляли с девицами. Долго билось командование, чтоб отправить на фронт хоть одну маршевую роту. Сперва надо было доказать справедливость на-

значения роты. Потом обнаруживалось, что в той роте нет боевого снаряжения и обмундирования. Когда снабдили — начались из роты дезертирства. Стали дополнять из других рот — вся история снова. Затем отправляемая рота потребовала, чтобы каждый получил 500 руб. «на путевые расходы». Эти средства собрали по благотворительности среди зажиточного населения. Затем — молебствие, речи городского головы, градоначальника, начальника гарнизона, председателя совета — и рота уехала. (Под конвоем, — и всё ж половина не доехала до назначения.)

* * *

По керенской амнистии уголовный в тюрьме освобождался, если заявлял о желании идти на фронт, а местами получал и «месячный срок для устройства личных дел». Но, получив обмундирование, многие оставались в тех же городах, торговали полученным на базаре и грабили, и некоторых снова арестовывали. А кто ехал на фронт — только усиливал развал армии.

* * *

Идёт поезд с маршевыми ротами на фронт. На крупной станции солдаты высыпают: митинг. Кричат часа два. Иногда продолжают путь, иногда требуют от железнодорожников заворачивать эшелон назад.

ВОЙНА ДО ПОБЕДЫ — ГРАБЁЖ ДО КОНЦА!

Панихиду отец Леонид назначил на 9 часов утра.

Тогда в Коробовке назначили на 8 часов сельский сход. Село будоражилось и что-то готовило, может и само не понимало что.

И у отца Леонида, ещё с вечера получившего от Вяземских приказ Радко-Дмитриева, блеснула счастливая мысль: с этим приказом пойти самому на сход и там прочесть прежде панихиды.

Каким он застал сход и что кричали там поначалу — он Вяземским не успел рассказать. Пришёл к самой службе, но с глазами сияющими, какие только могут быть у растроганного священника.

— Всё хорошо, всё будет хорошо! — успел коснуться руки старой княгини.

А уже подваливала к храму и толпа — и снова неузнаваемо изменённая: прежние многолетне-привычные доброжелательные крестьянские лица, свои.

Как будто не было вчерашнего возбуждения, ропота в храме. Ни полосы разорения последних дней.

Коробовский резной иконостас — не стыден бы и в столичной церкви.

Разбирали, затепливали свечи — и замирали для моления.

Необычно и неприятно только было крестьянам, что — запаян гроб и нет покойного с венчиком на лице, а цинк один, хотя и обваленный цветами.

Успокоилась мать, успокоилась вдова, и Лили, и все. И отдались заупокойной службе, и над тёплыми огоньками сквозь ладанный дым — протягивало перед ними короткую жизнь брата, его узкое подвижное лицо, дар щедрости, остроумия, ума без учёности, отваги, отчаянного охотника, подолгу без сна и еды, без страшного конника. Свои тридцать лет и провёл в цельной скачке — и убит на лету.

А может быть, по-нынешнему, — ему лучше, чем нам.

Отпели вечную память. (А какие певчие до сих пор, отцовские!) Кончилась панихида, ещё не гасили остатки свечей — отец Леонид достал ту бумагу и снова читал — звучно, назидательно, в виде надгробного слова:

— Приказ по 12-й армии... 17-го летучего санитарного отряда, 4-го Сибирского полка... Князь Вяземский всегда выдвигал свой отряд в самое пекло боя, действовал в самых опасных местах и зачастую под градом снарядов... Князю Вяземскому тысячи русских матерей обязаны сохранением своих сыновей, и десятки тысяч детей обязаны, что не остались сиротами... Имя князя Дмитрия будет долго вспоминаться всеми нами... Его малолетние сиротки,

достигнув зрелого возраста, вспомнят с гордостью своего доблестного и самоотверженного отца.

Крестьянки плакали.

Князь Борис радовался, что не уступил угрозам.

Вот так надо и впредь: хамскому напору — не уступать ни в чём!

100

Как ощущал Керенский, в правительстве в середине апреля со-
здался тупик. Сам он более не мог оставаться в одном кабинете с
Милюковым. (Контакты с Бьюкененом давали надежду на под-
держку английским послом кандидатуры Терещенки как более де-
мократичной и созвучной времени. И Альбер Тома обещал поддер-
живать демократическое крыло кабинета.) И уже перерос Алек-
сандр Фёдорович пост министра юстиции, ему нужен был пост
военного, да и морского, министра. Подходило время — сотрясти
правительство, чтоб эти перестановки могли совершиться, найти
момент и повод. Ещё не зная пути (но непременно его найдёт!),
в несколько фантазирующем настроении нащупывая это неясное
будущее, Керенский вечером 19 апреля в Михайловском театре на
концерте-митинге, патронируемом его женой, произнёс речь рас-
сеянную и отчасти даже в дымке разочарования: Если мне не хотят
следовать — я откажусь от власти... Никогда я не употреблю вла-
сти, чтоб навязать своё мнение... Когда страна хочет броситься в
пропасть — никакая сила не может ей помешать...

Эти слова велись у него, как всегда, не чётким планом, но ин-
туицией. Сердце раньше находило верную форму, чем мог бы при-
думать рассудок. Нельзя же было сказать: уберём, кто нам мешает,
Милюкова и Гучкова. Но можно было тонко, гордо, изящно сде-
лать движение к собственному уходу — и тысячи рук тотчас протя-
нутся, чтоб удержать незаменимого! И тогда откроется путь его
требованиям.

Он не предполагал, в какую опаснейшую минуту для себя на-
чал эту игру! Именно в эти часы, когда в уютном Михайловском
театре перемежались рояль, сопрано и речи политических деяте-
лей, — редакций газет достигла нота Милюкова и вызвала свои
злосчастные сотрясения.

И какого же маху, какую непростительную оплошность Керенский допустил с этой нотой! — ведь он сам её придумал, вытряс из Милюкова — а дал себя переиграть на ехидных формулировках, не поставил своего вето! А теперь — это горным обвалом обрушивалось на всех министров, и на прогрессивную шестёрку, и на самого Керенского: «нота одобрена всем правительством!»

Воротясь к полуночи из театра в свои министерские апартаменты, Керенский всё это узнал из нескольких телефонных звонков — и увидел грозную силу обвала: он так изящно грозился уйти — а их всех сейчас похоронят грубо вместе! И как самое меньшее: разгневанный Совет захочет *отозвать* своего заложника из правительства, — и придётся уйти?..

Измученно мечась, Александр Фёдорович только одно мог придумать: немедленно заболеть. Он мог — только затаиться под несущимся ураганом, может быть уцелеет. Он — нигде не мог показаться, он нигде не мог бы сейчас сплести никакой внятной фразы: к а к это объяснить? к а к он мог одобрить такую ноту? Немыслимо!

Но в тяжёлую минуту у нас есть друзья. Станкевич выручил по линии трудовиков, и в Исполкоме. А Масловский — по линии эсеров (трудность состоять в двух партиях сразу): в «Деле народа» авторитетно напечатал, что Керенский совсем не был единогласен с Милюковым. (А по другим газетам шли резолюции: почему такая нота подписана министром Керенским?!) И ещё, через Зензинова и друзей помельче, инспирировать в Таврическом слух, что Керенский *не* соглашался на эту отвратительную ноту!

И — замереть в болезни.

Замереть, затаиться, считать часы, считать проносящиеся над тобой вёрсты урагана — и ждать куда вынесет. Мучительно находиться в тени — и спасительно не мочь действовать! Ждать момента, когда снова можно выпрямиться и ринуться!

А 21 апреля оказалось ещё грозней, чем 20-е, стрельба! Керенский же не только не может вмешаться (и счастье, не знал бы, как вмешаться!) — но опаздывает и к развязке: Мариинская площадь бушует, требует наказания виновных — и Переверзев непомерно поспешно начинает расследование, дурак Зарудный на площади чуть не обещает высылать Ленина (распёк его на другой день, нельзя так резко хватать в словах), — и в тех же часах появляются в Мариинском товарищ прокурора судебной палаты и следователь по важнейшим делам и допрашивают первых свидетелей и ране-

ных, и выезжают в больницу присутствовать при вскрытии убитых. А вскрытие неумолимо утверждает, что пули были *разрывными*, — и поднимается скандал: таких пуль в русской армии нет! так откуда эти пули у отрядов Выборгской стороны? (Ошибка врачей? Но уже нельзя замять.) А болван Переверзев даже успевает, в отсутствие министра, самовольно издать воззвание, и в нём такие необдуманные слова: «решились поднять братоубийственную руку на тех, кто не разделяет выдвинутых ими лозунгов момента», — а кто в эти дни выдвигал «лозунги момента»? Только большевики. Так это место у Переверзева никак нельзя истолковать иначе, как против ленинцев! И притом — ссылка на распоряжение министра юстиции! Кошмарный поворот! Петля.

Будь Керенский в эти часы открыто на ногах — разве он дал бы действовать так напроломно? С позавчерашнего дня, с субботы, он и стал осаживать: дал нахлобучку и Переверзеву, и Зарудному, замедлил следственную комиссию и пригласил в неё представителей от ИК. А в воскресенье ИК создал и свою следственную комиссию, — и хотя это выглядело как недоверие министру юстиции, но Керенский был рад: теперь между двумя комиссиями во щель можно тихо всё следствие и запихнуть. Интересы ИК были, естественно, те же самые: не дать обвинить рабочих и прикрыть Ленина, иначе полный скандал для ИК. Тут все социалистические газеты стали выдвигать своих свидетелей: что на заводах не было дано никаких директив стрелять, лишь выдали боевые патроны, и нигде рабочие не стреляли в людей, разве только в воздух, а это всё — провокаторы-черносотенцы. Но втрое гремели буржуазные газеты: не должно быть тактических обходов и уклонения от гнетущей правды! поруган закон свободной страны! разрывные пули! мы отменили смертную казнь не для того, чтобы разнуздать убийства! пусть будет следствие безстрашно до конца, куда бы оно ни привело! нужно знать виновников кровопролития! сама демократия должна отделить себя от тех, на кого падает подозрение.

А где-то от самих следователей происходила непозволительная утечка, и вот уже скандалёзная «Русская воля» печатала: «Накануне на заводах раздавались призывы идти на следующий день на Невский, чтобы “подавить контрреволюцию”, — так это была задуманная провокация? Участники расстрела были названы многими свидетелями, но в настоящую минуту ещё не решено, в какой мере они будут отвечать за содеянное преступление. Министру юстиции сделан подробный отчёт о следствии».

Так это был прямой намёк на укрывательство министра юстиции?

Одно утешение, что позиции буржуазных газет становились с каждой неделей слабей: их уже и бойкотировали, за них избивали газетчиков, и сами сотрудники редакций боялись погрома и укорачивали свои перья.

Ах, всё так! Ах, всё не так! *Не мог* Керенский сейчас открыто выступить против Ленина! Сейчас заострять свои действия в левую сторону — значит потерять весь политический капитал, надо быть самоубийцей! Ясно, что надо медленно, плавно свести: «определённой картины установить не удалось». И во всяком случае — ни одного же реально стрелявшего красногвардейца не разыскать. Так значит: это были типичные хулиганы, подонки общества.

И надо выдвинуть более энергично вперёд следствие о секретных сотрудниках Департамента полиции. (Сказал Малянтовичу.)

Но так или иначе — кризис пронесло прочь? И Керенский — вынырнул из-под милюковской ноты невредимым? Минутами — не ожидал.

Большевики стали требовать: лишить Керенского звания товарища Председателя Совета за то, что поддержал ноту Милюкова.

По сути — не нужно было ему и это звание (и сам Совет только мешал), — но требовалась дипломатическая загладка. И как ни униженно это, ехать оправдываться, но переломил себя: сегодня утром позвонил Церетели и договорился приехать к ним на Бюро. Встретили очень настороженно и сидели допрашивали как прокуроры. Как мог он допустить милюковскую ноту? Как мог голосовать за неё? И почему не предупредил ИК?

Но Керенский нисколько не стеснился перед ними, напротив, обрёл свою отчаянную несущую лёгкость, которая выручала столько раз. Просто действительно было необходимо превратить декларацию 27 марта в акт внешней политики. И французские социалисты очень хотели этого. Да и Совет разве этого не хотел? Керенский-то Милюкова и заставил, а кто же! Но первый проект ноты был совершенно невозможный, и Керенский сразу наложил вето и даже пригрозил отставкой. И началась в правительстве борьба двух течений. И большинство стало на сторону Керенского. И так нота была изменена. (В отчаяньи: не проверят! А всё равно вывернись!) Конечно, и в изменённом виде она не вполне удовлетворяла Керенского, но он счёл, что, добившись существенных уступок, не

стоило создавать конфликта из-за словесности. Да просто не представлял, что ИК отнесётся так резко, а то он конечно бы предупредил! Но что нота якобы принята единогласно — это демагогия. А когда Милюков настаивал на своей трактовке — Керенский, к несчастью в те дни больной, заявил им об уходе. А теперь, вернувшись в правительство, настаивает, что отныне руководство внешней политикой будет делом не одного министра иностранных дел, но малого кабинета внутри кабинета. И так все элементы, которые осмелились идти против демократии, — будут сразу аннулированы.

Почти убедил исполкомцев, но ещё допрашивали. А как понимать «санкции и гарантии»? О, только как международные суды. А кто войдёт в этот малый кабинет? Состав ещё не определён. А не могут ли войти члены ИК? Всё-таки неудобно, подразумеваются министры. А если послать комиссаров ИК в министерство иностранных дел? О, это можно обсудить.

И оправдался. И ещё по-дружески уговаривал скорей вступать в правительство самим. А то оно уйдёт в отставку. Охотников тащить министерские портфели — всё меньше.

Так-то так, но это расследование убийств теперь долго потянется. И ляжет невыносимым бременем на плечи министра юстиции. Так лишняя причина поскорее сменить пост.

Да уже и так слишком тесно становилось Керенскому в министерстве юстиции! Всё великое, что в нём можно было сделать, он уже совершил за первые недели. Сверкательно быть министром юстиции в первые дни революции, поражать молнией сановников старого режима, быть носителем исторического Возмездия. Но по каким лягушкам бить теперь, когда демократия уже восторжествовала?

Он отчётливо чувствовал в себе силы и задор — руководить целиком всею Россией. Да уже и румынского премьера и шведского посла принимал Керенский в министерстве юстиции. А уж завтраков с Бьюкененом... И с большой пристальностью уже следил за делами военными и морскими.

Кризис пронёсся, но проблема только выросла: как же быть правительству? Теперь об этом задумывался уже не один Керенский, а множество людей. И целый хор, устный и печатный, твердил: коалиция! вход социалистов в кабинет.

А трудовики и народные социалисты считали так и отначала. А вот и эсеры всё более сдвигались к тому.

Так что, собственно, это уже и неизбежно.

Хотел ли этого Керенский? Снова безумная сложность. Вообще, он предпочитал бы и дальше оставаться в правительстве единственным социалистом, единственным представителем революционной демократии, единственной надеждой трудящихся масс. Особенно не хотел бы он в правительство своих главных соперников — Чернова и Церетели. (А теперь если войдут, то именно они.) Но: без социалистической передвижки всё равно уже не обойтись. И без неё, видно, никак не вытряхнуть и противников: не освободиться от Милюкова и не занять место Гучкова. А Милюков — уже шатающийся зуб, надо ускорить выдерг. Да и «долгой Гучкова» многие несли. (С Лениным можно быть в отдалённом молчаливом союзе, он расчищает дорогу революции.)

В правительстве у Керенского было динамичное левое крыло, да и сам князь Львов шёл в фарватере — а всё же не хватало их соединённых сил вышибить Милюкова и Гучкова. Тут надо было применить внешний социалистический рычаг.

А с другой стороны, если в правительство войдут социалисты — то войдут от своих партий, от Совета, и станут более полномочными министрами, чем сам Керенский: а он — от самого себя? возникнет ситуация дефицита мандата. Как и это предусмотреть?

К счастью, Александр Фёдорович — гениальный тактик. Даже просто импровизатор, у него это в крови.

Вот что. Для того чтобы стать в правительстве крепче и получить мандат не хуже других социалистов — надо изобразить теперь фигуру самоубийцы. (Потрясающая интуиция: в Михайловском театре он и нашёл и высказал эту красивую фигуру ухода! И вот пронеслась буря — а неповреждённым остался не только Керенский, но и его намеченный ход. Только он уточнился.)

Самоубийца! Это может быть — громкое открытое письмо сразу в несколько адресов. Прежде всего — петроградскому (всероссийского ещё нет) комитету эсеров (подчеркнуть своё исконное эсерство). Но — и Трудовой группе (не оторваться и от трудовиков). И — петроградскому Совету рабочих депутатов (именно не ИК, а целиком Совету, пленум вручал не раз, трибун Керенский разговаривает только с массами). Ну и родзянковскому думскому комитету для приличия, что ж.

И — догадка же, как сформулировать. До сих пор — и лишь по печальной неорганизованности трудовой демократии — Алек-

сандр Керенский мог взять на себя и нести тяжёлую и ответственную роль соединительного звена между демократией и цензовыми силами. Хотя это было почти непосильно для отдельной личности. И только голос революционной социалистической совести помогал нести это бремя.

А сейчас — сейчас положение дел в стране ещё усложняется и усложняется. А с другой стороны — и революционная демократия теперь организована куда лучше, да, и не может далее устраняться от ответственного участия в управлении государством. Это придало бы революционной власти новые силы и авторитет.

Так вот: отныне — отныне — представители демократии могут брать на себя бремя власти только по полномочию демократии. (И — дайте мне его!) «Нашу эсеровскую партию всегда отличала прямота и откровенность. Мы всегда были рыцарями борьбы и рыцарями правды. Поднимем же высоко знамя идеальных ценностей! Я хочу энтузиазма!» (Как-то недавно сказал отлично — но в документ не пойдёт.)

Отныне-то отныне, но поста не сдавать: а ныне — в ожидании вашего решения я буду нести до конца тяжесть фактического исполнения моих обязанностей.

И — тоже ход! — сегодня показал проект Чернову и Гоцу, хотя ли подправить партийные товарищи? — несравненное перо Виктора Михайловича? (И тот несколько фраз испортил.) И прямо сказал им, что один — больше в правительстве не останется.

С Черновым — отношения сложные: Чернов ревнует к успеху Керенского, к его неповторимому месту в России. Но и: Чернов сейчас союзник, потому что он откровенно жаждет и рвётся в министры.

Эти дни так напрягся перестройкой правительства — отказывался где-либо выступать, вот предлагают в Четырёх Думах, — ах, это уже не трибуна, эта дорога доступна для многих, она уже мертва.

А в министерство забежишь:

— Александр Фёдорыч, у вас — приём посетителей.

Ах приём, ну давайте. Приём по расписанию дважды в неделю, но приходится ежедневно: рассосать очередь. Тут и судейские чины, и присяжные поверенные, и простые солдаты, и жёны арестованных сановников, — уже на лестнице давка, не протолкнуться. (На лифте плакат: «Да здравствует правый и милостивый суд министерства юстиции и Сената!»)

Александр Фёдорович проносится сквозь набитую переднюю однокрылым ангелом (рука на перевязи, и всё та же, уже знаменитая, тёмная куртка): «Сперва депутации!»

Но одним глазом замечает: опять анархисты, в своих чёрных блузах... Это неприятнее: захватили дачу Дурново и не хотят отдавать.

И опять — башкиры, что ли: приглашают на мусульманский съезд.

101

Что Лев Борисович состоял большевиком, и даже с самого 1903 года, — была какая-то настойчивая случайность. В семье отца своего, весьма уважаемого человека, Лев получил хорошее выдержанное воспитание, в наследство — дар умеренности, взвешивания сторон, доверие к покойной аргументации, да и расположенность избегать жизненных потрясений. Ему по духу, собственно, были гораздо ближе меньшевики, с ними он чувствовал себя среди своих. И жена его Ольга Давыдовна, сестра Троцкого, тоже считала себя меньшевичкой. Но в 20 лет Лев проголосовал раз с большевиками — и так прибило к ним. И вовсе вопреки своему мягкому характеру принял устрашающий псевдоним Каменев.

Не пришлось ему кончить юридический факультет Московского университета, уехал в эмиграцию, там жил в окружении Ленина и невольно попал под его необоримое влияние: против напора его трудно спорить, и уклониться от него можно только разве на расстоянии, а в прямом соседстве невозможно. Расстояние возникло только тогда, когда провалился Малиновский, и надо было кого-то послать негласно руководить чурками из большевицкой фракции Думы, писать за них речи, учить их, — Ленин и послал Каменева, перед самой войной. Да всего несколько месяцев, с Карельского перешейка, он ими тут руководил — а дальше провал, и опять-таки из-за ленинского дьявольского нетерпеливого подталкивания: из Швейцарии прислал думской фракции как неременную инструкцию свои тезисы. И между другими стояло там: что поражение России в войне — «наименьшее зло» (а стало быть — желательный выход); и требование создавать в воюющей армии подпольные большевицкие группы. Надо совсем потерять ощущение

ние российской действительности, чтобы такое приказывать, да кому — членам Государственной Думы! На тайном совещании с депутатами Каменев против этих двух тезисов возражал — и Петровский внёс его предлагаемые исправления в один машинописный экземпляр. А когда их всех той же осенью арестовали, предъявив государственную измену, то Каменев и надоумил депутатов ссылаться на это исправление: что депутаты, мол, сами от тех пунктов отказались. Власти тоже обрадовались такому истолкованию: иначе надо было вешать этих рабочих; переквалифицировали государственную измену в сообщество для тяжёлого преступления и отправили в сибирскую ссылку, с ними и Каменева. А Ленин рвал и метал, что на публичном суде не стали защищать его тезисы, — и за то объявил Каменева предателем.

В Сибири, в отдалении от Ленина, Каменев развивался неестественно, очень был обнадёжен ходом Февральской революции и, приехав в Петроград перенять руководство здешними большевиками от неграмотной шляпниковской братии, естественно, был расположен, как и большинство советского ИК, поддерживать Временное правительство и разумное государственное строительство.

Но вот приехал Ленин. Ещё и когда в первый вечер Каменев слушал в вагоне его выговор, затем его программу и затем на другой день в Таврическом дважды, — его поразила даже не та залётная дерзость крайних лозунгов, какая поразила всех, а — практическая неприменимость их сегодня, полная практическая беспомощность, за пределами осознания реальной обстановки. Эмигрантский беспочвенный разгон да ещё и собственное ленинское свойство заскакивать.

Жизнь Каменева в Сибири и вот уже скоро месяц в Петрограде утвердили его не поддаваться ленинским тезисам, а вступить с ними в корректный спор. Он дважды опубликовал в «Правде»: что тезисы Ленина — это его личное мнение, но в них нет никакого ответа на животрепещущие вопросы масс; на всё один ответ — социализм, но эта абсолютная истина ничем не помогает в практической политике. Эти тезисы — великолепная программа для первых шагов революции, но только в Англии, Франции или Германии, а не в России сегодняшнего дня: не учтено конкретное соотношение сил в данной стране. Такая абстрактная программа совершенно не годится для нас, если мы хотим остаться партией революционных масс пролетариата, а не оторваться малой груп-

пой пропагандистов-коммунистов (как у Ленина всегда и бывало). Об отношении ко Временному правительству у Ленина даже сразу три ответа: 1) его надо свергнуть; 2) его сейчас нельзя свергнуть; 3) его вообще нельзя свергнуть обычным способом из-за того, что оно поддержано Советом.

А Ленин, это характерно для него, не признал ни на волос, ни в чём ни единого недостатка или промаха своей программы, а стал мгновенно изворачиваться в ответ, исписывая целые десятки страниц, и всё в атакующем стиле.

А тут уже стали собирать и заседания петроградской городской конференции большевиков. При отчаянной скудости большевицких сил пришлось удивиться, насколько трезвые тут раздались голоса, явно неожиданно для Ленина и оттеняя всю беспочвенность его программы. А страховик Калинин набрался смелости против ленинского авторитета: мы, старые большевики, верны ленинизму и удивляемся, что Ленин сам порывает с ним; но в ленинских тезисах ничего и практически нового нет по сравнению с тем, что в первые дни революции тут делала первобытная шляпниковская группа. Действительно, по примитивности эти линии вполне совпадали. Даже и «батрацкие депутаты» были в шляпниковских резолюциях БЦК, и вооружение народа, и немедленное создание красной гвардии по всей стране. Но удивительно, что Ленин ни на йоту не захотел этого отметить, он полностью игнорировал весь партийный опыт до его приезда. Неужели же в нём такое мелкое чувство первенства? самовлюблённость? — не похоже. Неужели надо заподозрить, что ему власть в партии важнее принципа? Или он боялся сравнения своей тактики с таким упрощённым образцом? Нет, скорее всего, он искренно и всем существом воспринимает: «революция — это я». И только он один знает как, а помимо него никто не может знать правильно.

В прениях Каменев не выступал, дал высказаться всем простым. А Ленин и безлично (но энергично) поддакивающий ему Зиновьев выявляли всё те же прорехи своей программы: ни одного практического указания, что же делать сегодня. Уж на Временное правительство Ленин валил самые небывлые грехи — и попустительство монархистам, и нарочитое оттягивание Учредительного Собрания, — а наворотив всё это, ничего не мог предложить, кроме «длительной работы по прояснению пролетарского классового сознания», — в чём уже сильно отступил от своего приездного лозунга немедленной социалистической революции. Ка-

менев внёс несколько поправок к резолюции, в том числе бдительный контроль над действиями Временного правительства, — Ленин отмёл: контролировать без власти нельзя, как я буду контролировать Англию, не завладев её флотом? — но, он не хотел признать: контроль — реален, ибо Совет-то имеет реальную власть, хотя в Исполнительном Комитете господствует интеллигенция и туда не попали те, кто были раньше руководителями пролетариата. И ещё, видя опасный наклон Ленина к немедленному свержению Временного правительства, Каменев предложил поправку: «конференция предостерегает от дезорганизирующего в настоящий момент лозунга свержения, он может затормозить длительную работу просвещения масс». Но и эта, как все его поправки, была отвергнута при голосовании: есть у Ленина какая-то проломная сила убеждения, учительного напора на слушателей (да среди них всегда насажены его сторонники) — и они следуют за ним даже вопреки явности.

Но именно на этом пункте Ленин и сорвался в кризисе 20–21 апреля. А сорвавшись — рванул, напротив, с избытком назад, уже не только отказывался от «долой Временное правительство», но и свою вчерашнюю точку — однако уже будто и не свою, извернул — называл авантюрной попыткой. Эту последнюю, отречную, резолюцию ЦК 22 апреля и составили и разослали впопыхах, без Каменева, — так что он и не имел случая упрекнуть Ленина: зачем уж так избыточно отступать?

Учился ли Ленин на своих срывах этих двух недель? Как будто и да — а как будто и нет. Сегодня, на первом и главном дне всероссийской конференции большевиков, при сильной и оппозиционной ему группе москвичей, он развернул длинный сумбурный доклад «о текущем моменте», куда впихнул самые важные и разные вопросы — и отношение к Временному правительству, и как кончать войну, и международное рабочее движение, и, разумеется, всё скомкал. Переименование партии в коммунистическую уже ни разу не вспомнил. Как же именно кончать войну — он выразить не мог, тут у него полный утопизм, хотя будто: только массы не могут понять — как. Не настаивал с прежней яростью, что буржуазно-демократическая революция у нас кончилась, но и не соглашался, что — не кончилась. Он как будто отказывался от своего дикого лозунга превращения войны в гражданскую, но и не заменял его ничем, — а что у него в голове? Он так легко и быстро поворачивает, делая при этом вид, что и не повернулся. Тут, на

конференции, между своими, говорил как на митинге: «*общеизвестно*, что тайные договоры содержат грабёж русскими капиталистами Китая, Персии, Австрии», — стыдно слушать. Или: «в Англии все тюрьмы наполнены социалистами». Или смехотворный практический шаг к социализму — «открыть единый банк в деревне», и однообразно повторял это, не находя ничего лучше. Ещё — передавать государству синдикат сахарозаводчиков, главное — именно его. И — всю землю, конечно.

И — что же ведёт его? Не может же Ленин искренно верить, что вот здесь и изложен правильный марксистский путь. Или это слепое стремление — скорее к власти? — тёмное для него самого? Просто сверкает ему, что *можно* овладеть, как показалось ему к концу 20 апреля? Ленин страстен в спорах, в ненависти, в ярости — а на самом деле поразительно холодное сердце. И не располагает к открытости. Поговорить с ним откровенно, интимно — не удавалось никогда за годы. И — ни в эти дни.

И кажется, для Ленина было неожиданностью, когда после его доклада поднялся Дзержинский и от группы товарищей потребовал дать большой содоклад Каменеву. И пришлось Ленину согласиться.

Кому ж было и принять ленинский вызов, если не Каменеву? Но, ища единства и умеренности, он не допустил ни одного polemического выпада и только отстаивал несомненные положения. Что лозунг «*долой Временное правительство*» играет дезорганизирующую роль, в данный момент нельзя ставить вопроса о свержении, — и не надо дёрганый, эти шатания-колебания ослабили нашу позицию. Что всё в России ещё находится в расплавленном состоянии и буржуазная демократия не исчерпала своих возможностей. Ни из чего не следует, что революция уже приближается к социалистической. Не время нам разрывать блок с мелкой буржуазией, ещё можно делать совместные шаги. Именно революционная демократия, хотя товарищ Ленин и не любит этого слова, и должна будет столкнуться с буржуазией — хотя бы по вопросу свободы, ибо нынешняя полная свобода, атмосфера митингов исключают ведение войны, и правительство будет вынуждено что-то предпринять. И наш практический путь — это контроль Совета над правительством, как он уже и идёт, он есть разумный этап к будущему взятию нами власти.

Прения тоже не могли сильно порадовать Ленина. Хотя и были такие тупые, как Бубнов, — немедленно поднять знамя граждан-

ской войны, свергнуть правительство, осуществить нашу диктатуру; или, поумней, Ангарский, — свергать правительство неизбежно, но надо ждать, когда оно пошлёт воинские команды против крестьян. Даже Богдатыев, близкий к Ленину, — не надо бояться гражданской войны, — и тот оговаривал, что у Ленина нет практического чутья и знакомства с крестьянской массой. А Смидович бранил ленинские тезисы, что они отмежевали и изолировали большевиков ото всех фракций Совета, ото всех партий и от самих масс, тезисы стали всеобщим пугалом, и при каждом выступлении нам их напоминают. И Кураев: что тезисы в голой форме, без промежуточных звеньев, никуда не годятся, нельзя выставлять одну голую диктатуру и никакого конкретного плана. Практические провинциальные работники все видели этот ленинский эмигрантский отрыв в заоблака теории. Особенно энергично отвергал и ленинскую резолюцию, и его взгляд на Советы — Ногин: нам нужна практическая программа, а не общая теория; так же и с войной: а что если она кончится раньше, чем разовьётся мировое пролетарское движение? А Рыков возражал по самой сути: что в нашей крестьянской стране нельзя рассчитывать на сочувствие масс социалистической революции, и с такими лозунгами мы превратимся в пропагандистский кружок, малую кучку. И с войной: нельзя обезкураживать массы, что нет другого выхода из войны, как переход власти в руки пролетариата.

Ну, Зиновьев, ленинский подголосок, разумеется, со всем апломбом своей недалёкости и оттого особенной уверенности, газетности, во всех точках защищал ленинскую программу и заносился о Каменеве, что, конечно, живя в Сибири, он не мог следить за новейшей интернациональной литературой, а то бы знал, что стоит на позиции Каутского.

От Зиновьева — какое-то общее ощущение нечистоплотности: и от волос его, от головы, от речи, от аргументов, от приёмов.

Пожалуй — и от Сталина. Это впечатление появлялось у Каменева и раньше, а сегодня усилилось от внезапного лукавого поворота того на ленинскую сторону. Все эти недели смиренно шёл вслед Каменеву — а сегодня выступил коротко и, как обычно, без единой стройной мысли, — лишь открыто заявить, что он — за Ленина.

Оставалось заключительное слово Ленина — и он ещё и ещё раз удивил. Он — как будто не слышал большей части прений, и всех упреков, и критики своей программы. Он вдруг с поразитель-

ной оборотливостью объявил, что с Каменевым они *во всём согласны!* — (во всём, на что надо бы ему ответить или сдаться?) — и только единственный пункт разногласий: контроль над правительством.

Во всём согласны? — когда во всём практически расходимся! Этим шедевром уклончивости Каменев был просто ошеломлён. Но из такта он не мог указать вслух.

И только по поводу бурного кризиса этих дней Ленин выдал из себя толику признания: мы хотели произвести мирную разведку сил неприятеля... мы не знали, насколько колебнулась масса в нашу сторону, и вопрос был бы другой, если бы колебнулась сильно... ПК взял «чутьочку левее», а мы не успели задержаться... всё произошло из-за несовершенства организационного аппарата. Были ошибки? Да, были. Не ошибается тот, кто не действует.

И ещё — полупризнал, сквозь зубы, что партия большевиков оказалась в изоляции. Но — как будто не из-за его призрачных тезисов. И как будто — не из-за промахов кризисных дней.

ДОКУМЕНТЫ — 17

24 апреля

ИЗ ГЕРМАНСКОЙ СТАВКИ — РЕЙХСКАНЦЛЕРУ БЕТМАН-ГОЛЬВЕГУ

Срочно, вслед за телефонным сообщением

Сообщение офицера разведки о переговорах с двумя русскими депутатами южнее г. Дисны... Побудить Стеклова, первого заместителя Чхеидзе, без которого нельзя обойтись, приехать на место. Стеклов склонен к компромиссам... Если немцы откажутся от аннексий, то русские не должны будут считаться с Антантой, но заключат сепаратный мир. За свой излишек военнопленных Россия предлагает денежное возмещение... Из дальнейшего следовало, что Россия не будет непременно держаться точки зрения о не-аннексиях с нашей стороны. Галиция будет, разумеется, очищена для Австрии... Депутаты сказали дальше: интерес к вопросу о том, кто начал войну, отошёл в России полностью на задний план. Единственный жгучий вопрос для всей страны — скорое заключение мира.

Соображения Вашего превосходительства насчёт присоединения Литвы и Курляндии при собственном герцоге доложены ген. Людендорфу. Слово «аннексия» должно быть заменено «исправлением границы».

И началось с такого пустяка: вечером поздно, уже собираясь спать, уже пожелав спокойной ночи, я сегодня очень устал, Линочка, — вышел без кителя в среднюю комнату, напомнить:

— Прости пожалуйста, так ты не забудешь завтра...

А Алина — ещё играла на пианино, боком к нему. Вдруг сорвала руки с клавишей, крутанулась на вертящемся стуле и сразу вскрикнула:

— Сколько раз я просила — не смей перебивать меня на сцене музыкальной вещи!

И хлопнула крышкой пианино.

— Если ты сам не слушаешь, как я играю, если тебе безразлично, ты, по крайней мере, мог бы уважать мои занятия! Ты мог бы понять, что они — часть моей личности! Но ты никогда не считал меня личностью!

Это всё — так быстро, так громко, так сорванно, так подготовленно говорилось, как бы Алина уже бурлила и только ждала, чтоб он перервал. Георгий хотел извиниться, оправдаться, где там! — голос её взнесенный дрожал, и обе руки широко размахивались, каждая по-разному:

— Ты всегда высмеивал все мои увлечения! и как я люблю обряды подарков! и как я слишком много пишу поздравительных писем! А если я читала не то, что тебе нравилось, то: кто тебе эту чушь посоветовал? Тебя всё раздражало, в чём я росла отдельно и особенно, по-своему. То — я слишком громко смеюсь, делюсь мыслями вслух, — «лирика в общественных местах», неприлично! Ты гнул меня и корёжил, как хотел.

За эти месяцы сильно похудевшая, оттого девически стройная, с выразительными горящими глазами, и вправду бы даже хороша, но с подброшенным выкатистым подбородочком, и как бы мужской гневный похмур лба, — Алина метала ему не всё по порядку, но со страстью всё:

— И моё фотографирование высмеивал, и моих снимков не смотрел месяцами, у меня руки отваливались клеить их в альбомы. В твоей душе — ненормально малое место для жены, для всего семейного. Тебе в голову никогда не приходило предложить нам вместе поехать в Борисоглебск, посмотреть, как моя мамочка живёт, я ездила одна. Для всех нормальных людей слово «семья» —

священно! А ты? Никогда не понимал! У тебя нет вообще человечности!

Боже, да как это убеждённо, да с каким пыланием! Да может, она и права. От неё посмотреть — так может, и верно. Георгий не успевал этого потока проработать, он за лоб взялся у дверного косяка.

— И сейчас, когда ты кругом виноват! — это слово понравилось ей, и она повторила его обкатанно, сочно, чуть пристукнув одной ножкой, — *кругом виноват!* ты опять допускаешь нотки раздражения, обиденность, деловой тон, — уж я не говорю когда-нибудь принёс бы мне букет, этим родом чувств ты не одарён. Но ты даже ни разу не назвал меня своей Половиночкой, от самого того Петербурга ни разу, я заметила! Какой замысел у нас был красивый, когда-то, что мы теперь будем не два отдельных существа, но половинки одного, друг другу понятные, даже без слов, — и всё развалилось! И всё по твоей вине!

Георгий шагнул к ней, пытался взять за прыгающие руки:

— Линочка! Но я постоянно с такой нежностью о тебе думаю.. Её взвилось как бичом:

— Не подчёркивай мне свою *нежность!* Нежность! Я могла бы рассчитывать на большее! У тебя лучше бы появилось желание сделать меня счастливой в полноту моих чувств!

Где уж теперь в полноту... Теперь бы хоть поладить как-нибудь...

— Другие мучат, когда ненавидят. Но ведь ты — любишь меня, и мучаешь.

Заплакала. Не додержалась дольше. Сразу ослабела, руки повисли, плечи обвисли. Но тут же пришли его руки, с обеих сторон. Искал утешительное:

— Линуся... Ну нам же не по двадцать лет...

— Ах, наверно и в сорок! — воскликнула она с такой едкой горечью. — Ах, ещё б и не в пятьдесят!

— Ни в каких твоих любимых занятиях я тебе давно не препятствую... Но ты уж любишь делать — только что тебе нравится.

— А ты? — вскинула она живой, сушеющий, сообразительный взгляд. — А ты разве занимаешься не тем, что тебе нравится?

— Я хотел сказать... ты не обязана делать то, что кому-нибудь нужно, а по большей части и делаешь, что тебе приятно...

— Да! Я — увлекающаяся натура! И — инициативная! И не надо подавлять моих увлечений, а поощрять их, это в твоих же инте-

ресах, тебе же будет легче жить. Я не должна делать ничего такого, что б меня не увлекало. Иначе я не выдержу душевной боли! — Голос её грознел, и глаза опять наливались: — Ты — помни, какую рану ты мне нанёс! Ты думаешь — *это всё уже кончено?*?

Он похолодел.

— Ну, не надо, — отговаривал нежно. — Почему ты всё плачешь? Смотри — я же здесь, каждый день, и ничего не случилось. Посмотри, как ты извелась, похудела...

— А *кто* меня сделал такой?!

Опять плохо, не попал.

— Ты ещё по-настоящему не просил у меня прощения за неё! Ты ещё — не стоял на коленях!

Алина, уже вплотную к нему, ещё выдвинулась разгорячённым лицом:

— А *что* ты понимаешь под обещанием, что — всё кончено, мы — всё исправим?

Георгий не успевал уловить всех её переходов. Он не совсем понимал, как шёл разговор, как будто главная линия неназванно гнулась сама собой, а произносилось вслух другое. Поймать же той линии он не мог.

— Это значит, — впечатывала она, — не только, что ты не будешь встречаться с ней, но и: *в семье всё должно вернуться на свои места!*

Опять за оба предлокотья, твёрдо, со всей полнотой смысла:

— Линочка! Я же говорил, повторял, выбрось из головы всякие опасения, я никогда тебя не оставлю.

Она отмахнулась головой, как от большой мухи, вот тут мешавшей, а руки заняты:

— Я — горю непрерывно! И успокоения — нет!

Гипнотизировала изблизи:

— Ска-жи. Когда я осенью предлагала — зачем же ты отверг и не дал свободы мне? В тот момент у меня был порыв эту свободу использовать — а ты запретил.

Запретил? Он такого не помнил.

Усмехнулась:

— Да я и сейчас, кому захочу — любому понравлюсь. Только тебе не могу никак. Я просто сдерживала себя до сих пор. В браке мы равны, и я оставляю за собой это право!

Лицо её пожесточело, повластнело, но от этого сразу и постарело.

— Запомни! Снисхождения мне не надо. Я добьюсь, чтобы мой приход был для тебя праздником, а не напоминанием долга.

Она перескакивала, он совсем не успевал.

— О, если бы у нас были дети, совсем другая была бы жизнь.

Смотрела с презрением, чуть прищуриваясь:

— Да вообще, — имеешь ли ты понятие о настоящей силе чувства? Любви? Или отчаяния? Да ты даже, — с наслаждением взмучивала она боль, — ты даже и любовницу свою способен ли крепко полюбить?

О, безумная и несчастная!

И не ждала ответа, её уже зацепило крюком по больному месту — и потащило:

— А хотела, хотела я не уезжать тогда в Борисоглебск, чтобы только взглянуть на тебя! Посмотреть, с каким лицом ты явишься от неё ко мне?! С какой совестью! — вскричала, и вырвала от него свои руки, и отшагнула: — Я любила тебя со всеми твоими недостатками! Она — за одни твои показательные достоинства. У меня в центре жизни — любовь, у неё — собственное «я». И всё равно тебя будет раздражать всё, что отличает меня от неё!

С последней надеждой, уговорительно:

— Да нет, Линочка... Не будет.

— Ну как же! Она, оказывается, умеет и музыку толковать! Она тонко разбирается...

Если б Алина не так нападательно разговаривала! Но где-то надо и остановиться. Спокойно, но строго:

— Да почему ты так всегда боишься сравнений? Напротив, надо всё время сравнивать себя с другими людьми и улучшаться. — Твердел. — Не непременно играть самому, можно — воспринимать, толковать. Как раз этого я от тебя обычно не слышал...

Алина подбежала и закрыла ему рот рукой. Была такая у неё защитная манера: не дать говорить, что ей больно услышать бы.

— Ну вот! ну вот! — вскричала как торжествующе раненная. — Я знала! Ничего не кончено! Всё осталось! Что же ты не едешь к ней, почему не просишься?!

Этот её жест затыкания рта — ребёнок она и оставалась. Он переступил, не надо обижать.

А её несло всё безсвязней:

— Вот как ты мне отплатил за всё! за всё! Но запомни: ты видел её — последний раз! Или меня — последний! — И вдруг собрала глаза, как увидела что-то за его спиной. И почти шёпотом,

почти шёпотом, но угрожающим: — А случись в твоей жизни что-нибудь страшное? Тяжёлая рана? Кому ты будешь руки целовать? У кого просить прощения?

Она была без сил, была жалка, но она перешла чур, запретный для воюющего солдата. И сразу — выкинулась из сердца вся расположенность, вся склонность смягчать и льготить. Молча повернулся, ушёл. Метнул задвижкой.

Кажется, минут через пять порывалась войти. Шалишь, не возьмёшь.

103"

(по социалистическим газетам, 18—25 апреля)

Гор. Курмыш торжественно праздновал день 1 мая. Начали молебном и обошли все улицы с пением революционных песен.

РЕВОЛЮЦИИ НУЖЕН ХЛЕБ! ПОМНИТЕ ЭТО, БРАТЯ КРЕСТЬЯНЕ!

Воззвание Ромена Роллана. «Русские братья! Вы одним прыжком поднялись до уровня Франции и её Великой Революции. Превзойдите этот уровень! И пусть мир, разбуженный вашим голосом, поскорей последует за вами!..»

...Право пролетариата на вражду с другими классами всесторонне и глубоко обосновано. Но именно пролетариат вносит в жизнь великую благостную идею новой культуры великого братства...

(Горький)

Москва. Крупная московская финансовая буржуазия устами г. Кагана выразила полную и безусловную свою поддержку займу Свободы. Его поддержали кадетские финансисты г. г. Гензель и Каценеленбаум, категорически заявившие, что заём это лучшее средство...

ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ. ...Наша разруха ещё даже хуже, чем предупреждает Временное правительство. Хозяйственная жизнь — в полном распадае. Прежнее правительство трусило поставить магнатов под контроль — трусит и новое. «Творческая инициатива капитала» ничем не отличается от мародёров тыла.

(«Новая жизнь»)

Московский СРД обратился к СРД всех хлебопроизводительных губерний: оказать содействие агентам московского продовольствен-

ного комитета, принять меры к проверке скрываемых запасов и к реквизициям.

ИДИТЕ В ДЕРЕВНЮ. Тёмная сила сгнившего царского правительства поднимает свою мерзкую голову. Деревня в опасности. Народ терзается, ненависть и страсти растут, резня каждый час готова вспыхнуть. В некоторых местах аграрное пламя уже кипит. Товарищи и граждане! Не дайте погибнуть нашему народу, не бросьте его в этот великий час, чтобы непорочная невеста — Свобода, не отвернулась от него. Товарищи, оставьте личные дела, и оставьте пока строительство новой жизни! В городах вам нечего делать, здесь граждане подготовлены...

(«Известия СРСД»)

Стародуб. Постановление исполнительного комитета общественных организаций: признавая свободу слова, союзов и собраний в самом широком смысле слова, в то же время не считаем возможным в настоящий момент допустить функционирование таких политических партий, как «Союз русского народа».

...Офицеров полиции и жандармерии отправлять на фронт в качестве рядовых. Бывшего царя Николая, его супругу, мать и Марию Павловну поместить в Петропавловскую крепость.

Приводят к присяге. Необходимо обратить самое серьёзное внимание: в Херсонской губ. батюшки приводят деревенское население к присяге Временному правительству, объявляют в церквях, ходят по приходам. Уродливое течение, духовные отцы вносят немалую смуту в умы.

Житомирский СРД обратился в Петроградский СРД с просьбой содействовать обезврежению еп. Евлогия и послушного ему духовенства.

Нижний Новгород. Губернский исполнительный комитет постановил не допускать возвращения архиепископа Иоакима в Нижний Новгород и сообщил начальникам ж-д станций, чтобы предупредили: в случае возвращения будет арестован.

Пора прекратить! Пора прекратить ту вакханалию лжи, клеветы и доноительства, которая развёртывается в нашей прессе против Ленина. В странах, живущих свободной жизнью, политика творится улицей и на улице, и от этого священного права демократия отказаться не может. Но современная улица таит в себе и тёмные страсти.

(«Новая жизнь»)

От центрального продовольственного комитета. Проклятое наследие старого режима, осложнённое распутицей... неорганизованностью на местах... Ввиду малых заготовок, о которых не позаботилась дореволюционная власть... приходится прибегнуть к уменьшению хлебного пайка. С 27 апр. — 3/4 фунта для всех граждан, кроме рабочих усиленного физического труда, для которых 1¹/₂ ф. ...Комитет не сомневается, что вы, граждане освобождённой России, отнесётесь спокойно к этой мере... Усердная просьба: экономно расходуйте хлеб, не пользуйтесь всеми карточками... Товарищи солдаты! Не требуйте хлеба без карточек и вне очереди!

Я издавна чувствую себя живущим в стране, где огромное большинство населения — болтуны и бездельники, и вся работа моей жизни сводится к возбуждению в людях дееспособности.

(Горький, «Новая жизнь»)

Казалось бы, каждый русский гражданин должен ценить каждую русскую народную копейку. Но куда гоняют по петроградским улицам военные автомобили после 7 ч. вечера и с дамами? В какие служебные командировки?

Военный шофёр

КРЕСТЬЯНЕ! НА ГОРОДА НАДВИГАЕТСЯ ГОЛОД. ВЕЗИТЕ ХЛЕБ!

...Русская революция громким благовестом отозвалась во всех концах мира... Нет, не России первой суждено войти во врата социалистического царства. Но она вселяет... будит... зовёт. Русский народ, который до сих пор невольно был тормозом мировой цивилизации... Неслыханное торжество идей Интернационала...

(«Известия СРСД»)

Государственная Дума, которая уже давно смердит, поднимает вопрос, чтобы ей было предоставлено место в жизни, рядом с живыми.

(Горький, «Новая жизнь»)

Мы, рабочие завода Гольштрам и Тунельд, требуем от Временного правительства, чтоб оно всецело подчинялось решениям СРСД. Если оно не будет подчиняться — то требуем его смещения. Требуем от СРСД, чтобы он вооружил рабочих Петрограда всеми видами оружия...

Феодосия. ...Совещание призвало граждан к обязательной подписке на Заём Свободы. Уклонение от подписки на Заём означает измену делу свободы...

Ростов-на-Дону. Купец Вейсбрем подписался на миллион рублей.

Царицын. В синагоге в течение полчаса подписано на 3 миллиона рублей.

Скопин. Упразднить так упразднить всё, от царя до старосты. Крестьяне нашли, что и уездное земское собрание совсем не нужно, его обязанности может исполнять уездный комитет.

...Совету рабочих депутатов сейчас же пересмотреть вопрос о содержании бывшего царя, т. к. держат его в прежних палатах, воздвигнутых на народные деньги, окружённого целой сворой слуг, когда России дорога каждая лишняя копейка... Он теперь простой гражданин Романов, обвиняемый в самых тяжких преступлениях перед родиной. По трудам его и воздать должное, и перевести на общий режим в Петропавловскую крепость.

(«Известия СРСД»)

На черниговском крестьянском съезде молодой священник Мозалевский заявил: «До сих пор священники жили у нас паразитами, они играли роль жандармов у правительства». Оратор высказывает мысль, что первым эсером и социал-демократом был Христос, а буржуазия до сих пор распинала народ на кресте.

... реорганизовать всё управление петроградским трамваем на демократических началах...

Собрание прислуг Нарвского района в числе 515 чел. присоединяет свой слабый голос... никакой пенсии старым министрам и сановникам, страшным угнетателям народа...

Товарищи подростки до 18 лет... приглашаются выбрать по одному представителю от каждого завода на районное собрание.

Нижний Новгород, 21 апр. На почве недостатка муки в городе произошли резкие выступления женщин, преимущественно солдаток. Собираясь толпами, они врываются в дома граждан и производят обыски с целью отыскания предметов продовольствия. На уличных митингах несколько случаев ареста солдатами лиц, высказывающихся за войну до победного конца и захват проливов.

Об отлучках. Полковой комитет 1-го Гренадерского Ростовского полка... Всех бежавших из полка считать изменниками и предателями... При возвращении в полк предавать полковому суду. Извещать о бежавших в волость... прекратить выдачу пайка семьям бежавших... всех родственников и знакомых, скрывавших бежавших, считать тоже изменниками и привлекать к ответственности...

**КРЕСТЬЯНЕ! ВАШИ БРАТЯ В ГОРОДАХ И НА ФРОНТЕ
ЖДУТ ОТ ВАС ХЛЕБА!**

...Кадетские «граждане» выступили с плакатами, превзошедшими своим клеветническим цинизмом всё, что в добрые старые времена самодержавия позволяли себе черносотенные банды погромщиков («арестуйте шпиона Ленина»). Неудивительно, что отдельные заводы не выдержали и организовали демонстрации противоположные. Кто же был «безумным сеятелем смуты»? Неведомые безответственные «ленинцы» или для всех ведомая, высокоответственная партия народной свободы?

(«Новая жизнь»)

Выборгский районный СРСД приветствует Михайловское артиллерийское училище, что оно не пошло на провокационный вызов ген. Корнилова, направленный на подавление революционных масс, и просит о назначении следственной комиссии по волнующему всех рабочих факту.

О СТРЕЛЬБЕ НА НЕВСКОМ. ...Это была пальба по СРСД. Преступная воля, направлявшая её, метила в юную русскую свободу. Рассказывают вещи довольно жуткие: кто-то раздавал деньги подозрительным типам... Очевидцы утверждают, что рабочие и солдаты, протестовавшие против грубых нападков на СРСД, подвергались избиениям со стороны приличной публики в котелках и разодетых дам. Где искать виновников чудовищной провокации этого дня? Сторонников старого режима шатается на свободе немало. Многочисленные агенты тайной и явной полиции. Допустим даже маловероятную версию, что стреляли озлобленные или сбитые с толку рабочие, — но ведь и их могла направить преступная воля провокатора. Можно с уверенностью сказать, что если выстрелы производили рабочие, то они, конечно, стреляли в воздух. Не сомневаемся, что следствие рассеет гнусные обвинения против революционно настроенных рабочих.

(«Известия СРСД»)

...я не знаю, кто стрелял в людей третьего дня на Невском.

(Горький)

Ленинцы испугались тех духов, которых они вызвали и с которыми уже сами не могли сладить.

(«Рабочая газета»)

Резолюция команды и рабочих морского полигона. Признаём единственную власть Народа России — СРСД, а Временное правительство должно уйти добровольно от власти, ему не могут доверять трудящиеся массы России, как представителям капитала.

...удалить из Временного правительства, по крайней мере, Милюкова и Гучкова, первых отступников от требований народа. В случае отказа — ликвидировать весь состав правительства.

ДОКУМЕНТЫ — 18

Опубликовано 25 апреля

ПРИКАЗ № 176 ПО ПЕТРОГРАДСКОМУ В. О.

За последнее время наблюдаются случаи чрезмерного увеличения побегов солдат, расположенных в пределах вверенного мне Округа... Указанное крайне грустное явление заставляет меня принять нежелательную меру, а именно: оглашать в печати имена и фамилии тех солдат, которые, видимо, недостаточно проникнуты сознанием своего долга перед Родиною и важностью переживаемого момента.

Ген.-лейт. *Корнилов*, 19 апреля

104

Так и переломилась жизнь Ярика — не революцией как бы, а его отпуском. Уехал он из нормального полка, от нормальной роты, а вернулся — всё подменённое и больное. И с тех пор, полтора месяца, всё хуже и хуже.

В подлад к разнимающей солдатское сердце весне тишина на фронте стояла небывалая. Неделя за неделей ни одного оружейного выстрела, не прочертит мина свой светящийся изломанный след, не упадёт с отвратительным хрюканьем, да даже и из винтовок совсем уже редко хлопнут, и как что-то неприличное. Если в полку трещат выстрелы — то это стреляют в галок. А гранатами — глушат рыбу в речке, в полосе резерва. Винтовки чистить, протирать — и унтеры уже не заставят, только у кого у самого совесть есть. А уж к химической атаке — совсем не готовы, и не спрашивай. В землянках — играют в очко.

Каков был ответу русский солдат! Никогда не жаловался на тяжесть военной службы, на строгости. Караульный устав и обязанности часового цепко держали его воображение. И какие прежде бывали нарушения дисциплины — то только в пьяном виде. Веками было так. И всё отвалилось — за месяц.

И как же несправедливо обернулось на офицеров! Разве ежедневно не одною смертью мы умирали? — да доля павших офице-

ров больше, чем доля павших солдат. И на фронт разве рвались не те, кто смелей, а другая порода притарчивалась в тылу. И какой офицер «буржуй», как тычут партийные агитаторы? — у кого есть собственные дома? кто передаёт состояние по наследству? Офицер живёт с одной службы. И уходить со службы — некуда, хоть бы и захотел.

Жили как внезапно попавши в тюрьму. Заметил Ярик: офицеры стали и сидеть в неуверенных, характерных полупонурых позах, в каких частенько сидят свежие пленные. А каждый десятый, если не пятый, усиленно ищет в себе сочувствие к новому невыносимому порядку, чтобы всё-таки мочь существовать как-то.

На любое деловое, служебное заседание офицеров — имеет право явиться представитель солдатского комитета — и *контролировать*. Комитетами верховодят полуобразованные, «которые с носовыми платками». А если кто из служивых унтеров оборотится сказать за дисциплину или против братания, — им самим угрожают из солдатской массы, что, мол, «продались» офицерам, из комитета — переизбирают вон. И так все привыкают прислушиваться сверху вниз.

Не стало положения беспомощней, опустошённой, чем быть русским офицером.

Ярик-то всегда был с ротой хорош, и к нему после революции не переменялись. Никто ему не угрожал, часто звали и в ротный комитет.

Но — для чего ж он становился офицером? Издавший спор его с матерью, что он должен служить офицером — и никем другим? А теперь — кем? А теперь зачем?

Но и отделиться от офицерского ряда никаким благоволением роты Ярослав Харитонов уже не хотел. И рота была — его, но и офицерство — его.

Раньше немецкие прокламации бросали с аэропланов — теперь их приносят свои же солдаты с братания или газету «Русский вестник», всё на отличной бумаге напечатано и с полной грамотностью: «Кончаем войну! Русские, не наступайте! Мы тоже не будем наступать. И не доверяйте Англии!». Солдатам очень нравится.

А с тыла в полк уже не раз приезжали «делегаты» и близ полковой канцелярии собирали митинги, все валили из окопов туда: земля будет ваша! фабрики — ваши! и жизнь совсем новая — без всякой полиции, не платить податей, и у каждого полный дом добра.

А то и такие приезжают, да и в большевицкой «Солдатской правде»: бросайте фронт и езжайте домой землю делить!

Вот этот отчётливый зов и увлекал солдат: спасайся, кто может! И больше всего поддавались молодые, недавно набранные: «Да лучше заплатим немцам 50 миллиардов и ещё будем работать на них — только бы не воевать».

Продавала себя Родина за Землю и Волю. Не тянули Вера и Отечество против Земли и Воли.

А всё-таки оставалась и надежда: ведь могла бы фронтовая армия и вовсе бросить оружие, и уже разойтись, — никто б её не остановил. А не расходились! Что-то удерживало.

В тоске ожидали офицеры подкрепляющих вестей из Петрограда, твёрдых и неотменных распоряжений. Но не было их.

И так раскладывали офицеры: сейчас бы нам уйти со службы всем до одного — пусть без нас попробуют. Начальник дивизии внушал: ни в коем случае! всем до одного оставаться на своих должностях, и задерживать, сколько можно, крушение армии.

Но и — куда идти, когда вся Россия стала сумасшедший дом?

Нет, всё больше понимали, что обречены именно тут, на мученичество.

Оттаяли поля — и открылась прошлогодняя трава. Вот: эта самая трава — и росла, и увяла, когда не было у нас ещё никакой революции...

Куда идти?.. Разве, в одиночку, — на немецкую проволоку?

105'

(Временное правительство молит о поддержке)

Пережитые дни 20 и 21 апреля ошеломили если не Терещенко и Некрасова, то остальных министров всех, и даже князя Львова, неуязвимого в облаке его благодушия. При встрече воинских делегаций, всё ещё текших в Мариинский дворец, хотя куда реже, он продолжал ободрительно им заявлять:

Каждый прожитый день укрепляет в нас веру в государственный разум русского народа и величие его души.

Но в частных беседах стал горько жаловаться, что Совет демагогичен, а положение в стране почему-то идёт не к лучшему, а к худшему. Даже обидней всего пришлось министрам не сами апрельские дни, а как

вралью теперь их перелагала социалистическая пресса: печатались показания каких-то лжесвидетелей, по которым выходило, что вооружённые рабочие отряды только были жертвами нападения озверелых буржуазных толп, а сами или вовсе не стреляли, или только в воздух. Или даже было такое свидетельство, что инвалиды войны с автомобиля «Да здравствует Временное правительство» стреляли в особняк Кшесинской, а рабочие демонстрации шли на Невский нехотя, только лишь узнав о насилиях, творимых буржуазией.

И эта лживая версия докатывалась же и до фронта, и вот в этих днях получило правительство осудительную телеграмму от 38-й пехотной дивизии: «Вы хотите погубить нашу свободу и родину и захватить власть в свои руки. Армия не допустит, чтобы буржуазия наложила свою тяжёлую руку на пролетариат. Не испытывайте нашего терпения и немедленно откажитесь от империалистических вождедений». И требовали опубликовать манифест Совета 14 марта от имени правительства.

Впрочем, и не так худо, артиллеристы 38-й же бригады, при той же дивизии, отповещали: «Не раз мы слышали упреки пехоты. Но мы стреляли и будем стрелять по немцам, идущим к нашим окопам».

А делегация 7-й армии сегодня огласила: «Во имя мира мы отрицаем братание». А кубанская Рада слала правительству: «Поможем всеми войсками против любых попыток».

К кому прислушиваться?

Конечно, велось расследование, и истинная картина будет восстановлена. Но самим министрам было страшно, куда это расследование доведёт: ведь до Ленина. Это может стать как бикфордов шнур к социалистическому гневу, этого не следует взрывать. Да даже всякие обвинения рабочих приведут к расстройству отношений с Советом, и без того шатких. Нельзя этого допустить. Да в те роковые дни и за правительство было немало рабочих, только всё небооружённых. Нет, надо как-то уладить по-хорошему.

Так кризисные дни не миновали, а только стали затяжными.

Единственный Милюков считал, что Временное правительство в апрельские дни одержало победу — и надо теперь держать себя к Совету твёрдо. Но тем только выкапывал ров вокруг себя: никто из министров не мог согласиться с таким безумием.

А Гучков, мрачнее всех, говорил, напротив: что всему правительству надо уйти: опубликовать к стране нечто вроде политического завещания — и на этом *кончить*. Министры изумлялись такой безнадежности. Все они считали, и Некрасов горячо это повторял: невозможно нынешнему правительству отказаться от власти, нельзя кинуть власть, не зная, кому она будет передана.

Да ведь мы же поклялись довести страну до Учредительного Собрания!

Да ведь мы же головой рисковали, когда брали власть — ещё прежде царского отречения!

А вот — такая неблагодарность к нам.

Но и все понимали теперь, что правительство страдает без парламентской опоры. Предполагалось раньше когда-то, что будущее ответственное правительство будет опираться на Думу. Но вот уж безтактно — перед Советом — было бы сейчас созывать Думу.

Да и кто в ней остался?

Да и как её потом распустить?

Это всё мутил Шульгин. А собери — засыпят правительство запросами, работать станет совсем невозможно.

Как раз в эти дни зашевелились думцы, и приезжал Родзянко настаивать, особенно под тем предлогом, что 27 апреля — годовщина созыва бессмертной 1-й Думы. Очень некстатиная годовщина, и Совет был бы возмущён. Однако князь Львов нашёл извилистый выход: 27-го созвать юбилейное заседание, но — всех четырёх Дум. (Тогда ясно будет, что это не постоянный орган, а просто митинг.) Родзянко не сумел отказаться от соблазна: уж хоть что-нибудь собрать. Согласились.

Нет, никуда не укрыться: надо напрямую разговаривать с социалистами из ИК. Звать их в правительство. После этого кризиса нам без них больше не существовать.

К такому коалиционному правительству начинало клониться всё. И множество телеграмм из провинции — от местных самоуправлений, интеллигенции, чиновников — все требовали коалиции с социалистами. И по всем не-левым, благоразумным газетам разлилось после кризиса такое же обсуждение: мы отвратились от призрака гражданской войны и теперь со всех сторон идём к коалиционному правительству, к сочетанию всех действующих сил и партий. Кризис показал, что работа правительства не может продолжаться как прежде: или создать условия доверия и поддержки не «постольку-поскольку», а безусловных, или сформировать новый кабинет, которому будет открыта более счастливая обстановка. И даже пришла в правительство частным образом группа молодых, но старших офицеров Военного округа: просим! пойдите на всё! — только бы Советы помогли поддержать дисциплину в армии и в тыловых гарнизонах.

А в самом правительстве Владимир Львов так просто сиял: да он от самого начала революции был сторонник, чтобы советские входили в правительство! Без них нам никогда не управиться. А Керенский, Некрасов, Терещенко дружной тройкой рвали к этому же — и отдельными совещаниями с князем Львовым увлекли его. Да какие же разумные возражения можно было противопоставить? Вслед за ними и все присоединялись, кроме Милокова и Гучкова. (Была и облегчительная надежда, что при крупных перестройках кабинета они двое перестанут отягощать собою правительство.) Терещенко, опережая события, уже пригласил советских в свою комиссию по финансовым реформам. И он, и Некрасов всё время встречались частно с представителями ИК и обещали, что будет хорошо.

Но в понедельник, 24-го поздно вечером, на первой Контактной комиссии после кризиса, когда заговорили об этом прямо, Церетели с неизменной своей прямоотой ответил:

А какая вам польза, если мы войдём? Мы из каждого спорного вопроса будем делать ультиматум, а не уступите — будем с шумом выходить. Так лучше не входить.

И убедительно.

Снова и снова совещались сегодня растерянные министры: что же делать?

Милюков сидел каменный, а торжествующий. Гучкова не было, как обычно.

Но его идея, что пришло время обратиться к стране о том, что давит сердце, — привилась. И последние дни на заседания правительства стал приходиться Кокошкин. Из министров решительно некому было писать такое Обращение: все заняты, и не каждый владеет пером. Поручили Кокошкину. Но когда он принёс и прочёл свой первый проект, — министры, кроме безжалостного Милюкова, единодушно ахнули: это была правда, да, та самая, что они чувствовали, но невозможно бы это опубликовать: это был бы прямой обвинительный акт против Совета, и тогда конец всему! — Совета нам не опрокинуть.

Стали править. Три заседания правили (сегодня — третье), а в промежутке правил сам Кокошкин, а Керенский советовался со своими эсерами — и так постепенно Обращение стало принимать благообразный вид.

Теперь против него возражал Милюков: что появился извинительный тон; что, признавая свои провалы, правительство дискредитирует само себя. Но никто его не поддержал, кроме Мануйлова. Да все министры — уже устали безконечно, от одного недосыпа, у всех были почерневшие, состарившиеся лица.

Да весь смысл Обращения — отнюдь не стукнуть дверь, но при всей стране громко призвать Совет разделить ответственность за управление.

А если Совет всё же отшатнётся?

Ну вот тогда... тогда мы станем независимы?..

Увы, в свою независимость они уже не могли поверить.

Начиналось Обращение всё от той же печки, как

могучим порывом народной воли был низвергнут старый порядок... Члены правительства не поколебались взять на свои плечи тяжёлое бремя в твёрдой уверенности, что единоклубная поддержка народа...

И вот, несмотря на краткость прошедших месяцев, народ уже имеет возможность судить, как правительство выполняло обязательства.

Напряжённая деятельность, посвящённая текущим неотложным нуждам. Амнистия. Отмена смертной казни. Национальное и вероисповедное равенство. Свобода собраний и союзов. Местное самоуправ-

ление (пока в будущем). И подробнее — о законоположениях изданных. И предполагаемых. Учредительное Собрание, правда, ещё не создано, но

установлен план работ по составлению положения о выборах,

а для того Особое совещание, из самых авторитетных представителей, которое скоро приступит к работе. Дело в том, что Российское Учредительное Собрание должно быть избрано по наилучшему из мыслимых в Европе избирательных законов. (Но составление самой комиссии не удалось уже второй месяц: Совет рабочих депутатов требовал себе мест больше, чем ему предложено, нет баланса и по национальностям. Так что вряд ли комиссия соберётся раньше середины мая.) Зато уж в армии

демократические реформы, далеко опережающие всё, что сделано в этом направлении в наиболее свободных странах мира.

Конечно, армия испытала потрясение. Теперь восстанавливается её организация. Зато — за чинами армии вся полнота гражданских и политических прав. И —

воинская дисциплина на началах, соответствующих духу свободного демократического строя.

И создан Главный земельный комитет. И — полнейшая автономия Финляндии. И будущая независимость Польши.

Кажется, в списке ничего не проронили. (Упомянули и хлебные карточки, но более высоким языком.) Список был долог и почётен. Однако тут и начиналась самая трудная часть Обращения. При такой успешной программе, как бы это выразиться? —

Временное правительство не может скрыть от населения тех затруднений и препятствий, которые оно встречает... Оно не считает также возможным умалчивать, что в последнее время затруднения растут и вызывают тревожное опасение за будущее.

Вот, с этого места и начиналась мечевая рубка, внесенная слабеньким худоплечим Кокошкиным. Вот её-то и устранили. А вместо этого — скромное напоминание о своём благородстве: что

Временное правительство в основу государственного управления полагает не насилие и принуждение, а добровольное повиновение свободных граждан. Оно ищет опоры не в физической, а в моральной силе. Ни одной капли народной крови не пролито по его вине...

Вот только так осторожно намекнуть, что стреляли *не мы*. И снята нападательная часть на ленинцев, а как же это роково так всё сломилось? Домогательства отдельных групп и слоев грозят разрушить гражданскую дисциплину... насильственные акты, сеющие вражду к новому строю...

И пожаловаться хочется — и никак нельзя. Но скажем: всё это угрожает привести страну к распаду внутри и к поражению на фронте.

Не переродиться и для этих строк, уж какие удались:

Временное правительство призывает всех и каждого к укреплению государственной власти. Пусть все поддержат её повиновением и содействием. А правительство с особенной настойчивостью возобновит усилия к расширению его состава... привлечением тех активных творческих сил страны...

Возобновит, а не начнёт, — это князь Львов предложил, это очень тонко выражено, это значит: мы и прежде приглашали советских, да они не идут.

Цензовое правительство просило социалистов о помощи.

А больше — а больше, как рыба на суше глотая воздух, не могли они вымолвить стране ничего.

РАД БЫ ЗАПЛАКАЛ, ДА СМЕХ ОДОЛЕЛ

За эти семь революционных недель, пережитых Каменкой, только одна была спокойная — пасхальная: сошёлся и великий праздник, и разлив, — над полями то забористое солнце, то тёплые туманы, снег быстро сходил, низины заливало, прерывая дороги, отрезало от Каменки весь мир вместе с революцией, — а тут тихо, тепло, празднично, и жаворонков слышно. Но не успели ещё стянуться, усохнуть все озерки, ещё воронки и ямины на дорогах, а поля непролазные чёрно-мягко-бархатные, с последними полосками снега, — опять стали наезжать агитаторы, городские посланцы с красными бантами, задолго назвенная колокольцами по верх-

ней сампурской дороге. Вернулся и Скобенников из Тамбова с полным тарантасом брошюр, велел Юлии Аникеевне раздавать крестьянам и разъяснять, она же невольно теперь слушалась его как старшего, чего не было раньше, по школьному делу она превосходствовала прежде над ним. Скобенников теперь совсем учить детей перестал, только распоряжался комитетскими делами да всё приезжал-уезжал, метался по другим сёлам. Сильно упала и прилежность детей, приходили хуже, и Юлия Аникеевна тоже сокращала уроки. Да с одними брошюрами и политическим просвещением было дел по горло, а ещё велено было ей и двум женщинам из больницы по очереди дежурить при волостном комитете и разбираться с их бумагами.

Просвещать крестьянскую массу сегодня (ещё и сама же на ходу просвещаясь, тут много и для неё новизн) было куда трудней, чем учить ребятишек в школе. И прежде её объяснения встречались не слишком лестно. Один её окончивший ученик стал объяснять отцу, что земля круглая, — тот плюнул: «Ну, зря я тебя учил. И дура ж твоя Струтишка». (Такая странная кличка утвердилась за ней в селе, даже может быть, взрослые прилепили раньше детей.) А теперь в этой кипе брошюр, которую привёз Скобенников, три четверти было, видимо, из какого-то подпольного архива, издания 1905–06 годов, и вот дохранили, извлекли и, не сверяясь, кинули на расхват крестьянству. Но никто их хватать не стал, всё не ко дню, чужое, а главное — каким языком написано, ни одной понятной народу фразы, требуются ещё переводчики с этого языка на народный, но и не Юлия же будет этим заниматься. Были и новейшие брошюры этих недель, и написанные первоклассными интеллигентскими силами, — но чем первоклассней, тем и непонятней, и они только раздражали крестьян против самой раздатчицы. Да ещё же ведь: наиболее грамотная молодая мужская часть деревни — вся на фронте, и деревня стала неграмотней, чем обычно. Вот и слышишь, что «Русские ведомости» скусно курить, хороша тонка бумага, а «Русское слово» и заворачивать жёстко, и горчит. Но даже и не в грамотности дело: не тогда понимает крестьянин, когда слушает беседу, речь, а когда сам вопросы задаёт и сам возражает. Должна была Юля объяснять им подписку на заём свободы, — отвечали: «Да за эти 49 лет десять раз помрёшь, кто ж так деньги даёт? Никогда их назад не получишь». (Притащился в Каменку левый агитатор и: да, да, не получите, государство к краху идёт!) Должна была Юля объяснять и хлебную монополию — все

сплошь не верили, считали грабежом. «Будут хлеб отбирать? Да не дадим! Я гни спину, а он придет хлеб забирать? Ни по какой цене!» Руки опускаются, ничего не объяснишь. Да она и сама в этой монополии не слишком понимала.

На монополию жаловался ей и один приезжий лектор: если теперь будут оставлять деревне хлеб только на едоков — так это надо с собой, если едешь, кроме книг ещё хлеб везти и чуть не овса своей лошади? Впрочем, пока что приезжали они при звонких бубенчиках парами (вместо городского автомобиля), тут их сытно кормили, и держали они речи вроде такой:

— Романовская монархия была страшная заразная болезнь, вы испытали её ужасы. Теперь вы перестали быть рабами царизма и барщины, воплотите же в себе психологию свободного человека! Крестьянин раньше давал государству только хлеб, а теперь от него нужна мудрость государственного строительства. Крестьянская женщина раньше рожала государству солдат и рабочих — а теперь она полноправная гражданка и может развернуть свои духовные силы.

И к чему совсем не были готовы мужики — к разноречию между газетами. Чем слабей крестьянин в печатном слове, тем он с большей верой: раз напечатано — значит правда. Не различают — закон, проект, резолюция, что написано — то и закон. А тут по разным концам села ходят разные газеты — и вразной. Где же правда? И сильно действует, когда на газете так и написано крупно: ПРАВДА.

Но и так же видели мужики, что и при новом порядке — ни топора купить, ни подковать лошадь, ни, куда там, натянуть новую шину на колесо, нечем чинить ни избы, ни ворот, а в лампочках керосин стали мешать с водой — потрескивает, но всё же горит. Зато наладились гнать самогонку из ржаной муки в чугунках с примазанной шейкой и трубочкой — из пуда муки, говорят, семь бутылок 1-го сорта, идёт по 3 рубля за бутылку, да ещё 2-го, — а хлеб, мол, всё равно пропадает, да вот и отбирать будут.

Время сева, а зачастили сходы — для каждого приезжего, и каждого приезжего слушают: или кого-то ещё выбирать, или *насчёт новых прав*. Аплудисментов мужики не умеют, слушают напряжённо и молчат, оратор не знает, что и думать. Или скажут ему потом: «Твоё дело — говорить, наше дело — выслушать, а выйдет, как Бог даст». Очень недовольны мужики-хозяева, что на эти сходы, которые теперь и сходами не зовутся, но собраниями, — валит

и молодёжь, раньше не допускаемая, и бабы приходят: «Вы нам тут баб перемутите, их тогда и в оглобли не впряжешь». — «Да что это за слобода пошла, мора на неё нет, ровно очумел народ». Про Учредительное Собрание натолкуют — спрашивают мужики: «Так за кого голосовать: за царя или за студентов?» Бабам политики не поясняют, а бабы свою политику знают: мира хотят как одна. А пока требуют: удвоить казённый паёк солдаткам, его по 10 рублей в месяц дают на каждую законную жену и на каждого ребёнка от 5 до 16 лет, и всю войну считалось слишком хорошо, — но теперь стали требовать по 20 рублей давать, и ребёнку до 5 лет тоже, и невенчанным жёнам тоже. А на то старики только головами покачивают: «Ох, останемся безо всякого порядку».

Чем больше слов непонятных у оратора — тем пристальней слушают. Национализация, социализация — одна тарабарщина. И вдруг разобрались: «Как это? — ни продать, ни распорядиться, как счотется? Какая ж это слобода?.. Вот если б нам земли побольше да делай на ней что хочешь — вот это слобода!» И какой приезжий говорит о земле крайней — того и слушают. Откуда-то сложилось у крестьян, что какую землю этой весной засеешь — та за тобой впредь и будет, а свою хоть и не засевай — всё равно за тобой.

Да когда ж эта прирезка земли низойдёт? ведь сев упускаем! — хаживали спрашивать и к толстовцу Васе Таракину, Лыве, он как грамотный теперь много читал вслух и пояснял печатное. И Лыва со внутренним сиянием объяснял:

— Будет прирезка! Непременно! Теперь-то — вся земля наша. Повременить только надо, чтобы без этой, анархии...

— А от каких нам прирежут? — (То есть от кого из помещиков.)

— Да, помещиков нам Бог мало послал. Ну, найдётся земля, должна найтись. Революция никого не обидит.

И улыбался виновато, что нету земли.

От такого сумбура крупное Туголуково устроило складчину, да послали одного своего в Питер: своими глазами повидать, всё узнать. Воротился — и на сходе повинился: «Так много разного слышал, братцы, так много разного, всё перепуталось, всё забыл!» И сельчане посадили его в холодную за то, что деньги зря проездил.

И чем меньше крестьяне могут понять происходящее, тем настойчивей ползут слухи. «Теперь вместо царя какая-то рублика

будет!» Из газет узнали, что наследник был болен, — «Это старая государыня сглазила, наводила порчу из зависти к молодой». Или такой слух: «В Питере главный прешпект провалился, под ним пожар и подземный ход». А рабочие в Питере лодыря корчат, большие деньги гребут, а совсем работать перестали. И на войну не идут, а с нас — сыновей да сыновей. И такое: теперь восстановят крепостное право. Слух от слуха — через недоверие и жуть, и конечно слух про Антихриста: то ли идёт, то ли уже пришёл.

Сказано: выбирать сельский комитет и выбирать волостной комитет. Зачем — мужикам непонятно, «может какое новое дело объявят». Выбрали. Сперва — кто поуважаемей, и Плужников — председателем волостного. Писаря Панюшкина сменить ни за что не захотели — и стал он называться «делопроизводитель народной власти». Повесил Панюшкин над столом портреты министров овалами, с князем Львовым в центре, и листок с текстами марсельезы и интернационала. Оставили б и волостного старшину Фёдора «комиссаром народной власти», но Скобенников (он зуб имел на старшину) запретил: ни за что не полагается. Упразднять так упразднять, от царя до старосты! Сам Скобенников в волостном комитете мало заседал, он всё приезжал-уезжал, наводил порядки везде в округе, Плужников тоже отлучался немало, ездил и в Тамбов на крестьянский съезд, — а тут комитет не заседал спокойно, мог войти любой чужой солдат и держать речь: «Скоро вот сами окопные заключат мир!» — и всё перебуровано, растерзано заседание. Да никогда никакого дела комитет не мог довести до конца, и даже ни одного обсуждения до конца, начнут одно, сведут к другому. Сиживали подолгу и вечерами при лампе, уже стёкла в волостном правлении оплывали ручьями от надышанного.

Со середины марта два раза уже комитет переизбирался, и всегда на глотку, и порядочные оттуда утеснялись, а входили пусто-порожные, завистники и горланы — кто громче кричит на сходке, в последний комитет вошёл и нахальный Мишка Руль, который вернулся в село явным дезертиром, и оставался, и вот командовал, — и вся Каменка боялась этого Руля: «ещё подождёт». Боялась, но уже и прислушивалась к его дерзким речам. И даже сам Григорий Наумович Плужников похоже что терялся перед его наглостью. А Юля смущалась от его открыто похотливых взглядов, как он не смел бы смотреть на учительницу раньше.

Власть вот была — и не было власти. Ни стражника, ни станового, ни урядника, некем защититься, ни припугнуть, и в каком

месте, по слухам, случилось ограбление или убийство (где-то целую семью зарезали для грабежа) — так не в один день из села и докладывали: охочих нет, да и докладывать некому. А где что казённое — то грабили теперь без оглядки. Случались и поджоги — самое страшное по деревенской жизни.

Комитет был — вывеска нынешней Каменки. Но и весь дух и вид села в эти недели менялся. На сходках — безобразие, крик, злая ругань, и не только от пришлых чужих, но и от своих. То и дело вспыхивают давние личные счёты, раньше приглушённые, даже никому не известные, а теперь выкрикиваемые с яростью, какой от этих мужиков и ожидать было нельзя. Ещё и оттого так страшны стали сходки, что все спокойные и умеренные, как Елисей Благодарёв, Аксён Фролагин или дед Иляха, вовсе перестали на них ходить, всё благоразумное было напугано, — а в первые ряды лезло самое горластое, озлобленное и тупое. Оттого что помещики были вдаль (хотя и к тем топали скопом что-нибудь требовать, теряя на проходку и промолвку ведряный и тёплый день посева), а только против помещика село и могло объединиться, — то рулёвское «рви, не зевай!» стало метаться теперь между самими мужиками. Ни одного отрубника не выбрали в комитет, уже косились, кто насадил полдесятины сада, — «заберём!», и только тем ещё удерживались, что забрать-то легко, а как дальше делить? без обиды не поделишь. С однодворца требовали луг уступить. — «А что я на него затратил? из болота непролазного поднял!» — «Что и толковать, — соглашались, — покос первеющий!» Вот, мол, и давай нам. «Мы грабить не хотим, а желаем получить по согласию». Но открывшаяся в эти месяцы возможность *взять* без труда — переродила каменских мужиков: дрожали не упустить момента. Ещё в марте дезертиров презирали: «ты сбежал, а мой на фронте», но вот поворачивала зависть: «а словчил, сумел», — и наверно немало писем пошло на фронт: «бросай и ты, приезжай». Просили и Юлю такое писать, она отказалась, всё равно в отношениях с селом терять ей стало нечего.

Два года она учила в Каменке, и любила ребятшек, и думала, что полюбила крестьян, хотя от них не встречала много симпатии: «ничему не учат», «нет строгости». (А раньше в церковной школе дети зубрили один псалтырь — и мужики считали ту школу серьёзной. Отец Михаил объясняет: да, потому что учили милосердию к ближнему. Но что-то немного видно и тех плодов. Посев жестокости прошлого, и драньё взрослых мужиков розгами — они не про-

шли без следа, нет.) Почему-то именно за эти недели после революции многие сельчане перестали кланяться Юлии Аникеевне, как раньше, и стали грубы. Правда, не к ней одной: земство стало ругательным названием, земские подати вовсе перестали платить (и жалованья земским доставалось только половина, не выполняли и свой же мирской приговор платить школьный сбор), агронома прямо ненавидели и гнали прочь. Стали говорить интеллигентам: «Не место вам с нами, не суйтесь в мужицкие дела». (Однако с бумагами комитет заставлял разбираться.) «Нам пахать, а ты лалá разводишь». Про учителей кричали на сходах: «Не нужны нам, больно дóроги! вот приедут наши солдаты с фронта — будут даром учить». (Впрочем, Скобенникова побаивались как нового комиссара.) И даже про больничных кричали — не надо, пусть уходят! Оказалось, что образование крестьяне не ставят ни во что, и даже хуже — в подозрение, а приезжал болтун с мандатом из города — того слушали.

Это было незаслуженно, так больно: недоброжелательство, даже внезапная ненависть к сельским интеллигентам от крестьян. Шли самоотверженно служить для них же — а они...

И только к отцу Михаилу, которого каменские земцы скорее сторонились, — это озлобление по видимости не проявилось: никто против него не кричал. Мужики, разбаловавшись на митингах, стали в церковь ходить меньше, а бабы — по-прежнему, и в избах на календарях повсюду оставалась царская семья, а старухи по вечерам молились за царя: ох, грех будет, не попустит нам этого Господь. Да без хозяина дом сирота. Не давали мужикам гóлоса подымать, что у священника дом хорош и сад большой. А отец Михаил объяснял в проповеди так: Михаил II вовсе не отказался от престола, он согласился его занять, но только если выразит доверие вся земля. Так будем молиться, чтоб он помазлся на царство, — и спасёт Россию в Девятьсот Семнадцатом, как Михаил I спас в Шестьсот Тринадцатом. А иначе — наступит татарщина.

Юлия сама не знала, что думать о новой жизни. В городах может и хорошо, а в деревне, вот, безобразно. Сама-то Юля никогда ничего революционного не читала (Анфия Бруякина навязывала ей), никак революции не призывала и не думала о ней, — а думала только просвещать невежественную народную толщу, и всё постепенно станет хорошо. А вот как вышло. И руки опускались. Жизнь стала — нравственной пыткой.

И особенно тяжело прислужничать при комитете с их бумагами, сиживать на их заседаниях, — а то они валили в самую школу и просиживали вечера тут. А позавчера, не в очередь её секретарства, вдруг поздно — близкий шаг гурьбы и резкий стук в её собственную дверь. «Кто такие?» — «Комитет, открывай!» Страшно перепугалась, до людей не докричишься, раньше никогда не боялась этого одиночества. «Поздно, не могу!» — «Открывай, пояснения требуются!»

В страхе открыла. Вошло четверо молодых мужиков, среди них Руль, так и шарит по ней голодущими глазами. Сели, стали требовать пустяковое какое-то объяснение, упрекали в нерадивости, — даже не верилось, что из-за такого пустяка пришли, да и были под самогоном.

В этот раз обошлось. Но каждый вечер теперь дрожать?

Да не только Руля, она стала бояться уже и своего недоучки переростка Кольки Бруякина, — уже и он осмелел смотреть на неё так же.

После этого ночного прихода в совершенном ужасе стала Юля. А Липа Лихванцева сказала ей по сочувствию:

— Ой, бежала б ты, Ульяна, от нас до беды! Уезжай к себе в Тамбов, часом!

107

(Из реплик той весны)

— Свобода речи! свобода собраний! свобода союзов! — но если кто вам скажет, что можно их добиться мирным путём — плюньте тому в глаза! *(Из выступления на первомайском митинге)*

— Нонче слобода: что захочу — то и делаю.

— Вам Дарданела нужна? а нам на хрена?

— Барбанел? Так у Милюкова там имение.

— Он в Россию в железном ящике приехал, чтоб никто не знал. А ящик — с дырочками. Неделю через Германию маялся.

Солдат в тыловом гарнизоне: — Да я б царя своими руками удушил!

— Немедленное приступление к организации.

— А какая прохрама у них?

— Лизарюция.

— Буржувáзия.

— Слушай слово, поминай десять, время такое: не раздражай!

- На нас теперь Яропа смотрит. Случае чего будет смеяться.
- Если в темноте кричат «мама!» — это новый милиционер кричит, испугался.
- Которы носят польты с бобриком — тем правов боле не будя. Переворот это и значит: которы наверху были — те вниз.
- Монастыри в пехоту перегнать, а ихнюю деньгу — на нашу питаению.
- Начальник станции? Повесить его!
- Пусть республика, но дайте мне уверенность, что с меня шкуры не сдерут.
- Погоди, обзаконят кому чьё.
- Совет рачьих и собачьих депутатов.
- Нехай будет ребублика, но шоб царём Николай Николаич.
- Ходит рукописное стихотворение «Городовой»:
 - О, появиись с багрово-красным ликом,
 - С медалями, крестами на груди,
 - И обойди всю Русь с могучим криком:
 - «Куда ты прёшь? Подайся, осади!»
- Сейчас все так напуганы, что спроси, какую газету читаете, — «П... п... преимущественно П... Правду».
- Он из партии КВД: Куда Ветер Дует.
- Без нексий, без ебуций.
- Заблудился я середь новой жизни, ничего не пойму. Всё позволено, а ничего нету.
- Заплюём немцев семячками!
- Хавóс, господа, хавос.

* * *

**Подписываясь на Заём Свободы,
вы таким образом удешевляете жизни!**

* * *

Как же неустойчивы и недолговечны наши человеческие настроения. Всего, может быть, одни полные сутки, ну двое, и досталось Павлу Николаевичу насладиться одержанной 21 апреля победой. К отчётливому собственному сознанию, что это действительная, реальная и историческая победа, — добавился и рой теле-

грамм со всех концов России, где приветствовали его мужественную решимость отстаивать достоинство демократической России в неразрывном единении с великими демократиями Запада, благородное стремление *доблестного министра-гражданина* (точно, как пишут про Керенского)... Лишь при вашем содействии заключённый мир станет вечным... Просим не оставить родину в опасности и не обращать внимания на требования незрелых... Пусть весь мир знает, что в вашем лице Россия имеет человека, который... Мужайтесь, Павел Николаевич!

Добавились и восторженные клики собраний. Входил ли Павел Николаевич в шеститысячный зал фондовой Биржи — ему кричали: «Да здравствует вождь культурной России!» И это же была истинная правда. И Павел Николаевич отвечал, совершенно растроганный: «Позвольте мне видеть в этом привет торжество государственности над анархией, здравого смысла над политическим доктринёрством».

А между тем, после первого довольства, вкрадывались и тревоги: а какое же впечатление будет на Западе от этого вынужденного правительственного «Разъяснения»? от этого явного вмешательства улицы и Совета в действия правительства? В русскую власть не перестанут ли верить? Из-за внутреннего раздора Россия на международной арене нуллифицируется? И в самом правительстве — явно ощущается напряжённая интрига Керенского-Некрасова-Терещенки. Вместе с «Речью» и Милюков неосторожно колебнулся заявить, что «Разъяснением» 21 апреля ничего не изменилось, всё осталось по-прежнему, — что за вой поднялся в социалистической прессе, и без того не унимавшейся лаять на Милюкова: «Неужели он сам не чувствует, что висит как ядро каторжника на ногах Временного правительства?»

Этот единый против правительства и кадетов вой всей социалистической печати, кроме плехановского «Единства», просто поражал. Им как будто заложило глаза, уши, они как будто не были в Петрограде 21 апреля и никаких уроков не извлекли. Печатали отчётливо ложные свидетельства, что стреляли — сторонники правительства!.. Да кто? сам член «расследовательской комиссии» ИК свидетельствовал, что он в ночной уличной суматохе своими глазами видел, *чьей пулей* был убит солдат, а что от залпа рабочих *никто не пострадал*. (В «Новом времени» штабс-капитан, 33 месяца на фронте, протестовал, что самый опытный фронтовик не

мог бы такого доглядеть.) Никто в социалистической печати не признавал виновным первого оголтелого зачинщика Линде, зато били на уничтожение по кадетам: «культурный охлос», «панельная публика», самое малое виновные в том, что вышли на улицу и подставили себя ленинцам как мишень. В воскресенье 23-го разбрасывались по улицам прокламации прямо от Совета, что всё затеяла «буржуазия» и «чёрная сотня». И — никто не винил, даже не упоминал ленинцев. Оказывается: это — мещанство желало смуты, а революционная демократия стояла на страже — и вот победила, вот в чём смысл 21 апреля: революционная демократия победила!

И — кого ж это обманет? И неужели такую короткую лож надеются укоренить в истории?

А большевики, таскавшие плакаты «Долой Временное правительство», теперь нагло заявляли, что и не думали его свергать.

И вот когда был лучший момент правительству проявить твёрдость — и в действиях, и в словах. Но куда там! Разве с этим тряпкой Львовым осмелимся на какие-нибудь действия? — всё сойдёт к улыбке идиота. А принёс Кокошкин твёрдый вариант Обращения — испугались его больше, чем всех левых угроз.

Когда ж это изменилось так непоправимо? Всю жизнь Милюков твёрдой поступью шагал в либеральном строю, и вокруг были единомышленники, ореол из них, — и куда ж они рассеялись? И в какую жалкую компанию министров он попал?

Неуклонно поддерживал его один Набоков. А с Гучковым развалилось — ни контакта, ни понимания.

Сейчас довлело министрам только: как угодить социалистам и как упротить их войти милостиво в кабинет. Их пугал призрак двоевластия, они не хотели так дальше, — а вот всё будет в одних руках...

Тщетно вразумлял их Милюков, что от контроля и вмешательства Совета они всё равно не отделаются, правительство будет неустойчиво, и в перманентном кризисе. Станет только хуже, чем сейчас. И наглядно же видно, что социалисты — трусят власти, чураются. Очнитесь! Мы и есть народное правительство, мы и есть равнодействующая всех общественных сил. Мы и есть — логическое завершение того министерства доверия, которого общество требовало всегда. Мы созданы революцией — и мы доведём страну до Учредительного Собрания!

Нет. На эти слабые души не действовали уже никакие аргументы.

И не от коллег-министров, не на заседаниях правительства — а из болтливо-сенсационной «Русской воли» Милюков узнавал, что будто бы во Временном правительстве после апрельского кризиса возникла мысль выделить из своей среды особый малый кабинет, который будет *руководить иностранной политикой*, а?! То есть — опекунский совет над Милюковым?? У кого возникла такая мысль? кто готовил? Никто и слова не проронял, но легко догадаться.

А тут Керенский незамедлительно и проявил подготовленную гадость: своим письмом в ЦК эсеров и фактически, и формально открыл министерский кризис. При этом жульнически подменил самые основы Временного правительства, принцип его формирования. Вместо, может быть, несколько туманного, но импонировавшего доселе всей стране происхождения Временного правительства *из революции* подставлял новый способ, естественный только при действующем бы парламенте: делегирование министров от партий (и значит, зависимость от переменных партийных настроений). Сотрясалась и ставилась под сомнение вся система конструирования этого уникального революционного правительства, совмещающего верховную, законодательную и исполнительную власть. И половина министров лишалась своих мандатов.

А при чём тут партии? Мы делегированы от Думского Комитета — и в этом был справедливый последний шаг 4-й Думы.

Теперь неизбежно было сползать к коалициям, перетряскам... Дурно было на душе у Павла Николаевича.

А тут ещё клевали его Чернов и другие: быстрее, быстрее сменять дипломатов, с той же поспешностью, как Гучков менял своих генералов. Как будто чувствительные фибры дипломатического организма допускали такую грубую хирургию.

А тут ещё какой-то сброд фронтовых солдат в Таврическом задумал вызывать к себе на отчёт министров. Кто такие? По какому парламентскому праву? Но демагог Некрасов тотчас помчался туда и создал прецедент. Сегодня имел слабость поехать туда и Шингарёв с двухчасовой речью. И создавалась мучительная безвыходность: что ж, и министру иностранных дел ехать туда? Какое унижение и какая безвкусица.

Кончилось волжское судоплаванье. И месяца не пробежали по вольной воде.

Не стало нагледа, отчёта и разумных рук. Кого прогнали, кого потеснили, кто сам ушёл.

Вы же, питерские, хлеба ждёте? И вы же всё развалили... При новых порядках четыре баржи с хлебом потонуло разом под Самарой, правда в шторм, на каждой по 500 тысяч пудов зерна.

В Самаре же погрузили 170 тысяч пудов в гнилую баржу — и тоже потонула... (А в газетах: «от неизвестной причины».)

Пароход «Кавказа и Меркурия» налетел на устои симбирского моста.

Шагает Польщикова по нижегородским пристаням — залиты водой. А на баржах смешали муку с овсом — такого Волга ещё не помнит.

В этом году какая уж ярмарка? — не будет.

А в Астрахани? Рыбопромышленники всю войну сдавали рыбу для армии. После революции у них отобрали промысловую полицию (как всякую полицию — на фронт!), население кинулось ловить рыбу в запретных водах, где кому вздумается, тогда подрядные ловцы расторгли договора. Тем временем губернский комитет установил твёрдые цены, по которым рыботорговцы обязаны принимать от любых ловцов. И промыслы завалены уловами этой весны, и ещё везут и везут, рабочие не успевают солить и сушить, но за отказ принимать — уголовное наказание, а за порчу рыбы — пятикратный штраф.

А рыба — гниёт.

Ещё бедствие — с пассажирскими пароходами: солдаты захватывают и палубы, и классные помещения, набиваются свыше всяких норм, и не только сами не покупают билетов, но не дают получать деньги и с пассажиров, и ещё не дают грузить товары ни в люки, ни на палубы — это «безпокоит» их, а сами портят судовое имущество, воруют вещи у пассажиров, хамят капитанам и велят останавливаться у своих деревень, где никогда не останавливались, и опасно.

Так что же там, в Петербурге, — правительство России или кто? Кому это — мы жертвовали вот недавно? заём покупали?

И то всё — уже проглочено. (И — куда? кому? на что?) А теперь уже вопят: ввести «налог свободы»: отбирать товары, дома, фабрики.

Пароходы.

А вон — Сибирь заявила, хочет автономии.

Может, завтра и Волга?

А война — висит, никуда не делась.

Составили комитет судовладельцев и послали петицию — кому же? — Чхеидзе! сила в Совете: что рабочие предъявляют требования невыполнимые, речной флот обречён на бездействие, не сумеет подать Петрограду топлива и хлеба, ответственность за последствия возлагаем на вас.

Никакого ответа.

При крупном повороте корабля есть такая команда: «Одерживай!» — «Есть одерживать!» Это значит: после крутого забора руля, допустим влево, рулевой тут же, не дожидаясь, полегоньку начинает крутить штурвал направо. Корабль ещё довернёт, куда поворачивает по инерции, — и тогда: «Так держать!» А если не одерживать — пароход будет кружиться на месте или идти по логаной.

Вот так и в политике. Эти два месяца — никто не одерживал.

И если на московском мартовском промышленном съезде называли старый Петербург «ханской ставкой», — что теперь сказать про новый Петроград?

А когда-то ведь из Нижнего — и спасали Россию.

А теперь в торговых кругах отмахиваются: ничего не спасти, всё пропало, ликвидировать дела да капитал переводить за границу.

Но русский купец — так не может!! Сам Польщикова ни за что не шагнёт так — капитал за границу.

Не-ет, разучились мы, братцы, стенкой стоять.

Надо ехать в Москву, в Китай-город, к молодому Сергею Третьякову, советоваться. Ещё год назад Сергей Николаевич «штурмовал правительство». На мартовском съезде избрали его заместителем Рябушинского в оргкомитете. А сейчас вот — отказался ехать на новый торгово-промышленный съезд в Петрограде: там собираются мародёры тыла.

Но — правительство? Шесть недель назад мы дали им безприудительное подчинение, полное доверие, поддержку, заём, огра-

ничение прибыли, — а взамен получили? — развал, приказы без ума, или никаких.

Или — опять нам в оппозицию? Спасать Россию помимо правительства, — так кому ж это по силам? Не по силе и наших денег.

Куда ж это всё раскачивается, если — не рухнуть?

А если рухнет — то что уцелеет и от всего твоего имущества? Всё — в тлен?

По-русски, конечно, и так: засвистит судьба Соловьем-разбойником, погибать — так и погибать!

А — сын, дочь? жена?

Всегда, сколько помнил, жил Польщикова с ощущением своей силы: силы тела, силы соображения, знаний и силы денег. И вдруг вот, посреди расцвета, — застигнут ощущением, что сила утекает из него: пока ещё не мускульная, не кровяная, только имущественная. Но за хаосом в его имуществе, пароходах и конезаводстве — порушится и вся остальная. И не удержишь.

Сперва намечал ехать в Петроград на этот съезд, — отдыхал душой, что Зореньку повидает. А теперь — нет.

Даже в эти горькие недели нашёл время, написал ей два письма.

Другая бы пора — взял бы её на Волгу. Да вывел бы на палубу хозяйкой своего лучшего корабля. («Самодержца». Да пришлось переименовать...)

Но началась такая подвижка — такая подвижка всего — уже ощущал Польщикова недостаток силы — на всё, на всё.

Стал — не хозяин своей жизни.

Тряска пойдёт — и эту девочку тоже он не удержит.

Революционному деятелю надо быть крайне и стремительно подвижным, чтобы повсюду-повсюду успеть, — от этого могут зависеть важные части революционной ситуации или даже вся она целиком. Именно такую подвижность — во всём участвовать самому — проявлял от первого дня революции и множество раз с тех пор Николай Дмитриевич Соколов, отчего и был любимец ИК, и любим советскими массами, и всюду звали его выступить, объ-

яснить, направить. («Роковой человек» звали его в шутку.) Однако по игре революционной случайности он так и не занял никакого определённого видного поста, лишь оставался всеобщим соединительным звеном, и его посылали, а то он мчался и сам, на всякое прорывное место. Всегда первому узнавать сенсацию и принести её тем, кто в ней нуждается, — был его девиз. И это он помог направить работу Чрезвычайной Следственной Комиссии. Но именно из-за своей неуловимой подвижности он сперва не состоял ни в какой конкретной комиссии ИК — и только вот в середине апреля сформировали специальную Законодательную комиссию в составе одного Соколова, он и стал — Комиссия. Ну да он же был и первый юрист в ИК. Но нужно ли было проверить Военную комиссию, выяснить организацию транспортного дела, войти в правительственную комиссию морского судостроительства или принимать, принимать, принимать в Таврическом безчисленные военные деputationии-делегации — на всё это был незаменимый Соколов!

Кажется — никак невозможно успеть? — даже и в автомобиле? У некоторых членов ИК появились прикрепленные к ним автомобили, у Соколова не было. Тогда он взял себе реквизированное придворное ландо с массивными вензелями и коронами на дверцах (их и не оторвать легко, и не надо), с парой кровных вороных, прекрасно съезженных нога в ногу, и осанистым седобородым кучером на высоких козлах, — и так ездил по Петрограду, особенно не минуя Невского, любя глазеть вдоль Невского, откинутый в сиденьи и в сиреневых лайковых перчатках сам.

В дни апрельского кризиса, когда Исполком, в отсутствие Соколова, назначил «семь диктаторов», — он, прочтя постановление, уверен был, что и он — один из семи диктаторов, что это просто опечатка — какой-то «Скалов», такого нету в ИК! А оказался какой-то солдат.

Сейчас мечтал (Керенский твёрдо обещал) в скором времени стать сенатором, высшая ступень для юриста.

Не было границ политическим интересам Соколова!

Копошились ли два месяца с рождением Совета крестьянских депутатов — Соколов не оставлял вниманием их трудную проблему и как мог мирил соперничающих инициаторов. И те и другие хотели помочь беспомощному крестьянству в непомерном труде создания своих Советов, рассеянных по лику России, но соревнование было: какая партия возглавит.

Затевали теперь и международную социалистическую конференцию в Стокгольме для установления всеобщего мира — Соколов просто измучивался, что он оттеснён от её организации, уж куда там поездка в Стокгольм. А редко в ком было такое цветение Интернационала, как в груди Соколова. Правда, не знал иностранных языков, но ловил каждую встречу с приехавшими Тома, Кашеном, Брантингом, Борбьергом — хоть поприсутствовать, а то через переводчика задать и вопрос.

А делегации с фронта всё ехали, ехали — от армий, от дивизий, от полков, от маленьких частей, кто как пошлёт, — и всё наваливались на Соколова да на Стеклова: скажите ясно — мы воюем или не воюем? за что мы должны в окопах сидеть? И нельзя отказаться, это важнейший стык политики: теснее сплавить их с рабочим классом и вбить клин между солдатами и офицерами.

А когда делегаций сгущается слишком много, они начинают в Таврическом заседать, образуется из них конференция. Так начали позавчера, и пошёл к ним объясняться кто же? — опять незамытый Соколов. А для ответов нужен не только высокий уровень революционного сознания, но и простая находчивость. Допустимо ли братание с немцами? Какие меры принимаются против дезертиров? Нельзя подорвать Интернационал и революцию, но нельзя поссориться и с солдатами, тут балансируй. А какие меры контроля Совет проводит над высшим командным составом? Пока — слабые, но вот скоро посылаем комиссаров. И вдруг вопрос, это после петроградских волнений: «А что это такая за *красная гвардия* и почему её не разоружают? Гвардия должна быть на фронте, а не здесь. И многим солдатам из гарнизона не хватает винтовок — так пусть им передадут».

И Соколов — как найдем, сразу нашёлся, и ответил блестяще.

— Каждый свободный гражданин имеет право носить оружие. Так и Красная гвардия. Здесь нет ничего опасного, это только старый режим боялся вооружённого народа. Рабочие — заработали себе эти винтовки в дни революции, вышли безоружными против трёх тысяч протопоповских пулемётов, и отнять их теперь было бы оскорблением пролетариата.

И отклонили вопрос. Знал Соколов, что Ленин будет доволен. Соколов и сам был большевиком, до самой войны, а потом стал вне фракций, независимый. Он был даже очень против войны, но с войной надо балансировать осторожно. Вот, как ни странно, Исполнительный Комитет после апрельских бурных дней алогично

сдвинулся в защиту продолжения войны. И фронтовые делегаты разно говорили.

С большевиками Соколов старался никак не рвать. Держал при себе помощником «Меча» Козловского, совсем ленинского человека. И Шляпникова поддерживал в ИК не раз. (Шляпников с ленинским приездом оттеснён совсем.) В апреле при нападках на Ленина — Соколов всегда голосовал за него.

Совещание фронтовых делегаций шло отлично! Приезжал охотно Некрасов, сегодня выступал Шингарёв. Теперь вызывали Гучкова и Милокова, а те упирались, не шли, то больны, то заняты. Больны? — хорошо, мы не будем разъезжаться, хотя и кончился срок наших полномочий.

Тряханём министров!

Это по-пролетарски!

После апрельских убийств постановил ИК образовать собственную следственную комиссию и вести расследование независимо от правительственной. Как первый юрист — туда вошёл конечно и Соколов. И понимал, что и тут сослужит большевикам. Среди семи членов, правда, было пять меньшевиков, но они не решатся вредить, а один даже дал выгодные показания в прессе. А седьмой — большевик Красиков, союзник.

Но так необъятны силы Соколова — в любой момент готов и ещё в какую комиссию!

И вот нашлась ещё такая: избрать четырёх комиссаров для постоянного контроля над Главнокомандующим Петроградским Военным округом. И Соколов — попал туда! Но вошёл и поручик Станкевич. Этот — не наша кость, с этим будет трудно.

Но и Корнилов, тёмный хитрый генерал, за апрельские дни прижат неплохо, почти отняли у него распоряжение войсками.

Дожать его ещё.

Ой, много-много забот у Николая Соколова.

А — хочется стать сенатором!

Петроградские газеты начинали уже травить ожидаемый в Ставке офицерский съезд: не должно быть двух офицерских съездов, достаточно одного петроградского!

Они оба и назначены были на 7 мая, в один день. Но петроградский съезд проступал как липа: с численным превосходством тыловых военных чиновников, и даже, объявили, допускается, чтоб офицеры выбирали *от себя* на съезд депутата-солдата! — ещё что выдумайте! И порядок дня там ожидался политический, и чуть ли не сливаться с Советом рабочих депутатов.

Но почему же в Ставке не могут собраться делегаты от ста тысяч боевых офицеров Действующей Армии — и решить, что надо для блага родины?

Воротынцев выступит непременно. Хотя речей-речей и так уж чересчур. Повернуть события может только Сила. А съезд офицеров, изолированных, затравленных, разве может стать такой силой?

Но — что сумеешь высказать всем тем, если вот одного близкого Сергея Маркова, и с глазу на глаз, — никак не убедить?

— Я согласен, Сергей Леонидыч, выйти из войны одним — это некрасиво, это будет даже позорное пятно перед Европой. Но эти пятна в истории не навечно. И не такое забывалось. А что делать, если мы к этому уже всё равно скатились? Мы — в пропасти, уже летим.

— Но союзники не только морально этого не простят — они нас реально накажут.

— Прервут нам кредиты и техническое снабжение? Так мы и в войну от них не много получали. А нам и давно пора стоять на своих ногах. И на своих деньгах.

— Да прежде всего — интернируют наши бригады во Франции.

— Тоже не на век, подержат — потом отпустят. А нечего было их туда и посылать.

— А — если прямо пошлют на нас войска?

— Не удвоиться им. А как пошлют? Через Архангельск?..

— Через Владивосток. Японцев и китайцев.

— Э-э-то вилами писано. А мы тут погибаем — страшней и быстрей.

Марков уже прежде отвергал по-главному, — но, быстрый, сметливый, вот невольно втягивался в обсуждение, покручивал генштабистский серебряный аксельбант на груди:

— Ну а если немец пойдёт на нас, оставленных, по всему фронту?

— Вы же видите: вот не идёт. Хотя нас сейчас только толкни, мы и покатымся. Да Германия как рада будет освободиться от Восточного фронта.

— И бросит все силы на запад. И тем непростительней нам перед союзниками.

— Ничего, у них теперь Америка.

— Ну, разберём варианты, — всё больше втягивался Марков. — Если союзники победят Германию без нас — они же нам всё равно не простят.

— Воевать против нас после войны? Не будут, их общество откажется.

— А если, благодаря нашему выходу, наоборот, Германия победит союзников? — то как она потом на нас обернётся? Какое иго нам навяжет? В рабов превратит.

— Германии победить Антанту с Америкой? За год — не успеет, а потом будет поздно: не выдержит, истощится. А мы за то время, может, уже оправимся, укрепимся, не такая будет армия, не такой тыл. Да хуже сегодняшнего — с нами ничего не может быть. Продолжать войну при сегодняшнем развале — мы теряем себя уже наверняка и полностью. Россию как таковую. Сейчас нам платить, — настаивал, переклонился к Маркову, — *самим существованием России!* разве вы не видите?? Нет, всякий выход — лучше. Есть поговорка: соломенный мир лучше железной драки.

Запомнил от того вагонного спутника, донца.

— Но — не для офицера! — жёстко видел Марков. — Не можем мы, не можем никак выйти из войны без огромных потерь.

— А народ, совершающий революцию, всегда страдает. Это неизбежно. Конечно, Государь мог выйти из войны без малейшей потери земли и без выплаты репараций. А сегодня — у нас нет такой сильной власти, чтобы выйти благополучно. А выйти не-об-ходимо!

Марков отрывисто расхаживал по кабинету, снова садился в своё кресло запрокинувшись. Думал. Его густые стриженные бобриком волосы не колебались при том никак.

— Недовоёванная война! — это что? Это значит — через несколько лет снова война. Значит, с порога — новая гонка вооружённых сил.

— В нашем сегодняшнем — этим уже не испугаешь. Хуже — не будет.

— А если Германия — да вдруг помирится с Англией и Францией — за счёт нас? За счёт нас — почему бы им не помириться? И — дели нас, бери кто хочешь, со всех сторон.

О-о-о-ох, только и мог выдохнуть Воротынцев.

И сабля остра — но и шея толста. Как, правда, всё предвидеть?

Но хоть бы и сто раз был прав Марков, а я бы не нашёл аргументов, — а всё равно из войны надо выходить, выходить, выходить. Как никогда опасно — но и нужно как никогда.

— Да Георгий Михалыч! Да в какую компанию вы попадаете и меня тянете? Вместе с Лениным?

Вместе с Лениным?.. Это — уже ставил перед собой Воротынцев. Ловушечное положение?

— Нет, не вместе! — напрягся. — Р а н ь ш е него!

Убедить Маркова? И скольких ещё потом? Сгорая:

— Да вот, вчерашний ваш отчёт о печати на фронте. «Окопная правда», «Солдатская правда», просто «Правда», и все лживые листовки, — они же льются! их же каждый день читают во всех дивизиях! Поймите: «*Кончат войну!*» — уже брошено! и этого не вернуть, не остановить! И это захватит солдат до конца, я знаю! Это — уже к прошлой осени созрело, только подожги! Потушить этого — уже нельзя. Но надо — *перехватить!* Выйти *раньше* самим — для спасения России! А Ленин — больше раздору, гражданская война, он так и зовёт открыто! Он ищет — для международного пролетариата, не остановится платить и кусками России.

Марков осваивался. Не оттолкнулся.

Воротынцев горячо смотрел в быстрые умные его глаза. Да! — он был идеален для ядра сопротивления.

И глазами — ещё напор! Призыв.

— Но — какими силами додержать фронт?

— А вот — какими? Я думал. Думал. Отдельных здоровых частей — кавалерийских ещё можно набрать. И казачьих. А пехоту — надо отделять здоровую часть от больной. Надо найти форму перестроя, извлекать сохранившихся воинов из нынешних частей. Как вот сейчас — национальные части отделяются — стянуть и нам здоровое, боевое в отдельные кулаки. Каждый такой один батальон будет стоять сегодняшней расхлябанной дивизии. Они — и удержат узловыя места фронта, если надо.

Марков шурился:

— На ходу войны — и строить другую армию?

— Да Гурко же вот отстроил за зиму сорок новых дивизий. Да он и сейчас взялся бы, я уверен. У него эти мысли, может, уже и есть.

Марков — захватывался. Но, сплетя пальцы на колене, сдерживал себя:

— А советы депутатов? Сразу пронюхают. И не допустят!

— Но у нас и выбора нет. И сроков нет, — отсекал Воротынцев.

Марков встречно остро смотрел:

— Ну что ж, давайте — вдвоём поговорим с Деникиным. А если его убедим, то будем проситься на доклад к Алексееву.

— Не-ет, — выдохнул Воротынцев. — Алексеев — не тот человек. Он — никогда не решится поперёк правительства. А лучше... Лучше вы добудьте у Деникина мне командировку к Гучкову! Я — стрелой к нему слетаю. И если — может быть — да проснётся прежний Гучков!? — так он и поймёт, и примет. Он — способен принять! Он — умеет резко поворачивать! А там — убедит он правительство или разгонит — ему и карты в руки.

А дома — нет, так и не стало покоя. Что-нибудь непременно случится каждый раз.

Не помогло его решение. Не помогли уверения.

То опять начнёт вычитывать его старые письма к ней, да не с листиков, а прямо наизусть.

Ну разве помнишь свои письма прежних лет? Узнаёшь: а, да, это могло быть, как будто моё. А как будто и не моё. Такие шёлковые ласковости — неужели это я мог писать?

Никак бы теперь не повторил. Никак.

А читалось всё это — в укор: как тогда было хорошо — и как теперь плохо. И как она теперь безвыходно несчастна.

— Линочка, ну что за странное у тебя наслаждение: всё время быть недовольной и жаловаться? Всё время я сдавлен, как бы только перед тобой не провиниться.

— А ты — не провинивайся! — придвигалась и вглядывалась пытливо, глаза в глаза, с пламенем неизрасходованным. — А ты не провинивайся! С чего всё началось?

Началось, началось, но право же — кончили, всё.

— Пойми, я не могу каждый день входить в дом, ожидая навала мрака.

— А ты не подумал, как же могу я в этот мрак не входить, а жить в нём двадцать четыре часа? И должна встречать тебя жизнерадостной улыбкой?

— Но мы же с тобой условились, поняли: всё — миновало. Голова без того напряжена, кругом беда. Нельзя же так друг друга подбивать.

А её подхватывало, как осенний листок над костром, кружило, несло, подпаляло ещё:

— Вот именно, не подбивать друг друга! А зачем же ты меня подбил??

ДОКУМЕНТЫ — 19

26 апреля

ИЗ ГЕРМАНСКОЙ СТАВКИ — В МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

Генерал Людендорф протелеграфировал Восточному Главнокомандующему:

Русское предложение вести переговоры со Стекловым принимается. Базу переговоров составят директивы от 16 апр. «Тайная операция». Кроме того надо обсудить: поставку русского зерна Германии по дешёвой цене; отмену конфискации немецких имуществ в России... Надо облегчить русским отказ от территорий в Литве и Курляндии: ссылкой на требования денежного возмещения за более чем миллионный излишек военнопленных в наших руках; подчёркиванием нашего намерения считаться с национальными претензиями литовцев и курляндцев в способе их присоединения к Германии.

Вопрос об общей мирной конференции подниматься не должен. Германия и Россия быстрее договорятся одни.

112

Только-только стал Гучков выздоравливать — а волнения этих бурных дней опять подкосили его. В ночь на вчера было два сердечных припадка, и вчера весь день пролежал, и сегодня почти. Приезжало два профессора сразу. (И Маша конечно, но категорически отправил её.)

Это только за апрель — уже третья болезнь.

Да если бы Бог в самом деле был где в мире — как же мог бы Он распорядиться так безжалостно и бессмысленно? На самом важном посту России и в самые отчаянные недели — как же бы рассудил Он отнимать силы? В чём тут замысел? что за рок?

Или: это уже и смерть подкатила?

Какой жалкий конец. Не так представлялось ему всю жизнь. Умереть — так достойно, громко, красиво! Даже грозно.

Не в презренной безсилии.

Вся жизнь его — как долго строенная, стройная башня, — и вот с проломом в крыше. Как будто для того и рос на всю высоту, чтоб тут получить проломный удар.

Приходил Корнилов, стянутый от гнева, третий раз просил отставку. Теперь и правительство объявляло, что право распоряжаться войсками принадлежит исключительно Командующему Округом. Теперь и советская банда полуизвинялась за вмешательство и изображала происшедшее как свободное соглашение с Корниловым. А завтра — вмешается и хуже.

Корнилову, конечно, остаётся только отставка. Но просил его Гучков — ещё повременить, поглядеть.

Стыдно было министру перед командующим.

Так это давним уже виделось, начало марта, — когда приехал прославленный генерал с одного из лучших крепких корпусов — управлять войсками революционной столицы.

И зачем брали его оттуда?

В начале марта — разве можно было вообразить такое общее низвержение, крушение? Казалось: начало огромной исторической эпохи!

А вот уже и оборвалось.

Земли под ногами — нет. И у командующего. И у министра. И у всей Армии.

А всё — исполкомовская разлагательная сволочь. (И как же нагло сейчас обвивают ход событий 21 апреля!)

Как это получилось? — да быстро: что вся Россия попала в руки этой банде неизвестных проходимцев?..

А правительство — презренная слякоть. Разве *такое* правительство заслужила Россия?

Спорили вокруг милюковской ноты, Гучков почти и голоса не подал: что надрываться спорить о целях войны, когда не стало Армии?

Когда он выдвинул им 20 апреля сопротивляться — они затряслись от перепуга.

Но и 20 апреля было поздно. Ибо: вся армия — у него, и весь флот у него, а рядом — ни одного надёжного батальона. Не только

батальона — даже нет порядочной охраны у довтолка. Врываешься — и убиваешь. Как Непенина.

Ошибся сам Гучков. Все эти два месяца не тем был занят.

Сейчас — только новый военный переворот — уже против Совета — и был бы спасением революции.

Но министры — ни один, ни за что — не пойдут на это. Вот если бы устроилось как-нибудь само собой, без них. Чтобы им ни за что не нести ответственности.

Как говорил Столыпин: я жажду ответственности!

Ergo, пришлось бы устранять и правительство. Сразу всех.

Да и на это бы Гучков пошёл, отчего же? Но не только болезнь его подкосила, — Армия! Если так пойдёт — через 3–4 недели её вообще не будет.

И стыдись своего бессилия, своей попугайской роли, и видя же позорную слабость правительства — Гучков сказал министрам: а давайте уйдём все сразу, вместе? Вот это будет — достойный шаг. И по-русски, не цепляться за власть: мы вам не нравимся — мы уходим, справляйтесь сами. И опубликовать диагноз положения, политическое завещание. Что мы сделали, и почему дальше работать невозможно.

Эти куклы отшатнулись, конечно. И даже откидистей всех Милюков: он ведь имеет дело не с бунтующими солдатами, а с благополучными дипломатами, ему легко верить в успешный исход.

И сочинили жалкое Обращение к стране. Ударить по Исполнительному Комитету — побоялись. И дело правительства — ещё хуже проиграно.

И что же остаётся?

Конечно, наши чтимые исторические герои умели действовать и в худших обстоятельствах. Так что ж, со всеми своими дуэлями, путешествиями, авантюрами — не вытягивал Александр Иванович на исторического героя?..

Чем состоять рабом Совета депутатов — уйти!

Уйти — самому. Одному.

В эти последние два дня болезни Гучков уже стал вплотную с таким решением.

И ощутил — облегчение. В один миг не уйдёшь, но осталось — найти лучший момент. Как-то доиграть роль. Вот завтра, на Четырёх Думах, найти силы выйти и грянуть в последний раз.

Как стало легче! Как будто теперь это был посторонний, а не он. Сперва лёжа, потом сидя выслушивал внимательно докладчиков, находчиво клал резолюции. (Многое перелagal на своих помощников и на Поливанова.) Потом нашёл силы принять и делегации — но кто оказались: не боевые воины с заверением в твёрдом стоянии, нет, — делегация военных фармацевтов: они образовали всероссийский союз и требуют передать всё военно-фармацевтическое дело в России в руки их выборной организации и уже выбранного начальника. С трудом сдерживаясь, чтобы не выгнать, ответил им Гучков: он — против выборного начала в армии и может отвечать за дело только тогда, когда лицо назначено им самим. (Пошли жаловаться князю Львову — и тот к их проекту, разумеется, «отнёсся сочувственно».)

Тут опять приехал на приём надоевший Братиану, никак не уедет.

Если остались считанные дни — то надо и поспешить принести последнюю возможную пользу. Убрал с фронта Рузского, хватит. А что ещё может больной министр, не выходя из кабинета? — писать воззвания и приказы. Воззвание к офицерам, работающим в его же военно-промышленных комитетах: идти в строй, а тут вас заменят чиновники. И воззвание к солдатам: не ожидать объявленного срока возврата из отлучек 15 мая (промахнулся, слишком далеко дал) — но по нравственной обязанности явиться в свои части прежде того. И воззвание-приказ от изболевшего сердца: «Люди, ненавидящие Россию и несомненно состоящие на службе наших врагов (сейчас уже можно от души), проникли в Действующую армию и проповедуют окончить войну возможно скорее (бей по Совету! тут не одни большевики)... Но армия, идущая навстречу смутьянам, приведёт отечество к позору, разорению, крушению. Не верьте предателям!..»

И голос и рука его ослабели. Может — кого удержит. А не удержит — так уже не Гучкову расхлёбывать.

Поднесли не первую телеграмму от Донского казачьего съезда. Вот разве что. Надо было опираться с самого начала на казаков? Но, шатнувшись в прежней службе в феврале, — отчего б им не шатнуться и дальше?..

Между тем теребили из Таврического. Там теперь не прорежались самочинные военные делегации с фронта. Уже устали их принимать в Мариинском дворце и в довшине, так они слонялись по Таврическому. А когда их собиралось погуще, то они открывали —

уже третий раз в одном апреле — «Совещание фронтовых делегатов», никак не конституированное, каких-нибудь полтора человека, без каких-либо прав, но с наивной уверенностью в таком праве. И вот в эти дни как раз текло такое, и весьма нахальное: требовали, чтобы министры являлись к ним туда отчитываться. Довмин ответил: товарищи министра заняты срочными делами. Настаивали: явиться. Нечего делать, вчера послал Новицкого. И он там вынужден был отвечать на солдатско-унтерские вопросы. Почему ещё не заменены некоторые начальники? Отвечал: уже заменено 115 из самых высших, это цифра небывалая. А почему не наказаны командующие за Червищенский плацдарм на Стоходе? почему не наряжено следствие? Новицкий объяснял (с натяжкой), что не командующие виноваты, а снесло наводнение 12 мостов, и удерживать плацдарм было нельзя. И вообще — «изложите стратегические соображения». Тут Новицкий ошибся, ответил: Петрограду никакой опасности нет. Поднялся большой шум: а как же Гучков два месяца твердит об опасности для Петрограда? чего же стоят его воззвания? И почему ещё не вся бывшая полиция послана на фронт? И почему нет прямой отмены отдания чести? Новицкий ещё более растерялся и оправдывался, что не все вопросы в его компетенции, а иные в делопроизводстве, иные разрабатываются, — и тогда стали требовать самого военного министра! Он — болен. А мы — не торопимся, подождём:

Какова же наглость! Всю жизнь Гучков служил народу — а всё-таки охлопа не представлял. Сколько он ездил по фронтам — мало, встречался с Исполнительным Комитетом — мало, теперь и каждое отдельное мурло могло требовать его для объяснения.

И даже — вызывали всех министров Временного правительства, одного за другим!

И Шингарёв, по простодушию, сегодня уступил и поехал. Хоть занял их на полдня.

Неслыханная наглость. Даже Совещание Советов месяц назад не посмело вызвать министров. А эти — вызывали.

Какая тоска!

И какое безсилие...

Если уж уходить — так крепко-крепко хлопнуть!

А вот — нет сил.

Сейчас, правда, внезапная смерть была бы — самый простой и почётный выход.

Уж останавливалось бы сердце до конца, что ли.

(Фрагменты народоправства — деревня)

* * *

Воззвания Временного правительства к народу, к крестьянам — в деревню не попадают: газеты редко туда доходят, а особых листов нет. Ходят слухи: то — Временное правительство приказало священникам пощипать кресты с церквей, церкви скоро опечатают, богослужения запретят; то — будут выдавать на каждый двор по одной лошади, одной корове и по тысяче рублей деньгами.

Всякие платежи и налоги — деревня платить перестала.

В Ардатовском уезде отказались делать раскладку и казённых, и земских, и мирских сборов.

* * *

В селе Лебяжьем Ставропольского уезда Самарской губ. из прибывшей домой сотни солдат, отпускников и дезертиров, отделилась группа и с частью новобранцев учинили жестокий самосуд над старшиной и писарем, до полусмерти. На другой день эта шайка стала громить усадьбы зажиточных крестьян — но приехавшие из уезда милиционеры отговорили их. Тогда дезертиры намерились учинить самосуд над членами кредитного товарищества — этим удалось спастись бегством.

* * *

В Кромском уезде к казначею чернского кредитного товарищества явилось семь человек в солдатских шинелях: «Не нужна нам ваша кооперация!» — и отобрали ключи от складов и кассы.

В одном из сёл крестьяне подожгли склад земледельческих орудий.

* * *

В Сычёвском уезде Смоленской губ. во многих местах толпа крестьян громила «потребилки» — сычёвскую лавку, жерновское общество, ярыгинские кооперативы, с насилием над кооператорами:

— Долой старое! Надо всё новое!

В Тёсовской волости того же уезда, слывшей одной из самых культурных, переизбрали комитет: удалили из него земского врача, учителя, всех интеллигентов. В новый состав выбрали и таких, кто не умеет расписаться. Комитетчикам назначили жалованье.

В селе Студенец новый сельский комитет выгнал учительницу из школы, выбросил на улицу её вещи: «Уезжай от нас!» А мужикам коми-

тет запретил дать ей лошадь или приютить на время. Один старик всё же взял её в дом. Приходил священник, исповедал её и причастил.

* * *

Избрали в комитет: Терентия Кочета, Петруху Голяму и Устинью Курошницу. Все трое неграмотны, не могут надписать адреса на письме. Постановили: не платить аренды, и чтоб деревне выдали по фунту сахара на человека.

* * *

В селе Чернавке Самарской губ. возник многодневный спор между двумя комитетами, выбранными один за другим. Дошло до потасовки. Бабам это надоело, избрали свой третий комитет и послали делегаток в Самару: найти такую власть, чтобы водворила порядок.

Священник предупредил здешних охальников, что их ждёт виселица. На него написали епископу просьбу о смещении — но женщины отстояли своего священника.

* * *

В селе Поповка Карловской волости под Полтавой созвали всех на сходку: «Будут объявлять, что кому брать из экономии». (В Карловке — имение герцога Мекленбург-Стрелецкого, 55 тыс. десятин, коннозаводство, три сахарных завода, один винокуренный.) На сходке приезжий, под вид мастерового, в кепке, с красной повязкой на рукаве:

— Вот вам, граждане, пришло право разобрать имущество герцогское. По решению комитета могут получить: Иван Пушко — молодого вола, Павло Корж — свинью, солдатская вдова Катерина Чиж — овцу, Андрей Грунько — железную борону тройную, Семён Марюхин — старого вола и ярмо, Серёга Зацепко — пару лошадей.

Мужики сперва мнутя — не уверены. Но за сутки — всё разобрали. (Чешут в затылке: одного вола — как в работу приставить?)

Прошла неделя — новый приезжий, новая сходка: всё — вернуть! имение герцога — теперь собственность государства.

А Павло Корж уже ту свинью зарезал: «Так чьё ж право настало? опять буржуков?»

Гудит сходка, отдавать не хочет. Требуют — и землю герцогскую делить.

* * *

Сельский сход в Ставропольском (Кавказском) уезде. Все кричат: «Долой земство!» — «Долой потребиловку!» — «Долой кредитное товарищество!» Старшина дал мужикам накричаться, а потом объяснил: новое правительство поддерживает и земство, и кооперативы. Стали кричать: «Долой старшину!»

Долго старшина уговаривал сход, не помогло, приняли: всё «дой»! Теперь хотели выбирать в продовольственный комитет, но явилась баба с жалобой на своего мужика: её прогнал, а взял любовницу. Тотчас поставили того мужика перед сходом и кричали: «Сослать в Сибирь!» Муж взмолился: приму жену, а любовницу удалю.

* * *

В дер. Фёдоровке Козловского уезда местный сельский комитет, не надеясь на управу от властей, постановил и высек розгами своего сельчанина, укравшего две четверти овса у солдатки.

В Харьковской губ. в одной волости случай: крестьянин оскорбил икону. Волостной комитет приговорил его к голодной смерти: запер, не кормил, не поил.

В с. Спее Бендерского уезда крестьянский сход заподозрил лесничего в убийстве, приговорил к смертной казни — и тут же его разорвали на части.

* * *

В с. Сергиевском Калужской губ. в апреле один молодой мужик убил старуху из своего же села, она с поезда несла в мешках какое-то добро. В селе опознали. А властей теперь нет. Так сами схватили убийцу, привязали ему на спину лапти убитой старухи и пустили бежать по спуску к Оке, где срублен был лес, и некуда спрятаться. Отпустили сколько-то, потом Митька Тимарёв, только что приехавший с фронта и со своей винтовкой, — уложил, как зайца, издали.

Кучка этих мужиков, весело переговариваясь, возвращалась по аллее барского сада. Стоял тёплый безоблачный день. Увидели барышень Осоргиных на грядках, сняли шапки, приветливо поздоровались и: «Бог в помощь!»

* * *

Помещикам всюду запрещают вывозить свой хлеб и рубить свой лес. На хуторе наследников Ульяновых под Арзамасом крестьяне выгнали управляющего, сняли рабочих, воспретили вообще сеять. В Касимовском уезде Рязанской губ. у Мансурова разгромили сад-питомник, а помещика Павлова арестовали.

В глухой части Бежецкого уезда Тверской губ. — погромы имений, власти боятся туда и ехать.

А в Лукоянском уезде Нижегородской губ. наоборот, в имение Философа вернули всё захваченное: хлеб, овёс и лошадей, пусть сеет.

* * *

В подхарьковском имении наследников графа Толстого-скульптора по молодой посадке яблонь деревня стала пасти общественный скот.

В усадьбу явились описывать всё имущество, понятия — из своих крестьян. Всегда были в добрых отношениях, и теперь им неловко: «Вы уж извините, мы по закону». Не знали, как описывать библиотеку, хозяйка посоветовала им обмерить аршинами шкафы и полки. (И поэтому позже смогла все книги переправить в Харьков.)

* * *

В Костюковичах Чериковского уезда Могилёвской губ. крестьяне не дают землевладельцам засеять поля и травят луга. Помещик Масальский засеял половину ярового — они послали донос в губернию, что он хранит пулемёты и стреляет из них. Явился солдат Гликен с комиссарскими полномочиями и толпой крестьян и начальник уездной милиции Яскольд, произвели повальный обыск имения, разыскивая пулемёт даже в колыбели новорожденного, отобрали три охотничьих винтовки. Гликен заявил, что крестьяне имеют право хоть уничтожить семью помещика и не оставить камня на камне от здания.

* * *

Захватывают помещичьи земли и в Самарском уезде. И плуги, бороны, лошадей. Или травят крестьянским скотом всходы помещичьей люцерны. Всё это — неторопливо, спокойно.

— Вот с работой кончим — и лошадок вернём, и сбруя никуда не денется, ежели не станешь булгачиться.

— Да ведь земля — моя? лошади — мои?

— Была твоя, а теперь — Божья, мирская. Вы своё получили, и нам пришла пора.

* * *

Немало случаев, что два села спорят об одной и той же помещичьей земле: кому пахать? И скоро возить навоз на поля под озимые — куда возить? Рядом — господская земля, но и Хрущёво на неё метит, и Рылово, — а с той стороны Монаенки, село огромное, всех нас сметёт.

В Ранненбургском уезде из-за раздела захваченных земель перессорились все волости, деревни и общества.

В дер. Чигасове мир вынес приговор: засеять господскую землю. Лошадники кинулись захватывать, но безлошадные и солдатки им наперекор: не пустим! и будем рубить гужи, ежели сперва не вспашете наши полосы.

* * *

В Троицкой слободе Таганрогского округа, где живёт 10 тысяч человек, собрался неполный сход в 300 домохозяев и решил: купить за полцены мельницу односельчанина Колесниченко. Тут же выгнали хозяина

и поставили печати, в случае упорства мельника решено его арестовать. Он бежал в Таганрог.

Весь Юг перестал сдавать скот для армии: прежних заготовителей никто не слушает, а новых нету.

* * *

И много столкновений общинников с отрубниками. В Ольгинской волости Саратовской губ. отобрали у отрубников всю землю. В Корсунском уезде на сельских сходах вынудили отказаться от своих земель всех стольпинских хуторян и всех купивших землю в вечное владение. В селе Петропавловском Сарапульского уезда на сельском сходе общинники постановили захватить 153 отрубных участка и тем покончить с отрубничеством, всю землю разделить чересполосно опять. Дошло до драки, многих отрубников побили и подожгли несколько усадеб.

В Козловском уезде Тамбовской губ. отбирают у отрубников скот. На хуторе Кочергина от неизвестной причины сгорел дом и все надворные постройки, в огне погибли пленный австриец, лошадь и корова. В Заворожской слободе сгорело три риги.

И так бывает: у солдатки-отрубницы с кучей детей мужики отбирают землю. Потом является к ней в дом сосед, заберёт пилу, другой раз топор, и ещё насмехается.

* * *

Повсюду волостные комитеты не допускают лесных заготовок — настолько, что даже на топку не дают помещикам из их же леса. Крестьяне отказываются работать для казённых заготовок, не допускают и пришлых рабочих: эти леса скоро будут наши! — В Смоленской губернии не допустили поставщика для железной дороги. Он совал им документы, и бумагу от комиссара, потом и привозил солдат из гарнизона объяснять, — на всё ему: «Лес будет наш, а ты режь в другом месте».

В Самарской губернии крестьяне удалили лесную стражу — и начались лесные пожары.

* * *

В с. Луках Рогачёвского уезда в ночь на 21 апреля топором убили престарелого священника Стратоновича, его дочь и учительницу-квартирантку. Дом ограблен.

В с. Рассказове близ Тамбова три беглых солдата убили семью священника Миловидова и ограбили дом.

* * *

В с. Медведево Семёновского уезда приехала лекторша от земства. Произнесла несколько фраз — бабы подняли шум:

— Ты от Республики приехала! Это она отняла у нас батюшку-царя и напустила голод. А поглядимте-ка, есть ли на ней крест!?

И кинулись на неё. Заступился один мужичок — и лекторша вместе с учительницей убежали, заперлись в школе. Потом она уехала украдкой.

* * *

В станице Александровской среди дня был дан тревожный набат. Пожара не было. Станичники собрались к правлению. Атаман Сидский призвал население уничтожить молодые станичные сады. На призыв отозвалось около 30 станичников без кола и двора — под предводительством атамана кинулись ломать и сжигать изгороди, выдёргивать молодые саженцы с корнями, а 5-летние деревья ломать. Потом стали уничтожать и старые сады, и овощи в огородах, грозя самосудом, кто будет препятствовать. Владелица столетнего сада с отчаянья бросилась в колодец.

*
* *

*После схватитесь —
Поплачете, вспомянете,
Востоскуетесь...*

ДОКУМЕНТЫ — 20

27 апреля

ГЕРМАНСКОЕ М.И.Д. — ПОСЛУ РОМБЕРГУ, БЕРН

Срочно

Отход специального поезда — в воскресенье 30-го. Условия те же. О еде позаботятся. Просьба сообщить, должно ли государство взять на себя часть издержек за проезд.

...Через соответствующего посредника просьба побудить возвращающихся русских эмигрантов требовать от русского правительства опубликования военно-политических соглашений, заключенных старым режимом с Францией и Англией перед войной.

Какие-то минуты ещё находил Пётр Акимович и на свой «комитет военно-технической помощи», два года назад начатый им без копейки, а теперь с бюджетом в 52 миллиона и с новыми зачётными проектами вроде всероссийской радиотелеграфной сети для оповещения населения: выпускать такие радиоприёмники и сажать слухачами инвалидов войны, одновременно давая им заработок.

В какую-то минуту успевал написать и в газеты: что ж у нас делается? В то время как донецким рабочим доставляют хлеб с переборами — у немецких военнопленных, там же, чья производительность труда вчетверо меньше нашего самого заурядного рабочего, хлеба всегда завались, и каждый день мясо во щак. Нигде же в мире, кроме России, так не содержат военнопленных!

А так-то — едва ль оставалась в нём ещё одна незанятая клетка, которая могла бы тянуть больше. Кроме того, что он теперь был товарищ министра промышленности-торговли — на нём лежало всё снабжение России топливом и металлом, это одно Особое совещание, а ещё в одном Особом совещании «для объединения мероприятий по обороне государства» был он товарищем председателя.

Через всю страну из Донецкого бассейна в промышленный Петроград тянется уголь, захватывая все железные дороги и уже тем учтявая цену. Да две трети угля съедают сами железные дороги, и ещё повсюду грабят уголь с платформ. Спасать топливное дело дровами? Не тут-то было. Пока шли споры и даже драки о будущем лесов — предстояло только в этом году, чтоб не остановилась промышленность и в будущую зиму не замёрзли города, вырубить 300–400 тысяч десятин леса — и всё, по недостаткам военного времени, только близ славных рек и железных дорог, как это ни вредно для лесного баланса. А ещё повсюду теперь размахивали топорами и вилами крестьяне, отгоня всяких заготовителей, не давая рубить леса. И какими же силами, средствами и аргументами через все необозримые просторы и в глушь — внушить крестьянам понимание долга? мобилизовать народное сознание? Одни агитаторы анархии всюду успевали — озлобить всех и ожесточить.

Но — что на самих заводах? вот, ближе всего, петроградских? После первых своих мартовских успехов — 8-часового дня и всюду

повышения оплаты (а она и в войну повышалась в пропорции к дороговизне) — петроградские рабочие лишь на короткое время замялись: когда поднялось в конце марта солдатское недовольство и те посещали заводы и угрожали рабочим. Но в пасхальную неделю достигнуто было с солдатами примирение — и в ходе апреля рабочие с новым напором начали требовать ещё, ещё повышения оплаты, ещё сокращения рабочих часов, и то же в Москве, и по всей стране. За недели революции заработная плата увеличилась уже и вдвое, и втрое, и вчетверо, а производительность не только не растёт, но катастрофически упала, работают, только когда кто где соизволит. Еще ж и среди смены рабочие то и дело прекращают работы для собраний, заседаний — и никто не смеет им препятствовать. А вон уже и заводские конторщики требуют себе 6-часового рабочего дня «из-за большой растраты умственной энергии».

И с новым озлоблением вздули массовую травлю инженеров и мастеров, вновь изгоняют их с заводов, уже скоро до половины состава, — диктатура пролетариата в действии... Инженеры, оставшиеся на заводах, совершенно затерроризованы. А вместо изгнанных избирают и ставят невеж, — а чего стоит такая дисквалификация надзора при изготовлении боевых средств! — уже военные заказчики стали отказываться от новых партий то капсулей, то гранат, то аэропланых бомб. Даже заводами артиллерийского ведомства уже стали вертеть комитеты. Местами рабочие прямо угрожают, что вот вмешается красная гвардия.

Но если что из этого промелькнёт в какой газете — социалистические сразу травят, что это — «буржуазная клевета», и заставляют замолчать.

Съезд предпринимателей Донбасса предложил рабочим *уступить им всю прибыль за текущий год* — рабочие не согласились, нет: дай больше! (Проедим и само имущество!)

Комитет Труда заседал теперь в роскошном мраморном зале Мраморного дворца: сдвинули огромные бронзовые с хрусталём канделябры, мягкую мебель, посередине поставили канцелярские столы буквой «П» и простые стулья, образовалась сторона рабочая, предпринимательская и правительственная. И тут Пётр Акимович был поражён речами некоего Лурье — высокого, тщедушного, обе руки сухие, с трудом писал, а чувства — клокочущие: «Да, пролетариат заносит одну ногу уже за пределы капиталистического государства, в реальный социализм!» И то и дело козырял опытом германского военного социализма — ах вот что, он в войну был в Германии. И Ободовский однажды ответил ему:

— У ваших германских товарищей социал-демократов вы могли бы почерпнуть их более ценное понимание, проявляемое каждый день: что интересы национального производственного целого выше интересов и пролетария и буржуа.

Нет, не почерпнул. Только усмехнулся едко, какой же вздор ему говорят.

Этих профессиональных социалистов Ободовский теперь возненавидел вот за эту демагогию, что — «ничего страшного не происходит, никакой катастрофы, буржуазная паника».

Редко к полуночи, а чаще уже за полночь министерский автомобиль отвозил Петра Акимыча на Съезжинскую, где Нуся, не спя, всегда ожидала его с ужином. Разогреть он ей не давал, ел холодным.

— И наивные ж мы были с этим «социалистическим рудником», — вспоминал.

Всё перегорало за день, и есть не хотелось.

Смотрел в успокаивающе полное лицо жены и милое лученье глаз её.

— Самое страшное, Нуся, даже не эти социалисты из Исполнительного Комитета. Они — саранча, да. Но за эти два месяца — и весь наш рабочий класс... И весь народ наш... показал себя тоже саранчой.

И — что же дальше?

И — что же нам теперь?..

115

Поручику Харитонову в роту из штаба полка, по телефону:

— У вас — братание сегодня ожидается?

— Наверно, да, — имел он силу ещё усмехнуться. — Погода хорошая, отчего б не обняться, не поторговать?

— Ну ждите, к вам идут.

Так из ряда уныло бессмысленных дней выдался чем-то примечательный.

Рассчитал время, вышел навстречу в ход сообщения, — шёл к нему командир полка с ординарцем, и ещё какой-то полный, низенький, без военной выправки, в форме земгусара. Старого ко-

мандира полка отчислили ещё в марте, вместо него был новый — полковник с роскошными белокурыми скобелевскими бакенбардами, пожилой, грузный и заботливый. Он назначен был с нестройной должности; по нынешней необычной обстановке сохранял большую дозу хладнокровия перед безобразиями и старался спасти в полку, что ещё можно. Вообще же, кажется, он надеялся, что его так же скоро отчислят с должности, как и назначили.

— Вот, поручик, к вам гость — господин Горвиц, корреспондент «Русской воли». Он желает понаблюдать нашу жизнь, и особенно братание.

Они стояли в расширении, на развилке ходов. Корреспондент выдвинулся вперёд, левой рукой быстро отвёл офицерскую сумку, правую быструю руку протянул на рукопожатие:

— Подписываюсь Самойлов, может быть читали.

Ладонь у него была мягкая, лицо всё брито, но не сегодня, а то даже и не вчера, по походным обстоятельствам, равномерно начала выпирать густая чёрная щетинка.

Повёл их в ротную землянку. Очень не любил Харитонов этих господ, приезжающих из тыла, а особенно из Петрограда. Недавно был оттуда, тоже в земской форме, и такую несусветицу нёс серьёзно: пагубные явления в армии? — это пережитки старого режима, разврата в старой армии, ещё не побеждённые оздоравливающим революционным веяньем; рост дезертирства? — это недоверие к революции наиболее преданных народному делу людей, и вот они едут, чтобы сами присутствовать в начинающейся борьбе за землю и волю.

Дебри непроходимые! — и разве можно через них друг друга понять и о чём-то разговаривать? И как изворотливо они в себе выращивают эту дичь, ни с какой жизнью не связанную.

Но Самойлов оказался смыслёный, карие глаза живые и понятливые, никакой подобной чуши не нёс. Спрашивал: бывает ли кто из офицеров на братаниях? Никогда. А может — из вольноопределяющихся и кто знает немецкий язык? Нет у нас вольноопределяющихся.

— Зря вы не бываете.

Полковник часто гладил пальцами по пышным своим бакенбардам:

— Наше положение никак не позволяет туда с ними ходить. Но может, вам откроется больше, они вам скажут, чего нам не говорят?

На это Самойлов и рассчитывал. А пока хотел скорей разговаривать с солдатами. Послали унтера предупредить — и через пять минут пошли к землянке 1-го взвода.

Шли окопом, хотя мелькали и рядом по поверхности фигуры солдат, привыкших к безопасности. Перед взводной землянкой тоже было изрядное квадратное расширение с оставленными земляными скамейками — поесть и покурить в тихое время. А теперь-то и всегда тихое.

При подходе полковника несколько солдат встали, однако не вытягиваясь, другие и так уже стояли, но чести никто не отдал и цыгарок дорогих не выбросили, кто полуприкрыл под рукой. А Тувиков, из питерских фабричных, вообще остался сидеть нарочито.

Вот, объяснил полковник (с невольным смущением от сцены, к которой всё равно привыкнуть нельзя), — журналист из петроградской газеты, всё знает, что там делается, а приехал посмотреть, как мы живём.

Но не возникла от того доброжелательность, а Тувиков — он не курил, рот свободный, но и тут не встал, сразу метнул:

— А какая газета, буржуазная? Я бы их все скупал — да сжигал.

Ему сбоку:

— Да откуда б ты столько денег набрал?

Но Самойлов сразу же:

— Своей буржуазии боитесь, а германской нет? что она вас захватит?

Ну, это не убедило никого:

— Да чего захватят? Немцы второй месяц не стреляют.

— Потому что поехали пока наседать на французов, а здесь стариков оставили. Подождите, вернутся. Вы серьёзно верите, что может сохранить свободу внутри тот народ, который ослабел против внешнего врага?

И с любопытством, но как будто и с доверием смотрел на толпящихся солдат.

Повевал лёгкий тёплый ветерок от сохнувшего поля. Солнце грело, но в пелене.

— Мы без а-нексий, — уже знали, затвердили солдаты, — а вы как хотите.

Вот такими несколькими словами солдаты были теперь загорожены, и уши заложены, — и говорить с ними по-прежнему, как

умел Ярослав всю войну, он теперь не мог: получалось неискренно.

Но корреспондент, или с непривычки, или с большой привычки, брался живо:

— А вы, друзья, понимаете это слово — что значит «без аннексий»? Это очень полезно для Германии, которая ослабилась, и ей грозит поражение. «Без аннексий» — это значит: все угнетённые Германией малые народности так и оставим под её лапой. «Без аннексий» и придумали в Германии, вы разве не слышите, что слово немецкое? А нас — бьют, на нашу землю наступили, — а мы кричим: «без аннексий», ничего не будем у вас брать! Да ведь это немцу только на смех, он потешается.

Прямо на его слова никто не нашёлся ответить, ни Тувиков, с провальными щеками, узкой шеей, который теперь уже тоже встал и приблизился, ему только для показа надо было посидеть. Но откликались с разных сторон, кто как понимал:

— А почему правительство не объяснит простым языком, на каком условии можно мир?

— А в тылу много здоровых, и во всё новое одеты, а нам только шлют лизорудии: воюйте до последней капли крови!

И Молгачёв отдуманно покачал бородой и папачкой:

— Не, мы так думаем: войну пора кончать. Нечего смертоубийством заниматься. Зачем её дальше тянуть? Уже много народу перебили. Это не дело.

— И нам домой тожа. Там работа есть.

Самойлов быстро поворачивался, выслушивал — и сразу в ответ:

— Да поймите, мы не достигнем этого бездействием! Если Германии не нанести новых поражений, не истощить её — она не откажется от своих аппетитов на захваты. Пока она не проиграет войну — она не признает мира без вознаграждения. Чем сильнее будет наш отпор — тем уступчивей Германия. Вот этой самой свободы, которую мы завоевали, — нам и не удержать, если мы не победим Германию.

Но именно этой, даже этой связи, солдаты не видели, Ярослав уже знал и отчаялся доказывать.

А уж ещё меньше на них действовало, что стыдно обмануть союзников, что от нас за то отвернутся все в мире... Это — уж совсем их не касалось.

Тут медлительный крупноголовый, с седым пробивом в усах Окипняк вымолвил как бы ласково:

— Добре, тоди и идить вы воевать. А мы вже не хотим. Нехай тепер паны самы повоюють, а мы подывымся. Вы, господин полковник, — упреди, за вами поп, четыре батальонных, потим господа ахвицеры. А мы — подывымся. Може тоди и мы пидем за вами.

Самого его, как перешедшего 40 лет, вот-вот должны были домой послать на 4 месяца, работать на земле.

Полковника — испарина проняла от этого диспута. Он снял фуражку проветрить голову с редкими волосами на пробор. Он понимал, что корреспондента надо поддержать, но не было у него навыка разговаривать так с солдатами. И, как бы не оскорбившись всем, тут слышанным:

— Как же так, земляки? Что ж мы одни, без вас, сделаем? А если нужно всего два-три месяца, и спасём Россию?..

— Всё равно не пойдём, — ответили ему из второго ряда. — Пока нас не трогают — зачем мы их тронем?

Тоскливо было Ярославу, так известно, что весь разговор зря, он ни слова не говорил и томился.

— Так немцы нашу землю отнимут! — горячо внушал им Самойлов.

— Не оты-ымут, до нас не дбйдут.

— Земли на усих достане.

И тут, уже видя общий солдатский пересил, вступился снова худобный Тувиков, натянув жилы шеи, и — отчётливо, глаза пыхивали, и резкими словами, нарочно взрывая последние остатки армейских отношений:

— Вы, господа буржуи, не натравливайте нас на немцев, ничего из вашей агитации не выйдет. Насела шайка на Германию — куда им деваться? Довольно нас натравливали, теперь заключайте мир. Нам — эта война ни к чему. А что вы раньше к нам не приходили поговорить, когда вся ваша воля была над нами? Когда мы при вас не могли не то что курить и сидеть, но дышать?

— Ну, когда вы это видели, Тувиков? — не удержался Ярослав. — Вы тогда в Петрограде были, вы ещё не служили.

Но настало такое время, что в ту сторону аргументы уже не идут, и если даже с тобой согласны — то не поддержат вслух. Те-

перь — ветер только *от них*, и стебли клонятся в эту сторону. И Тувиков доколачивал:

— Россия, измена, союзники — подумаешь. А немцы нам никакие не враги. Они сами готовы Вильгельма свергнуть.

— Вы так думаете? — ещё оживился к нему одному Самойлов. — А они это вам — на каком языке объясняли?

— Ни на каком, так понимаем.

— Сколько за сало и сколько за шнапс? А как вы понимаете: при известной немецкой дисциплине — и немцы так легко братаются?

— Вот так и понимаем.

— А насчёт Вильгельма они вам сами говорили? — Самойлов улыбался и поворачивался к другим.

Против офицера и против полковника солдату теперь легко спорить, а против такого штатского въедливого возмись.

— За нас обращались. С манифестом, — чуть поостывал Тувиков, не так уверенно. Тут сверху закричали:

— Зову-ут! Зову-ут!

Это значило: у немцев вывесили белый флаг.

Солдаты, не спрашивая разрешения, кто в землянку за хлебом и салом, кто — вспрыгивал наверх.

А Самойлов схватил Тувикова за шинель, сам в два раза шире его:

— Ну пойдёмте, пойдёмте вместе, сейчас и с немцами поговорим. Вот посадите меня наверх.

И довольно легко для своей мешковатой фигуры одолел бруствер, оттуда помахал полковнику — и пошагал с солдатами.

Полковник вздохнул с облегчением: тяжёлый разговор, хорошо, что кончился. Он привык к равномерной регулярной службе в военных учреждениях — такое мучение было на его полном лице, что он попал в полк и, может, делает тут не так.

— А что ж, пойдёмте, поручик, посмотрим?

Они перешли к наблюдательным прорезам в бруствере — и Ярослав предложил полковнику свой бинокль.

А сам — наизусть он видел эту ложбинку смертную, по мартовскому снегу и по таянью уже не знавшую ни одного раненого, и протоптанную за эти недели солдатскую гурьбовую тропу — к тому месту, где наши рогатки раздвигаются, — и к тому, где раздвигаются немецкие, — и на подъёмном к немцу склоне, на сухом местечке, где и камни плоские есть, посидеть, — уже вот сходились на-

ших десятка три, и их десятка полтора — у них ландверисты, молодых мало. А среди наших, не отставая, успевал кругленький Самойлов.

Самойлов потому всё и затеял, что хорошо знал немецкий язык. И теперь держался за рукав озлобленного Тувикова, его от себя не отпуская.

Спустились по склону от своих окопов немцы — солдаты и унтеры, с чинными выражениями, если не превосходства. Очень удивились форме Самойлова: «Офицер?» — и щупали его погоны.

Не мешал им щупать, хоть и нахальство, а своим громко объявил, что весь разговор с немцами будет им переводить. И уверенно повёл допрос:

— А отчего на ваших погонах номера защиты тряпочками?

— А нам так приказывают... А мы всегда так ходим.

— Неправда, раньше не так ходили. У наших солдат вон всё открыто. А где ваши офицеры?

— А вон, стоит наш граф.

Правда, открыто в окопе стоял и смотрел сюда в бинокль.

— А вот вы прокламации нашим приносите, — они откуда?

— Не знаем.

— Ну вы — откуда их берёте?

— Офицеры дают.

— А где их печатают?

— Наверно, в Германии.

— А среди вас есть социал-демократы?

— Вот я... И я... И я.

— Да каждый третий социалист? А вы Манифест нашего Совета от 14 марта читали?

— Нет.

— За полтора месяца — и до сих пор не читали? Почему ж его вам не отпечатали? А вы в Германии хотите устроить революцию?

— Зачем нам? — прямо обиделся унтер-социалист. — У нас порядки хорошие.

Другой унтер обернулся и побежал в сторону графа.

— Ну как зачем? Да вот хлеба у вас нет.

— У нас всего хватает. Мы можем вести войну ещё три года.

— А тогда зачем вы выходите с нами брататься? У вас солдат мало? Отправляете на французский фронт?

Смутился унтер-социал-демократ. Не нашёлся.

— Об этом лучше не будем говорить.

Громко перевёл его ответ Самойлов. Переводы его имели большой успех — наши слушали вдиво, и не так, как своих офицеров в окопах.

Но тут немецкий граф, уже и сам догадавшийся о неладном, ещё получил доклад подбежавшего унтера и зычно скомандовал своим и рукой махнул: возвращаться!

И немцы послушно оторвались, повалили назад, так и унося в руках, кто не успел, свои необменные бутылки с ромом.

Испортил Самойлов братание, испортил сладкий торг, — ещё не предстояла ли ему от своих разделка?

* * *

Ясно, что братанье есть путь к миру. Этот путь начинает ломать дисциплину мёртвого подчинения солдат «своим» офицерам. Братанье есть революционная инициатива масс, есть пробуждение совести, ума, смелости угнетённых классов, одно из звеньев в цепи... к пролетарской революции.

(Ленин, «Правда», 28 апреля 1917)

* * *

116'

(Заседание Четырёх Дум, 27 апреля)

Ещё вчера в Белом зале заседали никем не созданные фронтовые делегаты. Но на сегодняшний день Родзянко выговорил себе зал от Совета рабочих депутатов. Скребли и мыли его ночью, первый раз хорошо за два месяца, и ещё сегодня с утра. Завесили белым холстом прозявшую два месяца раму содранного царского портрета. Воздвигли на прежнее место на вышке исчезавшее объёмистое кресло Родзянки. Возобновила деятельность всеми забытая думская приставская часть, со вчерашнего дня её штурмовали «за билетиками», давали по два билета думцам для членов семейств, а остальное — «политическим организациям». И на

хоры, предельно вмещающие тысячу человек, набилось сегодня много больше — чуть не весь Совет рабочих депутатов и совещание фронтовых делегатов. И так, превосходя высоту, численностью и страстями, Пролетариат наблюдал за буржуазным действием.

А внизу — более всего собралось депутатов 4-й Думы — многие были в столице, а кто приехал и из провинции. Много меньше было, но видных, от 1-й, «Думы народных надежд» (она же «Дума народного гнева»), — Винавер, Набоков, Кокошкин, Брамсон, Гредескул, Стахович; от 2-й, уже точно «Думы народного гнева», — Церетели, Зурабов, Гессен, Алексинский, Струве. И уже больше — от «третьиюньской» 3-й. И сквозные по разным Думах Родичев, Маклаков, Шульгин. Не слишком свободные в уже потерянном Екатерининском зале, думцы перед заседанием собирались в проходах тут, в Белом, группами, передавая друг другу кто торжество, кто оптимизм, что страна начинает успокаиваться, раньше и не могло, ведь прошло всего два месяца, кто недоверчивый пессимизм, кто скромную радость встретиться меж этих исторических стен, где сходились когда-то ежедневно.

Рассаживались по депутатским местам в своих прежних секторах — впрочем, и все вместе они занимали сейчас лишь половину скамей, предназначенных для одной Думы. Наиболее полон был центр. На левых скамьях — всего немного, со всех четырёх Дум, вплоть до Чхеидзе и Скобелева. А крайние правые были обнаженно пусты, всех сдула История, — и посмел явиться и сесть один бойкий Пуришкевич, немало же порабатвавший и для этой революции.

Так бы так, но не было прежней силы у приставской части — и солдаты, привыкшие теперь к этому залу и не найдя места на хорах, стали вpirаться сюда же, сперва одиночками, потом десятками, — и неприлично рассаживались на сходах амфитеатра, разделяя депутатов и мешая им свободно разговаривать, затем и на пустующих скамьях позади. Этими солдатскими струями думцы были разделены и прижаты в сторону трибуны.

Какое же тоскливое, неудобное, стеснительное создавалось торжество!

А самые передние скамьи заняли министры: они этим хотели показать, что они не столько министры, чтобы садиться в логу правительства, а скорей депутаты. (Отдельно от них последним, и так был замечен залом, появился Керенский, с правой рукой на чёрной подвязи, раненый в общественной борьбе.) В ложе правительства было несколько товарищей министров, а в остальном её и всю логу Государственного Совета занимало подлинное правительство — Исполнительный Комитет Совета. Хотя кое-кто и чуть приоделся к сегодняшнему дню, — но вся группа их и лица их придавали думскому заседанию запущенно-будничного вида.

А в дипломатической привозвышенной ложе сверкали послы — сухощавый седой невозмутимый Бьюкенен, крупноголовый вытарашенный Альбер Тома вместо отозванного Палеолога, американский Френ-

сис, итальянский Карлотти и ещё несколько союзников помельче. Ложа печати — так и была печати, знакомые всё лица. А на председательской горе должно было сидеть три председателя — Родзянко, Головин от 2-й Думы и Гучков от 3-й.

Многое изменилось в зале, и было слишком непривычное, и уже заранее угнетало. Многое изменилось, но не сам Родзянко! А вслед за ним должно было восстать и воспрянуть всё прежнее думское величие — и он выступил это показать.

Он взошёл на помост с опозданием в 25 минут от назначенных двух часов пополудни — непомято величественный, как ни в чём не бывало переполненный торжеством, и прежним громовым голосом открыл заседание. Объявил, что Гучков по нездоровью несколько опоздает, под шумные рукоплескания пригласил на председательскую кафедру Головина, потом призвал почтить память первого председателя Муромцева. Объявил порядок, что сперва будут говорить три председателя Дум. Тут же начал и речь. (Читал по тетради, для себя необычно.)

А должна была его речь влить в присутствующих и во всю Россию бодрость, уверенность и боеспособность — и право же, никто не мог прогrometerь об этом лучше Родзянки. Сперва, конечно, незабвенная история:

...в этих дорогих всем нам стенах впервые раздалось свободное слово первых избранников... Приветствовать теперь же этих почтенных и незабвенных деятелей...

Но старое отвратительное правительство... Перепомянул три Думы. А 4-я —

сумела сплотиться воедино, стойко и без колебаний решилась на переворот, возглавила революционное движение... В основу переворота была положена идея спасения России...

А дальше и к главному:

Господа, неужели для того пролились потоки русской крови, чтобы получить безславный мир? (Пуришкевич: «Никогда!») Ужели возможен позорный сепаратный мир? (Голоса: «Никогда!») Борьба не может окончиться ничем иным, как победой! (Аплодируют, но не левые.) Мир во имя только прекращения войны, во что бы то ни стало, без достижения указанных мною идеалов правды, чести и добра, мне представляется непостижимым.

Однако гробовое молчание на хорах, молчание левых и аплодисменты центра — не создают грома одобрения. И в этом холодном неприятии, которое начинает Родзянку уже и беспокоить, он кстати читает о германском милитаризме и что германский рабочий класс поддерживает Вильгельма. Но

есть, господа, слухи о разложении в нашей армии, о нежелании будто бы армии драться, наступать. Я не верю этим слухам. Нельзя себе представить, чтобы доблестный рус-

ский солдат, которого я привык уважать за его безстрашие и готовность лечь костями за родину... (Голос солдата с хор: «Дайте дворян в окопы! В нашем полку их один человек!»)

Отвечать? Невозможно прерваться, и со всеми репликами тогда не расклебаться. И неправда: дворяне щедро платили кровью, а гвардия? Но Родзянко понимает, что — не убедишь, такая теперь обстановка — и в России, и в этом зале, увы. И — со всеми раскатами победы и уверенности:

Россия не может изменить тем доблестным народам, которые рука об руку...

Все думцы встают, поворачиваются к дипломатической ложе и долго аплодируют. Особо выкрикивают Альбера Тома. Все дипломаты кланяются. Это — вполне как раньше, как в прошлом ноябре, и к Родзянке возвращается сила напора. А тут вторая часть речи, не менее важная:

В эту мрачную годину нельзя поддаться страху и сомнению. Тяжёлую ответственность безстрашно взяло на себя призванное к жизни Временное правительство. (Члены Думы приветствуют министров в своём первом ряду.) ...Страна обязана добровольно подчиниться велениям единой власти, которую она создала. В распоряжения власти не может быть активного вмешательства.

Стоп, ни шагу дальше, тут край бездны.

И в Учредительном Собрании...

(этот зал увидит скоро всё сам)

...народ установит своим свободным волеизъявлением тот идеал государственного строя...

Центр аплодирует бурно, левые не движут рук, хоры холодны.

Понял ли Родзянко, что успех его не слишком велик? А думцы центра, кто попроницательней, речи его постыдились: всё тот же прежний аляповато-казённый стиль, пафосные взмывы голоса, — как это в сегоднешних условиях и бесполезно, и безнадёжно...

А тем временем слово передано председателю 2-й Думы Головин и ну, а он протирает до святости лик 1-й Думы, затем, скромней, своей 2-й, и будто обе они были поразительно плодотворны в законодательной деятельности (вот уж чем они не занимались обе). И что думали и чувствовали десять лет назад. И вспоминает арест социал-демократов 2-й Думы — тут все депутаты поднимаются с мест, бурно плещут Церетели и его соседям; Керенский, из первого ряда в первый ряд, разумеется, почти бежит к Церетели, одной уцелевшей рукой обнимает его и целует. А тихий князь Львов тоже не бездействует — карабкается по ступеням к трибуне и жмёт руки Головину. Когда всё стихает, Головин ещё в заключение: о сумраке реакции, о путеводной звезде, о семени добром на почве доброй, чьих всходов не мог заглушить Столыпин, и вот мы свидетели их бурного роста, и дай Бог Временному правительству

успешно собрать урожай в закрома, а Учредительному Собранию — справедливо распределить.

Теперь по распоряжку должен говорить Гучков от 3-й Думы, но, нарушая торжество, он всё ещё не явился. Так удобное место для Родзянки пока приветствовать американского посла:

выразить нашему новому союзнику громкий привет.

Все встают и весьма громко приветствуют. А Гучкова всё нет. Так слово имеет министр-председатель князь Георгий Евгеньевич Львов. Голос его если не елеен, то предельно тёпел, князь безконечно добр и безконечно любит всех собравшихся тут (и на хорах, конечно). И он — уж вот не поскользнётся на арбузной корке, он ступает обдуманно. Как председателю нынешнего правительства ему бы говорить о сегодняшних бедах, — но нет: выявляя историческую перспективу, мы наиболее и высветлим роль сегодняшнего правительства.

Поколение наше попало в наихудший период русской истории. И за нашу жизнь, господа, наше счастье непрерывно росло... Страна навсегда сохранит в своей благодарной памяти...

Но что-то надо же и о сегодняшнем дне.

Великая русская революция поистине чудесна в своём величавом шествии... Душа русского народа оказалась мировой демократической душой... Свобода, я в тебе никогда не усумнюсь.

А теперь по замышленному распоряжку должно было выступить шестеро членов той незабываемой славимой 1-й Думы. Эту череду открыл Набоков. Человек быстрого, точного ума, и каждый день на заседании Временного правительства, — он мог бы сейчас, кажется, многое высказать метко — о сегодняшнем ужасном. Но после улаживания, заданного министром-председателем, — ему ли начинать ковырять кучу? — она и пахнет нехорошо. Себе спокойней ограничиться юбилейным стилем:

Мы отдали все наши силы, чтобы выразить народную волю.

Маклаков сидел во втором дуговом ряду кресел, позади кадетских министров, и делал усилие не покривиться своим гладким, как бы вечно омытым лицом. На все эти праздные славословия 1-й Думе, в которой сам он не состоял и никогда её высоко не ставил, — он мог бы сейчас ответить ошеломительной речью, но — не пришло время, никто ещё тут не способен услышать бы её (да и сам в эти месяцы напряжённо обдумывая прошлое, ещё не всё вывел для себя). А кому-кому, но такому тонкому юристу, как Набоков, стыдно было эти славословия невыразительно повторять. Неврастеническая Дума, зависевшая от улицы, не могла создать в России правовой порядок. Считала себя воплощённой волей народа, а подавалась маханию платков с набережной. Вела себя так, будто, приняв конституцию, она подчинилась насилью. Но пока закон не изменён — надо ему подчиняться, иначе нет правового по-

рядка, а только новое самодержавие. Легкомысленная, самонадеянная, пристрастная к громким фразам, шумная, эффектная и бесплодная, та 1-я Дума и не годилась для дела, на которое была призвана народным доверием. И ещё сегодня они этого все не понимают.

А Набоков:

Здесь мы встретили старую власть, оскалившую зубы...
и все в этом дуже. Но

вот старый строй свергнут, наступила счастливая заря,
скоро Учредительное Собрание. Кажется, и сам устыдясь такой речи,
Набоков закончил быстро.

Ну а В и н а в е р вряд ли о чём в мире может говорить, не расплываясь по священной памяти 1-й Думы.

Как изгнанники на родную землю, мы возвращаемся сегодня на эту трибуну... Святость дорогих воспоминаний...

72 дня мы творили государственную работу в этих стенах...

Думает Маклаков: государственная ваша работа была — с первого дня, раньше первого заседания, вместо сотрудничества с властью объявить ей войну. Вместо того чтоб умерить безрассудное революционное нетерпение общества, вы сами его подстрекали. Ни о какой постепенности реформ вы не хотели и слышать. (Ещё нельзя сказать вслух, а уже теперь это видно: историческая власть не имела права капитулировать перед такой неразумной улицей, как ваша гордая Дума.)

Наконец доплыл Винавер и до заслуг 4-й Думы в день 27 февраля, как она

в лице её вождя, председателя, имела мужество взять в свои руки революционную исполнительную власть. (Рукоплескания центра, «браво» и молчание хор.)

Мечтала 1-я Дума об отмене смертной казни навсегда — и вот нынешняя народная власть навсегда ее отменила! (Рукоплескания, «Керенский!» — и все приветствуют Керенского. Он встает с раненой рукой и раскланивается.)

Наши заветы переданы в надёжные руки... мы сторицею вознаграждены за всё, нами испытанное... Вы, господа Временное правительство, имейте мужество власти. И знайте, что народ охранит вас от всякого покушения.

А за Винавером зачередали ещё четверо серых перводумцев, уже совсем не таких ораторов, — и накачивалось всё гуще усыпление под тем стеклянным потолком, какого не было над Думой 1-й, а поставили его после обвала крыши над Думой 2-й. Начинили зевать.

Родзянко объявил перерыв.

Перерыв? Могло бы, кажется, и вовсе кончиться, что ли. (Всем кадетам сегодня вечером ещё на митинги, шесть больших митингов в честь 1-й Думы, нашей святыни.) Да и где тут теперь гулять, встречаться, беседовать депутатам? Везде — солдаты, везде уже слишком демократическая публика, а буфет прежний не работает.

Но в одной груди — зреет и жожёт. Что за постыдный и старомодный спектакль? О чём мы тут все, когда Россия разваливается в эти самые минуты? И никто не соберётся со смелостью прорвать удремляющий ритуал? Смелостью — иметь же наконец и мнение, и швырнуть его в переполнении враждебно.

Это — Шульгин. Эти недели под обломками Думы он первый и звал её воскресить. Но то, что устроено сегодня, — не Дума, а насмешка.

Родзянко возобновляет заседание. Теперь — ораторы от фракций 4-й Думы. Он приглашает с крайнего лева — с большевика Муранова, заслуженного в войну. Но голос: Муранов отсутствует. И Родзянко решается начать справа: а это и есть Шульгин, да он и член 2-й, 3-й и 4-й Думы.

И всходит на трибуну Шульгин, даже фигурой своей веретенообразной предвещая остроту. Трибуна даёт ему новые силы: отсюда привык он владеть всем переборчивым регистром мыслей, чувств, приёмов. Не сразу остро, сперва на подступах. Но вот:

Я, господа, не скажу, чтобы целиком вся Дума желала революции, нет, среди многих была сильна мысль, что во время переправы лошадей не перепрягают. Но, даже не желая этого, мы революцию творили. И поэтому, господа, нам от этой революции не отречься, мы с ней связались, мы с ней спаялись, и несём за неё моральную ответственность.

Это ясно отчеканено, без двоения мысли. И отсюда — в атаку! Но — со страстью сдержанной: удары, нанесенные холодно, разят сильней.

И вот, с этими мыслями, я должен сказать вам правду. Сегодня два месяца с тех пор, как случился переворот. Большие завоевания получила Россия — но не заработала ли на этих двух месяцах и Германия?

Голос с депутатских скамей: «Очень много». Весь думский центр захвачен: вдруг заговорили прямо от их сердца. Хоры ледяно молчат. А Шульгин — ещё сильней и прямой, дозируя довески правды:

Правительство, которое сейчас занимает скамьи перед нами, взято под подозрение. Оно находится, конечно, не в таком положении, как старая власть в Петропавловской крепости, но как бы сидит под домашним арестом. (Голоса: «Верно!»)

Но вот что: цепочка министров в первом нижнем ряду амфитеатра совсем не благодарна Шульгину за эти слова: они не хотят не только называться вслух, но даже внутреннего признания в этом. Может быть, доволен только Милюков. Да Шингарёв. (А Гучкова — всё нет.)

К правительству в некотором роде как бы поставлен часовой, которому сказано: «Видишь, они буржуи. А потому зорко смотри и в случае чего — знай службу!»

И — новый выброс рапиры, теперь дальше, глубже:

Но большой вопрос ко всем социалистическим партиям: правильно ли вы поступаете, когда ставите часового около этого правительства?

Шевелятся, но молчат левые. Недовольные фырканья и шиканья с хор. Замер центр. А Шульгин — всё дальше, с освобождённой смелостью и с наслаждением швырнуть несогласным:

Приходят на память те роковые слова, которые стали уже историческими: «Что это: глупость или измена?» Когда так спрашивали Штюмера, то ставили ему в вину, что он хочет рассорить нас с союзниками. А теперь что делается? Это — глупость или измена? (Голос: «Измена!») Нет, по моему, это глупость. А когда в деревню направляют агитаторов, которые вносят туда анархию и смуту, а последствием будет, что Петроград, Москва, армия и северные губернии останутся без хлеба, — я вас спрашиваю, что это? И думаю, что это всё-таки глупость. Или когда натравливают наших доблестных солдат на своих офицеров, сплошь на всё офицерское сословие, как и натравливают на всю интеллигенцию, — что это: глупость или измена? Господа, это тоже глупость. Но когда все эти три признака собирают вместе — вот это измена! (Рукоплескания. Голоса: «Браво!» С хор: «Кто это на трибуне?» Отклик: «Столы-пинец!»)

Церетели гневен: — Кого вы имеете в виду?

Родзянко: — Прошу не прерывать оратора.

Шульгин не потерял самообладания. Но и не решается назвать самое страшное чудовище: Исполнительный Комитет! Этого — не снесут, и это уже не будет полезно. Поэтому только:

Господа, я вам отвечу. Пойдите, пожалуйста, на Петербургскую сторону и послушайте, что там говорится, я там живу, и сколько раз своими ушами это слышал. Ленин — это фирма, а вокруг него ютится свора, проповедают, что им в голову взбрédет. Не забудьте, что наш народ не так уж подготовлен к политической деятельности и с трудом разбирается в этих вещах. И это действует, к сожалению.

Обрадованный и возмущённый зал гудит, тишины нет. Церетели, подняв руку, нетерпеливо просит слова. Но Шульгин ещё находит место для изящно печальной шутки:

Господа, я счастлив, что вы дали мне возможность это сказать. Я вижу, что эта трибуна как была, так и есть — свободна и неподкупна.

(Спустя 60 лет, когда Шульгину уже было 95, я был у него во Владимирской полуссылке — и он настойчивее всего возвращался к этой речи, спрашивал, где бы найти её и перечитать.)

Бурные рукоплескания большинства депутатов и части публики. Восторженно неистует Струве, вскакивает навстречу Шульгину, схо-

дящему с кафедры, отчаянно хлопает и кричит, неслышное в общем шуме.

Да кажется, всё это и писалось уже в умеренно-разумных газетах? Но тут впервые — сказано вслух. Магия звучащего слова.

А высокий Церетели тоже вскочил, и ещё выше его протянутая рука, в горящем нетерпении. Родзянко даёт ему слово. И, стройный красавец, сорвался с места и почти прыжками, как гонимый олень, взлетает на кафедру — и к неумолкшим овациям Шульгину добавляются ещё бурней рукоплескания к Церетели — с хор, от левых, от солдат в проходах.

Да ведь кажется, Шульгин говорил одну правду, на что так страстно отвечать?

О, у правды много сторон. И такой поединок — есть то самое, для чего существует парламент. Шульгин не назвал Совета прямо, но Церетели принял, куда удар.

Ц е р е т е л и : Я прямо отвечаю на все вопросы, которые поставлены здесь депутатом Шульгиным. Раздаются обвинения не только против Петербургской стороны, но против органа, олицетворяющего Российскую революцию, — против Совета рабочих и солдатских депутатов! — могучей демократической организации, которая выражает чаяния широких слоев населения, пролетариата, революционной армии и крестьянства.

Он — верит, он жив этой верой, а красивый голос его, с мягким акцентом, звенит:

Временное правительство не справилось бы со своей обязанностью, если б не было над ним контроля демократических элементов... Все четыре Думы были полностью бесполезны в деле государственного строительства...

Все четыре? Вот тебе раз, о чём же весь праздник?

Но их левая часть умела сочетать классовый интерес пролетариата с общей демократической платформой и под эту общую демократическую платформу звала всю буржуазию.

Но буржуазия раньше не шла, а сейчас,

при блеске русской революции, при солнце, которое взошло над Россией... сумеют ли подняться на эту высоту имущие цензовые элементы? Вы говорите, что сеется смута, дезорганизация в рядах армии? Мы не верим этим слухам. (Рукоплескания.) Если бы, при торжестве демократических принципов во внешней политике, в рядах армии действительно началось разложение, армия оказалась бы менее способной вести войну, чем при старом режиме, — то надо над всей Россией поставить крест. Но это оказалось, к счастью, неправдой. (Рукоплескания.) Не может быть, чтобы в рядах армии началось колебание!

(Никак не может быть! — мы же все это видим...)

Его речь куда рыхлей и длинней шульгинской, и не так стройна, с перескоками, и у Церетели большая грудь, ему трудно выдержать долгую громкую речь, но он мечется назвать все аргументы, а каждый не сам по себе вголе, но обрастает социалистической терминологией, а она неуклюжа, и слова все длинные; да отточенные формулировки и никогда не давались ему. Но всё спаивается его благородным волнением:

Я с величайшим удовольствием слушал речь князя Львова, который иначе формулировал... что во всём мире можно ждать такого же встречного революционного движения. (Рукоплескания.) В этих словах председателя Временного правительства я вижу настроение той части буржуазии, которая пошла на общую демократическую платформу, — и до тех пор положение правительства прочно, и его не расшатает те с Петербургской стороны, о которых говорил господин Шульгин, не расшатает и безответственные круги буржуазии, провоцирующие гражданскую войну! (Рукоплескания.) Именно те лозунги, которые выдвигал здесь депутат Шульгин, явились как бы сигналом к гражданской войне.

Удар! Особенность социалистической терминологии, что нет общенародной государственности и общей родины, а всё разлагается на пролетариат и буржуазию. Все левые аплодируют и весь Исполнительный Комитет из ложи. Удар! — и вслед ему бросает самого Церетели в горячем азарте:

Здесь депутат Шульгин хотел ответственность за недавние тревожные дни взвалить на людей с Петербургской стороны. Он даже назвал Ленина. Я должен сказать: с Лениным, с его агитацией, я не согласен, но Ленин ведёт идейную принципиальную пропаганду. А при таких идеях, как у Шульгина, я бы сказал — в России не осталось никакого пути спасения, кроме отчаянной попытки теперь же объявить диктатуру пролетариата и крестьянства!

Даже и рукоплескания не родились: проскочил дальше, чем кто-либо ждал от него. И отступил смущённо, что, пока Временное правительство будет осуществлять идеалы демократии, демократия всем своим весом будет его поддерживать, и

мы доведём революцию до конца и быть может перекинем её на весь мир!

И поднялись овации, каких ещё сегодня не было: в Белом зале бушевали чужие — а думцы чувствовали себя покинутыми.

Теперь можно было ждать, что возникший поединок — продлится? разгорится? Нет, снова стали задрёмывать (да из правого центра некому больше и ответить остро). И потекли ораторы бледные. Славное эсеровское прошлое... славная думская борьба... великий февральский переворот... что если к Временному правительству и приставлен часо-

вой, то это — русский народ. А левый октябрист Ш и д л о в с к и й, которого и так две последних Думы знали как самого занудного оратора, теперь посвящает речь Прогрессивному блоку (так незаметно умершему с февраля на март), что вот о нём сегодня мало говорили, а Блок даёт путеводную звезду всеобщего объединения... И затем известный думский скандалист Д з ю б и н с к и й, трудовик:

знаменитые столыпинские хутора являются программой насильственного разорения крестьян, —

и всё же это слышано-переслышано под этим самым мутно-стеклянным потолком, и никто ж из этих ораторов не жалеет аудиторийного времени (да и не слушают их). А крупные круглые настенные часы (до сих пор не испорченные революцией) уже показывают близко к семи. Уже вечер. И зачем же так долго? и зачем тут все сидят?

Но тем временем, не всеми замеченный, появился в зале присутственный, медленный, сильно постаревший — Г у ч к о в, военный министр в штатском пиджаке. Он присел ненадолго в первом ряду, среди министров, — и вот Родзянко объявляет его, и при аплодисментах лишь думского центра он тяжело восходит к кафедре, с которой когда-то так дерзко-блистательно бросал обвинения и правительству, и правым, и левым.

Совсем не юбилейный у него вид, и нет сил на витийство, и голос ослабел, и, кажется, на кафедру он прилегает, чтобы легче стоять.

И — заметно волнуется, как был бы это его дебют. И — кажется, он не импровизирует, он читает по листу?

Несколько вводных фраз. Радостно встретиться не только с политическими друзьями, но и с политическими противниками, ибо политическое сотрудничество в широком государственном значении есть и честное идейное расхождение, и открытая парламентская борьба. Народное представительство имело целью возрождение России и благо родины и

сумело духовно подготовить страну к великому спасительному государственному перевороту, без которого страна была бы осуждена на неизбежную гибель. Но, господа, сегодня не только поминальный день...

(он обмолвился? он хотел сказать — юбилейный?) А уже немало он прочёл-сказал, слова текут, а не забирают, нет, это не прежний Гучков:

Всё же мы, пусть обломки, народного представительства...

И только вот когда проступает знакомый Гучков:

Мы лишены права законодательствовать, но не лишены права дать выход голосу общественного мнения и народной совести, и прежде всего тому жуткому, тревожному чувству, которое охватило всю страну. Оглянитесь: не тяжкая ли скорбь, не смертельная ли тревога, граничащая с отчаянием, охватила всех нас?

Его голос выносит страдание — и вносит в этот зал. И как не вздрогнуть: правда, о чём мы здесь говорим уже пять часов? Всё, что безо-

мощно обминул сладенький премьер, жестоко выговаривает теперь военный министр :

...смертельный недуг подтачивает самую жизнь страны. Разрушение уже коснулось таких основ человеческого бытия, культуры, государственности, без которых общество становится расплывчатой, безформенной человеческой массой.

Умел Гучков и витийствовать, но сейчас за тем не гонится, а бьют слова как молоты:

Выйдет ли страна из этого болезненного состояния брожения и когда?.. В тех условиях двоевластия, даже многовластия, а потому безвластия, в которые поставлена страна, она жить не может. В небывалой внутренней смуте бьётся наша несчастная родина. Только сильная государственная власть, на народном доверии, может... (Голоса депутатов: «Верно! Правильно!»)

Левые молчат, Церетели нервничает. Хоры ворчат.

Но и Гучков достиг высоты, на которой задыхается. Ему не выскокить из своей прежней жизни. Итак —

...тяжкое наследие от старой власти... ещё одно героическое усилие всей страны, и армии, и тыла, — и враг сломен. Радостно откликнулась армия и флот на события переворота, как на акт спасения родины. Одно время казалось —

(одно время — это месяц март, а казалось — ему)

что вспыхнет священный энтузиазм, что новая сознательная дисциплина скуёт нашу армию воедино. Что свободная армия, родившаяся в революции, затмит своими подвигами ту старую, подневольную...

Вздыхнул (если не покачнулся?):

Господа, этого нет. Наша военная мощь слабеет и разлагается... Тот гибельный лозунг, который внесли к нам какие-то люди, зная, что творят, а может быть и не зная, что творят, этот лозунг «мир на фронте и война в стране», эта проповедь гражданской войны, чего бы она ни стоила, — должен быть заглушён властным окриком великого русского народа: «война на фронте и мир внутри!»

Рукоплескания. И Гучков — с последней горькой улыбкой и не драматическим криком, но вконец ослабевшим голосом:

Вся страна когда-то признала: отечество в опасности. Господа, мы сделали ещё шаг вперёд, время не ждёт: отечество — на краю гибели.

О, далеко не все аплодируют, но уж думский центр — изо всех сил.

Хоры — враждебны, будто не их родина на краю.

А Церетели — вскакивает. Вот когда ему надо отвечать! — а он поспешил отвечать Шульгину. Нельзя второй раз.

Засуетился Скобелев. А по списку — прежде него — тот самый лидер прогрессистов

Е ф р е м о в (немного дикообразный — и расторченной бородой, и даже выражением глаз, всегда такой, а сейчас особенно) :

...После того, что мы только что прослушали... Когда отечество на краю гибели, нам нужно думать только об одном... Эта трибуна, с которой... Эта критика постепенно подтачивала основы, на которых стоял старый строй... Борьба за ответственное министерство дискредитировала в сознании всего общества саму идею монархии. Теперь можно сказать: Россия — самое свободное государство в мире.

Начал с гучковской смертельной тревоги, но отошёл от неё изрядно.

Теперь нельзя больше ссылаться на то, что правительство чего-то не сделало,

это на старое можно было валить.

Теперь на свободных гражданах лежит обязанность поддерживать своё правительство... Критика должна стать осмотрительнее... творчески осуществлять свои идеалы...

А к ужасным словам Гучкова так и не вернулся. Теперь слово — Скобелеву.

Самый расхожий советский оратор за два месяца революции. Во все затычки — Скобелев! (И министр иностранных дел ИК.) Восторженный Скобелев! Всезнайка Скобелев! Самоучка Скобелев! Сейчас он ответит всей этой буржуазной сволочи.

Во-первых, не оттягивайте у нас: победа над самодержавием есть результат *нашей* революционной тактики.

Только самодеятельность революционного рабочего класса... И теперь, когда русская революция ослепила весь мир своим пленительным блеском, к сожалению в этом зале вновь раздаются утверждения, что революция есть хаос и разрушение. Но тот, кто боится хаоса и разрушения,

слушайте! слушайте!

должен ясно и определённо признать, что все эти явления законны и неизбежны исторически. И когда здесь говорят, что разрушение опережает творчество, то мы не впадаем в тревогу, это бодрит ещё более нас, заставляет мобилизовать все силы революции... во имя достижения великих задач, возложенных на русскую революцию интернациональной конъюнктурой... русская революция зовёт не к единению молчания, не к единению закрывания глаз на действительность, нет. Но единение в смысле подчинения классовых задач имущих — интересам революции. (Рукоплескания крайней левой.)

И кисло: о том, что можно потерпеть и нынешнее правительство, пока оно выполняет волю революционной демократии.

А сегодня — мы пришли сюда для того, чтобы в последний раз встретиться на этой трибуне. У нас теперь трибуна — Совет Рабочих и Солдатских Депутатов. (Рукоплескания крайней левой.) Государственная Дума выполнила своё дело, мавр сделал своё дело, и, уходя отсюда, мы можем сказать: Государственная Дума умерла, да здравствует Учредительное Собрание! (Рукоплескания крайней левой.)

Для этих-то слов и вся речь построена? Так «поминальное» заседание и кончилось похоронами?

Как будто — и сказано сегодня уже всё возможное? И стрелка — уже за восемь часов.

Но нет! Припасён напоследок единственный тут член всех четырёх Дум, и любимец четырёх, и самый знаменитый их красной — Родчев. Под бурные рукоплескания депутатов он, на своём седьмом десятке, даже порывисто идёт на трибуну — выложенный, высоковатый, всё та же клиновидная малая борода и чеховское пенсне.

Начинает он всё же опять с воспоминаний о 1-й Думе и как её закрыли (хотя вот уже и последнюю закрывают). Но, великий импровизатор, никогда не готовивший речи, он весь — от настроения, от волнения в груди (и даже от прямой зарядки в буфете, но сейчас буфета нет). Ему если только зацепиться хоть за хвостик удачной фразы:

Граждане, история нас учит: только то движение победно, которое идёт по всему фронту нации.

Фронту?.. — вот и зацепился:

Тот, кто разрушает единство фронта, — уничтожает возможность победы. (Голоса: «Правда! Правильно!»)

Конечно правильно. И — понесло, всё горячее и уверенней:

Те, кто в настоящую минуту свидетельствуют здесь о классовой розни и говорят нам о диктатуре пролетариата...

И вскинул голову и поправил пенсне с иронической снисходительностью:

Я убеждён, слова эти вырвались нечаянно. Подумайте, граждане...

а «граждане» не случайно вместо умильных «господ», тут звучит Великая Французская,

...Граждане, можем ли мы помыслить, что в союзе свободных народов мы, Россия, ослабнем в борьбе? Враг стоит на нашей земле — от Двинска до Ковеля. И на французской земле. И на бельгийской земле. Ещё на днях раздался крик из Бельгии к русской демократии: «Неужели забудете о Бельгии?» Граждане, а неужели Россия забудет судьбу Сербии? Неужели русский народ взял свободу только для того, чтобы...

В раже речи к нему вернулась одна из лучших его привычек: высоко поднимать правую руку и плавными движениями будто сбрасывать, будто сбрасывать с пальцев фразу за фразой:

Граждане! Неужели вы допустите, чтобы ваши потомки сказали: царь говорил — «мир будет заключён, и переговоры о нём начнутся только тогда, когда последний германец уйдёт с русской земли» (рукоплескания центра), а те, которые называли себя русской демократией, проповедывали переговоры с германцами?

Рукоплескания в который раз. Родичев любит их и чуть улыбаётся им.

Граждане, для того чтобы вести войну, нужны денежные средства. (Голоса с хор и от солдат: «Дайте их, или мы их у вас возьмём!»)

Не думский регламент, и совсем не думские реплики, Родичев этак не привык. Поднимается враждебный гул, шум среди набравшейся публики. Родзянко нетвёрдо зовёт к тишине.

Родичев: Граждане, народы получают свободу и выносят её в ту меру, в какой они умеют удержать её. Если переворот не поведёт к победе — что мы скажем следующему поколению? Я всех зову к единству. Та партия, к которой я принадлежу, всегда стояла выше классовых интересов и не считается с ними в настоящую минуту...

И правду сказать, перебрать кадетских вождей — Петрункевича, братьев Долгоруких, Дмитрия Шаховского, графиню Панину, Шингарёва, Кокошкина, Милокова и ещё многих, — нет, не денежному мешку они служили, что б ни кидали им социалисты.

И четверть десятого на часах, и передержана, перетомлена аудитория, и внутренним чувством риторика ощущая, что нервы слушателей он перетянул уже за опасный предел, — теперь протуберанцем темперамента, почти крича, и почти у рыдания:

Я последний раз, вероятно, говорю с этой кафедры. Я говорил с неё в разное время, и, быть может, мало кто в 3-й Думе сосредотачивал на себе столько ненависти с этой (оборачивается вправо) стороны. Что бы ни предстояло нашей родине — не прейдёт правда. Она может быть смыта бурной волной... потом отлив... потом волна деспотической власти... Но в дни окончательного торжества не будет забыто имя того правительства, граждане, которое в настоящую минуту несёт огромную власть как тяжкое бремя, как крест и подвиг! Мы можем сказать, обращаясь к Временному правительству: имя ваше да будет благословенно, доколе раздаётся русская речь!..

И замер с завороженной, отданной улыбкой, медленно опускаемой рукой.

Овация! — да не всех. Солдаты внизу — и руками не шевельнули, и ухмылялись недоверчиво. К сходящему Родичеву кинулись думцы с разных скамей, жали руки и целовали его.

А потом его подхватили на руки, и так понесли в Екатерининский, и там ещё качали.

Думу он убедил. Но — Россию?..
А собственно — что он сказал по делу?
Солдаты с хор кричали:
— Мы пойдём не за Родичевым, а за Скобелевым!
Долго ещё в Екатерининском стояли многие группы, и обсуждали,
и спорили.

Так Государственная Дума — совсем умерла? Или будет ещё жить?..

СЛАВИЛИ, ХВАЛИЛИ — ДА ПОД ГОРУ И СВАЛИЛИ

117

После шумного заседания Четырёх Дум вожди кадетов ринулись на шумные же вечерние митинги в честь 1-й Думы. А несколько ведущих членов исполкомского большинства решили собраться на квартире у Скобелева — поговорить между собой доверительно, прежде завтрашнего ИК: что же делать с правительством?

В идею возобновления Думы, кажется, и Церетели и Скобелев, громыхнув сегодня, вбили похоронные гвозди, не воскреснет. Однако вот Временное правительство своим публичным Обращением к населению и личным письмом князя Львова к Чхеидзе взывало к Совету: разделите с нами власть!

И что ж им ответить?

На эти воззвы можно было бы и не обратить внимания, если бы положение правительства не становилось так быстро таким угрожающе провальным. А ведь ещё Совещание Советов в конце марта настаивало, чтобы правительство стало коалиционным с

социалистами. И после дней апрельского кризиса неслись теперь в ИК взволнованные резолюции со всех концов страны, и с заводских митингов, и из воинских частей, не говоря уже о перепуганных обывателях: требовали, чтобы Совет не только контролировал правительство, но сам разделил бы с ним власть, — такая идея созрела в общественном сознании. Иногда резолюции варьировались: пусть двоевластие остаётся, но чтобы Совет взял себе законодательную власть, а правительству оставил только исполнительную.

А такой вариант — не избавлял Совет от ответственности, даже хуже.

Тут и Керенский, три дня назад, являсь на бюро ИК оправдываться, как он проворонил милюковскую ноту, тоже настаивал, что правительство — в невозможно тяжёлом положении, у министров настроение — снять с себя ответственность, и слухи об уходе всего состава вовсе не политическая игра.

Если так — это сильно озадачивало исполкомцев.

А позавчера Керенский публично выступил с заявлением, шатко равновесия между собственной отставкой и приглашением в правительство социалистов.

И ясно было, что это — согласовано с эсерами. Эсеры — явно тянулись в правительство.

Собирались лидеры ИК отдельно, чтобы согласиться или размежеваться, но не под обстрелом большевиков и левых интернационалистов. Да в частной встрече можно и говорить более откровенно, не гремя доспехами терминологии.

Матвей Иваныч Скобелев жил богато, а всё по-холостому. Но в эти недели в квартире его появилась певичка из театра музыкальной драмы. Она сейчас руководила прислугой, подававшей чай, а в дебаты не вмешивалась, не мешала и курить. Курили тут многие, и по многу папирос (Церетели кашлял от этого дыма). Были к чаю печенья, пирожные, потом и фрукты.

На квартире Скобелева всё так же стоял Церетели. А пригласили сегодня: Чхеидзе, Дана, Войтинского, Либера, Богданова, Гвоздева, это всё социал-демократы, и от эсеров Гоц и Авксентьев, а Чернов по гордости не приехал. Получилось десять человек, сборище немалое.

По старшинству ждали, что первый скажет Чхеидзе. Он чай размешивал, чуть-чуть ложечкой, а почти не пил. Опустив голову, смотрел в скатерть.

— Я десять лет председательствую, — он имел в виду до ИК думскую фракцию, — но стараюсь не сбивать прения, лучше послушать товарищей. А сегодня — такой важный вопрос, да... И я должен поделиться с вами моими сомнениями...

Было Чхеидзе всего 53 года, а выглядел он совсем стариком: голова плохо держится, плечи пригорблые, глаза тусклые, борода потеряла форму, и речь невнятной обычного. Ещё и проблема коалиции давила на него:

— Мне тоже в дни революции предлагали стать министром, на старости лет. На что у меня способностей никаких. Но дело не в этом, могли б у нас найтись подходящие. Но ведь Исполнительный Комитет в те дни обсуждал и решил отрицательно. И правильно. Совет потому и имеет такой большой авторитет, что остался вне правительства. А между тем руководит организацией масс. И массы верят нам, что нельзя сразу дать мир и сделать все реформы. А если мы войдём в правительство, мы пробудим в массах надежду на что-то новое, чего мы сделать не сможем. Так что — нам нельзя. Но вот на днях будет создан Совет крестьянских депутатов. Вот от него, от имени крестьянства, и пусть идут в правительство товарищи эсеры и народники, которые, видимо, так хотят. А мы — будем поддерживать со стороны.

Русобородый красавец Авксентьев с барственным достоинством отвечал:

— Николай Семёныч говорит верно: основой демократического правительства в России может быть только крестьянство. Но крестьянство, увы, по дальности наших расстояний, по разрозненности, ещё не успело после революции организовать настолько, чтобы сказать решающее слово в образовании нового правительства. Правда, на днях откроется этот всероссийский крестьянский съезд, но, между нами говоря, он пока совсем не будет представлен: делегаты приедут далеко-далеко не ото всех уездов, даже губерний, и скорей случайные, кто где под руку попадётся, а не правильно выбранные. Даже немало и крестьян-горожан. И мы — не будем там чувствовать себя действительными представителями России, чтоб её выразить и возглавить. И нам там ещё предстоит завоевать такой авторитет, какой уже завоевали вы. Да и приглашение Временного правительства относится к Исполнительному Комитету. И без социал-демократов коалиции никак не создать.

Плотный Гоц, с длинными чёрными волосами, лицом кругловатым, а движеньями деловитыми, настаивал речче.

Нет! Эсеры никак не могут войти в правительство без эсдеков. Формальное решение у эсеров ещё не состоялось, но он, Гоц, резервировал за собой право голосовать и против коалиции, если эсдеки не выразят готовность идти в правительство на равных основаниях.

— Мы тоже росли в борьбе — (мягко сказано «тоже», за его плечами был и успешный террор, и приговор к смертной казни, и каторга) — в борьбе со всеми попытками пересадить на русскую почву тенденции западноевропейского министерализма. Участвовать в правительстве вместе с буржуазией — для нас ещё чужей, чем для вас. И если мы тем не менее согласимся, то только потому, что без этого правительство падёт, не вынесет первого следующего столкновения с Советом. Только потому мы согласимся, что в исключительных условиях произошедшей русской революции участие социалистов во власти не есть отдача заложников в руки буржуазии, а есть утверждение политики революционной демократии. Но только — если эту ответственность вы с нами разделите!

Между эсерами и эсдеками вырисовывался ров. Поспешил воткнуть Скобелев, видимо нетвёрдо зная наперёд, что именно он скажет. Занесло его сперва к Вандервельде, как тот в начале войны приехал просить русских социалистов поддержать борьбу против императорской Германии.

— ...И мы ему тогда ничего не ответили. Мы знали, как разговаривать с товарищем Вандервельде, председателем Интернационала, но не знали, как разговаривать с министром Вандервельде. И так остаётся после революции тоже. Конечно, это мы создали это правительство. В новых условиях мы уже не разжигаем народные страсти, а наоборот тушим. Я вот, например, только и делал всё это время, что тушил — то среди рабочих, то среди воинских частей, то среди кронштадтских матросов... И я всегда встречал доверие масс, и мне удалось подчинить их демократической дисциплине. Но если бы теперь я к ним явился не представителем Совета, а в качестве министра? Они бы сказали: мы знали, как разговаривать с товарищем Скобелевым, но не знаем, как с министром.

Скобелев любил аргументировать от самого себя. Другое дело — кучерявый полнощёкий Богданов, с железной твёрдостью по многу часов дирижировавший двухтысячеголовым Советом. Он шёл — от практики. Участие советских в правительстве, да, попу-

лярно среди несознательных масс, вот почему так много резолюций в пользу коалиции. Но передовые рабочие, прошедшие партийную школу, хорошо сознающие классовую расстановку, разумеется, относятся критически. Энтузиазм масс построен на иллюзиях, что составное правительство может оказаться чудодейственно. А когда ничего такого оно не сделает — то будет жестокое разочарование, и поколеблется авторитет Совета. Нам потому и нельзя идти в правительство, чтобы сберечь Совет.

Тихий Гвоздев, за которого Богданов и в Рабочей группе хорошо управлялся, не оспаривал своего теоретика: вполне согласен с Борисом Осиповичем.

А холодный, неприветливый Дан без колебаний и сомнений выговаривал законченные гладкие фразы — и катились они как бы помимо него, как неуклонная закономерность. Вопрос о коалиции ещё не стал на очередь в развитии нашей революции. Резолюция Совецания Советов не может быть для нас руководством, ибо она принята некомпетентным собранием, не отдававшим себе отчёта в социальной расстановке. Поддерживать правительство социалистам гораздо удобнее извне, а вступив министрами — не сможешь выполнить своей программы, потому что всякое буржуазное правительство в конце концов выступит против пролетариата. Находясь внутри правительства — мы будем занимать двусмысленную позицию в социальных конфликтах, и так притупится пролетарская классовая борьба. А в условиях международной борьбы против империализма коалиция с буржуазией может оказаться особенно вредной. Вот если война затянется, ещё увеличится экономическая разруха, наступит анархия во всех областях жизни и произойдут вспышки отчаяния народных масс, угрожающие распадом государства, — тогда, может быть, и поставим вопрос вхождения, однако с величайшей осмотрительностью. Но это будет весьма опасно, ибо тогда к социалистам массы станут предъявлять невыполнимые требования. Нет, нет, лучше нам держаться от власти в стороне.

И правда же! — крайне опасно. Все упрёки — посыпятся тогда на нашу голову.

А мы вынуждены будем поддерживать и всю политику правительства и перестанем быть выразителями чистой классовой линии пролетариата.

И потом же: мы отдадим в министры и так потеряем самых выдающихся своих партийных работников.

А тут, в ИК, наши места займут большевики и левые, и будет их засилие.

Большевики ничем не рискуют, потому что у них ничего нет. А мы — не можем так.

Да всё равно никакое правительство сейчас не справится, и мы только опозоримся вместе с ним...

Так что ж, оставить все бразды в руках буржуазии?..

И — что теперь должен был сказать им Церетели, три часа назад овеянный громом оваций в Белом зале за защиту Совета? Как спорить с партийными товарищами, если они выражают истину?

Но сердце хочет смягчить жестокость истины:

— Конечно, правительство должно быть всячески поддержано Советом, чтоб оно нашло гармонию со стремлением народных масс. Но, как ни готовы мы сделать всё возможное для укрепления правительства, — целесообразно ли сейчас наше прямое участие во власти?

И сам поникал от жестокости ответа:

— Нет. Только вырастут надежды масс, которых мы не сможем удовлетворить, — и тогда это усилит максималистские течения, большевиков. И вместо укрепления демократической власти произойдёт ослабление нашего с вами авторитета.

Да и — к а к? Как образовать коалицию, если правительство не действует достаточно решительно в области внешней политики? Коалиционное правительство должно было бы безвозвратно поставить вопрос о мире. Но ведь во всей европейской демократии сейчас нет этого могущественного движения в пользу мира.

— ...И никакое русское правительство, даже насквозь социалистическое, само одно не сможет остановить войну.

Перед теми порядочными, доброжелательными министрами, с которыми Церетели легко, свободно разговаривал на Контактной комиссии, почему-то никак не разглядывая в них врагов-буржуев, — ему сейчас было стыдно и даже больно, что он не может протянуть им руку помощи. Но это — всё так:

— Напротив, не сливаясь с правительством, Совет сохраняет максимальное влияние на воспламеняемую часть населения. В пережитом нами, вот на днях, кризисе — как мгновенно мы восстановили порядок, и безумный лозунг «долгой правительство» сразу загас. И вот так, извне, мы только и можем демократизировать политику правительства.

А понимая, что — мало этого, воображая ищущие глаза Некрасова, порхающие глаза Терещенко и голубые в слезе у князя Львова, — голосом извинительным, растерянным Церетели заключил:

— Конечно, я не буду советовать эсерам, чего не советую собственной партии. Но... ведь существуют же в России и другие демократические элементы, не связанные ни с нашими партиями, ни с Советами... а — с кооперативами?.. с крестьянством? И если б они и заменили Милюкова и Гучкова в правительстве?.. А мы бы тогда — ещё более решительно их поддерживали?..

Правда, вот бы выход? Кто бы, правда, вступил в министры?

Но Войтинский отрезно отклонил:

— Ничего из этого не выйдет.

И — ещё сидели, ещё переключивали. Но даже в этом узком собрании конструктивного ответа не нашли.

К концу дебатом, под испитыми и недопитыми стаканами, измазанными тарелками с раскрошенными птифурами, гофрированными бумажками из-под пирожных, сердечками яблок, переполненными пепельницами, где и мимо стряхнутым пеплом, — голубая вышитая скатерть выглядела необещательно.

118

За последний десяток дней что заметил Шингарёв в яви, кроме своей работы, — это бурные демонстрации в Петрограде, да на самой же Мариинской площади, под окнами его кабинета. А больше ничем вниманье его не отвлекалось.

Но хотя он предельно собран был на своих заботах оба эти месяца, воистину не покладая рук и не опуская головы, и с энергией двойной по сравнению со своей обычной немалой, и обустроил много самых срочных мер, — а наплывало потребных ещё больше и больше, и положение, дико сказать, казалось даже хуже, чем в начале марта.

По подвозу продовольствия март был трагическим. Но в апреле стало ещё хуже. Сейчас на казённых складах муки — половина месячной потребности армии и населения, значит на две недели. Только для армии надо подвозить в день 460 вагонов, а грузится всего 80. (А 380 берётся из старых запасов интендантства царского времени.) Уже в мае наступит, что наряды армии нечем выпол-

нять. И даже изобильный Киев жалуется, что у него запасов только на месяц. А тут ещё — половодье, распутица, разрушены пути, мосты. А на Волге — тонет уже погруженный хлеб, — жуть...

И такое живое содействие общественных сил страны, а не везут крестьяне хлеба! Привоз с каждым днём становится всё меньше.

Сколько раз при прежнем режиме так ярко представлял Андрей Иванович: едва только водрузится в России свободное правительство, при свободе слова, — и сразу в ответ тронутся из деревенских глубей благодарные крестьянские караваны с зерном.

Но — не везут.

Голод — самый страшный судья для революции.

А ведь надо же и союзникам отправить обещанное зерно.

И сколько же повсюду, чуть не в каждой волости, комитетов всех видов, и продовольственным дана почти диктаторская власть по реквизициям частных запасов. Но пока эти комитеты научатся работать — а старое надёжное земство, чувствуя, что теперь уже не будет переизбрано и ничего не будет значить, — тоже прекращает деятельность.

И получается, что революция — ухудшила дело с хлебом?? Но этого никак не должно быть!

Со сторонниками свободной хлебной торговли Шингарёву приходится доспаривать ещё и сегодня. Они предсказывают голод, все в России занимаются политикой вместо дела, в местных комитетах сидят неумеющие люди, что они знают за пределами своего уезда: где спрос? где предложение? где есть семенной материал? Монополия — должна быть если не отменена, то, по меньшей мере, улучшена: пусть хлеб принадлежит государству, пусть продаётся по твёрдым ценам, но дать возможность и свободной торговле, и кооперативам наряду с комитетами и уполномоченными содействовать передвижению хлеба, они успешней справятся, они добудут хлеб и привезут! А прибыль пусть ограничит правительство, пусть только 3 копейки с пуда.

Шингарёв и сам заколебывался иногда. Но, приняв решение, — нельзя колебаться.

И он поехал на съезд биржевой торговли и держал речь. Жуткое наследство получило Временное правительство от старого строя. После долгого мучительного размышления мы стали на путь хлебной монополии. Как и Франция XVIII века, мы силою вещей должны были к ней прийти. Бывают моменты, когда формы

экономической жизни повелительно диктуются ходом обстоятельств. Путь государственного вмешательства — неизбежен. Конечно, есть недостатки, но и не забудьте, что мы работаем всего лишь два месяца. Хлеба нет, потому что крестьяне заняты мыслями о переделе земли...

И Бубликов там зывал к купечеству: не хотите же вы, чтобы Временное правительство постигла судьба Жиронды?

А с другого края в хлебное дело вмешался петроградский Совет рабочих депутатов. И уж не знал Шингарёв, радоваться или огорчаться. За два месяца никакого добра от Совета он не видел, только помехи. «Известия» печатали: «Хлеб — будет! но только надо подойти не так, как министр земледелия». А — как? Совет решил теперь посылать ещё и своих хлебных эмиссаров во все губернии — солдат, чтоб убеждали на местах, что армия без хлеба. Может быть и убедительно, но добавится ещё по лишнему звену, ещё больше путаницы. И понадобится их несколько тысяч — и кто ж будет оплачивать их содержание? И как бы отстраняются продовольственные комитеты? Но отказать Совету правительство не в силах.

Да что ж, под давлением фронтовых интендантов Шингарёв и им разрешил посылать свои «заготовительные делегации» за хлебом. Только недавно революция отменила всю эту нагромождённую систему уполномоченных — и вот она сама собой вырастала опять под руками. И — надо было открыть границы губерний, чтобы везти семена туда, где их нет. И такую ещё меру придумал: приезжающие в Петроград военные делегации просить, чтобы все солдаты писали своим домашним: везите хлеб! Сейчас может быть вся надежда на солдатские письма в деревню, воззвания туда, видимо, не доходят. И говорил Шингарёв военным делегациям:

— Жутко от того, что осталось нам от проклятого строя. Ко времени революции хлеба на фронте было на полдня, а в Петрограде на три дня.

Это было — сильное преуменьшение, но так хотел он сильнее врезать им впечатление.

Да фронтовые делегации, сгустясь заседать в Таврическом, и сами требовали к себе министра на объяснения. Сперва ездил заместитель, потом потребовали и самого Шингарёва. Трудно — оторваться от работы, от стола, но когда уже оторвался, поехал — говорится легко, свободно, и хочется больше людей убедить, и

чтоб это разнеслось. Два часа говорил депутатам фронта, удачно. Объяснял им все трудности и свою надежду, что всё благополучно разрешится.

— Извините, граждане, что у нас всё ещё есть недостатки, но не хватает ни дня, ни часу. Вся беда в том, что старый строй повалился в самое бедовое время — перед распутицей и посевом.

Но уверен, что засев пустующих помещичьих земель будет произведен по взаимному добровольному согласию. Деревня — поймёт, и спокойно дожждётся Учредительного Собрания. Подождите, вот будет монополия и на мыло, и на ситец. Записка: «Какие меры правительство принимает для установления порядка на местах?» Только и мог развести руками:

— Мы обращаемся к населению лишь с моральными увещаниями, не прибегая к силе, при новом строе не может быть других мер воздействия. Население само должно понять необходимость порядка.

Этим крестьянам в шинелях и Шингарёву видно так разно с разных сторон. Почему до сих пор не прекращены купля, продажа и залог земли? Объяснить им, что возникнет паника в финансовом мире, — они не поймут. Вот — скоро остановим. Вот уже запретили продажу земли иностранцам. А лес?? — почему рубят лес?..

И за это всё перед ними отвечает министр земледелия... Они жаждут свои соседние леса получить себе на порубки, но леса надо оставить в руках государства, иначе их не сохранить. Как укрепить эту мысль в сознании народа? Деревня не может вести правильного лесопользования. Лесное хозяйство малодоходно, а вырубись — не остановишь песков.

Им — и уже не им (где это? а, в тот же день к вечеру, на съезде лесопромышленников): нам нужно 5 миллионов кубических сажень дров для одного железнодорожного сообщения и промышленности. Иначе всё у нас остановится. Поэтому неизбежна усиленная порубка лесов. И только лесной экспорт может дать нам средства для внешней торговли. Но, господа, надо же рубить не близко лежащие леса, у самых дорог и сплавов, — а мы уже там вырубили вперёд до 1925 года. Берите глубже! (А они отвечают: тогда ничего не успеем; и застрахуйте от крестьянских выступлений против рубки...)

От речи к речи, каждая неизбежна, нельзя отказать, от совещания к совещанию просто качает, шофёр куда-то привёз, трибуна, яркий свет, сотни слушателей, из-за юбилея 1-й Думы особенно

много кадетских собраний. В Александровском лицее один раз, и второй раз:

— Великое и ответственное время. Разрешить вековечный земельный вопрос. По силам ли России одновременно и внутреннее строительство, и борьба с внешним врагом? Я верю в творчество русского народа. Тёмная русская деревня обладает глубоким государственным смыслом, и в трудные минуты он выводит. Русская революция — *святая*, ибо целью её была свобода... Конечно, всякая революция — сила разрушительная, и в своём поступательном движении иногда захватывает то, что нужно сохранить. Но не тоскуйте, не горюйте, скоро начнётся период созидания. А когда Учредительное Собрание изберёт достойных лиц — мы скажем: «Ныне отпускаеши»...

А сегодня повезли на Калашниковскую биржу: митинг о жестоком положении наших военнопленных в Германии. Вши, сыпной тиф. На наших пленных смотрят как на скот, изнуряют на тяжёлых работах. Запрягают в плуги, повозки. Пойманных беглецов сажают в карательные лагеря.

Шингарёв выступает и там — и голос его едва не в рыданьи, ведь говорят — едва ли не два миллиона наших там так.

— С чувством жгучего стыда слышим скорбную повесть о наших дорогих воинах. Виновато во всё наше старое правительствво, которое оставило нас без снарядов... А потом пренебрегало судьбами отданных в плен. Мы сами накануне голода, а должны помочь им ржаными сухарями.

А в министерстве — финляндская делегация. Финны, снижая рубль, клоня закрыть русские школы, во всё прижимая русские права, однако требуют усилить их снабжение русским хлебом и разрешить финским уполномоченным самостоятельную закупку хлеба по России.

Шингарёв уже у самой стенки, отступить дальше некуда:

— Нет. Нет.

А тут — новая тревога: во многих местах без зазора режут племенной скот!! Дать почтотелеграмму всем губернским продовольственным комитетам: сохраните! сохраните от убоя государственное достояние, мы и так потеряли сколько скота при отступлении.

Подносят распоряжения. Ограничить число допускаемых к выработке сортов конфет. Прекратить выдачу сахара для чайного довольствия служащих государственных учреждений. Скоро в мае

предвидится съезд крестьянских депутатов, надо выхлопотать для них Михайловский театр.

Неутомим был Шингарёв всю жизнь — но уже и его сил нет. Да ведь и спать остаётся по четыре часа.

Чего бы сейчас хотелось — бросить министерство, постылый Петроград, да поехать по стране посмотреть своими глазами, как там всё делается.

И в Грачёвку заехать, к семье, вольным воздухом дохнуть.

119"

(по буржуазным газетам, 24—28 апреля)

Обнажение русского фронта немцами.

Париж. «*Эвенман*» отказывается верить пессимистам, что Россия бьётся в судорогах анархии и готова погубить себя предательством союзников.

«*Юманите*»: От молодой русской революции можно ожидать каких угодно ошибок, но не такой бессмысленной, как измена союзникам.

«*Виктуар*»: Мы, французские республиканцы, высказывавшие 25 лет такую снисходительность к преступлениям царизма, должны быть снисходительней в течение нескольких месяцев к ошибкам молодой доблестной русской демократии.

«*Тан*»: Россия будет хранить верность союзникам... Оплата купонов русских займов не прекращалась.

Лондон. «*Таймс*»: Мы никогда не сомневались в готовности русского народа и армии быть лояльными по отношению к союзным демократиям.

«*Обсервер*»: Формулировка — «без аннексий и контрибуций» только может помочь политической игре Гогенцоллернов и Габсбургов.

Вождь германских аннексионистов граф Ревентлов заявил: «Военная мощь России ослаблена, страна на краю пропасти. Для чего Германии при таких условиях отказываться от своих целей войны на Востоке?»

Французские анархисты о войне... Было бы безумием требовать мира, оставив троны неопрокинутыми.

Солунь. Состоялся необычайно грандиозный митинг. 40 000 греков высказались за низложение династии и короля Константина — «Да здравствует Четверное Соглашение, Венизелос и республика!»

Петроградские события наглядно показали, что боевой материал для нового государственного переворота — в полной готовности.

(«Московские ведомости»)

С одной стороны, ленинцы требуют прекратить убийства на фронте, а с другой — стреляют на улицах разрывными немецкими пулями в мирных граждан...

«КРАСНАЯ ГВАРДИЯ». Мысль о формировании из петроградских рабочих красной гвардии глубоко оскорбительна и для всего русского народа и для всей русской армии. Стрельба по безоружной толпе показала, кому и для чего нужна красная гвардия. 40 тыс. винтовок и сотни пулемётов — чтобы принудить свободных граждан столицы подчиниться деспотической воле подпольных агитаторов. Идея «красной гвардии» — это кровавый бред душевнобольных маньяков. На отточенных штыках не основать царство свободы.

КРУШЕНИЕ ЛИБЕРАЛИЗМА? В зале ГД происходили похороны русского либерализма... Русская интеллигенция так много жертвовала для подготовки революции в России, и при первой вести о ней готова была считать себя победителем. А теперь слышим: «Мавр сделал своё дело...»?

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЬ... Это сложное, печальное, тревожное и паническое заседание была лебединая песнь народного представительства, блестяще скончавшегося в историческом заседании 27 апреля. Лебединая песнь? — как бы всей русской интеллигенции.

На собрании партии народной свободы министр Некрасов: «Страшная опасность — в отсутствии немецкого нападения. Оно создаёт ошибочное ощущение, которое может разъединить демократию».

...Революционный народ погибнуть не может. По крайней мере, до сих пор ни один народ от революции не погибал.

(«Русская воля»)

...Народ, окажись достойным полученной тобою свободы, и твои вожди выведут тебя из тяжёлого положения — и введут в светлое царство народного счастья.

(«Русская воля»)

В Кромском и Мценском уездах самовольно рубят лес.

Сильная агитация против помещиков в **Подольской губ.**, распускают слухи: «паны и жидаы сковали царя, хотят ввести панщину».

(«Речь», 27.4)

Тамбов, 26. Во многих казённых лесничествах крестьяне требуют бесплатного отпуска леса и отвода пастбищ для скота. Угрожают смещать лесничих.

Управляющий московской митрополией еп. Серафим в послании упрекнул духовенство, что оно не присоединилось к празднованию 1 мая, не было колокольного звона и торжественного богослужения.

В дни февральского переворота из гаражей военно-автомобильной школы было увезено 53 автомобиля, до сих пор не возвращённых. Все они подлежали отправке на фронт.

Москва, 25. Сегодня с Александровского вокзала отправлена на фронт маршевая рота. Она состоит наполовину из бывших городских, наполовину из амнистированных уголовных.

СОБЫТИЯ В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ. Уездный комитет, не признавая частной собственности, приступил к отнятию живого и мёртвого инвентаря у владельцев. Арестовали и посадили в крепость приехавшего из Петрограда губернского комиссара, уездного агронома, много и безвозмездно поработавшего для уезда, председателя и двух членов уездной управы, двух местных помещиков. Положение осложняется тем, что в Шлиссельбурге огромный пороховой завод, на котором несут службу недавно освобождённые каторжане. Доверие к ним так велико, что их послали в Петроград за суммой 80 тыс. руб.

Иваново-Вознесенск. Тут зарезано 10 человек. Жители потрясены и учредили самозащиту, она несёт сторожевую службу.

Кишинёв, 26. Из Бендерского уезда сообщают о безчинствах и грабежах отставших от своих частей ингушей, терроризирующих население.

Самара. Здесь участились случаи жестокого самосуда над хулиганами и ворами. В воскресенье 23 апреля для расправы с двумя наиболее известными хулиганами толпа приготовила виселицу — и только энергичное вмешательство милиции помешало повесить.

Ростов-на-Дону. С Владикавказской ж-д — ряд тревожных телеграмм. На ст. Слепцовской участились случаи вмешательства солдат в техническое движение, и агенты дороги находятся под угрозой увечья или лишения жизни. На ст. Минеральные Воды солдаты вмешиваются в

распоряжения дежурных по станции, грозят убийством и насилиями. На ст. Двойной солдаты насильственно задержали шедший впереди поезд, после чего взбунтовались солдаты в том поезде. На ст. Котляревской солдаты арестовали начальника станции.

Киев, 21. Горячие прения в СРД об образовании отдельного украинского полка. Выступившие поляки и латыши подчеркнули, что их полки сформировались из добровольцев, тогда как украинские — из дезертиров. Некоторые члены Совета заявили, что украинцы преследуют нехорошую цель: 3–4 месяца пробыть в тылу, пока будет происходить формирование. Большинством 264 против 4 резолюция: за немедленную отправку самочинно формировавшихся — на фронт.

(«Речь», 26 апреля)

Из с. Можги **Елабужского уезда** на имя министра юстиции телеграмма: «Пленные ведут себя возмутительно, отказываются от работ, бастуют, избивают местное население, занимаются грабежами». Военнопленные на Судаковском заводе в Туле поставлены в условия не хуже наших солдат. Но отказываются работать, избивают служащих, не подчиняются милиции.

...На пятый-шестой день свержения царизма милиционеры потребовали за дежурство 8 рублей... Студенты нашли, что для укрепления свободы необходимо отменить экзамены... Рабочие поторопились удвоить заработную плату... Союзы всевозможных служащих — сократить рабочее время и увеличить праздничное... Люди, не успевшие выгадать на войне, торопятся выгадать на революции.

(«Речь»)

Письмо Анонима в «Речь». ...Горе вам, контрреволюционерам, приверженникам Временного правительства. Пробьёт тот час, когда Кронштадт в революции сыграет огромную роль. Раз что «Временно», то и должно быть временно, а не вековечно. Весь Действующий флот по первому зову Кронштадта явится к нему, независимо от Временного правительства. И прошу вас прекратить травлю товарища Ленина, вы об Ленине в полном смысле ни черта не понимаете. Я надеюсь, у вас хватит смелости поместить моё письмо в вашей газете. Если вы не поместите, то вы прибитая собака.

Из действующего флота

...Российские большевики распределяют свои братские чувства неравномерно. Рабочие и солдаты Французской республики — для них братья, а рабы буржуазии. То же и английские рабочие, и бельгийские социалисты, и сербские крестьяне. Великую американскую демократию даже не упоминают. Братьями большевиков оказываются только немцы. Как объяснить такое извращение чувств?

(«Новое время»)

Перегруженность телеграфа... Приём и передача депеш с выражением доверия или недоверия Временному правительству, а также порицаниями Ленину — необязательны. Не заграждать ими линии, изъять из корреспонденции .

ЗАЁМ СВОБОДЫ. Шаляпин подписался на 100 тысяч рублей, В. Д. Набоков — на 500 тысяч. В Архангельске в купеческом обществе предполагают разместить до 10 милл. В Ростове-на-Дону на собрании еврейского общества запись на заём достигла 5 милл. рублей. Решено путём правильного обхода всех евреев города продолжать подписку до 10 милл. В станции Тихорецкой с энтузиазмом встречено предложение вместо покупки облигаций займа жертвовать правительству. Собрано: 4 фунта золотом, полпуда серебра и до 20000 р. деньгами.

ЧУДНОЕ ИМЕНИЕ продаётся в Малороссии — парк, сад, пруд, лес.

Торговый дом Дейч и К°. Получена партия ИКРЫ зернистой, мало-сольной, кетовой, амурской — всё высшего качества.

За отъездом продаю очень красивый кабинет красного дерева, картины, бронзу, рояль.

Нужна **интеллигентная дама** (еврейка) к пожилой даме.

Китайская собачка, японские мопсы...

Нужна **подгорничная** со стиркой.

Переброска германских войск с русского фронта на западный.

Нью-Йорк. Представители бостонских евреев, в числе больше 100 тысяч, устроили ряд собраний, имевших целью выразить лояльность Соединённым Штатам и приветствовать русскую революцию. «Мы должны сделать всё, что в наших силах, для укрепления нынешнего русского режима».

«Фоссише Цайтунг»: ...Сведения с разных участков русского фронта... русские войска всё более проникаются мыслями о мире. Рознь между офицерами и солдатами существует в полной мере... Ни в один момент войны положение Австро-Венгерской монархии не бывало таким выгодным, как теперь.

Париж. *«Раппель»:* Мы не можем верить, что Россия сознательно пошла на самоубийство.

«Эко де Пари»: Кто эти люди в Исполнительном Комитете, которые обращаются к нам с речами отказаться от Эльзас-Лотарингии и от гер-

манского вознаграждения за причинённые разорения? Мы хотим знать их имена. Демократией не могут править ни анонимы, ни псевдонимы.

До сих пор говорил город, интеллигенция и рабочий класс. А с Учредительного Собрания заговорит деревня. И выступит на сцену женщина. Культурные элементы незамедлительно должны приступить к элементарному политическому воспитанию народных масс.

Двуглавый орёл встречается на русских монетах ещё в XII веке. Поэтому расправа над ним была неуместной и даже оскорбительной для русского народа.

...Министры Временного правительства — люди с широким умственным горизонтом. И нужно ли бросать им в лица, что они «буржуазия»? Не покраснеет ли всякий, кто так закричит? Россия присягала в повиновении Временному правительству.

(«Новое время»)

...Обидно, что нас теперь обзывают «буржуазной» печатью, валяя в одну кучу «Новое время», «Речь» и «День» и зовут бойкотировать нас. А мы — всегда были печатью оппозиционной и народнической. А вся русская литература — не «буржуями» написана?

СОВЕЩАНИЕ ФРОНТОВЫХ ДЕЛЕГАТОВ в Таврическом дворце... Офицер Василенко заявил: «Сплошь и рядом сюда являются никогда не сидевшие в окопах и от имени нас, фронтовиков, выносят нелепые резолюции. Говорят: надо организовать братание, идти к немцам пропагандировать, но часто они оттуда возвращаются пьяные. А немцы шпионят в наших окопах. Чтоб узнать положение и состав нашего фронта, немцам не надо теперь затратить ни одной пули, ни одного человека — достаточно выбросить белый флаг и пойти всё осмотреть».

В общегосударственном продовольственном комитете... Долг населения — спокойно терпеть и твёрдо переносить временные лишения, неизбежные для перехода к лучшему будущему великой свободной России.

Кишинёвская губ. В Сорокском уезде самовольная запашка крестьянами помещичьих земель проводится в широких размерах, по всему уезду крестьяне захватывают даже и вспаханные поля. Никакой борьбы с захватами нет. И в Оргеевском уезде крестьяне очень слабо запахивают собственные земли, но захватывают частновладельческие.

Житомир. От истощения начался сильный падёж рогатого скота, закупленного и реквизируемого у населения министерством земледелия.

РАСХИЩЕНИЕ КОНСКИХ ЗАВОДОВ...

Отставка полковника Грузинова. Комитет чинов штаба Московского Военного округа признал действия п-ка Грузинова не соответствующими занимаемой им должности... Грузинов заявил, что просит у военного министра отпуск на 2 месяца.

Синод объявил амнистию всем священнослужителям, лишённым сана за политические убеждения.

В Елизаветинскую общину доставлена жена рабочего из Красной гвардии Иванова: он нечаянно выстрелил ей в живот.

Николаев. Здесь и в Херсоне одновременно воспламенилось спрессованное сено. В Николаеве уничтожено 4 000 вагонов сена. Предполагается злой умысел.

УЛИЧНАЯ ЮСТИЦИЯ. В Новороссийске при обысках у торговцев обнаружены большие запасы скрываемой кожи. Над торговцем Петоянцем толпа намерилась устроить самосуд: уже надели на него телячью кожу и рога и повели по улицам. Члены комитета общественной безопасности с большим трудом предотвратили расправу над несчастным спекулянтом.

Саратов. Арестована ютившаяся на краю города монархическая организация, выпустившая прокламацию — «дайте царя и хлеба!».

Петропавловск-на-Камчатке. Продолжается расхищение пушных богатств у мыса Лопатки из-за отсутствия там стражи.

Провинциальная печать острижена под гребёнку новыми цензорами. Уральские большевики бросили лозунг: «Кто не с нами, тот против нас».

Ростов-на-Дону. Революционный студенческий комитет постановил предложить ректору университета проф. Вехову выйти в отставку. Выделена студенческая комиссия управлять делами университета.

Телеграмма из **Або**: «...финляндские банки и магазины отказываются принимать русские деньги».

Мысль сейчас не работает: готовые формулы, перед которыми падает ниц раболепствующая толпа.

(«Русские ведомости»)

ЛЕНИН И КАЗАКИ. Из резолюции 4-го Донского им. Платова казачьего полка: «Проповедь Ленина нам не нравится. Ленинцы, как нам представляется, это сброд весьма тёмных личностей... Если г. Ленин не слепой, не предатель, не сумасшедший, — он должен видеть и понимать, какие безчестные отвратительные гады ползут под его покро-

вительством. Нам хочется думать о Ленине как о заблуждающемся, который совершенно не понимает... Очень печально, что такой субъект явился к нам теперь в Россию... Но нас не тревожит: собака лает, ветер носит»...

Верный. Гарнизон и рабочие города в совместной телеграмме Временному правительству: «...обязуемся поддерживать вас на благо родины и просим: Ленина с его сторонниками арестовать и тем спасти Россию от смуты».

Если Горький считает русского человека жалкеньким, болтуном и бездельником — то как же назвать его проповедь большевизма, бросаемую в такую массу? Кто считает себя учителями народа — несут проповедь разрушения и анархии.

(«Речь»)

Луганск. Духовенством уезда постановлено подписываться на заём Свободы — от каждой церкви минимум 50 руб., от каждого духовного лица минимум 25...

Нижний Новгород. Организованная среди евреев подписка на заём дала около 3 милл. рублей.

Астраханское еврейское общество в первый же день подписки на заём собрало 2 милл. рублей.

ДА! или **НЕТ?** **ЖЕНЩИНЫ!** Заря новой жизни занялась. Скажите, готовы ли вы принять участие в строительстве Новой Свободной России? Если да, то немедленно сообщите свой адрес. Если нет — то скажите: почему?

Общество «Женщина идёт!», телефон...

Совет солдатских депутатов вяземского гарнизона просит своих товарищей, забывших сыновний долг перед родиной, не срамить свой мундир солдата-гражданина и немедленно вернуться в свои части...

Российское Общество покровительства животным, состоявшее под покровительством императрицы Марии Фёдоровны, ликвидируется.

БЕС СОБЛАЗНА — фарс в трёх частях с участием лучших сил французской сцены.

Кино НИРВАНА. «ЧАША ЗАПРЕТНОЙ ЛЮБВИ».

ИНОСТРАНЕЦ ищет **БАРСКУЮ МЕБЛИРОВАННУЮ КВАРТИРУ** со всеми удобствами.

Иван Кожедров попал в делегацию 11-й армии так: ворочался из отпуска с родины, из Коробовки Усманского уезда, миновал штаб корпуса, а там как раз на большой поляне бушевало солдатское сборище. Пристал послушать. И — разливались! и — кукарекали на все голоса! Да красно, да цветисто, чего только не расписывали, и каждый знал, другим насупротив, как надо российскую жизнь уставлять. А что ж? Иван тоже об том много думал — от самой Коробовки и всю дорогу, сна лишился, всё думал, думал. А сам он приземист, а плечи у него железные, он пока и дослышивал, так всё вперёд и вперёд пробивался, уже и под самую лесенку на ту голубятню. Досада разобрала от этих крикунов — он и сам туда полез: теперь я, мол, скажу. А там как раз перемежек выдался, так и без различия, ну говори. Выстал Кожедров к переднему перильцу, как глянул сверху, всё иначе представилось: ой, голов! ой, умов! только меня тут не хватало. Но, иначе, уже и не пятиться. А голосище у Ивана ничего, сразу как в трубу:

— Вот что. Словами сеять — не много вырастет. Горлом дела не исполнишь. Тут, — задержался, — думать надо хорошо.

И ещё постоял подумал — а что говорить? да больше и нечего. А толпишка только ахнула: вот такого молодца нам и надо! И враз — избрали Ивана! Куда такое? А — делегатом в Питер, от 6-го корпуса. В те ж часы сварняличи ему, *мандат* называется, и даже в полк не пустили, там по телефону дали знать, а ему шинелку сменили, старая была, и ботинки новые, обмотки старые ладно, — и в штаб армии, гоном, в Кременец.

А там — и ещё несколько собралось, от других корпусов, вот вместе будет делегация 11-й армии. И в ту же ночь выехали в Питер. Только-только Иван с поездами рассчитался — на тебе, опять в поезд, сперва до Киева, потом из Киева, долго тянулись.

А в пути сошлись со Фролом Горовым, делегатом 49-го корпуса, бочаром из Рамони — земляк! хотя губернии вроде другой, Воронежской, а Рамонь-то с Усманью рядом, так и земляки. Ивану только что не сорок, а Фролу всего тридцать с двумя, и старший унтер, — а сам поджарый, но добророслый, да скалозубый, на всё улыбка. Видать, поворотливый был кадушечник, начинал с того, что по дворам ходил-кричал «обручи набивать», а потом уже и на Воронеж посуду ставил: «Моя бочка год не течёт, хоть на солнце

держи, сделаешь хорошо — и продашь хорошо», что потрудней — сам, что полегше — на подмастерий, мого и сундуки, и дуги, и токарить, ремесло за плечами не тянет, но бочки всего прибыльней. После действительной за пять лет до войны уже четырёх детей накачал, кажесгодков, и карточка с собой — трое парней, одна девочка.

А у Ивана — трое, и постарше, а карточки показать нету: в Коробовке заведения нет карточки делать. У князя такая машинка есть, они печатлят и самих себя, и лошадей, и собак. А вот на праздник всё Коробово ходило к князю в гости — так и всех скопом княгиня охватила, верно и Иван попал.

А что за праздник? а что за князь?.. От Киева ехали вдвоём на боковой нижней полке, спали в черёд или оба сразу, вразнотычку, а на день серёдку убирали в столик и друг супротив друга разлюбезная беседа, все мимо ходят, не мешают. Да чайку попивали, как на большой станции сбегаетшь с чайником за кипятком. И чего б своим в роте рассказывал — теперь, туда не довезя, да вот Фролу в поезде.

Да именно нынешний князь Борис ничего так плохого нам не делал. Ну и хорошего не особливо, рыло у него не слишком приятное. А братец его лихой так на мужиков и лошадью наезжал, правда. А отец их, Леонид Дмитрич, даже очень к нам был хорош. Погорела Ольшанка — всем дал кирпича и тёсу. И церковь нам поставил, и больницу. А у деда их, и прадеда, и раньше — мы ихние крепостные были. И теперь уже всех плохих-хороших не переберёшь. Одначе, и не может так вечно оставаться, чтоб у них и земля и богатства, а? Вот я всё думаю, думаю, как бы они опять нас вкрут пальца не обвели, как наших дедов. Теперь толкуют — за землю выкуп платить? А — за что? Это с их надо выкуп взять, что они землю захватили издавна и держали столько. Старики говорят: ещё пусть нам вернут платежи с 61-го года. Нет, как ни верти, а придётся у господ всё поотбирать.

Горовой: может так, может не так, а всю обширность надо своим порядком поставить. А зорить — опасно сейчас, и в любом деле, хоть и в мужицком, хоть и в солдатском. У вас там — зорят небось?

Да где как. Нонешней весной, правда, скус к работе сильно потеряли, а к помещичьей и не говори, поконеч пальцев. Так ведь зявятся помещичью себе засеять. А помещику как втолковать, чтоб он сам понял и ушёл? Вот и плату подённую бери с их больше, вот

и рендаторы прежней цены платить им не хотят — и не взыщешь теперь, выкуси.

Ну и до чего до́йдет?

Да ни до чего хорошего, верно. Меж нами самими никакого согласия нет. Ни внутри села, ни меж деревнями. Землю его возьмём — а как делить? Вот убедят сходку — дать лес рубить для города, а кучка малая схватится: всё равно не дадим! — и не даст. И городские заворачивай оглобли.

На гляд Горового — то не сила была деревенская, нет. Ещё б войны не было, а с войной пропадём. Ты месяц проездил — не знаешь, что в армии счас. Покуда что перебесимся, а немец нас одной левой ногой выпихнет и затопчет. Пояса-то мы распустили, да, а немец нажмёт — как бы нам при таком фасоне в портках не запутаться. И не скорую перехватку надо себе рвать, а устанавливать, что значительность имеет.

А — как?

А вот. Поедем в Питер, посмотрим. От тысячи хозяев тоже Ра-сее добра не будет. Губодуев много развелось, и на фронте и везде, их заслушаешься. А много ль из них могут дело управить? Похлестала наша большая бочка и ладами и уторами. Сейчас если осадкой обручи не подбить — то и будем порожние намертво. Скопить долго, а раскидать — ума не надо.

Сметлив Горовой да быстр, у себя в волости такого и не знал Иван. Прилепился к нему теперь.

В Питер приехали — суматоха! кружбá! людей — до напасти! Семеро от 11-й армии, один прапорщик — всей кучкой вместе. Пошли в этот самый Таврический, оттуда им и столовань определили, и кров, где ночевать, тут, мол, несколько дней перебудьте, раньше не осмотритесь. Да тут этих делегаций — кто от армии, кто от дивизии, а кто даже от отдельного батальона, так собрали их всех заодно в Белом зале, чтоб легче объясниться, уже третий день заседают, — вот и вы к ним туда.

Пошли. В зале той — скамеек лукастых нагорожено, с подвысью назад, и перед каждым местом столик. Всего нас — человек полтора. Сели, стали слушать. Объяснял с вышки вёрткий чернородый — про гвардию, но какую-то из рабочих, что их самое дело и есть винтовки носить. Но с негодованием отвергаем сепаратор (у князя в молочной в Лотарёво стоят такие). А брататься с немцами надо с умом, не то чтоб каждому солдату в отдельности мир заключать, армия должна оставаться боеспособной. И хлеба

не везут потому, что крестьяне ещё не знают, что мы отказались от завоеваний.

Ну-ну. Да вы жалезу нам дайте да ситцу.

А за ним объявили министра земледелия — и вышел, немолодой. Щедро говорил, и понятно, да больше про хлеб. Что только переворотом спаслись, а старый строй всё погубил. Но теперь деревня спокойно дожждётся учредительного собрания. Будет и мыло, будет и ситец, только соблюдайте с землёй порядок. А ему из залы: как же дожидаться, а наши бабы скоро голые пойдут!

Потом на день перерыв объявили: в этой самой зале один день будет сама Дума заседать. Так нас послушать пустите! 15 билетов давали, стала фронтовая братва шуметь, ещё сотню добились, а не на всех. На Ивана не дали. Так один день в тишэ посидеть, на Рождественской улице, на койке, а то голова пухнет.

А сегодня опять наш черёд. Началось с большого шуму: от военного министра ответили, что не желают явиться отвечать на наши вопросы, а пусть наша головка сама туда к им сходит. Стали и с мест кричать, и с вышки воскликивать:

— Господа министры полагают, что мы приехали сюда надолго? Но нас ждут в окопах наши товарищи — и мы не можем ждать. Что ж, они считают наше собрание случайным, необязательным? А заставить военного министра прийти сюда немедленно и дать нам все ответы!

Избрали двух офицеров, трёх солдат — поехали они трясти министра или около.

Фрол головой высокой покручивает: теперь министры, и министры, и их сотоварищи будут перед нами чередю проходить, только слушай. Ни в роте, ни в Коробовке такое не приснится.

Да Иван только и слушает, ему ли лезть тут других учить.

Заспорили о братании — но взошёл с листком очкастый жёсткий барин, и стал по листку отвечать — насчёт тайных договоров, внешних дел и других держав, и нападёт ли Япония на нас, — так сердце и жихнуло: да неужто ещё и Япония? да что ж мы за бедняги такие? Успокоил: нет, не нападёт. Но нам самим надо не зевать, а брать да-да-нелы. И ещё много о чём, и всё непонятные слова, всё непонятные, Фрола в бок тишком толкнёшь — и он тоже не все знает.

А потом вылез не министр, но от Совета — Скобелев такой. Вид простой, наш, — а слова, ну, опять заворачивает. Какой-то

ихний ма-ни-фес 14 марта вызвал вздох облегчения у каких-то диморатов во всех странах. И теперь со всего мира в какой-то город собираются ехать, и он сам первый едет, и там будут класть войне конец.

Ну, слава Тебе, Господи! Ну, дал бы Бог.

А временное правительство — ничего плохого, обидного. А государственная дума — умерла. Армия же не должна замирать в своих окопах, но должна наступать!

Чего это — замирать? Это раньше тихо сидели, не звукни, чтоб не накрыл, а теперь в окопах песни поют.

— А затем, товарищи, позвольте мне уйти и заняться вопросом о министерстве...

Ну иди, что ж, отпустили.

Тут — прапорщик выступил от 5-й армии, очень пылко.

— Мы бредим миром и понимаем, что война нам была навязана. Но в настоящую минуту нашей молодой свободе угрожает прежде всего немецкий пулемёт и немецкие штыки. И раз враг не понял нашего братания — то надо его прекратить!

И ещё один из 2-й армии прапорщик, Чернега, вернулся и объявил: будет завтра перед нами выступать сам военный министр!

С этим Чернегой, курским, Горовой тоже счёлся земляком, то и дело они на скамьях переговаривались, недалеко сидели. Оба они были нрава весёлого, даж забиячного.

121

(Фрагменты народоправства — Петроград)

* * *

Днём 17 апреля на Кирочной улице солдат-писарь Стрючков, одетый в штатское платье, выстрелил в спину генералу-от-инфантерии Кашталинскому, бывшему командиру корпуса, 67 лет, которого и не знал, члену Александринского комитета о раненых, много орденов за турецкую и японскую войну. Пуля прошла через грудь навывлет. Раненый генерал продолжал идти без посторонней помощи, но упал, а через полтора часа скончался в лазарете. А Стрючков отбежал несколько шагов и упал как бы в падучей. Позже заявил, что стрелял без всяких мотивов.

* * *

Выпущенный революцией из тюрьмы барон фон Шриппен теперь зарезал кафешантанную певицу Сезах и её подругу Людмилу-Азу, сорвал с них драгоценности, отрубил обеим пальцы с кольцами. Подозревают, что его соучастником был аферист «ротмистр Сосновский». Украли бриллиантов больше чем на 50 тысяч.

* * *

Вечером 19 апреля группа анархистов-коммунистов явилась в комиссариат Выборгского района и потребовала ключи от дома № 17 по Полустровской набережной — пустующей дачи бывшего сановника Дурново, которую анархисты решили взять под свой клуб. Ключей в комиссариате не оказалось. Тогда анархисты взломали двери дачи, заняли много больших комнат и немедленно стали перевозить туда свой багаж: огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. Около дачи поставили свой караул.

* * *

В середине апреля произошло несколько дерзких краж в здании Сената. Из кабинета обер-прокурора гражданского кассационного департамента похитили мраморные часы с богатой отделкой, тяжелее пуда. В другой день такие же — из кабинета обер-прокурора 1-го департамента. У одного сенатора украли мундир с золотым шитьём и всеми орденами, звёздами. У барышни из канцелярии — каракулевый сак. Несмотря на розыск, похитителей не нашли.

* * *

На петроградских улицах — громкая смрадная брань простонародья, как раньше не смели.

У Николаевского вокзала и на Лиговке открыто продают порнографию. В кинематографе на одной из Рождественских улиц показывают богохульный фильм «Жизнь Христа». Приманка: «прежде запрещённый».

* * *

Не проходит суток, чтобы в Петрограде не произошло несколько десятков грабежей квартир, магазинов, лавок — и ночных, и дневных. Есть очень дерзкие. Милиционеры почти никогда не успевают никого захватить.

На Сенном рынке в полдень, во время перерыва приказчиков, было разгромлено 20 лавок и взломаны их кассы.

За смутные сутки 21 апреля в Петрограде произошло больше 30 квартирных краж, особенно крупная — у князя Бебутова (богача и

известного фрондёра, издателя заграничного фолианта против царя Николая II).

* * *

В этот вечер в ораниенбаумскую парикмахерскую вбегает 16-летний подмастерье, подметающий там полы, и трясёт при клиентах и мастерах новенькой 10-рублёвкой: «Сейчас был в городе, и какой-то тип дал мне 10 рублей, велел: ходи и кричи «да здравствует Ленин, да здравствует партия большевиков!»

* * *

По ночам не стало дежурных аптек: вывешивают объявления, отправляя к соседним, — а там такие же объявления.

* * *

В местном поезде Царское Село — Петроград несколько солдат спорили о политике со своим унтер-офицером Андриановым. И — на ходу выбросили его на полотно.

* * *

На Гороховой милиционер Россохацкий рассматривал винтовку, а она неожиданно выстрелила — и убила в голову гимназиста 8-го класса.

И в тот же день в другом комиссариате милиционер Монахов, разряжая ружьё, нечаянно убил наповал своего родного брата.

* * *

Фельдшер Сучков в 1915 г. находился под следствием за подлоги, бежал из-под конвоя. В начале революции явился в Петроград, от общественного градоначальника получил документ на звание подпоручика и отрывную книжку распоряжений на производство обысков. И сам произвёл их много на Петербургской стороне. В начале мая арестован уже со множеством бланков, штемпелей, печатей воинских частей для отпуска спиртного. Выдал несколько сот подложных документов, освобождающих от воинской повинности, литературных билетов для проезда по железной дороге.

* * *

2 мая в правление мануфактуры «Треугольник» явилось с полсотни рабочих, многие — с большими холщовыми мешками, и потребовали немедленно выплатить им 12 миллионов рублей — набавка по 15 копеек каждому рабочему за каждый проработанный час с начала войны. Члены правления предложили передать требование в примирительную камеру — тогда их угрожали завернуть всех в рогожи и бросить

в Обводный канал. Кое-как уговорили рабочих отложить требование до следующего утра.

На следующее утро рабочие явились снова с мешками за своими 12 миллионами. Получив отказ, арестовали директоров Кетница, Гофмана, Цулауфи, Бекмана и Нефедова и увезли их в автомобилях в министерство юстиции.

Только приехавший Гвоздев убедил рабочих в незаконности их действий. Согласились передать спор в примирительную камеру.

* * *

В Обводном канале всплывают трупы. У двоих генералов — колотые, рубленые и огнестрельные раны, изуродованы лица тупыми ударами, видимо прикладами. Один — в генеральском мундире, ещё и с генеральскими звёздами, но без сапог; на другом — штаны с генеральскими лампасами и вывороченными карманами. В Обуховской больнице опознали: это военный директор Путиловского завода генерал Дубницкий и его помощник генерал фон Борделиус, убитые и потопленные 28 февраля бандой Ваньки Быка и Коровина. Отпели в Сергиевском соборе, потом торжественно несли гробы через весь город.

* * *

Как-то раз Пешехонов попал на Аптекарский остров близ места столыпинской дачи и полюбопытствовал посмотреть, как похозяйничала рота пулемётчиков, стоявшая здесь.

Сами здания и обстановку он нашёл в ужасном состоянии. Два венских стула почему-то были водружены высоко на дереве.

Но, вопреки ожиданиям Алексея Васильевича, памятник Столыпину стоял неприкосновенно.

* * *

Двухмесячный поиск личных вещей Пушкина, украденных из Александровского лицея, не дал результатов. Подозреваемые освобождены за недостатком улик.

Обсуждать вопрос о входе-невходе в правительство собрался ИК около полудня 28 апреля, в пятницу. Исполкомовских солдат теперь перетолкнули в Исполнительную комиссию, здешние обсуждения им не по зубам, а особенно сегодня — дело партийное. Но и члены ИК собрались не все — около полусотни. Да вызванных

шестеро из московского Совета — а эти, как известно, все были против коалиции.

А так как и все петроградские социал-демократы — от правых меньшевиков и до большевиков — тоже против. И левые интернационалисты — против. А эсеры, хотя сочувствовали входу в правительство, но и посегодняя не решились вынести о том резолюцию, — то кто и оставался за? — трудовики да народные социалисты.

Перевес против коалиции был заранее явный, и это определилось в первых же исходных заявлениях, сделанных от каждой партии.

Но начались прения. Собственно, и в них не ожидалось ничего нового: все главные доводы и за и против уже были изложены в партийных газетах, и тут их лишь повторяли. Но там были только пожелания, а прозвучав тут — эти же доводы вели теперь к решающему голосованию о судьбе революции! — да кажется, и страны?..

Но — как бомбу взорвал тут среди них худенький Гиммер! Тот он накануне всё обегал с карандашом и блокнотом всех главных лидеров, просил высказаться о коалиции для «Новой жизни». Ну, думали, журналист, упивается своей новой газетой. А у него, значит, была острая цель, он вымечал политическую конфигурацию. И вот — один из самых левых в ИК — что же теперь он прорезал к изумлению всех? Да кто же настойчивее его обличал империалистическую буржуазию? Кто резче его поносил Временное правительство вот сейчас, после апрельского кризиса, во всём вина, что правительство Милюкова есть правительство гражданской войны? Кто страстней его обзывал оппортунистами и соглашателями нынешнее большинство ИК? И вот, когда это большинство последовательно революционно отшатывалось от коалиции — перец-Гиммер жгуче выступил за коалицию, за!

Он был непредсказуем!

(А вот в чём дело: ведь он — никто тут этого по-настоящему не оценивал — был главным мозгом и поэтом Февральской революции: ведь это он придумал, чтобы на первое время в правительстве села одна буржуазия. Но — лишь на первое время! — выстлала путь пролетарской демократии. А теперь, по схеме, пришёл второй этап: пролетариат должен вытеснять буржуазию из правительства. И поэтому — надо идти пока в коалицию. Конечно, Гиммер понимал, кто пойдёт туда, — не последовательные революционеры, как он сам, как большевики, — пойдут в правительство жалкие вялые

правые соглашатели, оборонцы, — но для начала пусть хоть они. Однако Доктрина требует когда-то это движение начать.)

Да он — десятком искристых способов мог бы сейчас тут аргументировать, если б его не ограничивали во времени. Ну хоть так:

— Коалиция — не единственный выход, но вполне возможный, и обсуждать его — теоретически законно. В марте социалисты не могли войти в правительство не только по общим законам марксизма, но и потому, что не могли взять на себя ответственность за ведóмую войну. Да, внешняя политика Временного правительства — узко классовая, империалистическая, но вот наступила новая фаза: апрельский кризис опроверг империалистическую политику! Возникли своеобразные исключительные условия: эволюция настроения масс, невиданная сила организованной демократии, сдвиг власти в сторону демократии! — и уже нет риска для социалистов, что они в правительстве станут орудием буржуазии. Войти — но не в качестве заложников! Никаких «министров без портфеля»! Войти — решающей силой! И направить правительство — ко всеевропейскому миру!

Мы видим, что здесь сейчас готовится простой механический вотум. Но это будет безответственный вотум ответственных людей. Сохранение «чистоты пролетарских риз» только заслоняет суть дела. В стране — нет парламента, а Совет, как бы мы хитро ни увиливали, — уже *есть* революционная власть. Но теперь мы бываем вынуждены санкционировать такие меры, в разработке которых мы не принимали участия и каких сами бы мы, если бы состояли в правительстве, не провели. Нам приходится уступать просто для того, чтоб не оставить страну в одном случае без хлеба, в другом без топлива. Всегда Совет оказывается перед фактом уже принятого решения, и остаётся только поддерживать его.

(Гиммер не отчаивался: что́ большинство?! Интеллектуальная сила, мозговая способность может повернуть и многопартийный кворум вопреки всякому большинству. Маленькими своими руками Гиммер и восстанавливал дело великого Маркса. Вооружась Марксом, Гиммер ощущал как бы острые лучи-шпаги, исходящие из его головы, — и они всех пронзали. Так и сейчас с коалицией.)

Здесь ораторы словесно приуменьшают сегодняшний правительственный кризис — но это незаконно! Страна видит, что мы уклоняемся. И это голое уклонение от бремени ответственности она никогда не поймёт и не оправдает. А в свободной России не может быть других основ власти, кроме всенародной поддержки.

Мы уклоняемся? — но мы всё равно уже отвечаем за события, хотя и не берём власти. Можно рассмотреть другой вариант: взять власть нам полностью? Но это никак не возможно и не желательно, ибо страна — в хозяйственной разрухе и финансовом банкротстве. И коалиция пусть нежелательна нам по пролетарским симпатиям — но неизбежный выход. Конечно, надо думать об условиях и основаниях вхождения: на знамени правительства должен быть написан полный разрыв с империалистической политикой. Однако усвоим: прочной власти в России не будет, пока Совет не станет поддерживать её безоговорочно.

Феерически! Безоговорочно? Это ж именно он со Стекловым придумал «постольку-поскольку», — а теперь «безоговорочно»? Да что же делает марксистская диалектика!

Речь Гиммера произвела большое впечатление. Загорелся Гольденберг — и выступил в том же духе.

Неожиданная позиция левого крыла внесла смятение.

Но большевиков — не проняло. Шляпникова не было, а разумный же Каменев не принял ни от кого никакого довода (наверно, жёсткие инструкции от Ленина). Твердил: никаких блоков и соглашений с буржуазией. Вся власть — в руки Советов, и большевики направят к этому все усилия.

Напряжённый Гоц прервал его:

— А к а к вы это будете готовить, не откроете нам?

С академической невозмутимостью, плавными фразами Каменев отвечал: во-первых, будем неумоимо разоблачать антинародную сущность буржуазной власти. А во-вторых, будем убеждать и убеждать вас, советское большинство, взять полноту власти в свои руки.

Либер, не спускавший большевикам никогда ни пяди, отпарировал:

— А с того момента — вы начнёте разоблачать антинародную сущность *нашей* власти?

Смеялись.

Подручным у Каменева был голосистый Красиков. А рядом с Каменевым молча сидел туповатый Сталин, никогда ещё отчётливо не высказавший ни одной своей мысли.

Совсем с другого фланга твёрдо выступил в пользу коалиции Станкевич, как и ждали от него:

— Формула «постольку-поскольку» с самого начала была несостоятельной: это — наперёд объявленное правительству недо-

рие. Форма сотрудничества-вражды не оправдалась, надо искать новую. С коалиционным правительством откладывать нельзя, время «контроля» миновало, надо самим идти и участвовать организационно. Наши демократические головы всё изобретают, как бы отпихнуть нежеланную власть: страшно её брать, выгодней оставаться в роли критиков. Но тезис Дана «социалисты могут прийти на помощь только в последнюю минуту»? — какой же он ждёт степени разрухи и гниения во всей стране? Когда уже ничего-ничего нельзя будет спасти?

И глухо волновался, но, как всегда, в чеканной твёрдости:

— Не увлекайтесь миражами о безпредельной мощи и победоносности нашей революции. После 21 апреля — как может не охватить жуть? Сегодня в опасности и революция — и само отечество. Прежде всех социальных проблем — Россия вообще должна существовать! Вообще — не дать ей развалиться!

Но незаметно было, чтоб заседание ИК сотряслось. Да по партийному поручению Станкевич вынужден был окончить тем, что трудовики, однако, не войдут без социал-демократов.

А русский красавец Чернов выступил, по обычаю, ласково, вкусно и с большим превосходством. Нашёл место и пошутить. И поднять на высоты теории. И проанализировать международное положение: в тупике не только Россия, но и вся Европа, сейчас никакую великую нацию победить нельзя, и война будет мучительно-затяжная. Однако против лозунга мира без аннексий не устоят Габсбурги и Гогенцоллерны, национальные силы отхлынут от них. И очень обнадеживает нас послание Вильсона, и первая задача России — сблизиться с Соединёнными Штатами.

— Да, мы вступаем в новую эру. Организационный дуализм теперь должен замениться организационным монизмом. Старый состав Временного правительства себя изжил. Вопрос поставлен историей — и трудовая демократия не может уклониться от решения. Но разумеется — только на наших условиях. Конечно, вступление в коалиционное министерство для нас, социалистов, великая жертва. Но мы должны её принести. Да сам этот термин неверен: «коалиционное правительство» — это когда социалисты лишь чуть вкраплены. А теперь речь идёт о *революционном правительстве*, где преобладающее влияние будет у социалистов. Не просто залатать правительство одним-двумя-тремя социалистами — но решительно его реорганизовать. Не сглаживать противоречий, но поставить все точки над «и». Блок социалистов вы-

ходит на первый план перед демократической буржуазией. Демократия стала хозяином в государстве, должна взять и управление им. Это — не измена социализму. Эти руки — и произвели революцию.

Уже многие в ИК заметили, что Чернов страстно хочет быть министром.

Скобелев, Церетели — могли только повторить то, что уже говорили накануне между собой. Церетели и тут — своё расплывчатое предложение, чтобы правительство искало ещё какие-нибудь посторонние демократические элементы.

Чарнолуцкий от народных социалистов, как и Чернов: что принять участие в правительстве для них есть жертва, но они готовы.

И ещё, ещё выступали, и колебалась стрелка.

Войти в правительство — значит поступиться социалистическими принципами. Мы должны остаться на страже революции.

Но демократия не должна бояться взять на себя ответственность. Для спасения революции. Как меньшее зло.

А если вступим — и появится вроде ноты 18 апреля?

Так говорилось же: под условием пересмотреть цели войны. Заставить правительство служить интересам революции!

Станем мишенью анархических элементов.

А разве они щадят нас сейчас, хоть и по Займу?

Как раз из-за анархистов пришлось прервать прения: прибежали сообщили, что анархисты, вчера вечером захватившие дом герцога Лейхтенбергского в его отсутствие из Петрограда, так и не уходят, а засели и грабят. Одни думали: да что нам этот герцог, и пусть его грабят, что такого? Другие: да нет, это — признак общей анархии, надо прекратить. Ладно, послали члена ИК Менциковского уговорить анархистов уйти добровольно.

Выступали Эрлих, Рафес, Цейтлин, Стеклов, Соколовский, Капелинский. Стрелка всё качалась.

Стеклов был сильно мрачен и в этот раз малословен. Вопрос о коалиционном правительстве не стоит перед нами как реальная задача дня. А если станет — то так, чтобы в руки социалистов перешли главные портфели, определяющие всю политику.

Другие опять: положение страны не позволяет жить дальше на «постольку-поскольку». Если не возьмём ответственность за власть — потеряем доверие народа.

Как раз наоборот: потеряем наш авторитет в глазах масс, если войдём в правительство. Новое правительство будет так же

быстро скомпрометировано, а у нас не останется власти над массами.

Московские: уже и теперь в рабочем классе слышатся нарекания, что петроградский Совет руководится мелкобуржуазными и оппортунистическими соображениями.

Но соглашались: если и не входить в правительство — всё же надо оказать ему добросовестное содействие. Страна не может существовать без сильного правительства.

Чхеидзе перед голосованием, слабым голосом:

— Товарищи, я не принимал участия в прениях. Но выслушал, что тут говорилось, и считаю долгом сказать: нет, я бы не взялся советовать Исполнительному Комитету делегировать представителей в правительство.

А уже поздно: начали в полдень — а уже вечер. Наконец и голосование. Жадно считали поднятые руки, проверяли друг друга, перепроверяли.

За коалицию — 22.

Против коалиции — 23! (Один голос! один голос решал!)

И воздержалось — 8.

Всё.

Ещё б один из воздержавшихся — да качнулся?.. Да вот Менциковского услали — за кого бы он?..

Один голос!.. Вся судьба России — зависела от одного голоса тут?!

Коалиция отклонена.

Поздно было, а не время расходиться, только перерыв.

Проходил Церетели мимо Каменева, тот стал посмеиваться: решение принято правильное, но процедура у вас была недостаточно демократичная.

Церетели осиял его чёрными глазами:

— Возможно. Но, мне кажется, решение наше — не радует вас, а огорчает. Большевики с нетерпением ждут, чтобы мы в правительство — вошли.

А рядом стоял этот странный земляк Джугашвили, ухмылялся. То он кажется простодушным. То, на днях, со злобой оболгал выступление Церетели на совещании в Мариинском дворце — всё изолгал демагогически, пришлось опровержение печатать.

А сейчас — опять, добродушный простак:

— И чего мы столько часов спорили? Не всё ли равно: самим войти в правительство или тащить его на своих плечах?

Менциковский возвратился в безсилие: анархисты отказались освободить дом, и к ним ещё подходят вооружённые подкрепления.

Что, в самом деле, делать с этими анархистами? (Уж о доме Кшесинской молчали.) Особенно после апрельского кризиса каждый случай торжествующей анархии воспринимается уже не как долготерпение власти, а как полное её безсилие.

А поделаться — нечего.

Революционная активность масс — явление очень положительное, но неплохо бы её и снизить.

Не миновать принимать резолюцию об анархистах.

Что-нибудь так: Исполнительный Комитет не давал никаких разрешений на самовольные захваты... Всякие захваты частных имуществ пагубны для дела революции... Ослушники революционного народа...

Нет, сильней: пособники контрреволюции...

Большевики — все воздержались. Открыто посмеивались.

И написать к завтрашним «Известиям» грозную передовицу, что анархия — гибель революции.

Воздерживался и Стеклов. Он теперь только загромождал своей тушей «Известия», а ничего там не делал.

Взялся написать Войтинский.

Но, конечно, не называя никого конкретно!

Тот же Войтинский и в сегодняшние «Известия», по поручению головки ИК, написал ядрёную передовицу против создания Красной гвардии.

И именно в сегодняшний вечер, вот сейчас, в городской думе происходило большевицкое собрание по дальнейшему устройству Красной гвардии.

Это удивительно: апрельские дни ничему не научили большевиков: они и дальше укрепляли свою отдельную вооружённую силу!

И — как же, чем их остановить?

Если ещё сопоставить, что три дня назад большевики отказались участвовать в выборах бюро ИК.

Они — уже рвут с нами? Они вот-вот вообще уйдут из Исполкома? Они только из милости с нами тут заседают?

Ужасное это было чувство, 21 апреля, не повториться бы ему: ИК вовсе не хотел власти, а на знамёнах: «Вся власть Советам!»

И сколько же было Шляпникову хлопот ускорить возврат Ленина в Россию, такой позарез необходимый. Курьер его, Марья Ивановна, первый раз вернулась из Скандинавии 20 марта с известием от Ганецкого, что Ленину придётся ехать через Германию, выхода нет. Тотчас же, от сердца, Шляпников отбил условную телеграмму Ганецкому: да, именно, немедленно! Но тут забеспокоились сестры Ленина, забеспокоились и партийные товарищи: не кончится ли это для Ленина плохо? И вынудили Шляпникова отбить вторую телеграмму: «Не форсируйте приезда, избегайте риска». И послали Марью Ивановну в Стокгольм второй раз, теперь уже конспирируя от меньшевиков, без бумаги от Исполкома, только за подписью члена ИК Шляпникова; и её в Торнео раздевали, обыскивали, отнимали «Правду» и письмо, но довезла до Ганецкого немного денег на ленинский переезд и устно: пусть Ленин через Германию едет, только если уверен, что его не задержат ни там, ни тут. А изобретательный Ганецкий ответил Шляпникову пакетом через посольскую почту, через милюковское министерство! и никто не вскрыл. А потом, телеграммой 2 апреля: что нужно заказать вагон от Торнео, — и так стало ясно большевицкой верхушке, что Ленин Германию благополучно проехал. Вагон — тотчас заказали. А утром 3-го из Торнео пришла телеграмма от самих Ленина и Зиновьева — да не о том, конечно, что проехали границу сами, это бы глупо открывало их неуверенность, а: на границе задержали Платтена, требуйте пропуска! И — кинулся Шляпников, и кинулись все — устраивать Ленину вечернюю встречу в Белоострове и в Петрограде.

Как же радовался Шляпников приезду Ленина: ну, теперь с моих плеч всё сойдёт! В станционном буфете Белоострова заказал ужин на всех приехавших (буфетчик, узнав, что важные революционеры, и денег не взял) — и потчевал их, обходя столы, как радушный хозяин.

А на том — кажется, и кончилось его хозяйство. И полутора-летнее возглавление партии. В вагоне до Петрограда Ленин с ним нисколько не побеседовал, всё с Каменевым. К счастью, не гонял ни его, ни «левых большевиков» ни за какие ошибки, да эту же программу и выдвинул, когда приехал, и даже ещё левей, а их за

верность — не похвалил. Толковал ему Шляпников: надо, надо пойти на Исполком объясниться (Ленин не хотел), предупредить вражескую атаку о переезде, — Ленин выслушал рассеянно, как и не выслушал (но пошёл). И от ИК добыл Шляпников Ленину автомобиль. И именем же ИК требовал от швейцара и дворника дома на Широкой, где жила ленинская сестра, — строгой охраны квартиры и наблюдать за всем подозрительным. И — ещё бы хотел придумать, чем помочь, а больше ничем не мог.

Да тут же сразу, на третий день после ленинского приезда, попал в аварию: выезжали с Войтинским на Таврическую улицу из дворцового подъезда быстро — и под трамвай! Шофёр отделался легко, и Войтинский нетяжело, — а Шляпников как увидел трамвай над собой — так сутки потом не приходил в сознание. Тело — уцелело, а тяжёлая контузия продержала его в больнице больше двух недель.

И очнулся он на больничной постели — как будто давним ребёнком. Как будто этим ударом трамвая его вышибло из нынешней жизни — назад, назад, назад — через все его революционные 15 лет — к тому муромскому юнцу, ещё ничего в жизни не познавшему. И вставали картины тех лет, и мать — как сегодняшние. Лежал на койке словно меньше и слабей самого себя. И будто — заново надо было жить начинать, а пойдти попробуй.

И только с навещаньями товарищей-выборжан, то Павлова с женой, то Чугурина, — возвращалось колочение сегодняшнего революционного Петрограда: дела-то шли, шли, да как! (Не всё и к лучшему.)

А Сашенька навестила, с гостинцем, всего один раз: очень много боевой работы.

Как стала недоступна — так ещё красивей.

Солнышко ты моё красное, неужели ж ты для меня потеряна?

Со середины марта, полмесяца, была она «в распоряжении БЦК» — а пойдти ей что-нибудь поручи. Сама знает, что делать.

Отчего, как это сломилось? — Шляпников не понимал. Вины за собой не знал.

«Твоя чужна»...

Так и вытягивало, вытягивало сердце с места, тяжами.

А ещё в этом отодвиге на столько лет назад — теперь увидел Шляпников, чего год от году не замечал: а отклонился он от рабочего дела! Сразу на весь колодец увидел: перекошено. Всё партий-

ные дела, и всё как будто только для пролетариата, — а за этой мельтешней лозунгов, листовок, заседаний — где-то он с тем пролетариатом — расстался?

Как будто партия только и делала всё для рабочих? А — нет. Э-э, нет. У партии — своя, особная жизнь, вот что.

И теперь, лёжа и лёжа на койке, дал себе зарок: больше не перекашивать никогда. К рабочему человеку чтоб сам держался — истинно вплоть.

А тут — дни апрельской заворошки, а Шляпникова врачи всё не отпускали. Так и пролежал без дела, а как нужен был! — выводили его рабочую гвардию на улицу.

В субботу, уже всё кончилось, Шляпникова выписали из больницы. В воскресенье, ещё слабый, пошёл в певческую школу на городское собрание союза металлистов, где он в ЦК. С понедельника началась всероссийская конференция большевиков. И просидел Шляпников несколько её заседаний — не в президиуме, уже как будто и не член ЦК, ещё и болезнью отброшенный, теперь, видно, и не выберут, его совсем не замечали, затолкали, он и сам молчал, не выступал. Какие-то новые в головку пробирались, — вот Свердлов, не ходит, а крадёт, нелюдимый, не улыбнётся никогда, глаза за толстыми стёклами ничего не выражают — а видно, злой.

Слушал, слушал Шляпников — и открывшееся в больнице зрение тут ещё подтвердилось: текущий момент, перерастание революции, Временное правительство, Интернационал, самоопределение наций, — за всю конференцию так никто и не выступил: а как же рабочие люди сегодня живут — и что им нужно завтра? И если партия наша — пролетариата, а нам сегодня до этого не дело — так будет ли завтра?.. Управим мы рабочее дело для наших живых рабочих — или только для Интернационала?

А в перерыве упрекал его Ленин, что прохлопали Красную гвардию. (А что — прохлопали? Да в завкомах как оружейные магазины — винтовки, берданки, револьверы. А в парке Дурново выборгская рабочая гвардия что ни день палит: «По врагам революции — огонь!» А 21-го кто ж и поработал? — кто оружие понёс на Невский? и своих в оцепленьи кто держал, чтоб не разбегались?) Теперь велел ему Ленин: поживей и покрепче устраивать Красную гвардию. И опять впрягнулся Шляпников: сговорился с районами (это готовили тайно от Исполкома Совета, для того действовала только «военная комиссия» при ПК), чтобы в пятницу 28-го со-

брать в городской думе со всего города уполномоченных Красной гвардии, ото всех боевых дружин, какие уже есть или будут, и принять боевой устав — устав такой утвердили в Выборгском районе, а теперь надо, чтобы и весь город.

Устав составили с хитрецей. Откровенно: цель рабочей гвардии — борьба с контрреволюционными попытками господствующих классов, отстаивание оружием всех завоеваний рабочего класса — и, для отмазки: а также охранение жизни и имущества всех граждан. Членство — только из социалистических партий и профсоюзов, по их рекомендации. Вооружение — за счёт военного министерства. Средства — за счёт предпринимателей и за счёт города.

В общем, сколотили прочно. На Выборгской стороне ни одного городского милиционера и не появлялось, Выборгская — уже отделилась и от города, и от правительства.

Но, конечно, шила в мешке не утаишь: кто-то продал меньшевикам в Исполком, там перепугались, и в самый день собрания 28-го утром в «Известиях» появилась статья против Красной гвардии: что она не нужна, вредна, угроза единству революционных сил, и вбивает клин между армией и пролетариатом — и даёт солдатам повод думать, что рабочие против.

Вот так так! За два месяца революции первый раз «Известия» так выступали — и прямо же травили на большевиков.

В этих условиях — отменить собрание рабочегвардейских уполномоченных? Как раз наоборот — принять бой! И — всегда бы Шляпников за это схватился. А сегодня почувствовал: нет, не тот. Сил не стало? опало что-то внутри? Не тот.

И передал председательство Ньюме Когану, а сам сел в зале, в первом ряду. Сошлось уполномоченных человек полтора.

А тут явился от Исполкома и Юдин — мешать.

Коган бойко начал: цели, членство, средства. И, предвидя аргументы меньшевиков:

— Пусть не увлекаются те, кто думают, что завоеваниям революции ничего не грозит! Сторонники самодержавного строя куют свои предательские мечи! Никакого конфликта с революционной армией у нас не будет, мы с ней нога в ногу. А в случае, если её выведут из Петрограда, — пролетариат останется беззащитным? А в городскую милицию тоже проникли контрреволюционные элементы. А в послевоенный период пролетариату придётся бороться против буржуазии за социалистический строй.

И конечно придётся.

— И рабочие массы охвачены стремлением иметь свои вооружённые силы!

И предложил — сейчас же голосовать устав.

Но Юдин потребовал слова. Идея красной гвардии — в высшей степени вредная. Опасность контрреволюции отсутствует, от кого же защищать рабочий класс? Революционная армия — на страже свобод и не допустит, чтобы кто-нибудь перенял у неё эту задачу. Нужны не ружья, а профсоюзы и просвещение.

Наши ребята уже привычные: такой подняли шум, не давали Юдину говорить. Он напрягался:

— Как истинный друг рабочего класса я откровенно вам скажу, что наш рабочий пребывает в невежестве. Винтовку только тогда можно держать крепко, когда крепко в голове.

А это — ты нас кровно обидел! И в голове у нас не так?? Значит, крестьяне-солдаты могут винтовку держать, дозволено, а рабочим — не дозволено?.. Ну, тут и поднялось! Совсем не дали ему говорить. Десять минут зал только кричал. Шляпников молчал: по сути, так и надо, знайте наших. Пробился Коган: поставим на голосование, разрешить ли представителю Исполкома продолжать речь?

Оборвали шум, проголосовали: 74 — за продолжать, 79 — лишить слова!

Юдин стал уходить, за ним — часть из зала. Тогда вернули — ладно, пусть кончает.

Он — кончил, всё то же, а ему кричали:

— Всё равно дружины на заводах уже есть!

— Оружия и патронов не вернём!

— Вы сами нам их раздавали!

Верно, сами. Забыли. Отреклись.

— А ну, попробуйте, разоружите нас!

И опять Юдин свою папку под мышку — и пошёл вон.

И за ним — с кой-каких заводов, Невского судостроительного, Механического, но — немного.

Ушёл, а тут догадались, стали кричать:

— Они там сейчас против нас резолюцию вынесут, завтра в «Известиях» напечатают!

— А чтоб не было ихней резолюции!

— Чтоб не вышел завтрашний номер «Известий»!

— А вынесем резолюцию мы: чтоб они отменили свою резолюцию!..

А ведь каждый кричал от своей сотни, если не от тысячи.

Нет, исполкомские соглашатели, вам уже нашей гвардии не распустить.

Обошлось, как будто всё правильно, Шляпникову и легче, что без него. Всё уже — в колее. И катится.

Без него.

И пусть, лишь бы дело шло.

Но всё же стали избирать делегацию для переговоров с Исполнительным Комитетом, так и быть.

124

После апрельского кризиса — нет, так и не вернулись дела в нормальный ход. И правительство — задыхалось.

А всё — от жестокосердия Исполнительного Комитета: они не снимали своего неумолимого контроля — и вместе с тем безжалостно отклоняли зов войти в правительство самим.

И всё — как повисло в воздухе. И хотя, кажется, простиралась необъятная нива больших дел — сами заседания Временного правительства, всё позднечные, на этой неделе, после публикации вопиюще грозного Обращения к стране — надо признаться, сузились до вопросов не крупного масштаба.

Позавчера, 26-го, отменили ссылку на поселение как вид наказания. Разрешили Керенскому учредить ещё одну должность товарища министра юстиции. Шингарёву — пригласить из Америки специалистов по большим холодильникам. Терещенке — выпустить в обращение кредитные билеты 1000-рублёвого достоинства (так — гораздо быстрее можно печатать, а тут и цены растут).

Вчера, тоже к полуночи, постановили образовать временную канцелярию Особой комиссии по ликвидации Главного Управления по делам печати. И упразднили ещё не отменённую предварительную драматическую цензуру, установили новый порядок регистрации театральных афиш. И отказать великорусскому оркестру Андреева в ежегодной субсидии.

Выздоровевший Гучков приезжал на эти ночные заседания, но почти демонстративно безучастен, — и после заседания не оставался на частные собеседования министров, в которых и билась жила жизни.

Не оставался на них и Милюков, всё более надменный и замкнутый.

Крайне огорчало князя Львова настроение и некоторых других министров. Например, Мануйлов как-то не проявлял импульса преодоления препятствий. Да если вспомнить, он и против Кассо не боролся за либеральность Московского университета — а сразу ушёл в отставку. Упрекали, что он и сейчас, при чистке министерства просвещения, проявляет безцельную осторожность.

А Коновалов стал жаловаться и сокрушаться от чрезмерных рабочих требований, якобы катастрофической разрухи в промышленности, подавал уже прямо панические ноты. Его спокойное сдобное лицо при этом кисло морщилось, он снимал золотое пенсне, понурял голову и ко всему остальному был как бы безвнятен. Узнать нельзя было того энергичного мануфактур-советника, который, вот, всего лишь прошлой осенью, собирал на своей московской квартире конспиративные совещания: как создать эксцессы, которые запугали бы царское правительство и вынудили бы его к уступкам.

Да и сам князь Львов, от 56-летнего ли своего возраста, от непривычки всё-таки к правительственной работе или от усталости в эти необыкновенные революционные недели, — стал всё больше полагаться на тройку своих неумолимых министров — Керенского, Некрасова и Терещенко. Молодость!

Так же и днём, когда в Мариинский дворец всё ещё дотягивались военные делегации, вот теперь даже от Кавказского фронта, — у самого князя оставались силы только благодарить их за нравственную поддержку, при грандиозно необъятных задачах правительства. А выручали молодые друзья. Смугловато-глянце-вый подтянутый Некрасов выходил к делегациям полувоенной походкой и объяснял, как революция застала Россию в момент, когда она была уже на краю пропасти, — и теперь правительство медленно вытягивает её оттуда. И ещё более военным шагом выходил Керенский и объяснял, что ныне — русская армия свободнее американской и десятки поколений будут завидовать нам, участникам этих событий.

Глушели заседания правительства, но помимо них всё живей собирались в кабинет князя трое его молодых друзей, опора и надежда. Они были и наиболее осведомлены о настроениях в Исполнительном Комитете, у каждого имелись там свои личные связи.

Так и сегодня. Заседание правительства, назначенное ближе к полуночи, обещало мало событий. Надо было учреждать санитарно-статистический совет при Главном Военно-санитарном управлении. Утверждать временное устройство местного суда. Учредить новый тип четырёхклассных гимназий. И дать допуск лицам женского пола, получившим художественное образование не ниже среднего, преподавать в мужских гимназиях и прогимназиях.

Но задолго до того — собрались в кабинете Львова в узком составе четверых и с трепетом ждали решения Исполнительного Комитета о судьбе коалиции — значит, и всей судьбе правительства.

Ведь если только — если только! — социалистические вожди Исполкома да согласятся войти в правительство — так сама же система Советов затем начнёт отмирать как ненужная! Это же замечательно!

Вперевив притекали и всякие другие новости, больше дурные. В Коломенском районе самой столицы минувшей ночью вооружённые анархисты, человек 30, вломились в дом герцога Лейхтенбергского, некоторые и с ручными гранатами, да даже не вломились, а предъявили постановление исполнительного комитета анархистов-коммунистов о необходимости занять особняк под анархистский клуб и читать тут лекции. А сам герцог — в Финляндии, а милицейский комиссар не осмелился не допустить, — и вторженцы тут же повесили на передней двери плакат «Клуб анархистов», расклеили свои воззвания по внешним стенам, поставили свой внешний караул — и вот уже целый день неизвестно, что они делают внутри. А милиция поставила и свои внешние патрули.

И что теперь предпринять? Просить вмешательства судебных властей?

Керенский: ни в коем случае! Юридические органы могут вмешаться лишь тогда, когда и если органы министерства внутренних дел исчерпают свои возможности.

Но именно как министр внутренних дел князь Львов особенно хорошо понимал, что ничего тут сделать не может, и это ещё больше портило его тоскливое настроение. Случай был похож на Шлис-

сельбургскую республику недавних дней, где правительство тоже ничего не могло поделать.

Остаётся попросить голубчика Щепкина Дмитрия Митрофановича снести с Исполнительным Комитетом Совета и просить их о содействии к восстановлению порядка.

Так — сидели и жадно ждали благоприятного решения Исполнительного Комитета о коалиции. Снова и снова обсуждали все возможные аспекты коалиционного правительства. Создавать ли новое министерство — труда? снабжения? искусств? почты-телеграфа? местного хозяйства? Или согласятся социалисты принять посты министров без портфелей?

Стали конкретно разбирать, как же потесниться, как переставиться, — так и тесниться как будто некуда, мест нет.

Керенский настаивал, что князь слишком доверчив к министрам-кадетам (Некрасова уже считали своим, а не кадетом, не выдст), а они — интригуют за спиной. Надо нам быть начеку.

И в единый голос внушали князю молодые друзья, что задыхательный этот кризис не кончится и правительство не станет на твёрдые рельсы, пока Милюков не отдаст портфеля иностранных дел. И отчего б ему не потесниться на министерство народного просвещения (Мануйлова можно и вовсе исключить), — ведь он профессор, и самое дело для него? И всё обойдётся хорошо.

А кто станет министром иностранных дел — это давно ясно им: наиболее светский среди них, европеец, и с прекрасным английским языком — Михаил Иванович Терещенко.

И тут — позвонил князю Львову Церетели. И — убил: Исполнительный Комитет проголосовал против вхождения в коалицию!

Всё разрушено...

Убил, но убитого пытался подбодрить: а отчего бы правительству не расшириться за счёт демократических элементов, не связанных с Советом?

Да кого ж это именно?

Ну вот: Пешехонов. Переверзев. Прокопович. Малянтович. Кишкин. Астров.

Львов повторял кандидатуры из трубки вслух, а его друзья тут возмущались: да что это даст? они не принесут нам никакого авторитета, что нам даст такое расширение?!

Но Львову запала своя кандидатура: Красин! Великолепный промышленный организатор, а в прошлом — большевик, так это может нам послужить как бы и защитой от них?

Керенский нервно ходил во всю большую комнату по красному ковру.

И вернулся сюда ближе с тем, что — тем более, тем более, и скорей, надо переставлять Милюкова. Только это откроет нам путь к соглашению с Советом.

А уж Керенский тогда обещает, что будет сам консультироваться с Исполнительным Комитетом и искать выход.

Спасибо ему. Умница, деятельный, пронизательный, и с богатым чутьём. Давно фактически как бы стал заместителем министра-председателя.

125

Он прямо-таки стал бояться её взрывов гнева, да почти ежедневных. Руки опускаются: если и т а к не помогло, то как же жить? Да больше всего — за неё боялся, её просто разорвёт.

Вчера вечером от ссоры так отшибло, что ночью представить было невозможно: утром бы снова разговаривать или к завтраку сойтись. Все ночные полупробуды помнилось, какая тяжесть оставлена с вечера и вернётся утром. С камнем этим и проснулся, хмурый. Решил неслышно один позавтракать и уйти.

Но Алина ещё раньше была готова, на ногах, и тихо хлопотала. На её лице, ещё и за эту ночь похудевшем, он увидел плакавшие, очень поясневшие и милые же серые глаза, столько лет привычные, и вот ничуть не упречные, — и с удивлением обнаружил, что не только смягчается, а совсем не сердится на неё, бесследно отпало ожесточение и недобрые мысли.

Дрогнуло в его глазах — и она улыбнулась жалкенько. И протянула маленький мизинчик: мизинчиками помириться, как дети. Ребёнок, бедный ребёнок.

Губы с губами сошлись мягко — и сразу же так легко на сердце.

И весь день в штабе было легко ему, — так это давило все дни. А вечером домой, — она встретила его сияющими глазами, опять со слезами, но умиления:

— Мой дорогушенький! Мне безумно стыдно, я умоляю тебя: прости! Это ужасное чудовище, которое меня держало и пожирало, — теперь всё сползло, и какое освобождение! Это — не я была, поверь!

И так непохожа была эта облегчённая светлость на ту тёмную гневную налитость, что вздрогнул Георгий: и правда, нет ли тут вселения злого духа? А вот какая же радость освободиться! Это — две разные женщины были.

— Прости, миленький, я очень-очень постараюсь не огорчать тебя больше!

А не простить — как бы Георгий мог? Ему ли не прощать?

В минуты, когда она выказывала слабость, потерянность, — его так прожигала боль, как будто сам он и был Алина, ощущал её безутешность — в себе, и её слезы передавались жжением в его глаза. И в груди появилось место, он точно мог его определить, куда прокалывала его жалость.

А когда она вот перешла к свету и дружбе — какое облегчение! какое просветление! Да только этого он теперь и хотел! сразу распаивается душа навстречу.

Сидели тихо, примирённо, обнявшись.

— Я не стала хуже, поверь! Я стала только больной.

Надрывало сердце, как она это говорила.

— Но теперь, — подбодряла сама себя, — я буду честно выздоравливать. У нас будет хорошо. Проснулось желание жить! Неужели это ненадолго? Как удержаться? — спрашивала, и глаза светились.

Да просветлей она устойчиво — такая благодарность будет к ней. Перетянут они через все колдобины и колоды.

— Когда я сбиваюсь, а ты помоги мне, дай совет, направь. Неужели, милый, нам можно забыть наше прошлое?

Конечно нет.

Какой был тёмный период. Какой мрачный тоннель они прошли!

Алина — будто отдалась приятному тёплому купанию — рассеянно держалась в невесомости, а может быть, её сносило течением понемножку. Или это как в детстве: заболеешь — тебя уложат, ухаживают. Близкий человек выполняет твои желания. И даже если твой голос слаб — он слышит, улавливает, понимает. Когда он был вот рядом здесь и весь открыт — она уже не гневалась на него. И с удовольствием искала свою вину перед ним тоже.

— Я должна себя победить. Признаю. Обещаю не жаловаться больше и не быть недовольной. Ты прав: с какого-то дня надо начинать жить без упреков за прошлое. Без горьких воспоминаний.

Да, именно.

— Старое, плохое — забыть.

Да, да.

И такой был совсем мирный вечер. Ласковые друзья.

— Слушай, а не живётся в этом Могилёве, переехали бы мы в Москву? Войны всё равно нет — переведись в Округ?

— Никак, Линочка, невозможно. Моё место сейчас здесь.

Здесь-то здесь, но на поездку Воротынцева к Гучкову Деникин не согласился.

126

Из семи сыновей генерала Михаила Драгомирова двое — Владимир и Абрам, оба пажи, оба генштабисты, — поднялись до высоких генеральских должностей: Владимир побывал начальником штаба Юго-Западного фронта после Алексеева, потом был разнесен Николаем Николаевичем и спущен до корпуса; Абрам равномерно поднимался до Командующего 5-й армией и не тянулся выше, особенно в нынешних условиях. Но именно в нынешних условиях генерал Рузский вынудил свою отставку — и Абрама Драгомирова подняли вместо него на Главкомандование Северным фронтом.

Уже в 5-й армии, в Двинске, довольно хлебнул он прелестей революционной обстановки, нервы его изболелись, — с переходом же во Псков эти заботы могли только утroitься, если не упятериться. И, пожалуй, единственное утешительное, что застал Драгомиров, принимая дела неделю назад: что, вопреки ворчанию Алексеева, и на всём Северном фронте, как и у него в 5-й армии, была закончена гурковская переформировка, переход от 16-ти к 12-батальонным дивизиям, и число дивизий увеличилось. Но — чему теперь могло это служить? Особенно по близости Северного фронта к Петрограду, он был совершенно разложен пропагандой оттуда, и искажённые слухи о новых распоряжениях приходили раньше самих распоряжений, а депутаты петроградского совета приезжали (особенно в Ригу, минуя и Псков) без разрешения, без ведома военных властей и без числа — и присоединялись

к активному у Радко Искомсону — Исполнительному Комитету Солдат, который направляли, однако, не растяпы-солдаты, а заядлые там.

В самом Пскове Бонч-Бруевич, теперь начальник гарнизона, недопустимо, за все пределы, распустил гарнизон. Драгомиров выезжал на коне в город — и сам распекал встречных солдат, что не отдают чести. В эти же дни заседал во Пскове съезд представителей тылового района фронта — и принимал такие грамотные, близкие солдатско-крестьянскому сердцу резолюции, как: созвать международный социалистический конгресс и воссоздать организационный и политический аппарат Интернационала. На западное 1 мая из наших окопов играли немцам марсельезу, а потом валили обниматься с ними. Слышали каждый день «мир без аннексий и контрибуций», но уловили из этого всего только «мир».

А между тем на Двинском участке фронта остался у немцев один ландвер. И не было бы у нас лучшего момента ударить, как сейчас.

А сегодня сообщили Драгомирову из 5-й армии, что утром на фронте у Двины появились три германских офицера с белым флагом и горнистом и просили провести к Командующему армией. Командир ближайшего русского полка послал запрос по команде, а парламентёрам предложил снова явиться к 6 часам вечера.

Как быть? Драгомиров аппаратно запросил Алексева. Тот ответил, не сразу: чтобы предотвратить слухи, волнующие войска, разрешаю допросить парламентёров, сделав допрос несекретным.

Чтобы не возить их далеко во Псков, Драгомиров сам тотчас выехал в Двинск.

В 6 вечера в том же месте передовых опять явились: оберст-лейтенант, капитан, лейтенант и горнист. По распоряжению Драгомирова им завязали глаза и на автомобиле доставили в Двинск. Здесь Драгомиров принял их, в присутствии шести представителей армейского комитета, двух — дивизионного и двух — полкового, от того участка, где парламентёры перешли. Оберст-лейтенант представил полномочия, что они действуют с ведома и по поручению германской Ставки! — не ниже того! Ого! И по-французски сказал, что лейтенант будет говорить от его имени.

Лейтенант сносно говорил по-русски. Было ещё и два наших переводчика. Драгомиров устроил переговоры в комнате, как в по-

левых условиях: без стульев, все стояли, Драгомиров задавал вопросы, все комитетчики слушали молча.

— С какой целью вы к нам явились? Какие предложения намереваетесь сделать?

— Мы не можем сделать никаких конкретных предложений. Но в связи с неоднократными беседами ваших и наших офицеров и солдат — я, по обоюдному желанию, вот стою перед вами, чтобы выслушать предложения вашего превосходительства относительно дальнейших переговоров.

Драгомиров смутился: может быть, при Рузском было какое-то начало, ему не передали? Или эти явились посланцами межкопных братаний? И при этом их уполномочила германская Ставка?! Немцы так жаждут мира?

Спросил: как понять «обоюдные желания»? Чьи это «обоюдные»? Они имеют, кого назвать с русской стороны?

Нет, они не уполномочены назвать.

— Но мы можем подготовить почву для совещания полномочных представителей наших правительств и армий, которые могли бы заключить перемирие.

— А в чём должна быть подготовка?

— Устроить мирную зону, где могли бы происходить беседы, с телефонной связью обеих сторон.

Всего-то?

— И вы являетесь к нам с такими неопределёнными предложениями? Неужели у вас нет ничего конкретнее? В чём же суть ваших предложений?

— Мы ждём их сперва от вас.

— Как от нас? Ведь это вы к нам пришли.

— Но было пожелание с русской стороны. И на некоторые вопросы, касающиеся возможного мира, я в состоянии дать вашему превосходительству достоверные ответы в рамках данных мне директив.

Нет, это таинственное возникновение незваных парламентёров всё более изумляло Драгомирова.

— Но у меня к вам нет предложений. Если у вас есть — пожалуйста, изложите.

Немецкие офицеры в свою очередь удивлялись между собой: как будто они точно ожидали почему-то, что здесь их ждут предложения русской стороны. Они попросили посоветоваться. Их вывели в отдельную комнату.

Воротясь через десять минут, они снова повторили, что явились по приглашению с русской стороны. Они не уполномочены назвать источник, но это очень влиятельное лицо в Петрограде. Они не уполномочены выдвигать конкретные предложения по перемирию, но готовы ответить на вопросы его превосходительства — при условии, однако, что русская сторона гарантирует неразглашение.

Это уже изрядно походило на мороченье головы. И Драгомиров надеялся, что его комитетчики уже тоже разобрались, поняли.

— Мы считаем, — сказал он, — такие переговоры безцельными.

И тут догадался спросить так:

— А на англо-французском фронте вы тоже устраиваете такие переговоры?

— Нет, там нет такой возможности, там бои.

— А для нас, — Драгомиров выразительно говорил для комитетчиков, — для нас это была бы измена союзникам. Вы, стало быть, желаете сепаратного мира с нами одними?

— Я этого не сказал. Но определённо скажу, что предложения наших официальных представителей дадут России полную возможность взять свою судьбу в свои собственные руки.

Драгомиров возмутился:

— Неужели вы рассчитываете, что мы заключим мир без наших союзников?! И почему вы вообще обращаетесь к армии, а не к нашему ответственному правительству в Петрограде?

— Мы считаем армию наибольшей силой в России.

— Оставьте нашу армию в покое. А вы — уполномочены только от армии или от правительства?

— Наша армия действует по согласованию с правительством.

Отметим, это важно.

Драгомиров обещал этой же ночью всё передать телеграфно Верховному Главнокомандующему, и если будет ответ, то сообщит им.

Парламентёров отвели на ужин с офицерами генерального штаба, потом на автомобиле отправили обратно. Уже и ночь была.

А Драгомиров ещё долго объяснял комитетчикам немецкое лукавство: что если это не пустая придумка, то провокация.

Весь этот случай надо не только не скрыть, но широко разгласить, разъяснить.

* * *

Хорошо, что солдаты, ломая каторжную дисциплину, сами начинают братание на всех фронтах. Но этого недостаточно. Надо, чтобы солдаты переходили теперь к такому братанию, во время которого обсуждалась бы ясная политическая программа... Войну кончит *революция* в ряде стран... Обсуждайте эту программу вместе с немецкими солдатами!

(Ленин)

* * *

127

Вот и четвёртые сутки, как Колчак вернулся в Севастополь. Проскочил поезд последние тоннели в Инкерманских скалах, вышел к Северной бухте. Бритвенные носы миноносцев подымались из воды, под солнцем недвижно высились броненосцы и дредноуты, для опытного глаза — чуть мрея струями из труб, готовые сразу развести пары по тревоге и идти в море; мелькали шлюпки по бухте — флот стоял спокойно, как всегда, устье рейда защищено панцирными цепями на всю глубину. Но — что с флотом на самом деле?

Помчался на «Георгий», ждал докладов и от командиров, и от Военного комитета, от Совета, — а первое, что ему доложили: сейчас секретно собирается морская экспедиция на Южный берег Крыма, обыскивать дачи великих князей — Чаир Николая Николаевича, Дюльбер Петра Николаевича, Ай-Тодор Александра Михайловича и Марии Фёдоровны, и ещё другие. Что такое? А: газеты уже давно возбуждали, почему великие князья живут свободно в Крыму? ездят в автомобилях; говорят, есть у них секретные комнаты, секретный радиотелеграф, с кем-то тайно сносятся, по ночам заседают, готовят контрреволюцию, собирают оружие, Николай Николаевич стягивает сюда офицеров с фронта. Так вот: окружить дачи ночью, отсоединить телефоны, нагрнуть к рассвету!

Да на первый же взгляд это был полный вздор, но уже получили, шифрованно, от Временного правительства разрешение на обыск и даже на аресты. Вот уже собрано 500 матросов и солдат, следственная комиссия, несколько вожakov Совета, все возбуж-

дены охотничьей тряской. А во главе всех подполковник Верховский — и умный же человек, а вот, не смеясь, высказывает, как это необходимо и тревожно. (Есть, есть в нём отменный гражданский отпечаток. В речах объявляет себя исконным революционером, борцом за свободу, гордится, что когда-то был разжалован в солдаты, проклиная «старый режим». Но — искал стать начальником десантной дивизии, Колчак, однако, не утвердил.)

Ну что ж теперь Колчаку, не отменять волю Петрограда, ежайте. (Подумал о Николае Николаевиче: вспомнит ли он колчаковское предложение в мартовские дни? Пожалееет?..)

Но — с флотом? Восемь дней не было адмирала — а сколько тут!

Утекало. Движение в отпуска стало стихийным — отпускали ведь комитеты, и командиры не могут остановить. Хоть целые корабли теперь выводи из строя, некому их вести. Растут и требования комитетов. На «Жарком» голоса — списать лейтенанта Веселáго: по их мнению, он слишком рискует миноносцем! — а значит, и их жизнями (даром что и своею). В Черноморской дивизии солдаты стали отказываться выходить на занятия, не отдают чести, расхлябанный вид. Матросы всё ещё чисты и аккуратны, но уже лускают семячки, свободно бродят на священную кормовую часть покурить и в шлюпки спускаются по офицерскому трапу. На корабле матросы до обеда, потом исчезают до утра. Тронулись и рабочие: давай 8-часовой день, разделить казённые суммы, запасы провизии. А в Николаеве на доках совсем не идёт работа, не ремонтируют, и постройка новых судов замерла. Члены Военного комитета ездят по судам, по частям уговаривать, но их слушают хуже, а уже громче раздаются большевицкие голоса — и против войны, и вспоминают обиды Пятого года. А по городу — участились ночные кражи.

Нет, видно, вся эта «революционная дисциплина» — бред. Военная дисциплина — одна единственная во всех армиях и флотах мира.

Или — ещё схватиться раз?..

В отдельности, в неподвижности — севастопольскому чуду не существовать. Но если попробовать — дохнуть им на всю Россию? Если Временное правительство слабо — то и помочь ему!

Ведь два месяца мы пробыли так! — значит, всё-таки возможно? Сколько ещё сохраняется твёрдых связей — как не опереться на них? Сколько ещё трезвых голов — как не воззвать к ним? Ка-

кая б ни кралась разлагающая пропаганда, но не может быть, чтобы соотечественники не могли понять друг друга перед ликом такой грандиозной войны! — ведь мы тогда все погибли! Почему водительство матросских масс отдать каким-то приبلудным агитаторам?

А что отличный оратор — Колчак про себя уже знал.

И в согласии с вожаками Совета и Военного комитета — в цирке Труцци, самом большом помещении Севастополя, — созвали делегатский съезд флота, гарнизона и рабочих — несколько тысяч.

В ложе оркестра — президиум Совета. Конторович с колокольчиком: «Слово предоставляется Командующему адмиралу Колчаку».

Неподвижная, нависшая тишина.

Встал Колчак, опираясь на барьер своей ложи, — загрохотали отчаянные аплодисменты, и долго, долго не давали ему начать.

(Да уверен он был в себе! Да ни один голос в Севастополе ещё не бросил упрёка адмиралу!)

И он стал говорить им — самые тяжёлые слова. О Балтийском флоте: забыл, что идёт война, предаёт родину. Да просто — не стало Балтийского флота. Гибнет, разваливается и сухопутный фронт, и неизвестно, удастся ли его восстановить. Его можно сейчас прорвать в любом месте. И — каков размах дезертирства. (Из зала крики: «Шкурники! Подлецы!») И — что такое были апрельские дни в Петрограде, виденные его глазами. Движение «прекратить войну во что бы то ни стало» — обратит нас в навоз для Германии. И союзники, они сейчас оттягивают немцев на себя, — не простят нам. Придётся расплачиваться землёй, природными богатствами, нас разделят на куски. И — о своей встрече с Плехановым, который шлёт Черноморскому флоту призыв к единению. Вся надежда России — на Черноморский флот. Ныне — во всей России только Черноморский флот сохранил свою мощь, свой дух, веру в революцию и преданность родине. Черноморский флот должен спасти родину! (Среди матросов — рыдания.) И — о проливах (повторил плехановское сравнение с горлом, зажатым чужими руками). Веками Россия нуждалась в этих проливах. Если не занять их, то мы должны иметь их свободными для себя и быть уверены, что никакой вражеский флот не пройдёт в Чёрное море, никакая пушка не будет обстреливать наших берегов.

Аплодисменты и крики после речи — ещё оглушительней. Зал стал — един и наэлектризован.

И в этом порыве — стали выступать с арены простые матросы. Да, мы все заодно, и с офицерами, и будем так. Да, не разрешим развалить нашу дисциплину! Крик вашей души, товарищ адмирал, найдёт отклик в миллионах душ свободных граждан! Никакие тёмные силы не подорвут доверия к вам! Долг нашего флота — выделить тех, кто поедет увлечь и Россию, и фронт!

Ярко выступал жердястый, худой, чёрный экзальтированный матрос Баткин: «Да, война затеяна правящими классами, но мы теперь не можем выскочить из неё. Кто требует сепаратного мира — изменник родине и свободе!» (Матросская форма не совсем складно сидела на нём, оказался — студент, караим.)

И на слух, что Ленин хочет ехать сюда, — проголосовал зал: приезд Ленина на Черноморское побережье нежелателен.

Колчака вынесли на руках до автомобиля.

Он смотрел на головы в матросских шапочках: нет, не может быть, чтоб мы так поддались и погибли!

В тот же день команда «Георгия Победоносца» возгласила резолюцию полной поддержки адмиралу: «Через несколько недель может наступить катастрофа. Отбросить все личные счёты, сплотиться. Прекратить вредную деятельность лиц, проповедующих сепаратный мир. Слать наших представителей в Петроград, Балтийский флот и на фронт. Телеграмму правительству и в петроградский Совет: обуздать лиц, подобных Ленину».

На другой день резолюцию напечатали в газетах, обсуждали на всех судах, и везде поддерживали, и уже выбирали делегатов на фронты, четверть тысячи человек, — офицеров, кондукторов, матросов, солдат и рабочих: повсюду требовать твёрдой власти и звать к наступлению. Многие сами отказывались от уже разрешённых им отпусков. «Теперь нужна только одна партия: партия спасения России!» К воззванию «Георгия» присоединился весь флот. Пресловутый крейсер «Очаков» телеграфировал правительству: «Нам необходим свободный выход из Чёрного моря».

Ещё через день стали приходиться Колчаку и «Георгию» телеграммы поддержки из других городов.

И вот — делегация, особым поездом, уехала.

Колчак и спешил её отправить, пока ничто не треснуло и не остыло. И понимал: самые лучшие, убеждённые, крепкие — уезжают. Севастополь остаётся слабее, чем был. А подрывные силы — каждый день невидимо притекали. И вот голоса звучали не во спасение родины, а: как хоронить революционные жертвы. Корабли

приспускали флаги — и под оркестры перехоранивались останки расстрелянных с линкора «Златоуст» в 1912, и неизвестные ораторы на траурном митинге бранили адмиралов бессмертной Севастопольской обороны, покоящихся в подвалах Владимирского собора, близ штаба крепости: что надо *эту пададь* вырыть из могил, бросить в море, а на их место положить борцов за свободу. И не единицы, но уже десятки матросов бесновато бродили вокруг собора, с ненавистью заглядывая в подвальные окна.

Вот так — мгновенно шаталось матросское настроение.

Чтоб это заглушить — ещё более торжественные похороны приходилось готовить для священного праха лейтенанта Шмидта и троих с ним расстрелянных на Березани. На крейсере повезут гробы сперва в Одессу, там с оркестрами будут носить по всему городу, снова на крейсер, и в Севастополь. Тут будет выстроен весь гарнизон, пушечные салюты с крепостных батарей (в прошлом году приезжал в Севастополь царь — салютов не было). От Графской пристани на Нахимовскую площадь офицеры и матросы понесут гробы на руках, тут их поставят в катаfalки, запряжённые четвериками. И Колчак пойдёт за гробом Шмидта рядом с его сыном, и ещё потом сотня депутатов будет нести посеребренные, и фарфоровые, и живые венки. Революция любит спектакли. И поднимать идиолов.

А по сведениям Колчака: когда бунт «Очакова» не удался — Шмидт покинул матросов и пытался бежать в наёмном ялике. (А начальник севастопольской крепости Рерберг знал Шмидта по Либаве в 1904: был старшим офицером на транспорте «Иртыш», служил нехотя, спал в дневное время, небрежен в одежде, землистое неумытое лицо, допустил такой беспорядок на погрузке угля, что любой грузчик мог утонуть или искалечиться. Он был уволен из флота как несоответствующий и числился в запасе. При сборе эскадры Рожественского — Шмидта снова призвали, но, рассказывал Рерберг, с другим таким же офицером Муравьёвым с угольщика «Анадырь» они устроили публичную драку на танцевальном вечере, и за то не были взяты в боевой поход, чего, очевидно, и добились. И теперь за его гробом пойдут герои Порт-Артура...)

А тем временем отряд Верховского торжествовал победу над великими князьями: были застигнуты врасплох, спящими! К Марии Фёдоровне вошли в спальню, обыскивали саму императрицу и её постель. Александр Михайлович протестовал, матрос наставлял на него револьвер. Николай Николаевич заявил, что безпрекослов-

но подчиняется правительству. Нашли несколько ружей и коллекцию кавказского оружия, забрали. Реквизированы у Романовых все автомобили, изъяты пуды личной переписки, Евангелия с какими-то пометками. Контрреволюционная организация не найдена, слухи о тайных ночных собраниях не подтвердились. Не оказалось и радиотелеграфа, но в указанном месте обнаружен кинематографический аппарат, работающий электричеством. (Потом открылось, что во время обысков было воровство — и ещё произвели обыск обыскивающих.) Прекращён к Романовым всякий доступ, и стоит вопрос о сосредоточении их в одном месте.

Вот такие гримасы приносила революция. А от известного Бурцева пришёл такой материал: покончил самоубийством анархист — двойной агент Б. Долин, ещё в 1914 он приехал в Россию от немецкой разведки с заданием взорвать дредноут «Марию» и поджечь архангельский порт — но выдал замысел Департаменту полиции.

Так вот ещё когда!.. Но Колчака никто не предупредил, не известил...

Из его просторной каюты на «Георгии» через большие иллюминаторы — видны были корабли в бухте, как будто боеспособные.

А между тем — послезавтра уже май, десант не готовим, и значит — упущен.

А вот надо ставить новые заграждения у Босфора, налетать на турецкое побережье, — а пойдут ли матросы?

А нет — так в отставку, в любой момент.

Но — и сейчас не мог он перестать верить, что ему — всё удастся.

На заседании Четырёх Дум просидел Павел Николаевич на своём обычном думском месте, в первом нижнем ряду, плотно замкнув рот, с безразличным лицом, и ни разу никому не аплодировал, какой шум ни вспыхивал в зале.

Любители могли видеть в этом спектакле подобие демократического торжества. Но понимающему взгляду — это была траурная церемония по тому лучшему и высшему общественному движе-

нию, какое процвело в России между двумя революциями, впервые со времён декабристов и Герцена. И — всё падало в небытие. Идеалы были растоптаны за два безжалостных месяца. И безвозвратно.

Есть особенно неблагодарные страны. Такова Россия.

Однако член партии и член правительства не принадлежит сам себе. И хотя в тот траурный день более всего хотелось молчать — Милюков обязан был, по расписанию кадетского ЦК, через силу толкать себя в тот вечер и до поздней ночи по торжественным митингам партии народной свободы — сперва в Калашниковскую биржу (трудно описать овацию), потом в фондовую биржу, и плести что-то такое оптимистическое — и о 1-й Думе, и о том, что Временное правительство — вожатый страны в неизведанное будущее, страна поверила этим людям, а нельзя доверять только наполовину. А силы врага иссякают, а союзники сильны как никогда. И тут скился, что отношения с Советом — не вполне нормальные, но нельзя допустить конфронтации, ибо таковая перельётся в гражданскую войну. А если не доверяют, пусть лучше у руля станут другие люди, пусть...

А потом узнал, что в эти же самые вечерние часы на митинге в Михайловском театре Некрасов, уже нагло сбрасывающий свою личину и увёртки, публично возглашал: для достижения единства с социалистами нужны жертвы во внешней политике, надо бросить двусмысленные определения и отказаться от недомолвок.

Открыто бил в лицо.

Что осталось в нём от кадета? Хищный дезертир.

А достойно смолкнуть, а достойно сосредоточиться на своей работе — нельзя ни на день. Вчера — с отвращением пришлось ехать на это так называемое «совещание фронтовых делегатов». Поехал заранее раздражённый и оскорблённый. Офицеров там было немного, всё больше нижние чины и унтеры, они же в президиуме — дремучие, непросвещённые лица, пробуждённые лишь нынешней распущенностью и политическим развратом. И тут же — глупый суетливый Скобелев, как же — тоже министр иностранных дел, Совета, — для контроля? для дублирования? Ещё стало гаже.

Разумеется, никакой речи, никакого вступительного слова Милюков не стал говорить. Демос желает задавать вопросы министру? Хорошо, я вот он, задавайте. Да вопросы их легко предвидеть и потому нетрудно найти в ответ.

Существуют ли тайные договора с союзниками и будут ли опубликованы? Да, существуют, но не могут быть опубликованы, пока не изменятся традиционные приёмы дипломатии. (Наверно, и слов этих не знают.)

— Я сам — не сторонник секретного ведения дел. — (Почему-то обстановка вынуждает несколько ретушировать.) — Но опубликование привело бы нас к разрыву с союзниками. И такой акт был бы нечестен по отношению к ним.

Какая цель войны? Самоопределение и объединение народностей — Бельгии, Сербии, Румынии, Италии. (Сразу срезал. Качество несшибаемости Милюков за собой знал хорошо. Только не льстить им и не гнаться.)

Аннексии и контрибуции? (Попугай.) Прежде надо условиться, как эти выражения понимать. По международному праву, разорённым странам должен заплатить тот, кто их разорил. Германия много местностей превратила в пустыню.

Как излагать сублимную дипломатию демосу? А завтра он потребует контроля? Великие тени Талейрана, Меттерниха, Пальмерстона осудили бы Павла Николаевича, если б он был слишком откровенен сейчас.

Почему задерживается возврат эмигрантов? (Самый важный вопрос международной политики! Больше всего этим рокам не хватает Троцкого. Хотя на кадетском съезде Павел Николаевич приветствовал возвращение революционеров. Тут приходится немного подкривить.) Союзники получили сведения, что некоторые возвращающиеся эмигранты имеют целью свергнуть Временное правительство. В телеграммах были перепутаны фамилии. Мы посоветовались с Керенским (по нужде подкрепиться им) — и дали телеграмму пропустить.

Как отнеслись союзники к нашей революции? Сперва очень обрадовались, а теперь опасаются, что у нас возьмут верх германские симпатии и потеря боеспособности. Союзников удивляет наше братание с немцами. Резолюций с осуждением союзников, как хотите, не следует выносить.

А в каком положении Германия? В критическом. А Турция? Накануне революции.

Правда ли, что на нас Япония хочет напасть? (Эти слухи пошли через итальянских дипломатов, неосторожная попытка нажать на Россию.) Нет. Япония смотрит на Восток, а не на Байкал. (Будто они карту знают.) На маньчжурской границе их корпусов нет. Эти

слухи касались случая нашего сепаратного мира с Германией — но имейте в виду, что ни одна русская политическая партия не мыслит о сепаратном мире. (Как некоторые из вас.)

Дарданеллы? (Ну конечно. Как это не с них начали.) Задачи войны будут зависеть от воли народа и взглядов союзников. Решится, когда враг отойдёт от наших пределов. Рано поднимать этот вопрос. (Этот вопрос можно изложить глубоко и блистательно — но и вам не понять, и вслух нельзя.)

Как вы смотрите на вчерашние слова Гучкова, что страна в опасности? (Они же там вчера толклись в Думе, на хорах.) Это — его личное мнение. (Нет, недостойно! Поправился:) Я тоже считаю, что положение весьма серьёзно, и русская дипломатия должна принять меры к парализованию наблюдающихся у нас отрицательных явлений.

Как вы смотрите на возможность заседаний Государственной Думы? (А можно заметить, что среди них есть не такие глупые лица и не такие распущенные.) Государственная Дума как законодательное учреждение больше существовать не может, так как её права и полномочия перешли к Временному правительству, которое в данный момент и есть законодательная власть.

О двоевластии? О коалиции? Да, власть должна быть сильной. Правительство должно сосредоточить всю власть. Ему должно быть полное доверие. Если можно удовлетвориться нынешним составом кабинета — пусть так. Если нужно составить коалиционное министерство — пусть составляют. Но нельзя менять министерство каждый месяц.

Понравилось. Вообще — удался его тон. Не только не разорвали на арене — но всё отбил.

Известно ли министру, что русские евреи из Дании якобы собираются ехать в Россию агитировать в пользу мира? (Отзвук агентурного английского донесения, дословно повторенного в ставочной телеграмме, но неосторожно разгласилось.) Этого не знаю. Но знаю другое: американские евреи горячо откликнулись на русскую революцию и готовы оказать России всяческое содействие.

И, к своему удивлению, покинул помост под крепкие аплодисменты. В зале к нему подходили офицеры и солдаты. А между тем наверх жадно выскочил Скобелев, давать и свои убогие объяснения о внешней политике.

С облегчением, что эта процедура миновала, Павел Николаевич поехал в своё уже любимое здание у Певческого моста и сел

писать передовую к субботней «Речи». Теперь не так, как в прошлые годы, он не писал передовицы часто, но — на ответственных поворотах. Сейчас был именно такой. Сквозь все эти безрассудные вопли, восклицания и статейные размазывания о коалиционном правительстве — он несколько дней держал «Речь» немой: ни слова об этом, как будто и не обсуждается. (Ибо: что думаешь — сказать вслух нельзя, но и поддаваться нельзя.) Враги заметили и уже стали тыкать обвинениями — не за то, что говорится, а за то — почему *не* говорится. И — можно было бы ещё помолчать, но из-за этого злополучного правительственного Обращения молчать дальше было нельзя: слагалось впечатление, что и Милюков и кадетская партия думают так же, как остальные слабоумные министры. И теперь в своём большом светлом кабинете с огромными окнами на Дворцовую площадь, где столько раз взвешивались судьбы Империи, Павел Николаевич тщательно взвешивал выражения, которые завтра польются по России, потом достигнут Лондона и Парижа и станут историей. Газетная передовица гораздо важнее и ответственнее какого-нибудь частного выступления в каком-нибудь случайном зале.

Задача его была доказать, что пусть правительство останется таким, как оно есть. Но если хочешь успешно теснить противника, удобно изобразить, что ты готов и к отступлению.

Временное правительство никогда и не мыслилось как партийное (это против Керенского), оно — вообще даже не министерство, и уже поэтому никак не может стать коалиционным! Временное правительство — совсем не ответственное министерство, оно есть одновременно и законодательная, и исполнительная власть. (В это место могут ударить, дополнительно защитить.) Только в шутку называют его «двенадцатью самодержцами»: у наших министров — всенародно принятая присяга, и в этом *raison d'être** Временного правительства. На этой присяге основываются их полномочия. Но в известном смысле — да, и возможно, и необходимо говорить о неограниченности власти Временного правительства: поскольку оно ни на кого не может переложить даже долю своей безмерной ответственности. Оно — не ответственно ни перед парламентом, которого нет, ни перед петербургским Советом, — а только передо всем народом. (И вот теперь — элиминировать

* разумное основание (франц.).

вредное Обращение.) Обращение 26 апреля находится совсем в другой плоскости, это — определённое *profession de foi**, и с ним только чисто механически можно связать коалиционное министерство. Неправильно видеть центр тяжести его в приглашении партий. Там нет и речи о «переустройстве правительства». Считать Временное правительство «случайной комбинацией» — большая опасность.

Хотя, увы, увы, такое оно и есть. Да, сегодня он набрал бы не такое правительство. Но уж пусть какое есть.

Пополнить правительство? — да, это возможно. Но нам хотят навязать *реконструкцию*? Это бесплодные эксперименты и тупик. (Тут место и съязвить.) Однако нелишне напомнить, что крайний левый фланг отказался от участия во власти два месяца назад, — а теперь они уже «безпредельно подготовлены»? Но не видно, чтоб они спешили разделить ответственность. (И завершить вариантным пируэтом.) Но может быть, правда. Временное правительство должно признать взятую задачу непосильной и полностью переустроить свой состав? передать бремя власти в более сильные руки? А в чём почерпнуть уверенность, что новая власть, рождённая уже не революционным порывом Февраля, — сумеет заново пройти весь путь завоевания себе авторитета? А не окажемся мы перед ещё худшими трудностями? (И последний аккорд, от которого жутко и самому.) Очень возможно, что болезнь несравненно серьёзней, чем думают, и её лечить надо гораздо более радикальными средствами. Пустая трата времени обращаться к лекарствам от насморка, когда больной в тифе.

Сокрушительно убедительно. Трудно оспорить. Только вот разбухло, и надо разделить на две передовицы. Ну, это сделают в редакции.

С чувством полноты от сильно высказанного провёл Павел Николаевич конец вчерашнего дня. Если хочешь быть сильней, то — борись, в процессе самой борьбы добавляется сил.

И сегодня с утра с двойным удовольствием прочёл первую из передовиц. И смотрел, подписывал обычные бумаги, давал распоряжения. (И как Братиану отправить завтра в Румынию, уже 10 дней болтается в Петрограде.) И принимал второстепенных послов. И задумывал (так надоел склочный Петроград): а не поехать

* исповедание веры (франц.).

ли ему в Ставку и серьёзно-серьёзно обсудить с Алексеевым истинное стратегическое положение, опасности и надежды? Две поездки в Ставку за эти два месяца были скорее шумно-представительные, слишком много министров сразу.

И вдруг — секретарь попросил взять телефон: на проводе князь Львов. И ещё более вдруг: сладким голосом заговорил князь о своём желании немедленно сейчас приехать к Павлу Николаевичу в министерство.

Что такое? Чуть не каждый день встречаемся на правительстве. Какая срочность? И — сам едет?

Ёкнуло сердце, что это не к добру.

Самого князя не опасался Милюков, не уважал, не чувствовал в нём никакого собеседника-соперника. Но за князем — могли клубиться тёмные обстоятельства.

И чем серафимистее князь вплыл в кабинет — тем ясней осознал Павел Николаевич опасность..

Князь вёл себя — как сердечный друг, он просто рад прийти и дружески расслабиться в кабинете своего друга Павла Николаевича. Не отказался от стакана чая, с приятством размешивал сахар, позвенивая ложечкой. Но в глаза не смотрел, покашивал к столу, — да это и частая была у него манера. Но даже при отведенных глазах от него испускалась лучистость. И наконец вымолвил:

— Ах, Павел Николаевич! Запутались мы, запутались. Помогите! Помогите нам.

И, даже зная князя, — Милюков на минутку обманулся: он так и принял, что эта мякоть наконец поняла свою несостоятельность и хочет твёрдых указаний, выводящей руки. Да Милюков и готов её предложить. Да это сегодня изложено в передовице «Речи».

Улыбка князя была прелести неизъяснимой, но и печали:

— Как раз в эти дни... в Исполнительном Комитете... Они теперь в процессе принятия решения, и мы должны им облегчить.

Ка-кого решения?!? Князь пришёл, уже сделав свой выбор заранее, — коалиция??

— Помогите, — ласково просил князь и смотрел из низкого кресла безгрешными глазами.

И от этой обаятельной фальши — взорвало Милюкова, как редко с ним бывало в жизни. Не прикоснувшись к своему чаю, он невежливо встал, в гневе:

— У вас, по-видимому, всё решено, за какой же помощью вы пришли? Просить меня об уходе? Нет. Сам — я не уйду.

И — оставив князя за плечами — пошёл, пошёл по ковру к огромному окну на площадь и стал. Смотрели тут так и Никита Панин, и Горчаков, и Ламсдорф — решая Северный союз, турецкие войны, Японскую.

Душила обида.

Но всё же владея и гневом своим, и обидой — он вернулся, снова сел рядом с князем и стал ему в последний раз растолковывать.

— Знаете, какой главный порок нашего Временного правительства? Чрезвычайная медленность, с которой мы идём навстречу урокам жизненного опыта.

Что князь — не отдаёт себе отчёта в подлинной обстановке. Последовательное решение — это твёрдая власть правительства. Не только отказаться от вздорной идеи коалиции, но теперь же пожертвовать и Керенским — благо он сам заявил об отставке, и подаёт лучший повод. И надо немедленно принять его отставку. Мы дали народу обещание довести страну до Учредительного Собрания — почему же мы так легко уступаем, даже не попытавшись побороться с Советом? Сегодня мы растрачиваем великий капитал народного доверия, вручённый нам в дни революции. И подтверждённый 21 апреля. Введение социалистов только ослабит авторитет власти. Мы загубим всё дело Великого Февраля. Напротив — надо занять активную позицию против возможной атаки Совета. Посмотрите — с каким волнением, воодушевлением после кризисных дней нас поддержала вся страна.

Князь был расслаблен в кресле, и труба боя никак не звала его.

— Ну, в крайнем случае, Георгий Евгеньевич, примите одного-двух социалистов. Но не перестраивать же всё правительство. И в телеграммах мне пишут: не допускаем замены правительства до Учредительного Собрания.

Мешком сидел князь. Запутались, запутались...

— А второй путь, что ж? Идите на коалицию, перестраивайтесь. В угоду безответственному Совету. Но помяните: это будет распад власти и распад государства.

Слабым нежным голосом возразил не такой-то и хиленький, совсем не щуплый князь:

— Павел Николаевич. Но отчего бы вам не согласиться пойти навстречу демократии? Поменять портфель?

Как?? Новая волна гнева от этой фальшивой личины толкнула Милюкова в грудь. С презрением посмотрел на это ничтожество: зачем? зачем я сам тебя назначил?

Снова встал:

— Нет, князь, я — не стану менять портфеля. Иностранные дела... Я... Нет.

И опять ушёл к окну.

Под холодным весенним небом отрешённо высился Александров гранитный столп. Уже скоро столетие. Главою непокорной...

Слабость Милюкова была в том, что уже и свои кадетские коллеги не поддерживали его как надо. А с Гучковым — и никогда в жизни не было единства и согласия.

И утвердился:

— Я сегодня вечером уезжаю в Ставку. Мой личный вопрос можете решать без меня.

Ощущение было — что он упал в самую нижнюю точку той вертикали, с вершины которой подал свой «штормовой сигнал» 1 ноября.

Всего полгода назад.

Когда-то в «Освобождении» он назвал себя и своих соратников кандидатами в мученики политической борьбы. Никогда, однако, он серьёзно не ожидал стать мучеником. Как становился теперь.

САМ РЫБАК В МЕРЕЖУ ПОПАЛ

Всю ночь и утро сегодня думал и думал Станкевич над несчастным голосованием в ИК: одного голоса не хватило! одного! Тупицы! догматики! заучили свои правила, а практически ни на что не способны.

Да ведь это было решение всей русской судьбы — и разве оно по исполкомским марксистским мозгам?

Всё — сползает, неотвратно, — и ничего не сделать?

Но не ему ж одному застряло, что всего один голос перевеса, — и всей проигравшей половине тоже. А состав присутствующих меняется каждый день, — и как не попробовать переиграть? Это и другие будут требовать.

И пошёл на ИК с решимостью: добиваться переоголосовать! Но он совсем забыл, что на сегодня было назначено заседание церемонийное: Альбер Тома, всё просившийся выступить перед ИК, — как раз и был приглашён на сегодня. Он явился с секретарём, переводчиком, кем-то из партийных товарищей, — а исполкомцы тоже некоторые приоделись почище.

Тома не был высок ростом, но телен, крупная голова, самые упрощённые черты и глаза большие, в полный раскрыв. От этого вид его был не тёртого политика, а доверчивого простака. Уже же выразил он не раз русским товарищам своё восхищение их славною революцией! — а что ж они никак не могут понять и французскую сторону?

Он говорил волнуясь, краснея пятнами на больших щеках, забывал останавливаться для перевода, ещё раз потом повторял, с нетерпением ждал, когда переводчик переведёт. Станкевич знал французский больше письменно, чем разговорно, но успевал многое понять ещё до переводчика. Да речь-то была всё об одном, и почти на одном месте.

И французские социалисты, и французское правительство обезпокоены тем, что происходит в России. Неужели может расстроиться наше взаимопонимание? Мы сознаём трудность ваших условий, но поймите и вы наши трудности. Лично Тома согласен со многим вашим в истолковании демократических целей войны, но не может же оно ослаблять русских усилий в союзной борьбе! Сама-то война должна вестись с полной энергией! Именно для осуществления демократических идей и надо победить Германию. Прусский милитаризм никогда не согласится с целями международной демократии. Как Великая Французская революция в 1792 году безстрашно шла против феодального мира Европы — так и ваша Великая должна же наступать против остатков феодализма. Конечно, если Россия хочет сузить свои военные цели — мы не будем ставить вам препятствий. Но нас очень тревожит ваше истолкование лозунга «без аннексий», — разве Эльзас-Лотарингия это аннексия? Ваше истолкование мы находим двусмыс-

ленным и опасным, и даже просто немецкой формулой. Не объясняется ли ваш лозунг усталостью? Это тревожит нас.

Кроме Станкевича ещё наверняка Нахамкис успевал понимать по-французски. Но на его упитанном лице ни разу не выразилось ни движения сочувствия к словам французского министра; барски покойно сидел, нога за ногу. (Уж он-то рад, что коалиция вчера сорвалась, ему нечего спешить переигрывать.)

Спешите биться! — волновался Тома. Мы терпеливо пережили и март, и апрель, давая вам время установить новый порядок, но если это затянется — наш народ скажет: неужели вы изменили союзной борьбе?! Конечно, мы понимаем: эти русские антивоенные настроения — только временная лихорадка. Но всё же! Но...

И вся его речь заняла два с половиною часа, он вытирал большим платком свой крупный лоб, — и только из гостеприимства вожди ИК не открыли прений, не дали прозвучать возражениям.

Потом долгий перерыв, ещё беседа, рукопожатия, проводы, — а вот прошло больше трёх часов, и уже о коалиции сегодня не под-
нять.

Куда торопиться России?..

После перерыва — опять об этих анархистах, захвативших дом герцога Лейхтенбергского на Английском проспекте. Теперь уже князь Львов передал просьбу Временного правительства — содействовать же как-нибудь выселению этих: они там и грабят, и могут сжечь, и оружие там у них.

Церетели вскипел: ничего не остаётся и от нашего авторитета! А — вызвать их сюда?

А — не пойдут?..

Выручил Гоц: он берётся их выселить, берётся! И тут же отправился.

А вот — требовала приёма какая-то кучка — «делегация от совещания о Красной гвардии». (И попробуй их не принять!)

И теперь ещё с ними объясняться?

И что же за ничтожные всё дела.

Нет, не здесь было верное место Станкевича. Надо было — ехать спасать армию, стягивать эту немислимую расхлябанность. С тех пор как в марте заговорили об институте военных комиссаров — он сразу почувствовал: метко придумано! это — поможет! И тогда же провёл через Исполком, но так и осталось записью в протоколе.

А быть комиссаром в армии — для него как и создано. Не то чтобы на военной лестнице не было достойнее его, но те все вкочены в армейский строй — а он уже вот тут, у социалистического руля, руки набил. А из Исполкома назначить военного выше него было некого. Вполне бы он поехал комиссаром армии, или даже фронта. Или даже в Ставку.

В Ставку! Как по гитарной струне, проводя по своей натянутой портуpee, он угадывал, до чего ж он готов для этого назначения. И, неслышным поручиком всегда присутствуя в Ставке, он наедине с Верховным Главнокомандующим будет открывать ему, когда Исполнительный Комитет слушать неизбежно, а когда и не нужно.

Но хотя о назначении армейских комиссаров всё говорили, а всё что-то не собирались назначать.

Зато же вот на днях назначили комиссаров в штаб Петроградского военного округа — из недоверия к Корнилову, — да сразу не одного, а четверых: поручика Станкевича и трёх суетливых адвокатов — Соколова, Венгерова и Сомова, двое в солдатских шинелях.

К знаменитому боевому генералу пришлось появиться с этим сбродом наравне, в одном качестве, — просто стыд один!

130

Да к чёртовой матери такую революцию, пошла она к сучке под хвост! В какое наказание досталась боевому генералу такая низкая служба?

И дурак, что поддался уговорам Гучкова, не подал в отставку ещё перед Пасхой. И дурак, что не ушёл сразу после 21 апреля. Самый был верный момент, после всех этих наглостей Исполнительного Комитета.

Да он, мрачнее ночи, и подал прошение на ночном заседании правительства, когда уже весь бунт улётся. Пусть разваливают гарнизон — без него. Но правительство — не приняло, и министры успокаивали Корнилова, что Исполнительный Комитет конечно имел в виду не право Командующего выводить войска, а против вызова войск отдельными людьми и группами.

И хотя Корнилов уже на две сажени в землю видел под этим Исполнительным Комитетом — но не мог до последнего препираться с министрами, дал себя уговорить. Может быть, удастся, что та шайка возьмёт назад заявление о «семи диктаторах».

Этого — не сделали. Но опубликовал-таки Исполнительный Комитет длинное путаное объяснение, что он, Комитет, не хотел, чтобы злоупотребляли именем командующего, — и вот почему, в полном согласии с командующим, предложил воинским частям не выходить из казарм без письменного уведомления ИК. И тогда-де командующий сам отменил свой приказ о выводе войск. А вообще, в целях взаимодействия и контакта, к генералу Корнилову, с его согласия, посланы от ИК постоянные комиссары в штаб Округа. (Посмотреть на тех «комиссаров»!..)

А Временное правительство опубликовало объяснение ещё и от себя: что да, услышав опасения Исполнительного Комитета, Корнилов сам попросил прислать к нему представителей и сам отменил вывод войск. И правительство считает нужным заявить, что власть Командующего остаётся в полной силе и распоряжается войсковыми частями только он.

Так натягивали с двух сторон шкуру на кисель, хотя всем было наглядно ясен позор генерала. «Семь диктаторов» — не были отменены, и непонятно, зачем при них оставался Командующий.

Теперь, ещё раз пробуя силы, отдал приказ: каждому запасному батальону отправить не меньше двух маршевых рот. Посмотрим.

А тут, на счастье, в ночь на 23-е лужский Совет донёс, что над Лугой прошёл цеппелин (кому-то померещилось жужжание, световые сигналы) — и движется в сторону Петрограда. Корнилов воспользовался этой паникой, распорядился принять по столице строжайшие меры предосторожности, готовность противоаэропланых батарей, увеличить число прожекторов и наблюдательных постов, и связал угрозу со своим приказом о переформировании гарнизона в Петроградскую армию. (Гучков кой-как дал согласие.) Правда, Алексеев вот недавно заявил в интервью, что угрозы Петрограду никакой нет. Зря. Корнилов истолковал по-своему: всё зависит от соотношения флотов, если наш флот не сумеет препятствовать немецкому — они высадят десант в обход наших сухопутных войск. И тут-то пришёл первый из обещанных комиссаров Совета, какой-то поддельный солдат адвокатишка Со-

мов, — и передал, что Исполнительный Комитет считает проект генерала о создании Петроградской армии — нарушением прав Исполнительного Комитета! (Совсем ошалели! — а где ж эту Петроградскую армию и выгнали, если не под задницей Исполнительного Комитета? Они ж и придумали первые!) И вот ещё что запретил: командировка петроградских частей в другие пункты Округа, как стал делать Корнилов, есть «распыление революционных сил», отменить.

И Корнилов — дёрнулся к Гучкову третий раз за отчислением с этого проклятого места. И третий раз тот уговорил подождать.

А подождать — значит делать каждодневные дела. Посещать в Зимнем дворце Братиану с его начальником румынского генштаба, подбодрять их. На забаву этому же Братиану с его дармогледами устраивать совсем ненужные и мучительные для солдат и для себя парады — Петроградского полка близ Троице-Измайловского собора и казаков в конном строю близ Воскресенского.

Уже не для парада, а для полезного смысла решил Корнилов посетить те полки, какие самочинно вышли с оружием 20 апреля. Начал со 180-го полка на Васильевском острове. Как будто — там даже возобновились занятия, продолжения бунта нет. Построил их на казарменном дворе. Произнёс маленькую речь: не забывать о своих товарищах на фронте, им нужна поддержка маршевыми ротами, надо учиться; самое прискорбное — стрельба на улицах, кому она была нужна? любящие родину — не могут толкать её в пропасть. И закончил: «ура» Временному правительству. «Ура» — отозвались, но тут же стали кричать: а Совету? И пришлось добавлять «ура» в честь Совета. Ответили — дружной.

Вчера вечером позвали Корнилова на Калашниковскую биржу — митинг в пользу наших военнопленных. Корнилов не мог отказать. Ко всей его долгой, но и однообразной военной службе — отдельно приставилось, сторонним горьким омутом, ни на что не похожее военнопленство. Был Корнилов генерал и остался генерал, но военнопленный — это был его особый долг и рок, уже нестираемый. Тот митинг был — для сбора средств на военнопленных. Рассказывали сестры, ездившие в Германию, и наши солдаты, воротившиеся инвалиды или бежавшие, рассказывали, что и сам Корнилов знал, чего и не знал. Скверно одетые, голодные, на самых тяжких работах, и даже по 16 часов в день, с 5 утра до поздней

ночи. Ходят как тени, грызут ремни, голенища, опорки, выпрашивают подачки у англичан и французов. За отказ работать на рытье окопов — расстрел каждого десятого.

И одна сестра: «Жалко, не пришли сюда те, кто предлагают брататься с немцем. Говорят — протянем руку германцу, никто не сказал: протянем нашему военнопленному». И все годы войны у нас о военнопленных старались молчать — ни публичных сборов для них, посылают одни родственники, а посылка — одна в 4 месяца.

И Корнилов омрачённо вспомнил тот холодок, как приняли в Царском Селе его рассказ о военнопленных. Боялись ли горячей защитой — открыть охоту сдаваться в плен? А ведь большая часть их — не сдалась, а дана. А их пленные у нас, что бы ни вытворяли, — сегодня на съездах: не троньте их! «Из лучших побуждений человеколюбия». Как тогда царица.

Выступил. Потом с Верой Фигнер обходил по залу для поддержки пожертвований. Давали и золотые браслеты.

А сегодня, продолжая объезд бунтовавших батальонов, Корнилов поехал в Финляндский. К его приезду батальон, тысячи три человек, неполный, без каких-то частей, без пулемётной команды, связи, был развихлясто выстроен в казарменном дворе, с винтовками у кого были. Зоркий глаз генерала сразу заметил, что какие-то рожи, и в немалом числе, большем чем дневальные, выглядывают в казарменные окна. Но решил — не обращать внимания, теперь время такое. Играли ко встрече марсельезу. Принял рапорт командира батальона, «здорово, финляндцы!», ответили ничего, дружно, «здравия желаем, господин генерал!». Обошёл строй. Потом пропустил их церемониальным маршем. Надо речь говорить. Да везде он теперь одно и то же говорил. Немедленный мир — никак не возможен, но надо всеми силами стремиться к отражению врага, захватившего нашу территорию, — и пока Германия не откажется от аннексий и контрибуций. (Придумал он так хитро: эти настрывшие «аннексии» взять себе же на службу.) И надо поддерживать Временное правительство, выполняющее волю народа. «Ура за Россию!» «Ура». Распустил строй, собирался пройти на занятия учебной команды, — тут подошёл к нему унтер-офицер и доложил, что его 3-я рота не выходила на смотр, потому что считает себя подчинённой только Совету рабочих и солдатских депутатов. Так вот кто это в окнах — целая рота, как бы не целая тысяча. Тут сразу подступила и кучка солдат 3-й роты, с приглашением посе-

тить роту в казарме. Корнилов отказался. Кучка росла, и конечно нашёлся дерзкий голос:

— А почему, господин генерал, вы 21 апреля вызвали Михайловскую батарею?

Теперь от генерала нужны не боевые качества, а быстро-быстро соображать, что ответить.

— Я отвечу, если прежде вы ответите мне: а почему Финляндский полк счёл нужным пойти к Мариинскому дворцу с винтовками и штыками?

Другой голос:

— Нам не понравилась нота Милюкова.

— Ну что ж, каждому гражданину предоставлено выражать свои взгляды. Но — без оружия.

Кричат:

— Какие ж бывают солдаты без оружия? Каждый солдат должен ходить с винтовкой.

— Но ведь писари не ходят с оружием.

Помычали, не нашлись. Кто-то высказал, что это была их ошибка.

— Ну вот, а теперь и я объясню вам. Как Командующий, поставленный волей народа, я считал своей священной обязанностью защитить мирное население и поддержать порядок в столице. И я был убеждён, что подавляющая часть гарнизона понимает эту задачу одинаково со мной. Я вызвал батареи, когда уже пролилась кровь, в том числе солдат. А солдатам я приказал выйти без штыков и патронов. Но тут я получил сообщение, что Исполнительный Комитет надеется собственными средствами внести успокоение, — и я своё приказание отменил.

Объяснились. Но какая позорная слабость: не наказать их за невыход на смотр!

Пошёл в учебную команду, разъяснял и там. Потом ещё осмотрел хлебопекарню. И уже шёл к автомобилю, ехать на Путиловский завод, — подошёл адъютант, доложил: шофёр отлучался от автомобиля, и кто-то снял с капота георгиевский флажок генерала.

И — не знающий красноты в лице, смуглый Корнилов побурел, загорелся. Как ударили в лицо.

Негодяи! К драной матери такую вашу революцию! Что эти сопляки видели, чтоб смели так обращаться с боевым генералом! (И с бывшим пленником!)

Раздувая ноздри, сел в мотор:

— В довмин!

— Не на Путиловский? — переспросил шофёр.

— В довмин! И быстро!

Погнал. А Корнилов ещё обгонял бег автомобиля. Нет! — больше терпеть нельзя! Этот флажок — уже выше горла.

Уже и так они вчера в городской думе утверждали свою «красную гвардию», — это после стрельбы 21-го, негодяи! Сорок тысяч винтовок разворовали — и теперь будут вооружать свои отряды! И адвокатишка заявляет фронтовикам, что «рабочие заработали себе эти винтовки»!

И этот же самый адвокатишка, Соколов, назначен к Корнилову комиссаром! И, вертя своей неуставной задницей, заявил — от себя? не от себя? — что желательно: пусть Командующий теперь показывает комиссарам Исполнительного Комитета все проекты своих приказов по Округу.

Да — чтоб вам ни всходу ни умолоту, делать мне больше нечего!

Довмин. Почти ворвался: прошу министра принять.

В одну минуту Гучков и принял — на ногах, и даже собирается куда-то ехать. А вид совсем больной.

Поразился лицу Корнилова, всегда невозмутимого.

— Александр Иваныч! — прохрипел Корнилов. — Голову мне снимайте, погоны снимайте, больше ни одного дня!

Приготовился стоять против всех новых уговоров. Четвёртый раз. Не поддаётся ни на что. Вырваться из этой путаницы. Назад, к себе, в 25-й корпус, не может быть, чтоб уже и его испоганили.

А Гучков — вдруг и не стал уговаривать нисколько.

Посмотрел печально. Совсем больной, жёлтый, держится за спинку кресла. И сказал слабо, тихо:

— Хорошо, Лавр Георгиевич. Получите 8-ю армию. Каледин уходит на Дон.

Даже не поверил Корнилов, что так сразу и легко. Да опять запутают, обманут, — ведь это только сказано вот тут в кабинете, между двумя.

— Тогда прошу вас объявить. Немедленно. — Сдавливало горло.

А Гучков ещё странней ответил, ещё слабей:

— Да объявите сами.

— Как? Сам?

— Да, сами, — кивнул, всё так же слаб, не отнимая рук от кресельной спинки.

— А — кому передать должность? — делово вскинулся Корнилов.

— Я подумаю. К вечеру.

В рукопожатьи ощутил руку Гучкова — мягкую, горячую, — температура?

Сам себе не верил Корнилов, возвращаясь на Дворцовую площадь. Но — сказано. Разрешено и объявлять. Как? Приказом?

Проходил к себе — дежурный доложил ему: очень приятная делегация, примите.

Ещё какая к дьяволу делегация, надоели. Ну — кто, ну — что?

Трое городских молодых людей. В штатском, но стараются держаться по-военному. Волнуясь и друг другу помогая: они — комитет добровольцев. Они уже собрали в Петрограде роту из невоеннообязанных лиц, называют себя: 1-я боевая рота партизан. И просят отправить их на фронт.

Корнилов стиснул зубы. Ах, молодцы! Вот это кстати. Вот это — то, что теперь нужно!

Хорошо. Где вы, что вы?

— Я — сам вас повезу на фронт. Я уверен, что вы — пригодитесь России! Спасибо.

И пожал им руки.

И, ещё разволновавшись, ходил по кабинету. Ах, молодцы! Взять их с собой в 8-ю армию. Вот так, через добровольцев, может, и начнёт оздоравливаться.

До вечера, пока Гучков не назначит заместника, Корнилов уж никак и сам не думал бы объявлять. Но вот чудо: прошёл всего час, как он был в кабинете у Гучкова, с глазу на глаз, — а уже к нему просился корреспондент «Русской воли», который на днях брал у него интервью о цеппелине:

— Господин генерал! Правда ли, что вы покидаете ваш пост? По какой причине?..

Да откуда ж они вынюхали?!

Ну а пришли — значит, судьба.

— Да, я в четвёртый раз ходатайствовал о назначении меня в Действующую армию. И моя просьба уважена. На днях получу назначение.

А — по какой причине?

Какого ж чёрта теперь и прикрываться. Два месяца он себя стягивал, сдерживал — а под конец-то и отрезать.

— Я привык заниматься делом, а не разговаривать. А здесь всё время проходит в разговорах.

Нет, это мало.

— На мне как на Командующем — принять все меры для защиты Петрограда. Я принял ответственность без страха и готов нести до конца. Но наткнулся... Я не боюсь контроля — но разумного, опытного.

Ещё мало. Секануть их с плеча:

— Я Командующий, а командовать хотят другие. У нас царит двоевластие. По гарнизону издан приказ — не выходить из казарм с оружием в руках. Он аннулирует меня как Командующего. А для меня первое — благо родины. Я — старый солдат, и при таком положении не могу оставаться.

СВИНУЮ ЩЕТИНКУ НЕ В КУДРИ ВИТЬ

Хоть решил Гучков в отставку, а вот — всё никак, всё никак не ушёл. Дела в военном министерстве кувыркались. В консультативный высший Военный Совет, где состояли одни старые генералы, уже были приглашены простые рабочие. «Новое время» давало теперь запоздалый совет министру: заверить от правительства, что дезертиры не получают земли при переделе, а семьи убитых на поле сражения — наоборот, получают. Да много хорошего можно присоветовать со стороны, только не с этим правительством. Да объявляй не объявляй — сейчас уже никто и не поверит. Тем не менее, не мог свою руку остановить, спешил, по два приказа в день. Уже

видел, что ничего не исправит. Но — и не писать этих приказов не мог. Немедленно и категорически прекра...

Как будто плотина в семь саженей высоты и в версту длины прорвала сразу в ста сорока дырках — а Гучков в одиночку плясал под ней и затыкал дырки собственными пальцами.

Прекра... А Алексеев нынче утром донёс, что к Драгомирову вчера являлись немецкие парламентарьы и ссылались на приглашение какого-то неназванного лица из Петрограда.

Да что ж это делается? Кто это смеет? Вот тебе и прекра...

И нигде не подведёшь черту: вот — досюда, а дальше не разваливайте!

Уже в марте нагло опубликованная «Известиями» Совета «Декларация прав солдата» наконец прошла общее и постатейное чтение и все прения в поливановской комиссии. И хотя просил, просил Гучков Поливанова всячески тормозить Декларацию — нет, принята комиссией, и даже единогласно, и вот уже подана на подпись министру. Ну нет, утрёте уста, от меня не дождётесь. Пока придумал такой ход: послать в Ставку и Главнокомандующим фронтов для дачи заключения.

За два месяца Совет так и не удосужился разрешить вывод войск из Петрограда. Пулемётные полки так и не шли на фронт.

Но злорадствовал и Гучков: уже наплюя и на сам Совет — вот строят «красную гвардию». Как вы нас признавали «постольку-поскольку» — вот и вас уже начинают «постольку-поскольку»...

От первых дней своего министерствования Гучков видел от Исполнительного Комитета только сопротивление и злобу — и так до последних приказов, социалистическая пресса писала: «погромная работа реакционных генералов», «авгиевы конюшни военного ведомства». И поносили его за речь на Четырёх Думах — что он паникует, пугает.

Вчера, 28-го, сошлось у Гучкова так, что пришлось давать отставку сразу двум командующим округов: в Киеве — старому седому Ходоровичу, вместо него — назначить революционера Оберучева (из эмиграции приехал в феврале), так настаивал киевский исполнительный комитет, и Брусилов заискиливо поддержал их. А в Москве — опереточному Грузинову, этот запросился сам: внутри штаба округа он создал ещё какой-то революционный штаб, и тот поделом его и отставил, всего за назначение одного прапорщика. (Сегодня вослед принеслось оттуда и умоление: отменить отставку!)

Два самых крупных округа. А третий — Петроградский. И Корнилов тоже сегодня в бешенстве примчался просить отставки.

Три округа сразу — как символ, аккомпанемент. Пора уходить и министру.

Вчера вечером был в Мариинском дворце, заседал с министрами — ничего им не сказал. У них, кроме Милюкова, теперь все мысли: как устроить коалицию с социалистами. Но ни одного дня с социалистами Гучков состоять в кабинете не будет.

Отставка Корнилова переполнила чашу. Да, пора уходить. Последний толчок.

Корнилов застал Гучкова за две минуты до того, как ехать в Таврический дворец — на это совещание фронтовых делегатов, куда его так нагло вызывали уже четвёртый день. Ещё вчера от них приходила делегация настаивать, и Гучков не хотел ехать, говорил: пусть сперва приготовят, представят вопросы. А потом в нём обернулось: а чего уж так гордиться? Неконституционный вызов, скажите. (Однако и формалист Милюков вчера поехал.) Обернулось так, что даже — это лучшая сейчас аудитория для Гучкова в Петрограде. Они все — с фронта, и если не все с первой линии, то не может быть, чтобы среди них не было и настоящих вояк. Фронтвики — они в советском грязном не виноваты, они не социалисты, их послали с фронта — узнать как и что. В марте — вот проворонил проект общефронтового съезда, а надо было согласиться. Иметь бы сейчас против всех Советов — организационное представительство фронтвиков — это бы сила! Упустили...

И когда Гучков так неудачно ездил в марте и апреле на фронты — обстоятельства не дали ему поговорить с фронтвиками лицом к лицу. Так вот — сейчас.

Он еле на ногах стоял, совсем не должен был ехать, — поехал.

Одеться надо попроще, надел простой чёрный китель.

И опять — неизбывный Белый зал Таврического. Как и позавчера, снова все тени прошлого.

На депутатских скамьях сидят, не занимая всего зала, — военные. Там-сям, да немало — Георгии на грудях. Есть лица воинов, а есть и агитаторские рожки. Есть и младшие офицеры.

А председательствовал — Церетели.

Чувствуя слабость сердца, осторожно взошёл Гучков по историческим ступеням, к кафедре.

Он обещал им прийти отвечать только на подготовленные вопросы, но сейчас — нет, какие там вопросы, ему хотелось сказать

от полноты души. А вопросы? — пока он ехал сейчас, после Корнилова, от довмина, — у него возник иной план.

— Господа! Лёжа в постели, я внимательно следил за вашими работами. На поставленные вами вопросы я отвечу — завтра. А сегодня — буду говорить об общем положении.

Об общем положении — так неизбежно само начинается со старого режима.

— Если переворот прошёл безболезненно, то это объясняется сознанием всех слоев населения, что старая власть вела нас к гибели. Если бы вы только знали, каким обездоленным и разорённым приняли мы военное хозяйство от старой власти!

Не то чтобы разорённым, но говоря к массе, приходится огрублять краски, нюансов не передать.

— И я могу сказать, что в области снабжения мы уже достигли благоприятных результатов. — Всё ж оговорился: — ...до известной степени. На многих заводах были удалены техники и инженеры, работа пошла неудовлетворительно. Но сейчас дело обстоит лучше. Соединённые Штаты возьмут на себя упорядочение нашего транспорта...

Соединённые Штаты через Дальний Восток если помогут, то к концу 1917 года. А европейские союзники и блокадой перерезаны, да и мало чего шлют. Но надо пользоваться каждым случаем укреплять доверие к союзникам, на этом всё стоит.

— С продовольствием я скажу честно и откровенно, — (тем легче, что это не гучковская отрасль), — у нас в высокой степени неблагополучно. Как ни сильна была разруха при старом строе, но во главе государства всё же была власть, которую слушали. А сейчас местные органы не всегда исполняют требования центральных властей. Без сильной власти нам не обойтись. Да с продовольствием ещё сравнительно удовлетворительно, а вот с фуражом — положение трагическое. Вы ужаснулись бы, если бы знали цифры падежа лошадей на фронте. Я мог бы привести вам цифры и документы, но все, кто был на фронте, — это подтвердят.

Закричали — «правильно! верно!» Первый раз отозвалась аудитория, а то было хмуро-насуспенно. Гучков и искал, на чём бы прийти к согласию и сочувствию.

— Раньше неподвоз объяснялся расстройством транспорта. Теперь мы транспорт наладили, — (во всяком случае так везде заявляет Некрасов, пусть), — но страна отказывается удовлетворить армию необходимым. Вы должны сказать стране: помогите

нам! В военном деле, как ни в каком другом, свили себе гнездо злые силы России. И с этой кафедры я уже давно, 9 лет назад, в Государственной Думе указывал: мы не достигнем никакого успеха, пока язва нашей армии, протекционизм, не будет вырван с корнем. Но старая власть в лице военного министра Редигера, человека безусловно честного, заявила...

Боже, куда его занесло? Разве теперь воскресить эти старые думские эпизоды?.. Как ноги заплетаются в старой некошенной траве по колено.

— Когда началась война, мы предчувствовали, что будет катастрофа, пока не обновится весь командный состав. И когда катастрофа случилась, и мы требовали героических мер — то не добились ничего. И мы поняли, что без свержения старой власти мы погибли, что старый путь ведёт нас в гнилое болото.

Слушали молча.

— Господа! Ведь с тех пор, как Германия сокрушила Францию, 50 лет все народы несли деньги на вооружение. Полтора миллиона самых молодых и здоровых сил мы держали под ружьём и сотни миллионов рублей тратили на дредноуты, пушки, ружья, вместо того чтобы... на школьные и просветительные надобности. Ведь мы не три года ведём войну — мы ведём её 53 года, — и нужно, чтоб эта война была последней, чтоб мы и наши внуки начали устраивать широкие крестьянские массы, ибо ведь Россия — мужицкая страна.

Это — понимали, ясно.

Он должен был сказать этим фронтовикам, серьёзный вид которых ему всё больше нравился, — что-то решающе важное, и о сегодняшнем дне, о том, о чём ещё может он сказать в свой последний день, а достанется это выполнять кому-то другому, и вот им, — но никак не мог он до этого важного добраться.

— Я отвёл вас, господа, в сторону политики, но я не могу хладнокровно не только говорить, но и думать по этому вопросу...

И вдруг — раздались сильные дружные аплодисменты, первые за его речь. Гучков не понял: что ж такого было именно в этих последних словах? Но продолжали шумно аплодировать, а кто-то звонко крикнул:

— Да здравствует сын российской революции!

Вот эти слова — воистину бы отнеслись к Гучкову, но крикнули и аплодировали не ему, а вошедшему Керенскому, вот что...

И тоже в чёрной куртке, да рука на перевязи, ломая комедию. И ещё откланивался слегка.

Пока утихли — чёрт, перебил всё настроение и мысль.

— Итак, одной из основных задач была задача обновления состава русской армии. Я видел, что в народных массах нет недостатка в даровитых людях, и надо лишь помочь им подняться. И тут я с иерархией не считался. Есть люди, которые начали войну полковыми командирами, а сейчас командуют армиями. Господа! То, что мы провозгласили «дорогу таланту», всякий кузнец своего счастья, каждый солдат носит в ранце маршальский жезл, — влило в душу всех радостные чувства...

И вот — только? Нет, в голове мутилось, его всё сбивало куда-то, и никак не мог он высказать главные слова.

— Господа, я обещал осветить перед вами ряд интересующих вас вопросов. Нам приходится впопыхах строить новую жизнь. Сделано много, предстоит ещё больше. Но на этом пути есть известные пределы, где кровавая черта, где кончается творческая работа, а начинается хаос.

Вот именно это, дошёл. Оно.

— Я — большой сторонник демократизации нашей армии. Но если мы сметём авторитет всякой власти... Самое ценное, господа, это — чувство личной ответственности. А если мы человека опутаем сетью совещаний, — то где ж эта ответственность?

Получалось — и про здешнее совещание?

— Ведь если я — начальник дивизии, но бесовестный и трусливый, а надо принять важное решение, то мне легче всего собрать совещание в 50 человек и спрятаться за их спины. Именно тогда я уже не ответственен за результат.

Церетели передал Гучкову записку, что уже говорит он — скоро час (вот как? совсем не заметил) — и надо бы кончать.

Гучков вздохнул. А с какой надеждой он ехал? Почему думал, что так хорошо всё выразит — и его поймут? Они сидят — как будто безучастно, ни разу не отозвались по сути.

Нет, не удалась речь. Но оставался ещё козырь.

И объявил, что придет завтра, с помощниками, отвечать на вопросы. Да, а ещё ж не поместился коренной вопрос Гучкова:

— ...Состояние санитарной части заставило меня много страдать. Я, господа, проделываю четвёртую войну, первую рядовым, был тяжело ранен, а остальные три — в военно-санитарном ведомстве.

Нет, ни четыре войны, ни рана рядовым не вызвали движения в зале. А надо кончать.

— Господа, нет ничего более важного, как создание России на новых началах. Если армия не выпустит из своих рук оружия — мы выведем Россию на путь победы и приведём нашу родину к величию...

Вот и всё. Чувствовал провал. Похлопали. И Гучков, прихрамывая, спустился по ступенькам и не оглядываясь ушёл.

И сразу с адъютантом — через Екатерининский, Купольный, наружу — и в автомобиль.

Нет, совсем не удалась речь. А ведь с чувством ехал. О, как трудно, как трудно нам объясняться с простонародьем. Так оно и остаётся — сфинкс. Мы окружены ими как становищем степных пришлецов.

Действительно ли верил Гучков и сегодня, что без великого спасительного февральского переворота страна бы уже погибла?

Он сам теперь не знал. Закачалась вся-вся его жизнь. Башня с проломанной крышей.

Да, так кого же вместо Корнилова?..

А вот: Половцова. Что полковник — это ничего, это теперь идёт. Но он — ловкий, прожжённый, схватчивый. Он, пожалуй, и против Совета не потеряется. И даже весёлый. Такой и нужен. Да и лезет всё время вверх, напрашивается.

Такой, да. Где он сейчас? Отпущен в Туземную дивизию?

Вернулся в домин — и распорядился писать приказ о смене Командующего.

Чем больше сразу уходов, хоть ещё бы и Главнокомандующих фронтами, — тем крепче хлопнуть дверью.

Чем хуже — тем лучше?

А свою отставку — этой министерской размазне он не подаст так просто на подносике, по-чиновному. Он завтра — грянет отставкой на этом же совещании фронтовиков. Вот где.

Грянет-то грянет, но ведь — и крушение целой жизни.

Великолепных планов. Великолепных действий.

Спустя много лет, в эмиграции, пошутил Милюков Гучкову: «В одном только я вас, Александр Иваныч, виню: что вы тогда не арестовали нас всех, министров, вместо того чтобы подавать в отставку».

Он уже высказывал публично где-то (где, где — это всё перемешалось): русская демократия созрела занять первое место у кормила государственного корабля!

И к этому — явно и быстро идёт.

Мы можем быть спокойны за то, что мы сделали, а чего мы захотим — мы добьёмся, и сумеем показать миру! Свободу мы несём твердо и дадим её всем — и миру, и Европе! Эта грандиозная задача должна поднимать наш дух до высших пределов энтузиазма, до недостижимого восторга! Не время бояться врагов ни справа, ни откуда бы то ни было. (Не уточняя...)

С юных лет и по сегодня искренно и без остатка, без утайки и малой доли души верил Александр Керенский в народ и в его будущую свободу.

Вынесет всё — и широкую ясную...

И вот — удаётся даже и жить

...в эту пору прекрасную, —

но кошмар! — русский народ оказался не воспитан, не возвышен до этой свободы. Дали в руки народу необъятный пирог демократии — никто не способен резать аккуратно, соответственно свою часть, — каждый захватно ломает себе чем побольше. Этих фактов нельзя не заметить, они выпирают буквально каждый день повсюду.

Никогда не ждал Керенский от русской революции такой разнужданности! Это просто неправдоподобно! Почему же Великая Французская была спаяна таким патриотизмом?!

Сегодня в передовице «Дня» прочёл фразу: перед трибуналом истории задаётся революционной России роковой вопрос: рабы или граждане? И испытал толчок: да! как верно! вот — правильно поставленный вопрос! — рабы или граждане? И надо — к р и к - н у т ь его! крикнуть на всю Россию. Это только и может Керенский, никто больше.

Эти «рабы» могут стать знаменитым выражением русской истории, как у Пушкина о бессмысленном русском бунте.

Так загорелось сразу, что если б негде было сегодня выступить — Александр Фёдорович придумал бы, куда поехать. Но его как раз ждали, он обещал, в Таврическом, на заседании фронтовых делегатов. Вот там и сказать!

Помчался.

Примчался. Вошёл в Белый зал — выступал Гучков. Сразу заметили, сразу привычный гром аплодисментов. Скромно склоня голову, не улыбаясь, пока скромно сел на скамью, с бомбой в груди.

Речей — он вообще никогда не готовил, всё по наитию, в нужный момент его подхватывает — и несёт, несёт. Важно только иметь ключевую фразу, и вот сейчас она есть.

А Гучков — вяло, скучно, непопулярно тянул свою волюнку обновления командного состава армии, кто о чём. А больше — ничего он и не сделал. Вдохновить революционную армию на бой, на наступление — разве он может?

Совсем непопулярно и кончил Гучков — похлопали ему фронтовики просто для приличия. А на председательской кафедре возвышался сегодня Церетели. И вот — пригласил Керенского.

Позавчера отказавшись сюда взойти на заседании Четырёх Дум — вот он уверенно вспорхнул по знакомым ступенькам. Никто тут ещё не знал, он один знал: он — не посторонний этим фронтовикам, уже недалеко время — он сам их поведёт, сам!

А тут — сюрпризом, солдат с четырьмя Георгиями поднимается рядом с министром, и к залу:

— Товарищ министр! Примите от глубины простого солдатского сердца горячий привет. Товарищи! Предлагаю вам от имени нашей многострадальной армии грянуть в честь министра Керенского могучее «ура»!

Все в зале поднялись и долго горячо хлопали. Хорошо началось. Но они ещё не знают, что услышат.

— Товарищи! Два месяца прошло, как родилась русская свобода. Но я пришёл не для того, чтобы вас приветствовать. Ваши боли и ваши страдания являлись одним из мотивов нашей революции. Мы не могли больше стерпеть той безумной и небрежной расточительности, с которой проливалась ваша кровь старой властью. Но эти два месяца... Единственная сила, могущая спасти страну и вывести её на светлый путь, — это сознание ответственности каждого из нас без исключения, за каждое слово и действие.

Уже он достаточно отошёл от тона приветствия. Но на душе так горько, так обидно, — и теперь ещё прямей:

— Вам, представителям фронта, я должен сказать: моё сердце и душа беспокойны. Тревога охватывает меня, и я должен сказать открыто, какие бы обвинения ни бросили мне в лицо и какие бы последствия отсюда ни проистекли...

Это есть в нём! — безстрашие кинуться вперёд (ну, может быть, прижмурив глаза перед столкновением):

— Так, как дело идёт сейчас, оно дальше идти *не может!* Так — дальше спасать страну нельзя!

Зал замер. Страшно сказано — и может быть непоправимо? Тут надо — маленькое разрежение:

— Большая часть вины за это лежит, конечно, на старом режиме. Сто лет рабства не только развратили старую власть и создали из неё шайку предателей, но уничтожили в самом народе сознание ответственности за судьбу страны. И в настоящее время, когда Россия идёт смелыми шагами к Учредительному Собранию, когда она стала во главе демократических государств, — вся ответственность за судьбы государства целиком и полностью падает на плечи *всех*.

Это ведёт артистическая интуиция: сколько надо разредить обходным полукругом, и когда переходить опять на главную стезю:

— Товарищи солдаты и офицеры! Может быть, близко время, когда мы скажем вам: мы не в состоянии дать вам хлеба в том количестве, какого вы ждёте, и снаряжения, на которое вы имеете право рассчитывать. Но! — сразу верно направить их: — Это произойдёт не по вине тех, кто два месяца тому назад взял на себя ответственность перед судом истории. Процесс перехода от рабства к свободе не может протекать в форме парада...

Как смело, отчётливо сказано! Но люди ещё не способны такое вместить...

— ...как это бывало раньше.

И тут — запутался язык, пошли невыразительные фразы: целый ряд недоразумений... взаимных непониманий... на почве которых дают пышный цвет семена малодушия и недоверия... превращение свободных граждан в людскую пыль... («людскую пыль», удачное выражение, он тоже заимствовал из какой-то газетной передовицы). Не так легко даже испытанному оратору вырваться к безоглядно прямым словам, как можно сказать только с глазу на глаз кому-нибудь...

И вдруг — опять эта отчаянная несущая лёгкость, она уже столько раз выручала:

— Если же мы, как недостойные рабы, не будем организованным сильным государством, — то наступит мрачный, кровавый период взаимных столкновений. Каждый из нас, от солдата

до министра, и от министра до солдата, — должен поставить служение общему выше частного!

И вот — так легко-легко стало выбросить бомбу из груди, оратор как будто не стоял на этой земле и не зависел от людей:

— Товарищи! Вы умели исполнять обязанности, которые налагала на вас старая ненавистная власть. Вы умели стрелять в народ, когда она этого требовала! Почему же у вас нет терпения теперь? Сколько веков терпели под самодержавием, а теперь не хотим терпеливо дожидаться Учредительного Собрания? *Неужели русское свободное государство есть государство взбунтовавшихся рабов???*

Не просто молчали — шевельнулись. Страшно шевельнулись!

Но знал себя Керенский: когда приливает глубокое чувство — отваливаются все политические расчёты, а только хочется выразить это чувство! и это даже оправдывается лучше всякого расчёта!

— Товарищи, я не умею и не знаю, как народу говорить неправду. И как от народа скрывать правду.

А все — молчали...

И он замер — в жуткой, жуткой паузе. Опять-таки интуиция подсказывала, что — не он должен произнести следующее слово.

И так весь зал продолжал повисать в ледящей паузе.

И верно: пришла помощь со стороны. Один молоденький солдат, не выдержав этого молчания, — вскочил и закричал:

— Да здравствует гордость России!

Об именно ли гордости самой России или о Керенском он крикнул, кто как понял, — но всё же захлопали. И так — пронесло мимо главной скалы. И Керенский подхватился в быстром течении — увлечённый, и отречённый, и жертвенный, и даже сам изумлялся своему измученному голосу:

— Я пришёл к вам потому — что силы мои на исходе. — И в эту минуту он так и чувствовал, что да, совсем на исходе, может не хватить договорить речь. — Потому что я не чувствую в себе прежней смелости, у меня нет прежней уверенности, что перед нами — не взбунтовавшиеся рабы, а сознательные граждане!

Второй раз он это влил — и прошло легче, привыкали.

— Нам говорят; не нужно больше фронта, давайте брататься! Но разве на французском фронте тоже братаются? Разве силы противника не переброшены на англо-французский фронт? Нет, товарищи, брататься — так на всех фронтах!.. Да, мы идём к миру, —

и я не был бы в рядах Временного правительства, если бы воля народа об окончании этой войны не была бы задачей правительства. Но есть пути и пути. Мы — не собрание усталых людей, мы — государство. Есть пути. Они сложны и долги. Надо, чтоб нас уважали и враги, и друзья. Человека без сильного никто не уважает.

И — ведь как иначе могла бы шествовать Революция! как прекрасно! И в какой низости она, вот, разлагалась. Обида сжала горло, трудно высказать, а самое от сердца:

— Я — жалею, что *не умер* тогда, два месяца назад! Я — умер бы с великой мечтой, что для России загорелась новая жизнь, что мы умеем без хлыста и палки взаимно уважать друг друга и управлять своим государством не так, как им управляли прежние деспоты.

Но не было, не было тех упоительно-бурных аплодисментов, во взмыве которых Керенского уносило в небеса. И он — спустился, спустился — и осторожно, нащупывающими шагами:

— Я могу, конечно, и ошибаться. Быть может, я неправильно поставил диагноз болезни. Но думаю, что я не так уж ошибаюсь, как, может быть, покажется другим. Мой диагноз: если сейчас не будет всеми признан трагизм — и безвыходность! — положения... Если не поймут, что сейчас ответственность лежит на всех... Тогда всё, о чём мы мечтали... будет отброшено... А может быть — затоплено кровью...

Это — он ужасающим, сдавленным голосом сказал, потому что вдруг наваялись на него эти картины.

Но он заставил себя собрать силы. И снова — выразить надежду, что мы найдём выход. И пойдём «открытою, ясною» дорогой. И всё, что нам дал русский гений, мы сумеем бережно донести до Учредительного Собрания. И о том, что у новой власти нет на руках ни капли народной крови. А *кто-то* надеется через кровь и смуту захватывать землю. И забыв, что тут сидят полуграмотные простаки, а может быть сразу для стенографисток, они строчили сегодня:

— Остерегайтесь! Есть Суд истории! Бывали не раз случаи, что люди, которые были сильней и выше нас, падали под предательскими ударами... — (уже и эту картину видел, но — за что?? но — за что??) — ...за то, что они будто бы шли против трудового класса?..

Он даже покачнулся — так ярко и неотвратимо это вообразил. Мелькнули братья Гракхи.

— По вине старого правительства, державшего народ во тьме, всякое печатное слово до сих пор принимается за закон.

(Это о «Правде», «Окопной правде», но не смел он назвать.) С этим элементом можно играть, но можно доиграться и до плохих шуток.

Как-то нестрашно прозвучало, самые лучшие порывы пришлись не к концу речи, а вот он уже истощился.

— Я пришёл сюда не сам — вы меня призвали. Я пришёл сюда потому, что сохранил за собой право говорить правду так, как я её понимаю. Людей, которые и при старой власти открыто шли на смерть, — (и вернулась сила достоинства), — этих людей не запугать!

Наконец — аплодисменты, но жидковатые. Оглушил аудиторию, как сам не ждал. А, всё равно теперь!

— Судьба страны — в великой опасности! Мы хлебнули свободы — и мы немного охмелели. Но не опьянение нужно нам, а величайшая трезвость и дисциплина. Мы должны — войти в историю! Так войти, чтобы на наших могилах написали: они умерли, но никогда не были рабами!

Нет, всё лучшее, и «рабов», израсходовал слишком рано.

Молчал зал, и не понял, что речь-то — кончена.

И Керенский — как не привык, в тишине — стал просто сходить по ступенькам.

Просто — сходить.

Вот тут раздались несколько хлопков.

И он пришёл в себя, что он не должен так уходить. Он неуверенными шагами снова поднялся к трибуне и слабым голосом спросил:

— Нет ли каких вопросов?

Молчание.

Ужасающее молчание!

Знак полного провала?

И вдруг — спасительный голос раздался из-за спины сверху. Да, там же Церетели был, Керенский в речи и забыл про Церетели.

— У меня есть вопрос. Вы говорите, что есть люди, не сознающие лежащей на них ответственности. Я полагаю, — голос был твёрд, — что это не относится к организованной демократии — к Совету Рабочих и Солдатских Депутатов?

Керенского даже опалило: только тут он понял, как далеко он зашёл и как неверно могли его понять. Поспешил, поспешил:

— Товарищи! Пока я ещё ношу звание члена Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, и если бы мои слова относились к организованной и ответственной демократии — то, прежде чем их сказать, я ушёл бы оттуда!

Но — ещё недостаточно защитился. И, путая (всегда Белый этот зал!), что он — не в Совете, где его так обвиняли:

— Но безответственная агитация лиц, пытающихся внушить народным массам, что я недостаточно хорошо и смело борюсь с представителями старого режима... и раздаются сомнения, достаточно ли строго содержатся представители старой власти в Петропавловской крепости... — (Куда-то всё дальше его заплетало...) — Если мне доверяют как министру юстиции, то таких вопросов мне задавать не следует. А если есть основания — то скажите мне!

Это — он уже обернулся к Церетели — к цапле Церетели, вверху над собой. Но слова его тут же вызвали вопрос из зала:

— А можно ли побывать в Петропавловской крепости, и как бывшие министры содержатся? И как живёт бывший царь?

Нет, у каждого раскаяния есть всё-таки и край:

— Нет, нельзя. Если разрешить одному — надо разрешить и другим. Мы не знаем, кто придёт вначале, кто потом, и что получится. Наконец, мы не можем превратить Петропавловскую крепость и царскосельский дворец в зверинец.

Это — понравилось, крикнули «правильно» и зааплодировали. Ещё вопрос: каким путём мы придём к миру?

— Международный мир должен быть заключён всеми народами, как равный с равным. Но голос каждой страны звучит тем громче, чем больше сила её сопротивления.

— Есть ли надежда, что Временное правительство сумеет спасти страну от гибели?

— Вся моя речь сегодня и является ответом на этот вопрос. Если правительство будет пользоваться полным доверием революционного народа — оно спасёт страну.

Ждал ещё вопросов — молчали.

Станный конец речи — таких не бывало у Керенского. Оглянулся на Церетели — ничего не встретил.

Поклонился залу.

И — пошёл вниз.

Похлопали. В недоумении.

Пошёл из зала вон, опустив голову.

А Церетели, ещё когда Керенский на трибуну всходил, — уже заметил на лице его трагическую маску со страдальческими складками. И куда же, куда ж он занёс! Мальчишеская запальчивость была и в характере Керенского, но и поддерживалась образом жизни его: он совершенно оторвался от ИК, не осведомлял, не советовался, отговаривался загрузкой, поездками, многие в ИК были на него обижены. Однако вот Гучков и подлаживался к аудитории — а прошёл как чужой, чего стоят одни его «господа». А Керенский — сильно задел слушателей, но это и опасно. Неравновесная, очень опасная речь, хотя есть в ней и удачи. От такой речи может всё покатиться кувырком. Надо было сразу поправить! — отчего Церетели и задал свой корректирующий вопрос: Совет — не виновник анархии и не должен быть подвергнут расшатыванию.

Но и других Керенский так задел, что вот поблизости, из ложи президиума, поднялся на трибуну унтер-офицер Иофин — и произнёс с негодованием:

— Товарищи! За всё время нашей тут работы нам пришлось выслушать много речей. Речи эти были, возможно, честны и безкорыстны — но тут обвиняют демократию, что она сеет беспорядок, — так что ж, признать неконтрольную власть буржуазного правительства? Нет, мы должны открыто заявить, что мы пойдём только за одним оратором, который лучше всех понимает интересы и страдания наших братьев, сидящих в окопах. Этот человек, — и обернулся, показывая наверх от себя, — товарищ Церетели! И никаким речам, кроме речей Церетели, мы не можем доверять.

Похлопали, не так чтобы весь зал. Неожиданное заявление, Церетели перед ними ещё и не выступал. Но товарищ Иофин правильно почувствовал, что надо защищать Исполнительный Комитет.

Церетели и намеревался выступить, а теперь тем более, разъяснить. Он спустился с родзянковской кафедры к трибуне, ещё не остывшей от его позавчерашней разгромной речи против Шульгина.

— Товарищи! Моё мнение есть мнение той организации, к которой я имею честь принадлежать, — петроградский Совет. Меня спрашивают, я получил записку: зачем я задал товарищу Керенскому вопрос, нельзя ли понять его как выражение недоверия товарищу Керенскому? Я категорически удостоверяю, что я задал вопрос, зная наперёд, что мне ответит Керенский. Я сделал это потому, что в стране сейчас есть, — и он выпрямился, снова видя перед

собой оскорбительную усмешку Шульгина, и голос его позвонел, — есть безответственные круги буржуазии, уверяющие, будто между Временным правительством и Советом депутатов царит разногласие и будто Совет депутатов мешает правительству. Так вот, задавая вопрос Керенскому, я и хотел бросить его ответ в лицо этим приспешникам старого строя и деятелям смуты!

Истинный социалист растёт и зреет как бы с ощущением ориентированного стержня в себе, от плеча к плечу, — чтобы при всех обстоятельствах держать этот стержень в едином социалистическом фронте. Этот стержень — прежде всего, а там, на Исполкоме, можно уже разбираться в подробностях.

— Та тревога, о которой говорил Керенский, царит и среди нас, да, но это — не тревога за будущее счастье нашей родины. А — святое безпокойство, порождаемое теми грандиозными задачами, которые стоят перед организованной демократией. Но мы смотрим вперёд с глубокой уверенностью, что идём к светлому будущему.

Керенский смутил их, даже потряс, — надо вернуть им силы и веру.

— Мы должны, однако, констатировать, что идеи и лозунги революционной демократии России ещё слишком слабо звучат в союзных нам странах и что пролетариат Германии и Австро-Венгрии до сих пор не вышел из-под власти шовинистического утара. И пока он идёт с Вильгельмом, мы говорим: если бы мы сейчас заключили с ними сепаратный мир, то погубили бы свою страну. Отсюда ясно, что в ожидании пробуждения германского пролетариата мы должны сохранить твёрдость нашего боевого фронта.

Это и надо внушать им, а не сеять истерические тревоги.

— И я уверен, что скоро настанет момент, когда объединённая одними лозунгами демократия стран Согласия станет железным кольцом вокруг Германии и Австрии и потребует от них присоединения к тем святым словам, в которые мы верим. А до этого момента я не могу допустить, чтобы сын свободной России мог своим поступком способствовать гибели свободной России.

Он — гордо это сказал, он и считал себя сыном большой России, не отделяя Грузии в мысли, — и он видел, как ответно-твёрдо принимали его слова суровые лица фронтовиков. Вздохнул, с паузой.

— Другим вопросом являются наши отношения к Временному правительству. Мы прекрасно понимаем необходимость для Рос-

сии сильной власти. Наше Временное правительство и стоит на этом пути. Оно должно усвоить себе лозунги революционной демократии. И оно должно отдать всю землю трудовому крестьянству. И должно обеспечить интересы рабочего класса. И Совет рабочих и солдатских депутатов с присущими ему волей и авторитетом оказывает правительству поддержку. Наш контроль именно и является тем фундаментом, который мы подводим под Временное правительство, и тем самым придаём ему необыкновенную силу и прочность.

Шумно аплодировали. Кажется, усвоили.

Уже надо было закрывать — тут попросил слова ещё один унтер. И сказал всего:

— Речь товарища Иофина была неуместной и необдуманной попыткой ликвидировать речь товарища Керенского. Мы протестуем.

Да, может быть, Иофин неудачно выразился. Но — от тяжёлого недоумения, в которое опрометчиво погрузил совещание Керенский.

Раздались голоса с мест, тоже против Иофина: Керенский всё же оставался самый популярный человек революции.

Тогда и Иофин попросил слова на ответ, и тоже на трибуну, смущённый. Он вовсе не хотел аннулировать речей, даже и Гучкова и Шульгина. (Они тут присутствовали на Четырёх Думах.) Керенский нам дорог как социалист. А просто — хотел выразить большое уважение к товарищу Церетели.

А ещё просил запиской слова откуда-то взявшийся, сидевший тут, — член Чрезвычайной Следственной Комиссии следователь Неведомский. Ни по какому расписанию это не ожидалось — но Церетели не возразил, дал слово.

Это оказался средних лет, энергичный и довольно пылкий человек. Тут упоминали об узниках Петропавловской крепости, как они содержатся, так вот:

— Я протестую против надругательства всей печати над поверженными врагами. О них пишут только в самых разнузданных выражениях и натравляют на них общество. Я как член Комиссии удостоверяю тех из вас, кто желал посмотреть: бывшие министры содержатся в Петропавловской крепости в условиях гораздо худших, чем прежде содержались политические заключённые.

И тут раздались довольно шумные аплодисменты.

Неведомский тряхнул головой:

— Я — не рад этим аплодисментам! Потому что революционный народ должен требовать беспристрастного суда, а не мести!

И снова аплодировали, с той же шумностью. И кричали «правильно!». Уговорчивый и отходчивый русский народ.

Под конец объявил президиум: поступили сведения, по приглашению нашего совещания завтра явится давать объяснения Ленин!

И Церетели обрадовался: уважил совещание, это хорошо. Ведь Ленин такой недоверчивый, отклоняет все контакты даже с социалистами. А ведь можно было бы так по-товарищески объясниться. Полезно будет и для него самого.

Не думал Церетели завтра сюда приходить — а теперь придёт. И послушать Ленина хочется, насколько он изменился за месяц, а может быть, и снова поспорить, как в день его приезда. Именно товарищеским обменом аргументов и удержать большевиков в социал-демократическом русле.

133

Полтора месяца не видел Еленьки — и не звонил. Несколько раз брал трубку с горячей волной в груди — и клал. Не надо.

Но на днях, толчком, — позвонил.

Не оборвала разговора. Про себя — ничего, а стала расспрашивать, может быть, только из вежливости. И Саша спроста рассказал, что сильно выдвинулся в особняке Кшесинской, стал тут за своего, и комендантствует.

И вдруг милый певучий еленькин голос изменился, отдалился. Сказала:

— Ну знаешь, и разговаривать не хочется... Зачем же в людей стреляете?..

И не успел возразить, как:

— Прости, мне надо идти.

Положила.

Такая горечь охватила, такая досада и пустота. Зачем звонил?

Не — зачем звонил, а — зачем сказал?..

Но и отряхнулся: да провалитесь вы все, почему я должен скрывать свой выбор? Мне — это нравится, я сам к этому пришёл, — а вы думайте, как хотите.

Где-то прочёл: «Студенчество — пушечное мясо революции». Это написано было в виде брани, а Саше понравилось: тут есть меткость. Да уж лучше так, чем пушечным мясом вашей войны, как попал в Четырнадцатом. Что он верно понимал (большевики понимают): что солдаты воевать не хотят, но особенно, чтоб им объяснили, что именно через это достигнется царство правды на земле. Хотя не так непосредственно и прямо, но в социальных чертах это было верно, — и Саша подтверждал им с трибун, и ему сильно хлопали. Саша теперь посвободнел в ремесле произносить публичные речи, да и наслушался главных большевиков и самого Ленина, некоторые фразы стояли в ушах готовые, и даже чем грубей фраза, хоть и противно повторять, а сильнее действует. Да не столько важно, поймут не поймут, а всё зависит от уверенности, с какой будешь кричать. Подружась с прапорщиками 180-го полка — Коцюбинским, Тер-Арутюнянцем, Саша вместе с ними водил их полк на Мариинскую площадь 20 апреля и успешно держал там речь, как бы ещё раз брал Мариинский дворец.

А в большевицком штабе Саша ставил-снимал посты, патрули, и особенно в кризисный день 21-го, и в ночь, и не допускал противника с Троицкой площади. Всё удалось хорошо. А на этой неделе помогал устроить всероссийскую конференцию на 150 человек — и размещение, и охрану. Сперва — в здании женского медицинского института на Петербургской стороне. Но тут же их профессора возмутились, — потому что сразу после апрельской суматохи, — и потребовали, чтобы большевики ушли. Пришлось перебираться далеко, на курсы Лохвицкой-Скалон, а секции занимались — кто у Кшесинской, кто в цирке «Модерн». Саше везде пришлось побывать — и везде он мог присутствовать, и слушал, смотрел с пристальным интересом.

Сколько большевиков сейчас в России — никто точно не знал, а представители каждой области нагоняли за своей спиной цифры, чтобы выглядеть основательней, — и всё вместе нагонялось чуть не до 80 тысяч, хотя и сами, кажется, сомневались, есть ли реальных 20. Впрочем, везде записывали теперь в партию каждого проходящего, как раньше строго было запрещено ленинским параграфом устава. Но что было несомненно — что вся верхушка партии собралась теперь вот здесь, и Ленартович мог видеть их всех вместе, а некоторых и близко отдельно. И это важно было ему, в какую компанию он теперь входил: нет ли? нет ли ошибки? Кроме уже известных ему Каменева, Шляпникова, Коллонтай, Стали-

на — эти новые тоже были разные и трудно соединялись в единую волю, как этого явно хотел Ленин. Гололицый Бубнов с простыми грубыми чертами лица — в глазах накоплял взрыв фанатизма, и это иногда прорывалось у него в речи, страшновато. Курчавый мягкий Рыков походил на купчика с некоторым образованием, а впрочем, готового и кутнуть. Скрытный вкрадчивый Свердлов с Урала, почти безсменный председатель конференции, глаза за пенсне как стена, никогда не с улыбкой, был, кажется, только не-утомимый делегата, чтобы шли голосования, писались протоколы, аккуратно складывались бумаги, — и не выражал взлёта обсуждать вопросы на их высоте, да даже как будто и ничего живого в себе не носил. Кудлатый, широколицый, ещё и ожиревший, хотя молодой, Зиновьев, без следа ума в лице и взгляде, держался очень громко в речах, спорах, но никогда не в противоречие Ленину. Зиновьев — расплывшаяся горизонталь, — и рядом с ним отменен был высокий, худой, немногословный Дзержинский, вертикаль, но присогнутая от болезни, видно крушившей его. Он мало выступал, а нельзя было не остановиться снова и снова на его лице. Длинные выразительные губы его были прикрыты смыком усов и бородки, но при длинном же горбистом тонком носе миндалевидные глаза под подброшенными бровями выражали углублённое, уверенное внутреннее знание, которым он и поделиться ни с кем не спешил. Ещё — молчаливый, закрытый Бриллиант-Сокольников (он, кажется, взял в свои руки «Правду»). И — открытый, самостоятельный, решительный Ногин, с ухватками настоящего рабочего вождя.

И все, все эти разные люди пересекались как в центре — в Ленине. Взаимодействовали с ним — и уже как бы истекали из него.

Ленин был — конечно сверхчеловек. Хотя, может быть, это и не в похвалу. Но — в загадку. За ним-то Саша и следил неотрывно. Это был вождь — не как первый среди других, а как — формирующий их всех, иногда необъяснимыми путями.

Наружность его менялась в ракурсах и при движениях. Но изредка, когда он сидел в прениях неподвижно, приспустив, не вертя, свою кубышчатую лысую голову, и его калмыцко-монгольский застывший взгляд был особенно разителен, — можно было и так вообразить, что он не понимает ни слова по-русски, а если сейчас заговорит, то и мы его не поймём. Но вот он вскакивал в невысокий рост, взгляд его всверливался — и речь брызгала напорно, горячая — но и высушивающая. Когда же разговаривал с двумя-тре-

мя, то поверчивал головой, маленькие запрятанные глаза живо двигались, а то прищуривались, — и этот же прищур заменял улыбку при совсем неподвижных губах. Губы его под тёмно-рыжим накладом усов совсем не выражали ничего, да весь центр и важность головы поднялись к раздутому куполу, и уши послушно прилегали к нему, не выдаваясь собою отдельно.

Да к Ленину самому можно было приглядеться, а мысли его — даже особенно всё новые повороты мыслей — поражали. Самих мыслей было не так много, Саша чуть не все слышал уже с первого вечера, и Ленин как будто только то и делал, что повторял их да повторял, внедряя в слушателей, — но нет! При этих многократных повторениях происходили незаметные сдвиги формулировок, — так что Ленин незаметно как бы успевал занять сразу разные позиции — и настаивал в данную минуту именно на том оттенке, который в данную минуту более требовался ему. Да хотя бы вот о европейской революции: в первый вечер он объявил, что она начинается и уже идёт. А вот, за три недели, уже так у него естественно повернулось, что мы можем рассчитывать на могучую европейскую революцию, только если сперва у нас власть перейдёт к рабочему классу.

Или о том, как выйти из войны. Ленин с уверенным видом внушал, что мы все, тут сидящие, знаем, как кончить, а вся трудность только в том, как объяснить это несознательным массам. Но вот он объяснял и объяснял, как объяснять массам окончание войны, и Ленартович всей пытливостью хотел понять, — уж он-то с Четырнадцатого года только к этому и рвался, — и нет, не мог понять! И, честное же слово, никто из присутствующих тоже не понимал, — но по таинственному влиянию Ленина все кивали, что понимают. Штык в землю? — нет, нельзя окончить эту войну отказом солдат только одной стороны. Безпредельное братание? — тоже нет, лишь до известного предела, а если на нас пойдут в наступление — мы встанем революционной войной. Сепаратный мир? — ни в коем случае, этого мы не допустим, это отрицание Интернационала, обвинение нас в сепаратном мире — низкая клевета наших врагов.

А — что же тогда?

Как ни верти — получалось вроде так: сперва — всеевропейская революция, победа рабочего класса во всех странах, лишь после этого — мир. Но так — действительно было трудно объяснить

массам: для того чтобы выпрыгнуть из окна горящего дома — надо прежде взлезть на чердак?

Однако в такой резкой форме Ленартович ни у кого спросить не решился, стесняясь в новой обстановке показаться смешным. Странно другое: вот сидели и «старые большевики» — и тоже никто не решился спросить, возразить.

А когда и возникали на конференции споры, то поразительно было: как бы веско, разумно ни возражали противники Ленина и как бы, кажется, он ни отвечал сбивчиво, ключно, даже внутренне не связанно, — но всегда принимались его резолюции целиком, и даже отвергались мельчайшие поправки, если он отвергал их.

Один из таких удивительных споров был вчера — вокруг крестьянства. Хотя, правда, Ленартович мог тут чего-то и не понять, ибо никогда над крестьянством голову не ломал. Прежде того Ленин уже не раз объявил крестьянство и шовинистическим, и нашим врагом, и что оно вместе с капиталистами, повернуло к империализму, наживается на войне и угнетении малых народов, непозволительно для пролетарской партии возлагать надежды на общность интересов с крестьянством. Но теперь он ничего этого не упоминал, а ставил доклад, как правильно решить аграрный вопрос в России, выражая интересы крестьян. Мол, давнее требование крестьянства, отражённое во многих петициях и приговорах: чтобы вся земля отошла к государству, то есть национализация, — чего не понимают ни эсеры, ни меньшевики. Мы не смотрим так, что крестьяне имеют мало земли и им надо добавить её, это слишком ходячий взгляд. Дело не в том, мало у крестьян земли или во все нет: долой крепостничество! — вот постановка вопроса с точки зрения революционной классовой борьбы и самих крестьян. Национализация земель в России является необходимой и неизбежной, и в этом направлении мы и должны развить революционную энергию вопреки возражениям, что национализация сводит крестьянство на роль арендатора земли у государства и ещё будто бы предполагает гигантский чиновничий аппарат.

Ленину взялся упорно возражать Ангарский. Что у крестьян никакой идеи национализации не было и нет, он свидетельствует об этом как долго работавший в деревне. Что все те петиции и приговоры, на которые Ленин ссылается, составлялись вовсе не крестьянами, а идеологами-интеллигентами. Что — нет большего собственника, чем крестьянин, и потому он массами валил из об-

щины, когда разрешили выход на отруба, и теперь хочет не национализации вовсе, а укрепить и расширить свою собственность.

И это показалось — гораздо убедительней.

Но Ленин, нисколько не смутясь, вскочил отвечать, сверля открытыми глазами, быстро поворачивая голову и ещё быстрее двигая руками. Что он не имел в виду, что крестьяне имеют идею национализации, идеи такой у них нет, — но крестьянин инстинктивно говорит, что земля — божья, это создаёт материальную основу национализации. Крестьяне знают мировое положение с хлебными ценами. Крестьянин, да, хочет быть собственником, но на земле, разгороженной по-новому. Вот почему национализация есть закон, выражающий волю народа.

И хотя Ленин не объяснил, как это ведаёт крестьянин о мировых хлебных ценах, — возражения Ангарского тут же были отклонены решительным голосованием, без прений.

И Саша уже начал сомневаться: нет ли у Ленина какой-то алогичной таинственной силы воздействия? Не из чего бы всем сплошь и сразу быть покорёнными его доводами. Или, может быть, большевиков так мало, что они боятся ещё далее разродиться?

И подумал Саша: если был бы делегатом — разве стал бы он от этого хуже видеть перекидчивость ленинских построений? Стал бы послушно голосовать?

Но в этом общем стремлении к единству — была сила, не свойственная другим партиям. Сила быстрого дела вместо нескончаемых рассуждений.

Конференция распределилась неравномерно: заседали пять дней, а все решения сгустились на последний вечер сегодня, в субботу, когда уже и часть делегатов уехала.

На некоторые доклады вместо Ленина выходил Зиновьев, его точное эхо. А сегодня по национальному вопросу докладывал Сталин. Этот справлялся заметно хуже Зиновьева: видно, что старался следовать указанному, вычитывал готовую резолюцию, но без зиновьевского напора, и голос тише, не слишком уверенно получалось, очень уж скромно. И что-то в нём вызывает насмешку, манера ли важно высказывать проходные вещи как своё открытие: «нет национального гнёта в Швейцарии, Швейцария приближается к демократическому обществу». А суть доклада была самая простая, неоспоримая: что нации, которые захотят отделиться, имеют на то право, хотя партии пролетариата остаётся агитировать иногда за

отделение, а иногда против. Так, лично он, Сталин, против отделения Закавказья или татар, да думает, что и 9/10 народностей не захотят от России отделиться. И спорил против Бунда, что нельзя искусственно стягивать людей в нации.

И Саша, пожалуй, не видел в том ошибки. И весь объём национального вопроса не казался ему ни спорным, ни трудным.

Но кого-то он очень задевал. Тут же, вслед, с контрдокладом выступил низенький суетливый Пятаков, недавно из Европы, но уже побывал и в Киеве. Он был остро наточен на теоретические формулировки, на то, как думают и мыслят десятки разных социалистических умов в Европе. А сборная мысль его была та, что национальные чувства только отвлекают пролетарские партии и целые народы от задач классового освобождения, что независимость наций — устарелый отживший момент, она никому не нужна, да и совершенно невозможна: ведь между буржуа и пролетариатом исчезают последние остатки взаимопонимания. И если польская буржуазия потребует отделения Польши, — то мы не посчитаемся и с польским большинством и не дадим отделяться. С точки зрения классового расчленения общества, Сталин ставит вопрос метафизически: надо считаться с волей класса, а не нации, борьба за национальное государство в настоящее время есть борьба реакционная, «право наций на самоопределение» уже теряет реальную почву под ногами, это бессодержательное право, осуществлять его — вредно. И так мы в Киеве отвечаем социал-демократам Украины: мы держим курс на мировую революцию! Лозунг современности: прочь всякие границы!

Послушал Саша — а хорошо! В этом действительно была широта и высота замысла, дыхание Будущего. И правда так? Конечно, нации будут отмирать, и не жалко. Человечество должно быть единослитным.

Но Ленин вскочил раздражённо, он, видимо, считал, что Сталин его точку зрения замямлил и провалил. С редким у него волнением Ленин показал себе на горло: вот где у нас сидит этот национальный вопрос. А поляки? — нет народа, который был бы так пропитан ненавистью к москалям, весь свет гори огнём, лишь бы была свободна Польша. Конечно, в большинстве государств Европы национальный вопрос давным-давно решён. А нам в России стать на позицию шовинизма была бы чудовищная ошибка. Чтобы спасти социализм — приходится бороться против бешеного, большого национализма. Но у Пятакова страшная каша и путаница: мы

стоим за необходимость государства, а государство предполагает границы. Мы, конечно, за централизацию и против мещанского идеала федерации. Мы к сепаратистскому движению равнодушны, нейтральны, но не можем прибегнуть к насилию, чтобы помешать свободе народов. А если украинцы увидят, что у нас республика Советов, — то они и сами не захотят отделяться.

И это был единственный момент конференции, где она не покорила Ленину сразу, а нашёл сильный отпор. Сперва — от долгоязого, присогнутого и угрюмого Дзержинского, — удивительно серьёзно у него звучали те самые мысли, с которыми Пятаков прыгал как петушок. Что такое нация? разве это нечто единое? Если существует воля нации, то она может проявиться только при социалистическом строе. Польский и все другие сепаратизмы — реакционные движения. Товарищ Ленин поддерживает польский и украинский национализмы — и тем ослабляет пролетариат России. Мы — против права какой-либо нации на самоопределение!

И ещё Махарадзе за ним: а если нация, отделясь, захочет у себя установить монархический образ правления? — не можем же мы это разрешить! Обещать теперь независимость и Украине, и татарам, и грузинам, — у нас будет столпотворение!

Последний вечер, а прения затягивались безнадежно. Полез Зиновьев повторять Ленина, потом Пятаков отвечать Зиновьеву, и расхрабравшийся Сталин отвечать Пятакову.

Оппозиция предлагала: хоть и подождать, не выносить никакого решения. Но по тому же неуклонному, невыясненному закону точка зрения Ленина победила в четырёхкратном перевесе. Три недели назад отвергнутый собственной партией — он уже вот уверенно вёл её, и партия была наглядно едина.

Сильное впечатление.

А голосование это совершилось только к часу ночи, а затем следовало ещё — положение в Интернационале и повторный доклад Ленина с резолюцией о текущем моменте, где опять он победил, как хотел.

Ещё же в этот вечер выбирали ЦК. Выбрали 9 человек — и кого же (Дзержинский сам себя отвёл по болезни): Ленина, Зиновьева, а на третьем месте выше Каменева — Сталин, каким образом этот простофиля собрал столько голосов? А Шляпников — исчез, как смыло с горизонта. Вошёл, конечно, громкоголосый Ногин, беззвучная тень Свердлов, а из кронштадтских — Смилга.

От Кронштадта дышало уверенное большевицкое будущее. Оттуда был ещё мичман Федя Ильин — «Родион Раскольников», да отчаянный Соломон Рошаль, — Саша с этими молодыми легко и охотно сошёлся.

Уже в три часа ночи, перед рассветом, поднялись в заключение петь «Интернационал». Саша не только знал слова и пел с огнём — он испытывал шевеление в корнях волос.

Великий гимн! — и для всей Земли сразу.

О, из этого — из этого будет Нечто!

ТРИДЦАТОЕ АПРЕЛЯ — ПЯТОЕ МАЯ

134

Чем замечательны были полтора минувших месяца: никогда в обычные годы Николай не имел возможности так полно, так неотрывно жить с милой семьёй, как сейчас. Как ни долго и как ни опасно болели дети (Ольга ложилась ещё и второй раз) — но вот все выздоровели, и старшие дочери охотно каждый день в разрешённые часы прогулок гуляли с отцом — и работали: сперва всё чистили от снега дорожки, а как потеплело — много работали на ломке льда: у островка, у ручейка, в шлюзе под мостом, между двумя мостами против середины дома. Но нередко собиралась за решёткою парка толпа, глазела, а то выкрикивали насмешки и оскорбления, свистки будто на зверей, — тогда переходили куда поукромней, к летней пристани, и били лёд там. (А толпа ещё аукала и кричала.) Одни льдины вытаскивали, другие потом проталкивали шестью под мост, когда уже посвободнела вода. (Иногда и стрелки из караульного помещения высыпали поглазеть на работу царской семьи, а раза два попался хороший караул — так и сами помогали.)

Со всенощной под Благовещенье, а оно в этом году пришлось на Вербную субботу, начались регулярные службы отца Афанасия с четырьмя певчими в часовне дворца (часовые — у входа и позади алтаря) — и всей семьёй, кто не болен, не пропускали ни службы, да и прислуга и служащие дворца собирались прилежно. (Небывалое Благовещенье! — безо всякой связи с Мамá.) Со Страстного Понедельника всю семью гонели, в Страстную Пятницу исповедывались, проносили плащаницу через все комнаты дворца, у обедни в Великую Субботу причастились. В Пятницу простились с 46 служащими, отпросившимися у охраны к своим семьям в Петроград, — но ещё оставалось 135 человек, вместе с дамами и гос-

подами, и в Светлое Воскресенье на всех ещё хватило старых запасов фарфоровых яиц при христосовании.

Дети выздоравливали — и надо было возобновлять занятия. Верный Жильяр с французским был тут. Верный Гиббс, оказавшийся в момент ареста дворца вне его, — говорят, усиленно хлопочет и уже собрал подписи четырёх министров, чтоб ему разрешили вернуться во дворец и, как прежде, вести уроки английского. Теперь Аликс принялась преподавать русский язык дочерям и арифметику Алексею, а Николай через день стал заниматься с Алексеем географией и русской историей. По географии изучали с ним реки Европы и России, чтоб он уверенно находил истоки и точно вёл по течению до устья. А по истории — когда-то уже начинали Киев и крещение Руси, а теперь — с Владимира Мономаха. Сам для себя Николай находил в киевской истории бездну поучений и нравственных, и государственных, и теперь пытался кое-что открыть сыну. Вот: после смерти отца никто не мог помешать Владимиру Мономаху в 40 лет занять киевский престол, но, сознавая, что отец незаконно оттеснил Изяслава, Владимир добровольно отдал Киев Святополку Изяславичу, а сам ушёл княжить в скромный Туров, — и так его княжение в Киеве отложилось на целых 20 лет, до его шестидесяти, — а ничего не потеряло в мудрости и блеске. Урок!

Извлечение уроков из истории было любимейшее занятие Николая, а в наступившую вот полосу российской невзгоды — даже ещё острей. Среди дня он находил два-три часа и для собственного чтения — и вот прочёл объёмистую историю Византийской Империи. Какие фигуры, какие масштабы событий! И всё это уже przeszло с лика Земли и забылось, как забудутся и наши события, — и в будущие века только редкие любители будут прочитывать подробности, что же и как произошло в России в марте 1917.

А по вечерам — уютно собирались все вместе, и Николай много читал детям вслух — то Чехова, то по-английски Конан Дойла.

Увы, не все эти полтора месяца было так соединённо. Более чем на две недели Николая и Аликс безсердечно разъединяли, не разрешали встречаться иначе как в столовой за общей едой, в присутствии караульного офицера, и на богослужениях. И с детьми они не могли видаться вместе, а только порознь.

Во всех случаях вестником изменений, к худшему или к лучшему, приезжал Керенский. За всё время их заточения он приезжал трижды.

Первый раз — 21 марта, одетый как воскресный рабочий: в синей рубашке, застёгнутой до горла, без белого воротничка, и в сапогах. Держал ультраревOLUTIONIОННУЮ речь к караульным стрелкам в коридоре. Объявил слугам, что им платит народ и они должны служить не бывшему царю, а коменданту. Сменил благоприятного коменданта Коцебу на Коровиченко, объявил, что дворец переходит в ведение министерства юстиции. Устроил всеобщий обыск комнат, шкафов, подвалов, правда очень поверхностный. Вошёл один в классную, где Николай и Аликс сидели с Алексеем, представился с родом поклона, что он — генеральный прокурор, был крайне возбуждён, говорил безсвязно и дотрагивался до предметов. Затем попросил Николая в другую комнату, там заявил, что министры при допросах указывают на доклады, которых нет в министерствах, они не у вашего ли величества (так и сказал). Хотел казаться грозным, но произвёл впечатление скорее недурное. Николай обещал, если нужно, и свою помощь в розыске бумаг. И сказал Керенскому: «Я прочёл в газетах, что вы отменили смертную казнь. Если вы сделали это для моего спасения — то напрасно. Государство не может так воевать». Затем больной Ане Вырубовой Керенский велел одеться и увёз её арестованную. Арестовал и Лили Ден (но через несколько дней отпустили её).

Второй раз приехал через 6 дней, в Страстной Понедельник, вызвал с богослужения. Был в тёмной рабочей куртке, снова без белого воротника, пробыл коротко, держался официально, и объявил этот жестокий и бессмысленный режим разъединения супругов: что так требует от него Совет рабочих депутатов. Аликс была особенно оскорблена. Но пришлось подчиниться без оспаривания, чтоб они не применили какого-нибудь худшего насилия.

И так прошло полмесяца, Аликс была тут — и не рядом, с детьми виделись порознь. Как в среду на Фоминой в холодный ветреный день Керенский приехал третий раз, отвлёк Николая от работы на льду, пришлось немедленно идти в дом, — а здесь был очень вежлив, симпатичен, разговаривал с откровенностью, произвёл впечатление доброжелательного к ним человека. Снял запрет разделения, обещал, что скоро семья поедет в Крым. Отдельно с государыней, но не дерзко: почему она вела приём министров и влияла на назначения. Отдельно с государем — и опять о бумагах. Прошли с комендантом в кабинет, и Николай выдал им часть требуемых бумаг, и вообще отдал им ключ от кабинета.

За эти недели много было и раздражений, и оскорблений, и Аликс переживала их острее, чем Николай. Вообще, неволю она переносит гораздо тяжелей. Вот — эти крики и насмешки толпы, когда работали в саду (Аликс было видно из окон). Вот, в начале же Страстной, те начали рыть ров около Китайского театра — на дворцовой территории, в трёхстах футах от окон, нарочито? — а в Чистый Четверг устроили революционное представление: под оркестр привалила большая толпа с несколькими гробами, обтянутыми красной тканью, а несущие перепоясаны красными лентами, и много красных флагов, черно-красная толпа через заснеженный парк, тут держали речи, играли то похоронный марш, то марсельезу, и опускали гробы в ров, без церковного причта. И кончили к вечеру, только за полчаса до службы с двенадцатью евангелиями. (Потом объяснилось: это хоронили «жертв революции» Царского Села. Да разве в Царском была борьба, лилась кровь? Да говорили, были умершие с перепою при грабеже винных складов.) И в день «1 мая» какие-то болваны ещё приходили сюда с оркестром и венками.

Ещё оскорбления от конвойных, особенно когда дежурил 2-й гвардейский стрелковый полк (и это был наш полк, тут рядом, в Царском!): солдаты держали себя бесконечно нагло, в ответ на «доброе утро» не отвечали, иногда по б человек ступали за каждым шагом Николая на прогулке, разваливались на скамейках, курили, шныряли по комнатам дворца, насмехались над прислугой, запрещали Жильяру разговаривать с княжнами по-французски и доносили на своих же офицеров — кто пожал руку царю. Но эти солдаты испорчены пропагандой. При смене караульных начальников (она же — и проверка заключённых) Николай, как обычно, протянул руку уходящему, из 1-го полка, потом новому, из 2-го, — а этот не принял руки, и она повисла в воздухе. Николаю стало горько. Он подошёл вплотную к этому офицеру, взял его за плечи обеими руками и, преодолевая слезы, спросил: «Голубчик, за что ж?» И прапорщик Ярынич ответил: «Я — из народа. Когда народ протягивал вам руку — вы не приняли, а теперь — я не подам».

Но если удаётся с кем близко поговорить — они быстро теплеют. Даже и во 2-м полку были неплохие караулы. А от 4-го полка и всегда хорошие, часто солдаты совсем не шли за гуляющим царём, лишь один вежливый офицер, и в отдалении. Возвращались холо-

да, а дрова комендант отпускал скупое, Николай с Долгоруковым решили сами пилить в саду (начать заготавливать и на будущую зиму), — эти солдаты приходили и помогали. Комендант Коровиченко был грубоват, безтактен, но всё же не слишком стеснял режим, конечно и ни в чём уже не послабляя, никогда не передавал ни одного письма, и провизия и лекарства — всё проходило тщательную проверку. (Надо было видеть Бенкендорфа, как он разговаривал с комендантом, — прямой как палка, ещё затянутый в корсет, монокль в глазу, и едва подавая два пальца.)

Аликс очень страдала ото всех этих раздражений, а ещё особенно от газетных. То в газетах опубликовали её последние телеграммы супругу в Ставку (а в тот день, 27 февраля, все три роково перехватили! многое бы сложилось иначе!), она была возмущена. То тревожилась за Сухомлинова, что возобновилось следствие по его делу. Из газет же (а теперь заказывали их полдюжины) лились какие-то мелкие мерзкие сообщения: нашёлся харьковский присяжный поверенный, который предъявлял иск Николаю Романову на 50 тысяч за то, что в 1905 году он был уволен с мелкой должности, — и вот просит Временное правительство сообщить, в каких заграничных банках помещены капиталы Романова. (А у них там и нет ничего.) Нашёлся офицер, будто бы прослуживший в армии 37 лет, который требовал теперь отчислить полковника Романова в отставку без мундира и пенсии.

А то принесли газеты громовое сообщение, что 12-я армия требует переселить их семью в Петропавловскую крепость. Сжались сердца у всех: лишиться последних частиц свободы, семейного быта, привычных стен, воздуха...

Слава Богу, через пять дней напечатали: 12-я армия опровергает, никогда она такого не требовала, это фальшивка была.

Ещё весь март Аликс надеялась и молилась, что сплотятся верные смельчаки, разгонят эту банду и вернут власть царю. И только медленно примирялась она со взглядом Николая, что отречься — было несомненно правильно, это избавило Россию от гражданской войны при войне внешней.

Николай всё время умягчал её смириться: всё равно мы ничего больше сделать не можем. Надо смотреть на всё происходящее с той стороны, как она и любила говорить.

С наступлением, кажется, тёплых дней, во вторник на Фоминой, Аликс совершила первую прогулку в саду, в кресле, вёз её мо-

ряк, оставшийся при них из гвардейского экипажа. Хотела Аликс устраивать чаепития на дворцовом балконе, куда выходила её дверь, но охрана запретила.

Тихо справляли с ней памятные дни. На Святой неделе 23-ю годовщину помолвки. (И как раз вынули зимние рамы, нехолодно.) В прошлое воскресенье — день Ангела Аликс, приходили и арестованные придворные и люди, со скромными подарками, а среди дня вышли в сад — первый раз всю семью вместе. (Стали светлы и вечера, обеды без электричества.) На этой же неделе отмечали и день рождения нашего незабываемого Георгия. А в следующую субботу исполнится и Николаю 49 лет.

49 лет, и он совершенно здоров, полон сил телесных и душевных. Он очень уж рано воцарился — но зато и рано расстался с царствованием. И если ещё предстоит долгая жизнь — то может быть счастливая полоса частной жизни, уж теперь постоянно в кругу семьи.

Только больно, особенно в эти памятные дни, не иметь никакой переписки с Мамá. Что с ней? В газетах — глупые и противные статьи об обысках у них в Крыму. Все мысли — с Мамá.

Наконец уже настолько подсохла вытаявшая земля, что решили устраивать огород, — и как раз под окнами Аликс, чтоб она нас там всегда видела. Начали копать гряды позавчера. А сегодня, в воскресенье, — насладительная погода. И после обедни пришли помогать многие добровольцы — и вельможи, и слуги. (Потом — и им тоже грядки вскопаем.)

И работали замечательно, до пота, солнце здорово пекло. Какая это благородная, возвышающая и вразумляющая работа — копка земли под посадку, под посев. С большим вниманием к этой разрыхленной рассыпчатости, имеющей такую дивную силу давать жизнь растениям. Со вниманием освобождать плодородие ото всего, что выросло бы сорняками и заглушило бы доброе дело. Смотреть, как шевелятся дождевые черви, и радоваться, что их не разрезал. И непередаваемый запах земли, разгорячённой под солнцем, и запах увядшей травы. Древнее занятие! Ещё когда не было ни Византии, ни Греции, ни Вавилона — а уже так копали.

Масштабы тысячелетий! И что в них мы? и что наша история?

Возвращались к вечеру во дворец — счастливые, прокалённые, загоревшие, сладко утомлённые. Мыть руки, переодеваться.

И тут прочли об отставке генерала Корнилова с Округа. И объяснялось: по причине безответственных вмешательств в распоряжения военных властей (только не назывался Совет).

И — можно понять отважного честного генерала. (Аликс не обижалась на него за арест, он благородно себя вёл.)

Трудней понять военного министра: как же он всё это мог допустить?

Господи, Господи, что же готовит Твоё Провидение нашей бедной России?..

Да будет воля Божья над нами!

Записал так в дневник, и после восклицательного поставил Крест.

135

(Фрагменты народоправства — фронт)

* * *

Прибывает на фронт маршевая рота: офицер, кучка солдат и длинный список бежавших по пути. Не желаем брать винтовки, устали!

Как по дому я скучаю,
Дождался теперь случаю:
Жизнь, свобода — у окна,
Ни на хрен нужна война.

* * *

На Двинском участке фронта солдатская толпа видела проходящих немецких офицеров-парламентёров. Один из них успел громко сказать по-русски:

— Мы приезжали с мирными предложениями. Но ваши начальники не желают мира.

Фраза передалась по полкам, вызвала волнение и ропот: бросим фронт!

* * *

Срок возврата дезертирам раньше объявлялся до 15 апреля. Но, узнав из газет, а иногда уже воротясь на свою прифронтовую станцию, из разговоров, что срок явки теперь перенесен до 15 мая, — иные тут же поворачивали и ехали домой ещё на месяц.

* * *

Депутаты ГД Гронский, Демидов и Дуров, объезжая восемь корпусов на фронте, уже не первый раз встретились со случаем, что батальон, назначенный идти на смену в окопы, отказывается: он уже давно на фронте, а пусть идёт кто-нибудь из тыла. Депутаты отправились в этот батальон и пытались убедить его исполнить долг: даже если ваши требования справедливы — заменить вас сейчас же из тыла невозможно. Батальон стоял на своём. И тогда у депутатов родилось: они идут в этот батальон простыми рядовыми-добровольцами, а не просто зовут других в окопы. Это произвело огромное впечатление, солдаты заволновались. Депутаты тут же потребовали от командира полка принять их в этот батальон и обязались повиноваться воинской дисциплине и всем начальствующим лицам вплоть до унтер-офицеров. Командир полка обратился с речью к выстроенному батальону, волнуясь, борясь со слезами:

— Наши дорогие гости, члены Государственной Думы, желают послужить отечеству вместе с нами. Большое им спасибо. Зачисляю их в 1-ю головную роту.

Депутаты тут же пошли, пристроились к роте и просили командира роты выдать им обмундирование. Когда солдаты увидели, что депутаты действительно готовы идти в окопы, то стали кричать: «Мы — идём!» Тут от полкового комитета выступил вольноопределяющийся:

— Господа депутаты! Если вы поступите к нам рядовыми — это разнесётся, и станут говорить, что мы не хотели исполнить свой долг, и это наложит на нас клеймо позора. Мы умоляем вас не настаивать на своём решении.

Тут весь батальон, во главе с командиром, принялись просить депутатов отказаться, а несколько пожилых солдат стали и на колени. Демидов не выдержал сцены и удалился. Двое других сказали, что хотя бы до окопов пойдут с батальоном, — но просили их и этого не делать: «Сами пойдём!» Священник прочёл молитву — и батальон пошёл.

* * *

В середине апреля Ахтырский полк 137-й дивизии отказался сменить на позиции Полтавский полк: потому-де, что мало штыков в ротах. С большим трудом исходатайствовали ему пополнение, и оно пришло в начале мая. Но 6 мая Ахтырский полк снова отказался сменить на позиции, теперь Северо-Донецкий полк: потому-де, что не доверяют начальнику дивизии. Начальник дивизии оставил пост — но Ахтырский полк теперь заявил, что пойдёт на позиции не раньше 1 июня. По его примеру 8 мая и Волчанский полк, тоже стоявший в резерве, отказался сменить Чугуевский полк, и угрожали насильем в ответ на уговоры своего офицера. Тот офицер застрелился.

* * *

Даже бывшая деникинская «Железная» дивизия на Румынском фронте отказалась вести инженерные работы, поняв, что они есть подготовка к наступлению.

Ей последовала и соседняя стрелковая дивизия.

Солдаты многих частей теперь не хотели производить и вообще никаких работ — даже по простому поддержанию порядка. Окопы и ходы сообщения стали осыпаться, отхожие ровики не поправляются, переполняются дерьмом — и солдаты стали испражняться просто в ходах сообщения. Перестали и рубахи стирать.

Сменяющая часть отказывается принять окопы, потому что всё загажено. Сдающая уверяет: ничего не знаем, мы принимали зимой, всё было под снегом.

Пьянство, играют в карты.

* * *

Два наших пехотинца просидели весь день в окопах у немцев, вечером вернулись пьяные. В ту же ночь к нам перебежал эльзасец и рассказал, что эти двое там говорили: «Почему вы на нас не наступаете? Вы нас возьмёте голыми руками» — и объясняли, где какие роты, где пулемёт. Полковой комитет арестовал обоих. Пришли из их роты: «Если не освободите — расстреляем весь комитет». Освободили.

* * *

В Заамурской дивизии пехотинцы предупреждают офицеров артиллерии: если один раз откроют огонь по немцам — переколют их всех.

Даже и в гвардейских корпусах пехотинцы стали перерезать телефонные провода артиллерийских наблюдательных пунктов, грозят поднимать артиллеристов на штыки, если будут стрелять по немцам. Не дают открывать и пулемётного огня.

* * *

Суд полкового общества офицеров постановил удалить из полка одного из своих за недостойное поведение. Этот офицер кинулся к солдатам, призывая заступиться за него: он страдает за то, что защищал солдатские интересы. Солдаты разбушевались — их еле успокоили. А уж офицера, конечно, оставили в полку.

* * *

Большевики обычно — в задних рядах митинга, там и поддают жару. Записывайтесь все в большевики — и езжай куда хочешь! Бросим фронт всей дивизией — и пойдём делить землю!

— Зачем же мы царя свергали? — на кой чёрт нам война?

А другие:

— Штык против немцев, а приклад против внутреннего врага!
Солдаты так: «До осени, пока тепло, постоим, посмотрим, что будет, — а там и по домам».

* * *

Уже и в Особую (гвардейскую) армию проникла пропаганда мира, и есть случаи смещения командиров, даже полковых.

В Преображенском полковом комитете один из новоприбывших маршевиков резко поставил: а что делал генерал Кутепов 27–28 февраля в Петрограде? не он ли стрелял там в народ? Офицеры, члены комитета, запротестовали, что выйдут в отставку. Бывший писарь государственной роты Иван Беговой, учитель и эсер, ответил: «Кутепов — не наш, но он нам нужен. Нельзя упрекать человека, что он поступал по совести. С ним не пропадёшь». И старые солдаты поддержали.

* * *

В лейб-гвардии Московском полку одним апрельским вечером солдаты вдруг подтянулись, взяли цинки с патронами, винтовки, стали к бойницам — и зорко простояли всю ночь без понуждения, ничего не объясняя. Командир 8-й роты штабс-капитан Ласк удивился и порадовался их образумлению. А через день офицеры узнали: в тот вечер из полкового комитета было передано по ротам предупреждение: ночью офицеры уйдут к немцам, а те после этого атакуют нас.

* * *

И тем невыносимей, бессмысленней сидеть на фронте, ничего не робя: весна идёт! Хозяйственные мужики с изболелой душой ходят между комитетом и штабом:

— Явите Божескую милость, господа полковники, отпустите. Уж и пора посевная скоро пройдёт.

В медицинской комиссии тоже теперь сидят и рядят представители комитета.

Из частей уезжают и с таким письменным поручением: «узнать, что в такой губернии делается, а приехать — рассказать». Или — «за книгами, за газетами», даже — «за карандашами». Любой ротный писарь может выдать такую бумажку: «Этого революционного солдата нигде не задерживать, снабжать довольствием, имеет право везти с собой оружие».

А без всякой «бумаги» многие ещё опасаются дезертировать.

* * *

В Балтийском флоте многие офицеры под угрозой расправы должны были сами списаться с кораблей или бежать. В несколько недель флот лишился четверти офицерского состава и потерял боевую мощь.

В Кронштадте власть Временного правительства совершенно отсутствует. Никакого «двоевластия» — признаётся только петроградский Совет, да и то условно. 21 апреля на кронштадтском Совете предлагали (всё же не приняли) резолюцию: сместить всё Временное правительство, целиком.

У кронштадтских матросов от их первой революционной победы и всей воли этих двух месяцев — настроение, что и малой кучкой могут где угодно в России управлять.

И ЕЩЁ БЫ ВОЕВАЛ, ДА ВОЕВАЛО ПОТЕРЯЛ

136

Примирение с Алиной продержалось только несколько часов, вчера опять клокотало семейной бурью и дурью.

Хорошо, что на сегодня, хоть воскресенье, Георгий заранее условился с Марковым работать. С самого утра уселись проверять комплектования для 11-й и 7-й армий, затем проект возможной передвижки соседних частей — для, как будто серьёзно назначаемого, наступления: Алексеев настаивал, что оно неуклонно будет, только где уж теперь в начале мая — наверно, в середине июня. Предполагалось ныне, оставив злосчастный Ковель в покое, наступать южнее Луцка, а при удаче? — чуть ли и не на Львов?

И вдруг хватился Воротынцев: где же его размеченная, подготовленная карта? — дома забыл! (Опять же второпях, скорей вырваться.) Эх, досада! И так, что писаря не пошлешь, не растолкуешь, надо идти самому.

Да он за четверть часа рассчитывал обернуться, гонким шагом, и успел бы. Вихрем проскочил среднюю комнатку, в своей нашёл карту — и уже возвращался, ещё секунда — и ноги бы за порог, — нет! поперёк пути ему, в проходе между пианино и обеден-

ным столом, опираясь о стол пальцами, как чтобы не упасть, Алина стояла — пошатываясь? с почти закрытыми глазами — и от этой слепости пальцы второй руки выдвинула ощупью вперёд, предупреждая его движения.

Он остановился. Страшноватый был вид у Алины, но не ослепла же она, она хотела что-то важное сказать. С усилием двигался её лоб. И начала замедленно, преодолевая этот труд, выговаривать слова:

— У меня нервы — на пределе. Успокоение — не наступает. Происходит — самосгорание.

Она — как будто с гордостью это говорила. Её нервность часто выражалась как гордость.

— Да что ты, Линочка? — не столько поразился, сколько выразил Георгий. — Да когда же ты успокоишься? Когда ты перестанешь метаться?

Она открыла глаза в полноту от своей незрячести — а взгляд был совершенно живой и зоркий:

— Будто не сам ты — главная причина! Ведь ты — ничего ещё не осознал! У тебя — сердца нет.

Она как будто упивалась, она крепчала в тёмном своём состоянии, голова принимала устойчивость в закиде:

— Исхода нет. Я не вижу, как мне жить с такой судьбой. Я умоляю тебя создать мне сносную жизнь!

— Да что такое опять, Линочка? Да ведь я же тебе твёрдо... Я же искренно тебе сказал...

Что же он мог ещё?

Горько, презрительно усмехнулась, неровно в губе:

— Ты — *не имеешь права* не знать всех моих терзаний, которые давно уже превзошли всякую меру моей выносливости! Я — уже полутруп. Но я люблю тебя — со всеми твоими пороками! Я не представляю, чтобы кто-нибудь кого-нибудь мог любить сильнее, чем я тебя сейчас! Почему нет твоего ответного чувства? Такой доступный и чужой, желанный и преступный!..

Она — как роль читала, она как сомнамбулически наговаривала выученный монолог, и это было страшно. Но и — перетягивало Георгия, в какое жалкое положение он встрял. Перетопнул, попробовал слегка отвести её руку, — нет, она прочно за стол держалась.

Рано же он обрадовался её недавней примирённости! Нет, теперь он видел, что это действительно безысходно, что это —

пила, вверх, вниз, вверх, вниз, зубцы чередуются всё чаще, и нет надежды, что колебания затухнут, но становятся злоразгонными.

— Линочка, — уговорчиво сказал он, чуть касаясь её руки опять, — вообще, мы уже пятнадцать раз об этом говорили, хочешь шестнадцатый, только не сейчас. Сейчас я очень спешу.

— Нет, — напряжённо смотрела в полные глаза, — *этого* мы ещё не говорили.

Ещё не говорили! Как скучно, как неуместно, как позорно.

— Да это — кишкомотательство! По десять и по двадцать раз ты мотаешь на пальцы — свои кишки, мои кишки, и анализируешь. Но время — не такое. Пропусти, мне нужно идти.

— Нет! — ужаснулась она, как бы не веря, что он мог подобное выговорить. — Кто настоял на нашей женитьбе? — ты! Ведь я была не готова... Но воспитанная в том, что любовь — единственна в жизни... Кто звал меня годами, и в письмах — «моя единственная?.. несравненная? буду любить тебя всю жизнь»?

Через бровь, губу выдавалась внутренняя её дрожь, но она не за словами следила, а напряжённо — за собой, оттого и было впечатление сомнамбуличности.

— Тебе просто некуда девать пустого времени, ты томишься без занятий.

— Но у меня всё валится из рук!

— Но почему у других не валится?

— Потому что они здоровы!

— И ты здорова.

— Тебе бы такое здоровье!

— Ты не больна, у тебя просто смещённая точка зрения: равнодушие ко всему, а повышенный интерес только к себе. Тебе и общество для того надо...

— А что, меня многие хвалили, больше тебя!

— Из вежливости. Ты и разговоры так сводишь, чтоб тебя похвалили.

— Да! Поощрения — моя слабость. Неужели это такой большой порок? Самолюбие и должно быть у человека, а куда годится человек без самолюбия? Зато когда меня хвалят — я гораздо послушней, имей в виду.

Смотрел и он на неё большими, но и очищенными глазами: почему всегда *родной* представлялась она ему? Что она сейчас говорила — нельзя чужей.

— Алина. Надо иметь скромность признать себя средним человеком, из каких и состоит человечество, перестать возноситься — и тогда твои достоинства будут тебя украшать. Ты и готовишь отлично, и хозяйничаешь прекрасно, и на рояле играешь, — но почему это всё основание для честолюбия? Оттого тебе и счастья нет — от ложной точки зрения.

— Боже, ты бы себя слышал! Какие ты жестокости говоришь! Что у тебя за удивительная жажда меня принижать!

Не хотел, а оказался зацеп опять, по самой ране. Опять, опять перебегающее тревожное похмуривание по лбу:

— Нет, ты когда-то лжёшь! Или раньше, когда так хвалил меня, или теперь, уничтожая!

— Тылюбишь себя слишком самозабвенно. Горе и тебе и мне, если ты этого не усвоишь.

— Хватит!! Слышать не хочу! Замолчи! Не подавляй моей личности! Какая есть! Ты уничтожил меня как женщину, теперь уничтожаешь как человека! Свою жену! Которую любил! *И которую сегодня любишь!!* — выкрикивала ещё вдвое громче, с воспалёнными глазами.

— Да я только и успокаиваюсь, когда тебя не вижу. Меня эти твои взлёты и срывы...

— Ничего! — восклицала победно. — Станешь человечней к страданиям других! У тебя сейчас — полоса удачи, ты снова вознёсся и не видишь вокруг ничего!

Алина как будто прислушивалась, что делается в ней самой. И предупредила, опасно пожигая глазами:

— Во мне поднимаются чёрные силы!

— А ты — борись с ними.

Отвечала горячим взглядом (вся там внутри, прислушиваясь):

— Они могут оказаться сильнее меня!

Нет, этим сценам — не будет конца никогда, уже видно, Не отвечая, обошёл обеденный стол, чтоб иначе пройти к двери.

Но и Алина туда успела — и снова заграждала ему проход. Угрозым взглядом искала его глаз:

— Жизнью — я теперь совсем не дорожу. И даже я мечтаю, чтоб эта горькая весна стала последней весной моей жизни! Ты нанёс мне удар, после которого мне уже не подняться...

— Очнись, Алина, что ты... что мы... В какое время...

Но она не очнулась, и не запнулась, а ещё резче вскинула красивую голову на истончавшей шее:

— Ты всё мыслишь мировыми категориями. Но когда гибнет единственная душа — это всё равно что гибнет весь мир. Для меня моя гибель — и есть гибель всей вселенной! А ты, самый близкий человек, отказываешься протянуть руку помощи.

Вот эта её рука помощи, её рука — за помощью, опять ощутительно хватала за сердце. Да разве он не протянул?

Да что ж он мог больше?

Шагал в штаб, на ходу стараясь умериться.

Что ж он мог больше?

Он — потушил, всё. Он — вернулся. Что ещё?

Себя самого. Живого. Неужели мало?

Он думал — вот то самое трудное. Нет, самое трудное только теперь началось.

Теперь нужно долгим беспросветным волоком вытаскивать нашу жизнь.

А она — не приняла мира. Терпеливого мира.

Ей — нужно безграничное восхищение.

Но откуда его теперь взять?

С недоумением вспоминал, но не мог ясно вызвать ту давнюю тамбовскую неделю: да почему он вздумал жениться именно на Алине? да зачем же он ей навязывался, ещё так стремительно?

Подходил к штабу. Боже, сколько сил выматывает. Эта тягомотина, своим настойчивым чадом, приносит душе расстройство, сказать — не поверят, едва ли не горше общероссийского. Непроглядство.

А у Алексеева и Деникина было сегодня же совещание с приехавшими министрами, Милюковым и Шингарёвым. (Утром с Андреем Иванычем поздоровались тепло.)

И именно потому, что те заседали весь день, неторопливо, не поверили Марков с Воротынцевым, когда пришёл дежурный от аппаратов и, заминаясь, передал слух из Петрограда от такого же дежурного при аппарате довмина: будто Гучков — уходит? подал в отставку?..

Не может быть!?

Сильно заволновались оба.

А — почему не может быть? Только вот потому, что начальство вполне спокойно, такие события не так объявляются?

А то ведь... Воротынцев высказал, что Гучков, умный человек, понимает же: из его министерствования ничего не вышло. И даже раньше мог отставиться.

Да вот: Корнилов же ушёл с Петроградского округа, сегодня официально подтвердилось. Одно с другим и связано?

— Но это — кошмар! — уже сидеть не мог Марков, вскочил. — Как Гучков ни слаб, но если и он бросает? Да кто ж сейчас справится другой?!

А Воротынцева — холодное сознание наполнило. И он — не вскочил, а глубже ушёл в стул. Только закурил.

— А я считаю: это — важный, нужный, выразительный жест. В этом правительстве и никто не справится. Смотрите, как они растерялись на прошлой неделе. И непохоже, чтоб научились в те дни.

Событие — огромное. Не сразу вмещается.

Огромное. Но, сколько можно охватывая: не в нём беда.

— С этим правительством, Сергей Леонидыч, мы пропадём. Надо самим — что-то делать, и скорей.

И Марков, который недавно вот столько спорил, не соглашался же, — прошёл по диагонали из угла в угол, из угла в угол, двумя ладонями медленно протянул по лицу, как умылся, — и в угол же стал спиною, как уже прижатый к последней черте.

— Ну что ж, — сказал. — Наверное — да. Наверно — нам с ними нет пути.

Серебряное плетенье генеральских широких погонов с крупными звёздами. Георгиевские кресты у горла и у сердца. Дугой на груди генштабистские аксельбанты.

Но как ни промахивался Гучков, а всё-таки, пока он стоял, — был в правительстве стержень. Ещё можно было хоть немного надеяться.

— Только борьба будет, — теперь увиделось Воротынцеву, — ещё в худшей расстановке, чем мы думали вчера.

А Марков, всё так же припёртый в угол, призакинул голову — и навстречу тому, ещё не видимому зареву:

— Я — солдат по рождению, по натуре, по образованию, и что б они там в обществе ни мудрили — я знаю, что Армию — не отдам Совету! Как бы ни были наши шансы малы — не поверю,

чтобы великий народ мог так безславно и так быстро пасть. Пути спасения — должны быть.

137

Когда посылали делегацию из 11-й армии в Питер — узнать, как там и что делается, — никому и в голову не вступало, что они тут засядут в главном Белом зале как судьи, а перед ними как по верёвочке будут проходить все министры и оправдываться. Но Горовой это понял для себя не как высокую честь, а как непривычную работу, за которую в корпусе с него спросят: там в окопах сидят ребята — им Питера не видно, всё в тумане. Шлют доведаться: как рабочие? — по скольку часов работают? сколько выработывают и сколько получают? говорят — отлынивают, так коли можно — навести с ними порядок. Потом — белобилетники: добиться полной их проверки, и метлой на фронт, кто укрывается. Ещё и рабочих на заводах проверять: какие до войны вступлены — пусть там, а какие уже с войны — значит, спрячутся, всех на фронт! И по всем запасным полкам прочистить: офицеры ли, солдаты, кто досе на передовых позициях не был — всех сюда! Потом с дезертирами: надо ж им железный предел положить, гнать сюда, альбо судить, — а что ж нам за них отдуваться, тогда и мы тронемся? Ещё, говорят, военнопленных у нас дюже распустили, что немцев, что австрияков, вольно содержатся, промеж наших баб живут как дома, — нам тогда сидеть тут скрубно, а ещё и работу перебирают, морды наеденные. Ну а превыше всего: как же из войны выбрать-ся? как её кончить, треклятую? И — кого армии слушать: одни приказы от генералов, другие от Совета? А в том Совете, говорят, одни питерские тыловые засели, а от боевых армий нет никого, — так с какой совестью они нами могут управлять?

Фрол Горовой и никогда не был камнем лежачим, под который не течёт, но всегда горячо поворачивался. И тут — к месту его выбрали. Он уже не первую неделю задумывался, что от старого строя к новому пока удобрилось не слишком многое, а то и — хуже пошло. И ежели раньше обо всём царь должен был думать, а нам заботушки мало, — так теперь слишком непонятно: думает ли вообще кто? И — те ли люди думают? Теперь такое время настало, что если сами быстро не возьмёмся, так и в провал всё прогр-

хаем, и самих себя. И решимо поехал Горовой в Питер — искать, где ж оно, верное. И нежданно попал в этот главный думский зал. (А повидал один день, как сами думские заседали: ох, неладно у них, сильно они с места сшиблены, и нами уже никак не управят, на них не надёжа.)

Собралось фронтовых делегатов, от разных армий, сразу человек за полтора, все рядом сели и опознавались тут на ходу. Были тут и щелкопёры, кто и в окопах не сидел, а затесался вот. Но больше подобрались ребята дельные, не столько торопились языком чесать, сколько слушать, и друг со другом сознакамливались и между собой сталкивались, что́ в этом мудром Питере делать. Хотя делегаты были вроде себе хозяева, и сами же председателя выбирали и помощников ему, — а веденье собранья всё время как-то ухлывало из их рук, а выходили один за другим сильно бойкие от Совета и обо всём говорили как о готовом. И на заводы, мол, идти нечего, там уже всё проверено, рабочие не виноваты в ослаблении работ, а виноваты хозяева, не озаботясь о достаточном сырье и топливе. И белобилетники, мол, тоже будут проверяться, это дело небыстрое. И к военнопленным не надо зверства, это наши интернациональные пролетарии.

Но и Горовой знал себя бойким и звонголосым, его всегда все слушали, — и тут он стал с места голос подавать в опровержение, так и его узнавали, и он других. Однако два раза он требовал принять железное постановление против дезертиров — а из Совета как-то отводили, подождём.

Мы — ещё слишком простые, какой-то хватки у нас нет. Выйдет наш: «Братцы, дорогие! Мы друг друга понимаем...» — и самые самодельные слова. И правда понимаем — вот это верно! это наше! — а до последнего дела никак не дотянем.

Или выступил один, полез туда, на вышку, с котомкой, — это же зачем?

— Поклон от товарищей в окопах! благодарим всех передовых борцов за добытую свободу. Не знаю, правильно ли рассуживаю своим тёмным умом. А нельзя ли нам по телеграфу прямо обратиться в берлинский совет рабочих и солдатских депутатов? Мы в окопах толковали, как и нам принять участие во всенародном деле. И вот: в этом мешке все наши кровью добытые награды, себе не оставил никто. Мы отдаём их с нерушимой клятвой положить нашу жизнь за свободу.

Не выдержал Горовой, закричал на весь зал:

— Зась тебе! Отвези назад, пентюх, раздай ребятам!

Вот только это мы и умеем: отодрать от груди кровное серебрецо — и кому? и что? тут не по стольку в трубу пускают... Не с того конца мы берёмся, этак мы пропадём.

У самого Горового два Георгия на высокой груди. И ещё не родился тот оратарь, которому, расплакавшись, снял бы Фрол свои награды.

И прапорщик Чернега, отлитой, с усами светленькими, отне-вдали гулко поддал:

— Правильно, унтер! Так и руби!

Чернега, зубы навЫскале, Горовому ровесник, а ещё и не женат, и детей нет. (Сколько по Руси рассеял — сам не знает.) Они в Петроград со своими делегациями в один день приехали, мало что не одним поездом и трамваем, а тут в Таврическом сразу соткнулись и позвали их на это совещание, какого они себе и не прочили. А совещание это засело уже седьмой день, и решили теперь не разъезжаться, покуда всех-всех министров не переслушают и вдокон не разберутся: что ж в этом Питере делается и что надо делать на фронте?

Тут ещё, чтоб уметь, — надо слова все знать, без слов теперь никуда. Кончил Горовой когда-то два класса городского училища, читать-писать грамотно научился, а остальное — от твоей головы. И книжки же потом кой-какие почитывал на досуге — а вот этих слов ни одного никогда не встречал. А без них теперь — потонешь: и на совещании этом хоть и не сиди.

Так братья по нужде! Купил себе Горовой книжечку такую, для записи, и два карандаша на подсменку, как затупляются. И как новое слово услышит — так тут же его записывает на ухо, а ухо у него верное, — и что оно может значить приближно. Но чаще — и приближно не угадаешь, а спрашивай у знающего, офицера или кого, и тогда записывай. Поначалу кажется: ну, дух перенимает, ну, этих слов никогда не перечислить, не объять. А потом: э, нет, повторяться начинают, уже их узнаёшь.

Ещё от места знал он несколько: демократия — это значит новый порядок, как сейчас, без власти; пролетариат — это кто сам своими руками работает, вот как ты, первый рамонский бочар; программа — это значит, что наметила партия делать. Но дальше слова нарастали комом, и каждый день помногу: реформа, фракция, коалиция, диктатура, сепаратный, активный, организовать,

интернационал, результат, перспектива, мотив, диагноз, колоссальный, трагизм, организм, метализм — ёлки-палки! А там хуже, хуже: психологически, константировать, иерархия, протипонизм, этузиазм, санкционировать — не всегда и записать успеешь, и не каждый офицер тебе объяснит. И всё же — добивался Горовой объяснений, а потом, с книжечкой сверяясь, уже и говорщиков понимал. Только быстрая хватка его и выручала, но попотеешь. И больше эти слова нагораживали советские-партийные, а министры — те даже проще.

В той же книжечке и фамилии записывал — и фамилиев мелькало немало, их тоже знать надо, если хочешь разбираться.

Вчера пришёл военный министр Гучков — сам-то из постели, говорит, но деловой. Но и, однако, силы в нём нету, зовёт на победу — а армию ему не вести, нет.

А нам — как раз вождя надо крепкого. Уже руки онемели — винтовку держать, в головах тьма разбрелась, долга война, долга не в меру, — вождя нам надо крепкого.

Потом Керенский, живчик вертлявый, совсем и не к военному делу приставлен, а долго почему-то говорил, да захлёбывался, да весь душой исходил, как будто с церковной паперти каялся, что душа его неспокойна, что дело так пойдёт к гибели, — это он верно забирал, прислушались ребята, — и жалеет, что не умер два месяца назад, — а это уж как в лужу. Всё пугал, пугал, как может плохо пойти, а что ж *делать-то* нам? Не сказал. Остерегайтесь, есть суд истории, трезвость, дисциплина, а как нам из ямы выбираться — не сказал.

Вот то-то и оно. Оно-то самое и трудное. Но — надо найти. И нам самим — тоже искать, вот здесь хотя б собравшимся.

Но и самим думать не дают, всё время от Совета руководствуют, вчера — длинный такой кавказец Церетели был председатель. Тоже долго внушал.

А сегодня объявили, что будут выступать один за другим три помощника военного министра, — и да, вот они все явились, три генерала, и ждали очереди перед солдатами объясниться, вот как!

Сперва — генерал Маниковский. Военное снабжение — величайшая тайна, и подробно нельзя её тут объяснять. Никто не знал масштабов войны, сперва запасов было только на 4 месяца. А в 16-м году как стали нагонять — так посадил нас транспорт. Но сей-

час заводы работают хорошо, и уже с лихвой покрыли революционный перерыв. (Ой, врёт, наверно.) Ждём помощи из-за границы, самая мощная — Америка, хотя одно время казалось, не действует ли она заодно с немцами: как идёт судно с русским заказом — так взрыв или пожар. А теперь — будет исполнять.

По снабжению — так стали ему и кидать: почему пулемётов на фронте мало? и телефонных аппаратов? а в Петрограде — сколько хочешь.

И генерал — совсем по откровенности:

— Вы знаете, какое подлое, подозрительное время мы переживаем. Пойдёшь отнимать — заподозрят: куда, зачем? А вы пойдите сами в Совет и требуйте, чтоб каждый пулемёт был возвращён в армию.

Горовой — звонко через зал:

— А почему мы не видим на фронте автомобилей? Раненых трясут в телегах. А тут — весь Питер на автомобилях катается, и сестёр катают.

И со всех сторон кричат: верно! верно!

И генерал улыбается:

— Правильно, правильно. А вы, господа, обратитесь сами в Совет и скажите, что это — недопустимо.

— Нет, прикажите им вы!

— В том-то и беда, — жмётся генерал, и самому смешно, — что не послушают они нас. Это — вы прикажите!

Шумно плескали ему. Вот дошло — чтоб мы сами приказали! Так мы не даром сюда сошлись, надо нам, ребята, что-то устроить. А, Кожедров?

Кожедров всё молчит. А в кулаках — по пуду.

Второй генерал — Филатьев, по финансам и по законам.

— Я — даю деньги на войну. И вот этой самой рукой каждые три дня подписываю ассигновку в 100 миллионов. Но война стоит ещё больше того — 40 миллионов в день.

Мам-ма родная!

А пострадавшим от войны пособия? Будут всем. А отставленным генералам почему пенсии большие платят? А вот: генерал Белев, под следствием, содержится на 40 копеек в день.

Довольна братва.

Ещё генерал, Новицкий. Этот — мол, ничего не успеваем:

— События идут с головокружительной быстротой. Мы работаем по 24 часа в сутки, и праздников нет.

Так и мы 24 и без праздников, удивил! А офицеры, засевшие в тылу? Будут отправлены на фронт. А которые уклоняются через Красный Крест и Земгор? Мол, нельзя, окажемся в затруднительном положении; но санитаров моложе сорока лет пошлём на передовые. А маршевые роты, будут идти? А как отдание чести? Вот — на днях приказ, отменим.

Ну и дураки, думает Горовой. Честь бы и не отменять, крепче держалось.

Теперь — ещё один генерал, Бурденко, по санитарной части. Во, раскозырялись генералы. Но — как будто и четырёх этих генералов мало — объявляют: сейчас опять будет выступать сам военный министр!

Во как! То знать нас не хотел — а то два дня подряд.

Чернега щёки толстые надул, посмеивается: мол, это я туда съездил, я их всех подрасчистил.

А Гучков — если и вчера из постели был, то сегодня и вовсе — тёмный, болезный, и голос некрепкий, но тихо в зале:

— Разрешите мне говорить с вами не как военному министру. Я буду говорить с вами как русский человек. Сегодня я передал Временному правительству письменное заявление с просьбой освободить меня от поста.

И прочёл то заявление.

Замер зал: о-го-го-го, куда зашло! Ежели военный министр откажется — то в каком же положении, значит, армия? мы с вами?..

А Гучков — печалуясь:

— Но на мне лежит ещё одна серьёзная обязанность: дать отчёт вам, а через ваши головы вашим товарищам, всей доблестной армии, и всем русским людям, — почему я вынужден был решиться на этот шаг. Я — вообще мало чего боюсь, а прежде всего боюсь — голоса собственной совести. Входя во Временное правительство — я не искал власти, не домогался её. Господа! И 12 лет назад меня два раза звали к власти, и я два раза отказывался. Я не могу оставаться во Временном правительстве потому, что сегодня вся правительственная власть и военный министр поставлены в такие условия, что выполнять свои задачи — не могут.

Это — он говорил, а понял Горовой: пришёл министр — пожаловаться на кого-то. Им — первым, а через них всем.

— ...Через вас я обращаюсь к демократии и всему русскому народу. И у демократии, как и у всякого владыки, есть льстецы, которые хотят затуманить ей голову.

Пра-авда! — обрадовался Горовой. Он и сам, потёршись, уже чувствовал: что где-то близко кривда вьётся, душит — да вот как её хватить? Ну-ка, ну-ка!

— Господа, я штатский по костюму, но глубоко военный человек по душе. Народ, который сумеет создать сильную армию, — достигнет величественных успехов и на мирном пути. Я пережил, господа, четыре войны. Когда на полях Маньчжурии я сидел у костров с солдатами и обдумывал причины наших неудач — я дал себе Ганнибалову клятву посвятить свою жизнь восстановлению военного могущества русской армии. И были годы — у меня была такая возможность, председателя думской комиссии обороны, и работа закипела. Господа, я не люблю выставлять себя, хвастать. Но если вы будете иметь досуг пересмотреть мои речи в 3-й Думе — вы увидите, что нет ни одного большого места, которое не было бы мною затронуто. В 1908 я указывал на безответственность великих князей. Это теперь может каждый свободно бранить их, а я говорил — тогда!

Э-э-э, что-то далеко угнулся от дела. И — где эти речи искать? А, да вот он сам и читал оттуда.

Читал — а вперемежку объяснял. Артиллерийское ведомство. Преступник Сухомлинов. Банда шпионов. Натравили Мясоедова. Стрелялся с ним. Родные с трепетом ждали, вернусь ли. И как это я, хороший стрелок, — промахнулся? А — не хотел избавить того негодяя от виселицы, которую он потом и получил.

И — стали простаки хлопать. Половина — и нашлась дураков, одни зачали, другие в поддержку. И кто там на верхе, позади спины Гучкова уместился, тоже в ладоши треплют.

Но — только не Горовой. Посмотрел — и не Чернега. И кого за эти дни он приметил как путёвых, деловых — сидели, руки не шевеля.

Не-ет, не то, брат. Эти басни нас уже не греют. Ты нам про сегодня скажи.

А Гучков пождал, пождал, когда отхлопают, — и, довольный, завёл опять из давнишнего. Как гвардейские полки провожали на войну с цветами. А он предупреждал власти, что будет поражение. И писал, и сам приезжал, — а начальство ему не верило. Только после Карпат власть испугалась. И все деловые люди впряглись в общий воз. И он сам тоже. И всё равно катились вниз. И поняли, что со старой властью работать нельзя, надо её свергать.

Эти-то годы — и Горовой хорошо испытал. Два раза и он был ранен, один раз перелечивался вблизи, чтобы своего полка не потерять. А между прочим — тогда порядок был, не сравни.

— И что бы ни ждало Россию в будущем, я скажу: акт свержения старой власти был актом благодатным. И вот почему и я сделался революционером.

Да ты про будущее-то лучше скажи! (Вот ещё «акт» записать.)

— Первые недели после переворота мы переживали энтузиазм. Казалось: каждый теперь — творец счастья России. Но с тех пор произошёл перелом. Я понимаю: армия устала, беспросветная война без удачи. Мы провели много благодетельных реформ, мы хотели дать выход проснувшемуся духу самостоятельности и свободы. Но есть предел, за которым начинается обратное: разрушение живого и своеобразного организма армии. Мне думается, мы перешли эту черту.

Да. И об этом ты расскажи, сударь. Мы если перешли — так за тобой.

— Господа, надо же осмотреться и кругом. Мы уважаем Англию за её демократические свободы, но даже в Соединённых Штатах, даже в Англии признаётся, что в армии должна быть принудительная власть. Мы же, в молодом увлечении, вкусив свободу, переступили роковую черту. И ни одно государство в мире не управляется сейчас так, как русское. Нельзя, чтобы с вождей была снята личная ответственность, а каждый бы их шаг связан собраниями и митингами. Государство не может строиться на решении съездов, групп и митингов.

Вот когда он заговорил дело. Горовой теперь слова не проранивал и собирал лоб. Вот тут оно, рядом! Только опять же и мы — такой же случайный съезд: кто мы? что мы?

— Есть известные устои, которые шатать и трогать нельзя. Это грозит свести в могилу и нашу свободу. Кто из народов не создал власти — их путь пошёл через кровавую анархию к деспотизму. Хотя трудно уже найти выход: наш путь ведёт нас к гибели!

Слушали — волос дыбеет. И этот, второй, тоже про гибель?

Вот оно. Как бы не переуторивать теперь всю бочку заново.

— Иногда кажется: только чудо может нас спасти. Но я — верю в чудеса. Я верю, что светлое озарение проникнет в народные умы — и даровитый русский народ, прозревший народ, выведет Россию на светлый путь. Господа! Не дайте разрушить русскую ар-

мию! — за ней погибнет сама Россия. Когда вы вернётесь в свои корпуса, дивизии, полки... Только если мы отметём тот лживый фимиам, которым нас окружают... Как русский человек обращаясь к вам с горячей мольбой: помогите!

Хлопали. И Горовой тоже. Всё так, под конец он от души сек — и видно, что сам надорвался. Сразу ушёл, лицо сморщенное.

Всё так. А хоть сказал, что ничего не боится, — а боится: кто ж всему помеха? — не посмел. То всё про старое, про старое, потом сразу про гибель и светлое будущее, — а между ними-то, в расселине, по развалинам и ползёт Кривда, — а вот её и не дал схватить, не помог.

И — что ж делать надо? Тоже и он не сказал.

Тут бы часа на два перерыв — да подумать, да обговорить — куда там! В нашем цирке — следующий номер выступает.

Ждали Ленина, который день, — не шёл. Подивиться бы на него — какой такой отчаянный, под Вильгельмом проехал. Ни про кого в Питере столько молвы нет, сколько про Ленина, — а никто его не видит, где-то забился как паук. Все дни не шёл — на сегодня уже вовсе строго вызвали его, уже все министры перед нами прошли — а он что за цаца? А вот — опять не пришёл. Вместо него, объявили: ближайший ленинец, с Лениным приехал, — Зиновьев.

И нашлись, которые сразу ему тут и захопали, — среди них нашей же 11-й армии прапорщик Крыленко, замухранец.

Поднялся на трибуну — какой-то мешок, бабистый, курчавый, и росту небольшого. Думалось — его и еле слышно будет, нет, тонкий голос, а взносчивый.

И сразу стал объяснять, почему через Германию ехали.

— Мы рвались в Россию, чтоб участвовать в великой борьбе, которую вы начали. Но мы знали, что ни одно буржуазное правительство не поможет нам проехать. Во Французской республике социалисты и сейчас сидят в тюрьмах за то, что призывали к миру. А в Германии Либкнехт.

Этого кто-то знал и закричал:

— Далек вашему Ленину до Либкнехта.

И ещё стали кричать. А Горового такое зло разобрало: ещё этот мешок дерьма нас учить приехал! нас в окопах бьют, а он через Германию едет — и нас наставлять! Да вложил два пальца в рот и свистанул на весь залище, прорезал всем уши.

Ещё шибче поднялось. Кричат «долой», не дают тому говорить. А Крыленко тоже, пинюгай, вскочил — «к порядку!», и на Горового грозится. Ну, ещё там, в армии, разберёмся.

Так и сяк орут. Кто-то стал кричать: мандаты проверить, тут посторонние набрались среди нас! И правда вроде поднабралось, есть тут глазом не примеченные.

Но мандаты проверять — работа долгая, а уже и проголодались, уже и на обед бы скоро. Так для того и собрались же, чтоб слушать, кого не слушали. Ну пускай, ладно.

А этот вбирается рылом и роет, роет своё. А прижатый:

— Мы непрерывно посылали телеграммы в Совет рабочих и солдатских депутатов, но телеграммы наши задерживались. Тогда не мы, а товарищ Мартов выдвинул идею обменять политических эмигрантов на интернированных германцев. И вот совещание французских и швейцарских социалистов постановило, что мы обязательно должны ехать через Германию. И это ложь, что нас везли в богатом вагоне, — в самом обыкновенном. А когда германские социал-демократы хотели явиться к нам в вагон с приветствием — мы сказали, что нанесём им оскорбление действием, потому что они связаны с Вильгельмом.

Ах, балабан лукавый. Шумнул ему, как выстрелил, Горовой:

— А теперь *вы* — не связаны?

Но Зиновьев вроде не слышал, да морда у него безчувственная, его хоть по щеке лупи, он своё:

— Исполнительный Комитет Совета одобрил наше поведение. А теперь едут через Германию товарищ Мартов, Аксельрод и другие видные социалисты. И все проехавшие через Германию *жаждут*, чтоб их предали суду! Потому что этот суд окажется судом против Временного правительства. — Ага, уже покусывает. И крепчает голос (откуда голос такой в мешке?). — Я уверен, что если мне дадут месяц, чтоб объясниться с населением, то нет такой силы, которая разделила бы большевицкую партию с народом: наша партия выражает то, что на душе у народа!

Ну, обвисляй, рассвободился уже. Ещё прошёл шумок, кто с соседом, кто и похлопал, опять же Крыленко, а может и из подсаженных, не прервали, дальше. А тот видит, что выбрался, и — крепче:

— Войну — решили не рабочие, не крестьяне и даже не Государственная Дума, а разбойники Николай с Вильгельмом. А тре-

тий с ними — английский король. И в Италии, и в Японии тоже есть монархисты, которые вешают социалистов. И надо свергнуть все монархии, а не нападать только на одну германскую. Что просто «Германия напала на нас» — вульгарное рассуждение, в нём нет ни тени объективности.

То есть, Горовой толкует Кожедрову, германскую сторону застывает.

— Припомните 1898 год, Фашоду. — (Эт' ещё чего?) — Тогда английский капитал победил. Это ложь, что Англия давно наша союзница: в русско-японскую войну она стояла за спиной Японии, помогала ей. А Сердечное Соглашение — это чтобы вместе грабить Персию.

— Верно! — одобрительно воскликнул — кто же? — прапорщик Чернега.

— Мы должны знать, во имя чего ведётся война. Все тайные договора должны быть опубликованы — те договора, которые Милоков и сейчас признаёт существующими. Что война не изменила своего классового характера от революции — больше всего и доказывается неопубликованием договоров.

— Долой их! — крикнули. (Кого? — большевиков? договора? — договора, знать.)

— Вы, идущие в окопы проливать свою кровь, имеете право знать эти договора! Там — о разграблении Турции, Африки...

— Тогда и немцы узнают! — ему.

— Да немцы знают их лучше нас. Их не знает только наш русский народ. В этих договорах торгуют народами как скотом.

Во закидывает. А может, и правда чего такое там кроется?

— А ещё виновники войны — банки! Обревизовать банки: кто их члены? может нынешние министры? То-то правительство и не хочет разрешить земельный вопрос в интересах крестьянства. Тормозит введение 8-часового дня. Препятствует всеобщему вооружению народа. Издают провокаторский циркуляр о запрещении братания, явно контрреволюционные меры. А расстрел солдат на петроградских улицах организован кадетами! Там пока будет работать следственная комиссия — а мы молчать об этом не можем.

Разогнался про всё, аж в ушах лещит.

— А что делать? Как войну кончать? Сепаратным миром? — из зала ему.

— Никогда большевики не были за сепаратный мир, это низкая клевета! Мы не говорим — втыкать штык в землю. Нельзя

окончить эту войну отказом с одной стороны. Война кончится тогда, когда все народы поймут, что льётся кровь из-за буржуазии. Войну можно кончить только переходом всей государственной власти в руки пролетариата в нескольких воюющих странах. Если революционный класс возьмёт власть — то открытое предложение мира создаст полное доверие рабочих воюющих стран друг к другу — и приведёт к восстанию против империалистических правительств.

— Так это ещё десять лет ждать? — поддал Горовой.

— Конечно, это трудная задача. Но власть капиталистов ведёт человечество прямо к гибели.

— А кто это революционный класс?

Чернега:

— Так нам что, идти на Петроград, ещё один переворот делать?

— Революционный класс — это пролетариат и батраки. А капиталисты опираются на зажиточное крестьянство и на мелких хозяйчиков.

Мелких хозяйчиков? Тут стал смекать Горовой, что сам он — вовсе не пролетариат.

— Да ты скажи, как войну кончать??

Война! — вот это и вопрос, никто ответа не знает. Ясно, что чем скорей покончат, тем лучше, все этого хотят. Но и просто отхлынуть нашей стороне нельзя.

— А для этого — братание, — отвечает Зиновьев. — То, что немцы братаются, — уже есть признак нарастающей революции у них. А мы, большевики, хотим братания на всех фронтах Европы и об этом заботимся.

Ну, это ты себе возьми. Братанье-то по немецкой команде идёт, крючок.

И другие орут про войну вот так, разное, расступленно, — а Зиновьев уже и не отвечает. Он дальше:

— Земля? Нет силы, которая помешала бы нам осуществить лозунг «земля — народу». Немедленно нужно взять всю землю! И удельную, и церковную, и монастырскую, и помещичью! Если мы не заберём землю теперь — мы её потом не получим!

Пообвисла губа у Кожедрова, а весь не пошевелится.

— Буржуазия должна уйти от власти, потому что её немного, кучка. А должна быть объявлена диктатура рабочих, солдатских и батрацких депутатов.

А крестьянских же куда?..

— Нечего опасаться, что они не подготовлены. Власть Советов приведёт страну к счастью! И это будет самый страшный удар по Вильгельму. Наша буржуазия своими нотами только разжигает у немцев желание воевать. Вильгельм говорит: видите, русские хотят нас покорить. А братания — теперь никто не задержит. Немецкие дворянчики выведывают наши тайны? — солдаты могут легко проверить, что не так. Мне рассказывали, что в наши окопы немецкие солдаты принесли трупы двух немецких офицеров, которые мешали им брататься.

— Ну, это врётся, — басовито сказал Чернега, но не кричал туда, вперёд, а тут, поблизости. — Такого не было. И зачем нести? у себя б и уложили.

— Конечно, — всё громчел Зиновьев, — братание должно быть организовано на всех фронтах, в международном масштабе, и вот будет мир. — И уже в воп: — Вся власть Советам! И эта власть даст мир! хлеб! и свободу!

Да свободы у нас по горло. И хлеб ещё есть. А вот как с войной? Похлопали кой-кто и этому.

Объявили перекур. Тут же в зале и закурили. Потолкались. Подходил Крыленко как председатель армейского комитета отчитывать Горового, зачем так против большевиков.

— А почему — батрацких? А крестьянских куда дели?

— Ну и крестьянских, конечно, это он пропустил.

— А ремесловых? Меня вот — куда?

После перерыва выступал доктор, Менциковский. Мол, если власть и перейдёт в руки Советов — так Вильгельм тоже не испугается, прошли те времена, когда стены рушились от иерихонской трубы. Пока германская демократия не проснулась — мы обязаны вооружиться до зубов и дать отпор. Мы-то братаемся чистосердечно, а они — по указаниям из германского генерального штаба.

Вот то-то и оно.

Тут вышел Церетели, который вчера весь день направлял, а сегодня сплосал, к концу Зиновьева приехал. И теперь предложил: пусть они с Зиновьевым будут по очереди на одни и те же вопросы отвечать.

А нам ещё лучше: вроде борьбы, поглядеть.

А Зиновьев в перерыве не ушмыгнул — и прихвачен.

Так вот первый вопрос: публиковать ли тайные договоры?

Зиновьев сильно голос снизил и опять обвисает, по-бабски. Он не сказал прямо, что надо публиковать, а: какие ж это союзники, если они за одно только распубликование грязных царских договоров готовы мстить русскому народу? Неужели такие союзники, что могут всадить нож в спину России?

Церетели: вот решайте вы сами, разумом. Если договоры опубликует одна Россия — это натравит всех на Россию. А немцы-то с австрийцами своих не опубликуют. Наш Совет предлагает больше: те договоры — отменить! — но только с согласия Англии, Франции, Японии.

Зиновьев: а каким же, по-вашему, способом можно заручиться помощью демократии всех стран, если не опубликованием договоров? Немедленно показать рабочим всех стран, какие грязные договора заключили империалисты, и тогда рабочие и крестьяне поднимутся.

Церетели: а почему вы, большевики, всегда останавливаетесь на полдороге? в чём секрет, что вы ни разу не договариваете до конца: не предлагаете сразу разорвать с державами Согласия и заключить сепаратный мир с Германией? Что вам мешает??

Захлопали шибко.

— Смею уверить товарища Зиновьева, что Тома во Франции и Гендерсон в Англии прекрасно знают содержание тайных договоров, — и если они санкционируют, то потому, что хотят спасти свою родину от германского разгрома.

Этак поживей пошло, собранию понравилось: вы схватывайтесь, а мы послушаем.

Только уже животы подвело. Будет и завтра день. На завтра!

БРЕХАТЬ — НЕ ПАХАТЬ, НЕ ЦЕПОМ МОТАТЬ

ДОКУМЕНТЫ — 21

Петроград, 30 апреля

ГУЧКОВ — кн. ЛЬВОВУ

Милостивый государь князь Георгий Евгеньевич!

Ввиду тех условий, в которые поставлена правительственная власть в стране, а в частности власть военного и морского министра, условий, которые я не в силах изменить и которые грозят роковыми последствиями армии и флоту, и свободе, и самому бытию России, — я по совести не могу далее нести обязанности военного и морского министра и разделять ответственность за тот тяжкий грех, который творится в отношении родины...

А. Гучков

138

Сила революционного вождя именно и проявляется в критические минуты, когда штурвал у тебя выбивают из рук. Но в такие-то минуты Ленин и не поддавался хныканью, тут-то он и был всегда наиболее подвижен, цепок и находчив.

Первый такой, и самый опасный, момент был сразу после проезда Германии. Благополучно прошли. Второй — 20–21 апреля. Прошли. Но внутри партии отдалось сильнее — и это было Ленину совсем неожиданно. Вечером 22 апреля, при закрытии городской конференции, которую Ленин и вообще не считал себе за форум, не видя с кем там разговаривать, раздавалось такое: надо выяснить, насколько ЦК в эти дни оказался не на высоте положения? Выразить недоверие ЦК! «Придётся высечь и ЦК!» «Надо скорей выбрать новый ЦК». (Сразу выставил им Зиновьева: когда партия едина — нельзя не доверять ЦК!)

Так извлечь уроки для партии пролетариата! Да, кризис обнаружил недостатки нашей организации. За работу исправления её! На каждом заводе, в каждой роте, в каждом квартале наша организация должна действовать как один человек. (И к каждой такой организации должны быть проверенные крепкие нити от центра.)

И в прошлый понедельник перед полуторастью делегатами всероссийской конференции Ленин уверенно вышел со своим остро и

сложно составленным докладом о текущем моменте — и снова не ожидал сопротивления — и снова стали рвать у него штурвал из рук. Каменев выставлялся как бы более ярким революционером: как можно от *действия* теперь звать к *разъяснениям*? И Ленин стал выглядеть внутри партии болтуном, который ничего не предлагает, кроме агитации и пропаганды? Парадокс! Тактику «разъяснения» он принял для внешних врагов, под травлей, но сейчас и среди своих не мог открыть: за этим «разъяснением» стоят наши миллионные тиражи, каких нет ни у кого и которые решат дело! Важно не сбросить темп движения, вот и всё! Но не только Каменев оказался твёрже ожидаемого, выступали москвичи: Ногин, Рыков, совсем новые люди, не привычный круг десятилетий, Ленин с ними заседает впервые. А Дзержинский о них: товарищи, которые с нами пережили революцию *практически*... (Подколка.) И ощутил Ленин, что его резолюция может вполне и вполне не собрать голосов. Распорядился не помещать в «Правде» этих выступлений, не расстраивать сознания рядовых большевиков. И круто изменил тактику: не предложил готовой резолюции, пусть поработает резолютивная комиссия (выиграть несколько дней, переманеврировать силы, оттянуть до конца конференции). А пока на заседаниях текли другие вопросы, успевая и с каждым из них, — Ленин от своей огромной резолюции стал откалывать куски отдельных резолюций — отношение к войне, отношение к Временному правительству, отношение к Интернационалу, — и они проходили в той форме, как нужно, а в последнюю вот эту ночь, и когда часть делегатов уехала, протянул Ленин и остатки текущего момента уже в новом виде. (Да не забудем, что наши резолюции и не приспособлены для широких масс, они только объединят деятельность наших агитаторов.)

И при новом виде резолюции — Ленин не потерпел поражения, Каменев уже не сражался. И та программа, что три недели назад воспринималась как дикая — вот и стала, по кускам, официальной программой партии.

Каменев пока, на данном этапе, останется нашим делегатом в Исполнительном Комитете, хотя и неточный выразитель партийной линии: он хорош для выступлений, респектабельная фигура, и хватит с него. А живое дело — течёт другими каналами. На живое дело всё больше выдвигался Зиновьев. Совершенно доверенный в швейцарские годы и в курсе всех последних секретов — он и в Петрограде быстро приспособился, писал в «Правду»

статью за статьёй, и ещё обнаружился в новом качестве оратора. На конференции выдвигал его Ленин с частью докладов или ответов вместо себя — Григорий говорил абсолютно слово в слово как надо, его рост архирадует. Тогда, зная его трусоватость, Ленин подкрепил его, что нечего бояться и аудиторий массовых, — нас сейчас никто тронуть не посмеет. И Зиновьев — решился, и отлично справился в Морском корпусе, и на Франко-Русском заводе. И вот на сегодня требовало Ленина совещание фронтовых делегатов (наш Крыленко там), — послал Ленин вместо себя Зиновьева. Инструктировал: быть в меньшинстве — это большое преимущество, можно всё время идти в атаку. Самые выгодные лозунги: земля народу! опубликование тайных договоров! и раскрыть сундуки буржуазии! А про войну говорите особенно умело — тут искусство!

Между прочим присматривался и к Сталину: очень выдержанный, скромный, а умеет *нажать* на людей, где ему покажешь.

Поиск правильного пути в каждой данной ситуации в каждую данную минуту и есть высшее дело революционного вождя. И в поиске лозунгов новых и новых — постоянно быть настороже ко всему приходящему новому, хватывать их — и на партийное знамя. Промелькнуло в прениях о трудовой повинности — да! несомненно! — общая трудовая повинность — это нечто новое, такое, что составляет часть социалистического целого. Промелькнуло в прениях, что сейчас по России провинциальные советы уже гораздо решительнее и успешнее берут местную власть, чего нет в Петрограде, — да! это замечательно! и вспомним, что Французская революция тоже пережила полосу муниципальной революции, местные самоуправления стали её опорой. Мы узнаём эту ситуацию у нас! — возможно, и наша революция теперь потечёт через провинцию. (Впрочем, в Казанском Совете нашим и говорить не дают.) В столицах требуется долгая подготовка сил пролетариата, а на местах — уже можно непосредственно двигать революцию дальше, переходя к контролю над производством и распределением продуктов! В этом залог второго этапа революции!! (Григорий, всё время говорите: вся власть — не Совету, *этому*, а вообще — Советам!) Советы могут действовать без полиции, так как у них есть вооружённые солдаты. Советы могут заменить собой и старое чиновничество. Устраивать полную автономию мест, всевластие вооружённых рабоче-крестьянских масс!

Вот станет Россия одной ногой в социализм — и отметём старое ходячее выражение, что социализм — это «массовая казарма», «массовое чиновничество», — мы вообще обойдёмся без чиновничества! И крестьяне — заинтересованы в социалистических преобразованиях, а хватит ли у них организованности — мы за них не отвечаем.

Контрреволюционная агитация Гучкова в армии? — так все-сторонне усилим самочинные действия на местах и в воинских частях — к осуществлению свобод!

А революция — вдруг совершенно неожиданно сама толкнулась в центре: сегодня — отставка Гучкова! Ошеломительное известие!! (И в самый же день отставки опубликовали в «Правде» охлаждающую резолюцию: предостеречь народ не сосредотачивать внимания на замене в министерстве одного лица другим, это безпринципная борьба парламентских клик, — и вдруг...) Главный столп Временного правительства — и так мгновенно пал!

А может — за ним слетит и всё правительство?? Так борьба этих дней уже себя оправдала! Сбили самого опасного, кто способен схватить власть и держать. А остальных — вышибем!

Гучков!? — никак не ожидал.

Но — именно, но именно, но именно этого и надо было ожидать! Кризис власти — не случайность! Временное правительство связано с англо-французским капиталом, а солдаты измучены войной, а грозный призрак безхлебья и разрухи, капиталисты мечутся между отчаянием и мыслью о расстреле рабочих...

И в такой-то момент подлые софисты из вождей Совета изворачиваются оправдать коалицию?! А как участвовать в коалиции, надо же иметь расчёт: меньшинством? — значит быть там пешками. На равных? — ничего не выиграть. Большинством? — так вот и надо правительство *свергать*! Да, переход всей власти — к Советам!!

И пусть в этих Советах эсеро-меньшевики опозорятся — ещё лучше, покажут себя массам: всё им — ждать: конца войны — ждать, земли — ждать, и предательство с займом — позор! полная и безусловная измена социализму! интернационализму! классово-вой борьбе! На этом мы проведём перевыборы в Советах — вот лозунг! Систематическая борьба внутри Советов за торжество пролетарской линии! Именно сейчас, когда буржуазная власть зашаталась, — главный удар переносить на оппортунистов социализма! Что пишут их профессора, какая комическая аргументация: если

мы порвём с союзниками, то у нас нарушится с ними торговля, которая нужна, чтобы расплатиться с их же долгами. Круглый идиотизм! А просто — *ничего* не платить финансовым бандитам — это им не приходит в голову?! И так они во всём. Вот Церетели на Четырёх Думах — ведь позорная речь, выбросил за борт все идеи марксизма и классовой борьбы, растерялся перед цензовой публикой, — какая такая «демократическая буржуазия», «две части буржуазии»? какие между ними классовые различия? Значит, рабочие и крестьяне, ограничьтесь тем, что приемлемо для буржуазии, не берите заводов и земли? Нет, парламентский кретинизм их погубит, Церетели сдаёт Советы буржуазной политике. А диктатуру пролетариата и крестьянства назвал «отчаянной попыткой»? Да как же можно, оставаясь демократом, быть против диктатуры пролетариата и крестьянства? А Учредительное Собрание разве не будет диктатурой большинства? Как можно опасаться гражданской войны против ничтожного меньшинства? Церетели запутался окончательно. (Он и Чхеидзе представляют интересы зажиточных крестьян и части мелких хозяев.)

А в «Известиях» они и вовсе распоясались: Красная гвардия для них — угроза единству революционных сил, захват помещений — анархия, и докатились до такой формулы: «нарушение частных интересов приносит величайший вред делу свободы!» А? Ну, предатели социализма метят себя сами. (Красную гвардию будем крепить, но против регулярной армии она не вытянет, надо ослаблять армию.)

Отряхивая все сопротивления, Ленин всё крепче становился на обе ноги. Вот едут через Германию Аксельрод, Мартов, ещё 150 человек (теперь и все попрут, да опоздали), — теперь меньшевикам нечем крыть, придётся заткнуться.

Однако деньги поступают медленнее, чем ожидал. А нужны — край. Бешенеешь от задержки стокгольмских курьеров, пакетов, переводов.

Тут ещё этот сюрприз: английская разведка нащупала группу Парвуса. Но в неуклюжей военной телеграмме, прорвавшейся в прессу, написали: «секретное совещание русских *евреев* в Копенгагене»? — и получили круговую отповедь, по зубам! погромная попытка! мы оскорблены повторением старых приёмов самодержавного правительства! душители евреев всегда были и нашими палачами! Привлечь к уголовной...

А Парвус — неосторожен.

Вчера князь Львов был непоправимо ранен, как враждебно отбрил его Милюков, не захотел искать дружественного взаимосогласия для спасения правительства. И все пути снова затемнялись, заслонялись.

Может быть, подействует на него общий коллективный уговор коллег? Вчера назначили заседание кабинета в ранневечернее время, чтобы Милюков и Шингарёв могли присутствовать до отъезда в Ставку. Они и приехали, — но Милюков совершенно каменный, не подступись.

А Гучков — и вовсе не приехал. От него только: отставка Корнилова. Жуткая ситуация.

В заседание набралось вопросов. Утверждение подготовленного Шингарёвым приказа о нормировке потребления и распределения хлебных продуктов. Составление волостных карт для подготовки земельной реформы. Принятие дара в 645 десятин леса от члена Думы Гронского. Потом — как устранить медленность в обнародовании постановлений правительства? может быть, иногда вводить их по телеграфу?

И опять же — эта скандально-неприятная история с занятием дома герцога Лейхтенбергского...

Вчера уже только поздно ночью позвонили князю Львову домой, что анархисты согласились временно освободить дом, заперли и отдали ключи от него — комиссару Коломенского участка Харитонову, — а это оказался большевик, недавно приехавший с Лениным через Германию, и тоже не хотел помочь своей милицией.

Ну, слава Богу, хоть временно. (А герцог-то и вообще ничего не знает...)

Ну, уж хоть сегодня-то, в воскресенье, можно было князю передохнуть душой? Намерился: начать день не торопясь, а на обед поехать в гости.

Как бы не так! Ещё дома, среди дня, он получил убийственный — убийственный! — документ: личную записку от Гучкова — отставку!!

И перечитывал, перечитывал эти немногие строки, всё не веря в их разительный смысл: «...грозят роковыми последствиями... самому бытию России... тяжкий грех в отношении родины...»

Страшные слова. Хотя и со значительными преувеличениями. Но страшней того, что Гучков нанёс этот удар правительству — в спину, коварно, не предупредя, да ещё непоправимо: вот извещают, что он сегодня же объявил свою отставку и в Таврическом, так что ничего нельзя ни исправить, ни взять назад?

Всю трудность видели в Милюкове — а оказалась в Гучкове?

Теперь в воскресенье, среди дня, пришлось переполошно созывать отдыхающих министров на заседание.

Собрались уже ближе к вечеру.

Да ведь как же так неблагородно? Ведь после апрельского кризиса сговорились: ни один министр не имеет права уйти без согласия всех.

А Гучков — вот не приехал и объяснить.

Порвал. Стукнул дверью.

И чтоб ещё непоправимей — отдал уже и приказ по министерству и сам назначил себе заместителей.

Но и, кажется, заместители тоже все уходят в отставку?

Полный и мгновенный разгром.

Да ещё в отсутствие Милюкова, Шингарёва...

У князя — шла кругом голова. Так сложно — он ещё в жизни не попадал.

Посылали Терещенку на уговоры Гучкова.

Никакого успеха.

Кажется, больше всех на заседании возмущался Владимир Львов. Что он только что развернул творческую работу. Созвал новое, демократичное присутствие Синода. Направил его с политических интриг на церковное строительство. Объявили синодальную амнистию. Уволили Антония харьковского. Приняли бракоразводную реформу. Готовят реформу епархиального управления. И в такой момент — удар в спину?

«Удар в спину» — это было общее мнение. И загорелись министры, и даже незадиристый Годнев, — ответить Гучкову достойным заявлением, опозорить его на всю Россию!

Вспоминали его на последних заседаниях: непроницаемого, глубоко безнадежного, в стороне ото всех важных прений. Так вот оно в чём было дело! — он готовил взрыв изнутри кабинета...

Да и не жаль потерять такого министра!

Сперва ничего другого и обсуждать не хотели — а как пообиднее для Гучкова составить заявление.

Некрасов, весь бурый, ругал Гучкова последними словами.

Набоков сидел со сжатыми губами.

Хладнокровнее всех, как ни удивительно, держал себя Керенский. Он — как будто всё это так и предвидел. И не гневался, а искал выхода из положения. Да, это и будет хирургический нож, вскрывающий язву. Это безусловно повлияет на Совет. Теперь именно откроется путь к коалиции.

И несколько раз конфиденциально удерживал Львова — не спешить вызывать Милюкова и Шингарёва из Ставки: мы лучше наладим дело без них.

Бегал звонить в Исполнительный Комитет — но все уехали в Морской корпус на пленум Совета, опять же мешало воскресенье.

Тем временем всё обсуждали и обсуждали ответное заявление Гучкову от правительства. Впрочем, завтра понедельник, и его не опубликуешь раньше вечерних газет.

А тем временем формулировки к Гучкову стали и смягчаться.

Да князь Львов и всегда предпочитал — по-мирному. Понятия мести — не было у него.

Но все согласились, что надо теперь созвать в Петрограде Главнокомандующих, с ними советоваться.

В жарких обсуждениях протекли предвечерние и вечерние часы, пропало воскресенье.

Тут приходила представляться депутация «крестьянских депутатов от петроградского гарнизона», выходили несколько министров к ним. Спрашивали депутаты более всего: как бы прекратить земельные сделки, чтоб земля не утекла в чужие и иностранные руки. Керенский властно ответил им, что этот вопрос в принципе правительством согласован (ещё-то не совсем...) — и, он обещает им: закон воспоследует. Так же — и на леса, и на недра.

А на внезапном заседании решали же и текущие дела.

Призыв на действительную службу женщин-врачей до 45 лет, и какие льготы им по детям. Писарю хабаровского вещевого склада заменить приговор к одному месяцу тюрьмы на три недели содержания на хлебе и воде. А унтер-офицеру подвижной хлебопеккарни Юлиану Царенюку приговор в дисциплинарный батальон на 2 года отсрочить до окончания войны.

Уже было к 10 вечера, когда Керенский согласился, чтобы Львов вызывал Милюкова и Шингарёва.

А вызвать — чтобы мочь и объяснить, в чём дело, проще всего было по прямому аппарату.

Из довтомина? из Главного штаба? из Адмиралтейства?

Львов мужественно выбрал самый неприятный путь: из довтомина. И объясниться с Гучковым, всё равно этого не миновать. Уж всё в один крестный день.

С тяжёлым чувством подъезжал к довтомину.

А оказалось: Гучков этим вечером уже и съехал к себе на квартиру, нету.

Ну, тем и легче.

Встречал Новицкий. И он, и Филатьев, и Маниковский так понимали теперь, что новый министр их не оставит на месте.

— Пока исполняйте свои обязанности, голубчик...

У аппарата был сперва Алексеев, — и жаловался ему князь на Гучкова, и просил пригласить всех Главкомандующих в Петроград на этих днях. Потом вызвали Милюкова, и тоже нелегко разговаривать после давешнего.

В 11 часов вечера, распаренный, вышел князь из аппаратной — из довтомина, — и ещё на улице не сразу сообразил надеть шляпу.

140

Позавидовали бы лучшие парижские санкюлоты, какую мы революцию устроили в петроградском городском хозяйстве!

Ещё в ранние дни революции, когда городской думе и значення не придавали, а общий напор был сокрушительный, сопротивляться никто и не мыслил, — втолкнули в городскую управу силой Совета, без выборов, группу как бы рабочих депутатов, а среди них успел Гиммер направить и своего приятеля Никитского, профессионального революционера, который по толчку и доказался до поста товарища городского головы. Кажется, невелика должность? — ого, ещё как пригодилась. Сейчас, когда революция в крупных контурах пошла на попятный, — Никитский в городской думе устроил такую славную социальную революцию — Гиммер от души хохотал, безкорыстно наслаждался.

А что ж, будете знать: истинная цель всякой революции — социальная, а не политическая! Только перехлестнув социальный рубеж — революция исполняет свою историческую роль.

И всё совершилось в три дня. 26 апреля, зазав на хоры побольше своих, Никитский произнёс в думе публичный доклад —

«Об увеличении содержания городским служащим и рабочим», а именно: *всем* трамвайщикам и рабочим — немедленно — и вдвое! Прибавка, не виданная ни в России, ни в Европе! От старых гласных какой поднялся шум: касса пуста, откуда брать? отложить обсуждение, проект должен быть проверен финансовой комиссией. А трамвайщики с хор: никаких «отложить», завтра не выедем на линию!! А рабочие с хор — прямо матом в гласных. Пришлось просить гласных-социалистов идти на хоры уговаривать рабочих дать думе два дня для обсуждения. Рабочие с трудом согласились: только если завтра выдать каждому рабочему городского хозяйства по 50 рублей авансу и объявить им бесплатный трамвайный проезд.

Но два дня прошли в ещё худшей суматохе — и никакого соглашения в думе не состоялось до заседания 28-го, когда снова навалили непрошенные гости на хоры ещё в большем числе, вот балкон обвалится. Цензовые гласные уж как ни объясняли, выступало их человек тридцать: нельзя увеличивать расходы, не имея сперва источников покрытия; у нас и так дефицит 68 миллионов, а при этом требовании станет 93; единственный источник городского дохода был трамвай, но и он перестал его приносить, Петроград — горький бедняк. Повысить плату за трамвай с 10 копеек — до 15? до 30? удорожить воду, газ? Никитский им криком: «Найдёте! Трясите сундуки богачей! Банки дадут! — а нет, так рабочие возьмут силой!», — и с хор одобрительный рёв. И часть гласных дрогнула — и с гласными-социалистами уже получилось большинство. И новый либеральный городской голова (по духу похожий на князя Львова) возгласил: «Светлее смотреть в будущее, не бояться расходов, диктуемых жизнью. Мы сильны доверием населения, а средства как-нибудь найдём». И проголосовали всё повышение в полном объёме, да сверх того двухмесячные в год наградные, и ещё квартирные.

Это приняли 28-го. А 29-го заявили бунт городские канцелярские служащие: хотя от нас требуется образование, знания — а теперь рабочие будут получать больше нас, даже судомойки и сторожа? Требуем устранить несправедливость! Требуем удвоить и наши оклады, и срочно! — иначе прекращаем работу. Никитский предложил добавить и им, это будет ещё 5 миллионов.

Отлично! Раз начавшись, социальная революция уже не может быть остановлена!

Но только вот эти немногие радости, да ещё своя газета, свой капитанский мостик, откуда можно и швырнуть в лицо правитель-

ству и страстно договорить, в чём не удалось убедить на Исполкоме. Тучи апрельского кризиса несколько не разошлись, гроза не освежила, атмосфера оставалась дряблая, пакостная. Блестящий эпизод апреля, изумительное по силе и красоте народное движение — этот замечательный эпизод революции не стал вехой для её новой поступи, но Исполком малодушно положил свою силу и власть к ногам буржуазии, когда, напротив, она заслужила экзекуцию. За какое жалкое правительственное «Разъяснение», никуда вперёд не продвинутое, — заплатили советским вотумом поддержки займа — займа затягивания войны, удар в спину германской социал-демократии, позорный день Совета! С недостижимых высот февральской победы — и к такому безславному падению демократии! Обыватели из исполкомской правой, POSSИБИЛИСТЫ, всё погубили — попали в руки плутократии, заложили основы буржфридена с империалистическими кадетскими патриотами! Мелкобуржуазная часть Исполкома, слепой и глухой Церетели, готовы создавать блок с «живыми силами буржуазии».

И какие потоки инсинуаций против большевиков! (Да никак не доказано, что стреляли ленинцы, а гораздо верней тут действовала рука черносотенной провокации из бывших царских полицейских сфер.) Ну подождите, вы сами поднимете на себя бурю, и Ленин вам ещё покажет!

Вне себя! вне себя был Гиммер! — хотя, конечно, успокаивал себя, что всё вытекает из непреложных классовых тяготений.

Но не было другой платформы борьбы за Совет, как оставаться активным членом ИК. Потерпев поражение в исполкомском голосовании позавчера, Гиммер с новой силой сеял в газете аргументы: войти в коалицию и стать твёрже, а буржуазных министров сделать нашими заложниками. Конечно, да: это — заведомо неустойчивая и мимолётная комбинация. Но пока большинство Исполнительного Комитета и не хочет брать в руки власть полностью (а может быть, через 3–5 недель мы уже и дозреем?) — то ничего другого пока не остаётся.

Утром вышла газета — а днём стало известно об отставке Гучкова. Все эти дни сфокусировавшись на Милюкове, Гиммер как-то упустил из виду Гучкова. Ну что ж, тем более! Этого и можно было ожидать. По всем своим воззрениям и прошлой деятельности Гучков и не был способен усвоить принципы новой свободной России — свобода и равенство в казарме, превращение солдат в граждан. Непримируемый враг демократии, он по мере сил нам мешал,

а теперь вот ушёл — и это как раз знак, что остальное правительство не хочет порвать с демократией! И созрело для коалиции с социалистами.

С другой стороны, правда, ослабил позиции Керенский своей истерической речью: до сих пор революция так любила его — и к чему вдруг эти «взбунтовавшиеся рабы»? — свинцовый дождь в рабочие сердца и сладкая кость буржуазной прессе, так и накинудись обсасывать, чего сами сказать не смели: катимся в гибель! Стал — меньше, меньше уважать Гиммер Александра Фёдоровича: нет выдержки, а без этого революционер погиб. Откуда такой пафос отчаяния?

А Исполком сегодня же вечером думал сделать два важных шага двумя воззваниями — и собирал Совет. Совет — послушен, у него своих лидеров нет, утвердит что угодно. Гиммер уже прочёл эти два подготовленных воззвания, прочёл буквально в ужасе. И нечего было ему на Совете делать, — а пошёл.

Из ревности. В том же самом Морском корпусе, где полтора месяца назад голосовал Совет его великий Манифест 14 марта, — теперь собирались топить его в соглашательском болоте, и не было у Гиммера сил помешать. Но — посмотреть этот спектакль, погравиться.

Теперь не стояли, теперь густо сидели в большом зале на скамейках, свезенных из разных помещений города. Не пошёл Гиммер в президиум, затиснулся среди высоких плеч и голов, не всё хорошо и видел.

Чхеидзе — а становится он всё потерянной, и голос слабей, произносит вступление, половине зала неслышное, из фраз, которые ему наваял Церетели. Что мы не можем кончить войну мановением руки и надо приложить усилия, чтобы фронт не дрогнул и чтобы каждый солдат знал, для чего он держит винтовку в руке.

Сразу и выложил всю соглашательскую программу. Оглушительный поворот! — Совет рабочих депутатов начинает поддерживать империалистическую войну?

Но только начиналось. Теперь Скобелев звонким пустым голосом стал делать доклад. Мы хотим мира скорого, но не сепаратного. Мы не хотим заключать его за спиной Франции и Англии и остаться одни и быть раздавленными.

И собрал аплодисменты. Настроение даже советской массы сильно отклонилось от мартовского.

Скобелев — яркий пример ходячего пустого места, такой он был и всегда. Сплошное недоразумение, что он руководит именно международными делами, совсем же ему недоступными.

Потом стал читать резолюцию, в ней перемешано и правильное: война — чудовищное преступление, чудовищные прибыли империалистов, они всегда победители, а трудящиеся — всегда побеждённые, русская революция — не только национальная, но первый этап революции международной. Но и тут же: будто Временное правительство усвоило «без аннексий и контрибуций» и теперь вы, социалисты союзных стран, не допустите, чтобы голос русского правительства остался одиноким, заставьте свои правительства тоже...

То есть вытаскивать грязную войну, и даже помогать милюковскому правительству. Омерзение.

Потом раскачал прения неудержимый, всем уже известный анархист Блейхман. Русская революция совсем не была демократической, а — анархической! А социалисты — помогают Гучкову и Милюкову! (Метко.) Крестьянин и рабочий должны всё захватить в свои руки — и будет рай на земле.

Тут перенял большевик (мелкий, крупные из них перестали сюда ходить, и правильно). И опять анархист — Сахновский (их мало, но красноречивы). Тут вышел солдат, и:

— Ещё нужно подумать, защищать ли свободу, я думаю — мы империалисты. Устраните власть — и мы тогда всё сделаем.

В зале и смех, и шум. Мыслящая материя ищет своего пути к постижению бытия. И характерны большевицкие нотки. А им — перегораживают пути свои же социалисты.

Теперь вышел Церетели, оправдывать своё порочное обращение к солдатам. Не лично его как человека, но как успешного лидера соглашательского большинства Гиммер стал просто ненавидеть. Уверенно говорил, и слышно хорошо.

Надо внушить всему нашему населению, что мир наступит тогда, когда мы будем сильны. Нужно внушить всей демократии, что борьба за мир совсем не есть заключение мира, да ещё сепаратного...

Это слушать невозможно! Тошнотворная, наивная, лживая речь «благородного» вождя в интересах магнатов союзного капитала. Развращение революционного сознания масс!

Нет! Если революция не убьёт войну — война убьёт революцию.

Думал ли Гиммер в победном вихре Февраля, что так скоро, беспомощно доживёт до этого великого предательства?.. Подставили двух послушных депутатов от армий — скорей, скорей воззвание к солдатам!

И вот — оно. Его писал Войтинский, — ещё на памяти, как был боевой товарищ, а засосало в то же болото.

Товарищи солдаты на фронте! Лишения, которые вы сейчас несёте, — дело рук царя и его приспешников, грабителей и палачей. Совет обратился ко всем народам с воззванием... но ничего оно не будет стоить, если полки Вильгельма... Что будет, если русская армия сегодня воткнёт штыки в землю? Разгромив наших союзников, германский император, помещик и капиталист поставят свою тяжёлую пяду на нашу шею... Мы зовём к революции в Германии и Австро-Венгрии, но нужно время, чтоб они восстали, а это время никогда не наступит, если вы не сдержите натиска врага на фронте. Теперь вы защищаете не царя, но своих братьев. Но нельзя защищаться, решив во что бы то ни стало сидеть неподвижно в окопах; иной раз ожидать нападения — значит покорно ждать смерти. Не отказывайтесь от наступательных действий. (Всё-таки — тон умоления, раскат революции так просто не остановишь!) Вы с открытой душой идёте брататься, а германский военный штаб использует...

Большевики возмущённо требуют: прежде чем обсуждать воззвание здесь — обсудить его на заводах и в полках! Кричит большевик: «Тут зажимают рот! Буду жаловаться своим шести тысячам избирателей!» — а ему кричат обмороченные: «К пушке его привязать! В Германию отправить!» И — заголосовали.

Как сказал вчера Керенский, правда лучше б не дожить до этого дня. Предали гиммеровский Манифест...

Но и на этом вожди не успокоились, нет! Выходит со словом круглолицый Гоц. Не покрасневши, берёт на себя революционный ветеран полицейскую задачу против своих же революционных товарищей. Вот он вчера ездил на переговоры с анархистами в захваченный дом герцога Лейхтенбергского. Ночью они ушли, а сегодня проверено, что они наделали. Полный хаос, перепорчены ковры, портьеры, мебель. (Вряд ли в этом зале найдёте сочувствие герцогу.) Вскрыты все хранилища, взломаны шкафы, побиты вазы. Разорили кладовую съестных припасов, винный погреб, шампанское. (Охлос облизывается — жалко нас там не было.) Унесено ценное оружие, даже шпага Наполеона, всё столовое серебро,

переоделись в костюмы герцога и в кружева — и только тогда уехали автомобилями.

Оживление и гогот. Не рассчитал Гоц. И не стыдно ему продолжать?

А сейчас захватили за Невской заставой особняк детского садика. А теперь — Гоцу ехать на переговоры и в дачу Дурново. И он просит Совет поддержать решение Исполнительного Комитета: выразить резкое порицание захватам.

На трибуну вырывается необузданный лохматый Блейхман. Если Совет примет такое постановление — он станет на буржуазную точку зрения. Пусть господа, которые заседают в вашем Исполнительном Комитете, пьют шампанское с герцогом и с Дурново — а мы, анархисты, не сойдём со своего революционного пути и не подчинимся!

Невыгодный момент для Исполкома.

И максималист-булочник присоединяется к анархисту: Совет не имеет права лишить жён и детей рабочих — парка герцога Лейхтенбергского.

Но нашёлся выгодный момент и у Гоца:

— Что касается защиты интересов Дурново, то я в своё время за покушение на него отбыл 8 лет каторги, не знаю, как Блейхман. Мы — не Дурново защищаем, а общественный порядок.

Отбил удачно.

Вышел эсер:

— Анархисты захватывают, хотя их товарищ Сахновский имеет собственных две дачи и мог бы их пожертвовать партии. Надо сначала жертвовать своё, а потом захватывать чужое.

Хохот и бурные аплодисменты. И Сахновский же тут, в зале, попал.

Большевик кричит: «А у Скобелева есть имение!» (Тоже правда.)

Тут анархисты стали ругать Гоца и Церетели поносными словами. Президиум пригрозил принять меры против тех, кто не умеет пользоваться свободой слова.

И проголосовали готовую резолюцию: захваты имущества пагубны для дела революции, они создают почву для провокаторов. Учиняющие такие захваты — ослушники воли революционного народа и пособники контрреволюции.

Постыдно для Совета. Это буржуазии путаться анархистов, но не нам.

И — подавлены анархисты: их 9 голосов против двух тысяч.

А большевики — не стали даже и воздерживаться, проголосовали за, как ни в чём не бывало. Кшесинская у них за пазухой.

Да уже устарело и деление на большевиков и меньшевиков: есть крыло революционное, и есть крыло социал-патриотическое, и в пределах первого могли бы социалисты объединиться. Но непостижимый Ленин, кажется, рубил сук, на котором сидел. Он не хотел объединяться даже и с революционными социалистами. Он вот вооружал свою отдельную Красную гвардию. Сокрушительно-захватная мудрость. Или просчёт?

ДОКУМЕНТЫ — 22

1 мая

ИЗ АРМЕЙСКОЙ ГРУППЫ ЭЙХГОРНА — В ГЕРМАНСКОЕ МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

...генерал Драгомиров вызвал наших офицеров в Дюнабург и спросил об их предложениях. Они ответили, что приехали получить русские предложения.

Вчера вечером русским было сообщено, что сегодня утром к Драгомирову придет парламентёр с письмом от Восточного Главнокомандующего принца Леопольда Баварского.

Драгомиров отказался принять письмо. Однако его приняли под расписку армейские депутаты и обещали сообщить в Петербург.

Будут ли достигнуты непосредственные результаты для перемирия или мира — еще не известно. Но во всяком случае мы посеяли среди русских раздоры и получили хорошее средство пропаганды.

141"

(из «Правды», апрель — начало мая)

КАК ПРОИЗОШЛО ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПАВЛОВСКОГО ПОЛКА К РЕВОЛЮЦИИ.

26 февраля мы в 4 роте случайно услышали, что наша учебная команда разошлась по постам и готова уже приступить к расстрелу безоружных рабочих. Это нас возмутило. Но нам удалось поднять только небольшую часть роты. Тогда мы решили выгонять солдат угрозой оружия. Это подействовало: солдаты начали выходить за ворота. Только

в 5 ч. вечера мы окончательно вышли... Со стороны Невского проспекта наскakивал разъезд конных фараонов, от которых приходилось отстреливаться. За это время нас окружили войсками Преображенского полка. Видя, что мы попали в безвыходное положение, нам ничего не остаётся делать, как только скрыться в ворота нашей казармы.

Из дневника рядового Георгия Лебедева

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КРОНШТАДТ. ...всего убито 36 морских и сухопутных офицеров. Конечно, убийству подверглись лишь самые деспотические. Многие другие «драконы» (так матросы называют офицеров) были арестованы. Самые популярные офицеры выбраны сразу на несколько постов. Нужно прямо сказать, что все рассказы о жестокости кронштадтских матросов — фантазия напуганного обывательского воображения...

Р. Раскольников

Письмо в редакцию. Я знаю одно: что Ленин выступал в Исполнительном Комитете, излагал там свои взгляды, и если его не арестовали, значит, во взглядах Ленина ничего преступного не нашли...

6-часовой рабочий день для конторщиков. Конторский труд, требующий большого умственного и физического напряжения... Это требование признано всеми научными авторитетами... но его, к сожалению, ещё не усвоили хорошо сами товарищи конторщики...

Письмо прозревшего. У нас на Галерном острове слушали доклад т. Зиновьева и в результате вынесли его на руках. Я много перед вами извиняюсь, что я, благодаря своей темноте... С сего дня я презираю все вышеперечисленные газеты, кроме «Правды» и «Солдатской правды».

Матрос Тимофей Ожогин

Пара слов об одном из слуг капитала, Плеханове... Нет, господин бывший социалист, братание, которое мы поддерживаем на всех фронтах, ведёт не к «сепаратному» миру, а ко всеобщему...

(Ленин, анонимно)

«БУРЖУА, В ОКОПЫ!» Бегство от воинской повинности — повальный грех буржуазии. За 1000 рублей самого здорового краснощёкого буржуа причисляли к группе умирающих и вместо него забирали из деревни больного старика. А сколько подрядов и поставок на оборону специально выдуманно, чтоб освобождать целые группы людей от воинской повинности. На земляных и строительных работах числятся все те праздношатающиеся, которых вы видите на Невском, в театрах, в ресторанах, биржах и кафе для спекулянтов. Дело отсрочек передать в руки особой комиссии солдатских депутатов. Особое внимание обратить на банки... вся страна буквально в кабале банков. В конторах понапихана буржуазная молодёжь, отдающая своё жалованье прежним

служащим старшего возраста за уступку должности. Потребуйте их на фронт — и буржуазная пресса станет звать о мире!..

НА УЛИЦАХ ПЕТРОГРАДА 21 АПРЕЛЯ. ...Во всех этих столкновениях зачинщиками выступали черносотенцы, уже давно подготовлявшие свои выступления... сваливая потом всё на ленинцев... того самого Ленина, которого столько раз арестовывало и ссылало правительство Николая Кровавого... «Чистая публика» бросилась на толпу женщин-работниц...

...Эсеры перестали быть партией революции, выродившись в помесь «негра с апельсином», партия крестьянских интересов ушла от крестьянства... Гражданин министр Керенский! Позвольте не доверять вам, как и всякому другому социалисту, который пойдёт в буржуазное правительство.

...Встревоженные «Биржевые ведомости», в которых, как известно, довольно сильно «пахнет» банком, забеспокоились... При чём тут «сыск», господа? Почему народ не имеет права знать, кто именно является главными хозяевами таких могущественных учреждений, как банки, от которых зависит решение вопросов войны и мира?

(Ленин, анонимно)

К чему ведут контрреволюционные шаги Временного правительства.

Телеграмма из Енисейска: «...Заслушав телеграмму министра Львова на имя назначенного комиссара Енисейской губ. ... Мы протестуем против желания ввести опять чиновничество... не допустим управлять нами назначенным чиновникам... Они смогут повелевать только через наши трупы... Енисейский Совет Депутатов».

ОБ АНАРХИИ. Не понимают или не хотят понять: для буржуазной интеллигенции революция — это прежде всего завоевание политических прав, для миллионных масс революция — это прежде всего завоевание экономических улучшений. Благонамеренному буржуа и в голову не приходит, что **это и есть революция** — чтобы массы брали бы сами то, что нужно им для улучшения их горькой жизни. «Самочинные захваты» рабочих, крестьян и беднейшего городского населения — это не «анархия», а дальнейшее развитие революции. Заставить миллионы людей по-прежнему голодать во имя того, что вот Учредительное Собрание нас рассудит... Не мешайте рабочим и крестьянам дисциплинированно предпринимать ряд самочинных мер.

Г. З/иновьев/.

Запугивание народа буржуазными страхами. ...Не проходит дня, чтобы «Речь» не кричала об анархии, не раздувала известий и слухов об отдельных, совершенно ничтожных случаях нарушения порядка... Немедленную конфискацию земель самими крестьянами на местах называют «анархией»... Партия пролетариата стоит за немедленный захват

земли крестьянами, рекомендуя величайшую организованность... Боятся народа нечего...

(Ленин, анонимно)

Милиционеры о тов. Харитонове. Деятельность т. Харитонова, в частности по делу занятия дома герцога Лейхтенбергского, была безукоризненно честной и целесообразной... Совет милиции Коломенского района постановил выразить т. Харитонову полное доверие...

ЗОЛОТО НА НУЖДЫ НАРОДА. ...У нас в России много золота, серебра и драгоценных камней, и нужно только прийти и спокойно взять эти драгоценности. Монастыри, церкви веками собирали обманом народные деньги с суевренных людей. Надо понять, что Богу золото и серебро не нужны, а народу нужны... В монастырях живут люди, не приносящие пользы ни отечеству, ни человечеству, в праздности и разврате. Пусть они придут к нам в окопы. И самые монастыри не приносят ли вред новому государственному строю?

Нет власти, еще не от... еще...

Сменяйся, милая, почаще.

Так, понемножечку, с подходу,

Глядь — перейдешь ты вся к народу.

Демьян Бедный

Теперь вся Россия была в движении, а уж Терентий Чернега двигался и шибче многих: и само несло, выносило его наверх от самых первых дней — и он от себя ещё не дремал, выценивал, куда оно идёт. За два месяца революции он и в батарее почти не жил: то по комитетам разным, то на съезде в Минске, то вот уже на съезде в Питере.

И ораторов он переслушал многих, и в беседах просто, и в зубоскальстве, и газеты читал, времени не жалел. И со своим метким опытным глазом, какой жилку единую различал в лошадиной ли поступи, в человеческом голосе, в базарной повадке, доглядел он, чего поди никто-никто и не видел: что переворачиваться — не кончилось, а только началось. Что ещё будет трясти, пластать и сыпать, и не только что прежнего мы уже никогда не увидим, но и нынешнее — всё ходульное и рухнет в прах. Да по одному питерскому ералашу это было видать, до чего на каждом повороте за-

хлюпалась столица, — а как же на России отзовётся? Да по одним министрам, хоть с трибуны их послушать, как они перед кучкой случайных солдат один за одним выстилаются, хоть вот заглянул в само военное министерство: ступал прапорщик гулко с красным клочком на груди — и перед ним генералы изгибались готовно. А и в вождях Совета — в этом Соколове, Скобелеве, Церетели — тоже становой жилы не было.

И приходилось признать, что за самое-то живьё людей цепляли большевики: войну — долой сейчас! и землю — давай сейчас! Здорово чешут! И хотя тут же и брехали закрайне, — а твёрже их не выглядывалось релки на болоте. Лопухи звонили в газетах: «Если мы свято и честно умирали на своём посту за старую смрадную Россию — то с какой радостью мы отдадим жизнь за новую!» — да мать же вашу за ногу, что вы разумеете в жизни и в солдате?.. Большевики предлагали товар куда ближе к жизни. Хватка у них была — самая забористая.

А Чернега — поле перекати, без семьи, без дома, да и в офицерстве случайный: звёздочка эта хоть и лестна была, но она Чернегу не переменяла и белой костью не сделала. Пока война — недурно со звёздочкой, а отпанет война — так заберите её, не жалко. Когда всё и дальше будет вот так перепластываться и меняться — так надо ноге опору потвёрже.

И — присматривался Чернега к этим большевикам, вот и к этому Зиновьеву — хотя и шпынь же, и студень жидкий, еле одёжкой сдержан.

Сегодня в Белом зале опять они с Церетелей состязались перед военными делегатами, только сиди посматривай.

Вопрос такой: кому должна принадлежать власть и как относиться к Временному правительству.

Зиновьев сегодня развязней вчерашнего, трибуну освоил, двумя ладонями опёрся, локти вывернул и квакает:

— Гучков и Милюков боялись революции и искали соглашения с царём, чтобы сохранить монархию. Поэтому к Временному правительству нельзя отнести с доверием: они представляют класс капиталистов и помещиков. И всё это они жульничают, будто отказались от аннексий: раз остаются в силе тайные договора — значит, продолжают политику аннексий. Нет, нельзя оставить правительство в нынешнем виде, но и коалиционное не спасёт, — а передать всю власть Советам, и мир поверит им скорей.

С чего это он им поверит? Не-е, Совету тоже не стоять, хлипки и они, как вот Церетели на журавлиных ногах. Вежливо, не торопится (а торопиться — надо! время в спину пружит!):

— Вопрос должен быть поставлен так: какова та власть, которая может закрепить революцию? Нынешние министры признавали раньше монархию? Так и большинство русского народа её признавало, а вся армия присягала царю. Но сейчас буржуазия за республику, ибо иначе гибель России. Если вы пойдёте за товарищем Зиновьевым, то вы дезорганизуете революцию. Надо говорить не о том, что желательно, а что осуществимо. Огромная часть России — не социалистична, крестьянство стоит за собственность. Временное правительство вовсе не оторвано от народа, и ещё вопрос, за кем большинство. Сейчас было бы преступно разорвать договор с буржуазией, пока она выполняет демократические требования, и раскалывать наши силы, стоящие на общедемократической платформе. Одно из двух: или Совет захватит власть и ничего не изменит, или пойдёт на разрыв с союзниками, сепаратный мир с Германией — и будет разгром страны и революции.

— Правильно! — кричат ему. Почти все в зале за него.

— Конечно, можем сделать тот прыжок, который предлагает Зиновьев, — но ломаем шею и себе, и России. Гучков и Милюков научились хоть кой-чему и сделали шаг вперёд. А Ленин и Зиновьев — ничему не научились и сделали шаг назад, от ясного социализма к утопическому. Если мы декретируем диктатуру пролетариата, то огромная масса народа шарахнется в объятия буржуазии.

Не-ет, это ты чего-то не видишь.

Теперь — земля. Зиновьев:

— Революция есть вопрос хлеба и земли. Требование не захватывать земель — это взгляд кабинетный. Сила революции заключается именно в захватах! Нельзя доверять Временному правительству и ждать Учредительного Собрания, которое в корыстных интересах откладывается со дня на день, хотя его можно собрать в две недели. Надо, — криком, — взять землю!! И засеять её помещичьим зерном!! А если крестьяне сейчас не возьмут — то совсем не получат!

Ропот по залу прошёл, всякий. А что, и может быть, где мы не упустили?.. где мы когда успевали?

Сменились. Взошёл Церетели:

— Спор идёт не о том, должна ли земля принадлежать всему народу, в этом все социалисты вполне между собой согласны. Но сомнительно, чтобы переход земли к крестьянам можно было бы осуществить декретом Совета. Вопрос о земле надо решить в единении с волей *всего* народа. В Учредительное Собрание попадёт всё население.

Прапорщик из 11-й армии, по фамилии Крыленко, а здесь называют иные «товарищ Абрам», он из большевиков:

— Нет! попадёт только буржуазия! А вы будете вынуждены им подчиниться.

— Я убеждён, что этого не будет. Но если б и так — да, мы должны подчиниться Учредительному Собранию. А чтоб оно было создано — надо укрепить фронт: если будет прорван фронт — погибнет и земля, и революция. Боевая готовность фронта и есть готовность нашей революции.

А тут, откуда ни возьмись — бабёнка! светлокудая, товарная, зашла в зал, присела сбоку:

— Запугивание прорывом фронта есть уловка буржуазии! Так обманывали все народы!

А Церетели не удивился:

— Вы, товарищ Коллонтай, обнаруживаете полное незнание действительности. Что германцы захватили нашу землю — это не выдумка буржуазии, а факт! А позицию большевиков совсем не понять: сначала решить все вопросы — а потом Учредительное Собрание? Тогда и зачем оно?

Всё же большинство шумует за Церетелю. Стали Зиновьеву вопросы задавать — он струсил, пьтится.

— Так что: на фронте сидеть неподвижно?

— Нет, это глупо, захватят в плен.

— Так что: Временное правительство надо сгонять?

— Мы говорим: вообще по всей стране брать власть в свои руки. Но кто бы сейчас стал тащить за шиворот министров — тот авантюрист и шантажист.

Не-е, струны в тебе не хватает.

— А заём нужен али нет?

Зиновьев:

— Деньги нужно взять из сундуков буржуазии.

Церетели:

— А спрашиваешь большевиков: а как взять? Отвечают: у нас способов нет, мы предлагаем только принципы, а способы

придумайте вы!.. — (Хохочут в зале.) — Вот, товарищи, мы ходим по земле, а они витают в воздухе, и за ними уследить невозможно. Спрашиваю Зиновьева: так что, *сейчас* нужно брать власть?

Тот со скамьи, снизу:

— Если есть большинство.

— Но ведь большинства у нас нет. Так что́ делать без большинства? Оставить фронт без хлеба, без оружия? Мы считаем такой путь преступным. И призываем вас, товарищи делегаты, всячески закреплять мощь фронта!

И хлопали ему крепко. И ушёл он как победитель.

А Чернега сощурился: ох, не слишком слушайте аплодировщиков, это как куры крыльями, только пыль разгонять. Ещё надо разобратся, кто это в воздухе витает, а кто по земле ходит.

Эсеры? Вылез и эсер, Сватиков, с пузатым портфелем под мышкой. Кто такой? Помощник начальника главного управления по делам милиции.

— Когда я 27 февраля подошёл к пожару Окружного суда, я обрадовался, что солдаты взбунтовались. И на меня возложили задачу разогнать всю старую полицию, которая сидела на шее русского народа. А теперь я получаю телеграммы из разных мест, и меня охватывает отчаяние: как жаль, что я не умер в первые три дня революции...

Ну и слабачок. Тут уже один жалел.

— Долой монархиста! — закричали подле Крыленки. А Сватиков, всё держась за портфель:

— Нет, я — давний эсер, а не монархист! Это не монархизм, а защита революционной демократии!.. Дом Лейхтенбергского... Вы спрашивали тут, можно ли применять вооружённую силу? — И лезет на трибуну, вот прям' через неё подскочит: — Я отвечаю вам: да! А что это значит? — с т р е л я т ь!

Крикнул закидисто, в зале замешкались. Смялся и Чернега: да неужели решатся стрелять?

И — захлопали Сватикову, и закричали, и засвистели — всяко.

А он, всего-то в портфель уцепясь, и с надрывом:

— Во имя любви к великой матери-Родине, я умоляю вас, мне плакать хочется: поддержите Временное правительство! спасите Россию! Иначе у нас будет новое самодержавие какого-нибудь Иванова 13-го...

И отмахнулся Чернега: не-е-е... Коли плакать вам хочется, пехтери, так никакой вы каши не сварите.

143

Как будто мало было Церетели всех его забот в Исполкоме — втянуло ещё и в это совещание фронтовых делегатов. Его попросили председательствовать там в субботу, во время речи Гучкова, потом оказалось и — скандальной речи Керенского (которую расхваливала буржуазная печать, а социалисты были в полном недоумении). Вчера, в воскресенье, пошёл туда на Ленина — и втянулся в спор с этим нахалом Зиновьевым. И сегодня пришлось ехать третий раз, кончать спор.

Церетели считал, что он Зиновьева побил, находился в диспуте лучше него, хотя и не всегда. Грубый крикун, и что своё — то у него ничтожно, резкий тон демагогии с расчётом на худших слушателей, а сила его — в ленинской аргументации, неплохо отработанной.

Спорить спорил, а из головы нейдёт вчерашняя отставка Гучкова, и что теперь будет с сотрясённым правительством? Вчера же на Совете Церетели провёл укрепляющее воззвание к армии — и если бы Гучков повременил, лишь ещё одни сутки, то, может, и не ушёл бы?

А после Совета, совсем поздно, к ночи, звонил князь Львов: необходимо увидеться.

До сих пор контакты были с Терещенкой, с Керенским, — теперь князь хотел видеться сам. Понятно, припекло.

Сейчас, после Таврического, поехал ко Львову домой, в казённую квартиру, позади Александринского театра, где князь бывал только вторую половину ночи, а всё в Мариинском. А сегодня днём — вот даже и не в Мариинском.

Покатые плечи князя опали глубже обычного, и рост ниже. Гладко причёсан, волосок к волоску, крахмальный воротничок — всё на месте. А нежные глаза — больные.

Эта негосударственная нежность всегда трогала отзывчивое сердце Церетели: никогда не мог он увидеть в министре-председателе оппонента, капиталиста, империалиста.

А сегодня особенно.

Жаловался: Гучков нанёс удар изнутри. И без того мы расшатаны. (Не упрекнул, что — Советом.) А вот... И что делать, что делать?..

Церетели своё: зовите демократических деятелей.

Не-ет, это не поможет. Силу дадут только члены Исполнительного Комитета.

Ну, мы можем пересмотреть формы контроля.

— А вы не можете отказать от «постольку-поскольку»? — вздыхал Львов и взирал с непотерянной надеждой. — Эта формула унижительна для правительства: постоянное недоверие, подозрение. Власть может укрепиться только при полном доверии.

Вздыхнул и Церетели:

— Можно изменить слова, но не мысль. Принцип поддержки в меру осуществления программы — это ведь освящено европейской парламентской практикой.

— Ну, не скажите, всё-таки... Там — другое... Некоторые министры у нас сейчас готовы на коллективную отставку. Но я всё ещё надеюсь, что мы создадим коалицию?

Спрашивал голубыми глазами.

— Вот, мы и заявление приготовили.

Ответ на гучковский выход. Показал.

Тихо сидели они вдвоём в гостиной, не похоже на шумные сватки Контактной комиссии. Тихо, ровно постукивали стенные часы.

Неизбежные, неотклонные минуты российской истории.

Вот тут, сейчас, и понял Церетели, что никакого другого выхода не осталось. Придётся вступать в правительство.

А сам он — совсем, совсем не хотел в министры. Он — социалист, и его область — свободное политическое творчество.

Другие некоторые пойдут охотно. Особенно Чернов.

Генералу Брусилову шёл 64-й год. Всю жизнь лихой и неутомный наездник, знаток верхового спорта, одно время и начальник кавалерийской школы, он, при сухом сложении, и сегодня ещё сохранял лёгкий взброс на коня. Но всё меньше это надобилось ему,

благодаря высокому взлёту его карьеры: вопреки тому, что не кончал Академии Генерального штаба, был неизменный фаворит Николая Николаевича, а также и взыскан милостями Его Императорского Величества, которому в порыве чувств не раз целовал руку в благодарность (что осуждали другие генералы, видевшие). Уже перед войной Брусилов был помощником Жилянского в командовании Варшавским военным округом, войну начал Командующим 8-й армией на Юго-Западном фронте, после взятия Львова получил генерал-адъютанта, в начале 1916 заменил Иванова в Главнокомандовании Юго-Западным фронтом, в июне прославился успешным наступлением. Одновременно он сохранял наилучшие отношения с Родзянкой, Государственной Думой, Земгором; князь Львов приветствовал его «как давно желанного руководителя Юго-Западного фронта», а Брусилов в тяжёлую минуту поддерживал Земгор, который хотели упразднить по причине бесполезности его на фронте.

Главкоюзом (в штабном сокращении) и застал его переворот. После 45 лет императорской службы как мог он воспринять петербургский бунт? Распорядился отправить в свои подчинённые армии телеграмму: «Кучка негодяев, воспользовавшись...» Но новые известия из Петрограда так быстро накатывали — Главкоюз почти тотчас вслед распорядился начальникам связи армий уничтожить прежнюю ленту и принять совсем новый текст. Пришла вопросительная о царском отречении телеграмма Алексеева — и, как на родзянковские Брусилов отвечал первый, так и тут первый, с несомненностью. Так быстро накатывало — пришлось, спорив императорские вензеля с погонов, разъяснять фронту, что до сих пор вензеля давили ему на плечи, что в 1905 году русский народ не созрел до революции и был придавлен, но вот она восторжествовала, и генерал-от-кавалерии, всегда сочувствовавший революционному движению, рад приложить свои усилия ныне к служению освобождённой России и революционному народу. Теперь он наколол большой красный бант близ нашейного и нагрудного Георгиев, его под марсельезу долго носили по Каменец-Подольску, как Цезаря, в носилках, обтянутых красной бязью, а он от времени до времени возглашал, как мы должны уважать новую власть и Совет рабочих депутатов, жал руки унтер-офицерам и солдатам.

Приехавшей киевской делегации открывался так, в простодушии сквозь суровость: «Я — монархист по своему воспитанию и

симпатиям, таким вырос и был всю жизнь. Я был близок к царской семье и связан с ней прочно. Но Распутин и другие — внесли такой ужас, жить стало нельзя. И я стал — республиканцем, и всем сердцем приветствую те перемены, которые должны произойти!» А Москве отвечал на пасхальные подарки фронту: «Нынешняя Пасха — двойного воскресения: вместе с воскресшим Христом встала из рабства свободная родина. Я горжусь и счастлив стоять во главе фронта, раньше всех оказавшего нравственную поддержку восставшему народу и тем давшего опору его делу».

А что ж? Внутренне было безкрайне жаль ушедшего императорского времени, и того несравненного порядка, который царил раньше в России, но и не швырять же своё 45-летнее трудное восхождение на верхи армии. Всё зашаталось, как в землетрясении, — падали лица, падали учреждения, и в этой подвижности может быть одно было спасение: быть ещё того подвижнее, успевать хоть на пять минут, но раньше самой революции. В Киеве менял генерала Ходоровича на революционного полковника Оберучева. И поддерживал митингового прапорщика Крыленку. Из ротных комитетов вовсе исключил офицеров, а в высших комитетах уменьшил их пропорцию вдвое. И приезжающим делегациям от дивизий всем обещал, обещал скоро отвести на отдых (не сверяясь, кем же их заменять).

Да и Алексеев, после Пасхи приехав на Юго-Западный фронт, выступая тут, разве говорил иное, только без живости ума и речи? — что свобода — сладкая мечта наших предков и мы должны сохранить это наследие детям и внукам. И Брусилов кричал: «Нашему народному Верховному Главнокомандующему — ура!!» — а сам думал: отсутствие живости ума и погубит Алексеева при новом строе. (Как вообще всё алексеевское руководство он не одобрял уже за много месяцев.)

Однако в первые мартовские недели в голову не могло прийти, что революция, отвергнув царя, станет отвергать и саму войну с Германией. Этого — уже никак и ни за что не мог принять полувекковой армейский служака: этим отвергалась уже сама Россия? В середине марта был момент — Брусилов собрал подписи командующих своими армиями и телеграфировал в Ставку и на другие фронты о необходимости обуздать же Петроград! Нет, так уже не получалось. Тогда: «Мы все сознательно перешли к новому строю, не держим камня за пазухой; никто не хочет возврата к прошлому. Мы уважаем и любим Совет рабочих депутатов, это достой-

ные люди, но предпочтительно было бы не так насаждать на правительство, которому мы присягали. А тот приказ, который проник в начале, наделал много вреда. Нужна твёрдая правительственная власть и неумолимый строгий порядок. До Учредительного Собрания не должно быть никаких партийных споров и влияний».

Однако именно они и разливались, и главное влияние было: да здравствует немедленный мир. Массами невозбранно бежали с фронта. Оставалось издавать с высоты отрезвляющие приказы, уже теперь не влиявшие на солдат. Как же было убедить их, что мир невозможен без победы? Изю всех фронтов на одном Юго-Западном была хорошая фронтовая газета — «Армейский вестник», так её повелел закрыть Совет военных депутатов: «из-за несоответствия направления газеты взглядам рабочих и солдатских депутатов». «Правде» — всё можно, «Армейскому вестнику» нельзя! Брусилов воспринял это как личное оскорбление.

Но что оставалось делать? Уступать и уступать — видимо, только хуже. Стать заградительной стеной? — невозможно, не на кого опереться. На одном Юго-Западном Гучков уволил 46 генералов, все быстро менялись. А офицерский состав был весь потрясён. Да потрясён и сам Главнокомандующий: то, что творилось, не могло уместиться ни в какой военной голове.

А тут начались большие добавочные беспокойства в зоне фронта — в Киеве и в других городах: собирались митинги и целые съезды за автономию Украины, о которой и слыха не было раньше, и за создание отдельных украинских полков: чтобы теперь внести полную сумятицу, изю всех воинских частей в России отчислять миллион малороссов, и они будут собираться в свои отдельные полки.

И на всех фронтах шло только к худшему. И предложил Алексеев Главнокомандующим, без Кавказского: собраться в Ставке на совещание.

Сговорились на 1 мая. Но ещё по пути, не доехав до Могилёва, узнал Брусилов с великим изумлением, что Гучков — ушёл в отставку!!

Такой решительно-революционный министр! с таким авторитетом! Так уверенно, вот ещё на днях, выметавший генералов, генералов, — и сам в отставку??

О-го-го-го. Что ж это там случилось наверху?

Ещё мало выметал? Ещё теперь и до Брусилова доберутся?..

Или наоборот: был слишком рьян? Перегнул?

И — кто теперь вместо него? От этого зависит всё.

А кто же? Или — Алексеев. Или — кто-то из Главнокомандующих, больше некого.

Но среди Главнокомандующих двое — новички. Так что: или — Брусилова, или Гурко. Гурко послужил в Ставке, но фронтом командует — недавно.

Брусилов — самый старый, самый заслуженный. Всё к тому, что подымут его. (И Родзянко поможет.)

Министром? Энергично справится. Но по солдатским навыкам — лучше бы Верховным. После отставки Рузского он был теперь уже несомненный первый и единственный кандидат в Главковерха.

Ба! Да совпадение ли это? Почему Алексеев собрал их именно теперь? Знал об отставке заранее?

Но тогда и перемещения уже все решены?

С большим волнением приехал Брусилов в Ставку. И пытался угадать по глазам Алексеева.

А у того глаза — постоянно смежены, ничего не рассмотришь.

Совещание состоялось в той самой комнате второго этажа, с картами, где последний раз совещались в декабре с царём и откуда вызвали его телеграммой о смерти Распутина. Брусилов взял для помощи и совета своего генерал-квартирмейстера Духолина — розовощёкого, моложавого, полного, всегда очень спокойного и разумного. Драгомиров приехал с начальником штаба Даниловым-чёрным, прежним безраздельным хозяином этой Ставки, а теперь очень окоротившимся и ещё более мрачным. Гурко и Щербачёв приехали в одиночку. От Ставки Алексеев был с Деникиным и Юзефовичем.

Новость о Гучкове знали уже все. Кто — поражён, кто — не поймёшь. А Алексеев добавил и больше: князь Львов приглашает их всех вместе в Петроград.

Вот оно! Так и есть, всё связано! Огромные будут дела.

Вдвоятером сели вокруг стола. Все два месяца фронты обменялись такими оживлёнными аппаратными разговорами и решали судьбу трона и России, — а вот только сейчас собрались вместе, друг друга видя в глаза.

Драгомиров рассказал о своих странных переговорах с немцами. И вот, от принца Баварского, германские условия мира: очи-

стить им Армению, Молдавию, Восточную Галицию, Литву и Курляндию! Каково?!

Ну, хищники! — уже и подышать будут, а лапой — всё гребут.

Эти переговоры с немцами на Северном фронте — кто вызвал? Не Петроградский ли Совет? Очень возможно, что огоньки оттуда. Так нагло-уверенно немцы пришли.

А в остальном — всё положение было настолько одинаково известно собравшимся, что не требовалось ничего обстоятельного доклада, ни даже чётко поставленных вопросов, на какие бы ответить. Сидели — немногословно, сокрушённо, и только от избытка сокрушения то один, то другой генерал вспоминал, напоминал что-нибудь.

Уже возникает требование демобилизовать солдат старше 35 лет.

А немцы не сентиментальные, не отпускают и сорокалетних. Противник увеличивает срок службы, а мы уменьшаем.

Променили у немцев пулемёт на спиртное. (Это у Драгомирова, самый «развитой» фронт.)

Хотя и выборное начало как будто официально не введено, но фактически кого солдаты хотят посадить — того и ссадят. И нового назначишь — кого они хотят, идти против их воли нет смысла.

Зачем воевать? — «до нашей губернии немец не дойдёт».

Зачем воевать? — смертная казнь отменена. Впереди — смерть, а позади — нет.

Да что! — не добившись себе смены на позиции, полк посылает делегацию прямо в Таврический дворец! — чтоб оттуда сменили.

О каждой перегруппировке хотят объяснения: не есть ли это контрреволюция?

Это называется теперь: *навинчивают сознательность*.

У нас в одном штабе корпуса придумали: вынести все стулья. Только стул начальника и один стул, кто пришёл на приём. Поэтому все депутатии принимают стоя, и всей ватаге не на что сесть, не рассидишься.

И чем непонятней им объясняешь, тем они скорей удовлетворяются.

Некоторые делегации требуют, чтобы начальники и штабы за неудачные боевые действия несли ответственность перед судом.

Перед каким теперь? Перед солдатским?

А в 6-й армии постановили: у офицеров не может быть вопросов, отдельных от солдат, и они не должны совещаться отдельно.

Да в артиллерии, в инженерных частях — комитеты толковые, с ними одно спасение. Там и офицеров в комитет выбирают самых хороших.

Да не только, и в пехоте много здравых. И как заметно отличие их настроений от петроградских. Они — и борются с большевистской пропагандой.

И даже: солдат смелей говорит, чем офицер.

Комитеты издают и воззвания к дезертирам. И сообщают в волость для предания дезертира позору. И пропесочивают за опоздание из отпуска как нарушение товарищества.

Да где прекратили братание, то только комитеты. Даже поражает здравый инстинкт солдат: сколько выбирают деловых, а не брехунов.

Иногда комитеты практически заменяют слабого командира.

А при хорошем — хорошая совещательная комиссия, придают нормальность подорванным отношениям с солдатами.

Но когда комитеты слишком поддерживают начальство — их грозят сместить. И смещают.

Да нет, господа, отрицать необходимость комитетов в сегодняшней обстановке уже невозможно.

Деникин: — Нет, не верю в комитеты ни на минуту. Полностью их игнорирую.

— Потому что, Антон Иваныч, вы не в командной должности теперь.

— А телеграмма Скалона про Копенгаген как утекла? Через комитет стрелковой дивизии. Мы лишаемся уже простой секретности пересылаемых бумаг, всё — на расхищение. Агентурные сведения союзников — идут прямо на базар, — с резкостью говорил Гурко.

Он — всё выговаривал так властно, будто он не участник и не жертва этого общего падения. Маленький, быстро-вскидчивая голова, а глаза выщупывают, выщупывают. Изо всех присутствующих он был Брусилову наиболее неприятен этой самоуверенностью. Да — всеми чертами. Да — всегда.

Но хуже, если пройдет проект с комиссарами фронтов и армий. Это что-то ужасное: ни один приказ не может быть выпущен без подписи комиссара.

«Уполномоченные народа».

Да этот проект нависает уже полтора месяца, однако до сих пор его не осуществили. Может быть, и минует.

Разбредались мысли у Главнокомандующих. О чём ни вспомни — всё ужасно.

Обсуждение рассыпалось во все стороны, и все безотрадные. Алексеев напомнил, что надо дать Корнилову пост Командующего армией. Брусилов никак не гнался иметь у себя слишком теперь независимого Корнилова — но получалось так, что придётся взять именно ему, на 8-ю армию, вместо Каледина: о необходимой отставке Каледина Брусилов уже докладывал Алексееву. Каледин в эти месяцы проявил полную неспособность к развитию в каком-либо соответствии с революционной обстановкой, ни в чём не шёл навстречу комитетам, депутатам, стал апатичен, как с полузакрытыми глазами. Уедет на Дон.

Тут сделали перерыв: Алексеева срочно вызвали. Кто же? Вернулся, рассказал: странный приём князя Львова. Ещё вчера он предупредил, что пришлёт в Ставку из минского комитета Земгора своего близкого родственника с конфиденциальным поручением (чтобы не по телеграфу? чтобы ленты не оставлять?). И вот оно (родственник тотчас лично повезёт ответ в Петроград): как смотрит Ставка на то, чтобы военным министром был назначен Керенский?

Ке-рен-ский?? Брусилов быстро оглядывал всех. Да, негодовали! — но не так, как он! Оскорбились? — но слишком мало.

Кто фыркнул. Кто плечами пожал.

И Брусилов — тоже удержался выразить.

Республика — тёмное дело. Надо... осмотрительно.

Да и князь Львов — только запрашивал, а на деле уже тем вынуждал?

Кандидатура очень неожиданная. Но поговорили — стали соглашаться: а ведь кадровому военному, вот никому из нас, да и не справиться сейчас. Да и кто из нас пошёл бы в этот сумасшедший петроградский котёл?

(Отчего же?)

Нужна фигура именно общественная, и даже левая, и даже демагогическая. Керенский, хотя не зная в военном деле ни уха ни рыла, — как раз и подходит? Может, при нём-то и пойдёт лучше?

(Вздор.)

Гурко протестовал: принять такого министра — это уже совсем не ставить себя ни во что. Предложил — Ободовского: тоже общественная фигура, тоже энергичен, но очень деловой и много работал по военно-техническому снабжению.

Алексеев озабоченно ушёл к родственнику Львова.

Потом — снова заседали, и всё так же безформенно и безнадежно. Вспомнили «Декларацию Прав Солдата», в середине марта авантюрно напечатанную в газете Совета, потом, правда, опровергнутую, что только проект (но в окопах читали и усвоили). А вот вынуждают и отзывы Главнокомандующих. И — если теперь Керенский? Ведь не отвергнет.

Ещё и весь сегодняшний развал мы сможем как-нибудь переболеть, если только не введут официально ещё эту декларацию. Если объявят и её — спасенья нет. Тогда уже — погибла русская армия.

— Тогда — нельзя дольше оставаться нам.

Суровый Щербачёв, с горбатым носом, острым взглядом, лишь чуть моложе Брусилова, ровесник Алексееву, а ещё обильные густые волосы, — ответил, что как бы ни было безысходно, вожди не смеют бросать армию.

А Гурко:

— Если правительство безсильно отклонить эту декларацию — оно должно само в полном составе уйти. И пусть Совет правит. И ведёт армию.

— Ну вот поедем да сами всё правительству и изложим?

Гурко: ничего не даст.

А Брусилов горячо, с надеждой:

— Наш приезд произведёт большое впечатление на правительство. И на столицу. А тут, сколько бы ни сидеть — мы ничего не решим.

Удручённое котастое лицо Алексеева выглянуло чуть пободрей.

Но там, министрам, всего не выскажешь так откровенно и полно, как мы здесь. Надо подготовить: о чём говорить. И распределить — кому.

— Ну уж если ехать, — приговорил Гурко, — то поставить им ультиматум: объявляют «права солдата» — мы все подаём в отставку одновременно.

День перестал отличаться от ночи: клубится мрак непроглядный и ночью, и днём. Весь мир стал — страдание, цвет его — чёрный, это переключивается в нём, и кажется, уже не может пробиться просвет или найдись опора.

Всё одни и те же мысли плыли через неё, и только их она слышала.

Что именно произошло — Алина и сама не могла назвать. Что именно происходит, какие выходы тут станут искать — охватить недоступно. Но, с её тонким ощущением вообще чувств, Алина догадалась, что внешние условия, вот и совместная жизнь, вот и все его новые заверения — никакие не могут помочь: что между ними двумя рухнуло непоправимо.

Алина всячески отгоняла эту мысль, не признавала её, не верила ей, но — чувство такое пришло: что жизнь её разгромлена, раздавлена навсегда. И теперь — изобретай, уступай, прощай, забывай, а вернуть прежнего всё равно нельзя.

Она была — его царица. А — кто теперь?

Он не хочет это вернуть.

У Чехова прочла: «Как я буду лежать в могиле один, так и живу, по сути, один».

Мо-ги-лёв.

Могилёв — и стал её могилой.

Рухнуло непоправимо, придавило беспомощную Алину, и она лежала как в параличе, а когда не лежала — то как лежала, и когда не ночь, то как ночь, всё смешалось неразличимо. И эти безконечные часы суток оставались силы только осознавать свою безысходную трагедию. У какой женщины ещё когда была такая ужасная судьба: ведь он всю жизнь её любил, и сегодня ещё любит, — а рухнуло. Когда не любят — легче, отваливается. Но — любя??

Его надо бы сотрясти, чтобы он очнулся.

Но — как его пронзить?

Он даже стал избегать разговаривать. Внешне соглашается — лишь бы не слушать.

А вот что — все эти муки перенести на бумагу. И дать ему читать.

Мой Обвинительный Акт — так и написать вверху листа. И каждый упрёк, который жжёт невыносимо, записывать под следующим номером.

1. Ты унизил меня не только изменой — но ты растоптал... Ты перестал ценить и понимать, какая хрупкость тебе была доверена...

От страданий иногда отнимается соображение. Но надо изложить ему отчётливо, он должен знать мои терзания.

2. Из-за тебя... И эту самую большую мою жертву... никогда не оценивая и не возмещающая...

Боже, как жалко свои задушенные возможности! Напишешь-напишешь — и хлынут слёзы.

3. А что ты вообще дал мне за всю жизнь? Ты лишил меня простора! Ты сделал меня своей послушной тенью.

Говорили Алине: «Ведь вы же — личность, зачем вы так растворились в нём?» Зачем?.. жена да подчинится мужу?.. Да можно сказать: она никогда не жила так, как бы ей хотелось. Всегда — не все потребности бывали удовлетворены.

Ты не поддерживал моих увлечений... Ты гасил мои порывы... А мои порывы — это лучшее во мне. Но если не удалась твоя жизнь — почему нужно замыкать и делать безцветной мою?

4. А чем когда-нибудь ты для меня пожертвовал? Какой ты совершил для меня подвиг?..

Есть упрёки, уже не раз брошенные ему в лицо. А есть — не прорвавшие, как нарыв, они-то и мучат больше всего. А никому не выскажешь, неловко и Сусанне. Так пусть — ему!

5. Ты убил во мне все желания одно за другим — кроме одного, которое разгорается, оттого что после твоей измены оно открылось ненасыщенным. И оттого, что оно оскорблено...

Ах, если бы мне больше легкомыслия в молодости и потом — мне не было бы так тяжело сейчас!

Как прогнать мучительные мысли? Сядешь и растравляешь себя си-минорной похоронной сонатой Шопена. Нет, жить мне, по-видимому, больше невозможно. Это — ужас, которого человек не может вместить! Безумствую от мысли, что он не томится по мне, как я по нему. Оправдать его может только полная неспособность понять женскую душу.

Нет! Ничто не может его оправдать! Иногда — припадки бешеной ненависти к нему! Чувствуешь в себе силу на зло, какой ни-

когда не испытывала. Он ещё не знает, как обманутая женщина умеет мстить!

Да, мысль о *мести*, ещё пока неизвестно какой, взялась подсвечивать ей в этой тьме — ободряющим угольком. Когда вздумываешь о мести — сразу чувствуешь, что сильнее. На месть — ещё найдутся силы! Цепкие силы пробираются между чёрных клубов. Если он своих желаний не сдержал ради жены — почему должна сдерживаться жена?

Но ревности — он не умеет ощущать, у него плоская сухая душа. Ревности — в нём не расшевелить.

Отравиться? — было бы легче всего. Но это не была бы настоящая месть. Он — не достоин её смерти.

Как и жизни её не достоин.

Бьёт и бьёт одна мысль: он мною пожертвовал! Он мною пожертвовал!

Хотя иногда облегчение: намного легче, когда видишь, что и он тоже мучается, ему тоже трудно досталось.

А иногда и его страдания уже не утешают, уже не кажутся доказательством любви.

... Да я, по сути, больна... Я не просто срываюсь, я больна.

Да! И он же бросил это слово: «клинический случай». Так он — *понимает?*..

Он — понимает! Так тем он виновнее!

Да, больна! И не Обвинительный Акт — надо спешить записывать симптомы болезни, чтобы было что показать врачам. Тут помогут записи из дневника — хорошо, что всё время записывала состояние, сон, аппетит.

Этот замкнутый флигель, эта бездеятельность, оторванность от людей — меня погубят. Обстановка в этом флигеле уже невыносима, всё — отвратительно, до чего ни дотронуться. Переездом в Могилёв я себя и погубила. Каждый день здесь — уносит год моей жизни. Как я извелась! В здоровом состоянии как бывает приятно проснуться и порываться к делу. А теперь — одно отвращение.

Нет, надо срочно советоваться с врачами: что нужно? Лекарства? массажи? разнообразные впечатления?

Не потерять мужества и спасти сама себя. Методически записывать разные случаи с собой, эти внезапные перемены настроения, чтобы всё это можно было бы сопоставить, и по такому развёрнутому объяснению станет ясно врачу.

Выздороветь! О, как хочется выздороветь! Ничего больше не хочется больной душеньке!

Чтоб над каждым делом не распускался чёрный лопух бессмыслицы: а зачем?

146

Сколько уже раз Фёдор и приезжал, и уезжал из своей станицы, да не меньше двух раз в году, и в эти военные тоже, — и почему-то каждый раз при отъезде натеняется страх: что-то случится в будущем, и он больше в станицу не вернётся. Ничто бы не должно помешать? — а каждый раз не знаешь. Летом на садах ляжешь вопрокидь или сидишь на лавочке, — такая тишина, лёгкость, пушистость, меланхолически воркуют горлинки в вербах, по небу еле перетягиваются редкие перистые облачка, и такая вдруг охватит тоска: милые садочки, до свиданья! Убогий и милый, неотрывно родной мой угол! сторона родимая, где пупок резан, — не вечно возвращаться мне к тебе. Смерть? Мысль о ней почему-то всё чаще тревожит. Хотя ведь не стар ещё, полусотни нет. Хотел бы молиться? — нет сил и молиться. Если приедешь в Глазуны под Пасху — сходишь, может быть, к заутрене, когда все. А в иной раз — так звон со старой колоколенки только раздражает: слишком долго звонят. Сходишь на могилки родителей — поцелуешь, погладишь кресты, а сердце — нет, не плачет, не дрожит, — зарастать стало?

Но и как безрадостно: все мы, все мы туда пойдём. А теперь ехать в станицу — с Зинушей?! Сговорено...

А — робость настигла. И опять не решиться никак.

Вода — спála, каждому ясно, хоть и из газет, — и Зина уже с чемоданом собранным, все юбки-блузки разглажены, ждёт вызывной телеграммы. Она уже по первой его телеграмме заподозрила: ведь он — в Новочеркасске, а сюда путь не загорожен, а там дальше поедем вместе? И — видит её Федя в тамбовском знакомом домике, будто и сам там опять, вот видит вчужую перед собой её строго-пламенный взор — и трудно выдержать, Федя отводит глаза.

А вызвать вот — не хватает последнего душевного усилия. В Петербурге казалось — решился. А на Дон приехал...

Сейчас в станице будет больше всего хлопот с садами. Любит их Федя, подкупил к своему надельному ещё и смежных. (И ещё покупал у станичного схода за 50 рублей неиспользуемый школьный участок — под опытное виноградарство и садоводство, но не разрешил окружной атаман.) Сейчас время — сады обмазывать, а после цветения — опрыскивать, а молодые посадки поливать, и вечный страх, не появился бы долгоносик, а то какие-то мотыльки налетают, прямо землю застилают. Есть обильные вишни, яблоки, есть груши, сливы, слабые абрикосы. А тут пора виноград открывать, уже пускает ростки, а там ставить колья, привязывать. И всё ж от погоды: как прошлый год в это время лили дожди что ни день, все улицы в воде, палисадник заплыл, — а то нет дождей, нет! это донское: и туча чёрная проплывёт — а нет ни капли! сушь, ветер, с утра уже печёт, корма выгорают, мотыльки об землю звенят как косы, да не было бы пожара. А свежеет к вечеру воздух — стерегись заморозка, не пришлось бы этой ночью костры из мусора разводять. А то смотри — арбузы не взошли, по старой посадке нужна новая. А ещё ж — на огороды баб искать. Да плести плетни, обгородить леваду и гумны. (Да даже одно, как не подумал раньше: что уборных в станице отроду нет, оправляются на базу, на забазье, — как это Зине вымолвить?) А у лошади одной — вдруг глазное что-то, у другой экзема, — давай зелёное мыло да цинковую мазь. Да со всем же скотом сколько хлопот, да молочные скопы...

И разве же Зина сколько-нибудь вместит все эти заботы? Ей они — что?

Сестра Маша одна — колотится и колотится. Не всякому работнику прямо прикажешь: ещё угодить надо, как ему хочется делать. А за садом ухаживать — верно говорит: что детей растить. И с болью торгуется Маша за каждый федин рубль: «Теперь народ остервенился и в деньгах сытости не знает». Вот — брат приедет, всё сам рассудит, верно ли делала. А по теперешнему времени ещё и запас набирает: 12 пудов сахара да 6 пятериков хорошей муки, а уже и страх: «Будет реквизиция — у нас возьмут».

И все эти годы — тянет Маша одна, одна всё семейное, и шлёт Фёдору грамотные точные отчёты. А сил с годами у неё не прибавляется: уже еле ноги таскает, голова болит, а при покосах, в рабочую пору так и ревёт от неуправы.

А ещё ж от Дуни — крест да терпение. Глупые дикие выходки — и не спросишь с придурочной, а ей уступать, только так и поладить.

А был момент, когда Александр потребовал выделить ему долю. Фёдор только ахнул: да кто тебя подменил? Неужели я у сестёр, курушат беззащитных, дам отнять последний кусок?

Александр — подчинился, ибо всем им Фёдор как отец, и этого тоже в люди вытянул. Александр и жене Шуре подчиняется: не стало где няньку нанять — он придёт домой из лесничества и при детях за няньку. Слаб он, а может и прав, когда говорит, что и все Ковынёвы духом слабы, слабеем в минуты тревоги, да и хозяйствовать не можем, не кулацкая у нас натура, а многое наше достаётся другим людям.

Отчасти и так. Сам Фёдор хозяйничал бы всей душой — а вот жизнь оторвала.

А ещё же Петьке, вот, 12 лет. Где каких детей Фёдор народил — мало знал, одного отдалённо, в нищете, его матери посылала Маша посылки, — а Петьку тут, в Глазуновской, подбросили на порог, и по расчёту — тоже федин, так и взяли его, и Маша ему — «мама». Но и тоже недогляд: отвечает ей резко: «Двойки пережила и кол переживёшь», бьёт на самостоятельность, усть-медведицкому репетитору отвечает — лёжа на диване. Хотела бы Маша видеть в нём теплоту — но, жалуется, лишь искры малые. Но и: только прошу, от Петушка меня не отрывай, в нём одном моё утешение и моя жизнь, а что я за это получу от него — Бог ведает, но без этого не могу.

Отца-то — слушается. Но хозяин из него — вряд ли будет.

И вот в это всё — как же Зинуша войдёт? Что она поймёт? Что возьмёт себе на плечи? Фёдор всё рисовался ей с козырной стороны — педагог, писатель, думец, всероссийский человек. А на самом деле — обременён семьёй, хозяйством, да почти потерян, да почти и стар. Сёстры — сироты, одна с порчей, другая никогда замуж не выйдет. И куда тогда Петушка — в Питер? А для Маши: пропал Петька при чужой матери! Ведь и не отдаст...

Маша — всего лишь сестра, но по своей беззамужней преданности она уже и не могла бы видеть брата женатым. Она всегда зовёт его на июль-август сторожить яблоки в саду, и на тебе подстилки и подушки, принимай там девок ли, баб, — но федина женитьба разломала бы всю её жизнь. А иные женщины, не подумав, пишут Фёдору по станичному адресу. А в Глазуновской, сердясь, что Ковынёв *прописывает* своих станичных в газетах, ещё нарочно шлют анонимные письма, да прежде, чем до Маши дойдут, уже и вся станица как-то знает, почтмейстер читал вслух открытку —

и все ржали: «Невеста вашего брата это лето проведёт с вами. Как-то на вас отзовётся?» И, заболев от этих вышучиваний, Маша пересылает в Петербург: «Чтоб не было тобой сочтено, что я скрываю письма. Что это за путешественница? Напиши, для кого я должна буду летом открыть двери так любезно? Судя по штемпелям, невеста недалеко и живёт. Не думай, что меня это злит, я смеюсь, но на старости лет попадаю в такое положение...»

И все эти неосторожные шутки — как перцем на рану вот именно сейчас, когда надо ехать с Зиной. Вот и получится — «путешественница»...

Да с зининым язычком, подколлет при Маше...

Нет, не примут её сёстры.

Да Маша — и никакой жены не примет, не то что русской — и казачки.

А позвать — только на пробу?

И видел зинино лицо разгневанным: «Зачем ты звал меня? Чтобы твоя сестра решала нашу судьбу? Чтоб унижить? Вы, казаки, — дикари какие-то!»

Нет, не поймёт она Дона. Ни — что́ этот клинышек есть, между Доном и Медведицей!..

Дона — она не поймёт. Да в такое время, когда забурлило вот. Когда и Фёдор сам, уже неделю после съезда, всё кружится в Новочеркасске: встречи, обсуждения, гуторка, гуторка к майскому Кругу. Становится на ноги Батюшка Дон!

А что из этого будет? Сами донцы не внемлют, и Ковынёв не объёмлет, — а разве русскому понять?

Есть донцы — круто гнут: отделяться — и всё тут.

Да нельзя ж по живому отрезать, станичники!

Но и вольность донская — должна сильно расширяться, да.

Ещё вгоряче доспаривают на улицах, не вырвешься, — а вода уже схлынула, все дороги открыты — и, не откладая, в Глазуновскую спешит — чтобы выбрали же тебя на Круг.

В этот бурлём — и правда же Зина никак не вмещается.

И чем ближе ехать, чем тесней, тем невозможнее, и самому уже невероятно: как же мог так легкомысленно обещать?

Потом когда-нибудь? осенью? (Отложить — оно легче.)

Но — страшно ей объявить!

Да она уж, наверно, по всей заминке предчувствует, что — не ехать.

Стыдно. И сам себе противен.

И тогда — потерять её совсем? Уже не увидать никогда?
В уме ли 47-летнему — отталкивать молодую, любящую? Где
он столько счастья найдёт?

Но и облегчение есть: опять свободен.

Вот сейчас — она ему дороже всех прежних встреч.

И сколько он горя ей наделал — кто загладит?

Но — как с разогнанного поезда, не может он из своей жизни
выскочить.

Надо валить — на общий разлом: тут — разладно сейчас, а вот
на обратной дороге заеду к тебе в Тамбов.

Ещё по улицам, до телеграфа, он мог думать и передумать, как
ту телеграмму сложить.

Но постучал коридорный — и подал ему другую телеграмму.
Из Брянска:

«Александр убит взбунтованными рабочими. Шура».

Вот это — дубиной в лоб!!

Ах ты, мой братец меньшенький!! Ах ты, мой обречённый!

А ведь это в твоих глазах отмалу было...

147

Это был искренний вопль отчаяния — позавчера, к фронтовым делегатам. Минута слабости. Обида и безнадежность разрывали грудь, и переставал Керенский верить в восторженные крики людей и их клятвы. Всё, казалось, — почти потеряно, цветы революции — облетевшими до конца. (И буржуазная печать возликовала: вот, и сам Керенский подтверждает! кто теперь осмелится сказать, что тревогу вздувает «перепуганный обыватель»? А своя эсеровская была поражена и опечалена: крик переутомившегося человека, наш товарищ на миг попал под влияние мрачного гипноза, но, конечно, снова ступит на путь самоотверженной деятельности, — не дошла же нынешняя обстановка до хлыста и палки!)

И вдруг вчера два крупных освобождающих события — отставка Гучкова! и полупатриотическое воззвание Исполкома к солдатам фронта.

Отставка Гучкова — до чего же развязывала руки! сколько лишних усилий отпало. (Освобождение пришло с неожиданной

стороны, всё искали, как отделаться от Милюкова.) Развязывала двояко: открывала свободным место военного и морского министра! — и травмировала Исполнительный Комитет в их затянувшихся колебаниях о коалиции.

И орлино увидел Керенский: теперь или никогда! Теперь или никогда будет спасена революция! Теперь или никогда будет переставлено неудобное правительство!

Текли часы — каждый алмазного веса. Был Керенский и на заседаниях кабинета — но не там, о, не там решалась судьба будущего. (Только надо было задержать возврат Милюкова из Ставки, сколько можно, чтобы не мешал.) Временное правительство со всеми потрохами и так было у него в руках. Свой министерский перелёт надо было быстро готовить по линии ИК и по линии Ставки, чтоб они не оказали препятствий. Ставка не сразу давалась: тут не поможет телеграфный аппарат, а ехать некогда. (Но там служит свой шурин Барановский.) А вот как пригодился дальновидный мартовский шаг — тайная ночная встреча с младотурками из Генерального штаба: вот он, нужный мостик сейчас, и нужная помощь в дальнейшем!

Ещё одну такую встречу — вечером, вчера. Собрал их автомобилями под покровом воскресной ночи к себе в министерство, опять — Якубовича и Туманова, а Половцов в отъезде. (Теперь — и без Ободовского: стоустая молва в первые же часы стала называть того кандидатом в военные министры, так — не надо!) И говорил с ними вполне откровенно: они будут ближайшими советниками военного министра. А от них требуется: в понедельник же утром отправиться в ИК: что военное министерство обезглавлено; по имеющимся в генштабе сведениям, примеру Гучкова могут последовать и Главнокомандующие фронтами — Гурко, Брусилов. И просят они Исполнительный Комитет обсудить и принять меры, чтобы кризис был разрешён наиболее безболезненно и быстро. Это будет сразу достигнуто, если место Гучкова займёт Керенский: сейчас важны не сугубо военные знания, а общерусская популярность фигуры. Военный министр и не должен быть военным лицом: он решает вопросы общей армейской политики. (А Гучкову не предложить ли стать помощником военного министра по техническому снабжению? Пригодился бы его опыт. Но не согласится ни за что.)

И сегодня Якубович и Туманов пошли утром, и так сработали, всё правильно. И Исполком был впечатлён.

Да даже лишние, может быть, предосторожности: с каждым часом Керенский видел, что нет ему реальных соперников, дорога открыта. Поливанов? Маниковский? — нет, им сегодня не пройти, их карьера отслужена.

Колотилось сердце от невиданной ответственности, но и предвидения невиданных побед! Вот тут и послужит воззвание ИК к солдатам — армия возродится, укрепитя, и мы ещё повторим сказку французской революционной армии!

От одного, другого своего заместителя не скрыл и в министерстве, что скоро от них уйдёт. Пусть, слухи тоже работают.

Даже бóльшая забота теперь была — не как приобрести пост, но чтоб Исполком вообще не сорвал коалиции.

Однако в министерстве юстиции вцепились свои дела: проклятые эти эпизоды с анархистами. Приехал Переверзев и докладывает. Из-за дома Лейхтенбергского долго спорили с коломенским комиссариатом. Комиссар милиции большевик Харитонов не пускал внутрь представителей судебной власти, и даже герцогского управляющего, ссылаясь на слово, данное анархистам, а внутри дома, мол, всё в порядке, он знает. Наконец, после многих часов препирательств, вошли — и обнаружили всё разорение. Возвратившийся герцог оценивает убытки не меньше как в полмиллиона. Бриллиантовые кольца, коллекции табакерок, портсигаров — всё исчезло. И много буфетного серебра увезли. Уж не тащили в автомобиль тяжёлого серебряного сундука, но не упустили сорвать с него золотые монограммы. Похищены дорогие изделия мастеров 1812 года. На вскрытии несгораемых шкафов — работали профессиональные воры, и сейчас уголовная милиция уже знает личности троих, но задержать их не решается без специальных полномочий, опасаясь анархистов.

И — отказываются анархисты выезжать из дачи Дурново. И захватили особняк за Невской заставой у лакового завода, повсюду натыкали чёрные флаги, — и администрация безсильна их выселить.

О, дьявол, какая нудная, скандальная и, главное, несвоевременная история! Сейчас, когда взвешиваются судьбы государства, — только и разбирать эти базарные эпизоды и пятнать себе имя.

Хорошо, пусть пока, на несколько дней, всё останется так. Арестовывать — никого не надо... Мы (вы) уже и так наделали довольно ошибок с расследованием событий 21 апреля.

И ещё же событие в министерстве юстиции: старшему курьеру — 25 лет службы, и министр обещал быть. Собрали всех курьеров, Керенский вышел в сопровождении своих заместителей, произнёс речь. Ещё один курьер — ответную речь.

И — ринулся на квартиру к князю Львову, где уже давно заседали министры. По грозности дня — оставили Мариинский дворец пустовать, отменили рядовые заседания, там покою не дадут военные делегации, текущие дела, — заседали тут приватно.

Но и сюда добрались: звонили князю служащие из дворца. Именно почему-то сегодня, как назло, явилась в Мариинский дворец группа ремонтных рабочих и заявила, что, по давнему распоряжению Исполнительного Комитета, во всех ведомствах, и в Мариинском дворце тоже, должны быть сняты портреты всех царей романовской династии. Князь Львов сперва расстроился, пытался по телефону остановить, он никогда не слышал о таком распоряжении, и почему именно сегодня, и при чём тут Пётр и Екатерина? Но старший рабочий настаивал — а тут явился Керенский и даже взорвался: о чём вы препираетесь, как не стыдно? Нам надо Россию спасать, а не эту рухлядь!

И — заседало правительство тут, а там — огромные золочёные рамы составляли пустыми в коридорах, а портреты уносили прочь.

Тут — второй день оспаривали и шлифовали ответное заявление правительства по поводу самовольного выхода Гучкова. Многое уже смягчили. Керенский бы не стал смягчать, но это — уже и не принципиально, всё время у всех — не тот масштаб. Правительство напоминало населению, что его Обращение 26 апреля — государство в опасности и напрячь все живые силы страны — было принято в полном согласии с Гучковым. Но, не ожидая разрешения поставленных там вопросов, Гучков через три дня признал для себя возможным единоличный выход из правительства — и сложил с себя ответственность за судьбы России. Однако Временное правительство, по долгу совести, не считает себя вправе сложить бремя власти и остаётся на своём посту. Оно верит, что с привлечением к ответственной государственной работе новых представителей демократии — восстановится единство и полнота власти.

Вот именно. Министры — ничего не могли решить. (Да все — калеки, кроме Терещенки и Некрасова.) Из Москвы вернулся Ма-

нуйлов — ничем не помог. К восьми вечера ожидали Милюкова и Шингарёва из Ставки.

Ключ к проблеме ложился всё равно в руки Керенского. Оставил их заседать — и помчался к началу заседания ИК. Товарищ председателя Совета, два месяца Керенский игнорировал Исполком, если появлялся в Таврическом — то миновал их комнаты. А теперь вот — прямо к ним, со всем эффектом и всем весом.

С большим рыжим кожаным портфелем (серебряная накладка с гравированной дарственной надписью). Ни в прямом, ни в переносном смысле у членов ИК не было сравнимого портфеля. И Керенский положил его на стол как неопровержимый аргумент. И нервно щёлкал замками во время своего доклада.

Он — именно доклад сделал им, и обстоятельный. Что и сколько помнил (не готовился) о делах военных, морских, продовольственных, финансовых, промышленных, транспортных. Наш государственный долг — 40 миллиардов, одних процентов в год мы должны платить 2 с половиной миллиарда. Всё дальше падает наш рубль в Финляндии, и уже стал падать в Дании. Надо решаться на обложение военной прибыли, сверхприбылей. Подписка на заём, несмотря на всю шумиху, дала очень скромные результаты. Да возможно придётся эвакуировать петроградские заводы на Юг. Сырья и топлива настолько остро не хватает — нет другого выхода, как государственное вмешательство в частные торгово-промышленные отношения. Нужен государственный контроль, какого до сих пор не бывало. Уже объявили кожевенную монополию, угольную. Растут конфликты в промышленности — необходимо министерство труда. Из-за роста заработной платы — на миллиарды удорожается производство. Расстраиваются и водные пути от конфликтов о рабочем дне, о расценках. О солдатском самоуправстве на железных дорогах — вы знаете все. Железнодорожные тарифы приходится повысить на 200%. Обещанных американских паровозов мы в этом году на рельсы не поставим.

Да всё они знали — о недорубе лесов, о недосеве полей, непривозе деревней хлеба, пустых продовольственных складах. А — захваты земель? А какая чехарда в местной администрации — если только ещё начать о ведомстве внутренних дел? У правительственных комиссаров — самое неопределённое положение. Везде — самовольства, самосуды.

(Он — пугал их, но не пугался сам несколько. Он знал, что теперь — всё преодолимо, только надо вызвать энтузиазм масс, толь-

ко надо уметь обратиться к народу. А в чём-то проявить, наконец, и твёрдость.)

Да он знал, что убеждать-то ему надо почти только меньшевиков, потому — экономикой. А свои трудовики — давно убеждены, и эсеры всё более. А большевиков — и пустое убеждать.

Правительство — уже не работает, оно только обсуждает своё положение. Гучков ушёл как с гибнущего корабля. На очереди — уход других министров, может быть Милюкова и Шингарёва. Возможен уход Главнокомандующих, это — паралич армии. Тогда, очевидно, придётся уйти и мне. (Кажется, уже достаточно прорисовалось, что военное министерство больше некому передавать.)

— В такое время, товарищи, не стоит заниматься партийными счётами и разногласиями. Сейчас не о платформах надо говорить, а спасти Россию. Единственное спасение — реорганизация правительства. Мы с вами должны добиться единства революционной власти. И демократия не вправе уклониться.

— А если вместо этого усилить контроль ИК над правительством?

Контроль, и только контроль, не даст выхода из положения. Это значит — всё останется как есть. А нужны новые формы. Призвать к власти доверенные демократические элементы.

И видел, что произвёл — шок, что уже выиграл: коалиция будет!!

Гиммер и Дан спросили: а какие именно портфели и сколько могут быть переданы демократии?

(Тут — не связывать себе рук!)

— Сейчас надо решить вопрос — принципиально. А вдаваться в детали — пришлось бы мне от своего имени, не от имени правительства.

Но — слишком много партийных оттенков. Около десяти вечера решили: расходиться для обсуждения по фракциям.

Однако Керенский — уже по Церетели видел успех.

И покатил его автомобиль опять на Театральную. Тут — всё сидели, заседали без успеха, уже с Милюковым и Шингарёвым. Милюков был надутый и красный, вот взорвётся.

За отсутствие Керенского сюда приезжал объясняться и уехал Гучков.

Меньше прощаний — меньше слёз.

Внутри всё взыгрывало — так уверенно Керенский шёл к триумфу.

Не досиживал тут — придумал кинуться в Александринский театр, пока там ещё не кончился концерт-митинг, обслуживаемый Волынским полком.

Здесь только что выступал Тома (отчаянное положение союзников, больно поражены вестями о братании), ему пели марсельезу, аплодировали.

Но тут — в зал вошёл Керенский. И началась овация — п я т н а д ц а т ь м и н у т ! Четверть часа!! — он сам в жизни не испытывал такой.

Как его любили!

Взошёл на сцену и решил объявить: кризис устранён! Правительство чувствует себя твёрдым и крепким. Близок день, когда его состав укрепитя новыми силами из среды демократии! Предвидится соглашение с левыми группами о коалиционном правительстве!

Какой новый взрыв аплодисментов! Какое ликование!

— У нас и мысли никогда не было о сепаратном мире. Мы заключим мир тогда, когда этого захотим, вместе с нашими славными союзниками!

И — прямо тут же пошёл в дипломатическую ложу. (Надо было ещё раз удостовериться, что Бьюкенен в решающий момент поддержит кандидатуру Терещенки. Теперь ведь только и оставалось — сшибить Милюкова.)

До чего ясная жизнь была у Николая Семёновича, пока он сидел на социал-демократической скамье Думы! — выходил — речи говорил, и хоть не надеялся, что от них улучшится, зато и не ухудшится. Но вот — завоевали свободу, сколько её не охватить всеми нашими руками, — и за эти два месяца (как раз ровно два!) эта невидимая безтелесная свобода в воздухе давила такой телесной каменной скалой, плющила плечи, чуть хребет не ломала — всем, кто за неё отвечал, а Чхеидзе ведь — один из первых. Кто был сейчас самодержавный хозяин России? — Петроградский совет рабочих депутатов. А кто его председатель? — Чхеидзе. И ни одного дня он не настраивался так, что будет только кресло занимать, а всё пойдёт, как пойдёт. Нет, каждый день (и каждую ночь перед

тем) мучился он, как вести дело, и на каждом заседании этого дня и над каждым вопросом повестки: как же именно правильно поступить? Голова его постоянно была неразборной гудящей мешаниной мнений. Едва ли Николай II столько заботился над управлением Россией, сколько досталось Николаю Чхеидзе. (И попробуй, с семью классами гимназии да одним годом ветеринарного института.)

Хотя успехи революции перешагнули в несколько дней и все партийные программы-минимум, и чуть не все программы-максимум, — но свобода всё распирала, всё ширилась дальше и становилась уже неудобна к употреблению. Уже надо было прямо-таки затыкать новые скважины свободы, как дырки в корабле, — но не хватало ни рук, ни пакли, ни сообразительности. Измучился Чхеидзе, всё больше раздирала его неуверенность — так ли? Измучился за один первый месяц, он честно знал, что хотя ведёт заседания ИК, но уже и им не управляет, а где там двухтысячный Совет? а где двухмиллионный Петроград? а — вся Россия? Измучился он за первый месяц так, что вконец постарел, в 53 года — старик, хоть выбрось. И если бы он имел право уйти на покой — сейчас бы и ушёл.

И тут-то — погиб Стасик, весь свет старика! И погиб, если понятия, опять от этой же свободы. (Раньше — откуда б у гимназистов винтовка взялась?)

А Николаю Семёновичу — даже не осталось права и времени отдаться горю на единый день — всё разрывали заседания, вопросы, нигде покинуть нельзя. И без того он был мал ростом, а тут почувствовал, что съёжился, ещё умалился, — и вовсе бы сжаться, всё здешнее забыть, к гробу приникнуть — и доехать с ним до Грузии, на похороны. Но на это Чхеидзе тем более права не имел, вместо него поехал Рамишвили.

Душа у Чхеидзе — не из кремня и железа, не революционная, понял теперь.

Всего полгода назад, громя правительство Штюрмера, ещё столько задора и сил в себе чувствовал, на всю Россию, и уж как высмеивал думцев, что они не революционны. А теперь задумывался иногда: и что мы в эту Россию все высыпали, на что она нам? Русских дел разобрать никогда невозможно. Хватило бы с нас и одну Грузию направить. Смертельно износился.

Или — молодым всё передавать? Только и укрепил Николая Семёновича — Церетели, как приехал из Сибири. Сразу полюбил

его Чхеидзе — как преемника, как наследника, и даже как сына, и это ещё до стасиковой смерти. А уж после... Радость поставить бы его вместо себя, радость передать всё в надёжные руки. Слушал каждое слово — и не помнил, когда бы был с ним не согласен. Какой же правильный и умный человек.

Три дня назад — уверен был Ираклий, что не смеем мы, социал-демократы, вступать в буржуазное правительство: в рамках буржуазной революции мы не сможем выполнить народных требований — и отшатнётся масса от Совета, как она уже ушла от правительства. Вступив в буржуазное правительство, мы рискуем потерять власть над революционной стихией, станем мишенью нападков анархистствующих демагогов. Совет потеряет свой моральный авторитет. И Чхеидзе был согласен совершенно. И переголосовали народников, хотя всего одним голосом.

А сегодня перед вечером приехал Ираклий от встречи со Львовым — задумчивый, грустный. И сказал, что, видимо, — не избегать вступать в коалицию. Иначе правительство совсем разваливается, и беспомощно. Да вот уже все толщи демократии требуют от нас, чтоб мы вошли во власть, и ругают нас за нерешительность. Да и действительно непорядочно оставаться дальше безответственными критиками и контролёрами, надо оказать и прямую поддержку. До сих пор мы не могли поддерживать их, потому что их действия были половинчаты. А теперь мы сделаем и внешнюю, и внутреннюю политику правительства — решительной. Да разве Контактная комиссия — уже не зародыш коалиционной власти?

И верно, верно. Соглашался Чхеидзе.

— Только: я, Ираклий, ни в какие министры не пойду, и не просите. Я — уже никуда не погуюсь.

Они по-грузински между собой говорили.

— Так я тоже, Николай, идти ни за что не хочу. Моё место — в Совете.

— А кого ж пошлём?

— Да вот — Скобелева, он хочет. И Чернов хочет.

Вот так, с глазу на глаз, спокойно, Чхеидзе успевал проняться через свою головную и ушную мешанину и согласиться. Но через два часа председательствовал на Исполкоме — и от каждой минуты, от каждого выступления терял в себе уверенность, все эти доводы опять сталкивались, закручивались, зашумливались — а реальное дело всё более куда-то отгеснялось.

Члены ИК собрались тревожней обычного. О Гучкове не жале-ли, но робели перед пустым местом военного министра. Добавило тревоги и утреннее необычайное посещение генштабистов. Но они же подсказали и выход: Керенского. Да если у него отчаяния хватит взяться? — так пусть.

Тут и сам он явился, почтил заседание Исполкома. Прежнего думского товарищества не ощущал теперь в нём Чхеидзе, — занёсся он, его прежняя прыть разыгралась в министерстве до юмористического. Но сегодня накидал мрачного, мрачного — даже под ложечкой засосало: и мы тут тоже руку приложили.

После него опять стали выступать — и за коалицию, и против. Чхеидзе председательствовал, а как во сне: голова уже не выдерживала, входить так входить. Да он как бы не заболел, полагывало его. Зиновьев, который тоже теперь влез в Исполком, огласил от большевиков пронзительно-категорически, что Совет должен взять полную власть в свои руки. Отвечал ему страстно Либер: что это только оттолкнуло бы от революции широкие круги населения, у демократии и без того много врагов, зачем плодить лишних?

Потом стали кричать, что хотят обсуждать по фракциям. Ну, разошлись в разные комнаты. Народники пошли все вместе, межрайонцы и Александрович — с большевиками, Суханов и Стеклов остались как дикие, никуда не приткнутые, а главное решение, понятно, складывалось теперь во фракции меньшевиков (Дан и здесь был против) — и перевесило теперь за коалицию.

И уже в двенадцатом часу ночи сошлись вместе. Заслушали заявления фракций. Церетели объявил, что меньшевицкая — решительно за коалицию. А Гоц — не только присоединился, но: эсеры ультимативно требуют себе портфель министра земледелия, иначе не войдут! Ещё горячее стало, испарина пробивала лоб.

А Коллонтай жарко говорила и кулачком потряхивала, что надо открыто порвать с буржуазией и стать на революционный путь захвата власти. Безфракционный Стеклов поддерживал её в пессимистическом тоне: наши представители завязнут в министерствах, ничего не сделают, позиции демократии будут подорваны.

И что они лезли на рожон, когда голосование было уже ясно. Теперь снова отвечал им Иракий, очень хорошо:

— Если наше вхождение в правительство есть начало нашей гибели, то лучше погибнуть со всей Россией, чем оставаться в сто-

роне. Но надо надеяться, что демократия общими усилиями не даст стране погибнуть.

Сам Чхеидзе сказал только:

— Два дня назад я говорил вам, что не могу взять на себя ответственность посылать представителей в правительство. А теперь не могу взять ответственность не посылать.

А Скобелев ещё добавил: мы во Временное правительство пойдём, но не для прекращения классовой борьбы — а для продолжения её, пользуясь орудиями политической власти.

Исход голосования был ясен, но меньшинство драло горлом: не просто голосовать, но сперва открыто и поимённо, а потом закрыто, и чтоб результаты сошлись. И хоть такое нигде не видано — не было сил их подавить, и голосовали два раза. И сошлось: 44 за, 19 против (там и часть эсеров) и два воздержавшихся эсера.

А на часах был — час ночи, и буфета нет. И тут — приступили к обсуждению условий вступления в правительство. Потребовали ещё перерыв — для совещания фракций о платформах. Нормальные люди давно б уже свалились, но тут держало революционное горение. У Чхеидзе уже кружилось, и чёрные точки в глазах, и молотками било в голове, и зяб. Да, он заболел. Но держался.

Разошлись по фракциям. Через полчаса снова сошлись. И тут-то потянулось главное обсуждение: по пунктам, по каждому за и против, потом поправки — по каждому пункту поправки, и больше всех донимал шустрый, бледно-горящий Суханов, а с ним Гольденберг и Стеклов, не щадили ни других, ни самих себя, ни кончающейся ночи, ни разумной истины. И даже видя, что поправка не имеет никакой надежды на успех, — всё равно предлагали. Поправки, не раз уже отвергнутые и на Исполкоме, и на пленуме Совета, и на Совещании советов, — всё равно вносили опять! — уже кости у Чхеидзе не держали. Опять: опубликовать тайные договоры с союзниками! Пospорили, отвергли: мы же не можем опубликовать также и германо-австрийские договоры. Проголосовали. Ещё: ни в коем случае не допускать выражения «наступательные действия», — оборонительные уж пусть, но при широкой демократизации армии. Отвергли, проголосовали. И снова Суханов: мы должны помнить уроки Лассаля, мы должны идти в правительство в большинстве, чтобы буржуазные министры стали пленниками социалистической демократии, и так им прямо это и сказать! (Гольденберг, под общий смех, устроил ему подножку: «Так — можно думать, но так нельзя говорить вслух!»)

Теперь светает рано, и, кажется, уже окна начали светлеть.
Второе мая.

До того dospopились, договорились, доголосовались, — предложили б ещё включить «восстановление самодержавия» — кажется, Чхеидзе продолжал бы кивать.

149"

(по социалистическим газетам, с 26 апреля)

За последние два года 4-я Государственная Дума сделала всё, чтобы расшатать вконец и подорвать в народном сознании устои режима... Революция не была бы столь победоносной, если б ей не предшествовала 11-летняя оппозиция Думы.

(«День»)

...А ген. Скалон из штаба Северного фронта разослал телеграмму: «По агентурным сведениям англичан, русские евреи, проживающие в Дании, имели 9 марта секретное совещание в Копенгагене, на котором было решено вернуться в Россию и вести пропаганду в русских войсках против войны с Германией». Подобного рода погромные провокаторские выходки генералов республиканской армии...

(«Известия СРСД», 27 апреля)

Насколько прав министр Гучков в своём чрезвычайном испуге, что отечество на краю гибели? Тому «отечеству», как его понимают господствующие классы, может быть, действительно видится конец. Что же касается до родины русского народа, то о гибели её рановато говорить. Но всё это — дело второстепенное.

(«Земля и воля», петроградская)

ГОЛОС ИЗ ОКОПОВ. ...Господа буржуи, одевайте наши шинели и идите к нам в окопы, тогда мы вместе будем кричать: «Война до победного конца». А кто будет продолжать кричать эти слова в тылу, то они — чёрные вороны, жаждущие крови...

РЕВОЛЮЦИЯ И ХЛЕБ. Хлебный паёк в Петрограде уменьшен до 3/4 фунта. И снова у хлебных лавок бесконечные хвосты, и бывает, уходят, не получив пайка: не всем хватает. Но не революция виновата в недостатке хлеба, не верьте шептунам. Это — свергнутое царское правительство, Штюрмеры и Протопоповы... Благодаря революции мы имеем хотя бы тот паёк, который получаем, а при Николае II теперь бы жи-

тели больших городов буквально умирали бы с голоду. Быть может, придётся ещё некоторое время терпеть лишения...

(«Известия СРСД»)

...каждый солдат должен сам написать в деревню везти хлеб и следить, чтоб соседи по службе тоже все написали.

(«Известия СРСД»)

Рогачёвский уезд. Крестьяне пассивно противодействуют засеву крупных помещичьих хозяйств, не давая рабочих и запугивая ставших на работу. Они имеют цель получить таким образом землю, инвентарь и семена по малой арендной цене.

Аграрное движение в Бессарабии... принимает угрожающие размеры. Крестьяне пасут скот на чужой земле, выкашивают траву на не принадлежащих им покосах, уничтожают уже сделанные подготовительные работы для посевов. Нередко соседние деревни устремляются захватить одни и те же участки — происходят свалки, до рукопашных боёв. В большинстве случаев крестьянами руководят дезертиры.

(«Дело народа»)

Самара. В трёх уездах лесные пожары, но крестьяне удаляют лесную стражу, не давая тушить.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА КРАЖ. Воронеж, 28. За последнее время в городе почти ежедневно совершаются кражи товаров и денег из касс в торговых помещениях и вещей из частных квартир. Сегодня ночью в центре города близ театра совершена особенно дерзкая кража: из ювелирной мастерской через окно похищен несгораемый 8-пудовый шкаф с золотыми и бриллиантовыми... Во многих случаях громилами оказываются или солдаты, или одетые в солдатскую форму...

Богородский уезд. Забастовали рабочие на торфяных промыслах: требуют уменьшения рабочего дня вчетверо и увеличения платы до 1000 р. в месяц каждому.

За последние дни модное слово — «Россия гибнет», «на краю гибели», — пригоршнями швыряют его. И заражают весь воздух, уйти некуда.

(М. Левидов, «Новая жизнь»)

Как писал Ф. Сологуб в 1914 г.:

И возникнет в дни отмщенья,
В окровавленные дни,
Злая радость разрушенья,
Облечённая в огни.

(«Дело народа»)

Киевская губ. Усиливается преследование священников крестьянами. Удалено больше 60 священников.

...о необходимости предъявления всеми политическими амнистированными иска к бывшему царю Николаю Романову за потерю в тюрьмах и на каторге трудоспособности... Место амнистированных ссыльных — в деревнях, в качестве руководителей. Акт Временного правительства о призыве политических в армию считать контрреволюционным...

(«Дело народа»)

ОТСТАВКА ГУЧКОВА. ...Гучков спешит покинуть тонущий корабль... Ушедший министр не пользовался популярностью и доверием широких слоев демократии. Слез над его отставкой пролито не будет... Правительство работает в безвоздушном пространстве, и вся его деятельность — под знаком случайностей.

(«День»)

...При военном министре Гучкове обновление командного состава шло не всюду достаточно быстро. Отныне во главе военного министерства станет министр-революционер, которому армия может слепо и без оговорок вверить свою судьбу... Он очистит командный состав от недостойных элементов.

(«Известия СРСД», 5 мая)

КРЕСТЬЯНЕ! ВАШИ БРАТЬЯ В ГОРОДАХ И НА ФРОНТЕ ЖДУТ ОТ ВАС ХЛЕБА!!!

КРЕСТЬЯНЕ И КРЕСТЬЯНКИ! Над нашей страной взошла заря новой жизни... В больших городах народ по много часов стоит в очереди у лавок... А у крестьян ещё есть непроданный хлеб. Грех тому, кто в такое время держит у себя хлеб по жадности или нерадению. Торопитесь везти хлеб к станциям и пристаням, не жалейте ни сил своих, ни лошадей...

ЦК Трудовой группы

К ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ ВОПРОСУ. ...Преступное царское правительство как будто нарочно делало всё возможное, чтобы только затруднить снабжение населения хлебом. Немудрено, что за два месяца нельзя было наладить того, что почти три года приводилось в расстройство. Только при самом энергичном содействии Советов... Необходима и помощь самих крестьян... Они могут оказать содействие и тем, что укажут, где и у кого остались ещё запасы хлеба. Единственный способ решения продовольственного кризиса — посылка на места людей, которые станут организаторами...

(«Известия СРСД»)

Самара. В заседании губернского продовольственного комитета было заявлено, что крестьяне губернии категорически отказываются давать хлеб городам, пока не будет удовлетворена их крайняя нужда в изделиях из железа и в мануфактуре. Представители СРД просили не ставить такого ультиматума.

В Черниговской губ. Некоторые члены крестьянского съезда, не поняв его решений, возвратившись домой, приступили к разделу частновладельческих земель.

Житомир. Крестьяне разоряют имения бывших немецких колонистов. Уничтожаются роскошные леса в Хмельниках.

В Днепровском уезде крестьянки захватили Чалбурдинскую лесную дачу, изобилующую ценными насаждениями, и погнали туда на выпас свой скот.

Одесский уезд. В с. Дмитриевка крестьяне избili кольями пропагандиста, командированного Исполнительным Комитетом одесского СРСД. В задачи пропагандиста входило разъяснение населению смысла совершающихся событий.

Декретировать всеобщую трудовую повинность под строгим контролем местных советов, выловить десятки и сотни тысяч молодых людей, живущих паразитической жизнью, в то время как рабочие гибнут за станками.

(Г. Циперович, «Новая жизнь»)

На Хитровом рынке. Отряд казаков окружил Хитров рынок, произвёл облаву, задержал 360 хитровцев, из которых многие были в солдатской форме. Отобраны печати московского Совета рабочих депутатов, других общественных организаций, много похищенных вещей. Выяснилось, что начальник милиции не давал разрешения казакам на эту самовольную облаву и обыски.

Киев, 3 мая. ...Собрание чинов киевской «дружины Свободной России» потребовало удаления из дружины подполковника Кулябко, бывшего начальника киевского Охранного отделения.

Кременчуг. Улица Столыпина переименована в улицу Йоллоса.

Можайск. ...Все желающие буквально купаются в море вина.

Ново-Николаевск. Постановлено арестовать редакцию и захватить типографию «Свободная Сибирь» за печатание писем, требующих выяснить псевдонимы вождей СРД Германа и Зарембо.

Киев, 5 мая. Для борьбы с контрреволюцией создан специальный комитет с широкими полномочиями, с правом производства политических арестов и обысков. Раскрыт и подавлен в самом зародыше союз реакционеров.

(«Новая жизнь»)

ОБРАЩЕНИЕ ВОРОВ К ОБЩЕСТВУ. Симферополь. Воры-рецидивисты обратились с печатным призывом к обществу прекратить участвовавшие самосуды над ними, угрожая в противном случае поступить по примеру воров Ростова-на-Дону.

ИНТЕЛЛИГЕНТСКАЯ ОБЫВАТЕЛЬЩИНА. ...Обывательские нервы мешают работать. Это обывательское стадо зовёт себя «интеллигенцией». Она обижена, что её многие называют «буржуазной». Куда идти ей? Она осталась у своих квартир — плакать, ныть и надеяться на чудо. Не мешайте своими истерическими фельетонами, клеветами. Истинная интеллигенция находится сейчас при деле и не боится никакой «анархии». Руки прочь от дела революции!

(«Дело народа»)

...Всё жалостливей плачет печать над «неоправдавшей надежд» русской революцией. «Россия в смертельной опасности», — плачется Леонид Андреев, — он сам «мечтал ещё недавно, что революция эта перекинется на Европу»... Таковую революцию нельзя совершить в белых перчатках... чем могут они оправдать теперь своё уклонение от активной службы революции?.. Мусор истории...

(С. Мстиславский, «Дело народа»)

Английская консервативная печать стала в один голос натравливать общественное мнение Англии против русской демократии. Согласно ей, вожди революции оказались сплошь инородцами, не имеющими права говорить от имени России.

(Фарбман, «Новая жизнь», 3 мая)

Париж. «Эко де Пари»: Кто же эти люди из Совета рабочих депутатов, которые так говорят с нами? Из 2000 голосующих называют не больше 3—4 имён. Кто же остальные? Где список членов Исполнительного Комитета? Верно ли, что русским газетам было воспрещено его напечатать?.. Нападают на прежний режим за его секретную политику, тайную дипломатию, — так подпишитесь же пожалуста!

РЕВОЛЮЦИЯ В ЦЕРКВИ. Церковь ждёт своей революции. В своей массе духовенство не поняло случившегося переворота. Одни притаились и ждут, другие безумно порываются повернуть историю назад... Начинает идти в ногу с народом союз демократического духовенства,

проводящий вполне социалистическую программу. Много-много мусора в церкви, надо этот мусор выбросить.

(Свящ. Ал. Введенский, «Дело народа»)

Москва. ИК СРД предупреждает население, что далеко не всякому оратору на митинге можно доверять. Все агитаторы должны быть снабжены удостоверениями от СРД с фотографическими карточками.

СТАЧКА ПРАЧЕК с 1 мая. Настроение бодрое. Есть ещё, оказывается, злостные штрейкбрехеры, которые не только работают сами, но вносят раздор в среду работниц. Товарищи! Не доверяйтесь таким двуличным людям! Мы публикуем имена изменниц рабочего дела...

Нам нужна революционная власть, а не власть либеральной снисходительности и толстовского непротивленства злу. Кто взял на себя власть, пусть найдёт в себе и силу. Нужно призвать к порядку разболтавшуюся и распутившуюся Россию.

(Д. Заславский, «День», 5 мая)

150

Это очень парламентарно было со стороны доминирующего большинства Исполкома, что, посылая комиссию на переговоры с правительством, они вежливо включили и трёх наблюдателей от меньшинства: от большевиков — Каменева, от межрайонцев — Кротовского, от безфракционных — Гиммера. И вот сегодня Каменев вместе со всеми ехал на эти небывалые государственные переговоры.

К десяти часам утра собрались в Таврическом дворце десять членов переговорной комиссии — Чхеидзе (совсем больной, в гриппе), Церетели, Дан, Богданов, Войтинский, длинноволосый Гоц (Чернов в Москве), молчаливый Филипповский, простоватый Пешехонов, строгий Станкевич, сдержанный Брамсон и три наблюдателя. Чёртова дюжина, если без шофёров. Сели в три богатых, но за недели революции потрёпанных автомобиля и покатили — не в Мариинский дворец, а для конфиденциальности князь Львов позвал к себе на квартиру.

Он жил в департаменте общих дел своего министерства — подобной второй улицы во всём Петербурге нет: короткая, позади Александринского театра, упираясь в его задний фасад, а вся как

бы дворцовая, по обе стороны две жёлто-белых линии бегущих колоннад, сдвоенных полуколонн, чередуясь с окнами, на высоту второго и третьего этажей, над глубокими арками первого — и точно равны по длине обе симметричные стороны улицы, торжественной и даже днём почти пустынной.

Поднялись по департаментской лестнице, своими пальто заняли совсем не малую вешалку в коридоре. В приёмной увидели солдатский караул, — но солдаты сидели в креслах и курили махорку, вниманья не подавая новопришедшим. О них доложил чиновник. Всей гурьбой, в непритязательных пиджаках, ввалились в гостиную с голубой атласной обивкой мебели — и оказались против министров всего троих: кроме князя — лишь Некрасов и Терещенко.

Только троих?..

Но, значит, другие бы мешали.

Ясно стало, что сочетание не случайное: здесь перед ними — действующее ядро правительства. Кроме Керенского, которому неудобно.

Широко расселись на мягких диванах и в креслах, а на лакированные столики подносили исполкомцам кому чай, кому кофе в фигурных чашечках с орнаментальными ручками. Ничего, в этой картине было что-то от Великой Французской.

Рыхлый князь Львов с двумя напряжённо-поворотливыми министрами готовы были слушать. А Исполком и приехал читать свою платформу. Но не зябнувший, сгорбленный Чхеидзе, а конечно Церетели — он занял, без гласного избрания, место безусловного лидера ИК. Да он с Даном и записывал эту платформу сегодняя утром: прошлой ночью, измученные, не могли составить начисто.

Итак, наш первый пункт (сразу главный, и на убой Милюкову): деятельная внешняя политика, открыто ставящая своей целью скорейшее достижение мира — на началах самоопределения народов, без аннексий и контрибуций! И переговоры с союзниками для пересмотра договоров!

Все лозунги, крикнутые на тысячах митингов, тут были сжаты в один снаряд, и продырявленная падала вся политика Милюкова и лакейство перед союзниками. (Вчера Гиммер со Стекловым предлагали и посильней, да ИК отверг.) Каменев наблюдал с удовольствием.

Не вздрогнули министры, не откинулись, не запротестовали. И даже — Львов понимающе кивнул. А Некрасов — горел встреч-

ным взглядом. Он только должен был держаться в министерских приличиях, а по духу-то он был почти советский.

Милюкова — они уже сговорились сдать?

Но сколько же образумляющих ударов должно было прийтись по их головам за эти два месяца, чтобы размягчить их так к сегодняшнему дню! (Владимир Ильич будет доволен этим наблюдением.) Не без влияния остались тут и крайние лозунги большевиков, ещё и до Ленина, когда их Каменев выдвигал. В те дни он самостоятельно угадывал и выражал эту линию публично, именно это он и говорил в конце марта на Всероссийском совещании советов, когда и ИК далеко не был согласен, — а вот теперь это вносится как само собой разумеющееся, и даже министры кивают головами. Мы не замечаем в течении дней, а революция быстро идёт вперёд.

Церетели, после паузы, читал дальше. Наш второй пункт: дальнейшая демократизация армии. И — и! — укрепление её боевой силы и способности к оборонительным — и наступательным! — действиям.

Этот пункт — из сложнейших для любой головы. И Каменев в своих речах старался не выражаться слишком конкретно, чтоб не схватили в капкан. Он больше нажимал на то, чтобы сговориться с угнетёнными классами других стран и так покончить лить кровь. А его обзывали благодущным мечтателем и добивались: а пока угнетённые народы не восстали — нашу армию сохранять? или сложить оружие и распустить по домам? Вот в этом проклятом пункте наиболее не хотелось Каменеву быть опасно чётким, он отвечал: сохранить мощь армии как оплот против контрреволюции. Нет, а против немца? И приходилось выражать: да, сложить оружие была бы политика рабства, а не политика мира, надо отвечать на пулю пулей. (Приехал Ленин — и как же голову мылил, что это выражено неполитично и в корне неправильно.)

Но здесь, сейчас, большевицкий взгляд не побеждал, напротив, качнулся маятник в другую сторону — и вот сам Исполнительный Комитет позорно предлагал готовность армии к наступательным действиям! — ещё бы это не было министрам приятно! Они конечно всецело согласны.

А третий пункт условий ИК — был самый сгусток социализма: контроль над производством, над транспортом, над обменом и распределением продуктов, а в необходимых случаях и государственная организация производства. Да тут порядочные буржуазные министры должны были просто встать на дыбы! Но эти — о, как

они были уже озабочены и сокрушены: по самому социалистическому пункту они меньше всего и возражали! — так они тянулись за коалицией, сами уже не способные ни на что.

Даже на переговоры не похоже — настолько нет борьбы. (Да трём против тринадцати — много и не поспоришь?)

И ещё эшелонами шли три социалистических пункта: всесторонняя защита труда; государственное регулирование землепользования, готовить переход земли к трудящимся; и возложение финансовых тягот на имущие классы; — и против всего этого Некрасов нисколько не возражал, а Львов и Терещенко осторожно: что надо обсудить детали.

А дальше что ж? — демократическое самоуправление да Учредительное Собрание — тут демократам и спорить не с чем.

Из тринадцати большинство молчало (вчера накричавшись). Тем более наблюдатели. Сидел Каменев и удивлялся: как негромко происходит смена государственного пути всей России — с буржуазного на социалистический. (Но Ленину — этого будет мало, ничто.)

Теперь список этих условий — опять же *восемь* условий, как и в марте, — передали Львову. Он медленно читал, и началось обсуждение пункта за пунктом.

И мало же имели министры сил для устойчивости и борьбы. По грозному первому пункту, не отстаивая ни единой миллиоковской позиции, только и нашлись прибавить: что не прямо переговоры с союзниками об изменении договоров, а подготовка переговоров. Хорошо. И что коалиционное правительство отвергает сепаратный мир, но война и мир — лишь в согласии с союзниками. Исполкомцы переглянулись, переговорились, — да что ж, они сами уже в это сползли. Согласны.

Когда очень прижимают, приходится и большевикам говорить: «отвергаем сепаратный мир». Но без надобности — не следовало бы вот так опрометчиво фиксировать. Как будто мы к сепаратному и не призываем, а свобода в формулировках должна остаться. Такова ленинская школа. К счастью, сейчас от наблюдателя не ждали ни высказывания, ни подписи.

И даже так выразился Львов с дружественной улыбкой, что вручённые условия, по существу, суть продолжение и развитие той политики, которую Временное правительство и до сих пор осуществляло, — и поэтому какие ж могут быть существенные возражения? он не предвидит их и от большинства министров.

И так — ещё раз был явно зачёркнут и сдан Милюков.

Ещё несколько мелких поправок, вот по земельному вопросу. О, разумеется, во Временном правительстве нет никого, кто бы сомневался в неизбежности перехода всей земли в руки крестьянства. — (Заметим: как и нет сомнений в республиканском строе, так что все главные задачи Учредительного Собрания уже выполнены, — посмеивался Лев Борисыч под усами.) — Но вот с этим регулированием землепользования — надо бы несколько конкретизировать. И всё-таки указать, что до Учредительного Собрания мы никак не властны решать...

Тут устроили небольшой перерыв. Церетели потел над редакцией. Каменев, зная за собой способность находить удачные компромиссные формулировки, подошёл к нему и, не удержался (узнал бы Ленин — дал бы нагоняя!), тихо посоветовал, как выразиться: регулирование — в интересах трудящегося населения и чтоб обеспечить наибольшее производство хлеба. (Баланс.)

Церетели оценил остроумие ситуации — совет от противника и этого совещания, и этой коалиции. И вписал.

А Каменев, заняв опять кресло, анализировал своё двойственное самочувствие. Был ли он действительно противник этой коалиции? Как большевик — да, теперь вынужден быть непримиримым противником. Но как-то, до приезда Ленина, он иронически предлагал меньшевикам: раз вы всё равно правительство поддерживаете, вам же Плеханов советует входить, — так и входите. (И про себя не считал это такой уже шуткой.)

Сейчас Лев Борисович чувствовал себя тут хорошо, на месте. Идёт спокойное, серьёзное обсуждение, без жгучих выкриков и брани, так характерной для Ленина, — в тишине устроится судьба огромной страны на путях же социалистических, в дальнейшее развитие революции, — чего ж ещё желать? И каких больших уступок можно было бы требовать от этих буржуа, согласных остаться в правительстве — даже, даже и на таких условиях!

На самом деле — конечно же это было правильное решение, сохранение социального равновесия в такой неустойчивой обстановке, только так и может сейчас составиться власть. И он сам, серьёзно говоря, даже охотно вступил бы министром, и нисколько не хуже, чем другие члены ИК. И совсем не из честолюбия, не из властолюбия, их не было у Льва Борисыча, — а просто для разумного порядка.

Но будет сегодня вечером выступать на Совете публично, и вынужден будет возглашать: вся власть — Совету.

И обо всём здешнем придётся подробно докладывать Ленину — и с подсмешкой. Хотя на самом деле ничего тут язвительного не усмотришь.

Уйти из партии? — на такой резкий шаг Лев Борисыч не мог решиться. Он рассчитывал, что сами обстоятельства постепенно отрезвят Ленина.

Схватиться с Лениным в поединке и сметь его переспорить — мог единственный человек, брат жены. Лев Давыдович. И он — вот-вот, на днях ждётся. Но он и в большевики не записан, он реет вне партий, у него действительно орлиный полёт, — и Каменев робеет и перед ним, как и перед Лениным.

Условия ИК были фактически приняты, но обсуждение не кончилось: всё-таки и у министров же было что-то. А вот что: во вступительной декларации нового правительства должна быть с особой силой подчёркнута — твёрдость новой власти.

Они, бедняги, изголодались по общественному доверию, они единственно просили, чтобы власть была всё же властью, а не куклой. Терещенко, с бабочкой на шее, один среди всех нарядный, говорил с большим волнением:

— Вы видите, мы, так называемые цензовые элементы, согласны на всю вашу программу. Но обеспечьте же хоть новому правительству твёрдое положение, которого не было у нас до сих пор! Ведь так — совсем невозможно работать, вы попробуйте! Как же можно в разгаре войны — и не иметь дееспособной власти? Должно же правительство иметь власть применить и принуждение, вот к анархическим элементам, они же всё развалят.

Большинство исполкомцев улыбалось сочувственно: мольба беспомощных министров доходила до них. Да и каково же самим, вот, завтра очутиться в таком положении? Что-то надо сделать, ещё какие-то фразы.

Что к новому правительству должно быть полное доверие всего революционного народа?

— И — безусловное, без «постольку-поскольку».

— Господа, прямыми словами должно быть выражено: *полнота власти!*

— Ну, скажем, полнота власти, необходимая для закрепления завоеваний революции.

— Ну, хотя бы так...

А вот эти — принудительные действия против анархических элементов? — это была чёрная тучка, на такое ИК не мог согласиться просто.

Стали высказываться так: допустимо сказать и об энергичных мерах, и даже о принудительных действиях, — но прежде всего против контрреволюционных, черносотенных попыток.

— Но их, к счастью, нет, господа.

— Но и выразиться иначе невозможно. Сперва — против контрреволюционных попыток, а тогда можно добавить — и против анархических насильственных действий, — и то лишь постольку, поскольку они тоже создают почву для контрреволюции. А иначе массы нас не поймут.

Но в декларации, ко всей стране, — это же надо ещё как точно, взвешенно сформулировать! Да-а-а, процедура переговоров оказывалась не такая простая: вот проговорили больше двух часов, а декларации нет, и ещё надо много уточнять.

А правительству — сейчас надо собраться в полном составе, чтобы принять условия ИК.

Да ещё и другая забота у министров: в этот шаткий момент они желают советоваться с Комитетом Государственной Думы (вспомнили призрак!), от которого они формально получили власть 2 марта.

Исполкомцы ехали сюда — думали сразу и портфели обсуждать, ну куда там! — до портфелей далеко не дошло.

Итак, приходилось объявить перерыв. Часа на два? Да может быть, даже и на три. А потом — все снова сюда, господа, милости просим!

151

«Милости просим!» — это у них тон теперь такой появился, у министров — к нам: добро пожаловать к ним, как дополнение, получите каких-нибудь три-четыре второстепенных придуманных портфеля и защитите от гнева масс.

О нет! о нет! такая снисходительность не пройдёт! Социалисты должны получить в коалиционном правительстве большинство, и несколько ведущих портфелей. Входить — так входить с весом!

Это ещё и вчера на Исполкоме Гиммер горячо доказывал — и сейчас, когда социалисты остались одни, он думал и без формального заседания убедить их — удобный момент!

Вышли на улицу — куда идти? Даже и на три часа не стоит разъезжаться, а потом снова собираться. В ресторанчик какой-нибудь? — посидеть, обсудить.

Но подешевле. Да где ж тут, на такой парадной безлюдной улице?

А на то и Петербург: чуть сойти, завернуть — и будет простейший Чернышёв переулок, а на нём — Шукин рынок, — и тут как раз «кооперативное заведение общества официантов». Самое для нас.

Чхеидзе — разболелся, уехал. С ним же всунулись в автомобиль двое деловых военных, Станкевич и Филипповский, и старик Пешехонов. Зато в последние минуты как раз подоспел Скобелев: только что с вокзала, уже ехал в Стокгольм, с пути вернули его телеграммой на кризис, — вернулся, гордый и тем, что ехал в Стокгольм ото всего российского социализма, и тем, что вернулся в такой важный момент.

Тем лучше! — компания оставалась ещё социалистичней, можно будет чётко поговорить. Каменев? — не будет скандалить. (А писания его не отличались ни большой оригинальностью, ни литературным блеском, хотя Гиммер всё же печатал его в «Летописи», когда тот присылал из Сибири.) Каменев — недостаточно остр, у него нет острых углов и ударных пунктов.

Зато Гиммер только из них и состоит.

Сунулись в ресторан — закрыто, рано им, ещё недалеко за полдень. Но находчивый Брамсон — сразу скрылся через чёрный ход, с кем-то договорился, — блюд пока нет, а впустить —пустили. И снова входную дверь на замок. И даже отвели им кабинет. Сколько нас? — десятеро. Да нам ещё удобней! — настоящий социалистический клуб. Сели за один длинный стол, поместились. А блюда — подспеют.

Союзников у Гиммера, в общем, не было, хуже, чем вчера на ИК. Но не числом побеждают, а уменьем, остротой ума, напряжёнными усилиями даже одиночного духа. Вчера ночью так и остался недоголосованным вопрос: входить ли в правительство в большинстве или в меньшинстве? Сейчас был момент попытаться! — тут союзники будут эсеры, хотя, жаль, нет Чернова. Политический опыт говорит в пользу тактики изматывания: да-

же при ничтожных шансах пытайся убедить и предлагай поправки!

И едва уселись за пустым ещё столом, но под белой скатертью, — ни разу ещё так не заседал ИК, — Гиммер завёл сразу и спор, и начал с критики: как неосторожно социалисты соглашались взяться за подавление анархии. Так нетрудно скатиться и под знамёна контрреволюции. Конечно, анархия явление нежелательное, но и: надо же защищать право революционного народа на свободный коллективный организованный почин — как в разрушении старого, так и в творчестве новых форм жизни. И в каком-то смысле эти новые формы — новое отношение к собственности — надо видеть и в захвате домов Лейхтенбергского и Дурново. И подобные вопросы будут возникать перед коалиционным правительством то и дело, и надо иметь в правительстве уверенное социалистическое большинство.

И покосился на Гоца: насчёт анархистов он так не согласится, но — большинство? но большинство в правительстве?

Как Гиммер и рассчитывал, Гоц, тряхнув длинными чёрными густыми волосами:

— Не просто большинство, но занять наиболее боевые посты! Не коалиционное правительство, а — революционное! Трудовая демократия должна быть хозяином в государстве.

А тут — любители поспорить, только спичку поднеси. Войтинский, по своему темпераменту, тоже:

— Мы должны дать не статистов, для авторитетности кабинета, а истинных работников.

Каменев ловит:

— Но если хотеть в правительстве большинства — почему тогда не просто взять Совету всю власть в свои руки?

Однако на этот большевицкий край тоже нельзя переклониться, это Гиммер всё время имеет в виду.

Богданов: — Опыта соправительства буржуазии и социалистов ещё нигде в Европе нет, тут есть над чем задуматься.

— Но и опыта диктатуры пролетариата тем более нет.

— Если буржуазия уйдёт из правительства — Европа откажет в кредитах.

Кротовский: — Какое ж может быть революционное правительство, если даже у социалистических министров все исполнители и департаменты будут буржуазные? Революционных администраторов у нас нет, потому и есть над чем задуматься.

А холодный твердочелюстный Дан — без Чхеидзе самый тут старший. Хоть решение и принято (впрочем, конференция меньшевиков впереди), он не верит в него и отвергает всё равно:

— Буржуазия потому так настойчиво нас приглашает, что хочет переложить все возникшие осложнения на плечи демократии. Вот наша обстановка: справа — враждебная буржуазия и вся обывательская масса, потенциально контрреволюционная, затаившая ненависть к демократии. Слева — подавляющее большинство справедливо настроенного пролетариата. Впереди — империалистическая буржуазия Англии и Франции, со всеми их подголосками, и они уже начали поход на русскую революцию. Добровольный уход крупной буржуазии от власти, Гучкова, Милокова, — это рассчитанная ловушка. Эта одна из форм наступления на демократию: «пусть возьмут власть и сломят себе шею!» Надо очень ещё подумать. Сейчас гораздо большее мужество требуется — не войти в правительство, чем войти.

Брамсон убеждённо:

— Нет-нет. Решение принято, проголосовали, это не пересматривается. Да, вот так парадоксально: опороченный за время войны бургфриден сейчас необходим русской революции. Не в ловушку нас зовут, а буржуазия не может не видеть, как стремительно организуется демократия, — и этому процессу она ничего не может противопоставить.

Церетели, даже мимо ушей пропустив мрачный монолог всегда мрачного Дана, отвечает Гиммеру:

— Вы присутствовали и слышали: вся программа правительства — и будет теперь наша программа, зачем нам ещё большинство? Наоборот, мы составом правительства именно демонстрируем трудящимся массам, что в общей национальной жизни буржуазные классы ещё сохраняют большое значение. А крестьянство? Опыт социалистического правительства ещё не испробован и в самых передовых странах, мы не можем быть первыми.

Да Гиммер — больше из наблюдательного задора, он и понимал, что не переспорить. Но раз напомнил Церетели программу, так —

— Всё-таки это совершенно изумительно: как они покорно проглотили все социально-экономические преобразования!

— И это самое важное.

Гоц: — Потому что кадеты в который раз показывают своё безпринципное приспособление к обстоятельствам, отказ даже от

партийных основ. Как они сменили монархию на республику или поддаются национализации земли.

— Вот пусть теперь кучка грюндеров заплатит чистоганом — мы проверим их патриотизм. С социальным фаворитизмом им придётся расстаться.

Пришли раскладывать салфетки в кольцах, подставки под ножи.

Оставался со вчера ещё один недоспоренный вопрос: будут ли министры-социалисты ответственны перед Советом?

Но приближалось к обеду, настроение легчало — и разговор перешёл на конкретное же, чёрт возьми, распределение портфелей. И это оказалось интереснейший разговор.

Милюков — ясно уходит, да мы его не потерпели бы. С его отставкой — фронт империализма прорван. А — кто вместо него? Сам Львов? Терещенко? А как замечательно было бы забрать иностранные дела социалисту.

Но решительно некому.

Пошутили:

— Как? а Скобелеву?

Скобелев дураковато улыбался. Он и был уже весь апрель как бы министр иностранных дел Совета (только без языков).

Кто-то насмешливо крикнул:

— Суханова!

Усмехнулся криво и Гиммер. А насмешка-то это была богата содержанием: а чей Манифест 14 марта? А чьи руководящие идеи всей Февральской революции?

— А Милюкова что ж, оставим на просвещении?

— Вон его! Прочь!

— Нет, не скажите, Милюков всё-таки из главных могильщиков старого строя, просвещение он заслужил.

А военных дел? Тут как-то против Керенского уже не спорили.

— Но, — отметил Гиммер, — и нельзя засчитывать Керенского в наших советских кандидатов. Он — сверх.

А кто заменит Керенского на юстиции? Было мнение — Малянтович, и уже запрашивали московский Совет, но там не хотят, чтобы в министрах были москвичи.

А пожалуй, никакая перестановка в шахматах и шашках не так увлекательна, как эта возможная перестановка фигурок с портфелями.

Но, во всяком случае, мы не должны допустить, чтобы буржуазия просто выбросила нам остаток портфелей. Вот — морской министр, кто? Надо его забрать.

Предложили и тут:

— Скобелева.

Скобелев из весёлого лица корчил задумчивое:

— Холодный рассудок велит идти в министры, а горячее чувство молчит.

А ещё не обойтись без министерства труда.

И опять же предложили Скобелева.

Беседа стала расплываться.

Пришли принимать заказы из меню.

152

Да, заседание Четырёх Дум и оказалось «гальванизацией трупа», как острили враги Думы. Так переволновавшись, такую страстную речь произнес там, — уже через два-три дня видел Шульгин, что ничему заседание то не помогло, ничего не оживить. Только дождался от горьковской «Новой жизни» облыганья, что это он, Шульгин, стоял добровольцем у виселицы Богрова, проверял, добросовестно ли захлестнута петля. (Всею душой киевлянин, по какой-то иронии не оказался Шульгин в Киеве в столыпинские дни: лечился в Крыму. Но и каким же мучеником выдвигают теперь Богрова!..) Выступать — выступать уже настолько стало негде, что позавчера в воскресенье Шульгин держал речь на митинге Всероссийского женского союза, докатился.

Митинги, митинги! Да если б рукоплескали со смыслом — тому, кому действительно сочувствуют, так хоть наращивалось бы единство. А то ведь просто — каждому, кто владеет фразой. И тут же забывают для следующего. И на диспутах — теперь не обмен мнений, а борьба за голоса, вынести резолюцию. Кому они нужны? — но ими отравляются все прения. Какая-нибудь газета (больше всего «Известия» Совета) подхватит и печатает, если ей в тон. А какие деланные эти резолюции: от самых тёмных крестьян и солдат — какие подставлены социалистические термины, какие сложные требования, — ведь ни ума, ни вкуса у составителей.

И мы, культурные элементы, тонем в этом кипении и тьме. Куда делся весь наш правый край спектра — прогрессисты? октябристы? националисты? Никого, как вымело. (Ну, один Пуришкевич ещё тискает листовку, чуть не саморучно: мол, теперь цензура типографских рабочих. И тоже правда.) Лстецы толпы расплодились, и даже в солидных газетах: «самодержавный народ»! «Все равны и свободны» понято как право никого не уважать, никому не подчиняться. Ни закона, ни собственности не осталось: кто угодно может прийти в любой состоятельный дом и отнимать, что хочет.

Чтобы пользоваться свободой — нужно гораздо больше умственных и душевных качеств, чем свободу добыть.

Вся жизнь — в крушении. Старое правительство все презирали, но все слушались. Новое — все уважают и даже восторженно приветствуют — но не слушаются. Скоро у нас не будет никакой армии: фактически уже наступил сепаратный мир с Германией, немцы оставили на фронте лишь немного войск для поцелуев и лёгкой стрельбы. (И Родзянко с одной стороны, а Церетели с другой — не верят этому.)

Ещё сейчас — могла бы спасти Россию диктатура. Но — нет общественного сознания, что надо подчиниться ей. И — нет человека для диктатуры. Ещё сегодня, наступи ещё сегодня твёрдая власть — может быть, она могла бы спасти Россию? А может быть, уже нет.

Именно после заседания Четырёх Дум стал Шульгин так понимать, что — нет, поздно. Всероссийская воля — вся направлена к саморазложению и небытию. Мы напрямик идём к национальному позору и падению.

Господи! Неужели Россия кончена и никому больше не нужна? Неужели так велики грехи её и наши, что эта гибель заслуженна? Не должно больше существовать наше древнее государство? Пришла ему пора распада? — и Ленин уже готовит его первой жертвой на алтарь Интернационала.

Воскресный уход Гучкова из правительства был вскрытием язвы для всех и открытым знаком разложения. Так это Шульгин и понял. И не удивился, что в понедельник Львов дал знать Родзянке, что Временное правительство желает советоваться с Временным Комитетом Государственной Думы.

Думский Комитет, всеми забытый, существующий разве только для издёвки, — вот понадобился: Временное правительство желало именно от него получить благословение на коалицию с соци-

алистами! Это в том смысле, что правительство прияло власть 2 марта из рук Думского Комитета и теперь, в поворотный момент, желало снова его санкции. (Так ведь нужен нам совещательный орган! — и сами же вы сорвали.)

Встречу назначили на сегодня, в три часа дня. А близ полудня собрался в думской библиотеке Комитет — остатки его: неизменные Родзянко, Шидловский, Шульгин, ещё Дмитрюков, Аджемов, Ратько-Рожнов — и, неожиданным сюрпризом, Караулов — думский казак-хулиган, в мартовские дни чуть не командовавший и всей революцией.

Такие живописные фигуры бывают в каждой революции, вот и у нас. В черкеске с газырями, кинжал на поясе, всё с теми же острыми усами и лихим взором — он нисколько не вышел помят из этих месяцев, а даже более задорен: съездил к себе на Терек и, всего лишь есаул, теперь избран войсковым атаманом Терского войска, во Владикавказе его несли на руках от вокзала до атаманского дворца, выступал на десятках митингов как диктатор Кавказа — а в общем-то, в начале века скромно кончал историко-филологический факультет Петербургского университета, и тогда ещё не открылась та лихость, с которой он экстравагантно вдруг поступил рядовым в Гребенской полк и ушёл на Японскую войну. В ноябре на думском заседании он предлагал чуть не шесть способов, как избавиться от царского правительства, в общем все они сводились к «рубить», — а сейчас приехал ещё решительней, взирал кавказским орлиным взглядом — и мог посоветовать своим бывшим коллегам только ещё более решительно — «рубить!», но неизвестно кого, ибо: не Совет же депутатов!

А Маклаков не приехал, жаль. Ни одного умного человека, кроме Шульгина, тут не было. А и что он мог посоветовать, когда и сам перестал верить? Как действовать без веры? Какая была надежда на эту встречу с Временным правительством?

Котлоголовый Аджемов, очень раздутый и активный все прошлые недели, выражался так:

— В дни кризиса 20–21 апреля мы предъявили Временному правительству требование, чтобы оно добилось полноты власти или сложило полномочия. И сейчас мы можем только повторить это им.

Он как будто совсем не ощущал, что Думский Комитет давно не имеет права требовать, а Временное правительство — никакой силы действовать, ни даже воли отказаться.

А Шидловский и другие — ещё меньше находились предложить выход.

Кое-как выработали основные условия и поехали, делегация из трёх: Родзянко, Аджемов, Шульгин. Поехали на квартиру к князю Львову, за Александринку.

Там уже собрались и до их приезда совещались министры, не в полном составе. Но были два Львовых, Милюков, Некрасов, Терещенко. Заметно отсутствовал Керенский. Впрочем, от этого только спокойней был темп совещания.

Впрочем Некрасов, сколько мог, заменял Керенского — в активности, в броскости, в метучих взглядах. Вообще, если б не родился Керенский для Февральской революции, то его, в интригах и пустозвонством перед толпами, вполне заменил бы Некрасов. А на фоне вспышек Керенского, конечно, он замечался не так.

Но исторических слов о взбунтовавшихся рабах он бы никогда не сказал. За эти слова стал Шульгин Керенского отчасти уважать.

Что же до князя Львова — то всё-таки это был самый уравновешенный и добродушный человек в России, а фаталистичен по-магометански.

Россия — гибла, но её премьер-министр оптимистически видел будущее, всегда был готов к уступкам, а во всяком случае: не в наших силах изменить ход событий. Негромким мягким голосом он сообщал, что положение в стране, да, затруднительно, но именно поэтому и решено войти в коалицию с социалистами — и они великодушно согласны.

Шульгин намеревался себя поддержать, помолчать, но тут не выдержал и сказал несколько резких фраз о положении России.

Князь Львов невозмутимо возразил, что не следует преувеличивать отрицательных явлений, что с каждым днём здоровое течение берёт верх и светлая струя народной совести постепенно выведет дело обновления Родины на верный путь.

Терещенко отпустил банальность (банальность — его главная черта), что его оптимизм зиждется на неисчерпаемых материальных и духовных богатствах России. А вот и Совет испугался анархии и начинает задумываться над своей ответственностью. Всё будет хорошо.

А Некрасов — с большой запальчивостью: что не надо раздувать непомерных страхов. Как можно меньше цензового испуга перед социальным моментом. Раскрепощённые массы просто не знают, куда приложить силы, и не надо пугаться их решительных

шагов, это лишь следствие великого перелома. Наоборот, идею народовластия и торжество демократии надо проводить как можно скорей. Он раньше малословен был, а вот:

— Нельзя же, как старый самодержец, признавать только Бога да совесть, надо же войти в реальность с самообладанием. Мне лично оно далось тем легче, что я из кандидата на виселицу — (уж будто!) — сразу перешёл к министерскому портфелю, так что ко всему привыкаешь. Но оптимистом я был — и оптимистом, наверно, сойду в могилу. И если почувствую, что всё вокруг против меня, но я выполняю волю народа, — то я пойду напролом!

Да, он откровенно выдвигался в первый ряд, и с какой энергией.

А долговязый Владимир Львов со своей черноглазой безумноватой уверенностью стал городить параллели с французской революцией:

— Там была ужасная борьба партий, а у нас — нет. Вот сейчас кризис решится — и уже окончательно, до Учредительного Собрания.

И что было отвечать на эту самонадеянность? Нет, лучше Шульгин помолчит и грустно послушает.

И — каменный, неподвижный и необычно красный сидел Милюков.

Родзянко стал читать с бумаги подготовленные пункты, пытаясь придать голосу хоть немного утерянной давно бодрости. Думский Комитет, для того чтобы одобрить коалиционное изменение правительства, выдвигает следующие условия.

Единый фронт с союзниками. И чтобы Временное правительство в новом составе пользовалось полным доверием со стороны... ну, вообще народа... ну, Совета рабочих депутатов. Чтоб оно обладало единством и полнотою власти.

Князь Львов успокоительно помавал ладонями: о да, да, об этом мы только что и договорились с Советом.

Некрасов запальчиво: но двоевластие — это легенда, никакого двоевластия нет! Правительство с Советом находится в сердечном понимании, без разногласий.

Родзянко повёл крупной головой, как бык от овода. Ещё не все условия. Вот. Активная борьба с анархией.

Князь: да, да, и об этом уже договорились.

Родзянко: ещё — сохранение целостности армии. (Очень неконкретно.) Препраждение доступа в неё агитаторам.

Шульгин прижмурился. Как это загробно, неправдоподобно звучало: *условия* Временного Комитета Государственной Думы...

Но дело в том, что князь Львов имеет встречные и даже ультимативные условия от Совета. Вот они. И дело в том, что правительство с ними... собственно согласилось... Не могло не согласиться.

Стали читать — и с первого пункта: ба-атюшки! — без аннексий и контрибуций! пересмотр соглашений с союзниками! Да — где же тогда единый с ними фронт?!

И вот тут — Милюков взорвался. Видно, он был в правительстве совсем в одиночестве — а тут понадеялся на поддержку думских. Что этот пункт Совета — абсолютно неприемлем. Что основой внешней политики может остаться только Декларация 27 марта — и в отступлении от неё союзники усмотрят нашу измену. Это будет — катастрофический ход.

И — что же делать? Чьи *условия* перевесят?.. Допустимо ли спорить? И — как настоять на своём?..

А пункты, пункты — шли дальше. Защита труда. Переход земли в руки трудящихся. Переложить финансовое обложение на имущие классы...

А — где же борьба с анархией? А где же — полнота власти?

Родзянко с Аджемовым приуныли и спорить не находились. А Шульгин: ведь это же неприличие, видное всем! Да почему ж решает за всю Россию кучка Исполнительного Комитета да пломбированные апостолы Циммервальда? И на этих днях ещё их триста едет через Германию, разлагать Россию! А какого государственного опыта они все могли набраться в затхлом воздухе подполья? в эмигрантских стычках? Сейчас что единственно только и надо — это разорвать с Советом, иначе правительство погибло.

Но — будет ли оно тем спасено? А — народ? А народ в шесть-восемь недель вяпался во все соблазны.

Виноват народ? Да, конечно. Однако легче было нам, Прогрессивному блоку, это всё и предусмотреть заранее, когда затевали.

Но попала Шульгину чертовинка под хвост:

— Господа, — язвительно-нежно вступил он, улыбаясь. — Представим себе концертный зал, в котором скрипач и публика. Если публика имеет право только слушать и ничем не выражать своего одобрения, неодобрения, то это, скажем, самодержавие. Если публика имеет право аплодировать музыканту или свистеть — то это демократический строй. Но если публика сама лезет на сце-

ну, у музыканта вырывают скрипку и учат его, как водить смычком, — то... это и есть наш нынешний строй. Народовластие, говорите вы?.. И как же убедить их рассестись по местам и слушать? Даже в самых образованных странах массы недостаточно развиты, чтобы понимать сложнейшие государственные вопросы. Но там есть разумное уважение к уму, знанию, опыту. А у нас о проливах рассуждают люди, которые никогда не видели географической карты, — а таких в России восемьдесят процентов. Буквально полностью неграмотные принимают резолюции о государственном устройстве... И скажите: что может получиться из коалиции? Если и коалиционное правительство будет заниматься только публицистикой?..

Возникло оживление. Милуков, встретив поддержку, высказался за твёрдость. Аджемов и Родзянко ему кивали, но министров он уже не мог увлечь за собой. Они уже всё решили на самом деле:

— Теперь — всё в руках демократии, предадимся её потоку. Во имя интересов страны...

Тут Родзянко и Аджемов подняли важнейший вопрос: а кто сегодня является публично-правовым источником власти? Только Думский Комитет!

Терещенко, Некрасов еле скрывали сожалительные улыбки. Да ведь просто продолжается непрерывное правительство, независимо от каких-то перемещений. Вот если бы все члены правительства, подобно Гучкову, забыли бы свой долг перед родиной и ушли бы с постов — вот тогда непрерывность была бы нарушена, и тогда должна была бы выступить третья власть.

А тем более Совет рабочих депутатов никогда не согласится на уступки.

Но и Родзянко же не хотел уступать. О, он был по-прежнему упрям. В пункты Совета он не вникал — а вот Верховная власть за ним!

Тогда дипломат Львов придумал так: новый список министров сперва будет объявлен ко всеобщему сведению, затем Думский Комитет его утвердит, а Временное правительство издаст указ Сенату.

То ли договорились, то ли нет.

То ли добилось совещание каких-то результатов — то ли и нет.

А распределение портфелей? Поговорили и о нём. Предполагается создать новые министерства — труда, снабжения, отделить морское от военного.

О Керенском — как-то общее складывалось мнение, что он — будет военный министр, и вот он теперь укрепит дисциплину в войсках. (Смех и позор! — не видят?)

Да пусть социалисты берут сколько угодно портфелей, лишь бы была твёрдая власть?..

О Милюкове — тактично не говорили.

Ничего не решили, а просидели долго.

В приёмной уже всё равно толпились прознавшие корреспонденты и жадно спрашивали выходящих: ведь ожидает сведений вся страна!

Но Родзянко — предложил обращаться ко Львову.

А Львов — к Родзянке.

Всё же кое-кто шепнули кое-что, только под самым большим секретом.

*И РАДА Б КУРОЧКА НА ПИР НЕ ШЛА —
ДА ЗА ХОХОЛ ТАЩАТ*

Пересидевшая в ресторане десятка советских наконец могла вернуться в квартиру князя Львова (пробиваясь в передней уже через толпу корреспондентов) — и теперь можно было продолжать совместное заседание. Но за всем тем незаметно миновал день: уже было к семи часам вечера, а на восемь в Морском корпусе назначен пленум Совета (преждевременно назначен на сегодня, не думали, что переговоры так затянутся), и членам Исполкома вот скоро надо ехать туда.

Расселись в голубых креслах, в просторной гостиной с высоким потолком, большими окнами (ещё светло за ними, но свет уже зажгли). Курили.

Министров тоже было десятеро, едва не все. Теперь — и Милюков тут, и Керенский. (Вопреки обычному, совсем неподвижен и неговорлив.) Милюков тут — значит, его ещё не выставили? (Церетели при входе не успел обменяться-узнать ни с Некрасовым, ни с Терещенкой.)

Князь Львов, естественно, был невыбранным председателем заседания. Он захотел изложить, как прошло совещание с Временным Комитетом Государственной Думы.

Ну что ж, давайте.

Однако условия думского комитета показались советским весьма странными.

Что значит «единство власти»? Оно подразумевается. Подчёркивать единство власти — это утверждать, что до сих пор Исполнительный Комитет мешал ему? Но это не так.

Некрасов горячо поддержал: да вздор какой-то.

И это — даже смешно: договариваться о единстве власти? Это совсем неконкретно. Для того же и создаётся коалиция, чтобы было единство власти.

Князю Львову и самому неудобно.

Теперь вот пункт: «единый фронт с союзниками». Тоже не подходящий. Раз мы намерены вести активную оборону — это уже и есть координирование с союзниками, не надо оговаривать.

И правда же, потеряли министры только время на эти переговоры с родзянковским комитетом... Все пункты вздорные, какой ни посмотри.

Сохранение целостности армии? Так оно и подразумевается. Активная борьба с анархией? Так мы это уже сегодня нужным образом сформулировали.

А вот, замялся князь Львов, очень ему смутительно и неудобно, ещё деликатный вопрос: кто будет являться *источником власти*?

Исполкомцы даже не все поняли: о чём вопрос?

Ну — кто, будет считаться, назначит новых министров?

Советские только легко посмеялись: совсем они не настаивают, чтобы министры считались назначенными Советом. Оформляйте там, как хотите.

Львову и облегчение.

А на чём ИК настаивает: чтобы министры-социалисты были ответственны перед Советом.

Львов рассыпался: пожалуйста, пожалуйста.

Керенский смотрел (молчал) одобрительно.

Милюков — хмуро и зло. И попросил слова. И заговорил весьма твёрдо, неприязненно.

Он не понимает, какие вообще могут ставиться условия вступления в правительство? Ведь программа правительства ещё 2 марта утверждена именно Исполнительным Комитетом, и выполняется. И даже Стеклов, его сейчас здесь нет, на совещании Советов кичился, что программа прямо выработана Советом и навязана Временному правительству, — так какие же и зачем могут ставиться ещё новые программные требования? 2 марта условий было восемь, теперь новых восемь, и они идут ещё дальше в разрушении страны. Разве нынешний кризис возник от недостатков правительственной программы? Он возник от безвластия. По всей стране разливается п у г а ч ё в щ и н а — вот о чём надо думать и говорить. Россия буквально сгорает в анархии, на волоске снабжение хлебом — а тут дискуссия о программных вопросах. Вместо этого — надо укреплять власть.

Да и некоторые пункты Исполнительного Комитета крайне неясны и неуместны. Что значит «деятельная внешняя политика»? Она и до сих пор была небыдательна. И этот затверженный чужой бессмысленный лозунг «без аннексий и контрибуций». Он оттолкнёт от нас союзников. И он не соответствует жизненным интересам России, которая нуждается иметь выход в Средиземное море. Что должно быть ясно указано — что отвергается сепаратный мир. А пересмотр договоров с союзниками? — абсолютно нереальная вещь и не может даже обсуждаться.

Тут Гоц выкрикнул:

— Всё — может, и всё будет понятно, если Милюков — уйдёт!

Коллеги Милюкова молчали.

С крепостью, встречным лбом Милюков невозмутимо принял реплику. И продолжал своё.

В каком смысле выдвигается «дальнейшая демократизация армии»? Неужели до сих пор она была нерешительная? Армии, напротив, надо вернуть дисциплину. Затем. Совершенно недостаточен добавочный пункт о мерах против анархических и неправомерных действий. Сейчас грозно развивается процесс отпадения национальностей, они самочинно создают свои органы управле-

ния, — где суждение по этому поводу? каковы будут меры? Затем. Совершенно неприемлемо условие, что министры-социалисты будут ответственны перед Советом. Нет, они должны быть освобождены от такой ответственности. Это — немыслимое положение: всё правительство будет зависеть от какой-то части населения.

Он — веско это выговаривал, не только как остающийся в правительстве, но едва ли не как лидер его.

И ведь — разумное всё.

А министры — ледяно молчали, покидая вокруг Милюкова мёртвое пространство.

Тем увереннее Церетели взялся отвечать. Мир без аннексий и контрибуций диктуется не только благородными демократическими принципами, восторжествовавшими в России, но и всем положением у нас на фронте и в тылу: ни на какой иной мир у нас уже никого и не подвинешь. Затем: демократия никогда не станет отождествлять с анархией — действия органов революционного национального самоуправления. А только разумные соглашения с ними могут предотвратить распространение межнациональной розни. И наконец, право Совета контролировать и отзываться своих представителей в правительстве — не может быть подвергнуто сомнению.

И выразительные кивки ведущих министров показывали, что и тут, в который раз, Милюков безтактно изолировал себя.

Брамсон строго задал встречный вопрос: а как представляет себе Милюков взаимоотношение министров-кадетов и кадетской партии? Они — тоже безконтрольны? не могут отзываться партией?

Вопрос очень колкий для сегодняшнего момента.

Керенский проявлял просто чудо сдержанности: молчал! Ведь в этом и состояло его заявление несколько дней назад: чтобы партии отзывали и назначали. А он, вот, — молчал!

Милюков уверенно ответил, что у министров-кадетов до сих пор была полная свобода действий. Но если Совет установит для своих представителей контроль и право отзыва — то, очевидно, это распространится и на кадетов.

То есть он угрожал: если он уйдёт — могут уйти и остальные кадеты? Он, как всегда, боролся цепко до конца.

Но ведущие министры — Львов, Некрасов, Терещенко, повели всё иначе, дружелюбно. Ответственность советских министров перед Советом — ваше партийное дело, нас не касается. И «без ан-

некий и контрибуций» — справедливое демократическое требование, отвечающее духу нашей революции. Но может быть, может быть — следовало бы несколько уточнить, например: «без карательных контрибуций»? — то есть не считать контрибуцией уплату за совершённые опустошения? Также, может быть, «без аннексий» лучше было бы заменить на «без захватнической политики», потому что передача некоторых территорий, как Эльзаса-Лотарингии, может быть и справедливой? Или ещё, вместо «защита свободы» не лучше ли выразиться «защита страны»?

Но все эти разнотолки не уладить на ходу, уже вот пора исполкомцам ехать на Совет, опаздывают. Да ведь так или иначе надо составить единый общий документ — Декларацию нового правительства, вот туда это всё и войдёт.

Согласились, что хорошо бы её поручить Некрасову и Церетели. Значит, к завтрашнему дню. Значит — переговоры продолжатся, и правительство ещё не может быть составлено сегодня.

Да целый день прообсуждав — так ведь и не дошли до главного: до распределения портфелей. Уже собираясь уезжать, обменялись замечаниями.

Безусловно необходимо министерство труда. (Кто: Скобелев? Гвоздев?) Если Александр Фёдорович перейдёт на военное министерство — понадобится новый министр юстиции. (Кто?) И очевидно, удобно создать отдельное министерство снабжения. (Пешехонов? — Наблюдатель Гиммер тут же запротестовал, что Пешехонов сам ушёл из Исполнительного Комитета и не может рассматриваться как советский кандидат.) А что же с морским министерством? (Адмирал Колчак? — но это опять кандидат буржуазный, а нужны советские.)

Вообще, намекали министры, в кабинете нужны не митинговые ораторы, а работники.

Более всего они хотели, чтобы в кабинет вошёл Церетели (такой разумный, согласившийся). Но сам Церетели — несколько не хотел. (И за него — Чхеидзе очень не хотел.) Да и — на какой пост? Как будто и поста для него не было.

О министерстве иностранных дел советские больше не заговаривали: они своё ещё утром сказали, а пусть вышвыривает сам кабинет. (В ресторане они ещё так договорились: кого б ни поставили вместо Милюкова — а дать ему в товарищи и в контроль эсера Авксентьева, языки знает.)

А как с земледелием?..

Но уже было к девяти часам, а пленум Совета собрали в восемь, и он там душился уже час. Ехать, ехать!

Встали, расходились. Гиммер, истомившийся от молчания, столкнулся с крупным Владимиром Львовым и на его оптимизм, что всё теперь спасено, ответил ядовито:

— А помните, мы с вами 2 марта создавали вот этот самый кабинет? Сегодня 2 мая — и мы создаём коалиционный. А ещё через два месяца наступит 2 июля — и ещё новый кабинет будет создавать знаете кто? Ленин.

Львов гулко захохотал.

А Гиммер вовсе не шутил. (И допускал такую возможность, что Ленин возьмёт его в свой кабинет — за проницательность, ум и верное направление.)

154

Пришёл Георгий обедать — Алина, ничего не объясняя, молча, положила перед ним на стол большой лист, начисто переписанный ею, однако нервным почерком, красивые размашистые взлёты и хвосты её букв были как бы повреждены.

Мой Обвинительный Акт.

Георгий нахмурился на лист, да он нахмуренный и пришёл. Опустился на стул и упёрся без выражения, бараноподобно, без заметного движения глаз по строкам. И так сидел, сидел, уже и голову подперев, у него бывали теперь моменты устаренного вида. Читал с усилием, иногда промаргивал.

Алина стояла и наблюдала за ним.

Потом уходила, давая ему разобраться.

Опять пришла, села у стола.

Кажется, прочёл. Тогда сказала:

— Я написала всё подробно, чтобы ты увидел себя как в зеркале. Ты там всё занят, — она поколебала в воздухе пальцами, приблизительные штрихи его сомнительной деятельности, — тебе и подумать некогда, как ты растоптал мою жизнь.

Не только не взрывался, даже ничего не возражал.

И она — сидела и молчала.

Над этим большим белым листом — как простынёй на койнике? как над саваном? — они сидели друг против друга не как спорщики, не как противники. Как консультанты над больной?

И с надеждой, что сейчас может переломиться к лучшему, Алина ещё объясняла ему, мягко, сострадательно:

— Пойми, я всё билась, искала выход. Но все поиски... Как будто когти неизбежности, — она переждала, отдыхая горлом, чтобы не расплакаться тут же, — когти впущены в меня, и всё глубже. И уже покидают силы, я скоро совсем не смогу сопротивляться. Это я писала из последних усилий.

Пережидала горлом.

— Вот ты укоряешь, что я не воспринимаю событий внешнего мира. Да, они для меня как в дымке, настоящие.

Нет, он не раздражённо смотрел. Внимательно. Так странно, что как и правда — на безумную? Страшен такой взгляд на себя.

— Я должна была потерять или жизнь — но ты мне запретил... Или рассудок... И на грани этого я живу... уже полгода. — Голос её еле держал, как ломкая досочка, уходящая под ногой в воду. — И я...

Заплакала. Заплакала, лицо на локти, на скатерть. И поплакала вволю, а он всё молчал. Над листом, подперевшись.

— Я — кончена, пойми! Теперь — лечи меня! Когда женщина так больна и сама не решается, — к врачу должен идти муж. Это — ты должен теперь пойти и всё объяснить врачу. Сам иди! Если ты не пойдёшь — я оставлена на погибель.

Молчал. Как будто плохо видел. Наконец:

— И без врачей ясно, что губит тебя — безделье. И врач тебе это скажет. Нужны постоянные занятия. Кому-то быть полезной.

— Да, да! — оживилась Алина. — Я и хочу быть полезной, поверь!

— Только полезной, понимаешь, — тихо, скромно, а не — стать славной своей полезностью.

Это уже — была злая шпилька! Алина почувствовала себя сильней, ответила резче:

— Ты опять хочешь уклониться! Нет, лечи меня ты! Ты меня погубил — ты меня и вылечи.

Двумя руками подпёр голову, сидел. Сидел. И совсем тихо:

— А ведь ты — мой крест.

— Мой — кто? — не уловила, не поняла, нахмурилась.

— Мой крест, — уверенней и печальней.

— Я? — крест? — переспросила Алина с усмешкой, изумилась нелепости.

— Да. Теперь я понимаю. Крест — надо нести покорно. Но можно сознавать его.

Посмотрела на мужа, как видя его в первый раз. Распахнула глаза на эту выговоренную дичь:

— Да это *ты* мой крест! Это *ты* моя мука! Это к *твоей* заблудившейся душе разрывается моё сердце! — от любви! от жалости! Если б ты погрузился в мои страдания — ты бы не обрекал меня на такую жизнь! Я потому и мучаюсь, что я — с тобой!

Но тогда — надо... ?

Тогда надо... ?

155

За три дня — позавчера, вчера и сегодня — взлетел Зиновьев из эмигрантской безвестности — да сразу в лучшие ораторы и вожди большевиков! Сперва отговаривался: «Владимир Ильич, я провалюсь, я же никогда публично не выступал». Он десять лет уже состоял членом большевицкого заграничного ЦК — вторым и единственным членом, кроме Ленина, но работа его была больше скрытая.

Однако, приехав в Петроград, они нашли здесь в большевиках одну серятину. Правда, перед ними приехала Коллонтай да ещё Каменев, и до сих пор они-то и выступали везде за большевиков. Но Каменевым Ленин был недоволен: революция нуждается в новом типе оратора, который в каждую минуту всё знает за массы, хотя б и не всё высказывал, а какой лозунг бросает — то предельно убеждённо. «Вот так научитесь держаться, Григорий. Не дайте почувствовать в голосе никакого колебания. Надо не ораторствовать, а — вбивать в сознание. И больше самых простых примеров. И старайтесь каждой фразой зацеплять слушателя или за карман, или за сердце».

В последнюю неделю апреля Зиновьев дважды выступал на большевицкой конференции, Ленин одобрил: «У вас хорошая страстность, Григорий, вы прямо кидаетесь на противника, это подойдёт».

А — всюду по Петрограду звали выступать Ленина. Но он не хотел никак! И когда позавчера уж нельзя было отказать совещанию фронтовых делегатов, — послал Зиновьева. (Да ведь спросят, почему через Германию... ? — «А вы — первый и начните, вы — первый сами, дерзко вперёд!») Вечером проверил его рассказ и присутствовавших там, остался чрезвычайно доволен, вчера утром послал Зиновьева туда продолжать и вчера же вечером послал выступить на Исполнительном Комитете с программной речью, и снова хвалил.

Но это всё были выступления перед кучками, сотнями, — а на сегодня Ленин уже слал его идти выступать перед двухтысячным Советом, вместо Каменева: и по душе соглашатель, а ещё там на-заседался с оппортунистами да с министрами.

Зиновьев и сам открыл в себе в эти два дня и способность говорить совсем понятно, для простых, и какую-то неистовость: в нужный момент его волной изнутри подбрасывает, и на противника. И несёт, не зная перегоронок, и голос есть, не останавливался, только на секунды набрать воздуха, просто тащил за собой слушателей. И кажется, стал нащупывать, как надо вот это: зацепить их за живой интерес. Но — две тысячи сразу! И как можно влипнуть (уже наскочил в Таврическом), вот: сепаратный мир? Невозможно сказать, что мы за, но и нельзя сказать, что решительно *не за*, — это будет уступка оборончеству и разрушение Интернационала?.. «А вот, а вот, — посмеивался Владимир Ильич, — попробуйте по-средине пройти. Отрицайте и то и другое».

Да не предвидишь, какой возникнет поворот. Надо учиться шагать по зыбким туманам.

Но почувствовал Зиновьев в себе зарождение этой смелости. На Совете так на Совете. С 1905 года Совет рабочих депутатов у нас окружён ореолом. А сейчас — он не наш, члены Совета выступают контрреволюционно. Но, держа речь, надо верить, что будущее — за нами!

Пленум Совета сегодня был назначен не рядовой воскресный, как только что был, а — экстренный, и заранее объявлено, что обсуждаться будет коалиционное правительство, — но что народные массы в этом понимали? А собралось больше обычного, скамеек не хватало.

Большевики все пришли раньше, чтобы занять места компактной группой (только так можно действовать едино, протестовать или настаивать). Пришёл и Каменев, узнал, что выступать будет не

он, а Зиновьев, и посматривал ревниво, иронически. Впрочем, отношения у них складывались ничего, да были они и ровесники: Каменев, конечно, мямля, но образованный, и хороший советчик. А Зиновьев вообще никакого образования никогда не получал, даже и гимназии, работал немного конторщиком в Елизаветграде, да быстро эмигрировал, сразу познакомился с Лениным и в 20 лет примкнул к нему навсегда. Учиться пробовал в Берне, да что-то неудачно, бросил. Зато чувствовал он в себе динамизм, с которым в эмиграции и не разгонишься, только — вот тут.

Пришли раньше — а пленум назначен на восемь, а начался только в девять, когда прибыла вся соглашательская головка ИК. (Они чувствовали себя просто аристократами и хозяевами, сбеситься можно!) И сразу выступил Церетели со своей набранной уверенностью, что он один — вещатель и что всегда проголосую за него.

Страна, оказывается, перед пропастью, подвергается опасности дело всей революции. Уход Гучкова — это не просто уход, а апелляция к революционной армии против Совета, это движение империалистической буржуазии, стремящейся продолжать войну, она за спиной Временного правительства тянет его вправо. И Временное правительство на распутьи и обращается к нам, что оно не может управлять страной в таких тяжёлых условиях. Правительству остаётся два пути: или уклониться вправо, или идти на тесное сближение с революционной демократией. И оно предлагает расширить его состав представителями демократии, и только это может спасти революцию. В таких условиях Исполнительный Комитет колебаться не может. Разумеется, ни о каких уступках с нашей стороны не может быть речи. Наша демократическая платформа должна быть целиком принята. И Временное правительство поняло, что эта платформа — спасение для всей страны и надо звать всю страну под эту платформу. За нами должна пойти и буржуазия, иначе она подпишет себе исторический приговор. Настоящий момент — поворотный в истории русской революции, и только объединение всех живых сил страны... Демократия должна взять часть власти в свои руки. До сих пор было правило «поскольку-постольку», но если наши представители войдут в правительство — мы будем стоять за него горой. И наши социалисты-министры будут являться в Совет каждую неделю за доверием. И вот Исполнительный Комитет спрашивает у Совета: действительно ли он правильно поступает и учёл момент.

За годы Зиновьев научился у Ленина видеть, как половинчата и шатка позиция оппортунистов. Они употребляют как будто и правильные термины, и вот трясут именем революции, — а всё вывернут как-нибудь на соглашение и на сдачу. И при жуткой непросвещённости масс, особенно солдатских, сейчас тут, если бы не было большевиков, — головка легко бы проводила с этой толпой любой свой поворот. Но большевики — здесь, и оратор записан заранее, и со всей энергией (перебарывая свою возможную растерянность) — бежит, бежит на замену. И одет он в затёртый пиджак, вид почти рабочий.

Сколько голов! Но для них не требуется большого образования, а — перцу! цепляй за сердце и за карман!

— Товарищи! Ещё только три дня назад этот самый Исполнительный Комитет проголосовал против вхождения в правительство. И ряд фронтовых съездов высказался против. И сколько фронтовых и рабочих резолюций — против! А что мы слышим сегодня? Они повернули уже наоборот? Быстро. Это я привожу показать, какой сложный вопрос. Вопрос жизни или смерти всех рабочих.

Начал неплохо, захватил. А всё нутро горит, изнутри трясёт:

— Мы, партия большевиков, в меньшинстве на этом собрании. Но мы считаем долгом довести до вас наше мнение. Вопрос о коалиции — не новый. Коалиционные правительства бывали и в других странах, но они ни к чему хорошему никогда не приводили. Везде, где социалисты входили в буржуазное правительство, это раздробляло рабочее движение. Здесь говорят, что у нас «особые условия»? Но и всегда, и везде это говорят, и везде это приводит к поражению рабочего класса. Да несколько дней назад мы были накануне гражданской войны! И всё было на лезвии, пока через 24 часа не появилась их новая жалкая бумажка. И такие инциденты будут продолжаться.

И не давать передышки:

— Всё зависит от классовых интересов, в с ё! И то двоевластие, которое было до сих пор, оно и будет продолжаться, хоть эти два лагеря будут внутри правительства. Да неужели вы думаете, что если Милюков уйдёт, то дело от этого изменится? Да Милюков ещё не худший, а лучший представитель своего класса, он так же неотступно борется за интересы своего класса, как мы с вами за интересы своего. Он не может поднять себя за волосы — (смех, хорошо) — и стать вне интересов своего класса. Он выдаст вам ещё сколько угодно бумажек, а будет вести политику пославших его.

Он защищает интересы капитала, из-за которого и идёт кровавая бойня. Поэтому воззвание Совета к армии, принятое позавчера, — большая ошибка.

И оратор меньшинства может захватить собрание, если с напором и знает, куда метит.

— Войну ведут капиталисты — и их вообще нельзя оставлять в составе министерства! Да мы с вами не маленькие дети, чтоб не догадываться, что происходит. Наше правительство и шагу не делает без согласия англо-французских капиталистов. И сегодняшний политический кризис подстрекается английским правительством. И приглашение социалистов во Временное правительство тоже идёт под их диктовку. Всё разыгрывается по указке Бьюкенена и Альбера Тома. Капиталистам важно затянуть войну как можно надольше, на каждый лишний месяц, они не обращают внимания на горы трупов. И они говорят: надо посадить министров-социалистов — тогда война затянется на ещё долгие время!

Попадает, попадает! Но и заедает. Кой-где шиканье, ропот — не обращать внимания! Ни вздоху перерыва, и горячо как со скорородки:

— Надо подумать, что скажут социалисты других стран, когда увидят, что мы заодно со своими буржуями. Скажут: социалисты желают продолжать войну за тайные договора. — (Тайные договора — до дрожи задевают!) — Вы, представители демократии, хотите воодушевить народ на бойню? — (Закричали в зале возмущённо. Так ещё напористей!) — Хотите осрамить демократию? А что скажет Карл Либкнехт? Это было бы роковой ошибкой перед германским народом: зовём его к революции, а сами идём в министерство? Коалиционное правительство — только запутывание вопроса. Правильное решение — не оставлять Временное правительство у власти. Единственный выход — переход всей власти к Советам!

И ещё без передышки:

— Разруха в стране? Но это исключительно вина буржуазии! Да разве можно оставлять буржуев министрами? Шингарёв не даст нам хлеба, а мы сами сумеем и лучше, и дешевле достать. Если хлеб у землевладельцев есть — так Советы возьмут его ещё лучше всяких буржуев! Нет, не щадить ни капиталистов, ни помещиков! Нет, не идти во Временное правительство, но — вся власть в руки рабочих и солдатских депутатов! И тогда не надо будет писать каждый день жульнические ноты, а можно будет действовать

прямо! Пусть наши фразы будут не такие дипломатические, но наша с вами даже безграмотная записка будет вызывать больше доверия. Мы должны заявить: мы — и есть правительство! рабоче-солдатское! И единая рабоче-солдатская власть спасёт мир!

И махнул кулаком. (Это был для своих знак условный конца.)

Большевицкая сплотка бурно захлопала и затопала ногами. За ними повлеклись из разных мест зала, хоть и реже куда. А другие сидели очумело.

Раздался и смех, нарочно громкий.

А негодование — было сорвано.

Удалась речь! Даже сам не верил, как удалась! Какую сильную картину выставил перед массой под конец — и вместе с массой сам в неё поверил: мы и есть рабоче-солдатское правительство! (Ах, Ленин похвалит, жалко не слышал.)

И сейчас бы вот на этом кончить собрание — и выиграно.

Но, конечно, есть у них кому ответить. И выпускают чуть не самого ядовитого — Войтинского. И он тоже — прямо к горлу рвётся:

— Зиновьев говорит — мы легко меняем свои мнения? Ну, не так легко, как большевики: они выносят днём одну резолюцию, а вечером другую!

Хохот. Ловко. (Это — про резолюции 21–22 апреля.)

— А смена решений Исполнительного Комитета — это мудрая тактика, несвоевременное вчера — стало своевременным сегодня. Вот оказалось, что правительство не способно справиться с положением. Если мы сейчас не вступим в состав правительства, то и русская и всемирная революция будут похоронены. Зиновьев говорит, что коалиционные правительства во всех странах провалились. Но если он знает историю — пусть приведёт хоть один пример, когда бы демократия ставила буржуазии такие властные условия, как мы.

Доводы противника прожигают и с опозданием указывают, что ты мог бы выразаться и ловчей.

— Мы сейчас в великой опасности. В армию надо влить энтузиазм. Дайте нам нового военного министра! — и армия будет горой защищать страну и революцию. Организовать армию — это не затяжка войны, а защита революции. Если наша революция погибнет — опять вернётся Николай. Если мы не возьмём в свои руки защиту страны — то и никто её не возьмёт. Вместе с нами будет похоронена и революция всего мира.

Далеко, далеко вы отшатнулись от Циммервальда, и всего за несколько дней! Что несут! Ну, это вам даром не пройдёт.

— Когда товарищ Зиновьев пугает нас, что коалиционное правительство создаётся по требованию союзников, он становится в известное положение обывателя: «не иначе как англичанка гадит».

Хохот. Аплодируют. У Зиновьева уши горят, перепалился весь.

— Нам бросают обвинение, будто мы хотим затянуть войну. Нет! Мы хотим мира, но мира международного, а не такого, как вы предлагаете. А вы, товарищ Зиновьев, хотите заключить мир возможно скорей, но какими-то непонятными способами, — так договаривайте вашу мысль до конца! Наш путь к миру — поднять против войны демократию всего мира, а до того времени — защищать фронт. А второй, по которому идут большевики, — к сепаратному миру. А какой третий?

Все наши — затопали, заревели, и Зиновьев тоже:

— Позор! Не допустим! Вон! Долой! Он врёт!

И много по залу криков:

— Позор! — но и в сторону большевиков. И аплодисментов.

А от нас:

— Долой с кафедры!.. Клевета!.. Он врёт!

А по залу — аплодисменты гуще.

Скобелев пять минут успокаивал зал. А наши — нет! На своём!

Скобелев — прямо к нам:

— Я буду ждать, пока вы успокоитесь. Всякий уважающий собрание должен...

Сам — соглашатель! Власть соглашательская!..

Но не будешь кричать без конца. Замолчали наши. Войтинский поосторожней:

— Я не хотел здесь никого обидеть. Я говорил, что если большевики и не делают прямого вывода, то он объективно вытекает. «Правда» призывает к братанию, то есть сепаратному перемирию. Нас признали — миллионы, Совет и революционная демократия идут за нами, а не за вами, товарищи большевики.

Наша кучка — вся вместе, как Ленин учил:

— Не признали вас! Неправда!

— И большинство собрания за нас, вы видите!

— Неправда!!

— А если бы неправда — то центром единения была бы «Правда», а не Совет. Оставить Временное правительство как оно есть,

в слабости, тоже недопустимо. Остаётся влить в него свежие силы. И не пытайтесь нас столкнуть с этого пути. Я призываю вас поддержать решение Исполнительного...

Так разжётся, разволновался Зиновьев, — следующего оратора, от занудного плехановского «Единства», мимо ушей пропустил, да что он скажет?

Надо отвечать, вот что! Но второй раз Зиновьеву нельзя. Значит, Каменеву, он и записан в запас.

Но тут объявил Скобелев, что записалось 50 ораторов, предлагается давать каждому только по 10 минут.

Большевики в протест устроили ещё одну шумилку, но зал проголосовал — давать по 10 минут.

Теперь и Каменев. Он без нажима, но тоже задеть чувства:

— То отношение к братанию, которое здесь выявилось, недостойно этого собрания. Там, на фронте, не сепаратный мир заключают, а устали, исстрадались. Мы не говорим, что всякое братание допустимо, оно должно носить организованные формы, но не позволим относиться с презрением к тому крику боли...

Сам он — только что с коалиционных переговоров, и вот:

— Разве мы когда-нибудь соглашались с империалистами? Но если буржуазия идёт на соглашение, ведь она ждёт уступок и от нас. Наше дело думать о пролетариате, а не о буржуях, и единственный выход — совсем порвать с буржуями. Пока мы не порвём с капиталом — мы не получим ни мира, ни хлеба. Вы не верите нам — (неудобно выразился, так нельзя, и уже крики — «не верим!») — а мы предлагаем вам взять всю власть в свои руки. Мы — отдали жизнь за революцию, и почему, если возьмём власть, это будет называться захватом? Народ — единственная власть в стране.

Слова его — правильные, но ненапористый голос, и по слишком чистенькому виду его никак не поверишь, что он отдал жизнь за революцию.

— Письмо Гучкова — это тоска по полевым судам и розгам. Он требовал создания полевых судов... — (Шум: «Нет!») — Вам хочется попробовать соглашение? Ну попробуйте. Но скоро вы убедитесь, что выход только в полном захвате власти.

Нет, не убедил, скорей проиграл.

А за ним величественно вышел Авксентьев. Ну держится, как будто он президент России. Пышные волосы, красивая откинутая голова, говорит звучно, точными фразами, как читает, и не торо-

пьясь. Но в этих барских манерах и слабость его, не поведёт он массы. Владимир Ильич всегда говорит: «Любого эсера копни — он на ногах не стоит, всё у них дутое».

— Если мы обратились с воззванием, а ответа нам ниоткуда нет — как мы можем окончить войну? Мы не союз с буржуазией заключаем, но укрепляем авторитет власти. Если Зиновьев предлагает захватить власть, хотя бы и возникла гражданская война, — значит он верит в силу пролетариата. А тогда почему он боится, что пролетариат околпачат в правительстве?

Это он ловко повернул. Смех, и аплодируют. Конечно, их в зале больше гораздо.

— Но раз представители будут под нашим контролем — почему нам бояться, что они перейдут на сторону буржуазии? Конечно, когда-нибудь наступит время и вся власть будет в руках социалистов. Но к этому надо идти постепенно.

Десять минут, много не разгонишься. За ним меняются Сакер, Бройдо, и всё одно и то же.

Ихних — в зале большинство, победа их предательства им обезпечена. Но надо было показать наши зубы. Ленин говорит: не уставать показывать.

А Церетели уверенно выходит завершать. Ещё 53 записавшихся, и он хотел бы, чтоб они выступили. Но теперь горячее время, а часу на час требуются действия.

— Социалистов в стране ещё мало. И крестьяне, и часть солдат, и даже некоторые рабочие идут за буржуазией.

— Рабочие — нет!!

— И если бы сейчас Советы захватили полноту власти — им пришлось бы удерживать её мерами насилия против большинства населения.

Тут Зиновьев дал сигнал — и большевики устроили ему хороший шум.

Церетели после него:

— Так ведь и Ленин говорит, что крестьянство — мелкобуржуазная масса. И если бы мы сейчас устроили диктатуру меньшинства — мы бы зажгли гражданскую войну и только отодвинули социализм. Придёт время — буржуазия отстанет от нашей платформы, и тогда мы её сбросим...

Всё-таки пообещал пересмотр тайных договоров. Проголосовали. наших — 122, остальные две тысячи — входить в правительство.

156

От первой встречи на студенческой вечеринке Саню как наполнило горячим воздухом и взносило, отрывало от земли. И это сохранялось в нём весь дневной перерыв, пока они не вместе, и даже ночью сохранялось — не снами, а блаженным бытием сквозь сон, будто и во сне он оставался со всех сторон объят солнечным светом.

Но и спал он мало.

И спать не надо.

Скорей дожить до вечера.

Странное состояние: насквозь возносящей чистоты — и лишь порой огрузняющей взмученности.

От поддерживаемой её руки разливалась по телу предельная полнота, кажется: выше — и немислимо ничто.

Саня приехал с фронта мрачный, от гибнущей армии. И по пути повидал. В Москве остановился у своего университетского одноклассника, ныне разумно окончившего университет (а Саня всё упустил) и служащего прапорщиком в запасном пехотном полку в Спасских казармах. И тот рассказывал своё развальное — а Саня вдруг отодвинулся или всплыл, будто это всё уже и не касалось его. А вместе с Ксеньей, от частого звонкого смеха её через перловые зубы, — мог хохотать, как уже давно разучился.

И когда «люблю» ещё не было сказано, а всё пело и подтверждало, что: и она! и она!

Как будто они давно-давно знакомы. Как будто — что-то большее, чем они просто потянулись бы друг ко другу от первой встречи, — нет, они узнали друг друга через какой-то высокий далёкий верх.

Вот и исполнилось, как говорил Краев: знать ту женщину, к которой ты должен вернуться с войны.

Перебывали и в Большом не раз, всё на балете, Гельцер, и в Малом, и в Художественном, и в кинематографах, Вера Холодная, и просто бродили, бродили по Москве, — Ксения любила всю Москву наизусть.

Бродили, переполненно счастливые. Рядом с быстрой подвижностью её взгляда, смеха и перемен — Саня открывал себя мешковатым, непоспешным и отставшим от тех новых авторов, кото-

рых она читала, а он и не слышал, — но и это непоспеванье было ему сладко, у места. И что же именно где смешно — она находила прежде него, а он уже вдогон.

Сегодня одиннадцатый вечер они были вместе. А вот уже и пять суток с того, как, опустясь от Большого Каменного ко Всехсвятскому, при рассеянной белости от заоблачной луны, Саня вдруг всплеском, не готовясь, повернул её к себе за плечи и выдохнул: «Я теперь жить без вас не могу! выходите за меня замуж!»

Ярче, привлекательней, пленительней этой девушки он никогда не встречал — и даже удивительно было, что это открылось только ему, а не все сразу видят это несомненное её превосходство. (И хорошо, что не успели разглядеть до него!)

Странно? — но они всё ещё говорили друг другу «вы». Не могли переступить — или даже не хотелось? Теперь уже уверенность, что «ты» ещё будет, и будет, и будет, — а вот в этом последнем порхающем «вы» сохранялось безутратное изящество.

Ксаночка — да! была согласна! была вседушевно согласна выходить за него замуж, и глаза её сияли счастьем, как будто всё это уже случилось, — однако: что скажет крутой отец? Если он запретит, если он заградит, поднявшись в свой гневный рост? — тогда...? — она не смеет.

Уже вся в московской эмансипации, и посмеиваясь над печенжными нравами кубанских экономистов, и в веренице театров, и с тайными от отца балетными упражнениями, — против папиной воли она не смеет... Если он проклянёт? — нет...

Для отца — неравное, невидное замужество? Не так хотел бы выдать?

Но даже если взгневится сначала — то потом? Сердце у него отходчивое и на самом деле доброе, хотя бывает страшен, когда раскритичится. Будет уговаривать не только Ксения сама, но ещё поможет её старшая невестка Ирина, будем уговаривать до того, чтоб хоть на колени стать, — сдвинем.

Но это всё — невозможно в письмах. Для этого надо ехать Ксенье домой. А это — только в конце июня, после курсов. И в июле всё решится.

И тогда?..

— И тогда: я ведь не могу просить второй отпуск. Вы приедете ко мне — прямо в бригаду, на фронт? Если мы будем стоять всё так

же в неподвижности, то в наш фольварк Узмошье. И отец Северьян повенчает нас.

Так мечталось.

А Саня-то остался без матери ещё в детстве. А отцу, во второй семье, большого и дела в том нет.

Не говорил, но мысль была: надо нам спешить, пока не слягут ещё новые головы, может и моя. Не покидало Саню предчувствие своего недолгого века.

— А карточка у вас есть для папы хорошая? Снимитесь ещё раз!

Но и в том, что свадьба откладывалась, — тоже есть своё наслаждение. Сердцу — непереносимо было бы: вот прямо сейчас? уже без преграды?..

Пусть, пусть ещё поноет в груди.

Благодарность к ней, что она — есть. Что она — вообще нашлась.

Даже страшно: кольцом рук — раздавить её?

Нет, она — орешек, кубанская порода.

А — после войны? Сане бы кончать ещё два года в университете — а Ксения через год уже и кончит, с Москвой расстанется. Нескладно.

Проходили как-то у Никитских ворот — вспомнил Саня замечательного старика, Павла Ивановича.

С его загадками.

Что он сейчас? Жив ли?

Он тогда как благословил их с Котей идти в армию. И теперь вот, первый раз вернувшись в Москву, — как же его не повидать? Очень захотелось.

— Ксаночка! Живёт в Москве один чудесный мудрый старик, сейчас я вам о нём расскажу. Давайте-ка мы его в этих днях разыщем — да сходим к нему?

Пока — здесь, пока вместе, вся Москва — наша.

По вечерам освещение на московских улицах стало разреженное, многих фонарей по экономии не зажигали. Зато не видно ни уличных повреждений, ни разноцветных листовок, ни распущенных бродячих солдат, — можно вообразить, что Москва — и сегодня прежняя.

Однако — кобуру поближе к руке, из любой подворотни могут выскочить бандиты, из-за любого угла. Нет, Москва не прежняя.

Пути последнего ночного провожания часто ложились через Александровский сад.

Как-то Ксения сказала:

— Здесь я люблю гулять. Во время самой революции тут гуляла.

А уже вот недавно, изменяясь голосом:

— Я здесь... мечтала... Смотрела на маленьких детишек, и...

Призналась.

Но ведь и Саня хотел — именно! именно сына!

И открылось говорить о нём — как уже о существе.

О непременно нашем...

Что за счастье!

А сегодня вечером бродили, бродили, заметили: на Воскресенской площади сгущается к городской думе толпа.

Пошли туда?..

Всё равно куда. Всё равно хорошо.

На возвышенной площадке думы под яркими фонарями стояла группа, может быть из думской головки, — и несколько матросов. И один высоченный черночубый матрос с двумя нашивками на рукаве, а в распахе матроски яркие полосы, лицо как у птицы большой, выразительные крупные губы, объявлен был к речи: матрос Баткин. И сразу начал, с большой свободой (а «г» — наше, придыхательное, по-южному):

— Товарищи и граждане! Русские люди! Лозунг «Отечество в опасности» — ударил по сердцам Черноморского флота! И мы — посланы по России, посланы сказать, что мы — свободные граждане веки!

А-а, уже читали про них, это — черноморская делегация, их стали звать «марсельцами»: тоже с юга, тоже патриотический железный отряд на подкрепление заколебавшейся страны.

— Никому не отдадим дорогой России и свободы! Сила — в единении, ужас — в разъединении. Предать союзников — мы не смеем! В Туле мы застали батальон, они готовили плакаты о немедленном мире с Германией. Мы — не допустили этой изменнической демонстрации! Кто кричит «долгой войну» — они, может, только шкуру свою спасают?

Откликались ему живо, одобрительно из разных мест толпы. И Баткин длинным картинным лицом гордо принимал как ожидаемое. Он привольно размахивал длиннющей своей рукой и ораторствовал, не затрудняясь в словах:

— Мы не дадим проповедывать на улицах, на площадях и на позициях — предательство родины. А братание с немцем — и есть предательство. Сегодня опасность не от контрреволюции, а — с другой стороны. Армию, которая самоотверженно шла на смерть, теперь расшатали. Первый вопрос — железная дисциплина, как у нас в Черноморском флоте. Мы все — одна дружная семья, и у нас офицеры — те же братья.

Да простой ли он матрос, усумнился Саня. А замечательно, и на всю площадь:

— Мы не спрашиваем нашего Адмирала, почему берём курс именно на Трапезунд. Сказано так — значит надо, идём! Когда наш Адмирал говорит: бригада крейсеров направо, миноносцы налево, подводные лодки вниз и в атаку, — мы не спрашиваем зачем, а не успел он выговорить — и мы уже в атаку!! Наступление — это лучшая оборона!

Толпа редела, аплодировала, и даже со слезами: ах, как же он говорит! что за матрос! Как сердце укрепляет!

Рядом хорошо одетый плотный господин, задыхаясь:

— Это чудо, наши марсельцы! Народная душа возрождается на наших глазах.

Молодая дама под сеткой:

— А Керенский — разве не чудо? Откуда он так чувствует народ?

А Баткин — метнул отчаянной головой и крупно смахнул рукой юрящего где-то тут невидимого чёрта:

— Черноморцы — никогда не согласятся на сепаратный мир! Черноморцы — не вернуться в порабощённую Россию! Если изменническая часть возьмёт верх в стране — черноморцы лучше взорвут себя!! и, глазом не моргнув, потонут в море! И умрут! Мы, черноморцы, без свободы жить не можем!

Снова, снова хлопали, кричали, бурно радовались.

А при первой утишке — раздался сбоку резкий голос, подловить:

— А откуда вы, матрос, знаете французский язык?

А Баткин — ни на миг не замаялся, но страшно повёл в ту сторону крупными бровями и очами:

— Свой французский язык я получил, служа кочегаром и задыхаясь у огня. Я — пролетарий!

И — ещё взнялись хлопать, кричать, одобрять. Хотя, всё-таки, вряд ли он был пролетарий.

Слово передали севастопольскому прапорщику Иткину — но уже так замечательно всё равно не скажет.

Стали Саня с Ксеньей из толпы выбираться.

— Такой трезвый голос, — волновался Саня. — Если бы все везде их послушали. Должно же перемениться к лучшему? Если Черноморский флот мог сохраниться — то почему не мы?

Они так забылись друг в друге эти дни, и за весною, — а грозная жизнь шагала. И — что-то там сейчас в Узошьи, в Дряговце?

Ксаночка — чуть к саниному плечу.

Они двое составили словно маленький челночок, безстрашно взявшийся переплыть море, и в самое неподходящее время.

Выбились из толпы направо — и как раз к Иверской часовне.

Все эти два месяца что ни кружило, ни скакало по московским улицам, а здесь — и при свете дня, и в вечерней темноте, и в утренней — одно и то же всегда, все дни и все часы: через раскрытую дверь видны многие горящие свечи и лампы внутри, протискивались туда и сюда, а внутри набито. И ещё ожидающая кучка, когда больше, когда меньше, толпится снаружи.

Подошли.

Сане, через плечи, было видно внутрь, Ксенья нет.

Он высвободил руку свою из-под её локтя, снял папаху и перекрестился, глядя в жёлто-золотое разлиvistое, накалённое свечение перед тёмным деревом икон и серебристыми накладными ризами.

Соедини нас, Матерь Божья, прочно и навсегда.

И Ксана крестилась, затажно прикладывая трехперстье.

Лицо её в светло-жёлтом отсвете — ещё нежнее.

Сколько-то простояли они вот так, против алтаря.

А потом пошли — и опять мимо Александровского.

И опять — о том же, о нашем.

Как они будут жить — для него.

Как будут его воспитывать. Вкладывать всё лучшее. Доброе.

Хотя ещё не так было тепло, но уже распушились деревья — и от них тонко тянуло.

Война, — но от любви, от веры в продолжение нашей жизни — такая крепость!

Есть ли что-нибудь на свете сильнее — линии жизни, просто жизни, как она сцепляется и вяжется от предков к потомкам?

И что за сутки выдались Павлу Николаевичу! Вчера к вечеру спешно вернулся из Ставки по случаю гучковского дезертирства. (Именно в сегодняшней ситуации военный министр — должен был действовать, а не уходить! А иначе — нечего было и революцию затевать. И ведь обещал не решать в одиночку — а вот поспешил сдать. А ведь и вся травля велась не против него, а против министра иностранных дел.) Застал правительство наполовину расслабленное (но блудливо, скрытно готовое выталкивать Милюкова), наполовину уже переметнувшееся к Совету и — ничего не способное делать, только ждать решения от советских. И сразу же тем вечером, нельзя отказать, обещал — ехать выступать на концерте-митинге в Александринском театре (и был свидетелем психопатических пятнадцатиминутных аплодисментов Керенскому), — хоть что-то высказать из своих беглых ставочных впечатлений: как призывы безчестных людей из тыла сеют смуту на фронте. В голове, в душе — всё порушено, выбита почва отступничеством Гучкова, — но теперь-то и нужна особая твёрдость: выстоять — и одному! Теперь хоть несколько часов иметь бы свободных, обдуматься и разобраться, — нет: на сегодня был назначен полуденный прощальный завтрак уезжающему Палеологу, нельзя менять. И в министерстве иностранных дел со всей отрепетированной чинностью императорских столетий, с тою же сервировкой и плавными лакеями в башмаках, чулках и кафтанах, как будто никакой революции в этом городе не произошло (первый раз такая процедура за всё министерствование Павла Николаевича), — давался завтрак. Все послы. Тома, свои товарищи министра и всё никак не уедущий в Лондон послом Сазонов, недавний же министр в этом здании, — а Милюков должен был вести себя как расположенный уверенный хозяин — когда из утренних газет уже почерпнул слетни, что министр иностранных дел будет заменён Терещенкой. Двulichный Тома, главный предатель. В стороне, наедине, неискренно: «*Ah, ces cochons les tovaritch!*» * А старый друг Палеолог не посвящён во всю эту подлую интригу. Торжественные речи. Нелегко было перед ними держаться, вероятно, выдавал и погло-

* Ах, эти свиньи товарищи! (франц.).

шевший голос, и измученное от бессонницы, от скорби лицо. Да, дипломатическое искусство недаром считается из труднейших.

Так понимать ткань и внутренние натяжения дипломатии! — не только сегодняшние, но за несколько последних десятилетий, и особенно на Балканах. И с его государственной волей, с его феноменальной памятью — вот теперь уйти, едва начав?..

Гучков сболтнул напоследок, что верит в чудо. Какое чудо? — надо бороться. Всегда — надо бороться, и проиграв — тоже бороться.

Собирая всю волю, поехал на квартиру ко Львову на заседание правительства. А тот, оказывается, с утра, ещё до всякого правительства, со своими подручными переговаривался с Исполнительным Комитетом и наобещал им свыше меры, — несчастье иметь такого разляпу премьером.

А застал Милоков — пустоформальное, никчемное заседание с призрачным думским комитетом, только время терять, ничего решительного не проведёшь.

Ушли думцы — теперь бы засесть правительству, и почти все собрались. Но вот-вот нагрянут советские, опять некогда говорить.

Однако и в это сжатое время Милоков выложил, сколько мог.

Положение таково, что не спасёт никакая перемена личностей. Идёт буйный поход против всякой власти и всякой дисциплины, и особенно в армии. В армии допущена любая пропаганда, не исключая преступной и предательской. Могла бы спасти только немедленная сильнейшая контрпропаганда. Болезнь смертельная, но Исполнительный Комитет, конечно, будет это оспаривать.

Однако — его коллеги как не слышали его. Лица — без движения, без интереса. Кто-то и запиской перекидывается.

И даже возражать не считают нужным?

Как же безнадёжно всё разорвалось!

А — эта новая декларация правительства? Что за опрометчивая капитуляция? Формула «без аннексий и контрибуций» бессмысленна и практически неприменима, и вы сами в этом убедитесь в дальнейшем. Кажется, цель декларации — сказать однажды ясно и чтобы не было поводов для конфликтов впредь. Но цель заранее признаётся недостижимой? Документ полон неясностей, программа слишком неопределённая. А этот их «контроль над производством, транспортом и обменом»? — это уже даже не герман-

ский военный социализм, а похуже. И аграрная реформа? и финансовая? — всё это незакономерное предварение Учредительного Собрания, это выходит за рамки прав Временного правительства, и мы не уполномочены соглашаться. А вот совершенно необходимого пункта — «право правительства применять силу и распоряжаться армией», — этого в декларации нет.

Некрасов громко захохотал:

— Но это была бы комедия! В какой стране какое правительство нуждается объявить за собой такое право? Да никто и до сих пор не запрещал Временному правительству применять силу.

Да, кажется, Павел Николаевич увлёкся.

Наконец, чего стоит вся эта программа, если мы не смеем прямо указать на большевицкую опасность, а должны вставлять уклончивое «о выступлениях, создающих почву для контрреволюции»? Уже сейчас так связанные в словах — мы дальше тем более будем связаны в действиях.

А тут сразу привалили гурьбой советские — и обсуждение стало ещё безнадежнее. Взялся Милюков высказать правду и им — а ему уже открыто кричали в лицо, что пора ему уходить.

И никто из министров не заступился.

И Милюков сидел за столом одиноко, сжав голову руками. В такое позорное действие ещё никогда не попадал. Государство летело в пропасть — и туда же его охотно толкали государственные мужи.

Когда советские ушли, а министры остались на местах продолжать, Милюков попытался ещё раз говорить к ним. Солидарность членов Временного правительства — необходимое условие, нельзя позволять действовать в одиночку. (Намёк, по крайней мере, сразу на троих из «семёрки».) Центр тяжести наших действий: мы остаёмся на посту и не можем снять с себя бремя власти. Наше распадение было бы началом катастрофы. (Как будто ещё не распалось!..) Разногласия во внешней политике совсем не злободневны, Исполнительный Комитет раздувает их, они уже устранены Разъяснением 21 апреля. И никакие тут ваши, Георгий Евгеньич, смягчения, «без захватной политики, без карательных контрибуций», ничего не спасут. Но что понимается под коалицией? Ввести от них двух-трёх человек? Это можно, хотя их кандидатуры не пользуются всероссийской известностью настолько, чтоб укрепить авторитет власти. Но они хотят больше, чуть ли не большинство? Так это и будет идея Ленина о диктатуре пролетариата.

Уж не сказал о себе, неудобно: удаление Милюкова будет истолковано союзниками как полный разрыв союза, как коренное изменение политики.

Говорил, а что ж? — тут половина статистов. Свои же кадеты — Шингарёв, Мануйлов, разве не статисты? Рохли. И Коновалов, и Годнев, и чёрный Львов. (Да они же и остаются все на местах.) А действующий нерв — это Керенский-Некрасов-Терещенко, это малый ведущий кабинет, решают только они, и ими запутан слабодушный князь. (Кто из них омерзительней — даже трудно сказать.)

Естественно, именно эти и стали возражать. Те трое наговорили резкостей один за другим, а Львов миротворно (и притворно, он лицемер, оказывается) призывал кадетов стать выше партийных интересов и пренебречь узкими партийными лозунгами.

А Милюков, всё сжимая тяжелеющую голову руками, не в первый раз подумал, но в первый раз так ясно и окончательно: они — в заговоре! Они — давно в скрытом тайном заговоре, может быть масонском, может быть личном, ещё от первых дней марта, и даже ещё прежде. Заговорно они тянули друг друга во Временное правительство, а Павел Николаевич, формируя кабинет, свалил большого дурака. Заговорно они все недели и подпиливали свалить Милюкова, и они же лансируют кандидатуры взамен. Керенский с Терещенкой, видно, давно согласились захватить себе министерство военное и иностранных дел. А князь Львов — и исконный предатель, он предал и в Выборге, — и как можно было простить ему то? И вот — повторяется снова.

Ещё не толкали прямо в шею, ещё не говорили прямо: «Уходите прочь!» — но вот и Керенский прямыми словами предложил ему: взять портфель министра просвещения.

К счастью, Павел Николаевич, говорят, никогда не краснеет. А тут — всякий бы на его месте налился кровью и взорвался: этот сопливый мальчишка как ударил в лицо. От кого услышать? — от этого!..

Нет, не взорвался Павел Николаевич — и не открылся им беззащитно, что это — обидно, унижительно, не по его масштабу. Он в последние дни переработал в себе это оскорбление и выдал теперь в ответ безукоризненный аргумент: не потому отказываюсь, что из гордости. Но, даже меняя портфель и оставаясь в кабинете, я не освобождаюсь от ответственности за творимую внешнюю политику. Однако и не смогу этой ответственности нести, ибо зада-

чи внешней политики теперь будут поставлены не так, как я хотел бы их ставить. Эта постановка — вредна и опасна для России.

(И ещё ж одна нелепость: от Терещенки освобождаются финансы — и туда переставят негодного Мануйлова?..)

Нависало, нависало в тяжёлом воздухе, что отставка Милюкова решена безповоротно.

Министрами — решена. Советом — решена. Но — ещё можно не уходить?

Но — как остаться? Тогда надо — громко призвать общество, своих бесчисленных почитателей? Вызвать ещё один уличный отпор, как призвал кадетский ЦК 21 апреля?

Нет, это было — не амплуа Милюкова. Таких действий — он не мог...

Да и ЦК уже на этом не сойдётся.

А тогда — что же?

От него зависело: гордо уйти самому, прежде чем унизительно исключат.

Много в жизни приходилось Павлу Николаевичу делать неуклонных заявлений — но это он высказал, около полуночи, ещё с предельной твёрдостью: что ввиду расхождения с большинством кабинета — не считает возможным оставаться на посту министра — и покидает правительство!!

И — не раздалось уговоров...

Отодвинул стул. Встал, собирая свою папку.

Кажется, растерянное лицо было у Шингарёва, но и он, и Мануйлов остались сидеть.

И — просто вот так, молча, и выйти. Сразу — и уйти!

Но воспитанность требовала — обойти всех коллег с рукопожатиями, в том числе и мерзавцев.

Обходил.

Когда дошла очередь до князя Львова — тот удерживал руку Павла Николаевича и безсвязно лопотал что-то вроде:

— Да как же?.. Да что же?.. Нет, не уходите!.. Да нет, вы к нам вернётесь.

Павел Николаевич холодно отнял у него руку:

— Вы были предупреждены!

И — вышел.

Стук двери — отметил конец первой эпохи Российской Революции.

И вспомнил гучковскую веру в чудо. А если — случится чудо? И — вернут?

Лакей подавал ему пальто, шляпу, — скользнула вдруг мысль: а может, была какая-то ошибка в его аргументах о проливах? Может быть, не надо было ему уж так настойчиво держаться за Константинополь? Как ни аргументируй — а идея-то не кадетская, не либеральная, это у него от обильных балканских связей. И от панславизма.

158

Всё складывается великолепно: угрюмый Гучков ушёл, вечная бонна Милюков обречён (хотя ещё может опомниться и схватиться за портфель просвещения) — правительство расчищается. Сейчас начнётся золотой период нашей революции! Социалисты только укрепят правительство, Керенский — и хочет, и будет премьером, а Николай Виссарионович, в тесном установившемся соединении с ним — советчика, информатора, посредника, а когда надо, глашатая, — уже и сейчас давно нерядовой министр, а впереди ждёт нечто крупнее. Речи Некрасова захватывают революционную публику своим неизменным, несравнимым оптимизмом и энергией, но как раз тут он и не делает над собой усилий: он и действительно неиссякаемый оптимист, он и действительно предельно энергичен, «американская складка» — говорят о нём, и он сам так понимает. Таких-то людей, как он, в России мало — и Некрасов заслуженно выходит на вершины её.

А к этому добавляется высокое искусство личных отношений, где нужна зоркость к собеседнику, внимание к его настроениям и отчётливо правильное поведение, чтобы всегда найти верный с ним тон. Но этим искусством Николай Виссарионович владеет и вовсе без промахов, больше, чем своей основной и уже сильно забываемой специальностью — статикой железнодорожных мостов. Мосты к сердцам — искусство куда более тонкое. Вот — едва сокоснувшись с лидерами Совета, Некрасов стал со всеми с ними приятель, а особенно с Церетели. А за Керенским шёл, всегда тактично отставая на плечо, хотя знал, что умней его, — но для того и роль советчика.

Политика, как редко другая область, требует интуиции и личного влияния. Всегда безошибочно знать: какое действие созрело, быстро охватить всё положение, где надо — уметь пойти навстречу, где надо — проявить неуступчивость.

Что изгнание Милюкова созрело — было ясно уже из уличных плакатов 20 апреля. Милюков своим безрассудным упорством едва не вызвал падения всего правительства. В тот вечер Некрасов спасал положение, сам предложил Церетели выработать текст «Разъяснения» — а уже предвидя неизбежное падение Милюкова. И вёл к тому неслышную работу. К себе в министерство путей сообщений пригласил на завтрак левых кадетов — Винавера, Оболенского, Волкова — и открыто предложил им: забирать Милюкова с иностранных дел, чтоб не погубить кадетское дело. (Передвинуть бы всю партию влево!)

Минувшей ночью, вскоре после ухода Милюкова, поднялся из-за стола и Шингарёв: он не считает теперь возможным оставаться, пока кадетский ЦК решит судьбу своих министров. Приукрашенный и неумный жест, так не рассуждают деловые люди.

Но это двигало правительство — в сторону крушения.

Некрасов, спавший в эту ночь всего ли часа четыре, спозаранок поднявшийся составлять декларацию нового правительства (поручили ему вчера, и взялся он: русские говорят, говорят, а как надо перевести дело в документ, так все отваливаются), — получил и ранний телефонный звонок, что сегодня днём собирается кадетский ЦК, получил и утренние газеты, из которых фонтанами били предположения, что вслед за Милюковым будут отозваны и все кадетские министры. А значит, и Некрасов?

И только засмеялся.

Да что вся кадетская партия ему? Он — сконцентрированная личность в неумолимом движении, она — рыхлое сборище болтунов, которое — как видно по общественной расстановке — уже отслужило свои исторические часы. Они себе пусть решают как хотят, но Некрасов — плевать хотел на их решение. Пусть они и все уходят, вместе и с Набоковым. Да сто раз он с ними расстанется.

Сегодня же объяснит корреспондентам. Как-нибудь так. Да, я член партии Народной Свободы от самого её основания. Но не считаю себя связанным с нею безусловно. В 4-ю Думу я формально был выбран не от неё (удобное обстоятельство), а от партии прогрессистов. Да, свою деятельность я определял партийной дисципли-

линой, хотя летом 1915 выходил из ЦК ввиду разногласий. Расхождение с партией по отдельным вопросам — явление не новое для меня. В момент кризиса власти я нахожусь в особенно трудном положении: я связан и партийной дисциплиной, но и солидарностью с группой министров, которая проводила определённый способ разрешения кризиса, и особенно в отношении внешней политики. А теперь Милюков заявляет, что он входил вообще не от партии, а лично. Так тогда и я — лично. Если станет вопрос, что предпочесть, — я в настоящее время не считаю возможным выбыть из правительства. И с сожалением оставляю ряды партии. Приходится пожертвовать и многолетними симпатиями — чтобы двигаться к нашей общей цели.

Отлично состроено!

Вчера к завершению ночного заседания роли распределились до конца: из вежливости предложили Львову стать министром иностранных дел, он отказался, значит — Терещенко. Керенский заявил своё желание быть полным наследником Гучкова, то есть взять и морское министерство.

Теперь из условий Исполкома и вчерашних совместных обсуждений Некрасов составлял Декларацию без всякого труда, охотно накрываясь в сторону социалистов, крепче будет союз. Кто однажды сказал политическое «а» — должен сказать и социальное «б». Ну, не сразу прямо «обложение имущих классов», а «обратить внимание на обложение имущих классов». С удовольствием вписал «без аннексий и контрибуций», но смягчил «подготовку новых переговоров с союзниками» на «подготовительные шаги к соглашению с ними» в духе мира и братства народов: так, не связывая прямо союзников, он брал обязательство за своё правительство. И дальше так, переставлял фразы из условий ИК, но делал их более полнословными для солидности. И, как вчера согласились, поставил на первое место борьбу с попытками контрреволюционными, а уже на второе — с анархическими. (Вообще, есть небольшая тучка от большевиков, но они сами себя изолируют от социализма.)

Быстро справился, ещё до утреннего завтрака, и сразу — чистовик. И поспешил на встречу с Церетели, как улавливались.

Церетели был сверстник, на два года моложе, и в шутку звал Некрасова «Виссарионыч», отношения были самые лучшие и внимание быстрое, полное.

Некрасов оттенил ему: надо выразиться так, что коалиционное правительство, естественно, продолжает общедемократическую программу прежнего правительства, а не порывает с ним. Так будет устойчивее.

Быстро согласовали.

И это значило: новое правительство родилось.

Правда, Церетели жаловался: в Исполкоме всё не решены кандидаты, всё неясно: сам он идти не хочет, и не набирается три кандидата от марксистов. От народников — есть три, но возник спор о министерстве земледелия: и Пешехонов претендует, он и дело знает, и Чернов, а он лидер партии, нельзя ему не уступить.

И сомневался: не будет ли осложнений с кадетами? Все уйдут — развал, — тогда какое ж коалиционное правительство? А останутся — будут тормозить общую программу?

Некрасов бодро видел и бодро ответил:

— Если уйдут — и чёрт с ними, я-то остаюсь. А если останутся, то будут, как Шингарёв, Мануйлов, погружены в одну свою ведомственную работу, и нам ни в чём не помешают.

ДОКУМЕНТЫ — 23

3 мая — Утверждаю
мин. земледелия Шингарёв

ИНСТРУКЦИЯ о принудительном отчуждении хлеба

...у лиц, скрывающих запасы зерна или отказывающихся от добровольной сдачи, — местными продовольственными комитетами производится принудительное отчуждение хлеба, за вычетом необходимого для продовольствия и хозяйственных нужд владельца. Под хлебом разумеются также: просо, гречиха, чечевица, фасоль, горох, полба, кукуруза, мука, отруби, крупы и жмыхи.

Осуществление отчуждения продовольственные управы могут поручать лицам по своему выбору. Оно производится в присутствии местных властей и посторонних свидетелей. Неприбытие владельца не останавливает принудительного отчуждения. Расчёт производится по твёрдой цене... либо в половинной... Хлеб свозится на приёмные пункты за счёт платы, следуемой владельцу за хлеб.

Два месяца Александр Фёдорович гремел своими речами на всю страну. Но вот наступили дни: молчать и действовать.

Да собственно, всё уже совершилось помимо него, — присутствовал он на переговорах или нет (даже лучше и отсутствовал, чтоб не растекаться между двумя сторонами), молчал или добивал Милокова, — всё шло как надо, военное министерство верно плыло к нему в руки.

Да и кто другой мог сейчас: укрепить боевую силу демократизованной армии! и её способность к наступательным действиям! Разве такой мешок, как Гучков? Армии нужен — обожаемый вождь, кого она любила бы со всею страной вместе.

И такой был — единственный во всей России.

О, это будет грандиозное, чудесное преобразование всей картины! В Армию вольётся революционный наступательный пыл! — несравненный с прежним подневольным царским. (Воодушевлённая новым вождём, она, если понадобится, — дойдёт и до Берлина!)

О назначении Керенского всё открытее писали газеты — и вот уже суетливый Пуришкевич слал ему сентиментальную открытую телеграмму: «Когда власть не почёт, а бесконечно тяжёлый крест, я — правый по убеждениям и ваш будущий политический противник после войны, предлагаю услуги быть у вас чернорабочим в это ужасное время, когда Ленин и его единомышленники вырывают у народа плоды завоёванной свободы. Как сказал Кондорсе...» (Фразу из Кондорсе запомнить, употребить.)

В последние двое суток Керенский сделал некоторые шаги, чтобы его кандидатуру поддержала и Ставка, это важно. И сегодня утром два заместителя Гучкова, Новицкий и Филатьев, официально посетили Керенского в министерстве юстиции — *просить* его принять пост военного министра, заверяя, что все Главнокомандующие (они сегодня приезжают в Петроград) на это согласны.

Отлично. (Сами Новицкий и Филатьев заглядывали в глаза с надеждой, что останутся товарищами нового министра. Да выгодно тотчас! — неужели оставлю кого-нибудь гучковского? Ясно, что брать Туманова и Якубовича, — и прогрессивны, и умело под-

держали в эти дни.) И сегодня же принимать министерство, не ожидая конца безалаберных общих переговоров.

Но такова природа жизни и человека, что наши желания обычно превосходят предлагаемое нам. Военное министерство, да, шло в руки Керенского — но этого было мало ему! Он желал принять — одновременно также и морское, никак не меньше, чем Гучков: уж стоять во главе вооружённых сил страны — так в с е х !

А как он поднимет флот! Да разве при нём в Кронштадте возможны будут какие-то беспорядки?

Но здесь во всех головах, и досадно, что в исполкомских, — содалось раздвоение, распадение. Ложное представление, что отныне военное и морское министерства должны быть разделены, коль скоро нет единого специалиста, а для торга нужно иметь больше портфелей.

И не только мыслили так в общем виде, но уже и конкретно предлагали в морского министра то Колчака, а то даже, смех выговорить: Скобелева, дурачка.

Но уже несколько шагов для создания коалиции Керенский предпринял в Исполнительном Комитете, и вот этот ещё новый был ему неудобен. Да и плохое начало: самому просить у Исполкома себе пост. Пусть — просят они.

И сегодня утром мелькнула у Александра Фёдоровича гениальная идея: установил, с какого часа в Адмиралтействе заседает комиссия Савича (морская поливановская), — и в сопровождении своих двух офицеров-адъютантов (давно уже всё у него на военный лад!) — ринулся туда!

И — молненно по этим лестницам, залам, где отсиживался Хабалов в последние часы. И — клином, адъютанты за плечами, ворвался в заседание ошеломлённой комиссии (там и простые матросы сидят, на это он и рассчитывал):

— Товарищи! Временное Правительство сейчас пересоставляется. Я буду — военным министром. Выбираете ли вы меня — морским?

Раздались голоса, что — да... Да. Да!

— А если да — то пошлите сейчас делегацию в Исполнительный Комитет Совета рабочих депутатов и подтвердите ваш выбор!

И так это было отчеканено, так щедро был им предложен этот дар, — комиссия согласилась и начала выбор делегации.

А Александр Фёдорович уже покачивался спиной на подушках своего автомобиля.

Он вот в чём нуждался теперь: поспешить публично выразить свою программу — раньше всех, и даже пока правительство ещё не создано — и чтоб она завтра же была в газетах. Где-нибудь, где-нибудь выступить! — где бы? Никакого крупного заседания, митинга нигде не было сегодня. Опять в совещание фронтовых делегатов? — второй раз не годится. Но сообразил: при военном министерстве происходит соединённое заседание поливановской комиссии и комиссии по пересмотру военно-судебных уставов. Человек 70-80 наберётся. Отлично, вот там! Уже распорядился послать туда стенографисток, дал знать корреспондентам. И вот — уже поехал. Бурно встречен. И вот уже выступает с речью:

— Мне кажется, что в военной среде мне незачем объяснять, что не существует «русского фронта», а только союзный. Германия, братаясь на нашем фронте, смогла остановить французское наступление. Так что, искренно стремясь приблизить мир, мы его отдалили. Мы усилили в Германии не демократические слои, а бюрократию. Германский министр иностранных дел сказал: «Россия вышла из международного оборота, мы с ней больше не считаемся».

Стенографистки, корреспонденты строчили.

— Промедление часа — смерти подобно! Государство в опасности — в буквальном смысле! Мы имеем право не только просить, но требовать, чтобы каждый, кто считает себя русским, — горло дрожало от волнения, он никогда не говорил так, всегда о социализме, — каждый, кто считает себя русским, забыл бы о себе во имя государства! Все наши идеалы демократии сделаются сказкой, если мы сейчас не сумеем отстоять то, что получили. Такого свободного демократического строя, как сейчас в России, — не имеет ни одно государство мира. Но мы не можем выскочить на двести лет вперёд всей Европы. И даже борьба классов невысказана, если нет той площади, на которой каждый может свободно развивать свои силы.

Вот э т о последнее — для большевиков, должны ж они услышать и очнуться! Тут и немного подправить свою неудачную речь о «рабах», за которую так хвалит буржуазия и так упрекают товарищи:

— И вот мы должны устроить и закрепить эту территорию будущих внутренних, так сказать, военных действий. А иначе — мы

все погибнем. Только наивные мечтатели могут думать, что слабая Россия получит больше, чем сильная.

Он потерял ощущение, перед какой узкой комиссией говорит, — он говорил передо всей Россией.

— Защищать то, что нам дали предки и что мы должны отдать потомкам, — это элементарная обязанность. Сейчас мы держим экзамен не только на мудрость, но на первобытную честность, чтобы будущие поколения не сказали, что в 1917 году в России жили люди, которые размотали, расточили наследство, не им принадлежащее, добытое потом и кровью.

Даже заплакать хотелось самому — так верно наконец он нашёл и выразил! Ну пора же, пора же нам всем очнуться и понять!

— Теперь, после нового напряжения народного разума и мудрости, будет создано правительство, которому надо подчиняться не за страх, а за совесть! Временное правительство за два месяца ни разу не применило физической силы. В апрельские дни оно отдало только один приказ командующему: если вооружённые люди пройдут в залу, где мы заседаем, — то и тут никакой вооружённой силы не применять! — (Он и не был в тех заседаниях, но как красиво! как щемит! Это войдёт в хрестоматии Российской Революции!) — Мы сказали: мы хотим лучше умереть, чем опозорить себя применением физической силы!

Вырвались чьи-то голоса:

— Верно!

Верно — но и неверно! При обновлённом правительстве:

— Каждый из нас должен признать: раз государство не может существовать без власти — то власти надо оказывать уважение. — Постреливал глазами в сторону корреспондентов: — Пусть никто не думает, что во Временном правительстве кто-нибудь цепляется за власть. Но в стране не может быть состояния полувласти. Теперь — мы выплываем весьма благополучно. В ближайшие дни Временное правительство воскреснет — и мы со спокойным духом и с силой разума сумеем не только нагнать, что мы упустили, — (особенно в военном ведомстве, армии, флоте!) — но мы сделаем больше, чем вы имеете право от нас ожидать!

Это «больше» вырвалось как бомба из груди и разорвалось перед глазами. Сильно аплодировали. Но Керенский спешил уйти. Он спешил — на Виндавский вокзал, встречать приезжающих Главнокомандующих. А почему бы нет? Ещё не назначен? — формальность, он уже их предводитель.

Но в чём он их опережал: от брата жены, Барановского, подполковника при Ставке, он уже имел слух, что из четырёх Главнокомандующих двое вот-вот подадут в отставку, Гурко первый.

И надо было только пройти скорей всю процедуру назначения министром, при содействии этих Главнокомандующих, — и первым же приказом запретить им всякую отставку!

А то ведь — разбегутся...

Ехал в автомобиле, думал: а ещё бы дня два в министерстве юстиции — закончить реформу Сената? Безсмертно!

А царскоесельский дворец и узников — опять увести из юстиции в военное министерство. Оставить за собой.

160

Нет, ни на что хорошее не надеялся генерал Гурко на подъезде к Петрограду.

На Виндавском вокзале Главнокомандующих встречал почётный караул лейб-гвардии Егерского полка. Корнилов, уже не в должности. Заместители Гучкова — Новицкий (известный болтун) и Филатьев (рохля). А кроме них — ...Керенский.

Уже?

В полувоенной фуражке, в полувоенном пальто. И очень старался держаться строго-военно. А глаза бегали, и самого его чуть не подкидывало от важности и гордости.

Несмотря на «смирно», солдаты почётного караула стояли вольно, высовывались посмотреть. На приветствие Алексеева ответили вяло.

Алексеев пошёл вдоль строя караула — и Керенский было дёрнулся с ним, — но увидел, что Главнокомандующие остаются. Остался.

Не потеря Гучков, не приобретение и Керенский.

Церемониальным маршем караул прошёл небрежно, как бы из снисхождения к генералам.

Пошли рассаживаться в автомобили.

Рядом с Гурко оказался Корнилов.

— Ну, как тут? — спросил Гурко.

Корнилов ответил несколькими фразами. И всё подтвердилось до дна.

Филатьев сообщил новость, впрочем, она сегодня и во всех газетах: у коменданта Кронштадтской крепости при его поездке в Петроград пропал портфель с важными бумагами и чертежами.

Ну, чёрт! Ну, одно лучше другого.

А привезли их не в какое официальное учреждение и не в Мариинский дворец — а на квартиру князя Львова, почему-то правительство забилось сюда. И тут оказались министры не в полном составе, да рассеянные, растерянные, возбуждённые переговорами о коалиции, совсем, совсем не готовые разговаривать с Главкомандующими о военных делах, — хотя князь Львов радушно, любезно приглашал рассаживаться в гостиной.

И прав был Гурко, что нечего Главкомандующим ехать в Петроград — не только не время, а просто — незачем.

Хотя и вообще невозможно представить: а что же именно делать? Спасти Армию без сотрясения правительства и всего нового порядка — уже невозможно.

Но и быть соучастником гибели Армии — непереносимо.

Но и подавать в отставку — бегство, нечестно.

Что-то не видно было Милюкова, Шингарёва, ещё кого-то. Да всего, наверно, полправительства только и было тут.

И неуместное, неподготовленное заседание начали в четвёртом часу пополудни. И видно, что министрам не очень сиделось, — слушали из вежливости.

Правда, Алексеев свой доклад подготовил. На армию посыпались реформы как из рога изобилия, солдатские головы не успевают разобраться. Нельзя позволять безответственным лицам расшатывать армию, они легко издают «приказы», а армия не в состоянии усвоить, что исполнять, чего не исполнять. Офицеры слишком унижены. А офицер — такой же сын народа, и без него не может быть победы. С самого начала без всяких оснований был взят под подозрение и высший командный состав. Но демократических армий не бывает, и английская и французская мало отличаются от немецкой и австрийской, — везде иерархия, везде безпрекословное подчинение младших старшим. Нашу армию разъедает пропаганда немедленного мира, братание, модная и утопическая формула «без аннексий и контрибуций», значения и смысла которой солдаты понять не способны, да и сами авторы разбираются плохо. Надо, чтобы само правительство яснее формулировало задачи. Ар-

мия страдает от неопределённости правительственной политики, от колебаний власти, от анархии в тылу. Дальнейшая пассивность фронта грозит ему провалом. К пассивной обороне прибегает тот, кто считает себя разбитым. А на самом деле при нынешнем снаряжении и при здоровой армии мы могли бы в этом году придушить Германию.

Всё — так. Но кто же более всех виноват, если не сам тихоня Алексеев? В ранние мартовские дни вся эта революция была в его руках — и он всех этих птиц выпустил из мешка, а теперь пойдй их лови. Да и весь потом март, да и весь апрель — он первый, кто должен был упереться и стать первым препятствием развалу. Хотя б и пост потерять, ничего.

А министры слушали рассеянно, не захваченно, князь Львов расслабленно. Только очень подтянутые сидели Керенский и Некрасов и что-то по временам записывали на коленях.

Ещё повозмущался Алексеев «декларацией прав солдата», — и почему нет прав офицера, и ликвидируется весь дисциплинарный устав, и не новые права надо солдату давать, а напомнить о его обязанностях.

Но, высказав это всё и видя невоодушевление правительства, смиренный Алексеев как бы испугался, что наговорил слишком много дурного, — и начал замазывать и успокаивать. Что отказ от наступления — не всеобщий, лишь отдельные большие корпуса и дивизии. Что намечаются и признаки выздоровления, угар всё же и проходит. Положение тяжёлое, но небезнадёжное. Отношения между солдатами и офицерами всё же налаживаются, хотя много предстоит ещё сделать. Снабжение становится более благоприятным. Понижилась производительность заводов — однако и расход боеприпасов понизился пока...

Дипломат... Но не мог согнать с лица страдающе-жалкого выражения.

— И вот мы прибыли, чтобы просить правительство посодействовать тому, чтобы армия поскорей пережила кризис от этих реформ, расстроивших нашу внутреннюю жизнь.

И этот тон Верховного, уже явно теплее принятый министрами, — тотчас же перехватил Брусилов. Он уже щёлкал шпорами, представляясь Керенскому на вокзале. Он уже сюда ехал в одном автомобиле с Керенским и оживлённо с ним говорил. И зорко поглядывал на него весь доклад Алексеева, и поводил свою сухую

подвижную голову с почти облезлыми волосами, следил по лицам других министров. Генштабисты, которые все сплошь не любили Брусилова, отчасти по несправедливому кастовому презрению, что тот не кончал Академии, звали его то «берейтором», то «лошадиной мордой», но самое меткое было — Главколис. И сейчас, как никогда, Брусилов оправдывал эту кличку.

Сам Гурко, командовав Особой армией на брусиловском фронте, и на 10 лет моложе, сумел так твёрдо и неподчинённо себя поставить, что Брусилов никогда ему не приказывал, а всегда лишь советовался. Проник Гурко и в его главколисые, и в не слишком большую вдумчивость, и в манеру пускать пыль в глаза начальству.

И сейчас, в коротком выступлении, и всё время взглядывая на Керенского, такого ж небольшого роста, сухонького и гололицего, как он сам, Брусилов тоже говорил о выздоровлении, есть, мол, отрезвляющие признаки; конечно, наши планы зависят от настроения войск, но как только будет у нас боевой успех, то патриотизм охватит всю Россию.

И министры были очень довольны, Львов осветился, а Керенский просто сверкал глазами.

Корнилов сидел — глаза узкие, тёмный, как древнее восточное изваяние.

Самый молодой из Главкомандующих и лишь недавно назначенный, Драгомиров тем более поддался этому тону: наиболее острый период в настроении солдат проходит; есть основание думать, что брожение уляжется, с помощью трезвых и сознательных элементов мы поднимем настроение войск и сумеем повести их к победе.

Щербачёв не преминул пожаловаться, как он уже и публично жаловался, и по пути, — на самовольное освобождение войсками из тюрьмы крайнего революционера Раковского, и он теперь разъезжает свободно по России, и чуть ли не сегодня беспрепятственно в Петроград. Но так будет шайкам недолго и нетрудно свергнуть и румынского короля?

Приходилось и Гурко высказаться коротко, да он и не собирался долго.

— Революция есть болезнь. Как всякая болезнь, она идёт иногда быстрее, иногда медленнее. Но самое опасное в болезнях — это рецидивы. Мы надеялись, что она пойдёт на спад, — но нет, не пошла. И надо принимать серьёзные меры, чтобы не было реци-

дивов. А это зависит от *тех*, у кого большое влияние на массы. Война и политика — в войсках несоединимы. Нельзя одновременно кричать «ура» в атаке и опускать бюллетени в урну. Последнее воззвание Совета к армии, правда, полезно и даёт некоторую надежду. Но написано трудным, нерусским языком, совсем не для солдат. Наш долг — ничего не скрывать перед теми, кто ответственно *или безответственно* правит страной. — И грозно смотрел. — Наша обязанность — говорить им правду, только правду и всю правду.

Тут Керенский живо зашевелился и сказал:

— Я согласен, что надо говорить правду, и только правду, — но не всю правду! Из тактических соображений. Потому что полная правда может стать орудием... в нежелательных руках.

Гурко подивился его живости. А что, может быть, он и неглуп.

На десерт выступил князь Львов. Мягко возражал Алексееву, что осуждать политические права солдат и выборное начало в общем виде — есть доктринёрство, остатки отживших традиций. А жизнь требует от нас — творчества. Нужно — выяснять истинный смысл и солдатских прав, и выборного начала. Зато армия теперь — не защитница угнетения, а защитница свободы. Нам потребно кристаллизованное сознание наших целей. А зато мы устраним тёмные стороны армейского быта.

Ну, понёс. Ну-ну, устраняйте.

Он, может быть, и дальше бы говорил, но министры то и дело поглядывали на часы. Им надо продолжать переговоры о коалиции. (А оттого, что министры меняются, — да не пойдёт ли дело ещё хуже?) А вот что: завтра днём соберёмся-ка вместе с членами Исполнительного Комитета Совета — и вот им вы ещё раз выскажете армейские нужды и соображения.

ДОКУМЕНТЫ — 24

ИЗ «ВОЕННЫХ ВОСПОМИНАНИЙ» ГЕНЕРАЛА ЛЮДЕНДОРФА

...Если бы русские наступали против нас хотя бы с небольшим успехом в апреле — мае (н. ст.) 1917, мы попали бы в необычайно тяжелую борьбу... Когда теперь, оглядываясь, я переносу русский успех с июля на апрель-май, то едва ли знаю, как Верховное командование справилось бы с положением. В апреле и мае 1917, несмотря на наши победы на Эне и в Шампани, только русская революция оберегла нас от худшего.

161

Мертво тянулся домой. Снова будет сейчас это искажённо-отвлечённое лицо. Или ещё какая-нибудь обвинительная бумага.

Да разве всякая семья рушится, где такое случилось? При взаимном снисхождении, при доброй воле...

Алина встретила его снаружи, у порога, — ровная, с торжественно-загадочным выражением. И — не внутрь флигеля, а повела его мимо клумбы, где цветы посадила, ещё несколько шагов. И остановилась у какой-то ещё новой клумбы, её не было, — формы скошенного прямоугольника, середина возвышена и взрыхлена, а по краям вокруг обложена галькой.

И одну руку протянула перед собою вниз:

— Это — твоя могила.

С испугом посмотрел на неё.

Правда, форма могилы.

Она не шутила. Она стояла ровно, бледная, присмежив глаза:

— Это будет могила моего Жоржика, который меня любил. Отныне он для меня умер. Знаешь, многие предпочитают не видеть покойника, а чтоб он оставался в их памяти живой. Я буду приходить сюда, сидеть и вспоминать...

— Ну это уж... ты знаешь...

Нет, она не помешалась. Ему вдруг стало скучно-скучно. Скучно.

Близко тут — была единственная в садике скамья. И Алина — села на неё. Торжественно. Ритуально. Вовсе не собираясь ни что-нибудь ещё пояснить, ни уходить.

Глупо. И не оставишь её так.

Стоял.

Солнце грело — а не жарило. Разнимающая весенняя теплота. Ни ветерка. Деревца ещё не давали тени. Чирикали, возились птички в ветвях. Перепархивала белая бабочка.

Молчала, не добавляя больше ничего. Смотрела даже умилённо.

Он не находил, что ей сказать, это — уже было за всеми пределами.

И промолчать нельзя.

Так молчание и сковало их.

Не прежде погибло всё, а вот сейчас, в этой тягомотине, погибало.

Неслышно пробившаяся травка уже сильно зеленела там, здесь.

Какая-то козявка всползла на головку его сапога и ползла, ползла выше, уже до верха голенища. Георгий наклонился, смахнул её назад, в траву.

Ещё молча, в этой мирной тишине и тепле, Алина — сидя, он — стоя. Уже думал и просто молча уйти.

И вдруг — Алина сказала неожиданно:

— А может, мне съездить в Москву, развеяться?

Какая счастливая мысль! Какое облегчение сразу! И правда, может вся эта болезнь и развеется сама. И хоть малый кусок жизни — без выслушивания упрёков, без сопереживаний. Стараясь не выдать радости:

— А что? Неплохая мысль. Может, сразу тебе и легче станет.

— Должно же случиться чудо! — сказала Алина с надеждой, и глаза её стали светлы. — И я — выздоровлю. И снова обрету право на жизнь!

— Дай Бог, дай Бог. Конечно поезжай.

— Мне нужна осмысленность жизни! Если ты не в состоянии мне её дать... — Но взглядываясь с тревогой: — Но ты же не разлюбил меня совсем? Ты — хоть на мизинчик меня любишь?

Схмурила лоб и отмерила, показала часть мизинца.

Мучительная, пила по нервам, — и почему-то своя.

162

Не приедет? Этой весной не приедет?..

В начале мая наши ночи уже так заметно белеют. Зоренька — и Зоренька...

Мне без вас и весна эта не нужна.

А вы — позовите меня! — я лёгкая. Я приеду куда угодно, хоть в Астрахань!

У вас на Волге стало худо — а в Петербурге стреляют. Всё как-то закачалось, ненадёжно. И грозят голодом.

Затащили меня на концерт Вергинского — а он по-прежнему в костюме Пьеро, и по-прежнему:

Где вы теперь, кто вам целует пальцы?
Куда ушёл ваш китайчонок Ли?

И публика аплодирует, и летят цветы из зала. Как ничто не изменилось.

Что же с нами будет? В этих бурях я боюсь и совсем потерять к вам последнюю ниточку.

Ой, не кончится это всё добром. Это — худо кончится...

163

Они называли себя ЦК — потому что у всех революционных партий был ЦК, почти всегда подпольный, страшный и кровавый. А кадетам чужи были эти все атрибуты, однако для солидности и они, уже много лет тому, завели ЦК — и принимали на нём важные партийные решения.

Но, может быть, никогда такое важное, как сегодня.

И вот они собрались, три десятка лидеров, в небольшом лепном зале второго этажа своего прелестного особняка на Французской набережной, почти посередине между Троицким и Литейным мостом. Через цельностекловые зеркальные высокие окна перед ними текла Нева — сегодня безжалостного стального цвета и взрыбленная порывистым ещё холодным ветром. И солнце не блесло по ней, зайдя уже позади дома. Иногда проносились катера, покачивались лодки, проплывали невысокие баржи, пропускаемые мостами без развода.

Левей за Невой — желтела Петропавловка. А прямо напротив начинался исток Большой Невки, отчего невяская стихия казалась ещё шире.

Предстоящий сегодня диспут выходил далеко за личную судьбу Милюкова и других министров-кадетов. И даже за судьбы всей кадетской партии. Да в сквозной исторической ретроспективе-перспективе — это была судьба всей российской интеллигенции и всего российского Освободительного Движения за сто лет.

Но коллеги Павла Николаевича этого не понимали. А некоторые так и думали, что тут — всего лишь личная амбиция его.

Смысл предстоящего решения ЦК кадетов был: сохранимся ли мы как духовные руководители разбереженной России — или навсегда потеряем право на это руководство. А сложность, почти не объяснимая коллегам: для того чтоб это руководство оставить за собой — надо сейчас отказаться от всякого участия в правительстве. Сейчас уйти — это и значит: резервировать за собой будущее. Коалиция с социалистами — всякая сейчас обречена, только затяжка агонии. Надо быть готовым — к стоянью *извне* этой призрачной власти.

Но прямо вот так всё и сформулировать — никак было нельзя, не наберёшь голосов.

Председатель ЦК, как и вождь партии, был Милюков, товарищем его — Винавер. Но сегодня Милюков не вёл заседания, потому что был главной фигурой нынешнего раздора, да и предстояло ему дольше всех выступать. Вёл заседание Винавер, он и начал прения.

Прения могли ещё двояко развиваться, дать перевес туда или сюда, но они двое пришли на заседание с уже ясным решением для себя. Им двоим были известны и все подробности переговоров. Сегодня утром Винавер с Набоковым уговаривать Милюкова приезжали к нему домой, и был ещё долгий и откровенный разговор, и Милюков выражался в конце концов, как не бывает у него, безо всякой риторической брони, без охранительной связи фраз, — и открылось до конца, как же он обижен, ранен, и не согласится ни за что и ни на что. Но тем более Винавер и Набоков испытывали свою ответственность выправить партийную позицию и спасти партию.

И хорошо всё обдумав, и найдя точные формулировки, со всей адвокатской опытностью десятилетий, Максим Моисеевич повёл сейчас своё первое выступление.

В нашей среде — колебания, и отнюдь не по личным соображениям. Мы стоим на пороге самого принципиального вопроса: успешна ли будет новая предлагаемая правительственная комбинация и участвовать ли нам в ней. И нам нужно разрешить его так, чтобы партия наша по-прежнему осталась бы хранительницей добытой народом свободы. Собственно, наш выбор: уйти ли из правительства? — и, будем последовательны (тут он клонил весы): значит обезсилить его, развалить, либо полностью отдать социалистам. Альтернатива: при уходе Павла Николаевича — другим членам партии остаться в коалиционном правительстве и укреп-

лять его всеми силами. При нашем решении надо всё время помнить, что каждый лишний час кризиса власти в геометрической прогрессии увеличивает опасность положения страны и обезценивает те средства, которые ещё час назад могли бы помочь. После апрельского кризиса каждый случай анархии воспринимается ещё тревожней. Всякое решение должно быть такое, чтобы правительство могло без перерыва и упадка сил продолжать исполнять свои обязанности. (Снова клонил.) Чтобы не прерывалось органическое творчество.

Но не упустим, что *все* политические течения в стране, кроме анархо-ленинских, сейчас требуют коалиционного правительства. И нельзя не радоваться, что правительство и Совет рабочих депутатов пришли наконец к соглашению. Если б это не произошло — могла разразиться гражданская война. Это справедливо, что активным силам революции предоставляется место в правительстве и они разделят ответственность власти. Не забудем, что и социалисты приносят жертву: ведь они не хотели входить в правительство. (Жертву! — он это подчеркнул. Нельзя чувствовать одних себя.) Теперь — они отказываются от части своих взглядов. Должны и мы принести жертву и отказаться от части своих. (Он прямо уже указывал.) Надо рассматривать коалицию не как поворот правительства влево, а лишь как расширение состава и ответственности. Сейчас требуется общее в России единение, а разъединение только выгодно врагу. Надо укрепить авторитет власти и тем спасти Февральскую революцию. И только коалиционное правительство есть радикальное лечение — единая власть, с авторитетом и реальной силой принуждения. Только цензово-социалистический блок и может сейчас осуществить творческую работу по спасению отечества. И мы не должны отрываться от левых, это была бы роковая ошибка.

Возражают: а что же наши министры способны в таком правительстве сделать? Ответ: есть задачи более далёкие и более близкие. В далёких — да, мы расходимся с социалистическими элементами, но есть надежда сойтись на ближайших целях: полнота власти правительства, чтобы Совет не давал распоряжений типа правительственных актов, не распоряжался бы петроградским гарнизоном, помог бы принять насильственные меры против анархии, поддержал бы наступательные действия армии, как он уже это объявил, — и не нарушал бы наше тесное единство с союзниками. Чем же это не общая платформа?

А противоположный исход? *Самим* выйти из правительства, когда нас оттуда и не вытесняют? Губительная демонстрация разрыва. Когда анархия разрастается и бросают даже фразы, что страна «накануне гибели», — наш уход создаст благоприятную почву для контрреволюции. Вот о какой опасности мы не имеем права забыть: царская контрреволюция! Наше участие в правительстве и есть самое верное средство против неё.

Винавер — всё думал именно так. Но больше того: он тяготился своим вынужденным, мучительным бездействием эти два плодотворнейших месяца революции. Он настолько рвался к делу, что, пригласи его сейчас в министры, — он, может быть, решился бы идти и без партийной поддержки, как это вот делает Некрасов. (Уже не член ЦК, тот не был сегодня здесь.) Пока же — он хлопотал, чтоб осталась при деле руководства его партия, по сути — Шингарёв и Мануйлов, ибо Некрасов всё равно остаётся, Милюков всё равно уходит, а Набоков тоже уходит, считая, что при разбавленном составе министров его роль управляющего делами становится уже как бы лакейской. Всё — пока, пока — до Учредительного Собрания, где Винавер видел себя либо председателем, либо среди ведущих лидеров, каким был он в 1-й Думе, а Учредительное Собрание и будет повторением её. На минувшем, мартовском, съезде кадетов это Винавер и настоял: поставить в партийной программе республику вместо конституционной монархии. Надо безстрашно смотреть действительности в глаза и даже опережать её тенденции.

Небезпристрастно провёл свою речь Винавер — только в пользу своего решения. Павел Николаевич был к этому готов. Узнав неверность своих коллег по кабинету, — готов он был и к горечи от неверности своих давних кадетских друзей. Вот ближайшие двое сегодня так настойчиво уговаривали его дома: остаться в правительстве и принять портфель министра просвещения. Набоков измыслил такой выход: теперь использовать антимилюковский проект Керенского создать внутрикабинетское совещание по внешней политике и поставить условие, что Павел Николаевич будет членом такого совещания, и ясно, что самым влиятельным. Тогда останется в правительстве и Набоков, ещё мы поборемся. Видна была хлипкость такой надежды да и шаткость всех их доводов, Павел Николаевич долго, долго спорил с ними, не переубедил, и вдруг, измученный своим унижением, которого друзья как будто не видели, всё строя партийные аргументы, унижением, не

виданным и не предвиденным за всю его жизнь, — открылся под таким напором чувства, как никогда себе не разрешал: «Допустим, ваши доводы правильны. Но у меня внутренний голос, что я не должен поступить так. Когда у меня бывает хотя бы немотивированное, но такое ясное сознание необходимой линии поведения — я следую ему и не могу иначе».

Они изумились: никогда ни в чём подобном не признавался несравненный логик, и даже близкие не могли предположить такую уступку эмоциям через всю фундаментальную обоснованность его взглядов и аргументов.

Но открылся — и замкнулся тут же. Это не значит, что решения своего Павел Николаевич не мог доказать строго рационально. Вот сейчас он поднимался это сделать. Если бы не ограничили регламентом, он мог методически изойти решительно все клетки проблемы, ни одной не минуя и каждую осветить до прозрачности. А в данном-то случае — всё было уже и говорено, и писано в передовицах «Речи», — и оставалось, по сути, только повторять.

«Коалиционное правительство» — это флаг, громкое слово вместо продуманного тезиса. Да это счастье было бы, если б оно помогло в нынешнем критическом положении. Дико и смешно представить, чтобы в этой безпримерной ситуации кто-либо сейчас мог бы цепляться за призрак власти. Современники — даже не отдают себе отчёт в размерах государственных задач сегодня.

Прежде всего, совершенно неправомечно тут ссылаться на формы парламентаризма. «Коалиционное министерство» — это парламентский опыт, союз партий, нашедших на время общую платформу, — и оно составляется по соотношению сил в парламенте. А наше Временное правительство — далеко не только исполнительная власть, не «министерство» в собственном смысле, и не опирается на парламент, — и парламентский опыт тут неприменим. Нынешняя ситуация гораздо сложнее, чем кажется сторонникам коалиционного министерства. Временное правительство создано не партией, а революцией, и программа ему продиктована самой революцией. А теперь хотят исходный состав правительства признать изжившей себя комбинацией? Но это извращение. В декларации 26 апреля сказано, что Временное правительство возобновит усилия к *расширению* своего состава путём привлечения активных творческих сил страны — а вовсе не к созданию нового правительства. Мы перед всей страной приняли обяза-

тельство довести её до Учредительного Собрания — и какая и зачем нам коалиция?

Придирки ко внешней политике — только повод. Вопрос упёрся вовсе не в проливы, а: нужна ли России вообще победа? Для овладения проливами не нужно никаких особенных от войны усилий: победа — значит и проливы, проливы — значит победа прежде. Союзники только скрепя сердце соглашались признать русский суверенитет над проливами. И я до последнего дня не давал повод им думать, что освобождаю их от обязательства о проливах. Я надеюсь, и мой преемник не сделает этой бессмыслицы. Если Россия откажется от перестройки Юго-Восточной Европы и Австро-Венгрии, то союзники — тем более, и всё это попадёт под влияние срединной Германской империи. И мы не получим длительного мира.

Затем: а какие у нас социалисты? Почти сплошь дефетисты. Как же можем мы войти с ними в коалицию? Если два месяца они считали себя неподготовленными к восприятию власти и вдруг в двое суток, между 28 апреля и 1 мая, изменили убеждения? — почему с той же быстротой и готовностью должны отозваться и мы?

Да много, много ещё мог бы сказать Павел Николаевич, если б ему дали другой час, и третий. (А всё равно, во весь рост проблемы — не скажешь, коллеги не подготовлены.) И о тех же проливах он мог бы прояснить не столько. И из тактичности он не хотел тут выставить самого прямолинейного довода: что есть же формальное решение мартовского партийного съезда: в случае вынужденной отставки одного из кадетских министров — выходят в отставку и все остальные. Да этого и представить иначе нельзя. (Но пусть об этом напомним другие. Сам он ушёл из правительства уже непоправимо.) Павел Николаевич не хотел бы говорить на уровне личном, а только — всеобщем. И он окончил такой энергичной тирадой:

— Если социалисты так созрели к государственному руководству — пусть они и создают своё правительство. Надо признать, что революция сошла с закономерных рельсов — и мы уже не в силах направлять её поступательный ход. Мы делаем тщетные усилия остановить этот процесс — но только замедляем и искажаем его. Это — не нужно. Пусть революционный процесс дойдёт до своего завершения. — (Пусть попробуют править без нас!) — Чем скорей революция себя исчерпает — тем лучше для России: в тем менее искаленном виде она выйдет из революции.

Мыслимо ли было кому-нибудь ещё недавно вообразить от него такие слова? Ему самому даже было отчасти знобко, какие роковые, далеко идущие мысли выговаривал он:

— Н а м не нужно больше связывать себя с революцией. А готовиться — для борьбы с ней. Не изнутри, а извне её.

Это была — истина, которую он в последние дни разглядел до дна. Но она — слишком далеко углублялась! Кадетский ЦК, десятилетние энтузиасты левого либерализма, — не могли принять этого сегодня и сразу! Лучшие политические умы страны были собраны сейчас в этой комнате. И они напрягались — однако не могли такого принять.

Отвечать безстрашному Милюкову ринулся князь Владимир Оболенский — из тех самых чистейших энтузиастов. Он волновался, как никогда ни в какой публичной избирательной речи, дыхание его перебивалось.

— ...Если партия народной свободы выйдет сейчас из правительства — правительство падёт, и это будет только во славу черносотенцам и ленинцам! И неужели мы дадим так ничтожно окончиться величественному столетнему ходу Освободительного Движения? Посмотрите на нас глазами Герцена! — подумайте, как Он бы решил за нас!? Если мы сейчас уйдём — то все жертвы, все усилия наших предшественников за век — упадут в ничтожество... А если мы останемся — мы укрепим правительство и спасём революцию. Да, конечно, наши министры никогда не держались за власть, а изнемогали под её бременем. Но тем более: отчего же не разделить её с теми, кто согласен делить ответственность? Хуже испытанного нами двоевластия — нет ничего! Ещё одно высшее, последнее усилие — и мы получим нужное правительство! Как это неверно — говорить пренебрежительно о социалистах, решившихся идти в правительство! Да, им нелегко далось это решение, они тоже приносят себя в жертву, но за два месяца они осознали, что другого выхода нет. А меньшевики — так и вполне разумны, и вполне могут быть нашими союзниками по установлению демократии.

— Меньшевики только прикрывают работу большевиков! — крикнули ему.

Но он не отринул:

— Совет рабочих депутатов разумно не поддаётся призывам захватить власть, как толкают его большевики, а идёт делить её, — и чем же мы недовольны? Отчего мы так упали духом? От анар-

хии? Как сказал Мирабо — революции не делаются при помощи розовой воды. Анархия — это бурный протест масс против старого порядка. Но ведь и мы — противники старого порядка. Только мы меньше пострадали от него, чем массы, — а для них пока нет другого пути к свободе, они так понимают. По существу действия народа — законны, а мы пугаемся лишь революционно-явочной формы их. Нельзя бороться против анархии одною лишь силой. Надо понять здоровое зерно смутных народных стремлений и отнестись к ним с любовным вниманием...

Но были тут ораторы и понеукротимее Оболенского. Фёдор Измайлович Родичев! — сокрушительный молот кадетского красноречия, — на какую чашку он бросит сейчас свою речь?..

Поднялся с грозным блеском, острота бородки и обещающая острота глаз через блестящее пенсне. И как выстрелил зарядом гнева:

— Но ведь это — трагедия!! Ведь Милюков был — символ верности русского народа союзникам! Что мы делаем? Почему мы уступаем? А взамен придут те, кто согласится на опозоренье России? Это будет уже не наша внешняя политика! Это уже будет акцент на скорейшем окончании войны любой ценой. А немцы пусть перебрасывают войска на Запад, позже расправятся и с нами. Давить на союзников, чтоб через две недели мир, — вот чего хотят социалисты. Чего стоит эта выработанная с ними вчерашняя декларация нового правительства? — это полная победа Совета и насилие над нами. Безмысленное «без аннексий и контрибуций» стоит там пунктом первым и как главная задача. Только что не немедленный пересмотр договоров, но «подготовка к новому соглашению» — это то же самое! В этом и смысл унижительной «личной перемены», на которую нас толкают: отказ России ото всех прав, которые обезпечены нам международными обязательствами. Но безопасность Чёрного моря и развитие русской торговли — это не империализм! Уход Павла Николаевича — это уже крушение единения с союзниками, — и такой исход мы считаем несчастнейшим днём нашей родины. Связь с союзниками нам сейчас нужна более чем когда-либо за эти три страшные года! Социалисты хотят не просто, чтобы Временное правительство честно выполняло договор с ними, — но служило бы всем их желаниям. Нет! Или пусть свои пути снимут — или правят сами! А быть на посылках — разве это достойно правительства великой России? Они — и сторонники коалиции — вы тянете Россию не только в бездну гибели, но

в бездну презрения! Социализм — вреден для такой отсталой страны, как Россия, достаточно было бы нам либеральной конституции. Хвалят Совет за новое воззвание к солдатам? Какой похвальный шаг! Но слишком поздно! Своими руками они развалили армию — и теперь уже не поможет их воззвание. Какой поворот сознания! — два месяца именно к этому призывали армию мы — так нас травили, нас громили из 12-дюймового орудия «Известий» как «буржуазию» и империалистов. А кто эти — «буржуи»? Все, кто носят чистый воротничок. Кто не добывает пропитания ручным трудом, новое название для интеллигенции. Если бы «буржуазия» были те, кто безмерно обогащается за счёт беспомощного народа. Нет, «буржуазия» — это мозг страны. Ругают «буржуазную» прессу, — а какая же подготовила революцию? «Буржуазное» — всё то, что не носит печати бессмысленного максимализма социальных фантастов. Левые газеты всё поносят «буржуа» да «буржуа», — а сочиняют эти строки такие же буржуа: с тёплыми квартирами, обедами из трёх блюд, с горничными, кухарками, летом дача. Но они — «товарищи». А ломовой извозчик, который непомерно дерёт за перевозку мебели, — это не буржуй? Нет!! Раз мы стали «буржуи» — то дело гиблое, и пусть они правят сами. Чего вы хотите? Ведь Россия была столетиями лишена элементов ума, знания, воли. И даже: Россия привыкла в своём несовершенстве видеть руку Промысла и свой особый путь. И вот эти варвары, одержимые духом разрушения, со сладострастием долгожданной мести уничтожают армию и ячейки государственного строя. У них нет ответственности за свои действия, они и нуждаются в разрушении: ведь народ не понимает идеи государства...

Категорически поправил пенсне. И категорически сел. Он, кажется, не докончил мысли? Или и так уже всё очень ясно?

Но нет. Рафинированный, всегда непрстой, несвободный от надмения, Набоков вступил немногословно и отчётливыми фразами.

Да, партия сейчас — в моменте величайшего испытания. После переживаний апрельского кризиса, когда неожиданно обнаружилось уродливо свирепое лицо анархии, в нас углубились сомнения, и тем более трудно нам решиться не отзывать министров с их постов. Но и не смеем мы забывать, что именно наша партия есть хранительница государственного начала, а без нас — свободе грозит гибель. Да и решается вопрос лишь на короткий период — до созыва Учредительного Собрания, и как же в такой

момент покинуть страну без руководства? Как не постараться изо всех сил продолжить начальный победный фазис революции? Затем: министры ныне становятся ответственны перед своими партиями, значит, мы можем их отозвать, если наша программа не будет выполняться, — и наше сегодняшнее решение вполне обратимо.

Всё же выразил надежду Набоков, что в министерстве иностранных дел не произойдёт катастрофы. (Не слишком лояльно это звучало по отношению к Милюкову.) А Совет сейчас и сам стал в уязвимое положение правительства, ему предстоят те же испытания. Кого же наказывать? Совет без нас и тем более не выведет Россию из омута бедствий, не удержит власть, не доведёт до Учредительного Собрания.

Из его уст тем убедительнее всё это звучало, что сам он не предполагал остаться. Он хотел оставить кадетов в правительстве не ради себя, а ради партии.

Милюков проводил его грустным взглядом. Ещё стоял у него в ушах надрывный вскрик Оболенского о Герцене. Именно Герцена — они и предавали сегодня. Не понимали. Не понимали, что вопрос — громаднее, чем сегодняшний уход-неуход из правительства. Да, решается столетний путь русской интеллигенции: носители мы духовного огня, или пусть его загасят варвары?

Между выступлениями подавали вне очереди реплики. И отвечали на них.

О чём у нас вообще спор, когда существует ясное решение мартовского съезда: это именно тот случай, когда все наши должны уйти. (Вот и сказали.)

Но с марта обстановка настолько сильно изменилась — съезд не мог того предусмотреть, ещё будет решать следующий съезд.

Который через неделю!

Но правительственный кризис не может ждать неделю.

Да, разруха не стоит на месте и благодаря всем дискуссиям только углубляется.

— Нет, о чём у нас идёт спор, когда после Кшесинской, Лейхтенбергского, Дурново — вообще нет ни собственности, ни закона? Завтра придёт молодец с дубиной и стянет тебя за ногу с кровати: «Прочь, я желаю тут лежать!» Власти — уже вообще нет. От правительства требуют, чтобы оно победило Гинденбурга, а не дают ему власти справиться с двумя десятками анархистов. Вдруг какой-то полк «выражает правительству негодование» — и счита-

ет себя свободным от присяги! Присяга — как калоша на ноге, хочу — ношу, хочу — сброшу. Или эти енисейские герои: «Назначите к нам власть только через наши трупы!» А где они были при Николае? Что-то мы их не слышали.

В декларации нового правительства — настолько общие слова, что в них можно вкладывать самое разнообразное содержание — и это может разорвать коалицию.

Так вот тогда мы и определим своё отношение.

А собственно: мы обсуждаем судьбу только Андрея Ивановича и Александра Аполлоновича? Это и весь спор? Павел Николаевич всё равно ушёл, а Николай Виссарионович всё равно остаётся.

— Но мы будем настаивать на принятии наших двух новых членов, очевидно Дмитрия Ивановича и Фёдора Фёдоровича.

— А кроме того, вполне вероятен и возврат Павла Николаевича через короткое время...

Поймите: то, что происходит сейчас, это борьба либерализма и социализма! Это — порог!

Нет, это трафарет, будто идёт классовая борьба. Это, скорее, борьба эволюционного и революционного темперамента.

Неверно другое: когда выделяют какую-то «трудовую демократию», а нашу партию ставят вообще вне демократии. Мы-то и есть истинные демократы.

Беда в том, что сейчас демократия — вне политической организованности общества, народ расплён. Безпартийные не совершают политической работы, а сейчас самая главная работа — именно политическая. Русский обыватель не вступает в партии из-за личных неудобств. Задача: превратить толпу взбунтовавшихся рабов в организованное общество свободных граждан!

— И мы должны усилить политическую пропаганду в крестьянстве, чего у нас совсем нет.

— Но эти новые силы, вступающие во Временное правительство, — они же совсем не испытаны на государственной работе. Сумеют ли они укрепить государственные начала?

— Наверняка провалят! — присудил Родичев.

— Так вот именно поэтому! — всё настаивал Винавер. — Чем больше риск эксперимента, тем важнее нам остаться в правительстве, чтобы придать ему стабильность! Наша маленькая горсточка как раз и выдерживает тяжесть исторической ответственности — и мы от неё не смеем уйти.

Разных были мнений, что делать, но общее настроение горькое.

Кто-то сослался на опыт жирондистов. А параллель-то невесёлая.

Графиня Софья Владимировна Панина, долго молчавшая, сказала:

— Все эти принципы нам надо было отстаивать на мартовском съезде, вместо нашего безмерного ликования тогда. Не надо было давать революции так ломить через нас.

Их две было, женщины, здесь, ещё пышноволосяя Ариадна Владимировна Тыркова. Эта грустно засмеялась;

— Хочу поделиться с вами немаловажным воспоминанием. Раз в Женеве, ещё до Пятого года, так случилось, что Ленин провожал меня до трамвая. И совершенно убеждённо сказал: «Вот погодите, придёт время — будем таких, как вы, либералов на фонарях вешать».

Не выступал сегодня и мало говорил Василий Алексеевич Макалов. Отчуждённо ли он уже себя чувствовал? — ибо шли разговоры, что Терещенко назначит его послом во Францию. (И странно, что его, оставшегося без поста, не назначил так свой кадетский лидер.) Печально посматривал неотразимыми тёмными глазами, проговорил:

— Наш строй начинает страшным образом напоминать царский режим. Как тот уступал требованиям времени неохотно, по унциям, так и наш. И кажется, все понимаем опасности, а плетём туда же.

Нельзя было понять, в каком это смысле: будет ли он голосовать за или против.

Шингарёв на заседании молчал: он был — объект рассмотрения. Но в перерывах, когда расходились по комнатам, Андрей Иванович сжимал голову, нервно ходил из угла в угол:

— Нет, это невозможно! В такую страшную для России минуту как же мы смеем отказываться от ответственности? умыть руки и отойти в сторону? Нет, моя совесть не позволяет мне следовать за Павлом Николаевичем.

Часы шли, солнце уже засвечивало слева по Неве. А всё такой же тревожный сухой ветер ходил по ней. Открывали большие форточки — холодно, закрывали.

Лысый, прищуренный за очёчками, методический и скучный Гессен построил речь на том, что общая политика партии Народ-

ной Свободы, как бы ни клеветали на неё, — не буржуазная, а внеклассовая, она всегда поддерживала основные народные требования о земле, о 8-часовом рабочем дне, а потому во многом совпадает с политикой социалистов, в одном объёме с ними признаёт гражданские и политические свободы, одинаково с ними относится к анархии, да и к пораженчеству: они вовсе не сплошь дефетисты, как утверждает Павел Николаевич. Расхождения у нас только с теми социалистами, которые отказываются от общего избирательного права в пользу диктатуры одного класса, что совершенно противоречит демократии.

— Конечно, — признался Иосиф Владимирович, — Россия сейчас управляется не демократией, а революционной олигархией, революционной аристократией. На народных собраниях теперь часто господствуют политическая ложь и политические интриги. А нам нужна демократическая закономерность. Но есть надежда, что нынешнее большинство Совета склоняется к закономерной демократии. Всё-таки государственное сознание у них быстро растёт.

Ему возразили: одна правящая каста ушла, а новая применяет те же приёмы.

За коалицию выступил и князь Дмитрий Иванович Шаховской, худой, поленобородый, с постоянно удивлёнными круглыми глазами. Он настаивал, что вступление левых в правительство — это приобретение, и очень важно, что они вступают как представители своих партий. Нельзя ждать Учредительного Собрания, надо пользоваться случаем, что создаётся коалиционное правительство по партийному принципу.

— Но можно ли установить такую власть на пороховом погребе? — усмехнулся Маклаков.

Кокошкин сидел больной, не выступал.

Но пошла черед ораторов — сплошь за коалицию: князь Павел Дмитриевич Долгоруков, Моисей Сергеевич Аджемов, Давид Давидович Гримм, Николай Михайлович Кишкин — а им только открывалось единое мнение кадетов-москвичей и кадетов-провинциалов: конечно за коалицию, она рисовалась им единственной и последней надеждой.

Да, признавал неистощимый комиссар Москвы: положение тревожное, но бывает тревога, ведущая к отчаянию, а бывает тревога, укрепляющая веру. Кишкин — верил.

Мануйлов считал, что все тревоги вознаградятся, если создастся правительство с полнотой власти.

Милюков сидел каменный. Он уже видел, что дело проиграно, — и даже с его упорством не повернуть их. Возвращённая им головка партии уплывала из-под его руки. Личная обида так рано и беспомощно потерять свой прирождённый министерский пост — расширялась и дальше: это была утеря руководства партией.

Но ещё больше и ещё непоправимей: вот кадетская партия, партия российской духовной элиты, предавала те миллионы своих приверженцев по стране, которые только что громом негодования отозвались на петроградские уличные волнения. Столько сторонников! — и не опереться на них? и не попытаться бороться? Вялые, слабые души. И сердце хотело — уже не для победы — чтобы ещё кто-нибудь, выразительно и хлётко, поддержал его точку зрения.

Теперь слово взял князь Евгений Николаевич Трубецкой — всегда яснолюбый, но более устремлённый вглубь себя, а потому рассеянный. И вдруг:

— Павлу Николаевичу мы не можем сделать ни одного упрёка. Его линия поведения от начала до конца — наша. Потому и пришлось ему уйти от власти, что он был верен нашим заветам. Его отставка была безукоризненно правильна: не мог он оставаться министром, когда нарушены наши идеалы. Когда-нибудь народные массы поймут, что они были обмануты мнимыми народными друзьями, демагогами, которые утверждали, что проливы нужны для каких-то капиталистов. А мы — были правы, и не несём перед народом ответственности за измену народному делу. Милюков — спас честь своей партии.

Никак не сентиментален, не чувствителен был Павел Николаевич отроду и посегодня, но даже зашипало в горле у него, как хорошо сказал князь. От него вообще никогда не знаешь, чего ожидать.

И действительно — не знаешь, Трубецкой тут же и повернул — политически, кажется, нелогично:

— Однако это совсем не значит для нас, остальных, что мы имеем право уклониться от ответственности за эвентуальный поворот во внешней политике сегодня. Не значит, что в нынешнюю критическую минуту наша партия может позволить себе уйти от власти. Безконечно парадоксально нынешнее положение — и па-

радоксален же правильный выход из него. Ведь мы — перед лицом анархии, и наш теперь уход означал бы, что мы не находим средств борьбы с ней. Какая атмосфера возникла бы в стране! Это было бы отречением от России.

Он всё более увлекался и, может быть, терял ощущение присутствующих, собрания, повода?

— Кажется, наступил тот момент, когда русским людям надо напомнить о России, мы положительно забываем о ней. Освободившись от гнёта царизма, мы потеряли и чувство фактов. Шум в головах, сумбур. Историческое чутьё заглохло, будто в огне революции сгорели не только полицейские участки, но и вся русская история. Кто против буржуазии, кто против Ленина, — а как плести ткань будущей России? Россия — выше партий, и её судьба важнее партийных программ.

Тут Ариадна Тыркова серебристо сдержала:

— Помните Достоевского? — «как их Гамбетте, им сначала республика, а потом уже отечество»?

А Трубецкой не упустил политической нити и того решения, к которому вёл вопреки своему началу:

— Партийная борьба хороша в нормальных условиях, а сейчас для России нужно объединение внепартийное. Россия может быть выведена из грозной опасности только твёрдой волей и единодушными усилиями всех. Под сомнение поставлена независимость и вся будущность России — и гражданская ответственность лежит на каждом. Никто не смеет быть безучастным! А соединение наших усилий с социалистами — даст всеокрушающую силу. Великое дело народа может быть завершено только на основе соглашения всех партий! Да, это наша великая жертва, что мы остаёмся в правительстве. Но — и проба нашего мужества, патриотизма и сознания ответственности перед страной.

Он был напряжённо бледен.

И эта речь с её неожиданным началом и ещё более неожиданным поворотом — кажется, закрепляла решение ЦК, ещё не проголосованное.

Винавер сдержанно торжествовал. Стараясь всё же не нарушать председательской безпристрастности, он, однако, аккуратными промежуточными репликами подпитывал настроение примирительного компромисса, к которому и всегда склонны развитые либеральные умы и культурные люди. Ход прений вёл к большому, чем только участие в коалиционном правительстве: кон-

чалась целая внутривнутрипартийная эпоха. Милюков, который всегда был недостаточно левым, недостаточно ценил левое кадетское крыло и противился окончательной демократизации партии, — вот, терял партийное лидерство. И оно всё объективнее налагалось на плечи Винавера.

Уже убавлялся дневной свет, скоро и лампы зажигать, пора бы прения прекращать — но очень попросил слова Ландау-Изгоев, всё время молчавший. И чего Винавер не ожидал от уважаемого профессора — это смятенно-резкого выступления.

А Александр Соломонович в последний перерыв выходил на набережную без пальто и шляпы, наглотался этого тревожного резкого сегодняшнего ветра — и всё возбуждённой становился. Он болезненно был взвинчен сегодняшними лаковыми, умягчающими, уговаривающими выступлениями.

И подумал: какая ирония. Восемь лет назад Милюков был самый яростный противник «Вех», сколько красноречия и энергии потратил на спор. Казалось: идейная пропасть разделила их навсегда. И вот сегодня, в день поражения Милюкова, в самый тяжкий день его, почти никто не мог поддержать его с энергией, а именно веховец Изгоев. Теперь за Милюкова были только государственники, а воспитанное им радикальное крыло предавало его.

— Это — ужасно, господа! Сегодня мы продаём своё духовное первородство за чечевичную похлёбку показной демократии. И под этой вывеской мы отдаём унести себя куда-то вдаль, без руля и без компаса. Да вспомнить — так это отравляло нас и с само-го Пятнадцатого года, и с Первой Думы: как только левые обвинят кадетов в трусости, в измене — мы всегда спешили сдвигаться влево: чтоб защититься от их оскорблений — мы ползли к ним же ближе, под град их камней. Мы тут с вами рассуждаем как будто имеющие власть и сильную позицию — а на самом деле в России уже господствует социализм! — и это подготовили мы с вами. Но социализм не в своей великой мировой идее — (именно Изгоев на мартовском съезде говорил, что социалистические идеи близки кадетской партии) — а в отвратительном российском издании. Это социализм, который отверг идею отечества — а без неё невозможна никакая организация страны. Чем заняты их мозги? Миссией зажечь мировой пожар. Тень Циммервальда прокралась в Россию на второй день революции. Уж сколько натрезвонили за эти недели, как вот-вот поднимется «восстание рабочих Германии и Австро-Венгрии». Полтора месяца германский рабочий класс что-то не

откликнулся на их бредовый манифест — теперь они надеются на Стокгольмскую конференцию. Кто же дискредитировал патриотизм, если не они? Кто обещал народу скорое окончание войны без всякой ненужной победы? Кто объяснил войну капиталистическими аппетитами? Русский революционный социализм позорно гибнет именно потому, что отказался от идеи отечества. У нас циммервальдистом-интернационалистом стал называться любой трус, дезертир, шкура. Что мы тут так радуемся их последнему, и опоздавшему, обращению к армии? Оно — или совсем уже не подействует, или гораздо слабей, чем их приказ № 1 или чем разрушительное поведение Совета в дни апрельского кризиса. Совет не мог не знать о подготовке 20 и 21 апреля вооружённых отрядов на заводах — но молчал до тех пор, пока пролилась кровь. И апрельский кризис на самом деле не кончился по сей день. Даже, может быть, тут — не сознательные их расчёты, допущу, что они проникнуты искренним желанием помочь положению, — но получается у них жалкая партийная ослеплённая игра. Как раньше все усилия этих революционных полуинтеллигентов были направлены только и единственно на подрыв правительства — так и теперь они работают над тем же. Точка зрения государственности им никогда не давалась. Вот они до последнего дня и спорили — допустимо ли, не позорно ли им становиться министрами? Так какого же сотрудничества вы ждёте от них? Если мы соединимся с ними — то мы потеряем всякое значение, — и для чего мы боролись 12 лет? Или было бы честно с их стороны просто устранить Временное правительство — не хотите поддерживать, так сгоните! — но и на это они не решаются, понимая, что власть их не была бы общенациональной. И они поступают безнравственно: желают власти, но не желают ответственности. Какой же вы предлагаете недостойный компромисс — если правительство явно остаётся опять таким же безсильным? Эти компромиссы сложут нас в позорной немощи. Сегодня они требуют убрать только Милюкова или ещё Мануйлова, а завтра срежьте им Шингарёва и Львова, а там дойдёт очередь и до остальных.

Изгоев выглядел неприлично-неистово. Он говорил как будто главную речь своей жизни — и три десятка членов ЦК слушали её без единой реплики или нетерпеливого движения.

— До сих пор только «буржуазия» говорила об идущем стремительном развале России — и за это рвали наши газетные листы. Но теперь об этом, с опозданием, нехотя заговорили и социалисты.

Российский социализм без отечества — это и есть анархизм. И революция летит под уклон — и с ней же разобьётся Россия. Российский социализм показал, что он умеет разрушать — а созидать безсилен. Он обратился к худшим инстинктам человека, разнудал их, — а теперь не может справиться. Он уже устроил войну всех против всех: села против села, общинников против отрубников, крестьян против горожан, рабочих против мастеров и инженеров. Все требуют средств от государства — и никто не платит налогов! Все рвутся как можно больше и скорей получить — и как можно меньше работать. Кто недавно возмущался насилием над собой — вот, на наших глазах превратились в насильников! В стране — уже созданы армии для будущей гражданской войны. Но вы сегодня хотите — подорвать свою сторону!

Тут раздалась протесты против преувеличений. Но Изгоев как не слышал:

— Всюду насильничество! Всюду грязь и всюду мерзость — и это достигнуто всего за два месяца! А социалисты заигрывают с анархией или даже сами осуществляют. Оттого что новые душители называют себя социал-демократами или эсерами — нам не легче! Если либеральную газету закрывает местный Совет — чем это легче царского произвола? Или если тифлисский Совет разгоняет кадетское собрание? Да прежние душители, по крайней мере, не присваивали себе чужих типографий. Социалисты проявили себя как толпа бездейных насильников, своекорыстных и тупых невежд. Вспомните, любимой темой прежних публицистов были указания на непосильность падающих на города и земства расходов на полицию. А у кого сегодня повернётся язык повторить те обличения, когда милиция поглощает средств в 5 и в 10 раз больше, не исполняя и десятой части прежней полицейской работы. Чуть дорвавшись до власти — кинулись за окладами и жалованьями. И вот отсутствие власти уже настолько тяготит население, что на местах начались самосуды, — Временное правительство отменило смертную казнь, так её применяет само население!

Винавер напомнил о регламенте. Уже включили электричество — и оно осветило изрядную смущённость слушателей.

— Теперь мы много говорим о ленинстве. Да, большевики уже создали свою красную сотню — «рабочую гвардию» — тысячи вооружённых рабочих, проводить революцию социальную. Но большевики — не отдельное что-то, они только сделали край-

ние — и последовательные — выводы из российского безродного социализма.

И с последней тоской — тоской неспасаемого — посмотрел Изгоев на слушателей:

— Господа! Идти на сделку с ними — безумие. Все шаги умеренности — опоздали. Социалисты поносили нас два месяца — так очистите им поле деятельности! пусть создастся правительство из одних левых — и пусть они скорей покажут свою несостоятельность. И пусть они сами расскаются, когда вместо прекрасного социализма увидят родину в анархических судорогах. И их смоеет волна. Страна нуждается в предметном уроке! — и чем он скорей придёт — тем лучше будет для России: сохранится больше нетронутых сил. А мы, может быть, сохраняя ряды, — вступим потом ещё для спасения. Господа! Господа! — оборачивался он в ту и в другую сторону, почти умоляя: — Не идите на этот губительный компромисс! Нам не простит его История! Это будет значить: мы разбиты наголову! Вредней всего коалиция с социалистами: они будут разрушать — и они же свалят на эгоистическую буржуазию. Ужасен именно — гнилой коалиционный период. Вместо того чтоб удержать Россию на сползаньи — вы только создадите обманную вывеску! вы только поможете дотолкнуть страну — туда!..

Умоление, да, — но сердца мужей, обрекших себя государственной деятельности, должны отзываться не на умоление, а на политическую логику ситуации.

А она диктовала — взвешенный компромисс с Советом.

Компромисс! — высшая форма человеческих отношений. И особенно незаменимая, когда имеешь дело с грубым, неуклюжим оппонентом, — а всё-таки склоняешь его на компромисс!

И руки кадетских цекистов поднялись в историческом голосовании. И проголосовали 18:10 в пользу коалиции. (Ещё скольких-то из десяти стянул Изгоев последней речью.)

Это звучало так: не настаивать, чтобы портфель министра иностранных дел оставили за П. Н. Милюковым.

Впервые Милюков при голосовании в ЦК остался в меньшинстве.

Но речь Изгоева, обнажившая всю суть проблемы, смягчила Милюкову поражение.

А не признать поражения — и продолжать стоять, — к чему это приведёт? К расколу партии, значит — к расколу через всю, через всю российскую интеллигенцию.

Кто на это осмелится?

И Милюков — с твёрдостью принял. С твёрдостью — значит: собирать силы спасти, что ещё можно.

— Да, — сказал он, — для такой обширной партии, с раскинутыми флангами, как наша, решение и всегда должно быть компромиссным. В политике компромисс есть самое законное средство борьбы. Я — политический противник того, что происходит, но я понимаю и великое историческое значение того, что русские социалисты становятся русскими министрами. Конечно, мы все должны поддерживать новое правительство, какое б оно ни было. Но всё же я советую, чтобы кадеты не входили в правительство, пока не будут внесены чёткие поправки в декларацию о внешней политике. Наши требования к правительству должны быть решительны.

Но так как декларация правительства слишком несовершенна, неточна и всё равно не выразит кадетской точки зрения, — то не лучше ли теперь составить другую декларацию, декларацию нашего ЦК, и это и будет отчётливой программой, с которой наши министры войдут в правительство?

Мысль понравилась. И сразу же стали обсуждать главные идеи такой декларации. Самые чёткие формулировки в осуждение анархии. И — полная независимость Временного правительства от Совета. А прежде всего — о внешней политике.

Родичев воскликнул пламенно:

— Господа! Родина оказала бы величайшую неблагодарность одному из самоотверженнейших своих деятелей, если бы не признала значения его исторической заслуги. Нелегко будет преемнику Павла Николаевича. И в напутствие мы должны начать нашу декларацию буквально с фразы: «Всецело одобряя стойкую защиту П. Н. Милюковым международных интересов России, ЦК к-д...»

Винавер и его сторонники — были согласны.

И: все организации и группы по всей России должны решительно отказаться от собственных распоряжений, отменяющих правительственные.

И: единство власти правительства должно быть обеспечено его силою. (А не уговариванием.) Применением всех мер государственного принуждения! (С опозданием в два месяца так ясна была их необходимость теперь.)

И: меры против дезорганизации армии! Не давать подорвать её дисциплину.

И: мы входим туда не безусловно. Как они в своё время: мы поддерживаем правительство *постольку, поскольку* выполняется наша программа!

— Нет, это уязвимо, нас будут жестоко критиковать. Но можно аккуратнее: «мы поддерживаем правительство в начинаниях, направленных на осуществление наших целей». Замаскировано — а то же самое.

— Не то же самое! Совет прямо отказывается повиноваться правительству — а мы лишь откажемся сотрудничать, если это будет противоречить нашей совести.

Потребовать, чтобы число кадетских портфелей было не меньше числа социалистических?

Во всяком случае — не меньше четырёх. Кого-то наших надо добавить.

Большого Кокошкина усадили в отдельной комнате дорабатывать текст.

А Винавер с Оболенским отвезут его князю Львову.

Остальные расходились.

Так кончился решающий день партии Народной Свободы.

Выходя на набережную под острый свежий ветер и заправляя шейную косынку, Ариадна Тыркова сказала князю Трубецкому:

— Значит, не мы — будем борцы? А — кто же?

3 мая Временному правительству никак не удавалось собраться в приличном кворуме: Милюков — после вчерашнего как будто уже и не вернётся? А Шингарёв, Мануйлов, Набоков заседали на своём ЦК. Из-за тревоги социалистов, что кадеты будут утеряны и коалиция не состоится, Львову пришлось среди дня посылать туда же делегацией Некрасова и Терещенко. Керенский весь день мотался неизвестно где, а в три часа привёз шестерых самых высших генералов — четырёх Главнокомандующих и Алексеева с Деникиным, опять всё на ту же перегруженную квартиру Львова. И хотя головы не тем были заняты, душил нерешённый вопрос коалиции, — пришлось заниматься генералами, собрали подобие заседания правительства совместно с ними.

Генералы стали выкладывать жуткое и ужасное. Настолько ужасное, что князь Львов не только не находил в себе духа обсуждать это сейчас — но даже и полного внимания, и полного состава нынешнего правительства было бы мало. Спустя полтора часа предложил он генералам, что лучше завтра днём они соберутся на полно-официальное заседание вместе с верхушкой Исполнительного Комитета.

На том генералов спровадили в гостиницу, а у себя с пяти часов вечера опять принимали советских. С кадетского ЦК Некрасов и Терещенко давно вернулись ни с чем, а сами кадеты не возвращались, и решения их тут не знали.

От Исполкома приехала примерно та же десятка, без большого Чхеидзе, с теми же наблюдателями от крайне левых, но ещё и с такой новостью: уже несколько дней всё переключивается, никак не съедутся, съезд крестьянских депутатов. Теперь они намерены начать завтра. Так бюро этого съезда прислало в Исполнительный Комитет требование, чтобы всякое обсуждение и решение правительственного кризиса задержалось бы дня на два — пока в нём смогут принять участие делегированные представители Совета крестьянских депутатов. А иначе новое правительство не будет представлять крестьянства, — но большинство населения России должно принять участие в формировании новой власти.

Это произвело на всех очень неприятное впечатление. До сих пор правительственный кризис удобно обсуждали между Мариинским и Таврическим. Но если теперь ещё воткнутся лапти со всей России — то во что расплзутся переговоры и какая может быть деловитость? Что они могут понять и в чём участвовать?

Однако по соображениям демократическим Исполком не мог им нацело отрезать. Какую-то их делегацию придётся сегодня здесь принять и убедить их, что ждать невозможно и ничего менять и расширять невозможно.

Нечего делать, пока занялись декларацией, предложенной Некрасовым. Хотя вся она была уже как будто готова — но начали перещупывать выражения, лазить по словам, — и снова раздалась протесты и несогласия: один оттенок не такой, другой не такой. И хотя работа тут была как будто небольшая, но из-за большого числа голов и вечерней усталости — нудно растянулась на часы. И снова возникал то ультиматум от имени ИК, то князь Львов, уже безстрашии отчаяния, заявлял, что если не будет с чёткостью на-

писано о полном доверии новому правительству (как бы ото всей России, а подразумевался Совет) — то и все нынешние министры уйдут в отставку.

Весь вечер в приёмной толпились журналисты, и проходящие отвечали им: «ничего не решено», «нельзя предсказать», «может быть позже сегодня».

А тем временем уже ведь собрался в Морском корпусе пленум Совета, назначенный для утверждения состава нового правительства! — рановато... И что теперь с ним делать? Распустить невозможно, послали Скобелева чем-то занять те две тысячи. Да вот, подвернулось: приехала черноморская делегация, добивалась сегодня приёма у правительства, — так вот пусть она и выступает теперь на Совете.

Во всех обсуждениях прошло время до 8 часов, когда с кадетского ЦК вернулись Шингарёв и Мануйлов, только они, без Милюкова, — с благоприятной вестью, что кадеты остаются в правительстве.

Но тут же, вскоре за ними, явилась делегация ЦК к-д — Винавер и Оболенский. Князь Львов, покинув свой шумный совет нечестивых, вышел в приёмную к двум кадетам. Хотя от них-то надеялся он получить честную поддержку, — какое там! Они приехали обсуждать условия, при которых представители партии Народной Свободы могут принять участие в правительстве, — и значит, снова перещупывать всё ту же правительственную декларацию.

— О Господи! — тяжело вздохнул измученный, осунулый князь Львов. — И всё условия. И зачем вам это нужно? А в той комнате мне ставят условия как раз наоборот. И как мы из этого вылезем? Ну, давайте.

Торговались с кадетами. Потом торговались с неумолимым ИК и наконец выторговали вместо прежнего жестокого «постольку-поскольку» — «возможность осуществлять всю полноту власти», однако в зависимости «от полного и безусловного доверия к правительству всего революционного народа».

Поди опроси весь народ. Не намного-то и подсластили.

И только часов с 11 вечера, уже все сильно измученные и рассеянные, стали обсуждать самое интересное: лица и портфели.

Тут всё переплелось. И группировка: желательно три социал-демократа, три народника, четыре-пять кадетов (кадетов теперь надо добавить). И — новые министерства. Снабжения? Продовольствия? Социального обеспечения? Почт и телеграфа? Керен-

ский — ясно, что военный. Но — кто юстиции? Малянтовича — три раза предлагали, три раза отвергали. Переверзева? — но он и не советский, и даже не марксист. Неожиданно много желающих на земледелие: и Шингарёв уже есть, и Пешехонов не прочь, у него есть и план, и он в сельском хозяйстве ориентируется, а Чернова вся партия эсеров ставит ультимативно, иначе она вообще не участвует в коалиции! (Пешехонова они согласны принять товарищем при Чернове, рабочей лошадкой при парадном главе.) Есть у эсеров и другое мнение, но тогда ещё хуже запутается: Чернова сделать министром иностранных дел (и он не против). Но на это не может согласиться Терещенко, ни его друзья-министры. Тут же эсеры говорят и иначе: возможно, Чернов и не захочет пойти в правительство, предпочтёт остаться на партийном руководстве, вот с часу на час вернётся из Москвы. А пригласить министром труда Плеханова? Все министры — с удовольствием, а социалисты — против, не желают. Гвоздева бы можно, но он мало развит. А Скобелев желает — именно труда, а ему до сих пор предлагают морское, он отбивается, что ничего не понимает в морском деле, ему говорят: и не надо понимать, на технические сведения есть помощники-знатоки, а требуется только общеполитическое руководство. Но позвольте, но морское приходится взять Керенскому, об этом есть ходатайство Адмиралтейства. Но простите, тогда марксистам ничего не остаётся! мы договаривались военное от морского отделить, у нас и так не хватает портфелей. — Хорошо, ещё раз соединим на Керенском, а потом позже разделим...

И в этой живой перебивчатой дискуссии — взрывах, примирениях, возмущении, хохоте, брожении по комнатам, перерывах, сходах — ночные часы текут, текут.

Ещё идея: кроме министров вводить общественных деятелей — с чином «парламентских секретарей», — и это облегчит комбинации!

Или затруднит?

(Гиммер скачет вокруг как петушок, хотя его дело — стороннее.)

Самый трудный вопрос оказался с Церетели: без Церетели никак не получается коалиционное правительство, и прежде всего по авторитету. Но Чхеидзе решительно предупреждал, что он Церетели из Совета не отпустит. Да Церетели и сам не хочет. А без него нельзя! — без него все министры несогласны. А вот ещё выясняется: для Церетели — и никакого портфеля нет...

Тупик! Перерыв. Советская делегация уходит в кабинет Львова, министры — во внутренние покои, а между ними через гостиную мечутся связные. И прежде всего Некрасов: Керенскому сегодня не так удобно, он заинтересованное лицо, а Некрасов — безумно энергичен и абсолютно безпристрастен, горят его загадочные синие глаза. У советских новая комбинация: Церетели — министром без портфеля, и у него останется достаточно времени на Исполком. Некрасов: нет! без портфеля — это липа. Дадим ему почти-телеграф, тоже не много работы.

И в самый разгар прений — доложили о делегации от Крестьянского съезда.

А-а-а! Хозяина-то земли Русской — забыли?..

Ну, эти сейчас — жилы помотают. На каком языке с ними разговаривать? Доставайте буквари.

Ба! Ба! Да всё знакомые лица! Да тут — интеллигентные товарищи!

165'

(Как собирали крестьянский съезд)

В 1904–05 годах Николай Дмитриевич Авксентьев гремел в Петербурге, сперва на банкетах, потом на митингах, под фамилией Солнцев, а кличку ему присвоили Жорес — за его выдающееся красноречие. Устное слово было его лучшей формой существования, он преображался перед аудиторией, становился на время речи как бы другим человеком (а вот потом записывать, статьи писать — не умел). Были у эсеров и другие выдающиеся ораторы, Фондаминский (Непобедимый, Лассаль), — но среди всех выделялся Авксентьев ещё и какой наружностью — барственно-львиной, при высоком росте, откинутая назад русая шевелюра, благородный лоб, прямые черты удлиненного лица, подведенного обкладной бородкой, — и звучный уверенный баритональный бас. А в эмиграции потом тоже не терял времени — получил доктора философии в Галле, любил цитировать Канта и Ницше.

Авксентьев был один из основателей партии эсеров, и представлял её в первом петербургском Совете рабочих депутатов, и публично выражал взгляды и программу партии, но её практического крестьянского приложения в те годы не коснулся. А между тем тогда — на помощь крестьянам, бессильным создать объединение, и с целью делать же из крестьян сознательных граждан — был создан интеллигентами Всерос-

сийский Крестьянский Союз, запрещённый властями в 1906. Как только же произошла нынешняя революция (Авксентьев был в Париже), так в Москве, на Петровских линиях, собрался кружок интеллигентов, среди них присяжный поверенный Стааль, только что вернувшийся из Парижа, и решили, в помощь крестьянству, теперь восстановить Всероссийский Крестьянский Союз по образцу 1905 года, и напечатали обращение «Ко всему российскому крестьянству» (не теряя ни минуты, гражданам крестьянам объединяться в Союз, выбирать и присылать уполномоченных). Но в те же недели марта их усилиям возникла помеха от других параллельных инициатив. В Москве же кооперативный съезд постановил создавать не Крестьянский Союз, а наиболее приемлемые в данный момент Советы Крестьянских Депутатов, — именно Советы внесут организацию и успокоение в несознательные крестьянские массы, создадут коренные условия свободной жизни в деревне. Тут же поспешил возникнуть в Петрограде ещё какой-то новый Крестьянский Республиканский Союз, но он не имел успеха и не собрал ни сторонников, ни участников из деревни. Спор окончательно перешёл в Таврический дворец, и 12 апреля собрались в Таврическом представители обоих спорящих направлений, и тут постановлено было слить их, прекратить раздор и впредь собирать крестьянский съезд как Совет Крестьянских Депутатов — так отчётливо висел над всеми образ Совета Рабочих Депутатов. Тут и Стааль, главная пружина Крестьянского Союза, ушёл с крестьянской работы в секретари московской судебной палаты, и дело переходило снова к народным социалистам, а затем к более энергичным эсерам — и так постепенно катило на Авксентьева и Фондаминского.

Всё их начальное совещание в Таврическом было 15 человек — Временный организационный комитет, а надо было привести в движение 150 миллионов крестьянства, пропорция в десять миллионов, — и сроки революции не ждали: чтобы голос крестьянства прозвучал — надо было управиться собрать крестьянский съезд за 3 недели, к 1 мая. Возможно ли это при российских пространствах? Но и другого выхода не было.

А в те же недели во многих губерниях уже проходили губернские крестьянские съезды и испытывали те же трудности российских пространств, бездорожья и деревенской темноты, например в Самарской губернии крестьянский съезд был составлен наполовину из городских жителей. Все эти съезды охотно принимали резолюции, подготовленные социалистами тех губернских городов, где происходили.

Земля не ждала, время не ждало, всероссийский съезд крестьянства должен был срочно состояться! — но как же собрать его и при всей эсеровской энергии?

Предполагали выбирать (с 18-летнего возраста, оба пола, и всеобщие равные тайные выборы) одного депутата на 150 тысяч крестьянского населения, и так 1000 депутатов представят всё 150-миллионное кре-

стьянство, волости выбирают выборщиков на уездные съезды, а на губернских съездах избираются сами депутаты, причём, конечно, допустить, что выбраны могут быть не обязательно крестьяне — а также и посторонние, но способные защищать интересы крестьянства и заслуживающие доверия его. Однако именно эту процедуру и невозможно было выдержать: выборы по всему российскому крестьянству не провести и за год, пропустишь всю революцию. Стали искать более коротких путей. Во-первых, взять депутатов от крестьян, проживающих в столицах. Например, в петроградском гарнизоне уже создались свои батальонные и даже ротные «советы крестьянских депутатов» — так пригласить депутатов от них. Затем — пригласить крестьянских депутатов от Действующей армии. А вот известный эсер Пьяных (прежде приговорённый к каторге за причастность к убийству священника), освобождённый революцией из Шлиссельбурга, — успел съездить на родину и вернулся как депутат Щигрского уезда. Или вот явился некий Мазуренко из волости и настаивает на своих правах защищать интересы всей Донской области. Хотя и смахивает на самозванство, но приходится принимать и таких. Из тех депутатов, которые уже приезжают в Петроград, пусть образуется Совет пока временный, а позже он будет заменён постоянным. Пусть организация Совета Крестьянских Депутатов будет пока несовершенно. Да в состав Совета войдут с решающим голосом и члены Организационного бюро, и все 15 докладчиков, а может быть, и другие приглашённые лица.

Но даже и такой способ созыва съезда был медленен. Не хватало интеллигентных сил. Надо было создать, посчитали, 12 подготовительных комиссий, из кого их составлять? А — средства? На какие деньги собирать съезд? Временное правительство не финансирует, значит — самообложение всего организованного крестьянства через волостные и сельские сходы? — на это тоже год. Через кооперацию? через земства? сбором пожертвований через объявления в газетах? Но ходатайствовать, по крайней мере, об освобождении сотрудников от воинской повинности.

Всякое дело, проворачиваемое в реальном государстве, удивительно быстро обрастает неисчислимыми осложнительными мелочами, — это, правда, намного-намного трудней, чем произнести хорошую зажигательную речь. И тем не менее, через все немислимые трудности творится великое дело: вот собирается первый свободный крестьянский парламент!

Сам Авксентьев тоже был эти недели перегружен множеством партийных вопросов, а вот — партия поручила ему быть председателем крестьянского съезда и сделать доклад об отношении к коалиции. И Авксентьев отработал стержень аргументации: стали множиться угрожающие признаки, впечатление распада российского государства, и демократия должна вступить в управление государством. Чернов трунил, что никаких признаков распада в России не видно, — но Авксентьев не думал так, его посещала и тревога.

Тем временем организационное бюро съезда уже начинало собираться в Народном доме на Кронверкском, еле подлеченном после пребывания пулемётного полка и теперь отданном под крестьянский съезд. Доклады уже распределили между собой: Чернов — о судьбе земли, Фондаминский — отношение к войне, Гоц — отношение к Совету рабочих депутатов, Питирим Сорокин — к Учредительному Собранию, Мякотин — к демократической республике и федерализму. А социал-демократы совсем не имели тут веса, даже не пытались встречать и тягаться с народниками.

Первый Крестьянский съезд! — какое величественное событие для России! Сколько б мы ни выдвигали трудовое крестьянство в наших декларациях, — оно всё ещё, всё ещё не стоит перед нами во плоти и крови, вот только сейчас явится! Мы невольно ослеплены городом от нашей городской жизни, мы ещё не опускали своего испытующего мерила в глубины деревенского моря. А ведь твердо знаем, что именно крестьянство, тяжёлая пехота деревни, закончит дело, начатое лёгкой конницей города. Но мы этого мерного грозного шага до сих пор не научились слышать.

Ожидалось не меньше тысячи депутатов ото всей деревенской России — но в назначенное 1 мая прибыло всего лишь около трёхсот, кого можно было хоть с натяжкой считать крестьянскими делегатами, включая и всех солдат, и тех местных деятелей.

Решено было, однако, что-то начать — и в душном, пыльном и неотапливаемом певческом зале Народного дома Авксентьев сделал приехавшим предварительный доклад о текущем моменте. Свободный русский народ должен дать деньги на ведение и окончание войны, а главное налоговое бремя будет положено на богатые классы. Но пока германский народ не разделается с кайзером — не может быть речи о сепаратном мире. Я обеими руками подписываюсь под новым воззванием Совета рабочих депутатов о необходимости наступления!

И с надеждой посматривал на зал. Однако все предпочитали тяжеловесно слушать, а не говорить. А выскочили молодые, в солдатских шинелях. Вот, мол, из Рязанской губернии:

— Мы — социалисты, и Временное правительство нам только мешает. Мы должны ему сказать: руки прочь! А наступать надо — против буржуазии всего мира!

Да это — большевик, наверно. А вот, мол, — из Инсарского уезда Пензенской губернии. И тоже, кажется, большевик:

— Временное правительство наслало комиссаров — а чем они отличаются от старой власти? Если Совет рабочих депутатов находит нужным поддержать Временное правительство — то мы не считаемся и не подчиняемся. Мы в бирюльки играть не будем! Уже вся Россия захватила помещичьи земли!

Ему кричат: — Неправда!

— Ну, по крайней мере, наш Инсарский уезд захватил!

Или так:

— В армию хлеб дадим. А городам? — пусть сперва устроят трудовую повинность. А то много народу среднего болтается, всё на трамваях ездют.

Авксентьев был горько поражён этими репликами. Вот уж таких настроений он от крестьянства не ожидал. Ну, это случайные, и слишком грамотные, может быть, дезертиры? Надо ожидать настоящих, положительных депутатов, в зипунах.

А ведь как сложен будет земельный вопрос! Столыпин действовал, конечно, против народного сознания, которое выражено эсеровской программой: никакой земли в собственность никому, ни продавать, ни арендовать, а каждый получай надел, сколько можешь обработать. Но вот приехал секретарь с самарского губернского съезда и рассказывает: у нас многие крестьяне имеют по 17 десятин, а есть уже наделы и по 40 десятин, и много отрубников, а при общем переделе да с учётом безземельных губерний — ведь от них придётся отрезать, — да разве они дадут? «От Божьего дела в сторону сбивают», — надо отнимать только у помещиков и монастырей! Резолюцию в Самаре проголосовали, никто не стал им объяснять, что и у них отнимут.

Но и 3 мая к вечеру — депутатов кой-каких насчитали только 450. Ждать тысячу — и весь май не откроем съезда, а политический момент проходит. В конце концов, наполним зал петроградскими гостями.

А в эти дни — судорожные переговоры о коалиционном правительстве — и неужели не участвовать крестьянам?

И 3-го вечером собрали так: соединённое заседание оргбюро и выборных представителей от областей. Собрали по этому частному вопросу: надо срочно послать пятерых делегатов от крестьянства туда на переговоры, и вот есть кандидатуры: Дзюбинский, Фондаминский, Гуревич, Маслов... Но поднялась неожиданная буря, каких не бывало и в Совете солдатских депутатов, и не то что — отложить создание правительства на несколько дней, пока выразит своё мнение крестьянство, — но выступили и развернули привезенное жёлто-синее знамя украинцы-областники, «требуем автономии! посылать депутата и от нас!» На них другие накинулись, они им — «москвофулы!» Им: «подождите до конца войны!», они: «поляки с войском не ждут, латыши не ждут, поцелуй ты меня сегодня, а я тебя завтра!» Тогда стали выступать уже приехавшие делегаты кавказские, грузинские, армянские, татарские: «если от малороссов делегаты, тогда и от нас!»

Близ Чернышёвой площади утекали, утекали часы правительственных переговоров, последние часы, когда крестьянство могло выразить своё решающее слово, а тут кипел торг! (И что ж это будет на съезде?)

Наконец благоразумно уступили и кавказцы, и грузины, и армяне, и татары — а малороссы всё упирались. И включили-таки от них шестого: члена 1-й Думы Тесля.

А с чем же посылать? Совет крестьянских депутатов в общем присоединяется к условиям вхождения социалистов в правительство, но чтоб

они были ответственны и перед Советом крестьянских депутатов. И вот ещё: чтобы министр внутренних дел был известный демократ.

* * *

Товарищи крестьяне! Революция в опасности! Голод, создавший революцию, может сожрать и свое детище. Без хлеба в городах не будет ни земли, ни воли в деревне. Спешите передать все хлебные запасы в распоряжение продовольственных комитетов!

* * *

166

Из последних дней выпало у Шингарёва двое суток на поездку в Ставку, склонил Милюков, а в общем зряшную: ну, выслушал ещё раз армейские нужды в продовольствии, да посетил могилёвский губернский съезд, так называемый крестьянский (если б действительно крестьянский — лучше б и не надо!), — и по срочному вызову Львова катили назад в Петроград.

Как раз в день отъезда в Ставку подписал новый большой приказ по министерству, грандиозный разработанный план для 44 губерний (без Закавказья, Туркестана, Сибири и Севера): какими мерами установить однообразные нормы потребления зерна и крупы на едока, не выше чего для сельского населения, не выше чего для города, с тем чтобы мочь передвигать из губерний избыточных в губернии с недостатком, — естественный шаг в развитие хлебной монополии. А возвратясь, уже мог с озабоченностью читать и неизменную газетную критику: что это нежизненная теоретическая мера, сколько недоразумений породит такой сложный контроль, предстоит переписать всё население, да по типам (дети, взрослые, занятые физическим трудом), и ещё сложнее — подсчитать в крестьянских закромах точное количество зерна и крупы, 13 миллионов крестьянских дворов (у помещиков переписать нетрудно, да они своё уже и продали), и сколько обойдётся такая продовольственная организация (уже подсчитали — 150 миллионов), 200 тысяч продовольственных чиновников с канцелярией и писцами съедят всё добытое, — да будет ли ещё хлеб? И какая

власть будет его реквизировать? С чего бы волостные комитеты стали сами себя обрезать? Каждый крестьянский двор утаит, сколько считает нужным, а как применять насилие при нынешнем состоянии деревни? Но именно отнимать насилием требовали неумные «Биржевые ведомости», высмеивая всякие попытки призывать крестьянина к жертвам.

И — придётся, да. Никак иначе.

Понимал, понимал Шингарёв отлично все эти сложности. Но, объявив хлебную монополию, — уже не имел он другого выхода. А объявляли её под гипнозом блистательного германского военного социализма, где учтено каждое зёрнышко и каждый цыплёнок, — значит возможен и этот путь?

Ужасно только то, что до сих пор в глубину крестьянского сознания всё ещё не продвинута необходимость расстаться с излишками хлеба. На Юге сев закончился, теперь могли бы везти хлеб — а всё равно не везут. В Полтавской губернии выполнен всего 1% развёрстки! Да и как закончился сев! многие помещики бежали из усадеб, а крестьяне, захватывая земли помещика, покидают без засева свою, а то и отобранную не засевают, а спекулятивно перепродают третьим лицам.

Всех сил требовала эта невылазная работа, а тут какой-то неуместный, несовременный правительственный кризис, переговоры о коалиции, — и вот надо было терять время ещё сидеть на этих переговорах иногда. Шингарёв почему-то представлял, что этот кризис не касается его. И вдруг прошлой ночью разразился уход Милюкова — и теперь повисло: вообще остаются ли кадеты в кабинете?

В разогнанности огромной всероссийской работы это была такая дикость, не помещалось в уме: сегодня днём вместо министерства сидел на кадетском ЦК, недоумевая.

Однако решилось всё благополучно, остаёмся.

Однако: вот уже ясно называли на министерство земледелия — Чернова?.. Какая странность: как же можно назначать на живое место? И что этот Чернов, эмигрантский мечтатель, реально когда-нибудь делал?

Шингарёв даже не спорил горячо, а смотрел печальными глазами: ведь они совсем не понимают, какая громаднейшая работа им тут уже сделана, и ещё совершается, и насколько он в курсе всех движений, замыслов, крупных и мелких, — да как же его оторвать? да только прервётся всё!

Но советские всё неумолимо требовали себе земледелия, и слышать не хотели без этого. Однако проявился такой оттенок, что Чернов не хочет иметь дела с продовольствием. И Шингарёв стал соглашаться так: отдать земледелие, с его далёкими перспективами передела земли, с его висящими до Учредительного Собрания проблемами — с выкупом, без выкупа, в частное пользование или трудовое, социализация или национализация, — но оставить себе дело продовольствия, так принятое к сердцу, так живо двинутое им. Накормить страну в 1917 году — это была теперь честь Шингарёва, и этим оправдался бы его каторжный труд.

Но торговля портфелями шла дальше — и он в отчаянии видел, что у него хотят вырвать и продовольствие. И не потому, что был бы на него напросливый кандидат, а просто по счёту портфелей надо было отдать социалисту.

И из-за этого всё ломали! Да самое сердце отрывали! Он объяснял — всем вместе, а уже и поодиночке, кто его слушал: что он ведёт грандиозную операцию по заготовке хлеба, берётся спасти потребляющие центры до нового урожая, — что он провёл уже массу мероприятий, и теперь, когда вот-вот должны сказаться благоприятные результаты, в какую дикую голову может прийти — оторвать его? Да он ни за что не согласится!

Нет? — министры *не понимали*? Они готовы были предать и дело вместе с ним самим.

А к тому ж — не оказывалось никого на министерство финансов. И стали толкать туда Шингарёва, льяся ему, что он специалист по финансам.

А это — было уже вдвойне обидно. Легче просто быть вышибленным из правительства. Заслужив себе в Думе славу финансового эксперта, Шингарёв в марте и ожидал получить министерство финансов. Но тогда отказали потому, что этот портфель был удобен Терещенке, — и Шингарёва пустили на новое незнакомое дело. А когда он и его освоил — теперь портфель финансов стал удобен Терещенке, так возвращайся на финансы.

Нет! Шингарёв отказался наотрез: сейчас — я больше подготовлен к продовольствию, чем к финансам.

Этот переход сейчас был бы уже настолько глуп, что Шингарёв решил не подчиняться, даже если будет настаивать собственный ЦК партии.

И заколебались. Стали прикидывать: а не дать ли финансы Мануйлову (гуманитарному профессору, вовсе ничего не понимающему

щему в них) ? Но тогда Шингарёву ничего не остаётся вообще? Новый вариант: дать ему торговлю-промышленность...

Варианты взлетали, как ракеты на фейерверке: а кому тогда просвещение: Гримму? Кокошкину?

Когда без споров раздали портфели Керенскому, Терещенке, Скобелеву и Чернову — снова всё упёрлось в министерство продовольствия. Советские настаивали, что должен быть их кандидат, а именно Пешехонов.

Так что ж, Пешехонов будет теперь менять направление продовольственной политики? Нет. Так зачем тогда смена? Именно теперь, когда вот, через месяц, скажутся все результаты?..

Однако коллеги Шингарёва все сдавали. А он набрался твёрдости: нет, нет, нет!

Возник и такой вариант: пусть Шингарёв сохранит себе министерство продовольствия — но и сверх того берёт финансы. А Пешехонову — почту и телеграф.

Тут ждалась делегация крестьянского съезда. И Шингарёв с надеждой задумывал: обратиться прямо к ним, объяснить положение с посевами, урожаем, и что нельзя перетрясывать это ведомство на ходу, — крестьяне поймут и заступятся.

Но делегация пришла неожиданная: свой же левый думец Дзюбинский (про которого в Думе говорили, что он и одну курицу бы не вырастил), три эсера (все три городские, один — всю жизнь эмигрант), и ещё двое, но тоже не пахари, а политики.

И обращаться к ним за поддержкой не пришлось. (Но всё-таки: съезд крестьянский открывается? Вот к ним и воззвать, что режут скот.)

А они явились со своим ультиматумом: чтобы Пешехонова сделать демократическим министром внутренних дел. Так тогда бы продовольствие могло остаться Шингарёву? — но без портфеля оказывался сам князь Львов. Замахали на крестьянских делегатов и министры, и советские, отговорили. Те прочли готовый тут проект правительственной декларации, согласились — и ушли.

А перекидка портфелей продолжалась. Недоставало ещё кадетов, и недоставало постов для них. Создать «министерство социального строительства»? Нет, пока только — социального обеспечения. Набокову? А он не хочет.

И нечего давать Кокошкину. Изобрели для него на правах министерства специальное ведомство по подготовке Учредительного Собрания.

Или — управляющего делами? (Неясно было с Набоковым.)

Уже не было сил ни у кого — двое суток чехарды, невыносимо! В половине третьего ночи, уже 4 мая, обе стороны подписали чистой экземпляр декларации — и на этом, зевая, разошлись, так и не составив правительства.

ДОКУМЕНТЫ — 25

ВСЕРОССИЙСКОМУ СОВЕТУ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ

В министерство земледелия поступает много тревожных известий о реквизиции волостными исполнительными комитетами племенного скота. Необходимо сохранить от убоя весь лучший скот России, которого и ранее было немного, а теперь лишь остатки... Каждый день дорог.

Министр *Шингарёв*

167

(Фрагменты народоправства — провинция)

* * *

В **Киеве** образовалось несколько властей — Комитет общественных организаций, от которого по многолюдству выделился Исполнительный комитет (он стал заседать в императорском дворце расстреливской постройки, среди зелени Царского сада, и получил полномочия от Временного правительства), Совет рабочих депутатов (там уже были активные большевики братья Пятаковы, и с ними Евгения Бош), Комитет военных депутатов (секвестровавший себе типографию Лавры), командование Военным округом и Центральная украинская Рада, кроме них — городская дума и губернские власти.

Киев быстро терял свой нарядный вид и чистоту, тут ещё добавились бедствия от небывалого наводнения Днепра. Новая милиция не стояла на постах, не справлялась с порядком, плохо понимала свои обязанности, не мешала бежать уголовникам или даже освобождала их за взятки. Ввели таксу на хлеб, тогда несколько пекарен прекратили выпечку хлеба. Забастовали военнопленные, обслуживающие городские предприятия, — с требованием себе 8-часового дня. В противоречие с газетами город живёт чудовищными слухами, в кофейнях и на улицах передают то о еврейских погромах в Одессе, то о контрреволюции в Ка-

луге. Много тревог после Украинского конгресса: боязнь, что украинцы объявят своё временное правительство.

Три тысячи солдат-украинцев из разных воинских частей, не спрашивая начальства, решили составить из себя 1-й украинский полк имени Богдана Хмельницкого. Выбрали командира полка и остальных командиров.

После наводнения человек двадцать солдат, руководимых одним штатским, под видом богомольцев проникли в дальние пещеры Киево-Печерской лавры, совершили кощунство над мощами преподобного Паисия и рассекли его череп. Монах поднял шум — негодяи скрылись. Епархиальный съезд напечатал объяснение, что это — черносотенная провокация, работа тёмных сил, которые пытаются играть на религиозных чувствах масс и тем вызвать беспорядки.

* * *

Да повсюду властей становилось множество: губернский комитет, уездный комитет, городская дума, губернский комиссар, уездный комиссар, губернская земская управа, уездная управа, совет рабочих депутатов, совет солдатских депутатов. А вот — наезжий из губернии самовольно смещает уездную управу. Ещё спорят из-за помещений. Часто городской комитет (иногда — человек 200) заседает рядом с думой и не признаёт её решений, выносит свои. Несколько учреждений толкуются на одном и том же, другие стороны жизни вообще никем не обсуждаются.

На Лысьвенском заводе **Пермской губернии** в состав совета рабочих депутатов полноправно вошли представители военнопленных.

* * *

На Александровских заводах военного ведомства в **Екатеринославской губернии** рабочие взялись менять администрацию. Помощником начальника завода назначили фельдшера.

* * *

В **Благовещенске** совет рабочих депутатов постановил: вместо того чтобы добиваться от судовладельцев своих требований забастовкой — реквизировать всю амурскую флотилию.

* * *

До самой революции, несмотря на затяжную войну, **мариупольский** городской базар был забит подводами из сёл; особенно изобиловала рыба — сушёная, солёная, копчёная, вяленая; на базарных кухнях бабы жарили пирожки, оладьи, варили уху, борщи с мясом, каши — всё стоило от копейки до пятака, ещё и с добавкой хлеба. С «Безкровной» всё переменялось: деревенский привоз исчез. Теперь сами горожане потяну-

лись в соседние сёла, таща за собой мешки с вещами на обмен и остатки «николаевских» денег, которые деревня продолжала принимать.

* * *

В городах продовольственной частью ведают на разрыв городские управы и продовольственные комитеты. В управах — неразбериха, из-за того что уволены многие опытные и давние работники и заменены ревдемократами, незнакомыми с техникой продовольственного дела.

В провинции нет сахару, белой муки, масла. Привоз хлеба из деревни после объявления хлебной монополии упал. Где твёрдые цены за пуд 2 рубля — покупатели дают 4 рубля, а с них спрашивают 5 и даже 8.

На **житомирском** городском продовольственном складе загубили 1000 мешков муки, полученной в середине марта, после революции. Разъярённая толпа рвалась учинить самосуд над членом Исполнительного комитета Арндтом.

В **слободе Николаевской** совет рабочих депутатов постановил, чтобы торговцы продавали свои товары на 50% ниже существующих цен. Покупатели кинулись в лавки. Торговля разгромлена, продавцы бежали.

* * *

В **Дмитровске-Орловском** солдат Егоров объявил себя властью, арестовал уездного комиссара и членов управы. Была угроза разгрома гарнизона винного склада. Общественный комитет вызвал войска. До их прихода весь день шли взаимные аресты. После их прихода Егоров покаялся и обещал никогда больше...

В **Ростове-на-Дону** задержан Краснянский, который призывал толпу не подчиняться ни Временному правительству, ни Совету депутатов — а спасти страну может только новый Стенька Разин.

* * *

В **Купянском уезде Харьковской губернии** толпа убила врача.

В **Мелекесе** убили фельдшерицу Колущинскую, любимую местным населением. Разбрасываются анонимки с угрозой сжечь посад, если к грабителям будут применять самосуд.

А самосуды, особенно над ворами, повелись по всей стране потому, что не стало настоящих судов, а задержанных выпускают. И во многих местах под свист, улюлюканье и насмешки толпа бьёт пойманного, потом добывает камнями или топит в реке. Бывает — и застреливают, есть чем.

В **Никольской слободе Астраханской губернии** солдаты схватили уже прежде смещённого ими подполковника Витковского, избили, разбили голову и посадили под стражу. После этого большая толпа солдат потребовала выдать ей из-под стражи бывшего пристава Попова для перевода в худшее место. Получили его, привязали за ноги верёвкой и потащили через базарную площадь. Искали на расправу также прапорщика и

полкового врача. Раздались крики, что надо арестовать и председателя Исполнительного комитета, и члена его, частного поверенного. Но тут солдат позвали на обед — и самосуды кончились.

В Курске полиция прежде обходилась городу в 20 тыс. руб. в год, новая милиция будет стоить 300 тыс. Городскую управу пополнили демократическими гласными, первое заседание длилось 7 часов, не дотерпели дослушать доклад бухгалтера и постановили повысить жалование служащим на 130 тыс., шестая часть бюджета.

* * *

Даже крупная культурная Рига наводнена самозванцами: все действуют от каких-то будто бы общественных организаций, производят «сборы» денег, вещей, обыски в домах — и с угрозами отказываются предъявлять документы.

* * *

Порядки в екатеринбургской тюрьме. Привратник не вооружён. Камеры не запираются. Арестанты из окон ведут разговоры с прохожими. Завели себе перочинные и сапожные ножи, открыто играют в карты. Празднуют свадьбу со спиртными напитками. Следователя сопровождают криками и бранью.

А то — бунт, захватили винтовки, убили надзирателя. Их требование: «отменить стеснительные меры, унижающие достоинство». Приехавшие начальник милиции и уездный комиссар взывают к их «революционной совести». Арестанты в ответ им хохочут и высмеивают на тюремном жаргоне.

* * *

В ташкентской газете была набрана статья с резкими нападками на председателя совета рабочих депутатов. Он распорядился разбросать набор. Номер вышел с белым пятном, озаглавленным: «Свобода печати».

* * *

На минералводских курортах ещё с весны — небывалое стечение публики, возникла жилищная нехватка. Местные ещё вполне спокойны, беспокойны только петербургские, пережившие революцию. Они приезжают с семьями, среди них всё чаще — известные лица. Собираются группами, обсуждают политические события: «Когда же это кончится?»

* * *

В Хвалынске Саратовской губернии появилось пятеро солдат, объявили себя уполномоченными петроградского Совета рабочих депута-

тов. В воскресенье 23 апреля они арестовали председателя уездной земской управы Баумана, прогрессивного деятеля, привели его на митинг, где толпа, подожжённая ими же, кричала: «Убить его!» Под конвоем его отправили в арестантское помещение, по пути толкали, били по голове, плевали в него.

На другой день так же арестовали, издевались и водили по городу, но ещё и с барабанным боем, — городского голову Клюхина, тоже прогрессиста, члена управы Белякова и гласного Платонова. Обыватели плакали, что полиция упразднена.

Хотели арестовать и воинского начальника — но не допустили стоящие в Хвалынске солдаты.

* * *

26 апреля в **Екатеринбурге** остановился на днёвку проходящий на фронт эшелон с тысячей солдат-сибиряков. Сперва они строем с красным знаменем пошли на Верхне-Исетскую площадь. Потом стали расхаживать по городу, везде сбивая магазинные вывески с гербами. В зале городской думы выдирали царские портреты из рам, заодно и портреты городских голов. Чугунный бюст Александра II выбросили на улицу, там разбили о мостовую в осколки. Служащие городской управы разбежались. На плотине солдаты никак не могли сорвать с памятников бюсты Петра I (основателя горного дела на Урале) и Екатерины I (основательницы города). Тогда пошли в мастерские, добыли инструменты. Туда же отнесли снятые бюсты и разбили их под паровым молотом. В музее уральского общества любителей естествознания — уничтожили статуи и портреты семьи Романовых. К солдатам примкнула толпа любопытных. Сделали попытки свернуть памятник Александру II на Кафедральной площади, но неудачно. Тогда на монумент надели рогожу. С проходящих чиновников срывали фуражки и уничтожали кокарды. Магазины закрылись. С рынка исчезли и торговцы и покупатели. Заводы стали бросать работу. Около памятника под рогожей — до вечера шли митинги.

* * *

В **Троицке (челябинском)** в день празднования 1 мая толпа разгромила винный склад на 40 тыс. вёдер, и перепилась. Беспорядки длились 3 дня, умерло от перепоя 150 человек.

* * *

В **Саратове** ещё в начале апреля, при начавшейся погоне за спиртным, войска несколько суток разбивали, разливали и спускали в канализацию пиво из бочек, десятки тысяч вёдер.

Но 25 апреля после митинга с революционными лозунгами толпа с участием солдат и под руководством освобождённых уголовников двинулась грабить винные склады, гастрономические магазины, затем и

лавки. На улицах появилось много пьяных. Караулы, посылаемые на охрану, напивались вслед за громилami. В одном складе пиво стало затоплять подвал — солдаты пили его пригоршнями. Там же почему-то хранились и бутылки с купоросным маслом, некоторые хватали бутылки, вливали жидкость в рот, обжигались, отравлялись.

26 апреля погром продолжался. Из уничтожаемого склада при гостинице «Россия» разлитое красное вино текло на улицу. Солдаты и босяки припадали к винным лужам и пили. Пожарные перекачивали вино из бочек в канализационные люки. Из Саратова пьяное движение перебросилось в слободу Покровскую.

Только на третий день погром был остановлен, до винокуренных заводов не допустила охрана.

Через неделю такое же повторилось и в **Самаре**, с убытком на миллион рублей.

* * *

В имение Шереметьевой, 7 вёрст от **Мценска**, ворвалась расквартированная рядом рота, начала обыск (владелицы не было дома, она — в воронежском имении). Не нашли ничего, кроме старинного оружия, но стали громить винный погреб. Вся рота перепилась, и во главе её два прапорщика тоже напивались до безчувствия. Пьяные солдаты пошли сообщать в бараки полка, что ещё много осталось вина. А во Мценске расквартировано два запасных полка, они хлынули за вином с котелками, чайниками, ведрами — офицеры не могли их остановить.

Это было 26 апреля. В имении перебывало 20 тысяч солдат, допивали вино и грабили. К ним присоединялись толпы соседних крестьян. Солдаты, посланные на подавление, тоже присоединялись к громилам. В дальнейших поисках толпы разделились и пошли громить винокуренные заводы Селезнёва (3 версты от города). Там часть спирта успели выпустить до их прихода, остальной захватила пятитысячная толпа, пила, набирала в посуду, уносила с собой. В конце разгрома имение Селезнёва и завод подожгли.

Жители Мценска — в страхе: близ города огромные зарева, по городу бродят пьяные солдаты с винтовками и кинжалами, поставленные патрули безсильны. В бараках валяются замертво пьяные, некоторые умирают от отравления. До рассвета на улицах пьяные крики и гармошки.

На другой день солдаты отправились громить ближние заводы Кашеварова и Куроедовой — но там весь спирт уже был выпущен, и погромное движение остановилось. Более отдалённые от Мценска заводы охранялись конными артиллеристами, присланными из Орла, но в сам Мценск их не послали из опасения, что возникнет столкновение с мценским гарнизоном.

Все семь вёрст от имения Шереметьевой до Мценска усеяны обрывками французских книг, журналов, разорванных ковров, тканей, ко-

жаной мебельной обивки (солдаты тащили и бросали по дороге). От французской библиотеки, занимавшей несколько комнат, — на месте одни разорванные листы. Пять роялей и пианино разбиты вдребезги. Уничтожена картинная галерея, где были оригиналы итальянских мастеров, — изрезанные холсты, разбитые рамы. Битые зеркала. В оранжереях всё потоптано. Разворовано два полных амбара семян. Но никто не убит, управляющего только душили.

* * *

2 мая **Кострома** согласилась признавать распоряжения Временного правительства.

* * *

4 мая сгорела половина **Барнаула**, 26 улиц центральной части.

ЧУЖИМ ДОБРОМ — ПОДНОСИ ВЕДРОМ!

Долго маячивший по газетам мелким шрифтом иск Кшесинской о выселении большевиков из особняка — наконец вот назначен к слушанию завтра, в камере мирового судьи Чистосердова. Что успел предусмотреть сноровистый Козловский — иск расплылся по нескольким ответчикам: и ЦК, и ПК (хотя его тут нет), и клуб солдатских организаций (хотя он тут никогда не заседал), и отдельно студент Агабабов (ему будет удобно защищаться), и кандидат прав Ульянов (а он отказался принять повестку, поскольку в особняке не проживает), — и ещё затягивали, чтобы предъявили иск броневому дивизиону, и даже скорodelную вывеску его повесили на решётке, — но суд признал, что дивизион уже ушёл.

Благодаря стольким ответчикам — можно было и защитников выставить нескольких против одного Хесина, поверенного Кшесинской, — в несколько глоток легче переговорить. Это будет, конечно, неизнуримый «Меч» Козловский от ЦК, необузданный Саркис Богдатыев от ПК и он же от солдатского клуба, третьим — Агабабов, а ещё придумали и так, что жена Богдатыева в начале заседания добровольно заявит себя в качестве ответчика как глава «агитаторской коллегии»: та тоже помещается в доме Кшесинской и выселением были бы нарушены её интересы.

Собственно, ожидаемый завтра суд не может иметь никакого реального значения, потому что большевики всё равно из особняка не уедут, но всё же он может лечь тенью на общественное лицо партии после недавних анархистских захватов, и вот почему надо бы в грязь не ударить. Можно бы, конечно, натолпить большевиков в само заседание и вокруг здания и так сорвать суд, — но после апрельских дней это был бы неосторожный выход, обозлим. Нет, срывать суда не будем. Хотя толковая пара Козловский-Богдатыев конечно же справится и сама, а Ленин решил на всякий случай прорепетировать. Позвал их на второй этаж в небольшую комнату, объявил торжественно-насмешливо:

— Я буду — отчасти Хесин, а отчасти сам Чистосердов. И давайте проведём чин по чину заседание, — прищурился. Он иногда любил розыгрыши, да в обстановке эмиграции чем, бывало, и веселились.

Он был в жилетке при белой сорочке с галстуком, без сюртука. Показал троим на стулья, сам присел на витую венскую кушетку, отбросился на круто подвышенное изголовье, заложил большие пальцы за вырезы жилетки и строго спросил, косясь:

— Почему же не явился кандидат прав Ульянов? По данным суда, он проживает в особняке.

— Никак нет, гражданин судья, — выставился Козловский. — Он проживает у своей сестры по улице Широкой.

Ильич смотрел настроенно:

— Так вот я, присяжный поверенный Хесин, должен заявить, что революцией право собственности не отменено. Пусть новое время создало новые отношения в гражданско-правовой области, но и эти отношения должны регулироваться органами власти. Как гражданин и юрист я настаиваю: законы сохраняются и при революции. А пока не созданы новые законы — действуют старые. И вот я должен зачесть вам следующие сенатские разъяснения...

Зачитывает. — (Смежил глаза Ленин.) — Налицо — все признаки самовольного владения чужим имуществом. Большое впечатление на судью. Пожалуйста, господин Козловский.

Козловский не поднялся изображать стоя, а удобно в венском стуле, нога за ногу:

— А зададимся вопросом: что бы произошло с дворцом, если бы его не заняли нынешние организации? Толпа знала о близких отношениях Кшесинской к членам императорской фамилии, и толпа боялась, что этот дом может стать очагом реакции. Броневики и партийные организации в те дни *спасли* особняк от разгрома! Я пришёл сюда не для того, чтоб отрицать право собственности или выиграть дело в банальном смысле. Я — протестую против утверждения истца, будто революционные организации захватили дом незаконно. Такой захват не имел места. Кшесинская сама оставила свой дом на произвол судьбы.

— Неплохо, неплохо, — шевелил Ленин приплюснутым носом.

Свои — пригляделись, а на чужой глаз жирно-округлое лицо Козловского могло бы показаться одной половиной упитанной задницы, к которой пристроили — чёрную щётку усов и очки. Но — какой деловой:

— Пусть истец докажет *документами*, что было нарушено право владения. Пусть истец докажет: сам факт владения Кшесинской с 27 февраля и последующие дни и факт нарушения этого владения революционными организациями. И только документально!

— Во-во! Замечательно! Пусть докажет документально! — встряхнулся Ленин с морщинками смеха. — А что скажет второй представитель ответчиков?

И у Козловского была манера говорить живая, быстрая, а у Богдатыева ещё огневей:

— Я полностью присоединяюсь к доводам господина Козловского. Броневики заняли особняк по распоряжению революционной власти. В этот момент Кшесинская фактически уже и не владела особняком. Мы же поселились по приглашению броневиков, на что они имели полное революционное право. Самовольного захвата имущества тут нет, а есть вынужденное проживание за отсутствием других помещений. Оставаясь в плоскости факта: дом был занят также и по просьбе домашней прислуги, опасавшейся разгрома. Мы вселились на правах субарендаторов, приглаше-

ны фактически владельцем, бронедивизионом. Мы — не грабители, мы — крупная политическая организация. Нам совсем не до того, чтобы теперь охранять имущество балерины, которое и сегодня не гарантировано от ярости толпы. Нам не разрешено жить в доме Кшесинской, но и не запрещено. Как только Исполнительный Комитет Совета даст нам новое помещение — мы охотно выедем. Да пожалуйста, — чернокурчавый экспансивный Богдатыев подхватился со стула, — я лично могу выехать хоть сейчас. Но куда денется клуб военных организаций, насчитывающий три тысячи человек? Но куда денется агитаторская коллегия? И остающееся подразделение броневого дивизиона?

— Броневой дивизион оттуда уже выехал, — возмутился с кушетки судья Чистосердов.

— Нет, простите, он остался там.

— Нет, простите! — вскочил и Козловский, и надулся. — Он пребывает там, даже вывеска его висит, вы можете прийти проверить.

Ленин, оперевшись об оба колена, локти в стороны, заливался в мелкой дрожи, тряслась рыжеватая борода:

— Ну хорошо, это вопрос второстепенный.

Оба сели. Агабабову:

— А что скажете вы?

— А я, — поднялся длинный мрачный Агабабов, — въехал по распоряжению Военной комиссии для реквизиции гаража балерины и её автомобилей. Но машин уже не оказалось, поставили революционные. А Кшесинская всё бросила — и весь дворец, и всю прислугу без провизии и без денег, — и броневой дивизион должен был кормить прислугу.

— Я решительно протестую! — взнегодовал подбоченный Хесин, меча подбодряющие взгляды. — Моя доверительница оставила и повара, и провизии на месяц. А неожиданные квартиранты всё это съели.

Богдатыев, рука ко рту, как артист подаёт «в сторону»:

— И выпили два ящика шампанского.

— Не знаю, не видел, — отрицал невозмутимый Агабабов.

— Это — тоже вопрос второстепенный, — присудил судья. — Но вот я, Хесин, прочёл вам три сенатских разъяснения. Вы говорите — вы сохранили имущество. Но охрана имущества не даёт права на имущество. Мало ли что говорит толпа — слухи о царской фаворитке, угрозы разгрома... Например, есть слухи, что вы

привезли из Германии в дом моей доверительницы немецкое золото, я же этого не повторяю перед судом. — Голос всё-таки вздрагивал смехом. — Я апеллирую к законному порядку! Броневой дивизион не имел никакого приказа революционных властей занять особняк, это установлено фактически. Но дивизион уже уехал. И вы тоже — как въехали в один-два дня, так можете в один-два и выехать! Закон есть закон — и вы не можете им пренебрегать! А вы совершили беззаконие.

— Без-за-ко-ние? — импульсивно вскочил Козловский и живо забегал по комнате, маленький, толстенький, по затоптанному, давно не натёртому паркету. — Здесь говорят о беззаконии? Да как вообще можно говорить о законном и незаконном в революции?? В разгар революции — кто думает о законности, когда сама революция по существовавшим к тому моменту законам является беззаконием, караемым смертной казнью? Революция и закон — понятия несовместимые! Да ваш сегодняшний суд, воспринявший свою власть от Временного правительства, тоже являлся судом беззаконным, если в духе законов царского времени! Да по тому старому закону и само Временное правительство подлежит виселице!!

Ленин захохотал, схлопнул ладони над собой:

— Великолепно, Меч! Умри, лучше не скажешь!

— А какое право оно имело захватить Мариинский дворец? Зимний? — доколачивал Козловский. Как опытный юморист, он был почти совсем серьёзен. — Сейчас мы создаём новые формы общественной жизни, и закон может опираться только на общество, а не наоборот!

А Богдатыева и тем более не удержишь, вскочил и, добавляя к скандалу:

— В революцию законы создаёт улица! Настоящий творец права — улица!

— Ка-ак? — отбросил обе руки над собою Ленин, изображая ужаснейшее изумление судьи Чистосердова. — Как это может быть? Если улица диктовала бы волю, то... вожди революции были бы в ужасном положении.

— Так оно и есть, — ослабился Богдатыев, быть может вспоминая листовку ПК 21 апреля. — В революционном правотворчестве участвует весь народ. Революционное движение начинается всегда на улице, и так развивается процесс творчества нового права.

— Верно!! — утвердил Ленин победно. — В таком случае я предлагаю вам покончить миром.

— В таких случаях и поступают по совести, — любезно согласился Богдатыев. — Или дают приличный срок для выезда, или оставляют жить. В Петрограде нет свободных помещений. Если земгорсоюз реквизирует помещения с разрешения властей — почему этого не может сделать клуб солдат? Исполнительный Комитет не посылал нам бумаги о выселении, потому что таким большим организациям — куда же деться? Оставьте дом у нынешних квартирантов до конца войны.

Ленин смягчил:

— Или не меньше как на два месяца.

А уж за два месяца революция шагнёт гигантски.

169

4-го мая, к трём часам дня, покинув всё неотложное, поехал Шингарёв на Кронверкский в Народный дом: торжественно открывался съезд Советов крестьянских депутатов всей России, и кому же, как не министру земледелия, могло Временное правительство поручить приветствие?

Хотя, уже преданный ими, какой же он был ещё министр земледелия? После вчерашнего ныла в нём глухая тёмная пустота. А спешить работать — надо.

Присоединили его к президиуму из одних социалистов — и, отсюда оглядев двухтысячный зал, партер, ложи, два верхних яруса, Шингарёв удивился: а где же крестьяне? Редкими малыми кучками видел он их зипуны или деревенские пиджаки — а то всё солдатские шинели да обычная городская публика. (Городские сидели без шапок, а солдаты и мужики в шапках.) Спросил у соседа: где же крестьяне? А, мол, есть делегаты не крестьяне, но по доверенности от крестьян: вопросы ведь будут не специфически аграрные, а общеполитические; выбирали, насколько позволяло время. Съезд продлится две-три недели, ещё будут подбывать.

И — пропало настроение Шингарёва, что он тут сейчас с крестьянами поговорит лицом к лицу. Уж скорей бы давали ему слово, отговорить приветствие да уехать.

Но куда там! Чем меньшая толика крестьян необъятной России тут собралась — тем больше раздували помпу.

Стенографистки, внизу от трибуны, приготовились строчить.

Вышел открывать съезд какой-то эсер Маслов — одет не празднично, без белой рубашки и галстука. Очень свободный в движениях, и голос звонкий:

— Граждане! В истории России и русского крестьянства мы в первый раз в вашем лице имеем центральный орган всего русского крестьянства, избранный так свободно и представленный так полно. Историческое наследство, которое мы получили, огромно и тяжело. Это — забитость и убитость прав трудовых широких масс. И — механичность российских связей, которые держали нас просто как картошку в мешке. А теперь революция уничтожила прежние государственные скрепы, и мы переживаем некоторые болезненные явления. Перед глазами наблюдателя...

Не слишком ясно для крестьян. И — какого ещё наблюдателя?..

— ...чеканно выступает развернувшаяся пружина, которая в течение сотен лет была насильственно согнута. Но это чувство своих прав действует слишком сильно, и я с грустью констатирую, не осудите за нотки печали...

Ну-у-у-у...

— Мы находимся на празднике, но действительность, которая нас окружает, часто вызывает больше жути. Нормально ли, что когда в стране большие запасы хлеба, мы не даём его в армию и в города, и некоторые районы близки к катастрофе?.. Съезд должен поставить своей задачей кристаллизацию народных сил. Заставить крестьянство помнить не только о его правах, но и об обязанностях перед родиной. Иметь в виду интересы светлого будущего! Объявляю Совет Крестьянских Депутатов Великой Русской Земли — открытым! Желаю вам успешной работы на пользу страстотерпца русской земли. Организационное бюро предлагает избрать почётным председателем съезда — Бабушку Русской Революции!! — тут голос он поднял до пронзительности.

Об этой Бабушке за минувшие недели шесть, какую газету ни разверни, — везде прочтёшь, повсюду она ездила и держала речи, а ей же под 80 лет. Говорят, она в начале 70-х годов, уже не первой молодости, покинув мужа, а ребёнка отдав жене брата, отправилась пропагандировать среди крестьян. Не запомнил Шингарёв её специальных заслуг, но полвека жизнь её была — поселение, по-

бег, эмиграция, нелегальное положение, каторга, амнистия, сбор денег в Америке на революцию, опять агитация, — и вот теперь с большим почётом эсеры везде возили её и показывали. Когда-то она звала на террор, теперь по пути через Сибирь говорила, что радостней всего видеть отсутствие всякой власти, а приехав — звала народ забыть прежние распри и ничего нет выше любви.

И вот её сейчас внесли на руках в кресле на сцену — полную, крупную седую старуху, с крутым добрым лицом, она улыбалась и помахивала залу рукой. Все поднялись, хлопали, а крестьянские и солдатские депутаты тем более, сдирая шапки с голов, поняв, что это если не новая царица, то святая.

Поставили кресло — Бабушка несмущённо встала, прошла с развалочкой сразу к трибуне, уверенно её заняла и привычно заговорила, совсем не слабым голосом, отличная дикция, без напряжения голосовых связок при большом зале:

— Граждане! 50 лет сознательной жизни я только и думала об этом дне, когда наконец российское крестьянство станет во главе судеб русского народа. Граждане! Я не знаю человека счастливее себя. Сколько прекрасных товарищей погибли раньше меня, за много лет. 50 лет потрудившись на революционной работе, я, когда получила телеграмму, что совершилась великая революция, сейчас же подумала: а готовы ли мы довести эту революцию до счастливого конца? Вы можете взять всю землю, всю волю, всё образование, не пролив ни капли крови. Но от вас потребуются внимание к нуждам родины.

Ничего, вполне ясный ум, поворачивала к делу.

— Но я несколько не сомневаюсь, что как только крестьянство вступит на политическую арену — оно проявит разум и терпение. Я рада за свой народ. Проезжая губернии, я видела: крестьяне настроены благородно, сознают свою мощь и не хотят употребить её во зло кому-нибудь. Они осторожны, как всегда, понимают, что разорить Россию можно в год-два, но это невыгодно, нужно, наоборот, соблюсти её богатства и имущества.

Например, племенной скот, который повсюду режут.

— Вы как хозяева отлично знаете, что отец сыновьям должен оставить лучшее, а не худшее наследство. Граждане! Свобода — это не только благо, но и обязанность. А на шею России навязывают новые долги: вся Россия занята исключительно содержанием армии. Подумайте, выгодно ли нам держать фронт в боевой готовности и сидеть сложа руки? Если бы наша армия захотела бы дей-

ствительно помочь союзникам — война бы кончилась в один-два месяца. А мы её, граждане, затягиваем. Германцы что-то не принимают протянутую руку. Я бы спросила всех присутствующих: кто знает такой секрет или волшебство, чтобы кончить эту войну не сражаясь, — и я поклонюсь ему в ноги. Но нельзя же отдать 170 миллионов наших людей в угоду Вильгельму и Карлу!

Сильно хлопали, а старуха проплыла к столу президиума и усе-лась.

Однако до дела — до дела было ещё далеко. Теперь объявил Маслов, что съезд нуждается и во втором почётном председателе — и таким будет вождь эсеровской партии Виктор Михайлович Чернов.

Вот он, соперник. Его — не на кресле внесли, но он значительным шагом вышел из-за кулис, где предусмотрительно хоронился до этой поры. Нет, не был это необузданный вождь террористической партии — это был 45-летний бонвиван, чуть с первой сединой, наслаждённый своей привлекательной наружностью, отличным костюмом, модными ботинками, свежайшим крахмалом вокруг шеи, каждым хитро отделанным волоском бородки (то ли лира, то ли перевёрнутое дубль-вэ) и самой же причёски, где тоже была рассчитана каждая волнистость. Это наслаждение своим видом, голосом, поворотами головы, расположением пальцев на столе — Шингарёв заметил за ним ещё на заседаниях Контактной комиссии, едва Чернов только приехал из Европы. Но странно, что он не откинул этой манеры и перед аудиторией, которая считалась крестьянской.

И опять все встали, — а Чернов лениво-величественно выслушал аплодисменты, слегка покланиваясь, и в той же манере перешёл на трибуну. Голос его был такой же сочный, жизнелюбивый, как и весь вид:

— Товарищи! Двадцать лет назад мне, тогда ещё юноше, выпало счастье принять участие в первых попытках создать организацию российского трудового крестьянства для борьбы за его заветные думы.

Какую это организацию, где, кто о ней слышал? И будто была борьба с оружием в руках против заклятых врагов народа, и не с лёгким чувством обнажаешь оружие...

— И о тех бойцах героической Народной Воли, которые в то время, когда народ ещё спал, одни оставались зовущим примером для всего народа... Всех тех, кто не дожил... когда мы достигли ве-

ликого счастья дышать на свободной Руси свободным воздухом политической свободы, — мы должны вспомнить здесь со скорбью.

И был понят сигнал — и начали вставать, и все вставали и опять снимали шапки, на ком были (и Шингарёв тоже встал, со всем президиумом), и начали нестройным хором петь вечную память.

Ах, тоска! Грозно зависло живое дело — а тут... И крестьяне должны начинать с этих чужих им поминок.

А Чернов продолжал с видимым большим удовольствием:

— Когда первые борцы звали своим примером на борьбу с оружием в руках, — все мы верили, что увидим и мирный земледельческий народ с оружием в руках. И когда судьба вложила оружие в его руки — он произвёл такое возрождение в России, какое повергло в изумление другие народы.

И как закрепить кровью на улицах столицы братство солдат и рабочих, где их расстреливали протопоповские пулемёты. А теперь это братство ещё больше закрепится крестьянскими депутатами — и для всех, кто замышляет контрреволюцию...

Да скажи, как накормить страну? Вот с августа начнётся сев озимых — и не провалить его, как мы провалили яровой.

— Товарищи! Русская революция была для многих какой-то сказкой. Я приехал к вам из-за границы. Там этой сказке ещё недостаточно верят. Но если мы начали рассказывать такую хорошую сказку, то у нас появится охота и продолжать эту сказку. И мы расскажем сказку — сказку о земле, которая станет раскрепощённой. А когда мы скажем эту сказку — то за ней легко будет последовать и всем другим народам. И вот, товарищи, начав построение нового храма труда в светлой России...

Невыносимо горело Андрею Иванычу. Хоть прямо вскочи — и беги прочь.

— ...от фундамента, этаж за этажом, и вплоть до купола — здание всеобщего труда, освобождённого от чужой эксплуатации. Раньше он был каторгой и проклятьем, теперь он делается творческим. Мы были терпеливы. Долгое время народ не отзывался, но мы не махнули на него рукой, не поставили крест.

Вот ведь какие благодетели.

— Мы, трудовая Россия, собираемся сказать свою сказку о мирении Европы... Мы обращаемся к крестьянам Болгарии, Австро-Венгрии, Германии, Турции... ко всем, ко всем ту же самую вечную сказку, которая слишком долго была сказкой, и пора ей

наконец превратиться в действительность... чтобы народы успели обуздать все правительства...

И вот именно этому болтуну — отдать теперь всё земледелие России? И он будет им вертеть? Бедная, бедная наша земля.

Пока бурно аплодировали, Шингарёв ловил взгляд Маслова, чтобы дал наконец слово.

Куда там! Маслов выступил с новой торжественностью и объявил о третьем почётном председателе съезда — Вере Фигнер. И опять вставал зал и аплодировал Фигнер. И она, маленькая, сухонькая, с гладко причёсанными седыми волосами, тоже начала речь.

Шингарёва уже пробил пот: куда он встрял? Ждала его большая общерусская работа, а он сидел тут, может быть уже последний день министр, может быть завтра никто, — зачем тут? Может быть завтра и никто, — но всё равно ему и отвечать за весь дальнейший ход, что сделают и без его участия.

Фигнер — он уже слушать не мог, просто ни одного слова не слышал. Вспомнил, как в 1-й Думе крестьяне не выдержали руководства трудовиков и социал-демократов и откололись в отдельную крестьянскую секцию. Может, ещё и здесь так будет. Чтó в крестьянских головах — эти вожди ещё не представляют.

К счастью, Фигнер не говорила долго.

После неё предложили избрать ещё четвёртого председателя, но уже не почётного, а простого, — Авксентьева. Вышел и он вперёд — с горделивой осанкой и чуть покачиваясь. Также красив, красивые вожди у эсеров. Но этого — Шингарёв совсем ещё не знал.

А слово дал Авксентьев — опять не ему. Как же! — ещё же болтался, скоро месяц в Петрограде, французский министр Тома, свадебный генерал, всем уже надоев своей грузной фигурой, грубо высеченным неумным лицом и манерою повсюду лезть выступать.

Так и сейчас: он желал (по-французски, а переводил социалист Рубанович, тоже только что из Парижа) приветствовать русское крестьянство от имени французского крестьянства. Сто лет назад во Франции произошло то же самое, что теперь в России. И тогда, наверно, французские крестьяне защитили бы все свои свободы, если бы вожди революции не делали ошибки одну за другой.

Мало кто толком что-нибудь понял — но аплодировали.

И наконец-то дали слово Шингарёву. А требовалось с него — всего лишь приветствие от Временного правительства. Но он начал с разумных слов Брешко-Брешковской об обязанностях, кото-

рые налагает на граждан завоёванная свобода. Правительство только и может работать при поддержке всей страны. И если народ три года посылал своих сынов на поле брани — он не откажет родине в хлебе.

Вот и всё. И теперь он мог уезжать к себе в министерство. В президиуме он уже узнал распорядок: сейчас будет от черноморской делегации выступать долговязый феноменальный матрос Баткин, с дико-пламенными глазами, уже поразивший обе столицы. Потом все перейдут в зал старого здания — и там под оркестры и со знаменами «Земля и Воля» произнесутся приветствия петроградского гарнизона. И потом — снова в этот зал. И ещё вечернее заседание — и снова, и снова приветствия — от Совета рабочих депутатов, от казаков, от инвалидов, от бывших военнопленных, от офицерских депутатов, от Вольно-экономического общества, от членов 1-й Думы, от партии дашнак-цутюн...

*СЛОВА СЕРЕБРЯНЫ, ПОСУЛЫ ЗОЛОТЫЕ —
А ВПЕРЕДИ БОЖЬЯ ВОЛЯ*

Любимейшие книги князь Борис отдавал переплетать в Петербург лучшим переплётчиком, а Мамá потом пересылала. Так и сейчас вот прислала роскошно изданную и самую полную «Орнитографию Россика», Борис очень её ценил, хотя знал всех наших птиц наизусть. Вот и переплётчик стал работать с опозданием, вот и папиросница Биляр перестала присылать заказные папиросы, всё и в Петербурге приходило в расстройство. Вся Россия годами,

десятилетиями *просто жила*, привыкла жить, каждый по своим делам, и кому могло прийти в голову, что вся эта заведенность зависит от монархии?

А что говорить об Усманском уезде? Революционеры по уезду разливались — и от Моисеева, и помимо него, и дезертиры с фронта, и балтийские матросы, — и где-то неслышно по избам, а где-то слышно по митингам впрыскивали и впрыскивали свою ядоносную пропаганду. И шаткие, непривычные крестьянские мозги кровянились злобой. Толковалось народоправство как самое полное самоуправство, — и комитеты, вот только что избранные, теряли кредит у односельчан, если не совершали насилий или призывали к умеренности.

На сельском собрании в Коробовке (к счастью, князь Борис не поехал) обсуждалось: кому должна принадлежать земля. В Княже-Байгоре у Вельяминовых (самых их нет никого сейчас) сожгли ригу с хлебом. А в Ольшанке «арестовали» и увезли в Грязи студента-ботаника с питомника луговых трав.

А что ж — уезд? Воинских команд теперь не посылалось, разве только встречаемые агитаторы — какой-то прапорщик да какой-то солдат ездили произносить речи в пользу порядка. Уездный крестьянский съезд по подстрекательству моисеевского совета депутатов — сместил уездного комиссара Охотникова, вполне порядочного человека, а губернский комиссар Давыдов, который и назначил Охотникова, не защитил его.

Давыдов, правда, в прежние годы был в губернском земстве из крайне левых — но в марте, кажется, рассуждал вполне государственно. А вот...

В таких условиях ехать на кадетский майский съезд в Петербург, как князь Вяземский намеревался, нечего и думать. И странно представить: кто при этом развале вообще может ехать на тот съезд? А с другой стороны, ещё более неправдоподобным образом продолжали, как будто ни в чём не бывало, функционировать прежние ветви государственного управления, при всей неустойчивости обстановки. Вот — вызывали князя Вяземского в Усмань на совещание Исполнительного комитета вместе с Советом о реквизиции лошадей и подвод для военных нужд, будто существовала реальная власть провести сейчас такую реквизицию. (Князь Вяземский использовал это совещание, произнёс речь о беззаконии волостных комитетов.) И тут же вызывали председательствовать в комиссии по призывам: общий пересмотр всех белобилет-

ников. А поехав в Усмань, услышал, что губернское земское собрание намерено избрать своим председателем князя Вяземского. Но как ехать ещё в Тамбов в каждодневном страхе за Лили и Асю при каждой своей отлучке из Лотарёва? И куда там ещё возвышаться, когда, по усманской обстановке, он вот-вот потеряет и уездное предводительство, да с ним вместе и белый билет — и под ликование всего демоса будет сам отправлен в окопы? Дни уездной деятельности — безсомненно сочтены: аристократ, «буржуй» и связан со «старым режимом». В Учредительное Собрание уж конечно теперь не выберут... Можно остаться хозяйничать в Лотарёве — но и это шатается. На всё махнуть, уйти куда-нибудь в дипломатию, что ли? Если вон Терещенко в 29 лет стал министром, почему не найдётся поста помельче для князя Вяземского в 33 года? Это не трусость: князь Борис выступает на собраниях, в спорах — резко противно нынешнему большинству. Но к чему это всё, если закачался весь завтрашний день России? А идти в военный строй, в окопы, при сегодняшнем развале армии — действительно обидно.

Уже показали ландыши, любимое лилино, начала расцветать сирень — но эта весна была супругам Вяземским не в весну. А что ж для вдовы, для Аси? Не может покинуть могилу, но и не может жить без детей, — а куда же тут брать детей?

Девушка Лили, очень верная, передала разговор коробовских крестьян: что марсала — изрядно крепкое вино (откуда-то уже пили?) и небось у князя есть. Пошли проверить своё наличие. Нет, пока ещё не разграблено: двести бутылок самого драгоценного и редкого, восемьсот — поменее, среди них и марсалы немало. И что теперь делать с этим вином? Выливать? — так чтоб никто не узнал — невысказано, а узнают — хуже. Да жаль и вина. А приманка. Или продать кому? Но как перевезти?

Тут — ещё сюрприз. Везде — комитеты, созданся и комитет усадебных служащих. И позавчера утром торжественно предъявили князю ни много ни мало — письменное требование: повысить жалованье кому в полтора раза, кому чуть не в два, и повысить продуктивное содержание. И на всё даётся князю три дня сроку! — а иначе забастовка.

Взбесился. Уже с прошлого года, по нехватке людей, капризничали то один, то другой. Этим февралём уже сделал крупные прибавки всем на дороговизну. А всякая переплата одним развращает остальных. А продуктивное содержание — кто теперь может

увеличить, если по хлебной монополии оставлены низкие нормы на едока?

Мало того: усадебные привлекли к своим требованиям и домовую прислугу, — особенно обидно: ведь служили в этом доме из поколения в поколение, были как свои, неотделённые, — и вдруг забастовка?

Но к концу того же дня стало известно, что в Усмани начинается пересмотр белобилетников, и князь едет туда. И как сразу всё изменилось! Председатель комитета служащих Горбачёв заметался перед князем, бранясь на «тех, кто так писал». Управляющий конюшнями Устинов — плакал и клялся, что боялся угроз конюхов, это они его принудили подписать. А дворецкий Ваня: «А я ничего и не понял, подписал не читая».

Нет уж, прежним отношениям не быть. Теперь расшвырял бы этих свиней с наслаждением. Но где найдёшь замену?

Вчера князь Борис с утра уехал в Усмани, а после обеда туда телефонировала Лили, что в обед явилась в поместье огромная разъярённая толпа крестьян с кольями и палками — на то самое место, где так недавно они дружелюбно фотографировались с флагами и хоругвями вместе с князем и качали его, — а теперь кричали: удалить управляющего, срок — сутки, иначе будут громить имение; и от завтрашнего дня подённая плата мужчинам 5 рублей, женщинам 3 (сразу в три с половиной раза). И пригрозили служащим: если будете работать — побьём и вывезем на тачках. (Как они эти тачки перехватили с петроградских заводов? — ведь такая обычая тут отроду не было.)

Прервав дела в Усмани и уговорив с собой помощника уездного комиссара, члена продовольственной управы, одного офицера и одного разумного солдата от совета — спешно вернулись этой ночью в Лотарёво. Застал старика Никифора Ивановича испуганным до полупомешательства, а Лили с Асей бодрились.

С утра приехавшие депутаты власти отправились разъезжать по деревням, уговаривать, что нельзя выгонять управляющего, — но выслушивали там только оскорбления и что сами живыми не уедут.

А тут, в самом Лотарёве, развивалась невиданная забастовка: решили только кормить животных и ничего больше. Коров подоили — но надой выставили на дворе перед ледником, чуть не донеся, — и молоко скисло. В дом не поступало электричество, вода, а повару запретили готовить.

Стараясь не терять хладнокровия, князь Борис начал переговоры со служащими в конторе. Перечислял им прежние добавки, указывал на хлебную монополию, предлагал добавку компромиссную. Да они согласились бы тут же, призывные струсили, — но теперь надо всеми висела ещё угроза мужичья.

И мужики не замедлили: вслед за вернувшимися депутатами уездных властей — хлынули и они, сюда на большой двор, — и страшно было увидеть, как от недавнего исказились злобой и жадностью знакомые лица. Не свои крестьяне — а разбойники.

Не только во двор — некоторые лезли и в контору, и под этим страхом комитет служащих брал назад, в чём успел согласиться. И уже требовали не прежней своей добавки — но и им платить по-дённо, как крестьянам, 5 и 3 рубля.

Кое-как уговорили мужиков пока выйти из конторы. Но они ревели тут же, за дверьми, а служащие выбегали туда с ними советоваться.

Князь Борис просил помощника уездного комиссара:

— Надо же сказать народу твердо.

Тот ответил в отчаяньи:

— Какая может быть речь о твёрдой власти, когда в стране анархия?

И слишком громко сказал: слова его слышали, и всё было проиграно окончательно.

Настроение толпы во дворе было погромное — и лишь потому не начали громить, что были не пьяны, ещё не добрались до погребя.

Князь вышел на крыльцо, к толпе. Повернули головы. Стараясь наиграть голосу достоинство, твёрдость, каких уже не было:

— А если Никифор Иванович уйдёт — обещаете ли вы вести себя прилично?

Раздались голоса:

— Обещаем.

А другие:

— Ничего не обещаем!

А кто-то из задних рядов резко:

— А когда, ваше сиятельство, пойдёте в солдаты?

Стараясь усмехнуться спокойно:

— Пойду, когда прикажет начальство.

— А начальство — теперь мы!!

— Ну... не совсем так... — Не найдёшься, что и сказать.

Обещали им эту вздутую подённую плату, в полный разор хозяйства.

А служащие согласились — на первую умеренную прибавку. Уже вечернее молоко дойдёт до ледника. И княжескому повару разрешили готовить обед, и всем домашним — служить, стала в дом поступать вода.

Толпа ушла.

Никифор Иванович собирался уехать сегодня вечером.

Хорошо служил — за то и выгнали.

Во всю жизнь никогда не чувствовал себя князь Борис так гадко, так оплёванно, так беспомощно, как в этот вечер.

А теперь — он управлять уже будет сам, и всякая зацепка — прямо на него.

Вот что надо: просить Временное правительство прислать в Лотарёво как в особо культурное имение — отдельного комиссара. И лучше всего — офицера из главного управления коннозаводства, чтобы спасти конский состав.

А самим бы с Лили — уехать к осени. В Ессентуки, к родителям Лили? В Алупку к Воронцовым? За границу?.. Совсем бы куда-нибудь.

Э т о г о — уже не спасёшь.

171

А сегодняшнее совещание с Главнокомандующими назначили уже в Мариинском дворце, в зале с большим овальным столом. Генералы приехали точно к часу. Часть министров уже ожидала их тут, остальные прибыли вскоре, все десять оставшихся. От Государственной Думы — сильно обременённый, обвисший Родзянко, с ним Савич. (Многих Гурко узнал этой зимой, при конференции с союзниками.)

А ожидаемых советских — ни одного.

Главных разлагателей — вот их-то и увидеть. Посмотреть им прямо в глаза: что они — *не понимают*, что делают? Или — прекрасно понимают?

Такого случая объясниться — второго не будет. От этого или дальше покатится — или всё-таки можно остановить? объяснить им?

Пока разговаривали, расхаживали, звонили в Таврический дворец.

Уже, мол, выехали, на четырёх автомобилях.

Так. Подождали ещё.

Ввалились. Много их. (Любопытно посмотреть на Главкомандующих?)

В первомартовские дни в далёких местах фронта, ото всех петроградских событий получая только обрывки телеграфных лент, — разве можно было представить себе и этих вылазней, и их чудовищную будущую власть? Где они все прятались раньше? И не военные, и не государственные люди, неизвестно откуда возникшие, пятого и десятого плана, — и почему же именно им досталось решать судьбу русского государства? (Узнал по минскому съезду Скобелева с грозной генеральской фамилией, помнил его наглуго там речь против офицерства. Сейчас стал чистенький, в галстук, очень бережная причёска, и чуб напускает. Просто дурак, написано за версту.)

В совещании более позорного состава ещё никогда не участвовал генерал Гурко.

Расселись, вся генеральская малая кучка рядом. Невозмутимый, мягкоголосый князь Львов вступил: сегодняшнее заседание устроено для того, чтобы вы, господа, своими собственными ушами услышали о положении дел из первоисточников и сделали бы свои выводы.

Слово Алексееву. Тот встал, поправил очки, прокашлялся и тихо, не напрягая голоса:

— Я считаю необходимым говорить совершенно откровенно.

Если б это было так. Но совершенно откровенно — Главкомандующие могли говорить только между собой, три дня назад в Ставке и в поезде. Уже вчера перед несколькими министрами не стало той простоты, генералы почему-то стали замазывать и обнадёживать.

— Нас всех объединяет благо нашей свободной Родины.

Да не всех... Кого — Интернационал.

— Цель одна — (и тоже не у всех одна) — закончить войну так, чтобы Россия вышла из неё хотя бы и уставшей и потерпевшей, но отнюдь не искалеченной.

О переброске немецких сил на Запад. О доверии союзников.

— Казалось, революция даст нам подъём духа. Но мы пока ошиблись. Не только нет подъёма, а выплыли самые низменные

побуждения. Причина та, что теоретические соображения брошены в толпу, истолковавшую их неправильно. Лозунг «без аннексий и контрибуций» приводит необразованную массу к выводу: для чего жертвовать теперь своею жизнью? Однако: на каких условиях кончать войну — должно обсуждать правительство, а не армия.

Хотя бы вчерашнее всё повторил. Нет, смазал, и коротко, робеет перед этой глазастой ордой. И передаёт слово Брусилову.

А Брусилов — и вчера уже достаточно сдал. И сейчас настороженно узкой голой головой водит, тонко-тонкоусый, как бы не ошибиться, не сказать невпопад. Да он-то никогда не ошибётся. О недостатке кадрового состава, офицеры — молодёжь, кадровых солдат и вовсе не осталось, пополнения обучены плохо.

— ...Переворот, необходимость которого чувствовалась, который даже запоздал, упал всё-таки на неподготовленную почву... Были, конечно, виноватые из старых начальников, но все старались идти навстречу перевороту, мы шли навстречу, а то, может быть, он не прошёл бы так гладко.

Выставил гладкие щёки, хоть бы чуть покраснел.

И офицеры встретили переворот радостно. Но им нанесли обиду. Приказ № 1 смутил армию.

— Свобода подействовала одуряюще на несознательную массу. Но оказалось, что свобода дана лишь солдатам, а офицерам довольствоваться только ролью париев свободы. И 75% их не приспособилось к новому строю, спряталось в свою скорлупу, не знает, что делать. За что они заподозрены в измене народу?

Он знает и любит солдата 45 лет. Но необходимо разъяснить и внушить солдатской массе.

— В одном полку мне заявили: «Сказано — без аннексий, так зачем нам эта гора?» Я долго убеждал полк. А передо мной появился плакат: «Мир во что бы то ни стало, долой войну». Мол, неприятель у нас хорош, сообщил нам, что не будет наступать, если не будем наступать мы, — так зачем нам калечиться? Нам важно вернуться домой и пользоваться свободой и землёй.

Рассказал порядочный случай и тут же вильнул, Главколис:

— Но это случай единичный. Чаще войска отзывчиво относятся ко взглядам о необходимости продолжать войну.

Что врёт? Где он это видел?

— Возвзвания противника... братания... распространяемая в большом количестве газета «Правда»... Подтвердить авторитет офицеров... Я — делаю всё возможное. Но взываю к Совету...

И куда же делся весь его ставочный надрыв, и уходить с постов? Как испугавшись, что наговорил тут лишнего, кончил вдруг:

— Мы приветствуем от всего сердца коалиционное правительство!

А ведь сам же и настаивал ехать в Петроград. Для чего мы ехали? Вот для таких речей?..

По уговору с Алексеевым Львов пригласил теперь выступить Драгомирова. Он стал прочно, сдержанный, похожий на своего покойного знаменитого отца, — а голос был труден, трудней от фразы к фразе:

— Господствующее настроение в армии — жажда мира. Популярность в армии сегодня легко может завоевать всякий, кто будет проповедывать мир. Приходящие пополнения отказываются брать оружие: «На что нам оно, мы воевать не собираемся».

А Гурко зорко рассматривал советских. Невыразительные сидели. Не видно, чтобы взволновались.

— Мы... все желали переворота. — (Гурко удивился.) — Но ужасное слово «приверженцы старого режима» выбросило из армии лучших офицеров. Ещё более опасен развившийся у солдат эгоизм. Трудно заставить сделать что-нибудь во имя интересов родины. Каждая часть думает только о себе. То, что раньше выполнялось беспрекословно, — теперь вызывает целый торг. Чувство самосохранения развивается до потери всякого стыда и принимает панический характер. Приказывают перевести батарею на другой участок — тут волнение: «Вы ослабляете нас, значит вы изменники!» На передовые позиции отказываются идти под самыми разными предложениями: плохая погода; не все в полку прошли банную очередь; два года назад уже стояли под Пасху на позиции, теперь не пойдём. Гордость принадлежности к великому народу — потеряна, особенно среди солдат из поволжских губерний: «Нам не надо немецкой земли, а до нас не дойдёт ни немец, ни японец».

Его скрытое напряжённое волнение всё больше выходило наружу, хотя он даже рук не сдвинул, как держался за спинку кресла впереди себя.

— А кое-где — стреляли по своим офицерам... И были убитые.

Остановился, не в силах говорить. Продолжал, пересиливая спазмы горла:

— Вместо пользы — переворот принёс армии колоссальный вред. И если так будет продолжаться дальше, армия — прекратит

существование. Нельзя будет думать не то что о наступлении, но даже об обороне.

И — замолчал. Как кончил. Но не изменил позы, не показал конца. Отдыхивался? И тогда:

— Мой отец ещё в 60-х годах прошлого столетия начал борьбу за раскрепощение солдата и введение разумной, а не палочной дисциплины. Ему, тогда ещё капитану, Александр II сказал: «Я требую от тебя дисциплины, а не либеральных мыслей». Не мне, его сыну, стоять за сохранение старого порядка. Но всё, что делается теперь, — губит армию. Нам — нужна власть. Вы, — смотрел прямо туда, в гущу советских, — вырвали у нас почву из-под ног. Потрудитесь теперь её восстановить.

И сел.

Молодец. Не увиливал.

Львов пригласил Щербачёва. Гурко оставляли на заедку.

Встал худой высокий Щербачёв, с кавалерийскими усами. Он был и учён, одно время начальник Академии генштаба, и много прошёл строевых должностей, без блеска, но и без изъяна, и приближен был в государеву свиту — за боевой успех в первые же дни, как Государь стал Верховным.

— Нам необходимо воскресить былую славу русской армии. Конечно, не вина нашего народа, что он необразован. Это всецело грех старого правительства. Но приходится считаться, что массы неправильно истолковывают даже верные идеи. Если мы не хотим развала России, то должны наступать. Иначе получается дикая картина. Значит, представители угнетённой России доблестно дрались. Свергнув же правительство, стремившееся к позорному миру, — (Гурко и тут удивился), — граждане свободной России не желают драться за свою свободу? Странно, непонятно?

И — надежда, что дело поправимо, если Верховному Главнокомандующему будет передана полнота власти.

Но — с сомнением смотрел Гурко на съёженного Алексеева. Ему сейчас и полноту власти передай — нет, не справится. И сам уже не верит.

Но почему же никто из четырёх не сказал о «Декларации прав»?

По приглашающему, как на танец, жесту Львова — вскочил и Гурко в свой небольшой рост. Вплоть к столу, кулаками упершись в стол.

Проверяюще обвёл взглядом министров. Потом — орду.

— Волна революции захлестнула нас. А между тем мы получили проект... вот... так называемой декларации. Гучков не нашёл возможным её подписать и ушёл. Но если даже штатский человек ушёл, отказавшись её подписать, то для нас, начальников, она тем более неприемлема. Она полностью разрушает и всё то, что ещё уцелело. Во всяком случае, если она будет вот так введена, — я не вижу возможности с успехом занимать должность, доверенную мне Временным правительством.

И стал смотреть особенно вцепчиво — в Керенского, рядом со Львовым, ведь это ему подписывать не подписывать. Керенский не выдержал взгляда, опустил глаза, рисовал на бумаге.

— Если вы введёте декларацию — армия рассыпется в песок. Потоками крови расплатится за это и сама демократия. Если присутствующие возьмут ответственность за эту кровь на себя — пусть они договариваются с собственной совестью.

Начал — отлично. Но в орде — нетерпеливые, возмущённые движения. А министры замерли буквально в ужасе. И Гурко ощутил себя как перед пустым залом. Кому же он говорит? И вдруг что-то внутри невольно повернулось в нём, и, ища ли контакта, единения со слушателями, он зачем-то вдруг похвастал, что в феврале убеждал бывшего царя дать ответственное министерство.

Странно. Ведь от него не укрылось, что каждый из генералов подольщал в чём-то аудитории. И, сидя в кресле, — он это осудил. И никак не ожидал, что и сам зачем-то... Нет, ты брось вот этим мурлам:

— Вы создали нечто совершенно новое: вы отняли у нас власть. И теперь вы уже не наложите на нас ответственности — она всецело ляжет на ваши головы!

И со злорадством, и с лихой весёлостью смотрел на эти кудлатые головы, вообразив их вдруг обречёнными. Это — хорошо сказал!

— Вы говорите — «революция продолжается»? Нет, революцию надо *задержать!* Или, по крайней мере, остановить до конца войны, и дайте нам, военным, выполнить свой долг. Иначе мы вернём вам не Россию, а поле, где сеять и собирать будет наш враг. И вас проклянет та же демократия, потому что именно она останется без куска хлеба. Про прежнее правительство говорили, что оно «играет в руку Вильгельму». Неужели то же самое можно сказать и про вас?

Орда бурела. Ещё удивительно, что не орали, не прерывали. А Гурко уже внутренне смеялся над ними, внешне суров и лаконичен как всегда.

— Да что ж это за счастье Вильгельму? — играют ему в руку и монархия, и демократия.

Да пора и кончать. Отпечатал:

— Отечество — близко к гибели. Разрушать — легче. Но если вы умели разрушить, то умеете и восстановить.

По мелькнувшему взгляду Керенского увидел, в чём и не сомневался: что никогда им вместе не работать.

И сел.

Нет, не так сильно получилось. Чего-то — не сказал.

Князь Львов — таким спокойным-елейным голосом, как будто ничего страшного тут ещё и произнесено не было, — предложил Алексееву заключительное слово.

Косохмурый Алексеев поднялся совсем не тем, как первый раз. Может быть, это и план его был — заслониться Главнокомандующими? через то получил разгон, на который сам первый не решался?

Без напора говорил, но веско-торжественно:

— Главное — сказано. И это — правда. Армия — на краю гибели. Ещё шаг — она будет ввергнута в бездну. И увлечёт за собой Россию. И все её свободы. И возврата не будет. И виновны — все. За всё, что творилось эти два месяца. Мы — сделали всё возможное. Мы, — покосился, — верим Александру Фёдоровичу Керенскому, что он вложит все силы ума, влияния и характера, чтобы помочь нам. Но этого недостаточно. Должны помочь, — однако потупил глаза, — и те, кто разлагал. Те, кто издавал приказ № 1, должны издать ряд новых приказов и разъяснений. В этих стенах можно говорить о чём угодно. Но до армии должен доходить только приказ министра и Главнокомандующего. И мешать этим лицам никто не должен.

Тишина советских была, пожалуй, самое удивительное. Неужели они сегодня всё-таки очнулись и поняли — что наделали, что на самом деле происходит? И заседание — не будет зря?

Алексеев даже задышался:

— Если мы виноваты — предавайте нас суду. Но — не вмешайтесь в наши распоряжения. А то — назначьте таких, которые будут делать перед вами одни реверансы. Если будет издана эта

Декларация, то, как говорил генерал Гурко, все оставшиеся маленькие устои — рухнут.

Голос его стал жалобным:

— Не переварено и то, что дано за эти два месяца. В армейских уставах указаны и права, и обязанности. А все новые распоряжения — только о правах. Если в ближайший месяц мы не оздорове- ем, то... вспомните, что говорил генерал Гурко...

И, не в силах больше ни на слово, опустился в кресло больным.

Чёрный красивый Церетели, Гурко хорошо его помнил по Минску, поднял палец ко Львову, что хочет говорить. И поднялся во весь свой стройный рост. И что ж он найдётся сказать?

— Тут — нет никого, кто способствовал бы разложению армии, кто играл бы в руку Вильгельма.

Ещё ого как! Так они — действительно *не понимают*?

— Все признают, что если у кого в настоящее время есть авторитет, то только у Совета.

В том и беда...

И без него, мол, было бы ещё хуже. Именно он спасает положение. Если генералы отвергнут политику Совета, то у них и вовсе не будет источника власти. А верный испытанный путь — единение с народными чаяниями.

С обалделыми от свободы солдатами.

— Если солдат поймёт, что вы не боретесь против демократии, то он поверит вам. Этим путём и можно спасти армию. Только один путь спасения: демократизация страны и армии.

Нет, они безнадежны.

— Укрепляйте же доверие к Совету. А отказаться от лозунга «без аннексий и контрибуций» — нельзя. Боеспособность армии должна быть восстановлена не путём отказа от мирной политики.

Так что, вождь Совета не слышал, что тут говорилось?

Генерал Алексеев, однако, поспешил почувствовать себя виноватым:

— Не думайте, что пять генералов, которые говорили здесь, не присоединились к революции. Мы — искренно присоединились, и зовём вас к совместной работе. Мои слова звучали горечью, но не упрёком.

Ну а теперь Скобелев. Вскинув голову, звонко, но иногда заикаясь:

— Мы пришли сюда не для того, чтобы слушать упрёки! Что происходит в армии — мы знаем! «Приказ № 1» мы вынуждены

были издать, чтобы лишить значения командный состав восставших войск, который не присоединился.

Ну — так всё и сказал. Откровенно.

— У нас была скрытая тревога, как отнесётся к революции фронт. Сегодня мы убедились, что основания для этого были. Командный состав и виноват, что армия за два месяца не уразумела произошедшего переворота. Когда нам говорят — прекратите революцию, мы должны ответить, что революция не может начинаться и прекращаться по приказу. Мы согласны с вами, что у нас есть власть и что мы сумели её заполучить. Но когда вы поймёте задачи революции — то получите её и вы.

Если *так* отвечать, если *столько* понял — то всё совещание впустую. Как, впрочем, Гурко и предвидел. На том и кончалось: что спасти — ничего нельзя.

Неужели теперь полезут отвечать и все другие? А ещё, говорил Алексеев, надо встречаться с Альбером Тома. И зачем приезжали?..

Скобелев бойко кончал:

— Мы возлагаем надежды на нового военного министра-революционера. Он ускорит мозговой процесс революции в тех головах, в которых он протекает слишком медленно.

То есть в генеральских? Нагло же.

И поднялся министр-революционер — но с какой скромностью, и нисколько же не громыхая.

— Мы стремимся спасти страну и восстановить боеспособность русской армии. Ответственность мы берём на себя, но получаем и право вести армию и указывать ей путь.

И — примирительно:

— Тут никто никого не упрекал. Каждый говорил, что он переживал, и искал причину происходящего. Никто не может бросить упрёк этому Совету. Но никто не может упрекать и командный состав, так как он вынес тяжесть революции на своих плечах. Все — поняли момент. Теперь одно дело: спасти нашу свободу. Прошу вас ехать на ваши посты и помнить, что за армией — вся Россия.

Да кажется, опять они спешили лепить свою коалицию, как и вчера. Но Гурко попросил добавочного слова. И — туда, к Скобелеву и Церетели,— из своего южноафриканского опыта. Там были воинские части двух родов. Одни — держались только на дисциплине. Но, потеряв и половину состава, — не отступали с поля боя.

А другие части — добровольные, очень хорошо сознающие, за что они сражаются, но без дисциплины, — так они бежали с поля боя после потери одной десятой.

— Мы просим — дать дисциплину. Если противник перейдёт в наступление — мы рассыпемся как карточный дом. Если вы не откажетесь от революционирования армии — то берите её в свои руки.

И снова поймал метучий взгляд министра-революционера. И прочёл, что — не быть ему Главнокомандующим.

Да так и лучше. Ушёл бы и сам, да долг не велит.

Одна только оставалась внутренняя загадка: если он сейчас уйдёт от командования — что ж, неужели обманула его всегдашняя уверенность, что именно ему суждено вызвать Россию в тяжкий момент?

*НАША МАРИНА ВАШЕЙ КАТЕРИНЕ
ДВОЮРОДНАЯ ПРАСКОВЬЯ*

Не в нынешние анархические недели, но давно-давно задумывался Василий Маклаков: когда народное большинство ощутит себя неограниченной властью — что оно почтёт за справедливость? Всегда он знал, что нельзя остановить революцию, если она уже начнётся. В начале марта, вместе с другими поражённый размахом катастрофы, уже тогда думал, что теперь всё пропало и никому не удержать власть. Но были и границы, за которыми ни ему, ни всему Освободительному Движению за сто лет не могло хва-

тить воображения: что дни свободы ознаменуются бурным сепаратизмом всех наций, и с мгновенным развалом России. (Редко, но находило на него тень какое-то виноватое чувство к брату Николаю, посаженному в Петропавловскую крепость.)

И невозможно остаться бездейственным при всеобщем движении. В самом начале революции, честно говоря, обидно было Василию Алексеевичу не стать министром юстиции, да и вообще никем, хотя, кажется, не было более популярного и пронизательного оратора в Думах от 2-й до 4-й. Из самых видных людей в России — и вдруг никем?.. (Не из жажды власти, а: ведь не делают, как надо.) Но быстро смирил себя — и явной беспомощностью правительства, и собственным вкладом работы, где ему досталось.

О том, что Керенский назначен министром юстиции, явзил Маклаков: назначен в то ведомство, где меньше всего может принести государству вреда. Сам же Маклаков сперва участвовал в разработке проекта политической амнистии. Потом возглавил комиссию по пересмотру уголовного уложения. Много интересных моментов возникало там. Сохранить или отменить статью о «преступных призывах»? Большинство членов склонялось — отменить: и потому, что нет практических сил преследовать их, и потому, что это противоречило бы достигнутой свободе слова. Но Маклаков убедил сохранить, таким примером: а что вы станете делать, если услышите «бей жидов»? Удобнее статью сохранить, чем потом заново вводить и станут кричать: «Новая реакция!» Но исключили «призыв к нарушению воинскими чинами обязанностей службы» — ибо это теперь на каждом шагу, и нет сил бороться. Так же и — «восхваление преступных деяний». Смягчили — о «скопщиках с целью совершения тяжёлого преступления», ибо эти толпы тоже на каждом шагу. И бессильно пропустили все глумления над русским гербом и флагом.

Само собою, иногда ездил Маклаков и с речами: до Севастополя не добрался, но в Москве выступал (ажитаж толпы перед входом, овации зала), иногда давал интервью для газет. И тут особенно он ощутил скованность речи: революционная аудитория — не нейтральное вещество для формовки, она невидимым сильным дыханием веет на оратора и поворачивает его. Не только не мог Маклаков высказать полноту того, как он понимал положение в России, но зачем-то вдослед поносил старую власть, то подрисовывал опасность *реакции* (в которую несколько же не верил),

то раскланивался перед революцией (которой ужасался). Разве только осторожно-осторожно оговаривался, что если мы ослабим государственную власть торопливым стремлением к социальному идеалу...

А всё равно на совещании Советов поносили его.

Нет, на Четырёх Думах правильно, что не выступил: это не прежняя безпрепятственная гладкая думская лёгкость, а — очень неповоротлив стал корабль и идёт не туда.

И сегодня — не собирался выступать. А сегодня было — «частное совещание членов Государственной Думы». Полурасширенная форма полуиздыхающего Думского Комитета. Ободренный частыми заседаниями последних дней, Родзянко вознамерился оживить их и дальше и на сегодня выхлопотал у Совета на полдня свой бывший кабинет, прибрали его. (А весь дворец оставался привычным хлевом, да с прилавками социалистических партий.) К пяти часам пополудни собралось десятка три думцев да полтора десятка корреспондентов, ещё случайная публика — и, событие: пришли Гучков и Милюков.

Какая потеря вкуса! — не мог не усмехнуться Маклаков. За все два месяца своего министерского состояния ни тот ни другой ни разу не снизошли прийти хоть на полчаса на заседания Думского Комитета, уж как их Родзянко зазывал (Шингарёв честно раза три приходил, и Маклаков порою наведывался, хотя понимал, что дуто). А теперь, низвергнувшись, сразу и пришли? Достойней бы — не приходили.

И первый за Родзянкою взял слово Гучков. («Шумные аплодисменты», записали корреспонденты.) Встал у родзянковского стола. Прокашлялся.

— Господа, я рад, что мне приходится давать отчёт перед вами: Временный Комитет Государственной Думы — одна из тех инстанций, которая облекла нашу группу общественных деятелей полномочиями правительственной власти.

Как он тёмн, как он болен, — что осталось от того неукротимого дуэлянта и оратора 3-й Думы?

— Мне, в сущности, мало остаётся добавить к тому, что я уже изложил. Мне был сделан упрёк, что я вышел из состава правительства на свой страх и риск, не предупредив других министров, и даже как бы нарушил товарищескую солидарность. Но есть известная грань для товарищеской солидарности.

Как уверяет, он предупреждал Львова об уходе и за 10 дней, и в последнюю ночь.

— Ещё один упрёк мне был сделан одним из бывших товарищей по правительству, что я убежал как крыса с тонущего корабля. Нет! Я не бегу с корабля и остаюсь на нём для государственной работы. Я ушёл от власти потому, что её — нет. Кормчие — со связанными руками, и ясно, что корабль пойдёт ко дну. У кого руки свободные — те пусть и берутся управлять. Если повинуются «постольку-поскольку», то развал власти неизбежен. Методом управления стала анархия.

Как он храбр после сдачи. А отчего же было не выпалить это всё с министерской высоты? Потому что и Гучков, как все, испытывал этот властный уклон революционной аудитории.

— Мы перешли роковую грань, и безудержный поток гонит нас всё дальше и дальше. И это уже не создание армии на новых началах. Я не мог подписать своим именем такие приказы. А сегодня симптомы разложения нашей армии... И я должен сказать, что я в значительной степени способствовал тому...

Что-что? признаёт?

— ...тому, чтоб эти разъедающие язвы во всём ужасе открылись глазам армии и нации. Справится ли новое правительство — я не знаю. Будем надеяться, что да, и во всяком случае поможем ему. Но я должен выразить опасение, не слишком ли далеко пошёл роковой разрушительный процесс? Почва была подготовлена давно — и постановкой народного образования, мало развившей в массах чувство патриотизма и долга.

Увы, образование направили так и мы, общественность.

— Удастся ли разогнать эти миазмы? Но ни в каком положении веру в родину мы терять не должны. Если мы не совладаем с разрушением — Россия захиреет и замрёт.

Вот это — он отвердевшим, беспощадным голосом выговорил, — и узнавался прежний Гучков.

Но это — сильно сказать, оставаясь у власти, а не банкротски с неё сползя.

— Острый кризис создан не моим уходом, он начался на другой день после создания правительства, когда оно, по выражению Шульгина, было посажено под домашний арест. Теперь власть мучительно конструируется — и мы обязаны всеми силами её поддерживать, по чувству долга перед родиной.

Вздохнём, но скажем: да.

Силами присутствующих похлопали. («Шумные аплодисменты».) Гучков отошёл, сел, обвисли плечи. А к столу выдвинулся квадратный Милюков. («Шумные аплодисменты».)

— Мои партийные товарищи остаются в правительстве, так что, как видите, мы не хотели разорвать и покончить с ним. Я публично говорил, что могу уйти, только уступая силе. Но не предвидел, что придётся уйти, уступая желаниям моих товарищей. С чистой совестью могу сказать: не я ушёл, меня ушли.

С большой обидой. Но извечная слабость Милюкова — что он теряет контакт с чувствами слушателей, а всё — в теорию. Так и сейчас — длинно и безцветно. Почему была верна его внешняя политика. Почему неправы противники, желавшие революции и в ней. Никакой особой царской дипломатии не было (забыл свою же речь 1 ноября), и не надо было её менять, а только — солидарность с союзниками.

— Прежнее правительство не в состоянии было организовать страну для победы, и это явилось ближайшей причиной нашего участия в перевороте.

И — как он правильно вёл политику. Но — как «наши собственные изгнанники» принесли извне циммервальдские теории западных социалистов. И почему возник апрельский кризис. Правда, уличное движение в конце концов превратилось в овацию по адресу Временного правительства и моему лично.

Никакого чувства юмора, как всегда. И все мосты мировой политики подставлены лишь для того, чтоб оправдать личное поведение.

И как семь членов кабинета предали его. И, снова, как другие кадеты решили испробовать, нельзя ли нести тягость власти дальше. Создание такого кабинета есть и рискованная попытка, есть и положительный акт. И мы должны его поддержать.

И неужели этот растерянный профессор всего лишь полгода назад сотряс трон и общественность России? Это могло ему удалиться только в жизни раз.

Тут слово взял Шульгин — и острым взглядом выщупывал свою слишком немногочисленную аудиторию: говорить ли в полную силу?

Понадеялся, наверно, на корреспондентов: они усердно строчили наперегонки.

— ...Сказали солдатам: в окопах вы смотрите за офицерами, чтоб они не устроили контрреволюции, а с немцами мы справимся воззваниями. Но ответа на воззвания мы до сих пор не получили. Я позволю себе утверждать, что если на нашем фронте ещё некоторое время будет фактическое перемирие, а немцы будут невозбранно сражаться на Западе, — нашим союзникам придётся неумолимо порвать с нами.

И эту, весьма правдоподобную, картину описывает с увлечением, ввинчивая колющие шурупы, как он любит и умеет. У нас только и будет свету в окне, что немцы. Славянство станет удобрением для германской культуры.

— ...Или Англия и Франция заключат мир с Германией за наш счёт. Да почему Германии не поменять Эльзас-Лотарингию на Польшу с немецким принцем, Литву с немецким принцем, Украину с австрийским принцем?..

И, вскинув свою чуткую голову, — самое эффектное место речи, увы, всего лишь в кабинете Родзянки:

— Но сегодня мы переживаем день перелома. И если *эта* социалистическая демократия берётся за руль государственного корабля для того, чтобы спасти Россию, — пусть знает, что у неё не два врага, один на фронте, один в тылу: буржуазия не нанесёт ей удара в спину!

Присутствующие аплодируют, включая корреспондентов, и Маклаков тоже. А Шульгин — с гордостью, сочно:

— Я всегда был — по воспитанию, по традиции, по склонности — монархистом. И вот я говорю: если новое правительство спасёт Россию — я стану республиканцем! Весьма возможно, нас совсем отодвинут — и в земствах, и в местном и в государственном управлении. Но я утверждаю, что мы, буржуи, предпочитаем быть париями в России, чем пользоваться какой угодно властью и привилегиями в стране, зависящей от Германии. Если эта социалистическая демократия сейчас выведет Россию из страшной беды — она выдержит такой экзамен, какого ещё не было в мировой истории.

Уедкого, но впечатлительного Шульгина бывает в речах, когда голос тронут едва не до слез:

— Я повторяю: мы предпочитаем быть нищими, но нищими в своей стране. Если вы можете сохранить нам эту страну и спасти её — раздевайте нас, мы об этом плакать не будем.

Кричат браво и аплодируют.

При сильных словах Шульгина волнение его начало передаваться Маклакову. И хотя Василий Алексеевич эти недели всё больше разума находил в том, чтобы держаться в стороне и ни во что не вмешиваться, — а вдруг захотелось ему сейчас выступить. Он нисколько не готовился, но это ему и не требовалось. Было нечто в сегодняшней минуте. (Хотя — к кому эти речи обращены? на кого повлияют?)

А пока выступали ещё, октябрист и член Думского Комитета Савич. Маклаков, уже настраиваясь к речи, слышал лишь пунктирно:

— ...Гражданская доблесть Милюкова, который своим уходом подчеркнул... Если даже меньшевики уже клеймятся как черносотенцы... Народ находится в чадуге... Я надеюсь, спасение придёт, как и триста лет назад, не из гнилого Петрограда...

Теперь Родзянко, заметив, что Маклаков хочет говорить, обрадованно дал ему слово. Василий Алексеевич мягко, неслышно вышел туда, вперёд, сохраняя меланхолическое выражение лица и тон.

— Я — не собирался говорить сегодня. Положение ясно, диагноз поставлен, и даже средства лечения. Но вот что: каким бы языком каждый из нас ни говорил, под ним скрывается главная мысль: *неужели Россия недостойна той свободы, которую завоевала?* Как Керенский, который — (осадить его, прославился чужими словами) — перефразировал старинную анафему Ивана Аксакова, воскликнувшего в минуту горя: «Вы не дети свободы, вы взбунтовавшиеся рабы!»

Губы его — не улыбались, но грустно намекали на улыбку жалости. Выговаривать «Россия оказалась недостойна свободы» — что ж оставалось от жизни их всех?

— Можно многих упрекать. А итог: Россия получила в день революции больше свободы, чем она могла вместить. *И революция — погубила Россию.*

Страшное беззвучие, не слышно дыхания. И собственного тоже.

— И перед нами теперь: как избавиться себя от этого проклятья? Потому что мы, Государственная Дума, себя с этой революцией всё же связали. Мы не хотели революции во время войны. У нас было опасение, что она произведёт такие потрясения, что окончить войну благополучно будет выше народных сил. Но когда стало ясно — (во всяком случае, всеми принято, что ясно), — что довести войну

до конца при старом строе невозможно, то нашим долгом и задачей стало: спасти Россию от революции снизу — через государственный переворот сверху. И этой задачи — мы не исполнили. И если потомство проклянет эту революцию, то проклянет и тех, кто не мог её предотвратить.

А это — многие из присутствующих. Да — все. Молчание.

— Придёт историческая Немезида — и новая власть падёт так же, как пала старая власть. Вот что будет, если русский народ не сумеет заранее увидеть, куда его влекут.

Шульгин шумно зашевелился, сменил позу.

— ...Не сумеет всею силой организма, который не хочет погибать, остановиться хотя бы на краю пропасти. Если Россия тут остановится — да, это великая Россия, которая достойна свободы. Если она упадёт — народ получит то, что он заслужил.

Во мраке слушали. Стемпковский уронил голову в руки, и голова его вздрагивала.

Маклакову и самому становилось жутко, как ни в какой его думской речи.

— Одни видят ужас пути, по которому идёт Россия, и в молчании отходят в сторону, ждут, когда всё совершится. Другие, может быть, злорадствуют: поражение России в войне будет спасением. Но на такую позицию не можем стать мы, Государственная Дума. Никто не снимет с нас ответственности за революцию. Если бы Государственная Дума 27 февраля не восстала против власти — революция не дождалась бы до вечера. Вот почему Государственная Дума не вправе отречься от этого своего детища — но быть с ним вместе до последней возможности.

И чувство художника (и чувство пророка) требовало бы: вот тут и окончить речь. Но видел угрюмого Гучкова, обезкураженно-го Милюкова, и продолжил:

— Будем же вместе с этим новым строем, пока можем верить, что он служит России. Можем ли мы повернуться к этому правительству спиной?

Родзянко рядом поспешил протрубить:

— Конечно нет!

— Занять позицию нейтралитета? Я рад, что ушедшие министры сами призвали нас помогать новому правительству. Удастся ему или нет — но мы с ним. До сих пор — власти не было. Пока творятся такие беззакония, которых при старом режиме нельзя было и вообразить, — всенародный разбой и грабежи, — власти

нет. Но если новое правительство обещает власть — у нас нет морального права относиться к нему не то что враждебно, но равнодушно. Если же оно не спасёт России, а, подчиняясь Ленину, побегут назад солдаты, — то, господа, какие б слова мы ни говорили, где б ни искали виновных, как бы каждый из нас ни оправдывал себя — (это — Милюкову), — потомство проклянёт наше время, нашу революцию и всех тех, кто к ней приобщился...

173

От центра города и до отдалённого вокзала ехали на медленной конке. Почти не говорили, да и люди рядом.

На перроне ходили под руку около её вагона, уже внеся вещи в купе. Он курил.

Напомнила:

— А когда мы последний раз так ходили? Когда ты ехал в Петербург.

Отмалчивался. Он давно знал над собой власть прощаний с ней — ни с кем другим, только с ней. Если что дурное ей причинит — тотчас после разлуки ему отдаётся отомстительной жалостью.

На перроне уже не было солнца. Но оно ещё краснело на верхушках пристанционных тополей.

В той печали, которая, он знал, настигнет его вот сейчас, после отхода поезда, и особенно потому, что он оставался на месте, — ждало что-то растравное и вместе очищающее, какой-то незаполнимый ущерб. Что она говорила и делала плохое всё это время — сразу почему-то выметется, забудется, а останется — ноющий ущерб в тебе самом. Разящая безысходность, что она хотела жить в этом флигельке, устраивала его, — и уезжает, гонимая безпокойством.

Алина хмуровато передвинула бровями, но не болезненно. Голосом безслёзным, непереломленным, задумчиво сказала:

— Знаешь... Иногда мне кажется... что никто из нас... никого... уже давно не любит... Ни ты меня, ни я тебя...

И даже — не повернулась за подтверждением: слышал ли он? согласен ли он? будет оправдываться?

Даже как будто не ему и сказано было.

А слова эти пронзили его. И тон их — холодный, взвешенный, продуманный. И что не он, а она это всё сказала, — и оттого удар верности: что это — так и есть.

И почему она сказала — *давно*? Это словечко *давно* — почему? случайно ли ввёрнуто?

И не ждала ответа, как будто удовлетворённая его молчанием. А он — ничего не возразил ей, и может это и вышло самое жестокое?

И с жуткостью ему разостлалось: Алина никогда его не любила.

Но страшней: и он её не любил.

А Ольду — разве любил?

И какую ж тогда женщину он в жизни любил? Никакую? Ещё никогда?

Подошёл поезд, и к нему цепляли могилёвский вагон. Стали там.

Дали второй звонок. Алина не бросилась его целовать, а посмотрела близко сощуренно — и с жестоким упрёком:

— А ты заметил? Когда мы сидели вчера — маленькая козявочка ползла по твоему сапогу...

Где сидели? ах, это около «могилки».

— Ну как же! — с живостью, но и недоброй радостью напоминала Алина. — Такая козявочка — маленькая, слабенькая, но очень упорная, ползла по твоему сапогу! — В голосе проступали слезы умиления и сочувствия. И даже, перебирая пальцами, Алина показывала: — Ползла... ползла... ползла. И так старалась выбиться, подняться, тоже быть, где люди... А ты её — каждый раз! два раза, не заметил? — показала ожесточённый щелчок: — Туда, вниз, погибай! Вот так ты — и меня...

И — ударили третий звонок. Обнялись? — он даже не ощутил. Она взошла на ступеньки — и с укоризной ещё кивала ему.

Кондуктор выставил перелинявший зелёный флажок. Потянуло поезд прочь.

Георгий — не пошёл за вагоном. Его как ударило клинком между рёбрами с той стороны, как она стояла, — и, как затыкая рану, чтобы поддержать дольше, он отбрёл в сторону. Жгло такой неостановимой тоской!

Он запрокинул голову — и ещё видел последнюю печальную красноту заката на тополевых вершинах.

Нам не жить, она угадала. Она так холодно это предсказала, она понимает!

Он терял в ней и чужое — но и разрушалось что-то такое своё, такое своё... Из неё росло? Или от него вросло в неё? Разделить этого он не мог вспомнить.

Нет, его прокололо какой-то ещё новой неотвратимостью, ещё глубже.

Смертностью всего на земле. Обрываемостью всех чувств на земле. И даже всё нынешнее между ними, это взаимное мучительство, — оно тоже перейдёт в прошлое, умрёт — и ещё вспомнится с какой щемящей печалью.

Со всем, со всем нам придётся расстаться: и друг с другом, и с этим последним солнцем, и с этим городом, и с этой страной.

И может быть — скоро...

174

Радостную лихость донского наводнения Юрик отмотал где ногами, где греблей, где спасением грузов — и уже поотстал. И хотя наводнение смыло и пешеходный мостик под Батайском, и не восстановили там железнодорожный, а пассажиров возили теперь из Ростова в Азов пароходами, уже оттуда на Кавказ поездами, интересно, — а он остыл даже к этому.

В самом городе творилось почище того наводнения. Совершались такие наглые грабежи магазинов, каких и отчаянный воровской Ростов не знал прежде. Не надеясь на милицию, ни к чему не годную, стали хозяева богатых магазинов добывать себе солдат на ночную охрану — и не только ювелирные, но и, рядом вот тут на Николаевском, колбасный Айденбаха и рыбный Бешкенова, где каких только балыков, севрюжких и осетровых, не было выложено на соблазн. Около станции Ростов-пристань не погнушались грабители напасть на будку путевого сторожа, его убили, жену и дочь ранили в головы топорами, связали, — а нашли всего 100 рублей. Около кирпичного завода засела банда с винтовками и запасом патронов, и никакая милиция справиться с ней не могла, так и ушли.

Но — и не жалел Юрик, что не пошёл в милицию. Хотя вот можно было вести настоящий бой — а не в таких боях была суть, — нет, не в них.

В семье Харитоновых разговоры стали не такие радостные. Раньше только зять Дмитрий Иванович высказывал беспокойство о рабоче-солдатском Совете, мама и Женя говорили — ерунда. А вот рабочие стали устраивать там и здесь забастовки, требуя себе чуть не царской оплаты. Чуть что — «у нас 600 штыков! 800 штыков!» — и все их требования принимают. А как дошли известия о петроградских апрельских событиях — то собирался ростовский Совет обсуждать: не установить ли в Ростове немедленно *диктатуру пролетариата* — то есть, оказывается, это значит: им — полностью взять в руки город. Пока что без электричества сидели то один вечер, то другой. А ещё на прошлой неделе был общегородской митинг студентов, и постановили, что надо углубить завоевания революции. Этого и Дмитрий Иваныч не мог ясно растолковать.

Стал Юрик и сам в газеты заглядывать, чтобы разобраться. Но и стал любить толкаться по Старому базару, он тут с домом рядом, куда ни иди — можно свернуть.

Дух базара — Юрик давно знал и уважал. Базар — это и есть лучшая республика. Нет власти — но и анархии нет, никто никого не грабит, все торгуются, как умеют, — у кого больше смысла, тот и в выигрыше. И какое равенство на базаре! — приходи хоть семилетний мальчик покупать или продавать — с тобой все как со взрослым. И армяне, и греки, и евреи, торговцы или ремесленники, все тут рядом, иногда перегрызнутся, — а порядок не нарушают. А особенно Юрик уважал рыбаков — потому что понимал рыбацкий труд и знал, сколько жданья, терпенья, уменья, ночей, сырости надо проплыть, чтобы выложить утром поперёк прилавка этих великанских чебаков, сул, осетров. И какая неограниченная свобода на базаре, особенно у покупателя с пустыми руками и если не торопишься: ходи, ходи, толкайся, поглядывай, перебирай, всё тебе не так, всё можешь ругать. Что равенства, что свободы — захлебнись, только братства нет.

Теперешний базар — и крепко ругался, всё против новых порядков: против такс, что товары грозят отбирать за нарушение, и что полиции нет, а с грабежами сопляки-милиционеры не справляются. (Поймавши вора — люди никуда его теперь не веди, а тут и били, в мясо.) На базаре было всё наоборот газетам: газеты — только хвалили новую власть, а базар — только ругал. И — «тилигенцию» ругал, чего раньше не бывало. На базаре теперь такого услышишь, что ни дома, ни в училище, ни от кого из знакомых.

Но училища Юрик не пропускал: год кончать надо, а набродимся летом. Занятий не пропускал, а и много пустого нынешнего вздора говорилось и делалось помимо занятий.

Как-то на Соборном встретился с Милой Рождественской — всего кипятком обдало. И остановились сказать две-три какие-то фразы, а смотрел на неё безумными глазами: ведь ты никогда, никогда не узнаешь! Я *видел* тебя!..

На днях пришло письмо от Ярика маме, а в нём и отдельный лист Юрику. И — такой горький весь, узнать нельзя брата даже от прошлого письма, тем более от февральского приезда. Самое непостижимое, о чём он писал: что *никто не хочет больше воевать!* — и солдаты не хотят, а за ними уже и офицеры не хотят!

Юрик был сотрясён: как же может *солдат* — не хотеть воевать? воин — и не воевать?? Что ж тогда будет с Россией, немцы придут? хоть и в Ростов? (Ну, не в Ростов, конечно.)

И — что же тогда делать вот реалисту 6-го класса?

И тут вдруг — позвонил в двери к Харитоновым незнакомый гимназист, как привет-ответ от Ярослава же, это он пригласил, в феврале. Из Новочеркасска, Виталий Кочармин. Выше Юрика вершка на два и старше на два года, очень худой — и большие чистые глаза. Юрик и встретил его первый, повёл наверх и усадил разговаривать, прежде чем Женя вышла. Виталий этой весной кончает гимназию и вот приехал посмотреть университет, оглядеться — летом хочет поступать на историко-филологический. А университет в эти недели как раз перестраивается: был эвакуированный Варшавский, становится Донской, и больше всего будут принимать местных.

Посидели на диване четверть часа рядом — и Юрик *узнал!* — узнал того самого Друга, которого давно жаждал иметь! Были у него в разные года друзья и с деревянными кинжалами, и с удочками, и с вёслами, а вот *этого* друга он давно ждал! Почему? Умный? Пристальный? Что в нём?

И кажется, Виталий тоже быстро узнал в Юре, так они сразу сроднились, как близкие. Вошла мама, сели за стол, но и мама, и Женя не то говорили, не то понимали, даже стыдно. Рассказывал Виталий, как у них гимназический комитет постановил, что отныне в свободной школе он не допустит превращать подрастающую интеллигенцию в рабов, но в единении с товарищами педагогами

будет вырабатывать мировоззрение, — и чуткие длинные губы Виталия складывались же в насмешку, — а мама и Женя принимали всерьёз, с одобрением. — Теперь к старшим гимназистам учителя тоже обращаются «товарищ», и те друг между другом не по именам, а «товарищ такой-то».

Пошёл провожать Виталия до университета. Уже они стали на ты. Между собой быстро понимали, где мусор, где суть. Виталий хочет поступать на историческое отделение, чтобы знать всю историю насквозь и в глубину, иначе жить нельзя. А мы — было вступали в Донской Союз, чтоб эти безобразия остановить. Но вот прошёл казачий съезд — и казаки что-то от нас отворачиваются, они только об одном Доне думают.

Расстались — до вечера. А весь вечер — уже снова вместе. Пообедали со взрослыми, пропуская их речи, — и Юрик повёл Виталия вниз по Николаевскому до конца. Там — малый запущенный глухой бульварчик с несколькими акациями, двумя скамейками, на обрыве, — и обрыв усыпан шлаком, битым стеклом, а дальше вниз пакгаузы, склады, причалы — а дальше широко развёртывается Дон, ещё и сейчас как море. На этот бульварчик ростовчане гулять не ходят, только бывают жители соседних кварталов, и то днём, с детишками. Тут стали ходить коротко, туда, сюда. Потом с закатом ушли старушки, скамьи освободились, сели.

Фигура Виталия была некрепкая, руки — видно, несильные, никак он не драчлив, не воинственен, — а всё более приходился Юрику в лучшие друзья, — почему? Сильная худоба Виталия была не оттого, чтобы болен или есть бы ему нечего, а — от внутреннего сгладывающего напряжения: что-то в Будущем надо угадать — и к нему пробиваться.

И два года разницы не мешали, и Виталий не снисходительно с ним говорил. Сказал о Ростове:

— А неприятный город.

— Почему? — изумился Юрик.

— Коммерческий. Крикливый. Души — нет. Все думают о наживе.

И — верно, правда! А живёшь — не замечаешь. А со стороны — вот сразу видно.

— И с этой зажиточностью, развлекательностью — особенно вот сейчас придётся Ростову тяжело. Он — не готов. С Севера — что сюда прикатится теперь?

Охватило Юрика: тоже верно!

— Теперь говорят — *власть большинства*. Но если такая настанет — то как это большинство, вот ростовское, себя поведёт, ты думаешь? Уже и сейчас видно.

А хотелось Виталию — учиться, много учиться! Знать, что происходило в Европе за все, все века. Читать всех главных авторов прошлых веков.

— Но я боюсь, что ничего этого мне, нам — не достанется. Не достанется! Ты слышишь, видишь — время какое? И что ещё прикатит? Не осталось нам с тобой времени.

С такой несомненностью это прозвучало для Юрика, как сам бы он назвать не мог, а вот услышал: Неотклонимое! Что-то грозное, даже страшное.

Уже темнело. И только многие рассеянные огни зажглись — тут, внизу, вдоль набережной, и там, у большого железнодорожного моста, и по воде кое-где двигались моторки с фонарями — и издали огни Заречной — и совсем уже на горизонте угадывались багтайские, далеко...

И это всё Несомненное — при широкой тьме с огнями над донской поймой ещё несомненнее тронуло Юрика, и он ответил горячо:

— Если уж мужчины не хотят воевать — так кому ж, значит нам идти?

Вроде не в лад ответил? А вроде и в лад.

Виталий не возразил.

И Юрика подбросило встать:

— А давай поклянёмся друг другу, что вот мы — будем против всякой мерзости биться!

И Виталий тоже встал, безо всякой усмешки.

И они соединили руки, неловко сцепясь: правую с правой, левую с левой, крест-накрест.

С интересом, с интересом присутствовал Гиммер на этих исторических переговорах о коалиции! — потомки будут завидовать свидетелям. (Сегодня и Стеклов пытался добиться на ИК, чтоб его избрали в переговорную комиссию ещё одним делегатом от

внефракционных, но не вышло. Да и поздно уже.) Но и клял себя Гиммер, что с первого же дня не настаивал включить в декларацию правительства — провозглашение республики. Скажут: по соглашению 1 марта Временное правительство (да и сам Гиммер) обязалось предоставить это Учредительному Собранию? Мало ли что! Создаваемое теперь Временное правительство — это уже не мартовское, а Учредительное Собрание — нескоро, а до тех пор что ж? — промежуточное состояние? Во Франции в 1848 не ждали Учредительного Собрания — республика, и кончено! (Да мало ли что можно упустить! Великолепного Линде, так прекрасно поднявшего Финляндский батальон в апрельские дни, — сам батальон постановил услать с первой же маршевой ротой. Но Гиммер через ИК искромётно успел его спасти, и теперь поедет он — комиссаром армии.)

Однако эти исторические переговоры уже агонизировали третьи сутки, а всё не вели к решению.

Да не третьи, а с воскресенья уже пятые! От гучковской отставки 30 апреля страна была, по сути, без правительства уже пять дней. Да даже с кризиса 20 апреля уже всё шатается, это две недели. С понедельника, как стала известна гучковская отставка, опять стекались на Невском митинги перепуганных обывателей. Интеллигентские ораторы вопили о преданности Гучкова народному делу. Перерастало уже в слух об уходе всего правительства. По панели Невского от Садовой до Конюшенной — нельзя было пройти, а в Екатерининском сквере — тысяча человек. В понедельник не бывает утренних газет, и вечерние просто рвали из рук, читали вслух гучковское, что Россия на краю гибели, — и всхлипывали. Интеллигентный Петроград был потрясён. Одни звали — идти к Гучкову и просить взять назад прошение об отставке. Другие уже набирали воинственный голос против Совета. Ходили солдатские патрули и велели расходиться, по апрельскому постановлению Совета.

В последующие дни уже уличных митингов не было, но весь образованный и журналистический Петроград напряжённо ждал, чем кончится кризис: общей драматической катастрофой, чёрной анархией или укреплением государственного строя?

Анархия не анархия, буржуазные интеллигенты всё пугают. Если в стране и есть признаки анархии, то в ней виновато само Временное правительство: народ завоевал свободу не для того, чтобы предоставить прежним господствующим классам и дальше пользоваться всеми выгодами. Доходы их почти не затронуты, деятели

старой власти остаются неприкосновенны и даже с пенсиями, а в армии новые порядки введены почти против воли правительства. Так что кризис власти создал не Исполком, а правительство. Но переговоры действительно затянулись непомерно. А рассчитывая ежедневно на их окончание, Исполнительный Комитет ежедневно же собирал в Морском корпусе многолюдный пленум Совета — утверждать новый состав правительства. И каждый вечер надо было чем-то их отмазывать, чем-нибудь занять, а потом распустить, чтоб не сердились на вождей.

Вчера посылали туда отговариваться Скобелева, а заняли Совет — черноморской делегацией, этим уникальным жердеобразным, но быстросмышлёным Баткиным, хитрей которого Колчак ничего не мог бы придумать для обмана революции. Но так или иначе, вчера Совет заняли, ещё спели вечную память лейтенанту Шмидту, и слынуло благополучно.

А на сегодня — опять назначили непредусмотрительно, — и что делать им сегодня? Отбрёхиваться послали Гоца. Гиммер посоветовал ему: а вы так прямо и скажите на Совете, что всё задерживают кадеты, они поставили нам ультиматум, пусть массы знают. Гоц так и поступил, и даже прямо сказал, что, может быть, переговоры и вовсе не удадутся, будет крах, что кадеты вцепились в министерство продовольствия, не хотят отдать продовольствия социалистам, из чего уже и можно понять, что хотят душить массы голодом. И пленум Совета сильно был впечатлён и простил свой третий подряд пустой созыв, — так тут начали шум большевики, что ИК запутался в бесплодных переговорах с буржуазией, и какая гарантия, что и завтра не отложат? Огрызался и Гоц, что мы — не приказчики, поставленные торговать, мы спим по два часа в сутки.

Ещё и в этой бессоннице была причина затяжки: каждый поздний вечер доторговывались глубоко в ночь, и всё неудачно. А утром, сморенные, подняться не могли, и до середины дня переговоры не шли, мозги вялые. Только и можно начать в 2–3 часа дня, — так сегодня как раз в это время надо было выслушивать Главкомандующих.

А они свои выводы простёрли из чисто военной сферы в сферу политики: внушать солдату, чтоб он думал не о мире, а о войне.

Нет уж, нет уж! «Зачем воевать», «за что воевать», — отказаться от постановки этих вопросов для демократии было бы отказать-

ся от самой себя. Пусть армия проиграет в силе и дисциплине, но в условиях революции оборона может быть достигнута не войной, а миром.

Однако ещё и вчера, пока заканчивали с декларацией, торговля о портфелях не казалась такой острой. Ещё казалось задачей вырвать согласие у Чхеидзе (он болел, на переговорах не был) отдать Церетели в министры, с обещанием, что он будет и в Исполкоме успевать. (И что уж так в министры его хотят? он ведь — недалёк.) Ещё обсуждали, не дать ли всё-таки Скобелеву морского, а Гвоздеву — труда. Сам Гвоздев: «Как хотите, товарищи, мне всё равно». Ещё обсуждали Кокошкина на просвещение, Мануйлова на финансы, — казалось, найти министра финансов, и всё решится. И поздно ночью расстались на том, что, может быть, создать для кадета Гримма министерство по созыву Учредительного Собрания.

А сегодня после генеральского совещания сели заседать и без того с тяжёлым чувством, что новый день уходит, а правительства всё нет, — и вдруг клином сошлось на министерстве продовольствия: кадеты ни за что не соглашались его уступить, а социалисты, и особенно Чернов, впервые присутствовавший сегодня на переговорах (после того, что вчера был утверждён минземом, а то не хотел унижаться): только Пешехонову! (Вообще-то не так был важен именно Пешехонов, как, по счёту мест, нужно было всунуть третьего народника.)

Чернов требовал Пешехонова якобы для удобства общего плана работы (а просто потому, что в продовольствии он вовсе плавает и боится взять его на себя). Вообще Чернов комично держит себя так, будто все социалисты тут — его ученики или слишком младшие коллеги, вот среди них, да-да, есть и неглупый Гиммер. Да он сперва размахивался и в министры иностранных дел. А за наружностью своей следит, как уже неприлично социалисту, видно очень занят женщинами; на всё это сколько времени надо, откуда оно у революционера? Да впрочем, какой он там революционер, дутый, — а вот в руки ему власть плывёт.

Кадеты благовидно изобразили своё упорство — собственным настоянием Шингарёва: де он слишком много уже сил вложил в продовольственную проблему, и ему обидно расставаться. И сам Шингарёв высказывался с волнением и негодованием против претензий Исполкома. Но это шито белыми нитками: в чём он так уж

особенно преуспел с продовольствием? Ясно, что это не его предпочтение, а кадетский заговор: они слишком много уступили революционной демократии, встревожены ростом её влияния и теперь пытаются отвоевать позиции. То они грозились отзывать всех своих из-за отставки Милюкова. Угроза не возымела действия, теперь придумали вот этот конфликт. Да, собственно, вопрос-то мелкий, советские могли бы и уступить (Чернов настаивал: ни за что, видел в этом принцип, не уступить кадетам, пусть они совсем уходят), — но и правда, как истолкуют массы? Что хотят защитить интересы помещиков и торговцев от крутых мер демократического министра продовольствия. Нет же, не уступим и мы!

Прервались на поздний обед. Социалистическая группа вся вместе пошла в ресторан, но попали в «Вену», битком набитую посетителями. Отдельного кабинета не оказалось. Отвели их в небольшую залу, но и там они были не одни. По инерции всё равно уже, не стесняясь, вели политические разговоры, строили комбинации, ум заходил за разум, Церетели два раза за обед ходил к телефону. Решили — не уступать.

Гурьбой пошли опять на квартиру Львова. В предапартаментах дежурило три десятка репортёров, пытались выпытывать и на ходу.

Министры — заседали в кабинете Львова. (А спросить: что этот Львов? — ну куда он годится? да долго ли оставаться ему премьером? Но сейчас он не обсуждался.) Советские стали сумрачно и вяло, с тяжёлыми желудками, расхаживать и посиживать в соседнем большом зале.

Открылись двери кабинета, пригласили всех на общее заседание. Социалисты заявили, что портфель продовольствия не уступают. Министры же, видно, надеялись. Теперь — и переговаривать не о чем. Объявили опять совещания врозь. Советским оставили князев кабинет, министры удалились во внутренние покои.

Советские остались между собой, но они тоже уже всё выговорили, теперь нечего и делать.

Лидеры переговоров — Церетели, Дан, Гоц — нервничали. Гоц пошёл в зал на индивидуальный контакт с Керенским, который наиболее нервничал с той стороны: новое правительство так счастливо для него складывалось, он никак не мог допустить разрыва. Но от него достигло, что кадеты твердо решили не уступать, хотя бы всему кабинету коллективно уйти в отставку. И даже будто уже обсуждают, как оформить свою отставку, кому её подавать.

Для советских лидеров напряжение стало страшным: они боялись брать полную власть: такая «диктатура пролетариата» — соблазн для рабочего класса, будет слишком шатка.

Чернов смеялся: нечего беспокоиться, кадеты струсят.

Стал беспокоиться и Гиммер: нет, буржуазия ещё не изжила себя на пути власти, и нельзя разрешить ей бежать от власти с поспешностью. (С той поспешностью, с какой они кинулись на власть в первомартовские дни.) И ещё не кончился процесс самоорганизации демократии. Но ведь никакой класс никогда добровольно от власти не отказывается — так что не верится, чтобы кадеты сейчас отказались. С другой стороны, и Совет уже никак не может отказаться.

Бродил по залу и даже заглянул сюда, в кабинет, черноглазый духовный прокурор и прорёк:

— И там сумасшедший дом, и тут сумасшедший дом.

Но сам-то он, со своим очень странным похотыванием и блуждающими диковатыми глазами, больше всех, пожалуй, и был похож на сумасшедшего.

А шёл уже двенадцатый час ночи.

Тут — в кабинет стремительно вошёл Керенский, со вздёрнутой головой и полузакрытыми глазами, и попросил открыть официальное заседание. И взял крылатое слово. И стал убеждать советских горячо, прерывая фразы, но многословно и повторительно, как ужасно положение страны и насколько в дальнейшем может быть ещё хуже. Будто: сейчас не достигнуть соглашения — значит развязать гражданскую войну. Но буржуазное крыло уже уступило всё, что могло, и теперь, во спасение от анархии, должен уступить Исполком.

И только Чернов в ответ убеждённо: никаких уступок! А другие члены советской делегации уже заколебались: ну о чём правда речь? об одном минпроде?

Да неужели же по такому ничтожному поводу — может разгореться гражданская война? что за чушь?

И Гиммер тоже попросил слова: портфель продовольствия — мелочь, не стоящая спора. Но надо признать своё поражение: что коалиция, как её понимал Исполнительный Комитет, — не осуществилась. Создаваемый кабинет — не то правительство, которого мы хотели.

На Гиммера сильно зашумели, замахали руками, рассердились, признали безтактным и неуместным.

Но всё же — тупик? Стояли два козла на мостике, лоб на лоб, — и не уступали.

Керенский ушёл. И ещё говорили, ещё говорили, утомлённо, безцельно, уже во втором часу ночи, иногда обмениваясь посланцами между кабинетом и столовой. И уже казалось — всё безнадежно, опять ничего не решено, опять на следующий день, завтра опять переносить позор в Морском корпусе от большевиков.

И вдруг — кадеты уступили! Сломались. (Да не могли они не сломиться! — они хором сами уговаривали Шингарёва, и разве мог Шингарёв устоять? Как потом оказалось — всё подтолкнул Набоков, уже устранившийся от правительства, уехавший теперь в Сенат, а вот ночью приехал и предложил комбинацию: чтобы Шингарёва оставить на продовольствии ещё на месяц временно, но чтобы финансы брал. Шингарёв согласился, если согласятся социалисты.) Керенский опять прибегал к советским за согласием. Итак, Пешехонов будет сейчас объявлен министром продовольствия, но до 1 июня — только знакомиться с делом.

Так всё решено? Коалиция создана?!

Но к двум часам ночи совсем не варили головы. И уже не могли дорешить мелочей: так создавать ли министерство по созыву Учредительного Собрания? И куда же Кокошкина? И кто ж — на министерство государственного призрения, то бишь социальной организации?

Кое-как, не окончательный, список правительства ещё можно дать в утренние газеты (хотя ж, формально, ещё когда-то должен его утверждать Думский Комитет), — но подписать окончательно ответственно декларацию нельзя, и значит, она не появится и сегодня, 5 мая.

Ну, измотались.

Тридцать два месяца, даже и с лишним, девятьсот семьдесят дней пробыл доктор Федонин в германском плену. А с нынешней возвратной дорогой стало 994, чуть не до тысячи. Из 32 лет жизни — 32 месяца в плену, из каждого года жизни вырвано по месяцу.

А месяц плена тянется дольше месяца боевой жизни. И такая обида — быть не на своём месте, и бездейственным.

Сильно-сильно изменился Валерьян Акимович за эти годы, куда сильнее, чем если бы прослужил их во фронтовом госпитале. Как-то замедлились в нём все процессы жизни, темп мысли, все реакции на окружающее, сам характер стал рассудительно-медлительным, не по годам заторможенным. Сколько говорит психиатрия, это изменение не должно быть необратимым, в привычной обстановке человек возвращается в свой прежний психический тип. Теоретически да, а самому кажется; нет, прежнему уже не вернуться. Вот ещё два дня — и Москва, дом, жена, дочурка Настенька, оставил полутора годов, а теперь четыре, горячо приливает: так это и есть возврат, и всё исцелено? А кажется, нет: того, что пережил и узнал, — уже никогда из груди не вынуть назад. Да ещё через месяц — опять же на фронт, и опять лицом к лику Германии, но теперь уже как узанному?

До войны Федонин любил Германию, он и побывал там, — сердечно любил её музыку, ценил её поэтов, высоко уважал её несравненный порядок, правда, уже в языке угадывал жестокость; и очень больно пережил боснийский кризис 1909 года, чувствуя себя вместе со всей Россией изнасилованным. Но даже и нападение Германии на нас ещё далеко не обрезало нитей к ней.

А возненавидел Федонин Германию — переживши плен. Можно понять впадение в войну. И привыкаешь, что фронт есть убийство и убийство. Но по обращению с беззащитными пленными узнаётся народная душа. Как можно додуматься — распинать, подвешивать? И потом: власть и военные потребности могут влить жестокий режим, — но тысячи исполняющих могут исполнять по-разному. В германском плене страшно было то, что каждая строчка жестоких правил — исполнялась в полную меру, и даже жёстче того.

Не были готовы принять пленных из самсоновской армии, сразу 90 тысяч? Но и несколько ещё осенних месяцев держали так: под открытым небом, на голой земле, — и дизентерия, холера и сыпной тиф унесли тысяч шесть. Впрочем, диагноза «сыпной тиф» не ставили пленным, а — «русская инфлуэнца». Но и потом, когда рассосалось и как будто упорядочилось, — зловоние и смрад в непрочищаемых бараках, несменяемые соломенные тюфяки, те же вши, клопы, блохи, черви, неоттапливаемые землянки, и заразных

запирают вместе со здоровыми. Брюквенный суп, мучная болтушка, даже офицеры изрядно голодны, правда они не работают, им наказание — сокращение прогулок или света в бараке, отдавать честь немецким фельдфебелям, а в штрафном лагере — спать на полу и бельё стирать самим. Вопреки всем конвенциям вынуждают солдат рыть окопы для противника, или выработать военное снаряжение, или даже работать на химических заводах. И тут не надо солдатам грамоты, чтобы понять: это — против своих же братьев. Разрывается солдатское сердце, а наказание: розги, приклады, кандалы. На шею — пуд песку, и стой. Или загоняют в холодную воду. Или — вплотную к раскалённой коксовой печи. Такие пытки только немец и мог придумать. А в России, как видно, ничего этого не знают о нас. Последнее время русские врачи получили право помогать своим, но почти без лекарств. Полмиллиона русских умерли, не дождавшись конца плена. И сотням тысяч это грозит.

И вырвавшись, тем схватчивей думаешь: а те, наши там, оставшиеся?

Оставался бы и Федонин дальше там, если б не удались долгие переговоры о взаимном освобождении части врачей. Немцы долго корректировали списки, вычёркивали просимых русской стороной, вставляли кандидатов своих. Всего, тремя группами, теперь возвращались в Россию девяносто врачей. Их вторая группа должна была приехать в Петроград вчера поздно вечером, но поезд сильно задержался в пути — и вот дотягивался только утром 5 мая.

От Торнео в одном вагоне с врачами ехало семеро возвратных эмигрантов — все из Нью-Йорка, там они кучились в какой-то газете и так, кучкой, спешили теперь на революцию. Лидер их Троцкий, лет под сорок, пружинный, быстрый, с высоким лбом, с богатой копной чёрных волос, в пенсне, ехал с семьёй — женой и двумя сыновьями, лет десяти и восьми, довольно избалованными, но уже и с отцовской остротой, жадно слушали разговоры взрослых.

Врачам из плена это дорожное соседство пришлось растравой. «Революционные эмигранты» эти годы давали себя знать и военнопленным — но не сухарями и не лекарствами, а листовками на каком-то жаргонно-подбойном языке, и много — за отделение Украины, за панисламизм. И — брошюрами, ярую всё мерзость о России; подписывались: «комитет интеллектуальной помощи рус-

ским военнопленным». (И это немцы аккуратно передавали в лагерь, всё бесплатно.) А теперь вот, революция произошла, — эти острословцы, не те, так эти, спешили на неё.

Такие попались врачам первые соотечественники.

Спешили — а их в Канаде задержали англичане дольше трёх недель, — и они очень негодовали все, а особенно едко Троцкий:

— Канальи! Мы, революционные интернационалисты, устояли в величайшей мировой катастрофе на позициях анализа, критики и предвиденья, — чётким голосом звучал он в вагонном коридоре, — мы безупречные русские революционеры, и они это знают, а имеют наглость обращаться с нами, как с преступниками! И освобождали — тоже с насилием, не объясняя куда, взять вещи — и под конвоем. Ну, я сейчас Бьюкенена припру к стенке! И Миллокову тоже не поздоровится!

Он был очень нервен, да и другие с ним.

У самого Троцкого история тянулась ещё сложней: он и в Америке был лишь недавно выслан из Испании, и с большой обидой ругал испанские власти. А перед тем был выслан из Франции — и уж Францию и деятелей её искалывал саркастически. А всё произошло потому, считал он, что Европа до последнего издыхания царизма лежала под его лапой.

От поспешности, которая так и была из уст и глаз эмигрантов, — врачей охватывала тревога: что там правда делается впереди? Может быть — необратимое, чего мы совсем не знаем и куда вот не успеваем, опоздали? После застойных месяцев ощущали познобляющий напор этого внезапного темпа.

И конечно, между врачами и эмигрантами завязались споры. И весь день вчера не столько смотрели в окна на гущи елей, на роступ озёр, ещё подо льдом и снегом, на обкатанные дивные валуны — сколько друг на друга, с удивлением и раздражением, такие неожиданные были эти другие: страдания пленных были им ничто? а Германия — не враг? и Англия — хуже Германии?

Эмигранты подёржливо не скрывали своего пренебрежения к простодушному патриотизму врачей.

— Взгляды, которых не могу принять, — изгибал Троцкий крупные насмешливые губы, — как не могу есть червивую пищу. Гонят человеческую саранчу на войну, я этого навидался ещё на Балканской. Забывают, что у солдат тоже есть нервная система. И что матросы — не самая малоценная часть военного корабля. А матросы во всех восстаниях всегда самое взрывчатое. Нет,

война кончена, война проиграна, из неё надо немедленно выходить!

Врачи изумлялись: так что ж? пусть наши губернии, и кусок Франции, и вся Бельгия и Сербия остаются под немцами — а мы предадим тех, кто нам верен, и протянем руку тем, кто хочет нас задушить? Просто — не воевать дальше, а Россию пусть ограбят и опозорят? Как можно новую русскую жизнь начинать с растраты национального наследства?

Эмигранты сыпали в ответ: война была реактивом замыслов капиталистов всех стран... социально соблазнённый пролетариат... перерезывают друг другу глотки во имя интересов своры богачей, мощны капиталистов...

Так что? получается — *не важно*, кто начал войну? она бы всё равно началась? замыслили капиталисты всех стран, не важно, что начала Германия, она как бы и не начинала?..

Сперва Федонин больше говорил с каким-то крайне неприятным, невежественным, но агрессивным типом, Володарским, — с лихорадочными глазами и лихорадочной быстрой речью, с сильным акцентом. Он швырял:

— Да русская армия неизменно была бита и в XIX и XX веке, она годится только против отсталых племён!

Это слышать было невозможно! что он говорил офицерам той самой армии! Но тут на выручку ему поспешил красноречивый, легконоходчивый Троцкий:

— А что же можно найти бездарней, чем русские войны и русская внешняя политика за последние сто лет? Только и могли гнать туркменов да теснить китайцев. А то всегда: не те союзники, не те цели, не те способы и не в тех местах! Кого благодетельствовали — Австрию, Болгарию, все натянули России нос. От Крымской — проиграны все войны подряд. Одну выиграли — на зимних перевалах, огромной кровью, — так ещё хуже проиграли за берлинским зелёным столом. Это ещё чудо, что Россия не крахнула раньше, царская дипломатия всё к этому вела.

И опешишь. И сразу не найдёшься. Вспоминать Отечественную войну? Только и остаётся. Ну а — сейчас:

— Ведь Германия же первая напала на нас?

Да не на того напал Федонин.

— Не нужно нам этого вероломного безпристрастия в плоскости фальшивого объективизма!

Тут, в вагонном разговоре, Троцкий, кажется, и двадцатой доли своей энергии не дарил, но внимательно выщупывающие глаза за пенсне иногда не удерживали вспышек.

— Война так запредельно ужасна, что рабочий класс каждой страны её не простит. И, возвратившись с войны, — сметёт буржуазный порядок в каждой.

— А если не сметёт?

— Ну, — обильные полустоячие волосы его подрагивали, — тогда я стану мизантропом. Это будет в каждой стране, и поэтому не важно, кто сейчас формально окажется победителем, важно бросать оружие и не поддерживать войны ни часа. Мир идёт — к полному объединению. И всякая попытка отстаивать независимость отдельной страны — реакционна.

— Ну так всё и захватит Германия!

— Нет, всё захватит международный революционный пролетариат. Но как переходная ступень, — не совсем охотно оговорился, — что ж? Германия по своему капиталистическому развитию так далеко ушла и обладает такими колоссальными экономическими и культурными ресурсами, что она единственная могла бы, в случае победы, объединить весь цивилизованный мир и так сыграть прогрессивную роль.

Нет, Федонин не мог этого понять! Просто — не воевать дальше, а условия мира выработают социалисты на какой-то конференции? Да разве может инстинкт народной жизни принять непротивление злу во имя какого-то Интернационала?

А Троцкий — не только так думал, он — непобедимо был уверен, что именно так! Он всем видом показывал, что переубедить его — нечего и пытаться. (И он, конечно, очень нравился сам себе, но — это было в нём не главное, нет.)

— Да вы знаете, — из опыта говорил ему Федонин, — что в немецкой армии каждый третий — социал-демократ? Но все они железно подчиняются канцлеру.

В глазах Троцкого приплясывали огоньки, что он превосходит вас и умом, и знанием истины, и даже что бы с вами разговаривать? Но процесс говорения доставлял ему явное удовольствие, он, кажется, сам искал свежего собеседника, свои спутники ему уже надоели.

— Это — социал-демократы прошлого. Будущее — уже не за ними.

Социал-демократы тоже разные? Федонин, и вообще теперь замедленный, не успевал ответить ему.

— А вы сами — какой партии?

На высоко держимой голове Троцкого с крупными ушами чуть потрясывались его неулегаемые волосы.

— Всё будет решать не голос партий, а голос классов. И средняя равнодействующая классовых лагерей. Я горжусь, что принадлежу к тому классу, который бросит зажжённый факел в пороховые погреба всех империалистических держав!

К какому ж это классу? — не переспросил Федонин.

За всем этим была, кажется, и сила характера, и сила мыслей, не наспех придуманных. Если отвлечься от его крайних суждений — в нём было и что-то привлекательное, располагало.

— Метод буржуазии — это война между государствами, метод пролетариата — революция. Развитие народов выдвигает такие задачи, которых нельзя разрешить другими методами, кроме революции. Революция есть неистовое вдохновение истории. А в России революция безвозвратно решена ещё в Тысяча Девятьсот Пятом — и её никак не могло не быть сейчас. И теперь зубчатые колёса войны обломают свои зубья на шестернях революции.

С уст его с лёгкостью сходили афористические фразы. Он даже будто и не искал, как повернуть их, чтобы блеснуть, они сами такие сходили:

— Мы берём факты как они даются объективным ходом развития, в могучих возможностях классового мышления. Кто хоть немножко понимает язык истории, для того эти факты не нуждаются в пояснениях. Великие движущие силы истории, конечно, имеют сверхличный характер, но я не отрицаю и значение личного в механике исторического процесса. Как мог удержаться на русском троне этот моральный кастрат, тривиал, лишённый воображения, такая же лапша, как Людовик XVI? До удивительности повторял его, да и царицы одинаковые, у обеих куриные головы. Да в общем, такая же парочка была и Карл I с Генриеттой Французской, так же и тот оставил свою голову на перекрестке. Но осушать слезы помазанников не наша функция. Английская и Французская революции потому и были великими, что разворотили свои нации до дна. И полуазиатская династия Романовых была, несомненно, обрече-на!

В силе своего слова и мысли уверенный абсолютно, он ввинчивал ещё это не-сом-нен-но, чтобы держалось крепче. (Да и не поспоришь, теперь — виделось так?) Больше того, он, кажется, заранее был уверен и в той мысли, которая ещё только созреет у него следующая, ещё неясна ему сама:

— Всё это — историческая диалектика. Это — великий естественно-исторический процесс, идущий от амёбы к нам и от нас дальше. Века проходят, пока пробьётся толстый череп человечества. Оно так медленно учится! Но самодовольная ограниченность правящих классов всегда помогает созреть очередному этапу революции. Что наше дворянство не научилось на опыте Великой Французской, может показаться противоречащим классовой теории общества? Нет, только примитивному пониманию её.

Это так и сыпалось искрами. И всей интонацией он внушал бесполезность всяких возражений.

И оба его мальчика тут же стояли, остро слушали. Может быть, больше для них он и говорил.

— И революция совершилась совсем не стихийно. Пожар Суда? сгорели нотариальные акты собственности? какой ужас! Не стихийность и не партии, а молекулярная работа революционной мысли сознательных пролетариев, вот они и направляли. Лучшие поколения революционеров сгорели в огне динамитной борьбы — а теперь вступили простые рабочие.

Федонин всматривался — он никогда таких не встречал. И сколько в нём жизненной энергии.

— Скучность неудавшейся русской истории. Рыхлость старого русского общества, худосочность претенциозной интеллигенции. А Россия — ещё и безумно отстала, и вынуждена проходить свою политическую историю по очень сокращённому курсу. И русская революция — не закончена и сегодня.

— Ещё не закончена? — ужаснулся Федонин. — Да чего ж вы ещё хотите нашей несчастной стране?

— События развёртываются во всей своей естественной принудительности, — неумолимо отсекал Троцкий. — У этой революции будет вторая стадия, и пролетариат возьмёт власть и установит свою диктатуру.

— Простите, — вот тут упёрся Федонин. — Зачем же диктатуру? Всё-таки у нас представления о революционерах, хотя они там

кидают бомбы, что они же хотят-то свободы? демократии? Революция делалась для свободы, я так понимаю?

— Нет, не так! — снисходительно чеканил Троцкий. — Всякая революция — это скачкообразное движение идей и страстей. Россия уже перешагнула через формальную демократию, она нам не нужна.

— Что вы говорите! — почти вскрикнул Федонин, другие в коридоре обернулись. — Уже и демократия не нужна? Но, кажется, ещё не придумали устройства выше?

— Не нужна — вульгарная демократия. Она уже исторически выродилась.

— Вот то, что сейчас и было в Петрограде? — стрельба в толпу, и чтоб скинуть уже и Милюкова?

Сильные губы Троцкого под густой щёткой тёмных усов и над крюкастой бородкой сложились в презрительную линию:

— Милюков — прозаический серый клерк. Не его вина, что у него нет патетических предков, и даже не обладает он византийским скоморошеством Родзянки. Архимед брался перевернуть землю, если ему дадут точку опоры. Милюков, наоборот, искал точку опоры, чтоб сохранить помещичью землю от переворота. На вопросах о земле и войне кадеты свернут себе шею. Их зависимость от старого правящего класса давно торчит как пружина из старого дивана. Да Победоносцев понимал народную жизнь трезвей и глубже их. Он понимал, что если ослабить гайки, то всю крышку сорвёт целиком. Так и будет!

И выразительный подвижный рот его сложился хищно.

Он так уверенно всё объяснял в революции, как будто ехал не туда, а оттуда.

— Кадеты хотят использовать войну против революции. Антанта для них — высшая апелляционная инстанция. Эти господа лишены чувства смешного. Я давно не имею о них никаких иллюзий и давно примирился прожить свою жизнь без знаков одобрения от либеральных буржуа. Либерализм мутит источники и отравляет колодцы революции.

— Но какая ж это всероссийская революция? Так можно понять из сообщений, что всё происходит в одном Петрограде и решается им?

— Юридический фетишизм «народной воли»? — Этот риторичем не затруднялся. — Если революция обнаруживает централизм, столица действует за провинцию, — так это неотразимая по-

требность. Это — не нарушение демократизма, а динамическое осуществление его. Но ритм этой динамики нигде не совпадает с ритмом формальной демократии. И нет ничего более жалкого, чем морализирование по поводу великих социальных катастроф. Тут — обнажённая классовая механика. Пробуждённые массы, гордые своими успехами, теперь осуществляют великолепное будущее!

Он с большим чувством выговаривал это «великолепное», — как будто зримо видел его через вагонное окно. Или о деталях революции, вычитанных из газет, но будто сам был им живой свидетель: «замечательный эпизод!.. неподражаемый жест!.. непревзойдённая способность закалённого пролетария!» — и, странно, затягивал слушателя в своё восхищение. В нём было-таки что-то обольстительное, притягательное, невольно хотелось согласиться с ним, поддаться ему. Да вот что: если б не эти его громовые, отсекающие фразы, в другие минуты их разговора — это был вполне понятный, интеллигентный человек, притом незаурядно острый, очень интересно с ним говорить.

А то проскальзывали какие-то надменные оговорки: «Ничем не могу помочь их печали... я не тороплюсь уплачивать по этому счёту... остаётся соболезнующе пожать плечами...» — и становилось не по себе.

Этого человека стеснял вагон. Он — рвался, опережал ход поезда. В крайней напряжённости, как бы перед скачком.

О-о, он ещё наделает дел! Это — штучка.

Сейчас он, кажется, более всего опасался для России «министерализма» и «парламентского кретинизма».

— А помогли бы некоторым ослам машины, укорачивающие людей на длину головы. Да никуда не годился бы тот революционер, который не стремился бы поставить на службу своей программе — государственный аппарат принуждения.

Его нервность начинала болезненно заражать и Федонина. Что-то непоправимое упускалось! Чего-то никак нельзя было упустить!

— Но в чём программа? Что может сделать малость вашего пролетариата в поголовно крестьянской стране?

— Да, — усмехнулся Троцкий. — Мужичкий ум лишён размаха и синтеза. Они улавливают только элементарное. Крестьяне изорвали на онучи знамя Желябова. Они поймут, когда по ним пройдут калёным утюгом.

И, видя как Федонин отшатнулся, ещё утвердил:

— Да, в школе великих исторических потрясений надо уметь учиться. А по слабым — жизнь бьёт!

Но при всей его страстной речи и огнистых глазах — какое-то высокомерное холодное отчуждение насажено на него как броня. Он был горяч — но был и холоден одновременно.

Уже к ночи прекратились разговоры.

А в Белоостров поезд пришёл в четвёртом часу утра, при первом свете, — и тут в вагон хлынула шумная компания друзей этих эмигрантов. Они остро, пересыпчато заговорили уже только между собой, тарабарскими терминами, на революционном жаргоне.

А их же поездом, но в другом вагоне, ехал известный бельгийский социалист Вандервельде, даже, кажется, председатель их же Интернационала, — но к нему они не шли, и Троцкий вчера не ходил. Когда поезд пришёл в Петроград в 6 часов утра, — солнце уже не низко, а город спит, — Вандервельде встретили с бокового подъезда трое бельгийцев с чёрно-жёлто-красным флажком на автомобиле. Врачей — два чиновника из Красного Креста. А семейных эмигрантов — сотни людей, собравшихся с вечера, не ушедших с вокзала и за ночь: с красными флагами рабочие, с нарукавными красными повязками вооружённый винтовками рабочий отряд. И на руках понесли Троцкого в парадные комнаты вокзала, там речи.

У приехавших эмигрантов встречавшие переняли чемоданы — все эти революционеры ехали, однако, с хорошими кожаными. А врачи со скудными узелками и мешочками пошли на площадь, ожидая, чем ехать. В утреннем заревом солнце явилось первое видение родины: грязная, изсоренная площадь.

Из главных дверей вокзала под новые аплодисменты вышла группа Троцкого. И один из них, Чудновский, поднялся на грузовик, держать речь и тут. Всё о том же: довольно этой войны! кончать её немедленно! братство народов, а немцы совсем не так плохи.

Потом из встречающих объявили: Урицкий.

Такая малая их кучка — но если везде всё время будут держать речи, а их будут слушать?

Федонин передал заспинный мешок спутнику — и полез на тот же грузовик, отвечать от военнопленных.

ГДЕ ЧЁРТ НИ МОЛОЛ — А С МУКОЙ К НАМ НА ДВОР

177"

(по буржуазным газетам, конец апреля — начало мая)

Суд над Фридрихом Адлером, убийцей австрийского премьера.

Рим. Отставка Гучкова произвела в Италии удручающее впечатление... После того как все видели лучезарное возрождение России к свободе от гнёта царской власти, никто не мог ожидать, что положение в России станет таким тягостным.

Копенгаген. Датская печать усматривает в уходе Гучкова и Корнилова признаки полного развала России.

Гинденбург заявил: «...Что события в России способствуют нашим планам, этого не может отрицать даже самый яркий оптимист Согласия. В прошлом году, чтоб отразить наступление Брусилова, нам нужен был наш стратегический запас. Ныне же дела обстоят совершенно иначе».

Социалистическая пресса разбилась на десятки враждебных устремлений. Можно вообразить, что на плечи единого пролетариата вскочило два десятка горлающих голов, высовывающих друг другу языки. Где же собственная голова пролетариата?

(«Русская воля»)

...Хлеба всё нет. И твёрдые цены повышены на 60% при участии того самого Громана, который так боролся против их малейшего повышения. Положение с довольствием армии стало значительно хуже, чем было до революции.

(«Новое время»)

В с. **Болотникове Пензенской губ.** все должны были принести на сход свои документы. Затопили печку, дружно сожгли все документы, кричали «ура» и смотрели, как горят старые законы.

Из речи Брешко-Брешковской в с. Шунга Костромского уезда. «...Тёмные силы возбуждают крестьянство нелепыми слухами, будто в демократической республике все золотые кресты на церквях будут перечеканены на монеты, все колокола медные перельют на пушки, все драгоценные украшения икон будут ободраны, а церкви обращены в сеновалы. Всё это наглая ложь. Нас, социалистов, часто называют безбожниками, но скажите, граждане: кто ближе ко Христу: кто каждый воскресный день кладёт поклоны, или социалист, положивший жизнь свою за други своя?»

Продовольствие Петрограда. Ввиду слабого притока продуктов — на 1 мая в Петрограде остался менее чем двухдневный запас пшеничной и ржаной муки.

ХВОСТЫ. В то время как всё в России полевело — хвосты поправили. Если вам хочется послушать черносотенную агитацию — идите постоять в очереди. Отличительной чертой дореволюционных хвостов было угрюмое молчание. Теперь услышите, что новое правительство приказало все кресты на церквях обломать, или что «в чередах евреев не видать совсем, у них хлеба вдоволь припрятано». Хвосты — самые опасные очаги контрреволюции.

(«Речь»)

Обыск на Александровском рынке Петрограда силами Литовского, Волынского батальонов и казаков. В подвалах обнаружено много скупленной казённой амуниции, револьверов, портупей, цейсовских биноклей, сапог, шинелей, матросских бушлатов, шапок, белья, сукна. Найден целый арсенал оружия, возы муки и сахара. Многоворованных вещей, в том числе ковёр из дворца Кшесинской.

В **Летичевском уезде Подольской губ.** орудует огромная (до 300 чел.) разбойничья шайка беглых каторжников и дезертиров, стоят лагерь в лесу.

Кишинёв. Ежедневно поступают из губернии сведения о разгроме винных погребов проходящими на фронт солдатами.

ПОЖАР В БАРНАУЛЕ... Сгорели все магазины, аптеки, водопроводная и электрическая станции, пожарное депо, гостиницы, учреждения, конторы, склады, училища, мельницы, лесопилни... Число человеческих жертв, сгоревших и утонувших в реке, не установлено. Население разорено.

Воронеж. Многолюдный съезд духовенства Воронежской губ. К делегатам примкнуло много священников, бросивших свои места из страха: в одном месте толпа искупала священника в проруби, в другом — позорно со свистопляской провели по улицам, в третьем — вырвали все волосы из головы и избili до полусмерти, в четвёртом — сожгли дом, во многих — священники ограблены или изгнаны. Была попытка местных эсеров захватить съезд в свои руки, избирался председателем священник-революционер, отсидевший 8 лет по тюрьмам.

В Нижегородской губ., не находя защиты у властей и неумелой милиции, население не только в деревнях, но и в городах расправляется с ворами самосудом. У нас отменена смертная казнь за измену родине — но осуществляется даже за мелкую кражу.

Елабуга. Военнопленные отказываются от работ, бастуют партиями, избивают местное население.

Батум. Исполнительный комитет закрыл газету «Батумские ведомости» (без права возобновления под другим названием) за «высмеивание великих принципов русской революции» — свободы слова.

Тифлис. Закавказский комиссар Харламов заявил на съезде делегатов Кавказской армии, что эвакуация 43-летних солдат и больных катастрофически затруднена поведением отпускных солдат, которые терроризируют ж-д и врачебную администрацию, не дожидаясь очереди захватывают санитарные поезда и возвращаются даже в тифозных вагонах, разнося заразу по всей России; штыками заставляют докторов выдавать свидетельства о мнимых болезнях...

От службы движения **Вологды** министром путей сообщения получена телеграмма... Следующие с поездами солдаты избивают и убивают железнодорожников, невозможно нести службу начальникам станций, дежурным, кондукторским бригадам...

ГИБЕЛЬ... Хлещет кровь из перерезанных артерий, бледнеет истекающий кровью больной... Кому ещё автономии, отделения, кто требует развода от умирающей? Чего Россию жалеть, когда она сама себя не жалует, сама в могилу лезет?.. Россия близка к смерти, и не знаю, будет ли жива через полгода...

(Леонид Андреев, «Русская воля»)

Лондон. Российские социалистические эмигрантские группы в Лондоне в телеграмме Керенскому протестуют против того, что Временное правительство склонно возобновить соглашение царского с английским: что эмигранты призывного возраста, не желающие вступить в английскую армию, будут принудительно возвращаться для отбытия воен-

ной службы в Россию. Русские эмигранты видят в этом нарушение священного права убежища политических изгнанников...

Дюжина интеллигентов и полуинтеллигентов, полуграмотные болтуны объявили себя вождями самой передовой части русского рабочего класса. При мирном порядке жизни они заняли бы место по своему умственному калибру. А сейчас они пользуются временным замешательством государственной жизни...

(«Новое время»)

НЕМЦУ ИЗ ОКОПА В ОКОП

Места нет у нас подвохам,
Будешь встречен дружным «хохом»,
Погости хоть час, хоть три,
Что захочешь — на, смотри!
Коль ты брат, так будь уж братом,
Запасайся аппаратом,
Вместе снимемся скорей
Возле наших батарей.

...Любопытно, кто этот герой фронта г. Мстиславский из «Дела народа»? судя по страстным нападкам на героев тыла — не меньше как георгиевский кавалер, инвалид, потерявший ноги, а м.б. и голову?

(«Русская воля»)

Остров. Земская акушерка Шолкова, скопившая за 25 лет службы 100 руб. золотом, — движимая чувством доверия к Временному правительству, принесла эти сбережения в казначейство.

«Царскосельская благодать» — таково название «фарса-этюда»... Автор, маркиза Длякон, широко использовала отсутствие цензуры и поняла свободу по-своему, недалеко уйдя от «заборной литературы». Она смело выливает ушаты помоев на лиц, которые в настоящее время не имеют ни малейшей возможности протестовать. Неужели директрису г-жу Верину так пленила возможность раздеваться по два раза в каждом акте?

(«Новое время»)

Американец-коллекционер покупает серебро, бронзу, фарфор, картины.

Грузинка молодая знает массаж.

50 китайцев ищут места при готовой квартире.

Бывший конторщик Николаевской ж-д, безногий калека, совсем больной, семейный Иван Белугин, очень бедствую, прошу помочь кто чем может.

Вашингтон. *«Морнинг Пост»*: ...русские не должны упустить, что германский социалист прежде всего немец, а социалист лишь в свободное время...

Париж. *«Галуа»*: То, что происходит в России, это жакерия и анархия. Это уже не измена по отношению к союзникам, но полное банкротство перед лицом всего человечества.

«Виктуар»: Все западные демократии охвачены тревогой, сумеет ли петроградская коммуна окончить не тем жалким финалом, как коммуна парижская. Если б случилось несчастье — демократическая идея во всех странах была бы втоптана в грязь, социализм — осмеян и обезчещен на 50 лет.

... Небывалое падение курса рубля в Дании...

Всегерманцы о целях войны. Мюнхен. «...Мир с отказом Германии от мирового владычества надо признать чудовищным явлением. Мы должны требовать контрибуции золотом, сырьём, пищевыми продуктами, земель на востоке для колонизации...»

Сейчас вся страна ждёт только одного — власти, пусть даже жестокой и деспотичной, но — государственной власти, которая могла бы задушить анархию и спасти Россию от развала.

Если пример черноморцев не сможет нас пробудить — то кто нас пробудит? И если не за Керенским пойдут армия и флот с закрытыми глазами — то за кем?

...Мы должны иметь мужество признать, что нынешнее соглашение Временного правительства и Совета рабочих депутатов делается уже на краю бездны...

(«Новое время»)

Из жалобы землевладельцев 10 губерний Временному правительству и СРСД. ...Всё вышеизложенное поведёт в самое ближайшее время к тому, что Россия, с её чернозёмным богатством, превратится в пустыню с обширными площадями сорных трав, с нищим населением, ничтожным количеством низкосортного хлеба, недостаточным даже для надобности его производителей, при полной гибели высококультурных хозяйств, свеклосахарного производства и рассадников улучшенного животноводства. Экономическая гибель России неизбежна.

(«Речь», 3 мая)

... Совет Рабочих и Солдатских депутатов совершенно умалчивает о принудительном отчуждении запасов, хранящихся в крестьянских амбарах. Между тем сейчас — это мера единственная. Необ-

ходимо немедленно и твердо распространить насильственную реквизицию на всё население, производящее зерно.

(«Биржевые ведомости», 5 мая)

Кишинёв, 5 мая. Аграрное движение в губернии принимает угрожающие размеры. Выпасы и сенокосы стравливаются, чёрные пары запахиваются; нередко соседние деревни устремляются на одни и те же участки, доходя до рукопашных схваток.

Идите в деревню! Рассказывайте крестьянину и крестьянке, что они перестали быть рабами! Оставим науку и искусство, танцы и спорт — и пойдём к народу!

Феодосия. На Казской лесной даче наблюдается усиленная порубка леса татарами.

Харьков. Священники протестуют против назначения «комиссаром по церковным делам в Харьковскую губ. некоего Раппа: кто он таков и какова его власть?

Баку. После скандала в соборе, где православный крестьянин Винник произносил антирелигиозные речи, — кто-то пустил слух, что задержанный — еврей. Этот слух достиг базара, и толпа заволновалась. Одна торговка, особенно агитировавшая против евреев, арестована. Начальник милиции вызвал к себе женщин-торговок с базара и заявил, что если они и дальше будут распространять нелепые слухи против евреев, то он их тоже отправит в тюрьму. Женщины заявили, что больше этого делать не будут, и дали в том подписку.

(«Речь», 3 мая)

«РАЗБОЙНИК КОТОВСКИЙ». На имя Керенского поступило прошение от Григория Котовского. В весьма искренних тонах он рисует себя в прошлом разбойником-романтиком типа Дубровского: грабил помещиков и богатых, чтобы награбленное делить между бедными. И никогда не осквернял своих рук человеческой кровью, ибо руководился высшими побуждениями. Дни революции застали его в одесской тюрьме с приговором 20 лет каторги. Теперь он сообщает «глубокопочтиму, пользующемуся всенародным доверием министру», что если при старом режиме был безпринципным анархистом, то сейчас становится сознательным социалистом и просит себе амнистии на оставшиеся после льготы 12 лет каторги, «чтобы с большей пользой работать для нужд родины». На его прошении начальник штаба Одесского военного округа генерал Маркс написал: «Верю в искренность Котовского, прошу за него». Прощение встретило полное сочувствие А. Ф. Керенского.

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ... Самым безстыдным образом фальсифицируется народное мнение. Созывают сотни и тысячи русских людей и

заставляют их якобы выносить резолюции, в которых из 10 слов 9 для собравшихся непонятны. Тот, кто подумает опереться на эти «резолюции», через неделю, подобно Керенскому, будет жалеть, что не умер два месяца тому назад... Либо на этих собраниях совсем нет русских крестьян, солдат и рабочих, либо они совершенно не понимали, за что голосовали...

(«Речь», 3 мая)

К разгрому дворца герцога Лейхтенбергского. Комиссар милиции Харитонов в действительности не то лицо, за которое себя выдаёт, фамилия его совершенно иная. Он принадлежит к группе лиц, приехавших с Лениным через Германию. Заявил, что имеет местопребывание в доме Кшесинской, пользуется большим влиянием у Ленина и ему не страшны буржуазные враги. Вследствие затруднений, учинённых им, уголовная милиция не смогла арестовать заведомых воров, и они успели скрыться.

Москва, 5 мая. Совет Солдатских Депутатов высказался за отмену приказа командующего войсками округа о выходе войск московского гарнизона в лагеря на Ходынку, что лишает солдат возможности участвовать в политической жизни Москвы...

Орехово-Зуево, 5 мая. Рабочие текстильных фабрик Морозовых, Смирнова и Зимина потребовали увеличения заработной платы на 200% и дали администрации срок 10 часов, по истечении которого решили взять фабрики в свои руки.

Рязань. «Рязанская жизнь» печатает письмо жителей в городскую управу: «Мы в настоящее время находимся во власти грабителей и разных тёмных личностей, которые безнаказанно распоряжаются нашим имуществом. Мы испытываем такой страх, что не решаемся даже выходить из дому по вечерам, чтоб не оставить дом без охраны».

Харьков. Уголовные элементы терроризировали Харьков. Грабежи и убийства стали заурядным явлением. Милиция не в состоянии ничего противопоставить работе громил. Ни место, ни время дня не спасают граждан от грабежа. Милиционеры набраны из случайных элементов, большей частью не умеют даже обращаться с оружием. Выпущенные из тюрем подонки уголовного мира чувствуют себя превосходно.

(«Биржевые ведомости»)

Киев. Начальник милиции обратился к дезертирам со следующим объявлением: «Дезертиры! 15 мая — последний день вашего пребывания в городе. Долго будут граждане вспоминать вас недобрым словом. Вы мало здесь прожили, но заставили нас много пережить. Вас здесь, одетых в серые шинели, не одна тысяча. И среди вас свыше 400 воров и грабителей. Вы устраиваете дебоши, праздно шатаетесь днём и ночью

по улицам, продаёте и покупаете солдатские вещи, наполняете тёмные притоны, напиваетесь и дерётесь. Вы терроризировали мирных граждан городских окраин. Спешите уехать из города, держа направление на фронт».

Житомир, 4 мая. Во время облавы задержано свыше тысячи дезертиров, обнаружены огромные запасы денатурата и 20 тысяч рублей золотыми монетами.

Пермь. Совет рабочих депутатов закрыл безпартийный «Вестник Пермского края» за перепечатку иронической заметки из столичного юмористического журнала.

Цинизм военнопленных. Феодосия, 1 мая. Снялась с работ часть военнопленных и предъявила ряд требований, среди них: требуют женщин для сожительства.

Симферополь, 2 мая. Ввиду усиленных слухов о предстоящем приезде в Евпаторию Ленина, ИК СРСД Евпатории постановил: признать в принципе приезд Ленина нежелательным, просить гарнизон выделять ежедневный караул на ст. Саки для недопущения Ленина.

ЧЕСТВОВАНИЕ МИЛЮКОВА. 4 мая в зале городской думы состоялся вечер памяти Герцена. С речами выступили академик Котляревский, проф. Кареев, Вера Фигнер. По желанию массы публики, переполнившей зал, — Родичев по телефону пригласил приехать П. Н. Милюкова. Как только он появился в зале — ему была устроена грандиозная овация, продолжавшаяся около получаса. Все присутствующие как один человек встали с мест. Дамы засыпали бывшего министра иностранных дел цветами. К нему тянутся сотни рук, машут платками, и он был пронесен на руках через весь зал. После этого П. Н. Милюков произнёс речь об идеалах Герцена, осуществлённых текущим моментом.

ЗА МОНАСТЫРСКИМИ СТЕНАМИ. ...по всему фронту монастырей московской митрополии в среде монашествующих идёт брожение... Горячий протест сознательной части монашества против крепостного права, которое осуществляли за монастырскими стенами... Началось в Донском монастыре, затем в Симоновом, в Даниловом... в сторону раскрепощения от гнёта настоятелей и настоятельниц... Массу нареканий вызывают архиерейские кухни. Общий стол монашествующей братии давно отошёл в область преданий... Необходимость созыва всероссийского монашеского съезда...

(«Раннее утро»)

СПЛЕНДИД-ПАЛАС. В ВОДОВОРОТЕ СТРАСТЕЙ. — ЗАПРЕТНАЯ НОЧЬ.

Еврейская труппа. ХИНКЕ-ПИНКЕ — оригинальная оперетта.

Бедная женщина желает отдать навсегда мальчика.

Или правда всеобщая жизнь всё затрудняется, затрудняется с течением лет — или это нам в молодости всё кажется светлее и легче? Например, благословенные годы Пешехонова, когда было ему 30 лет, последние годы XIX века, и он работал в полтавском земстве статистиком. Среди малороссийской сытой степи, с ветряками и меловыми хатками, этот сытый, ублажённый, вечно дремлющий город на горе, избывающий садами, глянцеволистными мощными тополями, — как легко было там жить! ещё особенно легко в этом широко тепле. Медленно катятся тарантасы по улицам, медленно собираются в свою управу земцы — дружеская компания взаимопонимающих, единомыслящих интеллигентных людей, есть и бывшие ссыльные, конечно. Служебный день наполовину состоит из разговоров, проектов о дальнем будущем, неторопливо-обрядного курения — а в полдень на чай собираются вместе из разных комнат, а уже в два часа, в начале зноя, расходятся по домам, поесть кавуны. И темп жизни — не гонит в спину, не боишься никуда опоздать, много читаешь, много думаешь, и уверенность: возьмёт наша верх! и выведем мы Россию на «широкую, ясную»...

И вот — кажется, вывели?! — но за два месяца, по никаким предсказаниям, как же всё вдруг стало кошмарно рушиться, посыпалось прахом, задымилось, — горло сжимает: как же это остановить? кто же это остановит??

А война погоняет — и охватывает ужас, что Россия может не успеть вывернуться?

Только и остаётся надеяться, что мы, социалисты, войдя во власть, исправим, — а кто ж другой сегодня это сможет? Народно-социалистическая партия Пешехонова никак и никогда не претендовала руководить Россией — но непредвзято, без догматов, понимала она народные нужды.

Чуть не угодил Пешехонов министром внутренних дел. Ну, обошлось министром продовольствия, — да разве продовольствие обособлено? а как выхватить его из других видов товарного снабжения? от фабричных производств? от транспорта? и во всё это быстро-быстро войти. Правда, облегчается тем, что Шингарёв эти месяцы двигался, в общем, в правильном направлении — на государственную монополию, к равномерному распределению продук-

ктов по всей России, к подавлению всяких жадных торговцев, купцов, посредников, — только ещё недостаточно решительно. (Какой благословенный порядок испытаем мы все, когда устроим нашу жизнь вообще без торговцев!)

Но прежде всякого дела сегодня с утра Пешехонов с Черновым как два главных министра по крестьянству должны были ехать представляться на съезд крестьянских депутатов. И правильно: навсегда кончилось наше «хождение в народ» — вот сам народ пожаловал к нам.

И поехал Пешехонов опять в тот Народный дом на Кронверкском, который он недавно отстаивал от пулемётчиков. А там председательствующий Авксентьев ещё с 11 часов оперировал, избирал себе десяток товарищей председателя (кандидатуры подготовлены оргбюро, и в основном видные социалисты), десяток секретарей, комиссии, — к полудню приехали два министра, вышли на сцену под аплодисменты зала. (А депутаты плохо подъезжали.) И самоуверенный красавец Чернов, не сверяясь с коллегой, пошёл на трибуну первый. Одну длинную речь он уже вчера произнёс тут на открытии съезда — а сегодня, перед теми же слушателями, был неистощим и на новую:

— ...Всё, что старый строй считал человеческой пылью, поднялось под ветром негодования и гнева, а пустота, которую он устраивал вокруг себя, — свалилась на нас.

Думали, мол, ждать до Учредительного Собрания, но власть не оказалась цензовикам по плечам. И вот они вынуждены были обратиться за выручкой к Совету рабочих депутатов.

Сам звук голоса был природно красив, а ещё он выделял им рулады:

— Если была бы возможность — организованная трудовая демократия и теперь предпочла бы отдалить момент вступления в правительство. И вот я ставлю перед вами вопрос: должны ли социалисты, которые пользуются вашим доверием, — должны ли мы взять в наши крепкие руки устройство российской жизни? Разумеется, все наши силы мы поставим на карту, на служение этому делу — устроить наследство, разорённое имение, которое до сих пор было романовской вотчиной, а теперь наша любимая дорогая родина. И если вы решите этот вопрос положительно — только тогда мы пойдём к власти.

И голос с места:

— Даём вам наше благословение!

Да только беда, что всё это декламация: вхождение в правительство решено на Исполкоме ещё четыре дня назад, и само правительство составлено окончательно сегодня ночью, и всей этой части красивой речи Чернов мог и не говорить. С озабоченностью присматривался Пешехонов к нему. Слава его в эсеровских кругах была огромна, а человек он был заграничный, да и очень литературный. Литературный, конечно, был и Пешехонов, но воспитан на зорком Глебе Успенском, а Чернов — на красных крыльях Интернационала и Циммервальда, — и как вот он сейчас практически вывернется с землёй? В те счастливые мечтательные годы все мы, и даже наши лучшие умы, произнося «отчуждение земель», «передача всей земли крестьянству», — никто никогда, ни практики, ни теоретики безопасно не подсчитывали: а сколько же в России удобной земли, какая ещё не у крестьян? — и оказалось: всего-то четвертая часть!.. А как её разделить, неравно разбросанную, между неравными жаждами краёв и губерний, — и сколько же достанется на едока? Только в самые последние месяцы стали смущённо не находить этой вождельной земли, подбираться к ответу: «достанется на едока с гулькин нос». И как раз сегодня даже «Известия» Совета, значит прямо для народного читателя, вынуждены опубликовать и этот расчёт, и этот вывод: «Не будет земельного запаса для того, чтобы наделить всех желающих по трудовой норме». Напечатано! — но малограмотные миллионы ещё когда это прочтут и поймут? — а что тогда поднимется?

Так, стало быть, не столько предстоит делить землю, сколько хозяйничать иначе?

Пристально рассматривал Пешехонов тех в зале, кто был не подставной, несомненно из крестьян или мог быть. Ведь вот они растекутся по России, и, как всегда, Россия послушно пойдёт за столицей. Каким же непроверенным способом сейчас здесь завладеть их доверием, чтоб они понесли по стране не соблазнительную анархию, но поддержку правительственных мер? В этом зале замыкалось или не замыкалось одно из самых важных звеньев революции.

Наконец кончал Чернов:

— ...Кроме трудящихся есть только нетрудящиеся, которых трудящиеся должны рассосать и превратить в трудящихся... И если вы нас пошлёте в правительство — то мы останемся на своём посту, пока вы останетесь на своём посту. И всё, что есть в нашей

душе лучшего, — без остатка вложим в это святое дело, на котором мы должны или победить, или погибнуть!

Теперь Пешехонов намерился говорить только о деле. Выбрался к трибуне своей, он понимал, неавантажной фигурой — и заговорил безо всякой торжественности. Однако же и общей картины никак не миновать, через неё вход.

Что получили мы от прежнего режима тяжёлое наследство. И остатки бывшего богатства надо распределить равномерно и справедливо. Русский народ за много веков рабства отвык от хорошего правительства. И вот теперь, когда в первый раз за тысячелетие власть и народ сливаются в одно, — нужно думать не о том, что действия власти не годятся, отрешиться от прежних привычек не верить власти, а сплотиться всем народом вокруг правительства.

— Возникает опасение, что при новых условиях каждое лицо, каждая маленькая группа будут думать о себе и своих интересах. И целые большие классы будут думать о своих классовых интересах, а не об интересах родины. Вот, например, в деревне не понимают 8-часового рабочего дня, — вздохнул он, ибо и сам считал, что с ним бы следовало подождать. — И анархия отчасти уже началась. И может явиться если не Николай II, то какой-нибудь Наполеон.

А дальше — он хотел говорить очень конкретно, о хлебе, и как крестьянин должен перебороть своё собственническое сердце — и широко давать городу хлеб, а уж мы постараемся дать железо и ситец. Но тут по залу раздались неистовые аплодисменты. Пешехонов никак не мог отнести их к себе, ни тем более к последним словам о Наполеоне, — оглянулся, — это на сцену вышел Керенский — и вот ему отчаянно аплодировал зал, — не крестьяне, конечно, которые его сроду не видели, и не солдаты-крестьяне, но петроградские интеллигентные две трети съезда, а за ними и остальные.

А Керенский — такой тонкий и такой готовый к этим аплодисментам — струнно шёл, шёл навстречу им, понимающе улыбаясь, — и так получилось, что шёл прямо к трибуне, да, как будто она была незанята, совсем не видя Пешехонова. И Пешехонов, который должен был теперь говорить о вреде помещиков и торговцев-посредников и какое облегчение народу будет без них, — застеснявшись, так понял, что и правда ему нужно уступить, а уж позже договорить своё. И бочком, бочком отошёл.

На последних шагах Керенский взлетел на трибуну уже ракетой и звонко-презвонко на весь зал:

— Товарищи!! Небывалое волнение охватило меня, когда я пришёл сюда, к людям земли, которые столетиями творили на своей спине всё, что есть великого и прекрасного в нашей родине! Товарищи!! Я пришёл сюда в самый прекрасный, но и самый тяжёлый момент русской истории! Я пришёл сегодня сюда как военный и морской министр!

И дал крохотную паузу на аплодисменты — и они догадливо тут же сорвались, — а кто-то мощно перекрикивал: «Да здравствует свободная русская армия во главе с товарищем Керенским!»

Керенский послушно приклонил голову перед этой бурей и снова безтрепетно поднял:

— По воле народа я взял на себя великую тяжесть: спасти вместе с вами землю и волю. Вся история России вела нас к тому моменту, который мы сейчас переживаем. И было бы величайшим преступлением перед русским народом, если бы в настоящее время мы не сумели спасти то великое, что завоёвано.

Столько звуковой силы было в его фразах — когда он успевал набирать для них воздуха?

— Товарищи! Русская демократия, русские крестьянские и рабочие массы, именем которых я буду вести армию туда, куда она должна идти, — они всё поняли: что вопросы земли и социального благополучия сейчас неразрывны с вопросом о достоинстве русского народа перед всем миром. Теперь во Временном правительстве буду сидеть не я один, который два месяца изнемогал. Ко мне на помощь пришли наши старые учителя, которых мы все знали с детства, они сидят здесь...

И не то чтобы полупоклонился, но явно показал головой на Чернова в президиуме. Тот приосанился.

— Мы уверены, что вы дадите нам возможность, спокойно и осторожно, черпая от вас мудрость, довести дело русской революции до торжества наших идеалов полного народоправства, которым и увенчается здание русской демократической республики. Товарищи солдаты, матросы и офицеры, — (померещились ему тут матросы и офицеры, или он закрыл глаза и забыл, где именно сейчас выступает?) — вас зову я вместе с собой на тяжёлый и страстный подвиг! Я буду вашим последним слугой, но дайте мне доказать перед миром, что русская армия и флот — это не рассыпанная хранина, это не собрание людей, которые не хотят ничего де-

лать — (очевидно было и такое мнение), — а это сила, которая своей мощью и величием своего духа... Это не Россия самодержавных проходимцев!

Повёл головой к аплодисментам — и они не замедлили. И кто-то опять длинно перекрикивал подготовленной фразой: «Клянёмся поддержать всеми силами нашего уважаемого товарища Керенского!»

А Керенский откинулся, как бы от постигшего удивления:

— Может быть, кажется некоторым безумием, что я, человек, никогда не знавший военной дисциплины, взял на себя смелость сказать, что я установлю железную дисциплину? Но я верю и знаю, что совет людей земли внесёт в русскую жизнь твёрдое и спокойное слово, свою тяжёлую крестьянскую мозолистую руку положит на весы, покажет, что крестьянство шутить не желает, и не хочет, чтобы земля, которая в 1905 году была уже около нас... Но тогда командующие классы бросились в руки государственного анархиста, врага демократии, проклятой памяти Столыпина...

Аплодисменты.

Такая досада опустошения брала Пешехонова: работать надо — а тут...

— ...Товарищи! Не увлекайтесь. Если мы говорим: того-то нельзя сейчас, — то потому что хотим дать вам в с ё, а не оставить с разбитым корытом! — («Верим! Верим!») — Многие годы я — опять откинул голову (и даже с затылка чувствуется, что закрыл веки, голос глубоко-глубоко растроганный), — как и все мои учителя здесь, посевшие в борьбе за Землю и Волю, мечтали о том великом моменте, когда мы придём сюда людьми власти, чтобы во имя ваше защищать ваши интересы. — (Тут, наверно, разожмурился.) — Мы будем делать дело свободной России, а не разговор! А не разговоры, не прогулки с одного собрания на другое. Мы не боимся никого, ни справа и ни слева. Мы видим и грозные тучи, и молодые всходы, и мы не отдадим их никому, кто придёт, как град, разбивать наше будущее! Или пусть мы первые будем разбиты этим градом!

На миг опустил голову, под тот град. Но тут же вскинул с новой энергией:

— Товарищи! В великое время мы живём, о котором историки будут писать многие книги, о котором будут слагаться легенды и песни, о котором наши потомки будут вспоминать с завистью, и

мы должны чувствовать это величие! И охватить его энтузиазмом и творческой рукой!

Поддал порыва — и наступила овация, и в зале стали подыматься. Так поняли, что он кончил речь? А он, нет, не кончил и, перевышая взлётом голоса:

— Позвольте мне от вашего имени — всем! везде! и всюду! — (стали садиться) — особенно на фронте, куда я скоро поеду, сказать: «Крестьянство России никому не отдаст драгоценных благ свободы и земли!» — («Просим! Просим!») — Но оно хочет, чтобы все забыли свой страх смерти и боязнь за свою драгоценную жизнь! Пусть войско, которое могло выносить ужас старого царизма и всё-таки делать дело спасения страны, — теперь покажет, на что способен свободный! русский! человек!

Крепко аплодировали, но теперь не вставали. И правда: замечательное красноречие, талант.

И вдруг — такая неожиданная острая боль в его голосе:

— Я не могу словами выразить всю досаду и сожаление, что я, ранее всех вас отозванный на другое дело — дело, которое требует от человека каждой минуты и каждой секунды! — лишён возможности остаться среди вас...

И — свалилась голова, чуть набок, — совсем не парадно кончил.

А в зале — рёв. Несколько солдат взбежало по ступенькам на сцену, один прокричал опять довольно длинно: «Вы — наш вождь, и куда вы нас поведёте — туда мы и пойдём!» — и поднесли стул, и усадили Керенского на стул — и так понесли его в глубину зала, туда, в овации.

Заседание от того прервалось. Да после такой огневой речи — разве мог бы зал слушать скучную речь Пешехонова? Ну что ж, не судьба, сегодня здесь не доскажет, будет случай другой. Да уже и было время ему ехать на другой тоже съезд — уполномоченных по хлебу, собранных Шингарёвым. Это было прямое его дело.

Он уходил, когда начал речь приехавший четвёртый министр, Скобелев:

— От имени Исполнительного Комитета и лично от Чхеидзе и Церетели — пламенный революционный привет вам, делегатам русского крестьянства!.. Воля нации есть сумма воли классов...

Пешехонов ушёл, а заседание ещё долго продолжалось. Выступали приехавшие из эмиграции и здешние социалисты, длинная

была череда. Чернов сидел в президиуме, недовольный их жалкими речами, да недовольный и собой. Успех Керенского ранил его. Хотя тот и произнёс дважды комплимент о «старых учителях», но это было пустое расшаркивание — а на самом деле Керенский, упиваясь, летел на крыльях почитания этого зала, и всех залов, и всей слушающей России, это приходится заметить. Мальчишка, никакой не эсер, безо всякого революционного прошлого, — как он теперь нагло вздувал его за своей спиной. А ты, перенеся чуть не 20-летнюю тяжесть эмиграции (в безнадёжности приходилось завязывать и отчаянные связи, в войну попользоваться даже немецкими деньгами), терпеливо собирая, как пчела взятки пыльцы, каждую крупницу необъятной европейской культуры, вызреваешь десятилетиями в вождя партии, приезжаешь сюда, — а тут какой-то хлыщ-адвокат заявляет себя не только давним эсером, но прямо-таки лидером партии. И уже испытываешь толкотню с ним на верхах. И вот — сегодняшняя речь Чернова вовсе смазана Керенским. А именно здесь, как нигде в другом месте, перед лицом русского крестьянства место единственного вождя было за Черновым. Он должен был отечески направлять российское крестьянство, пренебрежённое социал-демократами, — то было его *profession de foi* !

И, пока текли следующие пустые речи, Чернов решил, что ему надо произнести перед съездом ещё одну речь, уже третью, — даже сегодня, на вечернем заседании. Это можно будет объявить как ответы на вопросы, — а вопросы у съезда конечно будут. Какие? Ну, естественно, первый: почему у социалистов только 6 портфелей, а у буржуазии 10? Правильно, этого вопроса Чернов ещё не осветил. Можно будет сказать так:

— Мы входим в правительство потому, что страна не может ждать. Но, идя туда, мы заявили, что мы — не своя, а народная ответственность. Мы пошли потому, что нам приказали крестьяне, рабочие и солдаты. Нас шесть против десяти? Плохо, но потому что в России ещё мало социалистов. Есть целые уезды, которые состоят если не из чёрной сотни, то из серой сотни. Не забывайте, сколько на Руси сторонников старого режима. Ещё много людей в городах и деревнях не с нами — вот почему мы не можем заявить: не хотим иметь дело с буржуазией. Мы, эсеры, народ хитрый, нас на мякине не проведёшь. Если мы рассядемся на все правительственные стулья, то и получится междуусобие, которого от нас только и ждут. Мы — сила, а сильным торопиться некуда и незачем.

Могут спросить: а не отзовется ли вступление в правительство лидера партии на работе партии? Хороший вопрос.

Ответить так:

— Съезда партии ещё не было, у кого же можно было спросить? Высоки интересы партии — но интересы трудового народа выше! Я — беру на себя всю подготовку по земельному вопросу. Я — должен всё учесть, где что есть, и сосчитать, кому что дать. Подготовить переход земли ко всему крестьянству. Как только наладжу в Петрограде — так буду ездить по местам, и мы вместе всё уладим. Я большую часть времени буду проводить не в четырёх стенах кабинета — а на местах, среди вас, каждый раз на том месте, где что-нибудь неладно, и там собирать съезды, рассматривать, — и мы всё уладим...

ИГРАЙ, ДУДКА, ПЛЯШИ, ДУРЕНЬ!

Он родился всего через несколько дней после динамитного покушения народовольцев на царский поезд — но только много позже осознал это, и с гордостью. А уж семья, в какой он родился, не вызвала никакой гордости и не составила на будущее славной аттестации: отец его, Давид Леонтьевич Бронштейн, был изрядно крупный землевладелец-экономист под Бобринцом Elizavetgradской губернии, накупивший и арендовавший сотни десятин земли, прижимистый (сезонных сроков рабочих, тоже сотни, приходивших пешком из центральных губерний, скупо кормил, никогда не мясом, не салом, работники говорили насмешливо мальчику: «Лёва, ты принёс бы нам курочки!»), неизменно богатеющий, однако долго не ставил себе каменного дома, жили в глинобитном, хотя и просторном. В этой экономике мальчик (детей было восьмеро, выжило четверо, Лёва — третий) и прожил безвыездно пер-

вые девять лет своей жизни, по недостатку игрушек поигрывая с младшей сестрой Олей и в куклы. Но, хотя все эти годы он жил в природном окружении — Лёва остался нечувствителен к природе, и от всякой ручной работы быстро утомлялся, да и «люди долго скользили по моему сознанию как случайные тени», — он сосредоточен был понять и предвидеть себя. Мать, из городских мешанок, одна из этих скользящих и чужих теней, была не очень благочестива, но субботы соблюдала. Однако и суббота, и посещение синагоги ослабевали с годами, да отец-то не верил в Бога и с молодости, но из честолюбия хотел, чтобы Лёва знал Библию на древнееврейском, — и мальчик с шести лет стал учиться тому, вместе с арифметикой и русским, а на идише не говорил. После неудачи с учением старшего брата послали младшего в Одессу, к интеллигентным родственникам. По своей деревенской подготовке Лёва не выдержал экзамена в классическую гимназию, да и в реальное училище попал лишь в подготовительный класс. (Училище было лютеранское, в нём Лёва проходил закон Божий еврейский, а ещё отдельно до 11 лет учился ивриту у учёного старика, потом с удовольствием бросил.) В одесской семье усваивал городскую культуру, манеры; едва научась писать — уже писал стихи, страстно полюбил всякое слово и свежеотпечатанную типографскую бумагу, мечтал стать писателем. После своей школьной и городской жизни в летние приезды домой в деревню — испытывал нервозность, отчуждение от семьи и сварливился, а от этих нервных толчков развился катар кишечника. Нечего было ему делать дома, нечего с этой семьёй.

В реальном училище Лев очень старательно учился, строго выполнял все правила и кланялся учителям с возможной почтительностью. Он быстро выделился в учении, и особенно на письменных работах, пристрастился к ним и удачно вставлял вычитанные цветистые мысли или цитаты. Вскоре оказалось даже, что ему не надо кропотливо заниматься: он мог всё усваивать, почти и не занимаясь. Несравнимое первенство в классе и превосходство над другими стало его прочно усвоенным чувством, — и он сам потом признавал, что в этом сформировался его характер. Все эти годы он жил, кажется ведь, в Одессе? — но даже не встречался с морем, не учился плавать, ни разу не катался на лодке и не ловил рыбу. (Да ему и прописали очки по близорукости.) Драки мальчиков на улицах казались ему позором: город создан для занятий и для чтения! Жизнь Одессы проходила почти полностью мимо него — только одно время поддавался колдовству театра, итальянской оперы, и даже был влюблён в колоратурное сопрано Джузеппину. Всё больше разжигалась в нём жажда видеть, знать, владеть знаниями и собой. Он вчитывался в книги — и искал в них своё будущее, себя самого. Любовь к слову нарастала и нарастала в нём: тут — и дерзкие, хлёсткие фельетоны Дорошевича, и стихи Некрасова, неподобные изречения Козьмы Пруткова — и такой близкий сердцу сарказм Щедрина. Пытался осилить «Логику» Милля — но завяз. Потом восхитился Бенгтеном: какая великая идея: нет абсолютного понятия личной нравственности, а

нравственно то, что доставляет удовольствие наибольшему количеству людей! Переход от морали личности к морали массы! Дальше — естественно стал чернышевцем. А в области логики скоро был вознаграждён открытием «Эристики» Шопенгауэра: она — и на немногих страницах! — открывала риторическое искусство побеждать в любом споре, независимо от того, прав ты по существу или неправ.

А он не выносил проигрывать, никогда ни в чём.

Во 2-м классе испытал он и первый политический опыт: в случае малого школьного бунта не нашёл нужным открыть своё зачинство (зачем наивно признаваться и подставлять себя под бой?) — но был предан завистниками, при зыбкой неустойчивости основной массы «болота», — типическая политическая конфигурация на будущее, повторится потом не раз! И исключили из училища, но с правом возврата на следующий учебный год.

Лев очень рано стал ощущать устойчивую неприязнь к российскому политическому строю. (Как шутил он: кто вынесет в детстве греческую зубрёжку, самому-то Льву она не досталась, тот вынесет в дальнейшем и царский режим.) Правда, и в 15 лет его мечты не шли дальше того, как отсталой России догнать передовую Европу. И в 16 лет, год смерти Энгельса, Лев ещё ничего не знал о Марксе. Через «Русские ведомости» приходило первое представление о политической жизни Европы, о парламентских партиях, — и тамошние политические схватки увлекали гораздо больше, чем здешние возникшие споры между народниками и марксистами. А со взрывчатым запасом социального протеста в груди — Лев уже метался в поисках своего направления. И, оттолкнувшись от узости марксизма (а главное — от того, что он совершенно законченная система и там уже нечего внести своего), — Лев схватился за теорию множественных исторических факторов Лаврова-Михайловского и счёл себя народником, и очень остроумно высмеивал марксизм как низменное учение лавочников и торгашей.

Одесское реальное училище не имело последнего года. Так ни с кем и не подружась в нём и ни об одном преподавателе не вспоминая с симпатией, Лев перевёлся на последний год в Николаев.

Так же легко он кончил и последний класс, но не школьными занятиями горел. Хорошая читаемая книга и своё хорошее перо — вот самые ценные плоды культуры! Потребность: понять всякую проблему самому, и самому сделать выводы. Да едва вышел за школьный круг, познакомился с нигде не устроенной молодёжью, от каждой беседы — ощущение своего невежества. «Я набрасывался на книги в страхе, что всей жизни не хватит на подготовку к действию». Нервное, нетерпеливое, несистематическое чтение. Сгорая от поспешности, пытался схватывать идеи чутьём. Да всего нужного никогда не прочтёшь, надо скорее действовать, скорее тратить себя — нести другим, что уже узнал, и вести тех за собою! Надо определить своё место в мире! В новом кружке, прекрасно видя, что своей талантливостью поражает всех, Лев рвался в споры, даже читать лекции ученикам ремесленного училища и своим

новым друзьям, а вместе с ними — создавать общество по распространению книг в народе. Спорил он превосходно — на ходу выхватывал себе то нужное, что было и у сторонников, и у противников, и, мгновенно обернув и пересоставив, уже подносил как своё отдуманное. Да на безвыходное положение у него же была в оружии «Эристика» Шопенгауэра, вот здесь она пригодилась! — никогда Лев не допускал остаться в любом споре непобедителем. Да в любой заданной области, во всякой без исключения, он чувствовал себя способным двигаться и действовать, если держал в руках нить общего. Ему был ненавистен тупой эмпиризм, пресмыкательство перед якобы неумолимым фактом. Превосходство всякого общего над всяким частным, закона над фактом, теории над личным опытом, вошло неотъемлемой частью в его мышление, в его литературную работу (он и драмы писал теперь), в его политику. Что безусловно: он был сознательный материалист, без всякой потребности в иных мирах; от любого дуновения мистики, потустороннего — испытывал неприятный озноб. Ещё безусловно: на всю жизнь его стержнем стал социально-революционный радикализм. (И именно в крайнем радикализме открывается самый большой размах стать лидером.) Но — какое именно и точно направление? Год в Николаеве оказался переломным. Идеи носились в воздухе — сильнее его. Всё-таки от народничества шёл запах затхлости. Да вот что: необязательно быть сразу прямо марксистом, можно быть «социал-демократом вообще»? Пробовал, недолго. Нет, не получается, без марксизма не обойтись. В их кружке единственным последовательным марксистом была Александра Соколовская, на 10 лет старше Льва. Сколько иронического превосходства он разыграл и изломал в спорах с нею перед слушателями, более народниками или безкостными, — теперь объявил, что становится марксистом, — и они поцеловались с Александрой. И кружковцы потянулись за выбором Льва.

А это есть — окончательный выбор политического пути. Мы марксисты — значит, мы пролетарские революционеры, и наша задача — непримиримая борьба против капитализма. Психологический тип марксиста только и может сложиться в эпоху социальных потрясений, революционного разрыва традиций и привычек. (Брался писать и роман: в нём развить марксистскую точку зрения на российскую действительность.)

Получив аттестат реального училища. Лев ни минуты не задумывался, получать ли ещё и высшее образование: он был и без высшего — уже подготовлен ко всему, что его ждало в будущем. (И со страстью пытался в него заглянуть. Он тайно-трепетно мечтал стать русским Лассалем!) Теперь, когда он отдался революции, — уже ничто его не интересовало вне революции. И теории — мало, его привлекало действие! (К счастью, после короткой ссоры с отцом, возмущённым всяким революционерством, отношения снова наладились, и Лев опять не знал нужды в жизненных средствах.)

После угнетённости 80-х годов русские интеллигенты ещё были несмелы, пасовали перед препятствиями, революцию отодвигали в неопределённое будущее, социализм считали делом эволюционной работы столетий. Ха-ха! Многого мы так дождёмся! Нет, мы вот здесь, в Николаеве, так разожжём движение, что и вся Европа будет знать о нашей борьбе!

В Николаеве располагались верфи, заводы, много рабочих. Сперва с приятелями трудно искали, как к чужеватым этим пролетариям подойти, заговорить, завлечь. Зарабатывали рабочие хорошо и не нуждались бастовать. Но много среди них оказалось сектантов, ищущих правды человеческих и социальных отношений, — и вот через это потянули их к классовой борьбе. Лев писал, сам печатными буквами для гектографа, прокламацин, статьи (кличка была — Львов), и сам размножал. Наводняли заводы листовками. Когда же удавалось добыть брошюрки, чисто отпечатанные за границей, это очень поднимало авторитет молодых агитаторов в глазах рабочих. То, что удалось им образовать или не образовать, — Лев назвал: «Южно-русский рабочий союз» (скопировал с одесского «Южно-российского» и киевского «Южно-русского» за 20 лет до того). А жандармы в Николаеве были ленивые, глупые, ни к чему не готовые, сперва не догадывались, потом не могли найти.

Всё же через год, в январе 1898, Льва (ему 18 лет) и дружков — арестовали. И вот — тюрьма в Николаеве, потом в Херсоне, только с третьего месяца стали достигать передачи. Одиночка. Сочинял стихи без бумаги, рабочие песни, революционную камаринскую (это всё нам пригодится ещё в боях!). Перевели в одесскую тюрьму — жестоко регулярную, современную: крестообразную на четыре крыла, каждое в четыре этажа, прикамерные железные галереи все открыты обзору надзирателей, а из центра внизу, где днём стоял старший надзиратель тюрьмы, — просматриваются все четыре крыла с тысячью арестантов. В любой момент по мановенью его руки хоть все надзиратели галерей могли кинуться по железным лестницам и мостикам к месту нарушения. И арестанты, и надзиратели не дрожали так перед начальником тюрьмы, как перед этим старшим надзирателем — величественная фигура, длинная сабля, орлиный взор. Фамилия его была — Троцкий.

А читать в камеру давали только подобранные книги, например консервативно-религиозные журналы, из которых узник мог поучительно извлечь все преимущества православного богослужения, лучшие доводы против католицизма, протестантизма, толстовства, дарвинизма — кодифицированная глупость тысячелетий!

Но и попались, одна за другой, три-четыре книги по франкмасонству. Очень интересно! Лев не только впился в чтение, но и решил тут же написать о масонстве своё определяющее и решающее исследование: как на основе материалистического и классового понимания истории объяснить: зачем в XVII веке торговцы, банкиры, чиновники и ад-

вокаты стали называть себя каменщиками и воссоздавали ритуал средневекового цеха? Вынужденные менять существо взглядов (надстройка — базис), люди, однако, силятся втиснуть себя в привычные старые формы. И какое разнообразие ветвей: в шотландской — прямая феодальная реакция, в других — воинственное просветительство, иллюминатство, а на левом фланге даже карбонарство. Очень интересно. Написал тысячестраничную тетрадь конспекта мелким бисером — а своей окончательной работы написать не смог. Но очень укрепился в анализе. Вероятно — надо бы прочесть ещё с десяток книг.

Одесская тюрьма запомнилась эпизодом, где всколыхнулись единые интернациональные чувства всех русских политических: откуда-то достиг слух, будто во Франции восстановлена королевская власть. Какое, какое общее чувство несмываемого позора (и как возликует самодержавие!), — устроили по всей тюрьме грозную обструкцию, и уголовники тоже охотно присоединялись.

Лев ожидал себе за все действия в Николаеве — заключения в крепости, а получил 4 года сибирской ссылки. Повезли в Москву, в Бутырскую тюрьму, там вся их николаевская группа жила уже вместе — но полгода пришлось им ждать, пока наберётся этапная партия. Пропадает время у революционеров! Даже в Часовой башне Бутырок разрабатывал Лев, как устроить там тайную типографию, а продукцию передавать в город. Но ничего не вышло. А марксистская литература — приходила к ним и в Бутырскую, узнал новое имя: Н. Ленин, «Развитие капитализма в России». Ничего.

Тут же решили пожениться с Соколовской — чтобы в ссылке не разлучили. Трудность оказалась не в том, что Лев на 10 лет моложе невесты, но что он по закону ещё несовершеннолетний. Надо было через начальство получить разрешение отца, старик противился. Потом дал Раввин поженил ещё до этапа.

А время текло, и достигли Усть-Кута на Лене (потом меняли его на более удобные места) только осенью 1900. Вскоре родилась у них девочка. Лев пытался бухгалтерствовать у купца-миллионера, но неудачно. Да и к лучшему: надо было усиленно продолжать теоретические занятия. (А уж тратить время на природу и вовсе было жалко, жил между лесом и рекой, почти не замечая их. Но играл в крокет.) Занимался ещё и тут франкмасонством, но так ни до чего и не доработался. Сел за «Капитал». Первый том, можно сказать, прочёл, но над вторым заkis. Да в общих чертах уже ясно. Идейным средоточием социал-демократии была Германия, обаяние ведущей партии социалистов. Напряжённо следили за борьбой ортодоксов против ревизионистов, Каутского против Бернштейна. Лев написал и свой реферат: о необходимости централизованной партии против централизованного царизма.

Но больше, чем этими внутренними занятиями, — жил своими публикациями: иркутское «Восточное Обозрение» охотно открыло ему свои страницы. Лев писал туда и критику — о русских классиках, о Горьком, об Ибсене, Ницше, Мопассане, но больше — яростную и блистательную

публицистику, где, на крайнем рубеже цензуры или даже переступая через неё, воспитывал обширную читающую Сибирь в марксистском направлении. Эти статьи имели колоссальный успех, и слава его острого, саркастического, пронизывающего пера проникла и в Европейскую Россию, и даже на Запад, в русскую эмиграцию.

К началу этих публикаций надо было принять важное решение: под каким именем навсегда войти в литературу? «Бронштейн» был для него ненавистный ярлык: он стыдился и фамилии, и происхождения своего, и своих родителей, да он и правда не жил еврейскими чувствами, и никогда не ощутил на себе ни процентной нормы, ни национальной травли. Может быть, национальный мотив как-то и вошёл подспудным толчком к его недовольству государственным строем, но не был ни основным, ни самостоятельным, вполне растворялся в общем гневе к российской общественной несправедливости. Дело Дрейфуса захватывало его, но — общественным драматизмом, а не специфически еврейской темой. Лев Бронштейн жил как бы вне всякого еврейства, он был не еврей, а интернационалист. Не инородцы ведут революцию, а революция пользуется инородцами. (Так и во время Петра мастера немецкой слободки и голландские шкиперы лучше выражали интересы России, чем русские попы или московские бояре.) Правильное решение еврейской проблемы — в сплошном интернациональном воспитании всех народов.

И Лев предоставил имя — судьбе. Полистал итальянский словарь, попалось слово *antidoto* — противоядие. Отлично! Он и будет отныне противоядием против всей российской затхлости, тухлости, неподвижности, тупоумия, против всей скудости русской истории и культуры, он расшевелит и возбудит российские ленивые мозги! Писать отдельно, вот так: *Антид Ото* — загадочно! сильно! (Что-то и от Аттилы.) Никто никогда так не подписывался. Отныне это имя прогремит в русской литературе наряду с Салтыковым-Щедриным.

И — гремело, напитывая автора гордостью. (Всё-таки он — ни на кого не был похож! ни на кого!)

Да так ли уж силён наш враг? Прочли в ссылке 6 пунктов синодального отлучения Толстого — какая убогость и косность! Нет, будущее представляем мы, а наверху сидят не только преступники, но маньяки. И мы — наверняка справимся с этим сумасшедшим домом!

А летом 1902 прочли «Что делать?» Ленина, стали получать «Искру» — о-о-о! да железная партийная организация уже создаётся и без Антид Ото! Свои тут рефераты о централизованной партии оказались ему захолустными. В ссылке стало тесно, безвоздушно! Нет, надо — бежать! Бежать — в эмиграцию.

А уже была у них и вторая девочка. Но Александра согласилась, что для великих задач — Лев должен бежать. А она с двумя девочками останется, ничего.

Добыли чистый паспорт. Надо было вписать какую-то фамилию, но — русскую, не Антид же Ото. И тут, каким-то наитием-шуткой,

вспомнил орлиного, властного, всемогущего надзирателя с длинной саблей и вписал: Т р о ц к и й.

Подъехал к ближайшей станции, сел в вагон в крахмальной рубашке и галстуке — и покатил на запад. Вот и весь побег.

Первая остановка была в Самаре, там — один из штабов «Искры»! Антида Ото встретила восторженно, Кржижановский дал ему кличку *Перо*, и эту кличку уже сообщили в «Искру».

Несколько беспрепятственных поездок в Харьков, Полтаву, Киев по делам «Искры», — организация совсем слабая, местные ячейки безпомощны. Но и не это интересовало *Перо*: за границу! скорее в центр «Искры»! скорей — к кормилу всей революции.

С небольшими приключениями перешёл границу, в Вене потревожил в воскресенье вождя австрийской партии Виктора Адлера, не спавшего ночь перед тем, взял у него денег на дорогу до Цюриха; ночью же разбудил Аксельрода; дальше до Лондона, без английского языка нашёл квартиру Ленина и постучался к ним ни свет ни заря, не представляя, что у них строгий распорядок жизни. В России — такая борьба! и как они все забываются в Европе. А между тем надо действовать — немедленно! Куда же? — в «Искру» конечно! Да тут уже знали его кличку — *Перо*! Крупская так и доложила Ленину: «*Перо* приехал».

Первая прогулка с Лениным по Лондону, «вон, у них там Вестминстер». Да разве глаза вбирают Вену, Цюрих или Лондон? Прогулка — «экзамен по всему курсу». Вашу книгу, Владимир Ильич, мы коллективно штудировали в московской тюрьме, да как вам удалось собрать столько статистического материала? Гигантский труд. Спор Каутского с Бернштейном? — ревизионистов среди нас не было ни одного! Философия? Мы очень увлекались, как Богданов сочетает марксизм с теорией познания Маха-Авенариуса. И Ленину тоже это нравится, но он смущён, что Плеханов объявил такую философию разновидностью идеализма.

Насчёт *Пера* решение было пока такое: немного тут побудет, познакомится с литературой — да и снова в Россию на нелегальную работу.

Не то, что хотелось. *Перо* — для того и *Перо*, чтобы занять место в «Искре». Как раз поместили жить в одном доме с двумя членами редакции: Засулич — крупной, уже пожилой женщиной с небрежной внешностью, и Мартовым. С Мартовым много соприкасались, много сидели над книгами, курили и выпили много дешёвого кофе. Юлий, тоже в пенсне и с такими же буйными чёрными волосами, был на семь лет старше Льва, очень талантливый и очень беспорядочный, всегда пенсне непотёртое и пепел, рассыпанный по рукописям. Лев присматривался к нему внимательно и ревниво, это был естественный и несомненный соперник. Мартов и писал и говорил — поразительно легко, и мог без конца. Он всегда был нацело захвачен сегодняшним политическим днём, новостями, спорами, то и дело рассыпал остроумнейшие догадки, гипотезы, предположения, предложения — но тут же многие сам забывал, не доводя до дела. Мысли его были хрупко ажурны, им не хвата-

до мужества, а самому Мартову — воли, а это-то и главное! Первая реакция Юлия на всякое событие имела всегда революционный характер — но ещё не успевал он занести её на бумагу, как его осаждали сомнения, и он уже не мог собрать все мысли и выделить главную. Вот *волей*, неизменно революционной волей, Лев несомненно превосходил его! А между тем Мартов был давно равноправным редактором «Искры», — а Перо?.. И, собирая весь талант, он теперь писал и писал в «Искру», политические статьи и даже передовицы, окунаясь во вкус словесного материала, в погоне за формой, за образом, за стилем. И это было весьма замечено и одобрено.

Тут стали посылать его и на выступления по Европе, сражаться в рассеянных эмигрантских группах. И оказалось: да он — первоклассный оратор, ещё даже ярче, чем писатель! Не чувствовал тротуара под подошвами после победного диспута со старым Чайковским. А в Париже, от русской студенческой колонии, его встречала Наташа Седова, дворянская девушка, тяготеющая в революцию, и восхищённо полюбила его сразу, затем и он её. Бродили с ней по Парижу, она показывала все красоты, — но он ходил и смотрел отчуждённо, сопротивлялся и Лувру, и Люксембургскому дворцу: оценивать Париж — значит расхотеть себя, нет, Одесса лучше. И этот Рубенс, такой сытый и самодовольный; постигать живопись, как и природу, значит — перенаправить свою концентрацию, оторвать её от политической жизни, — а революция не допускает соперничества. «Всё для революции!» — это Наташа понимала. Она вскоре и поехала на партийную работу в Россию. (Думали отправить туда и Перо, но он не спешил.)

Кажется, Перо за эти несколько месяцев с 1902 на 1903 изряднейше отличился в «Искре». Сперва стеснялся, а вот уже осмеливался выступать с теоретическими статьями наряду с Плехановым. И в решающем вопросе об отношении к либералам был целиком согласен с Лениным: они тянутся к социал-демократам, а мы их будем только бить и бить! (Засулич умоляла: мягче!) И становилось уже невыносимо: неужели заслуги его не будут оценены и его не введут в состав редакции «Искры»?!

Нет, Ленин — оценил. Ленин решил — ввести. И написал остальных членам редакции: кооптировать Перо на равных основаниях. Уже не один месяц он пишет в «Искру» в каждый номер, по статьям на злобу дня просто необходим нам. И он человек с недюжинными способностями, убеждённый, энергичный, пойдёт ещё вперёд, очень будет нам полезен. Правда, пишет со следами фельетонного стиля, чрезмерно вычурно (у самого-то Ленина не было вкуса), неохотно принимает поправки и уже изрядно недоволен, что его третируют как «вьюношу». Не примем сейчас — упустим его, он поймёт как наше прямое нежелание. А ведь у него есть чутьё человека партии, человека фракции, он нам будет исключительно полезен. Нам нужно пополнение сил, и очень нужен в редакции 7-й член для удобства голосования.

Про удобство голосования было сказано мимоходом, а здесь-то и весь ключ. Уже несколько месяцев шли трения между Лениным и Пле-

хановым по многим вопросам, и о проекте программы партии для предстоящего партийного съезда. Шестиличленная редакция «Искры» всё явнее распадалась на две тройки — «старых» Плеханова-Аксельрода-Засулич, и «молодых» Ленина-Мартова-Потресова, и введением ещё более молодого задорного седьмого Ленин рассчитывал обезпечить себе перевес. Вослед Ленину тут же и Мартов написал Аксельроду убедительно. Но Плеханов раскусил манёвр и не только категорически воспрепятствовал, а ещё и облил «вьюношу» при встрече изысканной недоброжелательной холодностью.

Но и Лев уже никогда не простил этого Плеханову!

А попал — в тупик? Если нет движения в редакцию «Искры» — то куда? то что? Да от них от всех шестерых никогда не поступило ничего такого и сравнимо блестящего, как от него! Оч-чень было оскорбительно.

И с этим вскоре поехал в Брюссель на 2-й съезд партии. (Начался в складском помещении, полным блох, пытка делегатам. Потом перенесли в Лондон.) От кого же тут был Антид Ото? От «Сибирского социал-демократического рабочего союза» (придумал).

Ленин предусмотрительно подготовился к этому съезду, поучительный приём: заблаговременно посылал он близких ему эмигрантов в Россию, избраться от существующих (или несуществующих) с-д групп, они возвратились сюда делегатами, и теперь Ленин имел большинство. Для этого, правда, пришлось ещё разгромить особые требования Бунда — Антид Ото и Мартов поддержали его против этих недопустимых еврейских притязаний на обособленность.

Весь раскол определился не самой съездовской работой, а — заранее уже накалившимися отношениями между Лениным и Плехановым. Ленин отказывался быть и дальше не первым в партии, а кому-то подчиняться. Не удалось создать в «Искре» отношения 4:3, — так теперь он предложил *сократить* редакцию «Искры» до трёх: Ленин-Плеханов-Мартов, а значит, всё равно иметь перевес 2:1, — и вот это-то клином раздора вошло в съезд, проявиться могло в чём угодно, проявилось в первом параграфе устава.

Хотя и сам параграф был задуман небезобидно. Он обезпечивал перевес политической верхушки партии над численностью рядовых членов. И кто-кто, но непринятый Перо видел, к чему это сведётся: к единоличному железному главенству Ленина в партии, он будет — старшим, а ему 32 года, значит, это продлится вечно, — и что ж тогда Антид Ото? где ж ему расцвести?

Хорошо этим колесом вертеть — плохо под него попасть.

Ужаснулся — пойти против своего покровителя? — и решился! — и выступил против Ленина: тот хочет вместо широкой партии рабочего класса создать спаянную кучку конспираторов!

Да он же не знал, что из-за этого пункта возникнет в партии великий раскол, — Лев бы ещё подумал? Он думал — это эпизод, через который сейчас перешагнём. Но, печальный парадокс, оказался в составе

меньшинства. Вот судьба: всем характером — вместе с Лениным, полный жизненной силы, напора, твёрдости, воли, он и был бы сам на месте Ленина, если б Ленина не было, — а вот оказался в мятых рядах недееспособных меньшевиков — разве они годились для революции? Среди них нетрудно было стать и первым — но что это давало при расколоте партии?

Затосковал, не туда попал. Нет, надо бы снова объединяться с большевиками?

А Ленин не дремал: после съезда опять разослал повсюду своих подручных — представить съезд в своём свете. И как же было не бороться с ним? Тем более что «Искра» оказалась в руках меньшевиков. И Антид Ото — погнал в ней острые гневные статьи против «нечаевских приёмов» Ленина.

В 1904 году дискуссия большевики-меньшевики разлилась по всей России. Так предстояло ясней объяснить суть расхождений — как основу же объединяться вновь? Летом 1904 выпустил брошюру «Наши политические задачи» (то есть наши, меньшевицкие, и посвятил «дорогому учителю Аксельроду», а Плеханова — вбок, отслужил): Ленин — дезорганизатор партии, он хочет создать партию не рабочего класса, а интеллигенции, не доверяя самостоятельности масс, и притом партию заговорщиков, да с единоличным управлением. — И ещё в том же 1904 брошюру «Наша тактика», что ж оставалось? «Там, где надо связать, скрутить, накинуть мёртвую петлю, — на первое место выступает Ленин».

А ведь жил — всё по паспорту Троцкого, теперь и дальше с ним. И эту брошюру впервые подписал: *Н. Троцкий*.

А выявлялся в этой фамилии и хороший немецкий смысл: *Trotz* — упорство! *trotz* — несмотря на...

Пусть так и останется! — это будет хорошо.

Но — шатко и жалко он чувствовал себя в меньшевицкой компании. Даже: сразу после съезда партии поехал на сионистский конгресс в Базеле, летом 1903: посмотреть на этих мыслителей? примериться к ним? И даже, может быть, может быть, — вступить к ним?.. Жалкое колебание: нет! никогда, ни за что! вечное еврейство уже отжило всё своё, всё у них — в прошлом. А в их движении — тоже все места заняты. И напечатал в «Искре» яростную статью против сионизма.

С лидерами меньшевиков он конфликтовал и по сути порвал (но продолжали в партийных кругах считать его меньшевиком). А пристать уже и не к кому. Осенью того года, подальше от эмиграции, уехал в Мюнхен. Туда вернулась и Наташа из России. Там познакомился с гениальным умом, выдающейся марксистской фигурой, да и земляком своим, Гельфандом-Парвусом. Парвус мыслил выше всех этих партийных объединений, дроблений. И Троцкий усваивал от него эту высоту и тем более нуждался сам её набрать, — да не он ли и был всегда враг ничтожного эмпиризма, поборник самого Общего! И с его неистощимой изобретательностью! Надо создать нечто высшее, чем все эти фракции и

споры. Надо не только казаться первым — надо и быть первопроходцем, ввинчиваться в будущее.

И Парвус же внушил, что завоевание власти пролетариатом — не где-то в астрономической дали, а — практическая задача близкого времени. Так что надо спешить.

И не без влияния умницы Парвуса, однако уже и противясь давлению его мускулистых мыслей, Троцкий стал строить лучшую свою теорию за всю жизнь. Вот какую. Из-за слабости российской буржуазии (полукомпрадорской) она не сумеет провести и довести до конца буржуазную революцию. Однако есть привилегия и в исторической запоздалости: она вынуждает усваивать готовое раньше положенных сроков, перепрыгивая через промежуточные этапы. Неравномерность — это общий закон исторического процесса. Поэтому: российский рабочий класс, не дожидаясь, устанавливает свою диктатуру и сам проводит буржуазную революцию, независимо от того, будет ли наша революция поддержана Западом. Так что может получиться, что мы завоеваем власть раньше, чем пролетариаты западных государств. Но, уж завоевав власть, партия пролетариата не может ограничиться демократической программой, удержаться в рамках демократической диктатуры, — а должна будет начать социалистические мероприятия. Хотя, конечно, полностью построить социалистическое общество в пределах одной России нам не удастся. А в общем, раз начавшись, такая революция и закончиться не может ничем иным, как только ниспровержением капитализма и водворением социалистического строя — во всём мире!

Эту проницательнейшую теорию Троцкий назвал «теорией перманентной революции».

Отдельные большевики и меньшевики называли её романтической. Ленин злобно напустился, что это — сумбур, абсурд, полуанархия. Парвус, напротив, подкрепил, написал к брошюре Троцкого предисловие. (Ум Парвуса хорошо использовать, но из-под него и вырваться нелегко.)

А Милуков пустил словечко «троцкизм». И оно привилось. (И очень лестно показалось Льву. И уж теперь-то он — навеки Троцкий!) Впрочем, Милуков объявил, что идея диктатуры пролетариата детская и ни один серьёзный человек в Европе её не поддержит.

Потрясающая весть о расстрелах 9 января Пятого года в Петербурге — застала Троцкого в Женеве. Вот оно, вот оно, началось! Глухая и жгучая волна ударила в голову: пришёл Час! И — мой час. И — ни минуты больше не оставаться за границей, нельзя опоздать! И — кинулись в Россию, Наташа вперёд, сам за ней, сперва в Киев. (В Вене узнали об убийстве великого князя Сергея! — скорей! скорей!)

Приехали — а никакой революции нет. Опять всё забыла и простила рабская страна? Несотрясённый обычный быт, и приходится по-старому скрываться, по подложному паспорту отставного прапорщика, несколько недель переходил с квартиры на квартиру — то у трусливого адвоката, то у профессора, то у либеральной вдовы, даже и в глазной лечебнице в качестве мнимого больного.

В Киеве познакомился с молодым энергичным инженером Красиным, членом большевицкого ЦК, — решительным, с административными ухватками, с широким кругом знакомств и связей, каких у подпольщиков не бывает, выдающийся реализатор, у него и тайная типография и изготовление взрывчатых веществ, закупка оружия, — разве такие люди есть у меньшевиков? Нет, надо объединяться, — и Красин тоже так думал. А вот — писать прокламации не умеет, Троцкий писал ему, и печатали. Красин же дал явку и в Петербург, да какую великолепную: на территории Константиновского артиллерийского училища, у старого врача (даже вот какие сочувствуют нам)!

Но ни в марте, ни в апреле 1905 революция так и не началась... А Наташу на первомаяском собрании в лесу арестовали. Рано приехали? Рано. Какой порыв сорван! И Лев перебрался в безопасную Финляндию. Тут наступила передышка: напряжённая литературная работа, но и лесные прогулки. С мая по октябрь жил в отелях — и жадно пожирал газеты, даже изучал их, малейший признак, когда же проглянет наше?

А больше никто из эмигрантов и не возвращался в Россию. За границей же предполагался объединительный съезд — но состоялся только большевицкий, названный Третьим. Красин ехал туда, и Троцкий внушил ему свои последние разработки: из теории перманентной революции практически вытекает, что временное революционное правительство пролетариата должно быть создано не после победы вооружённого восстания, а в самом ходе восстания. Деятельному Красину это понравилось, и он на съезде высказал от себя такую поправку к ленинской резолюции — и Ленин не смог возразить, попался.

Такой уверенный в прежние годы, с начала революционных событий Ленин ослабел, уверенность свою потерял. Вот, не торопился ехать в Россию, сидел в эмиграции — из избыточной осторожности или даже трусости?

А в Финляндии — величественные сосны, неподвижные озёра и вот уже осенняя прозрачность. Троцкий перебрался ещё глубже в леса, в одинокий пансион с названием «Покой», по осени пустующий. Вот уже выпал и ранний снег. Писал, гулял. А газеты приносили вести о начале стачки в России, вот и всё шире, перебрасывается из одних городов в другие. И вдруг — *всеобщая!* Как шторм ударил в грудь! Это — уже Революция! Стремительно расплатился с пансионом, заказал лошадь до станции — и уже летел навстречу, срывая пену с океанских валов. Всеобщая стихийная стачка, какой ещё не видел мир! — это и есть восстание пролетариата!

И в тот же вечер уже выступал в актовом зале Политехнического института. Революция — родная стихия, какой он жаждал всегда. Он знал, что создан только и именно для неё, без него — она и произойти не может! Он уверенно двигался в огромности событий — и кажется, ясно предвидел завтрашний день. Он — вовремя оказался тут, как политический учитель рабочих масс, и легко принимал решения под огнём. Тут без него завязался внепартийный выборный от заводов ра-

бочий совет — Троцкий мгновенно подхватил этот «Совет рабочих депутатов». Тут же — струсивший царь выпустил манифест 17 октября. А 18-го Троцкий с балкона университета на Васильевском острове — рвал царский манифест и пускал его ключья по ветру: это — западня! это — лишь полупобеда, она ненадёжна! не примиряйтесь и не верьте царизму!

Не либеральная оппозиция, не крестьянское восстание, не интеллигентский террор — нет, рабочая стачка впервые поставила царизм на колени! Теория перманентной революции вот уже выдержала первое большое испытание: перед пролетариатом открывается самому провести революцию и уже сейчас брать власть!

И Троцкий кинулся в руководство Советом. И одновременно писал, писал — сразу в три газеты. (Жил под одной фамилией, в Совете на всякий случай выступал под другой, а уж писал под третьей, как Троцкий.) Тут — приехал и Парвус, присоединился к руководству Совета (но он — не вождь!), с ним вместе забрали в руки маленькую «Русскую газету», нашли деньги, подкинули её тираж выше 100 тысяч. Тут меньшевики задумали, в подражание левой Марксовой «Новой рейнской газете», выпускать «Начало», — успевал обильно писать и у них. (Приехал и Мартов, вёл газету, — но то ли в неврастении, в психической усталости, каждое событие повергало его в растерянность, — нет, и он не вождь.) И ещё Совет выпускал свои «Известия», — писал Троцкий и там. И ещё успевал писать — воззвания, манифесты, резолюции... вертелся в водовороте, и сам же его создавал — родная мятежная стихия!

Сила Совета была в его безпартийности — как бы самостоятельность масс! А Ленин был сперва против: будет конкуренция для партии. Потом большевики увидели свою ошибку и тоже потянулись в Совет — и теперь требовали, чтоб он подчинялся с-д партии... (Ленина долго не было, большевики без него мотались беспомощно, он приехал в ноябре, уже после объявления амнистии, и не мог найти себе места в революции, и теперь выглядел ошипанным, совсем не тем «кандидатом в Робеспьеры», как предсказывал Плеханов.)

Случилось так, что на пару дней раньше, чем Троцкий приехал из Финляндии, Совет уже избрал своим председателем Хрусталёва-Носаря. Но это была ничтожная фигура, а все важные решения Совета формулировались Троцким, им же вносились сперва в Исполнительный Комитет, потом от его имени в Совет. И все главные (картинные!) речи произносил в Совете он: «Рабочий класс на кроваво-красных стенах Зимнего дворца кончиком штыка напишет свой собственный Манифест!» (Пора начинать всеобщее восстание! С трибуны Совета — потрясали револьверами, финскими ножами, проволочными петлями.) А после ареста Хрусталёва создали президиум из трёх лиц, а его председателем — Троцкий же. Взоры всей России — на петербургском Совете, едва ли не сам Витте считался с Троцким как с равным. Тут (по идее Парвуса) издали оглушительный Финансовый манифест: лишаем денег трон Романовых! (Идея в том, что и не только на сегодня, но и после революции ни-

каких долговых обязательств Романовых победоносный народ не признает, не давайте им займы никто!) И — подошёл конец 52-дневной эпопеи Совета, ясно стало, что — теперь не простят, перехватывают всех. Отряд вошёл в зал арестовывать в момент, когда Троцкий вёл собрание. Он — долго не давал офицеру даже прочесть приказ об аресте, затем не давал осуществить его: «не мешайте оратору!», «покиньте помещение!». А потом, уже с хор, кричал: «Оружия врагу не сдавать!» — и члены Совета портили своё оружие, стуча металлом о металл, — зубовой скрежет пролетариата!

Таких картин — история не забывает! — рядом с братьями Гракхами! рядом с парижскими коммунарами!

А почему революция не смогла победить? Потому что крестьянство — это протоплазма, из которой лишь дифференцируются классы общества. У крестьянства — локальный кретинизм: у себя дома, рядом, — он барина громит, но не понимает, что этого мало, что надо громить и всё государство сразу! Нет, надев солдатские шинели, крестьяне расстреливают рабочих.

Эту свою вторую тюрьму Троцкий переносил гораздо легче. Немного «Крестов», немного Петропавловки, а остальное время Дом предварительного заключения — сюда приходят адвокаты (и в своих портфелях выносят на волю тюремные рукописи), можно было вернуться к боевой публицистике. С таким рвением писал, с утра до вечера, что прогулки во двореке казались досадным отвлечением. Сразу написал целую книгу «Россия и Революция», очень одобренную большевиками, в ней ещё развивал и защищал теорию перманентной революции, вот только что досадно упущенной из рук. Писал памфлеты в защиту декабрьского вооружённого восстания в Москве, Петербургского совета, против либерализма, «П. Б. Струве в политике», камера превратилась в библиотеку натащенных с воли книг, занимался и теорией земельной ренты. Режим в тюрьме был самый свободный, камеры не запирались, не мешали обмениваться рукописями, с воли от общества лились к арестованным цветы, цветы и коробки шоколадных конфет. В тюрьме, как и на воле, горячо обсуждалась 1-я Дума. Троцкий сперва тоже был за бойкот её, но потом восхищался её звонкой непримиримостью, а после разгона её — признал ошибку бойкота. (А Ленин — и тут не признал, хотя 2-ю Думу большевики уже не отвергали, пытались попасть.)

Суд над депутатами Совета состоялся в сентябре 1906. Троцкий шёл на него — с политическим громом: прекрасный случай выразить свои идеи и снова поднять и пропагандировать Совет! Привлечено было двести свидетелей — и подсудимые могли их допрашивать неограниченно и выразительно, а что ж сказать о лучших петербургских адвокатах?! Но и всех их Троцкий затмил своей большой речью на суде: он восстановил всю драматическую картину деятельности Совета и объяснил всей читающей России, зачем при революции необходимо вооружённое восстание. После его речи адвокат Зарудный потребовал перерыва из-за чрезвычайной взволнованности зала (рельефно выделить момент!), и два

десятька солиднейших адвокатов подходили поздравлять молодого Троцкого. (Были и родители его на суде.) А потом подсудимые устроили бум, сорвали процесс, их увели в тюрьму, тогда ушли и адвокаты, и приговор читался уже без них.

А оказался приговор мягкий: не каторга, как ждали, а всего безсрочная ссылка на поселение, и то лишь полтора десятку подсудимых, а почти триста были начисто освобождены.

В пересыльной тюрьме, увы, уже не было одиночек: камеры общие, что может быть утомительней и безтолковой? Здесь заставили переодеться в арестантское платье, но желающим разрешили сохранить свою обувь, — а тут-то и оно, без этого крак! — у Троцкого в подмётке был заготовлен новый отличный паспорт, а в высоких каблуках — стопочки золотых червонцев. (Заготовил — ещё до ареста Совета, предвидя.)

В этап полагались наручники — не надели. Вся конвойная команда читала отчёт о процессе и относилась к этаплируемым с услужливостью, брали опускать письма в ящик. До Тюмени по железной дороге, потом санями до Тобольска, до Берёзова. И только тут открылось место назначения — Обдорск, это ещё на 500 вёрст северней! — в такую дыру нельзя было разрешить себя закинуть, оттуда — не бежать, это значит — на много лет выключить себя из борьбы.

Он! — не мог идти, как все, покорно.

Миг — воли, отчаянной решимости и самообладания! За побег — три года каторги, но и нельзя не рискнуть. В их партии ехал и доктор-революционер, и он тайком научил Троцкого, как умело симулировать ишиас, этого проверить нельзя. (И товарищам по этапу тоже открыть нельзя: побег отразится на их режиме.) Тогда Троцкого отделили от партии, поместили в больницу со свободным режимом, разрешили прогулки по Берёзову.

Местный землемер (кто нам не сочувствует в России? вся интеллигенция за нас!) нашёл крестьянина, тот взялся (потом крепко пострадал за это) найти зырянину, пьяницу, прекрасного оленьего гонщика, говорящего и по-русски, и на двух остяцких наречиях. Землемер же, для обмана наблюдателя с пожарной каланчи, отправил дровни по тобольскому тракту (и погоня через два дня пошла в ту сторону), а беглеца непременно вывезли к оленьим нартам, там укутали в шубы, и зырянин погнал.

И так — семь дней по снежной целине, мимо елей, берёз, и через болота, ровно и без усталости бежали олени, на остановках сами ища себе мох под снегом. И меняли оленей у кочевников. Через 700 вёрст — Урал, стали встречаться обозы, Троцкий выдавал себя за инженера из полярной экспедиции барона Толля, дальше на лошадях — за чиновника, и так до узкоколейки, где на глазах станционного жандарма вылез из остяцких шуб.

Гигантский прыжок — и заслуженная награда: опять — борец! Телеграмму жене, та встретила под Петербургом (за тюремное время у неё уже родился сын), опять укрытие у доктора в Константиновском учили-

ще, затем открыто, спокойно переехал финляндскую границу. В Гельсингфорсе полицмейстер — финский националист и, значит, друг революционеров. Помогает дальше. И вот — Стокгольм.

Вождь революции — был снова свободен! И теперь распрямлялся великий вопрос: так что? революция разгромлена? Или возбудим новый подъём? (Как раз собиралась 2-я Дума.)

Благодаря побегу — Троцкий успел в Лондон, на 5-й, объединённый, съезд партии. Он нёсся туда на крыльях своей петербургской славы: он был глава едва не состоявшегося революционного правительства России! За революционные недели и потом на суде он сделал несравненно больше любого из депутатов этого съезда. Он создан был вести эту партию, — а вот: не оказалось и вовсе, куда приложиться.

Что он застал тут? Опять две фракции, большевиков и меньшевиков, искусственно сближенные, неискренно соединённые, и каждая со своими лидерами (впрочем, Ленин наглядно потускнел), а Троцкий — опять один, и никому не нужен? (Ещё на съезде — Роза Люксембург, в утешение поддерживавшая его теорию перманентной революции, — да в ней-то и была его великая высота, оценила Роза.)

По всему темпераменту и резкости своих действий — Троцкий готов был, конечно, объединиться с большевиками, — у них верная хватка, у них активность. Но не мог согнуть шею под Ленина. А меньшевики — уж слишком идейно размазаны. И оставалось ему быть — «третьим течением», в единственном лице, всюду только от одного себя. (Мартов сострил, что он всюду приходит со своим складным стулом.) Примиритель-объединитель? — но их не примиришь, это от начала ложная задача. А встал вопрос об осуждении большевицких экссов — и Троцкий вместе с меньшевиками осудил их, чем окончательно взорвал Ленина. (А тут как раз, по убыли революции, большое ослабление партийной кассы, не хватало средств делегатам на обратный путь, выпросили под вексель заём у английского либерала.)

А российская революция, кажется, заглохла. Что же делать теперь? и где жить? Делать — ясно: надо истолковать революцию Пятого года и прокладывать теоретические пути для Второй революции, прогноз её как Перманентной и Мировой. Объехал с рефератами эмигрантские и студенческие русские колонии — не то, жидкая опора. Надо соединяться с какой-то западной социал-демократией. С какой же? выбор несомненен: с сильнейшей немецкой, первой скрипкой Интернационала. К тому же в Германии прославлена вся его петербургская эпопея, опубликован через Парвуса и рассказ о его знаменитом побеге. (У Парвуса тоже был побег, но лёгкий.) И для немцев Троцкий особенно выгодно рисовался тем, что не замешан в раздоры русских фракций. Но, по полицейским правилам, в Берлине ему не дали постоянного жительства, пришлось избрать Вену — тоже отличное место и полная близость к немецкой политической жизни. Парвус ввёл его к Каутскому, «папе Интернационала», на его квартире познакомился с Бебелем, ловил каждое его слово. Был представлен и Бернштейну, стал на «ты»

с Гильфердингом, знакомился с Отто Бауэром, Максом Адлером, Карлом Реннером — сперва почтительно, кажется, нет для социалиста более высокого круга. Но в какой-то момент стал понимать, что все они — не революционеры, а филистеры, да! Совершенно убого рассуждали они, будто столыпинский режим соответствует развитию производительных сил России, — чужаки! никто не понимает! Когда Столыпина наконец убили — в те сентябрьские дни в Йене проходил съезд германских с-д, и Троцкий кинулся превзойти собственные вершины, произнести громовую шедевральную речь об обречённости царизма и царских палачей, — но Бебель перепугался, просил не выступать, чтобы не создавать для партии затруднений. Филистеры! Нет! — мы, русские революционеры, сделаны из более серьёзного материала, мы готовы — не к такому!

С ореолом крупного революционера и такими личными знакомствами Троцкий и не нуждался в создании своей партии (да и начисто не из кого было бы создать её). Ленин закинул в швейцарском одиночестве, оскаливался издали, потом поехал в Париж сколачивать жалкую партийную школку, — а Троцкий цвёл в живом кипении социал-демократии, да вот что — в 1908 стал и издавать (вдвоём с Адольфом Иоффе, а ещё помогал студент из России Скобелев) свою двухнедельную газету, для заброски в Россию через галицийскую границу и Чёрное море. Как её назвать? Это чрезвычайно важно. Их с Парвусом «Русская газета» в 1905 уже одним названием вызвала доверие читателей. Теперь — успешная находка: украинские меньшевики издают в Лемберге «П р а в д у»! Входит в самое сердце! Вот её и взять в руки, перенести в Вену.

Время от времени звал на поддержку «Правды» и большевиков, — нет, не шли. (Каменев — едва не вступил.) Газетка держалась с трудом, не может на всё хватить даже его пера, тем более что для заработка и для воздействия на широкую интеллигентскую аудиторию в России, ослеплять их искромётным блеском, — договорился с «Киевской мыслью» писать в неё постоянные корреспонденции. Опять — плебейская муза журналистики? Нет, сознание, что тебя читают и ценят, — сделало годы счастливыми. Его статьи политически — были на очень рискованные в цензурном смысле темы, но он уже брался писать и о литературе, даже и о живописи (набирая из европейской классики цитат и эпитафий, одновременно и наслаждаясь работой других умов, и поражаясь разнообразию и яркости собственных талантов). Бернард Шоу позже назвал его «королём памфлетистов».

Счастливые интересные годы! Только никак не накатывала революция.

В эти же годы впервые по-настоящему проверил своё родство с Марксом: углубился в никогда не читанную переписку Маркса и Энгельса. Да это — самая нужная и самая близкая изо всех книг на Земле, величайшая и надёжнейшая проверка взглядов, мироощущения и боевых приёмов! Это — психологическое откровение! На каждой странице убе-

ждаешься, что с этими двумя гигантами ты связан кровно, духовно и вооружённо. Вот они были — революционеры насквозь! Их революционный кругозор перешёл в самые их нервы. Какая органическая и полная независимость от общественного мнения, от принятых норм нравственности. На каждой странице негодуешь и ненавидишь вместе с ними и догадываешься, о чём они недосказывают и тут, о тайных ходах мысли! С какой беспощадностью и с каким искусством они уязвляют, поражают, пронзают, выше ли пояса, ниже ли пояса, противников прямого революционного пути, и никакой приём не считают неподобающим в интересах революции, растирают в прах соперников — но ни мелочи не прощают и друзьям, успевают ударить и по ним. Вот так уметь сражаться!

Ленин смекнул, что надо жить, как и Троцкий, поближе к России, перебазировался сюда. Но не только не шёл на сближение, а в 1912 году в Праге окончательно, навеки, расколол партию, и больше того: нагло украл себе название газеты «Правда». Троцкий кипел гневом! а что ж? пришлось закрыть свою. Тогда в ответ он стал, с Мартовым и Даном, собирать в Вене объединительную конференцию всех желающих русских социал-демократов. В этом была сильная мысль: изолировать Ленина и заставить его смириться! Увы, не состоялось, мало кто стянулся: бундовцы, отдельные меньшевики, грузинские, латышские, отдельные фракционные большевики — «Августовский блок», а в общем, крах: почему-то оказывался Троцкий неспособным ни создать, ни собрать партии, оставался блистательным одиночкой.

Так соединиться с меньшевиками? — нет. И нет.

Неиссякаемые его революционные силы — пропадали втуне.

Тут — начались балканские войны, и «Киевская мысль» предложила Троцкому ехать от них туда военным корреспондентом. И хотя он знал за собой полный топографический кретинизм (заблуживался и на местности, и в улицах) и весьма ограниченный лингвистический багаж, — предложение он принял, и не раскаялся: он быстро начал понимать стратегию, вплотную подошёл к военному делу и обнаружил в себе военную струнку. А ещё: его корреспонденции с Балкан (и опять же блестящие!) — какой размах ему открывали для борьбы против лжи славянофильства! (Да вся философия славянофильства до дна исчерпывается одним коротким замечанием Маркса.)

В Вене Троцкий обосновался прочно, приехала жена с сыном, родился и второй. Приезжали сюда и родители. И отец, увидев целую книгу, написанную сыном, полностью примирился с его судьбой. (А что было делать с двумя дочерьми от Александры Соколовской? — пристроил их жить у отца в экономии.) В 1914, едва начался конфликт Австрии с Сербией, Троцкий мгновенно понял, что почва горит и надо из Австрии убираться. Не мелочь он был тут, и сам Фридрих Адлер-старший повёз его на консультацию к шефу политической полиции, тот посоветовал уезжать как можно быстрее — и, дня не потеряв, уже через несколько часов Троцкий с семьёй был в цюрихском поезде.

Первые месяцы войны он отсиживался в Швейцарии — покой рядом с европейским адом, это напоминало тот финский пансион, откуда он ринулся в революцию. Но какой психопатологический взрыв звериного патриотизма у народных масс всех стран! — будь проклят патриотизм, это чудовище! И какое позорное падение великой германской социал-демократии, какое жалкое отступничество от своего знамени! Крушение Интернационала в самую ответственную эпоху! (Пришлось и от Парвуса отмежеваться, он себя неприлично вёл.) Судьбой Троцкого становилось: возродить революционное социалистическое движение в бурных формах — и заложить фундамент нового Интернационала!

Он чувствовал, что раскинул крылья уже не на одну Россию, а на весь мир. Теперь издал поспешную книгу против своих кумиров, германских с-д: «Война и Интернационал», — настала эпоха социальных и социалистических революций по всему миру! (Президент Вильсон, несомненно, украл оттуда кое-что для своих 14 пунктов.)

Спасибо «Киевской мысли», предложила быть военным корреспондентом во Франции. С конца 1914 безпрепятственно переехал туда — но нет, не ради одних военных корреспонденций, да и французский язык плохо знал, а стали, вместе с Мартовым, в Париже выпускать свою интернационалистскую газету: «Голос», потом «Наше слово», всю писали вдвоём (но не ужились с ним, скоро выпер его), да и страницы в ней только две — но какая пробойная сила аргументов! Необузданно бил! Первый удар — по поповско-полицейской России, по русским оборонцам, по пошлому Плеханову и другим предателям. От них, по союзнической связи, удар сам собой переносился на французских милитаристов, эту квинтэссенцию буржуазного эгоизма, вероломства и лицемерия! Раз война так ужасна — так предатели рабочего класса те, кто помогают ей продлиться хоть на один день. Оборонцы встречно нападали, почему Троцкий так мягок к Вильгельму, не немецкий ли он агент. (А не было расчёта ссориться сразу со всеми; да за годы жизни в Австрии он и стал симпатизировать немцам, да; да и деньги на газету приходили, откровенно признаться, от них, хоть и косвенно, через Раковского.) Но главный враг был — русское посольство в Париже: статьи Троцкого тут же переводили на французский и подавали доносом на Кэ д'Орсэ.

Но — ещё держался, власти не помешали ему съездить в Швейцарию, в Циммервальд. От Берна надо было ехать в горы 10 километров. И что же? Через полвека после основания Марксова Интернационала — вот оказалось возможным усадить всех уцелевших интернационалистов мира всего на четыре повозки... И даже тут — раскол, и образовалась безумная крайняя левая вечного раскольника Ленина, — а Троцкий и тут искал единения последних остатков, писал примирительный проект манифеста.

Дальше дела во Франции пошли совсем плохо. У русских солдат, взбунтовавшихся в Марселе, нашли «Наше слово». По обвинению в германофильстве газета была закрыта, а самого Троцкого евнухи буржуазной юстиции выслали из Франции. Пигмеи! Страна «по выбору». Но

Англия и Италия не желали принять, Швейцария — затянула решение, уклончиво не отвечала. Оставалась Испания, но туда Троцкий не соглашался, и его просто вывезли полицейские. Там — тоже его не хотели, сажали и в тюрьму, тупицы, хотели вытолкнуть пароходом на Кубу, Троцкий слал ливень телеграмм — парламентариям, в газеты, в правительство, наконец разрешили плыть в Нью-Йорк, тут нагнала и семья из Франции.

Вот судьба! — теперь через океан. Но ведь его и распростирало над всем миром. По русскому стилю под Новый 1917 год — приплыли в Нью-Йорк.

Тут — ликующая встреча! Взлёт социалистической да и всякой другой американской печати, как только она и умеет протрубить: отовсюду в Европе изгнанный и травимый — несигибаемый революционер, вождь революции 1905 года, борец за свободу и демократию! Ещё большой успех — среди еврейско-русских эмигрантов; немедленно стал редактором затеянного ещё Дейчем, но он вытеснен, «Нового мира». Там уже состояли Бухарин, Володарский, Чудновский, и газета была — за поражение России в войне. Теперь произошло как бы возрождение «Нашего слова», но уже без границ, пиши не оглядываясь: во французской армии африканские чернокожие носят в ранцах отрезанные уши немецких солдат!

Выступал на собраниях, на собраниях (американцы очень любят послушать), а тут — сезон балов, и его, модного оратора, тянут выступать (по-русски, не мог по-английски) перед балами, назначая за то дорогие билеты. Он — на разрыв. Да просто за несколько американских дней почувствовал себя как здешним прирождённым, уже имел благоустроенную квартиру в Нью-Йорке, и сам Нью-Йорк импонировал: вот где дух современной эпохи! Проблема «Америка — Европа» теперь вошла в круг интересов Троцкого, они всё расширялись.

Можно было бы отлично развернуть и тут революционную работу — но мешал тому именно американский социализм: дутый, чванный, рыхлый, сентиментально-мещанский. Начались неистовые кружковые интриги против европейского выходца: только вчера вступил на американскую почву, не знает американской психологии — а хочет навязывать свои взгляды! Да ещё ж все эти социалисты были раздроблены на национальные федерации, и нужно было каждую завоевывать по отдельности — немецкую, латышскую, финскую, польскую и могущественную еврейскую с её 14-этажным дворцом и 200-тысячной газетой.

Но и — вот американский дух! — как уловил Троцкий, некоторые американские богачи очень готовы развязать свою мощну для ускорения революции в России.

И вдруг, нá тебе! — вот и она! — когда уже и забыли её ждать.

Но именно этого — да, и надо было ждать! война и часто являлась в истории матерью революции. Да ведь Троцкий всегда именно и предсказывал Вторую революцию, которая теперь и станет перманентной! На второй стадии этой революции пролетариат возьмёт власть, а затем

погремит революция по всей Европе! Американцы очень недоумевали, но все ждали истолкования от «Нового мира», он стал в центре американской прессы. Ещё жадней теперь требовали Троцкого на выступление, и он в размах поносил Милюкова, Гучкова, Керенского.

Когда в Николаеве, 20 лет назад, в нищенской запущенной комнате готовили на железной печке революционное варено для жалкого гектографа — какой залётной фантазией показался бы замысел этой кучки молодёжи — повалить многовековое государство!? А вот — повалили!

Только устроились, только стали мальчики ходить в американскую школу (сколько им языков пришлось сменить), — и опять срываться и ехать? Но в груди, но в сердце легко! несёт птицей!

В русском консульстве в Нью-Йорке получили с товарищами документы для езды в Россию. Английское консульство дало заполнить вопросные бланки на проезд и заверило, что препятствий не будет. 14 марта отплыли из Нью-Йорка на норвежском пароходе, сопровождаемые цветами и речами. А 21 марта в канадском Галифаксе английские офицеры допрашивают: каковы ваши убеждения? каковы политические планы? Разумеется, отказался отвечать империалистам. «Вы опасны для нынешнего русского правительства и для союзников». И — сняли эмигрантскую группу с парохода, жену с детьми оставили в Галифаксе, а Троцкого — в лагерь, где немецкие пленные моряки. И устроили, каналы, такой личный обыск, какого никогда не приходилось испытывать нигде в России, ни даже в Петропавловской крепости! Троцкий дрожал от негодования: *этого* он никогда не простит Альбиону! Трёхэтажные нары, 800 человек в одном помещении, какой разящий воздух ночью, никогда в жизни так не приходилось. И ещё — в очередь мести пол, чистить картофель, мыть посуду, уборную?? омерзительно, — но за три недели не досталось этого унижения, другие заменили. А зато — какой простор для социалистической агитации: вот он, немецкий пролетариат, и уши его открыты, и он, право же, тоже готов к революции! Читал матросам лекции, а пленные немецкие офицеры жаловались английскому коменданту — и тот, разумеется, принял сторону неприятельских держиморд. (Но ликуешь в превосходстве над комендантом: он же ещё не знает, что уже началась Всемирная Революция! — сметёт и твою Британию!)

Если б не продержали его 26 дней в Канаде, нет, если б не выслали его осенью из Франции, — да уже давно бы он был в Петрограде, и всю революцию завернул бы иначе! (Надо найти форму рассказать России об этих 26 днях. Газетное письмо? — теперь Милюкова нет, жаль, ускользает, — так Терещенке?)

А — что тут наделали?! Какая убийственная ошибка была — в первые же дни отдать власть буржуазии! безоружной и изолированной буржуазии! — при том, что армия и рабочие поддержи-

вали только Совет! Ложная мысль: лишь бы буржуазия не отошла от революции?.. Политическая импотенция меньшевиков. Испугались своей несостоятельности, акт протрации. (Обречённость мелкой буржуазии в капиталистическом обществе.) Преступление против революции! Тайный заговор против власти народа и его прав. И состряпали убудочный февральский режим, какая расплётённость сил демократии! Единственный достойный документ — Приказ № 1. А весь Манифест 14 марта — уже, по сути, солидаризация с союзниками. А как можно было разрешить выходить *всей* печати? Печать — это ведь оружие, и право на буржуазное слово никак не выше пролетарского права на жизнь.

Правда, и отпетые буржуазные дурачки не многое взяли — полуконтрабандную власть. Ходят вокруг костра революции, кашляют от дыма: пусть перегорит, тогда попробуем что-нибудь изжарить. А оно — не перегорит. Кадеты очень убедительно объясняют крушение царя — только не знают, как самим избежать такого же крушения. Многословное упущение времени.

Опоздал.

Как теперь врезаться в уже идущий ход событий — и энергично занять достойное место?

Держать в руках — нить общего, без мелкого эмпиризма. Вожди революции отбираются десятилетиями, и их нельзя сменить по произволу. Ход событий может быть только продолжением тех, что оборваны 3 декабря 1905 года арестом первого Петербургского Совета.

Увы, нет своей партии, нет своих людей. Группка эмигрантов, с которыми он приехал, ещё, может быть, и понадобится ему, но он уже откололся от них. Он вступал в революционное море как великий пронзительный одиночка. Что встретили Урицкий и Карахан в Белоострове — подбодрило. (Они — от «объединённых интернационалистов», тоже их полтора человека.) Пригодятся и они. От большевиков прислали — третьестепенного, кислый жест. А от группы Мартова — совсем никого. Запомним.

Нет своей партии, никто не приготовил и помещения для жилья. А в Петрограде с ним сейчас, говорят, — обрез. Да, Наташа, нашим кочевым душам ещё далеко до гармонии. Где-нибудь посади сыновей и езжай ищи жильё. А я — сразу в Таврический!

Да он ещё до встречи знал о них всё насквозь. Ограниченные люди. Чхеидзе — честный и недалёкий провинциал, неуверенный в себе. Стеклов — безформенный радикал, но с огромными пре-

тензиями. Суханов изошрён в своём маленьком ремесле: переводить на язык доктринёрства безсилые Исполнительного Комитета, но всегда умничают и тем надоедают. Церетели и Дан — умственно по колено Мартову. (И вот кому Юлик по безволию передал руководство своей партией.) Церетели — радикал южнофранцузского типа, обтекаемый путаник без резкой ясности мышления: не отликает готовые мысли в словах, но растянутыми фразами ловит-вытягивает мысли. Феноменально узкий политический кругозор, только Грузия и 2-я Дума, а никакого международного полёта, и образование поверхностное, даже не журналист. Дан — рассудительный немецкий с-д эпохи упадка. Либер — пронзительный кларнет меньшевиков. Ещё вот Скобелев — бывший подручный студент Троцкого, энергичный и глупый, отдался теперь под влияние меньшевиков. Чернов — сентиментально-ненадёжен и скорей начётчик, чем образованный человек, разговаривает набором готовых цитат, но никогда сам не знает, куда ведёт. (Не раз сражался Троцкий с ним на докладах за границей.) Авксентьев — карикатура на политика, обаятельный учитель словесности в женской гимназии.

Да вообще — эсеры? — неудобоваримая мешанина исторических наслоений, дутое сборище всего безформенного и путаного. Грандиозный нуль. Но — «земля и воля», и за ними валит деревня; а меньшевики — городские, в деревне — ничто.

Кто там ещё в Исполкоме? Керенский? Кажется — не между ними теперь, всё слепнет от вспышек магна, да он — достойный преемник Гапона.

И — ни у единого здесь нет настоящих заслуг перед революцией Пятого года. А захватили все места над Советом, даже смысла которого они не понимают. Совет Пятого года — то были вожак всеобщей стачки. А эта нынешняя верхушка собралась помимо заводов и полков. Революцию делали не они, а рабочие. А эти — пришли и уселись. Классическая инициатива промежуточных радикалов — пожать плоды борьбы, которую вели не они. Прикрылись традициями Пятого года, а сами — подделка.

Жалко провели они и эти бурные апрельские дни — и, вместо того чтобы сшибить буржуазию, склонились в коалицию с имущими классами. (В сегодняшних газетах — уже состав правительства.) Вероломные соглашатели.

Что ж, диспозиция политических групп приобретает тем большую ясность.

С нею — Троцкий и вошёл в заседание Исполкома, гордо держа голову. Он знал своё превосходство над каждым из них в отдельности и над ними всеми вместе — свою политическую подготовку, школу, способность к обобщающему мышлению, политическую волю, — но неразумно было выразить это сразу, не считаясь с обстановкой. Да возглавлять *этих* здесь, потерянных? — нет, не это была задача.

Не вскочили, не жали рук наперебой. Чхеидзе довольно сухо поздоровался с ним, указал на стул садиться.

Встал Церетели поздороваться. Красивые заволочнутые глаза. Но мнит себя — главным вождём революции? смех. Да если на него пойти прямо, твёрдо — он не выдержит, посторонится.

Шло заседание, очень вялое. Разложены бумаги. Власть бумаг. Разве так с ними расправляться! Да кажется, многие не выспались из-за министерской торговли, а тут как раз надо обсуждать, что же практически меняется в положении Исполкома при коалиции.

Ни-сколько не были сотрясены его приходом. (И даже не спрашивали о Галифаксе.)

Они — ещё ничего не поняли.

Поражала скучная обыденность обстановки, лиц, движений, голосов. Всё-таки, когда шёл сюда, думал: ведь штаб Великой Революции! Впервые в истории реальная власть над страной у социалистов. Может быть, они тут оживели, выросли, несут в себе это горящее сознание? Понимайте же, с какой осанкой надо говорить и двигаться: на вас смотрят Века!

Нич-чего похожего...

Неподалёку сидел Каменев, зять, муж Оли, прислал милую записку: очень рад приезду, сейчас предложит включить его в ИК.

Троцкий смотрел по лицам. Гоца — видел впервые.

Скобелев издали глупо улыбался. Потом подсел: что думает Лев Давыдыч, что вот — он стал министром?

Не ответил ему резко, может, ещё придётся использовать его.

Мрачно сидел грузный Стеклов. (Может пригодиться в союзники?)

В перерыве подошёл суетливо-радостный Кротовский — и сразу звал вступать в межрайонцы.

Межрайонцы? Может и подошли бы, направление у них неплохое. Но чисто-петроградская партия, за пределами города её не знают.

С этим ласково поговорил. Обдумаем.

Шушукались в перерыве — и потом проголосовали: дать товарищу Троцкому в ИК совещательный голос.

Всего-то? Пигмеи.

О-поз-дал.

Если вспомнить, как они обнимаются с Тома — предателем французского рабочего класса, Троцкий громил его ещё в Париже. А теперь, безусловно, будут нянчиться с Вандервельде — блеклым компилятором, только потому председателем Интернационала, что нельзя было выбрать ни немца, ни француза, — убогие! Разве они способны понять, что революция наша — совсем не узко-российская, что она — уже как дальний гром накатывает в высоту, вот-вот перекинется и на Германию, и на Австро-Венгрию — и на всю Европу?

И что без европейской революции — немислим и прочный успех нашей.

Вырваться из этой камеры обречённой! Сам заявил: сегодня пленум Совета? Его первый Председатель хочет выступить с речью.

Проглотили. Не могли отказать.

Всё-таки победа. Теперь одной превосходной речью можно вас всех перевернуть и переизбрать снизу! Сила оратора неутомительного, лёгкого: когда говорит в тебе нечто, мощнее тебя самого. Из глубин твоих взмывает подсознательное — и струит сознательную работу подготовленной прежде мысли. Да если у тебя ещё несравненная революционная интуиция! политический глазомер!

Нет, подождите, мы ещё покажем, как в настоящей огненной революции — реют!

Конечно, на Совете поостережётся, о войне не скажешь прямо: «штыки в землю!», как надо бы. В ходе революции пролетариат постигает свои истинные задачи методом последовательных приближений. Ведь угнетённым классам, как говорил ещё Марат, всегда не хватает знаний и руководства. Но они отлично ассимилируют элементы агитации. И мы — обязаны их нести.

Нет, не этой надстройкой Исполнительного Комитета надо завладеть, а именно, только и прямо — самим большим Петроградским Советом.

Поднять на штурм — Совет! Воскресить несравненный Пятый Год! — и Россия наша!

Сегодня у них было намечено — идти искать старика Варсонофьева. Адрес нашли: у Сивцева Вражка в Малом Власьевском, а телефона у него не оказалось, сговориться нельзя. Рискнули отправиться наудачу, может, не рассердится. (Да наверно, вообще это глупая выдумка? — чем ближе, тем Саня больше стеснялся.)

Все эти дни такая солнечная и тёплая стояла погода, Ксана привезла из Петровско-Разумовского со своей практики, что уже четыре дня как прилетели ласточки, начинают цвести одуванчики. А сегодня вдруг попасмурнело, похолодало, и даже срывались утром отдельные снежинки, потом не стало.

Сразу после ксеньиных занятий и пошли. Она ёжилась от холода, но наперекор всей пасмурности была весела.

И правда же: чудо их знакомства и сближения — был свет, свет десятикратный против всех нескладностей.

Дверь Варсонофьева со старомодными резными филёнками и сама серо-старая, но по-старинному крепкая, со стеклянной синей ручкой и почтовым фанерным ящиком, выходила прямо на Власьевский. Медная дощечка с гравированной витиеватой надписью. Но — кнопка электрического звонка.

Саня позвонил.

Мимо проезжал экипаж, и сперва не было слышно изнутри. А когда проехал — прислушались — вот уже и близкий шорох, поворот ключа, и безо всякого «кто там?» — дверь открылась.

В полурастворе её, не на цепочке, стоял — да! сам Павел Иванович! Тот самый — со своей ужато-возвышенной головой и особенной углублённой посадкой глаз.

— Чем могу служить? — неласково.

— Павел Иванович! — спешно стал уговаривать Саня. — Ради Бога, простите меня. Вам это, вероятно, покажется вздором. Но вы когда-то приглашали...

— Да? — очень удивился Варсонофьев.

Саня ещё растерянной:

— Да, глупо конечно, я понимаю. Простите. Это было в августе Четырнадцатого года... Я был с другом, нагнали вас на Никитском бульваре, вы повели нас в пивную, мы там разговаривали — и вы пригласили, если кто из нас когда придет с фронта в Москву...

— А-а-а, — теперь вспомнил Варсонофьев, и под косо свисающими седыми усами губы слегка раздвинулись, улыбнулся. — А-а-а, один гегельянец и один толстовец, да?

— Да, да! — повеселел Саня. — Как я рад, что вы вспомнили. Очень неудобно, простите... Но я в Москве всего немного, а тот разговор так запал... Я эти годы много раз вспоминал ваши слова... И вот я теперь, если вы разрешите, — с моей невестой...

— Очень рад, — всё ещё не слишком ласково сказал старик. Поклонился Ксенье и распахнул перед ними дверь. — Милости прошу, взойдите.

Поднялись ещё на два порожка — и оказались в полутёмной прихожей, дерюга на полу для вытирания ног, груда поленьев сложена в стороне, рундучок у стены, а прямо вперёд деревянная лестница с точёными балясинами, и только над нею — единственное окно, пасмурное. Показал им на вешалку, молодые скинули верхнее.

Варсонофьев поздоровался за руку с Ксеньей, потом и с Саней. Прищуриваясь:

— И который же вы из двух?

— Который тогда расставался с толстовством, — сказал Саня.

— Ага. — Старик был в вязаной фуфайке с высоким воротником и ещё в долгополой домашней грубошерстной куртке с большими карманами на боках, приобвисшими. — Соизвольте подняться, у меня низ теперь нежилой.

И пошёл по скрипящей лестнице вверх, молодые за ним. Там, на хорах, стоял на столе без скатерти огромный самовар и ещё другая неупотребимая утварь. Он, видимо, жил один.

Саня с Ксеньей переглянулись. Теперь не сплоскать.

Ввёл их в комнату с низким потолком, а стен совсем не видно: все они вкруговую и во всю высоту забраны книжными полками и книжными шкафами, а поверх шкафов ещё наложено плашмя книг и журналов.

Тут — и усадил их у круглого стола (тоже с навалом журналов, газет) на два старинных мягких стула с резными спинками, уже и шатких. И просил отпустить, он соберёт им чаю. Молодые дружно запротестовали, что они только на четверть часа и чтоб ради Бога не беспокоился.

Варсонофьев не стал спорить и уселся на такой же третий стул, а четвёртого и не было. Глазами, не избледневшими к старости и такими же глубинными, тёмно-блестящими, посмотрел на

него, на неё. Саня ещё раз объяснял, что — в отпуске, на днях опять на фронт, а он невесте рассказывал о Павле Ивановиче — и вот...

Старик посматривал одобрительно.

— Радуюсь за вас. Дай Бог, чтоб обстоятельства вас не разъединили.

И это была — холодная правда, о которой они и знали, и боялись, и хотели бы не знать. И какие б ни пришли они радостные — а от этого не отвернёшься.

— Да, — согласился Саня. — Наверно, всякое, всяко может вернуться. Ближнее будущее — темно. А то, что мы видим, — печально. Разброд. Все в разные стороны.

— С армией-то — плохо?..

— Плохо.

Саня рассказал немного.

Кивнул старик:

— Россия казалась таким стройным целым. А вот — закрутились самодвижущие части. И много их. И внезапно новое над русской землёй — дух низости, стало тяжело дышать. И, вы заметили? — люди теперь стали говорить с большой оглядкой, чего два месяца назад не было. Тогда — говорили что кому взбредёт. А теперь — боятся, и все в одну сторону.

— Это, пожалуй, да, есть.

Павел Иванович усмехнулся под усами:

— Тот самый скачок, которого так жаждал ваш друг.

— Неужели вы запомнили?!

— Да вот, запомнилось. Этот-то «перерыв постепенности» — он нам ещё и нажарит. В здоровом нормальном развитии ничто живое не знает революций. Революция — это всегда катастрофа, распадаются государственные связи, и общество переходит в расплавленное состояние.

— Но ещё, может, и плавно сойдёт? — надеялся Саня.

Павел Иванович вздохнул.

— Вы знаете, что такое кристаллическая решётка?

— Помним, — быстро, уверенно заявила Ксенья.

— Так вот. Революция подобна плавлению кристалла. Она разгоняется медленно, сперва лишь отдельные атомы срываются со своих узлов и кочуют в междузельях. Но температура растёт — и упорядоченность строения теряется всё быстрее, процесс разгоняет сам себя. И чем больше уже нарушен порядок — тем меньше

надо энергии разгонять его дальше. И вот — исчезает последняя упорядоченность, наступает — плавление.

Как сегодняшняя похолодавшая пасмурь перебила солнечный поток дней — так и слова его ложились, в сером свете от окна, — и Саня видел, как Ксения опечалилась.

— Но ещё, может быть, — уляжется? — понадеялась и она.

— Иногда и улегалось. Революции не совпадают в подробностях. Но — похожи. В том, что трудно останавливаются. И в том, что никогда не находили истины. Да даже и простого благополучия не приносили. И для самих революционеров — тоже, потому что никогда не получается похоже на их первоначальную программу. А наша революция — она, глядите, отчаянная, она — в припадке падучей бьётся. Вон, кричат: «углублять революцию». А что это значит? — Глаза его высвечивали недоуменно. — Как если б люди были недовольны землетрясением и хотели бы сотрясти землю ещё своими силами. Оттого что одичалые волки Гоббса стали называть друг друга «товарищами», ещё не наступило братство.

Ксения и тут не сробела:

— Ненавижу вольчью мудрость Гоббса. Я верю в то, что говорил о людях Христос.

— Да? — как будто изумился Павел Иванович и превнимательно поглядел на неё.

— Но всё-таки, — имел Саня честность возразить, — к революции вела, пусть ошибочно, идея любви к народу?

У Варсонофьева одна бровь поднялась сильно, другая лишь чуть-чуть.

— У нашей интеллигенции, откровенно сказать, очень много совести, да не хватает ума. Я — не о тех интеллигентах, которые вдруг с марта стали социалистами, — это почти сплошь карьеристы. Я — о самых добросовестных. У них у всех эти недели — что? Восторг, восторг — и обрывается, дыхания не хватает. Победа — в два дня, да, — но что потом два месяца? Захлёб веселья и торжества. Вся энергия революции истекла статьями журналистов, речами ораторов и резолюциями собраний. Какая-то революция резолюций.

На столе лежали свежие газеты пачкой, он как привзвесил их двумя пальцами.

— Вот что от этих страниц исходит? Фимиам, фимиам, фимиам — Народу. Но ничего земного нельзя делать с безудержным преклонением. Надо поглядывать трезво, да и по сторонам. Вро-

вень народу смотреть, да предупреждать: эй-ка, братец, не расхлебайся. Нельзя кадить черни. Нельзя кадить зверю. Как предупреждал Достоевский — демос наивнейше думает, что социальная идея и состоит в грабеже. Что у нас и покатилося. На всех митингах: «Товарищи, требуйте!» По всей России клич — «подай!» Младенческий, до-политический народ легко соблазнить. Манит, что, кажется: вот, вот она, вековая справедливость! Никто не имеет смелости объяснить народу: свобода — это вовсе не мгновенное изобилие, разорить казну — разорить и самих себя. Обязанности перед родиной — это и есть обязанности перед самими собой. Экзамен на свободу. Если мы так ломаем свободу, то мы и куём себе неизбежное рабство.

Посмотрел на поручика. Посмотрел на курсистку. Ещё ли, дальше?

— А мы и Европу кинулись поучать свысока. А слово «отечество» опять прокляли, — классы да классы. А классы и разьедают нации, и падает государство. Революционеры стелют Россию под своё кредо, нет времени подумать. Дантон хоть успел понять: «Революция подобна Сатурну: она пожирает своих детей». Но не они меня удивляют, а самые образованные. Самые первейшие кадеты. Привыкли всегда презирать, проклинать власть, и, беря её, — не поняли: власть — это страшный дар. Мозжащий. С нею нельзя играть. И не с упоением брать её, а обрекая себя.

Саня удручённо:

— Что же — делать, Павел Иваныч?

— А вот — вы мне скажите, что делать?

— Я думаю... я думаю... Простой человек ничего не может большего, чем... выполнять свой долг. На своём месте.

— Это б — хорошо было. Через это бы мы спаслись. Но сегодня не любят таких слов, как «долг», «обязанность», «жертва».

Помолчали.

Чего-то, чего-то Саня хотел не упустить?.. А! —

— Павел Иваныч! А вы прошлый раз нам сказали, что строй отдельной человеческой души важнее государственного строя. Так если так — тогда что бы нам революция? Переживём. Лишь бы самим не одичать.

Варсонофьев качнул, повёл головой.

— Сказал так? Это — не совсем осторожно. В мирные эпохи — пожалуй что так. Но когда государство разваливается — нет, нет, надо его спасать.

И опять помолчали.

Да неудобно было и засиживаться. И тоном уже уходным, облегчённым, вот сейчас и поднимутся:

— Павел Иванович, а ещё вы прошлый раз загадали нам загадку, мы так никогда и не разгадали.

— Какую это?

— А вот: кабы встал — я б до неба достал; кабы руки да ноги — я б вора связал; кабы рот да глаза — я бы всё рассказал.

— А-а... Это — дорога. — Подумал. — Дорога, что есть жизнь каждого. И вся наша История. Самое каждодневное — и из наибольших премудростей. На один-два шага, на малый поворот каждого хватает. А вот — прокати верно всю Дорогу. На то нужны — верные, неуклончивые колёса.

— Но колёса могут катиться и без Дороги, — возразил Саня.

— Вот это-то самое и страшное, — тяжело кивнул Варсонофьев. Сидел чуть согбась.

И многоморщинистые руки его с набухшими венами на тканой синей скатерти лежали как брошенные.

— Но может случиться и чудо? — едва не умоляя, спросила Ксения.

— Чудо? — сочувственно к ней. — Для Небес чудо всегда возможно. Но, сколько доносит предание, не посылается чудо тем, кто не трудится навстречу. Или скудно верит. Боюсь, что мы нырнём — глубоко и надолго.

181

После заседания ИК ещё поговорили со Львом Борисычем, он звал приходиться сегодня к ним обедать, «Оля будет рада». (Чего она там будет рада? По недоразумению и в революцию пошла, да со псевдобарскими ужимками, о всех событиях и партийных людях хищно кидается разговаривать, ничего же в них не понимая.) Каменев пока был в ссылке — родственники сохранили его устроенную квартиру в Петрограде, но не настолько просторную, чтобы сейчас поместить и Троцких. (Наташа за эти часы нашла одну комнату на них на всех четверых в каких-то захолустных «Киевских номерах».)

Поговорить с Каменевым полезно: позондировать всю большевицкую почву. Попросил у него папироску (сам курил редко, не носил). Каменев — умный: с лёгкой усмешкой в прищуренных глазах, он-то понимает, что за эти годы не Троцкий сменил позицию, а Ленин стал троцкистом, только никогда не признается.

Каменев не лишён теоретической подготовки и вдумчивый журналист, но недостаток его: что, ухватив идеи Ленина, всегда истолковывает их в мирном смысле. До приезда Ленина он вёл партию более чем умеренно: всё опасался перейти границы демократической революции. Вот — зять, рядом, — но и его не увлечь в вихревое движение.

А все остальные у них — беспомощные. Если в новый ЦК опять выбраны такой грубый обрубок без кругозора, как Сталин, или совершенно неспособный к теоретической работе безформенный агитатор Зиновьев. И остальные не лучше.

Да и — нет же людей, вообще. Одни развезены по Европе — где-то Иоффе? Рязанов? Луначарский? Да последние два и под большим сомнением. Революционный централизм — повелительный и требовательный принцип. К отдельным людям и даже целым группам вчерашних единомышленников он нередко принимает форму безжалостности. На двадцатилетнем революционном пути уже много их промелькнуло таких, кто шёл как будто рядом и был нужен, а потом — нет, обременителен, и даже вреден. (В частности, этот принцип верен и к родственникам: малейшая слабость к ним — измена революции.)

Оправдать такого рода личную беспощадность может только высшая революционная целеустремлённость, свободная от всего низменно-личного.

Вот, узнал: Раковский в Петрограде. Это подарок. Замечательный революционер. Болгарин по происхождению, румынский подданный, французский врач по образованию, русский по связям, социалист по деятельности — и ещё хватало энергии вести своё наследственное имение на берегу Чёрного моря. Очень сдружились с ним, когда Троцкий корреспондировал с Балкан. Все усилия применял, чтобы Румыния не выступила против Центральных держав. И наказан румынской тюрьмой, и освобождён русской революцией, — живой дух Интернационала!

Но — мало. Не то что партии — группы не создашь.

Хотя? — поехать, воспламенить Кронштадт? Уже и так зажённый.

Нет, наплывает форштевень корабля неизбежный: Ленин.

Какую линию взять к Ленину?

Трудно забыть все обиды на него. Звал: пустомелей, пустозвонном, фразёром, революционной балалайкой, полуобразованным болтуном, стряпчим по тёмным делишкам, подлейшим карьеристом, лакеем буржуазии, Иудушкой — всё в памяти горит, не забыть и не простить. И вот уже во время войны заявил, что Троцкий — такой же предатель, как Плеханов. И украл себе название «Правды». Из одной ревности не признавал теорию перманентной революции — а теперь молча перехватывает и её, только смахнув авторское название.

Настолько уже разошлись: два предвоенных года жили оба в Австрии — и не встречались. В 1914 Троцкий был в Цюрихе — не потому ли Ленин сразу поехал в Берн? Неизбежно встретились только на повозках, везущих в Циммервальд, — но и в Циммервальде Ленин пытался помешать Троцкому получить полный голос.

А самое острое столкновение было лет семь назад — когда случайно встретились на немецкой станции по пути на Копенгагенский конгресс Интернационала. (Голова Ленина была перевязана от острой зубной боли.) Ленин уже прослышал, что в немецком «Форвертсе» будет громовая статья Троцкого — и против меньшевиков, но особенно против большевиков и экссов (Троцкий этим ударом думал отсечь от партии крайности и сплотить середину), — прослышал, испугался и теперь настаивал: телеграфно задержать статью. А Троцкий — твёрдо отказался. Сразу же Ленин устроил общепартийное осуждение статьи — ещё и не читая её, и Зиновьев доказывал, что и читать не надо, чтоб осудить. (А Плеханов хотел потом устраивать над Троцким и формальный партийный суд, — вот так-то действовать между двух крыл.)

Да, у Ленина — бешеный организационный напор и кабанье упрямство. А культурное развитие — ведь совсем малое, не начитан. Лишён образности, яркости. Да поразительно необъёмен: как будто истолакивает весь сочный мир в сухую плоскость. А в решающие часы — да и трусоват. Ну как можно было так ничтожно не вмешаться в Пятый год? (А ревновал к Совету.) После Пятого года Троцкий ощутил себя ветераном, и уже не моложе на десяток лет, разница сгладилась.

А с другой стороны: Ленин сперва долго не щадил усилий привлечь Троцкого на свою сторону, верно говорил: с Мартовым вам не по пути, он «мягкий». (Из остроумных гипотез и предложений Мартова Ленин тоже черпал, сколько ему нужно, — а самого Мартова отшвырнул.) Это именно Троцкий отталкивался от Ленина, не хотел подчиниться.

А теперь, если оглядеться и вдуматься, так и переворот в «Искре», освободиться от Аксельрода и Засулич, — это было организационно необходимо: старики застряли в подготовительной эпохе. Они негодовали: как мог решиться на бунт недавний ученик? А Ленин в той ещё смутной обстановке, подминая под себя сегодняшний день, уже врезывался мыслью в завтрашний! Жестокий централизм! — это Ленин понял раньше всех. (Хотя и Троцкий уже тогда считал себя централистом — а всё ещё не понимал, какой напряжённый и повелительный централизм понадобится революционной партии, чтобы вести в бой миллионные массы против старого общества.) Да верно, верно Ленин понял ещё в 1903: руководящая осознающая партийная группа — конечно и может, и должна говорить от имени ещё незрелого класса, — потому что она всё равно выражает его объективные интересы. И когда он говорил: «Мы, ЦО за границей, идейно сильнее, чем ЦК в России, и руководить должны мы», — тоже ведь правильно.

А разве он был неправ с экзами? Загадочно улыбался крикам на V съезде — и продолжал. Орлино. Конечно прав: партии нужны деньги, и просто ребяческая недоумица — не брать их у царского правительства или богачей. Демиург революционного процесса — всюду берёт как имеющий власть. (И зря, зря горячился Троцкий в «Форвертсе».)

Ленину понравилось, когда Засулич сказала, что у него — мёртвая хватка бульдога.

Что Ленин весь всегда только в организации, в размежевании, в обмежевании своих — долго казалось Троцкому скучно, даже отвратительно: где же яркая личность? личный успех? Как может в великом революционере жить педантичный нотариус?

А опять-таки верно: вот — у него послушная партия. А Троцкий — всё в одиночках.

И с какой великолепной уверенностью он проехал через Германию, заранее не считаясь ни с каким воем шавок. (И правильно! И Троцкий, если б из Швейцарии, — тоже бы должен так. Гали-

факс — как раз доказательство от обратного: вот так имей дело с союзниками.)

Да сейчас, в самый острый момент, — ведь сходство по всем пунктам. Прочёл тезисы, оглашённые Лениным, — согласен с каждым! И бросать войну любой ценой, и как можно быстрее. И отметить Временное правительство. И вся власть — Советам. И сама же перманентность революции: именно теперь и двигать её, не оглядываясь. И — брать власть! Классовая борьба, доведенная до конца, — это и есть борьба за государственную власть.

И парадоксально: сперва — вся партия взбунтовалась против тезисов Ленина. Никто не согласен был с ним отначала и слитно — так, как Троцкий.

И — как же им теперь не соединиться?

Упоительно тянет — соединиться. Зачем — конкуренция?

Нет, Ленина не миновать.

Но только не продешевиться! (Прислали на вокзал какого-то Фёдорова.) Не идти с протянутой рукой, а то подомнёт без остатка.

Сближение надо произвести достойными шагами.

Апрельские уличные схватки — уже были репетицией будущих боёв. Расщеплённость власти сегодня — предвещает неизбежность гражданской войны. Желанной войны! И надо быть готовыми к любому подвигу в ней. И к любой твёрдости.

Революционные правительства тем великодушней, чем мельче их программа. И наоборот: чем грандиозней у них задачи — тем обнажённой диктатура. И только так движется История. Марат потому и оклеветан, что чувствовал жестокую изнанку переворотов.

Революция — это смиренная рубашка на противящееся меньшинство.

И уже сегодня проступает её стальной натяг.

Ещё позавчера, на первом совещании с Главкомандующими, ещё не утверждённый на высший пост вождя Армии и Флота — разгадал Керенский и этих главкомандующих и настиг свой новый будущий стиль руководства. Стиль — лаконичность! Наполеоновская выразительная лаконичность! строгость тона! А в Алексееве он увидел, что это — не тот человек, для поста Верхов-

ного, и придётся расстаться с ним, как только найдётся замена. Наоборот, Брусилова выделил как наиболее надёжного помощника (хотя и 64 года — а подвижный, быстропонятливый, и очень звал на Юго-Западный фронт). А Гурко, Драгомиров — сами явно не хотят оставаться, их — тоже придётся снимать. Но пока — пока напротив! заставить их остаться — и об этом будет первый же приказ, — не «приказ № 1», а Первый приказ, — и вся армия содрогнётся от тона:

1. Отечество в опасности, и каждый должен отвратить её по крайнему разумению и силе, невзирая на все тяготы. Никаких просьб об отставке лиц высшего командного состава, возбуждаемых из желания уклониться от ответственности в эти минуты, — (уязвить и их, и Гучкова), — я поэтому не допущу.

2. Самовольно покинувшие ряды армии и флотских команд, дезертиры, — (швырнуть это слово! а то всё не решаются), — должны вернуться в установленный срок 15 мая.

3. Нарушившие этот приказ будут подвергнуты наказаниям по всей строгости закона.

Да! Это сложился содрогающий язык! Его и жаждет страна, Керенский знает. (Только царапает: а если к 15 мая не вернутся — тогда что? какая строгость закона? ведь её нет...)

Это — сразу написалось вчера, когда он ещё не вступил в полноту власти, но вот уже распорядился в министерстве и вышвырнул гучковских помощников Новицкого и Филатьева.

Первые шаги! В них сразу виден будущий вождь и новый армейский порядок. Поставил правительству условие: имеет право производить рядовых в офицеры, не считаясь ни с какими формальностями. (И — как можно больше производить.) Первые назначения: полковники Якубович и Туманов из Генштаба (симпатичные, понимающие, расторопные) — помощниками военного министра. А третий был с ними Половцов — его сделаем Командующим Петроградским округом. А в помощники Половцову (придать партийное направление) — старого эсера Кузьмина, вожака Красноярской республики Пятого года, потом каторжанина.

Рано утром опубликовано новое правительство — с утра ринулся в довшин. Масса лиц, чинов министерства, генералитет, делегации от воинских частей, все поздравляют. И сразу назначил: нового начальника Управления Генерального штаба! нового начальника Главного штаба (и вообще прочистка штабов), — отныне всё меняется радикально! Мало того, ещё новинка: для скорей-

шего проведения в жизнь преуказаний министра создаётся «кабинет при военном министре», его начальник — полковник Барановский (шурин). Отныне все личные инициативы министра передаются в подлежащие главные управления — через начальника кабинета. Это будет мозг министерства (и одновременно — высвобождение мозга министра).

Итак — всё завертелось. Теперь можно принять и представителей печати. Обвёл их счастливым взором (они не спускали с него восторженных):

— Сейчас время — дела, а не слов. Не стану отговариваться, что я ещё не познакомился с министерством. Программу я имею, надеюсь её выполнить, но не сейчас её объявлять, а когда выступят осязаемые результаты — тогда общество поймёт, для чего я пришёл в военное и морское министерство. Я ещё не был на фронте, но уверен, что, вернувшись оттуда, не буду разделять пессимистического взгляда командующих фронтами. Военный механизм должен действовать с точностью часов — вот моя задача. Безответственные влияния на армию не могут пустить глубоких корней — (это была его главная надежда!) — силу этих влияний преувеличивают. Я уверен, что вся страна придёт на помощь!

Отпустил корреспондентов — подносят проект наивного и сердечного воззвания, составленного фронтовыми делегатами (но грамотное перо уже подработало). А что? это тоже может пойти как Второй приказ министра:

«...Солдаты тыла! пополняйте наши редееющие ряды!.. Крестьяне, отцы и братья! дайте нам хлеба, а нашим лошадям овса и сена! Товарищи интеллигенты! несите свет знания в наши мрачные окопы!.. Граждане капиталисты! Будьте Миниными для своей родины, откройте свои сокровищницы и спешите нести свои деньги на нужды освобождённой России... Русские женщины! Гоните своим презрением всех уклоняющихся в тяжёлую годину...»

Отлично. «Прочсть во всех ротах, эскадронах, командах, кораблях. Подписал военный и морской министр».

Но не задержишься и в довмине — ждут Керенского на общестуденческом митинге в пользу займа, перед разездом студентов в провинцию, обещал Терещенке быть. Молниеносным автомобилем — туда, в Институт путей сообщения. Неизбежные овации при входе. Терещенко заканчивает:

— ...Мы не хотим, чтобы русский народ оказался недостойн революции. Мы не позволим, чтобы наша родина шла к униже-

нию. Недостаток дисциплины заменить революционным воодушевлением...

Так! И на трибуне — обожаемый военно-морской министр (приехал старик Рубанович из Парижа, говорит: во Франции все вас называют «русским Дантоном»):

— Как военный министр говорю от имени Армии. Товарищи студенты и курсистки! После 1905 года я, при всеобщем утомлении, был в числе тех, кто требовал наступления на старый режим! Было много людей, более юных, чем я, но с более старыми сердцами. А теперь появилось много людей старше меня, но с юными головами, и они увлеклись воздушными замками и могут увлечь нашу родину в пропасть. Но — нельзя говорить всё, что вы думаете, а надо взвешивать каждое слово. Вспомним, как приняли на фронте наши слова о мире — что надо бросить оружие?.. Не забывайте о той глупой старухе, которая хотела стать морской царицей, а осталась у разбитого корыта. Не будет слов, какими нас заклеим, если мы растратим на кутежи слов — достояние, оставленное нам предками. Перелом в русской революции отныне совершился. И мы пойдём к новой цели железными батальонами, скованными дисциплиной! Я зову вас к вере, без которой мёртв разум. Я — ближе к молодёжи и не оставил ваших рядов. Не верить в вас — значит не верить в Россию...

И сразу — на съезд крестьянских советов — и проникновенную речь к этим простым сердцам. И сразу — на митинг, созванный черноморской делегацией, этими замечательными патриотами. Овация при входе.

— ...Отныне Армия и Флот обязаны выполнить свой долг! Я взял на свои плечи непосильную задачу, высокую честь... Хотя я никогда не носил военного мундира, но я привык к железной дисциплине: у нас, в революционных партиях, были свои офицеры и солдаты...

Шаг по сухопутью — но и шаг во флот. Завтра же — в Адмиралтейство. Ну, конечно, овации, букет красных роз. (А между прочим, фешенебельно было бы занять квартиру Григоровича.) Снова — все чины, доклады начальников, дать руководящие указания — и в адмиралтейский манеж, где выстроить всех служащих.

— ...нужна железная дисциплина... Мы, как сильные, продиктуем врагу свою волю. На концах штыков и из медных горл пушек понесётся в мир весть о революционном народе!

И — облететь за один день все-все запасные батальоны Петрограда, как никогда не умел Корнилов и не догадывался Гучков. Везде выстраивать, принять рапорт, короткая вдохновляющая речь — и дальше. Сперва, конечно, к волынкам (не забыть позать руку Кирпичникову):

— ...Я ныне принял управление военным и морским министерством, ибо страна находится в угрожающем положении.

И сразу к литовцам, по соседству:

— Революция — не праздник и не своеволие. Мы должны работать 24 часа в сутки. Я на собственном опыте...

Потом — в Егерский, Измайловский, Петроградский, Павловский (полчаса на батальон, с переездом):

— ...Павловцы не оказали защиты самодержавию ни при Павле I, ни сейчас...

— Вас, преображенцы, создал революционный царь, который с детства готовил революцию...

Не стесняясь расстоянием, катнуть и на Охту, в 1-й пехотный:

— Товарищи! Я пришёл к вам не как начальник, а как товарищ. Позвольте мне подышать одним воздухом с вами.

И одним махом произвести командира полка в генерал-майоры, а всех подпрапорщиков — в прапорщиков.

Ещё и к финляндцам — и чтоб вышла та самая 3-я рота, которая не вышла к Корнилову.

Незатруднённость речей — какой это счастливый дар! Иногда и перешагнёшь за узко-формальные рамки правительственной программы или условий Совета — но счастливчику всё прощается. Да теперь, когда в правительстве уже шестеро социалистов, — нельзя оставаться рядовым, неизбежно выходить в премьеры. (Да вот и жалуется Львов, что заболел от переутомления этих дней, — неизбежно Керенскому его заменять.)

А это что? совет офицерских депутатов?

— Вы сохраняете традицию декабристов! Какое счастье быть офицером революционной армии. Прочь уныние, малодушие и разочарование!

Однако на столе военного министра лежит не подписанная им, два месяца промурьженная по комиссиям и осуждённая всеми главнокомандующими — Декларация Прав Солдата. Эти два месяца, пока она клубилась где-то в стороне от Керенского, он даже и сочувствовал ей: крупный, важный шаг в демократизации армии. А сегодня — э-э-э, читая новыми глазами, он, пожалуй, предпочёл

бы её задержать. Даже хотя бы вот: окончательная отмена отдания чести — ну хорошо ли это для железной дисциплины?

Однако и задержать, остановить её сейчас — никак невозможно, это будет откровенно реакционный шаг. Но: послать в Совет солдатских депутатов, скажем, Якубовича, и пусть обратится так: «Толкуйте Декларацию сознательно, а не бессознательно. Мы даём теперь права, каких не имеют солдаты ни в одной армии мира. Например, отдание чести отменяется как обязательное, а вы — отдавайте добровольно, такова личная просьба министра Керенского».

Якубович: — Я им прямо скажу, что на лучезарный путь мощной демократической республики нас может вывести только наш вождь Керенский.

Ну, выбирать выражения — ваше дело.

А тем временем предприсуется, как будет дальше. Надо ехать на фронт — на две недели! на три недели! Обехать все фронты, везде собирать делегатов от всех частей — и внушать, и внушать им необходимость железной дисциплины! Но перед этим — не упустить флот. Молниеносно, ночным экспрессом — в Гельсингфорс. Там — сплошной триумф, букеты красных тюльпанов. С вокзала — на адмиральский корабль. (Быть — в элегантном штатском пальто и фетровой шляпе. Да что ж, не умеет он одеться? Приходилось и в рединготе с атласными отворотами.) Потом с Максимовым посетить все суда и все сухопутные части. К неблагодарным финнам (не доверяют нашей революции, не признают нашего правительства, рубля, желают нам поражения и требуют хлеба) — ни слова (а как Александр Фёдорыч их любил!), но только к своим, в Совете рабочих и военных депутатов:

— Даже под каблуками азиатского самодержавия мы падали спокойными рядами, если нужно — шли на смерть. А сейчас мы притянули наш народ в европейскую семью народов. За эти два месяца страна пережила много прекрасного, но и много страшного. Бывали минуты сомнения, когда мы теряли веру в государственный разум русского народа.

И, опережая робкий петроградский тон, — резким предупреждением :

— Здесь, в Финляндии, нам надо быть особенно осторожными, ибо наше великодушие могут понять как бессилие не только немцы. Но пусть никто не думает, что русский революционный народ слабее старого царизма!

И потом — на дредноуты. (Там — заражённые большевиками «Андрей Первозванный» и «Республика», — покорить их!) Уверенным шагом к боевой рубке и вскакивать на сигнальный мостик:

— Товарищи! Для меня вы все равны — от адмирала до матроса. Я уважаю в вас всех человеческую личность. Я требую дисциплины разума и совести! Я сделаю из нашего флота — силу моральную! — и тяжёлое бремя моё будет мне легко и радостно. Вам — надо самим понять предел своей свободы, понять, где она переходит в развал.

И конечно, первый большевицкий вопрос: «А тайные договоры?» Но подготовлен блестящий ответ:

— Двумя воюющими сторонами они заключены одновременно — и будут одновременно выложены на стол мирных переговоров.

А может быть, прозвучит и обратный вопрос: «Почему не арестуют Ленина?» И тут:

— Зная иногда, в чьих интересах действуют отдельные люди, мы оставили их на свободе — потому что спасение не в преследовании отдельных людей, а в государственном разуме вождей.

И ещё раз, открыто матросам:

— Здесь, в стране угрюмого финляндского гранита, мы не встретили отклика на наш великодушный призыв. Вы — поняли меня?

Ничего нет в мире могущественнее Слова! Слово — это всё! Если вложить всю силу нашего сердца, всю нашу горячую веру — неужели мы не увлечём доверчивого русского воина? Ещё сегодня приходится смотреть на многие беспорядки сквозь пальцы, — но словом мы всё восстановим! О, мы ещё покажем силу революционной армии! Теперь — она пойдёт в наступление! Имя Керенского будет связано только, только — с н а с т у п л е н и е м!

И ещё же — в отряд минных заградителей. (Подадут катер — прыгать в него с лёгкостью; или — матросы на берегу, а сам с палубы):

— Что стало бы со всеми нами, если б каждая ваша мина заявляла, что не хочет оставаться в глубоком холодном море? Пусть воспрянет духом заколебавшийся балтийский матрос! Мы так закончим войну, что наши потомки не будут краснеть за нас! Россия сейчас засеивается семенами равенства, свободы и братства — и я уверен, что этой осенью мы соберём обильную жатву!

Удерживал себя не беситься на этих горе-социалистов: это и замечательно, что они вошли в коалицию! это и надо было! В этом и трагикомедия мелкобуржуазных лубланов. Участием в правительстве они оторвут себя от масс! Вожди Совета запутались в своём соглашении с капиталистами. Теперь — их легче будет бить! Подумаешь — «новое правительство»! — перенесли контактную комиссию из соседней комнаты в министерскую, только и всего? К правительству капиталистов придаточек мелкобуржуазных министров? давших себя увлечь на поддержку империалистической войны? Измена делу народа! Это — классово проявилась верхушка крестьянской буржуазии, её ещё с 1906 года возглавил Пешехонов.

Но что они смогут? Вывести страну из кризиса? — они будут не в состоянии: кризис зашёл неизмеримо дальше, чем они воображают. Тем полезнее будут уроки для народа: он быстро убедится в несостоятельности этих граждан, Церетели и Чернова, в их жалких попытках сотрудничать с капиталом. В своих воззваниях к армии и к социалистам всех стран они полностью показали своё ничтожество и бессилие. Побудить армию к наступлению? — вы не сможете, потому что насилие над народом уже стало невозможно! А без насилия — он пойдёт только во имя великой революции против капитала всех стран! — и притом не обещанной там где-то, а вот наглядно осуществляемой сегодня у нас. И ни хлеба, и ни контроля над производством не будет у вас без революционных мер против капитала!

Хорошо, хорошо! Именно опыт коалиционного министерства и поможет народу быстро изжить иллюзии о вашем соглашательстве с капиталистами. (Керенского — в счёт не берём, его держит волна популярности.)

Момент создания коалиционного правительства — это отчётливый этап революции, отчётливая отмежёвка. Большевики и народники избрали министриабельный путь? — тем лучше для нас! тем легче вас стряхнуть! тем меньше будет благочестивых пожеланий, чтобы мы с вами состояли в союзе.

Сегодня, в день создания их коалиционного правительства, — открывается ясная прямая к власти — н а м !

Взятие власти — единственный выход, только политические младенцы этого не видят. Как правильно толковали буржуазные дипломаты о Константинополе: то, что хочешь получить, — надо прежде взять самому! Омертвев от ужаса ещё не одно социал-демократическое сердечко.

Лозунг дня: война так довела, что либо всеобщая гибель, либо революция против капиталистов. Кризис так всемирно велик, что нет выхода, кроме политического господства пролетариата и полупролетариата. Спасти страну может только революционный класс революционными мерами против капитала. И если даже отдать народу всю землю, но не тронуть капитала — это тоже не выведет из кризиса. И только власть, которая не остановится с трепетом перед прибылями капитала, — только она поможет бедным улучшить их жизнь немедленно.

И только правительству рабочих и крестьян поверит весь мир, ибо всякий понимает, что рабочий и беднейший крестьянин никого грабить не хотят.

Да смешно, это коалиционное правительство не удержится больше месяца. А мы при нём будем вести себя ещё смелей, чем при прежнем (хотя и прежнего не боялись). При следующем кризисе мы ускорим его развал и сдвинем власть к Советам. Да вот, уже открыто печатаем: власть должна перейти к Советам! мы признаём только их. Мы — за массовое революционное насилие! Наш метод — вооружённое восстание!

Между тем — частное совещание членов Государственной Думы? Явная попытка организации контрреволюции. А на днях и кадетский съезд, смотр контрреволюционных сил? А потом они и вовсе откажутся от созыва Учредительного Собрания? Не будем стесняться, и не будем резонёрствовать, как хлипкие интеллигенты, а — в морду, физически! Сейчас, перед кадетским съездом, срывать все их афиши на улицах и посылать организованные группы — срывать их собрания: кричать, выступать, затягивать, не давать времени их ораторам! (А не пустить наших, выгнать — не посмеют!)

Как всегда: сила у того, кто нарушает общепринятые правила.

Надо бороться за захват мелкобуржуазных масс. И ближайшее поле битвы — этот крестьянский съезд. Хотя министры-социалисты уже там выступили и одобрены — это ещё ничего не значит. Мы — заново поставим вопрос о доверии правительству, но боковым манёвром: не от большевиков, а от «безпартийной группы».

От безпартийной группы подсунем нашу резолюцию: рабочие всё себе завоевали — а почему же крестьянам не дают захватывать землю? Внутри крестьянского съезда надо спланировать и откалывать батрацко-подёнщицкие элементы, под лозунгом: к отдельным Советам Батрацких Депутатов!

Надо уже теперь, не дрогнув, открыто рвать с зажиточным крестьянством. Прикрывать неприятную правду добренькими словами — самая вредная и опасная вещь для дела пролетариата. Зажиточные крестьяне — это не крестьянство, это крестьянская буржуазия.

Везде на Ленина мода, везде хотят видеть и слышать непременно его самого. Теперь требуют — на крестьянский съезд. Но — знает Ленин: во всех этих местах он скорей не выиграет, а проиграет. Речи не получают, и не найдёшься ответить. Но и нельзя каждый раз объяснять занятостью, как в Гренадерском батальоне. И решил: болезнь! болен! на неделю, две, пока этот вопрос схлынет. И напечатал в «Правде»: не мог по болезни.

Однако крестьянский съезд и упустить нельзя. наших там почти нет. Решил написать им открытое письмо — и распространить по стране как листовку. Брать ли крестьянам всю землю немедленно или ждать Учредительного Собрания? Наша партия, сознательных рабочих и беднейших крестьян, считает: б р а т ь!! как можно более организованно — и немедленно увеличить производство хлеба и мяса для фронта, ибо солдаты бедствуют ужасно.

Лишь бы землю — взяли, уж потом назад не отдадут.

Но — ни слова о национализации, всё-таки сбили Ленина возражатели, что не знает он крестьянской жизни и психологии. Может быть, может быть, дело незнакомое, будем поосторожней.

Пришли из суда. Проиграно: иск в отношении лично Ульянова оставить без рассмотрения, а все организации и лица выселить в 20-дневный срок. Можно обжаловать в апелляционном порядке.

Чепуха свинячья. Суд постановил — совсем не значит, что правительство решится выселять. Два-три месяца никуда не уйдём, а потом — сразу в правительство.

Конференция наша прошла неплохо, ряды спланиваются. Всё больше надёжных людей на важных местах.

И будем готовы к штурму власти.

У Пятакова — отличные боевые качества. Пусть он будет у нас. (Если не переметнётся.)

Ещё очень может быть, что меньшевики-интернационалисты придут к нам на поклон, они запутались. Они, конечно, осудят Исполком за его новый шовинизм, за коалицию. Но ещё посмотрим, принимать ли их.

Прибьются межрайонцы, это наверняка.

Новожизненцы — Суханов, Стеклов, Гольденберг, эти почти в кармане, да Гольденберг и много лет был наш. Горький, как всегда в политике, архибезхарактерен, да чёрт с ним.

Самые неожиданные съезжаются, вот Раковский, откуда ни возьмись.

Для сплочения интернационалистов можно бы сейчас поднять кампанию в защиту Фрица Адлера — его, конечно, приговорят к виселице, а ведь он — наш, он стрелял во имя классовой борьбы и будущей революции, его выстрел ещё осенью поразил воображение социалистов.

Но — как вернуть Красина? Заветный человек. И столько вместе сделано — и самого, самого тайного, о чём гибельно было б, если б узнали. И с ним небывалая прямота — обо всём совершенно открыто.

Назвать — «друг»?

Двуострое слово. (Этим словом Ленин пользовался только в обращениях распронаиважных писем, когда бывало необходимо побудить самого нужного человека.)

И как глупо тогда поссорились, в Девятом году. (Но что в нём ценно: никогда ни соринки не выносит наружу.)

Вообще, после ссор Ленин не привык кланяться первый — пусть придёт пригнётся тот. Но Красин — такой незаменимый и уникальный человек, мог бы быть премьер-министром в любом европейском государстве, — и вместе с тем любое скрытое дело с ним можно обтяпать преотлично. К нему единственному Ленин готов пойти мириться и первый. За эти недели разведка: Красин — процветает: несколько служебных кабинетов в разных фирмах, квартира в Петрограде, квартира в Царском Селе (его электростанция освещает дворцы), роскошный автомобиль.

Месяц прождал Ленин — не идёт Красин. Значит, идти самому. Подошёл Коллонтаиху для разведки в Царское Село.

И вдруг сегодня прислал в «Правду» — стишок. Стишок, может, и копейки не стоит, но — сигнал! Завтра же напечатаем.

Эти стишки, как бурьян, растут из самых неожиданных грудей. Кто бы подумал: железный Красин — и стишки?

К победителям — всё равно придёт, умён.
А Инесса — всё же явилась на конференцию, сидела в секции по Интернационалу.
И тут — ссора...
Двуострое слово — «друг»...
Но — и она вернётся. Некуда ей будет деться.
А самый важный — Троцкий. Ни молчать, ни бездействовать он не будет. Опасен.
Очень наглый.
Сегодня послал встретить его на вокзал — не от ЦК, но от ПК. Троцкому нужно дать доброжелательный жест. Но умеренный.
По сути — позиции наши с ним сейчас очень сходны.
Конечно, трудно простить ему, сколько он писал — против.
Но если требует момент.
Людей — нет.
Конечно, какой он революционер? — он хлипок для этого. Он — неудавшийся писатель. Но и писатель — небрежный в деталях, неряшливый в мысли, монтирует наспех, чередование метко-стей и небрежностей, нет дисциплины ума. Может не вдуматься и о глубоком вопросе болтать как о проходной пошлости. В сущности, он и есть — балалайка.
И мастер подтасовок. Профессиональный лгун.
Но — и какой же оратор! Как эффектно было бы сейчас его использовать. Динамичная сила.
И — свободен от всяких предрассудков.
Во врагах — он опасно остр.
А в союзниках — непереносим.
Но, хорошо представляя его слабости, его безпредельную амбицию, можно умело им руководить, так что он не будет этого и понимать: всё время на первом плане и упиваясь собой.
Умные негодяи всегда очень нужны и полезны.

Пленум Совета бесплодно собирали уже два вечера подряд — объявить состав правительства, а переговоры всё не кончены. И вот сегодня собрались уже в таком раздражении — беда была бы головке ИК, если б нечего объявить.

Но напротив, и из утренних газет известно, с правительством всё решено, — и сегодняшний сбор Совета был бессмысленен уже по-новому: якобы что-то он мог утвердить или не утвердить, уже необратимое.

Однако Чхеидзе, поднявшийся от болезни, с голосом слабее обычного, говорил с большой серьёзностью, как если б только сейчас всё дело и решалось:

— Раньше я боялся ответственности, которая ляжет на нас, если мы войдём в министерство. Но теперь я ещё больше боюсь ответственности, если мы откажемся.

Потом Скобелев звонко-неутомимо, иногда подзаикаваясь, читал и оправдывал декларацию нового правительства.

А Ираклий сидел — в глубокой усталости. И верхи груди болевли. Так устал от этой скучной министерской торговли. И так не хотелось теперь идти в министры, отрываться от массы. Как он понял себя за эти недели, он и был силён единственно — в убеждении слушателей, и сколько б их тут ни было. Ему помогала (и отличала от других товарищей по ИК) безошибочная интуиция политической практики. Это она выносила его в огневую речь — и именно тогда, когда такой речи был обеспечен успех. И это она чудесно поправляла Ираклия в затруднительные, смутные, опасные минуты: выходил на речь с несомненным, заданным выводом теории или с готовой неумолимой резолюцией, — но, как только ощущал перед собой массу, сотни или тысячи ждущих глаз, — в нём вдруг сама оживала и выдвигалась какая-то нужная поправка, подправка, смягчение, — и Церетели неожиданно сам себя корректировал, — и то же, да уже не то выступало так жизненно, что все сразу и убеждались. А потом сам пугался: куда ж этот инстинкт может его завести? — и в кругу товарищей честно возвращался к компасу теории.

Теперь Чхеидзе представлял по одному новых министров, пока только Церетели, Скобелева и Пешехонова, первых двух тут прекрасно знали, но и поднявшемуся Пешехонову аплодировали доверчиво.

Потом выступил Станкевич, предупреждал:

— ...Вы берёте руль государственного корабля, но помните: его повороты надо соразмерять с большой осторожностью, памятуя о судьбе всей России. Сбежавший Гучков сказал: только чудо может теперь спасти Россию. Так этим чудом и являемся мы, демократия.

За Станкевичем — никому не известный большевик Сундуков: их отношение к коалиционному правительству — самое отрицательное, но сегодня они воздерживаются от прений, а скоро опубликуют свою декларацию.

Затем солдат, трудовик, с поддержкой коалиции. Затем, в чередование, — известный оголтелый анархист Блейхман, бритый, исхудалый, с седеющей шевелюрой, как всегда и с видом и с криком скандала:

— Я — приветствую вступление социалистов в кавычках в правительство! — потому что так они покажут своё настоящее лицо, а будет их там — полтора человека. Все их обещания останутся на бумаге. Одно они будут делать твёрдо — бороться с нами, анархистами. Но мы выдержим, как и против царского правительства. Большевики — непоследовательны, но я уверен, что в конце концов и они станут на путь анархии. Пусть рабочие и крестьяне видят, что путь революции только в захвате власти! Христос говорил: судить не по словам, а по делам. Смеётся тот, кто смеётся последний!

Затем от эсеров — сосредоточенный Гоц:

— ...Мы стремились отдалить этот момент, но история не ждёт. Нам говорят, будто мы отдаём лучших наших товарищей в плен к буржуазии. Это смешно. Наши представители идут в передовые окопы революции. Когда эсер Чернов идёт в министерство земледелия — то осуществлять лозунг «земля и воля».

За ним вышел от меньшевиков плотный хладнокровный Дан. Воодушевления не было у него и следа, он кисло говорил о новом правительстве. Что вообще — это большая жертва: и партии, и тех товарищей, которые соглашаются взять портфели, но просто без этого, видимо, нет спасения. Иначе — мы откроем дорогу контрреволюции. А те, кто говорят, что входить в правительство не надо, — пусть скажут: а что же надо делать?

И — действительно.

Выпустили ещё двух солдат. Из 11-й армии приехавший Шацкан, не похожий на рядового солдата, заверял, что армия хотя и больна, но после сегодняшней декларации скоро вылечится, отечество не погибнет, — важно то, что теперь военным министром Керенский.

Видя ли неблагоприятную для большевиков обстановку, Каменев подошёл внизу к эстраде и показал — снять его из списка ораторов. Или знал, кто выступит сейчас?

А Троцкий уже — вот, вышел на эстраду и стоял, в ожидании, пока его представят залу.

Он был роста немного выше среднего, а держался очень выпрямленно, как бы выше себя, ещё возвышаемый обильной колеблемой вьющейся шевелюрой. Она ли покачивалась, он ли весь, — но в этом был подготовляемый шаг на трибуну, и отражался в сдерживаемой улыбке длинных губ. И только подпорчивало пенсне да внизу лица непропорционально маленькая негустая борода, а то всё вместе было — напряжённость, но и надменность, совсем не как представляемый новичок.

Чхеидзе слабым голосом объявил, что сейчас выступит вождь Первой Революции, последний председатель 1-го Совета рабочих депутатов... — и отдельные голоса, вероятно предупреждённые, закричали:

— Троцкого! Троцкого! Просим товарища Троцкого!

И Троцкий — легко вышагнул к трибуне, теперь Церетели видел его только сзади, с плеча, — и заговорил на весь зал металлическим голосом, ясным звуком, — и сразу стихли всякие разговоры.

— Товарищи! Наша русская революция потрясла не только Европу, но и весь мир! Она застигла нас, группу изгнанников, в Нью-Йорке — и даже там, в этой могущественной стране, где царит буржуазия, — и его голос сразу налился негодованием, — даже там она глубоко отразилась на рабочих. Вы почувствовали бы гордость, если бы видели тех рабочих. Вы бы тогда почувствовали судьбу всего мира!

И уже руки его начали взлетать в жестах, и как будто были удлинены — туда дальше, во весь мир (но слишком выскакивали длинные манжеты, он досадливо подтягивал их). И, содрогаясь сам от взрыва внутреннего снаряда:

— Бр-рошен факел революции в пор-роховой погреб капитализма!! Наша революция открывает новую эпоху к р о в и и ж е л е з а! Но уже в борьбе не наций против наций — а класса угнетённого против классов господствующих!

Эту *кровь и железо* он провещал с ужасной полнотой звука и чувства. Чеканные его фразы хлестали кого-то невидимого как щёлкающие бичи, в нём была картинная мощь! — Троцкий весь выбрасывался вслед ударам, весь отдавался речи, — и в благодарность зал отдался оратору, только сейчас осознав, какое же вели-

кое они творят в эти будни, сами того не подозревая, — так буденно все говорили до Троцкого.

— Наступает новая эпоха борьбы — борьба всех, прижатых к земле! Повсеместный подъём всех эксплуатируемых и обманутых! И на десятках митингов американские пролетарии просили меня передать пламенный привет своим русским братьям!

Аплодировщики — так и взорвались. А оратор чуть вздрогнул или встряхнулся, уже поняв, что он владеет Советом, что он вождь, — и от темпераментного первого *presto* отпустил в *andante*:

— Дальше я имел случай прийти в соприкосновение с пролетариями немецкими. Вы спросите: где? В лагере военнопленных в Канаде, куда нас как врагов заключило английское правительство капиталистов, — не хотело нас пропустить в Россию за то, что мы не империалисты.

Крики: «Позор!»

— В этом лагере было 100 военнопленных немецких офицеров и 700 матросов-пролетариев. И они сказали нам: «Мы — рабы нашего кайзера». А мы стали рассказывать им правду о русской революции, читали им лекции. Но германские офицеры пожаловались англичанам, что мы подрываем веру в кайзера, — и английский комендант запретил мне читать рефераты. Но когда я уезжал из того лагеря — 530 человек, выстроившись шпалерами, провожали меня и кричали: «Долой Вильгельма! Да здравствует международное братство народов!» И мы убеждены, что все немцы и все народы восстанут — и произойдёт чудо освобождения! Человечество — движется вперёд жертвами!

Густые аплодисменты. Зал был опалён. А Церетели — загрустил, как уводят ослеплённую массу от равновесия. Массе оратор пришёлся — а Ираклию резало глаза его актёрство, позёрство, его наигранная, лихо-чертовская манера. А ведь Троцкий теперь может оказаться в головке Исполкома — и замотает революцию.

Теперь, уже в ореоле, Троцкий перешёл к сути сегодняшнего заседания:

— Не могу скрыть, что я не согласен со многим, что было сказано здесь. Тут жаловались на двоевластие. Но Совет рабочих и солдатских депутатов представляет подлинную демократию. А если социалисты войдут в буржуазное правительство — разве это спасёт от двоевластия? — нет, только борьба перейдёт внутрь пра-

вительства. Двоевластие произошло от столкновения двух разных непримиримых классов — и они так и останутся двумя разными непримиримыми. Такова классовая анатомия. Вхождение в министерство — опасно! Я должен сейчас предупредить вас, товарищи! Мы должны это все осознать.

Едва пришёл — и сразу всё подрывал.

Властно стоял над залом:

— Конечно, и этот опыт не погубит страну, ибо революция слишком сильна! Я — верю в чудо! — но не сверху, а снизу. От пролетарских масс. И вот как надо решать этот вопрос.

И вот как. Ещё суток он не пробыл на русской земле, а уже диктовал:

— Тут — три заповеди! Первая заповедь: недоверие к хищническим имущим классам, недоверие к буржуазии. Помнить, что они каждым шагом ищут, как обмануть нас, трудящихся, рабочий класс и крестьянство.

Ну, допустим.

Зал зарился. Только на лицах поразвитей — недоверие.

А Троцкий — звенел уверенно:

— Вторая заповедь: строжайший контроль над собственными вашими вождями! Не надо думать, что ваши нынешние вожди всегда правы и всё знают правильно. Они тоже могут ошибаться.

Круто взял. Да он что ж — идёт нас всех отстранить? Он, кажется, откровенно хочет власти.

Недоумение в зале. Ни одного одобрительного движения. Недоброжелательно поёжились и в президиуме.

И — куда он влечёт неразумно? Вот это и значит: нет в нёмправляющей интуиции, заносит его.

А Троцкий, остро поданный вперёд, с уже взметенной рукой, хотел выразить больше, чем сказал? ещё?

Но нет. Вдруг на этом самом опасном взлёте — ему не хватило воздействия. Как будто надломился.

Вобрался. Удержал себя:

— А третья заповедь — доверие к своей собственной революционной силе. И наш совет: пусть следующий ваш шаг будет — к полному завоеванию власти пролетариатом! Да здравствует русская революция как пролог ко всемирной социалистической революции!!

И отошёл. В аплодисментах. Но проводили его — холодней, чем встретили. Нет, к счастью, речь его надорвалась.

Но его программа — почти как ленинская? (Был и крик: «Это мы слышали от большевиков!») Только Ленин и за месяц не появился в Совете, сидит как паук в углу, у Кшесинской.

Однако уже прибыл с крестьянского съезда и Чернов, и не мог снести такого неожиданного посрамления:

— Если бы мы послушались слов Троцкого — мы бы поступили как страус. Опасность вхождения в западных условиях вот в чём. — И подробно: в чём, при каких условиях буржуазия может сделать из социалистов пленников. И гордо: — Но неужели вы думаете, я иду к буржуазии в плен? Теперь буржуазное правительство ничем не располагает, — (Верно.) — Теперь все дела будет решать, в сущности, Совет, а министры — только исполнители.

Увы, увы. И как же придётся работать?..

А Чернов красноречиво-гладко стал широко рисовать какие-то два яруса в армии, нижний и верхний, и верх как органическая часть низов, — уже в зале начались разговоры, а он не чувствовал утечки времени, — и этого заседания, и всего вообще времени России.

— ...Троцкий сказал: «Не верьте своим вождям», но если мы двигаем в министерство вождей, тем самым мы и себя двигаем. Если вы не введёте нас, то правительство будет выкапывать чёрные сотни, серые сотни, и будет гражданская война. У меня аппетит не хуже товарища Троцкого. Но прежде чем брать всю власть в свои руки — пусть Троцкий подсчитает силы. А нам торопиться некуда и нечего бояться за завтрашний день, власть от нас не уйдёт. С каждым днём мы делаемся сильнее, созыв Учредительного Собрания с каждым днём всё более лёгким...

Как он уверен!..

Стали кричать: почему не выступает Церетели? А у Церетели болело горло, и хорошо бы, если б только простуда. Устал... Поднялся и, сильно охрипший, объяснил, с большим усилием.

— Товарищ Троцкий вернулся только сегодня. Может ли он уверенно сказать, что когда мы захватим власть — её признает вся Россия? Говорят: «Отечество в опасности». — Его горло изнемогло: — Скажу больше: в опасности и революция, и идея международного братства! Если наша революция будет раздавлена — то и в других странах долго не будет революции. По Троцкому: если два разных класса, пролетариат и крестьянство, то они должны драться?.. Но сейчас если сбросить и буржуазию, то наступит наша гибель. Если вы поддержите нас — то мы войдём во Вре-

менное правительство и спасём Россию! А без вас — мы только щепки на гребне революционной волны...

* * *

Это будет государство типа Парижской Коммуны. Такая власть является диктатурой, то есть опирается не на закон, не на формальную волю большинства, а прямо, непосредственно на насилие.

Ленин

* * *

185

Ушла молодая чета — Павел Иванович пожалел их. Даже если вправду они будут счастливы, — а ведь ещё, наверно, и не знают друг друга хорошо, жениться идеально — это мало кому даётся, браки приблизительны, — всё равно несчастны уже тем, что своё счастье им придётся ограждать под метучими большими звёздами революции. Надо всем и надо всеми — нависло, рушится, а у кого-то своим чередом должна завязываться любовь.

Но что ободряет: вот за самые последние годы, перед революцией, выросла у нас новая интеллигентская молодёжь, совсем новая — свободная от Писарева и Чернышевского, не ослеплённая революционным психозом прежних поколений и даже миновавшая хлам арцыбашевщины, андреевщины, ананасов в шампанском, — а верит, что есть-таки в мире Добро и Зло, и тянется их различить.

Он, может быть, высказал им слишком мрачно? Но он — так и думал. Подслащивать — не надо.

Даже — он мало сказал им: страшно — только за государство? А за культуру — ещё страшней. Ведь покати, покати вот так — мы спустимся до пещерности. И угроза не только от темноты простонародья, но и от столичных спекулянтов, торгующих отравой душ.

От революции люди как потеряли всякий взгляд по высотам, подъёмность духа, — все спустились до газет, до партийных мне-

ний, до мелких событий: будут ли Гучков-Милюков министрами? войдут ли социалисты в правительство? соединится ли совет крестьянских депутатов с советом рабочих?

Как будто эти штрихи так много значат на величественно разогнанной кривой Истории.

Как раз-то из-за революции и существенно: принять самую высокую точку зрения, откуда русская история последнего века увидится не сама по себе, а в единой концепции с Западом. Ибо на самом деле: слишком много общих опасностей и общих ошибок.

А наши до сих пор попытки осознать происшедшее вот с нами — это спичкой осветить океан.

Ныне происходящее — крупнее Французской революции. Это будет прорабатываться на Земле — не одно столетие.

Заметив новейшую, этих месяцев, черту интеллигенции — не думать о самом страшном, подавлять в себе бессознательное, а что якобы всё идёт правильно, — Струве предложил бывшим веховцам издавать на скорую руку, без переплёта и подешевле, журнальчик-брошюру, но безотлагательно и чаще. Назвали его, тоже наспех, «Русская свобода», между собой — пост-Вехи. И для этого издания участилась между ними загасшая переписка.

Бердяев прислал статью, что идея Интернационала есть болезненное классовое извращение идеи единства человечества и братства народов. Интернационал и пролетариат — это ограбление человечества, и наша национальная слабость характера, что мы им поддались.

Да, интернационализм — это жидкость без вкуса, без цвета, без запаха. Это — не всечеловечество.

А Франк прислал совсем неожиданную статью о голосе мёртвых: что мёртвые этой войны и прошлых веков — не умерли, они живы в глубинах сверхличной народной души. Нашим сейчас поведением мы насмехаемся над погибшими, в дни революции мы равнодушно предали их, — но за то ещё услышим их громовой голос.

Да, наша родина сказалась духовно больна — и мы все причастны к этой болезни.

Всё великое зреет и творится молчаливо. История создаётся не на митингах.

Но вот наш плен: хотя это и мелко — держаться на уровне событий, прокрикиваемых газетами, — а только через земные события мы можем вести и космические битвы.

Уже многое в здоровье посылало Павлу Ивановичу сигнал, что пора ему готовиться к кончине.

(Но удивительно: когда думал о смерти, то испытывал не жажду, не обречённость — а, напротив, освобождалась какая-то великая свободная вертикаль, всю жизнь ему недоступная.)

С каждым годом уменьшается сил — а впереди, вот... ?

В старости есть наслаждение — медленных действий, неторопливых решений. Но жизнь так покатила, что начнёт и швырять.

Когда закручивается такое — и видно, что на много лет, — надо найти в себе силы и для борьбы, и для движения, и может быть, для невзгод дороги. Впервые за всю жизнь придётся стронуться с Малого Власьевского? — и куда-то ехать?

Революции — всегда раскатываются по пространствам. Если, не как сегодня, найдётся в нашем народном духе сила сопротивления — то будет и гражданская война. И тогда — может достаться ехать на какую-нибудь окраину.

Неужели придётся ехать? В старости, кажется, нет дорожке как: всё на месте, с закрытыми глазами руку протянуть — и бери; и можно перейти везде в чувяках; из шкафа без поиска найти любое лекарство, мазь; и подушки под головой такие привычные. А ехать — этого всего не возьмёшь, и где ещё будешь дрожать и корчиться?

Но только на этом телесном уровне дано нам выстаивать наши битвы.

Эта жизнерадостная молодая чета даже кстати сегодня пришла Варсонофьеву. Поддала и веры. И сочувствия. И решимости.

186

Уже больше тут месяца, в Могилёве, — а ни разу не сшагал Воротынцев на Вал, хотя штаб же — рядом. С того тёпло-бурного октябрьского вечера — ни разу.

Сегодня после полудня пошёл — обдумывая свою речь на послезавтрашнем офицерском съезде. Обещали ему дать слово во второй день.

Речь — уже сложил в голове, уже горит.

Можно передать заряд — сразу сотням, с кем не переговоришь отдельно.

А они потом — ещё сотням.

Хотя — каждое слово будет на прощуп. *Против кого* — открыто не призовёшь. И о правительстве — не скажешь чётко, чего оно стоит. И о Совете — не скажешь пятой доли.

Да против кого — понимаешь ли сам? Такая закруживая чёртова обстановка: против кого? Ну, определились ленинцы, — но не одни ж они. А советские всех оттенков? а все армейские комитетчики да служники при них? Ведь они всё больше завихривают и солдат. Неразумных, одураченных, уже чуть не миллионы, — они кто? они тоже клонятся во враги? Ребята вы наши, ребята...

Как это страшно сползло! Сползает.

Круговой Обман — вот какой враг.

А — как через него прорваться? Такого — в жизни не произошло. Таких способов мы не знаем.

Нужна речь — как меч.

Сбор трёхсот боевых фронтовых офицеров, делегатами от офицерских тысяч, в сегодняшней безвластной, разбродной, стиснутой обстановке — это событие. И задумано так, что съездом не кончится. Будет учреждён Всероссийский Союз Офицеров, — все создают союзы, почему же не нам? Офицерство ободрится и сомкнётся.

А здесь, при Ставке, останется Главный комитет. (В него — попасть.) Он будет — как бы Ставка при Ставке. Вторая Ставка — но свободна от прямой служебной субординации Штаба. Свободней в движениях. Но — в помощь Верховному.

Или — Вождю? Где б — этот вождь? Как жаждется открытый чей-то клич! Но ни один большой генерал не решается, все спутаны.

Такая проклятая обстановка, что спутывает всех.

Сегодня вернулся из Петрограда Алексеев. Непроницаемый. Он будет открывать съезд. И направит его.

А — как направит? В первоапрельские дни, теперь уже видно, сыграл Алексеев жалкую роль.

Уже шёл по аллеям Вала — и вот вышел на самый восточный край его, к откосу. Крутой откос, уже в молодой траве, пересеченный наискось гравийной пешеходкой — вниз, к пристани. Зелёный откос, отрублен до самой набережной.

На Валу — малоллюдно, день. Тут, на обрыве, отъединённая свободная скамья: уже прошло большое наводнение, жители отлюбовались.

Сел.

Так приметан военный глаз, уже ничего не поделатъ, не то видит, что всё — высота, красота, обзор, но на всякое урочище, на всякий выгиб рельефа — невольный первый взгляд: а как здесь атаковать? И сразу же второй: а как обороняться?

Так и на эту круть. Брать её, да через Днепр — о-о-ох, трудно. Разве зимой.

Две баржи у дебаркадеров. Да одну тянет пароходик, вверх.

Уже спадает наводнение, а далеко ещё не вошло в берега. Полно идут серо-синие воды.

А за Днепром заливные луга — на пять вёрст в глубину, широко-о.

А за ровенью поймы — кожевенный заводик. И другой. Деревня. Ещё деревня. И — леса.

Что за радость — обширного взгляда с горы. На реку, на пойму, на даль. Как будто возносишься над своей жизнью.

Вот так бы похорониться: на крутом берегу русской реки, против широченной поймы. И — на берегу западном, чтобы ноги к реке и с малым уклоном — как будто и лёжа всегда видеть и водную ширь, и восходы солнца за ней.

Небо сейчас не голубое, а в белесоватой позолоте. И кое-где — лёгкий начёс волосяных облачков. Не движутся.

Видишь — так много России сразу, как не бывает повседневно.

Если взять чуть левей, восток-северо-восток, и перевалить через леса, взлететь и дальше — расстелется сперва Смоленская. Потом Московская. Потом Владимирская. А там — и наша Костромская. Всего-то — вёрст семьсот, куда покороче фронта. Недалеко.

Милая, печальная, обделённая сторонюшка костромская. Что ж я не был в тебе так давно, давно, давно?

А во взрослые уже наезды — та щемливая тоска, какая почему-то всегда зацепляла его в Застружьи, — от скудных ли полей; от изгиба дороги — вот тут была, и увильнула, и напрочь; от ветряной ли мельницы дальней? И та тоска достигла и сюда, и здесь крючком потянула за сердце.

Или — чувство, что никогда уже туда не вернуться?..

Родина моя! Нерадиво мы тебе служим. Дурно.

И — дослужились.

Вот тут, позади близко, за этими деревьями, впечатывал Нечволодов: революция у ж е п р и ш л а! Она который год нас разносит — а мы всё не действуем.

Как говорили встарь: благомужественный воин.

Тогда — не хотелось поверить.

А вот уже: прославленная Тройка наша — скатилась, пьяная, в яр — и уткнулась оглоблями в глину.

Всё хвастали.

Что за обычай был у нас — превозноситься? Подбочениваться с таким лихим превосходством.

Сегодня делегаты начнут съезжаться — из четырнадцати армий! — надо как можно больше встречаться, видаться, толковать.

Сколачивать ядро.

Нет, в офицерстве ещё сила есть. Если где ещё осталась — только в офицерстве.

Как ни смяты, ни разрознены, ни рассеялись — но кто ещё готов идти на смерть, не пригибая голову? Прошедшую все фронты и бои.

Сколь бы мало нас ни сплотилось, — ни это правительство, ни Совет не отнимут у нас последнего права: ещё раз побиться.

Набухало: бой — неизбежен. Бой — будет.

А не победить — так себя уложить достойно.

В этом холоде подступающего, в этой безповоротности — своё новое облегчение.

Кажется: всё — хуже некуда? В яр, в глину, и все жертвы напрасны? и не знаешь, где быть, где стать?

А плечи — опять распрямились. Нет, впереди — что-то светит. Ещё не всё мы просадили.

Но — на какой развилочке спешить? И уложить себя — под какой камень?

1984–1989

Кавендиш, Вермонт

КАЛЕНДАРЬ РЕВОЛЮЦИИ

(ст. ст.)

11 мая

- Керенский подписал «Декларацию прав солдата».

16 мая

- Кронштадт отказался признавать власть Временного правительства.

22 мая

- Снятие ген. Алексева с поста Верховного Главнокомандующего. Назначен ген. Брусилов.

23 мая

- Главнокомандующий германским Восточным фронтом публично предлагает России переговоры о мире.

24 мая

- Уступчивое постановление Временного правительства о Кронштадте.

25 мая

- Приказ Керенского об увольнении ген. Гурко с Главнокомандования Западным фронтом. Назначен ген. Деникин.

26 мая

- Петроградский Совет требует от Кронштадта безусловного повиновения.

27 мая

- В Эстляндской губернии Совет взял власть вопреки Временному правительству. «Кронштадтская волна покатится по всей России».

3 июня

- Открылся 1-й Всероссийский съезд Советов.

4 июня

- На съезде Ленин: «Есть такая партия!»

НА ОБРЫВЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ

КОНСПЕКТ НЕНАПИСАННЫХ УЗЛОВ (V — XX)

ОТ АВТОРА

Много лет назад эта книга (1914—1922) была задумана в двадцати Узлах, каждый по тому. В ходе непрерывной работы с 1969 материал продиктовал иначе.

Центр тяжести сместился на Февральскую революцию. Уже и «Апрель Семнадцатого» выявляет вполне ясную картину обречённости февральского режима — и нет другой решительной собранной динамичной силы в России, как только большевики: октябрьский переворот уже с апреля вырисовывается как неизбежный. После апреля обстановка меняется скорее не качественно, а количественно.

К тому же и объём написанного и мой возраст заставляют прервать повествование.

Но для тех последующих Узлов я всё же представляю читателю конспект главных событий, которых нельзя бы обминуть, если писать развёрнуто. (Для Семнадцатого года они разработаны в значительной подробности, также и с обзором мнений; затем — схематично.)

Сюжеты с вымышленными персонажами я вовсе не включаю в конспект.

В КОНСПЕКТЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ СОКРАЩЕНИЯ

ДА	— Действующая Армия
СФ	— Северный фронт
ЗФ	— Западный фронт
ЮЗФ	— Юго-Западный фронт
РумФ	— Румынский фронт
БФ	— Балтийский флот
Центробалт	— Центральный комитет БФ (в Гельсингфорсе)
Центрофлот	— Центральный комитет всего русского флота (в Петрограде)
ВО	— Военный округ
ПВО	— Петроградский Военный округ
МВО	— Московский Военный округ
Гк-щий	— Главнокомандующий
п-к	— полковник
в/ч	— воинские части
УС	— Учредительное Собрание
ВП	— Временное Правительство
ГД	— Государственная Дума
г.д.	— городская дума
СРД	— Совет рабочих депутатов
ССД	— Совет солдатских депутатов
СРСД	— Совет рабочих и солдатских депутатов
СКрД	— Совет крестьянских депутатов
ЦИК	— Центральный Исполнительный Комитет (избранный на съезде рабочих и солдатских депутатов)
ВЦИК	— то же (в поздних Узлах), Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
ИК	— Исполнительный Комитет (чаще — ИК СРСД, ИК СКрД)
ПСРСД	— Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов
МС	— Московское Совещание (август 1917)
ДС	— Демократическое Совещание (сентябрь 1917)
КОБ	— Комитет Общественной Безопасности (ноябрь 1917, Москва)
ВРК	— Военно-революционный комитет (при ПСРСД, большевицкий)
СНК	— Совет народных комиссаров
ЦК	— Центральный комитет (партии большевиков)
ПК	— Петроградский Комитет (партии большевиков)
РКП	— Российская Коммунистическая партия

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

НАРОДОПРАВСТВО

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

УЗЕЛ V — ИЮНЬ — ИЮЛЬ СЕМНАДЦАТОГО

(9 июня — 12 июля)

Адмирал Колчак изгнан матросами из Севастополя. Его резкий (и бесполезный) доклад Временному Правительству о гибельном состоянии флота.

Расчёты Ленина: Съезд Советов, уже неделю заседающий в Таврическом, потерял темп и спутан коалицией с ВП; а большевицкая агитация так успешна в петроградском гарнизоне (не желающем ехать на фронт) и на заводах — что теперь, несравнимо с апрелем, созрел момент для пробы сил. «Мирные демонстрации — дело прошлого», иначе солдаты могут уйти из-под влияния партии, их негодование завязнет. Агитировать: в «Декларации прав солдата» отменить оговорки об исполнении боевых приказов и дисциплине в строю, это ведёт к безправию солдат. Тайком от Съезда подготовить и вывести 10 июня вооружённые массы на улицы, двинуть к Мариинскому; вызвать министров для объяснений и, в раскалённой обстановке, арестовать при толпе. Лозунги «Долой 10 министров-капиталистов», «Вся власть Советам», давить на Съезд, а при благоприятном повороте — брать власть самим. (План Смилги: не отказываться от захватов арсенала, вокзалов, банков, телеграфа.) Минус: как поведёт себя провинция и как Действующая армия; плюсы: немедленно объявляем мир, заводы — рабочим, земля — крестьянам, и террор против буржуазии. Шельмовать Государственную Думу как центр контрреволюции, а верхушка Советов — подкуплена буржуазией, Церетели получил от Терещенки 10 миллионов. — ЦК большевиков одобрил план. Тактика: листовки с вызовом на демонстрацию готовить тайно, развешивать в казармах и на заводах к концу дня 9 июня.

Вечером 9-го головка Съезда узнаёт о заговоре. Не допустить! «Удар в спину революции!» Воззвание Съезда к населению: не выходить

на улицы 10-го! Требовать отмены от большевиков, угрожать исключением их из Съезда, из революционной демократии. — Ночью и утром делегаты Съезда ездят по казармам и полкам отговаривать от демонстрации, встречают враждебность: «рассчитаться с соглашателями!», «будем резать буржуев!», солдаты-запасники доведены до иступления; 1-й пулемётный полк: «Мы кровопролития не боимся!» Слух, что Кронштадт подготовил суда перебросить 20 тыс. матросов в Петроград. Паническое настроение Съезда. — Полночи Луначарский выговаривает у Съезда оттяжку для решения ЦК большевиков. — После полуночи ЦК решается отменить всю демонстрацию. В части отпечатанной «Правды» уже воззвание к ней, в другой части тиража — отмена. — Полки гарнизона и красная гвардия: «Мы подчинились не Съезду, а своему ЦК».

«Универсал» украинской самовыбранной Рады (с социалистической программой): отказ в безусловном подчинении общероссийским законам. — Русская печать: Это не автономия, а отложение. Плеханов: Об отделении Украины немцы стараются с начала войны. — Воззвание ВП к украинскому народу: не раздробляйте освобождённую Россию!

Нота ВП союзникам с приглашением пересмотреть конечные цели войны (уступка российской демократии).

Головка Съезда, осадив большевиков, не уверена в своей победе: на вооружённую борьбу большевиков допустимо ли отвечать тем же? ведь будут обвинять в разоружении рабочего класса; большевики совершили ошибку, но за ними массовая пролетарская сила. Отвергнуто предложение Церетели разоружить красную гвардию и воинские части большевиков; принята резолюция Дана, что отдельные партии не имеют права на самостоятельные демонстрации. — На Съезде атакующее влияние большевиков, левых эсеров, меньшевиков-интернационалистов (Мартов) и межрайонцев (Троцкий, Луначарский). Рев. демократии надо сдвигаться влево: требовать от ВП окончательного упразднения Государственной Думы и ускорения созыва Учредительного Собрания, хотя бы без надлежащих избирательных формальностей.

Родзянко против намерения упразднить ГД раньше УС. — ВП, вопреки мнению своей подготовительной комиссии, приближает выборы в УС: 17 сентября (нереальный срок). — Тайный проект Гучкова: воцарить в. кн. Дмитрия Павловича (отвергнут ген. Корниловым).

Ген. Иванов отпущен в Финляндию. — В Петрограде самоуправства толпы над торговцами, самосуды над ворами. — Забастовки маршевых рот в гарнизонах: не идут на фронт. Разгул солдат-запасников в Ростове н/Д. Солдатские беспорядки в Астрахани. — «Независимая республика» в г. Кирсанове. (Нач. милиции — Александр Антонов, будущий вождь тамбовского крестьянского восстания.) — В дер. Коровайново Кирсановского уезда: ничего не читали, не знают ни о «съезде крестьянских депутатов», ни об УС, а: «Нашему б царю у Вильгельма поучиться, нам бы такого».

Керенский дождался резолюции Съезда с одобрением возможно наступления русских войск: «Наша сила придаст вес голосу революционной России и приблизит окончание войны», после этого тотчас выехал на ЮЗФ, объезжает ненадёжные в/ч с призывами к воинскому порыву и раздаёт им красные знамёна: Кто против наступления, тот против революции; и он сам с винтовкой в руке поведёт наступающие войска. (От одних митингов солдаты видят: вольны наступать, а вольны и нет.)

Ещё одна уступка верхушки Съезда СРСД для умиротворения большевиков: единство рев. демократии выразить общесоветской безоружной массовой демонстрацией в Петрограде 18 июня. — Большевики схватились, делать больше плакатов, затопить демонстрацию своими лозунгами, каких не успели вынести 10-го. А ревдемовское советское большинство почти не готовится, многие сторонники их и не вышли 18-го, и даже не выставили лозунга поддержки коалиционного правительства. — Только «Единство» вынесло «доверие ВП», их плакаты порвали. Весь Петроград залит большевицкими: «Долой 10 министров-капиталистов (в счёт входят и Шингарёв, и Керенский, а капиталист там один Терещенко)», «Долой ГД», «Царя в крепость», «Вся власть Советам», — и демонстранты выкрикивают их на Марсовом поле самой головке СРСД, проигравшей столицу. — В тот же день Ленин своему активу: «Власть не передают, её берут с оружием в руках». — В этот же день анархисты атаковали Кресты, освободили своих, захваченных в предыдущих налётах. И из Пересыльной тюрьмы бежало 500 арестантов. — Ночью командующий Округом ген.-майор Половцов тайком от ИК СРСД (не имеет права) вводит вооружённый отряд в дачу Дурново, производит арест полусотни анархистов и уголовников. При том нечаянная смерть урки, напарника матроса Железнякова. — Буря в ИК СРСД: не смели вводить отряд самовольно, взятые имеют право не называть себя, убили революционера! Им демонстрируют порнографическую татуировку убитого.

Наше наступление 11-й и 7-й армии под Злочевом и Бржезанами начато, при изобилии тяжёлых снарядов и артиллерии, ещё невиданной (и последней) в русской армии двухдневной артподготовкой (мастерски спланированной п-ком Киреем). Затем за 18 и 19 июня продвинулись на 2–5 вёрст, взяли 18 тыс. пленных, и остановка. (Немцы предусмотрительно уже подвели сюда 5 дивизий, переброшенных с Запада.) Но разложившиеся в/ч и вовсе в наступление не поведены, а в боях гибнут лучшие ударные отряды и офицерский состав. Распропагандированный большевиками гвардейский Гренадерский полк самовольно снялся с позиций и отошёл в тыл на 20 вёрст.

От первого же дня успеха — победные реляции прессы и всюду подъем духа. Восторженные стихийные всесословные демонстрации 19 июня в Петрограде. Уличные речи Милюкова. «Вечная память» поёт-

ся толпой на коленях у Исаакия. Кадетские митинги: Наша армия возродилась! Революция спасена от анархии! — Церетели на Съезде Советов: Открывается новая эра нашей революции, демократическая армия защитила её. «Известия СРСД»: День великого перелома. — Восторги союзников: «Керенский — самый молодой военный министр в мире». (Очевидно, войдёт в историю «наступление Керенского»?)

После перерыва — ещё два дня тяжёлых боев 11-й армии. 1-й Гвардейский корпус, краса гвардии (но без Преображенского и Семёновского полков), отказывается идти в атаку: «Хватит с нас, пусть теперь другие! Зачем умирать за буржуев?» Митинги в частях, идти ли вперед или на отдых. (Большевицкое: только сами тут можем решить, всеобщим голосованием.) «Австрийские окопы так разрушены, что тут негде ночевать». В тылу арестуют походные кухни частей 1-й линии, чтоб не наступали дальше. — По ЮЗФ приказ: разоружить и расформировать Гренадерский полк за позорное поведение в бою. (Но расформирование ничем не грозит: бездельное содержание в тылу.) — Из Союза офицеров при Ставке группа ведущих обращается в ЦК к-д: Наступление обречено на неудачу, только будут перебиты лучшие части; наступать при нынешнем состоянии армии и страны и при бездействии союзников — стратегическая авантюра.

На Донском Войсковом Круге ген. Каледин избран донским атаманом. — В Храме Христа Спасителя архиепископ Тихон избран московским Митрополитом. — Освящение знамени женского «батальона смерти» на Исаакиевской площади. «Женщины, не подавайте рук изменникам России!» «Ни один народ в мире не доходил до такого позора, чтобы вместо мужчин-дезертиров шли на фронт слабые женщины». — В 1-м пулемётном полку митинги и голосования: отдавать ли на фронт пулемёты. Не отдали. — Слухи в Петрограде: на днях будут свергать ВП. — Циркуляр мин. просвещения: как вводить в России упрощённое правописание. — Ген. Хабалов ходатайствует об освобождении из тюрьмы: он ни в чём не виновен, так как в самый день революции уже был заменён ген. Ивановым.

Минзем Чернов: Пробуждать активность крестьянских масс, народное правотворчество. — В село Туголуково Борисоглебского уезда вернулся делегат с крестьянского съезда: «Всё на нашу руку; в Питере сказали: не упускайте своего счастья». «Так кого потрошить: господ или городских?» «Да кому как сподручней». — Н.Д. Соколов со товарищи при агитации на ЗФ крепко избиты солдатами, читателями «Правды». Негодует вся рев. демократия, за ней вся пресса. — Кронштадтская делегация во главе с Рошалем требует освободить арестованных анархистов и уголовников, иначе «будет поход из Кронштадта на Петроград».

Закрылся затянувшийся 1 Съезд СРСД с его изнурительными социалистическими прениями; оставил после себя ЦИК. — Дебоши на петроградских рынках. — После молебствия в Казанском соборе жен-

ский батальон смерти отправился на фронт. — Митинг в Народном доме увечных воинов, идущих на фронт. — Кронштадтцы требуют от министра Переверзева: Железнякова (бросавшего гранаты в преобразенцев) отпустить на поруки, не то «уже чистим пулемёты!». Переверзев устает.

25 июня в успешное наступление, западнее Станиславова, пошла 8-я армия (Корнилова). Взяла 10 тыс. пленных, 100 орудий, города Галич и Калуш, продвинулась на 30 вёрст. — А 11-я и 7-я армии так и застыли, где начали наступать. Керенский в Ставке выработывает программу против «угрожающих симптомов дальнейшего разложения»: Чистка командного состава, не считаясь с чинами (ещё мало чистили); суровые репрессии за воинские преступления; меры против анархии тыловых частей в Петрограде. (Но кто б это осуществил?..) — Крупное поражение кадетов в Москве, городская дума в руках эсеров. — Развал почтовых сообщений. Церетели: «Почта старой России держалась на потогонной системе, а сейчас недостаточное внимание служащих к работе». Бесчинство почтальонов на петроградском почтамте. — Анархисты вновь устроили вооружённое гнездо в даче Дурново. — В Петрограде силою воинских отрядов переписывают и отнимают продукты на складах и у торговцев; избиения. — В городе грязь, зараза, угроза холеры. — Прапорщик Крыленко зовёт запасной Гренадерский б-н не повиноваться правительству и не идти на фронт.

ВП отменило стольпинский закон о выходе из общины. — На частном совещании ГД Н.Львов: безвластие и бессудность в деревне: «Россия выдана головой удаву Петербурга, крикливой наглости охлоса».

Финский сейм готовит отделение Финляндии от России. — В Киеве 30 июня Керенский, Терещенко и Церетели уступают в переговорах с Грушевским, Винниченко и Петлюрой о широте самостоятельности Украины. — Армия Корнилова остановилась, наступление замерло.

2 июля вечером митинг-концерт 1-го пулемётного полка в Народном доме. Троцкий и Луначарский зовут к свержению ВП, неповиновению военным властям. Полк обещает, что в наступление не пойдёт. Крики: «Убить Керенского!» — Такой же разгар в Гренадерском, Московском, Павловском б-нах и на многих заводах.

Тем же вечером Керенский возвратился из Киева в Петроград. — Министры-кадеты, уже неделями оттесняемые от важных решений группой Керенского и социалистов, в ответ на сепаратное, без них, соглашение с Радой, ночью выходят из правительства. — 3 июля — понедельник, газет нет, столица ещё не знает о кризисе, только головка социалистов совещается: теперь у них в правительстве большинство, коалиция еле держится, но надо её сохранить и как-то подкрепить, хотя зашатался кн. Львов; социалисты не смеют брать всю власть, а большевики именно этого будут требовать. — Днём в Таврическом возбуждение, уже известен кризис ВП. Соединённое заседание бюро ЦИК СРСД

и ИК СКрД, без большевиков; левые эсеры и левые меньшевики (мартовцы) требуют создавать советское правительство. Тут (как и в апрельские дни) на заседание поступают срочные телефонные сообщения из казарм и заводов: кем-то подосланные неизвестные лица всюду требуют немедленно выходить на солдатско-рабочую вооружённую демонстрацию, и она уже начинается.

В доме Кшесинской заседают городская конференция большевиков (без Ленина, он на даче в Мустамьяках), вбегают от 1-го пулемётного полка, ещё вчера разожжённого Троцким, а сегодня получившего распоряжение о высылке завтра на фронт маршевых рот: «Наш полк хотя бы раскассировать! Мы решили выступить и уже разослали делегатов в полки!» — «Военка» (военная организация большевиков, Подвойский) знала о том с утра, ячейки её в каждом батальоне. ЦК и ПК большевиков мнутя: неожиданный момент выступления, но к тому и разжигали солдат весь июнь; наша последняя директива была: готовить силы для скорого общего выступления! Как не поддержать? Это наши лозунги: никакого насилия над солдатами! никакой посылки на фронт! сейчас не поддержим — рискуем потерять солдатскую массу. Послано за Лениным. — Тут же, для страховки, посылаются Сталин на заседание ЦИК—ИК, внеочередное заявление, просит внести в протокол: большевистская партия удерживает солдат и рабочих от выхода. — ЦК большевиков совещается дальше. Требуется расширить лозунги движения: не против посылки пулемётных маршевых рот, а против расформирования провинившихся полков и по поводу кризиса ВП (хороший момент сшибить его). «Военка» посылает агитаторов в казармы, лозунги прежние: «Долой министров-капиталистов! Вся власть Советам!»

К концу дня 1-й пулемётный, возглавленный дезертиром Антоном Семашко, уже движется по улицам, сперва на митинг у Кшесинской; рота пулемётчиков занимает Петропавловскую крепость. Выступают с оружием Гренадерский, Московский, Павловский б-ны, 180-й полк, красная гвардия с Выборгской стороны и Путиловского завода. (Послано двинуть полки из Стрельны и Петергофа, поднять матросов Кронштадта, там собран митинг на Якорной площади; Раскольников применяет обман: рассылает по кораблям на завтра не «желающим», а как всеобщий приказ.) Московцы захватывают и тащат орудия Михайловского училища. — Колонны растекаются по улицам столицы, стрельба в воздух (и в толпу, и друг в друга по ошибке), паника жителей. — Автомобили всюду реквизируются для воинственной гоньбы по февральскому образцу: вооружённые пулемётами (по три и по пять на одном грузовике), винтовки наперевес или на прицел, мечутся по городу. — Беспорядочность движений: где же враг? Случайные аресты. Милиция парализована, дезертирство милиционеров. — Вечером срочный отъезд Керенского с Варшавского вокзала, автомобили повстанцев с пулемётами не успевают его захватить. («Первая пуля Керенскому!»)

Остальные министры перебрались в штаб Округа под охрану (Некрасов вообще исчез). Но Округ не имеет военной силы даже для собственной защиты: невышедшие полки как бы нейтральны. — ЦК к-д за-таённо собрался к ночи на совещание на частной квартире на Фурштатской. (Большевики? их завтра уже и не будет, они могут интересоваться только юмористов; но народ! — оказался варвар, податливое дитя, и вот мы распадается от революции; а всё виноват царь: почему он не делал уступок обществу раньше?)

Долгий вечер в Таврическом заседает рабочая секция СРСД, впервые при большинстве большевиков, принята их резолюция: Контрольная революция надвигается справа; ввиду кризиса власти настаивать, чтобы Съезд Советов взял всю власть. — Блейхман: Место ВП — в Петропавловской крепости! Троцкий перед дворцом к пулемётчикам: Теперь власть должна перейти к Советам! — К полуночи Таврический густо окружён вооружёнными толпами. «Надо арестовать Исполнительный Комитет!» Речи перед толпой Троцкого, Зиновьева, Нахамкиса-Стеклова. «Петроградский гарнизон первый начал революцию и первый её закончит». — Руководящая советская группа в затруднении: действительно выступить против предприятия большевиков невозможно психологически и нецелесообразно политически. С полуночи в Таврическом соединённое заседание ЦИК СРСД и ИК СКРД: Пытаются с оружием в руках навязать свою волю демократии; это предательство революционной армии и измена делу революции! — На заседании Троцкий дерзит, что будет апеллировать к Интернационалу. — Наконец на защиту Таврического прибыл бронедивизион.

Всю ночь на 4 июля на петроградских улицах движение автомобилей и вооружённых групп, безцельная стрельба, есть жертвы; и грабежи магазинов. — У Кшесинской ночное совещание ЦК, ПК большевиков с участием Троцкого: останавливать или развивать? Вся стратегия давно устала на переворот, а тут — и правительственный кризис, будет ли лучший момент? Не прямо свергать ВП, но «убедить ЦИК взять власть». (Как поведёт себя провинция? — но Петроград до сих пор успешно вёл всё.) «Рекомендуется немедленное выступление рабочих и солдат, чтобы выявить свою волю». Воззвание: ВП распалось, нужна новая власть. Вся власть Всероссийскому Совету! — Ночью Зиновьев по телефону вызывает на завтра кронштадтцев. — Ленин, приехав утром, всё одобрил.

Ещё ночью, предупредить переброску мятежных матросов в Петроград, морское министерство шлёт весьма секретную телеграмму Командующему БФ адм. Вердеревскому: чтобы ни один корабль не мог идти в Кронштадт, не останавливаясь перед потоплением такового подводной лодкой. — Вердеревский оглашает эту т-му на открытом заседании Центробалта. Взрыв матросского гнева. — Но из Кронштадта, где боевых кораблей нет, утром 4 июля посылаются на подсобных су-

дах около 7 тысяч вооружённых матросов. Они высаживаются у Николаевского моста в Петрограде и колонной идут к дому Кшесинской. — Митинг. Ленин с балкона: против ВП! против социал-предателей в СРСД! — но не указывает конкретных действий. Направляет матросов к Таврическому дворцу. Идут, не поняв ясно, что делать. — И все вчерашние столичные полки и заводы; прибывают полки из Петергофа, Ораниенбаума, Красного Села, всех — к Таврическому! «Долой министров-капиталистов!» «Вся власть Советам!» Но нет приказа, кого арестовывать, и это расслабляет манифестантов. — Расчёты Ленина. «Вся власть Советам», но не этому Совету, *этому* только вначале взять власть и прикрыть нас, на них не ополчится вся ДА и провинция, как на нас бы. «Вся власть Советам», но *этим* не дать и говорить.

В осаждённом Таврическом, почти без охраны, непрерывное заседание ЦИК СРСД и ИК СКРД. От разозлённой толпы входят делегаты «54 заводов», полков: Брать власть Совету! немедленный рабочий контроль над заводами! немедленная передача земли крестьянам! «Уничтожить буржуазию как насекомых!» — Вышедший к толпе министр Чернов сильно помят матросами и взят в заложники. Троцкий речью к матросам («Вы — краса и гордость русской революции!») освобождает его. — Толпа требует Церетели: «Если не выйдет, рабочие вытащат его силой». — А он делает доклад в зале: Санкционировать ВП, каким оно осталось; недели через две созвать полный ЦИК в спокойной обстановке в Москве. Дан: Мы власти взять не можем в такой обстановке насилия и пыток; пусть берут те, которые настаивают; большевики ответственны за кровь на улицах Петрограда. Мартов: Власть Совету! надо решаться и двигать революцию дальше! перенос заседаний в Москву? — значит сделать её Версалием против петроградской Коммуны! Луначарский: Пусть мы захлебнёмся, но будем апеллировать к Истории!

Ленин колеблется: А может, момент и пришёл? («Питер был моментами в наших руках».) Арестовать ЦИК? брать власть сейчас? создать правительство большевиков, межрайонцев, мартовцев? И декретами о немедленном мире, земле, заводах привлечь страну? Но: нет планомерности действий, жёсткой организации; даже Петроград сейчас неуправляем. — На улицах повторяется Февраль, но толпа не в восторге, а в ужасе. Стрельба «ниоткуда», стрельба в воздух и по людям. Кронштадтцы на Литейном попали под панику, залегали на мостовой, разбежались по подворотням. — А к Таврическому снование ошетиленных грузовиков, солдаты с винтовками наперевес. — Большевицкие пулемёты на перекрестках. — Столкновение казаков с мятежными солдатами, стычки и перестрелки в разных местах, отряды не всегда отличают, кто за кого, несколько сот пострадавших за два дня, убитые лошади. — Обыски домов с грабежом и погромы магазинов. — В эти же часы ещё побег уголовников из Крестов. — Остатки ВП в безнадёжности

в штабе ПВО, еле охраняемом; только с разрешения СРСД удалось вызвать на помощь войска с фронта, на завтра. Уехавший Керенский не отвечает на телеграфные вызовы вернуться в столицу.

Минюст Переверзев, не сумев получить на то согласия министров, собственным решением собирает делегатов в/ч, не участвующих в мятеже, и оглашает им накопившиеся в контрразведке данные о государственной измене Ленина, большевики получают крупные суммы из тёмных германских источников. Мгновенный поворот в настроениях в/ч, ропот, готовы давить большевицкое восстание. — У Командующего ПВО ген.-майора Половцова набираются дееспособные отряды казаков, преображенцев, юнкеров-владимирцев и других. Он стягивает их на Дворцовую площадь к штабу, отключает телефоны особняка Кшесинской и дачи Дурново, гвардейские конно-артиллеристы дают несколько выстрелов, один — в сторону дома Кшесинской, густо защищенного. — Казаки гонят матросов по Марсову полю. — Возникает хаотическая стрельба и паника также и в неуправляемой толпе у Таврического. Затем сильнейший ливень окончательно освобождает дворец от окружения. Он же сильно разрежает движение на всех улицах. — Кронштадтцы, под вождием Рошаля и Раскольникова, укрылись в Петропавловскую крепость, в Морской корпус, в казармы.

Терещенко и воротившийся Некрасов бурно бранят Переверзева за самоуправное разглашение о Ленине, Переверзев вынуждается в отставку. — Зиновьев в Таврическом: «Товарищ Церетели, защитите нас от клеветы!» А Сталин просит о том же Чхеидзе. — Церетели вызван на заседание ВП в штаб ВО и от имени СРСД соглашается, что надо воздержаться от публикации этих обвинений. — Оказавшиеся в штабе ВО втородумец Алексинский и народоволец-шлиссельбуржец Панкратов подписывают сообщение о германских связях Ленина как их частное письмо в газеты. — Поздно вечером ЦИК останавливает публикацию этого письма в завтрашних газетах: не позволить дискредитировать целую политическую партию! Гасится и судебное расследование: обвинения будут рассмотрены своею социалистической комиссией, а клеветники — наказаны. — Все газеты подчиняются, и публикует только малотиражное «Живое слово».

После ливня — ранняя тёмная, совсем не «белая» ночь, и городской мятеж рассеялся. — Ночью приходят в Таврический с поддержкой: преображенцы, измайловцы, семёновцы. — Отряд юнкеров и солдат разоружил большевицкий караул у «Правды», занял типографию. — Ночное решение ЦК большевиков: отбой! на этом прекратить вооружённую демонстрацию. (Прошло совсем рядом: как легко, но и нелегко взять власть; экспромтная беспорядочность, не было ясного плана восстания, не захватывались ключевые пункты, не производились планомерные аресты.) — 5 июля утром Ленин Троцкому: «Теперь они нас всех перестреляют». Ленин и Зиновьев скрываются прочь.

С утра 5 июля командование ВО овладело общим положением в Петрограде, ещё до прибытия подкреплений с фронта. — Но волнение докатилось до Киева: украинский полк им. гетмана Полуботко (из дезертиров) выступил для захвата власти в городе, захватил крепость, штаб Округа. (Однако сорвалось.) — В Нижнем Новгороде бунт гарнизона, не желающего идти на фронт. Гибель юнкеров от солдатской толпы. — Раскольников шлёт требование кронштадтскому совету: выслать в Петроград на поддержку несколько орудий с комплектом снарядов. — Из Гельсингфорса выслан миноносец в Петроград с требованием к ЦИК взять всю власть в руки.

Между тем тяжёлое решение ЦИК: как ни свободен наш строй, а не отказаться полностью от репрессий. В согласии с ВП: придется расформировать в/ч, выступавшие с оружием. Но: прекратить аресты лиц, заподозренных в большевизме, и не заниматься сплошным разоружением населения (весь день в штаб Округа доставляют задержанных солдат, вооружённых рабочих); обыски с поиском оружия лишь по особому постановлению в каждом случае. — Переверзев выставлен из правительства. — Особняк Кшесинской в строгой охране и набит матросами. — От 1-го пулемётного нет сопротивления, прислали делегацию в ЦИК: признают себя виновными. — В доме Кшесинской совещание ЦК, военки: просить оставить кронштадтцев в Петрограде и избавить их от унижительного разоружения. — К большевикам делегация ЦИК; Либер: не будет репрессий против большевиков, но увести матросов в Кронштадт и снять пулемёты с Петропавловской крепости. — После этого Либер и Каменев совместно отправились в штаб Округа с условиями кронштадтцев, но там арестованы охраной (Либера приняли за Зиновьева). Затем освобождены командованием, Каменев вывезен с чёрного хода на автомобиле, чтобы спасти его от солдатского гнева.

Арест ленинских финансовых пособников: Суменсон (получила из-за границы четверть миллиона рублей) и Козловского. — Воззвание ЦИК СРСД и ИК СКРД: Революция была на краю гибели. Не верьте слухам о сотрудничестве большевиков с германским правительством; исключительные меры не могут применяться к целым партиям; за анархо-большевиками стояли провокаторы-черносотенцы, контрреволюционеры. — Чернов: «Никто и никогда больше не посмеет выступить против революционной демократии!» Освобождает арестованного Троцкого, тот скрывается. — В ИК СРСД центр информации в руках Ольги Каменевой. Луначарский и Гольдендах-Рязанов: закрывать буржуазные газеты и ввести предварительную цензуру. — В Петропавловской крепости переговоры военных властей с матросами: освободить крепость и сдать оружие, тогда можно уехать в Кронштадт. После голосования матросы начинают сдавать оружие. — В Неву прибыл миноносец из Гель-

сингфорса, матросов с него сажают в Кресты. — С опозданием прибывают в Петроград самокатчики и гусары с СФ. — К ночи особняк Кшесинской пустеет от защитников и жителей. — В эту ночь депутаты в/ч в солдатском клубе преображенцев: Закрыть «Правду», арестовать вдохновителей мятежа, разоружить всю красную гвардию! — Под утро, с большими предосторожностями, военной операцией войска занимают опустевший дом Кшесинской. Захвачена часть документов ЦК, ПК и военки. — 6 июля выходит сокращённый «Листок Правды»: Рабочие! Солдаты! Вы сказали правдям, каковы ваши цели; преступные силы омрачили ваше выступление; демонстрация закончилась — начинаются снова дни упорной агитации, просвещения.

Решение ВП о расформировании полков 1-го пулемётного, 176-го, Гренадерского б-на, гарнизона Петропавловской крепости за участие в вооружённом мятеже. — На Дворцовой площади 1-й пул. полк сдаёт пулемёты (часть утаена, часть распродана). — Воспрещена посылка в ДА «Правды» и её вариантов. — Подписаны ордера на арест Ленина, Зиновьева, Каменева, Троцкого, Нахамкиса (все они скрылись). ВП отменяет два последних. — Мартов, Гиммер протестуют против ордера на арест Ленина. — Рошаль переодевается, скрывается; Раскольников ускользает в Кронштадт. — Упразднена комиссия ЦИК по расследованию дела Ленина, создана при министерстве юстиции. — Буржуазные газеты в высказываниях о большевиках осторожны, боятся погромы своих редакций и типографий. Прогрессивные общественные круги опасаются теперь обратного отката: масса может перекинуться к притаившимся черносотенцам. — Большевицкая партия остаётся нетронутой в составе Советов. — Радек, Ганецкий, Воровский из Стокгольма разъясняют Европе июльские события в Петрограде: Это был заговор помещиков-капиталистов и мелкой буржуазии против большевиков, потопить в крови массовое движение.

Финский сейм постановил немедленную самостоятельность Финляндии, без согласия ВП и не дожидаясь УС. — В этот день: прорыв германцев под Злочевом (нашей 11-й армии), ещё не известный в столице. — К вечеру в Петроград вернулся Керенский; заказал себе триумфальную встречу: войска шпалерами от вокзала до ВП. (ВП смущённо отменяет.) Но на вокзале по неумолимому желанию военного министра его должны встретить именно те части, которые разгромили большевиков (конногвардейские артиллеристы из Павловска вызваны притаться за 30 вёрст). — Громовые приказы Керенского к БФ и мятежным частям. — Керенский вместе с Терещенкой и Некрасовым берёт на себя ответственность за запрет разглашения разоблачительных документов о большевиках. — Вечером частные совещания головки ИК ПСРСД: как быстрее осуществить чаянья масс о мире и земле, чтоб они не шли за большевиками? Сниззошёл прийти и Керенский, радостно

возбуждён: этот кризис вызовет благодетельный перелом, облегчит создание твёрдой власти! Ревдемы морщатся: «твёрдая власть» нужна против контрреволюции, пресечь деятельность реакционных сил, — но сама звучит контрреволюционно.

Отчаясь в компромиссах с ревдемами, 7 июля ушёл в отставку кн. Львов. Керенский стал премьером неполного временного состава ВП. Церетели — министр внутренних дел. (Вся власть фактически уже у социалистов, власть уже стала советская, — но они сами этого не хотят, хоть кого-нибудь набрать из цензовых!) — Командующий МВО п-к Верховский подавляет нижегородский гарнизонный бунт.

Полки 11-й армии митингуют, воевать ли; уходят с позиций и бегут, бросая оружие. Немцы легко продвигаются в направлении на Тернополь. — Громовое известие об этом в столице, наше прославленное июньское наступление обернулось позором. Большевики-мартовцы: Не надо было начинать того наступления, дразнить немцев. Плеханов: События на фронте и в Петрограде связаны единым германским планом. — В ночь на 8 июля Главнокомандующим ЮЗФ назначен ген. Корнилов.

Несмотря на превосходство в численности и в артиллерии — безостановочное бегство тысяч солдат 11-й армии, массовая сдача в плен, брошены сотни орудий, склады снарядов. Тщетная гибель самоотверженных, спасаются трусы. Телеграмма армейского комитета: Неизмеримое бедствие, угрожающее гибелью революционной России; о власти и повиновении нет речи, на уговоры отвечают расстрелом; на протяжении сотни вёрст в тыл тянутся вереницы беглецов с ружьями и без них. — Сильно обнажаются соседние 7-я и 8-я армии, они вынуждены также начать отход. — Беснование перепившихся солдат в оставляемом Калуше, погром жителей, насилия и убийства. — Воинственная черноморская делегация арестована солдатами на фронте. — Гарнизонные бунты в Липецке, Ельце, Владимире (не хотят идти на фронт). — Забастовка ростовских милиционеров. Ответ комиссариата: бастуйте, без вас будет больше порядка, против вас нужна контрмилиция.

Декларация ВП 8 июля: В этот грозный момент могут выступить притаившиеся силы контрреволюции; не останавливаться перед самыми решительными мерами власти; контроль над промышленностью; в основу земельной реформы переход земли в руки трудящихся; выборы в УС в назначенное 17 сентября; конференция с союзниками для согласования их действий с принципами русской революции. — Прения в ЦИКе. Дан: Вырвать штык из рук военной диктатуры! Войтинский: Опасность справа!.. Луначарский: Объединимся для борьбы с контрреволюцией! — Первая декларация левых эсеров (зарождение партии). — ЦИК объявил нынешнее ВП «правительством спасения революции». — Керенский: «Скуём единство России кровью и железом!» Остановил штаб Округа: прекратить отбирать оружие с заводов. (С Выборгской

стороны и не смели брать; взяли оружие с Сестрорецкого завода, но не всё; на заводах хорошее оружие спрятано, сдают берданки и хлам.) — Письмо Ленина из подполья в «Новую жизнь»: Никакой Суменсон в глаза не видел, ни копейки денег на партию не получали, это юридическое убийство из-за угла, хотят сделать канун созыва УС началом дрейфусиады. — Контрразведка ПВО нашла и арестовала Нахамкиса в Мустамяках. Керенский и Чхеидзе приказывают освободить его. Нахамкис отрекается от принадлежности к большевикам. — Протест Троцкого (с необъявленной квартиры): почему приказ об аресте Ленина, Зиновьева, Каменева не распространен на него? — Ленин с квартиры Аллилуева перебирается в Сестрорецк. — Ген.-майор Половцов, подавивший большевицкое восстание, уволен от командования ПВО.

Оборонявшие Тернополь гвардейские полки (с новополученными ротами из Петрограда) Измайловский, Егерский, Московский, Финляндский к 11 июля оставили город без боя. — Боевое крещение женского батальона, заменившего беглую часть, 30 женщин убитых, 70 раненых. — Преображенский и Семёновский полки твёрдо ведут свой последний в истории бой. — Безчинства дезертиров в посёлках и на ж-д станциях. Телеграмма Корнилова: «Армия обезумевших тёмных людей, не ограждаемых властью от развращения, бежит. Позор и срам, какого русская армия не знала за всё своё существование. Отечество гибнет». Требуется ввести на фронте смертную казнь и спасти невинные жизни ценой жизни предателей, иначе сложит с себя Главнокомандование. (Никогда ни один генерал ещё не разговаривал так с правительством.) Комиссар ЮЗФ Савинков присоединился. — Немцы взяли Станиславов. Весь наш ЮЗФ, 7-я и 8-я армии, вынуждены крупно отходить, покидая Галицию и Буковину, делая затем неизбежным отступление и в Румынии. Отдали полмиллиона десятин зерновых полей с урожаем 10 млн пудов. — Крах попытки нашего наступления на ЗФ под Сморгонью, при полном перевесе наших сил. Полки и после вдохновляющих митингов отказываются идти вперёд; после месяцев бездеятельности пугаются и собственной артиллерии: взятые позиции тут же сдали; массовый отход, толпами.

Провисшее ВП, без половины членов, ищет пополнения. — Кадеты, обвинённые социалистической печатью, что это они, стремясь к контрреволюции, развалили власть, принуждены вести переговоры о возврате в ВП; но снова засесть там с пораженцем и, может быть, немецким агентом Черновым? — Кронштадт вынужден выдать прокурору Раскольникова и других зачинщиков мятежа. — Кронштадтский «Голос Правды» требует повторения 3 июля. — ВП утверждает введение смертной казни на фронте. — И вверить земельным комитетам распоряжение землями.

ВП готовится переехать в Зимний дворец. (В Петрограде слух, что Керенский, разведясь с женой, намерен жениться на одной из царских

дочерей.) — Ревнуня к возможной государственной роли адм. Колчака, Керенский охотно отпускает его ехать в США в командировку. (Колчака приглашают участвовать в новом дарданелльском десанте американцев.) — Прощение ген. Хабалова из тюрьмы: если он ещё числится на службе, выплачивать ему генеральское жалованье, а если уволен в запас, то пенсию.

УЗЕЛ VI — АВГУСТ СЕМНАДЦАТОГО

(10 АВГУСТА — 1 СЕНТЯБРЯ)

Ген. Гурко в Петропавловской крепости (арестован за мартовское сочувственное письмо царю). — Большевики после VI съезда. — Ленин и Зиновьев в Разливе. (У Ленина новая теория: С Советами всё конечно, впредь опора на фабзавкомы.) — После освобождения Каменева и Луначарского следствие по большевикам вовсе заминается. — Потуги Керенского на громы: виновным уезжать из России! (Надежда, что Ленин уедет.)

Левая печать травит Верховного Главнокомандующего Корнилова за строгие меры в Армии. Слухи о близком уходе его с Верховного. — Корнилов, разминувшись с останавливающей т-мой Керенского, уже второй раз в августе приезжает в Петроград настаивать на своём проекте укрепления тыла: воинская дисциплина, милитаризация железных дорог и оборонных заводов. (За месяц твёрдых мер в Армии она уже сильно подтянулась: есть-таки власть! Теперь спасти тыл.) — Керенский который раз обещает и вновь не указывает сроков. Без уверенности и без силы всё коалиционное ВП, составленное 24 июля. Керенский и хочет укрепить Армию, и боится, что тогда она станет «орудием контрреволюции» и весьма усилится Корнилов, Керенский не хочет отдать ему главенства. Согласен на перевод 3-го конного корпуса с ЮЗФ под Петроград, якобы для СФ, на самом деле — для укрепления власти в столице. — Управляющий военным министерством Савинков (взятый на этот пост Керенским вопреки эсерам), соавтор корниловского проекта, взбешен уклончивостью Керенского и подаёт в отставку. Керенский просит его пока остаться. — Корнилов уезжает в Ставку, не получив от Керенского приглашения выступить на Московском Совещании, куда спешит Керенский. (Теперь при каждой его отлучке из Зимнего — над дворцом красный флаг опускается, как в былое время императорский.)

ЦИК СРСД вырабатывает, как вести себя на МС. Не допустить, чтобы тёмные силы воспользовались им и обвинили бы рев. демократию в развале армии и страны. Большевики вовсе отрицают МС, не пойдут туда. Их поддерживают левые эсеры и левые меньшевики. (Внутри рев. демократии от неё откалывается «крайняя демократия».)

В Москве в Университете закончилось предварительное внепартийное Собрание государственно мыслящих деятелей. Во всей стране нет власти, суда и закона, страна приближается к гибели. Е. Трубецкой: Анархия под предлогом демократизации, отождествление свободы с дикой волей; безконтрольная захватная оргия отдельных групп. Ив. Ильин: У Ленина есть в России преемник, это Виктор Чернов, земельным разделом он губит фронт. Рябушинский: Воцарилась шайка политических шарлатанов. Ген. Алексеев: Союз офицеров принял обет отдать свои силы и жизнь на возрождение глубоко падшей армии; изгнать из армии политику, уничтожить комитеты и комиссаров, возратить офицеру дисциплинарную власть.

Все социалистические газеты и «Биржевые ведомости»: Грозная опасность, хотят вернуть Николая. «Новая жизнь»: Враги народа хотят покончить с революцией! — Петроградская конференция меньшевиков приняла большевицкую резолюцию Мартова: Борьба против правительства Керенского. — На Малой Охте взрывы и пожар четырёх снарядных заводов, над Петроградом на вёрсты тучи дыма и серного газа. — Центробалт требует от ВП освобождения адм. Вердеревского.

Московское Государственное Собрание — что оно и зачем? Расчёт Керенского получить для ВП видимость общенациональной поддержки. — 12 августа, в день открытия МС, заметная большевицкая забастовка в Москве (искали спокойный город для Собрания!), не ходят трамваи, вечером нет освещения. — В Большом театре. Нервная недельная речь Керенского (за его плечами — два замерших адъютанта в морской форме), от крика до шёпота, угрозы неясно кому: Попытка поднять руку на власть народную будет прекращена железом и кровью; только через наши жизни можно разорвать тело великой демократии русской; надежды июньского наступления были растоптаны, проклятое наследие старой власти, развал армии — от того же наследства; прошёл период русской революции по преимуществу разрушительный; но болезнь государства случайна, и, если нужно будет для его спасения — мы душу свою уьём, но государство спасём. А если мы будем захлестнуты волной распада, то, прежде чем погибнуть, — скажем об этом стране; вы хотите, чтоб я запер своё сердце и бросил ключ? — хорошо, я так и сделаю. — Другие министры. Некрасов: Новый революционный строй обходится казначейству дороже, чем старый; четырёхкратный выпуск бумажных денег.

13-го МС заседает по группам и направлениям (тем преувеличилось значение правого крыла). — Опубликован манифест VI съезда большевиков: Вожди Советов запугались в соглашательстве с контрреволюцией; июльские дни открыли новую страницу; работают подземные силы истории, по всему земному шару залетали уже буревестники; в эту схватку наша партия идёт с развёрнутыми знамёнами; копите си-

лы, стройтесь в колонны; союз рабочих и деревенской бедноты. (Уже нет: «Вся власть Советам!».) — Запрет всяких митингов в ДА (Филоненко, комиссар при Верховном). «Новая жизнь»: На шею демократической армии накидывают петлю. — В Тобольске царская семья после недели жизни на пароходе переезжает в заброшенный губернаторский дом. — Триумфальная встреча Корнилова в Москве. Посещение Иверской часовни.

14-го Корнилов (вопреки переданному «совету» Керенского) выступает на МС. Солдаты остаются угрюмо сидеть во время оваций зала Верховному Главнокомандующему. Через неприязненные возгласы левой стороны речь Корнилова: Люди, чуждые духу и пониманию Армии, превратили ее в обезумевшую толпу, эта толпа разгромит всю страну; отстранить комитеты от оперативных вопросов и от права выбирать начальников; дисциплинарные меры фронта должны быть перенесены в тыл армии; на железных дорогах развал, к октябрю не смогут снабжать фронт, ЮЗФ на грани голода (среди лета едят складские сухари); производство орудий и снарядов упало на 60%, самолетов — на 80%, наш воздушный флот вымрет к весне. — Левая часть партера враждебна. Корнилов тут же покидает зал. (Уезжает из Москвы, не повидавшись с Керенским. Его настроение: в крайнем случае ударить по большевикам и Советам и без согласия Керенского?)

Ещё два дня заседаний МС. Не только нет единства, но рознь и раскол, реакция двух половин зала резче самих речей; солдат на однорукого офицера: «Оторвать бы ему и вторую руку!» — Алексинский: Рана прорыва на ЮЗФ. Может быть, близок момент, когда мы будем плакать над трупом России. — Родичев: Митинги расшатали армию; настал 12-й час. — Старообрядец: Интернационализм означает нелюбовь к родине, равнодушие к её судьбе, оправдание трусости и предательства. — Ген. Каледин (от Дона и всех казачьих войск): Положить предел расхищению государственной власти комитетами и Советами; сохранить комитеты не выше полковых; к декларации прав солдата надо добавить декларацию обязанностей солдата. (Из зала: «Контрреволюционер!») Казачество обвинено в контрреволюционности после того, как казачьи полки спасли революционное правительство 3-4 июля. Керенский: не подобает в настоящем собрании кому бы то ни было обращаться с требованиями к верховной власти правительства. — Чхеидзе: Рев. демократия не остановится ни перед какими жертвами, чтобы спасти страну и революцию; она не стремилась к власти, анархические вспышки есть наследие старого режима; только благодаря революционным организациям сохранился творческий дух революции; пресекать поползновения контрреволюционных заговорщиков. — Гучков: Политика демократии сектантская и фанатическая; щемящая боль предсмертной тоски. — Маклаков: В правительство приглашены вчерашние пораженцы (о Чернове), но Циммервальд не спасёт нас от войны. Керенский: Не

злоупотреблять правом свободного высказывания своего мнения до конца, это волнует собрание. (Левая часть партера ведёт себя по знакам от ЦИК, из 1-го ряда.) — Церетели: Советы спасли от анархии; мы любим страну такую, чтоб она несла факел свободы; только революция может спасти страну, их нельзя разделить. — Родзянко: Проклятие грядущих поколений нас заклеяет. (Керенский не даёт ему прочесть резолюцию ГД.) — Милюков: Революция обязана победой не стихии, а ГД. (Смех слева.) За ошибки предыдущих месяцев вина должна быть разложена равномерно; циммервальдская задача обострения классовой розни соединяет умеренных социалистов с большевиками, и вот нет до сих пор осуждения большевиков. — Церетели: Да, в борьбе с левой опасностью революция была неопытна; люди талантов и знаний не у рев. демократии; но только социалисты укрепили армию так, что она пошла в наступление. — Ж-д инженер: Наш транспорт к ноябрю остановится; революцию поняли как «брать, хватать и рвать». — Проф. Grimm: ВП поддерживает классовые и групповые лозунги, забывается идея отечества. — Ген. Алексеев: От комитетов больше вреда, чем пользы, пожертвуйте ими. — Плеханов: Революция никогда не сделает такой низости, как заключить сепаратный мир. Развитие производительных сил невозможно и без рабочего класса, и без торгово-промышленного; не придём к соглашению — будет общая гибель. — Бубликов и Церетели, как символ согласия, демонстративно жмут друг другу руки. — Рябушинский: Торгово-промышленный класс единодушно приветствует свержение презренной царской власти; но не видим творчества новой власти, сейчас Россией управляет несбыточная мечта и демагогия. — Заключительная речь Керенского: Нам говорят, что мы мираж и тень, но мы существуем только 6 месяцев; Столыпин подавлял железом и кровью народную волю, а мы её выражаем; будь проклят тот, кто скажет, чтобы мы прекратили бой сейчас. (Сорвался на трагический шёпот: вырвет цветы из сердца, превратит его в камень.) — МС не привело к единству, не умиротворило, а усилило атмосферу подозрительности и розни. — «Рабочая газета», «Известия»: Ряды буржуазии должны дрогнуть после МС. Победа рев. демократии!

15-го же августа колокольным благовестом по Москве, крестными ходами из двухсот церквей на Красную площадь и народным там молебствием открылся Всероссийский Церковный Собор, после перерыва в два с половиной столетия. — В эти же дни серия взрывов и грандиозный трехдневный пожар в Казани; население и гарнизон бежали из города и пригородов, потом солдаты возвратились и грабили дома; сгорели пороховые заводы, склады, погибло до миллиона снарядов, 12 тысяч пулемётов. — В Петрограде сгорел от поджога снарядный и тормозной завод Вестингауза (четвёртый подряд пожар на оборонном заводе). — Уже неделю идёт открытый судебный процесс над Сухомлиновым, никому теперь не интересный, и доказательств измены

нет. — При гибели миноносца «Лейтенант Бураков» дежурная рота экипажа в Або отказалась подняться по тревоге и спасти утопающих, ибо команда тревоги была подана не ротным комитетом, а офицерами. — Союз ж-д служащих угрожает всеобщей на днях забастовкой всех ж-д России; их комитеты голосованием заменяют административных лиц. Угрожает забастовкой и союз паровозных бригад.

Тревога за озимые: не будут сеять. (Весной ВП обещало охрану посевов, но не имело силы и власти дать её.) — Съезд Крестьянского Союза в Москве в соревновании с СКрД: кто истинно имеет право представлять крестьянство? — «Дело народа» (черновское): Революция не может и не должна себя ограничивать.

Обстановка муниципальных выборов по стране, большевики срывают избирательные собрания кадетов, травят их как контрреволюционеров, царистов, черносотенцев, насилия над кадетами до убийств (Егорьевск). Июльское поражение большевиков сказалось только в столицах, а в провинции — разгул их. — В малых поселениях люди измучились без власти, на ночь кладут под подушку топоры, везде грабежи и убийства. — Милюков: Плачевные результаты выборов в городские думы, оказалось, что избирателей легко обморочить. (Прообраз выборов в УС...) — Центробалт добился от ВП освобождения адм. Вердеревского. — Раскольников из петроградской тюрьмы печатает в кронштадтской газете: «Революция не умерла!» Большевики удвоились и лидируют в кронштадтском Совете. Кронштадтцы требуют ареста Родзянки и Милюкова. — Архитекторы взывают, чтобы петроградский СРСД не погубил своим пребыванием Смольный Кваренги и Растрелли. — Петроградский почтамт объявил, что письма более не будут разноситься по квартирам, но сваливаться в дворничих.

Крупно отступаем на Румынском фронте, бегут полки, бросаем артиллерию. Угроза Бессарабии. — Корнилов т-мой из Ставки в ВП в который раз настаивает на безотлагательности предложенных им мер укрепления тыла. Ответ: законопроекты вносятся на усмотрение ВП. (Керенский не отклоняет их и не утверждает. А Савинкова удержал во главе военного министерства.) — Савинков корреспондентам: между Керенским и Корниловым нет принципиальных разногласий. — ЦК эсеров вызывает Савинкова для объяснений о проекте Корнилова, Савинков не идёт (презирает советских и не считает нужным тратить время на их уговоры).

На ПСРСД принята (напором большевиков и эсеров) резолюция об отмене смертной казни на фронте (хотя она повсюду неуклонно и так заменяется смягчением): «Это — мера устрашения солдатских масс в целях порабощения их командным составом»; дезорганизация армии может быть остановлена последовательно проводимой демократизацией. Против резолюции нашлось всего 4 голоса вождей: Церетели, Чхеидзе, Либер и Дан, руководство Советом ушло от них. Церетели: это

всё равно что требовать свержения правительства. Большевики: Да мы и позовём полки на улицу, свергать! — Там же принята резолюция Луначарского: Над обвиняемыми большевиками учредить гласную следственную комиссию с участием членов ПСРСД. — Из тюрьмы освобождена под домашний арест Коллонтай. — ПСРСД протестует против освобождения Вырубовой (ей не найдено обвинения).

Сокращение пассажирских поездов для экономии топлива. — Самое горячее время для заготовки зерна, а по ж-д и рекам оно не идёт. — Захваты сенокосов, хлеба в снопах, помехи с/х работам, разгром садов, вырубка старинных парков. В Ясной Поляне крестьяне разорили фруктовый сад и пчельник. — В Петрограде, Москве, Харькове, Донбассе угрожающая нехватка продовольствия, местами запасы лишь на 2-3 дня. — В Москве полфунта хлеба на человека, город в грязи, появился тиф. — Бюро ЦИК уговорило комитет паровозных бригад временно отложить забастовку. — Большой пожар на фабрике Прохоровской мануфактуры. — В Риге столкновение батальона смерти и латышских стрелков, со стрельбой и убитыми. (Большевики не давали противникам вести избирательную кампанию.) — Московский СРД и ССД: за свободу большевиков агитировать в казармах. — ВП готовит ликвидацию Земгора: мешает правительственным учреждениям. — Шингарёв: За 5 месяцев революция совершила много роковых и страшных ошибок. — Лига Русской Культуры (Струве): Оргия национально-государственного отступничества под наименованием революции; воля нации в параличе, Россия утратила память о себе самой.

Германцы форсировали Западную Двину под Икскюлем (обход Риги). Наши войска отдали сильно укрепленные позиции, державшиеся два года, бросают артиллерию, немало сдаются в плен, два полка бежали. Безалаберность и в управлении, нет четкой связи между частями, офицерство подорвано. — Положение ВП, несколько не укрепившееся от МС, теперь ещё более шатко. — После месячных колебаний Керенский соглашается на условия Корнилова об укреплении тыла; поручает Савинкову детальные переговоры с Верховным, просить конный корпус для защиты ВП в Петрограде; однако: из Ставки убрать Главный комитет Союза офицеров, подозреваемый в замыслах против Совета, а может быть и против ВП; по возможности арестовать главарей.

На выборах в петроградскую г.д. большевики получают треть мест, эсеры ещё больше. (Гиммер: При повороте революции г.д. может стать *Коммуной* столицы.) — На объединительном съезде с-д (без большевиков) : Не помешает ли оборона страны скорейшему достижению всеобщего мира? Церетели снова качнулся от государственной позиции к циммервальдской. Рожков: Должна быть установлена диктатура рев. демократии, опирающаяся на террор!

Окружаемая немцами Рига оставлена нами 20 августа, при нашем численном перевесе. Безпорядочные массы наших солдат неудер-

жимо устремились по псковскому шоссе, дезорганизованный отход. Немцы вступили в Ригу в ночь на 21-е. (Впечатление на Западе: Банкротство великого народа, предают страну, не имеют понятия об обязанностях истинной демократии; это удар по демократии во всём мире. Союзники потеряли последнюю надежду на помощь России в войне.)

ПСРСД. Володарский (от большевиков) клеймит Церетели за рукопожатие с Бубликовым на МС: капитуляция перед буржуазией. — Социалистические газеты защищают солдат «от травли» за поражение: а не сдана ли Рига предательством Ставки? (Большевики: сдана нарочно, как рассадник большевизма.) — По личному распоряжению Керенского взяты под домашний арест в. кн. Михаил Александрович в Гатчине и в. кн. Павел Александрович в Царском Селе. «Заговор против республики»? «Социал-демократ»: Пара безмозглых кукол из семейки Романовых. — Объявлена высылка ген. Гурко за пределы России: «за высказывание симпатии к бывшему императору и прежнему образу правления». — Ленин из Разлива скрывается дальше в Финляндию. — Под следствием Чрезвычайной Следственной Комиссии умер бывший премьер Штюрмер.

Приказ Керенского: Цвет армии — офицерство, перенесло оскорбления, доказало верность и не выставляет своих нужд. — Телеграмма армейского комиссара Ф. Линде с ЮЗФ: прекратить разлагающую деятельность Союза офицеров! — ВП отдельным распоряжением запрещает военнослужащим продажу-покупку игральные карты и игру в них. — «Дело народа»: Почему не ускоряется ход земельной реформы? — ВП: При отказе производителей хлеба подчиниться реквизициям — не останавливаться перед применением вооруженной силы. — Родзянко Керенскому: Хлебная монополия губит страну. — В Смольном при ЦИК совещание петроградских фабзавкомов: небрежности содержания заводов, нет охраны от пожаров и взрывов. Шляпников: ЦИК оторвался от петроградского пролетариата. Лурье-Ларин: Восстановить контроль рев. демократии над штабом и войсками ПВО. Рязанов: Главная задача момента — борьба против контрреволюции. — Разгрузка Петрограда не удаётся, а теперь с рижской стороны притекают новые беженцы; оградиться заставами, не пускать. — К столице подступает голод, цены растут, городское хозяйство в финансовом крахе и долгах. Тем возможнее новое восстание большевиков. — Сдвинется фронт ещё — начнётся бегство из столицы. ВП и само подумывает, не переехать ли в Москву. — Большевики: ВП готовится к сдаче Петрограда!

Отставленный в июле Керенским неуравновешенный В. Львов является к нему с неопределённым предложением «вступить в переговоры с группой общественных деятелей, имеющих реальную силу», для формирования более крепкого кабинета. Имён не называет. Керенский, обезпокоенный таинственностью, соглашается: да, он хочет иметь правительство на крепкой основе. В. Львов уезжает в Москву. —

Савинков выезжает в Ставку для окончательного согласования корниловских предложений.

В ПСРСД принята резолюция Володарского: Буржуазная печать преступно травит нашу армию. Ставка клеветнически изображает поведение солдат как якобы бегство. — Комиссары Войтинский и Станкевич поддерживают версию о доблестном поведении наших войск под Ригой. — Ригу посетил император Вильгельм. (От взятия Риги буря восстала по Германии.) — Потресов: Довольно надежд на переговоры с германскими с-д, пусть не туманят нашего сознания. — Наше отступление на рижском участке продолжается. В Петрограде нагнетается паника: «немцы придут». Работают несколько комиссий: эвакуировать учреждения и принудительно выселять из города неработающих. В эвакуации заводов рабочие видят контрреволюцию. Вводятся пассажирские поезда из товарных вагонов, планируется охрана покидаемого имущества. — ПВО передается Верховному Главнокомандующему, но сам Петроград будет выделен под отдельное управление с чрезвычайными полномочиями против сеющих панику и слухи, с правом закрытия газет и запрета собраний. (План ввести военное положение с приходом верных войск.)

ЦИК: не допускать понижения рабочего дня ниже 8 часов. — После обысков и арестов в разных городах в поисках контрреволюции, пресса: Раскрыт монархический заговор! Старший следователь судебной палаты опровергает: не оказалось. — «Известия»: При Ставке свила себе прочное гнездо гидра контрреволюции, ВП скоро разгонит её. — Волнения в коломенском гарнизоне. В Серпухове разгром пивных складов, город на военном положении. — Бунт крестьян в усадьбе Вяземских Лотарёво; кн. Борис отвезен на ст. Грязи, там растерзан солдатами и доколот собственным конюхом. — На ЮЗФ комиссар Ф. Линде убит разъярёнными солдатами.

Переговоры Савинкова и ген. Корнилова в Ставке; удовлетворительно согласуется всё тот же корниловский план укрепления дисциплины в тылу, ВП обещает исполнить в ближайшие дни. Корнилов: Керенский слабохарактерен, легко поддается влияниям и не знает дела, во главе которого стоит; но при нынешнем политическом положении буду его поддерживать для блага отечества. Савинков: Ожидается новое вооружённое выступление большевиков, мы не можем рассчитывать на петроградские войска, пришлите в Петроград конный корпус; он разоружит петроградский гарнизон, Кронштадт, рабочих, введём осадное положение, патрули, военно-полевые суды. Если понадобится, будем действовать и против СРСД. Барановский (шурин Керенского и начальник его кабинета): Ударить так, чтобы почувствовала вся Россия! — Под разными предлогами окружением Корнилова уже командированы в Петроград несколько десятков офицеров, они в решающие часы помогут овладеть положением. Но Главный комитет Союза офицеров Корни-

лов согласен убрать из Ставки в Москву. — Савинков ещё просит: не ставить во главе корпуса ген. Крымова (будет слишком рьян в подавлении и наказаниях) и не присоединять Дикой (туземной, из кавказцев) дивизии. Корнилов обещает. — Но тем же вечером приказывает Крымову: сосредотачивать 3-й корпус (и Дикую дивизию) между станциями Гатчина и Александровская, затем в боевом порядке двигаться к Нарвской, Московской и Невской заставам столицы и при всех обстоятельствах подавить большевиков. Крымов уезжает из Ставки. — Командование ПВО объявляет вывод из Петрограда ближе к фронту полков, принимавших участие в восстании 3—5 июля. ПСРСД критикует распоряжение как контрреволюционное. — Но 3-му конному корпусу надо двигаться железными дорогами, а они в агонии, падение дисциплины, порча подвижного состава. — Всероссийский железнодорожный союз (Викжель) установил для всех рабочих день 8 ч., а для конторщиков 6 ч.

После беспорядочных бесед в Москве шутовской визит В. Львова к Корнилову в Ставку 25 августа: он-де с полномочиями от Керенского: каковы пути создания твёрдой власти? диктаторство самого Керенского? диктаторство Совета Обороны, 3—4 лиц, включая Корнилова? или диктаторство одного Верховного Гк-щего? Корнилов в простоте ведёт серьезные переговоры с неполномочным бывшим министром: чтобы спасти страну, согласен на любой из вариантов. Приглашает Керенского в Ставку для уточнения деталей, да и безопасней быть ему здесь в такой момент. — А Савинков, воротясь в Петроград, отчитался Керенскому об уговоре с Корниловым и просит наконец утвердить все намеченные строгие меры. Керенский снова оттягивает. (Страшится выступить против рев. демократии, против Совета — вся популярность на карте!) Савинков возмущён: слабование Керенского губит Россию. Керенский обещает окончательно: завтра, 26-го вечером, ВП будет заседать и утвердит.

Эти дни в Кронштадте и Сестрорецке усиленные митинги, устраиваемые большевиками, с призывами выступить на улицы Петрограда. — Вечером 25-го Выборгский комитет большевиков, узнав о движении 3-го корпуса, отменяет выступление. — По этим же тревожным сведениям ночное заседание ЦИК с представителями воинских частей. А между тем провинившиеся за 3—5 июля части отправляются на фронт?

Всего через неделю после того, как гарантировали заготовительные твёрдые цены на хлеб, ВП удваивает их в надежде получить хлеб. Подорван весь авторитет хлебных заготовок, хлеба тем более не повезут, ожидая следующего увеличения. В протест минпрод Пешехонов ушёл в отставку.

В Ставке совещание армейских комиссаров и комитетов. (Корнилов по плану хотел их вовсе запретить, Савинков обещал лишь сужение их ведения.) Корнилов призывает их к дружной работе в спасении армии. — С комиссаром Ставки Филоненко готовит проект Совета Оборо-

ны (Керенский, Савинков, Корнилов, Филоненко, ген. Алексеев?). Филоненко по аппарату передает план Савинкову. Приглашаются в Ставку на совещание Родзянко, Милюков, кн. Г. Львов. — Корнилов телеграфно подтверждает в военное министерство Савинкову, что 3-й конный корпус будет сосредоточен под Петроградом к вечеру 28-го; военное положение в столице следует вводить с утра 29-го.

А в Петрограде веротившийся из Ставки фигляр В. Львов, в заметном душевном неравновесии, приходит к Керенскому вечером 26-го, за несколько часов до заседания ВП, где уже неотклонимо должен быть подписан закон о твёрдых мерах, и путано передаёт Керенскому свой разговор с Корниловым как прямое поручение от Верховного: предложить отставку всех министров и введение единоличной диктатуры Верховного. — Озарение и драматическое сальто Керенского: спасён! теперь можно не подписывать твёрдых мер, а за все промахи ВП расплатится Корнилов! Заставляет В. Львова изложить письменно и настаивает на формулировке «ультиматум» (от Корнилова). — Затем устраивает аппаратный разговор с Корниловым, ложно изображая, что присутствует и В. Львов: Подтверждает ли Корнилов *то, что передал через Львова?* Корнилов, не проверяя о чем речь, простодушно подтверждает и зовёт Керенского и Савинкова скорее приезжать в Ставку. Керенский обещает (чтоб усыпить в бездействии). — Сам же заставляет Львова повторить рассказ, при подслушивающем свидетеле за шторой, и немедленным арестом изолирует Львова от всяких других объяснений. — Исказив весь эпизод на заседании ВП, Керенский к концу ночи получает от него диктаторские полномочия. Кокошкин не согласен, это делает остальных министров простыми исполнителями, заявляет об отставке. Другие министры-кадеты следуют ему, правительство снова остаётся без правого крыла. — К концу ночи, без ведома ВП, Керенский единоличной т-мой в Могилёв (без регистрации в ВП по форме, без скрепляющей подписи) отрешает Корнилова от должности Верховного. (Он и не вправе единолично уволить Верховного.)

Ни о чём том не осведомлённые газеты 27 августа посвящены полугодовому юбилею Февральской революции, впрочем с плачевными её результатами. — Корнилов утром получает отрешающую телеграмму Керенского. Изумлён, не ожидал удара. М. б. это подделка? в Петрограде уже взяла власть большевики? Или: Керенский опять уклоняется принять совместные дисциплинарные меры? Надеется, что всё разъяснится. Начальник штаба Верховного ген. Лукомский телеграфно Керенскому отклоняет своё назначение заменить Корнилова в должности. — Савинков, видя несурязицу происшедшего, тщетно пытается остановить Керенского. Дважды за день телеграфные переговоры его со Ставкой, с Корниловым и с Филоненко. Корнилов только теперь узнаёт, что В. Львов не имел никаких полномочий на переговоры с ним и всё переврал Керенскому. Отказывается сдать должность, Савинков угова-

ривает его подчиниться. Корнилов готов обсуждать возникшее положение с Керенским, снова приглашает их обоих в Ставку, под своё честное слово, создадим Совет Обороны. — Савинков (через него был весь сговор — и рухнул!) уговаривает Керенского не объявлять публично о «восстании» Корнилова, иначе Армия погибла. Керенский: Напротив, воодушевлённая победой над контрреволюцией, армия ринется и победит немцев! — Вмешивается и Маклаков: это недоразумение! надо разъяснить его без огласки. — Но уже и поздно: Некрасов объявил газетчикам заявление Керенского об «измене» Корнилова, и его расклеивают по улицам столицы. (В тексте — ни слова об идущем на Петроград корпусе — это послужит дальше доказательством «мятежа».)

Рев. демократия встрепенулась, как этого и ждала: ведь мы же повторяем Французскую революцию, а где же до сих пор наша Вандея? так вот она! и, конечно, армия (не зря интеллигенция ненавидит ее от-веку)! — У Гиммера и Луначарского взрыв радости при известии о генеральском мятеже: теперь-то радикально изменится конъюнктура революции! это будет полный реванш за июльские дни! — Через два часа после объявления генеральского мятежа большевики уже в победителях. — Выбор Савинкова: он и так уже проклят рев.-дем. кругами за союз с Корниловым; прославленный революционер не может принять сторону мятежного правого генерала (и подвёл Корнилов: идёт Крымов, идёт Дикая дивизия); значит, выбирает — за Керенского. — Распоряжение Керенского по фронтам, по войсковым инстанциям: не выполнять приказов изменившего родине Корнилова! Железным дорогам: не пропускать воинских эшелонов на Петроград, разбирать пути, устраивать крушения. Губ. комиссарам: Генерал Корнилов дерзнул предъявить мятежные требования передать ему власть; двинул ослеплённые войска на Петроград; измена ген. Корнилова в самый трудный момент войны с Германией, преступный бунт против народа. — Ночная радиотелеграмма ЦИК всем армейским комитетам: Ген. Корнилов изменил родине и революции и понесёт всю тяжесть наказания, не подчиняться ему нигде! — Слух, что на Смольный (местопребывание ЦИК и ПСРСД) этой ночью готовится нападение; окружились броневиками. Ночной Петроград залит прожекторами с Петропавловки. — Ночью головка ЦИК едет в Зимний совещаться с ВП, один раз и другой раз, в промежутке ночные заседания ЦИК, до утра: доверить Керенскому формировать распавшееся ВП на своё усмотрение. — Ночное заседание «военки» большевиков: Требовать смертной казни мятежников! Создать революционную власть из рабочих и солдат!

К ночи Ставка узнала о телеграммах и объявлениях Керенского. Выбор Корнилова: при таких обстоятельствах подчиниться и сдать должность — был бы не Корнилов; сдать должность сейчас — отдать Россию на последнюю гибель. На сторону Верховного станут — всё офицерство, лучшие строевые части, военные училища, всё казачест-

во; и всё превосходство военной организации над расхлябанностью правительственных сил. — Под утро 28 августа Корнилов рассылает по армейским линиям, ж-д и по радио: Не я посылал В. Львова к Керенскому, а он его ко мне; великая провокация ставит на карту судьбу Отечества. Наша родина умирает. ВП действует под давлением большевистского большинства Советов — (и со всей горечью, и уже в занос добавляя:) — в полном согласии с планами германского генерального штаба. У кого бьётся в груди русское сердце — молитесь Богу о чуде спасения родной земли. Я сын казака-крестьянина, мне лично ничего не надо, кроме сохранения Великой России; клянусь довести её до УС.

Под утро 28-го в Зимнем Керенский уговаривает ген. Алексеева, вызванного из командировки, принять Верховное Главнокомандование (которого он был лишён в мае). Алексейев отказывается, видя в этом безчестье; настаивает на примирении ВП с Корниловым. — С раннего утра ЦИК продолжает рассылать воззвания — к железнодорожникам, почто-телеграфистам, местным комитетам: отнять у Корнилова ж-д сеть, связь и всякое влияние; не выполнять приказов Ставки, препятствовать движению войск, исполнять распоряжения только Советов и ВП. — Корнилов пытается слать по линиям встречные т-мы: Со мной идут те, кому дороги свобода и спасение родины. Изменники не среди нас, а в Петрограде. Вырвать наше Отечество из рук продажных большевиков... ВП кидает народ в призрачный страх контрреволюции; очнитесь, люди русские, от ослепления, взгляните в бездонную пропасть, куда идёт наша родина. — Но его телеграммы застревают, его приказы по армии достигают фронтовых штабов, но даже не всех армейских.

В приличных утренних газетах и у Бурцева уже догадка: это всё — недоразумение, ведь ВП вместе с Корниловым готовило борьбу против большевиков. — С утра ВП свелось к триумвиату Керенский-Некрасов-Терещенко, и к тому же в потерянности; ото всех министров потребована формальная отставка. Обсуждается проект Директории из 5 человек; ЦИК не согласен на Директорию, она поведёт к контрреволюции, и особенно на включение Савинкова, изменившего рев. демократии. — Савинков назначен «военным генерал-губернатором» Петрограда (небывалая должность) с подчинением ему ПВО. Пытается готовить оборону беззащитной столицы, рытьё окопов к югу от города, лихорадочно призывается к действию расхлябанный петроградский гарнизон. — Керенский шлёт Гк-щему СФ Клембовскому назначение Верховным, с пребыванием во Пскове. И: прервать все эшелоны с конными частями, перевозимыми в Петроград. Клембовский: они мне не подчинены; и уклоняется от назначения. — Отряды Крымова движутся по трем ж-д линиям — балтийской, псковской и царскосельской, разбросаны на широком фронте от Ревеля до Дна. Сам Крымов с шестью эшелонами казаков приближается к Луге. — Воззвание Керенского к войскам ПВО: Устыдите полки ваших обманутых товарищей. Если не

поймут — я, ваш министр, уверен, что вы без страха исполните великий долг. — Главный комитет Союза офицеров из Ставки во все штабы: ВП, уже неоднократно доказавшее свою государственную немощь, ныне обезличило себя провокацией и не может дольше оставаться во главе России.

Непрерывные заседания то ЦИК, то фракций. В кругах Совета обвиняют в заговоре и кадетов. Арестовать весь ЦК кадетов! распустить наконец ГД! арестовать ГД! Метания Скобелева между Зимним и Смольным. — В ПСРСД выдвигается сила фракции большевиков, они согласны поддержать и ВП, если *действительно* бороться против контрреволюции! Немедленный арест Милюкова и Родзянки! и немедленное освобождение всех арестованных за 3–5 июля! — Троцкий сидит в Крестах. Неуютно: придут корниловцы, всех перевешают? — При ЦИК создан «комитет народной борьбы с контрреволюцией». Большевики в нём — решающая сила, у них связь с массами. Массовое вооружение рабочих со складов, с Путиловского завода, вот уже красная гвардия вооружена крепче, чем до июльских дней. (И этого оружия они уже не отдадут!) — Большевицкая военка шлёт агитаторов во все казармы. Следить за юнкерскими училищами, чуть что — локализовать, арестовывать! (Предварительно засланные Ставкой в Петроград офицерские группы бездействуют, офицеры вовсе непривычны к конспиративной деятельности.) — По городу развешаны плакаты: «Смертная казнь врагу народа Корнилову!», «Изменник России Корнилов хочет отнять завоёванные права рабочих и крестьян». (По слухам — и вернуть крепостное право.) — Создаются «летучие отряды для задержания контрреволюционных агитаторов». В милицейские комиссариаты тащат десятки арестованных, кто высказал сочувствие Корнилову. Арестовано несколько правых членов ГД. — Керенский поручил охрану Зимнего дворца матросам с «Авроры» (часть экипажа только сейчас освобождается из Крестов) и пулемётчикам из 1-го пулемётного. — Вызываются матросы из Кронштадта. В Кронштадте скидывают послеиюльского прavitельственного коменданта.

Штаб ЮЗФ принял сторону Корнилова. Т-мы ген. Деникина в ВП: Власть возвращается на путь планомерного разрушения Армии, по этому пути с ВП не пойду. — Остальные Командующие фронтами и армиями не высказываются против ВП, но и не поддержали Корнилова. Теперь его надежда только на корпус Крымова. — Железнодорожники разобрали часть путей и опрокинули вагоны севернее Луги и между Вырицей и Павловском. Эшелоны остановились. Крымов южнее Луги с казачьими эшелонами отрезан от распоряжений Ставки, от своих других эшелонов и не знает обстановки. — Телеграфисты перехватывают все т-мы Ставки. Корнилов теряет управление Армией, не может посылать на фронты и очередные оперативные указания. — Во второй половине дня 28-го Милюков посещает Керенского в Зимнем. Он порицает

неповиновение Корнилова, но предлагает своё посредничество, продолжать переговоры со Ставкой аппаратно и поездками. Керенский отклоняет. — Отклоняет и советы наличных министров передать премьерство ген. Алексееву: «Власть я отдать не могу». — Тщетно снова убеждает Алексеева принять Верховное Главнокомандование. — Ведёт переговоры с Церетели и Гоцем о новом составе ВП, расширенном в сторону рев. демократии. — Листовка комиссара ЮЗФ Иорданского: Деникин хочет восстановить Николая II. Революционные комитеты в Бердичеве, никак не ограниченные штабом ЮЗФ, поднимают гарнизон и арестовывают генералов Деникина, Маркова и др. с глумлением и безчинствами.

Ложные сообщения местных комитетов, что ген. Каледин телеграфировал Корнилову о поддержке Дона. Керенский, не проверив сведений, рассылает по стране т-му о мятеже Каледина. (Сам Каледин объезжает глухие места области и не знает ни о чём.) — Командующий МВО полковник Верховский телеграфирует Корнилову: Начало междуусобной войны положено вами, это гибель России. Офицерство и солдаты Москвы присоединяются к ВП. — Но юнкера-александровцы встречают т-му Корнилова аплодисментами. — В Москве заседает «орган действия» левых сил. СРД, ССД: Прекратить преследование большевиков! Митинги на заводах и в в/ч. — В Киеве Украинская Рада присоединяется к местному СРСД. Телеграмма Петлюры Керенскому: Украинские в/ч не будут выполнять приказов Корнилова.

Петроградские агитаторы достигают Луги (там и свои лужские) и разъясняют казакам Крымова: в Петрограде нет никаких большевических бунтов, а Корнилов пошёл против законной власти. — ИК союза мусульманских советов в Петрограде с поощрения Керенского посылает делегацию агитировать полки Туземной дивизии. Её передовой ингушский полк уже в Сусанине; через разобранные пути из Семрино идёт делегация; офицеры Туземной дивизии мешают переговорам с рядовыми: дивизия идёт не против революции, а против большевиков и предателей. — Немцы в эти дни благоразумно прекратили наступление на рижском участке.

В ночь на 29-е повальные обыски в офицерской гостинице «Астория», аресты. — От цензуры или от колебаний редакций 29-го появляются белые пятна в газетах, впервые после революции. «Новое время» закрыто за напечатание корниловского воззвания. Есть требования закрыть и кадетскую «Речь». — «Рабочая газета» (меньшевики): Несомненна идейная связь кадетов с заговором Корнилова. «Дело народа» (эсеры): Народная стихия ответит нападением на буржуазию по всей стране. — Чернов, ушедший из ВП (так и не отмылся от пораженчества), издал личное воззвание ко всему российскому крестьянству: Я, ваш избранник, которому вы верите, говорю вам... — Меры Савинкова по контролю за всеми прибытиями-убытиями лиц в Петрограде; запреща-

ет уличные собрания. (Но вооружение рабочих продолжается.) — ЦК большевиков вызвал матросов из Кронштадта и войска из Выборга.

Гк-щим СФ вместо Клембовского назначен ген. Бонч-Бруевич; с помощью Вижеля он держит на месте все эшелоны Крымова. — Корнилов не использовал двух суток; видит, что все упустил. Посылает с лётчиком приказание Крымову по возможности продолжать движение на Петроград. — Но отряды Крымова по-прежнему разбросаны и со вчерашнего дня нисколько не приблизились к столице; смятение в них от известия, что Верховный Главнокомандующий — изменник родине. — Комиссар Филоненко, свободно отпущенный Корниловым из Ставки, обращается из Петрограда с воззванием к войскам Крымова: они обмануты своими офицерами. — Вторая поездка мусульманской делегации (в ней и внук Шамиля) к Туземной дивизии на станции Семрино и Сусанино, переговоры с ингушским, черкесским, чеченским полками. Горцы ответили: Не можем уклониться от дисциплины, но не пойдём наступать первыми. — Делегации петроградских в/ч к корпусу Крымова. И встречные делегации казачьих частей в Петроград для выяснения обстановки. Настроение корпуса: брататься и не идти в бой. Комитеты Уссурийской дивизии постановили подчиниться ВП. — Депутаты 1-й Донской дивизии явились в Зимний к Керенскому: Шли под влиянием офицеров; отпустите на Дон для защиты родных хуторов. Керенский шлёт эту делегацию арестовать их офицеров. — Савинков посылает грозные приказы начальникам крымских дивизий: во главе старших офицерских групп являться с повинной. — Во фронтовом районе под Ригой арестован Гучков. — Родзянко: Никогда ни в какой контрреволюции я не участвовал и во главе фронды не стоял!

Во второй половине дня в юнкерских училищах и в казачьих полках столицы выносятся резолюции о верности законной власти. — Радиограмма Керенского «Всем, всем, всем»: Уже создан повсеместный перевес в пользу ВП. — По всем городам устанавливается контроль ВП за телеграфом, ж-д передвижениями, общественной жизнью. (Там и сям отмечено обывательское настроение в пользу Корнилова: да, нужен наконец порядок.) — В разных местах в в/ч начались стихийные аресты офицеров: если Верховный — изменник России, то что ж ненавистные офицеры? — В Москве меньшевики, эсеры и большевики едины в отпоре контрреволюции, создать орган революционного действия (Бухарин: большевики войдут!). Создать в Москве рабочую красную гвардию. Прекратить бы печатание всей буржуазной прессы, а типографии передать социалистам. — Керенский в Зимнем снова предлагает Алексееву принять Верховное Главнокомандование. (Расчёт, что Алексеев уладит в Ставке деликатнее других, а затем убрать его.) Алексеев после тяжёлых колебаний и ввиду угрозы, что иначе назначат Черемисова и тот расстреляет корниловцев, соглашается стать только начальником штаба при Верховном, и только при условии мирного разре-

шения конфликта с Корниловым. Кто ж тогда Верховный? Керенский не перебирает генеральских кандидатур: ясно, что Верховным станет он сам! — В Стокгольме «Русская корреспонденция Правды» (Радека-Воровского): Настоящая революция приближается, и Керенский скоро исчезнет.

30-го опубликовано воззвание ЦК и ПК большевиков: Контрреволюция надвигается на Петроград; враг народа Корнилов; вся буржуазия во главе с партией кадетов приветствует изменника и предателя. — «Рабочий» (замена «Правды»): Полная капитуляция ВП перед Корниловым. Добьёмся разгрома буржуазно-помещичьих сил и торжества пролетарско-крестьянской революции. — «Социал-демократ»: Корнилов предал нас под Ригой. — Керенский распорядился об ускорении следствия по делу Корнилова. Официальное объяснение: Так как Корнилов действовал на фронте, ему грозит смертная казнь; будет предан революционному суду. Авксентьев: К Корнилову и присным будет применена смертная казнь. — Прекращено следственное дело адм. Вердеревского, и он назначен морским министром. — П-к Верховский произведен в ген.-майоры и назначен военным министром. — Вступительный приказ Верховного Гк-щего Керенского по Армии и Флоту: Бескровная ликвидация мятежа доказала великий разум русского народа. Полугодовой опыт свободной жизни... — Реакция английских газет: Керенский олицетворяет собой революцию и надёжное продолжение войны, а Корнилов хотел восстановить старый режим. (Только «Таймс» разглядел, что Корнилов — жертва недоразумения.)

Некрасов в разладе с Керенским и ушел из ВП, конец триумвирата. Но обещается расширение правительства. — Внезапно (телефонным звонком) Керенский отставляет Савинкова со всех постов. (Стремительность смен всех поражает.) Петроградским военным генерал-губернатором назначен инженер Пальчинский (Ободовский). — Алексеев из Петрограда по прямому проводу разговаривает с Корниловым, объясняет свое решение принять пост, положение в стране, в армии и с корпусом Крымова. Корнилов согласен на сдачу командования при условиях твёрдых гарантий спасения страны (Керенский так и обещал Алексееву); что будут безпрепятственны распоряжения Ставки на фронты, чтобы прекратить хаос; что будет освобождён Деникин со штабом и прекращена рассылка телеграмм, позорящих Корнилова. (Но уже упущено ставить условия, сдача Ставки predetermined.) Алексеев заверяет, что будет настаивать на проведении тех твёрдых мер дисциплины, которых требовал Корнилов весь август, иначе и сам сложит полномочия.

Грозная т-ма Верховского из Москвы на Дон Каледину: Если казачьи войска готовят восстание, то будут полностью уничтожены. И чтоб не появлялись на территории МВО. — Каледин же по-прежнему в безоранной поездке по области Войска Донского. Революционные коми-

теты на ж-д Лихая — Царицын пытаются его арестовать. — Между тем беспорядочные аресты офицеров по разным фронтам, частям, местам. (За месяцы митингов самые простодушные и послушные солдаты озверели к офицерам, а тут: они ещё и изменники оказались. Офицеров выводят из комитетов, шпионство за офицерами, проверка каждого их приказа.) — Самосуды в Выборге: три генерала, три полковника, обвинённые в сочувствии Корнилову, и ещё двадцать офицеров избиты, сброшены с моста в залив, потом дострелены в воде. Всего без вести пропало 60 офицеров.

Весь день 30-го братание между отрядами ВП и Крымова. В Петроград продолжают приезжать делегации от полков Крымова: ничего не знали о замысле идти против правительства. — Охвачена волнением и вся Туземная дивизия, в третий раз её посещает мусульманская делегация, и полки избирают делегатов для посылки в Петроград с выражением преданности революции и демократии. О том же и воззвание ИК мусульманских Советов к мусульманам всей России. — Сам Крымов поддаётся уговорам своего друга, полковника, приехавшего к нему от Керенского: посетить столицу, посмотреть, решить с корпусом. К вечеру прибывает в Петроград.

ЦИК требует скорейшей ликвидации всех следственных дел большевиков, арестованных за 3—5 июля (всего таких около полутора ста). Для того создана срочно комиссия, и представители ЦИК посещают большевиков в Крестах. Дан: Есть надежда, что их освободят в ближайшие дни. (Крики в зале Смольного: «Арестовать Милюкова!») Церетели: Скорей распустить ГД! — На улицах Петрограда отряды и толпы вооружённых рабочих, опьянённых победой без боя. Однако большевики не решаются открыть Кресты силой: несвоевременно будет выглядеть как переворот слева. (Да началось и сплошное освобождение их.) — В Москве губ. СРД (с участием большевиков): Взять в губернии полную власть в руки СРД! — В Гельсингфорсе митинги большевиков: Свергать ВП! — Письмо Ленина в «Рабочий»: Никогда не имел отношений с Союзом освобождения Украины, созданным на немецкие деньги. — В Киеве арестован Шульгин и закрыт «Киевлянин».

Утром 31-го свидание Крымова с Алексеевым в вагоне. После этого Алексеев выезжает в Могилёв для мирного переёма Верховного Главнокомандования. — Крымов в Зимнем дворце у Керенского, в кабинете Александра III. Взрывная сцена. (По слухам: Керенский кричал, что сорвёт с него эполеты; Крымов: не ты, мальчишка, мне их дал, не ты сорвёшь.) Передан под следствие. Военно-морской прокурор Шабловский даёт ему несколько свободных часов до допроса.

«Рабочий»: ВП боится вооружать рабочих. «Рабочая газета»: Коротка память у нашего народа, началось разочарование в революции. «Новая жизнь»: Должна быть создана и упрочена диктатура демократии. «Дело народа»: Вырвать кадетское жало! — Кадеты под боем всей

левой прессы: это они — главные участники заговора. Недавно их вина была, что уходили из ВП, сегодня — что претендуют в нём участвовать. — Керенский тщетно бьётся сформировать коалиционное правительство на широкой основе, включить кадетов и торгово-промышленников, сохранив ревдемовское крыло. — Ссора Керенского с казаками; его попытка заставить Совет Союза казачьих войск заклеить Корнилова и Каледина. Союз отказывается: Всероссийское казачество лишено возможности узнать суть дела, а постоянно испытывает от ВП запрет всяких действий. (Ещё обида казаков: имели потери, подавляя июльский мятеж, ВП приняло их жертву, а вот безнаказанно отпускает из тюрьмы матросов и пулемётчиков.) Но и казачий Союз не смеет заявить вслух, что Корнилов предлагал спасительные меры. — Приказ Верховского об аресте Каледина. Т-ма Керенского новочеркасскому прокурору: предать Каледина суду; воспретить созываемый Войсковой Круг Дона. — Делегаты Туземной и Уссурийской дивизий в Зимнем у Керенского: Не имели никаких контрреволюционных замыслов. — И в Смольном в ЦИК делегаты горцев: Как же бы мы, кавказцы, пошли против российской революции, если во главе ее стоят наши земляки Чхеидзе и Церетели?

Отправив Корнилову предсмертное письмо с офицером (Россия погибла, и не стоит больше жить), Крымов застреливается в канцелярии военного министра. — Но не сразу насмерть. Умирает в Николаевском военном госпитале под издевательства осовеченных фельдшеров и санитаров. — Делегаты ПСРСД в войсках Крымова под Ямбургом. Казаки: Правда ли, что большевики вертят ВП? Да не-ет. Правда ли, что рабочие на заводах не работают на оборону? Да никогда ещё так дружно, как сейчас. — По непричастности к мятежу освобождён Гучков.

Верховский требует послать военную экспедицию на подавление Ставки. — Советская рев. демократия обвиняет Керенского в непонятной затяжке с ликвидацией корниловской измены. Нарушив поручение, данное Алексееву, и без его ведома, Керенский телеграфирует в Оршу: составить отряд, идти с боем на Могилёв и арестовать Корнилова! прекратить всякое снабжение Могилёва.

К концу дня заседание ЦИК в большом зале Смольного. Каменев: Мятеж Корнилова был выступлением организованной буржуазии и всего землевладельческого класса; необходимы самые беспощадные репрессии; недопустима коалиция с Алексеевым, ставленником кадетов; только пролетариат, крестьянство и солдаты могут создать власть и спасти революцию. Стеклов под шумную овацию требует освобождения большевиков, сидящих за 3-5 июля. Каменев предлагает обычную большевицкую резолюцию: немедленная отмена частной собственности на помещичью землю; рабочий контроль в общегосударственном масштабе, национализация промышленности; немедленное предложение демократического мира всем воюющим народам; отмена смертной

казни на фронте, полная свобода демократической агитации там; чистка командного состава. (Резолюция не голосуется, заседание переносится.) — Затем (и на всю ночь) открывается заседание ПСРСД. Ту же резолюцию большевики предлагают там и собирают двухполовинный перевес голосов; большевицкая резолюция побеждает в петроградском Совете впервые за время его существования, это поражение президиума и личное поражение Церетели. — Этой же ночью Гоц, Дан и Церетели едут в Зимний с ультиматумом: эсеры и меньшевики не войдут в ВП, если будут приняты кадеты.

После полуночи в Витебске Алексеев узнаёт от руководителей витебского Совета Аронсона и Тарле об обманных действиях Керенского: пошёл отряд (5000 пехоты, артиллерия, бронев автомобили) из Орши на Могилёв. Витебский Совет не прочь бы задержать Алексева, чтобы не состоялся его компромисс с Корниловым. — Алексеев по юзу связывается с Лукомским в Ставке. Ответ Корнилова: ждёт Алексева как полномочного руководителя армиями, но если на Могилёв пойдут войска, то будет кровопролитие. — Ночной самосуд на балтийском линкоре «Петропавловск»: приговором команды расстреляны лейтенант и три мичмана, отказавшихся дать команде подписку о верности революции. (Убийц выбирали по жребию.)

В ночь на 1 сентября Пальчинский распорядился закрыть большевицкий «Рабочий» и, за возбуждение солдат против офицеров, горьковско-гиммеровскую «Новую жизнь». (А Горький — в Крыму.) Взрыв гнева на него демократии: убрать с генерал-губернатора, возобновить газеты! — Алексеев, прибыв в Оршу, успеваает задержать отряд против Ставки, уже подходящий к Могилёву.

ВП в кризисе, котором по счёту; составить правительство невозможно: Совет не допускает кадетов и торгово-промышленников, Керенский не хочет полностью отдаться Совету (и Алексеву обещал, что ВП не будет чисто социалистическим). ВП весь день в безсилии и неопределённости, а министерства уже неделю без министров. Слухи, что уходит в отставку Керенский. — По всей стране провинциальные Советы и городские думы «клемят Корнилова позором». В Омске, Красноярске, Владивостоке Советы взяли полную власть. — В воинских частях (и в 11-й армии, бежавшей под Тернополем) принимаются стандартные резолюции: предать суду и смертной казни изменника Корнилова. — Воззвание Церковного Собора: Церковь не может остаться равнодушной зрительницей распада родины; примиритесь, враждующие станы. Т-ма в ВП: щадить побеждённых. — Кронштадтские рабочие формируют красную гвардию. — Московский комитет по борьбе с контрреволюцией: необходима срочная экспедиция вооруженных сил для ликвидации Ставки.

Корнилов в Могилёве прощается с Корниловским полком, созданным в летних боях. — Едва Алексеев прибыл в Могилёв, он вызван

к прямому проводу из Москвы, Верховский: немедленно выезжает с крупным революционным отрядом в Ставку; удивлён, что Алексеев ещё не произвёл арестов. — Разговор не кончен, Алексеева вызывает к другому аппарату Керенский: нарождается возбуждение от якобы слабости власти; даёт генералу два часа для подчинения Могилёва и всех арестов. Алексеев просит дать время на мирное решение: он только что приехал и всё стоит у аппаратов. Керенский как будто согласен. Но через 5 минут командует своему уполномоченному, прибывшему с Алексеевым: необходимо сегодня же арестовать 5-6 человек и тотчас широко известить, ввиду распространившегося слуха о бездействии и сознательной мягкости ВП.

Троцкому в Крестах предъявлены следственные материалы. Пишет в ЦИК: считаю для себя невозможным ни политически, ни нравственно участвовать в следственном процессе. (Освобождение его уже обеспечено.) — Луначарский в г. д. требует исключения только что избранных населением кадетов. — Матросский отряд захватывает типографию, и печатается запрещённая «Новая жизнь».

В 9 ч. вечера от Керенского снова в Ставку: Чтобы Корнилов и его соучастники были арестованы немедленно, демократия взволнована свыше меры. Советы бушуют; необходимо сейчас же дать сведения в газеты, чтобы утром об аресте узнала вся организованная демократия! — Корнилов убеждён Алексеевым, да он уверен в своей правоте и не боится суда; и к 10 часам он, Лукомский и старшие чины Ставки дали себя арестовать. Алексеев: Факт, что мы попали в цепкие лапы Советов. — Разгон Главного комитета Союза офицеров. — К полуночи в Ставку прибывает следственная комиссия из Петрограда. Первое же ее ознакомление с делом располагает её в пользу Корнилова.

Остатки ВП заседают вечер и ночь. Тупик. Решено: пока образуется Совет Пяти, кто остался (Керенский, Терещенко, с-д Никитин, Верховский, Вердеревский), со временем сформируется и правительство. Для подбодрения всех: немедленно объявить Россию республикой. — Вечер и ночь заседает и ЦИК, отстраняясь от взятия власти. Скобелев: Никогда за всю историю Россия не находилась в таком тяжёлом положении; если мы, революционная демократия, возьмём сейчас всё спасение страны на себя, то это агония революции. Богданов: Весь Дон охвачен заревом восстания; нужна «диктатура демократии», для чего быстро созвать Всероссийское Демократическое Совецание (как бы: только левое крыло Московского Совецания). Чернов произносит весёлую речь, пересыпанную анекдотами. — Авксентьев, придя из Зимнего: новость о Совете Пяти, а сам он уже не министр. «Мы накануне гибели или уже погибли». Обещает увольнение Пальчинского. — Дан: ускорить освобождение арестованных большевиков. Каменев: образование Совета Пяти — удар по революции и обида для Советов, режим личной диктатуры и безответственности. — ЦИК, однако, отвергает большевиц-

кую резолюцию, накануне принятую ПСРСД, и принимает решение собрать за две недели ДС. (МС было плохо тем, что участвовала не одна только демократия.) — К утру приказ Керенского по Армии и Флоту: Немедленно прекратить самовольное формирование отрядов под предлогом борьбы с контрреволюцией. (Он уже в панике от разворота левых сил, от множества созданных по всей стране за эти дни самочинных «комитетов по борьбе с контрреволюцией».)

Что мешает большевикам взять власть уже сегодня? Ещё недостаточно разложена Армия и может воспротивиться. — «Речь»: Революционная демократия сама готовит геростратовский триумф большевизму.

Отказ Донского Войскового правительства выдать на арест Капеллина, избранного атамана; старый клич казачества: «С Дона выдачи нет!»

УЗЕЛ VII — СЕНТЯБРЬ СЕМНАДЦАТОГО

(9 — 23 СЕНТЯБРЯ)

В Москве давно уже нет спорящих сборищ у памятников Пушкину и Скобелеву: всем надоели и партии, и их программы, равнодушие. — Президиум московского СРД сложил полномочия в следствие принятой Советом полностью большевицкой резолюции (как и в ПСРСД 31 августа). — По той же причине складывает полномочия президиум ПСРСД. Но большевики не готовы возглавить Совет, и принята резолюция Каменева о представительстве партий пропорциональном. — Триумф Троцкого в Совете; первая речь после освобождения из тюрьмы 5 дней назад; бурные аплодисменты, принята его резолюция: Июльское движение ложно представлено как военный заговор большевиков; неизгладимое пятно на юстицию, изобразила безупречных революционеров наёмными агентами германского империализма; черносотенная контрразведка; немедленно освободить всех, кому предъявлены политические обвинения. — Большевики заняли сильные позиции и в совете профсоюзов и в петроградской г.д., где Луначарский (товарищ городского головы) пытается провести ту же резолюцию.

Паралич власти ВП. Не получая ниоткуда поддержки, отсеченное и справа и слева, не смеет пополнить своего состава без санкции предстоящего Демократического Совещания; призрачная Директория, управляющие министерствами без министерских прав; Керенский уже 5 дней в Ставке, без дела (отдыхает от петроградских безпокойств), сам допрашивает чинов штаба. — Члены Главного комитета Союза офицеров тоже арестованы и привлекаются к суду. — Тройственный «приказ» Керенского-Верховского-Вердеревского по Армии и Флоту.

Обещания: сменить всё руководство Ставки; сменить весь командный состав на лиц, доверенных в данной ситуации; вывести из Ставки верные Корнилову полки; предать военно-революционному суду корниловцев; но и тех, кто без суда казнил своих офицеров. — Мос. Обл. СРСД: Следственная комиссия в Ставке антидемократична, следствие пристрастно и сужено малым числом обвиняемых, ввести в комиссию членов от Советов и комитетов; содержание арестованных недостаточно строго, перевести их в Москву на гауптвахту; учредить при Ставке орган политического контроля из комитетов-Советов с правом отвода командных лиц.

Исключённый на днях из партии эсеров Савинков даёт публичное объяснение корниловским дням: Ко времени Московского Совещания ВП сознавало свою беспомощность перед всеобщей разрухой и безнаказанностью; Савинков вместе с Корниловым разрабатывал докладную записку о твёрдой диктатуре, но Керенский уклонился обсуждать её на ВП; движение кавалерии на Петроград было согласовано с Керенским; В. Львов искажил переговоры с Корниловым и солгал об «ультиматуме».

10 сентября опубликовано: На должности Начальника Штаба Верховного ген. Алексеев заменён ген. Духониним; приказ Керенского: Генерал Алексеев мудрым вмешательством безкровно восстановил деловую работу Ставки; теперь обратился с просьбой об освобождении. — Главнокомандующим СФ назначен фаворит СРСД ген. Черемисов (смещённый Корниловым с ЮЗФ за разложение его). — В ЦИК доклад адм. Вердеревского: С первого дня революции я был в непрерывной связи с матросскими организациями; теперь матросы полагают, что командному составу доверять нельзя, новый взрыв недоверия, как в марте, можно ожидать новых эксцессов. ЦИК: Командировать делегацию в Балтфлот разъяснить матросам опасность разложения флота. Троцкий отказывается войти в делегацию: Правительство ведёт антинародную политику, а на революционные организации возлагается чёрная работа улаживать конфликты. — Запрос Троцкого и Каменева в ЦИКе: В печати появились разоблачения об участии ВП в корниловском заговоре; предполагался беспощадный разгром петроградских революционных организаций и рабочих масс. — «Рабочий путь» (вместо «Правды»): Керенский — агент буржуазии; кадеты подготавливают почву для успеха корниловской авантюры; если ничто другое не поможет, контрреволюционеры сдадут Вильгельму Петроград; руководящие партии рев. демократии находятся в состоянии полной расхлябанности.

И в партии с-д, и в партии с-р раскол: чего хотеть и добиваться от Демократического Совещания. Чхеидзе, Церетели, Гоц и Дан уже получили ярлык «перебежчиков революции». — ЦИК запретил пополнять ВП до ДС. Остановили назначение минюста. Министр торг.-пром. Проко-

пович: ВП стоит на краю гибели. Министр исповеданий Карташев выходит из ВП «ввиду ясно определившегося засилия социалистов над правительством». — Партия эсеров требует объяснений Керенского о его участии в корниловском заговоре. — Киевский СРД и комитет ЮЗФ отказываются выдать арестованную группу Деникина-Маркова на общий суд с Корниловым, комиссар ЮЗФ Иорданский разжигает солдатские страсти: смертная казнь им на месте!

На Донском Войсковом Круге Скобелев вынужден отвечать на вопросы. Откуда ВП имело сведения о «мятеже» Каледина? — из газет. Почему ж так уверенно решили? — не знаю, не помню. Как же могли издать приказ об аресте? ВП суверенно и может арестовать кого угодно. — Каледин Кругу: «Теперь вы видите, каково правительство и чего может ждать от него Россия и Дон». Круг: «Правь нами, атаман, ты ни в чём не виновен!» Постановление Круга: «Дело Каледина — плод расстроенного воображения трусов». М. Богаевский: В корниловском деле народ почуял скрываемую правду, Корнилов искал пути спасения родины.

Вижель грозит всеобщей забастовкой, если не будет добавлено к зарплате 5 млрд руб. — На петроградских заводах: Запрет проводить заводские собрания в рабочее время — это провокация! (Не работают и 8 часов, опаздывают, уходят раньше.) — Во множестве мест страны «комитеты по борьбе с контрреволюцией», возникшие в корниловские дни, теперь отказываются прекратить свою деятельность; «Контрреволюция» трактуется неограниченно. — В Воронеже, Гомеле Советы возглавлены большевиками. В Ташкенте СРСД сместил командующего ВО и взял всю власть. В Киевском университете студенты уволили ректора. Солдаты громят и грабят ст. Киев-товарная.

Во всей Армии травля офицеров, уже не доверяют никому из них: «корниловцы»; комитетами правят большевики. Корниловские меры отброшены, армия снова катится в хаос. Убийцы на «Петропавловске» и в Выборге так и не арестованы. Ликвидируются все отделения Союза офицеров в дивизиях и полках. В Черноморском флоте судовые комитеты накладывают дисциплинарные взыскания на офицеров. ЦК Черноморского флота требует передачи всей власти Советам. — Резолюция Центробалта: Немедленное перемирие на всех фронтах и передача всей власти Советам. — Новое наступление немцев на Двине, занятие якобштадтского плацдарма.

Слух, что Ленин вернулся в Петроград. — На петроградском Совете. Каменев: Виновата сама революционная демократия, что доверила власть нынешнему ВП; есть ли гарантия, что не будет завтра Пальчинского? Керенский замешан в аванюре Корнилова; спасение в том, чтобы вся власть принадлежала нам. Троцкий (под бурные аплодисменты): Мы всегда были с народом и в народе. Кончить эту войну, она несовместима с русской революцией! употребить все силы на борьбу с

английскими и французскими империалистами. Наряду с самосудами осудить также политику ВП. (Резолюция принимается.) Делегатами на ДС от петроградского Совета выдвигаются также Ленин и Зиновьев. — Штабы красной гвардии созданы во всех районах столицы. Переговоры с тульскими и сормовскими заводами о поставках оружия. Начаты строевые занятия красногвардейцев. — «День»: Мы не должны отдать страну политическим акробатам большевизма. «Новая жизнь»: Советы должны стать осью Демократического Конвента!

В ночь на 12 сентября корниловская группа узников перевезена из Могилёва в Быхов. — Интервью ген. Алексеева: Нравственно не мог остаться в Ставке при теперешней обстановке. Корнилов заранее трактуется как мятежник, и ему готовят военно-революционный суд, а его движение идейное и опирается на широкие массы населения; Корнилов видел, что Россия гибнет от безвластия, и требовал твёрдой власти вовсе не для себя. У России теперь больше нет Армии, и мы не можем противодействовать новому немецкому удару; наши офицеры-мученики умирают в истязаниях от солдат. — В тот же день Алексеев пишет письмо Милюкову: Общественная совесть спит, а частная печать эту совесть не будит, молчит. (Сама напугана и затравлена.) Неужели не время громко вопиять, в чем заключается дело Корнилова? теперь их кучка подлежит самому примитивному из судов, военно-революционному; в этой быстроте суда и в этих могилах должна быть скрыта вся истина, действительные цели движения и бесспорное участие Керенского и членов правительства; невидимые участники отстранились ото всего и отдали 30 человек на позор, суд и казнь; покинутые всеми, они должны заплатить за гибнущую родину. Суд должен быть обычный, с участием сторон и широтой расследования; честная печать должна немедленно энергично разьяснить дело. (Милюков не предпринял ничего.) — Некрасов даёт печати гаденькое объяснение: как Корнилов давно готовил заговор, а В. Львов помог спасти революцию.

Керенский вернулся из Ставки в Петроград. Переговоры с эсерами: допускают ли формировать правительство? ВП в безсилии. — В ЦИКе. Церетели: Пусть ДС создаст представительный орган, перед которым будет ответственно ВП. Стеклов: Провинциальная Россия не так искушена в вопросах политики, как петроградский Совет; ведущие решения должны быть за нами. — Кроме большевиков, все фракции раздроблены. Принимается смутная резолюция: коалиция для ВП возможна, но без кадетов. (А — с кем же тогда?..)

Донской Круг постановляет, что Каледину незачем ехать в Могилёв. — Конференция Дона, Кубани и Терека: На власть давят безответственные группы, это путь к анархии, это вселяет в душу казачества смертельный ужас перед гибелью великой страны.

По всей стране быстрое увеличение самогона и пьянства. В Козловском уезде солдаты местного гарнизона и дезертиры, руководимые

каторжниками шайки Чугуры, за двое суток разгромили и сожгли 25 имений. (Ленин: событие общенационального политического значения.) — Двое суток толпа громит магазины и лавки в Тамбове. — Погромы, грабежи и безчинства в Уфе, Житомире, Бахмуте, Орле, Серпухове, Астрахани. Хищническое рыболовство на Нижней Волге. Никто не платит никаких налогов, закрываются земские больницы и школы. — Крестьяне не везут хлеб для городов, лучше перегнать на самогон. Земельные комитеты мешают уборке и вывозу помещичьего хлеба. Общинники беспощадно разоряют хуторян, этих «стольпинских помещиков», превращают рабочие дворы в нищие. От эсеровской пропаганды ненависть к «буржуям» горожанам. Землевладельцы покидают последние культурные хозяйства; бегут в город учителя и священники. — «День»: Не проходит дня в деревне, чтоб не услышать сожаления о старом. — Даже «Известия СРСД» печатают из разных мест народное рассуждение: «Пока был царь — был и хлеб, и товары, пусть опять будет царь».

Агония железных дорог. К большинству городов подступает голод, подвоза нет. Самовольные захваты хлебных грузов; на станциях милиция вскрывает багаж пассажиров. — Эмиссия бумажных денег не поспевает, вводятся старозаготовленные казначейские знаки как суррогат («керенки», их не хотят принимать). — Слухи, что в Европе готовятся заключить мир за счёт России. Обыватель устал от 6-месячного революционного напряжения. «Немец придёт? Хуже не будет». Да пусть большевики хоть и возьмут власть, покажут, на что способны». Тягостная общественная атмосфера. — Особое Совещание по разгрузке столицы заседает чуть не ежедневно, но деловых решений и действий нет, а скоро закроются водные пути. Рабочие Путиловского завода препятствуют эвакуации технических средств; большевики поджигают: «Готовится бегство правительства из Петрограда в Москву!» — Петроградская милиция грозит забастовкой. Хаос в аптечном деле столицы, фармацевты рвут добавки, аптеки разоряются. Осенняя мокрая чернота Петрограда, тьма и склизь. — Судебный приговор по делу Сухомлинова, прошлогодний снег: виноват в государственной измене, приговорён к безсрочной каторге.

Севастопольский СРСД арестовал Рябушинского на даче в Алушке. (Через день освобождён по настоянию ВП.) — ЦИК постановил: ЮЗФ должен выдать группу Деникина-Маркова в Ставку для суда, местного с Корниловым. — В. кн. Михаил Александрович освобождён из-под ареста; можно ехать в Крым, но остаётся в Гатчине. — Гиммер одиноко отмечает полугодовщину Манифеста 14 марта: обманули надежды на европейский пролетариат.

Тамбов и Козловский уезд на военном положении. — Керенский грозит послать военную экспедицию в Ташкент. — 14 сент., в день Воздвиженья, по воззванию Церковного Собора во всех церквях и монастырях страны всенародное моление о даровании России внутреннего

мира. — Опубликовано (противочерновское) воззвание Брешко-Брешковской, Панкратова и других старых народников: Наставники из Циммервальда привели партию эсеров на край бездны; идут к миру с Германией хотя бы ценой национального позора.

14-го в Александринском театре открылось Демократическое Совещание. (В цензовой прессе: что оно такое? кто именно их избрал и кто они сами? За ДС нет избирателей, все делегаты — по назначению организаций. «Речь»: это кучка демагогов, занятых одним Интернационалом; пораженцы будут обсуждать, как спасти Россию. Плеханов: ДС — капитуляция перед вдохновителями июльской резни.) — Расколотые на 4 группы эсеры и на 6 групп меньшевики надеются на чудо: что ДС вдруг сумеет установить сильную государственную власть. «Биржёвка» пустила идею и словцо: создать «Предпарламент», новый эксперимент до УС, как поддержать безсильное правительство. — Слухи, что Ленин явится на ДС. Приказ по милиции: задержать его прежде, чем он туда войдёт, но ни в коем случае не на самом ДС. — Впрочем, большевики заменили Ленина и Зиновьева другими делегатами («мы их выдвигали для демонстрации»).

Ленин из потаённого места (из Гельсингфорса): Большевики должны взять власть; составим такое правительство, какого никто не свергнет; ДС представляет соглашательские мелкобуржуазные верхи; Керенский готовит сдачу Питера немцам. Только большевицкое правительство удовлетворит крестьянство, только наша партия может обезпечить созыв УС. На очередь дня поставить вооружённое восстание в Питере и в Москве, свержение ВП; победим безусловно и несомненно; вспомним Маркса: «восстание есть искусство». Мы отнимем у капиталистов весь хлеб и все сапоги, оставим им корки, обуем их в лапти и тогда отстоим Питер. Окружить Александринку (где заседает ДС), занять Петропавловку, арестовать генштаб и ВП, призвать вооружённых рабочих к отчаянному последнему бою. (Ленин суетливо торопит произвести переворот в этих же днях, при начале заседаний ДС, и прямо от имени партии большевиков. Линия Троцкого: нет, это надо делать осторожней, когда сможем от имени СРСД.)

Кронштадт требует от ДС освобождения Рошаля и Раскольников (Железняков уже раньше того сбежал из Пересыльной тюрьмы). — В Иваново-Вознесенске и в Царицыне создаётся тысячная красная гвардия. — В Ташкенте солдаты увлечены большевицкой агитацией, власть захватил самозванный «революционный комитет», массовые обыски, погромы обывателей, неподчинение ВП на глазах осуждающих мусульман.

На открытии ДС. Чхеидзе: Государственная власть почти парализована; страна жаждет власти. Керенский (встречен шиканьем и свистом многочисленных большевиков): Вы ошибётесь, что если меня травят большевики, то у меня нет сил к демократии; если вы устроите что-

нибудь, то остановятся ж-д, не пойдут войска; мы верим в разум нации. Я не утвердил ни одного смертного приговора. — Каменев: Теперь Верховский признаёт, что нужна коренная чистка контрреволюционного командного состава, почему же в руки этого командного состава была дана смертная казнь? почему до сих пор не арестованы Савинков и Филоненко? Такое правительство не может пользоваться доверием демократии, весь государственный аппарат в руках заговорщиков; трудовые массы лучше справятся со всеми делами.

Безтолковая организация ДС, теряются часы и дни. Задача: какое разрешение дать для организации власти? Пять дней качаний: разрешить коалицию или нет? и какую? Все оттенки предложений: никакой коалиции, только однородно социалистическое правительство; коалицию можно с кадетами; с цензовыми элементами, но не с кадетами. Рев. демократы разрознились, одни большевики сплочены и знают, чего хотят. — Керенский ждёт результата прений на ДС, не решаясь конструировать ВП. — В прениях. Большевик Милютин: Пальчинский — это второй Корнилов. Рязанов читает выкраденную из «Речи» вёрстку статьи, не напечатанной в корниловские дни по нерешительности кадетов: «Ген. Корнилов преследовал те же цели, какие и мы считаем необходимыми для спасения родины. Мы говорили в тех же самых выражениях задолго до ген. Корнилова». И эта газета осмелилась назвать Максима Горького предателем! легенда о восстании 3-5 июля! Вы, Советы, возьмите власть и доведите скорей страну до УС! — Большевики собрали около театра «возмущённых представителей заводов и полков», Каменев вводит от них делегацию в зал. Они: Протестуем против состава ДС, тут рабочие и крестьяне в меньшинстве. Вся власть Советам! — Мартов, декларация от нового большинства ПСРСД: против коалиции, она ведёт к зигзагам и шатаниям в политике ВП. Создать истинную революционную власть, ответственную перед трудящимися народными массами. — Дан, декларация от меньшинства ПСРСД: Против попыток имущих классов преждевременно взвалить всё бремя власти и ответственность на плечи демократии; Советы, не стремясь к захвату власти, зовут к участию в ней все цензовые элементы, способные осуществлять задачи революции. — От правого меньшинства СКРД: Большевики предлагают социалистическую власть, но подчинятся ли они ей? 3-5 июля они направили пулемёты на Совет; большевики играют картами, краплёнными человеческой кровью. — По каждому неудобному выступлению большевики поднимают отчаянный шум и требуют, чтобы оратор взял слова назад. Но безкрайними овациями встречают Троцкого. Он и выделяется красноречием: Не слышал здесь ни одного оратора, кто защищал бы Директорию или Керенского; если тяжко взвалить бремя власти на многомиллионные плечи демократии, то как их несёт один Керенский, не обладая гениальными талантами ни полководца, ни законодателя? вакансия на Керенского открыта слабостью

революционной демократии; и если он тут заявил нам, что никогда не утвердил ни одного смертного приговора, то зачем вообще вводил смертную казнь? легкомыслие за пределами преступности. Коалиционная власть есть историческая бессмыслица или лукавство имущих классов, чтоб обезглавить народные массы; кадеты приходят или уходят, чтобы саботировать работу революционной власти. Троцкий зачитывает декларацию от имени большевиков: Только тот, кто хочет вызвать гражданскую войну, может предлагать новый союз с контрреволюционной буржуазией; сделки с цензовиками послают в массы тревогу и смуту, народ истерзан колебаниями советских вождей-оборонцев; революция подошла к самому критическому пункту, настал последний час решения. Наша партия никогда не стремилась овладеть властью против воли большинства трудящихся; создание советской власти означает честный демократический мир; отменить смертную казнь на фронте и восстановить свободу агитации в армии! всеобщее вооружение рабочих, красная гвардия. Из зала: «Зачем? зачем?» Троцкий: «Вооружённые рабочие будут защищать страну революции с таким героизмом, какого ещё не знала русская история!» — Церетели: Почему большевики сами не берут власть, а толкают к власти Советы? потому что они ничего не могут дать народу, и он их возненавидит; корниловщина и была следствием июльских дней. — Зачитывается речь Плеханова, отсутствующего по болезни: Не вижу разницы между теми, кто участвовал в корниловском выступлении и кто под следствием за 3–5 июля; после тех дней и разгрома на галицийских полях широкие обывательские слои, несомненно, отходят от линии Советов; и если ещё изолировать себя от торгово-промышленного класса, то рев. демократия потерпит жалкое крушение; вне коалиции нет спасения ни от внутреннего врага, ни от внешнего. — От Союза инженеров: «Рабочий контроль над производством» — это захват предприятий и уничтожение производства. — От кооператоров: Вы разрушители! куда ещё углублять революцию, если всё уже разрушено? все возглашают: «мы требуем!», и никто: «мы жертвуем». — (А за кулисами: кооператоры и земско-городские группы не понимают: почему надо лишить ВП всякого правого крыла? и смысл ДС уже и потерян.) — Но что делается в стране — инженеров, кооператоров, земцев, городских думцев на ДС почти не слушают или отбивают с негодованием. Весь нерв пятнадцатого совещания — соотношение партийных фракций, кучек, групп, теорий и деклараций.

И все 5 дней Директория ждёт, разрешат ли ей раздвинуться в правительство. — За эти дни Ленин тайно переезжает из Гельсингфорса в Выборг: Пугают гражданской войной, говорят о «потоках крови» в ней; нас не испугают эти вопли; над этой фразой смеются все сознательные рабочие; подобные потоки крови дали бы победу пролетариату и беднейшему крестьянству; пролетариат России доведёт Россию до победоносной революции на Западе.

Подсчитано: по стране произошло 11 тысяч самосудов. Керенский решает не уступать ташкентскому мятежу (он перекинулся на Коканд, Фергану, Бухару, Хиву, грабежи и насилия), посылает туда комиссара Коровиченко, подкреплённого войсковым отрядом. На ДС негодование: карательная экспедиция?! — Центрофлот (ЦК флота) из-за конфликта в Адмиралтействе (не получили намеченную себе квартиру начальника морского генштаба) даёт ультиматум ВП: 24 часа на отставку высоких чинов Флота. — ВП решается распустить Центрофлот. Центрофлот шлёт телеграммы всем флотским комитетам: морской генштаб покровительствует контрреволюционерам. — Центробалт, Кронштадт, Ревель: Поддерживаем Центрофлот! реакционное постановление ВП, узурпация власти революционного народа, с оружием в руках выступим на защиту! — Мятеж в иркутском гарнизоне, арестован командующий ВО. — В Харькове чернорабочие арестовали директоров электрических заводов и заставили подписать себе прибавку платы. — Гвоздев провёл трудные переговоры с Викжелем, вместо 5 миллиардов добавки вчетверо меньше. Подал результаты в ВП, но ВП не решается уступить, таких денег нет. Всеобщая забастовка железных дорог нависает. — Московский СРД, возглавленный большевиками, создаёт красную гвардию. — Отпущена из тюрьмы Суменсон. — Союзники официально заверили, что отвергли попытки Германии заключить европейский мир за счёт России.

Керенский в тупике, всё ожидая голосования в ДС. (Все министерства уже три недели как застыли без руководства.) — На шестой день, 19 сентября, — голосование. Сперва — принимается «за коалицию». Потом поправка: но без кадетов. Потом снова вся резолюция, и в том же составе совещания проходит «против коалиции» (она потеряла смысл, и многие теперь голосуют против). Ошеломительное голосование: тупик и недоумение, ДС само себя высекло, создать власть — не осталось путей. — «День»: «Так можно было только в эмигрантских кружках решать фракционные дела, но так нельзя поступать с Россией». «Рабочая газета»: ДС — тупик, заколдованный круг. «Земля и воля»: Получили то же пустое место, с которого начали. «Дело народа»: До тошноты и отвращения надоели слова. «Воля народа»: Словесная война до полного истощения сил. «Народное слово»: Сила большевиков объясняется резкой отчётливостью их лозунгов и позиций. — В большевицкой печати: «Гоцлиберданы, собирайте чемоданы!» — Плеханов: «Церетели и его друзья, полупулюнцы, сами того не сознавая, прокладывали путь для Ленина. Ленину остаётся сделать только несколько шагов, чтобы восторжествовать окончательно».

Партийная часть ДС откололась от земско-думско-кооперативной, и ещё раскол между партиями. Одно решили в глупи ночи: ДС не разъедется, пока не установит условий власти в приемлемой форме. — Церетели, Гоц, Авксентьев: единство любой ценой! искать формулу! как

выйти из конфуза, сохранив лицо? Крах самой идеи «объединённой демократии»: кто же она такая есть? — Весь день 20 сентября заседает президиум ДС в Смольном и ищет формулу. Приезжает Керенский убеждать, чтоб ему дали право на коалицию. — Церетели к концу дня находит формулу: о коалиции, о которой спорили 6 дней, в окончательной резолюции вообще умолчать! А: чтобы ВП было ответственно перед предпарламентом, который ДС сейчас выделит из своей среды. — Перед полуночью собирается ДС, Церетели представляет проект резолюции. Её бомбят Троцкий, Луначарский, а после неосторожного выражения Церетели о большевиках они, в третьем часу ночи, дают ему 5 минут на принесение извинения и с ругательствами и грозя кулаками уходят из зала в фойе, а кто и на улицу. — Страх порвать с большевиками! — и в принципе, и практически (они могут и охрану от Александринского театра снять). Через час заседание возобновляется, но без большевиков, Церетели исправляется. К пятому часу утра ДС принимает резолюцию о создании предпарламента. — «Рабочий путь»: Приступайте, господа соглашатели, к новому опыту. Он будет последним, за это мы вам ручаемся.

Предпарламент — каким способом его создать, и за два месяца до УС? Плеханов: кто издаст тот закон, на основе которого будет создан предпарламент? «День»: Можно ли найти в ДС двух делегатов, подразумевающих под предпарламентом одно и то же? и вряд ли найдётся хоть один, который вообще понимал бы, что это такое. «Речь»: Сама демократия отказывается от всеобщего избирательного права: частное ДС передаёт предпарламенту права, которых само не имело, и будто он сможет разрешить то, чего не могло оно; узурпация власти. — 21 сентября, опять к полуночи, ДС составляет предпарламент пропорциональным выделением из своих фракций. — От Церетели-Гоца-Авксентьева Керенский получает разрешение предварительно формировать правительство, но утвердить его потом на предпарламенте. Керенский отказывается формировать однородное социалистическое, будет пытаться коалиционное.

Воззвание Керенского к железнодорожникам: всеобщая железнодорожная забастовка обрушит неисчислимые бедствия на армию и города. Железнодорожники отвечают ему ультиматумом, срок двое суток (Керенский просит пять). — Через посредничество ЦИК отменяется отпуск Центрофлота. — Ташкент с уездом и Орёл на военном положении. В Ташкенте общая забастовка. — В Козловском уезде возобновились волнения. — Курск, Саратов и Ростов н/Д на грани продовольственных погромов.

ПСРСД решает переизбрать чхеидзевский Исполком. Самый популярный человек в ПСРСД — Троцкий, его избрание председателем петроградского Совета предreshено. — Но вот и Бухарин с резкой речью: Коалиция картошки со свёклой вызывает только расстройство;

кооператоры, испуганные революционные мещане, занимаются политическим шантажом; мы всегда будем раскольниками, т. к. ничего общего не может быть между волками и овцами; с этими принципами мы шли на ДС, и в предпарламент идём как на агитационную трибуну, клеймить соглашателей. Источником власти могут быть только Советы, Всероссийский Съезд СРСД. — Троцкий: можно проморгать всю русскую революцию. Постепенно мы научимся управлять. — И бухаринская резолюция: ВП намеревается ввести в свой состав корниловско-кадетских заговорщиков; предпарламент — это прикрытие для новых сделок с буржуазией; только Советы могут спасти революцию; надо создать специальные органы по борьбе с контрреволюцией. — Ленинская статья с оценкой ДС: Партия дала себя завлечь в ловушку презренной говорильни; хорошо бы потолок Александринки провалился и раздавил всю эту банду хамских душёнок; эсеры и меньшевики потеряли большинство, идёт нарастание *новой революции*. — Плеханов: Посеешь полуленинство, пожнёшь ленинство. Гряди, Ленин, полуленинцы приветствуют тебя!

22 сентября. Закрытие ДС, утверждён список членов предпарламента. Дан от меньшевиков предлагает обращение «К демократии всего мира»: Позорное иго царизма... наследие старого режима тяготеет над самоотверженными усилиями демократии; успехи германского оружия идут на руку корниловской контрреволюции; мы с марта ждали, когда все народы подымутся за мир без аннексий. Демократия всего мира! на помощь революционной России! — Большевики срывают: Почему не предупредили? мы не можем кончить ДС этим позорным актом. Мы посылаем своих в предпарламент, чтоб обличать ваши уступки буржуазии и развернуть знамя пролетариата.

Министр почт Никитин по телеграфной сети: Призыв к остановке ж-д есть измена родине, подобен корниловскому заговору. Ответ Викжеля: Ваша телеграмма есть призыв к разгрому демократической организации, произведение провокационной литературы. Всероссийский почтово-телеграфный союз: Полная поддержка забастовок ж-д служащих, беспрепятственно пропускать их телеграммы. — Ультиматум правительству от бакинских нефтяных промыслов, грозит забастовка. — Союз моряков торгового флота требует немедленного увеличения окладов. — Центрофлот вернулся к своим прежним требованиям, но ответа ждёт не от ВП, а от ЦИК. Следственная комиссия СРСД начинает проверку всего состава чинов морского генштаба: не контрреволюционеры ли они? — В Гомеле скопилось 8 тысяч солдат, отказываются идти на фронт. — Сгорел театр на Адмиралтейской набережной, занятый полевой почтой; погибли миллионы пакетов и писем для армии. — Анархист Блейхман в Кронштадте призывает к убийству Керенского и Церетели.

Керенский в Малахитовом зале Зимнего наконец может собрать совещание остатков своего ВП, представителей кадетов, торг.-пром.

кругов и ДС: как же и на какой основе создать коалиционное ВП («3-я коалиция», и последняя возможная)? Немедленно нужны сильные люди, авторитетное правительство. (Но допустит ли его рев. демократия?) Сегодня же сговориться и завтра же опубликовать список министров. — Однако все понимают по-разному: ведь программа рев. демократии не есть программа Керенского? решения ДС не обязательны для ВП? само ли ВП назначает предпарламент и ответственно ли перед ним? ответственно фактически или формально? из предпарламента (псевдопарламента) какая опора, если он сам так расколот? и вместо него ничего другого не выдумает; так ДС отвергло коалицию или приняло? без коалиции невозможно составить правительство; но тогда надо вводить цензовиков и в предпарламент, а ДС не предусмотрело такого. — Церетели: У ВП должна быть яркая демократическая программа. Кишкин: ВП отсекло корниловцев, а готова ли рев. демократия отсечь большевиков? Гвоздев: Мы должны думать уже не о программах, а о сохранении самой России, как выйти из национального бедствия? Терещенко: Из 197 дней существования революционного правительства 56 дней ушло на кризисы. Набоков: Предпарламент — это извращение идеи парламентаризма; фантастическое избирательное право, и как же наделить его суверенностью? — Кадеты требуют независимости ВП. Церетели пьют, сколько может, от решений ДС. Но компромисс не достигнут и к 4 часам утра.

Днём 23-го снова собираются обсуждать августовскую, на МС, программу Чхеидзе: что можно из неё уступить, что нельзя. Решают включить в предпарламент цензовую четверть. Но правительство не создано и в этот день; уже видно, что в ВП не войдёт ни одна авторитетная фигура ни от социалистов, ни справа, будет коалиционный недоносок. — А на первом заседании предпарламента Церетели снова обещает, что ВП будет ответственно перед ним. Разлады и скандалы, грозят уходом; Чернов неприлично мечется между эсерами, следит, кто как голосует. Церетели: Политика Троцкого и Мартова ведёт демократию к гибели. Троцкий: Вопреки вотуму ДС вы вступили в соглашение с кадетами? это провокация гражданской войны. Прервать переговоры с Керенским и приступить к формированию народной власти Советов! когда массы вручат власть нам, большевикам, мы не выпустим её из рук! — ЦИК под давлением большевиков соглашается приблизить 2-й съезд Советов, созвать его 20 октября. — Троцкий ожидает быть избранным послезавтра председателем ПСРСД; первой же резолюцией намечает провести: никакой поддержки новому ВП, свергать его!

У Церетели и Чхеидзе в Петрограде всё отыграно и проиграно, пора уезжать на Кавказ, укреплять Грузию. — Маклаков собирается ехать в Париж послом. — Милюков отдыхает в Крыму. — Гучков в Кисловодске, перед отъездом за границу. — Общественный вакуум. На-

строение обывателей: мы — рабы солдат, рабочих, прислуги; вот-вот выступят большевики; уж лучше пусть немцы приходят. — Жена Шингарёва убита крестьянами, их Грачёвка разграблена.

Быт узников в Быхове. Очередной допрос ген. Корнилова следственной комиссией. Деникин и Марков. — Царская семья в Тобольске. Содержание по-тюремному. — Долгие осенние ночи над деревнями России. Иноковка Кирсановского уезда; крестьянин Пётр Токмаков, офицер из унтеров, будущий командарм тамбовской повстанческой армии.

Мало всеобщей разрухи транспорта, сегодня с полуночи Викжель объявил всеобщую (кроме прифронтовых дорог) ж-д забастовку.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ПЕРЕВОРОТ

*И коль на то пошло, скажу: лишь топором
Себе добудет он и счастье, и свободу.*
Демьян Бедный

Топор своего дорубится.
Русская пословица

УЗЕЛ VIII — ОКТЯБРЬ — НОЯБРЬ СЕМНАДЦАТОГО (21 ОКТЯБРЯ — 8 НОЯБРЯ)

После 8 месяцев Великой Революции. — Окопники изнуряются, почему не идут к ним пополнения из тыла, весь тыл переполнен солдатами, но те «защищают революцию». Запасы муки на фронте при конце, впереди голодная, холодная зима. Бросать окопы да в тыл и нам, навести там порядок? К офицерам нет больше доверия, все враги и изменники. — В армии началась и избирательная кампания к УС; солдаты уже не о свободе, не о земле, — а только бы мир! ясно, что правы большевики: «не жалеют нашей крови! кончать бойню!» Мирные переговоры не начнутся, пока власть не перейдёт к большевикам. — Женский батальон Бочкарёвой на ЗФ просит перевести его в другое место, от издевательства и насмешек соседних солдат. — Насилия войск над жителями в прифронтовой полосе. Разгул солдатской анархии на Волыни.

Запас топлива на ж-д — одна треть нужного; намечена отмена скорых и пассажирских поездов, останутся одни почтовые, и всё сокращается товарное движение. Грабёж ж-д грузов. Самоуправство солдат всё буйней; жгут настилки теплушек, снеговые щиты; гонят паровозы, не давая им ремонтироваться, даже заправляться; насильничают над ж-д служащими, теперь лишёнными всякой охраны, и те десятками убегают со станций прочь перед приходом воинских поездов; разгромы станций; поезда загромождают дороги и не идут.

Захваты хлебных барж на Волге. Между хлебными районами и фронтами — пространство анархии, которое нечем преодолеть. —

Погромы имений; чего нельзя унести — уничтожают; погромы хуторян и просто зажиточных крестьян, жгут их постройки, делят землю; многие крестьяне уже вооружены винтовками и гранатами; потасовки между деревнями при дележе награбленного; всюду открытое винокурение из муки; рубят леса по произволу. — Грабежи и насилия по всей провинции. Дневные грабежи городских учреждений, складов и частных домов; бездействие милиции, домовые комитеты создают вооружённые отряды самозащиты; преступники владеют толпами, сила толп; конфискуют товары в лавках, избивают служащих трамвая. — Вооружённые рабочие в провинции переворачивают соотношение власти; в разных городах захватывают и расхищают фабрики, кожевенные, текстильные. Массовое закрытие промышленных заведений, где без топлива и сырья, где по убыточности, по безделью и самоуправству рабочих; инженеры не выходят на заводы, чтоб избежать расправ. — Младший больничный персонал в лазаретах издевается над врачами и сёстрами.

Многие земства в финансовом крахе. Система продкомитетов, не давшая государству хлеба, обошлась в 250 млн рублей (прежняя система уполномоченных — в полгода 1,5 млн). — Ходят фальшивые деньги. Во всём неустойчивость, неуверенность. От недостачи продуктов повсеместная злоба в населении. «Грабят везде, и жаловаться стало некому». «Во всём буржуи виноваты», на них всё и зло. — Шингарёв: Революция превратилась в дикое хулиганство. Шульгин (в Киеве): Российская держава превращена в кабак.

Украинский войсковой съезд 3Ф постановил: Не ожидая ответа ВП, Рада должна взять окончание войны в свои руки. — Рада самовольно отменяет оперативные распоряжения Командующего Киевским ВО и Гк-щего ЮЗФ — Винниченко: Воля украинского народа может быть объявлена без всяких ограничений лишь на украинском УС, а не всероссийском.

В Москве забастовка «всех против всех»: перебастовали могильщики (не хоронили трупов), дворники, водопроводчики, официанты, санитары, фармацевты, телефонные барышни, банковские клерки, нависает всеобщая забастовка всех городских предприятий и общественных учреждений, почтамта Москвы и Петрограда. — Московский СРД: Все требования бастующих рабочих осуществлять декретом и явочным порядком, капиталистов ставить перед угрозой ареста. Мосгуб. Совет: не считаться с распоряжениями ВП о продовольствии.

В Петрограде запас муки на 3 дня, подмешивают ячмень; хлебный паёк уменьшен до полфунта в день. Забастовка рабочих склада «Нобель», и Петроград без керосина для разогрева пищи, где и освещения. — Петроградские аптеки не вылезают из многих забастовок, население без лекарств; аптековладельцы работают сами («штрейкбрехеры») под охраной от собственных служащих, не дающих отпускать ле-

карства. — Запустение, непроходимо грязно на улицах, голод в больницах. — Солдаты покупают без карточек и без очереди пайковые товары, потом перепродают. Городская дума ввела солдатам плату пятак за проезд в трамвае (все платят 20 к.), ПСРСД остановил распоряжение. (Троцкий на митинге: Обирательство солдат! вообще не платить!) — Рабочие взбудоражены слухами о предстоящем массовом расчёте и эвакуации заводов. Красная гвардия хозяйничает на своих заводах, иногда обыскивает (и при этом грабит) частные дома. — По ночам на улицах стрельба в воздух. Тёмным петроградским утром школьники не могут пройти в школу безбоязно от грабителей; гимназии полуопустели. Готовится эвакуация Эрмитажа и музея Александра III.

Скоро месяц, с 23 сентября, в Мариинском дворце заседает «предпарламент». (Большевики во главе с Троцким шумно ушли из него в первый же день.) Несмотря на сдачу островов Эзеля, Даго, побережья Рижского залива (БФ отслужил, так и не начав воевать), за последние несколько дней прений предпарламент оказался безсилен принять резолюцию об обороне страны, отвергнуты шесть формул. Изводяще скучные, трафаретные речи. Ревдемовское большинство уже снова в оппозиции к ВП (хотя его члены состоят в ВП). — Речь Струве: У нас гипноз пустословия, живём в сумасшедшем доме; авантюристы, вору, профессиональные убийцы начинают творить историю русской революции. (Смех и негодование в левой стороне.) — «День»: Бег на месте, однообразная гимнастика революции, анемичная фракционность.

Напорная агитация большевиков: ВП — шайка узурпаторов, Керенский сам запутан в корниловском мятеже и таит новые корниловские замыслы; теперь вместе с Родзянкой готовит сдачу Петрограда немцам! (В середине октября Керенский делает попытку вывести часть петроградского гарнизона на фронт, вот оно, главное звено, ключ к восстанию!) Чтобы спасти революцию, мы должны взять оборону Петрограда в свои руки, и для того-то петроградский гарнизон и не должен идти на фронт, где все офицеры — контрреволюционеры, мы призваны защищать революцию здесь! хотят создать вражду фронтовиков против петроградских солдат! Троцкий: Если власть возьмёт Совет — гарнизон останется в столице! (Луначарский ездит и в Москве по казармам, призывает их не идти на фронт; с успехом: «Лучше умрём в Москве на баррикадах, чем пойдём на фронт!»)

Большевицкая пропаганда не ставит предпарламент ни в грош, высмеивает. А как с УС? Гениальная находка Ленина: Хотя мы за «вся власть Советам», но мы и не против УС. (УС весьма популярно в войсках; использовать и это чучело, пригодится; разве пролетарская диктатура противоречит буржуазному УС? такой «комбинированный тип».) Именно Керенский-Родзянко-Милюков, корниловцы и министры-капиталисты хотят разогнать УС, а именно Советы не позволят этого! Ленин: При власти в руках Советов УС обеспечено и его успех обеспечен.

С конца сентября Ленин торопит: Партия не должна ждать с восстанием 3 недели до съезда Советов; надо брать власть немедленно! (Конкретного плана действий он не имеет — может быть, движением балтийских матросов из Финляндии, с помощью Смильги?) — 10 октября на ЦК Ленин констатировал «равнодушие к вопросу о восстании». Тем более, «ждать до УС, которое явно будет не с нами, бессмысленно, ибо это значит усложнять нашу задачу», «дело совершенно созрело для перехода власти...» — И 16 октября: «Настроением масс руководиться невозможно, ибо оно изменчиво», но «массы идут за нами». «Выступая теперь, мы будем иметь на своей стороне всю пролетарскую Европу. У нас именно теперь особенные шансы удержать власть». «Надо говорить о технической стороне... относиться к восстанию как к искусству... Всесторонняя и усиленная подготовка вооружённого восстания. (А плана не предлагает.) — Но тут заколебались Каменев и Зиновьев (и не одни они). Ленин в ответ им — «Письмо к товарищам» на 20 стр., в трёх номерах «Рабочего пути»: «Неслыханные колебания, способные оказать губительное воздействие на партию». «Эта парочка товарищей, растерявших свои принципы», бегство от действительности... Обзор всех доводов, почему мы сильны и всё усиливаемся; и почему начинать нам, а не ждать нападения на нас; и почему нам не страшна изоляция от всех левых партий; и чем мы накормим повстанцев, не имея хлеба; и как заключим перемирие с немцами. «Промедление в восстании смерти подобно». — И вдруг в последний момент узнаётся, что «эта парочка товарищей» не ограничилась возражениями на своём ЦК, но пустила рукописный листок по членам партии, и он попал в круг левых меньшевиков. Предательство! ударить и по предателям и по «презренным дурачкам из “Новой жизни”». — Каменев объясняет в свою защиту: При данном соотношении сил и за несколько дней до съезда Советов захватывать власть было бы губительным для пролетариата. Наша партия не зарекается от восстания, но перед ней слишком большая будущность, чтобы совершать шаги отчаяния. Зиновьев: Воздержусь от полемики; присоединяюсь к Троцкому, мы можем сомкнуть ряды.

А председатель Совета Троцкий носится по столице раскалённым метеором, выступает на массовых митингах, выступает в полках, и всюду успех, восторг, он герой этих дней. (Чутко следит за созреванием гарнизонного настроения к восстанию, готовит его.) «Нет, СРСД не назначает срока вооружённого наступления. Это ВП готовит покушение на Советы; наступать собирается буржуазия, и тогда мы ответим контрнаступлением; оно будет беспощадно и доведено до конца». А как накормим народ? В каждую деревню пошлём солдата, матроса и работницу, они оставят зажиточным сколько надо на пропитание, а всё остальное — бесплатно в города и на фронт! — Почти все пехотные части гарнизона уже признали власть только Совета. Резолюция Гренадерского: Выступать с музыкой время прошло, теперь — только идти цепями!

Ещё 12 октября при ПСРСД создан Военно-Революционный Комитет (направляемый самим Троцким), как бы для борьбы против контрреволюции и защиты прав гарнизона; 16-го он утверждён пленумом Совета и начинает себя вести как фактическая военная власть в Петрограде, штаб восстания (его действия и решения уже не обсуждаются на Совете). 18-го он созывает представителей в/ч, чтоб установить чёткое подчинение. (19-го спешит созвать их и ЦИК в тщетной попытке переубедить на свою сторону.) — Усиленно вооружаются с казённых военных складов рабочие Выборгской стороны. В Петрограде нет серьёзной военной силы противопоставить перевороту. (Расчёт Троцкого: хотя фронтовики озлоблены против петроградского гарнизона, но к действиям против Петрограда фронт не стронется, в нём не осталось связующей силы.)

Переворотом надо опередить выборы в УС. Но хорошо бы приурочить его к предстоящему съезду Советов, чтобы ЦИК оказался вовсе без прав, обезсиленным, а новый съезд тут же создаст и новый ЦИК, какой нужен большевикам. — При возражении многих армейских комитетов (не время для съезда накануне УС и тяжёлое время на фронте), большевики всюду объявляют об его открытии 20 октября и вызывают своих делегатов с мест (из 900 местных советов лишь 50 вполне большевицких), да числом побольше. Громогласят: скорее, скорее съезд! он даст землю и перемирие на всех фронтах. — Тогда ЦИК дрогнул: съезд созвать, но на 5 дней позже, 25 октября, чтоб успеть собрать и своих сторонников; разослал радиogramмы и к армейским комитетам. («Рабочая газета»: Бюро ЦИК поддалось большевицкому шантажу, это безумие.) — Но ЦИК не теряет надежды объясниться и поладить с большевиками и не предпринимает ничего властного. Дан: «К чему ведут большевики? пусть скажут прямо и честно».

Уже две недели, как только и разговоров в столице о скором большевицком восстании. Раньше их выступления были неожиданны, а сейчас и не скрывают?! — Воззвание ЦИК к солдатам и рабочим: Тёмные силы готовят в Петрограде и других городах беспорядки и погромы, чтобы потопить в крови революционное движение, водворить корниловщину. В этих условиях преступна попытка выступить даже со стороны демократии, сыграли бы в руку контрреволюции. (Но и в самом ЦИК раскол, подаются голоса и против резолюции, запрещающей выступление.) — «Известия» (20 окт.): Авантюра с вооружённым выступлением большевиков в Петрограде — дело конченное; они изолированы всеобщим негодованием демократии. «Рабочая газета»: Небольшие кучки, неминуемо будут разгромлены. «Речь»: Их предприятие безумно и неосуществимо, несомненно, бунт будет подавлен; зарвавшиеся игроки ещё одумаются вовремя. — Совещание у Керенского по поводу ожидаемого выступления большевиков: ПВО, командиры в/ч. П-к Полковников разделит город на районы (как было при

Хабалове), в каждом будут свои патрули, арестовывать всех, кто является в казармы с преступными призывами. ВРК? — ПВО ничего не знает о нём; если присвоение чужих компетенций, то контакта с ними не может быть. А против *идейной* пропаганды выступления у правительства нет законных прав. Но Полковников уверен: выступление большевиков не состоится. — (А расчёт Троцкого: в чём была ошибка 10 июня и 3 июля? — участие масс. Не надо его, надо действовать малыми группами, ни демонстраций, ни баррикад, ничего, что привыкли видеть в восстаниях; вовлечь массы в восстание так, чтоб они и не заметили этого; гарнизон в массе своей вообще не выступит, но это и даёт возможность действовать на улицах меньшинством. — А Ленин всё не видит, что восстание *уже началось*, всё торопит из подполья: начинать! начинать!)

А слухи неумолимо сходятся: переворот будет 20-го! И большевики не отклоняют эту тревогу, обострённое ожидание, нервное напряжение до крайности! Накануне многие петроградцы, кто мог, уехали из города, чтоб этот день не быть в Петрограде; а многие — не решаются выходить из дому, улицы пустыни. (На Песках переполох: кто-то затеял испытание сирен, поняли так, что начало резни? и толпы прятались по дворам.) — На Дворцовой площади для охраны штаба ПВО и ВП — броневики, патрули юнкеров, отряды охраняют телеграф, телефон, банки, «Асторию». Но ВП не решилось ни на единый предварительный арест, ни тем более — Троцкого. (Керенский объяснял Бьюкенену, что даже *хочет* выступления большевиков, чтобы иметь право употребить против них силу.) — Весь день проходит в напряжении, а восстания нет. Отменили? перенесли? Всем видно, что правительство в параличе воли. — На секретном заседании двух комиссий предпарламента доклад Верховского, не согласованный с ВП: Армия больше воевать не может, надо спасать государство; вырвать почву из-под большевиков, самим первым предложив мир; заключить мир, какой сейчас возможен. И нужна сильная единоличная власть

21-го октября в «Рабочем пути» кончилось печатание трёхдневной ленинской статьи с открытым полным обоснованием необходимости и правильности безотлагательного вооружённого восстания. — Общий слух в городе: восстание перенесено на воскресенье 22-го? Нет: Троцкий объявил 22-е «днём петроградского Совета»: не демонстрация, а день повсеместных «мирных митингов» и «смотр сил» солдат и рабочих. — Но 22-е — день Казанкой Божьей Матери, и петроградские казачьи полки назначили моление о спасении родины и массовый крестный ход по городу, созывают всех жителей. Вот и столкнутся? (Паника в ВП.) — Бурцев прослышал о вчерашнем докладе Верховского и печатает в своей газете «Общее дело» разоблачение о Верховском, что он изменник, предлагает сепаратный мир с Германией, тайно от союзников. (За это газета в тот же день закрыта.) — Вер-

ховский весь день опровергает слухи о своей отставке. В ВП кризис: меньшевики грозят отозвать своих министров: Никитина, Прокоповича, Малянтовича (внутр. дел, продовольствия и юстиции). — Кризис и с Терещенкой: предпарламент не доверяет ему ехать единственным представителем России на ожидаемую в ноябре союзную конференцию в Париже; должен с равными правами, вторым голосом, ехать Скобелев от рев. демократии (двоевластие во внешней политике). На заседании предпарламента и дебатировается, в каком статусе ехать Скобелеву: как члену правительственной делегации или прямо от Совета? — Троцкий в Финляндском батальоне ведёт дискуссию против ЦИК. А вечером вновь собирает делегатов от полковых и ротных комитетов всех пехотных частей: вот собирается съезд Советов, он даст землю, мир и хлеб, вот образован и действует ВРК. Пехотные части обещают полное подчинение ему. — Гиппиус: Теперь, говорят, назначили на 25-е; скорей бы нарыв прорезался, так жить нельзя. — Поздно вечером Керенский не выдержал напряжения и, по телефону, распорядился отменить завтрашнее казачье моление и крестный ход. Казаки подчинились с ропотом.

ВРК уже второй день контролирует (Антонов-Овсеенко) все «подозрительные материалы» в типографиях, пропускать ли. В эту ночь представители ВРК являются в штаб ПВО и предъявляют требование: отныне все распоряжения по гарнизону должны получать утверждение от ВРК. Полковников отказался, да ведь уже и так существует совещание ЦИК при ПВО. Представители ВРК удалились. — Что делает штаб? Ничего: ведь наблюдение Совета над штабом вводили и в апреле, ничего в нём нового нет, и сколько уже раз гарнизон обещал верность Совету; а открыто большевики не выступили, нечего давить. (Троцкий: «Мы углубили методы двоевластия и прикрыли его приёмами восстание гарнизона». Чему-то же научились в июльские дни: восстание должно вестись как по нотам.) — В эту же ночь Керенский в Ставку Духонину: С восстаниями и без меня управятся, т.к. всё организовано; с действиями ВРК легко справимся.

22-го в Смольном, нынешней резиденции ЦИК и ПСРСД, новое совещание делегатов полков: вот как, штаб ПВО отказался подчиниться ВРК! Телефонограмма Совета во все в/ч: Штаб ПВО не признал ВРК, и этим самым порывает с революционным гарнизоном и Советом, становится орудием контрреволюционных сил. Никакие распоряжения штаба по гарнизону, не подписанные ВРК, более не действительны. (По Сталину, позже: Каждый шаг восстания проводился под видом обороны: отказ от вывода гарнизона — «для защиты Петрограда от немцев»; ВРК перенял военную власть «для контроля над штабом Округа».) — Штаб ПВО впервые оценивает серьёзность угрозы. Полковников тоже собирает представителей полковых комитетов, но не многие явились; ни от ЦИК, ни от ПСРСД (ведь конфликт между ними). Большевицкий

прапорщик Дашкевич огласил телефонограмму ВРК и удалился. — На Дворцовой площади не стало и броневиков, сняты караулы с главных учреждений: сегодня — «мирный день Совета».

«День Совета», много собраний и рабоче-солдатских митингов по всему городу. Троцкий мечется по ним весь день, расцветая в непрерывных речах: Против «правительства корниловцев», оно отдаёт приказы своей белой гвардии расстреливать рабочих! Близок час решительной битвы! буржуев — экспроприровать и в тюрьмы их! Неизбежность перехода власти в руки Советов! (И ни слова нигде об УС.) — Особенно многолюдно в Народном доме, экстаз толпы. Троцкий: Советская власть отдаст всё, что есть в стране, бедноте и окопникам. У тебя, буржуй, две шубы? отдай одну солдату; отдай рабочему тёплые сапоги, а сам посиди дома. (А проголосовав «за рабоче-крестьянское дело до последней капли крови» и пока ещё рук не опустили: Это ваше голосование пусть будет вашей клятвой!) — «День»: Сегодня, м. б., тёмные силы постараются ввергнуть столицу России в ужасы гражданской войны. Наш перепуг, наше малодушие — их пожива. — После службы в Казанском соборе всё ж потекла по Невскому стихийная демонстрация молящихся.

ВП в Зимнем ждёт уличных выступлений, но их нет; значит, всё в порядке. Приехавшие члены бюро ЦИК убеждают Керенского воздержаться от активной борьбы: конфликт с большевиками конечно решится мирным путём; сами по себе большевики не опасны, но они могут навлечь на нас силы контрреволюции. — После ночного заседания ВП Керенский едет совещаться в штаб ПВО. Категорически отказывается от предложения арестовать ВРК, попытаться захватить Смольный. (Наносить удар первому невозможно! что скажет рев. демократия?) Вызвать надёжные части с фронта, самокатчиков (но Совет и задержит их в пути, как было в августе с корпусом Крымова).

23-го в Смольном заседает ВРК (ЦИК почти бездействует), Подвойский, Антонов-Овсеенко, Лазимир, тут и «военка» большевиков, и Свердлов. Под рукой у них уже и большевицкие депутаты предстоящего съезда Советов, есть из кого набрать и послать в каждую в/ч и в каждый важный пункт столицы *комиссаром ВРК*. Все приказы должны утверждаться только комиссарами ВРК и они — *неприкосновенны!* — Маховик восстания раскручивается. В ВРК снова заседают представители полковых комитетов и шесть часов напролёт докладывают о настроении частей. — В Петропавловской крепости комиссара ВРК не приняли, она — за ВП. Троцкий немедленно сам едет туда, устраивает митинг. Восторг, принята резолюция против буржуазного правительства, и комиссар усажен на место, крепость — наша, и кронверкский арсенал, 100 тыс. винтовок.

Днём телефонограмма Полковникова в ПСРСД: зачем такие приказы ВРК, когда при штабе Округа есть представительство ЦИК? ула-

дим конфликт, отмените приказы. — Меншевицкая фракция ПСРСД к рабочим и солдатам: Вдумайтесь, к чему поведёт выступление! это будет торжество монархических и черносотенных шаек. — Объявлено об уходе военного министра Верховского из ВП. — А в Мариинском, в предпарламенте, речи, речи при почти пустом зале. Пешехонов, Скобелев, Потресов, Мартов; снова Терещенко о внешней политике. (В кулуарах слух: большевики намерены арестовать ВП, разогнать предпарламент и даже ЦИК; но рев. демократы надеются, что конфликт уладится мирно.)

Вечером в Смольном многолюдный пленум ПСРСД. Антонов-Овсеенко: задержано 10 тыс. винтовок, отправляемых в Новочеркасск. Резолюция: Совет надеется на энергичную деятельность ВРК. — В 3 ч. ночи ВРК ответил ПВО, что признаёт неправомерность своего акта (но не отменил его и по полкам не объявил, просто выиграть часы). — Ночное заседание ВП в Зимнем. Керенский: Готовят явный захват власти; надо арестовать ВРК? Малянтович: Сперва спешное расследование, чтобы не арестовать непричастных к делу. — Но как решиться подавлять большевиков силой? надо министру-председателю завтра получить предварительное парламентское одобрение. — Ночью Керенский снова в штабе ПВО. Штаб уже без Петропавловки, без Арсенала. Отстранить всех комиссаров из в/ч? так им же первым и попадёт в руки этот приказ, не выполнят. Придут ли с фронта вызванные на подмогу части? скорей всего, нет. Единственное, не требующее крупного отряда: послать сейчас и силой закрыть типографии большевицких газет «Рабочий путь» и «Солдат». (Осторожно! для равновесия закрыть и две правых газеты!) Под утро закрыли.

За ночь агитаторами ВРК остановлены на местах и по пути вызванные ВП ударники из Царского Села, артиллерия из Павловска, часть школы прапорщиков из Ораниенбаума. Воззвание ВРК: Контрреволюция подняла свою преступную голову, корниловцы мобилизуют все силы сорвать УС, не дадим! Преступники будут стёрты с лица земли!

24 октября отряд ВРК освобождает типографию «Рабочего пути», и газета снова набирается. — Телефонограммы ВРК во все в/ч: Ночью контрреволюционные заговорщики пытались вызвать юнкеров и ударные батальоны, замышляют предательский удар против Петроградского Совета; всем завоеваниям солдат грозит опасность. Приказываем привести полк в положение боевой готовности и ждать распоряжений; неисполнение приказа будет считаться изменой революции. — После этого телефоны Смольного отключены на телефонной станции. Но на защиту Смольного с утра и весь день приходят новые отряды, от Литовского, от Павловского батальонов, уже много пулемётов, есть пушки и броневики. Смольный становится крепостью (ЦИК почти убрался оттуда); не впускается никто посторонний, ни тем более корреспонденты

буржуазных газет. — «Новая жизнь»: Подавление большевиков и неосуществимо и бесплодно; не может одна часть демократии подавлять другую как бы в союзе с Корниловым; нет другого политического решения, кроме ликвидации нынешнего ВП. — «День»: Их цель не собрать своевременно УС, а своевременно сорвать его; восстание без стихии и без страсти, мозговое и сфабрикованное в замедленном темпе.

24 октября — мрачный короткий петербургский день глубокой осени; по свинцовой реке уже и серые льдины; срываются малые снежинки. — По распоряжению ВРК «Аврора», стоявшая на ремонте у Франко-Русского завода (и нарочито задержанная там Центробалтом), поднялась по Неве до Николаевского моста. И потом не подчинилась распоряжению ВП покинуть Неву. — Через радиостанцию «Авроры» Троцкий шлет радиogramму: Контрреволюция перешла в наступление; всем гарнизонам Округа задерживать контрреволюционные эшелоны, идущие к столице. — В самом Петрограде войска не выходят из казарм (таков приказ штаба ПВО, но такой же и от ВРК: боеспособность полков ничтожна, от них на улице только бы сумятица; лучше черпать малыми надёжными отрядами). — Пикеты юнкеров на улицах, на вокзалах; и разбросаны малыми группками для охраны учреждений. (Юнкера стеснены своими училищными комитетами, где равноправно участвуют нестроевые солдаты большевицкого направления, они же часто владеют и оружием училища.) На Дворцовую площадь приведено 12 броневиков. — Приказ Полковникова по ПВО: Всех комиссаров ВРК из в/ч устранить; все выступающие вопреки приказу штаба будут преданы суду как за вооружённый мятеж. (Но не указано, кто и как обезпечит эти приказы.) — ЦИК поддерживает приказы ПВО (тоже воззвание к гарнизону).

А в предпарламенте с полудня — «большой парламентский день» Российской Республики. Зал полон, нервно выступает Керенский: Всё наглей попытки *двух флангов* (правого — тоже) сорвать УС. Разыскиваемый государственный преступник Ульянов-Ленин зовёт к вооружённому восстанию (цитирует). Явная связь между выступлениями обоих флангов, большевицкого и черносотенного. А между тем мы, ВП, готовим временную до УС (т. е. на один месяц) передачу помещичьих земель в руки земельных комитетов, как того требует рев. демократия, и будем ставить вопрос перед союзниками, как приблизить мир. Я вообще предпочитаю, чтобы власть действовала более медленно, но и более верно; нельзя упрекнуть ВП, что оно превосходит меры воздействия: мы дали ВРК время осознать свою ошибку и дали им срок исправить её; вместо этого рассылается телеграмма привести полки в боевую готовность, и уже началась самовольная раздача патронов; юридически квалифицирую это как восстание. Не само по себе опасно восстание в Петрограде, а может вызвать новую корниловскую попытку или немецкое наступление. ВП уверено, что встретит единодушную поддержку

предпарламента в том, чтоб исполнить свой долг; лично он клянется, во всех случаях, умереть на своем посту. — Керенского шумно приветствует вся правая сторона, центр, потом и рев. демократия, кроме левых меньшевиков и левых эсеров. — Керенский возвращается в Зимний в приподнятом настроении, не сомневается, что за час получит поддерживающее голосование предпарламента, а затем уверенно подавит восстание. Обсуждают с Малянтовичем: восстановить прежнюю меру арестов, снова взять под арест отпущенных под залог Троцкого (Малянтович был его защитником на суде в 1906), Коллонтай, Раскольникова и т. д. (только Луначарского уже нельзя: он — гласный г. д. и товарищ городского головы).

У Троцкого на 3-м этаже Смольного депутация г. д.: Предполагает ли вооружённое выступление и когда? — муниципалитет должен знать заблаговременно; какие меры принимает Совет для охраны безопасности и имущества жителей? верны ли слухи о предстоящих обысках домов? И что станет с думой в случае переворота? (Их делегация — уже их безсилие.) — Ответы Троцкого: Совет не отдавал приказа о вооружённом выступлении, немедленное восстание не входит в наши планы; но ВП провоцирует, и это может вызвать наше беспощадное сопротивление. Надо задержать ВП, чтоб оно не ускользнуло в Москву, иначе борьба разгорится. Обыски? я не сторонник низкопробного идолопоклонства перед частной собственностью. Сама г. д. выбрана 3 месяца назад и уже не может претендовать, что она представляет столицу; можно будет распустить и переизбрать её.

Комиссары ВРК контролируют также вокзалы и важные пункты города. Идёт никем не замечаемый планомерный безшумный захват столицы. — После 2 ч. дня по приказу ПВО начинается разводка мостов, местами красногвардейцы мешают разводке, столкновения их с юнкерами, без стрельбы. — Разводка мостов вносит в город большую тревогу, из учреждений отпускают служащих по домам; на Невском многие магазины закрываются щитами; слабые попытки слабой милиции поддерживать порядок. — Приходят известия, что в Харькове, Одессе и Орле Советы тоже потребовали, чтобы гарнизон подчинялся им. — Слухи об отставке морского министра Вердеревского.

А в предпарламенте раскатились прения и прения: поддерживать ли ВП без оговорок? Кац-Камков, левый эсер: ВП должно уйти и очистить место рев.-дем. власти. Гвоздев: Я 20 лет рабочий и могу говорить от их имени; сознательные рабочие не пойдут за теми, кто поведёт страну к гибели. — Дан (от имени всего меньшевицко-эсеровского блока): Наблюдаемое в Петрограде не есть выступление революционного пролетариата; но не желаем стать орудием в руках контрреволюционеров; если большевицкое восстание будет потоплено в крови, то это сметёт демократию. Не надо разрешать конфликт оружием, прежде удовлетворить вопль народных масс о мире, немедленно приступить к мирным

переговорам с Германией и передать помещичьи земли комитетам; а вот если и после этого поднимется преступная рука, то мы все станем за ВП. — Мартов: Интернационалисты не могут подавлять восстание и этим стать в одни ряды с корниловцами; у Керенского — язык гражданской войны, и вся политика ВП — провоцирование её. — Потом часа четыре — фракционные и внефракционные совещания. На улицах, может быть, уже льётся кровь? но важнее размежевание и оттенки фракций, фанатизм формул. Да ведь не исключено, что ЦИК войдёт с большевиками в соглашение, даже в коалицию? (В кулуарах слух, что матросы уже идут арестовать предпарламент, а Ленин уже создал большевицкий кабинет.) Резолюция меньшевиков приближается к резолюции Мартова, затем и эсеровская приближается к ним: Подготавливаемое восстание создаёт благоприятные условия для мобилизации черносотенных сил и гибели революции; большевицкому насилию можно противопоставить силу, но если ВП прежде того предложит союзникам переговоры о мире с Германией и передаст землю комитетам. — Снова пленарное заседание. И ещё б не собрала резолюция большинства, если б кооператоры не ошиблись, какой оттенок голосуется. А потом все удивились: так что ж, проголосовали недоверие? правительству — в отставку? Тогда создать Комитет Общественного Спасения из рев. демократии, на помощь ВП. Кадетские ораторы весь день молчали. — Тотчас после заседания левые эсеры решили выйти из предпарламента и войти в ВРК.

С темноты даже на Невском толпятся подозрительные кучки, много пьяных. Дерзкие грабежи прохожих, срывают одежду, драгоценности. Местами гаснет электричество. — Патрули проверяют проезжающие автомобили; распоряжение ПВО: все частные автомобили на Дворцовую площадь, для сохранности. — Савинков ушёл с квартиры, не ночует дома. — В заречных частях города появились грузовики с вооружёнными людьми. — Матросы «Авроры» свели Николаевский мост. — В тюрьмах арестанты начинают требовать освобождения. (В одних Крестах сидит 450 убийц, а за 3–5 июля 6 чел.) — Большевики заняли телеграфное агентство, откуда посылаются все сообщения для провинции. — Отряд матросов на телефонной станции восстановил связь Смольного. — ВРК послал В. Бонч-Бруевича с отрядом красногвардейцев цензором в «Известия СРСД»; проверяет советские статьи. — Посланы курьеры в Кронштадт: на рассвете выступить в Петроград (нельзя было вызвать раньше, чтобы не раскрыть восстания). Свердлов даёт условную телеграмму Смильге в Гельсингфорс: прислать тысячу-две матросов. (Поездом; отряд прибудет завтра на Финляндский вокзал и сразу сольется с красногвардейцами Выборгской стороны, откуда и наступать.)

Вечером экстренное собрание г.д. Как предотвратить кровопролитие в городе? большевики уже пытались подчинить себе прод. упра-

ву, захватить городскую электростанцию. (От эсеров): г.д. должна бороться с теми, кто захватывает власть штыком и кулаком; слать в в/ч призывы к успокоению. Луначарский: Нет, г.д. должна быть нейтральной, взять на себя обязанности как бы Красного Креста. Мануильский (большевик): г.д. должна сотрудничать с ВРК и не устраивать самообороны в домах. — Последняя речь Милюкова: Нельзя примирить государственную власть с государственными преступниками. Постановили: для защиты населения создать Комитет Общественной Безопасности. (Луначарский: и включить туда представителей ВРК!)

Керенский в Зимнем ошеломлён, узнав от Авксентьева, какая резолюция принята в предпарламенте: так ведь это выражение недоверия? тогда не могу давить мятеж, формируйте правительство сами. — К 11 часам вечера приезжают уговаривать его Дан и Гоц: Это недоразумение, неудачная редакция, тут нет недоверия. Долго уламывают его не оставить Россию без власти в такой грозный момент. Дан предлагает правительству: немедленно отпечатать афишами и ночью расклеить по городу (опыт Хабалова) обещания ВП о мире и земле, и тотчас наступит в массах перелом, большевики будут вынуждены подчиниться, завтра же распустят свой ВРК. А меры к подавлению восстания, но без политического фундамента, только раздражают массы. — Ночью Керенский вызывает к себе делегацию вождей Союза казачьих войск: ведь в Петрограде три полных казачьих полка, и они могут легко подавить восстание. Но казаки не видят ручательства, что не прольют кровь опять зря, как в июле, их тогдашние жертвы остались не оплачены, матросы и пулемётчики отпущены безнаказанно; подавят, а их потом объявят контрреволюционерами? а за что обвинён Каледин? а почему был запрещён крестный ход? Отдалось Керенскому: казаки в Петрограде останутся нейтральны. — Последняя надежда: телеграммой вызвать из тылов СФ всё тот же 3-й конный корпус, бывший крымowskiй, теперь красновский. — Ещё позже ночью Керенский в штабе ПВО. Нет надёжных частей; даже юнкера сильно стеснены в действиях, как, например, павловцы враждебностью соседних Гренадерского и химического батальонов; не решаются выступить. — Самокатчики перешли в нейтралитет; половина броневиков на стороне ВРК, другая нейтральна. Ниоткуда не идут подкрепления. — Да и офицеры штаба ПВО косятся на Керенского: ведь губит всё. (А он заподозрил их, что они неверно служат ему, связаны с контрреволюцией.)

К вечеру в Смольном — закрытое заседание ЦК большевиков (без Ленина и Зиновьева, которые всё в прятках). — Потом в большом белоколонном зале заседание ПСРСД с приехавшими делегатами завтрашнего съезда Советов (470, из них 335 за большевиков, да ещё сколько-то своих «крестьянских» делегатов, хотя ИК СКрД запретил собирать их прежде времени, но торопили левые эсеры). И перед ними не сорвать прежде времени маски обороны, не смутить и самих

большевиков. — Речь Троцкого: Наше положение прекрасно; ВП собралось дезертировать в Москву, обрекая Петроград на сдачу немцам; все войска на нашей стороне; правительство безсильно, и мы его не боимся; мы обороняемся, это не восстание, но у нас пулемёты расставлены на крышах; мы готовим твёрдую почву для съезда Советов, и он будет истинным голосом страны. ВП ждёт взмаха исторической метлы, чтоб уступить место народной власти; а если в оставшийся срок жизни, в 24–48–72 часа, оно попытается вонзить нож в спину революции, то мы ответим на железо сталью. — Все из ВРК разогнаны по городу с заданиями. В опустевшем штабе Троцкий да Каменев. Обморок Троцкого. — Наконец и загримированный Ленин прибыл в Смольный с конспиративной квартиры.

После полуночи на **25 октября** в актовом зале Смольного открывается объединённый ЦИК СРСД и ИК СКрД (в зал набились и делегаты съезда, и солдаты из обороны Смольного). Дан (теперь лидер ЦИК, заменивший Церетели) читает резолюцию предпарламента, обещает скорые меры правительства с миром и землёй, почти умоляет не восставать, чтоб не вызвать торжество чёрной сотни: Контрреволюция сметёт все социалистические партии; массы индифферентны и охотнее читают правые газеты, чем наши; голод задушит Петроград, и массы немедленно свергнут большевиков; управлять нашим государством сейчас — каторжная задача; ЦИК будет стоять посреди враждующих сторон, и только через его труп они скрестятся. — Уже вторая половина ночи, и Троцкий разрешает себе далее не скрываться: Да, мы идём на штурм, со штыком революции, и наши враги сразу капитулируют. И если вы, делегаты съезда, не дрогнете, то займёте место хозяина русской земли, и гражданской войны не будет. — И во главе с Троцким большевики из ЦИК демонстративно покидают заседание.

И вот когда — этой ночью, провести все решительные операции, чтобы завтра положить власть съезду Советов. Начали с 2 часов ночи, брали небольшие проверенные отряды из разных казарм, занимали: Государственный Банк (первое из ленинских требований!), казначейство, вокзалы, мосты, электростанцию, телеграф, телефон, почтамт, военные и прод. склады, — это происходило неслышно, отряды юнкеров без боя уходили, это шло как смена караула. Сопrotивления не было нигде, слабость правительства превзошла все ожидания. И только военная неопытность ВРК помешала взять в эту же ночь почти не охраняемые Главный Штаб и Зимний, взять и Керенского. — ВП ещё заседало ночью, получая часть известий о ходе восстания. Уже и под самым Зимним занят Дворцовый мост. — Керенский снова в штабе ПВО, шлёт новый тщетный приказ донским полкам в Петрограде выступить. Аппаратный разговор со Ставкой: срочно прислать (если невозможно по ж-д, то походным порядком) по казачьей дивизии из Финляндии и с СФ. СФ к утру подтверждает приказ; обещает добавить и самокатчиков, они при-

будут в Петроград ещё сегодня. — Город спал, не подозревая, что происходит, и проснулся при новой власти. — Приказ ВРК по гарнизону: всюду арестовывать офицеров, не признающих власти ВРК.

Керенский, всю ночь не спавший, выпросил у американского посольства автомобиль с американским флажком и на нём устремился вон из города по гатчинскому шоссе: он поедет навстречу войскам! он сам их приведёт сегодня же к вечеру! (Власть Февраля умирает без чести.) — Оставшееся правительство отстранило Полковникова от командования ПВО, возложило на штатского Кишкина водворение порядка в столице и защиту её от анархических выступлений, т.е. военное руководство. Его помощники — инженер Пальчинский и Рутенберг (друг и убийца Гапона). — С утра же 25 октября заседание ВП в Зимнем дворце объявлено непрерывным. Коновалов: Мы не имеем права без сопротивления сдать власть мятежникам; останемся тут до последнего момента. — В штабе ПВО безвозглавие и бездействие; телефоны штаба отключены со станции. Дворцовая площадь пуста, у штаба войск нет (вчера были части, но отправлены за ненадобностью).

Утренняя пресса так же не заметила уже произошедшего восстания, как и сам город. Обыденная тишина, никакой нигде стрельбы, никакого нигде скопления войск. Привычная глазу публика, кто спешит на службу, часть магазинов открывается, переполненные, как всегда, трамваи, редко прошагает небольшой воинский отряд, прокатят пулемёт на колёсиках. — Утром восставшие захватили ещё и типографии «Русской воли» и «Биржевых ведомостей». (Вместо «Русской воли» по праву захвата будет печататься «Правда».) — «Известия» ещё выражают (предпоследний день) мнение ЦИКа: Последствием большевицкого восстания будет ухудшение продовольствования до полного голода; со страной, где идёт гражданская война, никто мира заключать не будет, большевики могут обеспечить только сдачу России Вильгельму. — «Новая жизнь»: Не совмещать социализм с корниловщиной, вместо режима коалиционного безвластия идея демократического блока; ядро большевицкой партии — это цвет российского рабочего класса, самая одарённая его часть. — Случайно арестован на извозчике минпрод Прокопович и отвезен в Смольный. Вокруг Смольного защита ещё гуще, уже и зенитные орудия. — Из Крестов освобождена последняя шестёрка большевиков, Рошаль. — В 10 ч. утра ВРК посылает радиogramму по стране: К гражданам России. ВП низложено, государственная власть перешла в руки ВРК; дело, за которое боролся народ, обезпечено. (Зимний ещё не взят, правительство ещё существует, но это мелочь, а ускорить влияние на провинцию.) — ВРК занял прямые провода с Москвой, Киевом и Ревелем.

Командир 3-го конного корпуса ген. Краснов в г. Острове (южнее Пскова) утром получил прямое телеграфное распоряжение Главковерха Керенского о немедленном движении корпуса на Петроград. Но уже

два месяца, как неблагонадёжный корпус сознательно расплён по случайным дальним стоянкам. Краснов рассылает распоряжения стягивать корпус к Луге. Без ведома его и Керенского, Гк-щий СФ Черемисов, изменивший ВП, останавливает эти движения. — Достигнув Гатчины, Керенский не находит там никаких войск на подмогу, гарнизон ему враждебен, и, избегая ареста, он спешит дальше на юг, ко Пскову. — Общеармейский комитет (в Ставке) высказался против выступления большевиков. — В Петрограде Савинков тщётно убеждает казаки полки выйти на помощь ВП: Если большевики возьмут власть, они заключат сепаратный мир. Казаки неуверенно склоняются? — но если будет поддержка пехоты. А такой во всём гарнизоне нет.

В Мариинском дворце с 11 часов собирается предпарламент на своё очередное заседание (эсеры не явились). Вдруг обнаруживают, что телефоны дворца отключены. Затем: что дворец окружают солдаты из Кексгольмского б-на и матросы гвардейского экипажа, вот они уже и внутри и на лестнице. Команда предпарламенту: всем покинуть дворец, иначе будем стрелять. — Депутаты в растерянности; голосуют: временно уступить насилию и разойтись. На выходе — проверка депутатских карточек; депутаты (и ген. Алексеев, и Милюков, Набоков) сами удивлены, что их всех отпускают. (Искали только министров, не нашлось). — Ген. Алексеев пешком идёт в Главный Штаб и там распекает за полную неготовность к обороне.

Теперь к уже пришедшим в Зимний юнкерам Ораниенбаумской и Петергофской школ прапорщиков вызываются три роты юнкеров инженерной школы с Кирочной ул. (Владимирское училище отказалось: остаётся нейтральным.) — А призвать петроградских офицеров? их тысячи, и с приезжими? Это ещё успеется. (А какая надобность офицерам защищать Керенского, предавшего и Корнилова, и всё офицерство?) При пассивности большевиков продержаться до вечера сил достаточно, а вечером или к утру Керенский приведёт подкрепление. — Комиссар при Верховном Станкевич, накануне приехавший в Петроград, делает неудачную, неумелую попытку с помощью юнкеров инженерной школы вернуть правительственным силам телефонную станцию, без боя. — После часа дня в Неву входят ещё два военных судна, и на Николаевской набережной высаживается матросский десант.

А ВП всё в Зимнем дворце, в бездействии. Плохо знает, какие же в/ч его защищают, каков план обороны. Через провод в довшин сохраняется связь со Ставкой, а СФ уклоняется от связи. Телеграмма в Ставку: ВП поручает себя защите народа и армии. — Воззвание к Действующей Армии: ВРК действует независимо от ПВО; *не все* распоряжения ВП оказались выполнены, и Петрограду грозит опасность гражданской войны; *ДА* не может допустить, чтобы ей в тылу наносили предательский удар в спину и тыловые части, не знавшие тягот войны, не выполняли бы боевых приказов. Сплотитесь вокруг ВП, дайте реше-

тельный отпор. — Ещё воззвание, к стране: Граждане, спасайте Республику и свободу! вы должны помешать безумцам сорвать УС! Члены ВП остаются на своих местах, чтобы в назначенный день собрать УС. — Ещё отдельное воззвание м.в.д. к губернским и городским комиссарам, самоуправлениям: ВП может передать власть только УС. (ВРК распорядился, чтобы на местах брали власть советы.) — Днём ВП пыталось устроить совместное заседание с головкой ЦИК, но все они, и Авксентьев, как провалились. — Поддержал ВП только ИК СКРД, воззвание к крестьянам: Захват власти за три недели до УС — захват прав народа; Петроградский СРСД начал братоубийственную войну, обещает мир, хлеб и землю — это ложь, не верьте, крестьянство лишится и земли, и воли.

У призванных защитников Зимнего с утра и в день патриотический подъём, готовность жертвовать. Но строгая команда: «Первыми огня не открывать, можно всё испортить». (А что же, ждать, когда убьют тебя?) Да и в штабе ПВО кавардак, не получить патронов; у кого на винтовку по 15 патронов, у кого и по 5. (Да и как стрелять в своих? нет привычки гражданской войны.) Всего одна дровяная баррикада у дворцовых ворот с площади, а сама Дворцовая площадь пугающе пуста; и никаких распоряжений от штаба. И защитникам нечего есть, в Зимнем нет запаса хлеба. Но подбодряют две трехдюймовые пушки (взвод Константиновского училища) и вести, что идут казаки и другие войска из Гатчины, к вечеру будут.

В половине третьего в Смольном экстренное собрание как бы ПСРСД (кто набрался в зал). В президиуме один Троцкий: ВП больше не существует, министры будут арестованы в ближайшие часы; я не знаю в истории, чтобы движение таких огромных масс прошло так безкровно; отряды революционных солдат и рабочих безшумно исполнили свое дело, обыватель спал и не знал, что власть меняется. Предстоит небывалый опыт создания власти, не знающей иных целей, кроме потребностей солдат, рабочих и крестьян. — Представляет залу Ленина (со сбритой бородкой). Ленин: Рабочая и крестьянская революция совершилась! в корне будет разбит старый государственный аппарат и создан новый. Чтобы кончить войну, начатую капиталом, надо побороть сам капитал; справедливый немедленный мир найдёт горячий отклик в международных пролетарских массах; наша сила доведёт пролетариат до мировой революции, русский рабочий начал революцию, немецкий делает её. (С близкими: да хоть бы продержаться две недели, и то оставим след.) — Троцкий предлагает послать комиссаров во все концы России с разъяснением происшедшего. Ему из зала: Вы предпринимаете волю съезда Советов. Троцкий: Воля съезда предreshена огромным фактом восстания петроградских рабочих и солдат. — Луначарский: Большевики не допускали к постели тяжело больной России и делали своё злое дело; но ещё есть надежда на выздоровление при таких врачах,

как большевики; если гражданская война произойдёт, большевики введут её в гуманные рамки. Какие заботы о всеобщем-равном-тайном избрании? победа есть самый убедительный аргумент.

В Москве, по известиям о петроградском перевороте, СРД создал и свой ВРК (солдат Муралов). В противовес в московской г.д. создан Комитет Общественной Безопасности из ревдемов, без кадетов и в контакте со штабом МВО. — В Петрограде с полудня распущены школы, учреждения; на Невском малоллюдно, но трамваи идут; милиция исчезла, учащаются солдатские патрули. Уличная толпа выражает безразличие к происходящему. — На мостах и важных перекрестках проверяют удостоверения офицеров и задерживают кто из ударных батальонов или военных училищ. Недавний помощник военмина кн. Туманов схвачен на улице, истерзан, исколот матросскими штыками и мёртвый и голый брошен в Мойку. Весь день тёмно-серые тучи, пасмурно, и так к сумеркам. — С пулемётами отряды ВРК заняли Казанскую площадь, прекратили движение от Полицейского моста к Штабу. К 6 часам вечера дворцовый комплекс блокирован. — Это так долго, весь день, потому что Подвойский, кому поручено брать Зимний, составил гиперболический план дальнего охвата, и Антонов-Овсеенко метался между «Авророй» и крепостью, уговаривался, как поднять орудия и стрелять с крепостных стен; хлопотная неумелая избыточная осада; первым, кто стал стрелять по дворцу, юнкера отвечали, редкая нервная стрельба, жертв почти нет; и штурм отложили. Несколько раз переназначали срок взятия Зимнего: полдень, 3 часа, 6, 9. (А в Смольном оттягивали срок открытия съезда Советов, ВРК торопил Подвойского.)

У юнкеров, защитников дворца, весь день накапливалось ощущение обречённости, покинутости; им и не добавили патронов, и не кормили. Долго юнкера не знали, что во дворце и министры; узнав, захотели с ними встречи-митинга: при таком соотношении сил к чему наши жертвы? Приходили три министра, подбодряли юнкеров: силы большевиков немногочисленны, большинство гарнизона пассивно. Всюду успевал и организовывал оборону Пальчинский. — А пока не замкнулось кольцо окружения, в Зимний подходили подкрепления: к детям-юнкерам — старики уральские казаки (молодые не пошли), инвалиды георгиевские кавалеры и рота из женского батальона смерти. Распределили оборону по-новому, гуще, — и вдруг константиновцы уходят, с орудиями (приказ от комиссара училища), — «изменники!». А за их уходом ушли и обе сотни уральцев (они-то думали, тут с образами защищают царское жилище). Оставшимся ещё горше. — Министры в бездействии и томлении: ведёт ли Керенский войска или просто предал, бросил? уже нет надежды, что подкрепления придут ещё сегодня. — Броневики восставших заблокировали все выходы с площади. Матросы у Дворцового моста призывают юнкеров у решётки Зимнего к братанию; отказ. — Самокатчики привезли в штаб ультиматум от Антонова-Овсеенко: сдаться

в 20 минут, иначе Зимний будет разгромлен орудийным огнем; срок недостаточен, даже чтобы вернуться с ответом; министры решаются игнорировать ультиматум. — Через час штаб ПВО занят, его никто не охранял. — В Зимнем слух: писари штаба перешли на сторону Ленина и арестовали ген. Алексеева. И группа ударниц кинулась на вылазку через площадь, освободить заслуженного генерала; их вылазка внезапно освящена предательски зажегшимися внешними опоясывающими фонарями дворца (и ещё дважды так вспыхивало, освещая оборону, посаждённые не знали где и кто, этажи и погребка дворца — это 15 гектаров); ударницы эти не вернулись.

С темной усилилась ружейная стрельба у дворца. Постепенно оборона втягивается внутрь здания. А к 9 часам на мачте Петропавловки поднят красный фонарь: условный знак «Авроре» (не знавшей боёв всю войну): начать с холостого выстрела по дворцу, потом боевыми из легких орудий, а если дворец и тогда не сдастся, то бить боевыми из 6-дюймовых. Огонь и с миноносцев. Одновременно повели стрельбу из орудий на стенах крепости, больше 30 выстрелов, была и шрапнель, но почти всё мимо. — От обстрела у посаждённых безнадёжность. — ВП, перешедшее от невских окон во внутренние комнаты, ещё успевает передать по сохранившемуся проводу в домин и Ставку: был ультиматум, обстрел «Авророй», пусть армия и народ ответят захватчикам. — Тут обнадеживающий слух: городская дума идёт сюда шествием, с духоенством, спасти посаждённых!

А в г.д. заседание с 8 часов вечера, и знают об ультиматуме. Городской голова эсер Шрейдер: Наши министры брошены демократией и вот погибли под развалинами от пушек «Авроры»; неужели мы не придём им на помощь? возвысим голос! — Мануильский жмёт, что ВП уже сдалось. Задержка, проверяют по телефонам; неправда! — Посылают делегацию к «Авроре» (графиня Панина), их заворачивает уличный патруль. Шрейдер едет на переговоры в Смольный, бесполезно. — В г.д. оглашена записка министра С. Маслова, эсера, переданная из дворца: Если умру, то с проклятием по адресу демократии, которая послала меня в ВП и оставила без защиты! Прения разгораются. Пойдёмте все в Зимний и умрём вместе с ними! Намерен идти и ИК СКрД, и Прокопович (терзается, что не разделяет судьбы коллег). Мануильский отвечает: Не идите! пусть лучше ВП не доводит до гражданской войны. — Поимённое голосование. Выходят, с сигнальными фонарями впереди, несколько сот человек, шеренгами. — Но у Казанского собора шествие задержано матросским патрулём. Тщетно объясняют матросам о попрании революции; долго стоят; ходят, выясняют у караульного начальника; отказ пропустить дальше. «Приходится подчиниться насилию». Возвращаются в г.д. — Снова долгие прения. Избирают из себя Комитет Спасения Родины и Революции, председатель Авксентьев: Отрицаем факт низложения ВП! В Комитет Спасения входят все социалистиче-

ские направления, кроме большевицкой фракции, ушедшей на съезд Советов; и не допускают кадетов (спасать Россию могут только социалисты!).

Съезд Советов открылся к 11 ч. вечера. Дан: в этот момент наши товарищи в Зимнем дворце под обстрелом. Правые эсеры и меньшевики (они на съезде в утлом меньшинстве) отказываются состоять в президиуме: За спиной съезда по политическому лицемерию большевиков совершена преступная авантюра. — Мартов предлагает очередным вопросом: мирное улажение конфликта, создать власть, признаваемую всей демократией. Луначарский от большевиков, лукаво: Ничего не имеем против. — Поручик Кучин (от имени 12 комитетов армий и всех комитетов фронтов): Захватом власти predeterminedена воля съезда; удар в спину Армии, надо спасать от него революцию; теперь арена борьбы переносится на места. (Представители фронтов покидают съезд.) — Хинчук (от меньшевиков): Военный заговор большевиков произведен за спиной всех партий и фракций советов; заговор срывает УС и ввергает страну в межусобицу. Гендельман (от правых эсеров): Преступление перед родиной и революцией, начало гражданской войны, срыв УС; обещания большевиков неосуществимы, неизбежен взрыв народного возмущения; быть на страже революции. (Правые эсеры и меньшевики покидают съезд.) — Абрамович (Бунд): Происходящее в Петрограде — великое несчастье; все мы решили погибнуть с ВП, поэтому отправляемся в г.д. и оттуда к Зимнему, под обстрел. — Туда же зовёт и прибывший на съезд представитель ИК СКрД. — Мартов (от левых меньшевиков): Чтобы предотвратить торжество контрреволюции, нужно соглашение внутри ревдемократов, безболезненно принять власть от ВП — Троцкий (открывает): Отказаться от победы и заключить соглашение с кем? с жалкими кучками? кто ушёл, те банкроты, в сорную корзину истории! — Перерыв, снова фракции. Левые эсеры объявляют, что остаются; они не считают восстание своевременным, но раз оно произошло, то поддерживают его. Левые меньшевики всё же уходят. Новый перерыв, чтобы дожидаться взятия Зимнего. — ВРК по радио к ДА: Не допустить отправки с фронта войсковых частей на Петроград! офицеры, которые прямо не присоединяются к совершившейся революции, должны быть арестованы как враги; утайка этого приказа от солдатских масс будет караться по всей строгости революционного закона.

Зимний от обстрела пострадал незначительно, только три снаряда пробились внутрь. Но час за часом в него проникают незаметно через боковой вход от Эрмитажа (м.б. открытый солдатами лазарета, что во дворце, или обслугой) сперва агитаторы (напугать юнкеров и обратить к сдаче), потом и малые вооружённые группы, потом всё больше их. Один раз Пальчинский увлёк юнкеров в успешную контратаку против проникших. Две гранаты взорвались внутри, но стрельбы и ра-

нений мало с обеих сторон. — А всё наполняются обильные помещения дворца; кто из юнкеров — утекает малыми группами. Комендант обороны п-к Ананьев выговаривает условие, что юнкеров отпустят, если они сдадут оружие. — После двух часов ночи Антонов-Овсеенко врывается в комнату ВП, ещё и не знающего о сдаче дворца, и арестовывает 16 министров и их товарищей; с ними и Пальчинский. Повстанцы только тут узнают, что Керенский сбежал, — и гнев: тогда расстрелять на месте остальных! — У Кишкина уже успели украсть и пальто и шапку, ему дали солдатскую шинель. — Когда министров вывели наружу — толпа приступила: сбросить их в Неву! — Повели под конвоем матросов и красногвардейцев пешком в крепость, в темноте их едва не растерзали. Потом на Троицком мосту их настиг случайный обстрел, и министры вместе с конвоем ложились в осеннюю грязь. — Славные павловцы захватили в добычу женщин-ударниц, отвели в свои казармы на Марсовом поле, насиловать там. — А в Зимнем ещё многие часы, и завтра: грабили, тащили серебро, фарфор, резали ковры, разбивали что попало.

Этим вечером Савинков кинулся в Гатчину. — Шедшие с фронта батальоны самокатчиков остановлены в Царском Селе и раньше и убеждены не двигаться дальше на выручку ВП. — ЮЗФ предлагает Ставке послать верные войска, но они как будто не понадобятся. — Гк-щий СФ Черемисов тщетно уговаривает Гк-щего ЗФ Балуева не сохранять верности ВП и не помогать. — На запрос Духонина Черемисов отвечает, что всякую посылку войск с СФ на Петроград отменил по распоряжению якобы Керенского и Керенский намерен передать должность Главковерха ему, Черемисову. — Ещё вечером Керенский достиг Пскова, но не решился явиться в штаб СФ, боясь ареста; на квартире у своего шурина Барановского. — Черемисов отказывает Керенскому в помощи и не даёт ему связи с Духониным в Ставке. — Там же, на квартире, Керенский издаёт приказ по Армии: «Наступившая смута, вызванная безумием большевиков; впредь до объявления нового состава ВП приказываю всем начальникам сохранять свои посты, как и я сохраняю свой пост Верховного Гк-щего». Теперь вопрос, где и как этот приказ объявить. — После 2-х часов ночи на 26 октября во Псков приехал ген. Краснов объясниться с Черемисовым, почему задержан сбор и отправка его корпуса. Черемисов утаивает от него, что Керенский тут же: Верховный Гк-щий скрылся, вам надлежит исполнять мои приказания. — Но Краснов случайно узнаёт, что Керенский во Пскове, ночью же идёт к нему на квартиру и увозит его к своим частям в Остров: Краснов с отвращением берётся помогать правительству Керенского; но надо спасать Россию.

А на съезде Советов около 3 часов ночи Каменев объявляет о взятии Зимнего и аресте ВП, но без Керенского. — Близ 5 часов Луначарский оглашает воззвание съезда: Опираясь на волю громадного

большинства рабочих, солдат и крестьян, победоносное восстание в Петрограде... ВП низложено, полномочия соглашательского ЦИК окончились. Съезд берет власть в свои руки, а на местах вся власть переходит к Советам РСКРД.

26 октября с утра комиссары ВРК разосланы во все главные пункты столицы (а в довмине не сразу открыли комнату, где стоит один прямой юз к Ставке, и связь продолжалась ещё потом долго, по ночам). Серия воззваний ВРК (радио, телефонограммами, листовками, афишами: «Все эшелоны войск, движущиеся к Петрограду, должны быть немедленно остановлены в пути». Ко всем комитетам и Советам (по ложному слуху о бегстве Корнилова из Быхова): «Задержать ген. Корнилова для заключения в Петропавловскую крепость». «Братья казаки! Вас хотят столкнуть с революционными солдатами и рабочими, будто Петроград враждебен казакам; не верьте ни одному слову, будто Советы хотят отнять у казаков землю, это ложь; не исполняйте ни одного приказа врагов народа, присылайте ваших делегатов для сговора с нами». «Советская власть обеспечит своевременный созыв УС, озаботится доставкой хлеба в города». «Торговцы, не открывающие своих заведений, рассматриваются как враги революции». К государственным служащим (продолжать работу под страхом наказаний). Ко всем корпусным и дивизионным комитетам: свергать свои армейские комитеты (оказавшиеся против большевиков) и помимо них слать своих депутатов в Петроград.

Но кого посылать против войск Керенского? из 160-тысячного гарнизона столицы никто не хочет идти сражаться. (И даже наоборот: из Царского Села революционные солдаты в панике бегут в Петроград.) А красногвардейцы воевать не умеют, да и без офицеров. Прибыло 1 800 матросов из Гельсингфорса от Смилги да кронштадтские, но они на суше будут без артиллерии. И вся надежда: разложение наступающих войск агитацией. Агитаторов — много.

С утра матросы сжигают «Речь», ещё не разосланную из экспедиции. За день большевики закрыли всю оставшуюся буржуазную прессу в столице. — «Известия СРСД» (последний день не большевицкая); Безумная авантюра; это не есть переход власти к Советам, а захват её большевиками; они не будут в состоянии организовать государственную власть. — Возобновившаяся «Правда»: Разоружить и окончательно обезвредить контрреволюционные элементы в Петрограде. — В штабе ПВО заседают Антонов-Овсеенко, Чудновский, Дзевалтовский. — В Зимнем продолжается грабёж и дебош.

В Смольном кипящий центр столицы (как в Таврическом в феврале). Здесь и оружие, и арестованные (самочинные аресты по городу), и скопление автомобилей, и ВРК с курьерами. — Чтоб не слишком сориться с ревдемами, освободили из Петропавловки министров-социалистов, остальные будут сидеть. — ВРК послал временных комисса-

ров в министерства. (Урицкий съездил в м.и.д., но не принят чиновниками.) — В Смольном большевики кучкой наспех готовят состав СНК. Специалистов по профилям нет, и не надо, научимся. М.и.д. возглавит Троцкий, а дела военно-морские триумvirат: Крыленко, Дыбенко, Антонов-Овсеенко; внутренние дела — Рыкову, торговлю и промышленность — Ногину, национальности — Сталину. (Среди большевиков и неуверенность: как это легко досталась власть? Мы одни не удержимся, надо бы коалицию с социалистами. Ленин: Наоборот, ушли со съезда — облегчили нас.) Каменева попридержат на возглавление нового ЦИК, законодательной власти, Зиновьева — на «Известия». — Левые эсеры колеблются, пока не вступают в СНК, но и не выходят из ВРК, как от них требуют правые эсеры.

В Петрограде снова серое холодное утро. Магазины открываются плохо, частные банки не начинают операций. Слухи, что Керенский ведёт на столицу огромную армию и двинулся на север Каледин. На стенах воззвание: «Принять меры для немедленного ареста Керенского и доставления его в Петроград». — В эту ночь Милюков тайком уехал из Петрограда в Москву, а утром на попутной станции у своего же поезда встретился с Винавером, едет и он. — На Дворцовой площади наброс награбленного в Зимнем, остатки; вытащен из кучи серовский портрет Николая II и изрезан ножом.

Целодневно и целовечерне кипит негодование в г.д.: речи, резолюции, речи, прения, но нет у г.д. никаких боевых сил (и сами не бойцы, и вся среда их не бойцы), и даже никаких организованных. (Но всё же в руках г.д. продовольственный аппарат столицы, и большевикам ещё нельзя их тронуть, вовсе не будет снабжения.) — Обращение г.д.: «Партия большевиков за три недели до выборов в УС и перед лицом внешнего врага... Своим избирателям и всей России г.д. громко заявляет, что не подчинится никаким посягательствам на её права. Обращается ко всем городским и земским самоуправлениям Российской республики с призывом присоединиться...» (Впрочем, большевики не продержатся дольше 3–5 дней.) — В училище правоведения на Садовой ИК СКРД приютил у себя Комитет Спасения. Речи и прения, речи и прения: наша задача? возвращать ли ВП? или создать альтернативную новую власть против Смольного? Слать комиссаров в в/ч? солдаты не пойдут, не выступят. Слать комиссаров в провинцию, сплачивать там против большевиков? Поддержка от Викжеля: не признали большевицкий захват и не передадут им ж-д сети. И почтово-телеграфные чиновники тоже. Так призвать ко всеобщей чиновничьей забастовке во всех учреждениях! (Забастовка водопровода и электростанции не удалась.) На все петроградские заставы выслать своих представителей для встречи подходящих войск Керенского. — К Комитету Спасения прибивается и ЦИК СРСД: он не признал полномочий неправильно собранного 2-го съезда Советов, не самораспустился и намерен действовать. — И даже Цент-

рофлот не признал переворота. — К вечеру в Петрограде известие, что Керенский с войском уже в Луге!

Утром 26-го в Острове речи Керенского враждебно встречены казаками и ещё враждебнее остальным гарнизоном. — В Острове Керенский издал приказ Главковерха: Продолжить перевозку 3-го конного корпуса к Петрограду. — Черемисов, получив из Петрограда ошибочные сведения, что там не всё в пользу большевиков, перестаёт препятствовать движению отрядов Краснова. — Корпус Краснова разбросан безнадёжно широко; из Острова ему удаётся взять с собой лишь около 700 конных казаков. — И именно на СФ те два армейских комитета (из 14-ти), которые приняли сторону большевиков. Они выделяют ВРК СФ, он намерен помешать перевозкам войск и ищет арестовать комиссара СФ Войтинского во Пскове, сохраняющего верность ВП. — Викжель, желающий оставаться в нейтралитете, запрещает всякую перевозку войск к Петрограду. — Вместо того чтобы ехать собирать и двигать новые войска, Керенский прилепляется к Краснову. (Уверен в победе и чтобы войти в Петроград среди первых? чтобы без него Краснов не управился слишком жестоко подавить большевиков?) — Эшелоны Краснова с трудом проскочили Псков и Лугу на полном ходу. (И теряют связь со своим тылом.) Лишь на малой остановке под Лугой Керенский узнаёт, что Зимний уже захвачен.

Духонин в Ставке собирает и регистрирует всякие приходящие сведения, но не принимает мер: с корниловских дней Ставка разгромлена и обезличена, и Союз офицеров Керенский сам разрушил, организованного офицерства больше нет. — В могилёвском гарнизоне возбуждение по слуху о бегстве Корнилова; попытка отнять у быховских узников охрану из текинцев и увести из Быкова польскую бригаду, мешающую солдатской расправе. — Арестованные генералы между собой считают побег из Быхова недопустимым: это значило бы признать себя виновными; но за ними нет вины перед страной, и они хотят суда.

В Москве ВРК закрыл (отказом типографов) все газеты, кроме советских; но не может собрать военных сил: гарнизон совершенно разложен, сочувствует большевикам, однако рисковать жизнью никто не хочет, полки сплочены только вокруг своих кухонь. (А матросов тут нет.) — Батальон 56-го полка, расположенный в Кремле, согласился раскрыть арсенал и грузить оружие для красногвардейцев. Командующий МВО п-к Рябцев велит 56-му полку покинуть Кремль, тот не согласен. Комитет Общественной Безопасности: только не допустить до кровавого столкновения! — Но юнкера, военная и студенческая молодежь самостоятельно организуют патрулирование центра города, задерживают груз оружия из Кремля. Ходят по городу и рабочие патрули, с красными повязками и ружьями на верёвках.

Нигде командование не смеет задерживать приходящие по радио и телеграфу распоряжения петроградского ВРК, передаёт их на обсуж-

дение своим комитетам. ЮЗФ и РумФ ещё сохраняют верность ВП, СФ отпал к большевикам. В Минске Гк-щий ЗФ арестован и вынужден работать под контролем революционного комитета от минского СРСД. — Каледин на Дону объявляет полную поддержку ВП; а пока войсковое правительство принимает на себя всю полноту государственной власти в Донской области. — В Севастополе Совет постановил признать новую власть в Петрограде и потребовал от офицеров, под угрозой утопления, присяги ей.

В 9 ч. вечера Каменев открывает второе и последнее заседание скороспешного съезда Советов. Президиум уже распорядился об отмене смертной казни на фронте (а значит — теперь и по всей России). А ещё: приняты меры к поимке бежавшего Керенского. — Ленин читает Декларацию: Всем воюющим народам и правительствам предлагается немедленно начать переговоры о справедливом демократическом мире, без аннексий и контрибуций; и немедленное перемирие, по меньшей мере, на 3 месяца; а УС решит, что можно и что нельзя уступить; и никакой тайны в предложении условий мира. «Что скажет крестьянин какой-нибудь отдалённой губернии, если из-за нашей конспиративности он не будет знать, что хочет другое правительство? Нам надо раскрыть негодяйство буржуазии. Государство сильно сознательностью масс». (Предложен мир всеобщий, а если откажутся? про сепаратный молчок, но выход для него открыт, да только он и неизбежен.) Обращение принято единогласно (крикнули на одиночку, кто хотел против); все поют Интернационал, потом «Вы жертвою пали». (Декларацию о мире немедленно передавать с царскосельской радиостанции.) — Затем Ленин же предлагает «декрет о земле»: Помещичья собственность отменяется немедленно без всякого выкупа; все имения, также и церковные, монастырские, передаются волостным земельным комитетам вплоть до УС (которое через месяц, захваты ещё запутают дело). Ленин просто приписал по несколько строк спереди и сзади к эсеровскому наказу уравнительного землепользования, без наёмного труда, без аренды и продажи, вся земля — народное достояние, а где избыток населения, оттуда переселять, — и огласил как декрет. «Мы должны предоставить полную свободу творчества народным массам». (Не разъяснено, что делать «немедленно» и что «с необходимой постепенностью». По этому путаному наказу хотя отменяется всякая собственность, и мелкокрестьянская тоже, но «земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуются».) Декрет принят всеми против одного при нескольких воздержавшихся. (О третьем обещанном, о хлебе, никакого декрета не предложено.) — Левый меньшевик Авилов пытается предупредить съезд: Перед новым правительством стоят все те же старые вопросы о хлебе и мире. Хлеба правительство дать не может, без фабрикатов в обмен его не получить, а собирать принудительными мерами долго и опасно. Немедленного мира добиться невозможно, расчёты на

рабочую революцию в Европе не основаны ни на чём; либо разгром нашей революции Германией, либо сепаратный мир, и условия его будут самые тягостные для России. — Левый эсер Карелин: Мы не входим в новое правительство и сохраняем свои руки свободными для посредничества между большевиками и партиями, покинувшими съезд. — Троцкий: Мы переживаем новое время, когда обычные представления должны быть отвергнуты. Мы не ждали съезда со взятием власти, потому что контрреволюционеры не дремали; коалиция с Данами и Либерами не усилила бы революцию, а привела бы её к гибели. Вопрос о хлебе — это вопрос программы действия; коалицию с кулацкими элементами отвергаем. В борьбе за мир мы возлагаем надежду, что наша революция развяжет европейскую. — Рабочий от Викжеля: Считаю съезд неправомочным; здесь нет кворума; и мы против захвата власти одной партией; мы не окажем вам помощи, ж-д сетью распоряжается только Викжель; а если примените репрессии, то лишим Петроград продовольствия. — Но голосованием утверждается: «Впредь до созыва УС образовать временное рабоче-крестьянское правительство, СНК» (из одних большевиков). И в быстро пустеющем зале, в беспорядке, избран новый ЦИК, во главе Каменев, а дальше мало знакомые имена, статисты. 5 часов утра.

В ночь на 27 октября казаки Краснова входят в спящую Гатчину, обезоруживают прибывший из Петрограда отряд матросов и измайловцев; в Гатчине сопротивления нет, однако школа прапорщиков и не присоединяется к Краснову с его несколькими сотнями; есть пленные, но их нечем держать, отпускают. — Керенский уверен, что в Петрограде также не будет сопротивления. Издаёт приказ: Я прибыл сегодня в Гатчину во главе войск фронта; приказываю всем частям ПВО, по неразумию и заблуждению примкнувшим к шайке изменников родине и революции, вернуться к исполнению долга. — Краснов рассчитывает, что донские полки выйдут ему навстречу из Петрограда; авиационная школа даёт два аэроплана разбрасывать над столицей листовки Краснова. А следующие его эшелоны и подкрепления всюду задержаны Черемисовым и другими начальниками. — Керенский рассылает телеграмму за телеграммой, требуя войск. Но всё равно: рисковать! спешить вперёд! большие силы присоединятся в Петрограде. (Однако: и не слишком сокрушить большевиков, это откроет дорогу реакции.)

«Правда»: Керенский — убийца солдат; Керенский — палач крестьян; Керенский — усмиритель рабочих; второй Корнилов, самозванец, которому место в Петропавловке. Взяв власть, мы применим к врагам революции и к её саботёрам железную рукавицу. — Плеханов: Чтобы германский император послушался нашего декрета о мире, надо, чтобы мы оказались сильнее его; а т. к. сила на его стороне, то, декретируя мир, мы тем самым декретируем его победу. — Утром ВРК

запретил выпуск «Известий СКрД»; закрыт и «Вестник городского самоуправления», из их типографии конфискованы думские воззвания-протесты. — ИК СКрД не хочет созывать 2-й съезд СКрД, так большевики созовут своих «крестьянских депутатов», через СРСД, и быстро лишат прав нынешний ИК СКрД. — Новый ЦИК постановляет: полномочия прежнего ЦИК кончились, и его распоряжений не исполнять. — Дыбенко разогнал Центрофлот за поддержку Комитета Спасения, формирует новый; а прежний «должен быть весь арестован и отправлен в Kronштадт для выяснения их политической линии». — Взятие Керенским Гатчины устрашает, а в Царском Селе растерянность, и оттуда бегут. Слух, что с Керенским идут тысячи, и с тяжёлою артиллерией. «Военка» готовит отправку туда броневиков и рабочих отрядов. — Ленин, в крайнем нервном возбуждении, допытывается, нельзя ли ввести дредноуты в Неву для защиты Петрограда (нельзя, мелко). — Большевики ещё не уверены в себе и первые 3 миллиона из Государственного Банка берут при свидетелях из г. д.

В г. д. депутация Викжеля, настаивает на примирении со Смольным и создании нового правительства через посредничество Викжеля. Для переговоров является Рязанов, требует от г. д. признания СНК; отказ. — Слухи об избиении в Петропавловке арестованных юнкеров. Г. д. создает комиссию (гр. Паниной) для расследования изнасилования ударниц. Стало известно об обращении Каледина, надежда! — Внезапно г. д. окружена отрядами из Смольного, не выпускают, не выпускают: будут разгонять г. д.? Как успеть воззвать к городам и земствам всей России? создавать Комитеты Спасения повсюду в провинции! — Но является комиссар от ВРК: это было недоразумение, это результат черносотенной агитации, которую ведет г. д. (Припугнули.) Оцепление снимается. — Да программа Комитета Спасения та же, что была в последний день предпарламента, и не слишком отличается от большевицкой: немедленный призыв к миру, немедленная передача земли земельным комитетам, но правительство должно быть однородным рев. демократическим и не должно возникнуть гражданской войны. Слать как можно больше своих комиссаров в провинцию.

А от ВРК рассылаются по стране свои комиссары. Всюду, где советы уже с большевицким большинством, они и берут тотчас власть: Самара, Ярославль, Владимир, Минск, Витебск, Казань, Красноярск. (В Киеве неудачная попытка захвата арсенала и телеграфа.) Да и почти все тыловые гарнизоны в руках большевиков; население ждёт погромов и насилий. — А на фронтах всеобщая солдатская радость от большевицкой радиотелеграммы о перемирии и мире; не то чтобы фронт отдался большевизму, но каждому удобны его лозунги. (Некоторые в/ч не принимают тёплых вещей: до зимы всё равно уйдут из окопов.) — Ставка вчера и сегодня тщетно пытается сформировать сводный отряд ген. Врангеля для движения на Петроград.

В Москве ВРК (Ногин, Смидович, левая зерка Биценко) объявил, что берёт власть в свои руки; захватил Кремль через расквартированный там 56-й полк; получили для большевиков много оружия из арсенала. — Однако в Москве и 2 военных училища, 6 школ прапорщиков, хотя и не прежние юнкера, но упругая сила. В Александровском училище на митинге принято: вступаем в борьбу! Создано и несколько студенческих и гимназических рот. А московские офицеры (их тысяч 30) откликаются плохо, к юнкерам присоединились тысячи три, остальные сидят по домам. (Да за кого теперь сражаться? за Керенского? его презирают; зовут защищать не Россию, а революцию?) — Юнкера хотят очистить Кремль от пробольшевиченного полка. П-к Рябцев (Милуков о нём: неврастеник, не способный распоряжаться; страшно боялся сделать шаг, за который его потом привлечёт к ответственности рев. демократия) весь день в колебаниях, конфликт надо решить мирно; не вызвал из Калуги готовых на помощь полков. — Юнкера на митингах требуют отставки Рябцева; предложили командование округом Брусилову, тот отказался. — К вечеру Рябцев освобожден от большевизмского полуплена в Кремле и наконец объявляет военное положение в городе.

К ночи Краснов готовит наступление из Гатчины на Царское Село. У него к бою всего лишь полтысячи конных казаков, едва хватает на прикрытые орудий; казаки ворчат, что нет пехоты, опять на их спинах? враждебны к Керенскому. А в Царском гарнизон больше 15 тысяч.

К утру **28-го октября** юнкера врываются в Кремль и очищают его от 56-го полка. Они занимают и центр Москвы от Театральной площади до Арбатской, главные вокзалы, телеграф, телефонную, электрическую и трамвайную станции. ВРК и СРД почти без охраны в генерал-губернаторском доме на Тверской площади, потеряли связь с рабочими районами; в Москве 5 полков пехоты, а не набрать защиты, солдаты хоть и за большевиков, а сражаться не хотят. (Муралов: Имели превосходство в 10 раз. Троцкий: Шаткость руководства едва не довела восстание до крушения.) — Но Рябцев вял, не атакует ВРК, не освобождает гостиницу «Дрезден», куда те сажают офицеров и юнкеров, не пытается соединиться с осаждённым в Лефортове Алексеевским училищем и кадетскими корпусами. — ВРК ухватывается за вижжелевское состояние о перемирии (только и нужно, чтобы выиграть время): КОБ и Рябцев тоже вынуждены к нему склониться; Ногин затягивает переговоры (где нейтральная зона? кто должен разоружиться и кто кому подчиниться?). Большевики выходят из КОБ, желая стать «третьей силой» между большевиками и г. д. — День проходит без серьёзных боёв, стычки на улицах. Весь день пустые слухи, что на помощь штабу МВО идут войска из Калуги, из Ставки. К вечеру ВРК подвозит с Ходынского поля несколько орудий для своей охраны. — За вчера и сегодня большевики взяли власть в Козлове и в Усмани, Тамбов устоял, в нём создан тоже Коми-

тет Спасения (задача: как ликвидировать большевиков, но без благоприятных возможностей для контрреволюции?).

В Петрограде ненастный день, дождь. — Опубликован декрет о печати (подписан Лениным): Большевики вовсе не посягнули на свободу печати; но за либеральной ширмой печати скрывается свобода для имущих классов отравлять умы; закрытию подлежат органы прессы, призывающие к неповиновению Рабочему и Крестьянскому правительству и сеющие смуту. (Под этот декрет остановили и меньшевизкую «Рабочую газету».) Как только новый порядок упрочится, будет установлена полная свобода печати по самому прогрессивному закону. — «Известия СРСД» (второй день большевицкая): Кто идёт против октябрьского восстания, тот развязывает в России гражданскую войну, анархию, грабежи, разбои. Новая власть не однопартийная большевицкая, но честная коалиция: союз рабочих с крестьянами. — Постановление СНК: Выборы в УС провести в назначенный срок; напрячь все усилия для свободного производства выборов. — Директива ВРК всем армейским комитетам: Выбора для вас нет; революция ждёт от вас немедленного присоединения; устранить комиссаров, какие не присоединились к перевороту; строжайший надзор над командным составом; контролировать все оперативные распоряжения штабов.

Но в самом Петрограде все аппараты министерств не подчиняются ВРК. В м.и.д. все служащие, вплоть до курьеров, заявили Троцкому, что не желают с ним работать. (Троцкий пошёл в посольство к Бьюкенеу, тот его не принял.) Шляпников застал министерство труда пустым, все служащие ушли. — Не принят и Рыков в м.в.д. Опубликовал первое распоряжение: Городские самоуправления имеют право вселять в жилые помещения других граждан, нуждающихся в том. (Начало насильственных вселений.) — Опубликовано распоряжение всем чинам штаба ПВО, военного и морского министерств немедленно явиться к исполнению текущей работы. Пригласили ген. Маниковского из камеры Петропавловской крепости перейти к управлению военным министерством (с которым Крыленко-Дыбенко-Овсеенко не справляются).

Отряд Краснова дошёл до Царского Села за ночь, к утру. При его ничтожных силах занимать город некем и опасно, но важно для политического впечатления на Петроград. Однако и в Царском Селе защитники или в панике, и даже бегут в Петроград, или в нейтральности, или в колебаниях. На овладение городом ушёл целый день, где перестрелка, а где удачные митинги, агитация (ведь отряд ведёт не реакционер Корнилов, а вождь демократов Керенский!), подкреплённые и выстрелами казачьих пушек: два орудийных выстрела, и рассеяны тысячные толпы. — Однако нет подкреплений. Подошли три сотни амурских казаков, но они держат нейтралитет. Хотя гарнизон Луги накануне не признал большевицкого переворота, подкреплений и он не шлёт. Краснов решает: завтра не двигаться, дать днёвку, подтянуть силы. —

Из Петрограда Савинков; тщетно ищет себе ампулу при казаках либо при Керенском.

В Петрограде известие о сдаче Царского Села оглушительно; наступление Краснова, кажется, нельзя остановить. (Ещё и листовки с аэроплана разбрасывали над Невским.) — Прокламация ВРК: Бывший министр Керенский пытается преступно противодействовать законному правительству СНК. Керенский обрёк вас на сдачу немцам, на голод, на кровавую баню; он идёт, чтобы вернуть земли помещикам. — ВРК объявил Петроград на осадном положении, запрещены всякие собрания; обыск в Совете Союза казачьих войск. Ещё усилена оборона Смольного, добавлены морские и зенитные пушки, весь 1-й этаж — вооружённые военные. — На заводах тревога гудками; останавливаются работы, рабочих шлют рыть окопы на окраинах Петрограда, ищут и собирают колючую проволоку. На пулковские позиции отправляются красногвардейцы, броневики. (Из столичного гарнизона почти никто идти не хочет. Тут ещё и неприязнь солдат к красногвардейцам: они получают весь заводской заработок и ещё 240 р. за гвардию, а солдату — 5 р. в месяц.) — Усиленная спешная мобилизация матросов — ещё из Кронштадта, ещё из Гельсингфорса, с фортов, чтобы к завтра они достигли фронта. (А там разбеглых удерживают обещаниями подхода матросов.)

Воззвание ИК СКрД: Не имея никаких полномочий, большевики говорят от имени СКрД; но всё трудовое крестьянство России отвергает участие в их преступном насилии; большевики самочинно вызывают крестьянские советы на съезд, не ехать! вредное и опасное отвлечение местных сил перед выборами в УС. — В г. д. с утра и до вечера непрерывные совещания. Воззвание г. д. к гарнизону: Какие-то несознательные войска окружили вчера г. д., которая годами боролась против ненавистного царского самодержавия за свободное городское самоуправление. В г. д. принесли девочку, убитую на Невском от стрельбы солдат по толпе; митинг негодующего протеста. — Делегация Комитета Спасения во главе с Гоцем пыталась поехать на красновский фронт, остановить кровопролитие, их повернули с вокзала, а сам Гоц избит и едва не застрелен. — Члены Комитета Спасения идут на митинги в петроградские полки. (Те не знают, кого слушать; от большевиков: Керенский идёт с военной диктатурой и расправой; от меньшевиков: нельзя примириться с переворотом, должна быть преэминентность власти.) — Воззвание Комитета Спасения: Большевики призывают к миру на фронте и к братоубийственной войне в тылу. Не ройте окопов! долой оружие! солдаты, возвращайтесь в казармы, не подчиняйтесь ВРК, заставляющему вас кровью братьев расплачиваться за затеи безумцев. — Викжель грозит ж-д забастовкой, чтоб остановить гражданскую войну и добиться социалистического правительства. — К вечеру собирается примирительное совещание всех социалистических пар-

тий, но без плехановцев. Как возобновить предпарламент? как создать правительство с большевиками, но без Ленина и Троцкого? Но если мы соединимся с большевиками в одном правительстве, то массы перенесут ненависть на всю рев. демократию? никакого соглашения с большевиками до ликвидации их авантюры! пусть Комитет Спасения потребует от ВРК сложить оружие и отказаться от власти, за это над ними не устроим суда до УС. — Споры между меньшевиками и эсерами продлились всю ночь, только к 4 ч. утра сформировали совместную делегацию. (Чернов, застигнутый большевицким переворотом в Минске, теперь из Пскова наставляет петроградских эсеров.) — Заседание с большевиками до 8 ч. утра, и ни до чего не договорились. Каменев: Власть в наших руках, мы победили.

Ночью слух: завтра большевики будут разоружать юнкеров. Но завтра же, очевидно, и Керенский вступит в Петроград. Эсеры из Комитета Спасения бросаются по юнкерским училищам: немедленно поднять их к сопротивлению! (Своих боевых сил у эсеров и меньшевиков ведь нет.) — Юнкера нескольких училищ откликнулись. Тут же ночью занимают телефонную станцию без сопротивления (выключили телефоны Смольного, но городской голова Шрейдер настоял снова включить); делают набег на Михайловский манеж, захватывают несколько броневиков. — Но тайна восстания не удержалась в Комитете Спасения, и той же ночью стала известна в Смольном. Решено ускорить окружение училищ.

Воскресенье **29 октября**. Правозесеровское «Дело народа» продолжает выходить: Большевицкий заговор не сегодня завтра будет ликвидирован, это был от начала мыльный пузырь; партия эсеров призвала ко всеобщей забастовке против них, это борьба со сложенными на груди руками, она обезвреживает и обезсиливает большевиков; но мы решительные противники всяких усмирений и предостерегаем Керенского, чтоб он не становился на путь расправ, нужных лишь врагам революции. — «Правда»: «Рабочая газета» и «Дело Народа» — чистильщики сапог свергнутого диктатора. — Прорвался в печать и «День» (всего на один день): Убийцы всеобщего мира, насильники революции большевики. Говорили: заключим мир с германским революционным народом, а не с Вильгельмом; они лгали: Ленин заключает с Вильгельмом похабный мир за счёт России; он на коленях, как холоп, преподносит ему целые губернии и миллионные народы. Через 2 недели мы должны были венчать нашу революцию выборами в УС; теперь лицемеры из Смольного говорят о честном созыве УС, когда на местах упразднена свобода слова и собраний. Немедленная передача земли без закона, без плана, без власти ведёт к разгрому и войнам между деревнями; ни один крестьянский депутат не участвует в этом земельном обмане... — Потресов: Фельетоны, которые они называют декретами; проходимцы, позорящие Россию и её пролетариат, ничего не знают, ни-

чего не умеют. — П. Маслов: В чём конкретный смысл «декрета о земле»? сейчас зима, никто и не сеет; передача земли земельным комитетам означает лишь передачу помещичьих имений немедленному разгрому; помещичий хлеб вместо того, чтобы течь на рынок, ляжет в крестьянские амбары.

Юнкерская горечь Семнадцатого года: а что их ждёт вообще? к чему им теперь становится ненавидимыми офицерами? Призыв к восстанию многих зажёл: восстановить честь и восстановить право! — В Инженерном замке штаб восставших, тут и эсеры из Комитета Спасения, тут и Полковников, взявшийся возглавлять. С ночи отключены телефоны Смольного и Петропавловки, в плане — освободить министров из крепости. — Но войска Краснова всё не идут! Чайковский и Авксентьев тщетно умоляют петроградские казачьи полки вмешаться. — Между тем, предупреждённый о восстании ещё с ночи и готовый к плану разоружения училищ, ВРК окружает их отрядами матросов и красногвардейцев уже с утра 29-го, парализует всякое движение прежде выхода из них главной части юнкеров. Останавливаются заводы, рабочих наскоро вооружают в Петропавловской крепости и шлют на училища. — Константиновское, Николаевское, Михайловское сдались без боя. Вокруг Павловского был бой, но главный — вокруг Владимирского (на Гребецкой ул.); владимирцы сопротивлялись отчаянно до второй половины дня; осада, ружейно-пулемётная перестрелка с соседними домами, уже ни одного целого окна. Большевики подвезли трёхдюймовые пушки, броневики, разворотили училище до брешей. Когда взяли — выбрасывали юнкеров из окон, жестоко избивали и закалывали сдавшихся, не давали перевязывать раненых; мёртвым отрубали головы, руки, ноги, снимали с них шинели и сапоги. (Первая ярость гражданской войны. В Петрограде говорят: «кровавое воскресенье», и вдвое больше убитых, чем в 1905.) — Захваченных юнкеров (и гимназистов, раздававших на улицах воззвания г. д.) отводят в Петропавловку. (С ними — и юнкеров небунтовавшего Николаевского училища.) По пути до крепости несколько раз устраивали юнкерам инсценировки расстрела. — Вокруг телефонной станции (с защитой и броневика) бой до вечера, отбитые атаки; вечером матросы и красногвардейцы берут станцию, несколько раненых юнкеров бросили в Мойку, достреливали в воде; сбрасывали и с крыши. — С обстрелом взяли и Инженерный замок; штаб Комитета Спасения ускользнул.

У Краснова не только нет пехоты, но даже не хватает казаков, чтобы забрать всё оружие, оставленное царскосельским гарнизоном. (Впрочем, Красное Село занято одними казачьими разъездами против пехоты.) Весь день бесплодно уговаривают царскосельских стрелков пойти с Красновым; нет, все хотят только нейтралитета. Встречная агитация: Вы, казаки, опять, как с Корниловым, избивать крестьян и рабочих? Шныряют и агитаторы из Петрограда: «Большевики и казаки

братья!» — Приходится и в красновском отряде созвать собрание, принять обращение: Всем, всем, всем! Отряд не служит контрреволюции; выбьет большевиков и отдаст себя в распоряжение Комитета Спасения. — Керенский сидит в Гатчине; оттуда даёт в Петроград т-му Комитету Спасения: не вступать ни в какие переговоры с «народными комиссарами». (Вся его надежда на Комитет Спасения; а если большевиков победят одни казаки, то это конец революции.) — Казаки злы на Керенского: он опять нас предаст. Савинков предлагает Краснову арестовать Керенского и возглавить движение самому; Краснов отказывается. Станкевич прилагает усилия, чтобы отряд оставался верен Керенскому. — К вечеру прибывает Краснову подкрепление: ещё 600 конных казаков, 18 орудий, броневик и блиндированный поезд. Но казаки не хотят наступать без пехоты; и приказ Краснова на завтра: рекогносцировки. — А за минувший день его пассивности ВРК успел довести под Красное Село, Пулковое и Колпино несколько тысяч матросов, красногвардейцев и сколько-то пехоты. Ночью продолжается подброска кронштадтцев с артиллерией через Петроград и к Пулкову. В Неву прибыли ещё миноносцы. — В этот день Ставка нашла резерв: в районе Невеля корпус ген. Шиллинга готов послать на Петроград пехоту с артиллерией; но Вижкель отказывает ему в поездах, сильная затяжка; а тут усиливается агитация в полках: не идти!

В Москве юнкера и сотня казаков совершили набег на Ходынку, место расквартирования артиллерии; взяли 2 орудия и несколько замков, тем обезвредив. В городе ружейная, пулемётная и орудийная стрельба. Сдерживаемые Рябцевым, юнкера расточают свои силы на оборону многих занятых ими зданий, вместо того чтобы докончить ВРК, — а штаб МВО весь день ведёт с ВРК переговоры и устанавливает суточное перемирие от полуночи 29-го до полуночи 30-го. (За сегодня и завтра к большевикам в Москву с разных сторон прибывают отряды и оружие, и Вижкель не мешает им.) — В Смоленске тоже бой, с артиллерией (казаки против большевицких отрядов).

В Петрограде ветреный холодный день, какой бывает к снегу. — По городу слухи: Керенский кончил самоубийством; нет, казаки арестовали Керенского и идут на столицу, чтоб объявить Михаила царем; у большевиков раскол: Каменев и Рязанов требуют вводить в правительство социалистов, Ленин грозит подать в отставку. — Из дневных воззваний Комитета Спасения (Авксентьев, Гоц): Не роите окопов; солдаты, возвращайтесь в казармы; арестовывать всех комиссаров ВРК; всем в/ч, опомнившимся от угара большевицкой авантюры, стягиваться к Инженерному замку, всякое промедление есть измена революции. — Вечером в г. д. оглашают списки убитых за день юнкеров, а телефонистки рассказывают о зверствах осаждавших.

Депутация Вижкеля в новом ЦИК: Вижкель нейтрален и для спасения революции предлагает создать социалистическое правительство

от большевиков до народных социалистов, при доверии всей демократии; кто будет продолжать решать споры оружием, те предатели родины; если Керенский даже войдёт в Петроград, то Викжель закроет все пути к Петрограду и ему придётся сдаться. Сегодня, 29-го, с полуночи, Викжель остановит всё движение на всех ж-д. — Как вывернуться и не уступить и время протянуть? Ответ большевиков: что никакой коалиции с буржуазией, мы согласны; и можем принять в СНК социалистов пропорционально тому, сколько их было на 2-м съезде Советов (т. е. ничтожно мало).

Примирительное (с посредничеством Викжеля) совещание социалистических партий собирается сегодня лишь к полуночи. Настояние на перемирии в военных действиях, большевики отклоняют. (Им: «А почему перемирие с немцами вы предложили без всяких условий?») Неуступчивы к большевикам только ИК СКрД и народные социалисты: эсеры и меньшевики колеблются, м.б. можно допустить в правительство персонально некоторых из большевиков? Рыков от большевиков якобы согласен на объединённый кабинет. А как составлять новый предпарламент? страстный спор, Викжель отсрочивает начало забастовки. — Около трёх ночи в совещание входит депутация обуховских рабочих: Вы тут какой день заседаете, не торбнитесь, а свои своих убивают. К чёрту Керенского, Ленина, Троцкого, повесить их на одном дереве — наступил бы покой; и все вы не стоите, чтоб вас земля носила. (Большое впечатление на заседающих. Рязанов вырывается: «Вы совершенно правы! Мы, большевики, с первой минуты готовы к соглашению!»)

В Смольном собрание полковых представителей (усилия ВРК двинуть гарнизон против Керенского). Ленин: Это не политика большевиков, а политика рабочих, солдат и крестьян; к участию в правительстве мы приглашали всех, мы хотели советского коалиционного правительства, но мы не можем ни одного дня терпеть восстания Керенского, пусть юнкера пеняют на себя. — Там же немногочисленное собрание ПСРСД. Троцкий: Когда юнкера отказались сдаться, то наши орудия сровняли училище с землёй; взятые в плен юнкера будут отправлены заложниками в Кронштадт. Теперь возможен только беспощадный бой, беспощадный расстрел, беспощадная месть; мы завоевали власть, теперь надо удержать её; за каждого убитого революционера мы убьём пять контрреволюционеров; путей к соглашению нет. (И отказывает в слове меньшевику); Не могу допустить принципиальных дискуссий.

В ночь на 30-е второй налёт красной гвардии на типографию «Известий СКрД», разбили набор. — «Дело народа»: Дело большевиков проиграно безнадежно; подавление московского мятежа обеспечено; население озлоблено методом действий большевиков; выход для них: призвать солдат и рабочих отдать себя в распоряжение Комитета Спасения. Но большевики не задумаются лить народную кровь, а русская

демократия хочет идти через УС; отворачивайтесь от большевиков! — (К постановлению СНК о своевременных выборах в УС:) Избирайте свободно УС... с зажатыми ртами! Все на митинги... которые запрещены! Все на улицы... там вас расстреляют ленинцы! Печатайте ваши газеты... которые тут же будут уничтожены! — «Известия СРСД»: ВП было правительство холопов буржуазии; соглашатели-обманщики готовят вонзить острый нож в спину революции, призывают не подчиняться правительству Советов; в случае победы Керенского трудящихся Петрограда ждут ужасы июльских дней Кавеньяка и зверства версальцев над Парижской Коммуной, вот что хотят повторить Родзянко и Каледин.

30 октября постановление СНК: Если с завтрашнего дня частные банки не откроются и не начнут операций, то все директора и члены правлений будут арестованы, во все банки будут назначены комиссары и посланы воинские караулы; распускаемые слухи о конфискации капиталов ложны. Ленин, Менжинский. — Мобилизация: чиновники бывшего ВП саботируют свои обязанности; все товарищи, верные революции, обязаны мобилизоваться и занять посты в учреждениях новой власти. — К почтовикам и телеграфистам. Кто будет бороться с СНК путём забастовки, тот помогает капиталистам тянуть войну за интересы банкиров и лишить нас УС. Опомнитесь! мы принуждены жестоко бороться с теми, кто станет поперёк дороги рабочих, крестьян и солдат. — Радиограмма СНК (Ленина) «Всем, всем»: о победе над юнкерами и бегстве Керенского.

В Неву вернулась «Аврора» (крейсер нужен и для возможной эвакуации СНК и ВРК из Петрограда). И, сколько можно по фарватеру, введен броненосец «Республика», он может обстреливать окрестности Петрограда (сел на мель в Морском канале). — После больших уговоров согласились пойти на позиции под Пулковое Измайловский и Волынский батальоны. — У Краснова ничтожные казачьи силы, но есть несколько батарей и блиндированный поезд; его расчёт: орудийным гулом повлиять на гарнизон столицы. — Волынский б-н, промитинговав, отказался сражаться и ушёл с позиций. 10-тысячный Измайловский весь побежал от первой шрапнели блиндированного поезда. — Сотня оренбургских казаков пошла в атаку, красногвардейцы толпой бросились бежать, но матросы устояли; с потерями сотня вернулась. Керенский не разрешил двигать поезд дальше к Петрограду, опасаясь кровопролития. — Морская дальнобойная артиллерия стала бить по Царскому Селу — и царкосельские полки потребовали от казаков прекратить борьбу, иначе выйдут с оружием; артиллерийский склад по нейтралитету отказался выдавать снаряды казачьим пушкам. — Опасность окружения и ничтожность сил заставили Краснова вечером покинуть Царское Село и к ночи отступить на Гатчину.

В Гатчине вокруг Керенского социалисты: сам Чернов приехал из Пскова, Станкевич, Войтинский, Савинков. По их совету Керенский на-

значает на случай своей гибели преемником Авксентьева. Обсуждается идея: поехать в Могилёв и там создать социалистическое правительство. Но трудно и доехать туда. — К Керенскому в Гатчину прибывает делегация Викжеля: вступить с большевиками в мирные переговоры, иначе блокируем всякий ж-д подвоз. Керенский согласен на социалистическое правительство.

Железнодорожники же в этот день не дают двигаться из Невеля эшелонам корпуса ген. Шиллинга. — Комиссар ударных полков ДА выражает готовность ряда ударных батальонов выступить в защиту ВП: бездействие деморализует, просят дать распоряжения, указать место сбора. — Съезд комитетов 10-й армии (ЗФ) осудил восстание большевиков как гибельное для родины и революции. Такое ж настроение комитетов 9-й армии (РумФ) и 7-й армии (ЮЗФ). — На армейском съезде 12-й армии (СФ) латышские стрелки грозят арестовать весь съезд, если он не присоединится к большевикам. — Общеармейский комитет в Ставке: Без колебаний против попытки большевиков силой навязать свою волю стране. (Викжелю:) Не препятствуйте идти на Петроград войскам, руководимым сознанием своей правоты; отзовём их, когда большевики сложат оружие. — Духонин с комиссарами: От имени армии и флота требуем, чтобы большевики немедленно прекратили насильственные действия, отказались от захвата власти, подчинились бы демократическому правительству.

В Петрограде кем-то разграблена единственная пришедшая баржа с мукой (по ж-д вагоны с мукой почти не приходят). Разгромлена уголовная милиция, уничтожены альбомы фотоснимков и карточки антропометрических измерений преступников. — В г. д. непрерывные (однако тающие) заседания: В разных частях Петрограда идут расстрелы, самосуды и пьяные разгромы. Шингарёв предлагает исключить из г. д. всех большевиков; отклонили: против них нет персональных обвинений. — Слухи: Каледин объявил военное положение в Донбассе; уже движется к Харькову?

Весь день и в ночь продолжается согласительное совещание при посредстве Викжеля: нельзя же допустить гражданскую войну социалистов между собой! (Керенский тем и пугает, что ведёт за собой реакционных казаков, не кого другого, — и уже за ними маячит Каледин.) Эсеры и меньшевики предлагают большевикам распустить ВРК, подчинить гарнизон г. д., установить перемирие с Керенским и тогда обещают исходатайствовать, чтобы Керенский не провёл сурового подавления, не нарушал бы рабочих баррикад. Каменев и Рязанов отклоняют, но продолжают переговоры, чтобы выиграть время и чтобы не разорвать с Викжелем. Викжель отсрочивает забастовку до конца переговоров, но и не отправляет большевических отрядов в Москву. — (Комиссия по подготовке УС ещё с 24 октября прекратила работу, невозможную при закрытых газетах, захваченных типографиях, арестах, расстре-

лах, без почтово-телеграфной связи с провинцией; и не хочет сотрудничать со Смольным. — Бурцев сидит в Петропавловке, без передач и свиданий.

Вечером 30-го заседание ПСРСД. Выступает, как обычно, Троцкий: У нас расстроен офицерский аппарат, иначе мы смели бы Керенского в полчаса; теперь контрольная комиссия от солдат гарнизона будет наблюдать за действиями главнокомандующего подполковника Муравьёва и целесообразностью его приказаний, это начало демократической армии. (И тут же уезжает сам контролировать пулковский фронт.) Зиновьев: Отдан приказ доставить Керенского живым или мёртвым.

В Москве к концу дня ВРК, уже подкреплённый подвозом сил извне и мобилизацией московских, — нарушил перемирие прежде времени; бои на Тверском и Никитском бульварах, захват градоначальства, пулемётный обстрел Кремля с колокольни Страстного монастыря; сгорел высокий дом у Никитских ворот со взрывом аптеки. — В штабе МВО всё та же нерешительность руководства; юнкера управляются своим штабом из Александровского училища. — В ночь на 31-е ВРК потребовал от КОБ безусловной сдачи, не то начнётся артиллерийский обстрел г. д. — Служащие московского центрального телеграфа постановили задерживать все телеграммы большевиков.

В Киеве вчера и сегодня бои. Большевики расстреляли в крепости взятых офицеров, заняли дворец; там их осаждают юнкера и казаки; Рада вступилась, чтобы арестованных большевистских вождей (группа Пятакова-Иткиной) отпустили. — В Виннице бои с участием сотен пулемётов, на стороне большевиков аэропланы; но к ночи большевистское восстание подавлено. — Большевики захватили власть ещё: в Гомеле, Харькове, Курске, Воронеже, Саратове (со стрельбой); и много узловых ж-д станций. — Оренбургское войсковое правительство до восстановления ВП приняло полную государственную власть в своей области. — Краевой общемусульманский съезд в Ташкенте от имени всего мусульманского населения Туркестана заявил, что признаёт лишь власть ВП и будет её защищать. (В Ташкенте большевизированный гарнизон захватил власть ещё раньше октябрьского переворота в Петрограде; казачий полк энергично им сопротивлялся, и большевики стали уже разбегаться, как пришла т-ма Керенского: заключить мир. Казаки ушли в крепость; а большевики за ночь окружили её тяжёлой артиллерией и с утра стали громить; казаки вышли без лошадей, тогда их ловили и зверски убивали, офицерам выкалывали глаза.)

31 октября московский КОБ уже не требует роспуска ВРК и согласен на социалистическое правительство вместо свергнутого ВП, но укрепившийся ВРК требует безусловной сдачи КОБ, штаба МВО, разоружения юнкеров и угрожает артобстрелом г. д. — Однако с «социалистическим правительством» для юнкеров, плохо и снабжённых, устра-

няется самый смысл борьбы: ради чего? чем это лучше «власти Советов»? Время упущено, помощь не подходит, а всё население Москвы безучастно затаилось в домах, и юнкера и студенты воюют как бы «против народа»? — В московских боях первое употребление слов «белые» и «красные». Пули влетают в дома, обезлюдели улицы. Юнкера на грузовиках делают вылазки к воинским складам за патронами. Большевики взяли телефонную станцию, гостиницу «Националь»; из Хамовников начали артиллерийский обстрел Кремля. Из пушек — и по кадетскому корпусу, есть убитые подростки. И обстрел Алексеевского училища из 6-дюймовых.

«Дело народа»: Политические шуты Смольного недавно призывали солдат к братанию с немцами, а теперь Троцкий призывает их к месту в братоубийственной внутренней войне. Немедленное перемирие на петроградском фронте! — «Известия»: Маски долой! бешеная травля Советского правительства соглашателями, каждое их слово написано слюною бешеной собаки; читая их грязные листки, с ужасом видишь, до каких пределов человеческой низости... подголоски корниловца Керенского, вторая корниловщина; в случае их победы если б и не сразу восстановили старый режим, рабочий класс был бы перебит. Переговорами через Викжель хотели разоружить революцию хитростью и расчистить путь для свирепых репрессий, готовят удушение народа. — Луначарский: Авксентьевы и Гоцы науськали подростков-юнкеров на солдат и рабочих; несколько сот убитых, многое множество раненых; рыцари Комитета Спасения ретировались из Инженерного замка и оставили юнкеров умирать; разве матросы и солдаты, крайне раздражённые против юнкеров, не вправе были прийти в негодование?

В Гатчине — день агитации, без боёв. Матросы и переговорщики от Викжеля обращаются прямо к казакам: большевики драться не хотят, отчего вам не заключить с ними мира и не ехать на Дон? а Керенский пусть сам расхлёбывает кашу. Казачье настроение сильно сдвинулось в пользу большевиков. — Совещание у Керенского. Краснов: Предложение Викжеля — это спасение, а то бы нам с боями пробиваться на юг; надо вести переговоры о перемирии, а там, может быть, к нам подойдет войска. Станкевич: С большевиками сговориться можно, от власти они отрезвятся; а продолжать бороться с ними — будет распад фронта. Савинков: Нет, входить в коалицию с большевиками невозможно; стоит одному большевику войти в правительство, и он развалит все министерства; продолжать военные действия. — Керенский соглашается на переговоры, посылает Станкевича в Петроград в Комитет Спасения. А Савинков уезжает в Ставку. — Покидаемый военной поддержкой, Керенский в прострации. Тут же, где-то в Гатчине, сторонней тенью Чернов. — В Царском Селе красногвардейцы захватили крестный ход с четырьмя священниками, одного застрелили, других били и заперли; заведующего электростанцией ранили в висок; массовые

обыски в частных квартирах; ворвались и к больному Плеханову, матросский обыск, револьвер к лицу.

Движение Нежинского и Зарайского полков из корпуса Шиллинга задерживается на многих станциях. — Казачий Совет при Ставке: Если образуется социалистическое правительство, то разрываем с Россией и отзываем свои войска с фронтов! — В Киеве после двух дней боёв убито больше 300 юнкеров, победители издеваются над трупами; наконец сегодня перемирие; Рада объявила, что берёт всю власть на Украине в свои руки: штаб Киевского ВО покинул город (но дальше по пути арестован). Комиссар ЮЗФ, в августе так рьяно подавлявший корниловцев, теперь шлёт в Киев на подавление большевиков... отборный Корниловский полк. — В Виннице мятеж большевиков подавлен. — В Одессе большевики утвердили свою власть с помощью матросов. — Кровавый бой в Смоленске.

Из Мойки извлечены 11 трупов юнкеров, потопленных у телефонной станции в день переворота. Юнкеров, содержимых в Петропавловке, частично перевозят в кронштадтскую тюрьму, для верности. — Два миноносца поднялись от Николаевского моста вплотную к Смольному, для его защиты. — Весь день и опять в ночь усиленные переговоры о перемирии вокруг Викжеля; множество партийных оттенков по каждому вопросу: какие группы и по сколько человек должны войти в будущий предпарламент (а выборы в УС через 10 дней)? Какие партии согласны войти в новое социалистическое правительство (Чернов премьером?), но кого персонально не хотели бы видеть там? Наконец меньшевики уже согласны на большевиков, эсеры — только на отдельных большевиков. А как с перемирием? Каменев как будто обещает. — После полуночи соглашение, кажется, достигнуто; теперь надо слать примирительные делегации: в Смольный, в Гатчину и в Ставку (надо же готовиться и отражать Каледина, неизбежную волну контрреволюции). — Аппаратное сношение со Ставкой; оттуда Общеармейский комитет: Воинские комитеты не согласны на нейтралитет, мы твёрдо поддерживаем Комитет Спасения и шлём ему войска; фронт разъярён на тыл, на мятеж большевиков, из-за них в Виннице больше полутора тысяч убитых и раненых; если большевиков допустить в правительство, то только для быстрого перемирия и в меньшинстве. (Комитет ЮЗФ: только без большевиков!) — В петроградской г. д. не верят в поражение Керенского; Шрейдер: Нас предал Викжель! большевики спрятались за переговоры и выиграли время. Шингарёв: Да никакие соглашения с этими маньяками невозможны!

А штаб большевиков опасается: как бы к Краснову не подошли ударники, да и казаки грозились жестоко сопротивляться; да, переговоры нужны; Дыбенко ночью послан в Гатчину. — На вечернем заседании ПСРСД Зиновьев: Перемирие — это хитрость и губительная оттяжка; штаб революции вполне будет готов к перемирию тогда, когда враги

будут обезврежены; в Гатчину пришли латышские стрелки, нет в России более преданных революционных полков.

Весь день **1 ноября** Москва гудит от артиллерийской канонады и снарядных разрывов. Алексеевское училище сдалось после разрушений. Большевики с Воробьёвых гор и с Ходынки обстреливают из тяжёлых и трехдюймовых орудий (с широким разбросом по многим улицам) Кремль, Александровское училище, достаётся «Метрополю» и зданию г. д. (Осколком, влетевшим в комнату, ранен Брусиллов.) В Александровском два дня не ели, у юнкеров тают силы и патроны. (Руководит оборонной п-к Дорофеев.) Окопы и баррикады на Арбатской площади. Кучка военной молодёжи (сражаются и кадетики) уже ничего не может сделать против возрастающей массы солдат (по Москве разлились и уголовные из Бутырской тюрьмы); Викжель остановил эшелоны от Вязьмы и Калуги, шедшие на выручку Москвы. — Между тем Церковный Собор в Москве ни на день не прерывает занятий. Под гул орудий кончается долгий спор и берут верх сторонники восстановления патриаршества: увидеть нового Гермогена, иначе Россию не спасти. — От Собора идёт мирная процессия в ВРК: два крестьянина с белыми флагами, митрополит Платон и несколько иерархов: просить прекратить обстрел Кремля. Патрули задерживают их с площадной бранью и оскорблениями. В ВРК им обещают, что Кремль останется цел.

Дыбенко с толпой матросов в Гатчине, продолжает переговоры с казаками (не с самим Красновым), уже начатые вчера казачьей делегацией: об условиях перемирия. К казакам вот-вот подойдут подкрепления из Луги, и Дыбенко щедр на уступки: Керенский предаётся революционному суду, но и Ленин-Троцкий устраняются с постов до выяснения их невиновности в государственной измене; амнистия всем юнкерам и офицерам, арестованным в Петрограде; свободный и неспешный отъезд казаков на Дон; открытие всех ж-д. — Теперь казаки требуют от Краснова выдачи Керенского; Краснов отговаривает, что выдать Керенского как их гостя был бы для казаков позор; тем временем он мешает Керенскому скрыться; Керенский бежит, переодевшись матросом и в шофёрских очках. — Нежинский полк добрался до Луги; лужский гарнизон не сопротивляется ему, сдаёт и замки от орудий. Прибыли и сюда матросы агитировать, но нежинцы намерены ехать в Гатчину. — Дыбенко рассылает «Всем, всем»: Задержать Керенского для предания народному суду. В Гатчину прибыли и Рошаль, и Троцкий. Подходят новые силы к большевикам, Финляндский полк, и условия перемирия лопнули.

В Ставке ген. Духонин, почти бездействовавший неделю, теперь издаёт приказ, что, по исчезновении Верховного Гк-щего, вступает в исполнение его должности. И приказывает остановить отправку войск на Петроград. — Корнилов письмом из Быхова советует Духонину: безотлагательно сосредоточить под Могилёвом запас оружия для раздачи

офицерам-волонтерам, которые несомненно будут собираться. Духонин: Это может вызвать эксцессы. — Комиссариат казачьих войск при Ставке отказывается признать правительство с участием большевиков, но не станет вести активной борьбы против него.

«Известия»: Большевики и всегда понимали Советское правительство не как господство одной партии, а открытым для всех; но большинство должно быть у большевиков, и только тогда можно быть уверенным в доверии широких масс; демократия без большевиков — это демократия без большинства народа. — «Дело народа»: Многих сбивает с толку удача большевицкого восстания, они поверхностным способом захватили власть; вера в бумажки, именуемые декретами; делают вид, что издали не газетные статьи, а законы; Ленин, ещё недавний враг социализации земли, теперь стал эсером. — «Известия»: Товарищи, не верьте ни одному слову корниловцев, называющих себя эсерами и меньшевиками, в сорную яму их подлые листки «Дело народа», «Рабочая газета», пусть плюют бешеной слюной; они куют новое рабство, которое будет горше старого, прощай тогда наши надежды на землю и волю. — ИК СКрД настаивает, что созывать съезд крестьянских депутатов может только он, а не СРСД. (Большевики торопятся созвать свой «крестьянский» съезд, хоть на несколько дней, а раньше.) Левые эсеры, сколько успевают, раскалывают ИК СКрД и часть его привлекают к подготовке скороспешного съезда, от губернских и армейских комитетов, к 10 ноября. — «Известия»: Представители СКрД изменяют народным массам России, так поступали и черносотенцы; только Советское правительство связано действительным преемством с февральской революцией; его происхождение из бури и натиска народной революции — вот его высшее право на «законность». — И ещё: Мы действительно всегда были сторонниками неограниченной свободы печати и остаёмся ими до сих пор; но мы находимся в состоянии гражданской войны, начатой не нами, а нашими врагами.

ВРК захватил Николаевский вокзал и товарную станцию, арестовал начальника Николаевской дороги, комитет служащих и рабочих и отправляет свои войска в Москву; по телеграфу передаются только их депеши. — ЦК Почтово-телеграфного союза: Ни при каких условиях не можем признать правительства, пришедшего к власти путём братоубийственной бойни и опирающегося только на силу штыков и пулемётов; требуем отозвать комиссаров ВРК с почты, телеграфа и телефона, дать им работать не для одной политической партии, но для всех граждан; иначе вместе с Викжелем объявим всероссийскую почтово-телеграфную забастовку. (Наркомпочтель Авилов ответил: забастовщиков лишим хлебных карточек; почта и телеграф будут очищены от контрреволюционных элементов.) — Совет всероссийского учительского союза единогласно постановил, что считает невозможным какое бы то ни было сотрудничество с правительственной властью, созданной путём

насилия. — Шляпников, нарком труда: Товарищи рабочие! воздержитесь от насилий над мастерами и инженерами, это провокация имущих классов, которые стараются развалить промышленность.

Заседание ЦК большевиков. Ленин: Переговоры Каменева и Рязанова через Викжель и уступки должны быть прекращены сейчас же; разговаривать с Викжелем теперь не приходится, переговоры были нужны как дипломатическое прикрытие военных действий; нужно отправить войска в Москву, и победа наша обезпечена. (В ЦК бурные прения, против Ленина и Троцкого — Каменев, Рыков, Ногин, Милотин.) — Станкевич в Комитете Спасения, в Викжеле, в ЦК эсеров, полный разноречий; уже многим ясно, что из переговоров с большевиками ничего не выйдет, но всё же: продолжать. Эсеры скрепя сердце согласны включить в правительство большевиков, но в меньшинстве. — ЦК эсеров исключает из партии полностью всю свою петроградскую организацию за то, что та не бойотирует ВРК и непредставительный, неправомочный ЦИК 2-го съезда. — Заседание этого ЦИКа. Рязанов сам крушит проект нового предпарламента, на который уже согласился в переговорах с Викжелем. Володарский со страстной речью: Ультимативный разрыв всяких уступок о составе будущего правительства, только большевицкие условия! снова создать предпарламент — значит похоронить завоевания революции. ЦИК принимает резолюцию большевиков. — В ПСРСД Зиновьев: Нейтральности Викжеля надо положить конец; в ком бьётся демократическое сердце, не может оставаться нейтральным; ж-д пролетариат должен подчинить свои руководящие органы.

Приказ ВРК по Петрограду: не пускать в казармы и на заводы агитаторов других партий, кроме большевицкой. — В Петропавловке три сотни юнкеров, есть и ни в чём не замешанные, камеры забиты, нет постелей, бывают и без хлеба. (Средь красногвардейцев: «Видишь юнкера — штык ему в бок».) Попали и бойскауты, перевязывавшие раненых на улице. — В Царском Селе арестован в. кн. Павел Александрович.

2 ноября продолжается круглосуточный артиллерийский обстрел московского Кремля (колокол Ивана Великого позванивает от осколков) и Александровского училища с Воробьевых гор, от Драгомилова моста, с Кудринской площади. Ночами город во мраке; пожары. Большевики заняли г. д., Исторический музей и с его вышек обстреливают Красную площадь пулемётами. Население не выходит из домов, хлеба нет. Разгромлены винные склады, на автомобилях разъезжают пьяные солдаты и стреляют. — Рябцев начал переговоры о полной сдаче вопреки настроению многих юнкеров-александровцев и офицеров. К вечеру 2 ноября достигнуто с ВРК соглашение: КОБ прекращает существование; белая гвардия сдаёт оружие и расформировывается, однако все сохраняют личную свободу.

В Новочеркасск приехал ген. Алексеев, создавать вооружённые силы против большевицкого переворота. — В Казани разрушения от артиллерийской стрельбы. Симбирск захвачен большевицким Советом. — Минский СРСД привёл броневой поезд для городского боя, но у его пушек не оказалось повышенной траектории для обстрела города, а снять их с поезда тоже нельзя. — По всей Финляндии остановились ж-д, в Гельсингфорсе всеобщая забастовка и маршируют батальоны красной гвардии. — Обнаружилось, что ВРК соврал по царскосельской радиостанции о присоединении к большевикам многих дивизий (с номерами, которых никогда и не бывало в русской армии: 94-я и 95-я Сибирские, 75-я Гренадерская и др.).

Подошедший от Луги к Гатчине войсковой эшелон на поддержку Краснова нейтрализован агитацией матросского отряда Дыбенко. — Всем, всем комитетам и Советам: Соглашением казаков, солдат, матросов и рабочих решено предать А. Ф. Керенского народному суду; задержать его, где он обнаружится. — Краснова везут в Смольный. Но большевики ещё боятся ссориться с Доном и отпускают его на частную квартиру. — От ВРК: «Всемирно-историческое значение нашей победы под Пулковым». Днём возврат революционных колонн «победителей» с шоссе и вокзалов в Петроград; заставили юнкерский оркестр играть в их честь. — Крейсер «Аврора»: Наши пушки к вашим услугам. — Отрядом ВРК разграблен продовольственный склад из ведения г. д. Опубликована «Декларация прав народов России»: Право народов России на свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства... Ленин, Сталин. — «Известия»: Обеспечить созыв УС и было целью октябрьской революции; до сих пор его созыву мешали именно кадеты; победой советской власти очищен путь к УС. — Большевицкое объяснение о переговорах с Викжелем: Большевики не могли отказаться от обязательств, которые наложил на них 2-й Всероссийский съезд Советов, полномочный орган русской демократии; тогда бы массы, которые выразили большевикам свое доверие, отшатнулись бы от них. А ЦИК тем более существует только на базе главных съездовских решений, и только перед ЦИКом может быть ответственно правительство, а не перед каким-то предпарламентом. — «Известия»: Наставить на таком составе правительства, который отражал бы не только русский характер революции, но в котором бы главную роль играли интернационалисты.

«Дело народа»: Большевики умело использовали нейтралитет Викжеля, но, где нужно, заставляя насилем перевозить свои войска... Неделю назад они обещали социалистическую революцию в России и во всём мире, сейчас пишут: «Правительство не ставит себе социалистическую революцию как непосредственную задачу». — ЦК эсеров теперь отзывает своих делегатов с примирительных переговоров после того, что «ЦИК провёл резолюцию о продолжении гражданской вой-

ны»; протестует против приказа об аресте Керенского: он ответственен только перед народным представительством. — Письмо Верховского в «Новую жизнь»: Я глубоко возмущён, что меня, не спросив, включили в список министров; ни в какие соглашения с большевиками я не пойду; люди эти, всё обещая, ничего не дадут; вместо мира междуусобная война, вместо хлеба голод, вместо свободы грабежи, анархия и убийства.

2 ноября снова заседание ЦК большевиков, и Ленин проводит свою резолюцию против бунтующей группы Каменева, Зиновьева, Рыкова, Ногина: Сложившаяся внутри ЦК оппозиция целиком отходит от основных позиций большевизма и пролетарской классовой борьбы; преступные колебания; нельзя отказываться от чисто большевизмского правительства; ЦК приглашает оппозицию отстраниться от практической работы, в которую они не верят, и перенести свой скептицизм в печать. — Заявление Луначарского в прессе: Кремль бомбардируется, жертв тысячи; вынести этого я не могу, моя мера переполнена, остановить этот ужас я безсилен, выхожу в отставку из СНК.

На заседании ЦИК: Просить СНК присылать на заседания ЦИК хоть одного из наркомов (они не являются и не отчитываются). И членам ЦИК без уважительных причин не пропускать заседаний; законный кворум: 1/4 часть членов. Приказ № 1 главнокомандующего Муравьёва по обороне Петрограда неграмотно составлен, его можно толковать как призыв к самосудам; подлежит отмене. — В ЦИК декларация левых эсеров: Установленная фактически диктатура одной политической группы неминуемо толкает на путь жестоких репрессий даже по отношению к трудовым элементам, ведёт к гибели революции; фракция левых эсеров ультимативно предлагает ЦИКу пересмотреть платформу соглашения с другими социалистическими партиями; в случае вашего отказа начнём борьбу изнутри. — Зиновьев от ЦК большевиков предлагает левым эсерам войти в СНК, но чтоб у большевиков было больше половины мест, в том числе внутренних дел и иностранных; и должны участвовать Ленин и Троцкий, и правительство ответственно только перед ЦИК (где большинство большевиков же). Левые эсеры соглашаются на резолюцию большевиков.

Продолжают бастовать все ведомства, кроме военного, но и в нём вялость, никакой работы и в Главном и в Генеральном штабах. — Большевики: если б эти «спасители» заботились о России прежде революции, разве они могли бы призывать к саботажу в министерствах и учреждениях? Левые эсеры: Саботаж текущей работы является неслыханным преступлением против революции. — В петроградской г. д.: большевики через несколько дней падут, вся Россия против них; обсуждают состав будущего правительства. (Большевики еле терпят г. д., но пока ещё она нужна, а через 2 недели её разгонят.)

К утру 3 ноября юнкера сдали Кремль. Строгое разоружение их там и у Александровского училища, где враждебная толпа требует вы-

дачи юнкеров и офицеров для самосуда. В Кремле расправы. — Последние сутки Кремль обстреливался особенно жестоко; пробит главный купол Успенского собора, повреждена и ещё глава; изъязвлены стены Архангельского и Благовещенского, разрушено знаменитое крыльцо Благовещенского и повреждены фрески на его портале, отбит угол колокольни Ивана Великого; в Чудов монастырь попало несколько десятков снарядов; почти нет непострадавшей церкви, побиты иконостасы, и тут же началось расхищение алтарей и ризниц. Исклѣваны стены Кремля, повреждены башни, часы Спасской испорчены, повисли в воздухе; расстреляны Никольские ворота с большой иконой Николая Чудотворца. Повреждены многие дома по Тверской, по Никитской, изрыта их мостовая для баррикад. — Матросы, красногвардейцы, солдаты по улицам охотятся на «золотопогонников» и «буржуев». Уличные, домовые, складские, винно-погребные грабежи, уголовники пользуются безвластием.

Ещё и сегодня в район Луги подходят эшелоны, опоздавшие на помощь Керенскому. Духонин подтверждает свой приказ всем им остановиться. — Большевицкий ВРК в Вендене (12-я армия) снял два латышских полка с фронта для нужд Петрограда. — В Луге Савинков, он приглашѣн Духониным в Ставку, но ехать не может: его повсюду ищут; тщетно пытается издали побудить Ставку к сопротивлению. — Солдаты бронепоезда, ушедшего из-под Гатчины, под Бологим сдают его и своих офицеров матросам Раскольникова. — Воззвание Гк-щего ЭФ: Полное истощение запасов хлеба и фуража, фронт ожидает голод. — Межфронтное совещание по снабжению: Десятый день страна в состоянии анархии; из-за братоубийственной войны остановилась жизнь Москвы и работа московского узла, не поступает тёплое обмундирование, много грузов расхищается и портится в пути; запасы муки и фуража на фронтах на исходе. — Общеармейский комитет: Ещё несколько дней голода — и армия сдвинется с фронта. — Перестал снабжать и Казанский ВО (в Казани ожесточѣнный бой). — В разных местах страны самодеятельно разбирают ж-д пути: кто кого куда не хочет пропустить. Страна распадается на части, теряющие связь. В иных городах разноразличной властью, но где есть сильный гарнизон, его поднимают установить власть Совета, за тем — безправие и обыски.

«Дело народа»: Где обещанные «переговоры по телеграфу» о мире? Что ответил германский канцлер на радиотелеграмму г. Троцкого? У нас нет ни мира, ни перемирия, так большевики обманули солдат? — «Известия»: Требуют от большевиков обещанных хлеба, мира, свободы; бессмысленно говорить, что большевики кому-то что-то обещали, они лишь передовой отряд масс и указывали путь к выходу; создание Рабочего и Крестьянского правительства ещё не даёт хлеба и мира, а только открывает путь к ним. — «Рабочая газета»: Большевики, упоѣнные успехами на гатчинском фронте, сорвали переговоры через Вик-

жель. — «Известия»: Восемь месяцев пустых обещаний, переливаний из пустого в порожнее; как старую ветошь сбросил народ эту власть, а теперь торг с восставшим народом? — «Воля народа»: Зловещую и роковую роль в капитуляции рев. демократии сыграл Викжель. — Но и сегодня весь день и глубоко в ночь продолжается согласительное вижельское совещание, уже без эсеров, без СКРД, без г. д. Меншевики ультимативно требуют отмены террора, восстановления свобод; большевики и левые эсеры: нельзя, пока не достигнуто соглашение. — На совещании лидеров меньшевиков Абрамович: Мы не можем принимать участие в подавлении восстания большевиков: подавляя большевизм, мы ввергаем солдат в черносотенство и антисемитизм. — Ленин на СНК ещё раз: против соглашения с Викжелем. Викжель агитирует на заводах Обуховском, Путиловском и др. ВРК обсуждает арест Викжеля.

Ленин пишет «Ультиматум большинства ЦК меньшинству»: Резолюция ЦК 2 ноября объявляет изменой делу пролетариата всякую попытку навязать нашей партии уклонение от власти, и она обязательна для меньшинства ЦК. Вчера на ЦИК большевицкая фракция открыто голосовала против постановления ЦК о численном и персональном представительстве нашей партии в СНК. Требуем категорического ответа в письменной форме, обязуется ли меньшинство ЦК подчиняться партийной дисциплине. Переносите свою дезорганизаторскую работу за пределы нашей партии! — На заседании ПСРСД 3 ноября. О вчерашнем голосовании в ЦИК Зиновьев: Кто не признаёт программы съезда Советов, должны быть отмечены. — Троцкий: Рабочие и крестьяне боролись не для того, чтоб идти на уступки. Отдан приказ об аресте высших чиновников м.и.д., они передали тайные договоры в английское посольство; но мы всё равно их уничтожаем. Гражданская война несёт свободу, и потому да здравствует гражданская война! — Делегат от Москвы: Армию контрреволюционеров составляли юнкера, казаки, студенты, курсистки и офицеры, которые всё время стреляли из-за угла.

В «Новой жизни» обращение Луначарского к рабочим, крестьянам и всем гражданам: Беречь художественные ценности; это поможет бедняку и его детям быстро перерасти образованностью прежние господствующие классы. Народ в борьбе за власть изуродовал Москву; передаваемо страшно быть комиссаром просвещения в дни безпощадной войны; надежда только на победу социализма, источника высшей культуры, который за всё вознаградит нас. — Троцкий: мы скорбим о гибели архитектурных ценностей, но это следствие борьбы классов; выше всех ценностей на свете свобода угнетённого класса; и когда он возьмёт власть, он создаст ценности, которых не знал мир.

В Перми четырёхдневный пьяный погром. — В Москве безобразие, продолжают матросские обыски домов «в поисках оружия» и офицеров. — СНК отобрал от городской управы в своё ведение петро-

градскую телефонную сеть. Наркомпочтель Глебов-Авилов: если чиновники будут продолжать забастовку — закроем кооперативные столовые, лишим хлебных карточек, права на пенсию, отправим в солдаты. — Нарком Менжинский тщетно пытается выписать деньги для СНК через министерство финансов. Управляющий Государственным Банком арестован и взят на допрос в Смольный. — В м.и.д. который день тщетно ищут для публикаций «тайные договоры» с союзниками: не находят, и не является товарищ министра иностранных дел Нератов.

4 ноября первое обращение Наркомвоенмора (Подвойский-Крыленко-Овсеенко) в Ставку, телеграмма от них Духонину: Предписываем вам все передвижения войск внутри страны производить лишь с санкции народных комиссаров.

ВРК планомерно захватывает петроградские комиссариаты милиции, подчинённые г.д. Представители ВРК самовольно срывают пломбы с товарных вагонов. ВРК реквизирует для Петрограда 50 вагонов интендантской муки, предназначенной для фронта. — Юнкерам нельзя появляться на петроградских улицах, чтоб не подвергнуться самосуду толпы; ещё и вторичные аресты юнкеров, уже выпущенных из Петропавловки. — Газетный тон большевиков крепчает: Комитет удешения родины и спасения контрреволюции, реакционная банда, подлежащая немедленной ликвидации. Напомним, что Великая Французская революция не останавливалась перед примерным наказанием не только роялистов, но и жирондистов. — «Известия»: Оборонцы всегда призывали к единству страны без междуусобиц, почему же теперь призывают к борьбе против единственно законного правительства — Советской власти? Так они стали пораженцами? они вели войска на Петроград, которому угрожают немцы. — ЦК правых эсеров осаждён делегациями рабочих и солдат (организованными): прекратите гражданскую войну! это вы её продолжаете, большевики хотят мира!

«Новая жизнь»: Большевицкое правительство управлять Россией не может, печёт «декреты» как блины, но все они остаются на бумаге, их декреты скорей газетные передовицы; большевицкие вожди обнаружили поразительное невежество в государственном управлении. — В Главном Земельном комитете: «Декрет» большевиков о земле сорвал всю планомерную работу учёта и передачи земель, привёл к насильственным захватам их во многих местах. — Всроссийская комиссия по выборам в УС (которые через неделю) почти не может работать: подавлена всякая предвыборная агитация, почта и телеграф не обеспечивают связи с местами. В городах, где были междуусобные сражения, пострадали избирательные списки, именные свидетельства избирателей. Установка Комиссии: игнорировать СНК. — Совещание при Викже-ле всё ещё не теряет надежды на соглашение с большевиками. Сегодня, 4 ноября, заседают полдня, вечер, полночи, большевики не пришли, но совещание ждёт результатов заседаний ЦИК и узнаёт ночью, безна-

дѣжные. Викжель после этого: занять выжидательную позицию. Делегация Путиловского завода: не допустят бонапартизма и безответственных действий Ленина и Троцкого.

В ЦИК — большой день (60 человек): присутствуют и Ленин, и Троцкий (и Свердлов, Сталин), председательствует, как всегда, Камнев. Лурье-Ларин ставит вопрос: отменить декрет СНК о печати; избрать от ЦИК трибунал, который может отменять уже произведенные аресты и закрытие газет. От большевиков секретарь ЦИК Аванесов: Было бы наивно выпустить из рук могучее средство борьбы за идеалы всех рабочих, солдат и крестьян; смешно полагать, что Советская власть может взять под свою защиту старое понятие о свободе печати; свобода печати в устах социалиста должна звучать совсем иначе, чем это обычно понимается; закрытие буржуазных газет есть переходная мера, дальнейшая мера должна быть: закрытие частных типографий и конфискация запасов бумаги. Троцкий: Можем ли мы допустить, чтобы во время выборов в УС враги могли пускать свою отраву? Насилие, произведенное угнетѣнными, это их право. — Левые эсеры возражают: Не надевать намордник на мысль; ваша тактика есть тактика побеждённых, а не победителей; кто чувствует себя действительным представителем воли народа, тот не будет бояться более слабой мысли. — Ленин: Мы и раньше заявляли, что закроем буржуазные газеты, если возьмѣм власть в свои руки; буржуазия провозгласила свободу, равенство и братство, рабочие говорят: нам это не нужно. Кто говорит о свободе печати, тот останавливает поезд, который полным паром идёт к социализму. — Принимается резолюция большевиков. (В зале, где заседает ЦИК, сидят и матросы и угрожающе давят на голосование.) — Делает заявление левый эсер Прошьян: Принятая резолюция есть яркое выражение системы политического террора и разжигания гражданской войны; мы отказываемся идти рука об руку с партией, которая узаконяет недопустимую систему репрессий; фракция левых эсеров остаётся в составе ЦИК, но отзывает своих представителей из ВРК, из Штаба и со всех ответственных постов. — Запрос левых эсеров: за последние дни опубликован ряд декретов от имени СНК без всякого обсуждения в ЦИК; на каком основании? — Отвечает Ленин: Новая власть не могла считаться со всеми рогатками формальностей. Пусть рабочие берутся за создание рабочего контроля; социализм — это прежде всего учѣт. О приказе Муравьѣва мы узнали из газет, но он не противоречит духу новой власти. — Левые эсеры: Скоропалительность выпечки декретов, зачастую неграмотных; новые законы сплошь и рядом противоречат друг другу по духу; декрет о земле приводит к недоумениям и поножовщине. — Троцкий: Наша власть есть власть классов трудящихся и угнетѣнных, и вся обычная парламентская механика была бы никчемна у нас; нет надобности каждый декрет формально согласовывать с ЦИК. — Левые эсеры: Признать объяснения неудовле-

творительными. — Урицкий: Полное доверие СНК, он может издавать неотложные декреты без предварительного обсуждения. (Резолюция принимается.)

Групповое заявление большевицких наркомов Ногина (торг-пром), Рыкова (внудел), Милютин (земледелия), Теодоровича (продовольствия): Необходимо образовать социалистическое правительство из всех советских партий; сохранение чисто-большевицкого достижимо только средствами политического террора, ведёт к безответственному режиму; не желая отвечать за эту политику, слагаем с себя звание народных комиссаров. — Отдельное заявление Шляпникова (нарком труда): Присоединяюсь к общей оценке, но считаю недопустимым снять с себя ответственность. — От левых эсеров: Теперь развал власти грозит принять катастрофический характер. — Совпадение двух уходов: и левых эсеров, и своих наркомов! Троцкий: Пусть отходят усталые; слабее количеством, но сильнее качеством, мы с гордо поднятой головой будем продолжать свой путь вперёд, это не развал, это очищение; московские рабочие массы не пойдут за Рыковым и Ногиним; если и левые эсеры не присоединятся к нам, то они оторвались от народа. — Закс: Не останемся ли мы совсем одинокими? Западная Европа позорно молчит. Ленин: «Запад позорно молчит» недопустимо в устах интернационалиста; мы верим в революцию на Западе, мы знаем, что она неизбежна; мы поведём в окопах организованное братание и поможем народам Запада начать непобедимую социалистическую революцию. Откалываются отдельные интеллигенты, но мы всё большую поддержку находим в крестьянстве; у нас будет республика труда.

Заявление пяти членов ЦК большевиков (Каменев, Зиновьев, Рыков, Милютин, Ногин): Для программы мира и для предотвращения кровопролития и голода необходимо создание единого социалистического правительства. На днях с трудом добились такого решения ЦК, но руководящая группа ЦК настояла на чисто большевицком правительстве. Складываем с себя звание членов ЦК, чтобы иметь право откровенно сказать своё мнение массам рабочих и солдат.

Прежде в этот день на ПСРСД Ленин: Всему народу следует учиться управлять; г. д., этот центр корниловцев, мы не допустим их к власти. Нас упрекают, что мы арестовываем; но террор, какой применяли французские революционеры, когда гильотинировали безоружных людей, мы не применяем и, надеюсь, не будем применять.

Вот уже неделя как Ставка не вмешивается в ход петроградских и московских событий. (И генеральская группа Корнилова не покидает Быхова, пока держится Ставка.) — **5 ноября** первый разговор по прямому аппарату Крыленки из Петрограда с Духониным в Могилёве. Крыленко убеждается, что нет новых передвижений войск к Петрограду. (Настроение Ставки: умалчивать о своей политической позиции, но до УС отстаивать от большевиков распорядок в армии.) — Да и кого бы

посылать? фронтовые солдатские массы захвачены большевизмом обещанием скорого мира и земли: раз говорят, значит, так и будет. Фронту безразличны виды правительства, партии, политика, а только: конец войны! (И это есть несомненная народная поддержка октябрьского переворота.) Усилия большевиков по перевыборам враждебных им комитетов армий.

Воззвание Всероссийского Комитета Спасения Родины и Революции: Большевики захватили власть путём военного заговора, их насильственный переворот стал источником кровавых междоусобий и сделал невозможным правильные выборы в УС. Призываем все города, земства, крестьянские, рабочие, армейские, демократические организации: не признавать большевицкого правительства и бороться с ним; образовывать местные комитеты Спасения. — Руководители Вижеля уехали из Петрограда в Москву. Обращение Вижеля «Всем, всем, всем»: Примирительное совещание вынуждено было прекратить свои работы после резолюции ЦИК СРСД; совещание постановило протестовать против политического террора и стеснения свобод. — Для подрыва Вижеля (перевыборами) ЦИК назначил экстренный съезд железнодорожников. — Ногин и Рыков после отставки поехали в Москву, убеждать товарищей в своей правоте. — В Москве в Храме Христа Спасителя Патриархом Всея Руси избран митрополит Московский Тихон.

«Рабочая газета»: Заставить большевиков капитулировать мирным путем, изолировать их и тем одержать безкровную победу над ними. — «Известия»: Слабонервные люди не хотят понять, что обострение классовых антагонизмов неотвратимо приводит к оружию; конечно, гражданская война ужасное дело, но только сентиментальные толстовцы могут на этом основании повернуться к революции спиной; и поэтому странными являются все требования о «прекращении террора», о «восстановлении гражданских свобод». — «Новая жизнь»: Развал большевицкого правительства, ничего другого нельзя было ожидать; СНК и ВРК действуют совершенно самостоятельно, не считаясь с ЦИК. — Ленин пишет воззвание «К населению»: Рабочая и крестьянская революция окончательно победила в Петрограде. Товарищи трудящиеся, *вы сами* теперь управляете государством, беритесь за дело снизу, никого не дожидаясь; арестуйте и предавайте революционному суду народа всякого, кто посмеет вредить народному делу в саботировании производства, в скрывании запасов хлеба и продуктов... вообще в каком бы то ни было сопротивлении... — И с новой горячностью пишет вторичный ультиматум Каменеву, Зиновьеву, Рязанову, Ларину: ...Внесите колебание в ряды борцов незаконченного ещё восстания; ЦК вынужден повторить ультиматум: либо немедленно в письменной форме дать обязательство подчиняться ЦК, либо отстраниться от всякой публичной деятельности. — Первый снег в Петрограде; не стаял.

На другой день, **6 ноября**, Ленин с той же горячностью снова: «Ко всем членам партии и ко всем трудящимся классам России»: Несколько членов нашей партии дрогнули перед натиском буржуазии и бежали из нашей среды; вся буржуазия и все её пособники ликуют, пророчат гибель большевицкого правительства; товарищи, не верьте этой лжи, обманным заявлениям, будто большевицкое правительство не есть Советское правительство; пусть же будут спокойны и тверды все трудящиеся. — «Дело народа»: У победителей, после хмельной октябрьской ночи, начинается бегство с большевицкого государственного корабля. Какое же поголовное бегство начнётся через две недели?.. Диктатуру Ленина и Троцкого надо победить не оружием, а бойкотом их, отвернувшись от них; мы и ждали УС, тогда бы и образовалось «рабочее и крестьянское правительство», но большинство принадлежало бы эсерам; и большевики подняли оружие не против буржуазии, а против рев. демократии, по обе стороны баррикады оказались социалисты.

На заседании ЦИК Сталин: Освобождение всех арестованных по политическим делам и свобода всей печати неприемлемы. Бухарин рассказывает о боях в Москве, признаёт применение большевиками 12-дюймовых орудий, и только по отсутствию должной решимости ВРК не применены «аэропланы, которыми мы могли бы без всякого труда разрушить совиные гнезда контрреволюционных штабов». Он против свободы печати: «Печать является таким же орудием борьбы, как винтовка и тюрьма»; и ставит петроградцам в пример, что свою московскую г. д. они уже разогнали. (Московский ВРК: Если г. д. соберётся самовольно, ВРК не остановится перед расстрелом гласных. Городской голова Руднев скрылся.) — ЦИК-1 (от 1-го съезда) постановил продолжать свою деятельность ввиду неправомочия 2-го съезда Советов (на нём не были представлены 800 Советов из 900 и все армейские комитеты).

Бунтарям из СНК и ЦК не дают выступить с объяснениями перед рабоче-солдатскими массами Петрограда: всюду они закричаны. (Первый опыт организации «народного протеста».) — На ПСРСД Бухарин требует полного прекращения переговоров с предателями меньшевиками и правыми эсерами, а левым эсерам предлагает войти в СНК. От царскосельского гарнизона: Штыками заставить ушедших народных комиссаров вернуться обратно.

Распоряжение СНК Государственному Банку: открыть особый счёт СНК на имя Менжинского и положить туда 10 млн рублей. Совет Гос. Банка отказал. — Публичное заявление служащих министерства финансов: они удовлетворяют требования армии, населения, выплату жалований, вкладов из сберкасс, но отказываются участвовать в расхищении народного достояния захватчиками. — Воззвание г. д.: Государственный Банк — хранилище всех народных сбережений, через него вся оплата труда и продовольствия. (Только со времени октябрьско-

го переворота курс рубля в Европе упал вдвое, от довоенного вшестеро.) — Вечером 6 ноября в Государственный Банк явился с окружением Менжинский с целью взломать хранилища казначейства. Но охраняющие Банк солдаты-семёновцы и рабочие из Экспедиции государственных бумаг отказали. Менжинский удалился. — Во всех министерствах, кроме военного, забастовка служащих уже 10 дней. (Угрозы большевиков: «враги народа и изменники революции», выбросим с квартиры, отправим на фронт, подвергнем военно-революционному суду!) Выпало этим мирным служащим быть единственными в сопротивлении новой власти; но и сильные колебания у них: и подчинение большевикам есть гибель государственного управления, и нельзя же это управление разваливать. — Нератов прибыл в м.и.д. для передачи ключей (и вожделенных «тайных договоров»), но никто в министерстве не соглашается работать с Троцким.

В Смольном делегаты задержанных под Лугой Нежинского и Зарайского полков, шедших против узурпаторов власти, объясняются с Троцким. — Выезд из Петрограда только по выданным разрешениям; но ген. Краснов из-под домашнего ареста вырвался в Новгород. — Совет Союза казачьих войск (в Петрограде): Бесплодные усилия казаков пошли в жертву партийной борьбе; решительно не признавая власти большевиков, не вмешиваться в начавшуюся гражданскую войну, а все силы к созданию демократического правопорядка в родных казачьих областях. — По Петрограду расклеены объявления от «комиссаров по защите музеев»: просят полковые и флотские комитеты «принять меры к возврату в Зимний дворец художественных предметов большой исторической ценности, исчезнувших в ночь с 25 на 26 октября».

В ночь на 7 ноября ещё одна попытка примирительного совещания при Викжеле, и большевики изображают переговоры. Неуклонен ИК СКрД: большевики должны быть устранены от власти, а ВРК распущен. Не договорились ни до чего. — Уже несколько дней, как ВРК закрыл шведскую границу у Торнео; но вот экстренным поездом приехали из Швеции Радек и Ганецкий.

Горький: Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти; слепые фанатики, безсовестные авантюристы; считают возможным совершать все преступления вроде разгрома Москвы, уничтожения свободного слова, бессмысленных арестов; на шкуре рабочего класса Ленин производит некий опыт. — Гиммер-Суханов: Кому же не ясно, что перед нами нет никакой «советской власти», а диктатура дуумвирата Ленина и Троцкого и она опирается на штыки обманутых солдат и вооружённых рабочих? Уход из ЦК и правительства всех культурных сил, сколько-нибудь пригодных для государственной работы, есть начало изоляции политических авантюристов; употребить все силы, чтобы разъяснить массам безвыходный тупик, в который их завлекли, пользуясь их темнотой и отчаянием. — «День»: Совета народ-

ных комиссаров уже нет, остались только Ленин, Троцкий и какая-то партийная мелочь вокруг них; словно прокажённые, останутся авантюристы из Смольного одни, под защитой мёртвых пулемётов и отверженные всей демократией; с каких пор экономический фактор истории уступил место фактору пулемётной ленты и солдатского штыка? — «Новая жизнь»: Чрезмерная литературность социалистических декретов новой власти; последние литературные выступления председателя СНК подлежат суду не политическому, а психиатрическому: бред, лишённый смысла; остаются на корабле доктринёры, знающие Россию по женевским собраниям эмигрантов. — День: Для мёртвой пустоты интеллигенции исторические драгоценности Кремля — ненужный старый хлам; мы собственными руками посягнули на разрушение святынь своего же народного творчества. — Луначарский: Дела в Москве оказались не так плохи; а главное: пролетариат так трогательно выразил своё огорчение; окажутся ли на высоте партийные интеллигенты? не могу не осудить шага правых большевиков, их прямого неподчинения, и остаюсь в рядах рабочего и крестьянского правительства. (Кроме него вернулся в СНК и Теодорович.) — Публичное заявление Зиновьева: берёт назад свой выход из ЦК и призывает других вышедших к тому же: мы остаёмся вместе с партией, мы обязаны подчиняться партийной дисциплине.

«Дело народа»: Наивные солдатские массы полагали, что у большевиков есть какое-то особое «слово» о мире и желанный мир будет немедленно достигнут; и вот они это «слово» сказали, и всё осталось по-старому; теперь грозит разгром России голодными массами солдат, а затем враг может идти через Россию в походном порядке; будет даже не сепаратный мир, т. к. с нами не захотят и разговаривать, а именно «похабный» мир, за счет безпомощной России. — «Известия»: Мир идёт! Нет ответа от империалистов Запада? но есть приветствия от Ледебура, Гильбо, австрийский пролетариат уже начал борьбу за немедленный мир, со стороны пролетариата Франции раздался властный голос. Блестящий первый шаг сделала наша революция по пути прекращения войны; Англия и Франция будут вынуждены отказаться от идеи войны до победного конца.

Утром 7 ноября в Смольном Троцкий собрал гарнизонных представителей: Саботаж в Гос. Банке не даёт возможности снабжать фронт, красную гвардию и ставит под угрозу УС; солдаты гарнизона должны доказать, что Гос. Банк есть достояние народа; для этого через 2 часа сводному отряду, от каждого полка по взводу, совершить вооружённую демонстрацию с музыкой перед Банком, дать на размышление 10 минут, и пусть хоть подпишут бумажку, что уступают давлению силой. (От 9-го кавалерийского полка: Где вера, что нас не обманет и Ленин? смотрите, чтоб нас не прокляла вся Россия; тут что-то кроется, ведь Банк не петроградский, а всего народа. Другие: Гарнизон не законода-

тельная сила, а где решение ЦИК? Троцкий: ЦИК несомненно одобрит.) — Сводный отряд с красногвардейцами, частью на грузовиках, с оркестром и броневиком, подошёл к Государственному Банку; охрана семёновцев не допустила его внутрь ограды; но к этому времени в Банк собрались и делегации от г. д., ИК СКрД, рабочих Экспедиции, союза служащих Банка. — Менжинский и Муравьёв предъявили бумагу, воззвание от СНК к служащим Гос. Банка, рабочим и солдатам: Кто словом или делом препятствует Советской власти, тот тяжкий государственный преступник, и на его голову обрушится рука революционной власти; Рабочее и Крестьянское правительство повелевает выдать 10 миллионов рублей на нужды народа, на выдачу даётся 10 минут. — Возражения: бумага без всякой подписи! Промах; тут же её подписал Менжинский. Мало! все протестуют и отказывают в выдаче денег. — Муравьёв поехал в Смольный. Оттуда приказ: снять наружное оцепление; ввиду целого ряда формальных упущений вопрос временно считать открытым. — Зато под угрозами ВРК вскрыта силой кладовая казначейства при градоначальстве и взято 160 тыс. рублей. — По Петрограду расклеена листовка жирными буквами от ВРК: Мы предостерегаем богатые классы и их прислужников, что они играют с огнём; если они не прекратят свой саботаж в учреждениях, на почте, в банках, они первыми будут лишены права получать продукты; имущество главных виновников будет конфисковано. — Первые аресты видных чиновников за сокрытие именных списков служащих (т. е. забастовщиков).

С 7 ноября в Петрограде хлебная норма уменьшена до 3/8 фунта. — На многих заводах Петрограда введены два прогульных дня в неделю: нет угля. — «Новая жизнь»: По ожидаемому декрету о рабочем контроле фабриканты обязаны подчиняться фабзавкомам под угрозой тюремного наказания; а кто будет отвечать за снабжение заводов сырьём и топливом? фабзавкомы? — Фронты, особенно Северный, на грани голода, за последние 10 дней туда не поступало почти ни вагона муки; уменьшены хлебные пайки, солдатам выдают залежалые сухари запаса; фуража нет, падёж лошадей. — Делегация рабочих-печатников в ВРК: требуют свободы выпуска всех газет без исключения, иначе бастуем. Им отвечено: за каждым из вас у станка поставим солдата со штыком.

Левые эсеры, уже исключённые из партии эсеров за содействие большевицкому перевороту, формируют отдельную партию. — Переговоры их с большевиками; м. б., Спиридонова и Коллегаев войдут в СНК, колебания. — Троцкий предложил: закрыть все газеты и выпускать только «Известия» и «Правду»; отклонили. — Меньшевики считают опасным создание бы теперь другого правительства, в противовес большевикам; но можно создать аполитичное «предправительство» или «междуправительство». — Разогнанную московскую г. д. красногвардейцы не пустили собраться в думском здании; думцы собрались в уни-

верситете Шанявского: как реагировать на роспуск? надо бы выпустить воззвание, чтоб избиратели поддержали нас, но нет свободы издать его; ничего, угар скоро пройдёт, и массы отрезвятся.

Ставка осталась единственным всеми признанным общерусским центром. В Ставку один за другим тайно прибыли лидеры ревдемов: Чернов, Гоц, Скобелев. Второй день совещание их с Общеармейским комитетом и Станкевичем, комиссаром при Верховном: создать правительство во главе с Черновым? (Гоц против: это скомпрометировало бы эсеров перед УС; и петроградские меньшевики дали знать, что против.) Созвать съезд СКрД в Могилёве (но делегаты уже едут в Петроград, не повернуть)? Остаётся: выжидание. — В ночь на 8 ноября Общеармейский комитет рассылает всем комитетам фронтов и армий: Непримиримая позиция Ленина и Троцкого, с ними не хотят говорить ни союзники, ни германцы; выборы в УС стали невозможными; предлагаем ДА взять на себя инициативу создания власти, правительство от большевиков до народных социалистов, министром-председателем — Чернов. — Но и большевики наконец достаточно укрепились, чтобы взяться и за Ставку. В ночь на 8-е послан Духонину телеграфный приказ за подписями Ленина, Троцкого и Крыленки («комиссара по военным делам»): Тотчас обратиться к военным властям неприятельских армий с предложением немедленной приостановки военных действий для открытия мирных переговоров. СНК приказывает вам непрерывно докладывать по прямому проводу о ходе переговоров; акт перемирия подписать только с согласия СНК.

В Ставке после телеграммы народных комиссаров; она даже без подписи и без даты, Духонин запросил военное министерство о гарантиях подлинности её. — Ставка на пороге решений: выполнять приказ правительства, которого не признаёт? начинать борьбу с большевиками? но даже могилёвский гарнизон, георгиевский батальон ненадёжны, брожение уже и у казаков, и у текинцев; телефонисты Ставки подслушивают разговоры и передают в могилёвский Совет. Увезти Ставку в Киев? там мешают Рада; на Румынский фронт? но даже нет уверенности, выпустят ли из Могилёва солдаты, и вывезти ли ставочные дела? — Духонин в жестоких колебаниях: мешать их перемирию? вся армия и страна скажут: Ставка против мира. И если в марте ДА подчинилась ВП, насильно захватившему власть, то почему теперь сопротивляться этим новым захватчикам? мир действительно необходим. — Генеральская группа Корнилова в Быхове остаётся в заключении.

8 ноября опубликовано обращение служащих государственных учреждений: Мы живём впроголодь, но не заявляем требования об улучшении нашего положения; презируя угрозы, мы не считаем возможным отдать свой опыт, знания и самый аппарат управления насильникам над народной волей; но мы ни на минуту не остановили работу на оборону и продовольствие. — «Дело народа»: Большевики своим захва-

том власти нанесли окончательный удар расшатанной народно-хозяйственной жизни страны, уничтожили сложный государственный аппарат снабжения армии и населения хлебом. — «День» (о вчерашней листовке ВРК): Как же так, у нас введен социализм, а «кучка капиталистов» и их «прислужники» всё срывают нам в голод и хаос? в категорию «прислужников» отнесено всё сознательное и культурное, что есть в России, и все служащие, и все социалисты и их семьи, и дети, и они теперь будут лишены права получать продукты? осатанелая фантазия гибнущих авантюристов; Ленин слишком поспешно обещал народу мир, землю и хлеб, но для этого мало захватить государственную власть и запереть нескольких министров в Петропавловскую крепость; нет, штыккратия не заменит демократию. — Потресов: Одного хотел бы: чтобы никто не помешал большевицкой власти умереть естественной смертью и их конец прошёл бы в глубь народного сознания; но уже за эти две недели произошло непоправимое, и России придётся долгие годы расплачиваться. — «Дело народа»: У нас даже не власть коллегии комиссаров, а правящая двоица, двоедержавие двух «чистых», пока кто-нибудь из них не «очистит» от головы, в свою очередь, другого соправителя.

«День»: Налётчики из Смольного отняли у России последнюю возможность заключить почётный мир; их «декрет о мире» просто мыльный пузырь. — «Известия»: Декрет о мире не бумажка, а крупнейший политический акт; европейский пролетариат заговорил, германский пролетариат начинает борьбу за мир; революционная схватка ещё не наступила, но уже слышны раскаты грозы. — «Рабочая газета»: Империалисты Германии! торопитесь с миром: никто не даст вам так дёшево окраин России, как большевицкие правители.

До выборов в УС осталось 4 дня. По деревенским местностям вооружённые большевицкие солдаты разъезжают с угрозами. Во многих глухих местах и вообще не хотят выборов: хватит, весь год только и знали, что выборы, одни расходы; в списках партий не разбираются, а слушают, кто что обещает. — Потресов: Мы возлагаем все надежды на УС, но и его можно так же расстрелять, как на днях был расстрелян Успенский собор; придёт рота красногвардейцев, нацелится — и где ты, краса и гордость России? — На инструктаже районных работников в ПК Володарский: УС для нас не фетиш; может создаться положение, что мы должны будем противопоставить ему Советы. Если массы ошибутся с избирательными бюллетенями, им придётся взять другое оружие: если УС пойдёт против воли народа, встанет вопрос о новом восстании.

На ПСРСД делает доклад приехавший Радек: Вторая революция в России произвела на рабочий класс Австрии и Германии ошеломительное впечатление, хотя социал-оппортунисты определяют её как внутренний хаос. Европейской революции пока ещё нет, но брожение переходит в открытую массовую борьбу за мир. — ПСРСД принимает декрет о реквизиции тёплых вещей у богатого (по величине квартирной платы)

класса. — Декрет СНК: газетные объявления становятся монополией правительственных газет (тем подорвать все остальные); никто не может помещать объявления там, где он считает это себе удобным; все другие издания за напечатание объявлений будут закрываться; у виновных в саботаже конфискуется всё имущество плюс тюремное заключение до трёх лет.

Среди дня Троцкий рассылает союзным послам в Петрограде ноты: Честь имею просить вас посмотреть на воззвание съезда Советов 26 октября как на формальное предложение перемирия на всех фронтах и открытия мирных переговоров. — Теперь, завладев секретной перепиской союзников, намерен начать публикацию уже через сутки. — Во второй половине дня в ЦИКе делает доклад об этих шагах СНК к миру. Впечатление в Европе от декрета о мире? наши самые оптимистические предположения оправдались; саботаж чиновничьих верхов и интеллигенции? должен быть сломлен при помощи низов. — Не сдавшийся Каменев слагает с себя должность председателя ЦИК, вместо него избран Свердлов. — Шляпников: Сегодня входит в жизнь закон о рабочем контроле. — Луначарский: Всероссийский учительский союз не согласен признать новую власть; в Зимнем дворце хищений на 2 миллиона рублей, и в гатчинском то же.

Ночью: прошли сутки от телеграммы Духонину, и союзным послам уже 10 часов как вручены ноты, не отвечают. Крыленко (а Ленин и Сталин тут же рядом) вызывает Духонина к прямому проводу: какие шаги уже предприняты для перемирия? Духонин уклончиво: А имел ли СНК ответ от воюющих государств на свой декрет о мире? а с кем вести сепаратные переговоры о перемирии: только с немцами? или и с турками? Крыленко: Отвергаем ваше право замедлять предварительными вопросами дело государственной важности; ультимативно требуем немедленно начать переговоры, посылайте парламентёров. Духонин: только центральная правительственная власть, поддерживаемая армией и страной, может иметь для противников достаточный вес и дать России необходимый мир. — Тотчас же, от Ленина-Сталина-Крыленки: Мы увольняем вас от занимаемой должности за неповиновение; продолжать ведение дел, пока в Ставку прибудет новый Главнокомандующий прапорщик Крыленко. — Одновременно радиограммой (написана Лениным): Всем полковым, дивизионным, корпусным, армейским комитетам, всем солдатам и матросам. Дело мира в ваших руках; пусть полки, стоящие на позициях, выбирают тотчас уполномоченных для формального вступления в переговоры о перемирии с неприятелем, СНК даёт вам право на это. Ленин, Крыленко.

Какой угодно мир, только скорей! Массы разожжены, декрет о мире не может остаться на бумаге. Разрыв с союзниками и сепаратная капитуляция. Распахнут фронт, нет больше линии фронта. Страна — на милость победителя.

УЗЕЛ IX — ДЕКАБРЬ СЕМНАДЦАТОГО (24 НОЯБРЯ — 7 ДЕКАБРЯ)

На СНК закрытое обсуждение первых результатов мирных переговоров (20–22 ноября в Брест-Литовске, при штабе Леопольда Баварского) с Германией; докладывают Иоффе, Каменев, Сокольников. Советские громко демонстративные предложения о «всеобщем демократическом мире» и всеобщем перемирии сразу жёстко отклонены немцами: только сепаратное перемирие от Балтийского до Чёрного моря и в Закавказьи, без возврата России Моонзундских островов и с запретом русскому флоту плавать в Ботническом заливе; отклонено наше условие о «непереброске немецких войск на другие фронты» и внушён строгий выговор за распространение подрывных листовок в германских войсках; отклонено наше предложение о долгом перемирии, месяцев на 6: не больше 4 недель, а пока 10 дней. (Это и будет считаться «дать время союзникам присоединиться», а если за 10 дней не присоединятся, то можно и продолжать переговоры: если начали о сепаратном перемирии, то почему и не о сепаратном мире? уже имеем полное право. Большевики так энергично обещали массам мир, что всякий иной путь теперь и отрезан: опрокинут свои же массы.) Просили Германию «повлиять» на Антанту, чтобы все присоединились к переговорам; ответ ген. Гофмана: это ваше дело — обращаться к своим союзникам. Но Троцкий уже послал им не по одной ноте — не откликается ни «империалистическая буржуазия», ни «пролетариат всего мира». Опубликовать от СНК: Если союзники не будут с нами сотрудничать, то их интересы могут пострадать.

24 ноября на ЦИК доклад Каменева о переговорах: Народным массам внушается ложь о нашей поездке; мы ехали устроить мирный конгресс для всех воюющих стран, мы ехали вести переговоры о всеобщем мире, ни о каком другом; для нас приемлемо только то перемирие, которое является преддверием всеобщего мира; мы ездили требовать мир, а не вымалывать; пройдёт несколько дней, и факел, брошенный русской демократией, зажжёт весь мир. — **25 ноября** прения по докладу; постановлено: выпустить Воззвание к народам всего мира. — По настоянию левых эсеров ЦИК обсуждает уже изданный декрет СНК о роспуске петроградской г.д. (выбранной 3 мес. назад и с полномочиями ещё на 13 мес. вперёд; последний раз заседала под дулами матросов и красногвардейцев) за то, что г.д. выступила против воли большинства революционной демократии и не признаёт Советской власти; левые эсеры не против роспуска, но почему обходя ЦИК? Протест отклоняется 88 : 85. Новые выборы г.д. назначены на 27–28 ноября. (Ещё разогнана саратовская г.д., а тамбовская резко ограничена Советом.) — На этих двух заседаниях ЦИКа стоит в порядке дня, но не остаётся времени (ЦИК — придаток СНК) обсудить: запрос о предпо-

лагаемом роспуске Викжеля (СНК постановил: не признавать его и прекратить с ним отношения); закрытие газет; и арест 23 ноября (за 5 дней до ожидаемого открытия УС) Всероссийской комиссии по выборам в УС. (На выборах 12–14 ноября неграмотные опускали не прочтённые ими бюллетени; в армии кое-где голосовали целыми ротами заедино; во многих городах «буржуев» отгоняли от урн; пришло в Комиссию множество жалоб.)

«Известия»: Новый идол. Из УС сделали божка и разбивают перед ним лоб, не замечая, что служат буржуазии; демократия никогда не чувствовала пиетета перед парламентами; «вся власть УС!» имеет самый реакционный смысл, если УС выступает против передового класса; главные задачи уже осуществлены самим организованным народом, что может прибавить УС к самобытному революционному творчеству масс? — Лурье-Ларин: Устранить кадетов из УС — значит укрепить его авторитет. — Опубликован написанный Лениным «Проект декрета о праве отзыва»: В каждом избирательном округе Советы имеют право назначать в любой срок перевыборы в любые представительные учреждения, включая УС.

Винные погреба Зимнего дворца были наглухо забыты и замазаны уже после первых покушений в ночь взятия, поставлена особая охрана. Но в ночь на 24-е соблазнился и караул, выломали двери, окна, стали распивать и вытаскивать вино в бутылках. Весь день 24-го стекались сюда солдатские толпы со всего Петрограда, сменили пять раз караулы, но перепивалась и новая стража, от дворца расходились вереницы с мешками, корзинами, чемоданами. Тремя пожарными насосами накачивали в погреба воду по пояс, но ныряли и в воду (кто и тонул). Против разгрома призваны волынцы, пулемётная команда, матросы, наконец, и броневики; к вечеру безчувственные тела лежат вокруг дворца, на площади беспорядочная стрельба, драка за бутылки. Но попытки грабежа Эрмитажа пресечены. Начиная с Миллионной улицы и по всему городу 25-го масса продавцов вина.

В большинстве министерств и учреждений чиновники продолжают бастовать: либо вовсе не приходят, либо работают, но не допускают большевистские власти ко вмешательству. В Госбанк (уже освобождённый от лишних миллионов) матросы под оружием приводят на службу чиновников текущих счетов. — Бурцев по-прежнему сидит в Петропавловке (где и все несоциалистические министры ВП), и ему не предъявлены обвинения; предложили отпустить, если обещает не выступать против большевиков; отказался.

После того как Ставка 19 ноября пала без вооружённого сопротивления, захвачена большевиками, комиссар при Верховном Станкевич и другие вожди ревдемов бежали из Могилёва, на могилёвском вокзале толпой матросов убит и растерзан ген. Духонин, — Верховным Главнокомандующим числится теперь прапорщик Крыленко, а начальником

штаба Верховного ген. М. Бонч-Бруевич. — На фоне переговоров о перемирии с немцами уже никаких оперативных забот о фронте, но из первых действий новой Ставки: формировать вооружённые (матросско-красногвардейские) отряды по 500 человек каждый и направлять их против Новочеркасска-Ростова и Оренбурга на подавление казачьих там властей. (Пропаганда большевиков против Дона: Каледин хочет восстановить монархию.) Крыленко запрашивает украинскую Раду, пропустит ли она его войска к Ростову. — На Ростов пошла и черноморская флотилия из Севастополя, суда с революционными матросами. Высадили десант в Таганроге, вошли в гирло Дона, отдельные матросские группы уже в Ростове. — 19-го же ноября быховские узники ушли из своей тюрьмы и, разделясь, разными путями направились на Дон. Генералы Деникин, Марков, Романовский переодетыми достигли Новочеркасска до 25-го. Корнилов с несколькими эскадронами текинцев на прямом пути на юг.

На Дону Каледин в минувшую неделю собирал ростовско-новочеркасскую общественность: Одно казачество не может поднять бремя спасения всей России; получим ли народную (вашу) поддержку, если выступим сейчас вооружённо для восстановления центрального российского правительства? русское общество прячется на задворках, не смея возвысить свой голос против большевиков; разве здоровая общественность разрешила бы их кучке овладеть величайшей русской святыней Кремлём? — Ответ общественности: не должно быть казачьего превосходства на Дону, и отмените военное положение. Каледин: категорически не снимем, оно охраняет край от большевизма. Общественную поддержку получил только от малых частных групп. — К 24 ноября в Новочеркасске кроме Войскового Донского правительства образовалось и социалистическое Областное, со своим ВРК. Железнодорожники разбирают пути, мешая перевозить казачьи войска. — Украинская Рада усиленно предлагает Войсковому правительству союз, но не для укрепления центральной власти, как хочет Каледин, интерес Рады: собственная власть на Украине (она уже в конфликте с большевистскими Советами и отрядами). — В Оренбурге казаки активно поддержали атамана Дутова, узнав о кровопролитной расправе над казаками в ташкентском большевицком восстании. Все идут в строй, старики-казаки: Бери и нас, атаман, Россия гибнет. Неказачье население и солдаты-мусульмане тоже стали на сторону казаков. Дутов в Оренбурге арестовал ВРК, разоружил солдатский гарнизон и послал отряд на взятие Челябинска: «Большевицкое правительство, проповедая самоопределение народов, хочет железом и кровью подавить казаков». — Воззвание СНК ко всему населению России: Дутов и Каледин мешают дать мир измученной стране.

На усманском уездном (Тамб. губ.) крестьянском съезде большевики терроризируют крестьян за верность их УС, угрозами и хулиган-

ством срывают съезд. — В Петрограде после подставного «чрезвычайного» съезда крестьянских депутатов, созванного левыми эсерами в середине ноября, чтобы свергнуть ИК СКрД и создать видимость объединения СКрД с большевизским ЦИК СРСД (Зиновьев был там «крестьянский делегат» с решающим голосом, а Ленин с совещательным; из 200 всего делегатов избрали 108 в новый ИК и закончили торжественным шествием в Смольный на объединение), — **26 ноября** открылся в здании петроградской г. д. более численный (500 делегатов), но тоже совсем непредставительный, с искусственным перевесом солдатских делегатов от «крестьянских секций фронта и тыла» (солдату бросить фронт легко, не как крестьянину ехать из глухой сельщины) 2-й съезд СКрД. Левые эсеры с большевиками и тут самозвано оттеснили старый ИК СКрД, нахрапом заняли подиум президиума, заседание шло с кулаками и едва не кончилось побоищем; при выборах председателя небольшим перевесом голосов Спиридонова одержала верх над Черновым.

«День»: Разгром УС, по-видимому, решённое дело, к Петрограду стягиваются разгоноспособные войска, латышские полки. — Всероссийская комиссия по выборам в УС всё так же арестантами в Смольном, их допрашивают: признаёте ли вы до сих пор власть ВП? согласны ли вы работать с СНК? (Комиссию якобы подозревают в том, что она пристрастно вела избирательную кампанию, на самом деле: дезорганизовать УС в последние дни перед открытием.) — Большевики уже видят, что и вместе с левыми эсерами им не иметь в УС большинства. (Тот же Зиновьев выставлялся депутатом УС от... ЗФ.) В «Правде» и «Известиях» ведётся подготовка, уже пустили слово «учредилка», это — собрание помещиков, капиталистов и их прихвостней; разгонять неизбежно, не уступать же власть; СНК охраняется латышскими ротами.

26-го воззвание ИК СКрД: Величайшей святыне народной грозит смертельная опасность: насильники готовятся оружием разогнать УС; соединяйтесь, любящие родину и свободу! устраивайте повсюду собрания, выносите тысячи резолюций о неприкосновенности УС. — И воззвание Союза Защиты УС, созданного тремя днями раньше: Уже раздаются из Смольного угрозы, что УС будет разогнано. Не отдадим УС в поругание! насильники не посмеют занести свой нож над ним! — В цирке Чинизелли митинг «Вся власть УС!» с участием Церетели, вернувшегося с Кавказа: На разгон УС никто не решится; если большевики в своей работе будут прямы и честны, то социалисты не откажутся от сотрудничества с ними. Постановлено: 28-го, в день открытия УС, провести грандиозную мирную демонстрацию к Таврическому дворцу.

В этот же день митинг в союзе писателей, и их однодневная газета о попрании свободы слова. — Столичная адвокатура и союз судей собрались обсуждать новый декрет об упразднении всех судов, законов и адвокатуры. — Дзержинский арестовал (без ордера, «мы не бюрократы»).

ты») до 40 чиновников м.в.д., высших служащих министерства продовольствия и делегацию совета прод. съезда. — От ВРК и ЦИКа: чиновники государственных и общественных учреждений, саботирующие работу, объявляются *врагами народа* и не имеют права на пощаду; объявить им общественный бойкот.

Троцкий распорядился уволить всех русских послов в главных странах (без пенсии и без права продолжать государственную службу) за уклонение подтвердить телеграфно своё подчинение СНК. — Ликование австро-германской прессы над публикацией Троцким секретных дипломатических документов союзников. — Опубликовано заявление для печати английского посла Бьюкенена: Нет ни слова правды в слухах, что мы собираемся принять карательные меры, если Россия заключит сепаратный мир; но возможно ли, чтоб император Вильгельм, узнав, что русская армия перестала существовать, согласился подписать демократический и прочный мир? Если бы союзники оставались в стороне в этой войне, не было бы в России ни революции, ни свободы; как только в России будет образовано прочное правительство, признанное русским народом в его целом, мы будем готовы рассмотреть вместе с этим правительством цели войны и условия справедливого мира. — «Дело народа»: Большевики не хотели обсуждать мир даже с немецкими правыми социалистами, всё обещали заключить мир только с воставшими народами через головы правительств, — и вот заседают с немецкими генералами.

Распоряжение СНК: Во всех областях, где обнаружатся контрреволюционные отряды, революционному гарнизону предоставляется свобода действий, не дожидаясь указаний сверху. Т-ма СНК Черноморскому флоту: Действуйте со всей решительностью против врагов народа; Каледины, Корниловы, Дутовы вне закона. (И вскоре в Севастополе массовый расстрел офицеров на Малаховом кургане.) — В Москве ВРК закрыл «Русское слово». Уездные ВРК Московской губ. захватили власть и разогнали земства. — ВРКкомитеты на железнодорожных узлах вытесняют комитеты Викжеля.

После неудачных боёв под Унечей ген. Корнилов близ Погара на р. Судости **27 ноября** расстаётся с отрядом текинцев, сопровождавших его неделю после ухода из Быхова, и отправляется пешком к железной дороге под видом старика-беженца. — Войсковое Донское правительство объявило нейтралитет относительно всех партий, но казачество будет с оружием в руках защищать независимость Дона. (На Дону и такое настроение: из-за корниловских пришельцев нам и грозит нападение большевиков.) — В Ростове н/Д восстание большевиков, поддержанное с Дона огнём черноморских судов. Казаки нейтральны; в Новочеркасске мобилизуются на подавление юнкера, кадетики. — Савинков прибыл в Новочеркасск сговариваться о борьбе против большевиков, создать подполье в столицах.

Уже три дня как большевики не дают обсудить в ЦИК запрос об аресте Всероссийской избирательной комиссии; сегодня она освобождена. Сегодня, 27 ноября, в ЦИК запрос об аресте членов совета продовольственного съезда (завтра освободят их; но одновременно за неподчинение СНК увольняются без пенсии высшие чины министерства продовольствия.) — По декрету СНК об упразднении всех уголовных и гражданских законов и всех гражданских, военных и коммерческих судов, 27 ноября вооружённый разгон Сената, военно-окружного суда, военно-судного управления, коммерческого суда; все дела остановились. — На ПСРСД Володарский разъясняет инструкцию о создании революционных трибуналов и народных судов: они не связаны никакими законами; судьями могут быть и неграмотные, неграмотная кухарка лучше разберётся в преступлении буржуа, чем грамотный буржуа.

Начались искусственные «выборы» в петроградскую г. д. взамен только что разогнанной; все партии и масса обывателей бойкотируют их; домовым комитетам присылаются пустые бланки, без фамилий избирателей, иногда в 2-3 раза больше живущих в доме, каждый может вписывать любые фамилии и голосовать несколько раз; голосуют даже уличные мальчишки. — Вчера и сегодня разгром ещё нескольких винных погребов по городу. — Комитет Виндавской ж-д готовится овладеть мин. путей сообщения и свергнуть Викжель; их манифест ко всем железнодорожникам: Викжель оторвался от широких масс, запялтал себя соглашательством, не нужен нам этот Викжель; созвать ж-д съезд 10 декабря (раньше, чем Викжель соберёт свой съезд). И о том же распоряжение СНК, подписанное Лениным.

Завтра день открытия УС, но делегатов съехалось всего с полсотни: во многих местах выборы задержались от послеоктябрьских событий, многие делегаты не явились в Петроград из опасения ареста. Таврический дворец и ворота заперты, поставлены караулы латышских стрелков. — На съезде левых эсеров Штейнберг: Ещё выяснится, обладает ли УС тем революционным темпераментом, тем историческим разбегом, который необходим; если будет махрово-чёрное большинство, политический кисель... Мееровский: Всеобщее избирательное право может быть при капиталистическом строе, при социалистическом, но в эпоху перманентной революции создаётся классовая власть. Камков: Выпустить сейчас центральную власть из рук Советов — это политическое самоубийство. — Разогнанная г. д. предложила считать 28 ноября национальным праздником и совершить массовое шествие в Таврическому. ПСРСД призвал рабочих и солдат завтра к контрдемонстрации. Это угрожает уличным побоищем, и к ночи Смольный отменил контрдемонстрацию. — Арестованные в Петропавловке министры ВП передали на волю заявление: Считаю ВП единственной законной властью до УС, мы терпеливо несли наше заключение; теперь, передавая свою власть УС, просим вернуть нам свободу. — «День»: Если состояние в ВП

было «предательством интересов народа», то почему на свободе министры-социалисты? — Утром 27-го Шингарёв приехал из Воронежа в Петроград на открытие УС, несмотря на многие предупреждения, что его тут арестуют. Вечером заседание ЦК к-д на квартире гр. Паниной: депутатов съехалось мало, открывать УС нельзя, но недопустимо и подчиниться указу Ленина, что вкорм и день открытия установит Урицкий; завтра манифестировать.

Рано утром **28 ноября** пришли арестовать гр. Панину (товарищ министра просвещения, она передала 90 тыс. руб. министерских денег в Гос. Банк, а не наркомку Луначарскому). Заодно арестовали оставшихся там ночевать Шингарёва, Кокошкина, затем и кн. Павла Долгорукова. — Арестовываются и расклейщики по городу листовок «Вся власть Учредительному Собранию!»: попытка к ниспровержению существующего строя. — Опубликовано руководство наркомата юстиции по созданию революционных трибуналов. — Публикуется обращение СНК к трудовым казакам: Вас преступно обманывают атаманы, богачи и помещики, мы вам не враги; нужно, чтоб сами казаки сбросили с шеи проклятое ярмо; поднимайтесь, казаки! создавайте Советы казацких депутатов и берите бесплатно всю землю.

К назначенному дню съехалось лишь несколько десятков депутатов УС вместо восьмисот... Но по вчерашнему призыву г.д. («Учредительное Собрание впервые упомянули декабристы, его требовала Народная Воля от Александра III») собралась большая праздничная манифестация («Дело народа»: больше 100 тысяч, «Известия»: меньше 10 тысяч), примкнули и солдаты-семёновцы, и потекли с оркестрами, знамёнами и пением революционных песен к Таврическому дворцу. «Вся власть УС!» — Но Таврический закрыт и оцеплен латышскими стрелками. Митинг перед дворцом (Родичев, Чернов), потом убедили стрелков, что они не смеют не впустить депутатов УС. Вошли внутрь, уже победа! с ними публика; начали частное заседание депутатов. Признали, что открыть УС пока неправомочны, но и не будут считаться с решением СНК, что должно собраться 400 депутатов и открыть может только СНК: собираться ежедневно в час дня, и депутаты сами решат, когда открыть УС. — На этот день 28-го предполагалось по городу много митингов в честь УС, но ВРК занял отрядами войск все театры и крупные общественные здания, где предполагалось; митинги устраивали на улицах около тех зданий, красногвардейцы пытались разгонять. — Резолюция латышских стрелков, вызванных в Петроград: Вызов нас в Петроград считаем выражением доверия к нам со стороны СНК; подтверждаем, что оправдаем все надежды.

На съезде левых эсеров: Если УС пойдёт против революции и трудящихся классов, то борьба с ним необходима и неизбежна. — Само собой уже третий день идёт съезд партии эсеров, исключивший из себя левых; приветствия от Керенского и Авксентьева из нелегального поло-

жения; двухдневный умеренно-бодрый доклад Чернова. Но партия в растерянности: опоздали и с миром, и с землёй, большевики во всём обогнали. Теперь все надежды на УС, но голосовали не за нас сегодняшних, а за наш красивый лозунг «Земля и Воля»; теперь даже если УС будет отложено, тем лучше: массы ясней увидят крах большевизма; но вооружённое сопротивление большевикам пока преждевременно. Письмо Гоца из подполья: Если смольные самодержцы посягнут на УС, тогда наша партия вспомнит о своей испытанной тактике (т.е. личного террора).

Воззвание совета продовольственных съездов: Голод надвигается и грозит самому существованию населения; требуем предоставить продовольственному аппарату возможность беспрепятственно давать хлеб всем гражданам России без различия партий. — В Совете рабочего контроля Ларин: На обязанности каждого завода устранить фабричную администрацию и заменить ее выборными из рабочих. — К вечеру в Смольном обсуждается, что делать со случайно арестованными видными кадетами; напрашивается: не отпускать же их, но связать с Калединым и Корниловым. Ленин пишет «Декрет об аресте вождей гражданской войны против революции»; к полуночи его зачитывают Шингарёву, Кокошкину, Долгорукову и отвозят их из Смольного в Петропавловскую крепость. (Ленин не раз гадает: Коммуна держалась 71 день, продержимся ли дольше?)

Утром **29 ноября** этот декрет в «Известиях» и «Правде». К нему «Правительственное сообщение»: Буржуазия подготовила к моменту созыва УС контрреволюционный переворот, прямая гражданская война открыта по инициативе кадетской партии; 28-го несколько десятков лиц, назвавших себя депутатами, в сопровождении вооружённых белогвардейцев, юнкеров, нескольких тысяч буржуев и саботажников-чиновников ворвалась в Таврический. СНК объявляет кадетскую партию партией врагов народа. — «Правда» (крупным заголовком): Буржуазия вышла на бой. Рабочие, солдаты, крестьяне! выйдем и мы на бой! — «Известия»: И подумать только, что эсеровская партия могла оказаться решительницей судеб УС! УС в его нынешнем составе грозит закрепить вчерашний день революции в ущерб сегодняшнему и завтрашнему; но революционный народ найдёт более совершенное средство для выражения своей воли. — Негласно создано полновластное «бюро ЦК» большевиков, «четвёрка» для решения всех экстренных и важнейших дел: Ленин, Троцкий, Свердлов, Сталин. — В охрану Таврического добавлено артиллерийское орудие, пулемётная команда с 6 пулемётами и матросы; по всей Шпалерной пикеты и в ближайших казармах отряды наготове; солдатам запрещено разговаривать с депутатами УС. — Урицкий объявил: в Таврический будут допускаться только те члены УС, которые получают удостоверения за его подписью, а удостоверения от Всероссийской избирательной комиссии (она вся смещена) для этого

недействительны. Депутаты возмущены, не хотят кланяться Урицкому; по невозможности попасть в зал заседаний не состоялось и назначенное частное совещание членов УС. (Есть и такое настроение: а нужно ли с большевиками бороться? они сами развалятся и падут.)

Декреты СНК: все с/х машины и орудия передаются в монопольное распоряжение государства; отменяется частная собственность на городскую недвижимость. — Арестован весь стачечный комитет Союза союзов государственных учреждений, около 30 чел. — Выборы в новую петроградскую г.д., продолженные и на третий день, провалились: проголосовало за 3 дня четверть избирателей.

Под Ростовом н/Д бои между юнкерами и матросами, красногвардейцами; строевые казаки в целом не хотят сражаться, но нашлись отряды, и из «стариков». В большевицких рядах есть и вооружённые немецкие и австрийские военнопленные. В Ростове ВРК ведёт обыски и аресты. — В ночь на **30 ноября** руками казаков из петроградских полков арестованы ещё оставшиеся в столице члены Совета союза казачьих войск.

«День», «Дело народа», «Новая жизнь», «Рабочая газета» и другие совместно постановили подчиниться большевицкому декрету, запретившему помещать объявления (чтобы лишить их финансовой поддержки), зато выходить в свет. — «Дело народа»: Большевики совершили октябрьский переворот под лозунгом «ускорения» выборов в УС и, напротив, затормозили их расстройством почты, телеграфа, ж-д, захватом типографий; в ряде избирательных округов выборы были отложены на 2 и 4 недели. Декрет «партия к-д вне закона» и есть гражданская война. — «Новая жизнь»: Замыслили план разгрома УС по частям: сначала пошлём в тюрьмы кадетских депутатов, потом, если понадобится, правых социалистов, затем и умеренных. Трудовые классы разгадают этот заговор, шитый белыми нитками, народный ответ: руки прочь от хозяина земли русской! — Попасть в Таврический вовсе невозможно, члены УС отказались от заседаний; обсуждают: уехать всем из Петрограда и собраться в другом городе? (Большевицкие круги озабочены этим проектом.)

Опубликовано заявление Троцкого: Возобновляются переговоры с Центральными державами о перемирии, затем и о мире; ответственность за сепаратный характер перемирия падает на те правительства, которые отказались присоединиться и предьявить свои условия, скрывают от своих народов цели войны; сепаратное перемирие есть опасность сепаратного мира, и её могут предотвратить только сами народы. — В Брест-Литовске застрелился член русской делегации ген. Скалон. (Среди немецких условий: полное разоружение русской армии?)

Приказ по ПВО: приступить к выборам всех лиц командного состава; невыбранные офицеры переходят на положение солдат, оставаясь

в своей части; отменяются все чины, звания, погоны, ордена и другие отличия. — (Этюд о поручике Тухачевском: возвратился из плена в свой Семёновский полк; солдаты запасного батальона за УС и против большевиков, офицеры почти все устранены; наполеоновский замысел: поднять их? двинуть?..) — Начало Добровольческого движения на Дону: в Новочеркасске формируется отряд Чернецова.

1 декабря Ленин в ЦИКе: Нам предлагают создать УС так, как оно было задумано; нет-с, извините! его задумывали против народа; мы ввели право отъезда, и УС не будет таким, как задумала его буржуазия. Мы выдвигаем прямое политическое обвинение против целой политической партии, кадетов; так поступали и французские революционеры; а против нас (в июле) не посмели этого сделать; пусть докажут, что партия кадетов не штаб гражданской войны. — Левый эсер Штейнберг: Можно арестовывать только по точному обвинительному акту, а не за принадлежность к партии. Ленин: Если нужно будет, применим и французский террор, гильотину. — ЦИК подтверждает декрет против кадетов, отвергает запросы левых эсеров об аресте членов УС и о преследованиях печати. — В Таврическом дворце строгий недопуск членов УС. Налёт латышских стрелков и красногвардейцев на дом по Литейному, где собрался Союз Защиты УС. — В Петроград прибыл ещё один (6-й Туккумский) латышский полк.

С СФ стали уходить целые в/ч, не дожидаясь конца переговоров о перемирии. Крыленко из Ставки просит СНК посылать взамен им в/ч из петроградского гарнизона, неприкасаемого с февраля, подкрепив их агитацией. — Матросы требуют перевода Шингарёва в кронштадтскую тюрьму. — Из Воронежа в Петроград передался слух, что царь бежал из Тобольска; составляется экстренный поезд для отправки туда 500 матросов. — Кронштадт рассылает матросские продовольственные отряды в хлебородные местности России.

В Петрограде новая вспышка винных погромов; патрули иногда разгоняют, иногда сами первые взламывают и пьют, бочки разбирают вёдрами и чайниками, стрельба перепившихся солдат; приезжают пожарные части заливать погреба — пьют и они; вызваны матросы, латыши и броневики. — Самозванная большевицкая г.д. захватила здание г.д.; городская управа в ответ забастовала. — Митинги в в/ч петроградского гарнизона; неудачи эсеров и шумный успех Троцкого.

На съезде левых эсеров резолюция: Создать в Москве Международный Социалистический конгресс и создать Третий Интернационал. — Начался съезд и меньшевиков. Партия осознаёт, что проиграла, от лидерства Церетели упала к нулю, даже не прошла в УС; ораторы ведут взаимные счёты, углубляясь в прошлое, обвиняя и оправдываясь. Дан: Вся нынешняя похабная действительность разработана именно левыми меньшевиками: и идея братания, и немедленное перемирие, и шантаж союзников, и идея сепаратной войны. Мартов: Отвратительное

по форме движение большевиков прогрессивно по существу; насколько внешняя политика Троцкого превосходит внешнюю политику ВП. Абрамович: Массы идут за большевиками, и нам нельзя отрываться от них. Либбер: Не массы идут за большевиками, а большевики идут за массами, и в этом сила их успеха; а мы строили трагический маскарад интернационализма на бунте солдат, не желающих воевать. Дан: Возможно соглашение с большевиками, минуя Ленина и Троцкого, большевики должны отказаться от части своих требований; а наш отказ от соглашения с ними отбросит нас на дно реакции. Потресов: Мы видим полное упразднение демократии, насилия над УС, и склоняемся перед ними? а кадеты не склоняются. Пусть демократия сделает последнее, м.б. смертельное, усилие для свержения большевицкого самодержавия, терять нам уже нечего.

Ростов обложен добровольцами и казаками, красногвардейцы и солдаты гарнизона бегут, черноморские суда уходят из Дона (одно поймано).

2 декабря. «Правда» (очень крупно): Солдаты и рабочие! Будьте беспощадны к врагам! — «Известия»: Какой шум подняли корниловцы всех мастей вокруг УС! они хотят сделать его орудием борьбы против Советской власти; но никогда в истории демократия не преклонялась безоговорочно перед решением представительных Собраний. Есть революционное правительство, избранное рабочими, солдатами и крестьянами; заговорщики против народа — это вы; такое УС, которое пойдёт против Советов, народу не нужно. — Всероссийская комиссия по выборам в УС пыталась собраться и работать в Таврическом, не допущена.

После того, как даже левым меньшевикам не удалось добиться ни от кого в Смольном, по чьему распоряжению арестованы Шингарёв и другие члены УС, на съезде СКРД их запрос 2 декабря. Тут входит Ленин для выступления. Моисеенко: Это власть не ЦИКа, а лично его (показывает на Ленина), а если вы с ним не согласитесь, он вас разгонит. — Съезд не желает выслушивать Ленина, потому что его не выбирали; тогда Колегаев: Ленин будет говорить не как председатель СНК, а от фракции большевиков. Ленин: «Россия выросла из того, чтобы кто-нибудь управлял ею. Советы выше всяких парламентов, всяких Учредительных собраний... Когда происходили выборы, народ выбирал не тех, кто выражает его волю, его желание». Нельзя делать из УС фетиш; мы требуем категорического признания Советской власти, а кто её не признает, будем арестовывать. — С небольшим перевесом съезд принял резолюцию, осторожно осуждающую насилия над УС, но она тут же сорвана большевиками и левыми эсерами.

В тот же день на ПСРСД Троцкий: УС — это несколько сот человек, и оно лишь постольку сумеет диктовать свою волю, поскольку сумеет опереться на вооружённых. Мы сделали скромное начало, арестовав кадетских главарей; но никто не может дать гарантии, что народ не воз-

двигнет на Дворцовой площади гильотины; бывают минуты народного гнева, и кадеты сами набиваются на него; Советская власть в борьбе с контрреволюцией не остановится перед фетишами. — Фишман: Левые эсеры будут идти в ногу с большевиками; репрессии, направленные на пользу народа, будут применяться беспощадно; если УС пойдёт против воли народа, то народ сумеет обезвредить его; но нужно дать ему собраться в его составе, показать народу, что оно враг, и этим сразу покончить с ним. — Резолюция: Изгнать кадетов из УС.

На брестских переговорах сепаратное перемирие продлено до конца декабря; Центральные державы якобы дали, в уклончивой форме, обещание не перебрасывать войск с Восточного фронта на Западный. Делегации переходят к переговорам о сепаратном мире. — «День»: Брестские переговоры продолжаются в полной тайне, большевики не обнаруживают её; почему же русские лишены иметь своё мнение, когда публикуются «тайные документы» старого режима, цена которым грош?

В Петрограде продолжают погромы винных складов. Обращение ВРК: Кто верит в народное правительство, не должен останавливаться около хранилищ вина, брать или покупать. «Правда»: Хитры и коварны враги, они идут на последнее средство: хотят превратить солдат революции в пьяную орду; чёрная сотня выползает из воровских притонов, чтобы натравить солдат на разгром винных погребов. — На петроградском Металлическом заводе, взятом в руки рабочей дирекцией, чернорабочие потребовали получить столько же, сколько и рабочие высшей квалификации: всем равно, как обещали раньше большевики; дирекция отказала: нет таких средств; драка, забастовка, завод закрыт.

Обострение отношений СНК с Радой: ночью в Киеве Рада внезапно разоружила все большевизированные части. — В Одессе новая попытка большевицкого переворота, столкновение матросов-красногвардейцев и украинских войск; местами бой переходит в совместные винные погромы, массовые уличные грабежи и обыски квартир; переговоры о создании смешанной власти в городе. — Добровольцы освободили Ростов н/Д, пехотные солдаты помогают разоружать красногвардейцев; при выходе из Дона сел на мель миноносец и задержаны казачьей артиллерией тралеры.

«Дело народа»: Большевики стараются барабанным боем о мнимых заговорах против них отвлечь внимание народа: да, есть «заговор» всего народа против кучки насильников из Смольного. — «Рабочая газета» разъясняет, почему нельзя решиться на вооружённую борьбу против большевиков; это значит разжигать гражданскую войну, поддерживать Каледина. — «День»: Комедия брестских переговоров, Германия диктует условия, но позволяет словесные декорации: не производить оперативных перебросок с Восточного фронта на Западный... «за ис-

ключением тех, которые уже начаты». А кто проверит, когда они начаты, и кто вообще будет проверять?

На съезде СКРД **3 декабря** Троцкий захотел выступить с докладом о перемирии. Встречен аплодисментами большевиков и левых эсеров и криками правой части съезда: «Долой палача! гильотинщик! не будем слушать!» Вместе со всей левой частью вынужден уйти в другой зал (г. д.) и сделал доклад для них: Вильгельм подписал перемирие лишь под угрозой возмущения германского пролетариата. (Пытается отказаться от своих слов о гильотине, но тут же подтверждает: «не останавливаться ни перед какими репрессиями, угнетённые имеют на это право».) На вопрос о сепаратном мире: Стремимся ко всеобщему, но идея прививается тяжело, и м. б., для спасения завоеваний революции и чтобы пахарь вернулся к земле, придётся заключить сепаратный. — Луначарский на московском СРСД: Все разговоры о терроре не имеют никакой почвы. — Пришло время неизбежно столкнуться и с Украинской Радой. На СНК постановили: обратиться с ультиматумом к Раде и одновременно с манифестом к украинскому народу. 3 декабря Ленин пишет оба эти документа как единый.

Приказ ПВО об отмене всех чинов, о снятии всех орденов и погон пока отменён, но солдаты срывают с офицеров погоны на улицах. (Тем временем ВРК при Ставке объявил отмену офицерских званий, орденов и погон для всей армии сразу, в/ч подчиняются только своим комитетам, а все командиры выборные, вплоть до Ставки.) — Продолжается разгром винных складов в Петрограде, на Петербургской стороне, Васильевском острове, у Обводного канала, много ночной стрельбы. ВРК не может положиться ни на одну воинскую часть. — «День»: Штыки начинают дрожать в пьяных руках; большевики пишут: это замысел буржуазии; но почему, когда власть была в руках буржуазного правительства, оно не было озабочено винным вопросом? — «Новая жизнь»: После разгрома продовольственных учреждений 2-3 недели подвоз будет идти по инерции, а потом наступит полный хаос.

В Москве 3 декабря, в воскресенье, обильная демонстрация в защиту УС. Оцеплен охраной университет Шанявского, не пускают разогнанную г. д. заседать и там. — «Правда»: Помпезное возведение на престол нового патриарха; церковь получит в лице патриарха нового деспота; этого и надо было ожидать, у церкви не осталось ничего, кроме старых ожесточённых средств борьбы. — В новочеркасском войсковом собрании оставлены для опознания и отпевания гробы юнкеров, погибших в боях за Ростов. — По ходатайству ростовской г. д. Каледин выпустил черноморские суда из Дона.

4 декабря. По телеграфу в Киев послан ультиматум СНК Украинской Раде: СНК ещё раз подтверждает право на самоопределение за всеми нациями; но Рада, прикрываясь национальными фразами, ведёт двусмысленную буржуазную политику; если за 48 часов Рада не обяза-

ется содействовать в борьбе с кадетско-калединским восстанием и прекратить разоружение советских полков и красной гвардии на Украине, СНК будет считать Раду в состоянии открытой войны против Советской власти. — Нота Троцкого всем державам: скорее созывать общеевропейскую мирную конференцию.

Постановление Троцкого о военнопленных: освобождаются от принудительных работ, оплачиваются наравне с вольнонаёмными; не желающие работать на предприятиях отзываются на с/х работы, но тоже не по принуждению; временно безработные получают солдатский паёк; имеют право организовываться. — 4 декабря рабочая секция ПСРСД обсуждает всеобщие уже претензии чернорабочих получать оплату, равную с квалифицированными. Вопрос так остр, что уговаривать приехал сам Ленин: Чернорабочим уже повысили минимум заработной платы, но СНК не может решить всех вопросов сразу; когда новый класс становится на путь государственного строительства, неизбежны ошибки, но они не страшны; мы не можем останавливаться на полпути, теперь от рабочих потребуются ещё большее напряжение; сейчас не должно думать об улучшении вот в этот момент своего положения, а думать о том, чтобы стать классом господствующим.

Резолюция съезда меньшевиков (о перевороте 25 октября): Это был стихийный порыв пролетариата к социальному освобождению, и социал-демократия решительно отвергает методы насильственного подавления его; безболезненно ликвидировать кризис путем революционного единения. — На съезде СКрД второй день раскол, левые не дают говорить ораторам правых. Только в 10 ч. вечера возобновлено нормальное заседание и выслушивают доклад мандатной комиссии о том, что обнаружены десятки сомнительных мандатов у делегатов. По спору, когда именно выбирать президиум, происходит драка до свалки, и правая часть с пением «Интернационала» (так они крестьяне? или только эсеры?) уходит в другое здание. (Раскол этого съезда весьма устраивает большевиков и левых эсеров: так и не изберётся новый ИК СКрД вместо поддельного от Чрезвычайного съезда, тот уже покорно слился с ЦИКом, тоже поддельным.)

Чиновники центральных ведомств (и в нескольких захваченных большевиками городах) продолжают бастовать. — Прежняя петроградская городская управа работает конспиративно, на частных квартирах, меняя их; новая большевицкая так и не составила, зовут добровольцев. Городское хозяйство обречено разрушению. — Всепетроградская забастовка дворников и швейцаров; не носят дров на этажи, не запирают на ночь ворот. — Винные погромы продолжаются. — Взрыв и пожар на снарядном заводе на Малой Охте, 40 человек задохнулись в дыму и пламени.

5 декабря публикуются условия перемирия с Центральными державами. Вся печать единодушно оценивает их как выгодные исключи-

тельно для Германии. «День»: Перемирие без представления о будущих условиях мира есть капитуляция; Германия всегда может встать из-за стола, а нынешняя Россия уже не может; германское правительство использовало железную зависимость вора от скупщика краденого и купило Россию за грош; Германия получила всё: уничтожение русского фронта, освобождение германской армии, снабжение продовольствием... Никому не известный «милостивый государь» Иоффе-Крымский подписывает перемирие для государства российского, торгует, соглашается на уступки, а члены УС должны расписываться у г. Урицкого, чтоб с его благословения войти в Таврический дворец, и этот бред мы называем «социальной революцией»; а прапорщик Крыленко перебегает с места на место, чтобы всюду подбросить хворост гражданской войны. — «Новая жизнь»: Договорились с генералами кайзера проводить братание по приказу (и по приказу обмен газетами, никаких листовок в окопы), карикатура! — «Дело народа»: В декрете о мире требовали перемирия «не меньше как на 3 месяца», потом выпрашивали 6 месяцев, получили месяц, — когда же готовить «всеобщий демократический мир»? Сепаратное перемирие заключено согласно намерениям германского генерального штаба. — «Правда»: Мы ведём переговоры в полном сознании той революционной мощи, которой обладает Россия; питерские календницы пытаются сорвать дело мира. — Воззвание Троцкого «К угнетённым и обезкровленным народам Европы»: Перемирие в Брест-Литовске — это огромное завоевание человечества; реакционные правительства Центральных держав вынуждены вести переговоры с Советской властью, потому что мы поставили их перед фактом; но полный мир будет обеспечен только пролетарской революцией во всех странах, это единственный путь спасения; неисчислимы преступления правящих классов и вопиют о революционном возмездии. — Теперь в Бресте начинаются переговоры о мире.

5-го же декабря опубликован ультиматум СНК Украинской Раде. (Уже получена и ответная телеграмма Рады, но её не спешат публиковать: На территории СНК результаты, не вызывающие зависти: анархия, хозяйственный развал, произвол, попрание свобод, разнузданность, СНК дезорганизовал и весь фронт; Рада намерена укрепить украинскую часть фронта и предлагает отозвать большевицкие полки с Украины; а на угрозу войной ответит.) — Крыленко запрашивает комитеты всех армий, согласны ли они выступить против Рады. (В ночь на 5-е Рада берёт под свой контроль штабы ЮЗФ и РумФ.)

Рассылается «Проект инструкции по рабочему контролю». На многих заводах и фабриках страны насилия рабочих над владельцами и служащими, ничего общего не имеющие с контролем; закрываются уникальные фабрики, развал производства. — «День»: «Положение о рабочем контроле» побивает одновременно два рекорда: и безграмотности, и демагогии; никому не понятно, что именно будет контролиро-

ваться, кем и как, вавилонская башня. — Народный комиссариат труда обращается к дворникам и швейцарам Петрограда: желает им успеха в борьбе с алчными домохозяевами, но не следует настаивать на ночном открытии всех ворот и дверей, это способствует пьяным погромам. — А винные погромы ширятся по столице, перестрелки, убитые и раненые, сотни мертвецы пьяных, заспиртованные ягоды давят в солдатских фуражках.

Расколовшийся съезд СКРД заседает в разных зданиях. Спиридонова убеждает своих левых всемерно поддержать мирные переговоры, такого решения крестьянского съезда телеграфно требует из Брест-Литовска её подруга по каторге Биценко; заключение нами мира будет одной из величайших побед над Германией. Камков: И не требуется, чтобы УС предварительно утверждало мирный договор. — «День»: Зрелище, удивительное в истории Интернационала: неслыханная социальная революция взята под защиту германского империализма; полный успех загадочной концепции Парвуса: российский большевизм помогает Германии Вильгельма побеждать его врагов; правда, Либкнехт всё ещё сидит в тюрьме, но за него работает Троцкий, он революционизирует Германию; однако отказался от права разбрасывать свои листовки над германскими окопами. Германия подхлёстывает смольных институток, сокращает им перемирие до 28 дней, чтобы подписать мир до УС; и перерыв в 10 дней имел целью только дурачить публику, «рабочее и крестьянское правительство» готово простить все аннексии и все контрибуции.

«Дело народа»: Кровавый шут Троцкий уже заговорил о смертной казни; давно ли они боролись, чтоб её не было даже на фронте, а теперь — по всей стране? — «Правда»: Саботаж чиновников — это боевой таран кадетской партии, открытое восстание против революционной власти, не менее действенное, чем штык или сабля. — «Дело народа»: «Войска специального назначения», 6-й Туккумский латышский полк, охраняет Таврический от членов УС, производит обыски и аресты по столице, закрывает газеты; для чего же сняли их с фронта? Неужели «рабочему и крестьянскому правительству» не хватило петроградского гарнизона?

Обязательное Постановление, 6 декабря, 3 часа ночи: Город Петроград объявлен на осадном положении. Всякие собрания, митинги, сборища на улицах и площадях воспрещаются; попытки разгрома винных погребов, складов, заводов будут прекращаемы пулемётным огнём без всякого предупреждения. — «Правда»: Калединцы, капиталисты и помещики надеются в пьяной междуусобице, в водке и крови утопить завоевания октябрьской революции. — В. Бонч-Бруевич на ПСРСД: Двое арестованных с прокламациями (против большевиков) под угрозой расстрела дали адрес, откуда получили их. — М.п.с. занято отрядом ВРК, члены Викжеля устранены от всякого управления мини-

стерством и выведены прочь. Но теперь Викжель не решается, как раньше, призвать ко всеобщей ж-д забастовке: это могло бы выглядеть как поддержка Каледину. — Двухдневный пожар на спиртном заводе Петрова, тушат все пожарные части Петрограда, но одновременно с тем продолжается разгром, стрельба; обгоревшие трупы солдат. (Эти недели винные погромы и во многих городах России.) — Гр. Панина освобождена под залог 100 тысяч руб. (Больше суммы, которую она не передала Луначарскому.)

Провалилась большевицкая забастовка в Киеве. Рада обратилась с воззванием к населению и армии Украины. Ещё один ответ Рады СНК, условия мирного улаженья: невмешательство СНК в дела Украинской республики, в управление ЮЗФ и РумФ, отпустить украинские войска с СФ и ЗФ и матросов-украинцев из Балтфлота; с Украины не будут больше отпускаться продукты без наличного расчёта, треть — золотом; Украина согласна состоять в федерации, имея не меньше трети в правительстве России. — Крыленко командует не отпускать украинских солдат с СФ и ЗФ (их уже до 250 тыс., отдельными соединениями). Есть признаки колебаний в СНК. — Дутов занял Челябинск, а с помощью башкир, татар — и Уфу. — 6-го же декабря генерал Корнилов, переодетый солдатом, добрался до Новочеркасска. Встреча с генералом Алексеевым; у Добровольческого движения есть боевой вождь.

7 декабря публикуется воззвание СНК к украинскому народу: Рада примкнула к врагам Советской власти, империалисты всех стран теперь возлагают надежды на Раду; требуйте немедленного переизбрания Рады и перехода всей власти к Советам; грядёт социализм, освобождение всего человечества. — Большевики готовятся полностью захватить Харьков, и от него и от Бахмача вести наступление на Киев. — «Дело народа»: Припадание к стопам генералов Вильгельма и тут же грозный ультиматум социалистической Раде? потому что там сила у врага, а тут смольные диктаторы надеются на победу? — «День»: Те, кто кричали о «грабительской империалистической» войне, теперь ведут её против свободных областей России; десятки тысяч русских граждан брошены под пули, карательные экспедиции Крыленки громят города. По молчанию, злобной трусости «Правды» мы догадываемся, что большевики терпят поражение. — Ответ Сталина делегации от правой части съезда СКРД (пришли протестовать против конфликта с Радой): Мы стремимся к революции в международном масштабе и, если этого потребуют обстоятельства, сметём всё на своём пути, не считаясь с интересами отдельных национальностей.

«Правда»: От лица всех сознательных рабочих и солдат мы требуем беспощадной расправы с обнаглевшей провокаторской кадетско-черносотенной шайкой; и эта буржуазная сволочь организует винные погромы. — Горький: Во время винных погромов людей пристреливают как бешеных волков, приучая к спокойному истреблению ближнего. —

Погромы частных винных складов с прежней силой продолжаются весь день 7 декабря, тонут в чанах, падают замертво пьяные. В казармах Семёновского полка сплошное веселье и проститутки. — «День»: Это «осадное положение» против тех, кто слишком прямолинейно усвоил коммунистическую пропаганду об уничтожении частной собственности на вино и вместо того уничтожает само вино. — 7 декабря дневниковая запись Шингарёва в Петропавловке: Нет имени негодьям и лжецам, пишущим в «Правде»; даже свою неспособность справиться с пьяными погромами и неистребимую слабость толпы они сваливают на контрреволюцию, корниловцев и калединцев. (Так и не поднялась в напуганном обществе кампания за освобождение Шингарёва, Кокошкина, Долгорукова: ревдемократы уклонились как чужие им; буржуазные круги и интеллигенция не решаются: мол, как бы не сделать арестованным хуже. И оставили на убийство.) — А Керенский по-прежнему скрывается. — Милюков в Ростове н/Д начал писать «Историю второй русской революции».

Записка Ленина Дзержинскому 7 декабря: Нельзя ли двинуть декрет «О борьбе с контрреволюционерами и саботажниками». И экстренно регистрировать всех имущих как первый шаг к введению трудовой повинности. — Ликвидируется ВРК: он выполнил свои боевые задачи, а дальнейшие работы передаёт отделу при ЦИК по борьбе с контрреволюцией. От сегодня это будет ЧК. — Готовится на завтра первое заседание Революционного Трибунала.

УЗЕЛ X — ФЕВРАЛЬ ВОСЕМНАДЦАТОГО

(27 ЯНВАРЯ СТ. СТ. — 10 МАРТА Н. СТ.)

Мирный договор Рады с Центральными державами (Украина обязалась поставлять им хлеб, взамен обещана германская помощь против большевиков, уже занявших Киев). — Троцкий разорвал переговоры о мире в Брест-Литовске: Россия не подписывает мирного договора, но и не будет вести военных операций, а демобилизует армию на всех фронтах. (Его расчёт: пусть потеряем территорию, но немецкий пролетариат поймёт обстановку.) — Ленин требует увеличить число мест заключения и усилить репрессии.

Самоубийство Каледина: казаки не хотят стоять против большевиков. — Станичники выдали Ф. Крюкова красногвардейцам, но Ф. Миронов отпустил его. — Савинков инкогнито вернулся в Москву из Новочеркасска, начало Союза Защиты Родины и Свободы в подполье. Уже действует в Москве и «Правый (Национальный) Центр» (Кривошеин). — Группа столичных общественных деятелей (Струве и др.) на приёме у ген. Алексеева в Ростове (координация действий). — Бо-

гатый Ростов не жертвует добровольцам, не снабжает. Корнилов: Не буду защищать такой город.

По истечении договорного недельного срока немцы начали безпрепятственное наступление на нашем СФ. — Вихревые заседания в ЦК большевиков, ЦК левых эсеров, в ЦИК, голосования, переголосовки. — Радиограмма Ленина о согласии на немецкие условия мира. Немцы не отвечают. — Декрет Ленина «Социалистическое отечество в опасности» (буржуазный класс — рыть окопы под наблюдением красногвардейцев).

Выход Добровольческой армии из Ростова, начало «Ледяного похода» (Родзянко — пассажиром в обозе). — Красные заняли Новочеркасск (матросы выбрасывают раненых белых с четырёх этажей госпиталя на Ратной ул.) и Ростов.

Немцы взяли Псков, новый ультиматум их, более жёсткие условия мира. — Сутки буревых заседаний двух ЦК и ЦИКа. — Ленин в меньшинстве и грозит отставкой. Откол «левых коммунистов» (Бухарин). — СНК соглашается принять и новые немецкие условия; но немцы продолжают наступление в сторону Петрограда. — Жесточкие (расстрельные) меры по организации красного тыла. — Ленин зондирует, будет ли помощь от союзников против Германии.

В. кн. Михаил Александрович арестован и увезен в Пермь. — Указ Патриарха Тихона: при посягательствах на храмы бить в набат и собирать патриарх на защиту. — Поручик Тухачевский через своего старого знакомого получает высокое военное назначение у большевиков.

Немцы вошли в Киев. — Подписан Брест-Литовский договор. — Ещё схватка о ратификации его на 7-м съезде РКП (Ленин против «левых коммунистов»). — Отменяется выборность командного состава, введенная большевиками в декабре. Троцкий во главе военных сил (Наркомвоен). — Начало английской интервенции в Мурманске. — Переезд (бегство) СНК и ЦИКа из Петрограда в Москву.

УЗЕЛ XI — ИЮНЬ—ИЮЛЬ ВОСЕМНАДЦАТОГО

(11 июня — 10 июля)

Создание комбедов, начало Гражданской войны в деревне. — Ленин торопит посылку продотрядов на Урал, пока он не захвачен противником. Просит вооружённых отрядов тамбовский губпартком (3/4 всех хлебных поставок Советской власти идёт из Тамбовской губ.), Ленин намечает послать туда 3 тыс. человек. Столицы голодают, развал всей хозяйственной жизни, остановка промышленных предприятий. — Исключение последних уцелевших эсеров и меньшевиков из Советов. Накал отношений и с левыми эсерами. — Подписание мира большеви-

ков со Скоропадским. Ленин зовёт мусульман в социалистическую армию. — Красная гвардия дерётся на фронтах плохо. Первая мобилизация в Красную армию в Тамбовской губ.; восстание мобилизованных крестьян в Козлове. — На другой день и в Тамбове (военнопленные венгры и немцы на защите коммунистов); собралась г. д., восстановлена свобода слова, собраний, печати. Через два дня восстание подавлено (Киквидзе). В последующие дни расстрелы ЧК в Тамбове. — Начало набора офицеров в Красную армию (и расстрелы уклоняющихся, в городах). — «Церковные бунты» по России (прихожане в защиту церквей от грабежа и закрытия).

В Петрограде убит Володарский. (Ленин негодует, что удержали питерских рабочих от ответного массового террора.) — Указ (Ленин) выселять «паразитические элементы» из Москвы. — 5-й съезд Советов в Москве, в Большом театре. Резкие столкновения там левых эсеров и большевиков. — Убийство немецкого посла Мирбаха. — Мгновенное решение Ленина использовать этот момент, чтобы ликвидировать левых эсеров, освободиться от блока с ними. — Разгром левых эсеров в Москве в одни сутки (силами латышских стрелков).

Восстание в Ярославле (п-к Перхуров). Поддержка его крестьянами соседних уездов. (А союзники не поддержали обещанным десантом в Архангельске.) — Неудавшееся восстание Савинкова в Рыбинске; не удалось захватить военные склады, и ярославцы остались без военного снабжения, под двухнедельный разгром. — У Ленина-Свердлова решение покончить теперь и с царской семьёй.

УЗЕЛ XII — СЕНТЯБРЬ ВОСЕМНАДЦАТОГО (27 АВГУСТА — 10 СЕНТЯБРЯ)

Дополнительное к Брестскому договору берлинское соглашение (Советская республика обязуется уплатить Германии 6 миллиардов золотых марок — частью непосредственно золотом, частью — продуктами и сырьём); германское содействие поддерживает советский режим. — Голод в советских городах, озлобление рабочих. — Призывы коммунистов на Восточный фронт. Расстрельные меры Троцкого под Казанью. — В Тамбовской губ. «очистка» и разгон сельских советов (не такие, как надо) комбедами.

Войсковой Круг в Новочеркасске (Ф.Крюков секретарём его). Донской атаман ген. Краснов. Претензии Украины на донскую землю (улажено немцами). Воссоздание донских полков вместо рассыпавшихся, но и эти не хотят выходить за пределы донской земли, ни даже на царицынский фронт. — Милюков в Киеве. Тщетные попытки его оторвать Германию от союза с большевизмом.

Покушение Ф. Каплан на Ленина. — В Петрограде убит Урицкий. — По стране объявлен Красный Террор — массовые аресты, расстрелы заложников, зарегистрированных офицеров; учреждение концентрационных лагерей.

В Уфе члены УС создали Директорию (Авксентьев, Зензинов, ген. Болдырев и др.). — Перелом военных действий, взятие красными Казани. Тухачевский (уже командующий армией) накануне взятия Симбирска.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЁРТОЕ

НАШИ ПРОТИВ СВОИХ

Нашего горя и топоры не секут.

Русская пословица

*Умрёшь не даром: дело прочно,
Когда под ним струится кровь.*

Некрасов

УЗЕЛ XIII — НОЯБРЬ ВОСЕМНАДЦАТОГО (3 — 19 НОЯБРЯ)

После капитуляции Австро-Венгрии волнения там, принятые у нас за революцию. Торжества в Москве с участием Ленина. — Ленин на однодневном процессе Малиновского (заманили из Германии, расстреляли: марает партию его связь с охранкой). — Необозримая демонстрация в Москве в честь годовщины Октябрьского переворота. Речь Ленина на митинге-концерте чекистов. — На Восточном фронте взяты Ижевск, Воткинск; массовый уход тамошних рабочих с Белой армией. — Возврат от системы комбедов к сельским советам.

Мятеж в германском флоте перебрался на армию, создают и там рабоче-солдатские советы. Волнения в Мюнхене, революция в Берлине, Вильгельм отрёкся и уехал в Голландию, объявлена республика. — Новые торжества в Москве; циркулярная телеграмма Ленина. — Капитуляция Германии, перемирие на европейских фронтах; кончилась Мировая война. — Постановление ЦИК и СНК об аннулировании Брест-Литовского договора. — Начало ухода немцев с русской территории и с Украины; Скоропадскому грозит падение. — Большевики готовят советизацию Латвии и Литвы, возглашение их советских правительств.

Казачий переворот в Омске, свержение сибирской Директории рев. демократов, склонной к сговору с большевиками. Колчак принял предложенный пост Верховного Правителя Сибири. — Чехословаки прекратили борьбу против большевиков, покидают уральский фронт. —

Деникин в Екатеринодаре распустил совещание членов УС. Утверждается сопротивление красным в Гражданской войне.

УЗЕЛ XIV — МАРТ ДЕВЯТНАДЦАТОГО (14 — 26 МАРТА)

Успешное Верхне-Донское восстание казаков (узнали власть большевиков). Верхний Дон, зимой открывший фронт красным, теперь из красного тыла единится с Новочеркасском. — Колчак взял Уфу и широко наступает к Каме. — Забастовки на петроградских заводах (относимые к левым эсерам; все эсеры амнистированы, после того как отказались от вооружённой борьбы против большевиков). Ленин кратко в Петрограде, выступление во «дворце Урицкого» (Таврическом). — Прекращение пассажирского движения ради подвоза угля и продовольствия. — Дзержинский возглавил кроме ЧК также НКВД. — Смерть и похороны Свердлова.

VIII съезд РКП. Манёвры и лозунги Ленина на сближение со средним крестьянством. Споры с «военной оппозицией» (о выборности командиров, вольной дисциплине, правах комиссаров), Ленин защищает Троцкого (никакой комитетчины, широко использовать офицеров) в его отсутствие. — Обращение Троцкого к «честным трудовым» крестьянам и угрозы железнодорожникам. — Готовится удар по ведущим меньшевикам; Дан и ещё несколько арестованы «за уклонение от воинской службы». — Распоряжение Ленина вскрыть мощи Чудова монастыря. — Ликование на VIII съезде при известии о венгерской революции. «Скоро коммунизм победит во всем мире!» Радиграмма Ленина Бела Куну о необходимой тактике.

Красные войска у входа в Крым и под Одессой (все удары на Юг, минуя грозный Дон). Западной Киева начинается подготовка на выручку Советской Венгрии. — Назревает коммунистический переворот и в Баварии.

УЗЕЛ XV — ОКТЯБРЬ ДЕВЯТНАДЦАТОГО (23 СЕНТЯБРЯ — 14 ОКТЯБРЯ)

После взятия Курска корпусом Кутепова; безтолковость ген. Май-Маевского. Трудности в отношениях между Добровольческой и Донской армиями. — «Неделя дезертира» по центральным губерниям России; ловля их и расправа. — Антонов и Токмаков в Иноковке вырвались из оцепленного и подожжённого дома, ушли.

Расстрелы по делу «Национального центра». Обращение ВЧК: «Повысить бдительность!» — Протест Митрополита Вениамина Зиновьеву против выброса мощей из церквей. — Декрет Ленина о регистрации бывших помещиков, капиталистов и должностных лиц (подготовка расчистки тыла; за уклонение от регистрации кара как за государственную измену). — Взрыв в Леонтьевском переулке. Дзержинский: расстреливать по спискам. Ещё расстрелы.

Наступление красных против Колчака, успешное всё лето, замедляется. — Миротлюбивые шаги Ллойд Джорджа к Советской России; англичане отказываются от поддержки белых; уходят из Архангельска и из Баку. — Москва, Рязань, Тула готовятся к обороне с юга; добавочная латышская дивизия на Южный фронт. — Донская армия сильно теснима красными с востока. Добровольческая наступает на север, отрываясь от тылов. Ген. Шкуро взял Воронеж. — Суд над Филиппом Мироновым (обвинён в измене красным). — «Партийная неделя»: усиленное пополнение партии безпартийными. По всем городам массовая мобилизация коммунистов на Южный фронт. — Ген. Юденич прорвал под Ямбургом и близится к Петрограду. Мобилизация в Петрограде. — Высшее напряжение боёв на Южном фронте. Ген. Кутепов взял Орёл. — Уход белых из Киева. «Исход» русских жителей от кар ЧК.

УЗЕЛ XVI — ЯНВАРЬ ДВАДЦАТОГО (5 — 21 ЯНВАРЯ)

Успешное восстание эсеров в Иркутске, в тылу Колчака. — Колчак арестован чехами и выдан красным.

Красные (конница Думенко, Жлобы) взяли Новочеркасск в рождественский сочельник. — Красная конница (Будённый) взяла Таганрог и, на второй день Рождества, Ростов н/Д. Трепет ростовской буржуазии.

В ЦК и ЦИКе готовится закон о всеобщей трудовой повинности. Троцкий, поставленный теперь и на транспорт, предлагает полную милитаризацию его и всего хозяйства, организацию трудовым, и уже назначил 1-ю Революционную Армию Труда. Вдобавок к субботникам и воскресникам вводятся ещё «вторничники» и «четверговники». — В московском ревтрибунале 5-дневный процесс «Совета объединённых приходов» (А. Д. Самарин) за попытки защиты Патриарха и храмов.

Колчак в иркутской тюрьме. — Екатеринодар (кубанское казачество) отказывается поддерживать русское добровольчество. Добро-

вольческая армия превращена в добровольческий корпус. — Слухи об отставке Деникина дошли и до Москвы.

Перемирие РСФСР с Эстонией, решили мириться и с Латвией. — Верховный Совет Антанты снял торговую блокаду с РСФСР. — Польша подозревается в подготовке нападения. СНК, для мира, предложил отдать больше пол-Белоруссии с Минском. — Показные объявления о якобы отмене расстрелов в ЧК и трибуналах.

Бои на южном берегу Дона. Трёхдневный крещенский бой под Батальском, поражение конницы Будённого. — Первый допрос Колчака.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

ЗАКОВКА ПУТЕЙ

*С топором весь свет пройдёшь,
да домой не воротишься.*

Русская пословица

УЗЕЛ XVII — ОКТЯБРЬ ДВАДЦАТОГО (25 СЕНТЯБРЯ — 12 ОКТЯБРЯ)

После июльских повторных жестоких изъятий хлеба многотысячные крестьянские волнения в Тамбовской губернии, второй месяца Большого Восстания. А. С. Антонов организует в Тамбовском и Кирсановском уездах из крестьянских толп повстанческую армию, разделённую на полки. — Победа его под Золотовкой над отрядом им. Троцкого. — Мужичий поход от Княже-Богородицкого до Кузьминой Гати: тысячные крестьянские толпы без всякого вооружения, с дубьём, вилами и рогачами, под колокольный звон встречных сёл идут «брать Тамбов». — Пахотный Угол, из крепких опор «партизанов» Антонова. — В Каменке Плужников во главе губ. комитета Союза Трудового Крестьянства, гражданская власть «крестьянской республики». — Ленин требует новых эшелонов хлеба из Тамбовской губ.; настаивает увеличить подраствёрстку с Кубани. — СНК утвердил вывоз русского хлеба через Одессу в Италию.

На всероссийской конференции РКП все винят друг друга в провале польской кампании, прыжка «даёшь Варшаву, дай Берлин!». — ВЦИК публикует уступчивые условия мира с Польшей (теперь согласны на границу и восточнее «линии Керзона»). А с Латвией и Литвой РСФСР подписывает мирные договоры. — Ленин узнаёт о смерти Инессы Арманд. — Предреввоенсовета Троцкий с речью на выпуске красных командиров. — Совет Труда и Оборона: Неделя добровольного возврата труддезертиров, после чего суровые наказания. Всеобщая мобилизация трёх возрастов по всей России. — В Новочеркасске и Ростове н/Д: не первый месяц расправ ЧК; «социально-чуждые» мето-

дически выбираются на уничтожение.

В Крыму у Врангеля. При непрерывных военных действиях попытки строить модель Новой России. — Махно заключил союз с Красной армией против Врангеля. — РСФСР приняла польские условия мира. И согласован мирный договор с Финляндией. Переброска 1-й Конной армии и других войск против Врангеля.

5 и 6 октября под Каменкой двухдневный бой тамбовских повстанцев, с рытьём окопов. Потом полки Антонова уходят через Туголуково и дальше пока рассеиваются. — Террор карателей к семьям повстанцев (взятия заложников, расстрелы). — Тамбовские эсеры напуганы размахом крестьянского восстания («могут примкнуть правые»).

Неделя сбора обуви и тёплой одежды у населения для Красной армии; субботники по пошивке белья. — Луначарский приветствует съезд Пролеткульта: Создать самостоятельную культуру пролетариата в мировом масштабе. Ленин спешит исправить для резолюции его промахи. — Воззвание ВЦСПС о железной дисциплине на производстве. — Похороны Инессы на Красной площади. — Подписан мир с Польшей. Все силы на Врангеля, разбить до зимы!

УЗЕЛ XVIII — ФЕВРАЛЬ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО

(14 ФЕВРАЛЯ — 10 МАРТА)

На Политбюро снова и снова вопрос о борьбе с крестьянским «бандитизмом» («бандитизм революционной формации», он и в Сибири, и на Украине); уже требовал Ленин от Реввоенсовета применения против «банд» аэропланов, бронепоездов и конницы. — «Тамбовские ходоки» у Ленина (крестьяне, только что освобождённые из тамбовского ЧК). — С разорённой вконец Тамбовской губ. впервые снята продрозвёрстка, но усилить выкачку продовольствия с Кавказа. В «Правде» открывается дискуссия об общей замене продрозвёрстки натуральным налогом. («Свободная торговля? — голод для рабочих масс и обжорство для буржуазии!») — В городах голод. Государственное регулирование посевной кампании 1921 года, всюду созданы революционные посевкомы, губернские, уездные и волостные, и селькомы, дабы понуждать крестьян к посеву. — Города и ж-д без топлива. Повинности по заготовке дров, есть план сдать нефтяную концессию (даже Баку сидит без керосина).

Четверть фунта хлеба в Петрограде. Волнения и полные забастовки на заводах Трубочном, Кабельном, Балтийском, Патронном, Лаферм и др. — Неделю в газетах ни звука о том. Наконец: в забастовках и демонстрациях виноваты белогвардейцы, черносотенные банды, шпионы

Англии-Франции-Польши, а также болтуны и шептуны; голод и холод в Петрограде подготовлен разрушительной работой эсеров и меньшевиков; доносить о подозрительных лицах в Военный Совет Укрепрайона. В Петрограде объявлено военное положение.

Забастовки перекинулись и на московские заводы; попытки рабочих демонстраций перед красноармейскими казармами. Заводы закрываются, из членов РКП создаётся вооружённая охрана: предотвратить возможные рабочие выступления. Моссовет: Долой провокаторов Антанты! только дружная работа выведет нас из нищеты; никакие шептуны не совратят рабочий класс с пути социалистической революции. — ЦК эсеров (Москва) спешит отмежеваться от своих зарубежных деятелей.

Молниеносный захват Грузии Красной армией по обычной схеме: там «восстали рабочие и крестьяне» против меньшевицкого правительства, образовался ревком и «попросил помощи» у РСФСР. (Но в газетах — ничего о действиях Красной армии, а только «рабочих и крестьян Грузии».) Чхеидзе, Жордания бегут; и Церетели больше нет места.

Две тысячи казаков из военной эмиграции, поверив амнистии, возвращаются на родину. — Который месяц расстрелы в Крыму.

В Кронштадте давно недовольство, но не давали переизбрать Совет, подчинённый коммунистам; теперь знают и о волнениях петроградских рабочих. 28 февраля, начиная с линкора «Петропавловск» (Петриченко), восстание, новый ВРК: Советы должны быть безпартийны и представлять трудящихся; долой беспечную жизнь бюрократии, долой штыки и пули опричников, крепостное право комиссародержавия и казённые профсоюзы! — От населения Петрограда вовсе скрыта эта программа, и три дня скрывается само восстание, потом объявлено как восстание одного штабного генерала (Козловского), подготовленное французской контрразведкой: Белогвардейцы и черносотенцы хотят через Кронштадт удушить революцию. Троцкий: Восстание поднято с целью сорвать наш мир с Польшей и торговое соглашение с Англией. — Перепуганный Совет Труда и Оборона постановляет закупить за границей продовольствия для рабочих на 10 миллионов. — Попытка усмирить кронштадтцев убеждением; Зиновьева там разорвут, послали Калинин; провал его речи на Якорной площади, еле уехал. — Надежда кронштадтцев поднять Петроград, но не решаются наступать туда, «чтобы не пролить лишней крови». А заводы колеблются, сами не поднимают оружие, ждут вооружённых кронштадтцев. — В Петроград прибыли на подавление Кронштадта Троцкий и Тухачевский. 5 марта их ультиматум Кронштадту: сложить оружие безусловно, иначе будет разгром, это последнее предупреждение; аэроплан разбрасывает листовки ультиматума над Кронштадтом. В Петрограде арестовывают как заложников семьи восставших матросов. — В Кронштадте нет запасов еды и топли-

ва. — Гучков из Парижа обратился к президенту США: срочно передать из Финляндии со складов гуверновской организации 6 тыс. тонн продовольствия в Кронштадт. (Не сделают.) — В Ораниенбауме полк красноармейцев отказался выступить против Кронштадта, приказано расстреливать каждого пятого. — Кронштадт отклонил ультиматум. В ночь с 7 на 8 марта штурм острова, ползком через лёд, часть добралась и до города, но штурм отбит.

Открылся X съезд РКП. Ещё с ноября, сразу после окончания войны с Врангелем, в партии завязалась страстная и путаная дискуссия о профсоюзах (и больше всех путал Ленин, долго не мог найти ясной позиции, ожесточённо спорил с Троцким, мало расходясь с ним), «в ЦК каша и кутерьма», «чехарда платформ»: разрешить производственную демократию? поручить профсоюзам управление промышленностью? впрямь их в государственное управление? «встряхнуть пролетариат» (Троцкий) и усилить принуждение? Для полного подчинения профсоюзов партии Ленин предложил маскировочную формулу «приводных ремней от партии к массам». — Ближе к съезду всё сильнее выступала «рабочая оппозиция» (Шляпников, Коллонтай, Лутовинов и др.): Партия стала бюрократической, оторвалась от рабочих интересов, партию надо демократизовать, управление народным хозяйством должно принадлежать самим производителям; Коллонтай: Назад к демократии и свободе мнений! — На съезде Ленин весь гнев обратил на них: «Рабочая оппозиция» — нет худшего названия для членов КП, нельзя так играть с партией; оппозиции теперь крышка, довольно нам оппозиций! — И съезд распустил их группу; и впредь навсегда запретил какие-либо фракции в партии, сплотить РКП воедино! — Съезд РКП в Москве охвачен паникой перед восстанием в Кронштадте; сотни членов съезда шлются в Петроград в войска подавления для подъёма их духа; торопиться брать Кронштадт, пока не растаял лёд! — И тем безповоротней принимается съездом замена продрозвёрстки натуральным налогом; душить деревню методами военного коммунизма дальше не выйдет.

УЗЕЛ XIX — МАЙ–ИЮНЬ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО

К маю у тамбовского коммунистического актива потеряна последняя вера, что они когда-нибудь справятся с крестьянским восстанием в губернии. (У Антонова — 16 повстанческих полков.) С начала мая в Тамбов прибывает возглавленный подавления Тухачевский с красными генштабистами, аэропланым отрядом и радиосвязью. Для карательных действий вызваны кавалерийские бригады Котовского,

Дмитриенко и Федько, полки ВЧК, ЧОН, интернациональные части (мадьярская конница, латышские стрелки), автобронеполки и красные курсанты. — На тамбовском городском собрании коммунистов Тухачевский и Антонов-Овсеенко делают доклады о способах и плане подавления восстания. Среди мер: семьи восставших берутся заложниками в концлагеря, а имущество их тут же распределяется между верными Советской власти; за укрытие повстанцев расстрел (приказ № 130); укрытие семей повстанцев приравнять к укрытию бандитов и расстреливать старшего в укрывшей семье; расстреливать всех, кто отказывается назвать своё имя (приказ № 171); население, не оказавшее сопротивления бандитам и не донесшее о них, рассматривается как их сообщники. — Начало карательных действий бригады Котовского от г. Моршанска вдоль р. Цны, затем на постоянные опоры повстанцев — Пахотный Угол и Иноковку (где Пётр Токмаков). — Постоянный оккупационный отряд красных курсантов в повстанческих гнёздах Коровайново и Трескино. — 1-я партизанская армия Богуславского под Верхоценьем.

Постановление СНК (Ленин) о наказании труддезертиров. — Заботы Ленина, кому бы сдать концессии и побольше? Готовит общую чистку партии; преследовать членов партии, исполняющих религиозные обряды. — Обнаружено хищение золота у Юровского, в отделе Госхрана, Ленин поручает расследовать Бокию (спец. отдел ВЧК). — Создание единого Верховного Трибунала Республики, ему подчиняются все ведомственные трибуналы (у каждого из которых свои нормы юстиции). — На ВЦИКе: Голод в Средней России, к весне в некоторых губерниях не осталось и семенного фонда, всё отобрано. Петроград — мёртвый город, заводы стоят, как оживить? — Первые постановления СНК, разрешающие свободное производство продуктов, рыболовство и пчеловодство для продажи, восстановление кустарной и мелкой частной промышленности. — Всероссийская конференция РКП, введение Новой Экономической Политики («НЭП»). Радек: о Коминтерне, активизировать интернациональные бои по всему миру. — Переворот во Владивостоке, поддержанный японцами.

Создан подвижный сводный отряд Уборевича (кавбригады и бронеполки) против быстрой (сменнолошадной, 120 вёрст в сутки) крестьянской конницы. Манёвр: окружить главные силы Антонова у р. Вороны или вытеснить вовсе из Тамбовской губ., где у него поддержка. — Антонов ушел за Хопёр, в Саратовскую губ. Далёким кольцом возвращается; бой в с. Елань. — Ещё раз Антонов уходит под Кирсановым, в ночную грозу, в Пензенскую губ.; не уловить и не разбить. — Рубка партизанских голов в Туголукове. — В Каменке. Массовые расстрелы на выгоне; похороны без гробов. Отца Михаила Молчанова котовцы вывели с литургии и зарубили. — Раскрыли подземелье в Каменке, где прятал

ся губернский Совет Трудового крестьянства; Григорий Плужников схвачен в лесной яме.

Май-июньская невиданная засуха. Начало сплошного голода к востоку, на всё Поволжье.

УЗЕЛ XX — ВЕСНА ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО

1922 год уже начат под острым голодом Поволжья и Крыма (16 губерний, больше 20 миллионов человек): крестьянское хозяйство не выдержало после Гражданской войны ещё и советских мер, ослабло и не способно бороться с засухой 1921 года. Первая помощь голодающим пришла от организации Нансена, за ней с февраля мощная помощь американской АРА, целыми пароходами. — Напряжение голода растёт от недели к неделе, люди едят павшую скотину, собак; людоедство, детоедство; многие крестьянские семьи убредают с родных мест в поисках спасения, власти мешают их переселению. — В конце января Помгол при ВЦИКе впервые *разрешил* сборы на голодающих от религиозных обществ, а уже с начала февраля газетная кампания: почему правительство не решается *отобрать* сокровища у Церкви? — В середине февраля уже второе воззвание Патриарха Тихона о помощи голодающим: приходам жертвовать ценности небогослужебного употребления. Но агитационная кампания все резче и ненавистней к Церкви, 28 февраля ВЦИК постановляет насильственное изъятие церковных ценностей. (При начавшихся описях церковного имущества нередки кощунства, чекист становится ногами на престол.) — С конца января впервые разрешено гражданам свободное передвижение по РСФСР.

Под давлением США Япония отказывается от оккупации Сибири и Сахалина (но всё ещё сохраняет войска во Владивостоке). — С января РСФСР приглашена на Генуэзскую конференцию, первый международный успех: уже один допуск туда есть признание советского правительства, «Россия снова принята в союз европейских народов», разрыв изоляции. Большое внимание коммунистического руководства, тревога, что конференция откладывается. (В связи с этим приказ Троцкого Красной армии о бдительности, «могут напасть».) — Однако Ленин: не угождать Европе, не смалодушничать перед Генуей, именно теперь усилить вмешательство государства в частно-правовые отношения! — После обильных слухов в народе, что Ленин нето спился, нето спятил, он 6 марта признаётся в публичном выступлении, что уже несколько месяцев не может из-за болезни исполнять должность председателя СНК.

Преобразование ВЧК в ГПУ. — Разгром профессорской забастовки в МВТУ (требовали административной самостоятельности училища). — Объявлено о преступлениях целиком всей партии эсеров перед

пролетарской революцией, готовится суд над главарями (Гоц, Гендельман, Донской и др.), они все в Бутырской тюрьме.

Голод ширится, вступает в Вятскую, Воронежскую, Ставропольскую губ., Донскую область, Калмыкию, юг Украины, кое-где в Сибири, охвачены уже 29 губерний и до 33 млн человек (это — много шире, чем в 1891). Не подготовлены семена на весну сколько нужно, не начинается весенний сев; на Поволжье и не помышляют о посеве, нет сил ни у людей, ни у скота; а волжских пристанях лежат в грязи целые деревни беженцев, живые и мёртвые, клочья одежды на мертвеющих телах. — Затруднения Церкви: сама она не может обратиться в хлеб, этого ей не разрешают, требуют сдать их государству, там не допускают контролировать дальше; а может, они пойдут на Интернационал? (Письма простых людей в газеты: а куда делись ценности кремлёвских соборов, захваченных властями?) — В начале марта новое воззвание Патриарха: не может одобрить хотя бы и добровольного изъятия священных предметов, это святотатство. — В Шуе 15 марта народное волнение при ограблении собора, набат, стрельба красноармейцев в толпу, убитые.

В марте у Ленина серия малых параличей: затруднённая речь, ослабление правой руки, ноги; вызваны немецкие специалисты. — 19 марта строго секретное письмо Ленина членам Политбюро о действиях против Церкви: Данный момент исключительно благоприятный и единственный, когда мы можем проучить эту публику так, чтоб они несколько десятков лет не смели и думать о сопротивлении; провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией; этот фонд м. б. несколько миллиардов, без него невозможна никакая государственная работа; подавить сопротивление с такой жестокостью, чтоб они не забыли этого несколько десятилетий; закончить не иначе как расстрелом самых опасных и влиятельных в Шуе, Москве и, по возможности, в других духовных центрах, чем больше расстрелять, тем лучше; публично пусть выступает Калинин, но никоим образом не Троцкий, скрыть его участие; за Тихоном подробно наблюдать Дзержинскому и ежемесячно докладывать на Политбюро.

От этого момента быстро усиляется травля высшего духовенства в газетах, гнусные стихотворные фельетоны. Калинин: Жадная хищная антинародная группа духовенства против помощи умирающим Поволжья; группа церковных князей с иезуитскими ухищрениями ведёт борьбу против власти рабочих и крестьян. — «Известия»: Ударить по церковной головке, замыслившей чёрное дело измены, применить методы борьбы как к вожакам контрреволюции. Гражданин Белавин (Патриарх), ставленник черносотенной части духовенства.

По всей стране ограбляются храмы, местами снимают и колокола. — Набат в смоленском соборе, стрельба красноармейцев и там. — В Страстной Четверг петроградский Митрополит Вениамин возглашает

в Исаакиевском соборе широкую отдачу ценностей. — Ревтрибунал над шуйскими защитниками церкви (несколько человек расстреляно). — Ревтрибунал в Москве над церковными деятелями (их до 50 человек, 11 — к расстрелу). Допрос Патриарха и арест его, сперва домашний. — Волна трибуналов в провинции. Процесс в Иваново-Вознесенске; суд в Новочеркасске; приёмы ГПУ против адвокатов. — Владимир Львов, вернувшийся в РСФСР из бедствий эмиграции, печатает статьи в поддержку правительственной кампании.

В Берлине стрельба русского монархиста в Милюкова, убит Набоков. — Радек почётно принимается германскими властями и прессой. На совещании трёх Интернационалов (2-го, 2^{1/2}-го и 3-го) достигнуто соглашение о единстве действий. — Мировая кампания социалистов в защиту эсеров: не судить их! Бухарин и Радек в Берлине обещают, что смертных приговоров не будет. Ленин взбешен этим обещанием. Выемка пули, застрявшей у ключицы, не облегчила состояния Ленина.

Всё живей и быстрее коммерческие развороты НЭПо (далее — НЭП). Готовится на август открытие Нижегородской ярмарки. — Чичерин благоприятно высказывается об иностранных концессиях и о займах в обмен на поставки русского сырья.

XI съезд РКП. Ленин: Отступление окончено. — Сталин как доверенный человек Ленина избран генеральным секретарём РКП (впрочем, «временно», до выздоровления Ленина); сдал РКИ; его власть пошла в быстрый рост. — С 1918 удвоился правительственный аппарат, бюрократия растёт неудержимо. Под Сталиным одно РКИ выросло до 12 тыс. человек.

Закрепление грабежа революционных лет, постановлено: тогда «сама обстановка изъятия не нуждалась в юридическом обосновании», отнятые с 1917 по 1 января 1922 квартиры, движимое имущество, мебель и предметы домашнего обихода возврату не подлежат; «сама физиономия потерпевших собственников часто такова, что вопрос о возвращении им имущества представляется неуместным». — Школы в запусте: без учебников, тетрадей, карандашей, перьев; учителя нищие и на малых пайках; к тому же, с санкции Луначарского, одобрено разделение их на буржуазных и пролетарских. — В газетах, на месяц опережая судебный процесс, началась травля правых эсеров за всё их поведение с 1917; и нагнетается от недели к неделе.

Советское правительство жадно следит за Генуэзской конференцией. Антанта же пригласила РСФСР, чтоб она взяла на себя все долги царской России, вернула иностранцам всё бывшее их имущество в России, ещё уплатив за его износ и потерю прибыли, и ввела бы для иностранцев юридические привилегии, экстерриториальность (ввиду неясности и жестокости советских законов). — Советская делегация (Чичерин, Иоффе, Литвинов, Раковский) согласна признать лишь довоенные долги (с мораторием в 20 лет), но ликвидировать военные, не-

медленно получить новые крупные займы, а бывших иностранных владельцев лишь частично компенсировать открытием новых концессий (их готовый перечень широк). — Энергичная советская делегация быстрыми неожиданными шагами опередила и даже стала разваливать дипломатию западных держав; сперва: обсуждать всеобщее разоружение (цыкнули — сняла); затем неожиданно: тайно подготовленный Рапалльский договор с Германией (взаимный полный отказ от всяких претензий за войну, взаимное признание де-юре; РСФСР прорывает изоляцию, Германия находит частичную отдушину от Версальского договора); и ещё снова — о разоружении. — Шок у «приглашающих держав», противоречия между Францией и Англией, Антанта накануне раскола? — Разрыв висит над немощными неделями конференции (в заминках её — грозные приказы Троцкого к Красной армии: быть наготове!), но советское сопротивление возврату национализированной собственности не сломлено. — Конференция кончается ничем, все темы её перенесены в Гаагу.

О голоде пишут всё меньше, а он охватил уже 35 губерний, больше 35 млн человек, люди едят весеннюю траву. Голод расширяется и на 5 западных губерний Кирреспублики (Казахстана) и в Воронежскую; эту постановлено не считать голодающей, иначе придётся снять с неё хлебные поставки. — Выпуск «Хлебного займа» (облигации за зерно). — Но не прекращается травля Церкви: «На церковном фронте», уже «трудящиеся требуют» суда над Патриархом. — При поддержке ГПУ группа «Живая церковь» (Введенский, Красницкий, еп. Антонин) смещает Патриарха Тихона, его увозят с Троицкого подворья в Донской монастырь в заключение. (Церковный переворот подаётся как «добровольный уход Тихона».) — Митрополит Вениамин отлучает живоцерковников от Церкви; он тоже арестован и предаётся суду. (Ленинская мартовская программа выполнена.)

Майская сессия ВЦИК. — НЭП возбудил надежды на мнимый возврат частной собственности на землю? ВЦИК утверждает закон «о трудовом землепользовании», никакого «владения» землёй. Верховный собственник и распорядитель земли — Государство. (Уступка Ленина в октябре 1917 взята назад, земля у крестьян отобраена вся.) — ВЦИК обсуждает и принимает новый уголовный кодекс. Ленин успевает к нему с настоянием «расширить применение расстрела» и ввести разветвлённую политическую статью (будущую Пятьдесят Восьмую). — 26 мая Ленина в Горках постигает сильный удар паралича, на всю правую сторону и речь.

Неделями нарастает газетная травля к предстоящему суду эсеров. «Измено-заступники» от 2-го Интернационала (Вандервельде, Теодор Либкнехт, Розенфельд) приехали защищать на суде «эсеров-убийц» (их 34 человека). — 8 июня в Москве открывается процесс. Председатель Пятаков, прокурор Крыленко. (Уже принята идея Троцкого: не расстре-

ливать, но сделать заложниками на случай, если уцелевшие эсеры начнут террор против вождей большевизма.) — 9 июня начался судебный процесс над Митрополитом Вениамином (обречён к расстрелу) и другими церковными лицами Петрограда.

В июне Ленин понемногу снова учится говорить и писать.

В тамбовском селе Нижний Шибрай чекистами обнаружены и застрелены Александр Антонов с братом. (Пётр Токмаков так никогда и не пойман.)

ЭПИЛОГ ПЕРВЫЙ (1928 г.)

ЭПИЛОГ ВТОРОЙ (1931 г.)

ЭПИЛОГ ТРЕТИЙ (1937 г.)

ЭПИЛОГ ЧЕТВЁРТЫЙ (1941 г.)

ЭПИЛОГ ПЯТЫЙ (1945 г.)

КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

«Апрель Семнадцатого», четвёртый Узел «Красного Колеса», открывает Действие Второе: «Народоправство». Он начинается с Пасхи (2 апреля) и кончается первым пересоставом Временного правительства в коалицию с социалистами (5 мая).

Это Узел, где Ленин действует уже в Петрограде — сразу в скандальном противоречии с социалистами и даже большевиками «прежней» линии — и предпринимает первую попытку захвата власти (20 апреля), но тотчас отрекается от неё, встретив неожиданное активное уличное сопротивление петроградской публики. Послефевральский хаос нарастает и уже разливается по всем просторам России, врзается и в Действующую Армию. Перед нами проносятся казачий съезд на Дону, анархистский разгул в Петрограде, отставка генерала Корнилова, мужицкая настороженность и ожесточение в уездах, быт царской семьи в заточении, мучительные переговоры о коалиции кадетов с социалистами, уход из правительства Гучкова, Милюкова, «единовластие» Керенского, зловещий приезд Троцкого. Узел изобилует фрагментами «народоправства» на фронте и в тыловой жизни.

«Апрель Семнадцатого» А. И. Солженицын писал с 1984 года, одновременно завершая работу над многотрудным «Мартом», к концу 1988 почти закончил, и на этом эпопея была остановлена: как сам автор объясняет — и по объёму её, уже трудному для читателя, и, главное, потому, что крушение февральского режима и неизбежность прихода к власти большевиков — уже были в апреле 1917 определены.

Однако агонии предстояло длиться ещё полгода, и проследить хотя бы пунктирно всё течение её в Семнадцатом году представляло живой интерес. Поэтому автор решился написать, в приложение к десяти томам «Красного Колеса», ещё конспективное изложение намечавшихся Узлов эпопеи — «На обрыве повествования: Конспект ненаписанных Узлов». Он оставляет запись в дневнике 12 февраля 1989 года («Дневник Р-17», в настоящем Собрании публикуется в т. 17): «Сегодня взялся за составление заключительного оповещения читателей после IV Узла, на обрыве. Раньше думал дать только перечень Действий и Узлов. Но это — слишком голый скелет, только знающие могут догадаться, о чём речь. Значит, надо пояснять: главные, охватываемые узлом политические события, — не только по степени их исторической важности, но и по акценту: что было бы не упущено в “Колесе”».

В этот Конспект автор не включил никого из вымышленных персонажей, но проследил Семнадцатый год до конца — во всех основных событиях и обзоре партийных и общественных мнений тех месяцев и недель (Узлы V—IX). При чтении этих Узлов Конспекта отчётливо выступают этапы прихода к власти большевиков, ошеломляющая циничность их агитационных приёмов.

Значительно короче очерчены Узлы X—XX (февраль Восемнадцатого — весна Двадцать Второго), однако у читателя возникает ясное представление об объёме первоначального замысла эпопеи.

Последняя редакция Четвёртого Узла и Конспекта ненаписанных Узлов выполнена в процессе набора в Вермонте в 1987—1989 годах.

«Апрель Семнадцатого» и «На обрыве повествования» впервые напечатаны в 20-томном Собрании сочинений, тома 19 и 20 (Вермонт — Париж: YMCA-press, 1991).

На родине «Апрель Семнадцатого» печатался в журналах «Новый мир» (1992, № 10—12, главы 1—91) и «Звезда» (1993, № 3—6, главы 92—186). В книжном издании «Апрель Семнадцатого» вместе с Конспектом появился в 1996—1997 годах в составе репринтного воспроизведения «Красного Колеса» (Историческая эпопея в 10 т. — М.: Воениздат, 1993—1997; тома 9—10).

В настоящем 30-томном Собрании сочинений печатается последняя прижизненная редакция «Красного Колеса», предпринятая автором в 2003—2005 годах. «Апрель Семнадцатого» претерпел существенные по объёму сокращения, коснувшиеся главным образом газетных и фрагментных глав.

Н. Солженицына

И С В Е Т В О Т Ъ М Е С В Е Т И Т

*Заметки об «Апреле Семнадцатого»
и «Конспекте ненаписанных Узлов»*

Переход от «Марта Семнадцатого» к «Апрелю...» кажется почти незаметным. Интервал между Третьим и Четвертым Узлами совсем невелик (18 марта — 12 апреля)¹, ключевые события, случившиеся в этот временной промежуток (поражение на Стоходе, вступление Соединенных Штатов в войну, проезд ленинской группы из Швейцарии через Германию и Швецию в Россию, возвращение других эмигрантов), названы в предвещающем Узел (прежде такого не было) «Календаре революции»² и будут не раз всплывать в «апрельском» повествовании. Эта «вязкость» исторического процесса фиксируется автором целенаправленно: «Апрель...» начат главой о Церетели (с отступлением к началу революции, когда политический ссыльный «в два дня» стал «хозяином Иркутска» — 1³), хотя возвращение меньшевистского лидера в Петроград и его первая столичная речь уже запечатлены в Третьем Узле (М-17: 653). Дело в том, что триумф Церетели, быстро занявшего

¹ «Март Семнадцатого» отделяют от «Октября Шестнадцатого» три с половиной месяца (4 ноября — 23 февраля), «Октябрь...» от «Августа Четырнадцатого» — два года и почти два месяца (21 августа 1914 — 14 октября 1916); рассказ становится все более густым — эта тенденция продолжится в конспекте ненаписанных Узлов «На обрыве повествования», посвященных 1917 — началу 1918 годов, где практически на каждый месяц приходится новый Узел. Затем (начиная с Узла Тринадцатого — «Ноябрь Семнадцатого») временные лакуны увеличиваются до нескольких месяцев; в некоторых случаях — до полугода, предпоследний и последний Узлы разделяет почти год («Май — Июнь Двадцать Первого» — «Весна Двадцать Второго»). «Заковка путей» (Пятое Действие «Красного Колеса»), кроме прочего, означает «заковку» (замедление) исторического времени.

² Ср. также открывающие собственно текст «Апреля...» два документа — тайные письма британских политиков (от 24 и 31 марта), в которых ставится крест на возможности отъезда императорской фамилии в Англию. Царская семья уже предана — брошена союзными родственниками на произвол судьбы (революции).

³ Здесь и далее цифры в скобках — номера цитируемых или упоминаемых глав Четвертого Узла. При отсылках к другим узлам применяются сокращения: А-14 — «Август Четырнадцатого», О-16 — «Октябрь Шестнадцатого», М-17 — «Март Семнадцатого». Все выделения в цитируемых фрагментах (курсив, разрядка, прописные буквы) принадлежат Солженицыну.

одну из ключевых позиций в Совете и вроде бы «повернувшего» Исполнительный Комитет (1, 6), только мнится (ему самому, его поделщикам и ревнивым конкурентам) значимым событием, но, по сути, ничего не решает. Как ничего не решают прибытие в Петроград Плеханова (3, 6, 40) и Чернова (6, 67), интриганские ходы пытающегося переиграть соперников Стеклова (3, 5), борьба Исполнительного Комитета с Временным правительством за «мирные» поправки к Декларации, вышедшей 27 марта. Уже казалось исполкомовцам, что из-за упорства Милюкова нечто роковое произошло: «Наступал — великий необратимый разрыв. Раскол бессмертной Февральской революции!

И в этот самый момент позвонил телефон — и князь Львов сообщил, что правительство приняло поправку, высылает <...>

Вывали!

Во взглядах мировой фанатично-империалистической буржуазии — какой же это будет поворот! — 27 марта — *первый* отказ воюющей державы от всяких захватных завоеваний!» (1).

Социалисты (как, впрочем, и большинство их соперников-партнеров из Временного правительства) одинаково обманываются как до принятия Декларации, так и после него: они не способны различить значимое и незначимое, собственные звонкие словеса и хитроумные политические комбинации и словно бы неслышную угрожающую поступь истории. Приезд в Россию Ленина и его первые акции в Петрограде, в том числе провозглашение «апрельских тезисов», «размыты» по нескольким главам (5 — появление Ленина с Зурабовым и Зиновьевым на ИК, предшествующее описанию их прибытия; 6 — встреча на Финляндском вокзале глазами Гиммера; 7 — глазами Саши Ленартовича; 11 — через спор либеральных профессоров Гессена и Гредескула и их реакции на антиленинский поход гимназистов к особняку Кшесинской; 12 — глазами Керенского; 15 — самоощущение Ленина), утоплены в череде других происшествий. Царит всё та же слепота, что овладела обществом в февральско-мартовские дни. Зря «Ленин, в поезде через Финляндию, не в шутку думал: вот сейчас пересечём границу, всех нас схватят — да в Петропавловку». Почва подготовлена: «...когда в Белоострове под моросящим дождём, при электрических фонарях, увидели толпу встречающих сестрорецких рабочих — Ленин вмиг понял, что — победил! Трудности ещё будут — а уже победил!» (15).

Ленину выпадет пугаться еще не раз — и в апреле (несильно, после обвинения красногвардейцев в стрельбе по «буржуазным» демонстрантам — 84, 87), и позднее (из конспекта Пятого Узла: «5 июля Ленин Троцкому: «Теперь они нас всех перестреляют». Ленин и Зиновьев скрываются прочь»). Но это лишь частные (и преодолимые) неудачи — набирающее скорость Красное Колесо несёт вперед большевиков, чего в апреле (да и позднее) не могут и не хотят понять всевозможные политические деятели, занятые своими сомнительными играми, добивающиеся решения сиюминутных задач, одерживающие

«победы», после которых всё должно пойти «правильно», а идёт — по-ленински.

Социалисты могут истерически возмущаться нотой Милюкова, но плоды этого гнева пожнут не они, а ленинцы (вообще-то к восстанию ещё не готовые — 46), воспользовавшиеся шальным, спровоцированным общей неразберихой, протестным выступлением Финляндского батальона⁴ и едва не раскошегарившие вторую революцию. Милюков, почувствовавший в дни противостояния демонстраций поддержку обычных жителей столицы (они оказались сильнее большевиков), может гордиться своей неуступчивостью, проявленным в минуту опасности мужеством и ясным пониманием ситуации («...пусть помрачатся хоть все головы — а моя да останется непомрачённой» — 88). Он чувствует себя вправе «торжественно» сказать Альберу Тома: *‘J’ai trop vaincu! Я — слишком победил!’*, но победа его (вроде бы столь наглядная — нам детально показано, что творилось на петроградских улицах в кризисные дни) тут же оказывается фикцией.

«И правильно было сейчас: дать продолжение боя!

Но — кто это понимал?! Даже кадетский ЦК не понял. (Как не поймет Милюкова большинство его маститых однопартийцев несколько дней спустя, когда лидер кадетов уйдёт с министерского поста в отставку — 163. — А. Н.) <...> Но уж совсем не понимало ситуации оробевшее правительство: что в Петрограде его сторонников больше, чем противников, что оно — владеет положением. <...> Напротив, в сегодняшнем заседании Милюков застал правительство в паническом настроении, что надо искать коалицию с социалистами, а сами не справимся» (88).

Фикцией оборачивается торжество Милюкова, но столь же фиктивной победа его противников, принудивших «империалистически» настроенного министра иностранных дел покинуть правительство. «А Милюков, всё сжимая тяжелеющую голову руками, не в первый раз подумал, но в первый раз так ясно и окончательно: они — в заговоре! Они — дав-

⁴ Батальон поднимает (не имея на то никаких полномочий от ИК, членом которого он — вопреки мнению сослуживцев — не является) чудаковатый и восторженный путаник вольноопределяющийся Федор Линде. Поднимает «по святому наитию, импульсом великой Интуиции, которая бывает выше самой стройной Логики», заворожив нескольких «рассудочных» батальонных комитетчиков и после долгих прений выцарапав решение выступать с перевесом в два голоса. Откровенно комический персонаж оказывается зачинщиком апрельского противостояния толп (и большевистской стрельбы, возвещающей приближение гражданской войны). Он проигрывает эту «битву», но делает политическую карьеру, которая страшно обрывается через четыре месяца, 25 августа: «На ЮЗФ (Юго-Западном фронте. — А. Н.) комиссар Ф. Линде убит разъяренными солдатами» — пишет Солженицын в конспекте «Августа Семнадцатого». Гибель Линде, пытавшегося разагитировать взбунтовавшихся солдат, в зловеще гротескном ключе изображена в пятой части «Доктора Живаго» и играет важную роль в дальнейшем сюжетном и смысловом движении романа Пастернака (исторический персонаж там носит фамилию Гинц).

но в скрытом тайном заговоре, может быть масонском, может быть личном, ещё от первых дней марта, и даже ещё прежде. Заговорно они тянули друг друга во Временное правительство, а Павел Николаевич, формируя кабинет, свалил большого дурака. Заговорно они все недели и подписывали свалить Милюкова, и они же лансируют кандидатуры взамен. Керенский с Терещенкой, видно, давно согласились захватить себе министерство военное и иностранных дел. А князь Львов — и исконный предатель, он предал и в Выборге, — и как можно было простить ему то? И вот — повторяется снова» (157). Заговорщики переигрывают Милюкова, потому что они мельче, своекорыстнее, «пластичнее» (то есть прислушливее к голосу толпы) да и бессовестнее сохранившего государственное мышление отца русской революции. Но их тактика продолжает (усугубляет) ту, которой обильную дань отдали в марте (и раньше) не только вызывавший у автора (во Втором и Третьем Узлах, да в какой-то мере и в «Апреле...») стойкую ироничную антипатию Милюков, но и человечески привлекательный для Солженицына Гучков. Заговоры приводят к успеху лишь в тех случаях, когда они подлаживаются к не заговорщиками направляемому ходу истории. Гучкову не удалось опередить революцию, а когда он (в комплоте с генералами) вырывает у Государя отречение, акт этот предстает жалкой и бессмысленной пародией прежнего замысла, воплощение которого должно было спасти страну. Милюков формировал революционную власть «заговорно» — изысканно хитро, оглядливо, по-профессорски просчитывая возможные тонкие следствия, — и получил кабинет, в котором ему не на кого опереться⁵. «И проклинал себя Павел Николаевич (еще до кризиса! — А. Н.), где же были его глаза и разум, когда он единовластно составлял правительство? Мог взять больше кадетов, и кадетов настоящих, не предателей, как Некрасов, да Набокову первому дать важное министерство, и Винаверу, да насколько Бубликов энергичный был бы тут хорош. Да и премьером — во сто раз было бы лучше иметь тут громового патриота Родзянку, чем мямлю Львова. Не предвидел, что так сразу покатит налево. Чего тогда опасался? какие-то дутые вздорности преувеличил, переуступил и перелавировал. Его лучшее качество — компромисса и лавирования — и подвело в те дни» (20). Милюков интриговал не для себя, а, как казалось ему, для дела. (Спасение России может обеспечить только долгожданная революция, а потому Россия и революция сливаются в сознании Милюкова и других ревнителей свободы воедино — отречься от этой химеры Милюков, как и очень многие русские интеллигенты разных оттенков, не могли в апреле, ни много позднее.) Но, во-первых, мыслимые задним числом альтернативы не так уж хороши (много ли толку было бы от разма-

⁵ Да и изначальный компромисс с самозванным Советом (впрочем, легитимность Думского комитета тоже куда как проблематична), порождением которого стала трясына двоевластия, погубившая как Россию, так и всех деятелей Февраля, был — при всех явленных на переговорах тактических ухищрениях — делом Милюкова.

шистого говоруна, вечно кипящего «самовара» Родзянки? — ведь неспроста отодвигал его Милюков в сторону), а во-вторых, именно Милюков проторил дорогу тем, кто избавляется от него в апреле⁶, разными побуждениями руководствуясь. Если Терещенко, Некрасов и Керенский предстают у Солженицына едва ли не стопроцентными карьеристами, то князь Львов — не больше симпатий вызывающий — отнюдь не о себе заботится. Он словно бы искренне хочет всех примирить (невольню пародируя толстовского царя Фёдора Иоанновича и князя Мышкина), из-за чего и предает «упрямого», уже не способного на губительные компромиссы Милюкова. Он ведь зла лидеру кадетов не желает и заслуги его ценит. «Улыбка князя была прелести неизъяснимой, но и печали:

— Как раз в эти дни... в Исполнительном Комитете... Они теперь в процессе принятия решения, и мы должны им облегчить» (Замечательна недоговорка, даже многоточием не развитая. «Облегчить» — и всё. — А. Н.) <...>

— Помогите, — ласково просил князь и смотрел из низкого кресла безгрешными глазами». И после взрыва Милюкова, которому обида и ярость не помешали с азбучной чёткостью растолковать, что коалиция, сооружённая «в угоду безответственному Совету», будет означать «распад власти и распад государства», льётся тот же елей. «Слабым нежным голосом возразил не такой-то и хиленький, совсем не щуплый князь (мгновенно меняется точка зрения, мы видим теперь Львова глазами прозревшего Милюкова. — А. Н.):

— Павел Николаевич. (Нет восклицательного знака. Львов уже не просит, но отбывает номер «просьба». — А. Н.) Но отчего бы вам не согласиться пойти навстречу демократии? Поменять портфель?» (129). И та же слащавая фальшь после «окончательной победы» — заседания правительства, когда преданный, выпихнутый наконец в отставку Милюков, блюдя норму интеллигентного поведения, обходит «всех коллег с рукопожатиями, в том числе и мерзавцев <...>

Когда дошла очередь до князя Львова — тот удерживал руку Павла Николаевича и безсвязно лопотал что-то вроде:

— Да как же так?.. Да что же?.. Нет, не уходите!.. Да нет, вы к нам вернётесь» (157; здесь, когда дело сделано, все эмоционально слезливые многоточия проставлены).

⁶ То, что Милюкова уничтожают его ученики, прямо проговорено в еще «предкризисной» главе о мечтательно конструирующем «единое социалистическое правительство, от трудовиков до большевиков» Чернове, который недавно разъяснил в газетной статье, как «не надо пугаться чрезмерностей Ленина», а теперь выносит приговор «изгадившему» ноту министру иностранных дел: «А Милюкова, конечно, убрать, переместить» (67). Как и будет позднее предлагать Львов. Некоторое — смешанное с неприязнью — почтение к мэтру «культурные» социалисты совсем изжить пока еще не могут. Да и страх принять на себя всю ответственность за страну, тот страх, что будет терзать левые партии вплоть до октябрьского переворота, свое берет. — А. Н.

Главу о поражении (еще не осознанном вполне, но уже, по сути, случившемся) Милюкова итожит пословица: «САМ РЫБАК В МЕРЕЖУ ПОПАЛ» (128), более раннюю главу о Гучкове, уразумеваемом, что всё идет прахом — другая: «РОДИШЬСЯ В ЧИСТОМ ПОЛЕ, / А УМИРАЕШЬ В ТЕМНОМ ЛЕСЕ» (34). Сколь ни различны интонации этих паремий (иронично-усмешливая — в случае Милюкова, скорбно-отчаянная — в случае Гучкова), личности министров (Милюков сохраняет изысканно ледяную корректность и твёрдую рассудительность даже в те мгновения, когда он — неожиданно для ближайших соратников вроде Набокова — оказывается способным ощутить человеческую боль; Гучков, истомлённый болезнью, семейными неурядицами, общим распадом, который видит яснее и раньше Милюкова, и скрытым сознанием собственной вины за происходящее, утрачивает свою природную мужскую статью и тоскливо думает о подступающей совсем не героической смерти), чувства, с которыми пишет своих героев Солженицын, — общее в обрисовке бывших соперников важнее этих достаточно весомых частностей: они предельно одиноки, им не дано составить союз (к этому мотиву мы ещё вернёмся) или принять действительно сильное решение — ни вместе, ни порознь они не могут остановить ими же некогда подтолкнутое Красное Колесо.

Не в конкретных изгибах политической кривой суть. Едва ли российская история пошла бы иначе, если б Милюков в апреле «пережал» Львова с Керенским и сохранил за собой министерство иностранных дел (и тем паче — пересел в кресло министра просвещения). И действуй Гучков тверже, заставь он министров — «отполированного» артиста-демагога Терещенко, ласкового соглашателя Львова, робко понурившихся, кроме Милюкова, прочих коллег — принять предложение Корнилова о призывании верных войск 20 апреля (56), тоже мало бы что изменилось. (Ведь и без того Милюков «с л и ш к о м победил» — с известными печальными последствиями.) Гучков размышляет: «Сейчас — только новый военный переворот — уже против Совета — и был бы спасением революции.

Но министры — ни один, ни за что — не пойдут на это. Вот если б устроилось как-нибудь само собой, без них. Чтоб им ни за что не нести ответственности.

Как говорил Столыпин: я жажду ответственности!

Ergo, пришлось бы устранять и правительство. Сразу всех.

Да и на это бы Гучков пошёл, отчего же? Но не только болезнь его подкосила, — Армия! Если так пойдёт — через 3-4 недели ее вообще не будет» (112). Но коли так чётко (и верно) видишь угрозу, не отступать надо, не предлагать коллегам общий уход (разумеется, благородный, но никак не противодействующий энтропии), а наступать. Ведь именно об этом «спустя много лет, в эмиграции, пошутил Милюков Гучкову: “В одном только я вас, Александр Иванович, виню: что вы тогда не арестовали нас всех, министров, вместо того чтобы подавать в отставку”» (131). Кажется, всё — просто, а «новый заговор» не может сложиться (как, впро-

чем, не составлялся «старый» осенью Шестнадцатого, зимой Семнадцатого), хотя думает о необходимости жёстких действий не один Гучков⁷.

Ну а если б удалось Воротынцеву слетать к Гучкову «стрелой» и пробудить его к прежней активности, как предлагается в разговоре с Марковым (111)? Если бы Гучков всё-таки арестовал Совет вкупе с львовским правительством? Дальше-то что? Даже «близкого Сергея Маркова» Воротынцеву очень трудно убедить, что мир надо заключать во что бы то ни стало. Как не мог он объяснить губительности войны Свечину ни при её начале, ни в разгаре, при подступании революции (А-14: 81; О-16: 38, 39). Марков не холодный службист, как Свечин, он человек вдумчивый, готовый обсуждать рискованные (на грани государственной измены) предложения, в конце концов он даже проникается идеями Воротынцева, но его первоначальные возражения (не только о неотменимом принципе чести, но и о предполагаемых действиях союзников, о возможности замирения Антанты с Центральными державами и их совместном выступлении против России) никак не легковесны: «И сабля остра — но и шея толста. Как, правда, всё предвидеть?

Но хоть бы и сто раз был прав Марков, а я бы не нашел аргументов, — а всё равно из войны надо выходить, выходить, выходить» (111).

Только понимает это один Воротынцев. Солженицын и одарил своей заветной исторической идеей (Россию надорвало и низвергло в хаос революции участие в Первой мировой войне, сепаратный мир мог бы её спасти) вымышленного персонажа, потому что не видел её серьезного приверженца среди действовавших в 1910-е годы политиков. В том и трагедия России 1917 года, что любое выправление частных ошибок подразумевает продолжение ставшей ненавистной народу войны и требующую новых и новых жертв борьбу за победу. Остановить войну действительно крайне трудно — и практически, и морально-психологически. Противостояние Гучкова и Миллюкова Совету завязано на их «оборончестве» (ко-

⁷ Так Воротынцев замысливает тайный «твердый союз военных людей», который смог бы вывести страну одновременно «и из войны, и из революции <...> Кто же бы? кто бы стал во главе?

Алексеев? Нет. Нет, не решится никогда.

Гурко! — несомненно, вот кто может возглавить! Острый, мгновенный, крутой!

Надо поехать к нему — и предложить откровенно» (23). Будто расслышав призывы полковника, в следующей главе рефлектирует славный генерал, новый Главнокомандующий Западного фронта, уже наглядевшийся и на творцов революции, и на разгул фронтового съезда: «И вот в такой ничтожности — состояло его призвание сыграть роль спасителя России?

Упускал он какое-то большее движение? решительней?

Но — какое?» (24).

«Нужна диктатура.

Всероссийская.

Да откуда ее теперь взять?» (77) — безответно спрашивает себя адмирал Колчак.

торое противники именуют «империализмом»); петроградское население, поддержавшее Временное правительство в дни апрельского кризиса, выходит на улицы с провоенными лозунгами; мы не можем не сочувствовать солдатам и офицерам, прошедшим войну и возмущённым «пацифистскими» призывами ленинцев (см. в особенности главу о демонстрации инвалидов, которую стремятся сорвать большевики, оскорбляя увечных, грозя им физической расправой и прямо пуская в ход руки — 27). У Маркова есть основания мрачно шутить о «ловушечном положении»: «Да в какую компанию вы попадаете и меня тянете? Вместе с Лениным?» (111).

Эта — до конца очень мало кем осознаваемая — безвыходность и лишает воли тех, кто должен принимать решения. Положение столь запутано, проход между равно опасными «пораженчеством» и «оборончеством» столь узок, что действовать могут лишь те, кто либо не способен сколько-нибудь трезво оценивать происходящее, либо безоглядно ставят свою «идею» (полное разрушение «старого мира» и овладение опустевшим пространством, на месте которого должно возникнуть царство справедливости) выше любой исторической (человеческой) реальности, а потому не знают жалости вовсе. О последних — Ленине и его приспешниках — речь пойдёт позднее, пока же обратим внимание на тех, кто справляет свой короткий праздник в апреле.

Их немного. Ибо для того, чтобы с оптимизмом воспринимать весенние события и рваться об эту пору наверх, необходим совершенно особый склад, так сказать, резко повышенная душевная близорукость.

Продвигаясь по тексту Четвёртого Узла, мы постепенно понимаем, почему при отмеченной уже (подчеркнутой Солженицыным) сцепленности апрельских событий с мартовскими (та же суета и слепота, то же непрерывное речеговорение, то же хаотическое движение толп и прихотливые, но наивные расчеты политиков разного калибра) мир незаметно изменился — не количественно, а качественно. На то, что «скачок», обсуждавшийся в давней беседе Варсонофьева с уходящими на войну мальчиками (А-14: 42) и вспомненный при визите к нему Ксеньи и Сани (180), уже произошёл, отчетливо указывает композиция «Красного Колеса»: «Апрель Семнадцатого» включен не в Первое действие («Революция»), но во Второе («Народоправство»). Как в «Августе Четырнадцатого» революция «уже пришла» (хотя факт этот констатирован Нечволодовым только во Втором Узле — О-16: 68), так в «Апреле...» она уже победила⁸. И закончилась. Атмосфера стала другой.

⁸ То, что в последней главе «Апреля...» мы застаем Воротынцева на том самом могилевском Валу, где он беседовал с Нечволодовым, заметить нетрудно, тем более что автор сам напоминает о разговоре из «Октября Шестнадцатого»: «Вот тут, позади близко, за этими деревьями, впечатывал Нечволодов: революция уже пришла! <...> Тогда — не хотелось поверить» (186). Укажу еще одну значимую параллель к этому эпизоду. Нечволодов втолковывает Воротынцеву: «Россией по внешности управляет еще как будто Государь. А на самом деле давно

Март был ложным и обольщающим праздником, когда бесовский разгул виделся истинно свободным весельем (мотив ложной Пасхи подробно рассмотрен в сопроводительной статье к Третьему Узлу), возникающие по ходу дела страхи и трудности казались легко преодолеваемыми, а настоящее и тем более будущее — прекрасным. В марте, разумеется, никакой единящей любви не было (куда там, когда льётся кровь, идут бессудные аресты, рушатся привычные устои, вершатся кощунства), но зачарованные «свободой» люди (от ведущих политиков до обывателей) верили, что если не сегодня, то завтра эта самая единящая всех любовь восторжествует. В апреле доминируют взаимное раздражённое недоверие (на самом что ни на есть бытовом уровне: прислуга недовольна господами, господа — прислугой; и так всюду — на заводах, в деревне, в армии, в высших политических сферах) и плохо подавляемая тревога о будущем.

Истинный праздник теряется в общей колготе. Даже для глубоко верующей Веры Воротынцевой пасхальные переживания (соотнесённые с её тяжёлым выбором — отказом от соединения с женатым возлюбленным) сплавляются с впечатлениями от прошедшего на Страстной неделе иного праздника — кадетского съезда, куда Вера получила гостевой билет. В той же — одной из первых, а потому задающей тон повествованию — главе читаем: «Уже ворчали ответственные люди и газеты, что слишком много времени потеряно после революции, теперь ещё эта Пасха не вовремя, сбивает темп, необходимый повсюду, и “Речь” призвала сограждан самим сокращать себе неуместный сейчас праздник» (2). Праздник столь неуместен, что может оказаться забытым, а напомнив о себе — устроить: «И как-то ночью совсем замученных Чхеидзе, Дана и Гиммера развозил по квартирам автомобиль — и вдруг все разом увидели, и все трое испугались: шла большая ночная толпа, и у всех зажжённые свечи, и все поют! Что ещё за демонстрация? — ИК не назначал её, и не был информирован, чего они хотят?? А шофёр сказал: да Пасха завтра. Ах, Па-асха... Ну, совсем из головы»⁹.

уже — левая саранча» (О-16: 68). В «Апреле...» профессиональный революционер Ободовский говорит жене: «Самое страшное, Нуся, даже не эти социалисты из Исполнительного Комитета. Они — саранча, да. Но за эти два месяца — и весь наш рабочий класс... И весь народ наш... показал себя тоже саранчой» (114).

⁹ В общем, социалисты испугались правильно. Крестный ход, на который пока ещё не требуется испрашивать дозволения у власть предержащих, который еще пока привычен и не подвергается поношениям, действительно противостоит измучившему вождей Совета безумию. Движущийся, как должно, по ночному городу крестный ход должен напомнить и о таинственном, словно без людей творящемся, богослужении, которое замечает и минует спешащий к телеграфу Воротынцев (О-16: 74), и о службе с выносом Креста Господня, на которой молятся Вера Воротынцева и няня (М-17: 430), и о сне Варсонофьева о запечатлении церкви (М-17: 640).

Но и новый — навязанный победителями — неурочный праздник радости не приносит. «Интернациональное 1-е мая» Совет указал «праздновать по новому стилю <...>, чтобы в один день со всем Западом (хотя и в этом году на Западе его не праздновали, воюя по-серьёзному)». Глава, посвященная петроградским торжествам, открывается рассказом о тревогах Милюкова (первые слухи о его возможной отставке, транжирство правительства, резко обострившиеся национальные вопросы — «требования автономии разносятся как эпидемия!») и продолжается историей борьбы за роковую ноту (которая и будет помечена «праздничным» днём). «18-го погода была совсем не праздничная — серое небо, резкий пронзительный ветер, ни весна, ни зима». Вести, доходящие до оставшегося дома Милюкова, скорее приятны: «порядок идеальный: колонны послушно маневрируют, пересекаются, отступают, идут параллельно, ни одного несчастного случая», речи звучат всякие, но «против Ленина многие резко говорят, об остальном — миролюбиво». Правда, идут «отдельно украинцы, поляки, литовцы, белорусы. У всех свои хоры. (Опять, опять разделяются по нациям, это тревожно.)» Приободренный рассказами Милюков отправляется в город и, будучи человеком здравомыслящим, быстро начинает догадываться, что идиллией и не пахнет. «После схода снега никем не поправленные петербургские мостовые — сплошь в ухабах <...>

А поют плохо — нет ни своих песен, ни гимнов. Несут красные флаги — а поют пошленькую песенку немецких гусаров <...>

Юнкера. И что же несут? “В борьбе обретёшь ты право своё” и “Пролетарии всех стран соединяйтесь”. Ну, навоюем мы с такими юнкерами». Министр фиксирует и отрадные моменты, да и всегда была присуща Милюкову некоторая брюзгливость, но кособокость, болезненность, вывихнутость праздника на один только дурной характер воспринимающего не спишешь, она явственно ощущается ещё до того, как толпа солдат останавливает автомобиль. «Недружелюбно кричали:

— Милюков!.. Вот он!.. Попался!»

Столкновение, из которого министр выйдет достойно, — предвестье близящихся кризисных дней, когда Милюков, сумевший, кроме прочего, уверенно говорить с толпой, тоже — как при первомайской уличной стычке — окажется победителем. И тоже — формальным. Именно в праздник обнаруживается будущее жёсткое противостояние: «...маленький юркий штатский с грузовика, не смущаясь, сразу взялся за речь:

— Буду говорить о министрах. Двенадцать министров — как двенадцать апостолов. Но среди них же есть Иуда.

Милюков охолодел.

— ...Кадеты говорят, нам некем заменить их? Но мы из народной среды наберём двенадцать...

Так похолодел, что не слышал его речи дальше» (36). Хотя был Милюков, как сказано и показано чуть выше и будет еще нагляднее представлено в дни кризиса, «десятка неробкого».

Тут важен не испуг за себя здесь и сейчас, а промелькнувшее (прямо даже не названное, но явное читателю) в сознании министра предчувствие будущих потрясений. Понятно, что первомайский Петроград оскорбляет и утрачивает и без того удручённую Андозерскую: «Кажется — мирные улицы, уже отошедшая революция, сплошной радостный праздник.

А — страшно» (39). Ольга — убежденная монархистка; она никогда не ждала от революции ничего хорошего. Новизна ситуации в том, что холодеют давно презираемый идейный противник Андозерской¹⁰ и другие энтузиасты февраля. Так, дурные предчувствия испытывает Сусанна Корзнер, наблюдая первомайские торжества в Москве: «Руфь — нашла во всём много ободряющего. А Сусанна Иосифовна ответила, не отрывая глаз от шествия», начальным четверостишием брюсовских «Грядущих гуннов» (93). Стихи эти в устах Сусанны читатель должен соотнести как с декламацией младшей «дамы-активистки» на вечере у Шингарёва волошинского «Ангела Мщенья» (О-16: 26)¹¹, так и с раздумьями вслух, которыми Струве делится с Шингарёвым в последний

¹⁰ Антагонизм Андозерской и Милокова обозначен как сюжетно, так и её прямыми аттестациями кадетского лидера. Воротынцев впервые видит Ольду у Шингарёва, куда пришёл, чтобы познакомиться с ведущими кадетами. Гости Шингарёва ждут Милокова, который в тот вечер так и не появляется. Как — тоже вопреки ожиданиям гостей Шингарёва — не начинается в тот вечер и революция (О-16: 20-26). Андозерская буквально оттесняет Милокова от Воротынцева. Как и Гучкова, для встречи с которым Воротынцев приехал в Петроград. Диалог о кадетском лидере («Скажи, а Милоков — действительно крупный историк? — Да какой там, — недовольно отвечала Ольга») близко соседствует с промелькнувшей мыслью Воротынцева: «...все эти счастливые (проведенные с Ольдой. — А. Н.) дни уже попали в новый месяц. А Гучкова — упустил» (О-16: 29). Не только Воротынцев, но и читатель воспринимает знаменитую думскую первоапрельскую речь Милокова о «глупости или измене» правительства (О-16: 65'), будучи подготовлен противомилоковскими суждениями Андозерской. Закрывающее эту главу авторское утверждение «Но если под основание трона вместили глину измены, а молния не ударяет, — то трон уже и поплыл» (О-16: 65') естественно соотносится с запомнившимися Воротынцеву словами Ольды: «Трон — только тронь» (О-16: 28). Заставляя нас увидеть первомайскую демонстрацию в Петрограде глазами как Милокова, так и Андозерской (получаем мы неожиданно схожие картины), Солженицын еще раз напоминает о заочном споре этих персонажей, актуализирует «предсказывающие» эпизоды предшествующих «Апрель...» Узлов.

¹¹ Под проборматывание этой дамой стихов Волошина идет весь эпизод ожидания. При этом пламенная революционерка не понимает, сколь далека ее жажда возмездия от ужаса, владеющего поэтом. В финале «Ангела Мщенья» читаем: «Не сеятель сберет колючий колос сева. / Принявший меч погибнет от меча. / Кто раз испил хмельной отравы гнева, / Тот станет палачом иль жертвой палача». Что и открывается Сусанне (женщине примерно того же круга) на первомайской демонстрации. Отметим, что, как и петроградский, московский революционный праздник ассоциативно связан с вечером у Шингарёва.

предреволюционный день на Троицком мосту: «...И перед своим великим прошлым — мы обязаны. А иначе... Иначе это не свобода будет, а нашествие гуннов на русскую культуру» (М-17: 44). Первой в первопрестольной стóит первая на Неве: «А может быть, все эти демонстрации кажутся страшными только с непривычки?

Да нет, вот и Леонид Андреев, а ведь он чуткий. О петроградской демонстрации, которой все так восхищались, напечатал: «Невесел был наш первый свободный праздник...» (93). Не менее Леонида Андреева чутка сама Сусанна. Вспомним ее темпераментное — и искреннее! — «оборончество» в «Октябре...» и национально окрашенный восторг от революции в «Марте...». Сусанна по-женски улавливает то, что игнорируют (тревожась, но стремясь заглушить опасения интеллектуальным конструированием) её муж и гости Корзнеров, Мандельштам и Игельзон, во второй (постпервомайской) части той же главы. Сусанна угадывает злой смысл весёлых праздничных лозунгов вроде «долой рабство домашней прислуги». (Ниже говорится о неурядицах в быту Корзнеров — возможном уходе безупречной, но «отсталой» горничной, для которой весь охваченный революцией город «стал безбожным», и растущей наглости никуда не собирающейся уходить и умеющей постоять за свои права кухарки.) «А у подростков — “подростки Москвы, объединяйтесь”. (Ох, не будет ли от этого битых стёкол...) Шествие дворников несло впереди метлу, повязанную красными лентами. (Видно, что она останется без употребления.)». Сусанна, при всех её увлечениях и заблуждениях, нутром ощущает то, что прямо формулирует на обеде у Корзнеров старый адвокат Шрейдер: «Где закон и порядок — вот там воздух еврея». Потому уличные и бытовые впечатления Сусанны и приводят её к печальному выводу, до которого не может додуматься пусть и «похолодевший» от первомайских митингов Милюков: «По-моему... боюсь сказать... будет жестокая гражданская война» (93). Еврейская огласовка эпизода не отменяет его наднационального, общего, смысла: обычные люди порядка могут соблазниться революцией, но не могут переносить дикого народоправства, безвластия, прикидывающегося «творчеством масс», разгула, бездарно выдающего себя за праздник. «Сусанне приходилось выдвигать западные масленичные карнавалы. И сегодняшнее чем-то походило на те — что все были как будто ряженые, что ли, не сами собой?» (93). Недоумения героини, колебания её оценки (то, да не то) указывают не только на сходство, но и на отличие. На карнавале и положено играть, надевать личины, нарушать порядок, там это не смущает. Там, кроме прочего, торжественно демонстрируют произведённые товары и продукты (следствия ненавистного союза «труда» и «капитала») ¹² — здесь эмблематичная метла отбрасывает своё прямое назначение; там праздник — продолжение упорядоченных и достойных

¹² Напомню, что швейцарские карнавалы вызывают пароксизм ярости у Леонида, верно видящего их «буржуазную» суть (М-17: 338).

будней, здесь — их подмена, уже не эйфорическая (как в феврале-марте), а навязанная, принуждающая к веселью, зримо (для обычных людей — потому и нужно дать первой глазами Сусанны) зловещая.

Этот карнавал по-настоящему радостен только для «карнавального короля», роль которого упоённо играет Керенский. Если комбинации прочих политических игроков разваливаются, то Керенский в апрельские дни уверенно идёт вверх. Ему по-прежнему удаётся лавировать между Временным правительством и Исполнительным Комитетом, он элегантно предаёт любых союзников, набирает всё большую популярность, выдаёт великое множество распоряжений, провоцирует правительственный кризис, расчётливо исчезает со сцены в опасные дни противоборства демонстраций, извлекает пользу из любого конфликта и в конце концов достигает поставленной ещё в марте цели — становится военным и морским министром. Жажда власти у Керенского неотделима от стремления привлекать и покорять сердца, простодушного упоения собой (и веры в произносимые им слова), хлестаковской лёгкости и своеобразного артистизма: он даёт спектакли на заседаниях правительства, совещаниях, митингах, приёмах, парадах — буквально всегда и везде. Мотивы вездесущести, «пластичности», актёрского обаяния Керенского были выразительно проведены уже в «Марте...», но там он был одним из «соблазнившихся соблазнитель». В «Апреле...» он остаётся единственным не знающим тревог и сомнений персонажем.

Терещенко и Некрасов обрисованы Солженицыным в первую очередь как союзники Керенского, если не его ассистенты. Что отчасти превращает их в пародийных двойников пародийного «революционного вождя». В определённой мере дублирует Керенского и его старший соперник Чернов, тщетно пытающийся перещеголять выскочку и остро ему завидующий. «Выступали (на съезде крестьянских депутатов, который Чернов намеревался покорить блестящей речью. — А. Н.) приехавшие из эмиграции и здешние социалисты, длинная была череда. Чернов сидел в президиуме, недовольный их жалкими речами (так и Керенский презирает всех своих «партнёров». — А. Н.), да недовольный и собой. Успех Керенского ранил его. Хотя тот произнёс дважды комплимент о “старых учителях”, но это было пустое расшаркивание — а на самом деле Керенский, упиваясь, летел на крыльях почитания этого зала, и всех залов, и всей слушающей России, это приходится заметить». Мы же заметим, что Чернов (как и Керенский) бессознательно отождествляет вмешующие ораторам залы и Россию (*не слушающей* как бы и нет во-все). Для обоих политика — это риторика (и только риторика). Потому и печалится проигравший в ораторском состязании Чернов: «И вот — сегодняшняя речь Чернова вовсе смазана Керенским. А именно здесь, как нигде в другом месте, перед лицом российского крестьянства место единственного вождя было за Черновым. Он должен был отечески направлять российское крестьянство, пренебрежённое социал-демократами, — то было его *profession de foi!*» «Литературность» Чернова (не только его речи, но и всего поведения, и его политической стратегии)

примечает на съезде коллега по реформированному правительству: «Литературный, конечно, был и Пешехонов, но воспитан на зорком Глебе Успенском, на его книгах — “Земельные нужды деревни”, “Хлеб, свет и свобода”, а Чернов — на красных крыльях Интернационала и Циммервальда, — и как вот он сейчас практически вывернется с землёй?» Да так же, как «военмор» с армией. И когда разобитый на Керенского Чернов прикидывает, как он под видом ответов на вопросы выдаст речь-реванш, старый эсер опять почти дублирует переплюнувшего его «мальчишку» — как и Керенский, он думает лишь о том, как выигрышнее себя подать. Потому и итожащая главу пословица — *«ИГРАЙ, ДУДКА, ПЛЯШИ ДУРЕНЬ!»* (178) — указывает не только на Чернова, но и на его самозваного ученика.

На «великом международном пролетарском празднике» Керенский «великолепно» дирижирует «Марсельезой» и «Интернационалом» (38). Последняя глава, в которой появляется Керенский, посвящена первому рабочему дню нового — получившего уже и официальное назначение — военного и морского министра, облетающего «все-все запасные батальоны Петрограда». «Ничего нет в мире могущественнее Слова! Слово — это всё! Если вложить всю силу нашего сердца, всю нашу горячую веру — неужели мы не увлечём доверчивого русского воина? Ещё сегодня приходится смотреть на многие беспорядки сквозь пальцы, — но Словом мы всё восстановим!» Внутренний монолог переходит в очердную речь, финал которой оказывается пророческим — сквозь «великолепные» фразы Керенского проступает иной, не входящий в намерения персонажа, но внятный автору (и читателю) смысл: «Россия сейчас засеивается семенами равенства, свободы и братства — и я уверен, что этой осенью мы соберём обильную жатву» (182). Соберут — точно по «Ангелу Мшценья».

Урожай достанется Ленину и Троцкому. О Ленине Керенский размышляет вскоре после того, как тот с «ненужным грохотом <...> прокатил через Германию — а зачем? Только подрвал свой авторитет в массах». Керенский успокаивает себя (как успокаивает себя, а не только публику Чернов в рассудительной статье об «однолинейном», фанатичном, «преданном революционному делу», но никак не опасном и даже смешном Ленине, как успокаивают себя, ухватившись за «комизм» Ленина другие социалисты¹³). И в то же время Керенский слово благодарит Ленина за то, что при обсуждении вопроса о реэмигрантах удалось нанести удар Милюкову, пытавшемуся не пустить ра-

¹³ В отличие от социалистов, Андозерская быстро понимает, каково истинное значение Ленина. «Всё было до того карикатурно-мерзко, что когда вдруг появился Ленин и с балкона Кшесинской засвистел Соловьём-разбойником, этим свистом срывая фиговые листочки и с самого Исполнительного Комитета, — так хоть дохнуло чем-то грозно-настоящим; это, по крайней мере, не была карикатура, и не ползанье на брюхе. Это был — нескрываемо обнажённый кинжал. Ленин каждую мысль прямолинейно вёл на смерть России <...>

дикальных революционеров в Россию (Керенский отводит эти «потуги» министра иностранных дел не только из страха перед левым флангом демократии, но и дабы повысить собственную популярность). И надеется очаровать и просветить «фанатика», получить его признание («Да вот что: посетить бы самому Ленина там, в логове, разъяснить ему, — ведь он оторвался от России <...> около него нет никого, кто помог бы ему ориентироваться. Да как два выдающихся социалиста —

Нет, карикатурен был не Ленин, а сам Исполнительный Комитет: против Ленина он предлагал бороться только словом» (39). Но в мире, где слова девальвированы и опошлены (всеми говорюнами — от Родзянко до Керенского), а понятия о праве грубо нарушены, публицистика, как и юриспруденция, утрачивают всякий смысл. Что и демонстрируют Ленин и Козловский на шутовской репетиции судебного заседания по делу о захвате большевиками особняка Кшесинской. От изощренной игры словами и прежними юридическими нормами Козловский переходит к пародированию традиционной процедуры, а от него — к отрицанию самого суда как такового: «В разгар революции — кто думает о законности (известно кто — наслаждающийся ролью министра юстиции, грозного революционного прокурора Керенский. — А. Н.), когда сама революция по существовавшему к тому моменту законам является беззаконием, караемым смертной казнью? Революция и закон — понятия несовместимые! Да ваш сегодняшней суд, воспринявший свою власть от Временного правительства, тоже являлся судом беззаконным, если в духе законов царского времени! Да по тому старому закону и само Временное правительство подлежит виселице!!» (168). Вся главка оркестрирована знаменитым ленинским смехом, почти непрерывной «деталью» многочисленных образчиков «ленинианы», с помощью которой происходило «очеловечивание» основателя коммунистической партии и советского государства. У Солженицына победительно-циничный смех Ленина — знак бесчеловечности и презрения к любым «смыслам». Противники (да и сторонники) Ленина изумляются нелогичности его писаний и выступлений, в которых соседствуют противоречащие друг другу тезисы. Изумляются лёгкости, с которой Ленин меняет лозунги. Но это не промахи, а «открытия» вождя большевиков, убеждённого, что нахрап и апелляция к инстинктам сильнее способности суждения и памяти. «Как всегда: сила у того, кто нарушает общепринятые правила» (183). Даже ораторское мастерство и организаторские навыки тут менее значимы — Троцкий, который захвату власти послужит словом и делом больше, чем Ленин, принужден будет довольствоваться ролью «второго» (пока и её не отнимет у него — сперва во власти, потом и в переписанной надлежащим образом «истории» — настоящий ленинец, Сталин). Сила Ленина (тут ему и Троцкий уступает) — в той самой таранной однолинейности, в той самой оторванности от реальности, которая кажется смешной. Это понимает умная Андозерская, увидев и услышав «Соловья-разбойника» вьяве: «разочаровывающе мелкая фигура, картавость, безцветный, крикливый голос, — но ведь и Марат был не краше, а мысли на самом деле уже тем сильны, что за пределами повседневного разума, что предлагают опрокидывать и самое неизбежное» (39). Пройдет время, и ленинская «прямота», власть, жестокость много кому покажутся залогом спасения от засилья слов и разлива неправды, гарантией установления хоть какого-то порядка. Этот мощный соблазн в гражданскую войну (да и позднее) станет вторым важнейшим оружием большевиков, вторым — после их абсолютной (нескрываемой) безжалостности, замешанной на презрении к человеку и человечности.

разве они не нашли бы общего языка?» — и далее о том, что Ленин «в своей циммервальдской глубине прав», и о земляческих — по Симбирску — связях; Хлестакову не чужды мечтательные настроения Манилова). Но главное его чувство — подавленный (а всё же мерцающий) страх. «Но нет, постеснялся поехать <...> как бы не оскорбил публично, с него станет» (12). Этот страх, страх не только перед «демократической» братией, петроградской толпой, революционизировавшимися солдатами, но и перед самим Лениным, определит линию поведения Керенского после кризиса, когда он — министр юстиции — фактически сорвёт расследование случившихся преступлений. И страх этот, что никогда не отпустит Керенского (при всей самоослепленности своей, чующего ленинскую силу), принципиально отличается от тактической осторожности Ленина, с ходу принявшегося громить всех и вся, но до поры не трогающего министра юстиции: «Керенский — тоже русский Луи Блан, и опаснейший агент империалистической буржуазии, и классический образец измены делу революции, и балалайка — но по нему пока не бить: слишком популярен в массах» (15) — пассаж о Керенском дан в скобках: то ли Ленин этими соображениями не делится даже с ближайшими подручными, то ли акцентирует особую секретность сюжета. Пройдут без малого три недели, и Троцкий, обращаясь к Совету, второй заповедью революции назовёт «строжайший контроль над собственными вашими вождями» (184). Всеми вождями — без оговорки о Керенском. И хотя в тот раз (первый день Троцкого в России) Совет покорить ему не удалось, очень скоро его обжигающая риторика станет пьянить и подчинять революционные массы куда сильнее, чем слишком логичные, слишком красивые, слишком «культурные» речи Керенского. Силу ораторского дара Троцкого Солженицын даёт нам ощутить в посвящённых ему главах, сгруппированных в конце Четвёртого Узла (176, 179, 184), в контексте которых бессилие неиссякаемых речей Керенского и его грядущий проигрыш совершенно очевидны. Как устоять Керенскому с его рассиропленными ламентациями («И мы пойдём к новой цели железными батареями, скованными дисциплиной! Я зову вас к вере, без которой мёртв разум». — 182), если заговорил Троцкий, «содрогаясь сам от взрыва внутреннего снаряда:

— Бр-рошен факел революции в пор-роховой погреб капитализма!!
Наша революция открывает новую эпоху к р о в и ж е л е з а!»¹⁴.

¹⁴ Ораторский поединок Керенского и Троцкого завершает рассказ Бабеля «Линия и цвет» (1923). Здесь Керенский, с которым повествователь знакомится в декабре 1916 года в уютной финляндской санатории, наделен символической чертой: он близорук — и счастлив своей немочью. Когда повествователь советует Керенскому обзавестись очками, тот отвечает: «Мне не нужна ваша линия, низменная, как действительность <...> Зачем мне линии — когда у меня есть цвета? Весь мир для меня — гигантский театр, в котором я единственный зритель без билета. Оркестр играет вступление к третьему акту, сцена от меня далеко, как во

«Железом и кровью» объединял, как известно, Германию Бисмарк. Цитируя «железного канцлера», Троцкий вновь обнаруживает свои прогерманские настроения, что были подробно охарактеризованы Солженицыным выше — в вагонном споре Троцкого с доктором Федониным, возвращающимся из плена, где он познал бесчеловечность немецких порядков (176), и в биографической главе (179). Важно здесь, однако, не столько ещё одно указание на временный союз крайне левых и германских властей (Ленин уже убеждён, что в конце концов переиграет

сне, сердце моё раздувается от восторга, я вижу пурпурный бархат на Джульетте, лиловые шелка на Ромео и ни одной фальшивой бороды... И вы хотите ослепить меня очками за полтинник...» В следующий раз мы видим Керенского в июне 1917 года — верховный главнокомандующий выступает на митинге в Народном доме. «Александр Фёдорович произнес речь о России — матерн и жене. Толпа удушала его овчинами своих страстей. Что увидел в ошгетинившихся овчинах он — единственный зритель без бинокля? Не знаю... Но вслед за ним на трибуну взошел Троцкий, скривил губы и сказал голосом, не оставляющим надежды:

— Товарищи и братья!..».

Понятно, что Бабель восторгается Троцким, а Солженицына организатор октябрьского переворота ужасает, но совпадение антитезы «Керенский — Троцкий», «театрально-литературная» трактовка Керенского и общность мотива слепоты, весьма значимого для «Красного Колеса», кажутся достойными внимания. Именно (и только) в обрисовке Керенского Солженицын внешне сходится с советскими мастерами искусств, разрабатывавшими «революционную тему»: от авторов забытых опусов до Бабеля, Зощенко («Бесславный конец», 1937) и Маяковского (3-я глава поэмы «Хорошо!», 1927). Последний случай особенно выразителен; важно, что «октябрьская поэма» входила в официальный канон, изучалась в школе, и потому большая часть выросших при советской власти читателей Солженицына хотя бы смутно помнила (помнит) строки Маяковского: «Царям/ дворец/ построил Растрелли. // Цари рождались,/ жили,/ старели. // Дворец/ не думал/ о вертлявом постреле, // не гадал,/ что в кровати,/ царицам вверенной, // раскинется/ какой-то/ присяжный поверенный. // От орлов,/ от власти,/ одеял/ и кружевца // голова/ присяжного поверенного/ кружится». Сравним: «Где же забыться, если даже не на концерте? Минутами: о, где же забыться?..

В Зимнем дворце?..

Ах, как он полюбил Зимний дворец! Что-то есть покоряющее в его величественных залах, в его переходах, лестницах, в его отдельном стоянии между площадью и Невой. Александру Фёдоровичу постепенно стало казаться, будто ему и прежде в его петербургской жизни казалось, что его судьба — непременно пересечется с этим дворцом, и с императором... И вот — сбывалось. С императором уже пересеклась (имеются в виду два апрельских посещения Керенским Царского села и его разговоры с находящимся под арестом императором, которого очарованный министр юстиции «называл не “Николай Александрович”, а “государь”, а раза два и “ваше величество” — как почти никто после отречения — 12; ср. у Маяковского: «Их величество? / Знаю. / Ну да! // И руку жал. / Какая ерунда!» — А. Н.), а во дворце, если он станет премьер-министром — а он станет, он, видимо, станет, князь Львов не фигура для революционной России, — перенесёт он в этот дворец свою резиденцию и переведет правительство» (38). «Дворцовый» сюжет Керенского Солженицын пунктирно проводит в конспектах Узла Пя-

немцев. — 15), сколько глубинное содержание мысли Троцкого, готово строить невиданными способами невиданное государство.

Для становления тоталитаризма равно необходимы революционный беспредел и «железная» организация, одинаково брезгующие отдельным человеком и от веку сущими ценностями, в первую очередь — различием добра и зла. (Потому и формулирует Троцкий — в полном согласии с Лениным: «Да никуда не годился бы тот революционер, который не стремился бы поставить на службу своей программе — государ-

того («Июнь — Июль Семнадцатого»): «В<ременное>П<равительство> готовится переехать в Зимний дворец. (В Петрограде слух, что Керенский, разведясь с женой, намерен жениться на одной из царских дочерей.)» и Узла Шестого («Август Семнадцатого»): «(Теперь при каждой его (министра-председателя Керенского. — А. Н.) отлучке из Зимнего — над дворцом красный флаг опускается, как в былое время императорский)». Вспоминаются при чтении «Апреля...» и следующие за процитированными строки Маяковского: «Забывши / и классы / и партии, // идет / на дежурную речь. // Глаза / у него / бонапартьи // и цвета / защитного / френч. // Слова и слова. / Огнесловная лава. // Болтает / сорокой радостной. // Он сам / опьянен / своею славой // пьяней, / чем сорокоградусной».

Важна близость не фактов (материал поставляет история), но иронично-презрительных интонаций. Солженицын целенаправленно избегает «одноцветности» при обрисовке исторических персонажей, наделяя и самых неприятных ему политических деятелей теми или иными привлекательными чертами. Даже Милюков в «Апреле...» обнаруживает человеческое достоинство и масштабность государственного мышления. Даже о Троцком доктор Федонин думает: «В нём было-таки что-то обольстительное, притягательное, невольно хотелось согласиться с ним, поддаться ему. Да вот что: если б не эти его громовые отсекающие фразы, в другие минуты их разговора — это был вполне понятный, интеллигентный человек, притом незаурядно острый, очень интересно с ним говорить» (176). Даже Ленин в «Марте Семнадцатого» по-человечески мучается от головной боли и тоскует по Инессе Арманд. (Что уж говорить о Шляпникове? Несмотря на принадлежность ленинской партии, обуславливающую его энергичную разрушительную деятельность, в «Красном Колесе» он предстает живым и ярким человеком, симпатии к которому автор не думает скрывать.) На таком фоне Керенский смотрится сознательно сделанным исключением. Кажется ни один персонаж «Красного Колеса» не обрисован столь гротескно и столь безжалостно. (В какой-то мере этот подход применен к Стеклову, Чернову, Гиммеру, но всё же не столь форсированно; да и места им уделено гораздо меньше. Вероятно, не нашлось бы у Солженицына «утепляющих» тонов и для Сталина, если б были прописаны те Узлы, в которых будущий генсек выходит из тени. Тут полезно вспомнить «Этюд о великой жизни» и прочие сталинские главы романа «В круге первом».) Читая посвященные Керенскому главы «Красного колеса», невольно вспоминаешь признание Алексея Турбина: «А из всех социалистов больше всех ненавижу Александра Федоровича Керенского». Думается, Солженицына вело именно это чувство, присущее очень многим современникам любимого (наделенного автобиографическими чертами) булгаковского героя. Рисуя Керенского, Солженицын словно бы договаривал за автора «Белой гвардии» и его поколенческо-культурный круг. И тут его не могли смутить совпадения с советскими сочинителями.

ственный аппарат принуждения». — 176. Потому и готов он брать уроки у той державы, что этот аппарат наилучшим образом наладила.) Истоки «звериной» и «машинной» неправд XX века в войне «нового типа», стимулировавшей и личную жестокость, и жестокость организованную, государственную. Сделав собеседником Троцкого бывшего военнопленного, Солженицын обращает читателя к Первому Узлу, где мы видим Федонина в Найдебургском госпитале (А-14: 15, 34) и где предсказана горькая участь русских солдат и офицеров, на которых впервые ставится опыт, вошедший в обиход XX столетия: вот как завершается экранная глава о сдаче в плен:

«= Новинка! как содержать столько людей
в голом поле, и чтоб не разбежались!
А куда ж их девать?

= Новинка! кон-цен-тра-ционный лагерь!» (А-14: 58).

Важно, что Федонин — врач, то есть представитель самой человеческой профессии, тот, кому назначено бороться за жизнь других и облегчать их страдания. Не менее важно, что при первом своем появлении Федонин спорит с социалистом — Сашей Ленартовичем, уверенным, что «частные случаи так называемого милосердия только затемняют и отдалают общее решение вопроса <...> К страданиям рабочих и крестьян пусть добавляются страдания раненых. Безобразия в деле раненых — тоже хорошо. Ближе конец. Чем хуже, тем лучше!» (А-14:15). Разговор с Троцким — на новом, еще более страшном витке — повторяет спор в Найденбурге. (Сделав Федонина врачом, Солженицын, кроме прочего, ставит его в один ряд с двумя докторами, которым выпала участь пройти сквозь Первую мировую и Гражданскую войны, — Алексеем Турбиным и Юрием Живаго; напомним здесь о спорах Живаго со Стрельниковым и Ливерием Микულიцыным.) Сопрягая в «федонинской» главе Первый и Четвёртый Узлы, начало и конец «повествовань в отмеренных сроках», Солженицын вновь говорит о том, что общеевропейская катастрофа пришла со срывом великих держав в большую войну. Не менее существен здесь заход в лагерное будущее. «Тридцать два месяца, даже и с лишним, девяносто восемьдесят дней пробыл доктор Федонин в германском плену. А с нынешней возвратной дорогой стало 994, чуть не до тысячи. Из 32 лет жизни — 32 месяца в плену, из каждого года жизни вырвано по месяцу» (176). Зачин этой главы, строящийся на повторе и насыщении отвлеченно звучащих числительных конкретным, осязаемо тяжким смыслом, естественно ассоциируется с финалом рассказа, которым Солженицын вошел в литературу (даже печальные уточнения повторяются): «Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три.

Из-за високосных годов — три дня лишних набавлялось...» Так доктор Федонин обретает ещё одного литературного родственника — Ивана Денисовича Шухова. Не случайно Троцкий в этом же разговоре объяснит ему, что ждёт русского мужика: «Они поймут, когда по ним пройдут калёным утюгом.

И, видя, как Федонин отшатнулся (то же изумление, что при, наверно, забытых уже героем чеканных репликах Ленартовича. — А. Н.), ещё утвердил:

— Да, в школе великих исторических потрясений надо уметь учиться. А по слабым — жизнь бьёт!» (176).

По Троцкому она тоже ещё как ударит. И это в тексте Солженицына можно расслышать. Ошибочно Троцкий пророчествует: «Всё будет решать не голос партий, а голос классов» (176). Скоро придётся ему признать силу главного партийного организатора и примкнуть к его партии. Позднее эта самая партия (жестко подчиненная новому «бесцветному» вождю, чья неприметность в «Марте...» и «Апреле...» не только исторически мотивированна, но и художественно значима) разберётся со сделавшим дело мавром. И потому на внутренний монолог Троцкого, склоняющегося к союзу с Лениным, ложится густая тень иронии автора, знающего, какой урок преподнесёт зловеще блестящему персонажу истории. «Революция — это смирительная рубашка на противящееся меньшинство.

И уже сегодня проступает её стальной шаг» (181). Керенского Троцкий по степени «железности» легко превзойдёт, но шаг-то у истории — «стальной», сталинский¹⁵.

Но Троцкий (и в этом он близок Керенскому) слишком захвачен собой, чтобы такое предчувствовать. Он убеждён, что действует заодно с историей и смело глядит в близкое будущее. «И русская революция — не закончена и сегодня <...> У этой революции будет вторая стадия, и пролетариат возьмёт власть и установит свою диктатуру <...> Россия у ж е перешагнула через формальную демократию, она нам не нужна», — внушает Троцкий Федонину (176), а позже для себя формулирует: «Апрельские уличные схватки — уже были репетицией будущих боёв. Расщеплённость власти сегодня — предвещает неизбежность гражданской войны. Желанной войны! И надо быть готовыми к любому подвигу в ней. И к любой твёрдости.

Революционные правительства тем великодушнее, чем мельче их программа. И наоборот: чем грандиозней у них задачи — тем обнажёней диктатура. И только так движется История. Марат потому и оклеветан, что чувствовал жестокую изнанку переворотов» (181).

Фрагмент насыщен отсылками к уже знакомым читателям эпизодам. Мысль о превращении войны в гражданскую вспыхивает у Ленина на вокзале в Кракове, после того как он распознаёт в колесе паровоза «красное колесо» (А-14: 22). О Марате вспоминает, увидев Ленина, Андозерская (39). Гильотину и «калёный утюг», что вразумит мужичьё, сла-

¹⁵ Как тут не вспомнить вновь «Один день Ивана Денисовича», рассказ бригадира Тюрина о том, как, узнав о расстреле комполка и комиссара, которые в 1930-м году выкинули его, кулацкого сына, из армии, сказал он перекрестившись: «Все ж есть Ты, Создатель на небе. Долго терпишь, да больно бьешь».

вит Троцкий в вагонном разговоре, прежде насмешливо высказавшись о кадетах и их лидере, «прозаическом сером клерке» Милюкове: «На вопросах о земле и войне кадеты свернут себе шею. Их зависимость от старого правящего класса давно торчит как пружина из старого дивана. Да Победоносцев понимал народную жизнь трезвей и глубже их. Он понимал, что если ослабить гайки, то всю крышку сорвёт целиком» (176)¹⁶.

Эти «классовые» антикадетские тезисы, вкупе с позднейшими, цитированными выше (о «мелкости» великодушия и грандиозности желанной диктатуры), обращают нас к явленному ранее примечательному разговору, в котором ни один из собеседников в принципе не может понять другого. «В перерыве заседаний Контактной комиссии сказал Гиммер Милюкову: “Революция развернулась так широко, как хотели мы и не хотели вы. Закрепить политическую диктатуру капитала вам не удалось. У вас нет — нет реальной силы против демократии, и армия к вам не пойдёт”. А Милюков с совершенно искренней печалью на лице возразил: “Да разве можно так ставить вопрос! Армия должна не идти к нам, а сражаться на фронте. Неужели же вы в самом деле думаете, что мы ведём какую-то буржуазную классовую политику? Мы просто стараемся, чтобы всё не расплозлось окончательно”. И Гиммер был поражён: вот так номер, Милюков, кажется искренно, *не знает*, что ведёт классовую политику! — и это глава русского империализма, вдохновитель Мировой войны!» (6). О том же говорит на заседании четырех Дум Родичев: «Та партия, к которой я принадлежу, всегда стояла выше классовых интересов и не считается с ними в настоящую минуту...» И автор, выговоривший столько жестких укоризн партии народной свободы, её лидеру, её патентованному златоусту (некогда оскорбившему Столыпина), тут же комментирует эту тираду с неподдельным сочувствием: «И прав-

¹⁶ Ещё одно свидетельство глубинной тяги революционеров к диктатуре. Как монархистка Андозерская угадывает в «смешном» Ленине носителя силы и признаёт, что он серьезнее ненавистных, оскорбительно смешных болтунов (хоть кадетов, хоть социалистов), так поджигатель порохового погреба (мирового пожара) отдаёт своеобразную дань уважения «ледяному» государственнику. (Разумеется, речь здесь идёт больше о весьма влиятельном «мифе Победоносцева», чем о практической деятельности этого политика.) Железная квазигосударственность большевиков в пору Гражданской войны и позднее станет мощнейшим соблазном для многих людей «старого мира». Они, уязвлённые революцией и последовавшим за ней народоправством, оглядываясь на французский опыт (термидор, консулат, империя Наполеона), не предполагали, что при установленном большевиками «порядке» продолжится уничтожение России и культуры, погране не только гражданских свобод, но и естественных человеческих прав, неуклонное истребление народа и растление (увы, часто успешное) тех, кто не был убит или брошен в лагерь. Эта доктрина, принимавшая различные формы как в метрополии, так и в эмиграции, не сдает позиций и по сей день. С ней, в частности, связаны энергичные попытки противопоставить «Красное Колесо» (сводимое к порицанию собственно Февральской революции, но не её — по Солженицыну единственно закономерного — продолжения в октябрьском перевороте,

ду сказать, перебрать кадетских вождей — Петрункевича, братьев Долгоруких, Дмитрия Шаховского, графиню Панину, Шингарёва, Кокошкина, Милюкова и ещё многих, — нет, не денежному мешку они служили, что б ни кидали им социалисты» (116). Ни главные политические заблуждения русских либералов, ни честолюбивые амбиции иных из их вождей, ни роковая роль, сыгранная кадетской верхушкой в дни марта, ни апрельское попустительство левым (ЦК партии фактически предаёт Милюкова, защищает государственническую позицию которого только давний противник, «веховец» Изгоев. — 163) не отменяют их стремления к общему благу, народолюбия, преданности культуре, верности высоким идеалам свободы и справедливости. Они любили Россию, хоть и, по слову Струве, далеко не всегда зряче (М-17: 44), они неразумно представляли себе революцию (потому и приближали её, потому и обрадовались её первому торжеству), но не мыслили её самоцелью или ступенью к диктатуре. Они хотели избежать гражданской войны, страшась «железа и крови». И потому не могли противостоять ни разгулу «народоправства», ни напору большевиков, «стальным шагом» идущих к захвату власти и установлению диктатуры.

В эпилоге «Войны и мира» Пьер повторяет Наташе то, что он говорил в Петербурге будущим декабристам: «Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные связаны между собою и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь так просто». Отвлекаясь от весьма сложных вопросов о том, что значит эта мысль в лабиринте сцеплений романа и как относится к ней Толстой, заметим: в «революционизированном» пространстве «Красного Колеса» (и особенно «Апреля Семнадцатого») «простая» мысль Пьера не может стать явью. Соединяться дано только людям порочным. И чем они порочнее (бесчеловечнее), тем крепче (до поры) их комплот. Ленин прибывает в Россию ни с чем, партия его — почти химера, соратников можно по пальцам перечесть (да и тех в большинстве вождь считает мелкотравчатыми фигурами), для видных социалистов (включая однопартийцев) он странный, бесперспективный доктринёр. Но все противоленинские начинания — от статей в «буржуазных» газетах до намерения солдат-волынцев арестовать Ленина (29, 75) — урона ему не наносят. Но к особняку Кшесинской тянется все больше народу (и не только из праздного любопытства, хотя и оно Ленину на пользу). И те, кто в начале апреля спорил с Лениным, дивился его оголтелости, благодушно предрекал, что тот успокоится («Каменев сказал конфиденциально: убеждён, что Ленин в России три дня пробудет —

диктатуре большевиков, Гражданской войне и сталинском государстве) аккуратно отодвигаемому в сторону «Архипелагу...» Между тем два солженицынских эпоса связаны неразрывно (что касается, впрочем, и других сочинений их автора): Солженицын смог писать (и написать) «Красное Колесо» лишь после того, как написал «В круге первом», «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ».

и мнения свои переменит». — 7), так или иначе подчиняются его воле. Так происходит с Сашей Ленартовичем: «Ленин был — конечно сверхчеловек. Хотя, может быть, это и не в похвалу. Но — в загадку <...> Это был вождь — не как первый среди других, а как — формирующий их всех, иногда необъяснимыми путями»; и хотя в этой главе у Саши ещё остались некоторые недоумения, ясно, что недолго они продержатся: Ленин, «три недели назад отвергнутый собственной партией, <...> уверенно вёл её, и партия была наглядно едина» (133). Так происходит с Каменевым, который еще и 24 апреля вальяжно полемизирует с Лениным и брезгливо раздражается на перебежчика Сталина («Все эти недели смиренно шёл вслед Каменеву — а сегодня выступил коротко и, как обычно, без единой стройной мысли, — лишь открыто заявить, что он — за Ленина» — уж Сталин-то понимает, где настоящая сила и настоящее зло), но, в сущности, уже капитулировал. Ленин в заключительном слове «вдруг с поразительной оборотливостью объявил, что с Каменевым они *во всём согласны!* <...> Этим шедевром уклончивости Каменев был просто ошеломлён. Но из такта не мог указать вслух» (101) — что Ленину и требуется. Так происходит с пытавшимся вести свою линию и кичащимся внефракционностью Стекловым: «Он не имел ещё решения и последней крайности прямо идти на поклон в особняк Кшесинской — но уже смирился, что, наверно, придётся так» (90). И — что всего важнее — так происходит с Троцким. Впрочем, здесь наблюдается встречное движение.

Вот Троцкий, обдумывая свое одинокое положение, перебирая и отвергая возможные планы, осознаёт: «Нет, наплывает форштевнем корабля неизбежный: Ленин.

Какую взять линию к Ленину?» (181). Припоминаются давние обиды (их тени мелькали и раньше — 179), а за ними и общий отталкивающий образ вечного конкурента: «Да, у Ленина — бешеный организационный напор и кабанье упрямство. А культурное развитие — ведь совсем малое, не начитан. Лишён образности, яркости. Да поразительно необъёмен: как будто истолакивает весь сочный мир в сухую плоскость. А в решающие часы — да и трусоват». Но, перебирая болезненные размышления и мелкие «негероические» свойства Ленина, Троцкий всё больше ощущает его победительную правоту, не только своё с соперником единомыслие, но и готовность подчиниться: «Что Ленин весь всегда только в организации, в размежевании, в обмежевании своих — долго казалось Троцкому скучно, даже отвратительно: где же яркая личность? личный успех? Как может в великом революционере жить педантичный нотариус?

А опять-таки верно: вот — у него послушная партия. А Троцкий — всё в одиночках <...>

Да сейчас, в самый острый момент, — ведь сходство по всем пунктам. Прочёл тезисы, оглашённые Лениным, — согласен с каждым! <...> Классовая борьба, доведённая до конца, — это и есть борьба за государственную власть.

И парадоксально: сперва — вся партия взбунтовалась против тезисов Ленина. Никто не согласен был с ним отначала и слитно — так, как Троцкий.

И — как же теперь им не соединиться?

Упоительно тянет — соединиться. Зачем — конкуренция?

Нет, Ленина не миновать» (181).

Разом логичному и взвинченному монологу Троцкого («Он был горяч — но был и холоден одновременно», — примечает за своим попутчиком доктор Федонин. — 176) откликается ещё более злой и ещё более расчётливый монолог Ленина. словно оттягивая самую болезненную и насущную проблему, Ленин проводит мысленный смотр уже обнаружившихся и намечающихся сторонников («Новожизненцы — Суханов, Стеклов, Гольденберг, эти почти в кармане, да Гольденберг и много лет был наш. Горький, как всегда в политике, архибезхарактерен, да чёрт с ним»), обдумывает, как вернуть «бесценного» Красина («К нему единственному Ленин готов пойти мириться и первый <...> Месяц прождал Ленин — не идёт Красин. Значит, идти самому. Подошёл Коллонтаиху для разведки в Царское Село. И вдруг сегодня прислал в “Правду” — стишок. Стишок, может, и копейки не стоит, но — сигнал! Завтра же напечатаем»), вспоминает Инессу, с которой в очередной ссоре («Но — и она вернётся. Некуда ей будет деться»). И здесь, после самого интимного пункта вырывается наконец то, что всего более заботит: «А самый важный — Троцкий. Ни молчать, ни бездействовать он не будет. Опасен.

Очень наглый».

В коротких, пульсирующих абзацах ненависть борется с целесообразностью. И проигрывает. За отчаянным «Людей — нет» (хотя ведь скольких только что вспомнил, хотя умнейший Красин уже уловлен, а всё не то — и Ленин это отлично понимает) следует переполненный желчной бранью пассаж, захлёбывающийся на вроде бы окончательном вердикте: «В сущности, он и есть — балалайка».

И с абзаца, будто дух переведя, вроде бы продолжая поносить, но готовясь к резкому развороту: «И мастер подтасовок. Профессиональный лгун.

Но — и какой же оратор! Как эффектно было бы сейчас его использовать. Динамичная сила.

И — свободен от всяких предрассудков».

Кажется, переходы от абзаца к абзацу и тире после союзов передают паузы, в которых формируются тезисы и антитезисы. Все плюсы и минусы давно ясны: «Во врагах — он опасно остр.

А в союзниках — непереносим». Деваться некуда — остаётся успокоить себя рассудительным, тягучим, словно не в голове мелькнувшим, а записываемым на бумаге «синтезом» и сбросить пар, выдав злобный почти афоризм: «Но, хорошо представляя его слабости, его безпредельную амбицию, можно умело им руководить, так что он не будет этого и понимать: всё время на первом плане и упиваясь собой.

Умные негодяи всегда очень нужны и полезны» (183).

Ради привлечения к делу Троцкого Ленин до известной степени «преодоле» себя. И Троцкий ради революции (власти, диктатуры) с собой тоже справился — в общем уступив больше, чем Ленин. Дуэт, которому предстоит совершить октябрьский переворот, развязать гражданскую войну и одержать в ней победу, уже составился. Способностью действовать заодно с «умными негодяями» порочные люди и отличаются от людей порядочных, что не умеют меж собой договариваться.

Проанализированная пара глав (181, 183 — между ними помещена глава о Керенском, уверяющем, что «осенью мы соберём обильную жатву») отражает другую пару, появляющуюся в тексте раньше, посвященную лидерам двух «буржуазных» партий, которые на заседаниях Временного правительства с глубокой тоской друг на друга смотрят. И разделяет те две главы («гучковскую» и «милюковскую») тоже одна — обзорная, о народоправстве на железных дорогах, близящемся транспортном параличе, одной из самых больших и зримых бед весны 1917 года (35).

«Щурился Гучков на Милюкова и думал: чужая каменная душа. Ведь вот — понимает же он государственные интересы России, но с какой-то внешней позиции. И ничего не хочется делать с ним заодно, хотя обстоятельства так и загоняют их в содружество: вместе их поносит Совет, общие у них враги и вне и внутри правительства, — а союза между ними, и даже простой откровенности, никак не возникает. Непереходимая издавняя чужость. Западный профессор. Даже водки с ним выпить не хочется» (34).

«Смотрел Павел Николаевич на его тяжёлое хмурое лицо с сожалением и глубоким неодобрением. Никогда Гучков не был друг, никогда союзник <...> Но в такие-то недели, на таких-то вершинах — могли бы объединиться. Только Гучков тут ещё и понимал как следует, что такое проливы. Как бы они выстояли вдвоём! — совсем иначе направили бы правительство. Да не только не поддержал Гучков союза — он и своего места не удерживал» (36).

Напомнив двойцей взаимоориентированных глав (Ленин и Троцкий) о другой (Гучков и Милюков), резко обозначив контраст (внутренние монологи разрушителей взрывчаты, напряжены в поиске, «разворотливы» — размышления министров пропитаны усталостью, сползающей к безнадежности, Милюков лишь до поры «устойчивее» Гучкова), обрвав этой системой зеркал Четвёртый Узел, Солженицын даёт нам ощутить то, что будет категорически проговорено во вступлении к «На обрыве повествования»: «Уже и “Апрель Семнадцатого” выявляет вполне ясную картину обречённости февральского режима — и нет другой решительной собранной динамичной силы в России, как только большевики...» Вялость двух прежде столь энергичных министров, их взаимное недоверие и отсутствие общего языка, невозможность их действия союза отражает общий упадок воли и конструктивной мысли, в большей или меньшей мере присущий всем всерьёз озабоченным по-

ложением дел (зрячим и прозревающим) историческим персонажам — Алексею, Гурко, Корнилову, Колчаку. Что, наряду с уже отмечавшейся выше слепотой в главном — вопросе о мире, обуславливает их апрельские отступления (зачем Колчак приезжал в Петроград? почему растерянный Гурко? чего добился своей отставкой Корнилов?) и будущие (в 1917 году и позднее) поражения. Растерянность овладевает большинством персонажей обычных, тех, кто мог бы действовать, но ждёт команды (отсюда тоска Воротынцева о вожде, отражающая сходные чаяния облеченного куда большей властью Колчака: «Нужна диктатура. / Всероссийская. / Да откуда её теперь взять? — 77; косая черта здесь передает солженицынскую разбивку внутреннего монолога на сжатые абзацы), тех, кто, подобно Ярику Харитонову в разложившемся полку, задаётся вопросом с убийственным ответом: «Куда идти?.. Разве, в одиночку, — на немецкую проволоку?» (104).

Разумеется, чувство потерянности настигло многих героев повествования уже в «Марте...» (особенно к концу Узла; повторим: Солженицын переходит от Третьего Узла к Четвертому плавно), но в «Апреле...» оно оказывается и более ощутимым, и более общим. Дело в том, что, обернувшись народоправством, революция становится разом и всеохватнее, а потому — ужаснее (с каждым днём нарастает разруха, истаявает устойчивый быт, множатся жестокости — особенно в деревне), и привычнее. (Эта двуединость тоже проступала в заключительных главах «Марта...».)

Ход революции Варсонофьев сравнивает с плавлением кристалла (180)¹⁷, но прежде Солженицын последовательно проводит другую природную метафору — вскрытие и разлив рек.

«Нева вскрылась на Страстной. Проходили льдины со снежными бахромами, левый берег очистился, у правого лёд ещё держался. При резком ветре с моря ещё подступала вода на прибыль, ломая лёд. Становились и заморозки по ночам. А как раз на Пасху привехали тёплые дни, быстро изникал снег, дружно сливала с погрязневших улиц вода. (И впервые во время таянья вода в водопроводе стала мутна, что-то на главной станции мешало очищать.)» (2). Уже в этой главе обнаруживается пучок сложно переплетённых мотивов. Стихия берет своё (вода словно отступает при заморозках, но, разумеется, их одолеет). Ожидаемое очищение оборачивается разливом мути и грязи (испорченный водопровод — природное сцеплено с социальным; рядом возникает картина «неметеного <...> неубранного Петрограда» со «слоями мусора» и «невывезенными кучами»). Движение воды прикровенно сопоставлено с людским своеволием: «Вместе с долгожданной, безкрайней радостью Революции ворвалось <...> беспорядочное, безоглядное, вседозволенное, безстыдное — теперь всё можно.

¹⁷ Заметим: при одновременной кристаллизации будущей — большевистской — власти.

(И — почему же??) (2). Подразумевается тут и своеволие эротическое, противопоставленное отказу Веры от Дмитриева. Норма (река должна вскрыться, приход весны радостен, весна не зря почитается порой любви) исподволь искажается, незаметно выворачивается в антинорму. Эти мотивы, варьируясь и развиваясь, возникают и в других «речных» фрагментах.

Юрик Харитонов заворужен донским наводнением: «А не подорвёт ли вода и огромный ростовский мост? (Вот бы рухнул, только без поезда.) <...> Уже никак не речная, не озёрная — истинно морская ширь, прикатившая в Ростов! — как грудь дышала! как на моторке нестись!

Ясно, что ничего хорошего во всём этом не было, а какая-то колотилась радость <...> В катастрофе — что-то сладкое есть» (17). Бодрит Юрика, однако, не столько само торжество могучей стихии, сколько открывшаяся наконец-то возможность вырваться из уютного детства, стать не просто «взрослым», но героем, подобно языковскому пловцу «поспорить и помужествовать» с бурей. Наводнение замещает войну, на которую младший Харитонов в отличие от брата не успел, спасательные работы — боевые операции. Всякая серьёзная напасть «хороша» тем, что может быть преодолена подвигом. Не утратив наивной детской мечты о лаврах полководца, Юрик и отроком ведёт воображаемые военные кампании, в которых любит «доводить своих до отчаянного положения, а потом героически спасать в последнюю минуту». Войны эти всегда разыгрываются «на теле России, и даже особенно ближней, южной. Почему-то именно такая и здесь война влекла его и была осмыслена» (17). Здесь читатель должен вспомнить эпизод Первого Узла, в котором Ксения случайно видит атлас Юрика с обозначением линий фронта гипотетической войны: «Так это что ж — Южная Россия, ты что? Немцы у тебя и Харьков взяли? И Луганск? <...> Ты бы другую карту, тут войны никогда не будет, Юрик!

Юрик покосился на неё с сожалением и превосходством:

— Не беспокойся. Ростова мы никогда не отдадим!» (А-14: 76).

В «Августе...» о внутреннем мире Юрика и психологической мотивации его игр еще не говорится. Но уже здесь на повествование ложится густая тень будущих национальных трагедий. Ксения, как и большинство взрослых, ошибается: мальчишеская выдумка обернётся явью. Даже более страшной, чем в игре: чудесного спасителя не найдётся, в Гражданскую войну Ростов сдадут красным, а в Отечественную — немцам¹⁸. В «Апреле...» «опоздавший» к битвам Первой миро-

¹⁸ Немногим позже узнав из письма брата, что «никто не хочет больше воевать!», потрясенный Юрик задумывается: «Что ж тогда будет с Россией, немцы придут? хоть и в Ростов? (Ну, не в Ростов, конечно.)» (174). В этой самоуспокаивающей мысленной (скобочной) поправке слышится многое. И детская наивность (я же только играл!). И естественная любовь к своему городу, что вскоре будет подвергнута серьезным испытаниям. (Приехавший из Новочеркасска, а по-

вой Юрик опрометчиво печалится: «Но после такой кровопролитной какая же другая вскорости могла прийти на Землю, чтобы стать его войной? Невероятно» (17). Увы, «невероятное» и случилось. Первый раз мы видим отступающие войска Юрика ровно в те дни, когда его старший брат после самсоновской катастрофы выходит из германского окружения, дабы спастись от плена; во второй — когда поручик Харитонов оказывается «пленным» в своем полку (104). Переключка «ростовско-мальчишеских» глав «Августа...» и «Апреля...» вновь (как и в случае глав о докторе Федонине), сопрягая начало и конец повествования, вновь обращает нас к пороговому пункту истории XX века — проклятому 1914 году.

Юрик не станет спасителем отечества (его романтические чаяния соотносятся с одной из самых важных проблем, над которой мучаются взрослые герои «Апреля...», — поисками «вождя», обрести которого так и не удастся), но участь «солдата», твердо выполняющего свой тяжкий долг, его едва ли минует. Мы не знаем, выпадет ли младшему Харитонову идти Ледяным походом (Узел Десятый — «Февраль Восемнадцатого»), до которого осталось меньше года (очень вероятно), погибнет он на Гражданской или сбережет жизнь в ее мясорубке, а если так, то где застигнет повзрослевшего мальчика Вторая мировая, в приход которой он не верил... Вариантов немало, хотя счастливого нет (здесь не важно, как сложилась судьба прототипа и/или как планировал развивать сюжетную линию Юрика автор в ненаписанных Узлах») — сущностный выбор героем-отроком сделан. Проговорен он будет позднее, во второй и последней из «юриковых» глав «Апреля...», когда новообретенный друг Виталий Кочармин откроет Юрику горькую правду («Не осталось нам с тобой времени»), а тот — «не в лад <...> а вроде и в лад» ответит: «Если уж мужчины не хотят воевать — так кому ж, значит нам идти?», предложит поклясться «что вот мы — будем против всякой мерзости биться!» (174).

Мы верим этой клятве потому, что высота и чистота духа были явлены Юриком прежде — при разливе Дона (отозвавшемся порывом к подвигу), разливе революции (Юрик инстинктивно отторгает «новый беспорядок» — в училище, дома, во всём городе, хотя осмыслить его он не может, да и не пытается), разливе подростковой чувственности. Охваченный нестерпимой тоской по девочкам, Юрик одолевает искушение. Увидев раздевающуюся за перегородкой в женской купальне Милу Рождественскую, он «тотчас смекнул, что по этой перегородке сумеет влезть

тому глядящий со стороны Виталий Кочармин говорит о Ростове: «...неприятный город <...> Коммерческий. Крикливый. Души — нет. Все думают о наживе <...> И с этой зажиточностью, развлекательностью — особенно вот сейчас придется Ростову тяжело. Он — не готов» — 174; Виталий угадывает будущее; в конспекте Узла Десятого («Февраль Восемнадцатого») читаем: «Богатый Ростов не жертвует добровольцам, не снабжает. Корнилов: Не буду защищать такой город». Но и неуступчивость человека чести здесь тоже звучит.

<...> а там — хоть спрыгнуть, спуститься внезапно перед ней — и будь что будет! Заднюю дверь её раздевалки она, наверное, заперла, не войдут — и <...> открыто просить, умолять её о ласке. Они — довольно близко знакомы, она не должна слишком испугаться <...> Но уже под самым потолком, при перелазе, вдруг подумал: а неблагородно! она же беззащитна; и — может, она не заперлась? и оттуда, сзади, ещё войдёт кто-нибудь? Не за себя испугался, за неё: что о ней тогда подумают?» (17). Благородство важнее и сильнее распирающего тело желания. Никакое половодье не может и не должно освобождать человека от чести, самое «мягкое» и «просящее» насилие остаётся насилием, не поддаться искушению трудно всегда, а когда обычный порядок утратил скрепы, еще труднее. Не случайно, подводя повествование к клятве обретших друг друга «русских мальчиков», Солженицын говорит и о «радостной лихости» наводнения, и об от недели к неделе всё наглеющих грабежах («каких и отчаянный Ростов прежде не знал»), и о растущем недоумении Юрика от всё более властно заявляющих о себе настроениях и людском озлоблении (ощеривающийся на «тилигенцию» базар) — как не случайно описывает он новую (казалось бы, избыточную) встречу устоявшего «солдатика» с прекрасной купальщицей, по-прежнему влекущей и невольно подростка мучающей: «всего кипятком обдало <...> смотрел на неё безумными глазами: ведь ты никогда, никогда не узнаешь!» (174). В веселом кипении вседозволенности Юрику удаётся сохранить себя. Как Вере Воротынцевой, преодолевшей иной (но и схожий) соблазн.

Другой свидетель своенравия Дона, Фёдор Ковынёв, по пути из Петрограда видит охватившую страну сумятицу, разгул митингов, тысячи людей, неведомо почему бросивших работу и стужившихся близ вокзалов, — следствия вдруг свалившейся, много посулившей и давшей мало утехи свободы. Потому для него «сливаются образы наводнения и революции. И, как наводнение, сколько же обломков и мусора нанесёт, сколько оставит ям развороченных». Разгул стихии в ковынёвском случае со страстью не сравнивается. Напротив, он препятствует встрече любящих, не внося новой ноты в их отношения, а позволяя Ковынёву тянуть старую (и дурную) линию: Фёдор телеграммой просит Зину не выезжать из Тамбова до спада воды. Однако половодье, революция и любовь соединены и здесь («Да одна ли вода? Сколько тут взбухло и распирало — уже и Зинуша не помещалась») ¹⁹, что не может не отразить-

¹⁹ Как не будет помещаться и неделю спустя, когда Ковынев, переполненный впечатлениями (страшный шторм в Новочеркасске, кипение казачьего съезда, споры о земле, о старинных вольностях, об иногородних, об автономии), задумается о несовместимости возлюбленной и сестры (да и всей станичной жизни) и решит: «Надо валить — на общий разлом: тут — разладно сейчас, а вот на обратной дороге заеду к тебе в Тамбов» (146). Глава заканчивается телеграммой, оповещающей Ковынёва о том, что его брат «убит взбунтованными рабочими». Стихия подыгрывает Ковынёву в сюжете с Зиной («мотивировав» робость, переходящую в отступничество), революция (другая стихия) тут же жестоко ему мстит.

ся на лелеемом Ковынёвом замысле, о котором он вспоминает тут же: «Необыкновенные донские дни весны Семнадцатого года! — и на них бы тоже растянулся донской роман, включить бы тоже и их?» (97)²⁰.

Иную огласовку мотив «половодья» получает в главе о тамбовском селе — как представляется, дающей главный ключ к крестьянской проблематике «Апреля...». «За эти семь революционных недель, пережитых Каменкой, только одна была спокойная — пасхальная: сошёлся и великий праздник, и разлив <...> низины заливало, перерывая дороги, отрезало от Каменки весь мир вместе с революцией, а тут тихо, тепло, празднично, и жаворонков слышно». Но превращение села в блаженный остров коротко: с отступлением природной стихии начинается как наступление стихии революционной, так и прорыв тёмных мужичьих чувств — с выраженной эротической окраской. Учительница Юлия Аникеевна сталкивается не только с недоверием к своей «просветительской» работе (которую и вести-то ей приходится по чужой воле — сама она прежде «ничего революционного не читала»), не только с вдруг обнаружившимся презрением (на грани ненависти) к интеллигентной «дуре», которая детей не тому и не так учила и учит, но и с прямой опасностью. Юлия смущается от «открыто похотливых взглядов» вернувшегося в село «явным дезертиром» Мишки Руля, которого боится вся Каменка («ещё подождёт») и перед наглостью которого теряется сам Плужников (столько лет ждавший свободы, готовившийся направить верным путём крестьянство). «Да не только Руля, она стала бояться уже и своего недоучки переростка Кольки Бруякина, — уже и он осмелел смотреть на неё так же» (106).

Разложение деревенского мира подстёгнуто революцией, но возможность такого поворота событий обнаружилась раньше. Хулиганящая каменская молодежь, её вожак, циничный развратник и насильник Мишка Руль, его рано оформившийся последыш Колька Бруякин изображены во *Втором Узле* (О-16: 45). В «каменных» главах «Октября...» предсказан и будущий выброс крестьянского (веками копившегося) озлобления на господ и «городских»²¹.

В «Апреле...» тема эта организует главы о *Вяземских*, где привычные мирные отношения господ с мужиками (37) быстро уступают мес-

²⁰ Сближение вновь сигнализирует: в романе Ковынёва намечалась любовная линия, что не может не вызвать ассоциаций с «Тихим Доном». Пропавший (ненаписанный? попавший в чужие руки и измененный?) роман Ковынева словно двоятся — то приближаясь к «Тихому Дону», то представая другой — неизвестной вовсе — книгой. Хотя Солженицын в конечном итоге пришел к выводу, что не Федор Крюков написал первоначальный текст казачьей эпопеи, обстоятельство это не отменяет возможности видеть в Ковыневе (персонаж не равен прототипу!) автора «Тихого Дона». Намёки и недоговорки «Красного Колеса» придают сюжету о происхождении донского романа тот аромат тайны, который ощущал в нем Солженицын.

²¹ Подробнее об этом говорится в сопроводительной статье к «Октябрю Шестнадцатого»

то вражде. Явно пришлый матрос запрещает хоронить Дмитрия Вяземского (смирившего революцию в 1905 году, погибшего за нее в 1917-м) в фамильном склепе, и никто из кучки слышавших угрозы крестьян ему не возражает. Лиц в сумерках не видно, «свои» сливаются с чужими, потёмки позволяют не смотреть в глаза, прятать совесть. Но и при свете дед Пахом говорит барину: «...довольны мы покойным князем (выстроившим церковь, больницу, школу. — А. Н.) премного, а благодарны — за что бы? Ведь он же не для нас делал, а для спасенья своей души» (96). Похоронить брата Вяземские хоть и с ухищрениями, но сумеют (99), достигнуть компромисса при первом бунте смогут (подняв подённую плату работникам, уволив добросовестного управляющего, отступив от той твёрдости, в которую недавно — выдержав бой за похороны брата — уверовал князь Борис), но предварительный итог ясен: «А самим бы с Лили — уехать к осени. В Эссентуки, к родителям Лили? В Алупку к Воронцовым? За границу?.. Совсем бы куда-нибудь.

Этого — уже не спасёшь» (170).

Тут закономерно возникают бунинские обертоны, звучавшие прежде в растерянном монологе другого помещика, Александра Вышеславцева, рано почувствовавшего обречённость «дворянских гнёзд» (М-17: 609). Теперь эта перспектива отрылась (гораздо определённое) Вяземскому. Но и она иллюзорно радужна. В конспекте Шестого Узла читаем: «Бунт крестьян в усадьбе Вяземских Лотарёво; кн. Борис отвезён на ст. Грязи, там растерзан солдатами и доколот собственным конюхом». Это случится в августе.

В следующем месяце сходно завершится другой «сельский» сюжет «Апреля...». Изнурённый введением хлебной монополии (непонятной крестьянам и их озлобляющей), заботами о срываемом посеве, подготовкой вождельной земельной реформы Шингарёв отправляет семью в родную Грачевку обрабатывать отцовскую землю, чтобы это «крохотное пятнышко» не осталось сирым, как множество иных огромных пространств России. «Не сказал Фроне, как сердце сжато, но по её суженым напряжённым глазам видел то же» (32). Конспект Узла Седьмого: «Жена Шигарёва убита крестьянами, Грачёвка разграблена». Имения Шингарёвых и Вяземских в одном уезде — Усманском, Воронежской губернии. В апреле Шингарёв (прямо перед отбытием жены в Грачевку, как выяснится, на гибель) получает письмо, в котором князь Борис упрекает министра за то, что он насаждает в России социализм.

В хлебной монополии и всевластных «комитетах из оклократии» (32), конечно, ничего доброго нет. Скверно, что мужицкие интересы представляют «интеллигентные товарищи». (Министры и исполкомовцы напрасно испугались делегации от Крестьянского съезда — «А-а-а! Хозяина-то земли Русской — забыли?.. <...> На каком языке с ними разговаривать? Доставите буквари» (164). Тут переводчики не потребуются.) Плохо, что разумные мужики (хоть крестьяне, хоть крестьяне в солдатских шинелях), оказавшись делегатами всевозможных съездов,

пребывают там статистами, даже если угадывают, что кривда давит правду (Иван Кожедров и Фрол Горовой на совещании в Питере — 120, 137). Ещё страшнее, что деревню мутят городские агитаторы. Хотя дезертиры, вроде Мишки Руля, «свои», деревенские — а грозят поджогами односельчанам и примериваются к барским хоромам в первую очередь они. И если пока фронт бросают худшие (а обычные мужики в шинелях только отказываются наступать да с дорогой душой братаются с немцами), то ведь летом побегут домой почти все²². Всё это ужасно. Но едва ли смогла бы революция так вывихнуть крестьянский мир, если б не долгая злосчастная история России пахарей: «Посев жестокости прошлого, и драньё взрослых мужиков розгами — они не прошли без следа, нет» (106). Не только князь Евгений Трубецкой помнит, как его дедушка, совершенно потрясённый отменой крепостного права, в престольный праздник «устраивал высочайший выход на большое парадное крыльцо», как оделяли подарками бывших своих крепостных («а чужих — в сторону, прочь»), а барчата «с крыльца швыряли пряники в народ и забавлялись, как мальчишки барахтаются в песке, ловя их». И, что рассказчик, ставший незаурядным философом и видным членом кадетской партии, «нарочно метил так, чтобы попадать им в головы...» (2), те мальчишки не забыли.

Грядёт возмездие. Ему будут ужасаться и его будут стараться оправдать совестливые русские интеллигенты — надеясь на лучшее и не желая подумать, что в итоге обретут пробудившиеся мстители. Известно что — новое крепостное право. Тамбовские повстанцы, яростно борющиеся за землю и волю, а потом жестоко и цинично раздавленные большевистскими карателями, прежде захватывали помещичьи земли, жгли усадьбы, убивали «господ» — вершили то самое возмездие, которое искренне и вдохновенно славил в 1918 году Блок. В «Апреле Семнадцатого» (разумеется, развивая обозначенное в предшествующих Узлах) Солженицын показывает, как трагически связаны прошлое и будущее крестьянской страны, как мужицкая правда сплетается с мужицким грехом, как при утрате ориентиров (привычные ценностные вещи сбила либо исказила революция) растерянность оборачивается яростным (но коротким, беспочвенным, обречённым) народоправством, как исчезают личности (к счастью, не все и не навсегда) и традиционная общность, как прошедшее (со всеми его кривдами, но к ним не сводимое) и грядущее (которое могло бы быть иным) приносятся в жертву безумию настоящего (жизни «одним днем»). Одаривший Каменку неделей тепла и покоя разлив естественно сходит на нет, иной разлив (здесь природа не олицетворяет социальную стихию, но ей противоплагается) будет бушевать долго. Несколько месяцев без сторонней

²² Кажется, Солженицын пожалел одного из любимейших своих героев — Арсения Благодарёва, не выведя его на сцену в «Апреле...». Последний раз мы видим Благодарёва разомлвшим под весенним солнышком 11 марта (М-17: 554).

сдержки, потом — в неравном противоборстве с железным «новым порядком».

Последний «речной» сюжет привносит ещё один смысловой обертоном в соположение стихии и социального катаклизма. «Кончилось волжское судоплавание. И месяца не пробегали по вольной воде». Грузят зерном гнилые баржи, не справляются со штормами, пароход налетает на устои моста, пристани залиты водой, гниёт рыба, которую теперь дозволено ловить и сдавать оптовикам кому угодно («за отказ принимать — уголовное наказание, а за порчу рыбы — пятикратный штраф»).

Волга, разумеется, оставаясь собой (шторма и в прежние годы бушевали, и крушения случались), оказывается по-новому опасной и враждебной. «При крупном повороте корабля есть такая команда: “Одерживай!” <...> А если не одерживать — пароход будет кружиться на месте или идти по ломаной.

Вот так и в политике. Эти два месяца — никто не одерживал», — рассуждает Гордей Польшиков, невольно используя древнюю метафору «государство — корабль, правитель — кормчий». Понятно, что не реку винит купец и судовладелец в то и дело случающихся бедствиях, но всё пореволюционное бытие воспринимается им как бушующая стихия, свирепо играющая кораблём без капитана. Нет надежды на правительство, но нет и того единения деловых людей, что могло бы выправить ход корабля. (Кто-то вроде бы соглашается, но «как-то нехотя», кто-то переводит капитал за границу, и с ними у русского купца Польшикова дружбы быть не может.) «Или — опять нам в оппозицию? Спасать Россию помимо правительства, — так кому ж это по силам?» Но если позволить кораблю державы пойти ко дну (как баржам на Волге), то в тлен уйдёт и твоё дело. Твоё богатство. «По-русски, конечно, и так: засвистит судьба Соловьём-разбойником (которого Андозерская разглядела в Ленине. — А. Н.), погибать — так и погибать!

А — сын, дочь? жена?

Всегда, сколько помнил, жил Польшиков с ощущением своей силы: силы тела, силы соображения, знаний и силы денег». Солженицын надеждил волжанина именем с отчетливой семантикой, да еще и напоминающем о двух по-разному «зарвавшихся» купцах — самодуре Гордее Торцове и выламываемомся из своего сословия Фоме Гордееве. Гордость Польшикова была законной (и даже достойной), пока было на что опереться, пока настоящий шторм не налетел. Теперь гордиться нечем: «...началась такая подвигка — такая подвигка всего — уже ощущал Польшиков недостаток силы — на всё, на всё.

Стал — не хозяин своей жизни.

Тряска пойдёт — и эту девочку тоже он не удержит» (109).

Девочка — Ликоня. Их с женатым Польшиковым беззаконная любовь мерцающими лирическими миниатюрами освещает всю крутоверть «Марта...», а в «Апреле...» обречённо истаявает. Для Польшикова загадочная утончённая красавица становится избыточной роскошью, а

верная своему всепоглощающему, все установления рушащему чувству Ликоня и прежде «прав» на возлюбленного не предъявляла. В «Марте...» тринадцать глав, так или иначе (большей частью — полностью) посвящённых Ликоне; в «Апреле...» — лишь две (25, 162)²³. Последние строки письма Ликони Польщикову (последняя её «нота» в «Красном Колесе») таинственно вторит выводу, к которому уже пришёл адресат (и которым «Зореньку» пока пугать не стал): «Что же с нами будет? В этих бурях (вспомним волжские шторма. — А. Н.) я боюсь и совсем потерять к вам последнюю ниточку.

Ой, не кончится это всё добром. Это — худо кончится» (162).

Может показаться, что именно разгулявшаяся историческая стихия размётывает героев. Варсонофьев напоминает только что нашедшим друг друга Ксенью и Саню об опасности, которой грозит любви центробежная энергия революция: «Дай Бог, чтоб обстоятельства вас не разделили.

И это была — холодная правда, о которой они и знали, и боялись, и хотели бы не знать» (180). Но это не вся правда. Обстоятельства, безусловно, могут развести любящих (даже если те напряжённо сопротивляются), но могут их и не развести. Люди вправе не подыгрывать обстоятельствам, не принимать их как непреодолимую данность — им не заказано вести себя иначе, чем Ковынёв и Польщиков. (А уж что из того получится — иная история.) При всех различиях «сильного» купца и «слабого» писателя оба и прежде были не достойны (если угодно — не вполне достойны) женщин, которые их полюбили. Минимализируя в «Апреле...» эти «романические» линии, намекая, что два любовных сюжета приблизились к обрыву (хотя кто знает, какие неожиданные встречи и разлуки выпадут персонажам «Красного Колеса» в последние дооктябрьские месяцы, в пору гражданской войны и многие годы спустя), Солженицын отнюдь не хочет сказать, что в пору исторических потрясений всякая «личная жизнь» сходит на нет. Напротив. Поручкой тому «апрельские» истории двух главных (интимно дорогих автору) героев повествования — Георгия Воротынцева и Сани Лаженицына.

После того как Воротынцев уходит от Калисы «на революцию» (сам о том ещё не догадываясь), как некогда на войну (М-17: 241), его сюжетная линия в Третьем Узле ведётся так, будто и не было семейной драмы, метания меж двумя женщинами, нечаянного короткого успокоения с третьей: Воротынцев думает только о настигшей страну беде и своём долге. В «Апреле...» же, когда общая ситуация стала ещё опасней, поиск выхода — ещё мучительней, необходимость действия — ещё насущней, жизнь буквально отбрасывает героя в прошлое, уныло и оскорбительно

²³ Кроме того, Ликоня возникает в главе о Ленартовиче, где отказывается разговаривать с многолетним поклонником, что стал большевиком (133), и в цитированных выше раздумьях Польщикова (109). И в этих главах она именно «возникает» на несколько мгновений, чтобы — пусть по противоположным причинам — тут же исчезнуть.

воспроизводя в могилёвских интерьерах томительные октябрьские объяснения с женой — ссоры, примирения, срывы, укоризны, требования любви и поклонения. Каждый раз ни к чему не приводящие и всегда угрожающие скорыми повторениями старых ходов. Тех же по сути, но всё более непереносимых. Воротынцевский сюжет в Четвёртом Узле развёрнут в пятнадцати главах²⁴. И только в одной — заключающей Узел (и в известной мере всё повествование) — Воротынцев свободен от того, что он называет «кишкотательством» и «тягомотиной» (136).

Алине нет дела ни до войны, ни до революции, ни до надвигающейся гибели России. Она ведёт себя так, будто ничего, кроме семейной драмы, во всём мире не происходит. Но и Воротынцев, отчётливее большинства персонажей «Красного Колеса» (если не всех, может быть за исключением Варсонофьева) понимающий роковой ход событий, неустанно обдумывающий планы спасения страны и жаждущий битвы, не может отрешиться от своей домашней печали, не может ни порвать с Алиной, ни равнодушно отодвинуть (хоть на день забыть) изнурительный конфликт.

Суть дела не в том, что истерики жены не дают Воротынцеву сполна отдаться борьбе, мешают ему думать и действовать. Всё это, конечно, так, и будь Георгий в браке счастлив, чувствовал бы он себя в эти тревожные дни бодрее и твёрже. Но ведь и при «крепком тыле» и душевном покое не изобрёл бы волшебного тормоза для Красного Колеса. Как ни жутки выходи несчастной разлюбленной женщины, но не из-за её ломаного характера, себялюбия, душевной бестактности революция победила Россию. Ужас в том, что общая и личная трагедии развиваются параллельно, что одна беда не выбивает клином другую, что мраком затягивается всё бытие.

Потому в прощальном грустном (и, как чувствует героиня, продуманном, не истерическом) признании Алины («Знаешь... Иногда мне кажется... что никто из нас... никого... уже давно не любит... Ни ты меня, ни я тебя...») Воротынцев слышит нечто большее, чем печальную и верную догадку о причине его измены и невозможности восстановить отноше-

²⁴ Столько места не уделено ни одному персонажу. Керенскому и Ленину отдано по десять глав, Милокову — восемь, Гучкову и Церетели — по шесть, Троцкому — пять. Имеются в виду, конечно, лишь главы, полностью посвященные этим лицам (в них, как правило, доминирует не собственно прямая речь персонажа, события даются в призме его восприятия и оценки). Разумеется, все исторические фигуры появляются и упоминаются не только в «своих» главах, но и в главах «чужих» (например, Ленин глазами Гиммера, Ленартовича, Керенского, Андозерской и др., Керенский в главах «милюковских»), «общих» (заседания ИК или Временного правительства, съезды, переговоры министров с вождями Совета), а также газетных и обзорных. Мир «Апреля...» крайне политизирован. Тем ошутимее в нем неожиданные, вновь и вновь сбивающие читательский настрой на «фактографию», весьма важные автору прорывы «личных» сюжетов (обычно представленных двумя-тремя далеко друг от друга отстоящими главами; наиболее «прописана» линия Вяземских — 37, 96, 99, 170). При такой композиции исключение, сделанное для Воротынцева, обретает особый смысловой вес.

ния с женой. Мало того что «Алина никогда его не любила» (эту обиду он долго от себя таил), что «и он её не любил» (в этом признаться ещё труднее), что и «никакую» женщину он «ещё никогда» не любил (то есть прожил долгие годы без настоящей радости, принимая за неё ту или иную подделку). Всё это только «присказка», подступ к действительно страшному (совершенно обыденному, всем теоретически известному) выводу. «Нет, его прокололо какой-то ещё новой неотвратимостью, ещё глубже.

Смертностью всего на земле. Обрываемостью всех чувств на земле. (Всех — а не только чувств Воротынцева. Или Ковынёва, Польщикова, ещё кого-то, кто не сумел найти, распознать, удержать свою любовь. — А. Н.) <...>

Со всем, со всем нам придётся расстаться: и друг с другом, и с этим последним солнцем (Воротынцев, проводив Алину, видит «последнюю печальную красоту заката на тополевых вершинах», но в его — и читательском — сознании конкретная пейзажная деталь обретает значение символическое, прочно укоренённое в мифологии и поэзии: и каждому из нас суждено когда-нибудь взглянуть на солнце в последний раз, и само солнце некогда погаснет, о чём и напоминает каждодневный закат. — А. Н.), и с этим городом, и с этой страной.

И может быть — скоро» (173).

Жизнь без любви перестаёт быть жизнью («Н а м н е ж и т ь, она угадала», — думает чуть выше Воротынцев). Но если разверзлась тютчевская «всепоглощающая бездна», если жжёт «неостановимой тоской» (173) чувство конечности всего земного, то при чём здесь война, революция, история? Однако, двинувшись от «личного» и пройдя по метафизическому маршруту (характерно двоящееся значение местоимения первого лица множественного числа: «мы» в косвенных падежах — это и чета Воротынцевых, и «мы все»), мысль героя упирается в злободневную конкретику. Прощаться с «этой страной» («и может быть — скоро») придётся не только потому, что всякий человек смертен. Любые исторические потрясения ничтожны по сравнению с тем, что происходит при переходе от бытия к небытию, но сознание своей малости и конечности не выводит человека из той единственной жизни, которая ему дана и за которую он несёт ответственность²⁵. В последний раз мы видим Воротынцева не на вокзале, когда, расставшись с Алиной, он прощается со всей жизнью²⁶, но на могилёвском Валу, где раздумья героя о близящейся битве хоть и сцеплены с мыслью о смерти, но отнюдь ей не подчинены.

²⁵ Речь идет об «обычных» людях (как надеющихся на воскресение, так и уверенных в том, что человек умирает весь и навсегда). В ином положении либо святые отшельники, либо самоубийцы.

²⁶ Рассуждать о том, встретятся ли когда-нибудь еще Воротынцев и Алина и как в таком случае будет развиваться их «тягомотина», так же бессмысленно, как решать вопрос о том выйдет ли Онегин (или муж Татьяны) на Сенатскую площадь, станет ли Алеша Карамазов революционером и как сложится судьба рано

Революция не отменяет прежних личных злосчастий, но и одолеть человеческое стремление к счастью ей не всегда по силам. В центральной главе «Апреля...» (финал первой книги) происходит неожиданная встреча Ксеньи и Сани, которые сразу и навсегда понимают, что они друг другу — суженные. Не революция переносит Саню в Москву — просто пришло время положенного отпуска, а в родной Сабле Сане делать нечего (31). На вечеринку к подруге Ксения отправляется «вдруг», прежде обоснованно отказавшись: «Ой, не могу, ноги не идут» — после дня работы на земле и нескорого возвращения в город из Петровско-Разумовского (91). Все обстоятельства «против», даже найти вечером извозчика в пореволюционной Москве труднее, чем

осиротевшего Серёжи Каренина. Из дневника Солженицына (который будет опубликован в 17-м томе настоящего Собрания сочинений) известно, что писатель планировал протянуть эту сюжетную линию ещё через несколько Узлов. Эти абсолютно бесспорные сведения относятся, однако, к определенной стадии разработки замысла, но не к тому завершённом художественному тексту, которым мы сейчас располагаем. Завершённости «повествования в отмеренных сроках» вовсе не отменяет его сюжетной открытости, то есть возможности самых разных вариантов «продолжений» историй того или иного героя, каждый из которых гадателен и, по сути, пребывает вне «поэтического мира» «Красного Колеса». (Ровно так дело обстоит и с «Евгением Онегиным», «Братьями Карамазовыми», «Даром», продолжение которого Набоков серьёзно обдумывал, но не написал, или любым иным сочинением с «открытым финалом».) Последняя встреча читателя с Алиной происходит на могилевском вокзале — никаких намеков на то, что с ней случится дальше, Солженицын в тексте не даёт. За указание на то, что герои расстанутся навсегда, можно принять реплику Алины: «А когда мы последний раз так ходили? Когда ты ехал в Петербург» (173). Могилёвская вокзальная сцена действительно отражает московскую (О-16: 14). Алина узнаёт начало своих бед (для неё несчастья начались именно с поездки Воротынцева в столицу и его романа с Ольдой) в их «конце», что психологически оправдано. Нечто подобное чувствует и Воротынцев. Но это — ощущения героев, которые не знают и не могут знать будущего, а не авторский знак завершения семейного сюжета. Можно предположить, что, развертывая в «Апреле...» «тягомотину» столь подробно, Солженицын свёл сюда тот сюжетный материал, что изначально должен был «распылиться» по нескольким Узлам. Эта гипотеза (если она верна) в известной мере объясняет генезис сложившегося текста, но не дает никакой информации о том, что произойдёт с Алиной за пределами «Апреля...». Мы в самых общих чертах знаем, что «потом» случится с Воротынцевым и Ксеньей и Саней (о чем ниже), но не со всеми прочими вымышленными героями. Да и о будущем исторических персонажей Солженицын говорит редко. Сильные исключения — Ободовский (Пальчинский) и Гвоздев (О-16: 31, где в зачине сказано и о расстреле инженера чекистами, и о трёх лагерных десятках активиста-рабочего) и Шингарёв, названный (впрочем, без пояснений) «закланцем нашей истории» (М-17: 3'). В конспекте «Узла Девятого» («Декабрь Семнадцатого») после цитаты из тюремного дневника Шингарёва дано горькое замечание в скобках: «Так и не поднялась в напуганном обществе кампания за освобождение Шингарёва, Кокошкина, Долгорукова: ревдемократы уклонились как чужие им; буржуазные круги и интеллигенция не решаются: мол, как бы не сделать арестованным хуже. И оставили на убийство».

раньше, — а встреча происходит. Это не простое сцепление случайностей, а судьба.

Сольный (адресованный одному новому знакомцу) танец Ксенья напоминает о неудачной пробе, танце для Ярика Харитоновна (М-17: 545), многодневные хождения с Саней по Москве (156) — о единственной прогулке с Яриком (М-17: 549). В марте Ксенья, ждущая любви, сердцем поняла, что Ярик — не тот, кто ей предназначен, и при всех своих сестринских чувствах к строгому, печальному и так нуждающемуся в женском тепле поручику ласково, но твёрдо его отвергла. Она ждала «своего» — и дождалась. И Саня, который не мог, «как Чернега, пойти к случайной тут крестьянке, лишь потому что её хата оказалась рядом», на офицерской вечеринке проникается правотой Краева: «Воюющему мужчине естественно знать ту женщину, к которой он должен вернуться, и весь его военный путь должен быть к ней» (М-17: 577). Этот фронтовой разговор он вспомнит в счастливые московские дни (156). Наверняка вспоминает и о том, как в тот же вечер мечтал «полюбить — по-настоящему». Как думал о предстоящей поездке в Москву — «ни к кому определённого», но туда, где «сами тёплые стены московских переулков — помогут. В чём-то. Встретить кого-то. Ведь каждому это обещано». Как глядел на молодой месяц, свет которого превращал ледяшки в драгоценности и устремлял душу в «зовущую, невыразимую, загадочную красоту» звёздного неба (М-17: 577). Когда Саня провожает Ксенью после первой встречи, «при поворотах извозчика полная луна с большой высоты щедро светила им то слева, то приветственно спереди, то снова слева, иногда скрываясь за близкими высокими зданиями, а то через реку напротив, — и всё это осталось как единое плавное счастливое проплывание под луной» (91). То, что было обещано под молодым месяцем, сбылось при полной луне.

Вглядимся попристальнее в историю молодой четы. Ксенья и Саня близкие земляки, но в родном краю не встретились. «...наш дом из поезда видно, когда проезжаешь, короткий миг» (91) — и Саня, отправляясь на войну, его не упустил: «А вот <...> показался верхний этаж кирпичного дома с жалюзными ставнями на окнах, а на углу резном балконе — явная фигурка женщины в белом <...>

Наверно, молодой. Наверно, прелестной.

И закрылось опять тополями. И не увидеть её никогда» (А-14: 2). Другую обитательницу этого дома (с балкона на поезд смотрела Ирина — А-14: 3) — лучшую, свою — Саня увидел и обрёл.

Они «год перед войной учились тут оба в Москве — и не встретились» (91). Но нашли друг друга, хотя тому не было никаких внешних причин. Только внутренняя — вера в единственную любовь, опровергающая новомодные представления о лёгкости соединений и страсти как мучительной борьбе.

Переполненная наконец ставшим явью чувством, Ксенья вступает в спор с самим Гамсуном: «Как будто: счастливой взаимной любви на земле вообще не бывает?

Но это — не так! Это было бы невозможно и чудовищно!» (91). Любовь даётся тем, кто сердцем знает: счастливы браки, что заключаются на небесах. «Они двое составили словно маленький челночок, бесстрашно взявшийся переплыть море, и в самое неподходящее время. (Корабельная метафора памятна нам по главе о вдруг потерявшем силу прежде столь самодостаточном Польщикове — 109. — А. Н.).

Выбились из толпы (как во всём выбиваются. — А. Н.) направо — и как раз к Иверской часовне». Влюблённых ведёт Высшая сила, и они это чувствуют. Потому и молятся вместе: «Соедини нас, Матьер Божья, прочно и навсегда» (156). Нет, взаимообретение Ксеньи Томчак и Исаакя Лаженицына не результат игры случая, но чудо. Единственное истинное чудо в «Красном Колесе».

Именно потому, что чудо действительно свершилось, Солженицын целомудренно не вводит этого слова в историю любви²⁷. Хотя оно много раз уже возникло на страницах повествования и вновь звучит в главе о Сане и Ксенье. Но не в их интимном контексте.

Герои попадают на митинг у городской думы, где держит темпераментную «революционно-оборонческую» речь черноморец Баткин. «Толпа ревела, аплодировала и даже со слезами: ах, как же он говорит! что за матрос! Как сердце укрепляет!

Рядом хорошо одетый плотный господин, задыхаясь:

— Это чудо, наши марсельцы! Народная душа возрождается на наших глазах.

Молодая дама под сеткой:

— А Керенский — разве не чудо?» (156).

Баткин говорит, в общем, вполне разумные вещи, но речь его, как и прославляемая оратором «железная дисциплина» Черноморского флота, гроша ломаного не стоит. Как и всё «севастопольское чудо», зыбкость которого остро чувствует его главный архитектор — адмирал Колчак, ответивший Гучкову на предложение возглавить уже разложившийся Балтийский флот: «...боюсь, что в Балтийском ничего не изменю. А Черноморский — совсем не так благополучен, как кажется. Я не уверен, что и мой престиж сдержит» (41). И если в апреле воли, харизмы и дипломатичности адмирала хватит на поддержание (и даже на разогрев) патриотического единения черноморцев (127), то уже в начале июня Колчак будет «изгнан матросами из Севастополя» (первая фраза конспекта Узла Пятого). Таково чудо «наших марсельцев». Что уж говорить о «чуде» рвущегося в короли шута-самозванца Керенского! Меж тем именно упование на чудо, невероятный поворот событий, появление «героя-вождя», пробуждение (возрождение) народной души, таинственное вмешательство Высшей силы в земные дела — главное умонастроение апреля, сменившее энтузиазм марта, когда столь многим казалось, что дальше всё пойдёт само собой.

²⁷ Оно прозвучит позднее — в начале главы о визите к Варсонофьеву.

Впрочем, один персонаж уповает на чудо уже в поворотный день России — это оставшийся после отречения в одиночестве Государь.

«Лежал.

А может — Чудо какое-нибудь ещё произойдёт? Бог пошлёт вызволяющее всех Чудо??

Покачивалось, постукивало.

Постепенно отходили все жгучие мысли, пропущенные через себя, изживаемые думаньем и покорностью, и покорностью воле Божьей» (М-17: 353). Надежда на чудо (предполагающая самооправдание и отказ от ответственности за случившиеся) — мартовский соблазн не только императора, но и императрицы, объясняющей Лили Ден: «Мы, которым дано видеть всё и с *другой* стороны, — мы всё должны воспринимать как Божью руку. Мы молимся — а всё недостаточно. (То есть, если будем молиться больше и проникновеннее, то Господь всё наилучшим образом устроит. — А. Н.) Из *другого* мира, потом, мы всё это увидим совсем иначе. С отречением Государя всё кончено для России. Но мы не должны винить ни русский народ, ни солдат — они не виноваты». И тут же императрица радуется вести о том, что «сводный гвардейский полк отказался сдать караулы пришедшим стрелкам! <...> Да ещё может быть с этого начнётся и весь великий поворот войск?!» (М-17: 514). Закономерно, что жена успокаивает наконец-то добравшегося до Царско-сельского дворца (вернувшегося домой, в покой семьи) императора: «О Ники, предадимся воле Божьей! О Ники, Господь видит своих правых! Значит, зачем-то нужно, чтоб всё так случилось. Я верю, я знаю: свершится чудо! будет явлено чудо над Россией и всеми нами! Народ очнётся от заблуждений и вновь вознесёт тебя на высоту» (М-17: 526). Чудо не должно торопить или вымогать. «Он (Государь. — А. Н.) оттого был внутренне спокоен, что твёрдо верил: и судьба России, и судьба его семьи находятся в руках Господа. Господь поставил его так, как он стоит. И что бы ни случилось — надо преклониться перед Его волей» (М-17: 639). Для отошедшего от «первого ожога развенчанности» императора самообманное чувство своей правоты и радости обычной семейной жизни (занятия с сыном, посещение церковных служб, домашние торжества, физический труд на воздухе) даже важнее, чем скрытая надежда на чудо. Логика его такова: если я прав (а я прав), то Бог меня не оставит. Неполное согласие Государя и императрицы обусловлено различием их темпераментов, в сущности же они воспринимают своё новое положение (и положение страны) сходно. «Ещё весь март Аликс надеялась и молилась, что сплотятся верные смельчаки, разгонят эту банду и вернут власть царю. И только медленно примирилась она со взглядом Николая, что отречься — было несомненно правильно, это избавило Россию от гражданской войны при войне внешней.

Николай всё время умягчал её смириться: всё равно мы ничего больше сделать не можем. Надо на всё происходящее смотреть с т о й стороны, как и она любила говорить» (134). Николай остаётся в том же просветлённом состоянии, в каком предстал читателю в последний раз на

страницах Третьего Узла, в лучезарный мартовский день за расчисткой от снега дорожки в парке: «Ничего в мире больше не видишь, кроме этого, Богом созданного, бело-сверкающего моря» (М-17: 639). Только теперь пришла пора огородничества: «Какая это благородная, возвышающая и вразумляющая работа — копка земли под посадку, под посев <...> Со вниманием освобождать плодородие ото всего, что выросло бы сорняками и заглушило бы доброе дело. Смотреть, как шевелятся дождевые черви, и радоваться, что их не разрезал <...> Древнее занятие! Ещё когда не было ни Византии, ни Греции, ни Вавилона — а уже так копали.

Масштабы тысячелетий! И что в них мы? и что наша история?» (134). Глубокая правда пропитана успокоительной ложью. Бурно прущие сорняки заглушат посев. Сострадательность к червям не отменит самоуничтожения страны в гражданской войне. Грядущие бедствия России (и царской семьи) рождают ужас и при свете тысячелетий. Сегодняшняя пассивность не искупит многолетних вопиющих ошибок, приведших к преступному отречению (Николай так и не может понять, что отрёкся от России), и не избавит от кровавого завтра. Когда же его зловещей поступи уже нельзя не слышать, остаётся только вновь адресоваться к Создателю:

«Господи, Господи, что же готовит Твоё Провидение нашей бедной России?..

Да будет воля Божья над нами!

Записал так в дневник, и после восклицательного поставил Крест» (134). Так сосуществуют в сознании императора ложная надежда на чудо, стремление укрыться от истории (переложив ответственность на кого-то другого, не столько спасти душу, сколько утишить муки совести) и прорывающееся отчаяние. И примерно такое же смещение чувств владеет Гучковым, многолетним противником царя, кажется ни в чем с ним не схожим. Только разные грани душевного состояния министра открываются в ином порядке, чем у низвергнутого самодержца.

Сперва — отчаяние в богоборческих тонах: «Да если бы Бог в самом деле был где в мире — как же мог бы Он распоряжаться так безжалостно и бессмысленно? На самом важном посту России и в самые отчаянные недели — как же бы рассудил Он отнимать силы? В чём тут замысел? что за рок? Или: это уже смерть подкатила?» (112).

Потом — мечта о благородном выходе из игры: «Гучков сказал министрам: а давайте уйдём все сразу, вместе? Вот это будет — достойный шаг. И по-русски, не цепляться за власть: мы вам не нравимся — мы уходим, справляйтесь сами». Так ведь этим и Николай, оставляя трон, руководствовался. И в апреле старается думать, что отречением уберёт страну от гражданской войны. Гучкову же — свободному от прекраснотушения венценосца — совершенно ясно, что отставка (коллективная или личная) не остановит развала армии и России. И всё равно, объявляя о своей отставке (снятии с себя ответственности) на совещании фронтальных делегатов, выговорив почти всю правду об охватившем страну безумии безвластия («Кто из народов не создал власти — их путь пошёл че-

рез кровавую анархию к деспотизму. Хотя трудно уже найти выход: наш путь ведёт нас к гибели!»), Гучков сбивается на знакомое — царское — «заклинание» (всего две главы отделяют отставку Гучкова от последнего появления Николая в «Апреле...): «Иногда кажется: только чудо может нас спасти. Но я — верю в чудеса. Я верю, что светлое озарение проникнет в народные умы — и даровитый русский народ, прозревший народ, выведет Россию на светлый путь» (137).

Не желающий уступать кому-либо дипломатическое ведомство Миллюков презрительно думает о предоставочной речи военного министра: «Гучков сболтнул напоследок, что верит в чудо. Какое чудо? — надо бороться. Всегда — надо бороться, и проиграв — тоже бороться». Он и борется — целое заседание правительства, с каждой минутой всё отчетливее понимая, что его участь уже решена. Проиграв же, гордо (упреждая нависающий ультиматум коллег) заявляет об уходе из правительства и покидает заседание, сохранив лицо, стуком двери отметив «конец первой эпохи Российской Революции».

«И вспомнил гучковскую веру в чудо. А если — случится чудо? И — вернут?

Лакей подавал ему пальто, шапку, — скользнула вдруг мысль: а может, была какая-то ошибка в его аргументах о проливах? Может быть, не надо было ему уж так настойчиво держаться за Константинополь? Как ни аргументируй — а идея-то не кадетская, не либеральная, это у него от обильных балканских связей. И от панславизма» (157).

Психологический рисунок, вместившийся в два абзаца, чрезвычайно сложен: здесь и честолюбие Миллюкова (но всё-таки честолюбие, неотрывное от понятия о чести), и его страсть к «политическим комбинациям», и способность анализировать собственные принципы, и почти детская обида (столь неожиданная в холодном «немецком» профессоре), и упрямая неуступчивость (дёрнулся от новой мысли, но не вернулся к «мерзавцам»)... Но всего неожиданнее внешне и всего естественнее по сути эта «царско-гучковская» надежда на чудо. И не то важно, что она может показаться «сниженной». (Что, дескать, за чудо в возвращении министерского портфеля?) Миллюков печётся не только и не столько о должности, он убеждён в своей правоте, в том, что нужен России в качестве министра иностранных дел. (Выше сказано — не без иронии, но и всерьёз: «Неожиданно и невидимо — мантия имперского наследия тяжело осенила плечи либерального профессора Миллюкова» — 36.) Важно, что в разливе народопрательства, кроме как на чудо, уповать больше не на что. Потому и отзывается речь Гучкова долгим эхом. Потому и готова не одна московская «молодая дама под сеткой» (156) увидеть «чудо» в Керенском, который и раньше щедро обещал всевозможные чудеса, а уж дорвавшись до военного министерства — тем паче (182). Потому и Троцкий кидает ходкую приманку пленуму Совета: «И мы убеждены, что все немцы, и все народы восстанут — и произойдёт чудо освобождения». А затем, заклеив вступление социалистов в правительство, снова гипнотизирует зал волшебным словом: «Конечно, и этот опыт не погубит страну, ибо революция слишком

сильна! Я — верю в чудо! — но не сверху (какой тут может быть Бог! Не зря Церетели резала глаза «лихо чертовская манера» Троцкого. — А. Н.), а снизу. От пролетарских масс» (184). Ну да, Гучков, призвав отвести «от лживый фимиам, который окружает нас», апеллировал именно к солдатской массе, предлагая ей совершить чудо: «Как русский человек, обращаюсь к вам с горячей мольбой: помогите!» (137). Вот Троцкий и взял на вооружение (вывернув наизнанку) его наработку. А за ним Церетели, точно так же, стараясь переиграть Троцкого, льстящий толпе и предлагающий ей поспешествовать желанному чуду: «Если вы поддержите нас — то мы войдем во Временное правительство и спасем Россию! А без вас — мы только щепки на гребне революционной волны...» (184).

Апрельская одержимость «чудом» проявляется независимо от личных свойств отдельных людей. Случай Милукова, весь склад которого должен отвергать (и до поры отвергает) любой «мистицизм», особенно показателен. Потому и ставит Солженицын историю отставки первого министра иностранных дел сразу за рассказом о счастливых днях Сани и Ксеньи (156, 157), сталкивая чудо истинное с чудом незаслуженным и оттого несбыточным. Так готовится короткий диалог Ксеньи и Варсонофьева, завершающий главу (180), что вкупе с еще одной — последней в «Апреле...» (186) — замыкает общий сюжет Четвёртого Узла и всего «повествования в отмеренных сроках».

Жизненные дороги Воротынцева и Лаженицына не пересекаются ни разу²⁸. Учитывая броуновское движение персонажей «Красного Колеса», многочисленность неожиданных их соприкосновений (вовсе не обязательно отыгрываемых далее на уровне сюжета), должно счесть, что автору была необходима именно *невстреча* главных героев повествования. Если писатель даже и планировал скрещение воротынцевской и лаженицынской линий в оставшихся ненаписанными Узлах, это дела не меняет. Работая над «Апрелем Семнадцатого», Солженицын знал, что этот Узел станет финальным. Пожелай он под занавес свести героев (что соответствовало бы романному стереотипу), измыслить и мотивировать соответствующий ход (например, появление Воротынцева в Москве) не составило бы большого труда. Обычного (в хронотопе исторической реальности) диалога между Саней и Воротынцевым не происходит, но заочный «метафизический» диалог их судеб играет в «Красном Колесе» весьма значительную роль. При очевидных возрастных, сословных и психологических различиях именно эти герои наиболее полно воплощают ту немалую (и разноликую) общность обычных, не облеченных властью и не наделенных незаурядным творческим даром, просвещенных русских людей, с которыми автор связывает и утраченную, но бывшую реальной возможность естественного, без социально-полити-

²⁸ Меж тем общие знакомые у них есть (Воротынцева с Саней «соединяет» Благодарев, с Ксеньей — Ярик), что еще раз свидетельствует о единстве огромного мира «Красного Колеса».

ческих потрясений движения страны в XX веке, и убежденное противостояние революции со всеми её долгими и страшными следствиями), и надежду на наше выздоровление в грядущем. Солженицын подчёркивает особый статус этих героев, ясно давая понять, кто был прототипом Сани («Отец автора выведен почти под собственным именем» — сказано в «Кратких пояснениях» к Первому Узлу, дабы у читателя, и так догадывающегося о «родовом» характере фамилии «Лаженицын», не осталось и малых сомнений), и одаривая Воротынцева своими заветными идеями и автопортретными чертами, вводя в его историю некоторые (неизбежно трансформированные иным историческим контекстом) эпизоды собственной биографии²⁹. Отсюда густота мотивных связей двух глав, в которых автор и читатели расстаются с героями, их взаимодополнительность и равная важность для «подведения итогов».

Саня вспоминает о Варсонофьеве, оказавшись с Ксеньей у Никитских ворот (156) в последний свой мирный день они с Котей дерзнули поздороваться со «звездочётом», что и привело к долгой беседе о главных (безответных) вопросах в пивной под «Унионом» (А-14: 42). Визит (без предупреждения) к пожилому человеку, с которым Саня общался единожды, больше двух лет назад, не менее безрассуден (формально — неприличен), чем уличное обращение к странноватому посетителю Румянцевского музея. Но эта вторая встреча необходима Сане, ибо он вновь стоит на пороге. Тогда — уходил на войну: сейчас — обрета любовь и предполагая скорую женитьбу, вступает в новую жизнь, одновременно чувствуя, что и общая прежняя жизнь с победой революции кончилась. Вновь сопрягаются начало и конец повествования — незаметный почти никому новый приход революции в Россию и её абсолютное (теперь уже неостановимое) торжество. Напомним о двух — «августовском» и «апрельском» — появлениях доктора Федонина, военных играх Юрика Харитонов в «Августе...» и внутреннем выборе, который он делает в «Апреле»; клятва, которую дают младший Харитонов и Кочармин в «Апреле», отражает решение Сани и Коти добровольно идти на фронт в «Августе». В тот же ряд встают два прощания с Москвой (Сани и Коти, а теперь — Сани и Ксенья, не знающих наверняка, что им никогда больше не пройти по этим улицам, площадям, бульварам, надеющихся на лучшее, но чувствующих, что может случиться и так³⁰) и второй

²⁹ Разумеется, указаний на «автобиографизм» образа Воротынцева в самом тексте нет. Существенно, однако, что к моменту публикации «Октября...» (1982—1983) некоторые (пусть неточные, «мифологизированные») сведения о личной жизни писателя стали достоянием определенной части читателей, чего автор не мог не учитывать. Тем более Солженицын должен был предполагать, что рано или поздно появится его обстоятельное жизнеописание, которое, кроме прочего, сделает явной автобиографическую основу семейной драмы Воротынцева.

³⁰ Уходящие воевать мальчики тоже теоретически предполагали, что могут больше никогда Москвы не увидеть. И тоже до конца в такой печальный итог не верили.

разговор с Варсонофьевым, в котором повторяются как темы, так и загадочные интонации разговора первого. Всё, что говорит Варсонофьев об истории и трагедии «перерыва постепенности» (зле любой революции), он — чуть приглушеннее, щадя юных собеседников, по-сократовски будя их мысль, — говорил и в пивной. И тогда он не столько утверждал (хотя понимал несравнимо больше, чем мальчишки), сколько спрашивал — и сейчас на вопрос Сани отвечает вопросом:

«— Что же — делать, Павел Иваныч?

— А вот — вы мне скажите, что делать» (180).

Всё, что говорит Варсонофьев о делах сегодняшних (плавлении кристаллической решетки, несоответствии результатов целям, нехватке ума у добросовестных интеллигентов, засилии пустых слов, истовой лести, соблазняющей младенческий народ и превращающей его в чернь и зверя, страшном кличе «подай!», страшном грузе власти), прямо следует из его старых намёков. Особенно для читателя, которому революция и начало народопрательства были явлены во всей их красе. Сане открыто меньше, чем нам. Но он готов пожертвовать временем, которое можно было провести вдвоём с возлюбленной (отпуск кончается; перспективы туманны), на странный визит, потому что догадывается: в давнем разговоре со звездочётом было нечто, что должно объяснить сегодняшний (виденный им воочию) развал армии и те тревожные события, о которых знает по газетам и слухам. Было — но тогда не до конца расслышалось. Вот и идёт с невестой дослышать, допонять. Слышит — страшное, худшее из того, что можно предположить. Варсонофьев не даёт успокаивающего ответа на Ксеньино «Но ещё может быть — уляжется?», не соглашается выдать вершителям революции индульгенцию за «идею любви к народу», предупреждает своих посетителей о грозящей им разлуке, не предлагает целительной программы действий.

Решать, как жить дальше, может лишь сам человек — хоть в Августе Четырнадцатого, хоть в Апреле Семнадцатого, хоть месяцы, годы, десятилетия спустя. Не кончившие курса студенты шли на войну добровольцами не по совету незнакомого им тогда звездочёта — он лишь понял и одобрил их выбор (который потом казался опрометчивым не только резко ударенному войной Коте, но и Сане). Почему они действовали тогда «правильно»? Не ошибался ли Варсонофьев? Именно война, по мысли Солженицына, торила путь революции. Воротынцев о ненужности этой войны думает уже в Первом Узле. Едва ли Варсонофьеву (не говоря об авторе) близка немудрящая аргументация Коти («Ведь не мы напали, на нас! На Сербию напали!» — А-14: 42). Всё так. Политика, приведшая к вступлению в войну, была бездарна. Армия не готова. Во всеобщем энтузиазме хватало дури и фальши. Сам Варсонофьев не может доказать правоты добровольцев. Но: «Когда трубит труба — мужчина должен быть мужчиной. Хотя бы — для самого себя. Это тоже неисповедимо. Зачем-то надо, чтобы России не перешибли хребет. И для этого молодые люди должны идти на войну» (А-14: 42).

И не умудрённый Варсонофьев, а простодушный Саня находит ответ (свой и Варсонофьева) на их общий вопрос: «Я думаю... я думаю... Простой человек ничего не может большего, чем... выполнять свой долг. На своём месте» (180). Ровно это чувствует Воротынцев с особенной предбоевой ясностью — в тот же самый день, на могилёвском Валу (186). Варсонофьев не скроет от гостей, что, по его суждению, так думающих и чувствующих людей слишком мало, чтобы спасти Россию. Но грандиозность беды не может служить оправданием тем, кто уклонится от битвы. Потому Варсонофьев оспаривает самого себя, сказавшего добровольцам, что «строй отдельной человеческой души важнее государственного строя» (180; А-14: 42). Проблема не в том, что мудрое правило это пригодно для «мирных эпох», но утрачивает силу, когда государство разваливается. Мирные эпохи срываются в революции (с последующими диктатурами), когда люди (не только стоящие у власти, но и простые) перестают угадывать иррациональный (но имеющий тайный смысл) ход истории. «Обязанности перед родиной — это и есть обязанности перед самими собой», — говорит Варсонофьев чуть раньше. Разгадка «августовской» загадки, которую Саня не мог найти до второй встречи со звездочётом, сопровождается пояснением: «А-а... Это — дорога <...> Дорога, что есть жизнь каждого. И вся наша История. Самое каждодневное — и из наибольших премудростей. На один-два шага, на малый поворот каждого хватает. А вот — прокати верно всю Дорогу. На то нужны — верные, неуклончивые колёса.

— Но колёса могут катиться и без Дороги, — возразил Саня.

— Вот это-то самое и страшное, — тяжело кивнул Варсонофьев» (180).

Тут вновь всплывает расхождение Сани с Толстым, о котором он рассказывал Варсонофьеву. Толстой не согласился с грамотным крестьянином, что предлагал поставить «перекувырнутую телегу» российского государства на колёса («на колёса поставите — и сразу в неё переворачиватели же и нелезут, и заставят себя везти, и легче вам не станет» — отрицающему государство как таковое Толстому равно чужды революция и реформирование), а для Сани было нелепо и обычную телегу бросить. Тем более телегу-государство (А-14: 42). Толстой не был так наивен и отрешён от жизни (в частности, русской), как видится многим его оппонентам. С «переворачивателями» стало только хуже. Но и после переворота принять правоту Толстого Солженицын и его любимые герои не могут. Стало хуже, потому что телегу ещё раз перекувырнули, потому что надёжных колёс не нашлось, потому что дороге (по которой и должно верным колёсам катить) предпочли бездорожье, где и разгоняется «красное колесо» (Ленину оно является раньше, чем происходит разговор Сани и Коти с Варсонофьевым). «Колесо» и «Дорога» — символы взаимосвязанные. «Красное Колесо» создано тем писателем, первая законченная большая вещь которого — поэма «Дороженька», поэма автобиографическая, то есть глубоко «личная», и в то же вре-

мя историческая (подобно символу Дороги в толковании Варсонофьевым). Скрытое соотнесение двух (первого и последнего) эпосов Солженицына и вся система «колёсно-дорожных» мотивов отсылают к одному из ключевых для русской культуры сочинений — «Мёртвым душам». Поэма Гоголя начинается толками двух русских мужиков о колесе (до Москвы доедет, а до Казани — нет), а заканчивается (суля величественное продолжение) превращением обычной дороги в метафорический (если не сказать — мистический) путь, по которому мчит Русь-тройка. (В земной ипостаси — бричка Чичикова, издевавшая бездорожье, не раз сбивавшаяся с намеченного маршрута, повредившая то самое колесо, о котором беседовали мужики, и тем крепко осложнившая положение своего владельца).

Проступив в «варсонофьевско-лаженицынской» главе, гоголевские реминисценции отчётливо окрашивают главу финальную, «воротынцевскую». Более того, именно при её свете проясняется и гоголевский план разговора звездочёта с юными гостями, и его глубинная семантика.

Картина, что открывается стоящему на могилёвском Валу герою (и читателю), прямо восходит к грандиозным панорамам, развёрнутым Гоголем.

«Видишь — так много России сразу, как не бывает повседневно.

Если взять чуть левей, восток-северо-восток, и перевалить через леса, взлететь и дальше — расстелется сперва Смоленская. Потом Московская. Потом Владимирская. А там — и наша Костромская. Всего-то — вёрст семьсот, куда покороче фронта. Недалеко.

Милая, печальная, обделённая сторонюшка костромская. Что же я не был в тебе так давно, давно, давно, давно?

А во взрослые уже наезды — та щемливая тоска, какая почему-то всегда зацепляла его в Застружьи, — от скудных ли полей; от изгиба дороги — вот тут была, и увильнула, и напрочь; от ветряной ли мельницы дальней? И та тоска достигла и сюда, и здесь крючком потянула за сердце.

Или — чувство, что никогда уже туда не вернуться?..» (186).

Внутренний монолог Воротынцева варьирует известнейший лирический фрагмент «Мёртвых душ» — обращение автора к родине: «Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного прекрасного далёка тебя вижу: бедно, разбросано и неприятно в тебе <...> Открыто-пустынно и ровно всё в тебе; как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечёт к тебе? Почему слышится и раздаётся немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря песня? Что в ней, в этой песне? Что зовёт, и рыдает, и хватает за сердце?»

И автор «Мёртвых душ», и герой «Красного Колеса» смотрят на Россию с запада. Русь для них — огромная равнина, лишённая выразительных красок (при цитировании опущен фрагмент, где Гоголь сравнивает Россию со зримо прекрасной Италией). Для Гоголя «невысокие горо-

да» — это лишь «точки» и «значки» (как на карте), взор солженицынского персонажа их вовсе минует. Повторяются опорные мотивы — бедности и тоски. У Солженицына нет слова «песня», но песенной (и гоголевской) становится интонация. По-гоголевски множатся вопросительные (музыкально повторяющиеся) конструкции, по-гоголевски неприметная обыденность окутывается тайной. Снижение лафоса (деловитовоенное — «вёрст семьсот, куда покорооче фронта») не отменяет доминирования памятной гоголевской мелодии. И без изгибающейся, ускользающей, исчезающей дороги — символического мотива, очень важного для поэтического мира Гоголя и уже истолкованного Варсонофьевым, — здесь тоже не обошлось.

Видение Воротынцева, безусловно, сверхреально («психологическая» мотивация — герой видит всю Россию мысленным взором — не колеблет сакральной семантики эпизода). Не произнесённое здесь слово «чудо» угадывается читателем, помнящим другую — более раннюю — гоголевскую фантастическую трансформацию пространства.

«За Киевом показалось неслыханное чудо. Все паны и гетманы собиравались дивиться сему чуду: вдруг стало видимо далеко во все концы света». В «Страшной мести» — первом «апокалипсическом» сочинении Гоголя — пространственное чудо предвдвывает развязку, где возмездие настигает не только величайшего грешника, колдуну, всех его предков и первопреступника Иуду Петра, но и мстителя Ивана, а вместе с ним весь людской род. ««Страшна казнь, тобою выдуманная, человеце! — сказал Бог. — Пусть будет всё так, как ты сказал, но и ты сиди вечно там на коне своём, и не будет тебе царствия небесного, покамест ты будешь сидеть там на коне своём!» И то всё так сбылось, как было сказано: и донныне стоит на Карпате на коне дивный рыцарь, и видит, как в бездонном провале мертвецы грызут мертвеца, и чует, как лежащий под землёю мертвец растёт, гложет в страшных муках свои кости и страшно трясёт всю землю...» Преступление Петра — братоубийство, страшная месть его побратима не кладет предела злу (низвергнутый злодей трясёт землю «по всему миру», «от одного конца до другого» — «и много попопрокидывалось везде хат, и много задавило народу»). Видение Воротынцева предшествует долгой, невероятной жестокой братоубийственной гражданской войне, разрушительная энергия которой не иссякла вполне и по сей день. Разумеется, здесь нет прямой аналогии, в последней главе «Апреля...» отсылка к «Мёртвым душам» и считывается чётче, и значит больше, чем реминисценция «Страшной мести», но тень этой гоголевской повести всё же ложится на финал «Красного Колеса».

Неслучайность появления гоголевских мотивов в финале «Апреля...» подтверждает зачин главы о пребывании Воротынцева в Киеве (городе, близ которого, у Гоголя «показалось неслыханное чудо»). «К каждому городу, где побывал (а во многих), Воротынцев испытывал отдельное чувство, отличал этот город и людьми, которых там успел узнать, и видом улиц, бульваров, обрывов над реками, церквами на юру,

и ещё многими особенностями <...> И ещё везде — теми излюбленными местами, Венами, Валами, где жители привычно собираются, узнают, говорят. Да кроме деревенской что ж Россия и есть, как не два сорока таких городов? В разнообразии их ликов — соединённый лик России.

А тем более отдельное чувство — к Киеву <...> Безсмертно высится этот кусок древней Руси, на самом деле не третья столица, а первая» (М-17: 379). Рассуждение это заставляет вспомнить о Гоголе. Во-первых, оно строится сходно с ещё одной гоголевской панорамой, где разнообразие России сравнивается с разнообразием всего Божьего мира: «Как несметное множество церквей, монастырей с куполами, главами, крестами рассыпано на святой благочестивой Руси, так несметное множество племён, поколений, народов толпится, пестреет и мечется по лицу земли». Развёрнутые, но вмещённые в один сложный синтаксический период, описания разноликих городов у Солженицына тоже ассоциируются с гоголевской поэтикой. Как и претворение «многообразия» в единство. Прочитированные строки входят в апологию русского слова, выражения души России: поводом для гоголевского восторга послужило «неупотребительное в светском разговоре» существительное, а архитектурная (но всегда священная — мирские здания не упомянуты) многоликость страны предстает аналогом её словесного (душевного) богатства. Во-вторых, многоликая, единая и великая Россия в гоголевской поэме ещё таится под покровом «открыто-пустынного» пространства, это не столько явь, сколько обещание — Россия ждёт чудесного преобразования. Солженицын такое видение России полагает ложным и опасным: в «Марте...» пустым (лишённым истории и полноценной жизни) «простором» мыслят Россию большевики, рвущиеся творить здесь свои эксперименты (М-17: 654; этот смысловой комплекс рассмотрен в сопроводительной статье к Третьему Узлу). Солженицын то сближается, то расходится с Гоголем — что будет происходить и в последней главе «Апреля...», мизансцена которой подготовлена в «гоголевско-киевском» периоде: там упоминались Валы и Венцы — с могилёвского Вала Воротынцеву и откроется вся Русь. Связь могилёвского эпизода с киевским актуализирует в памяти читателя не только «Мёртвые души», но и «Страшную месть» — в древнейшей столице Воротынцев переживает первое откровение: «Зажатый беспомощной чуркой, ощутил, что эту революцию, ошеломившую его в Москве, вот он в Киеве уже ненавидит» (М-17: 379). Там он ничего сделать не мог («Не шашкой же размахивать» перед беснующейся толпой?) — теперь готовится к бою.

Увидев родину (и не только всю Россию, но и родину малую), Воротынцев не чаёт её счастливого преобразования и не задаётся вопросом о своём назначении. Он знает, чего Русь от него хочет. «Родина моя! Не радиво мы тебе служим. Дурно.

И дослужились» (186).

Не должно ждать появления «беспредельной мысли» и могучего «богатыря». «Благодарный воин» (тот самый древнерусский бога-

тырь) Нечволодов не сумел донести открывшуюся ему истину — «революция уже пришла» — не только до Государя³¹, но и до Воротынцева, который теперь с горечью и раздражением «договаривает» ещё один экзальтированный монолог Гоголя. Как же, запомнил полковник (как и все мы) со школьных лет: «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несёшься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, всё отстаёт и остаётся позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых свету конях? <...> Русь, куда же несешься ты? дай ответ. Не даёт ответа. Чудным звоном заливаются колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо всё, что ни есть на земле, и, косясь, стараются и дают ей дорогу другие народы и государства».

Воротынцев, игнорируя «чудный звон», даёт ответ: «А вот уже: прославленная Тройка наша — скатилась, пьяная, в яр — и уткнулась оглоблями в глину³²».

Всё хвастали.

Что за обычай был у нас — превозноситься? Подбочениваться с этаким лихим превосходством» (186). (Как ни обидно, но и гоголевский обычай³³.) Сходно сокрушается Варсонофьев: «А мы и Европу кинулись поучать свысока» (180).

Воротынцев будет стоять до последнего: «Сколь бы мало нас ни сплотилось, — ни это правительство, ни Совет не отнимут у нас последнего права: ещё раз побиться» (186). Он, не слыша московского разговора, не зная о существовании Варсонофьева, Ксеньи и Сани, мыслит и чувствует в унисон с ними. Тех, кто будет исполнять долг на своём месте, мало, но они есть. Честью поступиться нельзя. Теряя Россию, теряя

³¹ Тут уместно напомнить о том, что сакральность венценосца — любимая мысль Гоголя, что предполагавшееся в третьем томе поэмы воскресение Чичикова («мёртвых душ», России) должно было свершиться монаршей волей. Излишне, кажется, еще раз объяснять, сколь чужда монархическая мифология автору «Красного Колеса».

³² Любопытно, что сходный образ обнаруживается в, кажется, первом опыте художественной полемики с поэмой Гоголя — заключительной главе повести графа В. А. Соллогуба «Тарантас» (1845). Герой видит сон, в котором везущий его экипаж (символ устойчивости, традиции и консервативности) превращается в птицу и доставляет своего пассажира в чудесно изменившуюся Россию, где обретается столь же чудесно изменившиеся его прежние недостойные знакомцы (двусмысленная игра с главной идеей гоголевской поэмы). Герой, воскликнув: «Есть на земле счастье! <...> Есть цель жизни... и она заключается...», пробужден сильным ударом: «Кто бы мог подумать... тарантас опрокинулся».

В самом деле, тарантас лежал во рву вверх колесами».

³³ Разумеется, в «Выбранных местах из переписки с друзьями» и эпистолярной Гоголя нетрудно отыскать призывы к самоограничению, неукоснительному исполнению всякой службы, терпению, равно как и порицания самохвальства. Только помнятся они много хуже, чем летящие строки о птице-тройке.

ешь и себя. Пока ты есть, пока есть люди сходного душевного строя, есть и Россия. (Солженицын не «сводит» Воротынцева с Саней, дабы сильнее обозначить их сущностную близость, не зависящую от внешних обстоятельств; то же касается и других, не столь уж малочисленных, персонажей, которым не дано найти друг друга в хаосе, соединиться, победить, но дано сохранить своё достоинство и достоинство отчизны.) «Нет, впереди — что-то светит. Ещё не всё мы посадили» (186). Без этого чувства в бой идти бессмысленно. Как бессмысленно уповать на вмешательство Высшей силы в земную «рукотворную» катастрофу: не видит Воротынцев Божьего чуда в «наводящем ужас движении». Вслушиваясь в его спор с Гоголем, вспоминаешь о колёсах, катящих без дороги. И о прощальных словах Варсонофьева.

«— Но может случиться и чудо? — едва не умоляя, спросила Ксенья.

— Чудо? — сочувственно к ней. — Для Небес чудо всегда возможно. Но, сколько доносит предание, не посылается чудо тем, кто не трудится навстречу. Или скудно верит. Боюсь, что мы нырём — глубоко и надолго» (180). Варсонофьев отвечает многим персонажам «Красного Колеса» — тем, кто устал трудиться навстречу чуду, чья вера ослабела, кто и о чуде говорит (молит) по инерции. Ксенью же этот грустный ответ, кажется, должен ободрить, а не удручить. Она трудится навстречу чуду и верит нескудно. В день, когда жених и невеста отправились на Малый Власьевский, весна отступила, едва не пошёл снег. «Она ёжилась от холода, но наперекор всей пасмурности была весела.

И правда же: чудо (вот и прозвучало наконец это слово применительно к юной чете. — А. Н.) их знакомства и сближения — был свет, свет десятикратный против всех (конечно, не только погодных и бытовых. — А. Н.) нескладностей» (180). Ксенью чудо посетило. И не последнее.

В Александровском саду Ксенья рассказывает Сане, как гуляя здесь в дни революции, глядела она на играющих детей и мечтала о сыне (М-17: 416). «Но ведь и Саня хотел — именно! именно сына!

И открылось говорить о нём — как уже о сущем». После молитвы у Иверской они «пошли — и опять мимо Александровского.

И опять — о том же, о нашем.

Как они будут жить — для него.

Как будут его воспитывать. Вкладывать всё лучшее. Доброе» (156). Сын родится³⁴ — сын станет тем самым писателем, что словом оживит своих родителей, их любовь, их Россию, которая, и сверзившись во тьму, останется для него единственной и родной Россией. Той Россией,

³⁴ Здесь приходится выйти за пределы повествования и подключить к интерпретации текста факты биографии Солженицына, но иначе прочесть этот эпизод (и все, что из него следует) просто невозможно. Само место действия — Александровский сад — отзывается в имени писателя. «Домашняя», уменьшительная форма этого имени повторяет отцовскую: в «Красном Колесе» Исаакий Лаженицын, как правило, именуется «Саней».

чьи дочери и сыновья должны и смогут нескучно верить и трудиться на встречу чуду — выздоровлению своей страны.

Вернувшись от Воротынцева к молодым героям, понимаешь, что отнюдь не только полемика важна Солженищину в его диалоге с Гоголем, писавшем поэму о грядущем воскресении мертвых. Совсем не случайно в монологе на могилёвском Валу голос героя слит с голосом автора «Красного Колеса». Тоже (как Гоголь) смотрящего на Россию (в отличие от Гоголя — не по своей воле) из западного далека. Тоже, как Воротынцев, в поворотную пору. В канун близкого падения коммунизма, когда Солженищын напряжённо думал о том, «как бы нам, вместо освобождения, не расплющиться под его развалинами» («Как нам обустроить Россию?»). Неявный автопортрет писателя в главе последней соотнесён с темой его будущего рождения в главах «лаженищынских».

Русская литература XX века одарила нас несколькими книгами о становлении писателя, его пути, его избранничестве, о том, как его слово, преодолевая мрак бытия, побеждает смерть: «Дар» Набокова, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Пушкин» Тынянова, «Доктор Живаго» Пастернака... В этот ряд входит роман «В круге первом», роман, автобиографический герой которого, для того чтобы стать писателем, покидает относительно уютную шарашку и спускается в лагерный ад. Он вернётся и расскажет о том, что видел. Центральная точка романа о Глебе Нержине (конец первого тома) — тост «з а в о с к р е с е н и е м ё р т в ы х». Соответствующая ей точка «Апреля...» — клокочущее в душе Ксенья: «Радость! Радость! Радость!». «Дороженька» и «В круге первом» — веки писательского пути, ведущего к замысленной прежде них большой книге о русской революции. Книге — повторим еще раз, — воскрешающей Россию. Понятно, почему в ней необходимо появление будущего автора. «Есть ли что-нибудь на свете сильнее — линии жизни, просто жизни, как она сцепляется и вяжется от предков к потомкам?» (156)³⁵.

В разговоре с уходящими на войну мальчиками Варсонофьев сравнивает историю с рекой — «у неё свои законы течений, поворотов, завихрений», не подвластные умникам. «Связь поколений, учреждений, традиций, обычаев — это и есть связь струи» (А-14: 42). В «Апреле...» реки, словно соответствуя революции, буйствуют. Но Солженищын не

³⁵ Варсонофьев, разумеется, не знает, что станет с его посетителями. И тем более не может и предположить, что у них родится сын, который напишет о русской революции так, как, наверно, написал бы он сам. Но именно после неожиданного визита затворник, с основанием презирающий политическую возню и убеждённый (справедливо), что «история создается не на митингах», признается себе: «только через земные события мы можем вести и космические битвы». Он думает, что ему предстоит покинуть обжитый дом, куда-то ехать, искать свою дорогу, действовать. «Эта жизнерадостная молодая чета даже кстати сегодня пришла Варсонофьеву. Поддала и веры. И сочувствия. И решимости» (185). Читатель тут должен вспомнить сон о запечатлении церкви, в котором Варсонофьев видит свою — давно отделившуюся от него — дочь и чувствует, что «они снова были душами слитно, все иное вмиг отшелушилось как случайное» (М-17: 640).

был бы собой, если б не ввёл в Четвертый Узел два совсем иных речных пейзажа, напоминающих о вечности и таинственно сопряженной с ней большой человеческой истории. «Сегодня, слышала Вера, пошёл по Неве ладожский лёд. Он — всегда позже неевского, с перерывом, и огромные бело-зелёные глыбы. У мостов и на загибах реки, говорят, заторы. Сходить посмотреть.

Осколок вечного величия — до нас, после нас» (11). И никаких сопутствующих больных современных мотивов, что лепились к неевскому ледоходу, разливу Дона, волжским штормам. Сходит наводнение и на Днепре, на который глядит с Вала брат Веры. «Что за радость — обширного взгляда с горы. На реку, на пойму, на даль. Как будто возносишься над своей жизнью.

Вот так бы похорониться: на крутом берегу русской реки, против широкой поймы. И на берегу западном, чтобы ноги к реке и с малым уклоном — как будто и лёжа всегда видеть и водную ширь, и восходы солнца на ней» (186). Видеть — значит не вполне умереть. Как взгляд Воротынцева охватывает всё большие пространства, так мысль его уходит от смерти к битве за будущую жизнь. Ту, за которую придётся уложить себя под неведомо какой камень.

Исход боя известен. 5 мая, в тот день, когда Саня и Ксения приходят к Варсонофьеву, а Воротынцев глядит далеко за Днепр, в Россию возвращается Троцкий (176). Финалы «личных» сюжетов вставлены в череду «ленинско-троцких» глав, в хронику консолидации активного зла (176, 179, 181, 183, 184), на фоне которого столь жалки «блистательный» пуштознов Керенский (182) и усталый, уже робеющий перед Троцким Церетели (184). За текстом «Апреля...» помещён чёрный «Календарь революции», последняя строка которого — незабываемый для тех, кто жил при советской власти, выкрик Ленина на 1-м Всероссийском съезде советов: «Есть такая партия!» Есть. Она готова взять власть и её возьмет. На без малого 74 года.

То, что началось в «Августе Четырнадцатого», закончилось «Апрелем Семнадцатого». Предваряя «На обрыве повествования» Солженицын пишет: «...нет другой решительной собранной динамичной силы в России, как только большевики: октябрьский переворот уже с апреля вырисовывается как неизбежный». Но история не равна политике. «Апрель...» — книга не только о распаде и растерянности, но и начале прозрения и сопротивления (на него не хватило сил, но оно было), о сохранении человеческого достоинства, без которого не сберечь веру, культуру, народ, страну. Потому так важны расплывённые по тексту Четвёртого Узла главы о вымышленных персонажах и личные мотивы в главах о персонажах исторических. Потому так важно узнать о встрече Сани и Ксении (и будущем рождении писателя) и увидеть Воротынцева (а сквозь него — Солженицына) на Валу истории.

Писатель не досказывает множества личных историй, а любимых героев оставляет в тот момент, когда будущее их туманно и

предполагает новые тяжкие испытания. (Воротынцев не вспоминает в «Апреле...», что старый китаец нагадал ему «военную смерть» в 1945 году (А-14: 55); Ксения и Саня, в отличие от читателей, по необходимости отождествляющих героев с их прототипами, не знают своего будущего.) Такой — открытый, что не противоречит художественной завершенности, — финал подсказан большой национальной традицией. «В минуту злую для него» расстаётся с Онегиным Пушкин; гадательны судьбы Веры и Райского в «Обрыве»; Раскольникову и Соне предстоит трудный путь возрождения; в новую — совсем не простую — жизнь входит подросток Аркадий Долгорукий; предыстория Алеши Карамазова (и пестуемых им мальчиков) не получает продолжения; распахнуты в неведомое финалы трёх романов Толстого, протагонистам которых (Пьеру, Лёвину, Нехлюдову) кажется, что они обрели правду...

Построить (придумать) «затекстовое бытие» вымышленных литературных персонажей невозможно (все сторонние продолжения шедевров комически нелепы и беспомощны), но мы знаем, что герои, которых автор, завершив книгу, отпускает в непредсказуемую жизнь, входят в нее, усвоив уроки прошлого, мы предполагаем их духовный рост, мы надеемся, что они будут достойны полученного от их создателя прощального дара³⁶. Те же чувства мы испытываем к Георгию и Вере Воротынцевым, Ксении и Сане, Варсонофьеву, Андозерской, Ликоне, доктору Федониному, братьям Харитоновым, лишь однажды (совсем ненадолго) возникающим в Четвёртом Узле Виталию Кочармину и журналисту Самойлову, и к вовсе не появляющимся на страницах «Апреля...» (но памятным по предыдущим Узлам) Арсению Благодарёву и его семье, Калисе, генералу Нечволодову, инженеру Архангородскому, медицинской сестре Тане Белобрагиной, рабочему Агафангелу Диомидовичу, что спрятал от бушующей солдатни капитана Нелидова (М-17: 204), ко многим людям, чьи лица мелькают в огромном — иногда и по имени не названным. Хорошо никому из них не придётся (многие погибнут), но своей человеческой красоты, достоинства, благородства, добрых чувств они потерять не должны — ни в мясорубке гражданской войны, ни в железных большевистских тисках, ни (если кому-то выпадет участь изгнанника) на чужбине. Они не вымышленные герои (вне зависимости от наличия или отсутствия прототипов) — такие люди были. Они менее виновны в разразившейся беде, чем даже самые совестливые, честные, стремящиеся к добру политики и идеологи³⁷. Исходящий от них свет сильнее «бесспорного» выкрика чужого победу Ленина. Лучшими героями «повествования в отмеренных сро-

³⁶ Этим Онегин радикально отличается от Печорина или Ставрогина.

³⁷ Можно и должно сострадать тем, кто дорого (иные, как царская семья, Шингарев, Кокоскин, — жизнью) заплатил за свои старые грехи. Можно и должно отличать Милюкова от Львова или Керенского. И даже Керенского — от Лени-

ках» и теми их потомками, что сумели стать настоящими детьми своих родителей, внуками своих дедов, наследниками своих пращуров, сохранилась Россия. Один из них совершил чудо — выстояв на войне, в лагерях и в поединке со смертельным недугом, создал эпос русского XX века, написал «В круге первом», «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ», «Красное Колесо».

* * *

Итак, мы «на обрыве повествования». Перед всяким писателем-историком неизбежно встаёт вопрос о хронологических границах его труда. Проблема «начала» и «конца» — это проблема как сюжетной организации текста, так и его глубинного смысла, авторской трактовки истории. Солженицын мыслил исторический процесс текучим (потому Варсонофьев и сравнивает Историю с рекой), что не только подразумевало неприятие всех революций, но и затрудняло «выделение» и «членение» материала. Рано «угадав» роковую роль вступления России в Мировую войну (и соответственно необходимость «военного» зачина повествования о революции), Солженицын, тем не менее, вводит в «Август Четырнадцатого» сплотку «Из Узлов предыдущих» (12 глав), а в «Октябре Шестнадцатого», подробно рассказывая о полувекковой расправе власти и общества, не забывает заметить, что рознь началась много раньше (декабристы, заговор, приведший к убийству Павла I, «немецкие переодевания Петра», «соборы Никона»), «но будет с нас остановиться и на Александре II» (О-16: 7). В «Красном Колесе» близкие автору герои вспоминают (и призывают помнить!) не только величественное прошлое России (генерал Нечволодов в обращённых к читателю из народа «Сказаниях о русской земле», где «православие <...> всегда право против католичества, московский трон против Новгорода, русские нравы мягче и чище западных» — А-14: 21; Струве на Троицком мосту в канун революции — М-17: 44), но и тёмную составляющую национальной истории: «Это, может, до монголов было — нравственная высота, а мы как зачли, так и храним. А как стали народ чёртовой мешалкой мешать — хоть с Грозного считайте, хоть с Петра, хоть с Пугачёва — но до наших кабатчиков непременно и Пятый год не упустите, — так что теперь на лике его (народа. — А. Н.) не

на. Но нельзя забыть, как старая власть и ее просвещенные оппоненты влекли Россию к революции. И как творцы Февраля явили свое бессилие — тоже нельзя. Не зря Солженицын приводит речь Василия Макалова на частном совещании думцев: «Если же оно (коалиционное правительство, сформированное после апрельского кризиса. — А. Н.) не спасет России, а, подчиняясь Ленину, побегут назад солдаты (так и вышло. — А. Н.), — то, господа, какие б слова мы ни говорили, где б ни искали виновных, как бы каждый из нас ни оправдывал себя (это — Милюкову), — потомство проклянет наше время, нашу революцию и всех тех, кто к ней приобщился...» (172).

зримом? что там в сокрытом сердце?» — втолковывает Сане и Коте Варсонофьев (А-14: 42).

«И кто теперъ объяснит: г д е ж это началось? к т о начал? В непрерывном потоке истории всегда будет неправ тот, кто разрежет его в одном поперечном сечении и скажет: вот здесь! всё началось — отсюда!» Начал, однако, Солженицын «Красное Колесо» не с Грозного, декабристов или народовольцев, но с первого поражения в невиданной войне (ретроспективные главы, прямо или косвенно связанные с фигурой Столыпина, во многом строятся как исследование упущенного варианта мирного роста реформируемой страны). Потому что писал он не книгу обо всей русской истории, но о русской революции, для раската и победы которой принципиально значимы события лета 1914 года. Когда кропотливое изучение исторического материала (вкупе с собственным духовным, интеллектуальным, творческим движением) подвело писателя к выводу о том, что двух революций в 1917 году не было, а октябрьский государственный переворот есть логичное и неизбежное следствие февральско-мартовской насильственной перемены власти (и мгновенно образовавшегося двоевластия), он почувствовал, что *повествование о революции* закончено, что дальше может писаться уже *другая* книга. Скорее всего, не менее масштабная и многоплановая, наверняка — дающая не меньший простор художнику, безусловно теснейшим образом сцепленная с предшествующей, но — *другая*. «Узел» для Солженицына — это временная точка, из которой история может двигаться по разным траекториям. Первые три книги (употребляю нарочито расплывчатое слово, дабы уйти от тавтологии) «Красного Колеса» были именно «узлами», четвертая — грандиозным эпилогом (и прологом к ненаписанному), показывающим, что после включения в политическую борьбу Ленина и Троцкого (появившись лишь в последний день повествования, будущий организатор переворота играет в «Красном Колесе» исключительно важную роль), альтернативность сходит на нет. Большевики могут проигрывать ситуационно (что и показано в «Апреле...»), но историю они уже оседлали. Их дальнейшие неудачи (в июне 1917 года, в ходе гражданской войны) — всегда временны и «поправимы». Их нацеленность на захват (потом — удержание) власти любой ценой и не укладывающаяся в привычные представления жесткость (которую уже в «Апреле...» Ленин и Троцкий не устаивают скрывать) будут только возрастать. Называя Пятое действие повествования (от «Октября Двадцатого» до «Весны Двадцать Второго») «Заковкой путей», Солженицын утверждает, что «пути» были проложены прежде — как сказали бы герои «Красного Колеса», реку русской истории уже направили в другое — удушающее русло, телегу государства уже перекувырнули, приладили к ней новые колёса и набили переворачивателями. В послеапрельской истории нет места «узлам» в прежнем значении слова, хотя безжалостное и часто хаотичное противоборство многих исторических сил продолжается. Смертным боем бьются «на-

ши против своих» (Четвёртое действие, от «Ноября Восемнадцатого» до «Января Двадцатого») — нет единого антибольшевистского «фронта», почти (за малыми исключениями) нет политических фигур, во все чуждых революции, так или иначе ей не поддавшихся, и — что самое чудовищное — это не в меньшей мере характеризует огромные крестьянские, солдатские, рабочие массы. Что понятно уже по «Апрелю...», где явлены развал воюющей армии, пандемия дезертирства, самоуправство тыловых частей, не желающих идти на фронт и чувствующих себя хозяевами городов их дислокации, мужицкое сведение старинных счетов с «господами», дикий рост требований рабочих... Всё решено; дальше — не качественные, а количественные перемены. «Народоправие» (двоевластие, маскирующее безвластие) не может тянуться долго, а потому большевики совершают «переворот», отзывающийся гражданской войной, победу в которой закономерно одерживает партия «крови и железа», и превращением временной (словно бы вынужденной обстоятельствами) диктатуры в идеократическо-тоталитарную (не оставляющую места человеку) систему, рассчитанную на вечность.

В том, что Солженицын остановил своё повествование в тот момент, когда русская история вошла в советскую тьму, ничего удивительного нет. Роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» написал Загоскин, а пьесу «Рука Всевышнего отечество спасла» — Кукольник. Хулить этих сочинителей (что делалось часто и грубо) едва ли резонно (писали как могли — Загоскин так и неплохо, были безусловно искренни и руководствовались своим чувством не меньше, чем идеологическим заказом эпохи Николая I), но должно признать: именно средние литераторы были сосредоточены на выходе из Смуты, установлении священного порядка, обретении народного единства, выразителем которого оказывался всенародно избранный на царство основатель новой династии. (Когда великий Островский взялся за историю Минина, получила далеко не лучшая его вещь, хотя работал драматург воодушевлённо, возлагал на пьесу большие надежды, радикально — и тоже с увлечением — переделывал...) Пушкин написал «Бориса Годунова» о «настоящей беде» — низвержении Руси в Смуту. (Так же поступил А. К. Толстой; сперва — в «Князе Серебряном», где знаки приближения Смуты не менее важны, чем тирания одержимого дьяволом царя, еще последовательнее эта линия проведена в драматической трилогии.) Счастливо (сказочно) завершающаяся «Капитанская дочка» пропитана тревогой о будущем — весьма вероятном грозном повторении пугачёвщины при еще большем, чем в екатерининское царствование, унижении и оскудении старинных — верных чести — дворянских фамилий, опрометчивом вытеснении их в «оппозицию». Декабристский сюжет (зерно великой книги) в эпилоге «Войны и мира» лишь намечен. Толстой дает понять, что одоление внешнего врага и семейное благоденствие обретшего Наташу Пьера — вовсе не итог русской истории (и влечённых в неё человеческих историй), но отказывается от рассказа о тайных обществах,

восстании, следствии, годах каторги и ссылки, столкновении старых героев с эпохой реформ³⁸. Можно уверенно сказать, что, завершая «Красное Колесо» «Апрелем...», Солженицын ещё раз подтвердил свою укоренённость в национальной литературной традиции.

Разумеется, писатель мог и продолжать работу над «повествованием в отмеренных сроках» — инерция первоначального замысла была очень сильной, а «выпрямление» исторического процесса (утрата альтернатив) не отменяло (пожалуй, усиливало) его трагичность и уж точно не мешало развёртыванию конкретных сюжетов шекспировского масштаба (так Солженицын в «Дневнике Р-17» говорит об августовских событиях 1917 года — героической попытке Корнилова остановить революционное безумие и о провокаторско-предательском выверте Керенского). Читая «На обрыве повествования», не раз сетуешь, что эта сверхгустая проза осталась не развёрнутой. Жаль, что ярчайшие характеры исторических персонажей, как уже хорошо знакомых, но действующих в новых ситуациях (например, Пальчинский — Ободовский «Красного Колеса»), возглавляющий 25 октября оборону Зимнего дворца, или Шляпников в роли лидера «рабочей оппозиции», или Колчак, ставший Верховным правителем Сибири, а потом выданный большевикам), так и лишь теперь введённых в повествование (например, Савинков, Врангель, Антонов) очерчены бегло, а то и одним намеком. (О Врангеле в Крыму: «При непрерывных боевых действиях попытки строить модель новой — «Октябрь Двадцатого» — как хочется здесь увидеть живого человека!) Жаль, что большевистские мятежи (неудачный — июльский и триумфальный — октябрьский) представлены не так объёмно, как февральско-мартовский бунт и апрельское столкновение демонстраций. (Хотя дорогого стоят и графически жёсткий, предельно убедительный, начисто изничтожающий стопудовую советскую мифологию, «чертёж» ползучего октябрьского переворота, и нагруженные

³⁸ В этом отношении русские классики решительно расходятся с Вальтером Скоттом, в романах которого напряжённое (иногда весьма жестокое) противостояние двух исторических сил, как правило, заканчивается примирением или компромиссом (и «наградением» главного героя — достойного джентльмена, чуждого фанатизму обеих противоборствующих сторон). Огрубленно очерченную здесь сюжетную схему Вальтер Скотт переносит из одной исторической ситуации в другую (иногда — не далеко отстоящую во времени), но никак не указывает на повторяемость коллизии — эпилоги его романов не предвещают будущих нешуточных бурь, они не воспринимаются как «прологи» тех сочинений шотландского чародея, что посвящены более поздним историческим катаклизмам. Отличие высших образцов русской исторической словесности от романистики Вальтера Скотта (незаслуженно выведенной в XX веке за пределы серьёзной словесности) обусловлено, видимо, как несходством общих «формул» историй двух народов (и их ментальностей), так и тем, что на рубеже XVIII — XIX столетий (когда историзм стал важнейшей составляющей всей европейской культуры) социально-политические уклады (а следственно — насущные проблемы и перспективы) России и Англии рознились очень существенно.

огромным смыслом, включающие мощные ассоциации и сразу врезающиеся в память фразы и абзацы³⁹. А что не явилась страшная и величественная картина тамбовского восстания («антоновщины») — разве не грустно? (Ну, тут утешаешься тем, что можно читать двучастные рассказы — «Эго» и потрясающее начало «На краях».)

А какой захватывающей (и жуткой) могла стать история несостоявшегося российского Бонапарта? «Этюд о поручике Тухачевском: возвратился из плена в свой Семёновский полк; солдаты запасного батальона за У<чредительное> С<обрание> и против большевиков, офицеры почти все устранены; наполеоновский замысел: поднять их, двинуть...» («Декабрь Семнадцатого»); «Поручик Тухачевский через своего старого знакомого получает высокое военное назначение у большевиков» («Февраль Восемнадцатого»); «Тухачевский (уже командующий армией) накануне взятия Симбирска» («Сентябрь Восемнадцатого»); «В Петроград прибыли на подавление Кронштадта Троцкий и Тухачевский» («Февраль Двадцать Первого»); «С начала мая в Тамбов прибывает возглавитель подавления Тухачевский с красными генштабистами, аэропланным отрядом и радиосвязью. Для карательных действий вызваны кавалерийские бригады Котовского, Дмитриенко и Федько, полки ВЧК, ЧОН, интернациональные части (мадьярская конница, латышские стрелки), автобронеполки и красные курсанты. — На тамбовском городском собрании коммунистов Тухачевский и Антонов-Овсеенко делают доклады о способах и плане подавления восстания. Среди мер: семьи восставших берутся заложниками в концлагеря, а имущество их тут же распределяется между верными Советской власти...» — и много ещё столь же звериных распоряжений отдал в «Мае — Июне Двадцатого» бывший офицер старейшего гвардейского полка (на своей шкуре знавший, что такое лагерь — правда, германский). Ну и Эпилог Третий — 1937 год. Впрочем, и в Четвёртом — год 1941-й — имя расстрелянного маршала могло бы всплыть...

А голод в Поволжье и Крыму, изъятие церковных ценностей, ленинское (стыдливо не включавшееся в ПСС «самого человеческого человека») письмо членам Политбюро о расправе с Церковью («подавить сопротивление с такой жестокостью, чтоб они не забыли этого несколько деся-

³⁹ «На улицах повторяется Февраль, но толпа не в восторге, а в ужасе»; «После ливня — ранняя темная, совсем не “белая” ночь, и городской мятеж рассеялся» («Июнь — Июль Семнадцатого»); «24 октября — мрачный короткий петербургский день глубокой осени; по свинцовой реке уже и серые льдины; срываются малые снежинки»; «Город спал, не подозревая, что происходит, и проснулся при новой власти»; «Керенский, всю ночь не спавший, выпросил у американского посольства автомобиль с американским флагом и на нем устремился из города по гатчинскому шоссе: он поедет навстречу войскам! он сам их приведёт сегодня же к вечеру! (Власть Февраля умирает без чести.)»; «А московские офицеры (их тысяч 30) откликаются плохо, к юнкерам присоединились тысячи три, остальные сидят по домам. (Да за кого теперь сражаться? за Керенского? его презирают; зовут защищать не Россию, а революцию?)» («Октябрь — Ноябрь Семнадцатого»).

тилетий; закончить не иначе как расстрелом самых опасных и влиятельных в Шуе, Москве и по возможности в других духовных центрах, чем больше расстрелять, тем лучше»), смещение Патриарха, шемякин суд над обречённым к расстрелу митрополитом Вениамином... («Весна Двадцать Второго») — и в «Архипелаге...» (часть первая, глава 9 — «Закон мужает») о том не всё рассказано.

А судьбы вымышленных персонажей, которые Солженицын не включил в конспект вовсе (что понятно), но самим этим указанием на умолчание намекнул: «обыкновенные» люди не исчезли из поля зрения писателя, если б повествование продолжилось, оно вместило бы истории старинных знакомых. Да и в конспекте они скрыто присутствуют. Вчитываясь в хронику недельного кровопролитного сражения за Москву, где не сработала неслышная метода Троцкого («Октябрь Семнадцатого»), мы ищем Воротынцева — должен он быть в эти дни в городе Святого Георгия. При упоминании корниловского похода («Февраль Восемнадцатого») вспоминаем не одного Юрика Харитонов, но и всех ростовских персонажей. Видим в гуще крестьянской войны на тамбовщине Арсения Благодарёва (и не только потому, что он упомянут в рассказе «Эго»). Потому что как не сводилась история к политическим коловращениям и разгулу толп до «Апреля...», так не могла она в художественном мышлении Солженицына стать иной, о каких бы временах он писать ни стал⁴⁰.

В общем, хоть и перевешивает благодарность художнику за то, что он дал (ведь, в принципе, и конспекта могли мы не получить), но, читая «На обрыве повествования», очень часто испытываешь печаль по тому, что осталось ненаписанным. Чувство знакомое. Разве не грустно, что Пушкин не закончил роман о царском арапе, «Тазита», «Дубровского», «Египетские ночи», что о множестве его замыслов свидетельствуют только планы (часто — трудно понимаемые), а то и заглавья? А что Толстой (настоящий, а не «красный граф») о Петре не написал (и ведь сколько работал), не обидно? И роман Достоевского о заточенном императоре Иоанне Антоновиче никому никогда не прочесть. И можно, конечно, утешать себя «смысловой завершёностью» «Записок покойника», но ведь ясно, что Булгаков очень многого в романе о театре не договорил (имею в виду отнюдь не приращение новыми шаржами, анекдотами и остротами). Ничего не поделаешь — только художник знает, что ему нужно сказать и где остановиться⁴¹. Сочти Солженицын

⁴⁰ Недоброжелателям «личных» линий «Красного Колеса», полагающим, что они отвлекают от «сути дела», стоит вспомнить «Архипелаг...» с его портретным изобилием, настойчивым стремлением показать неповторимые человеческие лица. Зэки ведь в большинстве своем отнюдь не «исторические деятели», а вымышленные персонажи рисуются Солженицыным по тем же законам, что и имеющие точных прототипов.

⁴¹ Не касаемся тех случаев, когда работу прерывает смерть автора.

жизненно важным делом продолжение «Красного Колеса», писал бы он его, отодвинув все прочие литературные работы и земные заботы, до тех пор, покуда бы рука не остановилась.

Тем интереснее, что, закончив «Апрель...», сведя в нём все смысловые линии и расставив необходимые акценты, Солженицын счёл необходимым пополниль «Красное Колесо» конспектом. Гипотеза о том, что писатель всё же что-то в Четвёртом Узле не досказал, представляется абсурдной. Во-первых, я привык Солженицыну верить: обещал он, что коммунизм падёт при его жизни, — и сбылось, утверждал, что вернётся в Россию, — и жил в отечестве свои последние годы, говорил, что не будет баллотироваться ни на какую государственную должность, — и не стал. Коли так, то почему я должен предполагать, что, говоря о завершенности «Красного Колеса», его автор лукавит? Во-вторых, все предложенные выше наблюдения над исторической концепцией и поэтикой «Апреля...» и его связями с предшествующими Узлами, на мой взгляд, свидетельствуют о том, что повествование о революции Солженицыным закончено. Стало быть, причины создания конспекта надо искать не здесь.

Стало жаль материала, который годами собирался и обдумывался, и уже сделанных набросков? Предположил, что больше никто так подробно и разносторонне не станет (не сможет, не захочет) рассказывать о восхождении большевиков к власти и Гражданской войне? Счёл нужным представить свой первоначальный замысел? Решил попробовать себя в новом жанре?

Все эти обстоятельства, конечно, стимулировали работу. Богатейший материал (почерпнутый из разных, в том числе никому, кроме автора повествования, не доступных источников) сложился в систему, обнаружился такие переклички и соответствия разноплановых фактов, которые мог проглядеть (или совсем иначе увидеть) и добросовестный квалифицированный историк, наверняка был уже уловлен ритм времени (требовавший адекватного словесного воплощения)... Как же иначе, если освоение «фактуры» будущих Узлов и поиски литературных ключей к ним начались не только задолго до того, как в текст «Апреля...» легли последние штрихи, но и много раньше, чем Узел этот начал писаться.

На историков на рубеже 1980—1990-х рассчитывать Солженицын не мог — и в этом оказался прав. Хотя за два последних десятилетия опубликовано великое множество документов (републиковано, кажется, не меньше) и напечатано немало квалифицированных исследований, они, во-первых, тонут в океане «популярной» халтуры самых разных идеологических окрасок (то просто компилятивной и безмысленной, то агрессивно «новаторской»), а, во-вторых (это о лучших), как правило, адресуются коллегам по цеху, но не более-менее широкому читателю. Быть может, дикость в вопросах истории (не только XX века) нашего общества и не усилилась сравнительно с эпохой перестройки, но явно и не ослабела.

Рассказывать, как развивался и менялся его замысел, что отлагалось и что прирастало, художнику естественно. (Примеров тут тьма.)

Но одно дело сообщить с более или менее подробными пояснениями: *предполагалось — так, получилось — эдак*, а другое — показать въяве схему некогда открывшейся тебе книги. И экспериментировать Солженицын всегда любил, а «сжатие» материала, укладывание больших тематических массивов в ёмкий и плотный поэтически многозначный текст — один из основных принципов его творческой стратегии.

Отсюда художественная удача конспекта, в котором скорбная правда неотделима от свободной поэзии: резкость бросков от одного мини-сюжета к другому, прорывы «голосов эпохи» (часто гротескные), вкрапления авторских оценочных суждений, убыстренная мена «общих» и «крупных» планов, совсем неожиданные вроде бы для такого жанра лирические — погодные и пейзажные — миниатюры... Иные фрагменты можно счесть законченными стихотворениями в прозе. Например:

«Долгие осенние ночи над деревнями России. Иноковка Тамбовского уезда; крестьянин Пётр Токмаков, офицер из унтеров, будущий командарм тамбовской повстанческой армии» («Сентябрь Семнадцатого»).

Или:

«Какой угодно мир, только скорей! Массы разожжены, декрет о мире не может оставаться на бумаге. Разрыв с союзниками и сепаратная капитуляция. Распахнут фронт, нет больше линии фронта. Страна — на милость победителя» («Октябрь — Ноябрь Семнадцатого»; попробуйте посчитать, сколько разных голосов слышится в этом абзаце).

Видим, что причин взяться за конспект хватало. Но всё-таки самой весомой кажется пока не названная. Повторю: историческая концепция Солженицына сложилась не в ходе работы над «Апрелем...», а значительно раньше. При этом «центр тяжести сместился на Февральскую революцию» (другой и не было) под давлением не только «февральско-апрельского» материала, но и позднейшего (изучавшегося одновременно с работой над тремя первыми Узлами).

Соблазнение крестьянства (сперва общереволюционными посулами, потом большевистской агитацией), чудовищные бесчинства лета 1917 года, и героическое повстанческое сопротивление предсказаны «каменскими» главами «Октября...». Трагедия казачества (сцепленная с его сепаратизмом, отгороженностью от общероссийской беды, потачками красным в начале Гражданской войны) предначертана в «донских» эпизодах «Марта...». Постоянный дрейф кадетов налево (охарактеризованный в «Октябре...») объясняет не только оплошность милюковских комбинаций при формировании Временного правительства, становление двоевластия, апрельский кризис и предательство кадетской партией её собственного лидера, но и беспомощность тогдашних русских либералов в дальнейшем. Ничтожество верхушки социалистов (крайняя степень которого представлена Керенским) обнаруживается при первом их появлении на исторической сцене и стопроцентно подтверждается как летом и осенью 1917 года (постоянный страх перед большевиками и оголтелыми «массаами»), так и после октябрьского переворота. Разгром большевиками кронштадтского восстания не только возмездие

за то, что творили балтийские матросы с первых дней революции (Кронштадт чёрной тенью висит над «буржуйским» Петроградом вплоть до переворота, которому яро споспешествует), но и прямое следствие (как и сам стихийный бунт против комиссародержавия) прежних преступлений, кровавого своеволия, не знающего (и знать не желающего) никакого удержу «матросоправства».

Нет в послеапрельской хронике буквально ни одного сюжета, который поражал бы неожиданностью. Временные поражения большевиков и победы их противников картины не меняют. Героев сопротивления, в том числе — бравших на себя бремя власти (Колчак, Врангель), эпоха выдвинула, государственных деятелей, способных остановить Красное Колесо и предотвратить заковку ложных (каторжных) путей, — нет. Если не нашлось их в промежутке между гибелью Столыпина и вторым приходом революции (потрудилась старая власть на славу, бессознательно проводя «отрицательную селекцию»), то что могли сделать и лучшие из лучших (но не обретшие должного опыта) в разное народо-правства и пожаре гражданской войны, когда решение и «простых»-то задач стало неимоверно труднее? Это и называется отсутствием альтернативы.

Предъявляя читателю «На обрыве повествования», Солженицын не досказывает «Красное Колесо», но с фактами в руках объясняет, почему Февральская революция не могла получить другого развития, а «Апрель Семнадцатого» должен был стать последним Узлом «повествования в отмеренных сроках». Отсюда прямая дорога к «Весне Двадцать Второго», когда «Сталин как доверенный человек Ленина избран генеральным секретарем РКП <...> его власть пошла в быстрый рост».

Последние два абзаца конспекта: «В июне Ленин понемногу снова учится говорить и писать (после наступившего его 26 мая удара паралича. — А. Н.).

В тамбовском селе Нижний Шибряй чекистами обнаружены и застрелены Александр Антонов с братом. (Пётр Токмаков так никогда и не пойман)». Это очень солженицынский финал. Согласно «Кратким пояснениям» к «Августу Четырнадцатого», Солженицын начал писать «Красное Колесо» с «поздних Узлов (1919—20, тамбовские и ленинские главы)»⁴². Но дело тут не только в отсылке к истории замысла. Русские крестьяне (среди которых, конечно, не все похожи на Ивана Денисовича, Матрёну и Благодарёвых, но воплощают, по Солженицыну, сословие именно они) и Ленин (вкупе со слепо во всём следующей и подражающей вождю его партией) — полюса солженицынского мира: теплота и холод; органичность и идеологическое доктринёрство; естественная расположенность к людям (способность понять каждого) и крайний (подозрительный и агрессивный) эгоцентризм; бессознательное отри-

⁴² Возможно, когда-нибудь мы их узнаем. А не мы, так исследователи и читатели следующих поколений.

дание всякой иерархии (не исключаящее, но подразумевающее уважение к тем, кто старше, опытнее, умнее, умелее) и патологическое властолюбие; простодушие и цинизм; принятие данного тебе мира и страстное желание перекроить его по своим меркам; русскость и ненависть ко всему укладу страны, где выпало родиться; вера в высшее начало (не обязательно «оформленная») и отрицание самой возможности существования кого-то, кто превышает тебя (и даже «чего-то», каких-либо обязательных норм)... Если суммировать: добро и зло⁴³. Добро, обманутое, подчиненное, расплющенное злом, и зло, одержавшее полную победу.

Так ведь сложились дела к Весне Двадцать Второго. Хотя каток коллективизации еще не разогрет, но земля, брошенная в 1917-м мужичью ради успеха переворота, уже отобрана назад Государством, только что (в мае) ставшим её «верховным собственником и распределителем». «Антоновщину» год, как раздавили: «Рубка партизанских голов в Туголукове. — В Каменке. Массовые расстрелы на выгоне; похороны без гробов. Отца Михаила Молчанова котовцы вывели с литургии и зарубили» («Май — Июнь Двадцать Первого»). А если тогда главный бандит утёк, то теперь ЧК свою службу спроворила.

Только и в самые чёрные годы нисходит на землю высшая справедливость.

Организатор невиданного (и вопреки бреху всех балалаек удавшегося) эксперимента, жалкий сектант-эмигрант (которого слушали кучка ущербных недоумков да нелюбимая жена), занявший место Ивана Грозного, Петра Великого, Николая Кровавого, ничем не ограниченный властитель огромной и богатейшей (сколько ни разорьёшь, изрядно останется) страны, вождь мирового пролетариата, с которым вынуждены считаться лидеры мировых держав и треклятые западные капиталисты, хозяин бесчисленных человеческих жизней («расширить применение расстрела») — беспомощнее малого дитяти. Существовать на земле ему осталось полтора года. То страдая от физических мук, то вовсе выпадая из жизни, то — при проблесках разума — задыхаясь от ужаса и тщетно пытаясь вернуть выпавшую из омертвевших рук власть. Потому что вернейшему ученику (вскоре после переворота подведённому к кормилу: «Негласно создано полновластное «бюро ЦК» большевиков, «четвёрка» для решения всех экстренных и важнейших дел: Ленин, Троцкий, Свердлов, Сталин» — «Декабрь Семнадцатого») никакой Ленин больше не нужен. Он сам теперь (и надолго, на тридцать с лишком лет) Ленин. И Ленин — когда возвращается к нему сознание — это понимает, но ничего поделать не может.

⁴³ Потому и разрезает во Втором Узле Солженицын сплотку «ленинских» глав (О-16: 44, 47-50) двумя «каменскими» (О-16: 45, 46), где Плужников (будущий «легендарный» возглавитель самоуправления восставших тамбовских крестьян» — «Замечания автора к Узлу Второму») втолковывает пришедшим к нему в гости отцу и сыну Благодаревым, что нужна «своя крестьянская власть».

А мужик, выслуживший офицерский чин и возглавлявший крестьянскую армию, растворился в России. Вряд ли обрёл он спокойную и достойную жизнь, но всё-таки палачам не достался. Словно свидетельствуя исчезновением своим о неистребимости народного стремления к свободе. Даже когда всем приказано двигаться по единственному накрепко закованному маршруту, этапы которого размечены пятью Эпилогами.

Эпилог Первый — год 1928-й. Внутрипартийная оппозиция разгромлена; Троцкий из СССР выслан; первая пятилетка с индустриализацией объявлены; коллективизация на пороге... И «шахтинское» дело, после которого вовсю развернётся изничтожение старой технической интеллигенции, инженеров, организаторов производства. Вскоре будет в третий раз при советской власти арестован Пётр Акимович Пальчинский; выдержит следствие, не признает сфабрикованных обвинений, не даст выбиваемых ОГПУ показаний — расстреляют его в 1929-м. Допустимо предположить, что в этом Эпилоге отводилась ему важная (если не центральная) роль.

Эпилог Второй — год 1931-й. Загадочная точка. Быть может, Солженицын намеревался вновь, после «Архипелага...», показать процесс Союзного Бюро Меншеви́ков, участники которого (выжившие члены давно сведённой на нет социалистической партии) оказались достойны своих бывлых вождей. Как те, страшась ленинцев в 1917 году, постоянно, вплоть до самого захвата власти, им уступали и подыгрывали, так эти вяло произносили надиктованные обвинителями словеса, признавая всё, что им предъявлялось. К процессу был притянут «свидетелем» Козьма Антонович Гвоздев, «мученик-долгосидчик ГУЛАГа» (взят в 1928-м, отпущен умереть на воле в 1957-м), один из самых обаятельных персонажей «Красного Колеса». Это он в последнюю ночь перед революцией видит во сне святого деда, плачущего так горько, что ответа на вопрос, по ком же старик плачет, «и сердце не вмещает» (М-17: 69).

Эпилог Третий — год 1937-й. Большой террор. Миллионы брошенных в лагеря и убитых. Ликвидация партийной, чекистской, военной верхушки. В этом Эпилоге мог бы появиться ещё один любимый (вопреки его партийной принадлежности и сыгранной им в истории роли) герой Солженицына — Александр Григорьевич Шляпников. Он из того самого простого народа, который изводят и унижают двадцать лет, а теперь дают с особым усердием. Он из той самой «ленинской гвардии», которая, установив чудовищную диктатуру, выковала себе гибель. Он живой, мыслящий, сильный человек. В «Архипелаге...» отмечено, что Шляпникова не выводили на показательные процессы-спектакли — Солженицын предполагал, что бывший токарь высшего разряда, бывший нарком труда, бывший лидер рабочей оппозиции сохранил на следствии мужество. Что он тогда чувствовал? О чём вспоминал? Что думал о своей жизни и своих идеалах? Решения великого художника угадать нельзя, но и представить себе Третий Эпилог «Красного Колеса» без Шляпникова мне трудно.

Эпилог Четвёртый — год 1941-й. Война. Небывалые в истории России отступления, потери, сдачи в плен. Расплата за безумие ленинско-

сталинского насильнического эксперимента. Расплата тем самым народом, который гнобят без малого четверть века, который и эту войну вынесет. Победит.

Эпилог Пятый — год 1945-й. Победа. Победа СССР и его западных союзников над нацистской Германией. Победа Сталина над народом-победителем. Новые лагерные потоки — Гулаг поглощает тех, кто попал в плен и был «освобождён» своими или выдан по ялтинским договорённостям американцами и англичанами. И тех, кто слишком глубоко вдохнул воздух военной свободы и задумался о прошлом и будущем своей страны. В их числе — капитан Солженицын.

Пятым Эпилогом Солженицын долго числил написанную в лагере и ссылке (1952—53) пьесу «Декабристы без декабря», после переработки (1973) получившую новое название — «Гленники». Публикуя «Красное Колесо», Солженицын пьесы этой в приложении не дал. Однако она была напечатана (сперва в вермонтском Собрании сочинений, потом в нескольких российских⁴⁴). О колебаниях писателя свидетельствуют его записи 1980 года в «Дневнике Р-17»: «Написано очень тяжело, местами безвкусно, мало таланта. Еле удерживаюсь, чтоб вообще выкинуть эту пьесу вместо переделки» (11 июня). «Ключевой трудности вопрос оказался: Воротынцев или не Воротынцев сидит в камере? <...> У меня с 1973 уже стоит Воротынцев, — но теперь, при готовых Узлах, это очень повышает мою ответственность <...>

И очень свойственна мне такая перекидка через четверть века и замкнутие сюжета совсем в иных обстоятельствах. В «Августе» я написал о предсказании Воротынцеву, имея в виду уже готовых «Декабристов без декабря»» (13 июня).

Герой остался Воротынцевым. Это он рассказывает чекисту Рублёву ту историю, что услышал от полковника Ярик Харитонов, когда выходили они из окружения (А-14: 55). Рассказывает, потому что от судьбы и сути своей Воротынцев отрекаться не намерен. Мучающийся от рака чекист предлагает обречённому на виселицу давнему врагу легкий выход — совместное самоубийство (яд растворён в вине), которое должно избавить обоих от телесных страданий (Воротынцева — и от позора) и доказать, что все люди одним миром мазаны, а «добро» и «зло» — пустые абстракции. Выслушав отказ и отдав распоряжение забрать смертника, Рублёв говорит ему на прощание: «Были в ы, были м ы, и третьи придут, — и так же будут недовольные, и так же будут репрессированные, и нич-его хорошего не будет никогда!» И получает отповедь: «Знаете, давно-давно, ещё в Маньчжурии, старый китаец так мне и предсказал: что я умру военной смертью в 1945 году. Я это всё время помнил. Это помогало мне быть смелее, в прошлых войнах. Но вот э т а кончалась, уже каждый день готов был, — не убивают. И — кончилась. А вот она: смерть от врага после

⁴⁴ В 2004 году Солженицын пьесу сократил и внес в нее ряд исправлений; в этой редакции она публикуется в 19 томе настоящего Собрания сочинений.

войны — тоже военная смерть. Но — от врага. А — от себя? Некрасиво. Не военная. Вот именно трусость. И зачем же снимать с ваших рук хоть одно убийство? брать на себя? Нет, пусть будет и это — на вас».

Прежде чем соблазнять Воротынцева, Рублёв язвительно перечисляет войны, в которых Воротынцев участвовал, всегда оказываясь потерпевшим поражение. Но полковник сам о том раньше говорил сокамернику, вписывая свои злосчастья в общую российскую катастрофу (словно сжимая в короткий монолог всё, что должно было вместиться в «Красное Колесо»):

Был немилостив алтарь, где головы мы клали
 Мы в своей стране своих не узнавали.
 Встала в людях злоба, жадность, тьма, —
 Будто наш народ сошёл тогда с ума,
 Кинул душу чёрту в исступленьи.
 Не ошибка лозунгов, не генеральские промашки:
 Никому, ничем не задержать круговращенья, —
 Так вот повернула, покатила — и пошла!..
 Мне пришлось изведать самых тяжких,
 Самых изнурительных российских отступлений
 От Мукдена, Найденбурга и к Ростову от Орла.
 Ход необоримый, —
 Никогда мне эта чаша горше не была,
 Чем из Крыма <...>
 Херсонесский воспалённый промелькнул маяк.
 Скрылся в темноте.
 Родина моя! Увидимся ли мы ещё? И как?
 И когда? И где?..

И в ответ на грустное «Свиделись» собеседника:

Не думал так зажить,
 В отдалённость. Время, люди — всё сменилось.
 Но, однако, ждали мы, что нам пошлётся милость
 Перед смертью — Родину освободить!
 Нет!! И двадцать пять прошло — и снова нет!!
 И теперь ещё — на сколько лет?

Но и ожидая неминуемой мучительной казни, Воротынцев уверен, что путь его, «путь сплошных поражений» — правильный. «Я не ошибся, на чьей мне быть стороне, — кидает он истязателю-искусителю. — Всегда был на верной стороне: *против вас* <...> Да, мы проиграли. Но не выиграли и вы! Потому сияют мои глаза, что они дожили и увидели: не выиграли и вы! <...> Никогда ещё за двадцать восемь лет Россия не была так далека от большевизма! В камере контрразведки я понял отчётливо: Россия — не в а ш а, товарищи! О, в этой камере совсем не те люди, которых вы хватили в Восемнадцатом! У них нет перстней на белых пальцах, а на их пилотках — ещё не выгоревший пятиконечный след. Всё это молодёжь, воспитанная в *ваших* школах, не в наших, по вашим книгам, не по нашим,

в вашей вере, не в нашей <...> Довольно было одного дуновения свободы, чтобы с русской молодёжи спало ваше чёрное колдовство!»

Чекист отвечает сильными софизмами. «Чёрное колдовство» продолжит растлевать души и после падения коммунизма, формально отбросив ленинскую идеологию и набрав в свой арсенал хороших (только с вынутым или вывихнутым смыслом) слов. (Но крепко держась за Ленина-Сталина и всю большевистскую мифологию. Но не изменив ненависти к свободе и презрению к человеческой личности.) Путь к свободе оказался куда более долог, чем надеялся в 1945 году Воротынецев. Солженицын и это в 1973-м, 1980-м, 1990-м предчувствовал. И всё же, когда сокамерник вернувшегося от чекиста к своим Воротынцева дерзает заглянуть в будущее («Но не верю я, что нам осталось в мире / Только гордое терпение да скорбный труд / В глубине сибирских руд! / Если прадеды кончали путь в Сибири, / — Может, правнуки в Сибири свой начнут?!»), смертник его ободряет:

Этой верую вам крепнуть — надо б, да!
И, друзья, — не ждите помощи от Запада:
Силы нет и воли нет в благополучных странах,
Ни сознания, ни понятия, ни — перед бедой открытых глаз
Вся надежда мира — вся на каторжанах!
Вся теперь — на вас!!!
Что Россия в эти годы на себе перенесла —
Может быть, таких, как вы, она ждала.

Таких и ждала. Один из прозревающих пленников (будущих каторжан) — великий русский писатель Александр Солженицын.

12 марта 1973 года автор «Пленников» констатировал: «Эта пьеса — не только последний эпизод Р-17 («Красного Колеса». — А. Н.), но и вход во все мои лагерные вещи. Это — главный мост между двумя половинами всего мною написанного. Центральный замок. Геометрический центр». Ни позднейшая суровая авторская оценка, ни неровности пьесы (действительно своей высоты писатель в 1953 году ещё не достиг), ни аккуратность стратегии при публикациях (читателю Солженицын прямо не сообщил, что такое «Пленники») не отменяют глубинной правоты этой дневниковой записи. Трагедия, рождённая в лагерной бездне, утверждающая незыблемость нравственных ценностей⁴⁵, полнящаяся духом свободы и верой в Россию, устремлённая в будущее, действительно венчает заветную книгу Солженицына и скрепляет в единое целое его поэтический мир.

Андрей Немзер

⁴⁵ 14 июня 1980 года, обдумывая, как поступить с «Пленниками» (и склоняясь к тому, чтобы сохранить пьесе жизнь), Солженицын записал в Дневнике: «Сцена с ядом — не просто личная: она метафизически указывает на неравенство нравственных весов». Стоит вспомнить о последнем появлении Ленина (с которого Рублев, как и все коммунисты, «делал жизнь») в конспекте «На обрыве повествования».

СОДЕРЖАНИЕ

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ — ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ АПРЕЛЯ

Глава 92" (по буржуазным газетам, 15—23 апреля)9

Глава 9316

Первомайская демонстрация в Москве. — Отголоски в Москве апрельского кризиса. — Деловой обед у Корзнеров. — Чего добиваться? и что нас ждёт?

Глава 94 (Фрагменты народоправства — Москва)27

Глава 9530

В Ставке появился генерал Марков. — Сошлись с Воротынцевым. Что сулит нам продолжение войны? — Георгий с Алиной. — Надо решать.

Глава 9636

В имении Вяземских. Зыбкость. — Не дадут хоронить Дмитрия в родовом склепе. — Настоять на своём.

Документы — 16.....42

СРСД — ко всем крестьянам.

Глава 97.....43

На петроградском общеказачьем съезде. — Ковынёв едет на Дон. Наблюдения. — Настроения и конфликты в Новочеркасске. — «Нетрудовые казаки»? — Гневное донское наводнение. — Донской казачий съезд.

Глава 98 (Фрагменты народоправства — тыловые гарнизоны).....52

Глава 9957

На похоронах Дмитрия Вяземского.

Глава 100.....	59
Как Керенский пережил кризис. — Заминает следствие о стрельбе. — Оправдывается перед ИК. — Планы перетряхнуть правительство. — Социалистический рычаг.	
Глава 101.....	66
Предыстория Льва Каменева. — Спор против Ленина в апреле. — На городской партконференции. — На всероссийской. — Извороты Ленина.	
Документы — 17.....	72
Из германской Ставки — рейхсканцлеру Бетман-Гольвегу.	
Глава 102.....	73
Воротынцев и Алина. Опять срыв.	
Глава 103" (по социалистическим газетам, 18—25 апреля).....	77
Документы — 18.....	82
Приказ генерала Корнилова о дезертирстве.	
Глава 104.....	82
В полку у Ярика Харитонова. — Офицеры как военнопленные.	
Глава 105' (Временное правительство молит о поддержке).....	84
Глава 106.....	89
В Каменке после разлива. Брошюры, газеты, агитаторы. — Комитеты. — Мужичье жесточение. — И к сельской интеллигенции. — Юля в страхе.	
Глава 107 (Из реплик той весны).....	96
Глава 108.....	97
Милюков охлаждается: победы как не было? — Тщетно взбадривает правительство. — А Керенский открыл министерский кризис.	
Глава 109.....	101
Дела на Волге. Польщиков. — Купечество врозь. — И что же с этим правительством?	
Глава 110.....	103
Заботы Николая Соколова. — Направляет совещание фронтовых делегатов. — И ещё, ещё назначения!	
Глава 111.....	106
Воротынцев с Марковым: кончать войну?! — Перебор вариантов. — опередить Ленина. — Стрелой к Гучкову? — А дома всё то же, не помогло.	

Документы — 19	111
Из германской Ставки — в министерство иностранных дел.	
Глава 112	111
Гучков снова болен. — Не может повернуть правительства. — Уйти одному? — В безсилии.	
Глава 113 (Фрагменты народоправства — деревня).....	116
Документы — 20	121
Германское м.и.д. — послу Ромбергу в Берн.	
Глава 114	122
Ободовский во главе промышленного снабжения. — Топливо, металлы. — Хаос на заводах. — В Комитете Труда. — Саранча, саранча...	
Глава 115	124
Петроградский корреспондент в роте Харитоновой. — Диалог на братании с немцами.	
Глава 116' (Заседание Четырёх Дум)	131
Глава 117.....	146
Частное заседание лидеров ИК. — Вступать в правительство невозможно, невыгодно.	
Глава 118	152
Не везут крестьяне хлеба! Голод — судья революции. — Шингарёв ищет выходы. — Речи, речи. Заботы министра.	
Глава 119" (по буржуазным газетам, 24—28 апреля).....	157
Глава 120	165
Как Ивана Кожедрова выбрали делегатом в Питер. — С попутчиком Фролом Горовым. — Перед солдатскими делегатами пройдут министры чередой.	
Глава 121 (Фрагменты народоправства — Петроград)	169
Глава 122	172
ИК обсуждает вопрос о коалиции. — Отклонили. — Анархисты захватили дом герцога, грабят и не подчиняются.	
Глава 123	180
Приехал Ленин, и Шляпников стал лишним. — Попал под трамвай. — В больнице. — На всероссийской конференции большевиков, новыми глазами. — На собрании уполномоченных красной гвардии.	

- Глава 124185
 Временное правительство в тоске и ожидании. — Бесилие против анархистов. — ИК отказался от коалиции! — Выход: переталкивать Милюкова на просвещение.
- Глава 125189
 С Алиной — примирение.
- Глава 126191
 Немецкие парламентёры у генерала Драгомирова.
- Глава 127.....195
 Колчак вернулся в Севастополь. — Экспедиция обыскивать великих князей. — Митинг в цирке Труцци. — Посылка черноморской делегации в столицы и на фронты. — План похорон лейтенанта Шмидта. — Великих князей изолировать.
- Глава 128200
 Идеалы растоптаны. — Милюкову не дают сосредоточиться на работе. — Ответы на вопросы фронтовых делегатов. — Составляет передовицу для «Речи». — Визит князя Львова. — Обида. — Менять портфель? Нет!
- Глава 129.....208
 На Исполкоме выслушивают Альбера Тома. — Станкевич и военное комиссарство.
- Глава 130211
 Разъяснения ИК и правительства, снять позор с Корнилова. — Теперь встречаются комиссары от ИК. — Вечер-сбор для военнопленных. — Корнилов оскорблён в Финляндском батальоне. — Отставка.
- Глава 131218
 А Гучков и решился, да всё никак не уйдёт. — Неудачная речь на совещании фронтовых делегатов. — Нет, грянуть отставкой!
- Глава 132225
 Речь Керенского «Рабы или граждане?» на совещании фронтовых делегатов. — Эпизод с унтером Иофиным. — Речь Церетели. — Заявление члена Чрезвычайной Следственной Комиссии об узниках Петропавловки. — Завтра на совещании выступит Ленин!
- Глава 133235
 Саша Ленартович. Горький звонок Еленьке. — Уроки митинговых выступлений. — Саша комендантствует в особняке Кшесинской. — Вожди большевиков. — Приёмы ленинской мысли. — Спор о крестьянстве. — Спор о национальном самоопределении. — Алогичная сила воздействия: Ленин всегда побеждает. — Новый ЦК. — Гимн «Интернационал».

ТРИДЦАТОЕ АПРЕЛЯ — ПЯТОЕ МАЯ

- Глава 134.....244
 Быт царской семьи в заточении. — Визиты Керенского. — Поведение караульных стрелков. — Тёплые дни. Копка земли. — Отставка Корнилова?!
- Глава 135 (Фрагменты народоправства — фронт).....250
- Глава 136.....254
 Снова взрыв с Алиной. — Самое тягостное теперь и началось. — Слух об отставке Гучкова. — С этим правительством пропадём. Делать что-то самим.
- Глава 137.....260
 Фрол Горовой на совещании фронтовых делегатов. — Черета генералов. — Гучков объявляет свою отставку. — Освистывают Зиновьева. — Зиновьев вывёртывается. — Церетели начинает поединок с ним.
- Документы — 21.....274
 Гучков — кн. Львову.
- Глава 138.....274
 Даже городские большевики усумнились в ЦК? — Сопrotивление Ленину на всероссийской конференции большевиков. — Но победил. — Выхватывать лозунги из ситуации. — Гучков пал?! — Борьба за Советы! — Нашупали Парвуса?
- Глава 139.....279
 Неприятности на вчерашнем заседании министров. — Воскресение. Отставка Гучкова! — удар в спину правительству. — Спешное заседание. Как ответить Гучкову? — Князь Львов в довмине.
- Глава 140.....282
 Социальная революция в петроградской городской думе. — Гиммер изнывает, что Исполком капитулировал перед буржуазией. — Травит себя на заседании Совета. — Погубили великую международную задачу социалистов. — Стычка вокруг анархистских захватов.
- Документы — 22.....289
 Армейская группа Эйхгорна — в германское министерство иностранных дел.
- Глава 141" (из «Правды», апрель — начало мая).....289
- Глава 142.....292
 Чернега присматривается к движению дел. — На совещании фронтовых делегатов продолжение диспута между Церетели и Зиновьевым. — Выступление эсера Сватикова.

Глава 143	297
Церетели с князем Львовым наедине. — Да, коалиции не избежать.	
Глава 144	298
Как генерал Брусилов стал из монархиста республиканцем. — Но неожиданность: теперь не хотят воевать. — Расчёты Брусилова вокруг отставки Гучкова. — Съезд Главнокомандующих в Ставке. — Керенский — в военные министры?	
Глава 145	307
Алина. «Обвинительный акт».	
Глава 146	310
Ковынёв. Сойдётся ли Зина с казачьей жизнью? — Сейчас не звать. — Телеграмма о смерти брата.	
Глава 147	314
Отставка Гучкова освободила пути Керенского. — Генштабистов на помощь. — Отманевриваться от разбоя анархистов. — Правительство закисает. — Керенский в Исполкоме. Доклад его о неизбежности коалиции. — Объявляет в Александринском театре: правительственный кризис устранён.	
Глава 148	320
Чхеидзе измучился вконец. — Церетели убедил, что коалиции не миновать. — И снова прения в ИК. — Проголосовали за. — Условия вступления в правительство, поправки. Уже и утро.	
Глава 149" (по социалистическим газетам, с 26 апреля)	325
Глава 150	330
Каменев на первом обсуждении ИК с правительством условий коалиции. — Мешает Ленин за плечом.	
Глава 151	336
Верхушка Исполкома в ресторане. Обсуждение продолжается.	
Глава 152	341
Происходящее — глазами Шульгина. — Думский Комитет приглашён на консультацию с правительством. — Но ничего не повернуть.	
Глава 153	348
Исполкомцы продолжают обсуждать с министрами программу коалиции.	
Глава 154	353
Воротынцев читает вердикт Алины.	

Глава 155	355
Зиновьев стал оратором большевиков. — Пленум Совета, вступить ли в коалицию. — Большевики опять не выиграли.	
Глава 156	364
Саня с Ксеньей по Москве. — Планы женитьбы. — Выступление черноморцев на думской площади. — Иверская часовня.	
Глава 157	370
Милюков вернулся из Ставки. Трудные сутки. — Цепь заседаний правительства. — Последние усилия Милюкова придать министрам твёрдости. — Уход.	
Глава 158	375
Позиция Некрасова. — Составляет новую декларацию Временного правительства. — Согласует с Церетели.	
Документы — 23	378
Инструкция о принудительном отчуждении хлеба.	
Глава 159	379
Только Керенский может воодушевить Армию! — Приём, как стать и морским министром. — Программная речь в комиссиях. — Встречать Главнокомандующих.	
Глава 160	383
Приезд Главнокомандующих в Петроград. — Предварительное заседание с министрами.	
Документы — 24	387
Из «Военных воспоминаний» генерала Людендорфа.	
Глава 161	388
Алина. «Могилка». — Съездить в Москву?	
Глава 162	389
Письмо Ликони.	
Глава 163	390
Исторический день кадетской партии. Заседание ЦК кадетов. — Диспут: уходить из правительства или держаться коалиции? — Голосование. — Теперь и кадеты <i>постольку-поскольку?</i> ..	
Глава 164	410
И снова о программе коалиции. — Торг о портфелях.	
Глава 165' (Как собирали крестьянский съезд)	414

Глава 166	419
Шингарёв всё больше завязает в контрольных мероприятиях хлебной монополии. — Вдруг — отнимают работу? — Опять торг о портфелях. — Да хоть продовольствие оставьте! Не отдам.	
Документы — 25	423
Шингарёв — в Совет крестьянских депутатов.	
Глава 167 (Фрагменты народоправства — провинция)	423
Глава 168	429
Ленин репетирует с помощниками, как отстаивать на суде особняк Кшесинской.	
Глава 169	434
Муки Шингарёва на открытии Совета крестьянских депутатов. — А где же крестьяне? — Речи Маслова, Брешко-Брешковской, Чернова, Альбера Тома. — Авксентьев — председатель СКРД.	
Глава 170	440
Развал в Усманском уезде. — Планы князя Бориса. — Ультиматум усадебных служащих. — Забастовка домашней прислуги. — Бунт против управляющего. — Переговоры с толпой. — Уступки. — <i>Этого не спасёшь.</i>	
Глава 171	445
Совещание Главнокомандующих с правительством и Исполнительным Комитетом. — Наблюдения и выводы генерала Гурко.	
Глава 172	455
В. Маклаков в минувшие месяцы. — На частном совещании членов ГД. — Речи Миллюкова, Гучкова, Шульгина. — Речь Маклакова.	
Глава 173	462
Воротынцев провожает Алину на могилёвском вокзале.	
Глава 174	464
Юрик в тревожном Ростове. — Виталий Кочармин. — Клятва мальчиков.	
Глава 175	468
Волнения Гиммера вокруг коалиционных переговоров. — Пустые пленумы Совета. — Несогласие с генералами. — А торговля портфелями всё не кончается.	
Глава 176	474
Доктор Федонин после германского плена. — В вагоне с революционными эмигрантами — Споры врачей и эмигрантов. — Суждения Троцкого. — Встреча и митинг на Финляндском вокзале.	

Глава 177" (по буржуазным газетам, конец апреля — начало мая).....	485
Глава 178.....	493
Пешехонов. Давние земские мечтания и нынешний кошмар. — На съезде крестьянских депутатов. — Речь Чернова. — Речь Пешехонова. — Вход и речь Керенского. — Досада Чернова, план его следующей речи.	
Глава 179.....	501
Жизнь и борьба Льва Троцкого. — Задержка в Канаде на возврате в Россию. — А тут — губят Революцию! — Визит Троцкого в ИК. — Завладеть Петроградским Советом!	
Глава 180.....	527
Саня с Ксеньей у Варсонофьева.	
Глава 181.....	532
Нет соратников у Троцкого. — Соединиться с Лениным.	
Глава 182.....	536
Первые шаги Керенского как военного и морского министра. — И блистательная перспектива, как поведёт армию в наступление.	
Глава 183.....	543
Ленин. Коалиционным правительством они себя и погубят. — Идём к власти! — Как использовать крестьянский съезд, уклонясь от речи там. — Пересмотр возможных сторонников. — Вернуть Красина. — Соединиться с Троцким.	
Глава 184.....	547
Церетели на пленуме Совета. — Поджигательная речь Троцкого. — А Совета — не взял.	
Глава 185.....	554
Варсонофьев после ухода молодых. — Масштабы.	
Глава 186.....	556
Воротынцев на могилёвском Валу.	
КАЛЕНДАРЬ РЕВОЛЮЦИИ (11 мая — 4 июня).....	561

НА ОБРЫВЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ

КОНСПЕКТ НЕНАПИСАННЫХ УЗЛОВ (V — XX)563

От автора565

Список сокращений567

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ — НАРОДОПРАВСТВО (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Узел V — Июнь — Июль Семнадцатого569

Узел VI — Август Семнадцатого582

Узел VII — Сентябрь Семнадцатого602

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ — ПЕРЕВОРОТ

Узел VIII — Октябрь — Ноябрь Семнадцатого615

Узел IX — Декабрь Семнадцатого672

Узел X — Февраль Восемнадцатого689

Узел XI — Июнь — Июль Восемнадцатого690

Узел XII — Сентябрь Восемнадцатого691

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЁРТОЕ — НАШИ ПРОТИВ СВОИХ

Узел XIII — Ноябрь Восемнадцатого693

Узел XIV — Март Девятнадцатого694

Узел XV — Октябрь Девятнадцатого694

Узел XVI — Январь Двадцатого695

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ — ЗАКОВКА ПУТЕЙ

Узел XVII — Октябрь Двадцатого697

Узел XVIII — Февраль Двадцать Первого698

Узел XIX — Май — Июнь Двадцать Первого700

Узел XX — Весна Двадцать Второго702

Краткие пояснения707

Н. Солженицына

И свет во тьме светит709

Заметки об «Апреле Семнадцатого»

А. Немзер

Литературно-художественное издание

Александр Исаевич Солженицын

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

ТОМ 16

КРАСНОЕ КОЛЕСО

Повествование в отмеренных сроках

Узел IV. Апрель Семнадцатого

КНИГА 2

Редактор

Алла Гладкова

Художественный редактор

Валерий Калныньш

Корректор

Ирина Машковская

Верстка

Валерий Калныньш

Подписано в печать 25.06.2010.

Формат 60х90/16.

Бумага для ВХИ. Усл. печ. л. 49,5.

Тираж 3000 экз. Заказ № 442.

«Время»

115326, Москва, ул. Пятницкая, 25

Телефон (495) 951 5488

<http://books.vremya.ru>

e-mail: letter@books.vremya.ru

Отпечатано в соответствии с качеством

предоставленного оригинал-макета

в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»

620990, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13

<http://www.uralprint.ru> e-mail: book@uralprint.ru

Солженицын А. И.

С60 Собрание сочинений в 30 томах. Т. 16. Красное Колесо: Повествование в отмеренных сроках. — Узел IV: Апрель Семнадцатого.

Книга 2. — М.: Время, 2010. — 792 с.

ISBN 978-5-9691-0570-6

Отголоски петроградского апрельского кризиса в Москве. Казачий съезд в Новочеркасске. Голод — судья революции. Фронтовые делегаты в Таврическом. — Ген. Корнилов подал в отставку с командования Петроградским округом. Съезд Главнокомандующих — в Ставке и в Петрограде. — Конфликтное составление коалиции Временного правительства с социалистами. Уход Гучкова. Отставка Миллюкова. Керенский — военно-морской министр. — Революционная карьера Льва Троцкого.

По завершении «Апреля Семнадцатого» читателю предлагается конспект ненаписанных Узлов (V—XX) — «На обрыве повествования», дающий объемлющее представление о первоначальном замысле всего «Красного Колеса». Детально прослеживаются события Семнадцатого года, сжато — с февраля Восемнадцатого по весну Двадцать Второго.

ISBN 978-5-9691-0570-6



9

7 8 5 9 6 9 1 0 5 7 0 6

